

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

2

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В
ПЯТИ ТОМАХ

2

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ

2

АВАНТЮРНЫЕ
И НАУЧНО-
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ
И РОМАНЫ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

**ББК 84Р
Т52**

**Внешнее оформление
художника Ю. БАЖАНОВА
Иллюстрации художника
М. ПЕТРОВА**

Толстой А. Н.
Т52 **Собрание сочинений: В 5 т. Т 2: Авантюрные и научно-фантастические повести и романы. — М.: ТЕРРА, 1995. — 720 с.: ил.**
ISBN 5-300-00192-9 (т. 2)
ISBN 5-300-00191-0

Во второй том включены повести, относящиеся к жанру авантюрных и всемирно известные научно-фантастические произведения А. Н. Толстого — романы «Азлита» и «Гиперболоид инженера Гарина».

Т 4702010000-234 Подписное
А30(03)-95

ISBN 5-300-00192-9 (т. 2)
ISBN 5-300-00191-0

ББК 84Р

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

АВАНТЮРНЫЕ
ПОВЕСТИ
И РОМАНЫ



КАЗАЦКИЙ ШТОС

Наш городок был взволнован, как лужа в грозу, ночным приключением у штабс-капитана Абрамова; с утра в управлении чиновники облепили стол столоначальника Храпова, которому всегда и все известно; офицеры в собрании пыхали друг на друга папиросками и выпили сгоряча у буфетчика всю содовую; а барышни с ямочками на локтях (наш городок издавна славился такими ямочками) умирали от любопытства и смотрели сквозь тюлевые занавески на улицу в надежде — не пройдет ли мимо неожиданный и страшный герой.

А на улице медленно падал, со вчерашнего еще дня, первый снег, садясь на соседние крыши, на решетки палисадников, а на столбах ворот и на подоконниках лежали из него белые подушки, в которые приятно опустить пальцы, вынув их из теплой варежки на мороз.

И повсюду и в комнате гостиницы «Якорь», где остановился Потап Алексеевич Образцов, был тот же ясный и прохладный свет.

Потап Алексеевич, лежа в помятой рубашке на кровати за ширмой, курил крепкие папиросы и морщился, говоря с досадой:

— Фу, как это все неловко вышло... не офицеры здесь, а бог знает кто. Я давно говорил: запасный офицер, будь он хоть сам полковник, карту в руки взять не умеет и больше все лезет в лицо. А я тоже хорош — с первого раза закатил им казацкий штос... Нет, нет, сегодня же марш отсюда...

Потапу и не хотелось вставать и было скучно одному в номере; свесив с кровати голову, он поднял сапог и бросил его в дверь, призывая этим полового. Половой тотчас вошел, накинув для уважения поверх тиковых штанов и косоворотки фрак с продраным локтем.

— Что это у тебя, братец, прыщи на носу? — сказал Потап, с отвращением глядя на полового.

— Бог дал-с, — ответил тот и почесал босой ногой ногу, приговаривая этим к долгому разговору.

— А что, меня еще никто не спрашивал?

— Да заходил офицерик один, обещался еще навеститься.

— Что ему нужно? — воскликнул Потап, скидывая на зашарканный коврик полные ноги. Половой живо подскочил и натянул на них панталоны со штрипками. Потап встал у зеркала и конской щеткой стал расчесывать львиные свои кудри с проседью и русую бороду на две стороны, подбородок же был гол, то есть с пролысинкой.

— А что, офицер сердитый приходил? — спросил Потап сквозь зубы.

— Нет, не сердитый. Офицерик маленький, зовут Пряник.

Тогда Потап сел на диванчик и выпустил воздух из надутых щек; да и было отчего.

Вчера вечером (Потап заехал в наш городок на днях) у штабс-капитана Абрамова устроили в честь приезжего гостя банчок. Ночью, часу в пятом, когда оплывшие свечи были усажены снизу, как ежи, окурками, когда молодой офицер уже лил вино на расстегнутый мундир, когда старые капитаны отмахивались только от табачного дыма, лежа на оттоманке, а пьяный денщик силился, сидя у двери на полу, раскупорить бутылку, тогда Потап Образцов вдруг предложил казацкий штос.

Все очень удивились, ответив, что такой игры в полку не знают. Потап приказал денщику подать пунш и, когда все его выпили, встал и объяснил примером.

Наметив около банкомета пачку кредитных денег, вдруг дунул на свечи, левой рукой схватил штабс-капитана за воротник, правой — кредитки и, как из пушки, крикнул:

— Штос!

В темноте офицеры полезли друг на дружку, прапорщик Бамбук выстрелил даже. Потапа у самой двери схватили за ноги, отняли деньги, помяли, и вообще вышло совсем не то, не по-товарищески и противно законам игры.

— Теперь всего можно ожидать, — сказал, наконец, Потап, поджав под диванчик ногу. — В сущности, что есть нравственность? — выдумка дам и разночинцев, а мы выше мещанских понятий. Нужно только уметь уважать себя.

Так рассуждал Потап, любя иногда отвлеченные мысли, а за дверью офицер тихонько позвякивал шпорой.

— Звенят, — сказал половой, которому надоело торчать перед Потапом, — впустить, что ли?

Потап поднялся, сказал: «Проси» — и шагнул к двери, в которую пролез маленький, розовый, с черными усиками офицер, по прозвищу Пряник.

Потап раскрыл руки и притиснул офицера к себе, целуя в щеки. Пряник же, встав на цыпочки, поцеловал Потапа в губы.

— Я пришел-с, — сказал офицер, заикаясь, — с покорнейшей просьбой — объяснить мне игру в штос.

— Ого-го, батенька, это серьезная игра. А, кстати; офицеры не собираются меня бить?

— Что вы, да все от вас без ума.

— Ну, — сказал Потап, — уж и без ума... Вы все славные ребята; мы еще перекинемся. А сведите-ка меня, покажите ваших лим; кстати, вчера я видел мельком прехорошенькую бабенку.

— Боже мой, это была Наденька Храпова. Я весь в поту, когда думаю о ней.

Пряник действительно, ослабев, сел на стул. А Потап принялся громко смеяться.

Наденька Храпова каталась в это время на катке, куда Потап и Пряник пошли вдоль Дворянской улицы, причем Пряник припрыгивал на ходу. Потап же, надев цилиндр набекрень, распахнул волчью шубу и раздумялся, поводя выпуклыми глазами. Навстречу через улицу перебежал чиновник в башлыке, с ужасом глянул в лицо Потапу и, пропуская его, прижался к стене, втянув живот.

— Удивляются вам очень, — сказал Пряник вкрадчиво, — вы ужасная знаменитость.

— Ну уж и знаменитость, — сказал Потап.

А Пряник просунул руку Потапу под локоть и строго взглянул на барышень, которые, хихикая, скользили по снегу противоположного тротуара. Гимназисты, чиновники, мещанки с подсолнухами — все шли на каток и все оглядывались на Потапа. Вдоль улицы, разметая снег, летел полицеймейстер на отлетной паре. Увидев Образцова, он приложил два пальца к шапке, и воловий затылок его покраснел от удовольствия.

На катке было черно от народа; играла духовая музыка, и всем известный пиротехник Буров ставил шесты и привязывал колеса для сегодняшнего фейерверка.

К Образцову тотчас подошли офицеры, и штабс-капитан Абрамов с лиловым носом, хохоча, обнял его при всех, говоря громко, как труба:

— Ну, Образцов, даешь ответный банк?

Офицеры замолчали; подошли штатские в калошах, какой-то парень плевал семечками на спину Прянику и вытирал пальцем нос. Образцов сказал громко:

— Даю ответный, прошу сегодня ко мне всех.

— А мы тебя штосом, — захохотал штабс-капитан, но все продолжали молчать, удивленные смелости Образцова.

Потап только сейчас сообразил, как в руку ему сыграла вчерашняя выходка; намерения его были огромны, и недаром звал себя артистом Потап Образцов: он умел создавать события и потом пользоваться ими, оставаясь всегда отставным гусаром в душе.

Сегодняшний день был словно бокалом шампанского натошак, и в ясной голове Потапа возник необычайный план.

— Господа, — сказал Потап офицерам, — я вас покидаю для пары хорошеньких глаз, — и тотчас отошел, крепко держа Пряника. Пряник сначала шел спокойно, потом заволновался, перегнулся через перила и зашептал:

— Вон она, Наденька, боже мой, она одна только и есть на катке.

Действительно, Наденька, клонясь то вправо, то влево, скользила вдаль по льду, придерживая иногда заячьей муфтой меховую шапку.

Увидев Пряника и Потапа, Наденька круто завернула и села около мужа на скамейку, опустив глаза; не подняла Наденька глаз, когда Пряник представлял ей Образцова и когда Потап тайно вдруг и быстро сжал ее маленькую руку в белой перчатке, а только вспыхнула еще ярче и, вместо ответа, унеслась по льду, тоненькая, как девочка, в узком платье и мехах.

А столоначальник Храпов, которому Потап наступил на башмак, задрал серую бороду вверх и проворчал, глядя через очки: — Осторожнее бы надо.

Столоначальник был вообще гадок, и его сейчас же оставили.

А Наденька, обежав круг, прикрылась муфтой и блеснула из-за меха лукавым глазом на Потапа. Образцов перегнулся через загородку и негромко, но ясно сказал:

— Милая.

Наденька ахнула и задумалась. Опустив голову и покачиваясь, она медленно двигалась по льду; а потом сильно оттолкнулась и понеслась гигантским шагом. Пять раз обгоняла она Образцова, на шестой взглянула на него, как на солнце, и влюбилась.

— Вы страшный человек, — сказала она, остановясь у загородки и глядя из-под шелковых темных бровей.

— Я люблю вас, — сказал ей Потап. Пряник отошел, сморкаясь.

— Какие вы пустяки говорите, — прошептала Наденька, и круглое лицо ее в ямочках и родинках стало нежным.

Дальнейшему разговору помешал подошедший столоначальник. Потап только успел спросить — будет ли Наденька на катке вечером, и тотчас ушел. Пряник проводил его до гостиницы.

У себя Потап раскрыл потертый чемодан, вынул из потайного дна «верную» колоду и, развалясь, крикнул полового.

— Опять зовете, — спросил половой, — что надо?

— Вот тебе на чай, хоть ты и дурак, как я вижу.

— Никак нет, — сказал половой, — не дурак. Это вам насчет верной масти подкинуть? Я могу.

— Молодец, вот тебе еще на чай.

Половой разгладил бумажки на ладони, подмигнул и сказал:

— К нам летось тоже один жулик приезжал...

— Пошел вон! — воскликнул Потап.

Половой сейчас же выскочил, унося колоду. Потап раскрыл стол, бросил на диван медвежье одеяло, попрыскал в комнате одеколоном и раскрыл форточку, заложив руки за голову. На бороду ему и лицо сели снежинки. Потап вдохнул пряный и морозный холод и сказал:

— Потап, ты дурень, она погубит тебя. Бедная девочка. А все-таки ей нужно узнать счастье.

Офицеры пришли все сразу; за ними протеснились трое штатских в нафталиновых сюртуках и, не смея сесть, стали у печки.

Штабс-капитан упал на диван и захохотал, потирая руки. Потоп сел напротив, и его тяжелое, в бакенбардах, лицо с орлиным носом словно повисло меж двух свечей.

Офицеры обступили стол, Пряник сжимал в руке мокрую кредитку.

Образцов вынул дорогую табачницу, закурил, пуская дым сквозь усы, положил гладкий портсигар перед собой и, постучав по столу, крикнул половому, чтобы принес карты. Потом с треском разломил колоду и, опустив глаза, сказал:

— Прошу, игра начата, в банке тысяча.

Диван затрещал под штабс-капитаном.

— Половина, — сказал он с трудом.

Штатские отошли от печки и нагнулись над свечами.

— Дана, — спокойно ответил Образцов во время молчания, когда слышался только шелест карт.

Так началась игра. Ловкие руки Потапа словно летали над столом, разбрасывая «верные» карты, и, отдав первые ставки, он стал брать, складывая деньги под табачницу. Лицо Потапа точно окаменело, и, словно освещая его, поднимал он иногда злые серые глаза.

Штабс-капитан сидел с распухшим носом и вытирался, офицеры хмурились, иные грызли усы и торопливо доставали бумажник, штатские осмеливались даже наваливаться сзади на спины. В номере с полосатыми обоями было душно и прокурено. Вдруг на улице затрещали выстрелы, и морозные узоры на окнах осветило багровым светом.

Потап выронил колоду и, поспешно встав, подошел к окну. Там, наискосок, на катке вертелись огненные колеса, трещали бураки, рассыпались фонтаны. И в этом аду бегал, с развевающимися рыжими волосами, и все поджигал сам пиротехник Буров.

Образцов быстро повернулся, обхватил вставшего подле Пряника за плечи и шепнул:

— Ради бога, ты меня любишь?

— Хочешь, я палец отрежу, — прошептал Пряник.

— Хорошо, я верю. Милый, беги сейчас на каток, скажи ей, что я люблю, надень коньки, катайся с нею, я приду.

— Образцов, что же вы, — зашумели офицеры, — мы ждем.

— Одну минуту, господа. Пряник, беги же.

Потап вернулся к столу, сдал карты, облокотился и, улыбаясь, задумался.

— Да ты, братец, раскис! — воскликнул штабс-капитан. — Не вовремя, братец.

Образцов посмотрел на него, топорща усы, потом осторожно двумя пальцами взял несколько карт, рванул, бросил под стол и сказал:

— Спросим новые, правда? Эти попачканы.

На катке в это время по темному льду, по отблескам пламени из десяти адских колес, свиваясь и легко наклоняясь, пронеслись, как тени, барышни и гимназисты; загородку облепил черный народ, на заборах торчали головы и скрюченные мальчишки; а на льду на скамейке столоначальник Храпов брезгливо морщился, отворачиваясь от жены.

— Я не знала, когда выходила замуж, что вы мучитель, — говорила ему Наденька, вынув из муфты платок. — Что я сделала вам плохого? Господин Образцов высшего общества, и у него манеры, а вы ко мне придираетесь. И вообще вы должны помнить, что я молодая женщина.

Столоначальник, который терпеть не мог ни катка, ни фейерверков, обиженно молчал. Наденька прикладывала к щекам платочек. Вдруг она увидела подбегающего Пряника, поднялась навстречу, подала ему руки и, взмахнув краем юбки, унеслась по льду.

— Он вас любит безумно, — сказал Пряник, задыхаясь.

— Тише, — прошептала Наденька, — за нами следят, — и углы ее нежного рта воздушно усмехнулись.

Так скользили они и кружились, то вступая в пламя фонтанов, то пропадая в тени, и все говорили об одном, торопясь и перебивая. А длинные, зыбкие тени двигались по зеркалу катка, и много было тонких, и тучных, и наклоненных вперед, и взмахивающих руками, то сцепившихся, то пишущих круги, но ни одна тень не походила на Образцова.

Наденька, наконец, примолкла и опечалилась. Пряник оглядывался на ворота. Наконец он потихоньку сжал Наденькины руки и сказал:

— Его не пускают, я уж знаю, там идет страшная игра. Наденька, если бы вы знали — он герой, честное слово.

И Пряник, сбросив коньки, побежал наискосок в гостиницу, где у подъезда стояла тройка и толстый ящик хлопывал рукавицами.

Распахнув дверь, Пряник в табачном угаре увидел Образцова, который, сложив на груди руки и закинув голову, стоял у стенки; на него напирал штабс-капитан в расстегнутом мундире; офицеры, протягивая руки, грозились и негодовали; Бамбук, позади всех, размахивал саблей; штатские, увидев Пряника, стали объяснять, что Образцов, обыграв всех, уливает теперь от игры...

— Пряник, — воскликнул Потап сквозь шум, — она ждет, да?

Пряник, мотнув головой, сделал страшные глаза и показал за окошко. Потап топнул ногой и крикнул:

— Хорошо, мне нет больше времени, я ставлю последний раз все деньги, прошу идти — ва-банк. Пряник, мечи, мне они не верят.

Потап бросил на стол толстую пачку денег и отвернулся к окну. Пряника подхватили, сунули колоду в руки, штабс-капитан, ломая мел, пометил карту, и Пряник стал класть направо и налево.

— Скорее, — крикнули ему.

— Бита, — ответил он шепотом. Штабс-капитан схватился за голову и сел на пол.

Тогда Потап, криво усмехаясь, повернулся от окна и сказал:

— Ну что, теперь отпустите меня?

— Нет! — заорал Бамбук. Штатские стали у дверей, а штабс-капитан простонал:

— Не пускайте его!

— Хорошо, — продолжал Потап, — тогда окончим игру, как вчера.

Он приостановился, провел по волосам и вдруг крикнул:

— Казацкий штос!

Штабс-капитан, вскочив, кинулся на стол, который затрещал и повалился вместе с ним; погасли свечи, и на обоях затанцевали тени рук и голов и красные пятна огней.

Потап в это время, выбежав с Пряником на мороз, вскочил в сани, пересек улицу и, остановив тройку у ворот катка, сказал Прянику:

— Милый, скорей, скажи ей, что я умру, если не придет.

Но из ворот в это время вышла Наденька; столоначальник сзади нес ее коньки. Наденька ахнула и прижала муфту к груди. Потап взял ее за руку, сказал: «Ваш муж один найдет домой дорогу» и потянул к себе. Наденька, слабея, ступила ногой на подножку, Потап увлек ее в сани, крикнул: «Пшел», и прозябшие кони рванулись вскачь.

Столоначальник тотчас же побежал в другую сторону за полицейским, а Пряник, до которого из морозного вихря долетели слова Потапа: «Скажи всем, что сегодня я был честный человек», долго еще стоял у ворот катка, снимая и надевая белые перчатки.

Потом уже, когда весь городок был потрясен скандалом, объяснили Прянику, что Потап был не иначе как подослан каким-нибудь графом — похитить Наденьку. Или был просто австрийский шпион. В нашем городке любят вообще создавать слухи.

МЕСТЬ

1

Февральский сильный ветер дул с моря, хлеща дождем и снегом вдоль улицы, лепил глаза, барабанил по верхам экипажей, забивал хлопьями огромные усы городовому, брызгал из кадок и надувал полосатую парусину на подъезде спортивного клуба барона Зелькена...

Придерживая полы раздувающейся шубы, прикрываясь воротником, в подъезд быстро вошел небольшого роста человек; сдерживая нетерпеливые движения, сдернул перчатки, сбросил великану швейцару шубу и, положив ладонь на пробор, взгляделся у зеркала в суженные свои зрачки; лицо его было нервное, худое, с небольшими усами и русой бородкой. Оглянув себя, поморщился...

— А вас, Александр Петрович, ждут... Барон уж три раза спустился сюда, — все не едете, — густым голосом сказал швейцар.

— Все в сборе?

— Только вас и дожидаем.

Александр Петрович Сивачев взбежал по красному ковру лестницы, на второй площадке потрогал сердце, нахмурился...

«Так нельзя, проиграю. — Он лениво опустил веки, поднялся еще на один пролет и нажал ручку тяжелой двери. — Ужели удача? Да, иначе быть не может, иначе...»

В длинном и низком зале спортивного клуба, громко разговаривая, ходили молодые люди в черных визитках, в студенческих сюртуках, в гимнастических фуфайках. Из конца в конец шнырял короткий и крючконосый барон Зелькен, блестя глазами подагрика и пломбами зубов. Все, и особенно Зелькен, были взволнованы: сегодня на пари в тридцать пять тысяч состязались князь Назаров и Сивачев.

Князь был богат; отец его, суконный фабрикант, купил в свое время в Италии титул и завещал сыну раз и навсегда показать, какие такие есть на свете князья Назаровы. Александр Сивачев жил, как уверяли друзья, «на проценты со своих долгов». Сегодняшнее пари было решающим для него: выигрывая его, он выигрывал жизнь. Проигрыш — гибель.

Князь, одетый в клетчатое, просторное, как мешок, платье, долговязый, с оттянутым подбородком, стоял поодаль у стены и лениво пере-

мился, стараясь гримасами показать двум своим постоянным льстеликам, Жоржу и Шурке, что они такие же свиньи, как и все люди вообще.

— В сущности, это почти дуэль, — сказал Жорж.

— А не хотел бы я быть на месте Сивачева, — сказал Шурка.

— Он сам виноват, таких учат, — брезгливо ответил князь. Ни щках у него выступили красные пятна, глаза забегали: в зал вошел Сивачев. Он извинился за опоздание и с улыбкой поклонился князю; тот торопливо ответил и, будто застыдясь торопливости, строптиво вздернул голову.

— Начинайте, начинайте, — заторопили все.

В конце залы на окованном и подбитом железом щите укреплена была мишень, отступя десять шагов, протянули на столбиках нструю веревку; за зеленым столом сели судьи; барон, свернув жребии, тряс их в котиковой шапке.

— Господа участники, — сказал он взволнованно, — правила состязания следующие...

2

Год тому назад князь Назаров, сидя на Крестовском в кафешантане за бутылкой шампанского, отчаянно скучал. Постоянные компаньоны его, Жорж и Шурка, отсутствовали, женщины надоели, все насквозь было известно. Грызая миндаль, морща кислое лицо, он разглядывал безголосую «этуаль», прельстительно вертевшую подолом среди цветов на эстраде... «Стерва, — думал он, — раздеть ее в кабинете, да и вымазать горчицей, только и стоит».

Скверное настроение князя Назарова усугублялось еще и тем, что наверху, над столиком, где он сидел, за окном кабинета слышалось цыганское пение и порою такой громкий, раскатистый, веселый хохот, что князь невольно косился на плотно занавешенное окно. «Хамы, — думал он, — вот хамье...» Наконец он подозвал лакея и спросил:

— Кто там шумит?..

— А это, ваше сиятельство, господин Сивачев третий день бужуют и хор задерживают. Даже кровать приказали поставить. Ничего с ним не можем поделать...

— Какой Сивачев?.. Синий кирасир?..

— Так точно, ваше сиятельство.

Этот синий кирасир, Сивачев, не давал покою князю Назарову; он был адски шикарен, красив и, как никто, имел успех у женщин. Где бы князь ни появлялся — в кабаке, на скачках, в балете, на Морской в час гулянья, на Стрелке, — всюду поперек горла становился ему синий кирасир. За плечами его клубилась скандальная слава отчаянного кутилы, беззаботного игрока и обольстителя женщин... Все бы на свете отдал Назаров, чтобы так же, как этот наглец, проматывающий последние деньги, пройтись по крепкому морозу в распахнутой бобровой шинели, нагло звякая шпорами,

небрежной улыбкой отвечая на взволнованные взгляды женщин... У князя распухла печень при мысли о Сивачеве...

Сейчас, например, он видел, что взгляды всех сидевших в зале обращены на окна кабинета, где бушевал Сивачев. Князю нестерпимо захотелось попасть туда... Он даже засопел от возмущения, — а все-таки хотелось: только там, черт возьми, было весело...

Кончилось это тем, что он послал в кабинет записку, полную унижения и наглости. Сивачев должен был знать про миллионы князя Назарова. Нищий аристократишка, что бы там ни было, но согнется в три дуги. Несомненно! А все же у Назарова екало сердце от робости, и он до бешеного сердцебиения сердился на себя. Вышло так, как нельзя было и ожидать: штора на окне кабинета отогнулась резким движением, окно раскрылось, и в нем, облокотясь о подоконник, появился синий кирасир. Он был бледен, под глазами — круги, мундир расстегнут, шелковая сорочка помята, на шее, нежной, как у женщины, висела связка образков и ладанок. Он был так жутко красив и странен, что чей-то женский голос в зале ахнул громко: «Ой! Красавчик!..»

Рядом с Сивачевым стоял лакей, державший записку Назарова. По приказу Сивачева он согнутым мизинцем осторожно указал на князя. Само собою вышло, что князь приподнялся, кланяясь. Но синий кирасир не ответил на поклон. Одна бровь его пьяно полезла вниз, друг задралась.

— Пошли его к черту, — отчетливо произнес он, и штора упала...

Скандалец этот получил некоторую огласку. Тысячи способов мщения приходили Назарову в голову — дуэль, мордобитие, скупка сивачевских векселей и так далее. Но ничего поделать было нельзя. Оказалось, что та ночь на Крестовском окончилась плачевно: Сивачева увезли домой в белой горячке. Кроме того, Назаров узнал, что его враг проматывал тогда последние деньги: он был разорен.

Сивачеву пришлось выйти из полка. С полгода его нигде не было видно... Осенью Назаров встретил его в балете, — он был уже в штатском, — во фраке, сидевшем на нем, как перчатка. Назаров почувствовал, что голова сама так и гнется — поклониться Сивачеву... Это было как болезнь... Он навел справки, — выяснилось, что Сивачев получил какие-то деньжонки от вовремя умершей тетки, но, в общем, крайне стеснен в средствах... Все же он всюду бывал, — самый элегантный человек в Петербурге. Назаров невольно стал подражать ему в уменье носить платье, цилиндр, выбросил бриллиантовые перстни и запонки, перестал разваливаться в экипаже. Когда ловил себя на всем этом, — скрипел зубами от ярости. Он делался тенью Сивачева. Он искал с ним знакомства.

Наконец их представили друг другу. Сивачев сказал подбабочие в этом случае учтивые слова, но к себе не подпустил ни на волосок. При встречах с тех пор он всегда первый кланялся, и затем Назаров как бы переставал существовать для него.

Однажды они встретились в спортивном клубе барона Зелькена, куда Назаров заезжал каждый день — стрелять. Прихлебатели, Жорж и Шурка, затеяли спор о стрельбе. Стали состязаться. Назаров

и Сивачев стреляли почти одинаково. Затем Назаров пригласил всю компанию к Донону завтракать. Назаров шепнул Зелькену: «Непрерменно тащите Сивачева...» Сели на лихачей, запустили по Невскому. У Назарова прыгало сердце от возбуждения и радости. За столом он сел напротив Сивачева... Он рассматривал это ненавистно красивое лицо, в величайшем возбуждении тянулся к нему с бокалом, чокался... Опьянев, откинулся на стуле, засунул между зубов зубочистку:

— Господа, сегодня мы стреляли с Александром Петровичем Сивачевым. Говорят — мы равны по силам... Я утверждаю, что я сильнее и перестреляю Александра Петровича... Что? Не согласны?... Александр Петрович, желаете пари?... Из десяти выстрелов — десять в точку... Что?

— Хорошо, держу пари, — ответил Сивачев.

— Ваше слово... Ага!.. Но зачем же так — всухую... Держу пари на тридцать пять тысяч...

Сивачев мгновенно побледнел, лицо его стало злым. За столом — ни дыхания. У Зелькена апоплексически начали выкатываться глаза...

— Держу, — ответил Сивачев и ледяным взором взглянул в оловянно-мутные глаза князя Назарова.

3

Вытянув жребий, Назаров с коротким хохотом сказал: «Ага, я первый...» Подошел к веревке. Ему подали пистолет... Осмотрев, поджал губы и, почти не целясь, выстрелил.

— Есть, — тихо сказал Зелькен, глядя в бинокль.

В зале все стихли. Назаров выстрелил еще и еще. Все пули ложились в центральный черный кружок. После десятого выстрела он наклонился, всматриваясь.

— Не умеете заряжать, — грубо крикнул он Зелькену и швырнул пистолет на пол: пуля отошла на полдюйма, но все-таки это был верный выигрыш. Все окружили князя. Он лениво потряхивал натруженной рукой и собирался чихнуть от порохового дыма, ходившего под низким потолком. Жорж ударил себя по колену, Шурка визгливо хихикал. — Ну что же, может быть, Александр Петрович отказывается теперь от пари? — сказал Назаров насмешливо...

Не ответив, Сивачев подошел к веревке, заложил левую руку за спину, раздвинул ноги, отыскал ими верную опору. Касаясь пистолета, он почувствовал, что мускулы тверды и напряжены свободно... Он посмотрел на десять черных кругов мишени. Круги зарябили и поплыли. Сивачев закрыл глаза и снова взглянул; теперь различал он одну только среднюю точку и ее продолжение — обе мушки. «Надо взять на дюйм с четвертью ниже, вот так». Он выстрелил... «Центр», — сказал Зелькен. После выстрела рука его стала стальной, сердце хорошо, покойно билось. Он выпустил еще четыре пули. Оглянулся на Назарова. У того лицо застыло в гримасе. Сивачев отошел от веревки на пять шагов, снова взглянул на князя.

— Это не меняет пари, правда, князь? — спросил он небрежно и с этого дальнего расстояния всадил остальные пять пуль, одну как в одну. Протянул кому-то из стоящих пистолет, слегка поклонился и пошел к двери.

Раздались аплодисменты. Сивачева окружили. Зелькен, поздравляя, тряс его за руки... Тридцать пять тысяч здесь же были переданы ему Жоржем и Шуркой, — Назаров вышел раньше, ни с кем не простившись.

4

Дождь хлестал в окно автомобиля, где, засунув в меховой воротник злое лицо, сидел Назаров. Напротив него уныло дрогли Жорж и Шурка, один горбоносый, другой — нос башмаком, в чем только и было у них различие.

— Омерзительная погода, — закатив оловянные глаза, сказал Жорж.

— Куда бы нам поехать? — прошепелявил Шурка. — Черт знает какая скука...

— А, по-моему, с этим Сивачевым так нельзя оставить...

— Прошу о Сивачеве не напоминать, — бешено крикнул Назаров. Друзья пришипились, замолчали. В окно хлестало грязью...

— Послушайте, господа, pardon, я все-таки скажу, — зашепелявил Шурка, — я придумал план. Вы согласны?

— Какой план?

— Дело в том, что мы страшно будем хохотать... Мы лишим Сивачева этих денег... Согласны, князь?..

Назаров только засопел, не ответил, но явно это было знаком согласия. Шурка постучал длинными ногтями шоферу и дал адрес на Кирочной. Густой снег сразу залепил воротники и цилиндры вылезших из автомобиля молодых людей. Шурка стал звонить в сомнительный подъезд.

— Дома Чертаев? — спросил он у горничной. — Идем, господа. — Они сбросили шубы и вошли в накуренную столовую. Под абажуром у стола сидели двое — стриженный, словно каторжник, высокий человек, с глубокими морщинами и черными, как у турка, усами, и старый какой-то полковник. Из двери в спальню высунулась рыжая растрепанная голова молодой женщины в черном китайском халате. Человек с усами поднялся и проговорил басом:

— Ба, ба, ба, — да это Шурка... И Жорж (он вопросительно уставился на Назарова)... Имею удовольствие...

— Аполлон Аполлонович Чертаев, — подскочил к Назарову, представил его Шурка. — Князь Назаров... Полковник Пупко... Князь Назаров...

— Очень приятно, — прибавил Чертаев. — Садитесь, ваше сиятельство... А мы, кстати, кофеек собрались пить...

— Дорогой, — похлопывая Чертаева, сказал Шурка, — мы к тебе по важному делу. Нужна твоя услуга, твое умение, если хочешь, и все такое прочее...

— Что же, — рад служить... Так что же — кофейку, князь?..

5

В тот же вечер Сивачев ходил у себя в номере по вытертому ковру. Две свечи горели на туалете, где в поцарапанном зеркале отражались разрозненные флаконы для духов, — остатки роскоши, поношенные галстуки, пара дуэльных пистолетов и пачки кредиток, — тридцать пять тысяч, — разложенные на ровные пачки.

«Сомнения быть не может, — стряхивая ногтем пепел с папиросы, думал Сивачев, — я заплачу по тем фамилиям, которые подчеркнуты (у него имелась книжечка, где против фамилии стояла черта, нолик или крест); нолики подождут, а крестики — когда-нибудь... И так, у меня остается две тысячи восемьсот... (Он взял одну из пачек, пересчитал и сунул в боковой карман.) Скажем — это сегодняшней вечер... Завтра я уплачиваю самые позорные долги... А что — дальше?

Он продолжал хождение по вытертому ковру... Нищета этой гостиничной комнаты, безнадежность завтрашнего дня, непомерная усталость — ощутились им именно сейчас, когда он держал в руках деньги... Он вдруг почувствовал, что — погиб, что он давно уже погиб... Все растрчено, прожито, развеяно по ветру... И сил жить, бороться не было... Служить — на гроши, — нет!.. Жениться на богатой, — бред, бред!.. Словом, он почувствовал с необычайной ясностью, что если сейчас же не закрутится в чертовом вихре, не забудется, — то неизбежен единственный выход: он тут под руками...

Еще раз Сивачев просмотрел список долгов... Вырвал страничку с ноликами, черточками и крестиками, скомкал, швырнул, сунул все деньги — все тридцать пять тысяч — в карман, надвинул на глаза бровью шапку: «А, черт, все равно!..» — и быстро вышел из номера.

Мрачно шумели оголенные деревья на островах, куда мчал его лихач. На Крестовском швейцар кинулся высаживать. Сивачев вошел в теплый, устланный красным бобриком вестибюль, где пылал камин. Привычный запах кабака вздернул его нервы. У огня стояла рыжая великолепная женщина в собольем палантине. Из-под огромной шляпы с перьями глядели на Сивачева расширенные зрачки темных тяжелых глаз. Со смехом он взял красивую руку женщины и поднес к губам:

— Вы здесь одна?

— Да...

— Проведем вечер вместе?..

Под собольим мехом ее розовое плечо приподнялось и опустилось. Ало накрашенные губы словно нехотя усмехнулись. Она освободила правую руку из-под меха и просунула ее под локоть Сивачева. Они вошли в зал.

— Здесь скучно... Может быть, пройдемте в кабинет?

- Пройдемте...
- Я вас никогда раньше не встречал... Как вас зовут?
- Клара.

6

После полуночи лихач, с храпом выбрасывая ноги, уносил Сивачева и Клару по набережной. Нева вздулась, и черно-ледяные волны плескались совсем близко о гранитный парапет. Обхватив Клару, Сивачев наклонился к ее лицу, отвернутому от резкого ветра, вдыхал запах духов, меха и вина.

— Ну, что еще? — сказала Клара, прижимаясь к нему. — Ну, что?.. — Сивачев прильнул к ее губам: они были нежные и теплые, — она запрокинулась, подняла руку. Шапку его сорвало ветром, она прикрыла ему голову муфтой.

— Довольно, — отрываясь, сказала Клара, — слушай: если у меня сидят, ты входи, все равно нам не помешают...

— Я люблю тебя...

— Ну, уж в это-то я не верю...

— Молчи, молчи, ты все равно ничего не поймешь... Эта ночь моя, эта ночь наша...

В доме на Кировной окна были освещены. Клара опять зашептала: «У мужа гости, ты заходи, мы всех спровадим». В темном подъезде она скользнула поцелуем по губам Сивачева. Он взмошел за ней, как в чаду, ничего не видя.

В столовой, пыхая дымом, Чертаев и полковник Пупко пили коньяк и ликеры; Пупко крутил бакенбарды, разноцветный нос его сиял; увидев Сивачева и Клару, он опустил брови и запел басом: «Он ей сказал: клянусь я вам, я жизнь и шпагу — все отдам для поцелуя». Чертаев, поведя усами, отошел к буфету и достойно поклонился. Сивачев едва ответил на приветствие. Клара сердито топнула ногой: «Опять напились, убирайтесь отсюда, пьяницы!» Она растопырила пальцы, как маленькая, и шепотом Сивачеву:

— Что с ними делать?.. Пьяные оба...

— Люблю, — сказал Сивачев.

— Тише, молчи... Знаешь что — надо их в карты усадить играть... Проиграй им какую-нибудь мелочь... Они будут очень довольны, оставят нас в покое...

Согнутым коленом она коснулась его ног... Шептала, бормотала, дышала в лицо горячим дыханием. От волнения, духоты, вина — Сивачеву стало дико на душе.

Сизоносый Пупко кричал, мотал бакенбардами:

— Желаю выиграть руп двадцать...

Чертаев все с тем же достоинством начал раскрывать ломберный стол. Зажег свечи...

— Я мечу банк, — кричал Пупко, — руп двадцать!..

Сивачев сел к столу, Клара — рядом, положив голую руку ему на плечи. Он вынул из кармана, не глядя, пачку денег, сдал и выиграл. Клара засмеялась. Пупко, схватив себя за бакенбарды, рывинул рот, пялился на свет свечей, хрипел. Сивачев опять сдал и снова выиграл. Тогда Чертаев спросил его хмуро:

— Примете вексель?

«Ох, слишком везет, не надо играть», — быстро подумал Сивачев. Клара подала стакан с вином, он выпил залпом. Пупко сграл бакенбардами по кредитным бумажкам.

— Ва-банк, — сказал Чертаев, закусывая длинный ус, и — выиграл. Теперь стал метать он. Сивачев ставил, не считая, и проигрывал. Из-за плеча белая Кларина рука опять поднесла ему стопочку огненного напитка. «Гибну, гибну», — подумал он с диким весельем. Пупко теперь перестал кривляться, багровое лицо его было серьезно. Чертаев сдавал все так же мрачно и невозмутимо.

— За вами семь тысяч, — сказал он. Сивачев полез по карманам. Там ничего больше не было. Клара исчезла.

Сознание гибели словно пронзило его от головы до коченеющих пальцев. Сквозь сигарный дым лицо Чертаева казалось страшным, как у разбойника.

Упал стул. В дверях прихожей стоял князь Назаров, с боков его кривлялись две морды, Жоржа и Шурки. Сивачев провел рукой по глазам. Поднялся. Назаров, отвратительно улыбаясь, сказал:

— Не одолжить ли вам, сударь, несколько денег... Тогда Сивачев глухо вскрикнул, — поднял стул, замахнулся им, но сзади на него, поволокли к двери, выпихнули на холод, вдогонку швырнули пальто.

Сивачев ухватился было за угол дома, но, скользя, сел на ступеньки и так сидел, засыпаемый, при свете фонаря, мокрым снегом.

7

Прошла зима... Невский клуб, известный в ту пору крупной игрой, гудел, как улей. У золотого стола стояла толпа, жадно глядя, как люди в смокингах поднимали скользкие карты, осторожно заглядывали в них, и на сукно сыпалось золото и бумажки.

Банк метал Сивачев, не спеша раздавая карты. Его лицо сильно изменилось за это время, осунулось, пожелтело, между бровей лежала резкая морщина... Через стул от него сидел Чертаев. Напротив князь Назаров, — этот был, как в лихорадке, красный — пятнами, весь обсыпан сигарным пеплом... Карты дрожали у него в пальцах.

В толпе, окружавшей стол, расспрашивали про Сивачева. Он играл в клубе всего третий раз... Говорят, в первый-то раз пришел худащий, страшный... Но ему дьявольски повезло оба раза... А сегодняшний банк перевалил за сто тысяч...

Никто из присутствовавших не знал, что месяц тому назад Чертаев, зайдя однажды в один из карточных притонов у Пяти

Углов, чтобы поиграть для души — честно и недорого, в подвальной комнате, где резались в «железку», увидел Сивачева, но такого обшарпанного, с ямами на землистых щеках, с воспаленными глазами, в грязном белье, что, не стесняясь, взял его под руку:

— Александр Петрович, вот не ожидал, дорогой... Идем водку пить.

У Чертаева мгновенно возник особый и замечательный план, и, хотя Сивачев, быстро обернувшись, оскалил зубы и скользнул было в толпу «арапов», он, добродушно хохоча, увлек его в грязный буфет и, глядя, как тряслась у Сивачева рука, держа студеную рюмку, сказал ему, значительно подмигнув:

— В нашем деле, Александр Петрович, главное — верная и точная рука. Эка у вас как трясется...

— Идите к черту, — ответил Сивачев, — денег, что ли, хотите дать?

— Давно в таком положении?

— Пью четвертый месяц.

— Значит — вдрызг, до нитки?

— А вам какое дело?

— Послушайте, Александр Петрович, вы — дворянин, так нельзя все-таки, вы даже, вот видно, и не мылись.

Сивачев с бешенством поглядел на Чертаева, потом уперся локтем о столик, перекосясь и вдруг легко, по-алкоголичьи заплакал. Крепко взяв его повыше локтя, Чертаев сказал:

— Вы должны мне довериться... Мы все поправим...

Сивачев задвигал бровями, силясь понять; глаза его на минуту, словно прояснев, расширились:

— Вам, что ли, нужен свеженький, для гастролей?..

— Да!..

Тогда Сивачев медленно схватил себя за голову, глаза его закатились, — скрипнул зубами, но — и только... Чертаев увез его к себе, вымыл в ванной, и Сивачев ровно сутки спал у него на диване... Затем Чертаев много с ним говорил, посоветовал к нему переехать жить на некоторое время, на что тот без возражения согласился... Оказалось, что у него не было даже перемены белья. Чертаев все это ему купил и в продолжение одиннадцати ночей обучал Сивачева знаменитому чертаевскому приему с шелковым поясом, который надевался под жилет, — в нем скрывалась «накладка», или особым образом стасованная колода. Неожиданно Сивачев проявил большие данные. Было условлено, что Сивачев играет только три раза. Двадцать пять процентов с выигрыша идут в его пользу, остальное — Чертаеву. Сивачев и на это согласился...

Сегодня после огромного напряжения Сивачеву удалось, как и в первые два раза, незаметно положить «накладку» (Чертаев затеял в это время ссору в другом конце стола). В «накладке» было шестнадцать ударов, — целое состояние... Девять раз он уже прометал. Князь Назаров шел все время ва-банк. В это время к Чертаеву подошел Шурка и шепнул:

— Сегодня Сивачев купил билет в Париж, — понимаете?..

Сивачев убил десятую и одиннадцатую карты.

В банке было восемьсот тысяч... На всех столах бросили играть, столпились у золотого стола. Тогда Чертаев, перегнувшись через колоду, сказал:

— Александр Петрович, возьмите меня в половинную долю.

— Нет, — резко ответил Сивачев...

— Двадцать пять процентов мои?..

— Нет.

Князь в это время пошел опять ва-банк. Сивачев убил и двенадцатую карту.

В зале стало слышно, как со свистом дышит кто-то апоплексический... Князь вынул платок и отер череп...

— Ва-банк, — сказал он...

— Десять процентов? — спросил Чертаев.

— Нет, — как ножом полоснул Сивачев...

Тогда Чертаев поднялся, ударил костяшками руки по столу и крикнул:

— Господа, прошу снять деньги: карты краплены.

У Сивачева сейчас же упали руки. Он позеленел, отвалилась челюсть.

— Я был уверен в этом, мерзавец! — закричал ему Назаров, схватил, царапая по сукну ногтями, три карты, разорвал их и бросил Сивачеву в лицо.

Сивачев поднялся, рванул на себе фракный жилет, из-за шелкового пояса вытащил обменную колоду, подал ее князю и кинулся в ревушую толпу...

Утренняя заря ударила в окна, вдали загромыкала по рельсам первая конка, а Сивачев все еще сидел у себя в номере, курил, глядел на высокие над Петербургом розовые перья облаков.

Мыслей не было, — только мчались воспоминания, иногда сожаления. До мелочей припомнился сегодняшний вечер, — весь страх перед тем, как сделать роковое движение, усилие воли и — удача... Зачем он заупрямился? Отдать бы Чертаеву половину... Нет!.. Он чувствовал, что в этом упрямстве он весь... А — Назаров?.. Ну, этот заплатит за все...

Сивачев вынул из ящика пистолет, отмерил порошу, разорвал носовой платок — запыхил, вкатил пульку, забил ее деревянным молоточком и, сунув пистолет в карман брюк, вышел... Но через несколько минут он вернулся, ища папирос... Он избегал зеркала... Папиросы лежали на туалете... Беря их, он все же взглянул на себя... Из мутного зеркала смотрели на него побелевшие глаза, расширенные ужасом... Тогда он осторожно снял шляпу, провел по лбу, где был красноватый рубец от нее, резко отдернул кверху рукав. Приложил дуло к середине лба и, криво усмехаясь, нажал курок...

ШАРЛОТА

В деревне Ивана Сапрыкина звали — Дурындас. Бог знает, кто так прозвал его, но, должно быть, не напрасно две каких-нибудь бабы, стоя у ворот, посмеивались: «Дурындас боронить выехал. Вот, девоньки, дурак! И-и-х, милая моя!»

Дурындас в это время, низко опустив голову, ехал верхом на рыжей кобыле, позади которой тащилась вверх зубьями борона. Голова у него была редькой — стриженная, сам — конопатый, с галчиными глазами, костистый и высокий парень. Жил он со своей бабушкой на краю села, от зари до ночи находился при деле; если работы не было — так веревочку вил или тесал лесину; слова от него никто не слышал путного, а если и скажет, то не как люди. Девок на селе не трогал; оженить было его хотели соседи, — сказал: «Куда мне ее, бабу? Наломаеться с ней, а пользы мало». С парнями никогда не гулял; на сходе один раз протискался в круг и закричал ни с того ни с сего каким-то еловым голосом: «Вот, значит, этого, как его, я не согласен». А что ему тогда не понравилось, так никто и не узнал. Пробовали его бить осенью: ничего особенного не вышло, полежал — и все. Когда же забрили Дурындаса, девки пели на все Гнилые Липы:

Ох, я выпила бы квасу,
Да под ложкой колется.
Проводила Дурындаса
До самой околицы!

Рост у Ивана Сапрыкина был дюжий, и повезли его прямо в столицу, сдали в гвардейский полк. Стали учить. Солдат он был исправный, не баловался; только унтер-офицер никак не мог распознать: о чем Иван думает?

Однажды унтер доложил капитану Хлопову:

— Так и так, у рядового Сапрыкина нос шибко вострый. Определить бы его в денщики, кушанья нюхать.

Ивану предложили. Он ответил:

— Если работа подходящая, можно и в денщики.

Хлопов взял его к себе на квартиру, а через месяц отправил на кулинарные курсы. Так стал Дурындас поваром.

Капитан Хлопов был человек веселый, толстый и холостой. Работал он как простой мужик — с семи утра на занятиях. Обедать прибежит, кричит на всю квартиру: «Дурындас, воды! Да похолоднее». И пока Иван его обливает, от его благородия пар идет, а сам красный.

А съест обед — непременно похвалит, выругается для сварения желудка и с полчаса храпит так, что даже страшно. Потом опять уйдет до ночи солдат словесности учить; дело нелегкое: иной такой попадется рязанский мужик — ружье берет с опаской, как бы в ручищах не поломать ему казенную вещь, — а его научить надо писать буквы. И сидят на занятиях офицер и солдаты потные.

Денщиком своим капитан оставался очень доволен; иногда пошмивался, часто говаривал:

— Хоть бы ты, Иван, знакомство завел с кухаркой. Как бы со скуки не натворил чего.

— Никак нет, не натворю, — отвечал Иван.

Однажды в понедельник проснулся капитан Хлопов поздно, потребовал шесть бутылок содовой. Лежит, курит и на Ивана поглядывает, как тот убирает в комнате.

— Скажи, пожалуйста, отчего тебя Дурындасом прозвали? — спросил капитан.

— Не могу знать, ваше благородие.

— Отвечай, — крикнул капитан, — пока с постели не встану — я тебе не начальство. Видишь, у меня голова трещит.

— Значит, прозвали оттого, что я недоделанный.

— Как так?

— Этого я сам не могу знать; себя не чувствую, ваше благородие.

— Ну, если я в тебя, например, сапогом запущу?

— Не в тех смыслах; очень я, ваше благородие, жалобный. С этого — и Дурындас. Не могу, как люди: каждый человек себя уважать привык, а я вроде сонного. Оттого меня и девки не любят. Я так полагаю, ваше благородие, с чего же это я себя уважать стану? Собака, скажем, — должен я ее любить, а не перед ней гордиться.

— Пошел, принеси содовой, — сказал капитан и долго еще смеялся.

Настало лето. Объявили войну. Капитан Хлопов в один день мобилизовался и уехал со своей батареей на позиции; Дурындас успел только купить защитную фуражку с ремешком да захватил кое-что из посуды, ваксу — сапоги чистить и колоду карт. На пятый день хлоповская батарея уже была по немцам.

Случилось это очень просто: ночью выгрузились из вагонов, поехали рысью, к завтраку стали на место, позади пехоты телефонисты побежали с проволоками, саперы вкопали батарею, запу-

тали колючками кусты, ушли; с пушек сняли тряпье, амунисию, колпаки, почистили, смазали, стали ждать.

Неподалеку за пригорочком Дурындас оставил и свою «батарею»: приладил на колышках палатку, постелил в ней войлок, раскрыл его благородия чемодан; за палаткой выкопал ямку, в ней — печурку с двумя продухами: один для дыма, другой — вроде конфорки; развел жар, поставил чайник греться, а сам захватил грязные капитанские сапоги и пошел чистить их на пригорок.

Место здесь было вольное: озера небольшие, протоки между ними, с боков дорог и у озер — деревья, и повсюду хлеба. День — жаркий после дождя, хоть сейчас купаться.

Дурындас поплеывал на сапоги, чистил их щеткой и рукавом, поглядывал, как около пушек хлопочет прислуга, как расхаживает капитан Хлопов, то посмотрит в бинокль, то нагнется к телефонисту, что сидит в ямке, за деревом, спросит и опять отойдет, а у самого, как у кота, усы топорщатся.

«Ну, где немцам против его воевать, — думал Иван, — народу только зря много погубят».

А в это время телефонист высунулся из ямки. Хлопов подбежал, присел над ним; а уж наводчики так и прилипли к трубкам, и вдруг вся батарея от первого номера до шестого заговорила: бум-фить, бум-фить... у Дурындаса и сапог вывалился.

Уж и птицы все разлетелись, и лошади перестали биться в обозе, и два раза галопом подлетали снарядные ящики, а батарея все бухала; то и дело высовывался телефонист из ямы, и пушечный дымок стлался над озером.

Дурындас приготовил завтрак — перловый суп, баранину с рисом и блинчики — и, поджидая капитана, ворчал: «Стражение стражением, а заболит у его благородия пузичко, вот тебе и стрельба».

Не дождавшись, он налил чая в стакан, покрепче, с лимончиком, и понес на батарею. На полдороге услышал свист, будто летела над землей свинья, редела не своим голосом. Иван присел, боясь, как бы не пролился чай; в это время неподалеку клюнуло в землю, лопнуло, и столб огня, дыма и пыли заслонил пушки.

«Ну и невежи», — подумал Дурындас, воротя нос от пыли; все же добрался до капитана, подал ему чай.

— Что ты тут, сукин сын, шатаешься? — закричал на него Хлопов. — Ну, жив, что ли?

— Ничего, ваше благородие, только чаек маленько запорошило.

Капитан сейчас же выпил чай и лимон съел с кожурой, ложку для чего-то сунул в карман и кинулся к орудию.

— Дурындас, это тебе не котлеты жарить? — спросил обозный солдат.

— Конечно, боязно, — ответил Иван, — так ведь и зашибить могут.

Он еще раз добрался до капитана, помянул, что завтрак совсем перепрел, но был сейчас же послан к чертям.

Тогда Дурындас вернулся к палатке и вдруг увидел, что перед обрешенной на землю сковородкой стоит черная кудрявая собака — пудель, вертит хвостом — кости догладывает. Иван закричал на него, замахнулся чуркой, но пес отполз только шага на два, лег на бочок, жалобно завизжал, глядя в глаза. Должно быть, совсем отощала собака.

Тогда взялся Иван уши ей драть. Пудель только заскулил, полизал руки. Беда, конечно, небольшая — суп и без того подопрел, а баранина высохла; провианта же в обозе было вдоволь. Пудель, видя, что обошлось, поползал еще по траве, потом принялся скакать и вдруг показал фокус — встал на задние лапки, прогулялся назад и вперед, глядя на Дурындаса, перекинулся через спину и сунул Ивану морду между колен.

— Дружиться хочешь, — сказал ему Иван. — И то сказать, разве пес знает, чье кушанье сожрал. А как тебя звать-то?

И хотя пудель был черный и кобель, Иван тут же обозвал его Шарлотой.

На вечерней заре пушки замолчали; батарея была скрыта так хорошо, что ни с какой стороны не разглядеть ее за деревьями. Немцы пустили по ней один снаряд, да и тот был шальной. Иван понес его благородию еду на батарею, увязалась туда же и Шарлота. Иван дал ей нести палочку; а когда стали спрашивать, чья собака, он приказал ей пройтись на задних лапках. Все много смеялись, и капитан разрешил оставить Шарлоту при батарее. Только Бабочкин — фейерверкер — сказал: «Шут его знает, кобель-то черный. Как бы чего не вышло».

Дурындас устроился спать около палатки, на тюках с сеном. Он посвистал Шарлоту, чтобы легла в ногах, но она отчего-то, как каменная, стояла неподалеку, задрав ухо, будто прислушиваясь; раз только вильнула хвостом — не мешай, мол; в полусне Ивану показалось, что далеко где-то протяжно свистят.

Перед рассветом он открыл глаза от яркого света, с неба медленно опускался зонтик, под ним как жар горела алая звезда; были ясно видны деревья, пушки, часовые. Звезда погасла, и сейчас же полетели издалека бомбы, разорвались позади, впереди, с боков наших пушек.

Капитан выскочил из палатки. Волосы у него и усы торчали дыбом.

— Что? Ракеты? — закричал он.

Появился в небе второй зонтик, с зеленой звездой. Проснулся весь лагерь. Открыли огонь из пушек, но немецкие снаряды падали на самую батарею; пришлось сняться и во весь дух скакать по хлебам на новую позицию.

Иван живо посовал имущество в телегу, запряг лошадь и при свете ракет догнал пушки.

В полутора верстах, на новом месте, батарея развернулась и открыла частый огонь. И долго еще дивились солдаты, глядя, как на давешнюю их позицию продолжают падать и хлопать немецкие бомбы.

И уж совсем было чудно, когда три ночи подряд, начиная с пятого часа, немцы открывали пальбу по тому же месту. Похоже, что им донесли о расположении нашей батареи; о том же, что она переехала, донести не успели... Поблизости не было никакого поселка, через линию войск на немецкую сторону доносчику пробраться невозможно, свободно пробегали только зайцы да собаки; аэропланы не летали в этих местах; из всего этого Бабочкин — фейерверкер — вынес такое заключение: «Тут, братцы мои, не без черного».

Иван видел Шарлоту в последний раз, когда ночью она прислушивалась, задрав ухо; во время суматохи собака пропала; Дурындас даже погоревал — очень ему хотелось привезти Шарлоту в Россию: ходила бы на лапках, танцевать ее можно выучить под гармонию и другим штукам.

На четвертый день приказано было наступать, и, будто из-под земли, повсюду, где были видны только поля, холмы и дороги, поднялись войска. Иван трясся на телеге за артиллерийским парком; несколько раз батарея поворачивала хобота и стреляла; Иван, стоя в телеге, видел, как из леса на ржаное поле выбежали кучками чужие солдаты в касках, но поработали пушки, и все остались во ржи.

Капитан ходил веселый, прислуга набекрень картузы стала надевать. Дурындас много в эти дни помаялся, доставляя для его благородия провиант послаще.

— Сознавайся, мошенник, откуда петуха достал? — спросил раз капитан, заглядывая в миску.

— Не могу знать, — отвечал Дурындас.

— Украл петуха?

— Никак нет. Они бегали не при деле. Как есть дикие.

Под вечер Иван услышал — гуси кричат; вскочил на лошадь, поскакал; смотрит, по шоссеиной дороге, с немецкой стороны, бежит черная собака; он окликнул: «Шарлота!» Собака прямо под ноги кинулась. Смотрит — Шарлота и есть; хударящая, шерсть клоками, на ляжке — кровь.

Кинул ей Дурындас кусок сахара. Пока ехал за гусем — по-свистывал; Шарлота бежала сзади, веселая, едва хвост не отмотала. Привел он ее в стан, покормил, а чтобы на батарею зря не шлялась и пуще всего не подвертывалась сердитому Бабочкину, побил немного палкой. На побои Шарлота не огорчилась, когда же он удумал привязать ее на веревку — зарычала, подняла вой на весь стан, уперлась, тряся башкой, едва не удавилась, оторвала веревку. Дурындас решил, что она — пуганая...

Капитан пришел поздно, завалился на походную постель и в ответ на рассказ денщика о Шарлоте пустил такой густой храп, что Иван сказал только: «О господи, господи, грехи наши тяжкие» — и вылез из палатки.

Палатка была низенькая, наполовину врытая в землю, в ней же помещалась и печурка для варева. На следующий вечер Иван

сидел на корточках около печурки, держал над углями сковородку с гусятиной; от нее шел такой дух, что Шарлота все время неподвижно скулила; капитан лежал тут же, на вороху седельных по-лушек, покуривал, говорил Дурындасу:

— Эх ты, с кобелем связался! А может быть, он немецкий?

— Никак нет. По-русски понимает.

— И что же, тебе его жалко?

— Так точно, жалко.

— Без хозяина, сиротка!

— Никак нет. У них, по-видимости, хозяин, да голодом их морит.

И Дурындас рассказал, как в ту ночь, когда Шарлота пропала, он слышал свист. Капитан перестал курить и уже слушал внимательно.

— Поди приведи собаку, — сказал он строго.

У Ивана и сковородка затряслась.

— Ваше благородие, так ведь собака же без разума!

— Ну! — крикнул капитан.

Дурындас вышел на волю. Ночь была тихая. Вдруг, так же как тот раз, он услышал свист, и мимо него прошмыгнула Шарлота. Иван закричал, кинулся, но где было в такой темноте поймать черного пуделя.

На рассвете по батарее был открыт огонь, снаряды падали все в одно место — поправее, впереди пушек, на гороховое поле.

Стало ясно, что в тылу шляется за нами доносчик; но как он умудряется сообщаться с немцами — об этом догадался только один капитан.

Боясь, чтобы обстрел не передвинулся с горохового поля на батарею, капитан приказал уменьшить наш огонь, потом стрелять только из одной пушки. Немцы тогда подняли такую пальбу по гороху, что все поле закурилось, как труба, облако пыли и дыма потянулось на ихнюю сторону. Капитану подали лошадь самую резвую; он посадил верхами телефонистов и ускакал на запад, на холмы.

Дурындасу же был отдан приказ без Шарлоты на батарею не возвращаться. Легко сказать — пойди найди кобеля, когда на полях воробья не осталось, от пушечного треска люди в канавы попрятались, а по деревьям — в погреба. Ни посвистать, ни спросить — ходи, ищи, как в море иголку.

Дурындас пошел сначала в тыл, где около соснового леска, у стогов, расположился артиллерийский обоз. Артиллеристы лежали позади двуколок в траве, кто на пузе, кто на спине, ковыряли в зубах соломинками, один наявивал в гармонию; Дурындаса только подняли на смех.

Тогда он побрел вдоль опушки на деревню; от сгоревших из торчали трубы да кучи мусора под ними; на каменном столбе мяукал кривой котенок; старая баба ковырялась в мусоре за обугленными кустами; больше в деревне не было никого. Дурындас сел

и покурил. Старуха подошла к нему, протянула руку. Дурындас вынул ей из кисета пятак, спросил, не видала ли черную собаку.

— Нет, — сказала старуха, — все померли, — и заплакала. Дурындас подал ей еще пяточок.

Так он ходил до вечера; слышал, как одно время наша батарея стреляла до того часто, будто не считали уже очередей. Должно быть, ловко нащупав, сбивали немецкие пушки.

Проходя через лес, он увидел каменный домик в два окна. Стекла были разбиты, дверь висела на одной петле; на траве валялся диван, колесо, лоханки, всякий мусор. Дурындас заглянул в окошко: у стола сидел широкоплечий румяный старик, с длинной белой бородой; он, нагнувшись, писал на бумажке. Около, на столе же, валялось драное пальто. Заметив солдата, старик испугался, нахмурился, живо сунул бумажку под пальто и, уже кряхтя и тряся головой, принялся зашивать дыру на рукаве. Иван спросил насчет собаки; старик показал, что ничего не понимает.

— Шарлота, Шарлота, — повторил Дурындас и вдруг услышал визг за углом; там, в плетеной закутке, металась Шарлота, привязанная на веревку; она вставала на дыбки, скулила от радости — так бы вот сейчас и облизнула всего Дурындаса.

Но старик свистнул из окошка; Шарлота сейчас же легла, поджалась; Иван отвязал веревку и потянул за собой; старик, засучивая рукава, выскочил из домика, закричал:

— Не позволяйт, мой собак!

— Полковая собака, тебе говорю, при нашей батарее, понял? — сказал Иван.

Старик рассердился, стал выдергивать веревку, толкать в грудь.

На это Иван пуще всего обиделся.

— Ты что меня в грудки толкаешь, ты как это солдата за грудки берешь? — стал он спрашивать и уже сам потянулся взять старика за грудки, но вдруг у того седая борода на одной щеке отстала. — Э, да ты ряженный, — крикнул Иван и схватил его за горло; старик ударил в ухо, и оба они покатались на землю.

Дюжий был старик, очень злой; насилу Иван скрутил ему руки, а борода так и осталась валяться. Старик начал проситься, чтобы отпустили; Дурындас только тряхнул головой и повел старика и собаку на батарею.

Дюже ему жалко было Шарлоту; она брела смиренная, а когда старик дергался, раз даже приноровился на колени стать, глядела на хозяина, поджав хвост, и скулила.

Около капитанской палатки сидели Бабочкин и пять человек прислуги с орудий. Все они были перевязаны марлей; у фейерверкера из-за повязки глядел один глаз. Он со злобой покосился на подошедшего Дурындаса.

Неподалеку на пригорке солдаты копали яму; около нее лежали трое — кто, Дурындас не разглядел. На батарее же все стояли без шапок и пели «Отче наш». Иван тоже снял картуз и перекрестился, поглядел на старика и с него сдернул меховую шапку. Солдаты

прикрылись, пошли ужинать; из толпы вышел капитан в расстегнутой рубашке, красный и веселый; он еще издали заметил Дурындаса и закричал: «Молодчина, привел!» — а подойдя, с удивлением уставился на старика:

— Это что еще за фигура?

Иван рассказал все, как было.

— Так, так, так, — повторял капитан, — теперь все понятно, — и заговорил со стариком по-немецки. Тот поджал губы, опустил голову; к нему приставили двух солдат, третий принялся обшаривать, но ничего не нашел. Тогда капитан приказал подвести к себе Шарлоту. Дурындас ласково похлопал ее, подвел и со страхом стал ожидать, что будет.

— Умная собака, умница, — говорил капитан, поглаживая и ощупывая Шарлоту.

Она стояла смирно, глядела в глаза; капитан в густой шерсти нащупал ошейник, и она готовно подалась к нему, повернула шею. — Старик, внимательно глядевший все время, вдруг вскрикнул дрожащим, визгливым голосом:

— Укусает, укусает, не трогайте!

Капитан, сопя оттого, что сильно перегнулся, снял ошейник, в нем была вделана плоская медная коробочка; он вскрыл ее ножом, вынул чертёж и письмо на папиросной бумаге.

— Ничего не понимаю, что такое, — закричал старик.

Солдаты крепче схватили его за локти.

— В штаб, — приказал капитан, указывая пальцем на победившего старика, и обратился к Дурындасу: — Вот за это спасибо, Иван, молодчина! Намаешься бы мы без тебя. Придумали тоже штуку — бежит собака, не станешь на нее патрон губить. Вот так нашли себе почтальона! Ну, и мы их пожаловали нынче за все неприятности, четыре орудия ихние расколотили взрывом.

Почесывая под мышкой, капитан с удовольствием поглядывал на свои пушки и на солдат, в окопе хлебающих похлебку. Старика увели; Шарлота сидела перед Иваном, затем подняла лапку, цапнула его по колену.

— А как насчет Шарлоты? — спросил Дурындас.

— Повесить, — ответил капитан, — сам и повесь.

Иван только брови поднял, откашлялся, проговорил: «Слушаюсь». Он не ел с утра; пошел к телеге, вынул из мешка сало, отрезал ломоть хлеба и стал есть, сняв шапку. Шарлота продолжала глядеть в глаза.

— А! на тебе, стерва, жри, — крикнул Иван и бросил ей все сало, что держал в руке; потом нахлобучил картуз, стал на возу искать веревочку. Шарлота даже припала на передние лапы, зажмурилась — такое сладкое было сало, а когда сожрала, вылизалась и села около колеса; прошел солдат, она на него порычала и, чтобы Иван понял, сунула ему морду между ног.

— Что ты, тварь, ко мне лезешь? — чуть не плача от досады, проговорил Иван.

Нигде не было веревки; он отвязал чересседельник, свистнул и, волоча ноги, побрел к ручью, где стояла расщепленная береза.

Шарлота прибежала первая, вошла в воду, принялась лакать.

Иван привязал к сучку ремень, потянул — крепко ли, и стал ждать, когда собака напьется. Потом взял ее на руки. Умно и внимательно поглядела она на дерево, и в глаза, и на землю.

— Глядишь, — сказал Иван.

Собака рванулась и вдруг поспешно облизнула Ивану все лицо.

— Уж вижу, вижу. Ничего, потерпи, Шарлота, я легонько, — проговорил Иван шепотом и стал надевать ей петлю, путаясь пальцами в шерсти.

Отойдя немного, Иван почесался под картузом и обернулся; на закате было отчетливо видно сломанное дерево, сучок и Шарлота — она висела, как овчина, чуть покачивалась.

«Что же теперь делать-то, — подумал Иван, — ах ты господи, собаку замучил». Он пошел в стан к телеге, расшвырял в ней все, принялся кирпичом кастрюлю чистить, плевал ей на бока, тер, тер и бросил; стал постилать шинель под телегой, напорол палец на иголку. «Эх, жисть проклятая», — отчаянно сказал Иван; после этого сел на шинели, обхватил колени и долго смотрел в сторону тусклого заката, откуда давеча прилетали бомбы, большие, как свиньи. Дурындас тряхнул головой, решительно поднялся и пошел к палатке.

— Ну, что ты у меня над душой стоишь? — спросил капитан досадно. — Ну, я не сплю, чего тебе надо?

Он чиркнул спичкой, закурил и тяжело повернулся на койке, подсунув руку под голову.

Иван снял картуз и сказал:

— Повесил, ваше благородие!

— Ну-ну.

Иван потоптался, откашлялся и тогда проговорил:

— Ваше благородие, в тылу мне неудобно находиться.

— Ты что это, с ума сошел?

— Так точно, желаю воевать.

Капитан засопел и долго глядел на Дурындаса, что стоял едва различимый в темноте, заслоняя звезды, потом он осветил папирской свой нос, круглый, как яблоко, и мохнатые усы.

— Дело твое, — сказал он. — Препятствовать не могу. Ступай.

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

Пакет, содержащий тайные, чрезвычайной важности военные документы, был передан Никите Алексеевичу Обозову, — и передача документов и посылка Обозова произошли втайне.

Поручение — долгая и опасная поездка за границу — обрадовало его; штатское платье, зеленый, на трех языках, паспорт, чемодан, бойко под конец укладки щелкнувший замком, — все это были вестники чудесных дней (они наступят — это ясно, когда в руке плед и чемодан).

Рано утром Обозов приехал на вокзал, выпил кофе и, не беря носильщика, занял купе первого класса.

Пакет лежал сначала в чемодане; затем, когда поезд отошел, Обозов переложил парусиновый мешочек в боковой карман пиджака, прикрепил его английскими булавками и с удовольствием растянулся на бархатной койке. Под боком лежали дорожные книги и журналы; он перелистывал их, курил и, поглядывая в окошко, предчувствовал дни, когда несколько стран и тысячи людей прольвут перед глазами.

Экспресс летел мимо дач, хвойных лесов и моховых болот Финляндии, еще покрытых снегом. В назначенные часы в вагоне появился лакей, приглашая к столу. Пассажиры, придерживаясь за шаткие стены, брели в ресторан. На площадках резкий ветер крутил снежную пыль. Никита Алексеевич сел в углу вагона-ресторана за столик и оглядывался.

Вот семейство простоватых англичан с тремя белокурами девочками и няней-японкой, — семья едет из Владивостока третью неделю. Вот четыре чернобородых француза, низенькие, багровые; они спросили бутылку красного вина и, гутируя, причмокивают. Затем огромный бритый швед — директор предприятия; добродетельные финны из Гельсингфорса; скуластый купчик-москвич, едуший за товаром в Хапаранду и напустивший европейского вида с явным ущербом для своего самолюбия; широкоплечий угрюмый юноша в вязаном колпаке, какой носят лыжники; и еще несколько неясных, серых лиц. Были и женщины, конечно, но в них Никита

Алексеевич старался не вглядываться: в некрасивых — не находил основания, красивых — боялся.

С женщинами счеты у него были трудные. В юные годы он мечтал издали о знаменитой куртизанке, Маше Хлебниковой, милой и прелестной женщине, не пожелал приблизиться к ней, хотя и были случаи, переносил издевательства товарищей юнкеров, и это двойное чувство отразилось на всей его жизни. Он с отвращением относился к «знатокам», которые, довольствуясь немногим, находят в каждой женщине одно, и только то, что им удобно и нужно.

Давеча на вокзале, спеша с чемоданчиком к своему вагону, Обозов мимоходом приметил высокую даму в изящной бархатной шубке. Ее небольшая шляпа с черными крылышками сбилась набок. Дама казалась рассерженной, невыспавшейся и ссорилась с кондуктором.

На пути он опять встретил ее в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпку и шубку, и, наконец, увидел ее у окна около своего купе. Касаясь лакированной рамы плечом, дама глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы, домики. Ее узкое лицо, обращенное к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шелковой кофточки белело кружево.

Сидя в углу купе, Обозов видел ее затылок с поднятыми пышными темно-русыми волосами, ее спину, вздрагивающую от толчков поезда, ловкую суконную юбку, касающуюся высоко зашнурованных лаковых башмаков. И когда ему, наконец, показалось необходимым знать, куда и зачем она едет одна в это тревожное время, Никита Алексеевич спохватился и, вытащив из-под себя томик каких-то приключений, погрузился в чтение.

В дверь купе проникал свежий воздух, и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными. Обозов увидел складки синей юбки, волнуемой под давлением ног. Он вновь перечел страницу. Дама стояла теперь прямо у окна, спиной к двери.

Тогда он повернулся к снежной пыли за окном и, усмехаясь, подумал, что — вот и струсил, хоть и тридцать три года и выдержка... Что-то в этой красивой женщине было пронзительное, и жалкое, и волнуемое... Кто она? Просто искательница приключений? Нет, пожалуй — не то... Или, как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится черт ее знает куда?.. Во всяком случае, все это надо бы выяснить... Когда он выглянул в коридор, дамы уже не было у окна. За завтраком она не появлялась.

Сейчас, ожидая на угловом столике вагона-ресторана, когда официант в синем фраке и гуттаперчевом воротничке поднесет ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя покойно и радостно. Нет большего счастья, как после трудов разлентиться на мягких подушках вагона, в отдохновении и безделии следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного ненастоящим. Сейчас по-

чему-то особенно остро Никита Алексеевич припомнил одно поле, ископанное и мерзлое, с гуляющим по нем ледяным ветром; корявые спины солдат за бугорками; песок и ледяная пыль режут глаза; одинокие выстрелы, безделье, скука, ожидание ночи и нескончаемые вереницы тяжелых, как горы, облаков. Это была ужасная сценка перед смертью. Человек казался придавленным последним унижением, нищим и мерзлым, как земля.

Обозов вздрогнул и быстро поднял глаза, — у столика стояла прекрасная дама и в третий раз, уже с улыбкой, спрашивала, может ли она занять место напротив.

Обозов вскочил, пододвинул ей стул, смутился от своей поспешности, сел опять и, наконец, вспомнив давешнее решение, прямо взглянул даме в глаза. Она ответила взором почти мрачных темно-серых глаз. На мгновение закружилась голова, и точно исчез весь этот вагон, где трещали голоса, над бутылкой чмокали французы и дымил швед сигарой.

Дама положила на стол у мерзлого окна перчатки, раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце — без любопытства, но внимательно, — мизинцем провела по губам, по очертаниям тонких ноздрей, щелкнула замочком и спросила:

— Вы ели рыбу, не опасно?

Голос ее был низкий, почти суровый. Никита Алексеевич отступил с готовностью:

— Рыба превосходная, треска.

И подвинул блюдо. Она поблагодарила. Он принялся думать, что еще можно сказать о треске: рыба эта большими массами плывет на север в теплых водах Гольфштрема, огибает север Норвегии и быстро растет; у Мурмана она достигает чудовищных размеров...

Дама перебила его мысли:

— Я — русская по фамилии и по рождению, но бегу из России, как от чумы, — и подняла на него мрачные ясно-серые глаза. — ненавижу Россию.

Никита Алексеевич, усмехнувшись, сказал:

— Отчего так? — затем поклонился и назвал себя.

Дама продолжала:

— Мое имя — Людмила Степановна Павжинская. Вы спрашиваете, почему я бегу. — Откинув голову, она глядела на собеседника, словно оценивая, достоин ли он откровенности. — Я ненавижу Россию, правда, правда, — и она засмеялась, держа не донсенный до рта кусочек хлеба.

Ее испытующий взгляд, странное начало разговора, затем смех, умный и невеселый, словно наметили сложность ее духа. Обозов так это и воспринял и насторожился.

— Мое эстетическое чувство оскорблено, — говорила дама, — если я люблю красоту, поэзию, картины, мрамор, музыку, то я прежде всего хочу любоваться людьми. Меня раздражает мысль, что где-то на земле в эту минуту ходят великолепные люди. А я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое,

с желтой бородкой, в очках, со слабительными лепешками в жилетном кармане; существо, развинченное нравственно, с несвежим бельем и визгливым голосом, ежеминутно наклонное к истерике. Жить в такой стране? Нет, еду в Америку.

— Будто вы там найдете людей!

— Людей изящных и смелых, первого сорта, — уж, конечно, не таких, как в России.

— И у нас водятся смелые люди.

— Ах, полноте, у нас все ничтожно, как в лакейской, все как на барине, только похуже, с пунцовым галстуком, со скуластой рожой. Будем искренни: наша с вами страна — нелепый курьез, случайность...

Никита Алексеевич сдержался, краска хлынула и отлила от лица его. Опустив глаза, он проговорил:

— Разговор мне, простите, неприятен, — и когда дама удивленно повернулась к нему, добавил: — Я был на войне и видел отважных людей. То, о чем вы говорили, это — не Россия. А впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать, что ваша ненависть не по адресу.

Он зажег папиросу. Обед кончился, и крылья вентиляторов разогнали над головой табачный дым. Иногда за спущенными шторами в темноте ночи расстился унылый длинный свист поезда.

Никита Алексеевич заметил, что даме точно немоглось. Медленно отряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу, оглядывая мрачного юношу в лыжном колпачке, финнов, опять чем-то уязвленного купчика, — и углы губ ее приподнимались презрительной усмешкой.

Вскоре они перешли в вагон и молча стояли в проходе, гораздо более далекие, чем до первого разговора.

Людмила Степановна чутьем поняла это и равнодушие своего собеседника. Он стоял, заложив по-военному большой палец за пуговку жилета, и глядел на завитушку прессованных обоев. Рот его уже несколько раз силился сдержать зевок. Толстая опрятная женщина-проводник принесла бутылочки содовой и поставила против каждого купе. В конце прохода приоткрылась наружная дверь, возникло морозное облако, и на мгновение появилось обветренное лицо юноши в лыжном колпаке. Людмила Степановна посмотрела на ручные часики, поставила ногу на решетку щелкающего отопления и сказала негромко, со вздохом:

— Мне хочется, чтобы вы простили меня: вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. Я тоже бы всякого оборвала. Но мы так разнузданны. От вашего резкого слова мне стало вдруг тепло.

— Ну, и вы меня простите за резкость, — ответил Никита Алексеевич добродушно. — А вы в самом деле в Америку едете?

— Я подписала контракт на тридцать концертов.

— А, это другое дело, а я думал...

— Что вы думали? — спросила дама, немного слишком поспешно.

— Что вы так... для забавы...

— Я — одинокий человек, — помолчав, проговорила она и опустила глаза, — мне тоскливо подолгу жить на одном месте. Женщине в тридцать лет, без семьи и привязанностей, очень трудно. — Она передернула плечами. — Как холодно, я плохо сплю в дороге. А вы меня растревожили, уж не знаю чем. Я буду думать всю ночь... — Она грустно улыбнулась. — Хотите сделать доброе дело? Пожертвуйте мне несколько часов, пойдёмте.

Она открыла купе, где сильно пахло духами, висела шубка и в сетке лежал крошечный чемодан — весь ее багаж, — усадила Никиту Алексеевича на бархатный диван, сама села у окна на столик, охватила поднятое худое колено и сказала:

— Можете курить и дремать...

Это было сказано хорошо. После этого они молчали довольно долго. Щелкало отопление. Стучали колеса: «Путь далек, путь далек». Никита Алексеевич следил за сизою струйкой дыма, потом за женской ногой, тонкой в шиколотке, затаянутой в черный чулок, покачивающейся совсем близко.

— Мы оба холостяки, — сказал он, — встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекасти-поля. А что может быть ближе и нужнее, как человек человеку? Правда, самая грустная вещь на свете — короткая встреча в пути.

Он взглянул на Людмилу Степановну. Нагнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно. Полуприкрытый прядью волос лоб ее наморщился.

— Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь, — проговорила она медленно.

— Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забываются, вы правы.

— Нет, нет. Минуты безумия, страсти, налетевшей, как вихрь...

Тогда Никита Алексеевич поморщился: «Эх, что она как сразу, даже слишком...» Опустил глаза и чувствовал, что весь настроен враждебно. Дама соскользнула со столика. Он не видел, что она сделала, услышал только несколько легких вздохов и крепко поджал губы. Ясно, что беседа соскочила с плавного хода и все чувства ринулись к ближайшему выходу, наиболее простому и короткому, а которым — пустота, равнодушие, досада, усталость. Зажигая спичку, он взглянул. Людмила Степановна стояла у стенки, заложив руки за спину.

— Вы очень пугливы, — сказала она.

— Да, вы правы.

— Побледнели от шороха юбки. Бедняжка.

— Как вам сказать, если бы вы мне не нравились, было бы все проще...

— Я вам нравлюсь? Странно. А мне показалось, вы считаете меня просто настойчивой бабой и струсили, — она опустила брови

на сердитые глаза и постучала каблукком. — Уверю вас, что вы ошибаетесь.

— Ну, хорошо. — Никита Алексеевич рассмеялся. — Прошу очень, очень извинить меня.

— За что? Вы, кажется, вели себя на редкость скромно.

Тоненькие ноздри ее раздувались, каблук потопывал, тень от опущенных ресниц дрожала на щеках. Он подумал: «Лошадка с норовом», — и вдруг стало тепло от нежности. Протянул руку. Она сердито качнула головой.

— Секрет-то в том, — сказал он душевно, — я всегда боялся женщин. Обжегся в молодости... Ваши соблазны женские и влекут и страшат... (Она презрительно фыркнула.) Людмила Степановна, вы помните: «Любви роскошная звезда...» Об этой звезде роскошной я мечтал, помню, на том мерзлом поле, среди луж крови... У меня был приятель, до смерти влюбленный в какую-то девочку... «Меня, говорит, убить нельзя, — попробуй выстрели в звездное небо! Так и в меня...» Конечно, его убили в конце концов, но так размахнуться — до звезд — хорошо... И мне страшно всегда — подменить: вместо роскоши — почти то же самое, но — то, да не то... Заторопиться, загорячиться, оборвать и взглянуть в уже пустые женские глаза... Вы понимаете? Нет?.. Что же вы поделаете с человеком, когда нужна ему любви роскошная звезда.

Он засмеялся, силой взял руку Людмилы Степановны и нежно поцеловал. Она не отняла руки. Вздохнула, села рядом. Он продолжал рассказывать о себе, о товарищах, о смерти на мерзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда же русая голова ее, клонясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой, осторожно поднялся и, проговорив: «Я вас утомил, спите, спите», — на цыпочках вышел из купе.

Дверь за ним задвинулась. Людмила Степановна открыла глаза, сжала кулачок и ударила по бархатной подушке.

В полночь к ней вошел широкоплечий юноша в колпачке, сел на диван, уперся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал:

— Надо бы порасторопнее.

Людмила Степановна смолчала. Оправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах, и сонные глаза ее и щеки казались увядшими, а все движения резкими и злыми. Задев локтем юношу, она прошипела сквозь шпильки:

— Вы мне мешаєте. Уходите с трубкой.

Он отодвинулся и, лениво спрятав трубку в карман, сказал:

— Надо все дело кончить до границы. Мне будет трудно переходить. Вы рискуете ехать дальше одна.

— Перейдете. Я одна не поеду. Вам это известно лучше меня.

— Ну-с, а если подстрелят?

Людмила Степановна дернула плечами. После некоторого молчания юноша спросил еще ленивее:

— Что же, вы ему не нравитесь, что ли?

Тогда дама пришла в ярость. Волосы ее рассыпались, лицо передернулось, стало безобразным. С прекрасных губ посыпались бессмысленные фразы, то заносчивые, то жалкие. Юноша, боясь шума, выскользнул из купе.

На площадке, раскурив трубку, он прислонился к железному столбику; ветер и снег резали его квадратное твердое лицо; прищуренные глаза различали в неясной мгле ровные белые поля, темные конусы чахлах елей; на севере над землей полыхал белый свет полярного сияния.

Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степановна, закутанная в шубку и платок. Морщась, она сказала:

— Его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он осторожен. Юноша заслонил даму от ветра, и они стали совещаться.

Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Одеваясь, он с улыбкою снял с пуговицы пиджака смелый женский волос. Как хорошо, что вчера все обошлось благополучно. Иначе бы сидел сейчас с растрепанной головой, курил папиросы. Сейчас было сознание хоть и маленькой, но победы. Голова ясная, все мускулы напряжены, сердце бьется ровно и сильно. И впереди несколько дней прелестной близости, бесед, в которых с каждым словом открываются новые заслоночки в человеке. Утро было морозное и солнечное.

За весь этот день Обозову мало удалось видеть прекрасную думу. Она встретила его утомленная, под вуалью, в шапочке с крылышками, сказала, что очень беспокоится о багаже и страдает мигренью. Действительно, на пограничном вокзале она сидела за клесчатом столе среди пассажиров, сундуков, свертков и грязных тарелок такая печальная, так подпирала кулачком щеку, что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Он глядел на нее издали и думал: «Едет в Америку, но, по всей вероятности, врет; болят все нервы, и поутру прячет лицо; говорит пошлости, а глаза мрачные; и нельзя ее ни приласкать, ни успокоить, потому что и сама она не захочет ни ласки, ни успокоения; а кончит или в клинике для нервных больных, или отравится от злости».

Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суета с багажом, паспортами, затем переезд на санках через границу, осмотр. В седьмом часу его вещи перенесли в низенький и теплый ресторанчик близ шведского вокзала. Здесь было чисто, бело, пахло краской, на спиртовке варился кофе, и шипел, как шмель, керосиновый фонарь под потолком. За переплетом квадратных окон простиралась полярная ночь. Подъезжали на санках пассажиры. Обозов надвинул шапку и вышел. У края земли на севере мерцал свист. Тонкий и мертвенный, он охватил звездное небо голубоватым сектором. Выше его горели ясные созвездия. Морозный, едва светящийся снег покрывал ровные поля с чернеющими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то, и в этой темной

пустыне он ясно чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке закрипел снег. Обозов вгляделся: из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и колпаке, пролетел мимо и скрылся за низким строением. Лица его не было видно, только блеснули зрачки.

«Что бы это значило?» — подумал Никита Алексеевич, припоминая блеснувшие, словно кошачьи, глаза. Потом ему стало казаться, что жизнь у Людмилы Степановны пустынная и лютая, как эта равнина, и ее жалкое сердчишко в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы уберечь ее от соблазнов. Он жестоко обидел ее вчера глубочайшим своим превосходством! Пустился в рассуждения, стишки даже читал... Фу!

Он крикнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его бродили тревожно вокруг чего-то неисполненного. Позади хлопнула дверь, и от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана, отделилась женская фигура. Никита Алексеевич широко зашагал ей навстречу.

— Возьмите левее, — крикнул он, — здесь сугроб, — и, подойдя к Людмиле Степановне, взял ее еще теплую руку без перчатки и поцеловал. Она стояла совсем близко, доверчиво подняв к нему лицо.

— Я вас искала, — проговорила она тихо.

Он глядел, как на ее печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза окружены тенью, и в зрачках — искорка звезд. Она показалась ему чудесной. Ее маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы.

— Милая, бедняжка!

Ее лицо не изменилось. Прелестный рот был серьезен. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Она вздохнула. Серый мех ее шубки был приоткрыт, видна шея и ниточка жемчуга. Никита Алексеевич осторожно застегнул ее воротник и повторил: «Бедняжка!» Вдалеке протяжно засвистел поезд.

Снова лежа в купе, с темно-синей лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шепотом про себя:

— Волшебство! Колдовство!

Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмила Степановна, должно быть, спит. Все мысли и чувства Никиты Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой спящей за стенкой чужой ему женщине. Это ли было не колдовство?

Неожиданно он вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. Припомнилось опять: «Любови роскошная звезда, ты закатилась навсегда. О мой Ратмир». Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор. Поезд стоял на первой остановке у маленькой, занесенной снегом станции, где вдоль вагонов прохаживался розовый солдат в белом козьем ворот-

никс и таких же наушниках, похожий на куклу. На перрон из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке, выскочил на окно и прыгнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника, и вообще лицо страшно знакомое. «Странно», — подумал Никита Алексеевич, потрогал парусиновый пикет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость.

Среди ночи он несколько раз просыпался и повторял: «Любови жжкошная звезда», ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Однажды различил злой мужской голос, упрекающий кого-то в медлительности и трусости. «Континент, континент...» — повторял голос и, наконец, расплылся, смешался со стуком колес.

Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательна какой-то почти робкой покорностью. Когда Обозов звал ее к завтраку, она отвечала: «Хорошо» — и сейчас же шла впереди него, придерживая накинутую шубку. Несколько раз он ловил ее пристальный, недоумевающий взгляд, и сейчас же она отводила глаза с испугом. Все это было непонятно, восхитительно и тревожно...

Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном ресторана проплывали красные домики из ибсеновских пьес, обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты...

Людмила Степановна взглянула на расписание (через несколько минут должна быть остановка), придвинулась к стеклу и проговорила:

— Вон на горе краснеет крыша. Прожить в том домике до весны... Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу.

Она покачала головой, глядя в окно, и спустя немного поморщилась. Поезд засвистел, подходя к остановке.

— И вы бы не соскучились в уединении? — спросил Никита Алексеевич.

Тогда с ней произошло странное: она резко повернулась к сидящим в вагоне-ресторане, затем отчаянно, точно не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу и низко наклонила голову, ища что-то в сумочке на коленях; волосы скрыли ее лицо.

— Выскочить тайно от всех, без багажа, остаться на зиму, безумство конечно... — прошептала она.

Поезд остановился. Беспорядочные молниеносные идеи овладели мозгом Никиты Алексеевича. Но он продолжал сидеть. За окошком швед в каракулевой шапке с бляхой поднял руку. В самый мозг вошел дикий свист паровоза. Поезд тронулся. Людмила Степановна ризжала руки и точно опустила.

Затем они в сотый раз стояли в проходе, сидели в купе, произнося слова, не имеющие никакого смысла, боялись своих движений, прикосновений рук. Никита Алексеевич глядел на нее не отрываясь, и все обольстительнее казался ему каждый ее волосок.

Когда встречались их глаза — пропал шум поезда и останавливалось время.

Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мышинном жакете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно споткнулся, выронил сигару и сказал: «Виноват». У Людмилы Степановны задрожал подбородок. Обозов закрыл стеклянную дверь и дернул занавеску. Она продолжала смеяться. Тогда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать. Она, молча и вдруг вскочив, сопротивляясь, воскликнула отчаянно:

— Только не это. Ради бога. Не здесь. Не сейчас. — Лицо ее исказилось. Никита Алексеевич взялся за голову и вышел из купе; в коридоре столкнулся с кем-то, живо отскочившим; прошел к себе и лег ничком...

Пробудила его уверенность, что она здесь, и он быстро сел на койке. У двери стояла Людмила Степановна, прижимая что-то обеими руками к груди; синяя лампочка светила над ее головой. Всем телом он потянулся было к ней, но тотчас опустил руки — такой ужас мерцал в ее расширенных глазах.

— Что вы делаете? — прошептал он и вдруг понял все, что произошло и сейчас и за эти три дня. — Положите пиджак, — сказал он отрывисто. Когда же она качнулась к двери, быстро схватил ее за худую, бессильную руку у локтя и повторил хрипло: — Вы с ума сошли... Вы с ума сошли...

С бессильным стоном она бросила его одежду:

— Я хотела только посмотреть... Мне не нужно... Я не могла иначе... Он приказал... Он не пожалеет... Выдаст... Убьет... Я ничего не трогала... Возьмите...

Она дрожала, глядя на Обозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак.

Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно, вынул револьвер, но тотчас сунул его в карман.

— Вам придется сойти на первой же станции.

Она ответила шепотом:

— Спасибо.

— Подождите, — резко перебил он, — я вас не пушу; сами понимаете — не я, так другой попадет. Сидите!

И она сейчас же присела, продолжая глядеть в глаза. Тогда он, совсем уже не зная для чего, спросил:

— Зачем вы ввали?

— Я не врала... Я вас люблю...

Это было неожиданно, дико, нагло. Обозов пробормотал:

— Не смейте говорить об этом...

— Клянусь вам...

Она даже привстала, чтобы всмотреться, и, поняв, что он ничему теперь не поверит, все же повторила чужим, неверным голосом, что любит. Ему захотелось прибить ее, но даже горло

перехватило от отвращения. Тихим, точно сонным, голосом она приговорила:

— Ударьте меня или убейте, не все ли равно. Когда вы меня поцеловали в снегу — я в вас влюбилась. Я вас люблю два дня. Ни один человек не был мне так дорог. Я продажная, воровка, я шпионка. Вы моей жизни не знаете. Но перед вами я ни в чем не виновата. Милый, любимый, страсть моя...

У нее стучали зубы.

— Что вы там бормочете?.. Я запрещаю, слышите! Молчите! — крикнул он, сжимая кулак.

Людмила Степановна опустила голову, и он услышал звуки, — она глотала слюну...

— Вы не одна, с вами спутник? — спросил он. — Она кивнула. — Вы должны были передать ему украденные документы? Он в нашем поезде? Мальчишка в вязаной шапке? Я так и знал.

Он нарочно спрашивал громко, решительным голосом. Дышать было нечем в купе. От синего неясного света Людмила Степановна, сидящая комочком, казалась еще меньше и беззащитнее... Откашливаясь, он сказал:

— Я выйду, а вы тут посидите.

И, очутившись в коридоре, стал вытираться платком. «Ну, конечно, врет! И вздохи, и слезы, и тот дурацкий поцелуй! Просто — лоякая баба. Еще бы минутка... И, боже мой, непоправимо! Уф!.. Бормоча и спотыкаясь, он пошел подальше от купе. «Нет, матушка, с такими, как вы, не церемонятся... Другой бы прямо — бац из револьвера, потом — пожалуйста, вяжите меня, и был бы прав».

С площадки неожиданно открылось Никите Алексевичу изумительное зрелище: поезд огибал крутой склон горной гряды, лежащей подковой, и глубоко внизу, куда отвесно падали скалы, простиралось огромное и длинное озеро, залитое лунным светом. Круглая луна невысоко висела над щетинистым хребтом. Изгибы гор чередовались черными и ослепительно-снежными планами.

Вдруг вагон нырнул в тоннель, темнота ударила по глазам. Никита Алексеич невольно отшатнулся от железной дверки открытой площадки, и в это время крепкие руки сзади охватили его шею и с силой пригнули вниз.

Нападавший был тяжел, мускулист, сильно дышал, наваливаясь, и пальцы его с бешеной торопливостью мяли и сдавливали горло. Обозов на секунду потерял сознание, затем почувствовал, как тот, продолжая одною рукою душить, другой шарит в кармане. Он крепко схватил эту руку выше запястья, свернул, и она хрустнула. Нападавший замычал и рванулся, увлекая за ноги и Никиту Алексеевича. В темноте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга к входной решетке; грохот колес заглушал вскрики.

Очевидно, у нападавшего была повреждена рука, он слабел. Тоннель так же внезапно окончился, и сильный лунный свет ударил в лицо. Обозов увидел знакомые светлые, без зрачков, глаза, и с яростью, той яростью, когда кричишь и не слышишь крика,

когда выкатываются глаза и — только лютая, дикая, пьяная злоба, — так и сейчас он приподнял противника, швырнул его спиной о железную решетку и разжал руки. Юноша ахнул, перевалился и упал на камни; сейчас же тело его, подхваченное землей, перевернулось, подскочило и уже неживым мешком покатилося по обрыву в озеро. Никита Алексеевич, перегнувшись, глядел на него. За поворотом все скрылось.

Поезд остановился на разъезде. Обозов, покачиваясь, вошел в вагон; дверь купе была открыта. Людмила Степановна исчезла. Он тяжело опустился на койку, положил на столик локти, сжал лицо ладонями и застыл.

Не спавший всю ночь, с болью в висках, помятый и желтый, Обозов сел в Бергене на пароход, грузивший бумагу и кожи.

Дул сильный ветер с моря. На набережной по снегу и грязи хлупали прохожие, гремели окованные колеса фур; моряки, в негнущихся сапогах и кожаных шляпах, топтались у скрежетавших лебедек, катали бочонки, и ветер отдувал полы их ватных курток. Несколько дам, с детьми и няньками, дрожали от холода около изящных чемоданов, брошенных в грязь. Юркий агент Кука, неизменно улыбаясь, приставал к сердитому господину в очках, борющемуся с ветром, с агентом, с одышкой, с грязью, летящей с автомобильных шин. Над северным мокрым городком, расположенным по склонам горной подковы, волоклись серые облака, задевали за шпильки киров, за сосны, бурые скалы, ползли вверх по лесным гребням.

То стоя на палубе, то забредая внутрь парохода, морщась от боли в виске, Никита Алексеевич ждал только — поскорее бы отвалить, закачаться на волнах, лечь, забыться и спать до самой Англии.

В это время в кают-компании две поджарые пожилые женщины, в крахмальных фартуках и чепцах, и солидный лакей накрывали белоснежный стол серебром, хрусталем, багровыми омарами, глыбами сыра, кусками холодной свинины и мяса.

Наверху, в курительном салоне с окнами, где были вставлены диапозитивы с норвежских курортов, десятка два мужчин курили сигары и трубки, пили аперитив. Здесь были шведы, датчане, широкоплечие североамериканцы, норвежцы, со щеками, обветренными в горах. Все одеты в крепкую обувь, в свободное сукно, имели отменный аппетит, веселый нрав и неизменное душевное равновесие.

На палубе звенел колокол, скрежетали цепи лебедек, гремели катящиеся бочонки, и слова команды раздавались коротко и резко. В вантах сильно свистел ветер. Это был иной мир, бодрый и свежий, бесконечно далекий от вагонных переживаний. И вспоминать, копаться в своих чувствах казалось здесь просто стыдным. Хотелось быть вымытым, крепким, свежим, как этот ветер.

Пароход вышел из гавани и повернул на юго-запад, навстречу сильной зыби. Началась качка. Тяжелые волны били в правый борт, поминутно заливая иллюминаторы зеленоватой пенистой влагой. Каюта вместе с койкой, занавесями и лакированным умывальником кренилась, трещала и не успевала оправиться, как обрушивался новый вал.

Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу. Он плотно, как и все, пообедал, выпил несколько стаканов вина и, возбужденный густым соленым ветром, терпким бургундским и движением высокого пароходного носа, ходил по мокрой палубе, подняв воротник, приседая во время крена или придерживаясь за фальшборт. Ему было вольно стоять под ледяными брызгами, на ветру. То, что он убил, не мучило его; человек, вчера сброшенный им под откос, был не его враг или соперник, а враг армии, народа, и вина смерти словно разлагалась на всех, да и не было вины, а только чувство удачи, взятого верха. По-иному обстояло с Людмилой Степановной: здесь уже выручали ветер и величие Северного моря. Он понимал, что виноват ужасно, и страдал от отвращения и жалости. Когда вспоминалась измученная страхом, полоумная, изолгавшаяся женщина, комочком сидящая в углу дивана, ее острые плечи и сдавленные звуки, точно она глотала слюну, Никита Алексеевич тряс головой, отгоняя этот призрак, подолгу глядел на свинцовый бурный океан.

Мутные волны, пронизанные пеною во всю толщину, громоздились, как холмы, одна на одну, пучились, шипели; ветер срывал и стлал их белые гребни; треща, пароходный корпус поднимался наискосок на эту живую гору, мачты и реи клонились, нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз, в водную долину, а громада воды обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы, загораживая небо. Низкие рваные тучи пронеслись над водой, словно зарывались в нее, и косыми полосами сыпались из них крупа и ледяной дождь. Холодное серое небо, взлохмаченное море, и ветер, и невольная печаль севера оковывали душу.

«Либо отравится, — думал он, — либо повесят... И сама знает, что кончит скверно. А как метнулась тогда к уединенному домику... «Пожить бы здесь до весны...» На большее и не рассчитывала, — до весны...»

Солнце, невидимое весь день, проглянуло ненадолго из-за клубящихся туч, залило их багровым светом, осветило косые полосы града, гребни волн, ставших еще больше и будто бесшумнее, и закатилось. На мачтах зажгли огни. Море померкло и приблизилось. Дрожа от холода, Обозов пошел в курительную.

Здесь только два норвежца, красные от духоты, играли в домино да сердитый господин в очках пил виски, держа бутылку содовой между колен: Обозов перелистал журналы, покосился на сердитого господина, боровшегося с тошнотой, зевнул и побрел вниз.

В коридоре его остановила горничная, проговорив шепотом:

— Вас желает видеть одна дама. Пожалуйста за мной.

— Какая дама? Что за вздор? — ответил он, берясь за медную штангу, — и вдруг почувствовалась качка, и головокружение, и духота. — Какая дама, спрашиваю я?..

И сейчас же пошел вслед за улыбающейся горничной, отворившей дверь крайней каюты. Здесь с порога он увидел Людмилу Степановну, лежащую в кружевном растерзанном капоте на каком-то тигровом одеяле. К голове ее прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные.

— Я безумно страдаю, — проговорила она хрипловатым голосом, — сядьте в ноги. Я хотела вас еще раз видеть. В Англии меня арестуют. Но я ничего не прошу у вас. Пожалейте меня.

Никита Алексеевич, сев в ноги, держа шапку, проговорил сквозь зубы:

— Жалею...

— Я вас люблю безумно. Я схожу с ума. Мне так не жить. Вы, вы, вы во всем виноваты. О, как я страдаю.

Она схватилась за сердце, потом за горло и страшно побледнела. Припадок слабости миновал, и опять глаза ее загорелись.

— Только чтобы отвязаться, я решила украсть ему документы. Да, да, — она подняла руку и погрозила, — я его ненавидела. Он зарезал бы вас во сне, если бы не я. Вы все это и без меня знаете... Вы притворяетесь, вы лжете, вы любите меня. Вы не уйдете от меня.

Ею овладела слабость, лицо покрылось потом. Никита Алексеевич сильно почесал за ухом у себя.

— Да поймите же вы, смешная женщина, — сказал он, — я не могу вас любить. Ничего у нас не выйдет.

— Вы не смеете так говорить о любви.

— А мне противно, когда вы употребляете это слово. — Он поднялся.

— Боже, какой мрак! — закричала Людмила Степановна, цепляясь за его рукав. — Почему вы меня разлюбили? Разве я хуже, чем третьего дня? Я — лучше. Я всем пожертвовала, все отдала. Я — ваша, ваша, ваша!

Кружевной капотик сполз с голого ее плеча. Она закатывала глаза. Никита Алексеевич глядел на нее. Она была слишком жалкой. Сердце его холодело.

— Ну, прощайте, — сказал он, освобождая рукав.

Тогда Людмила Степановна сунула руку за подушку, вытащила маленький револьвер, — он дрожал и вертелся у нее в пальцах, — приподнялась и стала целиться. Обозов, стоя в дверях, пожал плечами.

— Подымите предохранитель.

Тогда Людмила Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснула ее зубами. Обозов постоял, наклонился над дамой, осторожно прикрыл углом тигрового одеяла ее ноги и вышел.

Когда на следующее утро пароход подвалил к пустынной набережной Нью-Кестля и из ворот железного амбара вышли агенты полиции, чтобы подняться на палубу для проверки документов, Юзов увидел в толпе пассажиров Людмилу Степановну. Кутаясь в шубку, с растерянной улыбкой, она пробиравалась к трапу; здесь ее остановили, и чиновник долго со всех сторон оглядывал паспорт. От амбара отделились два равнодушных «бобби» и взошли на пароход. Никита Алексеевич протолкался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степановны, сказал:

— Эта дама едет со мной. Я за нее ручаюсь.

В тот же день он сам отвез ее на «Авраама Линкольна» — пароход трансатлантической линии, отходящий ночью в Нью-Йорк, — и, прощаясь, сказал единственную фразу за весь день:

— Я не прошу простить меня. Я тоже никогда вам не прошу. Когда вам понадобятся деньги — сообщите. Будьте счастливы.

Людмила Степановна молча заплакала. Он сошел по сходням вниз и, не оборачиваясь, пропал в толпе.

УБИЙСТВО АНТУАНА РИВО

Антуан Риво повесил на крючок шляпу и трость, поджимая живот, кряхтя пролез к окну и хлопнул ладонью по мраморному столику. Вот уже пятнадцать лет в один и тот же час он появлялся в этом кафе и садился на одно и то же место.

Когда-то у Антуана Риво были пышные усы, молодцеватое выражение лица. Теперь щеки обвисли, и прежний румянец проступал лишь пятнами, в виде красных жилок на носу и скулах. Время сокрушало Антуана Риво (рантье, холостяк, улица Прентаньер, 11). Но он все же твердо стоял на своих привычках, хотя накопленный за тридцать лет упорного труда капитал в 400 тысяч франков далеко теперь не стоил четырехсот тысяч: франк падал, жизнь дорожала, с трудом приходилось подводить баланс каждому месяцу, учитывая лишнюю рюмку, лишнее блюдо, лишнюю папиросу, предложенную уличной девчонке в кафе. К счастью, для Антуана Риво расход на женщин был почти сведен к нулю.

Итак, Антуан Риво хлопнул ладонью по столику. Подошел Шарль, гарсон, похожий на всех гарсонов Парижа: бриллиантовый пробор, галльский лоб, какая-то недохватка с носом, кривоватые ноги, короткая курточка, белый фартук. Шарль подал Антуану Риво руку и спросил скороговоркой:

— Как дела?

— Неплохо, — ответил Антуан Риво, изобразив вытянутыми губами, безнадежными морщинами, движением плечей, что дела, в сущности, так себе.

Шарль махнул салфеткой по столику, ушел и сейчас же вернулся со стаканом и бутылкой «Дюбоннэ». Налил, придвинул графин с водою и льдом, заложил руки за спину и стал смотреть в окно.

— Да, да, — сокрушенно вздохнул Антуан Риво, подбавляя воды в «Дюбоннэ». Вздохнул и Шарль. За окном, под каштановыми деревьями, с которых время от времени падал увядший лист, некрасивая женщина везла детскую колясочку; прошел в парусиновом халате, без шляпы, провизор Марсель Леви из местной аптеки;

пихнули два солдата в красных эполетах и в медных касках с конскими хвостами. Некрасивая женщина с тоской поглядела им вслед. Пертя бедрами, прошмыгнул с папироской послевоенный тип, — молодой человек в пиджачке с подложенными грудями и боками, — скользнул в собачий след и запрыгал, осматривая подошву.

— Жизнь дорога, — уверенно сказал Шарль.

— Да, да.

— Страна нищает, налоги увеличиваются, проклятые боши не хотят платить...

В ответ на это Антуан Риво побагровел и стукнул уже не ладонью, а кулаком по столу, но не сильно, так как знал меру:

— Мы их заставим платить, черт меня возьми с кишками! Я вымочу нашему правительству немецкие репарации из собственного кармана, — как это вам понравится! Налоги, налоги! А немцы потирают руки: платят не они — Антуан Риво. Дерьмо! Довольно! Я требую: занять Рейн!

— Боши хотят новой войны — они ее получают, — сказал Шарль ледяным голосом и выпятил подбородок.

Так они поговорили о политике. Затем Антуан Риво сообщил то, что с самого утра нарушало правильное действие его организма, влияло на желудок: племянник его, Мишель Риво, демобилизованный в девятнадцатом году, опять прислал пневматическое письмо с дерзкой просьбой ста пятидесяти франков. Бездельник и мот! Денег он ему, разумеется, не даст, — довольно мильчишка сидел на шее, — но боится, как бы Мишель не проинюхал, что он после катастрофы с Китайским банком вынул часть вкладов — шестьдесят пять тысяч франков, — и деньги эти теперь держит дома.

— Но это совсем уж глупо, купите аргентинские... — начал было Шарль, но его позвали в другой конец кафе.

Антуан Риво допил аперитив, свернул из черного табака папиросу и выкурил ее, пуская дым сквозь усы. Посидев еще некоторое время, нужное для выделения желудочного сока, он вылез из-за стола, сделал несколько привычных движений, оправляя малезшие брюки и жилет, и крикнул Шарлю:

— До завтра!

— Добрый вечер, мосье Риво, до завтра.

Ни Шарль, ни Риво не могли, разумеется, знать, что не только завтра, но никогда уже больше Антуан Риво не придет в кафе.

В четверть двенадцатого Шарль снял фартук и курточку, надел котелок и пиджак, подлез под полуопущенную железную штору на двери и вышел на бульвар. Со скамьи навстречу ему поднялась Нинет, девушка из универсального магазина «Прекрасная цветочница». У Нинет было неправильное личико с большим ртом, мигающими глазами. Она пришепetyвала, что особенно нравилось ей Шарлю. Темперамент Нинет дремал, еще не раскрывшись.

Она подставила щеку для поцелуя. Шарль взял ее за средний палец руки, и они пошли молча по бульвару, в сыроватой темноте каштановой аллеи. Кое-где сквозь стволы ложился свет уличного фонаря, быстро, веером, проползали огни автомобиля. На одной из скамеек сидели, обнявшись, давешняя некрасивая женщина и совсем еще молодой человек с голыми коленками.

Шарль молчал, — устал за день. Приятно было думать о том, что дома, в грязненькой, старенькой гостинице под названием «Отель магистратуры и высшего духовенства», в пропахшей каминной пылью ветхой комнатке с огромной деревянной постелью, ждут его паштет, бутылка вина, не разбавленного водой, и добросовестные ласки Нинет. Он раскачивал за палец руку девушки и устало улыбался.

Нинет тоже молчала. За много месяцев их связи однообразие этих вечерних встреч с Шарлем утомило ее. Все было заранее известно, вплоть до той минуты, когда Шарль, опрокинув в горло последний стакан вина и щелкнув языком, скажет бодро:

— А теперь, малютка, в постель.

Нинет была рассудительная девушка: порывать старую, прочную связь казалось ей неблагоразумным. Она терпеливо ждала.

Молча дошли они до отеля «Магистратуры и высшего духовенства», поднялись по деревянной винтовой лестнице в третий этаж. Шарль отомкнул дверь в свою комнату, зажег пыльную, под потолком, электрическую лампочку, сбросил пиджак и стал привычно и ловко накрывать на стол.

Нинет села на край постели, сняла шляпу и согнулась, облокотившись о колени. Коричневые обои, тусклый свет, Шарль в подтяжках — все было знакомо.

— К столу! — наконец крикнул Шарль и шибко потер ладонь о ладонь. Паштет оказался выше похвал. Утолив первый голод, Шарль пересел ближе к Нинет и левой рукой обхватил ее пониже талии: точно так, — он знал, — поступали шикарные парижане с шикарными парижанками в кабинетах. Он поднял стакан вина и выпил за женщин.

Нинет лениво жевала. Ее губы разгорелись от вина, лицо стало блее и тоньше, глаза перестали моргать. Она глядела на стену. Шарль был уверен, что она уже чувствует к нему прилив страсти. Он похлопал ее по спине и покусал за плечо. Нинет прозрачными глазами глядела на потрескавшиеся обои. Но Шарль хотел длить удовольствие и принялся было рассказывать все, что слышал за день от посетителей кафе. Нинет нетерпеливо передернула плечами и расстегнула черную шелковую кофточку.

Тогда Шарль, понимая, что настала именно та минута, из-за которой многие, даже знаменитые, французы жертвовали жизнью, — бросился на Нинет, поднял ее на руки и, протащив три шага, положил на постель. И эти синематографические поступки также были Нинет знакомы. Она опрятно разделась и залезла под одеяло.

— О, какая женщина, какая женщина! — свистящим шепотом выкликнул Шарль. Затем за темным окном на церковной башне пробило час ночи. Шарль подоткнул одеяло и продолжал прерванный разговор о посетителях кафе.

— Вот, подумай, какой дурак, старый гага, этот Антуан Риво...

— Кто, ты сказал? — внезапно быстро перебила Нинет, даже села в постели.

Эта быстрота ее вопроса была так неожиданна, что Шарль внимательно взгляделся. Глаза Нинет смотрели прямо ему в глаза. Как-то была в них загадка, но нет, — девушка честна, и Шарль продолжал:

— Этот Риво до того напугался крахом с Китайским банком, что вынул часть вкладов, — шестьдесят пять тысяч, — и держит их теперь у себя в комнате под ковром...

Шарль захохотал, скручивая папироску. Нинет отодвинулась от него. Неправильное личико ее стало озабоченное, почти тревожное, глаза потемнели. Вдруг она перелезла через Шарля, соскочила на шерстяной коврик и быстро начала одеваться.

— Куда, Нинет?

— Ах, мне стало плохо, я пойду домой.

Шарль зевнул, улыбаясь:

— Ну, крошка, если хочешь — иди. Не забудь только внизу хлопнуть дверь. До завтра. Будет цыпленок с трюфелями.

Нинет поцеловала в голову Шарля и убежала. Через минуту из окна быстро-быстро, — что-то уже слишком быстро, — промчались ее каблучки.

Ночь была темна и тепла. Неподвижно стояли огромные каштаны, едва тронутые светом с далекой площади. Очертания домов растворялись в темноте неба. С листьев падали теплые капли.

Нинет перебежала аллею, взобралась, задыхаясь, на травянистый крепостной вал и подняла голову.

За деревьями высоко горело небольшое окно теплым светом. Нельзя было различить ни глухой стены многоэтажного дома, ни крыш, — окно было раскрыто прямо в небе над деревьями парка Мон-Сури.

Нинет прислушалась, вглядываясь в темноту между стволами. Поднялась на цыпочки и позвала вполголоса, ясно:

— Мишель!

Сейчас же хрустнула ветка, — Нинет прижалась к дереву. В другой стороне тихо-тихо свистнули. Послышалось шуршание, точно что-то мягкое потащили по прелым листьям. Сердце Нинет билось, как у мыши. Она знала дурную славу парка Мон-Сури. Но все стихло. Нинет опять поглядела на окно:

— Мишель!

В окне появился по пояс человек в ночной рубашке, — маленькая голова, прямые плечи. Он перегнулся, всматриваясь:

— Алло?

Это был Мишель Риво. У Нинет высохло во рту. Но вот из-за спины Мишеля выдвинулась в окне вторая фигура, — взбитые во-

лосы вороньим гнездом, голые руки. Прикрывая грудь рубашкой, женщина эта спросила сонным голосом:

— Ты что вскочил?

— Кто-то позвал: «Мишель».

— Ах, мало Мишелей в Париже! Иди в постель, я хочу спать.

Они говорили вполголоса, но было слышно каждое слово. Нинет прижала руки ко рту, прислонилась к дереву, кора впиалась ей в плечо.

Воронье гнездо в окне качнулось и исчезло. Мишель, раздумывая, постоял еще с минутку. Зевнул и пропал. Окно погасло, исчезло в черном небе.

Нинет, все еще зажимая рот, тряслась от слез. Спотыкаясь о корни, она пошла, — побежала с травянистого откоса.

На площади Нинет обернулась в сторону дома, где погасло окно, и часто-часто закивала головой, потом изо всей силы кулаком вытерла глаза.

Утреннее солнце сияло в ручьях, бегущих из водопроводных труб, сверкали капли на листьях овощей, на охапках роз. В корзинах, придавленные камнями, шевелились черные крабы. По влажным торцовым мостовым катились двухколесные телеги, запряженные чудовищными першеронами в хомутах, покрытых бараньими шкурами. Щелкали бичи. Проносились автомобили. Бензином, ванилью, овощами, рыбой, пудрой пахла узенькая и шумная улица. Простоволосые, в фартучках, в домашних туфлях, говорливые парижанки озабоченно готовились к священному часу завтрака.

Мишель Риво шел по теневой стороне тротуара. Он был зол и спокоен. Недокуренная папироска торчала у него за ухом. Каштановые волосы, по моде, зачесаны назад. Галстук — бабочкой. Узкий пиджачок, брюки по щиколотку, шелковые носки, измятая рубашка были неряшливы, но надеты с «шиком». Он видел, — почти у каждой встречной женщины, точно от толчка, раскрывались глаза, и зрачки внимательно касались его зрачков.

Foutre de camp! В кармане зловеще, как могильщик лопатой, звякали две монеты по два су. Пусть бы заговорил с ним кто-нибудь сейчас о моральных устоях. Люди — сволочь, жизнь — дерьмо! Стоило воевать, чтобы шататься с двумя су в час завтрака...

Мишель Риво свернул к универсальному магазину «Прекрасная цветочница» и остановился напротив подъезда, у газетного киоска. По другую сторону его стоял толстый человек в золотых очках и в дорогом жилете. Шея у него была мокрая и дряблая. Развернув газету, он поглядывал из-за нее на подъезд, из которого обычно выходили продавщицы.

Мишель Риво со спокойной ненавистью оглядел от лба до лакированных башмаков толстого человека и обратился к газетчику, старичку:

— Алло, старина, — неужели вы берете по три су за газету? Берите по сорок су, не меньше, — бульвардье заплатят, чтобы только постоять у вашего киоска.

Газетчик с усилием сосал трубку, хлюпая никотином. Мутные глаза его были полны склерозной влаги. Мишель криво усмехнулся:

— Покуда мы воевали, — буржуа, проклятые нувориши, наживались на военных поставках. Они лакомились нашими девочками... О, буржуа! Мы разгромили бошей, вернулись домой. Наши места заняты жирными скотами! К девочкам нельзя подступиться: они требуют туалетов от «Мадлен и Мадлен» и «Колло». Их научили швырять деньгами. А в это время мы, как щкалы, щелкали зубами в окопах. Буржуа вышвыривают нас на улицу! Спасителей отечества заставляют протягивать руку! Ха, ха! Мы хорошо теперь знаем, как входит железо в жирный живот, — легко, как в сливочное масло! Мы многому научились в граншеях. Мы еще посмотрим, кому пить шампанское и целовать девиц...

У толстяка запотели очки. Он поспешно свернул газету и отошел от киоска. Крепкого разговора наладить не удалось. Мишель Риво даже осунулся от злости.

Из магазина начали выходить продавщицы. Гляделись в зеркала, мизинцем подмазывали губы, хохоча сбегали на тротуар, — от смеха глаза блестели ярче, розовели щеки, трепались стриженные кудряшки. Толстяк, вытянув дряблую шею, пожирал эту стаю болтливых девушек, высыпавшую из отделений женского белья, кружев и духов.

Появилась Нинет. Ее глаза были красные, припухшие. Мишель Риво взял ее за локоть:

— Вчера ночью вы были у меня под окном?

Нинет ахнула, отшатнулась, подняла мутноватые от слез глаза на Мишеля и быстро пошла через улицу. Он догнал ее:

— Нинет, мне было досадно вчера. Маленькая, пойдем завтракать!

Нинет нагнула голову, быстрее побежала. У нее были, черт ее возьми, ужасно миленькие ножки. Мишель Риво засвистал военную песенку. Нинет запыхалась, пошла тише. Пришлось остановиться перед проезжавшей телегой с винными бочонками.

— Зайдем вон в то бистро, Нинет! Там подают отличное рагу.

Нинет одними губами ответила: «Хорошо». Завтрак примиряет даже врагов. Мишель Риво и Нинет сели рядом на клеенчатый диван, заказали луковый суп, рагу, два литра вина и много хлеба. Нинет оттянула платье, чтобы Мишель глядел ей на голое плечо. Голова у нее кружилась: значит — желает ее, если прибежал после вчерашнего.

— Никогда тебе не есть такого рагу, какое мы едали под Верденом, — говорил Мишель, — мы приготовляли его из мороженных австралийских баранов. После ночи ураганного огня, искрошив в куски тысяч пятьдесят проклятых бошей, хочется жрать, как лю-

доеду, — жрать и спать. Хорошее было время. Мы пили цельное вино. А какой мы курили табак! Спи, ешь, дерись. Это — жизнь!

Мишель выпил залпом стакан красного «пойла», чмокнул, вытер ладонью усы.

— Эта вчерашняя женщина — моя старая, еще военная связь. Привязалась, бог мой! Скучна и однообразна в любовных развлечениях. Овца! Тяготит меня, как ядро, прикованное к ноге. Да, Нинет, да. У меня нет прочной связи. Я одинок. Моя матушка умерла в год войны...

Мишель горестно покачал головой и корочкой стал подбирать с тарелки бараний соус.

— Что мы возьмем на десерт? Мирабели? Алло, гарсон, два раза мирабель, два кофе и коньяк. Маленькая, ты придешь ко мне сегодня?

Сердце Нинет медленно и отчетливо застучало. Она спросила чуть слышно:

— Мишель, тебе все так же трудно с деньгами?

— То есть как так трудно? Гарсон, счет.

Мишель хлопнул себя по пиджаку. Поджал губы, заморгал. Вскочил, принялся бешено шарить по карманам. Выругался, сел, отер лоб.

— Забыл дома кошелек, чтобы тебе сдохнуть!

— Я заплачу, Мишель...

— Но, крошка, я не позволю...

— Мишель, я приходила вчера сообщить очень важную новость.

Антуан Риво взял из банка шестьдесят пять тысяч франков...

— Тише говори...

Мишель быстро оглянул почти пустое бистро и нагнулся ко рту Нинет. Она с жадностью вдохнула запах его волос, облизнула губы:

— Как только я узнала про это — побежала тебе сказать...

Бедняк, ты так страдаешь.

(Мишель стиснул рукой ее колено.)

— Антуан держит деньги под ковром, так мне сказали...

(Мишель кашлянул, прочищая горло.)

— Пойди к Антуану, проси у него денег.

— А если он не даст?

Губы Нинет посинели, руки замерзли до локтей.

— Я только хотела тебя предупредить... Я думала... Мы могли бы поехать к морю на месяц... Мы были бы скромны... Собирать креветок, танцевать с тобой шимми. Я так мечтаю об этом, Мишель.

Глаза ее налились слезами. Мишель, наконец, выдохнул из себя воздух. Отодвинулся.

— Плати! Идем.

В шесть часов вечера Антуан Риво не пришел в кафе. В семь часов гарсон Шарль остановился перед стенными часами и карандашом сильно прижал себе кончик носа.

-- Странно.

Шарлю, разумеется, не было никакого дела до Антуана Риво. Но то, что он в первый раз за пятнадцать лет не пришел именно сегодня, это каким-то образом стояло в связи с чем-то ужасно неприятным... Гм... Что-то произошло вчера пустяковое, но неприятное, и это стояло в связи... Гм... Словом, если бы Антуан Риво появился у окна, Шарль сразу бы успокоился.

В четверть двенадцатого Шарль надел пиджак и котелок, подлез под полуопущенную на двери штору и вышел на бульвар. Нинет на скамейке не оказалось. Шарль дошел до конца бульвара. Вернулся... Сдвинул котелок на затылок. Фу ты, черт! Что же случилось? Он был действительно встревожен. Но почему между отсутствием Антуана Риво и Нинет чудилась ему связь? Видел он что-то и забыл, чувствовал и не мог понять.

Шарль в раздумье шел к отелю «Магистратуры и высшего духовенства». На другой стороне улицы приоткрылась дверь одного из подъездов, выскользнула узкая, как тень, незнакомая женщина в шляпе, надвинутой так глубоко, что был виден только острый, белый, как алебастр, подбородок. Быстро-быстро каблучки ее простучали по тротуару.

Шарль сразу остановился, надвинул котелок на глаза. Повернулся и почти побежал. Он вспомнил смятую кровать, сонную Нинет... И то, как вдруг, при имени Антуана Риво, заблестели ее глаза, как она, точно чужая, перелезла через Шарля, торопливо сделала и убежала. Простучали за окном каблучки...

Через десять минут Шарль остановился в узкой улочке, у невысокого дома. Три нижние окна его, закрытые железными жалюзи, выходили на пустырь с огородами, кучами угля и фабричной постройкой, разрушенной в тысяча девятьсот восемнадцатом году гигантской бомбой «Берты».

За тремя ставнями в нижнем этаже было жилище Антуана Риво с отдельным входом: гарсоньерка. Наружная дверь оказалась приоткрытой. У Шарля стукнули зубы. Все же он осторожно отворил дверь и вошел в темную комнату с кислым, стариковским запахом. Он споткнулся о поваленный стул. Потер ушибленное колено. Пошарил в карманах, нашел восковую спичку, чиркнул ее о штаны. Огонек ярко разгорелся... На ковре у камина лежал большой, раздутый мешок. Шарль наклонился к нему. Мешок оказался животом Антуана Риво. Короткие ноги его, в подштанниках, были раздвинуты, как ножницы. Лицо куда-то делось. Вместо лица — черное, спухшее, напрочь перерезанное горло.

Спичка погасла, уголек упал и зашипел. Шарль опомнился за джерью. Притворил ее и пошел, на цыпочках, вдоль мрачного пустыря.

Вереницы автомобильных огней катились по сырым аллеям Булонского леса. Асфальтовые шоссе, маслянистые и зеркальные, отражали силуэты машин и длинные ветви деревьев, застилающих

звездное небо. В низко ударяющих столбах света возникали пешеходы, лакированные зады автомобилей, бледные лица женщин за блеснувшими стеклами. Автомобили и пешеходы двигались в дальнюю часть леса, к парку Багатель.

Граф д'Артуа, брат Людовика XVI, просил однажды королеву о любовном свидании. Мария Антуанетта сказала: «Да». Осенью, во время охоты, в уединенном месте, она отдаст ему час любви. Граф д'Артуа выбрал на берегу Сены, в лесу, уединенное место, где росли столетние дубы и по лужайкам бежал ключ. Здесь он разбил английский парк, перекинул мостики через ручей и на открытой поляне построил дворец, а рядом — отель для свиты. Кругом он приказал посадить миллионы роз. Постройка была окончена в три месяца. Мария Антуанетта сдержала слово. Во время охоты лошадь ее взбесилась и унесла королеву в замок любовной прихоти — Багатель. Прошло много лет. Королева была казнена, граф д'Артуа бежал из Франции. Теперь в Багатели цветут поля роз. Чудесные розы покрывают лужайки, оплетают старые стены ограды, свешиваются с ползучих арок. Сегодня в Багатели герцогиня д'Юез, по бабушке из рода Рюриковичей, давала Парижу праздник в пользу жертв русской революции.

Мишель Риво бросил кассиру смятую бумажку в сто франков и вместе с Нинет вошел через железные ворота в парк. С правой стороны из-за леса, из дымных облаков, подымалась луна мутным, огромным шаром. На сырые поляны, посеребренные ее светом, ложились тени от одиноких дубов. Было прохладно, недавно прошел дождь.

Налево, на длинной и покатой поляне перед озером, стояло множество стульев и скамей. Окаймляющие поляну пышные платаны были покрыты бумажными фонарями, расположенными как гроздья винограда. В воде озера отражались огни и звезды.

Съезд начался. Группы зрителей шли в свете луны и светящихся лиловых гроздей. Здесь был весь блестящий Париж, собравшийся ко дню розыгрыша большого приза.

Мишель Риво стоял, заложив палец за борт пиджака, опираясь о тросточку. Нинет держала его под руку, — ей казалось, что все это — сон. Лицо Мишеля было болезненно-бледно, ноздри раздуты. Мимо, по мокрой траве, шагали высокие англичане в вечерних, до пят, черных пальто, в мягких шляпах; проходили горбоносые, с маленькими головами французы в шелковых цилиндрах, в плащах, перекинутых через руку, во фраках, обливающих их длинные фигуры; маленькие, смуглые, мерцающие жемчужными запонками южные американцы; японцы с лицами-масками, в очках, в просторных фраках. Пышно, как по ковру, проходили по мокрой траве полуобнаженные женщины, неведомо чьею фантазией порожденные на земле. Их тонкие руки, грудь, спины глубоко — до поясницы — были обнажены, лишь две нити придерживали черные, пышные

плюсовые юбки, их волосы убраны просто, гладко — узлом на затылке. Таков был вкус после войны: женщина захотела раздеться перед всеми. Она сняла драгоценности, причесала волосы просто и прикрыла траурной легкой материей лишь то, что было некрасиво оставить открытым. Послевоенная эстетика требовала простоты и много прекрасного тела.

Мишель Риво сказал, не разжимая зубов:

— Оставь мою руку.

Нинет торопливо выдернула руку из-под его локтя. Места перед озером наполнились. На эстраде над водой зажглись среди стволов ртутные лампы. В первые ряды не спеша прошли индусы в черных хилатах, в белых чалмах. Они окружали раджу, с лицом ястреба. От него шли лучи драгоценных камней, сверкало золото одежды.

Заиграл оркестр под сводами листвы, сильнее осветилась эстрада, на ней, отраженная в воде озера, тонкая, сильная, в белых пачках, появилась Анна Павлова.

Мишель Риво повернулся и пошел к одиноко стоящему на седой поляне дворцу Багател, залитому лунным светом. Мишелю хотелось пить. Горло горело. У буфетного стола, перед дворцом, он спросил коньяку. Нинет с ужасом глядела, как Мишель выпил пять больших рюмок. Вытирая усы, он развернул грязный носовой платок, вдруг дернул головой, точно от удара, сунул платок в карман и отошел от стола.

— Какого черта ты меня сюда привела!

Часто-часто моргая, Нинет сказала:

— Я не знала, что здесь так все доржало.

— Ты — дура! Заплатить сто франков, чтобы пялить глаза на этих скотов, которым давно надо перерезать глотки...

Он стукнул зубами, сунул руки в карманы штанов и зашагал по поляне. Нинет в тоске поглядела на тучку, находившую на луну. Вчера после завтрака они с Мишелем ласково расстались. Мишель ушел просить денег. Сегодня, в сумерки, они встретились около Лувра. Мишель, усмехаясь, показал пачку кредиток: «Старик Антуан раскошелился». Они стояли на мосту, обсуждая, что делать исчермом. За садом Тюильри разливался багрово-пыльный свет заката. Его отблески скользили по воде, ложились на графитовые крыши Лувра. Мишель осунулся, папироска у него повисла, приклевшись к губе. «Мишель, — сказала Нинет жалобно, — пойдем куда-нибудь в шикарное место, раз в жизни!» И она вспомнила, что сегодня праздник в Багатели. И вот они здесь. «Ах, лучше было бы просто поужинать в бистро, посидеть часок на диванчике и пойти спать, чем водить Мишеля глядеть на красивых женщин».

Вдали между деревьями вспыхнул круг прожектора, и ослепительный столб света потянулся над зазеленевшей, как яд, травой. Неподалеку зашипел и протянулся второй столб. Издалека — третий. Бродя по поляне, столбы скрестились в одной точке, — осветили кучку людей в огненно-красных сюртуках, в красных шапках. Они держали медные рога и вдруг затрубили, печально и протяжно,

древнюю охотничью песню — сбор по оленю. Это был антракт. Мишель вздрогнул, втянул голову в плечи. В глазах его появился нестерпимый ужас. Но столбы вдруг погасли; пропали красные трубы. И снова над поляной, над разбросанными по ней дубами кое-как стала светить незатейливая луна.

С озера шли зрители. Ни Мишель, ни Нинет не знали, конечно, что вот этот изящный, презрительный, с худым лицом молодой человек открыл первый начало великой восточной трагедии, убив у себя на дому полумифического мужика. А вот этот — курносый, с собачьим лицом, с глазами-щелками — знаменит на весь мир не менее: командир волчьей сотни, пролетевший, по колено в крови, по Кавказу и Дону. Вот этот, скромный и разочарованный, похожий на учителя математики, недавно еще был могущественнее турецкого султана... Вот эта полная, рослая, в голубом сарафане и кокошнике — сама герцогиня д'Юез; рядом с ней — скучающий человек с темными усами, в шелковом цилиндре слегка набекрень — русский император, напечатавший в Ницце листок с просьбою вернуть ему империю и подданных...

Мишель пристально глядел мимо идущих, на кусты по ту сторону дорожки, где, полускрытые листьями, поблескивали пуговицы на двух полицейских мундирах. Мишель негромко спросил Нинет: — Ты никому не сказала, что мы пойдем в Багатель?

— Нет, я сказала только моей консьержке.

Мишель осторожно пошел в тени деревьев. Там стояла вторая пара полицейских. Мишель отвернулся. Так, спокойным шагом, он дошел до опушки. Здесь вдруг схватился обеими руками за шляпу и побежал, сгибаясь под ветвями. Нинет ахнула. Крикнула жалобно: «Мишель!» Сейчас же справа и слева наклонились к ней два длинноусых, каменных лица — сержанты полиции. Один спросил ее имя, другой сказал:

— Вы арестованы, мадемуазель.

На допросе у следователя Нинет дана была очная ставка с гарсоном Шарлем, который еще в ночь убийства рассказал в полицейском участке о страшной находке и о всех своих сомнениях.

Увидев у следователя молодую девушку, Шарль закрыл рукой глаза и воскликнул: «О, это та, которую я любил!»

В кабинете следователя сидели хроникеры из бульварных газет. Нинет держалась мужественно. «Этот человек, — сказала она, кивая подбородком на Шарля, — этот овернец отравлял мою жизнь скверными паштетами и убийственным однообразием своей любви... (Нинет знала, что в эту минуту говорит для Франции.) Я парижанка, мосье, я женщина, — я была несчастна. Я любила Мишеля Риво, но он был беден. Мне оставалось только покориться своей судьбе». Нинет разрыдалась. Виновность Мишеля она решительно отрицала. Шарль в первый раз видел ее такою... «Черт возьми, — пробормотал он, — черт возьми, вот это женщина».

Портреты Шарля, Мишеля и Нинет появились в газетах. Слова Нинет о том, что она — парижанка и женщина — принуждена

долюльствоваться скверными паштетам и однообразной любовью, эти замечательные слова облетели всю Францию. Кафе, где в продолжение пятнадцати лет Антуан Риво пил аперитив, стало знаменитым. Хозяин поставил лавры у входа и место Риво у окна покрыл флером. Шарлю приходилось рассказывать каждому посетителю про свой разговор с Антуаном Риво накануне убийства, про ночную беседу с Нинет, про свою тревогу вечером следующего дня и, наконец, — посещение жилища добряка Риво и ужасное зрелище — труп с перерезанным горлом. «Вы понимаете, мосье, — заканчивал Шарль, — какой опасности я подвергался, когда засыпал после дня, полного трудов, и эта женщина, лежа рядом со мной, обдумывала план убийства. Она имела обыкновение кусать себе ногти, когда лежала в постели». — «О?» — испуганно воскликнул посетитель... «Да, да, мосье, кусала ногти».

Так прошла неделя, но убийца, Мишель Риво, все еще не был арестован...

В центре Парижа, в стороне от многолюдных больших бульваров, есть узенькая улица XV века, улица Венеции. Она не шире четырех аршин. Дома, построенные уступами, сходятся вверх, оставляя узкую щель неба. У входа в улицу видны остатки цепей времен средневековья. Пыльные окна затянуты паутиной, которую ткали пауки еще при христианнейших королях. К наружным стенам, прямо на улице, прилеплены писсуары, так как внутри домов отхожих мест нет. Мостовая покрыта остатками овощей, куриными внутренностями и еще черт знает чем. Опухшие лица выглядывают из темных лавчонок, из низких входов, из ветхих окон, переключаются нечеловечески-хриплыми голосами или на воровском жаргоне принимают ругать случайного прохожего, запускают в спину гнилым апельсином. Эта отвратительная щель населена теми, кого на языке науки называют деклассированным элементом. Полиция заглядывает сюда только днем. Время здесь остановилось и загнило.

Седьмой день Мишель Риво ночевал на этой улице, в комнате Заячьей Губы — проститутки, которую знал еще до войны. В шестнадцатом году, работая в государственном публичном доме на фронте, Заячья Губа заболела дурной болезнью. Ей пришлось деклассироваться. Она занялась перепродажей краденого.

Днем Мишель Риво бродил по Большим бульварам и покупал мелкие, бесполезные предметы, а к часу обеда подавался в рабочие кварталы. Он ел без вкуса, поспешно, иногда прямо на улице. Желудок его был не в порядке. В газетах он прочел интервью с инспектором полиции и понял, что сыщики на ногах — обыскивают Париж кварталами.

Он был в том состоянии спокойного бешенства, когда можно подойти к любому благоустроенному, довольному собой прохожему и перегрызть ему горло.

В сумерки Мишель Риво нырнул в низкую щель лавочки Заячьей Губы «Уголь, вино», помещавшейся на уровне земли. За лавочкой, в сводчатом полуподвале, имелся ход в подполье дров-

них каменоломен под старым Парижем. Мишель вошел в эту комнату и увидел худощавого незнакомца: положив локти на стол, он курил папироску, пил вино и щурился на свет керосиновой копилки.

Мишель подался к двери. Незнакомец не спеша сказал:

— Можете спокойно оставаться. Я — вор. Хотите вина?

Из-за двери крикнула Заячья Губа:

— Не опасайся, Мишель, этот человек знаменит, как Виктор Гюго...

Мишель сел на соломенный стул, взял стакан с вином. Копилка освещала снизу доверху лицо вора хорошей породы и отменного благородства: блестящие, в пышных ресницах, глаза, подстриженные по-английски усы, тонкая сеть мускулов, двигающихся на скулах под матовой кожей, ловко надетая шляпа, черный галстук, полотняное белье...

— Это вы пришили старика Антуана? — спросил вор.

— Да, я, мосье.

— Чем?

— Солдатским ножом.

— Вы дилетант, мой друг. Старика надо было потрошить сухим методом, покуда он пьет аперитив в кафе... Вы погорячились... Жаль, жаль... Вашей голове придется, видимо, сыграть партию в кегли.

Так же, как все эти дни, тяжелый ком подвалил под живот Мишелю Риво. Лицо его стало серым. Вор сказал:

— Расскажите подробности...

— Я вошел, старик читал газету в кресле... Я был взбешен, да, но спокоен. Старик, ничего не спрашивая, скомкал газету и заорал: «Вон!» Тогда я затворил дверь и потребовал тысячу франков...

— Вы затворили дверь, — спросил вор, — намеренно?

— Говорю вам, что я был взбешен... Я отогнул ковер, под которым лежали деньги. Старик завизжал и кинулся животом на отогнутый ковер. Он уронил очки, шапочку и туфли... Он испустил отвратительное зловоние...

Вор с удовольствием щелкнул пальцами:

— Это очень нервит, я знаю... Затем он вас укусил?

— Он меня укусил. Он ухватил меня за ноги, чтобы повалить... Тогда я его зарезал. Он покатился, перевернулся и зашипел, как коробка с гнилыми консервами...

— Мой дорогой друг, можете смело считать себя обезглавленным, — сказал вор. — Полиция не прощает подобного дилетантства. А жаль...

Мишель Риво облизнул губы и жадно выпил стакан вина. Вор ногтем мизинца погнал по столу кусочек пробки.

— Вас можно было бы еще спасти, а?

— Я слушаю, мосье.

— Ваша вина в том, дорогой друг, что вы совершили поступок в состоянии запальчивости. Если бы путем спокойного размышления пришли к заключению, что старика действительно нужно убраться...

Тогда — bravo, bravo!.. У вас недисциплинированная воля. Да. Война испортила человеческий механизм. Стоит хаос, как после тайфуна. Революции! Какой запоздалый романтизм! Игра для детей среднего возраста! Коммунисты, фашисты... Ку-клукс-клан. Скучно. Жизнь потеряла магнетическую силу. Война убила вкус: девчонки стали холодны, как рыбы, вино — кисло, в кабаках зеваешь до слез. Перестали даже писать занимательные книги. А? Вы не следите за литературой? Единственное учреждение, которое еще на высоте, это — полиция. От всей великой культуры остались полицейские корпусы. Говорят еще — идет новая сила: это концерны тяжелой промышленности. Они захватывают жизнь по вертикали. Но это пахнет социализмом наизнанку. Здесь нам, последним индивидуалистам, рыцарям маски и потайного фонаря, делать нечего.

Вор ногтем мизинца смахнул пепел с лацкана серого пиджака.

— Итак, в сфере нашего интереса остается полиция. Кстати, мы уверены, что я не полицейский сыщик? Поставьте стакан, вы проливаете вино... Итак, вы — уверены. Это указывает на вашу прозорливость. Я пришел сюда именно за тем, чтобы предложить вам убрать одного господина, который таскается за моими пятками, как легавый кобель. Вам придется обойтись с ним примерно так же, как с дядюшкой Антуаном. После этого я постараюсь переправить вас в Южную Америку. За это — тридцать шансов против ста. Без меня у вас — все сто попасть под нож гильотины...

— Согласен! — неожиданно громко крикнул Мишель Риво. — И, Заячья Губа, еще два литра красного...

Этой же ночью Мишель Риво стоял в темной нише ворот на старой улице Фобур Монмартр. Луна поднималась из-за мансард. Изредка в гору проезжал автомобиль с гуляками.

Раздались шаги. Мишель сжал зубы. Но нет, — это прошел пьяненький старик газетчик, похожий на Рабиндраната Тагора, спотыкаясь, бормотал названия газет. Опять — шаги. Прошла усталой походкой девушка в повисшем на голых плечах шелковом плаще. Обернулась, нашла в темноте глаза Мишеля. Усмехнулась, прошла.

Было тихо. Париж засыпал. Париж, Париж! Каждый камень здесь враждебен Мишелю. Родина! Проклятие!

Опять раздались шаги. Мимо ворот быстро прошел вор и, как было условлено, щелкнул пальцами. Мишель пригнулся для прыжка. Сейчас же следом за вором появился человек в сером коротком пальто. Мишель кинулся на него и ножом ударил ему в бок — глубоко и твердо... Человек упал со стоном. Мишель быстро пошел вниз к бульварам. Он перегнал пьяненького газетчика и девушку, — она опять, взглянув на него, усмехнулась криво. В глазах Мишеля все еще плыл красный свет...

На углу его окликнули. Стоял закрытый автомобиль. Мишель влез в него, откинулся на подушки, зажмурился и оборвал пуговки на вороте мягкой рубашки.

ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА, ИЛИ ИБИКУС

КНИГА ПЕРВАЯ

Давным-давно, еще накануне Великой войны, Семен Иванович Невзоров, сидя как-то с приятелем в трактире «Северный полюс», рассказал историю:

— Шел я к тетеньке на Петровский остров в совершенно трезвом виде, заметьте. Не доходя до моста, слышу — стучат кузнецы. Гляжу — табор. Сидят цыгане, бородатые, страшные, куют котлы. Цыганята бегают, грязные — смотреть страшно. Взять такого цыганенка, помыть его мылом, и он тут же помирает, не может вытерпеть чистоты.

Подходит ко мне старая, жирная цыганка: «Дай погадаю, богатый будешь, — и — хватить за руку: — Положи золото на ладонь».

В совершенно трезвом виде вынимаю из кошелечка пятирублевый золотой, кладу себе на ладонь, и он тут же пропал, как его и не было. Я — цыганке: «Сейчас позову городского, отдай деньги». Она, проклятая, тащит меня за шиворот, и я иду в гипнотизме, воли моей нет, хотя и в трезвом виде. «Баринок, баринок, — она говорит, — не сердчай, а то вот что тебе станет, — и указательными пальцами показывает мне отвратительные крючки. — А добрый будешь, золотой будешь — всегда будет так», — задирает юбку и моей рукой гладит себя по паскудной ляжке, вытаскивает груди, скрипит клыками.

Я заробел, — и денег жалко, и крючков ее боюсь, не ухожу. И цыганка мне нагадала, что ждет меня судьба, полная разнообразных приключений, буду знаменит и богат. Этому предсказанию верю, — время мое придет, не смейтесь.

Приятели Семена Ивановича ржали, крутили головами. Действительно: кого-кого — только не Семена Ивановича ждет слава и богатство. «Хо-хо! Разнообразные приключения! Выпьем. Человек, еще графинчик и полпорции шнельклопса, да побольше хрену».

Семен Иванович, — нужно предварить читателя, — служил в транспортной конторе. Рост средний, лицо миловидное, грудь узкая, лобик наморщенный. Носит длинные волосы и часто встряхивает ими. Ни блондин, ни шатен, а так — со второго двора, с Мещанской улицы.

— А я верю, что меня ждет необыкновенная судьба, — повторял Семен Иванович и хохотал вслед за другими. Ему сыпали

перца в водку. «Хо-хо, необыкновенная судьба! Ну и дурак же ты, Семен Невзоров, — сил нет...»

Дни шли за днями. На Мещанской улице моросил дождь, растилался туман. Пахло на лестницах постными пирогами. Желтые стены второго двора стояли, как и сейчас стоят.

Семен Иванович служил без прогулов, добросовестно, как приличный петербуржец. В субботние дни посещал трактир. Носил каракулеву шапку и пальто с каракулевым воротником. На улице его часто смешивали с кем-нибудь другим, и в этих случаях он предупредительно заявлял:

— Виноват, вы обмишурились, я — Невзоров.

По вечерам иногда к Семену Ивановичу приходила любовница, по прозвищу Кнопка. После баловства она обыкновенно спорила, обижалась, шуршала, чтобы он на ней женился. Жить бы ему да жить: шесть дней будней, седьмой — праздничек. Протекло бы годов сколько положено, опустевшую его комнату, с круглой печкой, с железной кроватью, с комодиком, на котором тикал будильник, занял бы другой жилец. И снова помчались бы года над вторым двором.

Так нет же, — судьба именно такому человеку готовила беспокойный и странный жребий. Недаром же Семен Иванович заплатил за гаданье маленький золотой. В цыганкины слова он верил, хотя правду надо сказать, — пальцем не пошевелил, чтобы изменить течение жизни.

Однажды он купил на Аничковом мосту у мальчишки за пятак «полную колоду гадальных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона». Дома, после вечернего чая, разложил карты, и вышла глупость: «Символ смерти, или говорящий череп Ибикус». Семен Иванович пожалел о затраченном пятаке, запер колоду в комод. Но, бывало, выпьет с приятелями, и открывается ему в трактирном чаду какая-то перспектива.

Эти предчувствия, а может быть какие-нибудь природные свойства, а может быть самый климат — туманный, петербургский, раздражающий воображение, — привели Семена Ивановича к одной слабости: читать в газетах про аристократов.

Бывало, купит «Петербургскую газету» и прочтет от доски до доски описание балов, раутов и благотворительных базаров. «У графа такого-то на чашке чая парми присутствующих: княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бобринская, князь и княгиня Лобановы-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон...»

Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях. Княгини — длинные, блондинки, в платьях электрик. Баронессы — рыжеватые и в теле. Граф — непременно с орлиными глазами. Князь — помягче, с бородкой. Светлейшие — как бы малодоступные созерцанию.

Так Семен Иванович сиживал у окошка; на втором дворе капало; туман застилал крыши... А на зеркальных паркетах звенели шпоры, шуршали шлейфы. Разговоры вполголоса... Духи, ароматы... Происходил фэйф-о-клок. Лакеи вносят торты разных видов, сахарные печенья, вазы с вареньем. Ни графини, ни княгини даже не притрагиваются к еде. Разве какая высунет из кружев пальчики, отщипнет крошку. Только ножками перебирают на скамеечках.

В сумерки приходила Кнопка. Носик торчком, и тот весь заплаканный, — просит, чтобы женился. Семен Иванович встряхивал волосами, отвечал неопределенно.

Многие события, большие дела произошли с той поры: заехали в пропасть, перевернулись кверху колесами, — война. Но Семена Ивановича эти дела мало коснулись. По причине слабости груди его на фронт не взяли. Один год проходил он в защитной форме, а потом опять надел пиджачок. «Северный полюс» закрылся.

Жить стало скучнее. Спиртные напитки запретили. Познакомиться с приятным человеком, — хватать-похватать, он уже на фронте, он уже убит. Никакой ни у кого прочности. Кнопку увез на фронт драгунский полк, проходивший через Петроград. Все семь дней теперь стали буднями.

Попались Семену Ивановичу как-то, при разборке комода, гадательные карты девицы Ленорман. Усмехнулся, раскинул. И опять вышел череп Ибикус. Что бы это обстоятельство могло значить?

Одно время Ибикус привязался по ночам снится: огромный, сухой, стоял в углу, скалил зубы. Нападала тоска во сне. А наутро противно было думать, что опять он приснится. Семен Иванович раздобыл бутылку ханжи, очищенной нашатырем. Выпил, одиноко сидя у мокрого окошка в сумерках, и будто бы снова померещилось ему какое-то счастье... Но защемило сердце. Нет. Обманула цыганка.

И вдруг стукнула судьба.

Семен Иванович кушал утренний кофе из желудей, без сахару, с кусочком мякинного хлеба. За окном февральский туман моросил несказанной гнилью.

Вдруг — дзынь! Резко звякнуло оконное стекло и сейчас же — дзынь! — зазвенело, посыпалось зеркальце, висевшее сбоку постели.

Семен Иванович подавился куском, ухватился за стол, выкатил глаза. Внутреннее оконное стекло треснуло мысом, в наружном была круглая дырочка от пули. Из прокисшего тумана булькали выстрелы.

Семен Иванович, наконец, осмелился выйти на двор. У ворот стояла куча людей. Женщина в ситцевом платье громко плакала. Ее обступили, слушали. Дворник объяснил:

— Испугалась. Два раза по ней стреляли.

Чей-то бойкий голос проговорил:

— На Невском страшный бой, горы трупов.

Женщина ударилась плакать громче. Опять сказал бойкий голос:

— Так и следует. Давно бы этого царя по шапке. Вампир.

И пошли разговоры у стоящих под воротами — про войну, про измену, про сахар, про хлеб с навозом. У Семена Ивановича дрожали руки, подгибались колени. Он пошел в дворницкую и сел у кирпичной печки.

Напротив на лавке сидела дворничихина дочка в платке и валенках. Как только Семен Иванович пошевелится, девочка принималась шептать: «Боюсь, боюсь». Он рассердился и опять вышел на двор. В это время послышался крик. Посредине двора какой-то бритый, плотный человек с крашеными баками кричал удушенным голосом:

— На Екатерингофском канале лавошники околотошного жарят лживо.

Это было до того страшно, что из подъездов раздались женские визги. Под воротами замахали руками. Человек с баками скрылся. А из тумана бухало, хлопало, тактакало.

Семен Иванович вернулся домой и сел на стул. Наступал конец света. Шатался имперский столп. Страшное слово — Революция — изъерошенной птицей летало по улицам и дворам. Вот, это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не угомонясь, гулко стучало из тумана.

Мрачно было на душе у Семена Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал: «Я тебе надую, надую пустоту, выдую тебя из жилища».

В глухие сумерки кто-то стал трогать ручку входной двери. Коротко позвонили. Семен Иванович, ужаснувшись, отворил парадное. Перед ним, освещенная из прихожей, стояла женщина удивительной красоты — темноглазая, бледная, в шелковой шубке, в белом оренбургском платке. Она сейчас же проскользнула в дверь и прошептала поспешно:

— Затворите... На крючок...

На лестнице послышались шаги, грубые голоса. Навалились снаружи, бухнули кулаком в дверь. «Брось, идем...» — «Здесь она». — «Брось, идем, ну ее к черту...» — «Ну, так она на другой лестнице...» — «Брось, идем...» Шаги застучали вниз, голоса затихли.

Незнакомка стояла лицом к стене, в углу. Когда все затихло, она схватила Семена Ивановича за руку, глаза ее с каким-то сумасшедшим юмором приблизились:

— Я останусь... Не прогоните?

— Помилуйте. Прошу.

Она быстро прошла в комнату, села на кровать.

— Какой ужас! — сказала она и стщила с головы платок. — Не спрашивайте меня ни о чем. Обещайте. Ну?

Семен Иванович растерянно обещал не расспрашивать. Она опять уставилась на него, — глаза черные, с припухшими веками, с азиатчинкой:

— На краю гибели, понимаете? Два раза вырвалась. Какие негодяи! Куда теперь денусь? Я домой не вернусь. Боже, какой мрак!

Она затопала ногами и упала в подушку. Семен Иванович проговорил несколько ободряющих слов. Она выпрямилась, сунула руки между колен:

— Вы кто такой? (Он вкратце объяснил.) Я останусь на всю ночь. Вы, может быть, думаете, — меня можно на улицу выкинуть? Я не кошка.

— Простите, сударыня, я по обхождению, по одеже вижу, что вы аристократка.

— Вы так думаете? Может статься. А вы не нахальный. Это хорошо. Странно — почему я к вам забежала. Бегу по двору без памяти, гляжу — окошко светится. Умираю, устала.

Семен Иванович постелил гостье на диване. Предложил было чаю. Она отнула головой так, что разлетелись каштановые волосы. Он понес свой матрац на кухню. Незнакомка крикнула:

— Ни за что! Боюсь. Ложитесь здесь же. С ума сойду, несите назад тюфяк.

Семен Иванович погасил свет. Лег и слышал, как на диване — рrrrrr — разлетелись кнопки платья, упали туфельки. В комнате запахло духами. У него побежали мурашки по спинному хребту, кровь стала приливать и отливать, как в океане. Гостья ворочалась под шелковой шубой.

— Мученье, зажгите свет. Холодно. (Семен Иванович включил одинокую лампочку под потолком.) Небось лежите и черт знает что думаете. — Она проворно повернулась лицом в подушку. — Одна только революция меня сюда и загнала... Не очень-то гордитесь. Потушите свет.

Семен Иванович растерялся. Не осмелился снять даже башмаков. Но лег, и опять — мурашки, и кровь то обожжет, до дернет морозом.

— Да не слышите разве, я плачу? Бесчувственный, — проговорила гостья в подушку, — у другого бы сердце разорвалось в клочки — глядеть на такую трагедию. Зажгите свет.

Он опять включил лампочку и увидел на диване на подушке рассыпанные волосы и из-под черно-бурого меха — голое плечо. Стиснул зубы. Лег. Тонким голосом незнакомка начала плакать, опять-таки в подушку.

— Сударыня, разрешите — чаю вскипячу.

— Ножки, ножки замерзли, — комариным голосом проплакала она, — вовек теперь не успокоюсь. В двадцать два года на улицу выгнали. По чужим людям. Свет потушитееее.

Семен Иванович схватил свое одеяло и прикрыл ей ноги и, прикрыв, так и остался на диване. Она перестала плакать. Разъятые ноздри его чувствовали теплоту, идущую из-под шубки. Но он робел ужасно, не зная, как обходиться с аристократками. З

спиной, в углу, в темноте, — он не видел, но почувствовал это, — воин и стоял голый череп Ибикус.

— Завтра, наверно, буду лежать, раскинув рученьки на снегу, — ужасно жалобно проговорила гостья, — а тут еще царство погибает.

— Я всей душой готов утешить. Если не зябко — разрешите, ручку поцелую.

— Чересчур смело.

Она повернулась на спину. Смеющимся пятном белело ее лицо в темноте. Семен Иванович подсел ближе и вдруг рискнул — стал целовать это лицо.

Утром незнакомка убежала, даже не поблагодарила. Тщетно Семен Иванович поджидал ее возвращения — неделю, другую, месяц. В комод, вместе с картами девицы Ленорман, лежала часть туалета, забытая чудесной гостьей. Часто теперь по ночам Семен Иванович метался в постели, приподнимаясь — дико глядел на пустой диван. Ему представлялось, что в ту ночь, под свист ветра в оконную дырочку, он рискнул — прыгнул в дикую пустоту. Порвались связи его со вторым двором, с плаксивым окошком, с коробкой с табаком и гильзами на подоконнике.

В свободное от службы время он теперь бродил по улицам, тоже диким и встревоженным. Город шумел невиданной жизнью. Собирались толпы, говорили от утра до поздней ночи. Флаги, знамена, лозунги, забесившиеся мотоциклетки. На перекрестке, где стаивал грузный, с подусниками, пристав, — болтался теперь студент в кривом пенсне, бандиты и жулики просто подходили к нему прикурить. На бульварах пудами грызли семечки. Мужики в шинелях влезали на памятники, били себя в грудь: «За что мы кровь проливаем?» На балконе дворца играл талией временный правитель в черных перчатках.

Семен Иванович с тоненькой усмешечкой ходил, прислушивался, приглядывался. Великие князья, солдаты, жулики, хорошенькие бирышники, генералы, бумажные деньги, короны, — все это плыло, крутилось, не задерживаясь, как в половодье.

«Тут-то и ловить счастье, — раздумывал Семен Иванович и кусал ноготь, — голыми руками, за бесценку — бери любое. Не плошать, не дремать».

Продутый насквозь весенним ветром, голодный, жилистый, двуличный — толкался он по городу, испытывал расширенным сердцем восторг несказанных возможностей.

Сутулый господин в бархатном картузе был прижат к стене группой в солдатских шинелях. Они кричали:

— У меня вшей — тысячи под рубашкой, я понимаю — как москать!

— Кровь мою пьете, гражданин, это вы должны почувствовать, если вы не бесовестный!

— Землица-то, земляца — чья она? — кричал третий.

Господин тарашил глаза. Длинный, извилистый рот его посинел. Семен Иванович, подойдя на этот крик, сказал твердо:

— Видите, граждане, он ни жиди по-русски не понимает, а привязались.

Солдаты плюнули, ушли спорить в другое место. Господин в бархатном картузе (действительно на плохом русском языке) поблагодарил Семена Ивановича. Они пошли по Невскому, разговорились. Господин оказался антикваром, приезжим, город знал плохо. И тут-то Семен Иванович заговорил, прорвало его потоком:

— Пойдите на Сергиевскую, Гагаринскую, на Моховую, вот где найдете мебель, бронзу, кружева... Столовое серебро десятками пудов выносят на фэйф-о-клоках. А посмотрели бы вы на туалеты. Сказка! Бывало, стоишь с чашкой кофею около баронессы, княгини, — дух захватит. Клянусь богом — видать, как у нее сердце просвечивает сквозь кожу. С ума сойти! Одни глаза видны, а кругом страусовые перья. Я не кавалергард — камер-юнкер, но роптать нечего — пользовался у аристократок успехом. Бывало, прямо со службы, не поевши, бежишь на чашку чая. Вот еще недавно одна прибежала ночью, оставила на память — и смех и грех — часть туалета из стариннейших кружевцев. Цены нет. А теперь — усадьбы у них пожгли, есть нечего. Если взяться умеючи, — вагонами можно вывозить обстановки.

Господин в бархатном картузе крайне заинтересовался сообщениями Семена Ивановича и просил его заглядывать в антикварную лавку.

Чего только не было в антикварной лавке! Павловские черные диваны с золотыми лебедиными шеями. Екатерининские пышные портреты. Александровское красное дерево с восхитительными пропорциями, в которых наполеоновская классика преодолена российским уютом наполненных горниц. Здесь была краса русского столярного искусства — карельская береза, согнутые коробом кресла, диваны корытами, низенькие бюро с потайными ящиками.

Господин в бархатном картузе показывал Семену Ивановичу лавку, любовно притрагивался к пыльным полированным плоскостям, мудрено вытягивал извилистые губы. Полизав пыльный палец, говорил:

— Это искусство умерло, этого уже не делают на всем свете. Этот лес сушился по сотне лет. Вот — кресло. Можете полировку ошпарить кипятком. Полировано тонко, как зеркало. А вы чувствуете выгиб спинки? А эта парча? Мастер ткал в сутки только одну десятую дюйма. Вы, русские, никогда не умели ценить вашу мебель. Между тем в России были высокие художники-столяры. Русский столяр чувствовал человеческое тело, когда он выгибал спинку у кресла. Он умел разговаривать с деревом. Надо понимать, любить, уважать человеческий зад, чтобы сделать хорошее кресло.

Между разговором антиквар предложил Семену Ивановичу комиссионные в случае нахождения им добрых вещей. Семен Ива-

юнич стал часто заходить в лавку, исполнял кое-какие поручения. Но серьезно заняться делом мешало ему ужасное возбуждение всех мыслей. Над городом плыли весенние дни. Все бродило. Мимо, близко, у самого рта, скользили такие соблазны, что кружилась голова у Семена Ивановича, захватывало дух: а упусти, а проземию, а прогляжу счастье?

Однажды он застал антиквара, низко нагнувшегося над какой-то вещицей, и около — седую, высокую даму с горьким лицом. Антиквар выделывал сложные гримасы губами.

— Ах, вы ждете денег, — сказал он рассеянно и стал шарить рукой сбоку карельского бюро.

Семен Иванович отчетливо видел его пыльные, слабые пальцы, — средним он надавил на незаметную щеколдочку, крышка отскочила, рука антиквара влезла в ящикек и вытащила оттуда пачку кредитных билетов. Семен Иванович только тогда перевел дыхание.

Его мысли в этот день получили иное несколько направление: появилась ясность, ближайшая цель — достать несколько сот тысяч рублей, бросить службу и уехать из Петрограда. Довольно войны, революции! Жить, жить! Он ясно видел себя в сереньком костюме с иголочки, на руке — трость с серебряным крючком, он подходит к чистильщику сапог и ставит ногу на ящикек, сверкающий южным солнцем. Гуляют роскошные женщины. Так бы и зарыться в эту толпу. И всюду — окорока, колбасы, белые калачи, бутылки со спиртом.

До поздней ночи Семен Иванович бродил по улицам. В весеннем небе слышались гудки паровозов. Это прибывали истерзанные поезда со скупым хлебом, с обезумевшими людьми в солдатских шинелях, прожженных и простреленных. Паровозы кричали в звездное небо: «Умирааааем». Семен Иванович, насквозь пронизанный этими звуками, ночной свежестью, голодный и легкий, повторял про себя: «Первое — достать деньги, первое — деньги».

Незаметно для себя он очутился близ знакомой антикварной лавки. Стал, усмехнулся, покачал головой: «С бухты-барухты — нельзя. Придется обдумать». Улица была пуста, освещена только серебристым светом ночи. Семен Иванович взгляделся, подошел к лавке; странно — дверь оказалась приоткрытой, внутри — свет. Он проскользнул в дверную щель, поднялся на четыре ступеньки и негромко вскрикнул.

Бюро, диваны, кресла, вазы, — все это было опрокинуто, торчало кверху ножками, валялось в обломках, на полу разбросаны бумаги, осколки фарфора. Здесь боролись и грабили. Семен Иванович выскочил на улицу. Перевел дух. Свежесть вернула ему спокойствие. Он оглянулся по сторонам, опять вошел в лавку и, притворив за собой входную железную дверь, заложил ее на щеколду.

Осторожно отодвигая поваленную мебель, он стал пробираться к стене, где стояло карельское бюро. Вдруг ужасно, на весь магазин, что-то застонало, и сейчас же Семен Иванович наступил на мягкое. Он отскочил, закусил ногти. Из-под опрокинутого дивана торчали ноги в калошах, в клетчатых знакомых брюках. Антиквар опять затянул «ооооо» под диваном. Семен Иванович схватил ко-

вер, бросил его поверх дивана, повалил туда же книжный шкаф. Кинулся к бюро. Нажал щеколду. Крышка отскочила. В глубине потайного ящика он нащупал толстые пачки денег.

Шесть недель Семен Иванович скрывал деньги, то в печной трубе, то опускал их на веревке в вентилятор. Страшно бывало по ночам: вдруг — обыск. Боязно и днем, на службе: вдруг на квартиру налет? (Из предусмотрительности он все еще посещал транспортную контору.) Но все обошлось благополучно и как нельзя лучше. Утром, зажигая примус, Семен Иванович вдруг рассмеялся: «Какая чепуха, — Александровскую колонну унести, и то никто не заметит». Он занавесил окно, вытащил из вентилятора деньги и стал считать.

Чем дальше он считал — тем сильнее дрожали пальцы. Крупными купюрами Временного правительства было триста восемьдесят тысяч рублей да мелочью тысяч на десять. Семен Иванович встал со стула и, как был, в тиковых подштанниках и носках, — принялся скакать по комнате. Зубы были стиснуты, ногти впились в мякоть рук.

Весь этот день Семен Иванович провел на Невском — купил пиджачный костюм, пальто, котелок и желтые башмаки. Приобрел в табачном магазине янтарный мундштук и коробку гаванских сигар — «Боливаро». Купил две перемены шелкового белья, бритву «Жиллетт» и тросточку. В сумерки привез на извозчике все это домой, разложил на кровати, на стульях и любовался, трогал. Затем считал деньги. Подперев голову, устремив глаза на вещи, долго сидел у стола. Примерил новую шляпу, попробовал улыбнуться самому себе в зеркальце, но губы засмякли бледными полосками. Долго стоял у комода, слушая, как трепещет возбужденное сердце. Снял новую шляпу и надел старую, надел старое пальто. Поехал на Невский. Здесь он стал ходить жилистыми, мелкими шажками, заглядывая осторожно и недоверчиво под шляпки проституток. Задерживался на перекрестке, расспрашивал девушек — где живет, здорова ли, не хипесница ли?

А рассвет розовато-молочным заревом уже трогал купол собора, яснее проступали бумажки на тротуарах, — миллионы выборных бюллетеней, летучек, обрывков афиш, — остатки шумного дня. Ноги едва держали Семена Ивановича. Невский опустел. Лишь на дряхлой лошаденке, на подпрыгивающей пролетке тащился, свесив голову, пьяный актер с судорожно зажатыми в кулаке гвоздиками.

«И это — жизнь, — раздумывал Семен Иванович, — бумажки, митинги, толкотня, наглое простонародье в грязных шинелях... Сумасшедший дом. Надо уезжать. Ничего здесь не выйдет, кроме пошлости».

На следующий день Семен Иванович сказал дворнику, что по делам службы уезжает надолго, и с курьерским поездом действительно выехал в Москву. Он расположился в международном вагоне, один в бархатном купе, где был отдельный умывальник и даже ночной горшок в виде соусника. Поскрипывали ремни, горело электричество, сверкали медные уголки. Семен Иванович испытывал острое наслаждение.

Семен Иванович гулял теперь по Тверской. Здесь было потише, чем в Петербурге, но — все та же, непонятная ему, отвлеченность и скука. Вместо вещественных развлечений — газеты, афиши, бюллетени, споры. Он часто заходил в кафе «Бом» на Тверской, где сидели писатели, художники и уличные девчонки. Все кафе «Бом» горело за продолжение войны с немцами. Удивительное дело, — видимо, у этих людей ни гроша не было за душой: с утра забирались на диваны и прели, курили, мололи языками! «Хорошо бы, — думал Семен Иванович, сидя в сторонке перед вазой с пирожными, — нанять огромный кабинет в ресторане, пригласить эту компанию, напоить. Шум, хохот. Девочки разденутся. Тут и драка, и пляски, и разнообразные развлечения. Эх, скучно живете, господа!»

Жаль — не удавалось Семену Ивановичу ни с кем познакомиться. Заговаривал несколько раз, но его оглянут, ответят сквозь зубы, отвернутся. Хотя одет он был чисто, но язык — как морозный, манеры обывательские, мелкие. Он чувствовал — необходимо шагнуть еще на одну ступень.

Особенно понравилась ему в кафе девица в черном шелковом платье с открытыми рукавами. С ней всегда сидел отвратительный субъект с бабьим лицом, нечесанный, грязный, курил трубку. Девица засаживалась в угол дивана. Руки голые, слабые, запачкает их об стол, помуслит платочек и вытирает локоть. Сидит согнувшись, курит лениво. Веки полузакрывает, бледная, под глазами тени. Не спросят, — не оборачиваясь, усмехнется еще ленивее припухшим красивым ртом. Стриженная, темноволосая. Но как с ней познакомиться?

Тогда Семен Иванович решился, наконец, на давно уже им обдуманное. Рядом с кафе «Бом» в скоропечатне заказал он себе визитные карточки, небольшого размера, под мрамор: «Симеон Иоаннович граф Невзоров». В скоропечатне приняли заказ, даже не удивились.

Когда он пришел за ними дня через три и приказчик сказал: «Ваши карточки готовы, граф», когда он прочел напечатанное, — охватила дикая радость, сильнее, чем в купе международного вагона.

Из скоропечатни граф Невзоров вышел как по воздуху. На углу, оборотясь с козел, задастый лихач прохрипел: «Ваше сясь, я вас ката...» Трудно было смотреть прохожим в глаза, — еще не привык. Граф прошелся по Тверской, завернул в кафе «Бом», сел за свой столик и спросил вазу с пирожными.

На стене висела афиша. Темноволосая девица с красивыми руками глядела на нее, прищутив подведенные ресницы. Граф надел пенсне и прочел афишу. На ней стояло:

«ВЕЧЕР-БУФ МОЛОДЕЦКОГО РАЗГУЛА
ФУТУРО-ТВОРЧЕСТВА.

*Выступление четырех гениев. Стихи. Речи. Парадоксы.
Открытия. Возможности. Качания. Засада гениев. Ливень идей.
Хохот. Рычание. Политика. В заключение —
всеобщая вакханалия».*

Здесь же в кафе граф приобрел билет на этот вечер.

«Вечер-буф» происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями, — как это понял Семен Иванович, — но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, американские. «Здесь и бумажник выдернут — не успеешь моргнуть», — подумал граф Невзоров.

Неподалеку от него сидела девица с голыми руками, при ней находился кавалер — косматый, с трубкой. Она глядела на освещенную эстраду, куда в это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами, — вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки... Граф Невзоров только пожимал плечами. Встретясь глазами с девицей, сказал:

— Эту словесность каждый день даром слышу.

Девица подняла темные брови, как оса. Невзоров поклонился и подал ей визитную карточку.

— Позвольте представиться.

Она прочла и неожиданно засмеялась. Невзорова ударило в жаркий пот. Но нет, — смех был не зловредный, а скорее заманивающий. Косматый спутник девицы, зажмурившись от табачного дыма, повернулся к Невзорову спиной. Девица спросила:

— Кто вы такой?

— Я недавно прибыл в Москву, видите ли, никак не могу привыкнуть к здешнему обществу.

— Вы не писатель?

— Нет, видите ли, я просто богатый человек, аристократ.

Девица опять засмеялась, глядя на графа с большим любопытством. Тогда он попросил разрешения присесть за ее столик и подал лохматому человеку вторую свою карточку. Но лохматый только засопел через трубку, поднялся коряво и ушел, сел где-то в глубине.

Граф Невзоров спросил крюшону покрепче — то есть из чистого коньяку — и, держа папиросной лорнеточкой папироску, нагнувшись к девице, принялся рассказывать о светской жизни в Петербурге. Девица тихо кисла от смеха. Она чрезвычайно ему нравилась.

На эстраде какой-то человек лалял стихи непристойного и зловещего содержания. Трое других, за его спиной, подхватывали припев: «Хо-хо, хо-хо! дзым дзам вирли, хо-хо!» Это жеребьячье ржание сбивало графа, он встрахивал волосами и подливал коньяку.

Девицу звали Алла Григорьевна. От коньяку зрачки ее расширились во весь глаз. Красивая рука с папироской побелела. Невзоров бормотал разные любезности, но она уже не смеялась, — уголки губ ее мелко вздрагивали, носик обострился.

— Едемте ко мне, — неожиданно сказала она. Граф оробел. Но пятиться было поздно. Проходя мимо столика, за которым сидел косматый с трубкой, Алла Григорьевна усмехнулась криво и жалко. Косматый засопел в трубку, отвернулся, подперся. Тогда она стремительно пододвинулась к столику:

— Это что еще такое? — И ударила кулачком по столу. — Что хочу — то и делаю. Пожалуйста, без надутых физиономий!..

У косматого задрожал подбородок, он совсем прикрылся рукой, коричневой от табаку.

— Ненавижу, — прошептала Алла Григорьевна и ноготками мязла Невзорова за рукав.

Вышли, сели на извозчика. Алла Григорьевна непонятно топоричилась в пролетке, подставляла локти. Вдруг крикнула: «Стой, стой!» — выскочила и забежала в еще открытую аптеку. Он пошел за нею, но она уже сунула что-то в сумочку.

Граф, весьма всему этому изумляясь, заплатил аптекарю сто двадцать рублей. Поехали на Кисловку.

Как только вошли в полуосвещенную, очень душную комнату, — граф ухватил Аллу Григорьевну за талию. Но она странно взглянула, отстранилась:

— Нет, этого совсем не нужно.

Она слегка толкнула Невзорова на плюшевую оттоманку. В комнате был чудовищный беспорядок, — книжки, платья, белье, склянки от духов, коробочки валялись где придется, кровать смята, большая кукла в грязном платье лежала в умывальнике.

Алла Григорьевна поставила перед диваном на низеньком столике початую бутылку вина, надкусанное яблоко, положила две зубочистки и, усмехаясь, вынула из сумочки деревянную коробочку с кокаином. Накинув на плечи белую шаль, забралась с ногами в кресло, взглянула в ручное зеркальце и тоже поставила его на столик. Жестом предложила нюхать.

Опять оробел Семен Иванович. Но она захватила на зубочистку порошок и с наслаждением втянула в одну ноздрю, захватила еще — втянула в другую. С облегчением, глубоко вздохнула, откинулась, полузакрыла глаза:

— Нюхайте, граф.

Тогда и он запустил в ноздри две понюшки. Пожевал яблоко. Еще нюхал. Нос стал деревенеть. В голове ясно. Сердце трепетало предвкушением невероятного. Он понюхал еще волшебного порошку.

— Мы, графы Невзоровы, — начал он металлическим (как ему показалось), удивительной красоты голосом, — мы, графы Невзоровы, видите ли, в близком родстве с царствующей династией. Мы всегда держались в тени. Но теперь в моем лице намерены претендовать на престол. Ничего нет невозможного. Небольшая воинская часть, преданная до последней капли крови, — и переворот готов. Отчетливо вижу: в тронной зале собираются чины и духовенство, меня, конечно, под руки — на трон... Я с трона: «Вот что, генералы, дворяне, купечество, мещанишки и прочая черная косточка, у меня — чтобы никаких революций!.. Бунтовать не дозволяется, поняли, сукины дети?» И пошел, и пошел. Все навзрыд: «Виноваты, больше не допустим». Из залы я, тем же порядком, направляюсь под руки в свою роскошную гостиную. Там графини, княгини, вот по сих пор голые. Каждой — только мигни, сейчас

платье долой. Окруженный дамами, сажусь пить чай с ромом. Подают торт, ставят на стол...

Семен Иванович уже давно глядел на столик перед диваном. Сердце чудовищно билось. На столике стояла человеческая голова. Глаза расширены. На проборе, набекрень, — корона. Борода, усы... «Чья это голова, такая знакомая?.. Да это же моя голова!»

У него по плечам пробежала лихорадка. Уж не Ибикус ли, проклятый, прикинулся его головой?.. Граф захватил еще понюшку. Мысли вспорхнули, стали покидать голову. Рядом в кресле беззвучно смеялась Алла Григорьевна.

Несколько недель (точно он не запомнил сколько) граф Невзоров провозился с Аллой Григорьевной. Вместе обедали, выпивали, посещали театры, по ночам нанюхивались до одури. Деньги быстро таяли, несмотря на мелочную расчетливость Семена Ивановича. Приходилось дарить любовнице то блузку, то мех, то колечко, а то просто небольшую сумму денег.

В голове стоял сплошной дурман. Ночью граф Невзоров возносился, говорил, говорил, открывались непомерные перспективы. Наутро Семен Иванович только сморкался, вялый, как червь. «Бросить это надо, погибну», — бормотал он, не в силах вылезти из постели. А кончался день, — неизменно тянуло его к злодейке.

На одном и том же углу, в продолжение нескольких дней, Семен Иванович встречал молчаливого и неподвижного гражданина. По виду это был еврей, с ярко-рыжей, жесткой, греческой бородой. Он обычно стоял запрокинув лицо, покрытое крупными веснушками. Глаза — заплаканные, полузакрытые. Рот — резко изогнутый, соприкасающийся посредине, раскрытый в углах. Все лицо напоминало трагическую маску.

— Опять он стоит, тьфу, — бормотал Невзоров и из суеверия стал переходить на другой тротуар. А человек-маска будто все глядел на галок, растрепанными стаями крутившихся над Москвой.

Наступили холода. По обледенелой мостовой мело бумажки, пыль, порошу. Шумели на стенах, на воротах мерзлые афиши. Надо было кончать с Москвой, уезжать на юг. Но у Невзорова не хватало сил вырваться из холодноватых, сладких рук Аллы Григорьевны. Он рассказал ей про человека-маску. Неожиданно она ответила:

— Ну, и пусть, все равно недолго осталось жить.

В этот вечер она никуда не захотела ехать. На темных улицах было жутко, пусто раздавались выстрелы. Алла Григорьевна была грустная и ласковая. Играли в шестьдесят шесть. Дома не оказалось ни еды, ни вина, не с чем было выпить чаю. Понюхали кокаинчику.

В полночь в дверь постучали, голос швейцара пригласил пожаловать на экстренное собрание домового комитета. В квартире помощника присяжного поверенного Человекова собрался весь дом, —

и тревожно шумели, рассказывали, будто в городе образовался Комитет Общественного спасения и еще другой — Революционный комитет, что стреляют по всему городу, но кто и в кого — неизвестно. Из накуренной передней истошный голос проговорил: «Господа, в Петербурге второй день резня!» — «Прошу не волновать дам!» — кричал председатель, Человеков, стуча карандашом по стеклянному пюжюру. Оратор, попросивший слова, с обиженным красным лицом надрылся: «Я бы хотел поставить вопрос о закрытии черного хода в более узкие рамки». Седая возбужденная дама, протискиваясь к столу, сообщала: «Господа, только что мне звонили: Викжель всецело на нашей стороне». — «Не Викжель, а Викжедор¹, и не за нас, а против, не понимаете, а вносите панику», — басили из-за печки. «Господа, — надрылся Человеков, — прошу поставить на голосование вопрос об удалении дам, вносящих панику».

Наконец постановили: собрать со всех по одному рублю и выдать швейцару, с тем чтобы он в случае нападения бандитов защищал дом до последней крайности. Глубокой ночью дом угомонился.

На следующий день Семен Иванович собрался было идти к себе на Тверскую, но в подъезде две неспавшиеся дамы и старичок с двустольным ружьем сказали:

— Если дорожите жизнью, — советуем не выходить.

Пришлось скучать в комнате у Аллы Григорьевны. Граф сел у окошка. На улице, в мерзлом тумане, проехал грузовик с вооруженными людьми. Изредка стреляли пушки: ух — ах, — и каждый раз вылетали стаи галок. Невзоров был сердит и неразговорчив. Алла Григорьевна валялась в смятой постели, прикрытая до носа одеялом.

Папиросы все вышли. Печка в комнате нетоплена.

— Вы пожрали половину моих денег. Через вас я потерял весь идеализм. Такую шкуру, извините, в первый раз встречаю, — сказал граф. Алла Григорьевна отвечала лениво, но обидно. Так проругались весь день.

В седьмом часу вечера раздался тревожный колокол. Захлопали двери, загудела голосами вся лестница. С нижней площадки кричали:

— Гасите свет. Нас обстреливает артиллерия с Воробьевых гор.

Электричество погасло. Кое-где затеплились свечечки. Говорили испотом. Человеков ходил вниз и вверх по лестницам, держась за голову. Далеко за полночь можно было видеть дам в шубах, в платках, в изнеможении прислонившихся к перилам. Алла Григорьевна пристроилась на лестнице около свечки, зевая читала расгспанную книжку.

Среди ночи графу Невзорову предложено было пойти дежурить на двор. Ему придали в пару зубного врача в офицерском полушубке. Едва они вышли на обледенелый двор, освещенный отсветом пожараща, — врач закрыл лицо руками и выронил ружье. Впрочем, он объяснил это тем, что ужасно боится кошек, которых множество ползает между дров.

¹ Викжедор — Всероссийский исполнительный комитет железных дорог.

Ночь была наполнена звуками. Вдали, между темных очертаний крыш, ярко светилось одинокое окошко. Поширкивали в воздухе снаряды. Порывами, как ветер, поднималась перестрелка. Зубной врач шептал из подъезда:

— Слушайте, граф, разве возможна нормальная жизнь в такой стране?

За два часа дежурства Семен Иванович продрог и с удовольствием завалился под теплое одеяло к Алле Григорьевне. Помирились. Следующий день начался таким пушечным грохотом, что дрожали стекла. Представлялось, будто Москва уже до самых крыш завалена трупами. Ясно, там, на улицах, решили не шутить.

Алла Григорьевна, в халатике, неприбранная, увядшая, варила на спиртовке рис. Невзоров закладывал окошки книгами и подушками. Телефоны не работали. Газ плохо горел. В окна верхних квартир попали пули. Среди дня зазвонил тревожный колокол, начался переполох. Оказалось: у самого подъезда на улице упал человек в шинели и лежал уткнувшись. На площадках лестниц всхлипывали дамы. Было созвано собрание по поводу того, как убрать труп. Но твердого решения не вынесли. Рассказывали шепотом, будто прислуга в доме уже поделила квартиры и что швейцар ненадежен. А пушки все ухали, били, рвались ружейные залпы. Потрясая землю, пронесился броневик. Шрапнель барабанила по крыше. Так прошел еще день.

Всю ночь Алла Григорьевна проплакала, завернув голову в пуховый платок. Семен Иванович приподнимался спросонок: «Ну, что вам еще не хватает, спите», и мгновенно засыпал. За эти дни в нем собиралась колючая злоба, видимо — он всходил еще на одну ступень.

Рано поутру Алла Григорьевна оделась, — не напудрилась, не подмазалась, — положила в сумочку деньги и пошла из комнаты. Граф схватил ее за подол:

— Куда? Вы с ума сошли, Алла Григорьевна!

— Оставьте юбку. Я вас презираю, Семен Иванович. Лучше помалкивайте. Прощайте.

Она ушла. Рассказывали, что сам Человеков не пускал ее, хватаясь за голову, но Алла Григорьевна сказала: «Иду к сестре за Москву-реку» — и ушла через черный ход.

За дверью хриповатый веселый голос спросил:

— Аллочка дома?

Вошел рослый человек в грязном полушубке. Снял папаху, — череп его был совсем голый, лицо бритое, обветренное, с большим носом. Он оглянул комнату сверкающими, глубоко сидящими глазами. Невзоров поднялся с дивана и объяснил, что Алла Григорьевна два часа тому назад ушла к тетке, за Москву-реку.

— Черт! Жаль! Девчонку ухлопают по дороге, — сказал веселый человек, расстегивая бараний полушубок, — ну, давайте знакомиться: Ртищев, — он подал большую руку с перстнем, где сверкал карбункул, — а в Москве-то что творится, пятак твою распротак! Я только что с Кавказа. Продирался две недели. Прогорел начисто, это я-то, на Минеральных Водах, да, да. Я — игрок, извольте осведомиться. А жаль —

Аллочка улетела. Я ее старинный приятель. С утра сегодня, прямо с мокзала, бегаю по подворотням, пятак твою распротак! Видите, полушубок прострелен. Решил — к Аллочке под крыло. Ну, ничего не поделаешь, выпьем без хозяйки. Жрать хотите небось?

Он вытащил из огромных карманов полушубка кусок мяса, жареную курицу, десяток печеных яиц и бутылку со спиртом. Большой рукой указал Семену Ивановичу на стул. Выпили спирту, принялись за еду. Чокнувшись по третьей, Ртищев сказал:

— Граф Невзоров, если не ошибаюсь? (Семен Иванович подтвердил.) Ну, так вы врете, вы не граф.

— Позвольте, что это за разговор!

— Таких графов сроду и не было. Вы — авантюрист. Не подсакивайте. Я ведь тоже не Ртищев. Очень просто, пятак твою распротак. А плохи наши дела, граф.

— Виноват, как вы со мной обращаетесь!

Ртищев только весело подмигнул ему на это.

— Уже когда по Москве начали пушками крыть, это значит — четыре сбоку, ваших нет. Надо подаваться в Одессу, граф. Деньги есть? (Семен Иванович пожал плечами.) Ну, ладно, поговорим вечером.

Ртищев выпил последнюю, снял полушубок и, повалившись на постель, сейчас же заснул под буханье пушек, дребезжанье стекол. Семен Иванович с изумлением, с уважением рассматривал этого чудесного человека. «Вот он — ловец, смельчак, этот возьмет свое».

В сумерки Ртищев заворочался на скрипящих пружинах, откашлялся и начал рассказывать о своих неудачах в Кисловодске, где он держал игорный дом. Дела шли блестяще, курортная публика играла, как накануне Страшного суда. Но проклятые чеченцы с гор шестнадцать раз брали игорный дом в конном строю. Увозили деньги в тороках. Пришлось свернуться.

— Стране нужна твердая власть, иначе я отказываюсь работать. А эти буржуи, как индюшки, — только: чувик, чувик, никакого сопротивления. Ну, а вы по какой линии? — спросил он у Невзорова. Тот ответил, что просто живет в свое удовольствие. —), бросьте, малютка, не шутите со мной. По политике, да?

— Может быть.

— И это занятие. Изо всего можно сделать себе занятие — был бы царь в голове. А то у нас на Минеральных Водах объявился один, тоже по политике; намекал, будто он по боковой линии наследник престола. Но глупышка, видите ли, надумал играть в «железку» с накладкой; это при Пушкине играли с накладкой, — люди были доверчивые, возвышенно настроенные. Бросьте политику, граф!

Невзоров сердито топнул ногой. Ртищев захохотал, накинул полушубок, подсел к столу:

— Давайте в картишки. Честно, как порядочные люди, пятак твою распротак!

Ртищев и граф Невзоров сели играть в карты и проиграли ночь, весь следующий день и еще ночь. Ртищев выиграл свыше ста тысяч. Но Семен Иванович почти что и не жалел о проигрыше: за картами

многое было переговорено, перспективы раздвигались. Ртищев представлялся ему опытным и надежным товарищем.

На седьмые сутки выстрелы в городе затихли. Население робко вылезало на улицы, обезображенные борьбой. Невзоров и Ртищев переехали в гостиницу «Люкс» на Тверскую.

Разница в характерах способствовала успеху общего дела. Ртищев был шумлив, кипуч и легкомыслен. Невзоров — подозрительный, расчетливый, всегда мрачный. Один дополнял другого. Они разыскали большую квартиру на Солянке и открыли литературно-художественный клуб «Белая хризантема». Юноши из кафе «Бом» читали там стихи за небольшое вознаграждение. Устраивались диспуты об искусстве. Там можно было получать чай с сахаром и пирожными. В тайных задних комнатах резались в «железку».

Тревожное время, неизвестность, крутые декреты нового правительства, тоска замерзающего, голодного города погнали игроков в «Белую хризантему». Там бывали дельцы, сбитые с толку революцией. Темные личности, торгующие деньгами, иссиня-бритые, с воспаленными, изрытыми лицами. Заходили метнуть награбленное взломщики и бандиты — осторожные юноши с быстрыми глазами. Бывали завсегдаи скачек в еще изящных пиджаках, сохранивших запах английских духов. Два-три озлобленных писателя с голодной тревогой следили за течением миллионов по зеленому сукну. Здесь можно было свободно спросить вино, спирт, шампанское.

Дела дома шли превосходно. Ртищев обычно под утро напивался пьян и сам садился играть по крупной. Семен Иванович ставил себе задачей вовремя отбирать у него деньги: он покупал валюту и держал ее на груди в замшевом мешочке. Однажды в игровой комнате появился косматый человек — бывший спутник Аллы Григорьевны. Невзоров спросил о судьбе девушки. Косматый, не вынимая трубки, усмехнулся кривым ртом:

— Убита на улице в октябре месяце.

Настала весна. Пошли тревожные слухи с юга, с Украины. Грозовой тучей надвигался террор. Граф Невзоров настоятельно предупредил товарища:

— Надо кончать с предприятием. Пора. Лавочку хлопнут В конце концов, это дело не по мне. Я не буфетчик.

На это Ртищев кричал ему пьяный:

— Граф, в тебе нет широты. Ты мещанин, ты на Невском сиги продавал!

Опасения оказались резонными. Однажды ночью «Белая хризантема» была оцеплена солдатами, и все гости и Ртищев отведены в район. Невзорову удалось ускользнуть от ареста, — он выскочил через окно в уборной, унося в мешочке полугодовой доход игорного дома. Надо было бежать из Москвы.

Ехать пришлось уже не в бархатном купе с горшочком. Семен Иванович три дня простоял в проходе вагона, набитого пас-

сажирами сверх всякой возможности. Весь поезд ругался и грозил. В ночной темноте от него, как от черного кота, сыпались искры.

Пролетали ободранные железнодорожные станции с разбитыми окнами, угрюмые села, запустевшие поля, ободранные мужики, пустынные курские степи. Даже в сереньком небе все еще чудилось неразвезанное, кровавое уныние несчастной войны.

«Паршивая, нищая страна, — думал Семен Иванович, с отвращением поглядывая сквозь разбитое окошко вагона на плывущие мимо будничные пейзажи, — туда же — бунтовать. Вшей бить не умеете. Что такое русский человек? — свинья и свинья. Тьфу, раз и навсегда. Отрекись, наплюю, самое происхождение забуду. Например: Симон де Незор — вполне подходит». Семен Иванович тайно ощупывал на груди мешочек с валютой и погружался в изучение самоучителя французского языка.

Одет он был в гимнастерку, в обмотки, в картузишко с изорванным козырьком — вид вполне защитный для перехода через украинскую границу. Кроме того, при паспорте имелось удостоверение, — приобретенное на Сухаревке, — в том, что он, С. И. Невзоров, — артист Государственных театров. Все же переход через границу требовал большой осторожности.

В Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие рассказы. Здесь Семен Иванович спрятал мешочек с валютой на нижней части живота, вполне укромно. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, к Курску, причем в теплушках начиналась тихая паника. Наконец на рассвете остановились на границе.

Семен Иванович остороженько вышел из вагона. Место было голое, пустынное. Бледный свет зари падал на меловые холмы, источенные морщинами водомоем. На путях стоял одинокий вагон, где сейчас спал пограничный комиссар. Несколько телег и мужики стояли поодаль, дожидаясь седоков, чтобы перевезти их через нейтральную полосу к немцам.

Из теплушек вытаскивали детей, чемоданы, узлы. Выскочил кругленький, улыбающийся господин и помог вылезти обессиленной барыне в спустившихся шелковых чулках. Барыня, господин и няньки с детьми раскрыли складные стульчики и сели под открытым небом, среди огромного количества кожаных чемоданов.

Наконец в комиссаровом вагоне опустили окошко: проснулся. На вагонную площадку вышел молодой человек, в ситцевой рубашке распояской, и веничком стал подметать пол. Подмел и сел на ступеньках, подперев кулаком подбородок. Это и был сам комиссар, про которого шепотом говорили еще в Курске, — человек необыкновенной твердости характера. Глаза у него были совсем белые.

— Подойдите-ка сюда, товарищ, — поманил он пальцем кругленького господина. Тот сорвался со стульчика, благожелательная, радостная улыбка растянула его щеки. — Что это у вас там?

— Это моя семья, товарищ комиссар. Видите ли, мы возвращаемся в Харьков.

— Как?

— Видите ли, мы — харьковские. Мы гостили в Москве у тети и возвращаемся.

— Я спрашиваю — это все — это ваш багаж?

— Видите ли, пока мы гостили у тети, — у нас родилось несколько детей.

Господин говорил искренне и честно, улыбался добродушно и открыто. Комиссар медленно полез в карман за кисетом, свернул, закурил и решительно сплюнул.

— Не пропущу, — сказал он, пуская дым из ноздрей.

Господин улыбался совсем уже по-детски.

— Я только про одно: мы детей простудим под открытым небом, товарищ комиссар, а вернуться уже нельзя, — тетя в Москве уплотнена.

— Я не знаю, кто вы такой, я обязан обыскать багаж.

— Кто я такой? Взгляните на меня, — господин стал совсем как ясное солнце, — хотите взглянуть, что я везу? — Он крикнул жене: — Соня, котик, принеси мой чемодан. Я не расстанусь с этими реликвиями моей молодости: портреты Герцена, Бакунина и Кропоткина. Меня с малых лет готовили к революционной работе, но — появились дети, опустилсЯ, каюсь. Для ответственной работы не гожусь, но, как знать, в республике каждый человек пригодится, верно я говорю? Кстати, я не собираюсь бежать: устрою детей в Харькове и через недельку вернусь...

Комиссар насупился, глядел в сторону, уши у него начали краснеть:

— А вот я вас арестую, тогда увидим, кто вы такой на самом деле.

Господин восторженно подскочил к нему:

— Именно, нельзя верить на слово, именно такого ответа я и ждал...

Семен Иванович, внимательно слушавший весь этот разговор, счел за лучшее отойти подальше. Он побродил по станции. Всюду было пусто, запустело, окна разбиты. За ним никто не следил. Он вышел в поле и лег в траву. Полежав около часа, пополз и опять лег. Послышались голоса: невдалеке прошли два солдата, и между ними — человек в парусиновом пальто, с узлом за спиной.

Обождая небольшое время, Семен Иванович пополз среди репейников и полыни к оврагу, пролежавшему у подножия меловых холмов. Осторожно скатился в сухой овраг и пошел по его дну в западном направлении.

Когда солнце поднялось высоко, Семен Иванович вылез наверх. Станции и комиссаровского вагона уже не было видно. Перед ним невдалеке лежало железнодорожное полотно, за ним — пустынная красноватая степь с вьющейся пыльной дорогой.

Под вечер с востока на дороге показались телеги. Семен Иванович оглянулся, — спрятаться было негде. Тогда он снял гимнастерку, на-

дорвал карманы и подмышки, вывалял ее в пыли, надел опять, сел у дороги и принял самый жалкий вид, какой только возможен. Телеги подъезжали на рысях. Он потащился навстречу, протягивая руки и крича: «Помогите, помогите». Передняя телега остановилась. В ней сидел, радостный и беззаботный, кругленький господин и обессиленная барыня. На задних помещались няньки с детьми и горы сундуков.

Семен Иванович, трясясь всеми членами, рассказал, что его избили и ограбили до нитки. Он показал удостоверение артиста Государственных театров. «Э, садитесь на заднюю телегу, трогай!» — крикнул кругленький.

На закате из-за степи поднялись вершины тополей и соломенные крыши хутора. Жерлами на дорогу — к большевикам — стояли две немецкие пушки.

С новыми спутниками Семен Иванович доехал до Харькова. На вокзале обессиленная дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами: «Белые булочки, булочки! Смотрите, дети, — булочки!» Она обняла мужа, детей. Даже Семен Иванович прослезился.

Он переложил деньги из потайного места в карман и на лихаче запустил в лучшую гостиницу. В тот же день он приобрел отличный костюм синего шевиота и пил шампанское. Харьков опьянил его. По улицам ходили — тяжело, вразвалку — колонны немецких солдат в стальных шлемах. На лихачах проносились потомки древних украинских родов в червонных папахах. Множество дельцов, военной формации, в синих шевиотовых костюмах, толпились по кофейням, из воздуха делали деньги, гоняли из конца в конец Украины вагоны с аспирином, касторкой, смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада, на берегу заросшей ряскою реки Нетечи, где кишели, орали, ухали жабы и лягушки, вились туманными змейками двенадцать лихорадок.

Семен Иванович гулял по городскому саду. Гремел оркестр, шипели фонари среди неестественной листвы под черным небом. Семен Иванович присмотрел двух дам: одна — черноглазая блондинка в берете и в шелковом платье, сшитом из занавеси; другая — сухонькая — в огромной шляпе с перьями. «Аристократки», — решил он и, по-столичному приподняв соломенный картузик, сказал: — Все один да один. Позвольте представиться: конт Симон де Незор. Не откажитесь вместе поужинать.

Аристократки не выразили ни удивления, ни сомнения и сейчас же пошли вместе с Симоном де Незором в кабинет. Дощатые стены его были исписаны надписями самого решительного и непристойного содержания. Де Незор потребовал водки с закуской и шампанского. Было очень непринужденно. Вспоминали столичную жизнь. «Ах, Петроград!» — повторяли дамы... Де Незор кричал: «Будь я проклят, сударыни, если через месяц мы не вернемся в Петроград с карательной экспедицией».

Водка шла птицей под чудные воспоминания. Били бокалы. Затягивали несколько раз гимн. Уже дощатые стены стали зыбкими. В табачном дыму, непонятно как, за столом появился четвертый собеседник — тощий, подержанный господин с унылым носом и раздвоенной русой бородкой. Он с чрезвычайным удовольствием занялся икрой и шампанским.

«Неужели опять — Ибикус, фу, черт его возьми!» — пьяными мозгами подумал де Незор.

— А все-таки, ваше сиятельство, рановато нам умирать, еще попрыгаем, — картавя, говорил ему незнакомец. Дамы называли его Платон Платонович. Одна из дам, в шляпе, — видимо, хорошо его зная, — попыталась сесть ему на колени. «Оставьте, мне жарко», — сказал Платон Платонович, спихивая ее локтем.

— Вы, ваше сиятельство, думаете здесь обосноваться?

— Не знаю... Подумаю...

— Сильно пострадали от революции?

— Особняк разграблен вдребезги... Конюшни сожжены. Моему лучшему жеребцу выкололи глаза... Я понимаю — выколи мне... Но при чем мой жеребец?..

— Лошадям выкалывать глаза! Вот вам социалисты! Вот вам проклятые либералы! Это все от Льва Толстого пошло! — говорил Платон Платонович. — Так вы любитель лошадей, граф?

— Странный вопрос.

— Ну, тогда и говорить нечего, вы должны купить землю в Малороссии. Раз в тысячу лет подобный случай, можете приобрести цензовый участок даром, за гроши. Чего далеко идти, — я вам продам имень: «Скрегеловка», чудесные виды, стариннейший дом графов Разумовских... Милейший граф, кончится эта проклятая завирушка — на будущий год мы вас в уездные предводители проведем.

— Меня в предводители? Почему именно меня?

Так граф де Незор был оглушен этой новой возможностью. Приоткрывалась роскошная перспектива. «Меня в предводители дворянства, — ну, что ж, я готов», — бормотал он, иплыли стены, шляпы, длинные носы, покрытые потом, валились со стола бутылки. Был уже день, когда его, поддерживая под руки, посадили на лихача. Дальнейшее расплылось.

Граф де Незор проснулся в сумерки. Затылочные кости трещали от боли. На стуле перед постелью сидел Платон Платонович и покойно покуривал.

— Поздненько, — сказал он, — не опоздать бы на поезд.

Усадьба, куда Платон Платонович привез Невзорова, была действительно прекрасно расположена среди холмов, невдалеке от речки. Дом был с колоннами и даже с двумя львами на кирпичных столбах; Семен Иванович нет-нет да и поглядывал на них: «Собственные львы, неужто возможно?» В нижнем этаже все окна вы-

биты. Платон Платонович, обратив внимание на этот ущерб, ударил себя по коленкам: «Третьего дня градом выхлестало». Он очень вежливо поклонился двум немецким солдатам, которые лежали на траве около кухни. Проходя мимо, захлопнул ворота каретника (хотя Невзоров успел заметить, что в каретнике ничего, кроме старого колеса, не находилось). Не задерживаясь с осмотром служб, проехал графа прямо в сад. Тополя, липы, акации стояли пышно среди густой травы. Платон Платонович долго смотрел, задрав голову, на пустое грушевое дерево: «Гм, сволочи», — сказал он и пошел показывать старинный бельведер. Это была облупленная беседочка, на полу ее, еще издали, виднелось то, что остается от человека, когда он посидит. «Гм», — повторил Платон Платонович. Пошли в дом. Внизу было пусто и намусорено, двери сорваны. В окно шарахнулась ворона. Платон Платонович только крикнул с досадой: «Здесь — зала, там бильярдная, а там летняя столовая. Уберем, вставим стекла, не наглядитесь. Зато наверху у меня уют». Он потащил графа на скрипучую винтовую лестницу. Верхние комнаты были действительно меблированы, и висели даже занавеси и картины, но все это представляло странное зрелище: как будто всю обстановку вытащили отсюда, ободрали, переломали, перемешали и опять расставили кое-как.

— Мужики у нас добродушнейшие, — говорил Платон Платонович, — прошу, граф, в кресло. Представьте: полгода в деревне сидел большевик, уговаривал разграбить мою усадьбу. Так они, только чтобы от него отвязаться, пришли, плачут: «Грабить приказано». Я их сам уговаривал: «Берите, берите, мужички». Ну, разумеется, потом все принесли обратно. У нас самые сердечные отношения. Монархисты все отчаянные.

Семен Иванович поглядывал в окно на львов. Казалось, среди вихря и праха этих дней одни только эти каменные морды покойно и брезгливо глядели в вечность. На что-то ужасно знакомое они походили... «А кто поручится; может быть, я действительно граф де Незор», — подумал он, и холодок мурашками пошел по спине.

— Дорого мне будет стоять ремонт, выгоды не вижу, — сказал он сухо, — но, хорошо, я покупаю вашу усадьбу.

Платон Платонович сейчас же моргнул и стал глядеть на висевший косо портрет какого-то усатого толстяка, в халате и с трубкой. Видимо, Платон Платонович испытывал значительное волнение. «Вот, и это уже все ваше, граф». Он еще раз моргнул, и слеза поползла у него по большому мешку под глазом.

Удача настолько сопутствовала Семену Ивановичу, что он не только по очень сходной цене купил «Скрегеловку», но купил ее на имя графа де Незора, — паспорт и документы были приобретены им в Харькове у специалиста-гравера.

Честолюбивые перспективы раскрывались все ослепительнее. Он съездил в Киев и был представлен гетману Скоропадскому, который

строго намекнул ему о священных обязанностях в такое тяжелое для молодого отечества время. Он спешно начал учиться мове — украинскому языку. Несколько ночей удачной игры в клубе пополнили убыль в деньгах. Была куплена роскошная обстановка для деревенского дома, ковры, вазы, экипажи... Ремонт в «Скрегеловке» шел полным ходом. Чего было еще желать? Выборов в уездные предводители? Чушь! Семен Иванович был уверен: пожелай он гетманской короны, — судьба шутя швырнет его и на эту высоту. «Да уж не сон ли все, что со мной?» — думалось ему иногда. Нет, наморщенные морды львов у ворот были из камня, не во сне, и новые ворота сочились смолой, и румянцем пылало закатное солнце во вставленных окнах невзоровского дома...

И вдруг, среди удач и честолюбивых мечтаний, — судьба перемешала карты, и Семен Иванович очутился снова на пути необыкновенных приключений.

Платон Платонович скрыл, как потом оказалось, одно важное обстоятельство: из 270 десятин скрегеловской земли 250 лежало под крестьянской запашкой, и мужики эту землю считали своей. Граф де Незор написал в личную канцелярию гетмана, прося принять меры к возвращению ему законной земли. Из канцелярии ответили в общих выражениях, туманно — советовали, главным образом, обождать до полного поражения большевиков и восстановления порядка и законности. Графу де Незору оставалось действовать собственными силами. Он решил оттягивать землю исподволь и для этого ходил в деревню и беседовал с мужичками. Они охотно снимали шапки, завидев графа, но, когда разговор заходил о земле, — странно переглядывались, отвечали мирно, но двусмысленно.

Вечерком, когда уже прошло стадо и улеглась пыль, отскрипели колодцы, загнали домашнюю птицу и свиней, когда над ракитами и грушами, над соломенными кровлями принялся летать козодой, грустно покрикивая «сплю, сплю», когда степенные мужики, отужинав, вышли посидеть на бревнах, покурить тертых корешков, — в один из таких вечеров Семен Иванович завел политический разговор:

— Вот хотя бы немцы, — есть у них чему поучиться. Весь мир их не может победить. А почему? — порядок, закон. Что мое, то мое, что твое — твое. У них насчет собственности — свяшенно.

— Это верно, — отвечали мужики. — Немцу дано.

Голос из густой травы сказал:

— Немцы аккурат шестого июня разложили нашу деревню и высыпали по ж... Мужикам по тридцати пяти, бабам по двадцати — прутьями. Вот — почесались!

Сидевший рядом с графом старичок проговорил:

— А что ж хорошего: растащили весь барский дом, барину и сесть негде.

Чей-то, с краю бревен, незнакомый Семену Ивановичу, бойкий голос заговорил весело:

— Барин четыре службы в городе имеет, захотел — деньги в карты за одну ночь проиграл. На что ему земля? Нет, мы десять лет станем бунтовать, с голыми руками пойдем, ружья отнимем, а свое возьмем. Это все пока малые бунты, а вот все крестьянство поднимется — вот будет беда. — Он засмеялся. Мужики молчали. — Десять лет будем воевать, вот штука-то! А ты — немцы.

Разговор этот не понравился графу де Незору. Он до времени прекратил прогулки на деревню. Не нравились ему и какие-то незнакомые личности, часто появлявшиеся на дворе, — солдатский картуз — на ухо, руки в карманах, идет мимо барского дома — поспеивается в усы.

Однажды, рано утром, граф проснулся от хлесткого выстрела за окнами. Сейчас же раздались злые крики. Он подбежал к окошку: толпа мужиков с вилами, топорами, ружьями обступила немецкого солдата, коловшего во все стороны штыком. Другой немец, из живших в усадьбе, лежал около кухни в луже крови. Семен Иванович, захватив одежду, бумажник, кинулся в сад и залез в глущь, в кусты, где кое-как оделся. Отсюда он слышал звон разбиваемых стекол и удары топоров. Продолжалось это очень долго. Затем было слышно только потрескивание. Он осмелел, разобрал кусты, выглянул: из-под крыши валил черный дым, в окнах плясало пламя. Он увидел также льва на кирпичном столбе, — старая морда его равнодушно глядела пустыми глазами на эту иллюминацию.

Пешком, проселочными дорогами пришлось добираться до станции. Ночью видны были зарева за холмами. Доносились далекие выстрелы. Однажды по тракту, по ту сторону канавы, где притаился Семен Иванович, пронеслись вскачь телеги, — свист, гиканье, крики... После этого видения он лежал некоторое время в полубоморочном состоянии.

В другом месте он увидел толпу немецких солдат, — они мрачно шагали с винтовками за плечами, у многих были забинтованы головы, повязаны руки. С ума можно было сойти: что случилось? В одну ночь взбунтовался весь край, запылала зарева.

Добравшись, наконец, до станции, ободранный и полуживой, Семен Иванович узнал причину: император Вильгельм был свергнут с престола, немцы уходили из Украины, на Харьков надвигались большевики. Семен Иванович немедленно переменял маршрут и бросился на юг.

Черт знает с какими затруднениями пришлось ему ехать — преимущественно на крышах вагонов. У теплушек загорались оси. На подъемах отрывалась половина поездного состава и сваливалась под откос. Неизвестные личности отцепляли паровозы и угоняли их с нечеловеческими проклятиями. На станциях шла непрерывная стрельба. Начальники станций прятались по ямам и погребам. По пути из кустов стреляли в окошки. На одном перегоне

поезд стал в чистом поле. В вагон вошли рослые казаки в червонных папахах, в синих свитках

— Которые жида — выходите.

Произвели личный осмотр. Отобрали с десяток животрепетных душ, повели их в поле, к стогу сена. Когда поезд тронулся — раздались выстрелы, дикие крики.

Меняя поезда, Семен Иванович заехал в захолустный степной городишко, в глухой тупик. Населения там было очень мало, — одни говорили, что разбежалось, другие — что вырезано. Но все же на базаре у заколоченных лавок выезжали торговать телеги с калачами, салом, вяленой рыбой. Семен Иванович ночевал на вокзале, днем бродил по городу. То увидит ощеренную, околевшую собаку и подолгу глядит, покуда не плюнет. То остановится поговорить с бабой, едва прикрытой ветошью. За городом в степи целыми днями стояли дымы, в сумерках мерцали далекие зарева. Ужасная скука.

Однажды, купив на базаре вяленого леща и калач, Семен Иванович шел по широкой улице к одному из крайних, у самой степи, домиков, где можно было достать самогону. С испуганными криками дорогу перебежали мальчишки. Из ворот выскочила простоволосая женщина, стала запирать ставни. Приготовления казались знакомыми, но откуда в этой пустыне могла прийти опасность? Семен Иванович дошел до знакомого домика, где продавался самогон, и увидел самого хозяина: положив руки на поясницу, он с усмешкой глядел на степь, выставив туда же рыжую пыльную бороду.

— Опять, пожалуйста, гости дорогие, — сказал он, покачав головой. На широкой степной дороге поднималась пыль. — Непременно это он. Никому другому не быть. (Семен Иванович спросил: «Да кто же?») — Как кто? Атаман Ангел. Зайди, дружок, в избу, кабы чего не вышло.

В окошко Семен Иванович увидал, как из пыльного облака бешено выскочили тройки, запряженные в небольшие телеги — тачанки; троек более пятидесяти. На передней (рыжие, лысые, донские жеребцы), на развевающемся с боков телеги персидском ковре стояло золоченое кресло-рококо. В нем сидел, руки упирая в колени, приземистый, широкоскулый человек, лицо коричневое, бритое, как камень. Одет в плюшевый, с разводами, френч, в серую каскетку. Это и был сам атаман Ангел. За его креслом стояли два молодых, с вихрами из-под картузов, атаманца — держали винтовки на изготовку. С заливными колокольцами промчалась тройка. За ней на других тачанках, свесив ноги, сидели атаманцы в шинелях, в тулупах, с пулеметами, поднятыми бомбами, револьверами. Великий был шум от конского топота, гиканья, звона бубенцов.

— Вот так и гоняют по степи, озорничают, атаманы-разбойнички, — сказал вполголоса самогонщик, — деревнями к ним мужики уходят, отбою нет, да, слышь, не всех берут в разбойники-то.

Сейчас они генерала Деникина добровольцев бьют, а встретят большевиков — и с большевиками бьются.

В ворота бухнули. Самогонщик перекрестился, пошел отворять. Вернулся он с двумя атаманцами, черными от пыли, — только блстели глаза у них и зубы.

— Шесть ведер самогону, посуда наша, — сказал один, другой кинул на стол деньги. — А ты что за человек? — спросил он Невзорова.

— Я бухгалтер.

— Это как так — бухгалтер?

Семен Иванович поспешно объяснил. Сказал, что бежал от большевиков, а к деникинцам идти не хочет — против совести. Поэтому прозябает здесь, в городишке.

— Эге, — сказал первый, — давно атаман горюет, что нет у нас счетовода-казначея. Иди за мной.

Семена Ивановича повели на улицу, куда самогонщик выносил посудину с самогоном, поставили его перед атаманом. Тот тяжело повернулся в кресле, нагнулся низко к Семену Ивановичу, впился в него запавшими, тусклыми глазами:

— Ты что умеешь? Считать умеешь? (Семен Иванович только слабо крикнул в ответ, закивал.) Ладно. Заводи счетную книгу, казна великая. Проворуешься али тягу дашь, — в два счета голову шашкой прочь — понял, чертов сын?

Понять это было нетрудно: Семен Иванович сделался бухгалтером при разбойничьей казне. В тот же день его посадили на тачанку, рядом с двумя дюжими казаками и кованым сундуком, набитым деньгами и золотом, и опять — атаман в кресле на ковре впереди, за ним пятьдесят троек — залились в степь.

Атаман шел на Елизаветград. На тройках была вся его сила — и пехота, и кавалерия, и пулеметы, и пушки, и обоз. Передвигался он с чрезвычайной скоростью, — даже на тачанках, на каждой, сзади дегтем написано было: «Хрен догонишь». Часто, заняв деревню или городок, он посылал в стороны летучие отряды, которые возвращались с мясом, водкой, овсом, сахаром. Иногда все колесное войско устремлялось за сизый горизонт степи, на месте оставался лишь Семен Иванович с казной да охрана.

Нередко ночевали в степи, а время было осеннее, студеное. Ставили тачанки в круг старинным казацким обычаем, распрягали коней, высылали дозоры. У телег зажигали костры, вешали в котлах варить кур, баранину, кашу. Цедили самогон из бочонков.

Дико, непривычно было Семену Ивановичу глядеть, как атаманцы, рослые, широкие, прочерневшие от непогоды и спирта, — в тех самых шинелях и картузах, в которых еще так недавно угрюмо шагали по Невскому под вой флейт, — шли на фронт, на убой, — те самые, знакомые, бородатые, сидят теперь у телег на войлочных кошмах под осенними звездами. Режутся в карты, в девятку, кидают тол-

стыми пачками деньги. Вот один встал, цедит из бочонка огненный спирт и опять валится у костра. А там затянули песню, степную, с подголосками... Певали ее еще в годы, когда вот так же бродили по ковылям с тмутараканским князем. А вон — бросили карты, вскочили, полетели шапки, вцепились в волосы: «Бей».

Но, как из-под земли, выросал атаман, и утихала ссора. Ангел много не говорил, но взглянет мутно из глазных впадин — и хмель соскочит у казака. Не раз на таких привалах атаман подходил к Семену Ивановичу, приказывал подать бухгалтерскую книгу и дивился хитрости буржуев, придумавших тройную бухгалтерию.

— Ты по городам болтался, — чепуху, наверно, про нас пишут? — спрашивал его атаман. (Семен Иванович сейчас же соглашался, что читал про него, и именно чепуху.) — То-то. Где им понять? Истребить эти самые города, вот что надо. Дай срок — я истреблю. Вот книгу мне надо одну достать, есть такая книжка: «Анархизм». Читал?

— Читал, Ангел Иванович, как-то забылось.

— Дурак ты, Семен... Кабы не твоя бухгалтерия... Ну, не дрожи, не трону... А вот возьму Елизаветград, — ты мне эту книжку достань.

Однажды в такую же ночь на привале, в степи, между телег появился на захрапевшем коне молодой казак с накрест опоясанными пулеметными лентами. «Атаман!» — крикнул он. Спешился и тихо что-то сказал Ангелу.

— За-а-а-пря-гать! — спокойно, но так, что у всех телег было слышно, скомандовал атаман. И в несколько минут табор свернулся. В телеги покидали котлы, попоны, бочонки. Впрягли лошадей — без шума. Подвязали колокольцы. Круг развернулся. И тройки с места рванулись вскачь.

Семен Иванович сидел в тачанке, вцепившись в денежный сундук. Впереди, с боков, сзади — летели тройки. Под звездами степь казалась седой, без края. Свистел ветер в ушах. У Семена Ивановича стучали зубы.

Далеко раздались выстрелы. Тройки рассыпались. На полном ходу повернули к северу. Та-та-та-та-та, — казалось, со всех сторон гулкой дробью посыпали пулеметы. Атаманцы стреляли стоя, с телег. А тройки снова повернули к югу. Две тачанки сцепились, опрокинулись. Семен Иванович увидел, — из беловатой мглы появились всадники невероятной величины. Казака, державшего вожжи, сдуло с телеги. Другой схватил вожжи и повалился ничком. Теперь Семен Иванович слышал, как визжали огромные всадники, — махая шашками, они налетели со всех сторон. Вдруг телега затрещала, накренилась, — и Семен Иванович, закрыв лицо, полетел в мерзлый бурьян. Ударился и потерял сознание.

Семен Иванович очнулся от холода. Рассветало. Звезды побледнели. Низко, белыми озерами лежал туман. Кое-где из него торчала

лошадиная нога, виднелись колеса опрокинутой телеги. Семен Иванович сел, ощупал себя, — цел, хотя все тело болело. Около него валялся сундук с казной. Не из корысти — бессознательно — Семен Иванович вынул из сундука свертки с царскими десятирублевиками, пересчитал: семь штук, — рассовал их по карманам и побрел, придерживая поясницу, прочь от места битвы.

Когда солнце поднялось из багровой мглы над озерами тумана, он увидел с удивлением и радостью полотно железной дороги.

Дальнейшее передвижение на юг было сопряжено со всевозможными затруднениями и случайностями. Но Семен Иванович до того уж наловчился, вид его был до того ободренный и жалкий, что, миновав станции и города, он благополучно добрался до Одессы. Стоял конец февраля 1919 года.

КНИГА ВТОРАЯ

Что за чудо — Дерibasовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерibasовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанного революцией помещика в пальтеце не по росту, — он тут же попросит у вас займы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем, — он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь — и не убит совсем и еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя, — важно идет в толпе и улыбается желчно и презрительно этому, сведенному до миниатюрнейших размеров, величию империи. Вы наткнетесь на нужного вам до зарезу иссиня-бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста, ужом пробирающегося сквозь толпу, — он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдете дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное: «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном». — «Да что вы говорите?» — «Да уж будьте покойны — сведения самые достоверные».

И ваш знакомый идет в гостиницу к жене, и они на последние карбованцы покупают сардин, паштетов, вина и, окруженные родственниками, едят и пьют, и чокаются за Москву, и сердца у всех бьются. И волнующие слухи летят дальше по городу. И уж кто-то, особенно нетерпеливый, бежит в переулок в прачечное заведение и торопит: «Выстирайте мне белье поскорее».

На Дерibasовской гуляют настоящие царские генералы. Какое наслаждение глядеть, как мартовское солнце горит на золотых погонах, как лихие юнкера, подхватив под козырек, столбами вращаются в землю. Видя эту сцену, какой-нибудь растерянный отец семейства, у которого от революции переболтались мозги в голове, — снова, хотя бы только на минуту, приобретает уверенность в нерушимости основ иерархии, быта и государства.

Про дам на Дерибасовской и говорить нечего: на все вкусы. Шляпы, меха, манто, караты. Петербурженки — худые, рослые, англазированные, с них никакими революциями не собьешь высокомерия. Одесситки — русские парижанки, слегка страдающие полнотой, не женщины, а романс. А худенькие, стриженные артистки различных кабаре! Любой из них нет и двадцати лет, а уже раз десять эвакуировалась и пешком и на крышах вагонов, и уж гурькие морщинки легли в углах губ, и в глазах — пустынька.

Встретите также на Дерибасовской рослых английских моряков с розовыми щеками, — идут, держась за руки, будто в фойе театра, в антракте забавнейшей пьесы. Или с хохотом проталкиваются сквозь толпу французские матросы, в синих фуфайках, в шапочках с помпонами, — ах ты, боже мой, как оглядываются на них дамы с Дерибасовской, а знаменитый писатель остановился даже, окаменел, почернел: вот они римляне, победители, — хохочут, толкаются, поплевывают... А мы-то, мы?..

Если вас одолело сомнение: да верно ли, не мишура ли вся эта разодетая, шумная Дерибасовская? Действительно ли это Измайловский марш вырывается из раскрытых дверей ресторана? Прочно ли здесь укрепилась белая Россия на последней клочке берега? Если душа ваша раздвоилась и заскулила, сверните скорей на Екатерининскую, дойдите до набережной, станьте у подножия герцога Ришелье... Какой великолепный и успокаивающий вид! Бронзовый герцог, в римской тоге, приветливым и важным жестом указывает на широкий, покрытый мглою порт. Вдали — подозрительные пески Пересыпи, направо — длинная стрела мола. А за ним на открытом рейде лежат серыми утюгами французские дредноуты. «Милости просим», — как бы говорит герцог Ришелье, которому в свое время, лет сто двадцать пять тому назад, точно так же пришлось уходить с небольшим чемоданом из Парижа, от призрака гильотины на площади Революции.

Тридцать тысяч зуавов, в красных штанах и фесках, и греков — в защитных юбочках и колпаках с кистями, — выгружено в одесском порту. В ста верстах от города, на фронте, против босых, голодных, шивых красных частей, — утверждены тяжелые орудия, ползают танки, кружатся аэропланы. Нет, нет, никакие сомнения неуместны, дни безумной Москвы сочтены. Возвращайтесь смело на Дерибасовскую. А если усилится ветер с моря — сверните в кафе Фанкони.

Прогулявшись в свое удовольствие по Дерибасовской улице, Семен Иванович Невзоров уселся за столиком у Фанкони и, не снимая шляпы и пальто, чтобы их впопыхах не сперли, принялся оглядывать посетителей, прислушиваться к разговорам.

В табачном дыму вертелась стеклянная дверь, впуская и выпускающая деловых людей, набивавшихся в этот час в кофейню со всего города. На лицах у дельцов было одно и то же выражение — смесь окончательного недоверия ко всякому жизненному явлению, — будь то французский броненосец или накладная на вагон волоцких

орехов, — и, вместе, живая готовность купить и быстро продать такое явление, получив разницу.

Над столиками, среди котелков и котиковых шапок, взлетали руки с растопыренными пальцами, метались потные лица, надрывающие голоса перекрикивали шум:

...«Сто бидонов масла...» — «Не крутите мне голову с аспирином». — «Продам доллары, куплю доллары». — «Послушайте, что вы мне лезете в карман?» — «Интересуетесь персидской мерлушкой или вы не интересуетесь?» — «Продам колокольчики». — «Слушайте, колоссальная новость: большевики взорвали Кремль».

Семен Иванович только усмехнулся презрительно: за несколько дней в Одессе, не нуждаясь в деньгах, он спокойно обследовал торговую и валютную биржу и выяснил, что в городе ничего решительно нет, ни товаров, ни денег, если не считать небольшого количества французской и греческой валюты, которую все время перепродавали одни и те же лица до четырех часов на углу Дерibasовской, а с четырех у Фанкони. В городе и у Фанкони торговали одними только накладными и считали это даже более удобным, чем торговать вещами: и весь магазин в кармане, и торговых расходов — только чашка кофе с пирожным. По приезде Семен Иванович купил несколько тысяч франков «на всякий пожарный случай». Через несколько дней его начали осаждать предложениями — продать эти франки. Он только подмигивал. Тогда у Фанкони началось смятение, на Невзорова с ужасом оглядывались, — вот человек, который прячет товар и подмигивает. Франк взлетел на сто процентов. Но он и тогда отказался получить разницу и бросить франки снова на рынок, где уже с десяток дельцов пришли в ничтожество за неимением работы.

Одетый прилично, с кошельком, набитым разбойничьим золотом, с честным паспортом на имя греческого подданного, Семилапида Навзараки, — Семен Иванович безусловно верил в свою необыкновенную судьбу. Но теперь он уже не гнался за титулами, не швырял без счета денег на удовольствия.

Россия — место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки, недаром же, в самом деле, на рейде дымят на весь рейд, жгут уголь союзнические корабли. Нужно торопиться рвануть и свой кусок. Невзоров поджидал случая, чтобы произвести короткую и удачную операцию с каким-нибудь высоковалютным товаром, и тогда, ни на что больше не лясь, бежать навсегда в Европу. Там с хорошими деньгами, — он это знал по кинематографу, — жизнь — сплошное наслаждение.

Таковы были мечты Невзорова, умудренного опытом. Помешивая кофе, он прислушивался к деловым спорам в кафе. Его заинтересовал хриповатый голос, предлагавший кому-то купить персидские мерлушки. Семен Иванович привстал даже, всматриваясь, и вдруг вместо продавца мерлушек увидел, через столик от себя, худощавое лицо в очках, — оно заставило его неприятно съежиться.

Вот уже несколько дней это лицо всюду попадалось ему: то на улице, оглянешься, — оно за спиной; то при выходе из магазина

оно с усмешкой сторонилось и пропадало в толпе; то в кофейне поглядывало из-за котелков сквозь клубы табачного дыма.

Несомненно — лицо следило за ним. Он вспомнил: оно появилось именно после покупки французской валюты, когда Невзоров стал сразу знаменит в кафе. Но что этому лицу с острой бородкой, с непонятными глазами, прикрытыми голубыми стеклами, с наголо обритым, шишковатым черепом, — что этому дьяволу было нужно от Семена Ивановича?

Около Невзорова появился продавец мерлушек. Это был беспокойный человек, один из тех, кто через небольшие промежутки времени выскакивает в распахнутом пальто на ветер, добегают до угла, жестикулирует сам с собой и снова бежит в кофейню:

— Мерлушкой интересуетесь?

— Почему? — небрежно спросил Невзоров.

— Сто карбованцев шкурка.

— Товар или только накладная?

— Какая вам разница?

— Тогда идите к черту, — сказал Невзоров, отвернулся и у себя за плечом увидел лицо в очках; усмехаясь тонко, оно придвинулось вплотную к Невзорову: видимо, человек этот подъехал на стуле.

— Скажите, — спросил он необычайно внятно и подчеркивая слова с какой-то сатанинской выразительностью, — скажите, а *сапожным кремом* вы не интересуетесь?

Семен Иванович взглянул ему в зрачки, они были как точки, вот-вот проскочат сквозь голубые стекла. Семен Иванович проглотил слюну, — почувствовал, что вопрос коварен и страшен, хотя касался всего-навсего сапожного крема.

И он не ответил словами, лишь помотал головой двусмысленно, — можно было понять ответ как угодно. Лицо извинилось и отодвинулось. Продавец мерлушек моргал от нервности, вытаскивая из рваного бумажника телеграфные и железнодорожные бланки. Но Семен Иванович, не слушая его больше, поднял воротник и вышел на улицу.

«Сколько раз, бывало, вот так — привяжется лицо поганое, жуткое, похожее на какую-то давно забытую дрянь, привяжется этаким Ибикус, и — пошло все кувырком». Так думал он, направляясь домой по сумеречным улицам. «Кто бы этот мог быть в очках? Не из шайки ли Ангела? Вернулись тогда на место битвы, пересчитали казну, заметили утечку и — в погоню. Да, но при чем же сапожный крем? Странно. Ох, бежать, бежать, Невзоров...»

Семен Иванович подсчитал в уме, что осталось у него от разбойничьего золота: около четырех тысяч рублей. Не густо. Обернуться можно, конечно, за границей на эти деньги. А в голове засели проклятые мерлушки.

Да как же им и не засесть, подумайте только. Шкурка — сто карбованцев, то есть два рубля золотом. А если купить фальшивых карбованцев даже самой чистой работы, то и того дешевле. В Константинополе цена каракуля три английских фунта. Если вывезти, на плохой конец, две тысячи шкурок...

У Невзорова захватило дух. «Но как их вывезти из этого проклятого города? Разумеется, безопаснее всего на миноносце, под видом дипломатической вализы. Но чтобы получить вализу и заграничный паспорт, нужны знакомства. Итак, начнем с добрых знакомств».

Постепенно весь план деловой операции возник в воображении Семена Ивановича. Он не заметил даже, как некто, в надвинутой на лицо шляпе, перегнал его и вошел в тень ворот одноэтажной гостиницы, где квартировал Невзоров.

Звонок трещал где-то в пустоте, но швейцар не торопился отворять. На двери, обшитой снаружи и изнутри толстыми досками для защиты от налетчиков (их в те времена в Одессе работало двадцать тысяч душ, подавшихся на юг из северных городов), висел приказ градоначальника о тараканах. Семен Иванович каждый раз прочитывал его внимательно, даже не представляя себе, какое значение в его жизни должны сыграть эти насекомые.

Приказ был таков.

«Гостиницы, меблированные комнаты. Поступает много жалоб на вас, некоторые завели не только клопов, но и крыс, и даже тараканов... Иные придумали тушить электричество в полночь, зная, что у населения нет осветительных материалов. И все только и знаете, что прибавляете цены на все. Стыдно перед союзниками. Клопов, крыс, прусаков и русских тараканов и тому подобных никому не нужных обитателей уничтожить. Электричество давать всю ночь. Лично буду осматривать. Сами понимаете. Генерал-майор Талдыкин».

«Завтра пойду к Талдыкину, с ним, видимо, сговориться будет нетрудно», — подумал Семен Иванович, входя в гостиницу. Опухший от сна швейцар, передавая ключ, внимательно вдруг оглянул Невзорова, но ничего не сказал, сопя ушел под лестницу.

Электрического света, несмотря на угрозы Талдыкина, все же не было в комнате. Семен Иванович зажег фитилек, плавающий в баночке, в масле. По столу побежал таракан. «Ишь ты, рысак», — подумал Семен Иванович и щелчком сшиб его на пол.

Несомненно, он тут же и навсегда бы забыл таракана и то, как обругал его рысаком. Но необыкновенная судьба, предсказанная ему на Петербургской стороне старой цыганкой, не позволила изгладиться из памяти этому насекомому. С Невзоровым произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челлини, который, сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому легкомыслию не обратил на это внимания, но его отец, старый Челлини, внезапно закатил сыну оглушительную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ духа огня.

Словом, сшибив таракана, Семен Иванович пошел положить шляпу и трость на комод и увидел, что ящики комода выдвинуты, чемодан раскрыт, вещи и белье переворочены.

Он подумал: кража! — и кинулся к потайному месту, где лежал мешочек с золотом. Но мешочек оказался цел. Из вещей ничего не пропало. И самое удивительное было вот что: на полу валялись

вчера только купленные две банки с сапожным кремом — желтым и черным, крем из них был вывален на газетный лист.

Семен Иванович бросил газету и крем в умывальное ведро, задвинул все ящики и некоторое время стоял, пощипывая бородку, пожал плечами раз и другой... «Обыск несомненно... Но в чем дело?» Затем он подсел у стола к фитильку и высыпал из мешочка золото. На белую скатерть падал с улицы водянистый свет фонаря. Пересчитывая золотые, Семен Иванович заметил, что у него из-за спины на скатерть выдвигается тень головы в шляпе. Он быстро обернулся. С улицы в окно глядело лицо в очках. Усмехнулось и бесшумно скрылось.

На следующее утро Невзоров проходил большим двором пассажа, что напротив Фанкони. Он чувствовал себя неуютно после вчерашней ночи. В пассаже шатались зуавы в красных штанах, скаля африканские зубы на одесситок. Престарелые дамы с исплаканными лицами продавали спички. Пробежал в аршин ростом галстук, обмотанный мамкиными платками: «Генерал д'Ансельм решил исполнить свой долг», — кричал он отчаянно. «Кровавый бой на станции Раздельной, колоссальные потери большевиков». У мануфактурного магазина два очевидных налетчика в английских шинелях лениво спорили об ограблении. Кучка спекулянтов волновалась под набухшими почками акации. Дальше — кавалерийский офицер кричал на пучеглазого кавказца, продающего кедровые орешки: «Пшел, здесь не разрешено торговать». Но пучеглазый только ухмылялся. Тогда ловко, как кот, офицер набил ухмыляющуюся морду, и она замоталась, зашмыгала слезами.

В общем, все было, как обычно, на дворе пассажа. В окно литературной кофейни «Восточные сладости» виднелись помятые лица журналистов. Вдруг кто-то шибко застучал в стекло. Семен Иванович обернулся, — ему махали рукой. Он вошел в кофейню и увидел за столом журналистов — Ртищева: красный, расстегнутый и веселый.

— Граф, жив! Иди сюда, арап несчастный, дорогой, — закричал он и прижал губы Невзорова к своему огромному бритому лицу, — садись, знакомься... Это все, брат, журналисты, «Осваг», мозг белой армии... Да как же ты все-таки жив?! А я из Москвы в санитарном поезде, работал за фельдшера. Чудеса! Сдался в плен две недели назад... Решил разбогатеть! Я уж помещение нашел для клуба в мавританском вкусе. Пять генерал-майоров и один полный генерал приглашены почетными старшинами. Одесса дрогнет, французы, греки дрогнут, дредноуты закачаются — какую мы развернем игру. Господа, — он схватил направо и налево от себя журналистов, — да посмотрите вы на графа — конфетка, а не человек. Что пережили вместе — волосы дыбом. Первое знакомство — под октябрьскими пушками, — дом дрожит, а я графа чищу в девятку, выпотрошил, как цыпленка, пятак твою распротак... Значит, делаем дела?

— Нет, — сказал Невзоров суховато, — с клубом я связываться не хочу, — уволь.

— Вот тебе — лук, чеснок. Ты что же — разбогател?

— Может быть. Сейчас я занят одной важной операцией. Кроме того, плохо верю в прочность Одессы.

— Не веришь? Так, так, так, — сказал Ртищев и поглядел на журналистов. Те криво усмехнулись, переглянулись. За столом сидело восемь человек, и девятый, в дальнем конце стола, спал, уткнув лицо в руки и прикрывшись шляпой.

— Так, так, так, — повторил Ртищев, — а четыре дредноута, а тридцать тысяч французов? В это вы тоже не верите, граф?.. Ради кого? — Он размахнул руками, журналисты подались в стороны. — Ради нас, плотвы несчастной, чтобы мы, плотва и шантрапа, спокойно попивали кофеек, — французы, потомки маркизов и философов, благороднейшая нация, сидят в окопах и проливают свою драгоценнейшую кровь... Какое же ты имеешь право, сукин сын, — тут он нагнул побагровевший череп и заскрипел золотыми зубами, — сомневаться, не верить в прочность Одессы. Ты — большевик!..

Журналисты, все восемь человек «Освага», впились глазами в Невзорова. Девятый, спящий, пошевелился под шляпой.

— Ничего я не большевик, — ответил Невзоров, — если уж на то пошло, я — анархист, в смысле идейном... Я — за свободу личности. Если вам нравится сидеть под охраной французов, пить кофе, — пожалуйста. А я уезжаю за границу. К черту, к черту...

Он рассердился, насупился, ломал коробку от папирос. Его удивило особенное молчание, возникшее за столом. Он поднял глаза. Девятый, спавший под шляпой, не спал, сидел, пощипывая бородку. Это было то лицо в голубых очках.

Невзоров ахнул, стал втягивать голову в плечи. Лицо в очках тонко усмехнулось:

— Все это шутки, *граф*. Вы среди шутников. Кто же заподозрит вас в чем-либо *серьезном*?

Через несколько минут, на углу Дерибасовской, вчерашний продавец каракуля подошел к Семену Ивановичу и предложил пойти в порт посмотреть товар. Поехали на извозчике. У одного из железных пакгаузов разыскали сторожа, дали ему сто карбованцев, и он разрешил осмотреть пакгауз. Среди огромных кип сукна, холста, кожи, консервов отыскали три, обитые цинком, ящика со шкурками.

— Позвольте, кому же все-таки принадлежит товар? — спросил Невзоров. — По всей видимости, этот каракуль — казенный.

У продавца между бородой и усами обозначилось огромное количество врозь торчащих зубов. Оттеснив Невзорова от сторожа, он зашептал:

— Что значит — товар казенный? На нем написано, что он — казенный? Это персидский каракуль, вырезанный из живых овец, — чем же он казенный? Дайте сторожу еще двести карбованцев и дайте чиновнику тысячу карбованцев, — тогда уже сам бог не скажет, что каракуль казенный.

— Сто карбованцев шкурка?

— Ой, что вы говорите! Я сам плачу сто десять карбованцев, — чтобы мне так жить!

Наконец сторговались за полтора ста. Невзоров дал задаток, велел товар принести в гостиницу. Теперь нужно было наивозможно скорее получить заграничный паспорт и — бежать.

Весь остаток дня Семен Иванович провел у Фанкони, нащупывая в беседах с особо тертыми личностями ходы к высшим властям. Выяснилось, что, не в пример прошлым временам, действовать нужно смело, честно и отчетливо: идти прямо в канцелярию упрямляющего краем, обратиться к начальнику канцелярии, генералу фон дер Брудеру, просто и молча положить ему на стол, под промокашку, двадцать пять английских фунтов, затем поздороваться за руку и разговаривать. Если по смыслу разговора сумма под промокашкой окажется мала, то фон дер Брудер на прощанье руки не подаст, тогда на завтра опять нужно положить двадцать пять фунтов под промокашку.

Возвращаясь домой, Семен Иванович на свободе предался размышлениям о лице в голубых очках и о таинственной связи его с спиножним кремом, — но тут в голове начался такой беспорядок, что он махнул рукой: чушь, мнительность, воображение... Семен Иванович, как это уже давно выяснил себе читатель, был человек мечтательный и легкомысленный и, как все мечтательные и легкомысленные люди, близоруко шел навстречу опасности.

И на этот раз опасность, страшнее предыдущих, смертельная и неожиданная, ждала его у ворот гостиницы.

Тою же ночью на окраине города, по темному и пустынному Куликову полю, шли двое, разговаривали вполголоса:

— Ты что же — прямо сейчас в Испанию?

— Наш центр в Мадриде. Там — проверка мандата.

— Не понимаю тебя, Саша... Все это — ужасно глупо, романтика какая-то.

— Э, просто тебе завидно. Через две недели, подумай: Средиземное море, архипелаг, роскошные страны, наслаждение.

Разговаривающие остановились спиной к ветру, зажгли спичку. Огонек осветил бритое бабье лицо с трубкой и другое лицо — смуглое, юношеское, улыбающееся. Закурили. Пошли дальше. Человек с трубкой сказал:

— Нет, мне не завидно. Здесь — грязь, голод, кровь. Борьба, страшная работа, может быть, завтра — виселица. А вот — поди же ты — не завидно. Есть вещи и дороже и выше наслаждения.

— Не для наслаждения еду, — сам знаешь.

— Знаю, и все-таки это — голая романтика... Хотя ты и собираешься...

— Тише...

Пересекая им дорогу, в темноте прошел кто-то, — тяжело прогнали сапоги. Когда шаги затихли, человек с трубкой сказал:

— Значит, ты совсем покончил с нами? Жалко.

— Я и не начинал с вами. Сочувствовал. Ну, октябрьский переворот — я еще понимаю: драка у Никитских ворот, — тра-та-та. А потом — пайки, коллективы, вши, война. Будни. Не хочу, не принимаю. Не запихнешь меня в коллектив. А у нас — личность, красота борьбы, взрыв.

— Ну да, для хорошего буржуазного пищеварения анархизм — как красный перец во щак. Эх, Саша, Саша!..

— Нас много, брат, — больше, чем думают... Да, кстати... Хотя мы и враги теперь, окажи последнюю услугу: за мной слезка, до моего отъезда я тебе передам четыре жестянки с *сапожным кремом*...

Тяжелые шаги снова и неожиданно затопали совсем близко. Приближалось несколько человек.

Тот, кого называли Саша, схватил приятеля за локоть. Оба остановились. Из темноты выросли трое рослых в солдатских шинелях. Крикнули грубо:

— Что за люди?

— Покажь документы.

Человек с трубкой шепнул: «Спокойно, это — варта»¹. Но спутник его отскочил, рванул из кармана револьвер. Рослые бросились к нему, сбили с ног прикладами и, матерно ругаясь, шумно дыша, связали руки, пинками заставили встать и повели.

Во время этой возни человек с трубкой скрылся.

Почти такая же сцена в тот же час произошла в другой части города.

Невзоров, подходя к своей гостинице, внезапно был схвачен двумя выскочившими из-под ворот молодыми людьми в золотых погонах.

Семен Иванович вылупил глаза, разинул рот, но рот ему тут же заткнули тряпкой. Потащили наискосок к извозчику, повалили поперек пролетки. Молодые люди сели, уперлись каблуками в бока Семена Ивановича, и извозчик на резинках погнал по пустынным улицам.

Все это произошло в несколько секунд. Все же Невзоров успел заметить в тени под воротами третьего человека, — он стоял, подняв на высоту плеча револьвер, поблескивая очками.

Семена Ивановича втолкнули в сводчатую комнату, в затхлый махорочный воздух. Дверь захлопнули. Он подошел к клеенчатому дивану и сел. Напротив у стены, у стола, сидел человек в изжеванной шинели. Над ним, под облупленным сводом, горела лампочка в пять свечей. Человек не спеша копал в носу, глядел на палец, затем вытирал его о подмышку. У него было веснушчатое широкоскулое лицо с острым носиком торчком и закрученные усики.

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? Я ничего не могу понять, — спросил у него Невзоров.

— А вот в зубы дам — поймешь.

— Все-таки я же должен знать, за что меня арестовали.

¹ Варта — гетманская полиция.

Человек в изжеванной шинели уперся обеими руками о стол и начал приподниматься.

Невзоров больше не продолжал беседы. От волнения и скверного воздуха он ослаб. Подобрал ноги, прилег и завел глаза. Но сейчас же со стоном открыл их. Человек у стола продолжал закручивать усики.

Вдруг загрохотала дверь. Трое в солдатских шинелях впихнули в комнату ощеренного от злости юношу. Он стоял некоторое время, вытянувшись, в щегольской бархатной куртке. Через смуглую щеку у него шла кровавая царапина. Затем решительно сел на клеенчатый диван.

— Сволочи, — сказал он и поморгал пышными ресницами. Невзоров посматривал искоса, — где-то он видел этого человека, удивительно знакомое лицо... Рот, как у девушки... Не в кафе ли у «Юма», на Тверской? Ну, конечно, — вместе с покойной Аллой Григорьевной и косматым человеком, похожим на бабу...

— Простите, вы не граф Шамборен, художник?

Юноша, точно рысь, повернул голову:

— А! Невзоров!

— Виноват, — поспешно заявил Семен Иванович, — настоящая моя фамилия Семилапид Навзараки. Невзоров — это псевдоним. Представьте: схватили на улице, сижу здесь, ничего не понимаю.

— Поймешь, — сказал человек у стола, — у нас втолкуют.

На этом разговор прервался. Послышался звон шпор. Вошел ротмистр, великолепный блондин в пышных галифе. Трогая мизинцем прибор, он спросил нараспев, как глубоко светский человек:

— Кто здесь — именующий себя Семилапидом Навзараки?

Семен Иванович вскочил, всем своим видом изображая величайшую благонамеренность, и пошел к дверям, где с боков к нему примкнулись часовые.

Матерый полковник, — видимо, из бывших жандармских, — задумчиво курил, свет хрустального абажурчика поблескивал на крепких ногтях его. Невзорова втолкнули в кабинет. Он остановился близ двери, поклонился. Полковник не обратил на него решительно никакого внимания, курил толстую пушку, полузакрыв глаза. Только нежно под столом зазвенела шпора.

Затем негромко, будто обращаясь к невидимому собеседнику, полковник сказал:

— В первый раз едете в Испанию? Никогда не изволили там бывать, граф?

У Семена Ивановича задрожала челюсть, ужас пошел по коже. Он оглянулся, — с кем это разговаривает полковник? Облизнул губы, промолчал. А полковник тем временем повернул львиное лицо, украшенное седеющими подусниками, и, устремив чистый, холодный взгляд вверх головы Семена Ивановича, сказал раздельно:

— Имя, отчество, фамилия?

— Навзараки, Семилапид, — с трудом ответил Невзоров.

— Зачем, ну, зачем, граф, так унижать свое достоинство? Мы же знаем, что вы не Семилепид Навзараки. — И вдруг глаза полковника — яростные, выпрыгивающие — воткнулись в глаза Невзорову, просверлили мозг до затылка... Семен Иванович попятился. Глаза пришили его к стене и перескочили на лист чистой бумаги. Полковник обмакнул перо и записал:

«Навзараки. Года? 37. Место рождения? Херсон. Занятие? Торговля. Превосходно».

Он осторожно поднес к губам папиросу:

— Какого именно рода товар изволите продавать?

— Каракуль.

— Превосходно. Не желаете ли присесть? Нет, сюда, к столу. Так вы говорите, что торгуете сапожным кремом?

— Какой там сапожный крем! — завизжал Невзоров. — Ничего я не знаю про сапожный крем...

Полковник только поднял брови и продолжал писать красивым, длинным почерком. Семен Иванович, почти бессознательно, пошарил в жилете, достал две бумажки, по пяти английских фунтов каждая, привстал и положил их под угол промокашки. Не оборачиваясь, полковник сказал вежливо:

— Мерси. — Положил перо и закурил новую пушку. — Вас еще не подвергали личному обыску? Эта проклятая революция порядком потрепала наш аппарат. В особо деликатных случаях я доверяю одному себе. Разрешите поинтересоваться содержанием карманов.

Он пересчитал деньги Невзорова, вложил в конверт и запечатал: «Будьте совершенно покойны». Затем осторожно развернул паспорт:

— Гм, прекраснейшая работа, — это фальшивомонетчики с Пересыпи. Дорого заплатили? Ну-с, — это все ваши документы?

— За последнее время неоднократно бывал ограблен, жестоко пострадал, ваше превосходительство.

— Странно. Как же вы, граф, едете без мандата на такую ответственную и ужасную работу?

— О чем вы?.. На какую работу?..

— Я спрашиваю, — тут брови полковника слегка сдвинулись, — где мандат? Соккрытие лишь ухудшит ваше положение.

Тогда Невзоров, прижимая к груди трепетную руку, пролепетал:

— Ваше превосходительство, богом клянусь — вы принимаете меня за кого-то другого.

— Э, не будем играть в прятки. Мы оба светские люди, граф, не правда ли? Давайте — по-английски, по чести, начистоту.

— Я же не граф, я бухгалтер... Ваше превосходительство, я — Невзоров...

И тут Семен Иванович, захлебываясь словами, принялся описывать свои приключения, начиная со встречи с цыганкой на Петербургской стороне. Полковник по мере его рассказа все сильнее хмурился. Полированные ногти его забарабанили гимн. Шея наливалась кровью. Внезапно ужасным голосом он проговорил:

— Где четыре жестянки с сапожным кремом?

Невзоров ударился о спинку кресла и глядел, как кролик, в ледяные глаза. Принялся креститься: «Ей-богу, с ума сойду с этим сапожным кремом, ничего не знаю...»

Держа Невзорова на прицеле глаз, полковник позвонил. Вошел ютмистр, звякнул шпорами. Полковник сказал:

— Штучка оказалась хитрая.

— Прикажете отвести его в *операционную*, господин полковник?

Изю всего непонятого фразы эта была самая страшная. Невзоров затрепетал в кресле. Его крепко схватили за локти, повели по грязным коричневым коридорам, где дули сквозняки, по лесенкам, под землю и втокнули в темное помещение. Он сел на земляной пол и таращил глаза в темноту. Здесь приторно пахло тлением и сыростью.

Постепенно с левой стороны появилось какое-то бледное, овальное пятно. Скосившись направо, он различил второе пятно. Так и есть — темные глазницы и черты страшного оскала. «Вот он, проклятый, символ смерти, говорящий череп Ибикус...» Невзоров зажмурился. Из тела выступал ледяной пот. Под сердцем затошнило, и сердце перестало биться.

Он чувствовал, как его осторожно трогали, ощупывали лицо. Когда он снова стал различать звуки, — Ибикусы в стороне глуховатыми голосами разговаривали:

— И сегодня он ничего не добьется.

— Ты терпи, слышишь...

— А если он по делу Шамборена опять станет пытаться, — говорить?

Семен Иванович слабо вскрикнул и сел. Голоса замолчали. Теперь он видел скудный свет сквозь подвальное, заложённое кирпичом окошко под потолком и на полу прислонившиеся к стене две смутные фигуры; они повернули к нему измученные лица, — нет, нет: это были люди, не Ибикусы. Он подполз к ним, всмотрелся, сказал шепотом:

— Меня допрашивали насчет сапожного крема...

— Анархист? — спросил левый из сидевших у стены.

— Боже сохрани. Никакой я не анархист. Я просто — мелкий спекулянт.

— Цыпленок пареный, — сказал правый у стены, с ввалившимися щеками.

— Растолкуйте мне, хоть намек дайте, — что это за крем такой, за что они меня мучают?..

— Пытать будут, — сказал другой, бородатый.

— Ой! Не виноват! Нельзя меня пытаться. За что пытаться? Я ничего не знаю.

Семен Иванович замотался, забился, заскреб землю. Бородатый, уже мягким голосом, сказал ему:

— Французская контрразведка получила сведения: через Одесу должен проехать в Европу крупный анархист с мандатом на организацию взрыва Версальского совещания, или, черт их знает, что они там вздумали взорвать. Огромные суммы у него, бриллианты, спрятаны в жестянках с сапожным кремом. Французская контрразведка потребовала от белой контрразведки арестовать этого артиста. Вот они и сбесились, ищут его по всему городу. Поняли?

— Имя? имя его? как его зовут? — уже не голосом спросил, а зашипел, захрипел Невзоров.

Но оба человека у стены окаменели, замолчали на дальнейшие вопросы. Он отполз от них и прилег на бок. Соображение его бешено работало. Он сопоставлял, вспоминал, он догадывался об имени своего двойника. Ибикус-хранитель и на этот раз, видимо, спасет его.

Мутный свет ясел между кирпичами в окошке. Бородатый и безбородый в тоске уткнулись лицом в колени. На земле наступало утро. И вот за дощатой перегородкой, в том же подвале, послышался скрип двери, голоса, звон шпор. Сквозь длинные щели, слепя глаза, проникли желтые лучи лампы. Боковая, в перегородке, дверка распахнулась, и вошли ротмистр и двое в голубых французских куртках.

С минуту они приглядывались к темноте. Затем все трое подошли к безбородому. Ротмистр ткнул его ножами шашки. Он не пошевелился. Они молча схватили его и потащили за перегородку. Он растопыривал ноги, упирался. Бородатый крикнул ему:

— Молчи!

Семену Ивановичу достаточно было только повернуть голову, чтобы увидеть, что делается на той половине за перегородкой. И он прижался к щели и увидел.

На кухонном столе сидел полковник, помахивая наганом. Левая рука его, в перчатке, упиралась в тугое бедро. От резкого света лампы-молнии, поставленной на подоконник заложенного кирпичами окна, от теней, бросаемых подусниками, — львиное лицо его казалось растянутым в веселую улыбку.

Безбородого потащили к нему, поставили. Это был костлявый, большой парень в рваном пальто. Полковник что-то тихо сказал ему, — согнутый палец задрожал на бедре. Безбородый переступил босыми ногами. По взъерошенному затылку было видно, что он не отвечает на вопросы.

Тогда рука в перчатке соскользнула с полковничьего бедра, схватила парня спереди за волосы, подтащила голову к столу.

— Скажешь, скажешь, — повторил полковник и рукояткой нагана ударил безбородого в поясницу, твердо, с оттяжкой стал бить его в почки. Парень замычал и осел. Полковник ногой отпихнул его:

— Следующего!

Из-за перегородки вывели бородатого. Он шел, наступая на полы солдатской шинели, — голова закинута, рыжая борода — задрана. Семен Иванович, глядевший в щель, ужаснулся, — что сейчас будет?

— Ну-с, господин коммунист, — полковник поманил его пальцем, — поближе, поближе. Как же мы с вами сегодня будем разговаривать — терапевтически или хирургически?

На эти слова ротмистр гулко хохотнул: «Хо-хо-хо!» Бородатый покосился на то место, где на полу лежал его товарищ, — у того из носа и рта пузырями выходила кровь. Невзоров видел, как у бородатого задрожало лицо. Он торопливо начал говорить...

— Молчать! — закричал полковник, вздернул подусники. Но бородатый только втянул голову и глухо, как из бочки, матерно заругался. К нему сзади подошел ротмистр. Бородатый вдруг замолчал. Ахнул. Упал на бок. Ротмистр, нагнувшись, что-то делал над ним.

— Следующего! — крикнул полковник.

Семен Иванович не помнил, как очутился перед его побелевшими глазами, — взглянул в зрачки.

— Я все вспомнил, — пролепетал он, — не губите невинного... Я могу указать, кого вы ищете... Знаю в лицо: брюнет, смуглый, двадцати пяти — двадцати семи лет... Это граф Шамборен... Нас арстовали одновременно... Сидели на клеенчатом диване... Я же блондин, ваше превосходительство... У вас должны быть приметы.

Внезапно зрачки у полковника дрогнули, ожили и расплылись во весь глаз... Рука его полезла в карман френча, вытащила вчетверо сложенную бумажку, развернула. Снова зрачки, как точки, вонзились в Семена Ивановича. Полковник грузно соскочил со стола

— Кто там еще в комендантской? Привести! Что думает контрразведка? Хватает блондинов, когда сказано: брать брюнетов...

Семен Иванович был переведен из операционной наверх, в одиночную камеру, и после всего пережитого забылся каменным сном. Но ненадолго. Из этой каменной темноты измученный дух его был восхищен отвратительными сновидениями... Лезли какие-то рожи, хрипы, кривлялись, мучили... И он бегал от них на ваточных ногах по дощатым коридорам и бился, царапал ногтями проваливающуюся под ним землю. Пытался кричать, и крик завязал в глотке...

Все же удалось закричать. Он проснулся. Стер холодный пот с лица. Сел на койке. Сквозь пыльное, затянутое паутиной окно и ржавую решетку светил день. Со стен висели клочки обоев. Около койки на табурете сидел господин в голубых очках, — щипал бороду: то самое лицо, преследователь.

— С одной стороны, вы рискуете быть повешенным, — сказал он вежливо, — с другой стороны, вас не только могут выпустить на свободу, но снабдить заграничным паспортом и вализой.

— Согласен, — прошептал Семен Иванович, от слабости снова ложась на койку. — Что я должен сделать для этого?

— Превосходно. Моя — фамилия — Ливеровский. В нашей рабуре бывают ошибки, надеюсь, вы на меня не в претензии. Кстати, — каракуль вам доставили, он у вас в номере. Вот ключ от двери, вот мешочек с золотом. Сегодня ночью нам придется побегать по городу.

— Вы хотите сказать, что Шамборен...

— Вы угадали, — удрал из комендантской. Мы нашли на диване дурака сыщика, полузадушенного, во рту — тряпка. Шамборен скрылся. К счастью, он потерял вот это, — Ливеровский осторожно вынул из кармана бумажник, завернутый в газету, — теперь мы уверены, что это был Шамборен. Вы единственный человек, кто его знает в лицо. Ну, вставайте, едем в «Лондонскую» гостиницу обедать.

Так судьба снова вознесла Семена Ивановича. Он сделался нужным и опасным лицом при областном правительстве. Пятьсот шкурок каракуля, туго забинтованные в полотно, лежали у него в чемодане. Полковник обещал заграничный паспорт как приз за поимку Шамборена. Перспективы снова раздвигались. Тревожил его только один разговор с Ливеровским, когда в сумерках они сидели на пустынной стрелке мола, наблюдая за проходившими лодками. Ознакомившись с подробностями прошлой жизни Семена Ивановича, Ливеровский, видимо, преувеличивал его способности. Он говорил:

— Бросьте мешанские предрассудки, идите работать к нам. Бывают времена, когда ценится честный общественный деятель или — артист, художник и прочее. Теперь потребность в талантливом сыщике. Я не говорю о России, — здесь семнадцатый век. Политический розыск, контрразведка — мелочи. Проследить бандита? Ну, вон возьмите, идут двое знаменитостей: Алешка Пан и Федька Арап. Кто третьего дня вычистил квартиру на Пушкинской, барыне проломил голову? — они, Алешка и Федька... (Бандиты, проходя по молу, степенно поклонились Ливеровскому, он приложил палец к шляпе.) Этих выслеживать, ловить — только портить себе чутье. На Пересыпи у них штаб с телефонной связью. На днях меня приглашали туда на именины к атаману. Обывательщина. Иное дело работать в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Там борьба высокого интеллекта — высшая школа. Наша организация разработана гениально, мы покрываем невидимой сетью всю Европу. Мы — государство в государстве. У нас свои законы долга и чести. Мы работаем во враждующих странах, но сыщик сыщика не предаст никогда. Мы выше национализма. У нас имеются досье обо всех выдающихся деятелях, финансовых и политических. Пятьдесят процентов из них — дефективные или прямо уголовные типы. Любопытно необыкновенно. Знаменитый парижский сыщик Лару в своей брошюре «О взломе стальных касс» утверждает: «Человек рождается преступником. Понятие о священном праве собственности есть продукт длительного воспитания, которое кастрирует природную склонность к преступлению. Война разрушила моральное воспитание. Массы людей не успевают подвергнуться ему, проходят мимо Школы добродетели. Мы наблюдаем ужасную картину: в центрах Парижа бродят элегантно одетые толпы дикарей-преступников. Они сдерживаются мощной рукой полиции. Но с каждым годом толпы увеличиваются. И я предвижу время, когда рука эта станет бессильна, и тогда — штурм на цитадель Права...» Нет, нет, идите к нам, Семен Иванович. Нужно чувствовать эпоху: ударно-современный человек — это сыщик. Вы должны быть посвящены. Я

но нам устрою. Мы, так сказать, все *кровные* братья. А кроме того, предупреждаю: полковник — человек жуткий, — если попытаетесь от нас теперь отвязаться — не поставлю на вас и десяти карбованцев. (Ливеровский вытянул тонкую шею, всматриваясь в мутноватую мглу над тихой, как масло, водой. Между зелеными и красными огоньками поплавок, направляясь с внешнего рейда в гавань, скользнула лодка.) Я по образованию филолог, был оставлен при Петербургском университете. Но, подхваченный вихрем... Вы хорошо видите лицо того, кто гребет?..

Семен Иванович различил на корме лодки бритого, в широкополой шляпе, человека с трубкой. Другой, курчавый, сильно греб веслами. Вот повернул голову. «Он!» — вскрикнул Невзоров. Лодка прыгнула за фонарем поплавок и растаяла во мгле, налитанной желтоватыми огоньками набережной.

Ливеровский и Семен Иванович изо всей силы побежали по молу к берегу. Но поиски и расспросы были напрасны в этот вечер.

«А что ж, — раздумывал Семен Иванович, — может быть, Ливеровский и прав, и я сильно поотстал от Европы. За что ни схватись в этой проклятой России, — в руке кусок гнилья: старый мир — труп и призрак. Действительно, надо идти в ногу с эпохой. Контрразведка, шпионаж — гм! Найти крючок под какого-нибудь такого Авраама Ротшильда — гм! А люди — мошенники, он прав, — бандит на бандите. Надо быть дураком, чтобы стесняться в наше время. Но только про какое испытание болтает Ливеровский? А между прочим, плевать, — не удивишь».

Так рассуждал сам с собою Семен Иванович перед бутылкой шампанского в ресторане клуба «Меридионал», поджидая Ливеровского.

Здесь пирувал цвет одесского общества. Шумели, чокались, рассказывали кровавые истории о боях и расправах, клялись и спорили, лили вино на смятые скатерти.

В сизых слоях дыма вальсировал с полуобнаженной красавицей французский офицер в черном мундире, — в четком звоне шпор и шелесте шелковой юбки крутились, поворачивались то бледный, полубморочный профиль красавицы, то бриллиантовый пробор и шикарные усики офицера. Кончили, сели. «Браво, бис!» — закричали ото всех столов. «За Францию!» — и зазвенели разбитые фюкалы.

Перед оркестром выскочил жирный грузинский князь с эспаньолкой, выхватил кинжал: «Лезгинку в честь Франции», — и полетел на цыпочках, раздувая рукава, блестя кинжалом. «Алла верды!» — закричали женские голоса.

Красно-коричневый, в порочных морщинах, румын-дирижер заставил петь «Алла верды» весь ресторан и сам ревел коровьим, скрипящим голосом, лоснясь от пота.

Здесь гуляла душа, завивалось горе веревочкой. Даже Семен Иванович ногтем раздвинул бородку надвое: он заметил, как одна

шатеночка, растрепанная, очень миленькая, в коричневом платице, смущенно улыбаясь оттого, что ее плохо держали ноги, присаживалась то к одному, то к другому столу: посмотрит в лицо внимательно и спрашивает: «О чем вы думаете?» И, не получив ответа, слабо махает ручкой.

Так она подошла к Невзорову и детскими, немного косящими глазами долго глядела на Семена Ивановича. Он предложил бокал шампанского и заговорил любезно. Она, будто слыша слова из-под воды, спросила, запинаясь:

— О чем вы думаете, скажите?

Взяла бокал двумя худенькими пальцами, но расплескала, поставила:

— Вы все какие-то странные. Я ничего не понимаю. О чем вы думаете все? Гляжу и не понимаю. А вам разве не страшно? (Она тихонько засмеялась.) Голова кружится... какие бессовестные — напоили. Недобрые, чужие. Вы знаете, — а я здесь одна. Папа пропал без вести, мама осталась в Петербурге, не хотела расставаться с квартирой. А я уехала с нашей студией. (За стол в это время сел Ливеровский. Она, приоткрыв рот, долго глядела ему в голубые стекла очков.) Мы эвакуировались, эвакуировались — так и растеряли друг друга.

— А скажите, — спросил Ливеровский, — вы не знаете, слушаем, где сейчас такой актер — Шамборен?

— Он здесь, — лицо молодой женщины стало нежным от улыбки, — но он же не актер, — художник. Ну, он такой чудный.

— Мне поручено во что бы то ни стало разыскать его на юге, передать одно письмо... Так вот как бы...

Улыбка сошла, и две морщинки легли у губ молодой женщины. Снова, приоткрыв рот, она принялась глядеть в лицо то Ливеровскому, то Невзорову, будто спрашивая: «О чем думаете?» Вздохнула, подперла голову худенькой рукой, осыпанной, как просом, родимыми пятнышками.

— И опять все то же, — сказала она, — вы все убийцы. Скучно с вами.

Ливеровский весело засмеялся:

— Вот тебе на. Кого же мы собираемся убивать? Вот чудачка!

— Нет, я не чудачка, вы не смеете меня оскорблять, — она поднялась, — все только и думают про убийство. У всех глаза, как у мертвых... До чего тяжело, неприятно... так грустно... Прощайте...

И она пошла, пошатываясь, между танцующими — к вешалке. Ливеровский подхватил ее под локоть и опять заговорил о письме, о Шамборене. Но она вырвала у него свою руку и сердито что-то шептала про себя, застегивая дешевенькое пальтецо.

Ее пропустили вперед, подождали, когда она завернет за угол, и пошли вслед. Улица была безлюдна. Сквозь тоскливые облачка лился жиденький лунный свет. Молодая женщина шла по тротуару, помахивая рукой, иногда приостанавливалась: должно быть, сердилась, разговаривала сама с собой. Потом она свернула в переулок. Ливеровский и Невзоров стали за углом, высматривая.

Она вышла на середину переулка, напротив старенького домика, и долго глядела на темные окна второго этажа. Потом вернулась на тротуар — и села на тумбу.

Когда Семен Иванович, один, осторожно прошел мимо нее, — она горько плакала. Он пожал плечами, поскреб бородку:

— Позвольте, я провожу вас домой, сударыня.

— Убирайтесь!

Он вернулся за угол к Ливеровскому. Они еще долго слышали, как она плакала в пустынном переулке, сморкалась.

— Она к Шамборену в окошки смотрела, они в связи, — сказал Ливеровский, — я это понял в ресторане. Но — птичка улетела, она адреса его не знает. Идите и проследите ее до дому. А мы поставлю моих агентов наблюдать за этим переулком.

Предположения Ливеровского оказались правильными. На следующий день молодая женщина два раза была в переулке и смотрела на окна. Дворник этого дома удостоверил, что дней пять тому назад, действительно, из верхней квартиры выбыл молодой человек, курчавый, смуглый, — ушел с чемоданом и паспорта, который отдавал прописывать (на имя какого-то Левина), с собой не взял.

За молодой женщиной установили тщательный надзор. (Личность ее была выяснена: артистка кабаре, Надя Медведева, 21 год.) Но она, видимо, так же как и они, искала Шамборена по городу. Несколько раз ее видели вместе с бритым человеком, курившим трубку. Проследили и его: оказался — московский журналист Топорков. Ливеровский предполагал, что Шамборен скрывается где-нибудь в «малинах» — портовых ночных притонах. Установили слежку за лодками и судами. Третью ночь Ливеровский и Невзоров обшаривали сомнительные закоулки порта. Агенты сторожили вокзал и трамвайные пути на Малом и Большом Фонтанах. Была опасность, как бы Шамборен не пошел сухим путем через Румынию. И неожиданно, противно всем законам вероятия, его увидели в 4 часа дня на Дерибасовской.

Он стоял на углу, на ветру, и, нетерпеливо раздув ноздри, слушал, что говорила ему Надя Медведева, державшая в обеих руках его руку. Она умоляла его о чем-то.

Вот он сильно встряхнул ее руки, намереваясь отойти. Она вцепилась ногтями ему в плечо, в бархатную куртку, стремительно поцеловала его в губы. Прохожие засмеялись, оглядываясь. И в это время Шамборен встретился глазами с Невзоровым, увидел голубые очки Ливеровского и, точно его и не было на углу, — исчез. Только как-где, по направлению к набережной, заволновалась толпа.

Погоня из милицейских и сыщиков потоком скатилась по каменной герцогской лестнице в порт и рассыпалась по «малинам». В час ночи была допрошена Надя Медведева, арестованная тогда же на углу Дерибасовской. Она отвечала Ливеровскому дерзко:

— Никто не имеет права, а вы тем более, вмешиваться в мою личную жизнь. Сашу Шамборена я люблю и всем это скажу. Зачем он сюда приехал — не знаю, и опять-таки это не ваше дело. Спросите у его друга-приятеля.

— У кого именно?

— Ах, ну у этого — журналиста.

— Бритый, ходит с трубкой?

— Ну да, терпеть его не могу.

— Не можете ли объяснить, — спросил он еще, — почему Шамборен, с которым вы, как сами утверждаете, были в близких отношениях, скрывался от вас в Одессе?

Тогда она стала смотреть на него так же, как тогда в ресторане. Опустила голову, и слезы закапали ей на колени. Больше от нее ничего не добились.

В ту же ночь Ливеровский с отрядом сыщиков напал за Куликовым полем на квартиру журналиста Топоркова. Во время этого дела Семен Иванович, вооруженный револьвером, решил все же не показывать чудес храбрости и держался в тылу нападающих.

Когда выломали дверь, Топорков пытался спуститься из кухонного окна по водосточной трубе. Его взяли без выстрела. При нем были найдены ручная граната, револьвер и четыре жестянки с сапжным кремом.

Находка эта показалась столь неожиданной и удивительной, что Ливеровский сделал крупную ошибку: не приняв мер предосторожности, прямо на улице, под фонарем, раскрыл жестянки и обнаружил в них восемнадцать крупных бриллиантов. Подручные ему сыщики до того увлеклись блеском камней, что сгрудились под фонарь. Там же стоял и Топорков.

Семен Иванович, державшийся в выступе стены, по малоопытности не обратил внимания на то, что из соседних ворот, осторожно и бесшумно, появились трое в каскетах. Один из них перебежал улицу. Это был Шамборен. И вдруг они оглушительно начали стрелять из револьверов в кучу сыщиков под фонарем. Семен Иванович, наученный опытом, сейчас же лег. Под фонарем несколько человек упало. Остальные мгновенно исчезли за углом переуллка. Туда же побежали и нападающие. За углом стреляла, казалось, целая армия, — так было громко и страшно.

В то же время из-под фонаря поднялся журналист Топорков и побежал по улице в противоположном выстрелам направлении. Семен Иванович приподнялся на локтях. Револьвер показался ему роскошной игрушкой, и он, шепнув что-то матерное, выстрелил в бегущего. Дернуло руку, пахнуло пороховой вонью. Топорков вильнул в сторону, но продолжал бежать, кажется прихрамывая.

Когда затихла перестрелка, Семен Иванович пошел домой, снял штиблеты и блаженно заснул, успев только подумать: «А хорошо, если бы и Ливеровского тоже ухлопали».

Он подумал об этом и на следующее утро, когда пил кофе. Нет, деятельность сыщика не по его характеру: всегда куда-то бежать, ловить, стрелять. Разве это наслаждение жизнью? Ни покоя, ни благодущия.

Эх, благодущие! Семен Иванович невольно вспомнил невозвратно улетевшее время, когда он в полутемной комнатке, на пятом этаже, на Мещанской улице, сживал у окна, попивая кофе, мечтая об аристократическом адюльтере. Тихая была жизнь, — на соседнем дворе, бывало, заиграет шарманка, опять же о невозвратном: развздыхаешься у окошка. Даже Кнопка, любовница, о которой и память выело, вдруг вспомнилась, поманила мещанской прелестью. Ах, боже мой, погибло тихое счастье, погибла Россия!

Семен Иванович размяк, глаза его увлажнились. «Уеду, — подумал он, — уйду на край света, открою табачную лавочку. Буду покуривать потихоньку, поглядывать, как мимо проходят тихие люди».

— Дома! Ну, так и есть — кофе пьет! — над самым ухом у Семена Ивановича крикнул, точно выстрелил, Ливеровский. Закрыл окно и сел на кровать. Голова забинтована, нос морщится от хорошего настроения. — Четыре сбоку, ваших нет, можете поздравить: полковник сейчас третью кожу дерет с Шамборена.

— Поймали?

— Живучий, как сколопендра. Ранили его, по башке оглушили, гдма взяли. Сообщники, к сожалению, — один убит, другой скрылся. А наших, вы знаете, четверо — в ящик, четверо сильно поцарапаны. А дело было — красота. Кстати, читали сегодняшние газеты? Сверхъестественно... (Он развернул лист оберточной бумаги, на котором были напечатаны «Одесские новости».) «Оперативная сводка. Все атаки большевиков на... (цензурный пропуск) отбиты благодаря огню тяжелой батареи Добровольческой армии, которая расстреливала большевиков на картечь. Наступающие большевики несут потери». Знаете, как нужно читать этот цензурный пропуск? Сейчас узнаете. «Разъяснение штаба командующего. События на фронте не должны волновать население, так как чем более уплотняется гарнизон Одессы на суживающейся базе, тем активнее, реальнее становится оборона. Судовым орудиям можно весьма и весьма продолжительное время держать прогивника на почтительном расстоянии от подступов к городу...» Теперь поняли цензурный пропуск? Это — длина боя судовых орудий — восемнадцать верст. Большевики на расстоянии выстрела от города...

У Семена Ивановича отвалилась и вдруг застучала челюсть. Он стал оборачиваться на свой чемодан.

— «Наступают решительные дни борьбы, — продолжал читать Ливеровский. — Французское верховное командование не только *во что бы то ни стало* решило отстоять Одессу, но и непреклонно довести Россию до созыва Учредительного собрания. Союзная зона сужена. Силы собраны в мощный кулак: около пятидесяти тысяч французов, русских, греков, румын, поляков и жерла дредноутов, направленные на подступы к городу. Все готово. Остается нанести решительный удар и победоносной лавиной докатиться до Москвы».

— Так, — Ливеровский швырнул газету под диван, — решительный удар будет в морду нам. Сегодня ночью четыре французских полка ушли с позиций. Вся эта история с Шамбореном провокация, — я вас уверяю. Полковник с ума сошел, когда узнал о бриллиантах. Вся разведка была брошена — ловить Шамборена. А большевики в это время работали. И не кто иной, как журналист Топорков. Зуавы потребовали у себя в частях созыва Советов. Греки кричат из окопов: «Рюсский, рюсский, — давай мириться». А вы знаете, что делается в рабочих районах? Зубами скрипят. Этот болван полковник расстрелял на кладбище десять местных большевиков. Рабочие, конечно, разыскали трупы, вырыли. Зуавы бегают в слободку смотреть на расстрелянных. А вам известно, что вчера кабинет Клемансо пал...

— А нельзя ли нам заранее на каком-нибудь пароходе устроиться? — спросил Невзоров.

— Успеет. Я вас не брошу, вы мне очень и очень пригодитесь. Кстати, нынче в ночь будет ваше *посвящение*.

Семен Иванович, понятно, после этого разговора впал в паническое настроение. Но когда вышел на улицу, — там гуляли нарядные дамы как ни в чем не бывало, и если и опасались чего-нибудь, то только веснушек, которые апрельское солнце сеяло на круглые лица одесситок.

Благодушно на внешнем рейде курились трубы дредноутов. Франк стоил всего восемь с половиной карбованцев в кафе у Фанкони, откуда нетрудно было выбежать маловерному или паникеру и увидеть эти дымки над мгlistым морем. По набережной погромывали на рысях поджарые пушки. Внушительно прополз танк. Шел, тяжело навьюченный амуницией, батальон зуавов: ну, разве же эти приемыши Рима не ударят тараном по григорьевским бандам. Усатые, широкогрудые, запыленные, не задумаются умереть во имя свободы, культуры и священных принципов?..

Много ободряющего видел Семен Иванович в этот день, бегая в хлопотах за паспортом и визами. Он видел также, как из подъезда «Лондонской» гостиницы вышел рослый, в черном мундире, мрачный человек. Невидящие глаза его были устремлены на рейд. Осунувшееся, с жесткой бородкой лицо точно покрыто свинцовой пылью. Это был начальник обороны генерал Шварц. Он упал на сафьяновые подушки автомобиля и приказал сквозь зубы: «Французский штаб». Семену Ивановичу стало жутко, хотя он и не знал в ту минуту, что генерал Шварц ехал к генералу д'Ансельму для последнего отчаянного и безнадежного разговора.

Во второй раз тоскливое беспокойство царапнуло Семена Ивановича, когда вечером он толкнулся в клуб «Меридионал», — дверь была заперта, около ресторанной стойки, при свете свечи, воткнутой в бутылку, ресторатор и лакеи связывали какие-то узлы.

Затем, звонясь к себе в гостиницу, Семен Иванович хотел было, как всегда, прочесть приказ генерала Талдыкина о тараканах, но

с ужасом увидел: поверх приказа наклеен небольшой листочек: «Иссм, всем, всем... Последнее убежище спекулянтов и белогвардейцев должно пасть...»

Семен Иванович заперся у себя в комнате, лег и, кажется, даже заснул и внезапно сел на постели. С отчаянно бьющимся сердцем прислушивался... Так и есть: прошли под окнами. Звонок в швейцарской. Никто не открывает. Тихо. И вдруг резкий стук в дверь, в мозг.

Семен Иванович с воплем стоял уже посреди комнаты:

— Я не пойду!

За дверью насмешливый голос Ливеровского проговорил медленно, каждую букву:

— Отворите же, нас ждут.

Моторная лодка терлась боком о гнилые сваи. Дождливый туман затянул весь порт, остро пахло гнилым деревом и морем. Наверху, в городе, было еще сонно. Вдалеке, в стороне Фонтанов, похлопынули выстрелы. Ленивая волна подняла и опустила лодку, привязанную к ржавому кольцу.

На мокрых скамейках в лодке сидели — Семен Иванович, рядом с ним востроносый, с низким чубом подросток, державший между колен винтовку, и напротив — апоплексического вида огромный француз в темно-синем военном плаще.

Все трое молчали. Француз выставил против дождевой сырости тысячи жесткие усы и сердито посапывал. Подросток, барабанил ногтями по винтовочному прикладу, перебегал юркими, как у мыши, глазами по редким предметам, выступающим из тумана. Семен Иванович мелко дрожал в своем пальтишке, — у него внезапно заболел зуб, вонзался раскаленным гвоздиком. Но вылезти из лодки, уйти было невозможно: пошевелишься, и сейчас же глаза поджухта начинают бегать по лицу Семена Ивановича.

Француз уже начал ворчать себе в усы по-французски: «О, грязные русские! Сколько еще ждать в этой гнилой лодке... О, дермо и дермо!...» Пробежала коричневая портовая собачонка, остановилась и внимательно и долго глядела на людей. Подросток замахнулся на нее: «Я тебя, сволочь!» Собачонка отскочила, оцетинилась, зарычала. Но вот, наконец, послышалось шлепанье ног по лужам. Из тумана появилось пятеро: ротмистр, уже знакомый Невзорову, какой-то штатский в морском картузе (оба они держали наготове револьверы), между ними — Шамборен в разодранной клочьями блузе (правой рукой он придерживал левую), рядом с ним — рябой рослый матрос в одном тельнике; руки его были закованы в кандалы. Сзади шел Ливеровский. Он протянул апоплексическому французцу пакет, который тот вскрыл и, прочтя, спрятал под плащ.

— Эти двое, карашо, — сказал он.

Прибывшие спустились в лодку. Человек в морском картузе сел на руль и включил мотор. Закипела вода. Отделился и стал тонуть в тумане берег с гнилыми сваями.

Ливеровский придвинулся к Семену Ивановичу:

— Этот француз — палач. Союзнички нам не доверили Шамборена, сами хотят ликвидировать. А этот матрос — знаменитый Филька — григорьевец, страшной силы и свирепости. Везем их на внешний рейд, на баржу. Чтобы — шито-крыто.

Невзоров застонал от зубной боли. На лодке молчали. Ливеровский стал предлагать из серебряного портсигара папиросы. Закурили все, кроме Шамборена. Запекшиеся губы его были сжаты, как у мертвого. Судорога-тик время от времени пробегала по его обострившемуся лицу, — видимо, это его мучило. Он внимательно глядел на мотор, который бодро постукивал, точно на веселой морской прогулке.

Внезапно матрос Филька проговорил деликатным голосом:

— Торопится, спешит. Машина, а торопится. А сколько в ней будет сил?

Рулевой сдвинул брови, поседевшие от дождевой пыли:

— Двенадцать.

Филька уставился на мотор, словно сроду его не видал, мельком взглянул на француза.

— А студено, — сказал он, — тельник промочило, недолго и застудиться. — Он открыл великолепные белые зубы, но усмешка так и осталась на губах, — застыла.

В тумане возник темный предмет. Шамборен вытянулся, глядясь. Это был конический буюк с разбитым фонарем, — лодка мягко прошла мимо него. Пологая волна, разрезанная килем, с шелковым плеском развернулась на две пелены, обдала брызгами. Отсюда повернули в восточном направлении и пошли по мертвой зыби, которая далеко позади разбивалась мощно и глухо о мол, скрытый за дождевой завесой.

Теперь все глядели туда, куда стремился поблескивающий медью и лакированным деревом нос лодки. Качало сильно. Невзоров вцепился ледяными пальцами в борт. Из тумана выдвинулось очертание мачт — двух крестов. Шамборен сейчас же низко опустил голову. Ротмистр перешел на нос и размотал причальный конец.

Быстрее, чем ждали, лодка подошла к барже. Это было каботажное судно, предназначенное для перевозки хлеба. Оно скрипело и покачивалось на канатах. С просмоленного борта висела лестница. Ротмистр схватился за нее, легко вскарабкался на палубу.

— Будете работать наверху, мось? — спросил он по-французски.

— Я не обязан лазить по лестницам, которые пляшут; дермо и дермо, — ответил француз, но все же сбросил намокший плащ, под которым у него оказался короткий карабин, и тяжело полез на баржу. Встал наверху, раздвинув ноги, щелкнул затвором. — Матрос идет первый, — сказал он хрипло, как команду. Только теперь Невзоров увидел его лицо: огромное, багровое, с низким лбом. Он глядел мутно и не мигая из-под косматых бровей. Ротмистр перевел его слова:

— Матрос, наверх!

Филька побелел. Потянул кандальную цепь. Продвинулся к лестнице.

— Часы серебряные отошлите жене, — сказал он Ливеровскому, — не забудьте, пожалуйста. — И он медленно полез на баржу, глядя в глаза французу.

— Живее, сволочь! — крикнул ему ротмистр.

Уже наверху Филька вдруг дико закричал:

— Не я, не я, это не я, ошибка! — И начал бороться с палачом. Невзоров зажмурился. Раздался выстрел. Минуту спустя прокрипел голос француза:

— Граф Шамборен!

Шамборен порывисто поднялся и сейчас же снова сел на скамью. Тогда подросток, весь сотрясаясь, беспорядочно дергая затвор винтовки, захлебываясь матерными словами, принялся толкать Шамборена: «Иди, иди!..» Лодка раскачивалась. Невзорова охватил дикий ужас. Больной, раскаленный зуб вонзился в глубь мозга.

— Стыдно, граф, — баском сверху прикрикнул ротмистр, — давайте кончать. — Тогда Шамборен кинулся к лестнице. Едва его кудрявая голова поднялась над палубой, — француз выстрелил. Шамборен покачнулся на лестнице, сорвался, и тело его упало в море. Студеные брызги хлестнули в лицо Семену Ивановичу.

Тем же утром, бредя по улице, как во сне, на ваточных ногах, Семен Иванович остановился у облезлого забора и долго глядел на большой, недавно наклеенный цветной плакат, где были изображены крепко пожимающие друг другу руки: француз, русский и англичанин. За спиной их Георгий-победоносец поражал красную гидру революции. Кто-то карандашом подрисовал ему длинные, закрученные усы.

Семен Иванович долго стоял перед этой картинкой. Не домой же идти, не спать же ложиться! Он вынул карандаш и подрисовал закрученные усы французу, потом подрисовал такие же усы англичанину.

— Ах, боже мой, боже мой! — громко проговорил он, помусолив карандаш, и тщательно выковырял глаз русскому.

В это время издалека стали набегать мальчишеские, сенсационные голоса газетчиков. Они кричали, видимо, что-то очень страшное. Редкие в этот час прохожие выхватывали у них газеты. На перекрестке собралось десятка два возбужденных читателей.

Семен Иванович лениво взял сунутую ему пробежавшим мальчишкой газету и прочел:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Союзники сообщили, что лишены возможности доставить в ближайшее время продукты в Одессу.

Поэтому, в целях уменьшения числа едоков, решено приступить к разгрузке Одессы.

3 апр. 1919 г.

Ген. Д'Ансельм.

— Эвакуация! Эвакуация!.. — донесся до Семена Ивановича дикий ропот голосов с перекрестка.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Выдумали же люди такое отвратительное слово — «эвакуация». Скажи — отъезд, переселение или временная, всеобщая перемена жительства, — никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы.

«Эвакуация» в переводе на русский язык значит — «спасайся, кто может». Но если вы — я говорю для примера — остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло: «Спасайся, кто может!» — вас же и побьют в худшем случае.

А вот — не шепните даже, прошевелите одними губами магическое, *ибikusово* слово «эвакуация», — ай, ай, ай!.. Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается, другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого:

— Что такое? Бежать? Опять?

— Отстаньте. Ничего не знаю.

— Куда же теперь. В море?

И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу. Эвакуация — в трех этих слогах больше вложено переживаний, чем в любой из трагедий Шекспира...

...Муж уезжает в одном направлении на пароходе, жена на поезде в другом, а сынишка — вот только что держали его за руку — внезапно потерялся и, наверно, где-нибудь плачет на опустевшем берегу...

...Еще сегодня утром человек был диктатором, приказал повесить на габарите железнодорожного моста — на страх — начальника станции, помощника начальника и третью сомнительную личность с татуированными руками, а вечером тот же человек приткнулся к узелочком у паровой трубы и рад, что хоть куда-то везут...

...Удачливый делец только что добился поставки на армию, и жена его уже собралась приобрести у фрейлины, баронессы Обермюллер, котиковое манто с соболями, — ой, все полетело к чертям! — и поставка и манто, чемоданы с роскошным бельем угнал негодяй ломовик, и даже при посадке вчерашний преданный друг, один гвардеец,

который так заискивал, целовал ручки, — вдруг хватил дельцову мамлю ножнами по шляпе и спихнул ее с вагонной площадки...

Нет, не перечислить всех странностей и бед во времена эвакуаций. Человек вывертывается наизнанку, как карман в штанах, — едет, скачет, а то и просто бежит пешком с тремястами карбованцев, не годных даже на скручиванье собачьей ножки, в курточке из материи, предназначенной для других целей. В голове дребезжит, будущее совершенно неопределенно. Говорят — русские тяглы на подъем. Неправда, старо. Иной, из средних интеллигентов, с самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, а глядишь — сидит на крыше вагона, на носу — треснувшее пенсне, за сутулыми плечами — мешок, едет заведомо в Северную Африку и — ничего себе, только борода развеивается по ветру.

Семен Иванович Невзоров бывал в переделках и похуже той, что случилась в Одессе пятого и шестого апреля. Ничего необыкновенного там не случилось. Население из центра города колесом скатилось в порт, а в центре появилось население из окраин, нимало не огорченное тем, что иностранные войска садятся на транспорты, а у русских войска сухим рейсом уходят в Румынию. Торговцы деньгами и накладными по врожденной привычке собрались было на углу Дерibasовской, но под давлением легкого ружейного огня впали в нервное состояние и рассеялись. Кафе Фанкони закрылось. В городской думе уже сидел совдеп, а по набережной, мимо герцога Ришелье, все еще двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы. Здесь, на бульваре, бродили те, кто не мог уехать, и остекленевшими глазами глядели на пароходы, на черные дымы из труб.

Ах, эти дымы, заржавленные пароходы! В порту, плечо к плечу, стояли тысячи уезжавших, — узенькие мостки-сходни отделяли постылую Россию от райских стран, где нет ни революций, ни эвакуаций, где пятиэтажные магазины, полные роскошной и дешевой одежды, где спят в кроватях (а не на столах и не в ваннах), где по своей надобности человек, не стоя ни в какой очереди, идет в чистое, снабженное обильной водой, освещенное электричеством место и сидит там, покуда не надоест... Где на каждом перекрестке возвышается строгий и справедливый полисмен и день и ночь охраняет покой горожан и священную собственность. Где автомобили не реквизируются и улицы блестят, как паркет. Где не стреляют из пулеметов и не ходят с проклятыми флагами, где при виде обыкновенного рабочего не нужно косоротиться в сочувственную или предупредительную улыбку, а идти себе мимо пролетария с сознанием собственного достоинства...

От всего этого отделяло только несколько шагов по сходням. Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде — умоооозим за гранииииицу! А со стороны вокзала, Фонтанов и Пересыпи уже постреливали красные. Множество катеров, лодок, шროмов, — груженные людьми и чемоданами, — уходило к внеш-

нему рейду. На берегу визжали лошади, трещали телеги, валились чемоданы, работали, на прощанье, жулики по карманам.

— Граждане, — кричал веселый чернобородый матрос, въехавший с возом с, адмиральским имуществом в гущу народа, — дорогие мои, зачем бегите?.. Тпру, балуй, — хлестнул он по мерину, начавшему сигать в оглоблях, — оставайтесь, дорогие, всем хорошо будет... Эх, горе, чужая сторона! — И он так и залился смехом.

— Господин офицер, — шумели у сходней, — да пропустите же меня, у меня ноги большие... Двое суток ждем, это издевательство какое-то над личностью... У меня ребенок помирает, а вы спекулянтов, корзины по двадцати пудов грузите...

— Осади, не ваша очередь!.. Куда на штык прешь, назад!.. Паспорта, паспорта предъявляйте...

Семена Ивановича вся эта суматоха мало занимала. Он стоял на борту парохода «Кавказ». В мыслях был счастливый переполох. Наконец-то оторвались его подошвы от российской земли. Даже слюна у него набегала непрерывно, и он сплевывал за борт в воду, где плавала багажная корзина, сорвавшаяся с трапа.

Со вчерашнего дня Семен Иванович разговаривал с сильным иностранным акцентом. По паспорту он именовался бывшим русским подданным, Симоном Навзараки. Пять тысяч франков и чемодан с драгоценным каракулем создавали ему душевное равновесие. От прежнего Невзорова, суетливо гонявшегося за блесками счастья, от мечтателя, кутилы и фантазера, не осталось и следа. Чувствительную душу его выела русская революция. Теперь это был расчетливый и осторожный спекулянт.

Он бежал за границу с твердым намерением найти там спокойное и солидное место под солнцем. Выбор нового отечества не интересовал его: плевать, деньги сами укажут, где нужно сесть. А развлекаться что с туркиней, что с задунайской какой-либо девкой или с немкой, француженкой — совершенно одно и то же. Главное, вот во что он верил, — в стране должен быть беспощадный порядок.

В желании утвердить себя как благонамеренную во всех отношениях личность Семен Иванович дошел даже до того, что еще здесь, в одесском порту, за сотни миль от ближайшей заграницы, принял строгое скопческое выражение лица и руки держал преимущественно по швам, говорил негромко, но чрезвычайно явственно и хотя, в силу необходимости, по-русски, но так, что выходило и не по-русски. Вот только плевал он за борт, но в этом выражалось его нетерпение поскорее уплыть, а за всем тем, в чью же воду он плевал?

Одна только искра жгла его душу, лишала покоя: это — ненависть к революционерам. Ливеровский, стоявший рядом с Невзоровым у борта, предложил совместно организовать в пути разведку по выяснению политической картины среди пароходного населения, — таковые данные весьма пригодились бы впоследствии. Семен Иванович охотно согласился. Свои личные планы и дела он решил отложить до Константинополя. Погрузка кончилась. Офицеры-грузчики, изнемогая, перетащили с парома последние сунду-

и и кофр-форы. На капитанском мостике появился идол — чернобродый огромный мужчина в синей куртке с галунами, француз-капитан. «Кавказ» хрипло загудел, завыл из глубины ржавого своего нутра и с тремя тысячами людей и горами багажа медленно вышел на внешний рейд.

Простояв томительные сутки на внешнем рейде, «Кавказ» отошел в ночь 15-го апреля под вечер в юго-западном направлении. Утонули в мглистых сумерках невысокие берега Новороссии. Несколько человек вдохнули, стоя у борта. Прощай, Россия!

Пробили склянки. И скоро открытая палуба парохода покрылась спящими телами беженцев. Заснули в каютах, в коридорах, в трюмах под успокоительный шум машины. Две крестообразные мачты медленно поплыли между созвездиями.

При свете палубного фонаря, на корме, Ливеровский показал Семену Ивановичу план парохода.

— Вы возьмете на себя носовую часть, — говорил он, посмеиваясь, — я — кормовую. На пароходе четыре трюма и две палубы. В двух средних трюмах помещаются штабы. В двух крайних — всякая штатская сволочь из общественных организаций. На верхней палубе, в коридорах и в кают-компани — дельцы, финансисты, представители крупной буржуазии. В отдельной носовой каюте сидит Хаврин (одесский губернатор), с ним двенадцать чемоданов денег и железный сундук с валютой. Кроме того, есть еще и третья, самая верхняя палуба, там всего два помещения — курительная комната и салон. Эта палуба особенно интересна, — вы сами увидите почему. Затем, кроме нас с вами, на пароходе начала работать монархическая контрразведка. Держите ухо остро. Все собранные вами данные записывайте в специальную ведомость. По прибытии в Константинополь мы покажем ее во французском штабе. Можете быть уверены, союзники умеют ценить подобного рода сведения.

Ливеровский спрятал план, подмигнул Невзорову и провалился в кормовой трюм. А Семен Иванович, перешагивая через спящих, пошел на нос, где подувал ночной апрельский ветерок. Семен Иванович лег около своего чемодана, укрылся и, вместо сна, раздумался в этот час тишины.

Неуютно представилось ему жить на свете, довольно-таки погано. Люди, люди! Если бы вместо людей были какие-нибудь бабочки или приятные какие-нибудь козявки, мушки... Заехать бы в такую безобидную землю. Сидишь за самоварчиком, и ни одна ружа не лезет к тебе смущать покой. Эх, люди, люди!

Оглянул Семен Иванович истекшие года, и закрутились, ползли на него рожи, одна отвратительнее другой. Он даже застонал, когда припомнились две мачты в тумане, смоляной борт каботажной баржи и надутое лицо палача.

«Нет, не иначе — это он, Ибикус проклятый, носится за мной, не отстает, прикидывается разными мордами, — думал Невзоров,

и хребет у него холодел от суеверного ужаса, — доконает он меня когда-нибудь. Ведь что ни дальше — то гаже: вот я уже и при казни свидетельствую, я — сыщик, а еще немного — и самому придется полоснуть кого-нибудь ножиком...»

Семен Иванович подобрал ноги и прислонился к чемодану. Рядом, точно так же, сидел сутулый человек в форменном картузе — военный доктор.

— Не спится? — повернул он к Невзорову рябоватое, с клочком бородки, испитое лицо. — Спички у вас есть? Благодарствуйте. Я тоже не сплю. Едем? А? Какая глупость.

Семену Ивановичу было противно разговаривать. Он обхватил коленки и положил на них подбородок. Доктор придвинулся, пожевал папироску.

— Сiju и с удовольствием вспоминаю отечественную историю. Петра Третьего убили бутылкой, заметьте. Екатерину Великую, говорят, копьем ткнули снизу из нужника, убили. Павлу табакеркой проломил голову. Николай счел нужным отравиться. Александра Освободителя разнесли в клочки. Полковника и обоих наследников расстреляли. Очень хорошо. Ай да славяне! Бога бойтесь — царя чтите. С другой стороны, наша интеллигенция, светоч, совесть, мозг, жертва, — свыше полусотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует цареубийц... Сазоновы, Каляевы, — доктор хрустнул зубами, — Маруси Спиридоновы и прочие богородицы, бабушки и дедушки. А Лев Толстой? Благостный старик! Граф за сохой! А усадьбы святой мужичоночек по бревнышку разносит, племенному скоту жилки подрезывает. А Учредительное собрание и Виктор Чернов — президент! Так ведь это же восторг неизъяснимый! Вот она — свободушка подвалила. Так я вам вот что скажу: везу с собой один документ. Приеду в Париж — где пуп земли, ясно? — и на главном бульваре поставлю витрину, на ней так и будет написано: «Русская витрина». Портреты Михайловских, Чернышевских, красные флаги, разбитые цепи, гении свободы и прочее тому подобное. А в центре гвоздем приколочу вот эту штуку...

Доктор вытащил из бумажника тоненькую клеенчатую записную книжку и раскрыл ее любовно:

— Эта книжка принадлежала весьма небезызвестному либералу, герою, члену Государственной думы и Учредительного собрания. Так-то-с. Чем же она наполнена? Благороднейшими мыслями? Бессмертными лозунгами? Конспектами знаменитых речей? Нет, к сожалению, — нет. Реестрики — сколько у кого взято займы. Так! Адреса врачей и рецепты средств на предмет лечения триппера. Все-с. Это у либерала и борца с самодержавием. Это мы пригвоздим. Мы доморощенных наших освободителей-либералов гвоздем приколотим на большой проезжей дороге.

Доктор вдруг закатился мелким смешком:

— Вчера я весь день веселился. Наверху, на третьей палубе, прогуливался один мужчина: шляпа с широкими полями, лицо мрачное, сам — приземистый, похож несколько на Вия. А снизу смотрят на не-

то Прилуков, Бабиц и Щеглов, три члена Высшего монархического совета. Улыбаются недобро — вот что я вам скажу, — недобро. А человек этот, знаете кто? Ну, самый что ни на есть кровавый и страшный революционер. Совсем как в Ноевом ковчеге спасаются от мирового потопа и лев и лань. Я и смеюсь, — спать не могу, — ох, не страюсь бы какой беды на нашем корабле. В том-то и беда, что мы уже не в России, где эти штуки сходят.

— Какие штуки сходят? — осторожно спросил Семен Иванович. Доктор молча и странно посмотрел на него. Опять взял список, закурил трубочку махорки.

— От кого я в восторге, так это от большевиков, — сказал он и плюнул, — решительные мальчуганы. Чистят направо и налево: и изпод интеллигентов под корешок, и святого мужичка в корень. Вот только насчет рабочих они какую-то кислоту разводят. За всем тем — глядишь — через полгода и расчистят нам дорожку, — пожалуйте.

— А кому это — вам? — спросил Семен Иванович.

— Нам, четвертому Интернационалу. Да, да, у большевичков есть чему поучиться.

— Ну однако — вы слишком смело.

— Говорю — у них школу проходим, дядя. — И доктор, суя мизинца в сопящую трубочку, залился таким смешком, что Невзоров только дико взглянул на него. Пробили склянки. На верхней палубе в это время стоял мрачный революционер в широкополой шляпе и с горечью думал о том, что русский народ, в сущности, не любит свободу.

С восходом солнца пароход начал просыпаться. Первыми заворочались палубные обитатели: потягивались, почесывались, спросонок илились на молочно-голубую пустыню моря. Вышел негр-повар в гризном колпаке, выплеснул за борт ведро с помоями и сел около бочки чистить картошку. Двое поварят разжигали печи во временных дощатых кухнях на палубе. Около кранов уже стояло несколько моенных, босиком, в широченных галифе, в рваных подтяжках и, фыркая, мыли шею соленой водой. Из трюмов стал вылезать взъерошенные, неспроставшиеся штатские. И скоро перед нужником, висевшим над пароходным бортом, стала длинная очередь: дамы, зябко кутающиеся в мех, общественные деятели без воротничков, сердитые генералы, поджарые кавалерийские офицеры.

— Двадцать минут уж сидит, — говорилось в этой очереди.

— Больной какой-нибудь.

— Ничего не больной, рядом с ним спали на нарах, просто глубоко неразвитый человек, грубиян.

— Действительно, безобразие. Да постучите вы ему.

— Господин штабс-капитан, — постучали в дверку, — надо о других подумать, вы не у себя дома...

Понемногу на палубе все больше становилось народу. Из-за брента, покрывавшего гору чемоданов, вылез багровый, тучный, недомольный член Высшего монархического совета Щеглов, саратовский

помещик. Он за руку вытащил оттуда же свою жену, знаменитую опереточную актрису, вытащил корзинку с провизией и плетеную бутыл с красным вином. Они сели около кухни и принялись завтракать.

В кухонных котлах в это время варились бобы с салом. Негритята раскупоривали полупудовые жестянки с австралийской соляной. Около кухни говорилось по этому поводу:

— Опять бобы. Это же возмутительно.

— Я просто отказываюсь их переваривать. Издевательство какое-то.

— А вам известно, ваше превосходительство, что это за солянина? Это мясо австралийской человекоподобной обезьяны. Я сам естественник, я знаю.

— Меня рвало вчера. Вот вам, господа, отношение союзников.

— А в первом классе, извольте видеть, отличный обед в четыре блюда.

— Для спекулянтов. Одни жида в первом классе. Устроили революцию, а мы жри обезьян.

Семен Иванович толкался около кухни, потягивая носом запах бобов. Вдруг перед ним решительно остановилась пожилая дама, тербя на груди среди множества измятых кружев цепочку от часов.

— Нужно верить — все совершается к благу. Наше трехмерное сознание видит несовершенство и раздробленность бытия. Да, это так, и это не так, — быстро и проникновенно заговорила она. Передние зубы ее слегка выскакивали и били дробь. От нее пахло приторными духами и потом. Это была известная Дэво, теософка. — Наш физический мир — лишь материальное отражение великой, страшной борьбы, происходящей сию минуту там, в мире надфизическом. Но борьба там предрешена: это победа блага, добра, вечное превращение хаоса в космос. Вот почему пусть солянина будет мясом человекоподобной обезьяны, пусть: Мудрая Рука приведет новых адептов к Истинной Пище. Индусы называют Пищей только плоды и овощи, все остальное трупоедство.

Невзоров попытался было уклониться от беседы, но Дэво прижала его к борту, фарфоровые зубы ее отбивали дробь у самого носа Семена Ивановича.

— Гигантскими шагами, — за час — столетие, — мы приближаемся к просветлению. Я это вижу по глазам братьев по изгнанию. Революция — акт массового посвящения, да. Что такое большевики? Сонмы демонов получили возможность проникнуть в физический мир и материализовались эманациями человеческого зла. Точно так же великим святым в египетских пустынях являлись ангелы, которые суть эманации их добра. Когда в России поймут это, люди станут просветляться, и большевики-демоны — исчезнут. Я сама была свидетельницей такой дематериализации. Меня допрашивал комиссар — наедине. Он держал в руках два револьвера. Я отвечала на его глупые вопросы и в то же время, сосредоточившись, начала медитацию. Из меня вышли голубые флюиды. И этот

комиссар стал то так облакачиваться, то так облакачиваться, зевал, и, наконец, через него стали просвечивать предметы. Я помолилась за него Ангелу Земли, и комиссар с тихим воем исчез. Пароход за пароходом увозят нас в лучезарные области, где мы будем пребывать уже просветленные и очищенные. Не ешьте только мяса, друг мой, не курите и каждое утро промывайте нос ключевой водой. Мы вступаем в царство Духа.

В это время от котлов повалил такой густой запах, что Дэво обернулась к поварьям. Они черпали огромными уполовниками бобовую похлебку и разливали ее по жестянкам из-под консервов, по чашкам, черепкам, — во все, что подставляли проголодавшиеся эмигранты.

На эту давку сверху, со средней палубы, глядели уже откупившие в столовой первого класса финансисты, сахарные, чайные и угольные короли, оказавшиеся на пароходе в гораздо большем количестве, чем это казалось при посадке. Они держали себя с достоинством и скромно.

Еще выше, с третьей палубы, глядел вниз одинокий террорист в широкополой шляпе. Он жевал корочку.

После завтрака Семен Иванович предпринял более систематическое обследование вверенной ему носовой части парохода. Он спустился в средний трюм (под предлогом поисков своего багажа) и был оглушен треском пишущих машинок.

Здесь, в разных углах, на нарах и ящиках сидели сердитые генералы, окруженные каждый своим штабом, и диктовали приказы по армии, обязательные постановления, жалобы и каверзы. Изящные адъютанты легко взбегали по лесенке на палубу, где и приколачивали исходящие бумаги на видных местах.

Войск, в обычном смысле слова, у генералов не было, но войсковые штаты и суммы имелись, и поэтому генералы действовали так, как будто войска у них были, что указывало на их железную волю, чисто боевую нечувствительность к досадным ударам судьбы и сознание долга.

В этом трюме все обстояло благополучно. Невзоров полез в носовой трюм, темный и сырой, со множеством крыс. Здесь в три мруса были нагорожены нары, и на них отдыхали после завтрака и разговаривали общественные деятели, беглые помещики, журналисты, служащие разных организаций и члены радикальных партий — почти все с женами и детьми.

— Я совершенно покоен, не понимаю вашего пессимизма, — говорил один, свесив с нар длинное бородатое лицо в двойном смысле, — страна, лишенная мозга, обречена агонии. Пока еще мы держались на юге, — мы тем самым гальванизировали красное движение. Теперь мозг изъят, тело лишено духа, не пройдет и полугода, как большевики захлебнутся в собственных нечистотах.

— Полгода, благодарю вас, — проговорили из темноты, из-под нар, — вы, почтеннейший, довольно щедро распоряжаетесь российской историей. Им, негодяям, и полмесяца нельзя дать поцарствовать.

— Как же это вы им не дадите, хотел бы я знать!

— А я хотел бы знать, как вы запоете, когда к вам заберутся бандиты, — так же, что ли, станете благодушеествовать? Это, батенька, все скрытый большевизм. В морду, чтобы из морды — бифштекс, — вот какой с ними разговор. Завопить на весь мир: спасайте, грабят и режут!.. Хотите компенсации? — пожалуйста... Японцам — Сахалин за помощь, англичанам — Кавказ, полякам — Смоленск, французам — Крым. Проживем и без этих окраин да еще сильнее станем.

— Ну, уж извините — вы несете вздор. Во имя высшей культуры, во имя человечности, во имя великого русского искусства должны мы просить помощи, и Антанта даст эту помощь. На Западе — не торгоши, не циники, не подлецы.

— Эге!

— Ничего не — эге. А двухтысячелетняя христианская цивилизация, это тоже — эге? А французская революция — это эге? А Паскаль, Ренан — эге? Да что мне с вами говорить. Не в Азию едем к Чингисхану, а в очаги высшей культуры.

— Значит, одесская эвакуация тоже не «эге», по-вашему?

— Одесса — трагическая ошибка союзников. Наш долг рассказать им всю правду. Европе станет стыдно...

— Батюшки!

Помолчав, господин в двойном пенсне плюнул, борода его уползла за нары. В другом месте, в темноте, говорили:

— Сесть в чистом ресторане, с хорошей услугой, спросить кружку холодного пива — во сне даже вижу.

— А помните «Яр» московский? Эх, ничего не умели ценить, батенька! Храм! Шесть холуев несут осетра на серебряном блюде. Водочка в графинчике, и сам графинчик инеем зарос, подлец. Расстегай с вязигой, с севрюжкой при свежей икорке...

— Ах, боже мой, боже мой!..

— Помню, открывался новый «Яр». Получаю приглашение на бристольтском картоне с золотым обрезаем. Напялил фрак, гоню на лихаче вместе с Сергеем Балавинским, — помните его по Москве? Приезжаем — что такое? В большом зале молебен служит сам митрополит. В первом ряду — командующий войсками Плеве при всех орденах, военные, цвет адвокатуры, лев Плевако, именитое купечество, — все во фраках... Куда мы попали?.. На открытой сцене занавес опущен, бордюры из цветов, образа и свечи... Восемь дьяконов режут, как на Страшном суде! Молебен кончен, выходит хозяин, Судаков, помните его — мужичонка подслеповатый, и — речушку: «Милости просим, дорогие гости, кушайте, веселитесь, будьте, — говорит, — как дома. Все, — говорит, — это, — и развел руками под куполом, — не мое, все это ваше, на ваши денежки построено...» И закатил обед с шампанским, да какой! — на четыреста персон.

— Неужели бесплатно?

— А как же иначе?

— Слушайте, да ведь это ж красота, боже мой, боже мой!.. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили какую страну...

- Вот то-то и оно-то, и едем в трюме на бобах.
- Не верю! Россия не может пропасть, слишком много здоровых сил в народе. Большевики — это скверный эпизод, недолгий кошмар. Еще где-то между нар шуршали женские голоса:
- До того воняет здесь, я просто не понимаю — чем.
- А, говорят, в Константинополе нас и спускать не будут с парохода-то.
- Что же — дальше повезут?
- Ничего неизвестно. Говорят, на остров на какой-то нас выкинут, где одни собаки.
- Собаки-то при чем же?
- Так говорят, хорошо не знаю. Мученье!
- А мы с мужем рассчитываем в Париж пробраться. Надоело в грязи жить.
- А что теперь в Париже носят?
- Короткое и открытое.

Семен Иванович вылез из трюма и записал все эти разговоры. Пароход плыл, как по зеркалу, чуть затуманенному весенними испарениями. Большинство пассажиров дремали на палубе, лениво торчали у бортов. Негр-повар опять чистил у бочки картошку. Около него сидела Дэво, теософка, и, теребя кружева, рассказывала о пришествии святого духа из Азии через Россию. Повар иссело скалился. Бегали в грязных платицах чахлые дети по палубе, играли в эвакуацию. Откуда-то со стороны надпалубных кают доносились стоны: это, не к месту и времени, рожала жена армейского штабс-капитана. Около кухни член Высшего монархического совета Щеглов, отдуваясь, осовело слушал, что рассказывал ему приятель, белобрысый, маленький человек с лихо сломленной фуражкой астраханского драгуна на жиденьких волосах:

- Прости, а ты тоже задница, а еще помещик. Я мужиков знаю: лупи по морде нагайкой, будут уважать.
- Это тебя-то? — спросил Щеглов.
- И меня будут уважать. Помещики сами виноваты. Например — в праздник барин идет на деревню, гуляет с парнями, с дегками, на балалайке играет. Этого нельзя: хам, мужепес, у тебя шпиреску прикуривает. Встретят на деревне попа, и помещик сам же смеется с парнями, а этого нельзя, — нужно снимать шляпу, первому показывать пример уважения перед религией.
- Жалко, тебя раньше не слушали.
- Вернись — теперь послушают.
- Сегодня что-то ты расхрабрился.
- Я всю ночь думал, представь себе, — сказал драгун, поправляя фуражку, — так, знаешь, расстроился... Я сегодня на заседании говорить буду... Высший монархический совет заражен либеральными идеями, так и выпалю. Лупить шомполами надо по-настоящему целые губернии — вот программа. А войдем в Москву — и первую голову — повесить разных там... Шалапина, Андрея Бе-

лого, Александра Блока, Станиславского... Эта сволочь хуже большевиков, от них самая зараза...

Щеглов, слегка раскрыв рот от жары и переполнения желудка, глядел, как астраханский драгун ударяет себя стеклом по голенищу. Затем он спросил все так же сонно, но особенным голосом:

— Ну, а с Прилуковым ты говорил?

Драгун сейчас же дернул головой, глаза его забежали, краска отлила от лица, он опустил голову.

Семен Иванович, разумеется, подслушивал этот разговор. Вопрос Щеглова показался ему несколько подчеркнутым, особенным. «Так, так, — подумал он, — про этого Прилукова мне уже поминали». Он вынул тетрадь и тщательно вписал весь разговор. «Так, так», — повторил он, шурясь и посасывая кончик карандаша. Чутьем скептика и мизантропа Семен Иванович почувствовал в этом разговоре чертовщинку тревожного свойства.

Семен Иванович поднялся на среднюю палубу. Рубка, коридоры и проходы были завалены багажными корзинами. На них томилась дельца и тузы, малопривычные к подобного рода передвижениям. Здесь искренне, без психологических вывертов ругательски ругали большевиков. Рыхлые дамы, толстые старухи, перезрелые красавицы в пыльных шляпах покорно и брезгливо сидели на сквозняках. Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги паровой машины.

Здесь больше не верили в справедливость. Низенький, тучный господин в обсыпанной сигарным пеплом, еще недавно щегольской визитке с безнадежной иронией покачивал седеющей головой.

— Почему они не говорили прямо: мы хотим устроить грабеж? С тысяча девятьсот пятого года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры — и я давал, приходили эдеки — и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. Какие туры на колесах писали в этих газетах, — у меня крутилась голова. А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор. Хорошенькое дело! А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел — контрреволюционер.

— Кто мог думать, кто мог думать, — горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке, — мы верили в революцию, мы были идеалисты, мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе, — прямо похода. Нет, Россия — это скотный двор.

— Хуже. Бешеные скоты.

— Разбойники с большой дороги.

— Хуже.

Семен Иванович ныркой походкой обошел здесь все закоулки, выяснил благонадежность второй палубы и поднялся выше, надеясь хотя бы мельком взглянуть на страшного террориста в широкополой шляпе.

Опускался вечер над Черным морем. Пароход плыл по расплавленному золоту, навстречу безоблачному закату, в золотую пыль.

Семен Иванович стоял у перил. Под ним длинная палуба шевелилась коротенькими — в ракурсе — телами эмигрантов. Никто по ним не скучал, никто их не звал никуда, — едут жить из милости.

Семен Иванович, как уже было сказано, наполовину более не считал себя русским, презрительная усмешка кривила его сухонький рот: палуба, уставленная — скажем — вместо этих людей мелким рогатым скотом, внушала бы несравненно больше уважения. «Эх, люди, люди, — дешежка! А ведь суетятся, топорщатся... Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небритые, ноги немытые. Так вот сейчас за такое сокровище европейцы и кинутся в драку». Семен Иванович перекинулся мыслью на себя, — даже пальцы в сапогах поджал, но вспомнился чемодан с мерлушками, и горячо стало на сердце...

«Извиняюсь, уважаемые иностранцы, — мысленно говорил он, опуская руки вдоль брюк, — войске я у вас не прошу для защиты пропащей страны, где имел несчастье произродиться; денег, госприимства, равным образом, не прошу; еду, как торговый человек, для обоюдной выгоды...»

Он смотрел некоторое время в сторону заката, в золотой, багрянившийся край, куда влекла его необыкновенная судьба, и померещились соблазнительные перспективы. «А ведь облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова, — будет время. Перебежит когда-нибудь улицу такой-этакой, богато одетый, значительный господин, чтобы только пожать ему руку...»

Семен Иванович опять перевесился через перила. Это была секунда ясновидения. Он всматривался в фигуры эмигранток, стоящие в хвостах, бродящие среди корзин и протянутых ног.

Вон сидит великолепная женщина, — сняла шляпу и проводит устало пальцами по растрепанным вискам, — платьишко на ней совсем гнилое, башмаки такие страшные, будто их жевала корова...

А вон высокая девушка в клетчатой юбке, облокотилась о перила, печально смотрит на закат. Красотка, — с ума сойти, если сбросит она с себя эту юбочонку, эту кофточку с продранными локтями... «Котик, чудная мордашка, напрасно глядишь на закат: золотой свет не золото, пустышка, попробуй, схвати рукой, — разожмешь одни чумазые пустые пальчики...»

А вон брюнеточка-живчик... Или эта хохотушка, офицерская жена, вздернутый носик, ресницы, как у куклы... Или та — гордячка с плоскими ступнями, сонными веками... Или та, фарфоровая аристократка, смотрит, — даже осунулась вся, — как негритенок мешает бобы с обезьяньим салом... Вон оно — богатство, золотые россыпи!..

Семен Иванович выпрямился, — хрустнули кости в пояснице: «В дождливые сумерки, у окошка, на Мещанской улице, — помню, помню, — мечтал, даже потные ледяные руки носовым платком вытирал, — вот до чего мечтал о великосветских балах, аристократических файф-о-клоках... Припадал мысленно к скамеечкам, на

которых княгини, графини ножками перебирали... Вообразить не смел, однако — встретились... Но припадать уж не могу, — далеко вниз бегать... И скамеечек тех нет более. Но подождите, подождите, дамочки, — Семен Иванович задохнулся волнением, — подождите, недолго — все будет: и скамеечки, и глубокие декольте, и цветочный одеколон...»

Ночная прохлада едва оладила воспаленную голову Семена Ивановича. План необычайного предприятия был еще далеко впереди, а покуда нужно было продолжать наблюдения.

На палубу в это время поднялись двое — Щеглов и астраханский драгун — и вошли в курительный салон. Сейчас же появились еще трое пожилых, затем, легко отстукивая ступени тяжелыми башмаками, взбежал шестой, стройный, в пиджаке и в мягкой шляпе, сдвинутой на ухо. Они также вошли в салон, и дверь захлопнулась.

Семен Иванович осторожно приблизился к дверной щели. В курительном салоне, за круглым столом, засыпанным окурками, сидело шесть членов Высшего монархического совета. Лампочка без абажура освещала жирное лицо Щеглова. Губы его шевелились, но слов не было слышно, — на заседании говорили шепотом, нагибаясь над столом, чтобы лучше слышать.

Направо от Щеглова сидел молодой человек, в шляпе, сдвинутой на ухо. Нежное продолговатое лицо его было красиво и дивно от особенной синевы глаз. Он, не мигая, смотрел на свет.

«Это и есть Прилуков, — почему-то подумал Семен Иванович, — но до чего же он страшный».

Щеглов кончил. Собеседники уставили лбы в стол. Молодой человек с синими глазами сказал отчетливо:

— Что же долго думать, — позвать этого дурака Невзорова, он как раз сейчас торчит у двери.

Семен Иванович, неслышно поднимая колени, кинулся к лестнице. Мимолетом все же взглянул: спиной к палубным перилам, вцепившись в перила, стоял мрачный революционер в шляпе, — зеленовато, по-волчьи, блеснули его глаза...

Семен Иванович пролетел по всем лестницам до нижней палубы и скрылся за чемоданами. «Все им известно, ах, елки-палки, ну и влопался, видимо, в историю», — думал он, отдышавшись, и силился понять, откуда может грозить опасность и почему так ему страшно.

Суета затихала на пароходе. Трюмы закрывались брезентами. Бродили унылые фигуры, присматривая местечко для сна. Одиноким дьякон, сидя под мачтой, с душой раздирающей безнадежностью напевал вполголоса покаянный тропарь.

Семен Иванович, осмелев, вылез из-за чемоданов. Любопытство его привлекли голоса в носовой каюте, где помещался одесский губернатор Хаврин. Там сипло кричали:

— Убирайтесь к черту, я вам говорю. Нет у меня никаких денег.

После некоторого молчания другой, тихий голос говорил:

— Ваше превосходительство, в перспективе — голодная смерть: жена и двое детей, а час тому назад еще третий родился.

— Уберетесь вы, я спрашиваю?

— Хотя бы ничтожнейшую сумму... В некоторое оправдание, ваше превосходительство, — кровь проливал в многочисленных сражениях за родину.

— Это ваше частное дело... Я гражданская власть. Тут у каждого какие-то жены оказываются и прочее... Обращайтесь к казначейско вашей части... Вы мне надоели... К чертям!..

После некоторого молчания дверь каюты медленно отворилась, и вышел низенький человек, похожий на плюшевого медведя. Споткнулся и стал, бессмысленно глядя перед собой. Казалось при свете звезд, что седые вихры его торчат дыбом. Куртка со штабс-капитанскими погонями, видимо сшитая из байкового одеяла, была покрыта тигровыми полосами. Несмотря на такую воинственную наружность, он беспомощно развел коротенькие руки.

— Вот, убирайся к черту, а куда? — обратился он к Семену Ивановичу. — За борт? Так ведь не один, четверо висят на шее. Ох! — простонал он из глубины медвежьего нутра и побрел к трапу.

Дверь в каюту осталась полуотворенной. Семен Иванович завел туда нос и увидел около стола, где горела свечка, стоявшего губернатора — огромного мужчину в черном и длинном сюртуке. Ладонями он тер себе изо всей силы багровое лицо.

— Пяти минут не дадут заснуть, — проговорил он шепотом в сторону кого-то, кто, невидимый Невзоровым, сидел у стены за свечкой, — разнюхали, мерзавцы, нищая сволочь, про казенные деньги!.. Коротко и ясно: о вверенных мне суммах отдам отчет одному законному царю.

— И Высшему монархическому совету, — проговорил спокойный голос за свечкой. (Губернатор сразу бросил тереть щеки.) — Никакого возражения у вас быть не может, надеюсь? (Губернатор отмахнул полы сюртука и сунул руки в карманы, забренчав ключами.) Нас несколько не интересуют расходы, произведенные вами до эвакуации. (Губернатор стал раскачиваться на каблуках.) Питая к вам искреннее расположение, ваше превосходительство, хочу поставить вас в известность, что Высший монархический совет на последних заседаниях решил расширить методы борьбы и действовать тем же оружием, что и наши противники...

— Террором? — прохрипел губернатор, и щеки у его стали цвета бургундского вина.

— Да, — коротко, как удар по стеклу, ответили за свечкой.

Разговор этот до того заинтересовал Семена Ивановича, что он неосторожно просунул нос дальше, чем следовало, в дверную щель. Сейчас же губернатор обернулся и с проклятием схватил его за воротник. Невзоров пискнул. Собеседник губернатора быстро поднялся,

свет от свечки упал ему на лицо, — это был тот самый красивый молодой человек с синими глазами, нагнавший на Невзорова страх.

— Очень хорошо, — сказал он, — мы должны с вами поговорить.

И он под руку повел Семена Ивановича на нос парохода, туда, где лежали якорные цепи, мокрые от росы, и черное бревно бушприта неизменно стремилось на запад.

— Моя фамилия Прилуков, — сказал молодой человек, — если не ошибаюсь, имею удовольствие говорить с Семеном Ивановичем Невзоровым, по паспорту Симоном Навзараки. (Невзоров, не возражая, проглотил слюну.) Вы оказали добровольческой контрразведке важные услуги. Кроме того, вы подписали протокол казни графа Шамборена. На вас обратили внимание как на человека способного и надежного.

— Виноват, господин Прилуков, я, собственно, больше по коммерческой части...

— Придет время, почтеннейший Семен Иванович, когда вы получите возможность заняться личными делами. Сейчас ваша жизнь принадлежит богу, царю и отечеству. Э, батенька, не спорьте, бесполезно... Одним словом — обеспечена ваша готовность подчиниться моим директивам и ваше гробовое молчание... Вы поняли: молчание. — Прилуков приблизил к Семену Ивановичу ледяные, ужасные глаза. — Вы, дорогой мой, служили до тысяча девятьсот семнадцатого года в транспортной конторе. Вы убили и ограбили антиквара, английского подданного... Молчать, я вам говорю!.. Много раз вы меняли фамилию... Вы служили казначеем в бандитской шайке атамана Ангела... Всего этого достаточно, чтобы повесить вас в первом же порту, где есть английский комендант... Кроме того, вы состоите в списках контрразведки и непосредственно мне подчинены... С вас этого всего достаточно?..

— Достаточно, — проговорил несчастный Семен Иванович. Он видел только в верхке от своего носа беспощадные глаза. «Неужели — Ибикус?» — подумалось ему, и ослабли ноги, безвольно задремало в голове. Он слушал медленный, отчетливый голос:

— Вы видели пассажира верхней палубы? Вы его хорошо рассмотрели? Это Бурштейн, опасный революционер. Вы слезете на берег вместе с ним. Вы будете следить за ним. Когда у него ослабнет инстинкт осторожности, вы ликвидируете его. Оружие вы получите на берегу. Даю вам сроку две недели. Если вы влопаетесь на этом деле, мы сделаем все возможное, чтобы вас спасти. Если вздумаете болтать лишнее, вас безусловно повесят. Все ясно? Никаких более вопросов....

Прилуков внезапно обернулся и, нагнувшись, скользнул без шума за якорную лебедку. К Семену Ивановичу подходила Дэво, теософка, кутаясь в одеяло.

Еще один брат по духу не спит, — заговорила она сонным голосом, — я вас почувствовала издали... Нельзя без волнения созерцать звездное небо. Ведь это наши будущие родины. Миллион летков мы кочуем со звезды на звезду. Брат, я чувствую к вам любовь. Я хочу приподнять край завесы над тайной. Смотрите сюда, на Северный Венец...

Геософка выпрямилась, одеяло соскользнуло с нее, она подняла руку. Семен Иванович, из-за ужасной растерянности и робости, стал глядеть на звезды и долго слушал таинственный рассказ Дэво о метампсихозе и о том, как первоначально люди, — то есть и она в том числе и Семен Иванович, — жили на солнце в виде растений — головой вниз, ногами вверх. У Невзорова действительно начало мушкетиться в голове от количества впечатлений этой ночи.

На верхней палубе, неподвижно и угрюмо, стояла сутулая фигура революционера со светящимися глазами. Черт его знает, что он наблюдал сверху: звезды ли, слабое ли свечение морских струй, расходящихся от пароходного носа, или ночные разговоры на палубе.

Рано поутру из трюмов вылезли все обитатели. Машины не работали. Пароход стоял на якоре. Брезенты, палуба, чемоданы, перилы — все было мокро от тумана. Мачты до половины тонули в нем.

Но вот направо, далеко и, казалось, высоко, стали проступать оранжевые плоскости, прямоугольники, будто большие экраны. В них загорались пучки стеклянного света. Плоскости громоздились одна над другими. Это были многоэтажные дома Пёра.

Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. Налево проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула — минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:

- Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же.
- Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.
- Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли.
- А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да — крест... Эх, проморюнили...
- Ничего. Подождем. От нас не уйдет.
- А говорят — турки все-таки страшная сволочь.
- Совершенно наоборот — благороднейшая нация.
- И напьемся же мы, господа, сегодня...

Так, в ожидании высадки, эмигранты простояли у бортов до завтрака. И опять — негритята мешали бобы, повар чистил картошку. Настроение стало портиться. В виду Константинополя принудительно есть свиное мясо, торчать на вонючей палубе, что это — издевательство?

Начался ропот. Послали делегацию к капитану. Тот ответил туманно. Никто ничего не понимал. Возмущались ужасно. «Как они смеют полдня держать нас на борту? — довольно нас мучили

на проклятом пароходе. Кто мы, собственно говоря, пленные? или дикари какие-нибудь?»

К «Кавказу» несколько раз подходил военный катер. Элегантный офицер, в фуражке с золотыми дубовыми листьями, кричал что-то в рупор капитану, и катер опять уходил, стуча и поблескивая медью.

Подъезжали лакированные лодочки, внутри устланные коврами. Какие-то европейские изящные люди, в чистых воротничках, в шелковых носках, в блестящих туфлях, покачиваясь на быстром течении, глядели, покуривая папироски, о чем-то весело, независимо перекликались, указывали тростями на голодные, грязные, взлохмаченные лица русских эмигрантов, наглядевшись — уплывали.

Город был залит теперь апрельским солнцем. Через длинный мост Золотого Рога двигались потоки экипажей и пешеходов, сверкающие стеклами трамваи. Люди ехали и шли, куда хотели, ни у кого ни о чем не спрашивая разрешения. И никому, видимо, в этом городе не было дела до трех тысяч русских, спасшихся от революции.

А раньше — придет пароход Добровольного флота, — облепят проклятые турки: «Рус, рус, купи феску, купи туфли!..» И туфли-то дрянь, фески гнилые. А идешь до Пёра — хватают за полы, тащат сапоги чистить, из шашлычных высовываются: «Сюда, рус, рус, шашлык хорош!..» А теперь носы воротите... Подождите, свергнем большевиков, пропишем вам «рус» туфель по носу...

В третьем часу дня произошла короткая паника. Команда военных моряков с винтовками, угрожающе щелкая затворами, вскочила на возвышение на корме. Взяли на изготовку. Другая команда заняла носовую часть.

В трюмах слышались повышенные голоса. Бледные, растерянные офицеры, шурясь от солнца, вылезали из трюмов. Их выгоняли оттуда прикладами. К пароходу подходила шаланда. Тогда все объяснилось: добровольческие части перегружались на транспорт и возвращались обратно в Новороссийск, в действующую армию Деникина.

Часть военных перегрузили. На палубе успокоились, и снова эмигранты повисли у бортов. Многомиллионный город шумел — рукой подать... Дымили трубы, проходили паруса у древних стен и выходящих из воды квадратных башен. День был теплый, лучезарный.

С пяти часов негр опять начал чистить картошку, негрятя — откупоривать жестянки с мясом человекоподобной обезьяны. Тогда население парохода стало сбиваться в кучки, поднялся ропот, нашлись демагоги, и было решено коллективно отказаться от принятия пищи. Капитан ответил делегатам, что на сегодня бобы уже сварены, а завтра он прикажет выдать рис, если же подобное брожение умов повторится, то прикажет отвести пароход на шесть миль назад к Черному морю.

В сумерки пошел слух, что в кормовом трюме начался сыпняк и что союзники, боясь заразы, решили угнать пароход прямо в Африку, в горючие пески. Напряжение всех последних дней сменилось острым отчаянием. Почти никто не спал в эту ночь.

Город всю ночь переливался брильянтовыми огнями. Доносились слышимые звонки трамваев и даже как будто звуки музыки из ресторанов. Не то играли танго, не то старинные вальсы...

Наутро с грохотом подняли якорные цепи. Пароход заревел и медленно двинулся вдоль панорамы Константинополя, к Мраморному морю.

Близ выхода в море опять стали на якорь. Приунывшие пассажиры глядели на пустынный берег, на глинистые овраги, на какие-то подозрительные облупленные постройки на косогоре за колючей решеткой. Никто теперь ни на что хорошее не надеялся.

Семен Иванович, как и все, растерялся и упал духом за эти сутки. Бессмысленно толкался, толкался до изнеможения по палубе. Жевал бобы. Курил, курил. Спыхватываясь, лез наверх и провалился мимо опасного революционера. Он даже заглянул ему в темные глаза, но не ощутил ни волнения, ни страха при этом.

Сейчас он обалдело глядел на унылую равнину, где близ постройки лениво полоскался на мачте карантинный флаг, желтый, как зараза. Сюда сгоняли всех чумных, холерных, прокаженных, сыпнотифозных. Сейчас, видимо, загонят за эту проволоку и русских, — сиди, проветривайся. Вот тебе и Европа!

Скверно было на душе у Семена Ивановича: так на этот раз зажали его плотно, что не вывернешься. Удрать, а куда? Ну, удерешь с парохода, не ступишь и шагу — схватят, приведут к английскому коменданту и сейчас же повесят по доносу проклятого Прилукова. Без планка, без знания местности, все равно что темною ночью.

Припомнил Семен Иванович все, что слыхивал про турок гололобых, как ходят они, с усами, в фесках, в канаусовых шароварах, режут армян кривыми саблями, православных на кол сажают; нет, от своих отбиваться нельзя, к пароходу надо жаться — надежнее...

«...Ну, как я этого черта убивать стану, — думал Семен Иванович, оглядываясь с тоскливым вздохом на революционера в шляпе, — стоит, расставил ноги, дьявол чугунный. Разве его убьешь? Сам всякого угробит в два счета. А кроме того, кому это нужно? Так уж — от самодурства, от злости, от бобов с салом — распучило животы мюнхристам, вот и придумали, на ком сорвать досаду...»

Пока Невзоров предавался невеселым размышлениям, к пароходу подошла шаланда. Было приказано высаживаться всем с мелким ручным багажом. Тогда неожиданно среди пассажиров, в особенности в крайних — носовом и кормовом — трюмах, произошел сложный излом психологии: высаживаться на берег решительно отказались.

Начались переговоры с капитаном, водовороты на палубе. Выскочили демагоги и закричали о единодушии, требовали объявить голодовку, грозились первого, кто спустится в шаланду, вышвырнуть за борт.

Все несчастья эвакуации, спанье в трюмах, бобы и обезьянье мясо, распученные животы, очереди у отхожих мест, грязь и последнее уни-

жение вчерашнего дня, когда все только облизнулись в виду Константинополя; еще глубже — вся бездельная, кочевая жизнь за два года революции, разбитые вокзалы, вшивые гостиницы, налеты, перевороты, разбойники, бегство на крышах вагонов в мороз, в дождь, вымирающие в тифу города, бегство все дальше на юг — все это взорвалось, наконец, чудовищной истерикой в истерзанных душах. Начался такой крик, что капитан счел за лучшее уйти с мостика в каюту.

А затем, незаметно и совсем просто, матросы перекинули трап с «Кавказа» на шаланду. Несколько человек, в том числе Щеглов с женой и драгуном, спокойно перешли туда и закурили папироски. К трапу кинулась толпа. Началась давка. Через голову в шаланду полетели узлы и чемоданы. Капитан опять появился на мостике и крикнул по-французски, что прикажет стрелять, если сейчас же не установится порядок. Его никто не понял, но порядок установился. Шаланда три раза ходила от парохода к берегу, и к середине дня все пассажиры были выгружены. «Кавказ» захрохотал цепями и отошел с большим багажом в неизвестном направлении.

Семен Иванович стоял обеими ногами на берегу, на нерусской земле, но это его не радовало. Он чувствовал, что готовится какая-то новая каверза со стороны союзников.

Действительно, среди эмигрантов, толпившихся близ воды, появились турецкие чиновники в фесках и длинных, пыльного цвета сюртуках с зелеными — жгутом — погонами. Кривых сабель при них не было. Они что-то лопотали, указывая на унылые постройки за колючей проволокой. По кучкам эмигрантов пошел ветерок возмущения, но душевные силы были уже истощены. Многие только шептали: «Ведь это же издевательство... Так не обращаются даже с папуасами. Боже, какое унижение!..» Иные женщины садились на весеннюю травку и плакали.

Оказалось, что турецкие чиновники велят всем эмигрантам идти в баню и насильственно мыться. А одежду они, турки, будут парить в особых печах — вошебойнях, или антисепторах.

Семен Иванович стал в очередь и, шаг за шагом, как бывало в России у продовольственной лавки, поплелся к облупленному зданию. Очередь тянулась через ворота, через дворик, в большую залу с асфальтовым полом, исхоженным миллионами отверженных. Здесь очередь заворачивала направо, в банные двери. Близ них из окошечек высовывались руки и выкидывали связанную бечевками эмигрантскую одежду. Чиновники сваливали ее в сетчатые мешки и тащили к другой стене, к большому окошку. Сквозь него были видны жерла печей, куда бородатые турки толкали кочергами эти мешки с одеждой.

Семен Иванович вошел в предбанник и стал раздеваться, как и все, догола. «Вот она, Европа, — думал он, несколько стыдясь своих ног, — ну, не знали... Ай, ай, ай!..» Около него пожилой господин, голый и поэтому неопределенного звания, говорил дрожащим голосом:

— Крест хотя бы они разрешат оставить на шее?

— Эх, батенька, уж коли начали над нами надругиваться, — систематически доведут до конца... Это вам — Европа...

— Я решительно протестую... Не желаю идти в баню!.. Я и без того чистый...

— Фу ты, какой здесь сквозняк эти турки напустили!

— Господа, всех без исключения, оказывается, крутым кипятком ошпаривают...

— Этого еще не хватало!..

Семен Иванович только вздохнул болезненно и стал в очередь к банному отделению. Перед ним двигался коротконогий, приземистый человек с широкой спиной, покрытой волосами. От него изрядно пахло. «Этого вымыть — много надо мыла», — подумал Семен Иванович. Дверь распахнулась. Обдало теплой сыростью. Шумела вода. Волосатый, приземистый и Невзоров вошли по мокрому асфальту в длинное помещение, где под сотней душей прыгали, отфыркивались, отряхивались голые эмигранты.

— Вот свободный душ, вы первый или я? — спросил волосатый, обращаясь к Семену Ивановичу. Это был опасный революционер. Семен Иванович даже поскользнулся на пятках. Революционер стал под душ и начал скрести живот. Он фыркал, как буйвол, видимо, очень довольный, и косолапо поворачивался. Сквозь его нависшие волосы был виден разинутый рот, отплевывающий воду. «Великолепно, — проговорил он насколько мог весело, — давно я не мылся, великолепная баня».

Семен Иванович глядел на него. «Видишь ты — моется, здоровенный какой, плотный, выпить, чай, не дурак... Ну, как его убивать? — даже как-то неудобно».

В это время мимо прошел белый, как девушка, Прилуков и с усмешкой твердо посмотрел Невзорову в глаза.

Турки приготовили еще одну неприятность. Прогнав эмигрантов через душ, они выдавали каждому его одежду, горячую, прямо из печи. Голые люди начинали одеваться, но не могли влезть ни в штаны, ни в рукава, — одежда селась, сморщилась, башмаки испались, — хоть плачь. Так, ковыляя, вымытые, с выбитыми микробами, эмигранты потянулись к сходням, где их погрузили в мелкие суда и повезли по вечереющему, как оранжевое зеркало, Мраморному морю на последний этап — остров Халки.

Семен Иванович оказался на одном катере с Ливеровским. Тот все шутил, называл Невзорова Оглы Невзарак, обещался подарить ему феску. А Семен Иванович вздыхал и помаргивал. Приближался уединенный островок Халки, весь уже погруженный в тень. За его скалистым очертанием разливался закат. А у самой воды на островке уже горели огоньки поселка. Теперь можно было различить сильно накренившиеся мачты и трубу «Кавказа», разгрузившегося у пристани.

«Неужели на этом острове найду себе могилу?» — подумал Невзоров, который, как русский человек, размяк душевно после бани. Воздух был легкий. Уютно отражались огоньки в воде. И у Семена Ивановича под жалостью к самому себе начала дрожать лукавая жилка: вывернешься, братец, раскроешь еще крылья, главное —

тихонько, тихо, не противореча, никого не тревожа — бочком пробирайся к счастью.

Катер подошел к длинным мосткам. На них лежали горы багажа, сутились люди в фесках, оживленно разговаривали повеселевшие эмигранты. Приехали! Неподалеку на берегу ярко светились окна шашлычной.

— Господа! — взволнованно крикнул какой-то длинный человек, шагая через чемоданы, — а какая у них здесь водка, какие шашлыки! Багаж завтра разберем — айда закусывать!

Семен Иванович сошел на берег, потянул носом и вдруг вытянулся на жилистых ножках. Неожиданно, совсем бы и не к месту, охватила его сумасшедшая радость, — и он крепко сжал кулачки, как прежде бывало.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Шумно и беспокойно стало в Мраморном море, на скалистом острове Халки.

Вслед за «Кавказом» выгрузился второй пароход с эмигрантами из Ялты. Пять тысяч русских, привыкших к необъятным пространствам и к разнообразным впечатлениям гражданской войны, очутились на небольшом клочке земли среди сияющего безбурного моря, в греческом поселке, мирно дремавшем третью тысячу лет у самой воды.

Русские воинские части разместились наверху, в древнем монастыре. Прибили в длиннейших коридорах к дверям записки: «Штаб армии», «Отдел снабжения», «Служба связи», «Конная дивизия» и прочее. За каждой такой дверью в пустых и пыльных комнатах валялось на каменном полу по десятку простреленных со всех сторон, прожженных девяностошестиградусным спиртом белых офицеров.

Хаврин со своей канцелярией и двенадцатью чемоданами денег, суровые генералы, адмиралы обоих флотов, бесхозные губернаторы, дюжины две промышленных королей заняли дачи на полугоре.

Рядовой эмигрант разместился внизу у моря, в деревянных домишках и гостиницах, над шашлычными заведениями, среди неопределимого количества клопов.

Клопы здесь были не то что какие-нибудь русские — вялые и сонные. Клоп на острове Халки был анатолийский, крупное, бодрое животное. Он не смотрел — ночь ли, день, была бы подходящая пища. Едва только эмигрант ложился на постель, — клоп дождем кидался на него с потолка, лез из щелей, изо всех стен. Эмигрант стискивал зубы, терпел. Нет. По ночам можно было видеть, как на улицу или на лужок выскакивает встрепаный человек в нижнем белье и чешется под огромными звездами, выдавшими в этих местах и аргонавтов и Одиссея.

А наутро — за что ни схватись: вытащит эмигрант платок, чтобы вытереть пот с лица, — в платке клопы, гладкие, веселые. Или в кабаке положит руки на стол, — из рукавов лезут клопы.

На узенькой, жаркой улице, — единственном месте встреч и гулянья, — с утра толкались русские. Делать было решительно

нечего. В открытых лавках шипели шашлыки, в больших плоских кастрюлях дымились напоказ залитые салом пловы. За окнами дощатых кофеен любознательные эмигранты учились поджимать под себя ноги по-турецки и курить кальян, от которого мутилось в голове хуже, чем от белены. На перекрестках, перед горячими медными ящиками, чистильщики сапог вращали вылупленными глазами в кровяных жилах. Известковая пыль клубилась под ногами у гуляющих. Вот встретились, раскланиваются:

— Графиня, как спали?

— Ужасно, Семен Иванович, съели заживо.

— Виноват, у вас на ухе клопчик, графиня.

И Семен Иванович Невзоров деликатно снимал насекомое, бросил его на дорогу. Графиня, в изжеванном платье и в наскоро купленных турецких туфлях, грустно благодарила за эту мелкую услугу, спрашивала, нет ли новостей?

— Окромья пьяного скандала нынче ночью, ничего нового, графиня.

— А когда в Константинополь?

— Говорят, что дня через три начнут выдавать пропуска, но с трудом. Желаете, может быть, чашку турецкого кофе или простокваши, — зайдемте в кофейню.

— Благодарю вас, в другой раз.

Семен Иванович бойко откланивался и протискивался сквозь толпу до небольшой площадки. Здесь, на куче щебня, поросшего пыльной травкой, — остатка от греческого погрома четырнадцатого года, — играла шарманка.

Пестрая, в зеркала, с колокольчиками и лентами, шарманка эта дудела, и свистела, и позванивала над суетливым поселком, над тихим морем всегда всегда и то же: «Вите, вите, Венизелос» — утверждая, назло всему Исламу, греческое влияние на Мраморном море и в обоих проливах.

Семен Иванович с удовольствием послушал шарманочное хвостовство про великого Венизелоса, снова нырнул в толпу и раскланивался с хорошенькой хохотушкой, офицерской вдовой.

— Лидия Ивановна, как спали?

— Ну, оставьте, пожалуйста, мы еще не ложились.

— Все кутите?

— Да еще как. В четыре часа утра установили связь с моряками. Они покрыли нас таким коньяком, что у нас вышло пятьдесят процентов состава. Сейчас едем на ослах на гору — смотреть вид. Потом — купаться. Нет, право, здесь чудно.

— Виноват, Лидия Ивановна, у вас на груди — клопчик.

— Спасибо.

Семен Иванович шнырял в бестолковой толпе гуляющих и пьяных, болтал с самым непринужденным видом, оказывал дамам мелкие услуги и делал все это неспроста.

Он до тошноты в желудке страшился уединенных мест, где к нему непременно должен подойти Прилуков и сказать: «Вы что же

дурика валяете? Сегодня Бурштейн должен быть ликвидирован, иначе...»

Скрываясь от ледяных глаз Прилукова, Семен Иванович преследовал, между прочим, и другие цели: заветный план, открывшийся ему в час заката на пароходе в Черном море.

План был хорош со всех сторон, откуда ни посмотри — золотое дело. Надо отдать справедливость Семену Ивановичу: в борьбе с судьбой, глянувшей некогда ему в лицо глазами старой цыганки на Петербургской стороне, трепавшей его, как щенка, возносившей высоко, чтобы снова втоптать в грязь, в борьбе с судьбой, которая лезла к нему отовсюду разными гнусными рожами — Ибикусами, — он не упал духом, нет. Ум его развился, приобрел легкость, осторожность в разведке, хватку в решении. Верткий телом, готовый ко всякой случайности, ничему более не удивляющийся, жадный и легко отпадчивый, Семен Иванович считал себя новым человеком в этой жизни, полной умных дураков с невентилированными мозгами, набитыми трухой предрасудков о дозволенном и недозволенном.

— Дозволено все, господа, откройте форточки, — говаривал он и кофeyне за стаканом греческого вина, которым угощал нищее офицерское сословие. Здесь, на острове, Невзоров в первый раз за свою жизнь заговорил, — и неглупо. Взялись острые мысли, едкие слова. Его слушали, и он получил вкус к разговорам.

— Хотя бы о политике, не будем вола вертеть, господа, — толковал он тому же офицерству. — Революция, пролетариат, власть Советов — одна пошлость. Я при своем таланте могу нажить капитал, и он, комиссар, в Москве сидит, не может, живости нет или с детства над книгами задохся. Вот они и клеют афиши на заборах, стараются персманить народ, чтобы их было больше, — на меня одного кинуться адвкситером. И мне приставляют ко лбу наган, выдергивают из кармана валюту, кольцо — с мизинца. И я же оказываюсь эксплуататор, индивидуалист-одиночка. Блевать хочется, так это скучно.

— Верно, правильно, браво, главное — умно, — шумело офицерство, дымя папиросами.

— Пошлость эта завелась в России от зловредного старика, Льва Голстого, это мне один доктор рассказывал: граф, помещик, трюфели ест, фазанов, мадеру лопает, неврастеник, конечно, ну и потянуло на капусту. Объявил себя другом физического труда, врагом капитала: «Я, говорит, не могу молчать». Нет, елки-палки. Напишу я брошюру против большевиков. Пусть в Европе прочтут горькую правду... Покуда они там охают-ахают, большевики всю Российскую империю разморуют, потом ищи с них — дудки! Драгоценности, обстановки, тысячные шубы растащили, порвали, пожгли. Я сам — у себя в именье — из огня выскочил в одних подштанниках. Музеи не пощаднили, Рубенса, Рембрандта беспощадно выдирают — Красной Армии на подвертки. Брильянты ведрами увозят в Архангельск на китобойное судно «Интернационал», — оно у них второй год под парами стоит на случай бегства. А народу, господа, осталась одна четверть в России, да и те в леса разбежались... Поезда, вместо паровозов, на конной

тяге передвигаются. К Новому году, поверьте мне, вместо нашей родины останется пустое пространство земли.

У офицеров белели лица, безумели глаза. Жутко бывало в кабчке в эти минуты. Семен Иванович наслаждался. Семен Иванович становился популярным на острове. Член конституционной партии, Масленников, даже предложил издать его брошюру за счет партии. Но Семен Иванович туманно уклонился, хотя общественное внимание крайне льстило ему.

Прилукова он видел ежедневно издали и сейчас же нырял в толпу. Все же он понимал: рано или поздно придется встретиться лоб в лоб. Убить Бурштейна было бы делом плевым, конечно, но страшили последствия. Не убить — опять страшили последствия.

Страшный революционер поселился в единственной на острове гостинице и от трех до пяти гулял по шоссе. Он, по слухам, крайне обиженный тем, что его в России отвергли, подготовлял массовое переселение в Аргентину и уже вел осторожную агитацию среди военных.

Так прошла неделя со времени высадки. На острове не затихла толчея. Развернулись общественные комитеты Земского и Городского союзов, — они выдавали битых кроликов, рис и туфли, а также вели идейную борьбу с пьянством. Политические партии (кроме монархистов) на бурном заседании блока, после взаимных упреков и оскорблений, выпустили воззвание, оно начиналось решительными словами: «Проклятие вам, большевики...» Население острова приглашалось к единодушной борьбе за единую, неделимую Россию. Население приняло это к сведению и продолжало развлекаться, как могло: купались, нюхали кокаин, ели шашлыки, пили «дузик», шумные компании верхом на осликах скакали по лесистым горам, завивали горе веревочкой.

А по весеннему зеркальному морю мимо острова проплывали плоскодонные пароходики — шеркеты, битком набитые веселыми европейцами и константинопольскими дельцами. Эти вольные люди не ели кроликов, похожих на ободранных кошек, не ходили регистрироваться к французскому коменданту, не толкались в известковой пыли между парикмахерской «Идеал» и шашлычным заведением Каракаргопуло, не били керосином клопов. Там, куда в голубые, как мираж, очертания мирового города уплывали шеркеты, безболезненно перепархивали между пальцами турецкие и английские фунты, там у каждого был свой дом в своем собственном отечестве. Там мужчины прохаживались с гордо поднятой головой, а женщины, в мехах и брильянтах, выходили из автомобилей у зеркальных витрин, полных роскоши. Ах, черт! ах, скрип зубовный! проклятие вам, большевики!

Хуже всего приходилось женщинам на этом нищем островке, в прошлом — развалины жизни, дни, которых не хочется вспоминать, сегодня — стирка в ручной чашке истлевшего белья, на ужин — остатки кроличьей кошки, в минуту тишины — взгляд в зеркало на преждевременные, совсем не нужные морщин-

ни, да оскорбительное знакомство с провонявшим потом полковником Сеноваловым, багровым и громогласным чудилой. А будущее — как страшный сон, когда видишь себя в какой-то пепельной мгле милого на цыпочках, раскинув руки, по узенькому карнизу незнакомое дома на высоте многих этажей. В будущее лучше было не заглядывать.

Среди этих-то женщин Семен Иванович главным образом и вертелся, угощая их кофейком и простоквашей, острил, говорил о финансах, встряхивал волосами.

... Верх цивилизации — роскошная спальня красивой женщины, храм наслаждения. Все остальное — предрассудки, срок жизни очень мал, а прогресс не знает морали. Так-то, мадам.

Радостный слух облетел остров: завтра начнут выдавать пропуска в Константинополь.

Семен Иванович узнал об этом, лежа в постели. Он квартировал у трактирщика Каракаргопуло, во втором этаже, в комнатешке, предназначенной для кутежей местных греческих сладострастников: красная ситцевая занавеска на окошке, красный пыльный полוג над перинами, набитыми клопами, вместо стула — прочное биде с рисписной крышкой, ход через трактир. Помещение это Семен Иванович облюбовал, опасаясь неожиданного посещения Прилукова, — здесь он был в безопасности.

Семен Иванович выскользнул из-под перины, живо почесал рыжеволосые жилистые ноги, и в голове молнией пронеслись противоречия. Наверное, разумеется, он постарается улизнуть с острова, но Прилуков это лучше его знает и сегодня же будет говорить с ним лоб в лоб. Как поступить, на что решиться? Запрятаться ли на берегу, между камнями, на целые сутки? Или как-нибудь перехитрить Прилукова?..

Семен Иванович задумчиво оделся, долго расчесывал бородку и волосы, поглядывая на себя в стенное зеркало, — из мутноватой глубины его глядело на Невзорова лицо... Странное глядело лицо... Перекошенное, с мертвенным глазом... Что за дрянь зеркало повесил на стенку глупый грек Каракаргопуло. Никакого же сходства между Семеном Ивановичем по эту сторону и Семеном Ивановичем по ту... Вдруг холодок пошел по спине Невзорова, он отступил вбок от зеркала, будто оттуда глянуло что-то ужасно знакомое, надел картузик, еще раз покосился и вышел. Решение было принято.

— Аллах верды, бахчи, бачка, — сказал он толстому, мягкому, широкоглазому Каракаргопуло, думая, что говорит по-турецки, и на особенно увертливых ногах зашагал к парикмахеру.

Народу на улочке было мало в этот час, — эмигранты стояли в очередях у французской комендатуры за пропусками. По пути Семен Иванович купил феску без кисточки и спрятал ее в карман. Парикмахеру он объяснил знаками, что хочет снять свою растительность. «Идеал» щелкнул языком, как скворец, и машинкой окатал Семену Ивановичу и голову и бороду с усами, затем чисто выбрил его.

Невзоров любопытно поглядывал на свой маленький и острый череп, на заголенный рот, кривенько усмехающийся от сраму, на лисий подбородок. «Лисица», — подумал он с едкой к себе симпатией.

Он надел феску, — сам черт не узнал бы теперь Семена Ивановича, — и вышмыгнул из парикмахерской, не заметив, что из другого отделения, где делали маникюр, внимательно следили за его превращением синие глаза.

Двое знакомых прошли мимо Невзорова, не признав его. Он вернулся домой, и Каракаргопуло, также не узнав его, долго колыхался и цыкал языком. Семен Иванович предложил ему купить мерлушки. Каракаргопуло разволновался, ушел и вернулся с двумя дошлыми греками. Они так плотно обступили Невзорова, так кричали и торговались, что он уступил мерлушки за 750 турецких фунтов. Все же это было богатство.

Во французской комендатуре он протолкался к чиновнику, решительно сунул под пресс-папье сто франков и сейчас же получил пропуск в Константинополь. Шеркет уходил завтра в девять. Это время до утра решало судьбу Семена Ивановича. Он юркнул в темную кофейню, спросил чашечку кофею, поджал ноги под себя и закрыл глаза, точь-в-точь как задремавший турок.

Но воображение его не дремало. Он представил себе шумные улицы Константинополя, полные дураков. Он со своей находчивостью и умом объегоривал и ошипывал слишком волнующихся при денежных сделках левантинцев, слишком доверчивых европейцев. Он продавал пароходы Добровольного флота, нефтяные участки, русских красавиц в гаремы. Он оборачивал капитал до пяти раз в сутки. Он гонял по городу в закрытом автомобиле, держа под груди двух красавиц брюнеток, кокоточек.

Мечтательность, — остаток варварства, — опасное качество для делового человека. Она убивает осторожность, искривляет перспективу, придает ложную форму вещам, отбивает чутье. Семену Ивановичу надо было чутко и недремно сидеть в темном углу, наблюдая за посетителями. Он же распустил крылья и нарвался. Сухой палец надавил ему на плечо, и ледяной голос проговорил:

— Ну, а теперь пожалуйста со мной, поговорим.

Перед ним стоял красавец Прилуков. Семен Иванович слабо застонал, вытащил из-под себя затекшие ноги. Прилуков сказал:

— На полдороге к монастырю свернете по шоссе, голубая дача — вторая направо, там ждите.

На голубой даче, в опрятном зальце, куда вошел Невзоров, на стене висел портрет Николая Второго, убранный крепом. Семену Ивановичу стало робко. Он почтительно присел на один из венских стульев, отражавшихся в навощенном паркете. Ни одной соринки на полу, ни одной мухи на стене. Успокоительно попахивало сдобными хлебцами. «Сразу видно — аристократы живут, — подумал Семен Иванович, — быть все-таки не может, чтобы они меня на мокрое дело послали».

В это время из боковой двери вошел астраханский драгун, уже знакомый Невзорову по пароходу. Надутое лицо его было воспаленное, вздернутый нос посапывал, глаза без ресниц были мутные. Видимо, у него вдребезги болела голова с похмелья.

— Здравия желаю, — достойно и не без поспешности сказал Семен Иванович, поднявшись со стула. Драгун ответил хриповатым шепотом:

— Здравствуй, сволочь.

И уставился тухлыми глазами на Невзорова.

Семен Иванович, конечно, пренебрег таким обращением и доложил, что пришел по приказанию Прилукова. Драгун опять сказал:

— Морду разобью.

— За что-с?

— Разобью морду — тогда узнаешь за что.

— Я всегда готов всемерно пострадать на пользу отечества, но не заслужил, извиняюсь, вашего крайнего обращения.

— У, сукин сын, дерьмо, — говорил драгун, обходя кругом Невзорова и глядя ему то на ноги, то на голову.

Положение Семена Ивановича становилось настолько щекотливым, что он подался к выходной двери, но драгун сейчас же запер ее и готовился, видимо, въехать в ухо.

— Обрился, мерзавец, скрываешься, феску надел...

— В первый раз вижу такое обращение, — Семен Иванович прищурился для выразительности и загородился стулом. Драгун молча развернулся, но Семен Иванович успел присесть. Вошел Прилуков и раздельно, как на морозе, проговорил:

— Теплов, потрудись без рукоприкладства. (Драгун неохотно отвернулся от Невзорова и потащил из заднего кармана галифе серебряный портсигар с кистью.) Ну-с, господин Невзоров, у нас остается один сегодняшний день. Завтра известное вам лицо переезжает на жительство в Константинополь, так как, не в пример прочим, через своих сионских мудрецов получило разрешение и даже визы.

— Господин Прилуков, да как же, да где же? Ведь известное нам лицо сидит целый день в номере, на прогулку выходит — где людно. Я бы с радостью с ним покончил...

— Одним словом, Невзоров, вы помните наш разговор? Даю честное слово, завтра пойду к французскому коменданту и выдам мис на предмет повешенья...

— Ну, для чего же, господин Прилуков...

— Потрудитесь молчать. Вот револьвер. — Прилуков вынул из кармана маленький браунинг и положил его перед Семеном Ивановичем на стол. — Он принадлежит известному вам лицу, украден у него сегодня ночью. Меня совершенно не касается — где и как вы ликвидируете это лицо. Предоставляю это вашей находчивости. Постарайтесь, чтобы выстрел был в голову, по возможности не в затылок. Вы разожмете ему правую руку и вложите револьвер. Это будет самоубийство.

Семен Иванович, как загипнотизированный петух, глядел на револьвер. Драгун проговорил плачущим голосом:

— Миша, позволь — ему в морду въеду, смотри, он раздумывает. Тогда Семен Иванович сунул револьвер в карман пиджака, пошел к двери и спросил, не оборачиваясь:

— После этого буду свободен?

— После этого можете убраться ко всем чертям.

Семен Иванович сел на лавочку против гостиницы и ждал, когда Бурштейн выйдет гулять. Это были сквернейшие часы в его жизни, — а вдруг проклятый жидюга так нажрется за обедом, что без прогулки завалится спать?.. Что делать тогда, — в окошко лезть к нему ночью? Семен Иванович вспомнил, как мылся с ним в бане на карантине. «Надо было тогда его из шайки кипятком окатить крутым, — непременно бы умер, а вот теперь из-за него карьера вся ребром поставлена...»

Невзоров нетерпеливо вертелся на скамейке перед гостиницей. Дул восточный ветер. Жгло солнце. Проносились облака известковой горячей пыли. На зубах скрипело, лицо было воспалено после бритья, по всему телу чесалось. Было уже без четверти четыре. Обед в гостинице окончился. Несколько человек вышли за решетку в садик, где ветер трепал сухие листья пальм, — сели в полотняные шезлонги и, ковыряя в зубах, глядели на измятое потемневшее море.

Вдруг Семену Ивановичу представилось, что это — день его гибели... Именно такой, пыльный, окаянный, известковый, когда все зудит и чешется в смертной тоске... Он заметался на скамейке, не уберется, и облако известковой пыли кинулось ему в глаза, запорошило, ослепило. Семен Иванович тихо завыл и принялся тереть глаза.

Когда он смог их открыть, — низконогая, коренастая спина Бурштейна не спеша удалялась по шоссе к лесу, тоскливо шумевшему на горке.

Невзоров сорвался со скамейки вдогонку, но скоро овладел собой и свернул наверх, в сторону корявых сосенок, чтобы выйти на шоссе впереди Бурштейна. Лес, обычно полный гуляющими, сегодня был пустынен. Карабкаясь по хвойному склону, по осыпающимся бурым камням, задыхаясь от нетерпения, весь в поту, с пересохшей глоткой, Семен Иванович добрался до места, где в глубокой выемке снова появилось шоссе. Здесь он, вместе с камнями и пылью, съехал на зад и пошел по белой дороге в обратном направлении. Револьвер он переложил в правый карман брюк.

Через несколько минут он увидел Бурштейна. Он весь сотрясся от волнения, — корни обритых волос стали торчком. Бурштейн, расставив ноги, что-то писал в книжечке, затем глубокомысленно почесал в ноздре карандашом, не поднимая головы, повернулся, как буйвол, и побрел назад к дому.

Тут уже Семена Ивановича подхватило ветром, так он вдруг стал легок: на цыпочках, неслышно (суровый шум леса заглушал шаги) он догнал Бурштейна и уже судорожно сжал в кармане револьвер...

Бурштейн, присев слегка, живо, дико обернулся и уставился в глаза Семену Ивановичу. Прошла значительная пауза...

— Вы что это — обрились? — мрачно сказал Бурштейн. — Я кричу и не узнал, странно, странно...

— Пыль, знаете, жара, взял, знаете, и побрился, — пробормотал Семен Иванович и в ту же секунду пропал, погиб, — со слезным грохотом рухнули все его ослепительные перспективы... Снежилась душа, стала просто душонкой, обмякли жилистые мускулы, кулак с револьвером завяз в кармане... Ах, не надо было глядеть в эту секунду в человеческие глаза, которые должны умереть, не надо было бормотать про парикмахера!!!

Бурштейн спросил:

— Гуляете?

— Знаете, погулять вышел.

— Странно, странно. Я вас только что видел, — вы против китницы сидели, терли глаза.

— Не может быть... Никогда глаза не тру, вы обмишурились...

Тогда резко, повелительно Бурштейн крикнул:

— Выньте руку из кармана! — И когда Невзоров потащил руку, он схватил его за вялую кисть, нагнулся низко. — Так и есть, это мой браунинг.

— Господин Бурштейн, я сам бывший революционер... Товарищ, подождите обвинять... Я сам, быть может, у вас защиты хочу просить... Я в коробку попал, господин министр! Войдите в мое положение...

И Невзоров, хватая ледяными пальчиками воздух у самых пуговиц бурштейновского пиджака, торопясь до пены на губах, рассказал все личесные обстоятельства, которые на пароходе «Кавказ» привели его к необходимости покуситься на убийство, «совершенно мне не нужное, даже невыгодное, при моем уважении к вам, господин социалист».

По мере рассказа Бурштейн хмурился, поднимал плечи, врал в лесню. Каждый раз при имени Прилукова он принимался свирепеть. Он выспросил подробности и записал их в книжку. Затем, не обращая более внимания на Невзорова, пошел домой.

Семен Иванович, в полном расстройстве чувств, проводил глазами его приземистую спину. Затем свернул в лес и лег носом вниз на колючую, горячую хвою.

Не имеет смысла описывать душевное состояние Невзорова, — оно было скверное. Не шевелясь, он пролежал в лесу до темноты.

Закатилось солнце в Мраморное море, быстро настала эгейская ночь. От горячей земли пошел сухой запах. Зажглись особенной величины и ясности звезды. На горизонте разлилось зарево огней Константинополя. Внятен стал мирный шум волн внизу.

Семен Иванович сел тогда, обхватив колени, и среди горьких размышлений почувствовал себя покинутым малюткой, заброшенным злой революцией на пустынный остров среди чужих морей. Третья ошибка за сегодняшний день, — третий случай слабости. Нет, — в герои для повести Семен Иванович никуда не годился.

Покуда он сидел жалким комочком на сухой земле, которая еще хранила следы аттического бродяги Одиссея, тоже не раз попадавшего в дрянное положение, в это время в лесу появились три мужские фигуры. Темноту прорезал луч электрического фонарика, и голос астраханского драгуна прохрипел в десяти шагах:

— Вот он!

Семен Иванович пискнул, как заяц, и пустился наутек. Напрасно. Драгун, налетев, въехал ему в ухо, — Семен Иванович покатился в какие-то колючки. Трое военных навалились на него и кулаками и топтунками били его по чему ни попало. Мало того. Драгун сказал: «Все равно жаловаться не будет, снимай ему штаны». Он сел Семену Ивановичу на голову, другой — на ноги, третий заголил штаны и ремнем стал полосовать ягодицы Невзорова, вопиющие к чужим равнодушным звездам.

От боли, от страха Семен Иванович впал в обморочное состояние. Последнее, что он чувствовал, — это проворную руку, из-под низу рванувшую у него, из кармана пиджака, бумажник с пятью тысячами франков и семьюстами пятьюдесятью турецкими фунтами.

Очнулся Семен Иванович, — все еще была ночь. Пошевелился, застонал. Оставалось одно для такого слабого создания — залиться горячими слезами. И он неумело заплакал.

На Пёру блестят сотни витрин, развешаются над посольствами иноземные флаги, двенадцатязычная толпа шумит, суетится, шагает из лавок в лавки, едят сладости, бросают апельсинные корки, чистят себе башмаки, забираясь на перекрестках на высокие кресла под балдахин.

На Пёру, толкая локтями людишек в фесках, презрительно шагает посреди замусоренного тротуара английский офицер. Гуляет в малиновой с золотом кепи усатый француз, похлопывая стеком себя по коричневым крагам и с готовностью поворачивая великолепный профиль к мелькнувшему личику за полупрозрачной чадрой, к напудренному носику под соломенной шляпкой, к сизоволосой головке бледной гречанки.

На Пёру кучками бродят русские офицеры с черепом и костями на погонах, в измятых лихо картузиках, с облезлыми маузерами, торчащими из кармана. Странно и нище одетые русские женщины с тоской отворачиваются от витрин.

Русские интеллигенты, в пыльниках, испачканных дегтем и вагонным салом, поправляют разбитое пенсне перед вертящимся торчком на угольях многопудовым вертелом, с которого лоснящийся, щетинистый восточный человек срезает длинным ножом лакомые кусочки. В мистической тоске бродит меж запахами жареного и сладкого прокуренный журналист, мечтающий о разрешении на русскую антибольшевистскую газету в Константинополе.

На Пёру, на лотках и тележках у торговцев остатками немецкого товара и местной дряни, трещат, сводят прохожих с ума звон-

ии, будильники, звоночки и колокольчики. Не переставая звонят тримваи, хрипят, взывают автомобили, шелкают бичи парных извозчиков, из ресторанных дверей вырываются, вслед за пьяными, ритмичные звуки оркестриков. Вся эта суета — высоко над морем, на Пёру.

У подножия Пёру — этой международной части города между мостом через Золотой Рог и пароходными пристанями — начинаются Галата — узкие, грязные портовые кварталы. Это — подол Пёру, куда стекает вся грязь его, куда стремительно сбегает всякий, кому там, наверху, не повезло.

Здесь, близ моста, у меняльных лавок, прислонившись плечом к фонарному столбу, стоял Семен Иванович в феске. На осунувшемся, плохо бритом лице его были видны лилово-оранжевые остатки побоев.

Прошло две недели после несчастного приключения в лесу. Русские на острове Халки не только получили разрешение бывать в Константинополе, но если кто пожелает отказаться от пайка, то и пересечь туда на жительство. Семен Иванович вторую неделю жил в центре Галаты. Бумажник с деньгами у него был похищен, но истязатели тогда, в лесу, не догадались залезть ему в брюки, где в мешочке хранился остаток разбойничьего золота — пятнадцать золотых десятирублевиков.

На эти-то жалкие остатки Семен Иванович и жил теперь в публичнице «Сладость Востока», в гнилом трехэтажном здании, полном проституток, воров, сутенеров, пьяных матросов и совершенно неопределенных черномазых личностей.

Из пятнадцати золотых — двенадцать Семен Иванович привянул себе на шею в мешочке, хранил их жадно: они были последней стайкой на жизнь. Питался он чем попадетсЯ и весь день толкался у меняльных лавок, у палаток и лотков, где трещали звонки, прислушивался, присматривался, заучивал левантинский жаргон, учился шелкать языком, вскидывать глаза.

Наверх, в Пёру, он не поднимался из боязни нежелательных встреч. К тому же — зачем было растравлять себя видом роскоши и сытого счастья? Душа Семена Ивановича после приключения в лесу оробела, и весь он сделался осторожный и внимательный, как собака, побывавшая под колесами.

Присматриваясь к лотковой торговле, к менялам и биржевым мужикам, он отстранил от себя эту деятельность как малонадежную. Служба в ресторане, поденная работа в порту, чистка сапог казались ему скучными, утомительными, малоходными. Оставалась легитимность коммиссионная, наиболее подходившая сейчас к его вкусам и возможностям.

Семен Иванович начал с малого: он предложил привести кавалера своей соседке по «Сладости Востока», сбившейся с пути девке, Ишак Мимэ, которую накануне в пьяном виде раздели в порту до белья. Выйти на улицу ей было не в чем. Невзоров побежал к пристани и, ломая язык, обратился по-левантински к безусому русскому с юнкерскими шиншивами, только что спустившемуся с шеркета в портовую суету:

— Русский, хочешь девочку из султанского гарема? — вай! (Щелканье языком, и глаза летят вверх.) Симпатичный, ароматичный, совсем рахат-лукум, пышный, белый, сладкий, — ай, ай... Иди за мной.

Юноша залился краской, потом усмехнулся, пробормотал: «Что ты мне врешь, турецкая морда?» — и пошел за Семеном Ивановичем в «Сладость Востока». За эту первую комиссию Невзоров получил с юнкера лиру, а благодарная девка взяла его с собой на ночь в постель.

Пытая комиссионную деятельность в других направлениях, Семен Иванович натолкнулся на сильную конкуренцию, — один скутариец пригрозил ему даже выпустить кишки. Приходилось ограничиться мелким сводничеством.

Кроме Ишак Мамэ, он познакомился с двумя сестрами-мулатками, Хаэ и Замбой, необыкновенно ленивыми и неумеренными в страстях молодыми девушками. Они дня по три валялись не евши в номере на истертых диванах. Семен Иванович и этих клиенток принял близко к сердцу и водил к ним изголодавшихся по женщинам русских. Его доход иногда доходил до пяти лир в день.

Другой на его месте почувствовал бы себя в раю, приоделся бы, отъелся, завел бы лаковые башмаки. Но Семен Иванович, как уже известно, был натура беспокойная и мечтательная. Он не мог забыть предсказания цыганки и прикапывал в мешочек на груди скудные доходы, веря, что судьба хоть раз еще вознесет его. Не с этими же последними лахудрами, Ишак Мамэ, Хаэ и Замбой, завоевывать ему Константинополь. Эх, будь деньги, он бы знал, каких женщин пустить в оборот. «Сераль принцесс московит, или салон аристократки», — вот был смелый план, открывшийся ему в час золотого заката на пароходе.

Но судьба пока была безжалостна. Семен Иванович минутами чувствовал утомление. Так и сейчас, — стоя у фонарного столба, он с отвращением поглядывал из-за полуопущенных век на человеческий сброд, идущий из Пёру в Стамбул через мост и из Стамбула в Пёру, толпящийся у меняльных лавок и лотков, у остановок трамвая. Солнце жгло, ветер нес мусор по корявой мостовой, скрипели пристани, барки и лодки на набережной. Постыло.

«Паразиты, — думал Семен Иванович, — жулье, ни одной порядочной личности... Керосином облить, сжечь вас всех вместе с городом, а еще — цивилизация...»

Сегодня клевало плохо. Вот прошли двое англичан моряков. Семен Иванович выразительно сказал им по-европейски:

— Хау ду юду, кароший ханум, ичк чик, — вуле ву?

Моряки даже не обернулись. Остановился прикурить около фонарного столба приземистый русский, строгий, с проседью, со щекой, исковерканной белым шрамом. Семен Иванович сказал ему:

— Айда, русский, одалиска есть, симпатичный, ароматичный...

Строгий русский ругнулся неожиданно матерно, прошел. Сорвался также француз-капрал, заговоривший с Невзоровым по-своему, даже потрепал его по плечу, трещал, выкатывал налитые красным вином глаза, но Семен Иванович растерялся, и клиент был упу-

иши. Греки, армяне, итальянцы, левантинцы шныряли мимо, жмурясь и отплеываясь от пыли. Турки не попадались потому, что турок вообще было мало в те времена в Константинополе.

Семен Иванович собрался уже переменить место, — в это время на него налетел огромный бритый человек в грязном парусиновом пальто, — возбужденный и потный. Остановился, всмотрелся, раскрыл рот, полный золотых зубов, и раскатился лошадиным смехом. Но был Ртищев...

— Граф! — крикнул он, — это ты! — обрился, ну и сукин же сын, пятак твою распротак! Что ты тут делаешь?

— Торгую женщинами, — солидно ответил Семен Иванович.

— Брось, прогоришь. У меня есть великолепный план. Идем, и расскажу.

Улица, куда вошли Ртищев и Семен Иванович, находилась в центре Галаты и была узка, без тротуаров, мощенная древними плитками. Место насиженное.

Не было моряка в пяти частях света, который бы в свое время, под руку с товарищами, горланя и спотыкаясь, не шатался здесь мимо соблазнительных окон и заманчивых дверей. Круглые сутки валил шумный и беспечный народ по этой улице, топотали копытами ослины, кричали продавцы сладостей, женские руки стучали изнутри в стекла, хлопали вытряхиваемые ковры, сбегался народ на скандалы, визжали проститутки, чад стоял от шашлыков, табака и сладостей.

Семен Иванович был здесь своим человеком. Он указывал Ртищеву на достопримечательности. Вот — слепые окошечки с вытисненными кальянами, — здесь вчера американские матросы убили сутенера чилийским приемом, то есть один из них, негр, вложил себе в волосы бритву и с разбегу ударил головой. Вот розмалеванная розами дверь, — здесь пляшут танец живота. Вот картонный притон, недавно закрытый оккупационными властями.

Далее Семен Иванович указал на расположенные низко над тротуаром, по обе стороны улицы, большие окна с переплетами, — но были знаменитые на весь свет веселые дома. За этими витринами лежали на коврах и на кретоновых кушеточках жирные девки в зслсных, алых, канареечных шароварах, с голыми животами, с мелко заплетенными крашеными косами, в тюрбанах, в шапочках с монетами, — покрашенные и напудренные. Они лежали напоказ, как ветчина, лениво и сонно. Восточные люди, пробегая мимо, только цыкали, закатывали глаза, с ума сходили от этих сладостей.

Здесь же происходили главные бои между моряками разных флотов. В довоенное время обычно верх брали русские матросы, — они ходили стенкой, дружно, крушили чугунными кулаками турецкие, французские, итальянские скулы, и даже англичане, хотя и привыкли драться в одиночку, рыча и выплевывая зубы, очищали веселые дома, уступали русским красоток за окнами.

Сейчас же за веселыми домами помещалась гостиница «Сладость Востока». Семен Иванович завел Ртищева к себе, и здесь произошел разговор:

— Невзоров, пятак твою распротак, деньги есть?

— Нет.

— Меня на Принкипо (остров рядом с Халки) обчистили русские. Маленький притончик организовал, совсем невинный, без девочек; знаешь, думаю, аристократов полон остров, надо — благородно. Никогда со мной такой глупости не случалось. Дело пошло. У стола в «железку» — цвет Петербурга. Меха, брильянты. Как они эти штуки через большевиков провезли — до сих пор не понимаю. Говорят, некоторые в задницу себе заколачивали каратов по сто. Подаю беленькое винцо, крюшончик. Мило, тонно. Представь — двадцать пять процентов шулеров оказалось. Я весь идеализм потерял. Почему же у тебя нет денег, скотина?

— Обокраден, избит, видишь — синяки.

— Жаль, — сказал Ртищев раздумчиво, — у меня план — снять лавчонку на этой улице, открыть «железку».

— Запрещено, я уже думал.

— Что ты говоришь? Ну, а в «тридцать — сорок»?

— Запрещено.

— Рулетка?.. Я, брат, с таким крупье познакомился — по желанию, когда угодно, повернет, и — «зеро». Он говорит, рулетка — золотое дно.

— Запрещена.

Тут Ртищев страшно ударил по столу и стал изрыгать проклятия оккупационным властям, Антанте, Европе, человечеству. Он подошел к гнилому рукомоинику и облил голый череп из графина.

— Ну, хорошо, — все еще кричал он, — хорошо, мне запрещают жить, запрещают дышать. Хорошо! Я открываю тайный притон. Для воров. Для пьяных матросов. Для самой распропоследней сволочи. Согласен работать пополам? Будешь приводить клиентов. Идем искать помещение.

Ураганная деятельность Ртищева преодолела все препятствия. Напротив гостиницы «Сладость Востока» была арендована у большого грека Синопли запущенная кофейня, где мухи давно засидели окна, пыль покрыла медную посуду и самого грека, целые дни дремавшего за прилавком.

Ртищев, вместе с Семеном Ивановичем, выколотил просиженные до дыр ковры на жестких диванах, вычистил кирпичом кофейники и медные части очага, вымел из углов густую паутину, гвоздями сколотил расшатанные столы, — больной грек Синопли только слабо икал и ахал, удивляясь.

Затем маляр, дошлый мальчишка-итальянец, выкрасил входную дверь в ярко-зеленый цвет и на одной половинке изобразил Семена Ивановича в феске, с трубкой, на другой — Ртищева в виде персидского шаха с табакерки, в чалме с султаном, в руках — колода карт. Ртищев был в восторге:

— Знаменитые художники меня писали, Репин, Серов и Кустодисв, большие деньги брали, мазилы несчастные, — самой сущности, пятак их распротак, не могли понять. А вот это — портрет!

Вывеска старого грека оставалась, но в окне был приклеен рукописный плакат:

ЗАЙДИ И ПРИЯТНО УДИВИШЬСЯ

Ишак Мамэ и сестры-мулатки, Хаэ и Замба, были приглашены сидеть в кофейне. Получали они за это по стакану «дузику» и — килвы, рахат-лукума, шербету, засахаренных орехов сколько влезет: Ртищев был широкий человек. «Я не эксплуататор, — кричал он Невзорову, — девка должна быть сытая, счастливая; лизни ее в щеску — сахаром должна отдавать...»

Карточный стол поместили в глубине кофейни, за ковровой занавеской.

— Здесь — святая святых, — сказал Ртищев, — после двух часов ночи, когда останется солидная публика, я появлюсь из-за занавески и щелкну колодой.

Кроме того, были наняты два музыканта, инвалиды-турки с мытскими на войне глазами.

— Если бы деньги, если бы деньги, — повторял Ртищев, — жессь бы Константинополь кверху ногами перевернул. Граф, для открытия нужна программа. Девки умеют юбками вертеть, этого мало. Ты должен выступить в куплетах.

— Не могу, сроду не пел, стану я срамиться!

— В таком случае я приказываю. Я тебя из дела вышвырну. Я сам припомню, — спою какую-нибудь шансонетку на французском языке. Ты, невежа, можешь петь по-русски.

Семен Иванович пожал плечами: «Ладно, буду петь». Он работал и суетился, но в глубине оробевшей души не верил в успех. Чувствовал, — не хватает какого-то гвоздя в их предприятии, но чего именно не хватало — не мог понять.

Настал вечер открытия. Ртищев был в визитке и в белой чалме со стеклянным пером. Он поминутно выбегал за дверь на улицу и становился рядом со своим портретом, пронзительно поглядывая на прохожих и подмигивая. Честолюбия этот человек был непомерного.

Семен Иванович почистился и побрился, повязал на гуттаперчевый воротник пестрый галстук. Хаэ и Замба густо напудрились, надели множество амулетов и страусовых, бывших под дождем перьев. Ишак Мамэ явилась пьяная, в разодранном платьишке, но лавитая и нарумяненная, как кукла. Все было в порядке. В кофейне зажгли керосиновую лампу. Инвалиды, подкрепившись кофеем, заиграли: один на струнах, другой на рожке — что-то жалобное и тягучее, как тоска по вытекшим глазам.

Наконец появились и посетители. Бочком проскользнули в дверь двое черномазых, с птичьими лицами, с наморщенными лобиками, — сутенеры. Они спросили по рюмке «дузику» и, бегая глазами, перешептывались. Вошел высокий, страшно бледный че-

ловец в матросских штанах, в одном тельнике. Голова выбрита, кроме спутанного чуба на макушке, ухо разбито в кровь. Он положил кулаки на стол и шептал что-то в ярости про себя, скрипя зубами. Вошел шикарный молодой человек, ростом и годами не старше пятнадцати лет, — счастливый биржевой игрок, будущий финансовый гений: носик пипочкой, одутловатый рот, котелок, брильянтовая булавка, тросточка, как у Чарли Чаплина. Мальчишка развлекался в грязных притонах на Галате. Ишак Мамэ и мулатки сейчас же сели к нему за столик. Вошел горячечно пьяный, но твердо державшийся деникинский офицер, спросил кофе с лимоном и бенедиктину и, глядя безумными глазами перед собой, бормотал со странной улыбкой:

— Магометане, янычары, клопеды, всех вырежем.

Понемногу кофейня наполнялась. Напитки спрашивались скуповато, гости, видимо, ожидали, — чем будут здесь удивлять. Слепые турки все тянули, тянули тоскливую волюнку. Настроение падало. Тогда Ртищев, заманчиво сверкнув золотыми зубами, объявил по-французски:

— Шансон националь а ля рюс, национальная русская песня, исполнит любимец Петрограда, Семен Невзоров...

У Семена Ивановича сразу одеревенели руки и ноги, голос ушел в живот, в глазах поплыли лица посетителей. Но девушки начали хлопать в ладоши и визжать. Он вышел на середину, поклонился, феска съехала на лоб, так и осталась. Он отвел руку с окоченевшими пальцами и, как из бочки, проговорил:

— Национальная русская песня.

Откашлялся. Слова, которым его с утра учил Ртищев, заматались в мозгу. Диким голосом он запел:

Я пошла к дантисту
И к специалисту,
Чтобы он мне вставил зуб.
Трам па, трам па, трам па...
Дантист был очень смелай,
Он вставил зуб мне целай,
И взял за это руп...
Трам па, трам па...

Семен Иванович мельком увидел, как Ртищев поднял руки к тюрбану, словно хватаясь за голову. Все же он dokonчил куплет. Сел. Пьяный офицер проговорил спокойно:

— Расстрелять.

Семен Иванович и сам понимал, что провалился с куплетами. Надо было спасать положение. Ртищев, выглянув на улицу, сообщил с тревогой, что на той стороне, против кафе, «стоит фараон». Как стал проклятый турецкий городской, так хоть бы пошевелился. Приходилось рисковать.

Неожиданно Ртищев отогнул занавеску, скрывавшую карточный стол, и появился перед почтеннейшей публикой с колодой карт в поднятой руке, — точь-в-точь как портрет его на двери.

— Фет во же, месьедам. Начинаем! Заметано!

Поднялись сутенеры, пьяный офицер, финансовый гений вместе с девчонками. Человек десять сели за стол. Занавеску опустили. Слепые турки продолжали надирать душу. Семен Иванович, не предчувствуя добра, прибирал грязные рюмки. Слышались короткие восклицания игроков, шелканье карт и кабалистические призывания Ртищева:

— Делайте вашу игру. Заметано, ребяташки! Четыре сбоку — виших нет! Есть такое дело!

В это время в кофейню спокойно вошел турецкий полицейский, отогнул занавеску и сказал сразу отпрянувшим от стола игрокам что-то гортанное. Первым мимо него ужом проскочил на улицу финансовый гений. В минуту кофейня опустела. Ртищев был накрыт с личным.

Переговоры с полицейским оказались коротки и несложны. Он смирно выкатил глаза, пальцем чиркнул себя по шее и высунул язык, — Ртищев и Семен Иванович оробели. Тогда полицейский ухмыльнулся, показав желтые зубы, прищурил глаз и тем же пальцем показал себе на ладонь. Семену Ивановичу пришлось снять с груди листочек и отдать проклятому турку все сбережения.

Затем Семен Иванович и Ртищев сели к столу под лампой, подперлись и мрачно замолчали. Большой грек Синопли слабо икал на прилавком. Дело сорвано было в самом зародыше.

Ртищев предложил пойти утопиться в заливе Золотой Рог. Семен Иванович, глядя ему на стеклянное перо тюрбана, промолчал: отчего бы, действительно, и не утопиться. Мыслей в голове у Невиорова не было никаких. Не осталось даже робкой надежды, питавшей его все эти дни.

И вот в эту минуту, — уничтоженный, брошенный судьбою на дно, — он ощутил странное состояние: показалось, что все это он уже видел однажды, — и стол, и смятую скатерть, и тень от своей головы на ней. Это безусловно было. Но где, когда?

В эту самую минуту через стол бежал таракан. Словно свет брызнул в памяти Семена Ивановича. Вспомнил! Это было в Одессе. По столу так же бежал таракан, и он еще подумал тогда: «Ишь ты, рысак», — и сшиб его щелчком.

Но почему, почему в эту минуту вспомнилась такая пошлая мелочь, как пробежавший в Одессе таракан? Семен Иванович изо всей силы наморщился, пытаясь проникнуть в сущность появления тараканов в его жизни. (В тяжелые минуты он всегда прибегал к мистике.) Тогда второй таракан вылез из-под блюдечка и пустился вдогонку за первым. Ртищев проговорил мрачно:

— Второй перегонит, ставлю десять пиастров в ординаре.

Мгновенно и ослепительно открылась перед Семеном Ивановичем перспектива. Тяжело дыша, он встал, вонзил ногти Ртищеву в плечи:

— Нашел. Это будет — гвоздь. Завтра к нам повалит вся Галата.

— Ты с ума сошел?

— *Тараканьи бега*. — Семен Иванович схватил стакан и накрыл им обоих тараканов. — Этого оккупационные власти не увидели. Это законно. Это ново. Это азартно.

Ртищев смотрел на него ошеломленный. Затем засопел, припал к Семену Ивановичу и стал целовать его в пылающий череп.

— Граф, ты гений. Граф, мы спасены. Сто тысяч турецких фунтов предложи отступного, — плюну в лицо! Ведь это же миллионное предприятие!..

Три дня и три ночи Семен Иванович и Ртищев в гостинице «Сладость Востока» ловили тараканов, осматривали, испытывали, сортировали.

Отборные, жирные, голенастые, с большими усами — были помечены белой краской, номерами на спинках. Их тренировали, то есть, проморив таракана голодом, брали деревянными щипчиками, ставили на стол. На другом конце стола рассыпались крошки сладкой булки. Голодный таракан бежал. Если он бежал не по прямой — его опять ставили на прежнее место. Затем натренированных тараканов пускали по десяти штук сразу от меловой черты.

Эти состязания оказались настолько азартными, что на третью ночь Ртищев проиграл Невзорову на таракане номер третий, названном Абдулка, новую визитку и котелок.

Визитку, впрочем, пришлось сейчас же продать для приобретения *беговой дорожки*, то есть особой доски, вроде настольного бильярда с бортами, номерами, с колокольчиками и ямками для крошек.

И вот в кофейне грека Синопли появилась над дверью, над портретами Невзорова и Ртищева, вывеска поперек тротуара:

БЕГА ДРЕССИРОВАННЫХ ТАРАКАНОВ НАРОДНАЯ РУССКОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Весть об этом к вечеру облетела всю Галату. К дверям Синопли нельзя было протолкаться. Вход в кофейню стоил десять пиастров. Посмотреть на тараканьи бега явились даже ленивые красотки из окошек. Компания английских моряков занимала место у беговой дорожки. Ртищев, держа щипцы в одной руке и банку с тараканами в другой, прочел вступительное краткое слово о необычайном уме этих полезных насекомых и о том, как на масленице ни одна русская изба не обходится без древнего русского развлечения — тараканьих бегов.

Все кафе аплодировало его речи. Ртищев шикарно взмахнул щипцами и выпустил первый заезд. Моряки покрыли его десятью фунтами. Ртищев не ошибся: тощий таракан, на которого вследствие его заморенного вида никто не ставил, пришел первым к старту — трехцветному русскому флагу. Невзоров, державший тотализатор, выдал пустяки. Англичане разгорячились и второй заезд покрыли двадцатью фунтами, кроме того, фунтов пять покрыли сутенеры и хозяева публичных домов. Грек Синопли перестал икать.

В разгаре игры появился знакомый уже полицейский, но, увидев тараканов, растерялся. Ртищев коротким жестом предложил ему место у стола и стакан водки.

— Еще один заезд, — восклицал Ртищев, — самцы, двухлетки, не кормлены с прошлой недели, злы, как черти. Фаворит — номер третий, Абдулка.

С этого вечера кривая счастья Семена Ивановича круто повернула кверху.

Слух о тараканьих бегах поднялся из трущоб Галаты и облетел блестящую Пэру, и сонный Стамбул, и азиатские переулки Скутари. Работать приходилось почти круглые сутки. В гостинице «Гладость Востока» были выловлены все тараканы. Появились подрижатели. Ртищев вывесил на дверях предупреждение, что «только здесь единственные, патентованные бега с уравнильным весом насекомых, или *гандикап*».

Семен Иванович относил ежедневно изрядные суммы в банк. И вот настал день, когда растревоженное воображение его устремилось к шумным холмам Пэру. Им снова овладела мечта об аристократическом салоне, о графинях и княгинях, сладострастно перебирающих ножками на скамеечках, о самом себе — малокровно-бледном, томном, играющем золотой цепочкой от часов на шелковом жилете фраки. Это видение будило его по ночам, сушило глаза, рвало сердце.

Он давно уже забросил феску и теперь приходил в кофейню в смокинге, галстучке-фокстрот, лимонных перчатках и фетровой шляпе с машинкой внутри, придерживающей складку. Напудренный и молчаливый, он стоял, облокотясь о прилавок, и пустыми глазами смотрел на гостей, шумно и хамски теснившихся у тараканьей площадки. Однажды, перед отходом ко сну, рассматривая свои ноги в трикотажных шелковых кальсонах апельсинового цвета, он сказал Ртищеву:

— Дело в том, что моя мать была в незаконной связи с графом Гидриковым, акурат за год до моего рождения. Отец меня всегда ненавидел — не знаю почему. Игра судьбы.

Он вздохнул, лег в несоответствующую его вкусам постель и больше не прибавил ни слова. Наутро, в смокинге, с тросточкой, он пошел в Пэру, прогулялся мимо шикарных магазинов, купил две гаванские сигары, посидел под балдахином в большом кресле у чистильщика сапог, который только обмахнул его лакированные туфли, кое-кому поклонился, приложив палец к шапочке, и зашел позавтракать в самый шикарный ресторан, к Токатлиану.

— Салат, устрицы, бутылку сабли и сыр, — сквозь зубы скалил он метрдотелю.

Он вынул патентованный предмет — одновременно мундштук, зажигалка, зубочистка, карандашик, пилочка и прочее, — и стал чистить ногти. Он улыбался своим мыслям.

Давно ли это было: в Москве, в кафе у Бома, он показывал девочкам визитную карточку с графской короной? Или харьковские и киевские похождения под видом конта де Незор? Сколько глупостей наделано, сколько зря растрачено денег. Через эти ошибки и падения, мечту и бред — странная судьба, предсказанная цы-

ганкой, вела его к действительной, единственной, подлинной жизни. Десять кож он переменял, объездился, обтерпелся, насобачился. И теперь, продолжая чистить ногти, хотя перед ним уже поставили и устрицы и вино, он чувствовал себя уверенно, как прирожденный европеец, представитель старой, прочной культуры.

«Предположим, я вышел из Мещанской улицы. Предположим, отец мой даже и не Гендриков, а просто Невзоров, державший некогда на Мещанской же улице мелочную лавку. Предположим, что в лесу со мной неприлично обошлись господа офицеры. А кто одет по последней моде? Кто проглотил сейчас эту вот устрицу? Кто вскарабкался наверх по горе трупов? Кто бесполезное и пошлое насекомое, таракана, превратил в валюту? Я, один я. Позвольте представиться: Семен Невзоров, яркая личность, король жизни».

Семен Иванович проглотил, наконец, с легкой спазмой устрицу. В этот час у Токатлиана он испытывал прилив сатанинского тщеславия. Он был вознагражден за все труды и унижения. Жилистыми шагами он устремлялся вдоль чудесной перспективы, вперед к славе.

Он ясно видел последовательные этапы этого пути. Первое: он открывает в Перу шикарный интимный ресторан с тараканьими бегами и отдельными кабинетами. Для особо избранных будет аристократический салон, — вход только во фраках. В салоне — изысканное кабаре из нестерпимо пикантных номеров. Второе: женитьба на миллионерше, скорее всего — вдове. Вилла на берегу моря, автомобиль, яхта. Третье: он везде и всюду. Он законодатель мод, он рычаг политики. Он председатель банковского объединения, он — злой гений биржи... Четвертое: он встает во главе священного движения. Первым делом он выгоняет из Европы всех русских, без разбору, — вон, крапивное семя! Искореняет революционеров безо всякого стеснения. Напускает террор на низшие классы. Вводит обязательное постановление: нравственные принципы жизни, — немного, правил десять. Но — сурово. Кто скажет слово «революция» — на телеграфный столб. Наконец Семен Иванович объявляет себя *императором*.

— Фу ты, черт! — даже пот выступил у Семена Ивановича на черепе. — Неужели и это возможно?.. А почему мне и не сделаться императором, в конце концов?.. Наполеон тоже, говорят, был из мещан. — В голове у него звенело, в глазах прыгали золотые иглы. И будто внутри него проговорил оглушительный голос: *император Ибикус Первый!*

С гаванской сигарой в углу рта Семен Иванович вышел на Перу, все еще самодовольно усмехаясь своим мыслям. В конце улицы он свернул на двор бывшего русского посольства, где теперь помещался какой-то не вручивший грамот присяжный поверенный.

На дворе перед посольством, вот уже третий месяц, сидели на ступеньках, лежали в пыльной траве на высохших клумбах русские, в большинстве — женщины, те, кто уже проел последнее колечко, последнюю юбочку. Здесь они дожидались субсидий или

ни. Но субсидии не выдавались, по поводу виз шла сложная перипетика. У невручившего грамот не было сумм, чтобы кормить всю эту ораву — душ двести пятьдесят, и души на дворе посольства «удели, обнашивались, таяли, иные так и оставались ночевать на сухих клумбах у мраморного подъезда.

Семен Иванович прошелся по двору, чуть-чуть даже прихрамывая и опираясь на тросточку. Нужно было, конечно, много вкуса и воображения, чтобы среди этих унылых женских фигур найти жемчужины сто будущего «аристократического салона». Он с трудом узнал несколько знакомых по пароходу, — так эти женщины изменились. Вот девушка, та, которую он тогда прозвал «котик, чудная мордашка», сидит, опершись локтями о худые колени, личико — детское, очаровательное, но даже какие-то пыльные тени на лице. А ножка, — если ее вымыть да обуть как следует, — *бижутери!*..

Семен Иванович трепетнул ноздрями. «Эта будет первая, названием ее княжна Тараканова». Он присел рядом с девушкой на ступеньку и разговор начал издали, отечески добродушно.

Много ли улетело времени с тех пор, когда Семен Иванович Невзоров сидел за кофейником у окна своей комнаты на Мещанской улице? Дым — пулька пробил стекло, и засвистал непогодливый ветер: «Надюю, надую тебе пустоту, выдую тебя из жилища». Семен Иванович, гонимый тем ветром, закрутился, как сухой лист. И вот он уже перелетел за море, он — в Европе. Богат и знаменит. Перед ним разгортывается роскошная перспектива. Предсказания старой цыганки с Петербургской стороны сбылись. Повесть как будто окончена...

Разумеется, было бы лучше для повести уморить Семена Ивановича, например, гнилой устрицей или толкнуть его под автомобиль. Но ведь Семен Иванович — бессмертный. Автор и так и так старался, — нет, Семена Ивановича не так-то просто стереть с листов повести. Он сам — Ибикус. Жилистый, двужильный, с мертвой косточкой, он непременно выцарапается из беды, и — садись, пиши его новые похождения.

В ресторане у Токатлиана Семен Иванович сам, на этот раз без помощи цыганки, рассказал свою дальнейшую судьбу. Заявил, что он — король жизни. Так-то оно так, но посмотрим. Я несколько не сомневаюсь в словах Семена Ивановича. Я даже знаю, что аристократический салон — со скамеечками и ножками, с ужасно пикантными номерами — он открыл. На вывеске в темные ночи горела поперек фасада заманчивая надпись: «Салон-ресторан с аттракционами — *Ибикус*». Семен Иванович нажил большие деньги и женился...

Честность, стоящая за моим писательским креслом, останавливает разбежавшуюся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь врать, отпиновись, — поживем увидим. Поставь точку...»

СЛУЧАЙ НА БАССЕЙНОЙ УЛИЦЕ

На первый взгляд происшествие на Бассейной улице ничем особенным не отличалось от десятка подобных же нарушений уголовного кодекса. Любопытство к этому делу появилось, когда следователь, прокурор и судьи увидели лица участников преступления, услышали их откровенные показания, вникли в детали и от них поднялись к самым широким обобщениям. Решение губсуда прошло под несомненным впечатлением речи защитника. Он начал так:

«Нити преступления нужно искать там, откуда была привезена фильма, которую с таким, я бы сказал, религиозным вниманием пять раз смотрели подсудимые... Позвольте отойти немного назад и нарисовать истинную картину всего этого происшествия...»

.....

В черных, как ночь, широких и мокрых тротуарах отражалась бессонная жизнь Больших бульваров. По асфальту, отраженным огням, по кровавым от огней лужам летело множество женских ног, и летели в бездонных зеркалах тротуаров опрокинутые эти ноги, короткие юбочки, шелковые плащи. Казалось, вся жизнь, как мрачный, возбуждающий сон, перевернута кверху ногами. Во всяком случае, так воспринимал ее Жиль Боно, тащившийся сбоку тротуара, опустив голову, засунув руки в бархатные штаны.

По профессии Жиль Боно был негодяй. Если бы не полицейские, если бы в особенности не полицейские на велосипедах — он бы многое мог позволить себе в этом городе, несмотря на расшатанное здоровье (хроническая гонорея, катар кишок и нервная чесотка). Но Боно был неглуп и отважен. Он получал пенсию (сто пятьдесят франков) за ранение на войне, и эти гроши позволяли ему не кидаться очертя голову на слишком рискованные предприятия.

Хотел он многого — всей этой роскоши, которая проносилась в длинных машинах по озаренным, как бальные залы, бульварам Парижа. Но больше всего хотел женщин. Надушенные, нежно-ро-

номыс, в драгоценных мехах, сучьеглазые женщины мучили его до потери сознания. Он знал, сколько стоит любовная судорога с любой из этих красоток, и только шуршал осколками зубов, глядя с крыла тротуара, как лезет из машины длинноногая полуголая девка, мотающая сегодня ночью доллары или фунты. Жиль был уверен, что и болен-то он тремя болезнями только оттого, что кровь в нем миа в сгустках, вся сдохшаяся от желаний. Он шел, подергивая спиной от озноба, втягивая ноздрями запахи толпы. Брел без цели, без определенного плана, как зверь, пробирающийся тропической ночью в джунглях.

Впереди разливалось розовое сияние. В его свете изнемогали, бледнели все огни. Женщины, проходившие сквозь этот свет множества ртутных ламп у вестибюля кинотеатра, казались восковыми, глаза их сверкали, как стеклянные. С боков входа стояли два щита с нестремными афишами: «Убийство на улице Вожирар». Фильма — как фильма, не гвоздь сезона. Но почему-то Жиль остановился перед щитом и, помигивая воспаленными веками, долго рассматривал рисунок — господина во фраке и в полумаске: с окровавленным ножом этот франт перешагивал через труп лысого старика. «Забавно, — подумал Жиль, позвенеет деньгами в кармане штанов, — забавный сюжет». Он вытащил горсть меди и вошел в вестибюль.

Стоит ли описывать эту кинокартину? Сын банкира и его жена — образец приличной женщины, склонной к слезливости. Затем — таинственный красавец нефранцузского происхождения; он хочет обольстить жену сына банкира, чтобы завладеть капиталом. Затем — куртизанка, которая живет среди сумасшедшей роскоши. В сценах домашнего быта этой куртизанки французская индустрия напустила золотой пыли в глаза, — в полутемном зале только поахивали. Таинственный красавец, конечно, сводит сына банкира с куртизанкой. Жена сына банкира отказывается от пищи и при среднем сочувствии зала тает в слезах. Сын банкира, конечно, проигрывается в карты и на скачках, — где опять громко заявляют о себе дома больших портных и индустрия-люкс. Он готов на преступление. И вот — преступление совершается. Вначале все уверены, что лысого старика, ростовщика, убил сын банкира. Но это было бы нехорошо со стороны сына банкира, и выясняется, что убийца — тот самый таинственный красавец.

Когда это окончательно стало ясно, Жиль громко засмеялся.

— Чепуха! — сказал он соседке справа. — Это просто шикарная реклама: перекачивать кружочки из Америки и Лондона. Но здесь ни слова правды, кроме того, что парень, пришивший старичка на улице Вожирар, ушел от руки полиции. А вот заснять в кино историю, какой она была на самом деле, — вы помните, мадемуазель, в ноябре прошлого года весь Париж кричал о «кровавой работе» на улице Вожирар, — о, изобразить все те подробности — получилось бы гораздо смешнее. А это — для иностранцев...

До конца сеанса Жиль издевался над картиной. Выходя из театра, он закурил сигарку и с минуту постоял в широком подъезде, залитый

ослепительным розовым светом. Пусть девочки, бегущие в телесных чулочках по зеркально-черному асфальту, обернутся восковыми мордашками, скользнут стеклянными глазами по его штанам, по его кепке, по его выдавшемуся подбородку... Вот он, Жиль Боно, никому не ведомый человек, о котором, несмотря на это, сочинена чепуха в двенадцати частях и трех сериях из жизни банкиров. Это он, Боно (направо и налево), на афишах перешагивает во фраке и полумаске через труп, и вот он стоит живой перед вами... Хе-хе...

Боно действительно имел некоторые основания погордиться на подъезде театра, потому что в ноябре прошлого года на улице Вожирар он, Жиль Боно, без сообщников, зарезал бритвой одинокого старика консьержа, ограбил его на десять тысяч франков и с тончайшим искусством замел следы.

Да, это была минута славы, но одинокой. И в кармане осталось от славы четыре су, то есть не хватит и на рюмку водки. Эти буржуа, эти мировые шакалы в конце концов просто ограбили его, Жюля Боно. Выплюнув сигарку, он сошел с поезда и втерся в самую толщу человеческого потока, чтобы по крайней мере подышать запахом женщин.

Жиль Боно пропал в толпе. Дальнейшая судьба его нас не интересует. Он дал великолепную тему, не получив за нее ни сентима, его обокрали — он больше не нужен. А роскошная фильма «Убийство на улице Вожирар» пошла гулять по свету, прославляя индустрию-люкс, дорогих женщин, волнуя элегантными ужасами и возбуждая адскую жажду.

Год спустя фильма попала в Ленинград, на Петербургскую сторону, в кинематограф «Леший». Надписи были переделаны, особо вредные места вырезаны, фильма называлась теперь «Великосветские бандиты Парижа».

И вот в июньский вечер смотреть великосветских бандитов пришли Мария Осколкина и Михаил Цибриков. Марии было шестнадцать лет, Михаилу — семнадцать. Оба они этой весной бросили школу: Мария — потому, что уже вышла из того возраста, когда учат уроки, Михаил — потому, что весь свет заслонила ему Мариина коротенькая юбочка. Жили они пока еще — Михаил у отца, державшего в Апраксином рынке галантерею, Мария, сирота, — у тетки, промышлявшей на дому трикотажем. Поселиться отдельно не хватало денег. К тому же у Марии, или Мери (так она приказывала себя называть), после того как она продала на барахолке все учебники и письменные принадлежности, с непостижимой быстротой стал развиваться вкус к мелочам женского обихода. Откуда она доставала деньжонки на подвязочки с бантиками, чулочки, коробочки с пудрой, флакончики духов и так далее — Михаил не знал; тайна, все — тайна, сплошной секрет. «Если хочешь, чтобы я тебя любила, — ни о чем не спрашивай», — говорила ему Мери.

Итак, Михаил и Мери, зайдя в «Леший» и усевшись на тридцатикопеечные места, разинули рты и перестали дышать, когда ошарашенный экран увлек их головокружительным водоворотом на улицы Парижа. Так вот он, Париж!.. Так вот как живут настоящие люди — красавицы, кокетки, великосветские бандиты, элегантные шлюзы банкиров...

Мери взяла руку Михаила и запустила в нее ногти. Он не шикнул. Куда ему было соваться со своими джимми за восемнадцать рублей, с большим ртом и цыплячьей грудью!.. У Мери странно блестели глаза, когда таинственный красавец (будущий убийца) надевал перед роскошным зеркалом фрак, такой, какие бывают только на картинках... А какие носки, какой жилет, какой он весь, от пробора до туфель, восхитительный мужчина!..

Михаил с тоской думал: этот фронт будет Мери снится... Вот он sprыснул себя духами, надел сверкающий цилиндр, крылатку, вдруг усмехнулся криво, вынул клинок кинжала и пристально стал глядеть полуаршинными глазами с экрана в душу Мери...

— Миша, я должна ехать в Париж...

— Мери, милая, мы, конечно, поедem... Когда-нибудь...

— Но как можно скорее, покуда у меня тонкая фигура и божественный цвет лица...

— Откуда же деньги-то? Ну, я продам пальто, револьвер... Ты еще откуда-нибудь достанешь... Не хватит, вот чего боюсь...

— Да ты — мужчина или ты — мальчишка? Мужчине не достать денег — фу...

Мери оглянула Михаила прозрачными глазами, презрительно ниморщила приподнятый носик... (Мери была самой красивой девушкой в Ленинграде. Даже на улице постоянно замечали: «Смотрите — хорошенькая блондиночка, совсем Мери Пикфорд».)

— Это хорошо им в Париже доставать деньги: там небось частную инициативу не душат, — проворчал Михаил.

— Смотри, как бы с такими разговорами ты меня не потерял.

— Так что же — украсть, ограбить? Только ведь остается...

— Знаешь, Миша, кажется, напрасно ты за мной тянешься... Рот у тебя какой-то желтый... Такие мальчишки не внушают большой уверенности...

Разговор этот происходил в антракте, и снова погас свет в зале, и по озаренному экрану продолжали мчаться тени волшебной жизни. Мери вышла из театра «Леший» спотыкаясь, ничего не видя; Михаил — мрачный, надутый — ступал своими джимми, не разбирая, прямо в лужи.

Над Ленинградом прошел ночной дождь, прибил пыль; тянуло сладким и свежим запахом тополей из Кронверкского парка. Мери дошла до остановки трамвая, подала Михаилу холодные кончики пальцев:

— Прощай. Я одна.

- Куда?
- Не твое дело...

Пять раз Мери смотрела фильму «Великосветские бандиты».

С каждым разом (приходя в кино, где ее ждал Михаил) Мери становилась все шикарнее. Обрезала юбку на полтора вершка выше колен, завела шляпку кирпичного цвета, шелковые чулки. Михаил боялся даже смотреть на нее, мрачнел с каждым разом.

— Мери, как же это: опять новые туфли?

— Немного жмут, знаешь, прямо беда...

— Ради бога, не мучай... Кто тебе делает подарки?

— Безусловно это не твое дело... Будь доволен и тем, что мной обладаешь.

Михаила мучила неопределенная ревность. У него трещала голова — так много он думал, откуда бы раздобыть денег на поездку в Париж? Поскорее увезти Мери из Ленинграда, окружить роскошью, осыпать драгоценностями. Самому ходить в крылатке, в цилиндре с восемью отблесками.

Он продал зимнее пальто, все книжки, радиоприемник (собственной работы), коньки, валенки, занял у товарищей по мелочам полтора червонца и ночью пошел в игорный дом. У денег за зеленым столом вырастают крылышки — в несколько минут деньги выпорхнули у него из кармана. Проигрался. Хотел повеситься на подтяжках в клозете, но как-то обошлось. В три часа утра он громко рыдал, сидя на набережной Васильевского острова под египетским сфинксом. На той стороне реки пылали в утренней заре окна дворцов. Дымная, лазоревая Нева плескалась у ног огорченного мальчишки. Мери в эту ночь шаталась неизвестно где — кто-то ее, вне всякого сомнения, обнимал в эту минуту, когда еще прохладное солнце поднималось за крепостью из-за длинных малиновых утренних облаков.

Страдать было невыносимо. Михаил пошмыгивал, слезы капали на дешевенький пиджачок. «Да, нужно решиться, нужно сделаться бандитом и с карманом, полным червонцев, с ножом в руке потребовать от Мери, чтобы она не торговала своим телом».

На следующий день он так и заявил Мери:

— Я все испробовал. Мне не повезло в карты. Ты видишь, Мери, как я тебя люблю: вопрос о том, чтобы сделаться бандитом, решен мной в положительном смысле...

На это Мери сказала:

— Ты дурак... Вот в баре на Михайловской я видала настоящих бандитов. Смелые, как черти, и шикарные.

— Хорошо, хорошо, Мери, кто смелее — мы это еще посмотрим.

— А что? Разве ты уже придумал что-нибудь? — спросила она с любопытством. Такой ответ большеротого Мишки ей, видимо, понравился.

— Может быть, — проговорил он, — там увидим.

Некоторое время он играл на Мерином любопытстве: говорил туманные слова. Но, в конце концов надо было действовать. Тогда он сказал, что один нэпман, за которым он ходил (хотя тот был вымучен до зубов резиновой палкой, тростью со стилетом и револьвером), внезапно уехал за границу, и дело сорвалось. Мери никому поверила.

— Миша, а много у него было денег?

— Тысячи две червонцев всегда при себе носил, в портфеле...

Она молча всплеснула руками и совсем уже растерялась, когда подсчитала, сколько можно было купить всяких вещей на две тысячи червонцев. С этой минуты горячая голова ее стала работать в том же направлении: проследить нового нэпмана с двумя тысячами червонцев. Отношение ее к Михаилу изменилось, — он сразу почувствовал все выгоды быть бандитом.

— Миша, ты меня, главное, не ревнуй, — говорила теперь Мери, — если я бываю с мужчинами, то это для нашей общей выгоды. А люблю я одного тебя. И мы уедем, уедем в Париж.

Дождаясь Мери в Адмиралтейском парке, Михаил еще издали увидел, как летело по аллее в полосах солнечного света розовое платье, розовая шляпка. Румянец заливал щеки Мери. Не здороваясь, шлепнулась на скамью. Оглянулась направо, налево:

— Нашла. Есть один.

— Ну? Кто?

— Нэпман. Богач. Колоссальные деньги. Женатый, интересуется женщинами и страшный дурак. Его все девочки зовут «Тыква»... Ну, Миша... (У нее расширились синие глаза.) Ну, Миша, зевать нельзя...

— Пускай только попадетс я мне в руки. Выпотрошу.

Мери повела Михаила в бар — показать «Тыкву». При одном взгляде на нэпмана у Михаила завалилось сердце черт знает куда: «Тыква» оказался огромного роста, тучным мужчиной с сизо-брильным жирным лицом, в котором было что-то бабье. Лоб у него зарос волосами почти до бровей. Одет шикарно, во все новое, заграничное. На мизинце — большой бриллиант. Окруженный девицами, он благополучно пил боржом.

Мери зашептала Михаилу:

— Семья у него в Москве. Здесь он наездом, ворочает делами. И все удивляются, почему он не в Соловках. Так что вдвойне надо горопиться.

Она встала и особой походочкой (у Михаила сразу защемило в животе от ревности) прошла мимо «Тыквы», покачивая бедрами. Он протянул к ней руку — на весь бар брызнули лучи из перстня.

— Цыпка, блондиночка, садись...

— Я занята, — строптиво ответила Мери.

Он все же поймал ее руки, привлек к себе и долго о чем-то шептал на ухо. Мери освободилась, пожалала плечами, отошла. Ми-

хаил видел, как «Тыква» вытащил платок и вытер жирное лицо и шею под шелковым воротником.

Этот нэпман в баре казался видением из далекой и волшебной жизни великосветских бандитов. Все дальнейшее было делом одной Мери, Михаил исполнял только приказания. Она отыскала комнату с отдельным ходом и ключом на Бассейной улице, где могла бывать, не прописываясь. (Хозяйка комнаты жила в Сестрорецке.) Она заставила Михаила ходить по следам за «Тыквой» из банка в банк — собирать точнейшие сведения о его денежных операциях. Михаил видел за окошечками в банках толстые связки червонцев: очевидно, все эти несметные богатства принадлежали «Тыкве». Мери и Михаила трясла лихорадка. Нэпман каждый вечер приходил в бар и интересовался Мери. Но она ни разу не подседа к его столику — дразнила издали.

И вот, когда все было готово, Мери сказала Михаилу:

— Сегодня приходи на Бассейную к десяти часам. Не забудь — захвати револьвер... Голыми руками не справишься.

Михаил по пути домой купил сороковку и выпил ее в парке. Думал, что подействует, но мороз продолжал драть по коже. Он валялся на кровати, курил, прятал голову под подушку, хрустел пальцами. Когда в столовой, где отец читал газету, пробило девять, Михаил сорвался с постели, вынул из стола револьвер и мелко-мелко закрестился...

К десяти часам он был на Бассейной. Мери открыла ему дверь. Зашептала, втаскивая в комнату:

— На лестнице никого не встретил? Тише, тише, молчи, ни слова. Почему от тебя водкой несет? Струсил?

— Ничего подобного... Сама трусишь...

— Не гуди... Не стучи каблуками. Слушай меня внимательно... Ты здесь останешься... Я уйду... Когда услышишь, что я его привела, что я отворяю дверь, — ты станешь вот за эту портьеру. И ты там стой, не дыши, не шевелись, что бы я ни делала... Когда увижу, что он уже пьяный, — я хлопну в ладоши. Ты, значит, и выскакивай с револьвером...

Мери надела розовую шляпку, живо напудрилась, взбила височки перед зеркалом и убежала. Михаил остался один. Что он переживал за эти два часа до появления нэпмана? Никогда впоследствии он не мог толково рассказать об этом; установлено только, что выпил большой графин воды и часть воды из умывальника.

Ровно в двенадцать часов послышалось на лестнице кошачье хихиканье Мери, зашуршал ключ в замке. Михаил, как привидение, ускользнул за портьеру, прикрывавшую дверной вырез в капитальной стене, и там стоял, обливаясь потом, смертно боясь чихнуть.

Первой в комнату вошла Мери, за ней нэпман с шампанским и фруктами. Он посапывал от одышки и сейчас же повалился в кресло. Мери не переставая говорила, хихикала, как-то особенно ходила по комнате: «Тыква» старался поймать ее, посадить на колени, она со смешком увертывалась. Тогда он хлопнул пробкой:

— Ну, пить — так пить... Хотя я и не большой охотник. Я скоро пьянею.

— Ах, как я люблю шампанское, вы поверить не можете! — нищала Мери. — Я могу выпить три бутылки.

— За что же мы пьем?

— За ваше будущее.

— Ишь ты, как подковырнула... За лучшее будущее! Эх, черт возьми, девчонка, тебе и во сне не увидеть, как мы раньше жили. И Вилла-Родэ на серебряной посуде кушали, а какие были женщины — с ума сойти... А теперь вот таким огрызочком довольствуешься, как ты... Ну, ну, не сердись.

— Нет, рассержусь... Во всяком случае, пейте.

— Иди ко мне!.. Какая ты вертлявая!

— Сяду, но только выпейте.

— За что еще?

— За наши отношения в дальнейшем.

— Вот куда гнешь... Отчего же, посмотрю, какая ты сладенькая...

Он откупорил вторую бутылку. Мери сидела у него на коленях, прыкая ногами. Он захмелел и целовал Мери... Она же все не подавила знака — смеялась, пила, бросала в зеркало апельсиновые корки...

Михаил, оглушенный, несчастный, боясь дышать, стоял за портьерой. Кинуться бы, избить нэпача, вытолкать за дверь! Как он смеет целовать Мери, жирно хохоча, раскачивать ее на коленях... Но Михаил не смел даже пошевелиться. Выпитая водка с огромным количеством воды отбила у него последнее мужество. Сейчас, он чувствовал, должно совершиться страшное...

— Нет, нет, не нужно, подождите... Пустите меня, — прозвучал жалобный голос Мери.

Тогда Михаил от всего отчаяния, от всей своей униженности громко всхлипнул за портьерой, револьвер выскользнул из руки, ижело стукнул о паркет. Сразу стало тихо.

— Кто там у вас? — хрипло спросил «Тыква».

— Подлец, трус! — Мери сорвалась с его колен, распахнула портьеру. Лицо ее пылало гневом и возбуждением. — Плакса! — Она изо всей силы ударила по вспухшему большеротому лицу. — Ну же, дурилка! Схватила револьвер, повернулась к нэпману и стала подходить. Он сразу осел в кресле, развел руки. Челюсть у него отвалилась. Вымученными глазами глядел в черную дырку револьвера.

— Денег... Я стреляю, — сказала Мери.

— У меня нет с собой денег, — захлопнув челюсть, проговорил «Тыква». — Не стреляйте, слушайте...

— Денег! Если крикнете, то...

— У меня деньги дома, у компаньона... Я же не ношу с собой денег...

Такого оборота вещей не ожидали ни Мери, ни Михаил, стоявший сзади нее со сжатыми кулаками и перекошенной мордой. Револьвер заходил ходуном в Мериной руке. «Тыква» совсем струсил и сам помог выйти из затруднительного положения:

— Не вертите им, он так непременно выстрелит. Черт с вами! Дам я, дам денег, но за ними нужно съездить...

Немедленно Мери стащила с себя панталоны, приказала Михаилу разорвать на ленты. «Тыква» протянул ноги, их связали. Кряхтя, косясь на револьвер в Мериной руке, он написал записку. (Примечательно, что Мери не сказала цифру, и «Тыква» сам указал ее в записке.) Михаил сейчас же ушел по указанному адресу. Сорок минут Мери выдерживала нэпмана под дулом револьвера, иногда только брала апельсин из корзинки, зубами сдирала кожу.

— Тихо, не шевелиться, — повторяла она, выплевывая косточки.

«Тыква» пробовал ее улещать, стыдил вкрадчивым голосом, вспомнил даже о своих детках в Москве — Мери была неумолима, как настоящая бандитка. Наконец вернулся Михаил с деньгами. Привез тридцать червонцев...

— Да ей-богу, больше нет! — завопил «Тыква». — В следующий раз как-нибудь, с большой радостью... Что? Вам этого мало? Ну, стреляйте в таком случае, сволочи, если не верите!

Мери пересчитала деньги. Сунула их за чулок. Зло надвинула шапочку:

— Хорошо. Мишка, развяжи его! Теперь слушайте, нэпман... Мы выйдем. Если вы сейчас же побежите за нами, мы вас застрелим на лестнице... Можете уходить только через десять минут.

— Пока! — сказал «Тыква» вслед уходящим и, засопев, потянулся за бутылкой.

Через несколько дней Мария Осколкина и Михаил Цибриков были арестованы в Севастополе. Они сейчас же во всем сознались. Михаил ревел и раскаивался. Мери держалась равнодушно-презрительно. Их отвезли в Ленинград. И вот на суде защитник окончил свою речь следующими словами:

«...Товарищи судьи, взгляните на потерпевшего, оцените его большую физическую силу, огромную сообразительность, которую он проявляет обычно в деловых операциях... (При этих словах «Тыква» стал протискиваться к двери, в зале захихикали.) Теперь взгляните на этих подростков, обманутых соблазнами Запада... Эти два романтика новой формации, два посетителя кино, связывают человека, который одним движением руки мог бы их обоих раздавить, как мух. И что самое главное — что я особенно подчеркиваю: револьвер, игравший основную роль во всем этом происшествии, был не заряжен. (Мери с бешенством взглянула на Михаила, он опустил голову.) Из этого револьвера никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя выстрелить, потому что это заржавленный и сломанный револьвер...»

.....

Суд приговорил Марию Осколкину и Михаила Цибрикова на пять лет условно.

ВАСИЛИЙ СУЧКОВ
(Картинки нравов
Петербургской стороны)

1

— Я так скажу: дети наши, имей они понятия, как мы, старики, — и на том слава богу.

— Нельзя теперь «слава богу», Тимофей Иванович.

— Ну, слава труду... Не придирайся — я старый человек... Скажи: мы боролись? Правильно я говорю?

— Боролись, Тимофей Иванович. Собственно, у меня служба тихая, я не боролся, а вы действительно боролись.

— Мне нравится, как вы отвечаете, Иван Иванович; вы человек прямой. Таких нам надо... Официант, еще парочку и два бутерброда с ветчиной... Так вот, мы страдали. Верно, Иван Иванович?

— Ну еще бы...

— Когда Путиловский завод зажигалки делал, вы представляете, каково было нам, старым мастерам, это видеть! Кто в ответе? Сылайся, пожалуй, на Антанту... Так-то, мол, так... А кто заводил? За этим все ниспровергли, чтобы лучший в Союзе завод зажигалки точил? Хорошо теперь — на верфи лесовозы строим. Все цехи работают... А в то время бывало, что и не верится... Так бы явил, лег среди разрушения и заплакал... Это разве не страдание? А кто восстановил завод? Видел эти руки? И кости-то на них — прижмоленные машинным маслом: гляди, какие пальцы черные... Изначит, я имею право говорить... И я говорю. Дети наши ни к черту не годятся... Они боролись? Нет. Они страдали? Нет. Они пенки собирают. А мы для них — устарелое племя. Мишка мой — комсомолец. Хорошо. Его трогать нельзя. Ему слово, он — десять. Ладно, ладно... Учись, выходи в первые ряды. Хотя потрепать-то следовало, но — обомнется... Ведь гавкать дерзко на каждое тебе слово еще не означает, что отец — дурак. Ладно, говорю, ладно... Мишка — честный парень. А вот Колька мой... Ну, этот... Тут я не могу. Завел он себе морские штаны, финский ножик... День работает, другой — с девками по заливу гуляет... И заметьте, Иван Иванович, его я тоже не могу ни палкой урезать, ни за волосы его взять... А какие у него волосы? Священные? И он сейчас же

идет на меня жаловаться — и мне выговор, в лучшем случае за истязание... А Кольке на роду написано — десять лет с изоляцией. Знаете, что он мне отвечает? «Ты мне докажи, старый хрен, почему я должен работать, когда я хочу гулять? Это в какой, хрен, книжке написано, чтобы я удовольствий лишился? Почему?» И он, сволочь Колька, говорит это так уверенно, будто он — правящий класс. «А будешь драться, — говорит, — я тебе дырку в животе сделаю...» И вертит ножом и глазами блистает...

— Отчаянное ваше положение, Тимофей Иванович.

— Хорошо. Я не доживу до конечного торжества. Я старый человек. Но я хочу, чтобы дети мои, внуки мои говорили на трех языках, Иван Иванович... Чтобы летали они на воздушных кораблях кругом всей земли, как у себя дома... Чтобы ручки их знали тонкую и умную работу... Я плачу, Иван Иванович, оттого что не вовремя родила меня мать... Родили меня — стену головой прошибать... Мы — героическое поколение, Иван Иванович... За нами идут дети и внуки... Черную-то работу мы сделали... Но каковы они? Вот мучительный вопрос. К примеру... У нас за Нарвской заставой строят рабочие кварталы — дома по заграничному образцу, с балконами и ваннами. Значит, есть намек, что теперь рабочий не будет жить, как свинья. Я прихожу с верфи. Я помылся, я сажусь обедать в строгом порядке, с моими домашними... Едим в опрятной комнате, и разговор у нас возвышенный, симпатичный... Верно ведь, да? А теперь — какова действительность? Этой весной я переезжаю на новую квартиру. Хорошо. И вот я иду с верфи домой, и куда я иду — с меня пальто снимают в переезде, — это раз... Налетают с финскими ножами, здорово живешь, походя кишки выпустят, — два... И если я, скажем, уберегусь от этих двух происшествий, прихожу цел-невредим домой, за моим опрятным столом уже сидит Колька... Конопатая морда так вся и пропитана матерщиной... Нет, Иван Иванович, много мы ждали бед, а эта беда неожиданная.

Тимофей Иванович отодвинул пивные бутылки, перегнулся через круглый столик к самому лицу Ивана Ивановича, поднял негнущийся палец:

— Затаенное. Еще никому не говорил. И близкие мои не знают. Василия Алексеевича Сучкова, зятя моего, Варварина мужа, стал я бояться. Не верю ему. Темный он человек.

— Бросьте вы, Тимофей Иванович! В самом деле, вам уже не знаю что мерещится...

— Верно. Никаких оснований. Но стану я о нем думать — и во рту у меня горько.

Разговор этот происходил в июне месяце на Петербургской стороне, в пивной. Разговаривали два старинных приятеля: Жавлин Тимофей Иванович, рабочий Путиловской верфи, и Иван Иванович Фарафонов, служащий по речному ведомству хранителем затона на Петровском острове.

День был безветренный, солнечный — воскресенье. В пивной было пусто, пахло кислым и раками. О зеркальное окно, на

котором шиворот-навыворот стояло: «Пиво Стенька Разин», звенели мухи, навевая полдненную скуку.

Приятели допили пиво. Покурили. Расплатились и вышли на улицу. Синее небо раскинулось летней тишиной над бедными улицами Петербургской стороны.

— А все-таки, — Тимофей Иванович поднял опять палец, — а все-таки зять мой — непроницаемый человек.

После этого они пошли рядом по выбитому тротуару, засыпанному подсолнечной шелухой. В вышине плыл аэроплан. Плыли белые, как снег, облака. Тишина, воскресная скука. В окнах — горшочки с цветами. На пустыре, среди кирпичных развалин, дети играют в мяч, и самый маленький плачет, сидя в лебедь.

Навстречу приятелям шла девушка в ситцевом светлом платье. Молодая шея ее, плечи, худые руки были покрыты золотым загараем. Выющиеся русые волосы лежали шапкой на милой голове.

Все шире улыбались приятели, поглядывая на подходившую девушку. И день был хорош, и от выпитого тепло на душе, и приятно поглядывать было на осмугленную солнцем молодость.

— Дочь у тебя — по первому разряду, одобряю, — сказал Тимофей Иванович.

Довольный Иван Иванович спросил:

— Настюша, ты куда ударилась?

Она подняла синие глаза, и лицо ее стало еще милее. Остановилась. Легко вздохнула:

— К Варваре Тимофеевне обещалась зайти сегодня.

— Я сегодня у дочери был, — Тимофей Иванович, вдруг насупившись, стал глядеть под ноги, — был и часу не высидел... Теперь через полгода только к ним приду... И вам, Настя, там делать нечего... Слушать рассуждения гражданина Сучкова?.. Нелишнем. Так-то...

Настя подняла тонкие брови, пожала плечиком. Непонятно было, почему Тимофей Иванович рассердился. Молча все трое постояли с минуту. Настя улыбнулась отцу и пошла своей дорогой, пряменькая, так и видно было, что в ней все в порядке.

— Чистенькая девочка, — глядя ей вслед, проговорил Иван Иванович.

— Вот то-то, что чистенькая... И к Варваре ей не надо ходить, доброго там ничего не получится...

2

Скучно в воскресный полдень на Петербургской стороне, в улицах, где не прозвенит трамвай. Пустынно, бедно. И чудится — за пыльными окошечками, за покосившимися воротами, в деревянных домиках на поросших травой дворах, в домишках, глядевших одним чердачным окошком из-за кирпичных каких-то развалин, так бы и задремала навеки эта сторона, оставь ее в покое.

Вот розовый дом в три этажа. Его недавно покрасили, починили водосточные трубы, на окнах еще не смыты длинные кляксы штукатурки. На нем — синяя вывеска: «Петрорайрабкооп». А дальше, до самой реки — облупленные непогодами стены, заборы, развалины, табачный ларек с задремавшим от скуки инвалидом, у водосточной трубы — баба с конфетами по копейке и семечками... Семечки, семечки... Неужели земля и солнце создавали человека только затем, чтобы грызть ему эти окаянные семечки, шатаясь без дум, без страсти?

Вот забор из ржавых листов кровельного железа. За ним на пустыре несколько грядок с картошкой, и кругом — кучи щебня, поросшие крапивой. Бродит коза. Сидит на камне женщина с грудным ребенком на коленях, подперлась, глядит пустыми глазами.

Вот еще пустырь. Сбоку тротуара три ступени — все, что уцелело от подъезда. И чудится — по этим ступеням можно войти в невидимый дом. Его очертания еще заметны: направо, на глухой стене соседнего дома виден треугольник — след исчезнувшей крыши, а ниже — остатки голубых обоев с цветочками. Налево еще торчат кирпичные своды, и в них — дверь прямо в небо.

Если спросить у старика дворника, что сидит на другой стороне улицы у ворот, он скажет, что действительно три ступени крыльца вели в двухэтажный дом. Хороший был дом, деревянный. Жильцы иные пропали без вести, иные умерли, иные живут сейчас на Васильевском. И хозяином невидимого сейчас дома был он сам, старичок, ныне дворник.

Так он и днюет напротив у ворот, глядя в минувшее. А над ним в раскрытом окне сидит, подняв худые колени, стриженная девушка, читает книгу. Через улицу идет с чайником гражданин в трикотажных коричневых штанах со штрипками и, загнув нос, ерничает глазами на девицу в окошке.

Гражданин этот, увидев Настю, вдруг дрыгнул ляжками и загнул нос в ее сторону.

— Извиняюсь... Почему одна гуляете?

— Вас это меньше всего касается, — проходя, ответила Настя, строптиво оглянула трикотажные штаны.

— Насчет юбочек меня всегда касается... Куда же вы бежите? Все одно на то же самое наткнетесь, зачем искать журавля в небе?..

Настя свернула за угол и вошла во двор, где жила Варвара Тимофеевна. В одном из открытых окон ее квартиры, во втором этаже, видна была спина Сучкова (в серой рубашке и велосипедном поясе). Он играл на гитаре, напружив крепкий затылок.

3

С Василием Сучковым Варвара познакомилась в прошлом году в кинематографе «Леший». Он показался ей интересным мужчиной. Был очень вежлив, холодный, чисто одет. Бритое узкое лицо, не-

большие глаза, шрам на щеке около рта. Во время антракта он пристально глядел на темноволосую, круглолицую, несколько полную Варвару, пересел в кресло рядом с ней и предложил программу. Затем сказал, что не курит по причине гигиены здоровья, и предложил леденцов. Варвара грызла леденцы белыми зубами, должно быть, с лица ее не сходила веселая и нервная улыбка. Сучков колодной жадностью глядел на ее рот.

Ей понравилось, что он поспешил установить свое социальное положение: он служил инструктором в топографической школе. Такой подход в разговоре показывал серьезность его видов. Варвара сказала, что она служит на шоколадной фабрике упаковщицей, — ему это, видимо, тоже было приятно: работа чистая, и девушка, значит, опрятна. До конца сеанса они обменивались впечатлениями, — шла картина «Бандиты Парижа». Сучков проводил Варвару до трамвая, и в следующее воскресенье они опять встретились в кинематографе на Невском. По окончании сеанса он предложил пойти в кавказский ресторан. Варвара покраснела и отказалась. Она отдалась ему только после третьего посещения кино, возбужденная приключениями Мери Пикфорд.

Сучков сам предложил оформить связь в загсе (от жизни он требовал порядка прежде всего), — и Варвара переехала к нему на Петербургскую сторону. С тех пор прошел год. Родным Варвара говорила, что живет хорошо и дай бог всякому. Но стали замечать, что она худеет, вянет, — пропал ее веселый нрав. Оказалось, что она неистово ревнует мужа и боится показать ему это; и ревнует это потому, что за год жизни не узнала его, не узнала о нем больше, чем в первый вечер знакомства.

4

Стол был накрыт. Через открытую дверь было видно, как на кухне в чаду примуса суетилась Варвара. Сучков наигрывал на гитаре. Около него на стуле плотно сидел Андрей Матти, финский подданный, чисто вымытый блондин с коровьими ресницами. Одет он был в новенький серый костюм и розовый галстук. Прямой, как щель, рот его добродушно улыбался. Так он мог сидеть сколько угодно — помалкивать.

Варвара, летая по кухне, нет-нет да и поглядывала пронзительно на мужа и Матти. Чего молчат? Ну чего? Без дела, здорово живешь, Матти не втерся бы в их дом, и Сучков не стал бы с улыбочкой играть ему на гитаре. Вот уже которое воскресенье тащится финн с цветком для Варвары или с шоколадной плиткой, и у Сучкова — сразу эта непонятная кривая усмешечка (так бы и швырнула в рожу ему кастрюлю с горячими щами). Неистовым сердцем Варвара чувствовала, что они сговариваются, финн подбивает мужа, опутывает, уводит... И муж не прочь... Еще бы... Ризве бы так улыбался?.. Полечку с ёрническими коленами наиг-

рывает. Утром ногти обстриг, чтобы за струны не цеплялись. Ах, и сомнения нет: присмотрел ему финн девчонку...

— Варя, — вполголоса позвал Сучков, — как у тебя с котлетами? А то мы сядем водку пить.

Варвара загремела кастрюлями, горло перехватило злобой. И это было не вовремя, потому что Матти, пользуясь шумом на кухне, сказал наставительно:

— Это большое неудобство, когда нет кухарка. Такой приличный дом, конечно, должен иметь прислугу. Человек с вашими вкусами должен иметь деньги.

5

Когда Настя вошла в столовую, мужчины уже пили водку под миноги в горчице. Сучков изумленно поднял брови, рыжие зрачки его беспокойно заметались. Матти бросил салфетку, поспешно встал и несколько раз, сгибая весь корпус, поклонился Насте, — видимо, по-заграничному. Когда Сучков, снова холодный и непроницаемый, здоровался с девушкой, Варварины расширенные глаза появились в чаду в темном коридорчике, ведущем из кухни в столовую. Варвара внесла блюдо, вытерла фартуком руки и поцеловала ледяными губами Настю. Ей предложили рюмку водки. Матти воскликнул с каким-то финским — хэ-хэ — хохотком:

— Современный девушка должен пить водка.

Настя выпила — главное для того, чтобы побороть в себе неловкость. После мягкого света дня, и морского ветерка, и тишины над Петербургской стороной, и тишины в самой себе, которой не мог даже нарушить гражданин в трикотажных штанах, ей колоче и непокойно было под взглядами этих людей.

Но ведь прийти надо было — Варвара несколько раз обижалась: «Почему нас знать не хотите?» А сейчас она кожей чувствовала Варварину неприязнь. Ей вдруг стало неловко от того, что вся шея и грудь — голые, и руки голые до плеч. И хоть бы не пялились так эти двое!.. Опустив голову, пробуя кусочек миноги, она преувеличенно поморщилась от горчицы. Сучков сказал отчетливо:

— У вас красивый загар, Настасья Ивановна. Физкультурой несомненно занимаетесь?

— Да!

— Посмотри, Варя, какой приятный загар и как приятно женское тело, хорошо тренированное. Ведь вы, Настасья Ивановна, всего года на три моложе Вари? А посмотрите, какая разница. Да, Варя, тут нужно понять, что не тряпьем, не помадами себя красит женщина, а содержанием тела в физической тренировке.

— Это большое значение имеет, — сказал Матти. — Варваре Тимофеевне тоже не поздно заняться гимнастикой. Я видел в Або, один старый женщина в пятьдесят лет бегал и прыгал очень хорошо.

— Спасибо за сравнение, — только и ответила Варвара. Губы ее дрожали. Не знала, куда отвести глаза. Мужнин уверенный скриповатый басок бил ее каждым словом, будто кирпичом в темя. (Мычно Сучков многозначительно помалкивал. Сейчас, упираясь локтем в стол, наливая рюмки, вертя вилкой, говорил, говорил не переставая. Даже в тот первый вечер, в кино, он не разговаривал с такой охотой.

— Отношение полов — это острый вопрос современности. Я инкомлюсь с женщиной, которая меня зовет, влечет. Я сближаюсь с ней, и венерическое заболевание обеспечено. Каждая женщина — лоушка... Отсюда — неприятный страх, отсюда тяга к уверенности, к семейному очагу.

— Семейный очаг имеет также свои недостатки, — качая как будто глуповатым лицом, вставил Матти.

— Да. Семейный очаг дает мне некоторую уверенность. Но он же отнимает часть моей личности. Он подрезает мне крылья. Я нимскаю не на тебя, Варя, — у нас теоретический разговор, не смерской глазами. Я получаю сто тридцать пять рублей жалованья за скучную и неинтересную работу. Я только не умираю с голоду. Ризис это жизнь, я спрашиваю?

Все так же, с застывшей улыбкой, Матти внимательно покоился на него из-под коровьих ресниц.

— Бедность — это главное несчастье человека...

Шрам около рта у Сучкова резко обозначился, опустились углы губ.

— Мои желания принуждены дремать. Я не вижу этому конца, вот в чем дело. У моей матери не было средств. До восемнадцати лет я учился, в то же время добывал жалкие гроши тяжелым трудом... (Варя остановилась в дверях с пустым блюдом и с этой минуты жадно слушала.) Но я был упрям; если бы не мировая катастрофа, я бы дождался своего часа... Только я кончаю техническое училище — война. И меня гонят на фронт. Там, в дерьме, во вшах, я узнал, какие бывают желания. А хотите, расскажу, как я снял золотые часы и бумажник с одного с оторванной головой? Может быть, это было; может быть, выдуманно для Настасьи Ивановны... ха-ха... В месткоме на днях мне сделали замечание — почему я увиливаю от общественной работы. Да, увиливаю, сохраняю свою личность от размена на копейки. Эту личность ели вши в империалистическую войну, ели вши в гражданскую войну. И теперь за сто тридцать пять рублей месячного оклада я буду еще способствовать развитию социализма в этой стране... Данке шен... Я не идеалист. И прежде всего — я не верю в Россию. Нас обманывали — такого даже и народа нет... И язык-то сам хваленый русский — не язык, а простонародное наречие. А каждая уважающая себя личность должна разговаривать по крайней мере по-немецки. Россия, извиняюсь, — это историческое недоразумение, мираж. Человек существует только там, за пограничной линией.

— Вы большой философ, — сказал Матти, наливая рюмки.

— Меня насильственно заставляют быть философом. Вот — водочка, закуска. Но я не люблю пить, об этом мало кто знает. Я пью только потому, что это — единственное, что материально доступно мне как личности. Нет, граждане, нельзя так играть с человеком. Желания во мне таятся, но не умирают, и они когда-нибудь громко заявят о себе. Но вернемся к началу темы... Женский вопрос... Вот если вы хотите строить социализм, хотите, чтобы я вам помогал, прежде всего обезопасьте меня от венерических заболеваний и разгрузите мой семейный очаг. Половые переживания я должен отправлять с такой же легкостью и свободой, как грудь моя дышит воздухом. Что делают для этого в Европе? А вот что, граждане. Город разбивают на районы, в каждом районе — особый кабинет врача-венеролога, открыт круглые сутки. Бесплатно. Каждому гражданину обоего пола выдается карточка. Каждый должен не позже чем через два часа после полового акта явиться к своему районному врачу, подвергнуться обезвреживанию и прижиганию и проштемпелевать карточку. Если он не явился и заболел — пять лет каторжной тюрьмы. Не пройдет двух-трех лет, как болезни исчезнут в Европе... И к женщине мы сможем подходить без страха, срывать ее, как полевой цветок.

Едва Сучков произнес эти слова, Варвара, белая, как бумага, поставила блюдо на стул, подошла, неловко, по-детски, размахнулась и ударила мужа в длинное лицо.

— Уходи, уходи, иди к ним, иди, — зашептала она. Расширенные глаза ее остекленели. Сучков схватил ее за обе руки и, должно быть, больно сжал. Она все повторяла: — Уходи, уходи...

Матти отошел к окну и там закуривал, ломая спички. Настя хотела было обнять ее за плечи, увести из столовой, но Варвара, быстро повернув голову, так взглянула молча в самые глаза, что у Насти затошнило в сердце.

— Ну что, успокоилась теперь? — проговорил Сучков, и рот его полез совсем криво. — Дратся больше не будешь? — Он выпустил руки Варвары, и она сейчас же ушла на кухню, затворила дверь.

— У вас, в Финляндии, тоже мужей по мордасам лупят? А у нас, как видите... Так сказать, на сладкое после обеда, — сказал Сучков и, откинувшись на стуле, улыбался зло и криво.

Настя ушла, не простившись с Варварой. Подумала на улице: куда? Светлый день был уже не светел. Она встряхнула волосами, отгоняя неприятное, и вернулась домой, на Петровский остров.

6

На Петровском острове, в шагах тридцати от озера, стоит небольшая мыза. Ветхий забор ее одной стороной выходит на травянистый берег Малой Невы, откуда на яликах перевозят на Васильевский, к устью речки Смоленки. Другим краем забор спу-

склится в тихий затон — гавань и кладбище землечерпалок. Из затона в круглое озеро, затененное столетними липами, ведет узкий проток с горбатым мостиком. Подойти к мызе можно только через этот мостик. Здесь всегда закрыты ворота. За ними — рябина, кусты, лопухи, грядки с картошкой, и поблескивают от отливов воды три пузырчатых окошка деревянного домика.

Здесь живет Иван Иванович Фарафонов, хранитель этой мызы и всего казенного имущества затона — заржавленных землечерпалок, пароходных котлов, перевернутых кверху килями старых барисов, якорей, железного хлама, валяющегося на берегу. Из окон видна Малая Нева, где пробегает, надымив под Тучковым мостом, буксирчик «Кропоткин», и от его волны тяжело поскрипывают дровиные баржи, стоящие караваном. Дальше видны мачты финских лайб, пришедших с дровами или с камнем, крыши Васильевского острова, выцветшие купола. Дальше на восток — колоннады корпусов Академии наук, рогатая Ростральная колонна, и за туманами — все неяснее, все голубее — арки мостов, купол Исаакия, игла над крепостью, поблескивающая, как щель в небе.

С севера Петровский остров обтекает речка Ждановка. За ней — Петербургская сторона. Днем в будни, когда пустеет стадион (у самого Тучкова моста) и по Ждановке еще не плавают лодки гребного клуба, — на острове тихо, поют птицы. Пасется несколько коз. Возятся дети на берегу озера. Гуляет со старой собачкой бедно одетая увядшая женщина и, наверное, не вспоминает даже, как под этими липами когда-то мчались на Петровское шоссе затянутые в мундиры всадники, черные амазонки и вереницы блестящих колесок. Здесь проходила веселая дорога — днем на Стрелку, ночью — к певичкам на Крестовский. Тогда еще не было стадиона, и Ждановка не кишела простонародьем в лодках; канатные и металлургические заводы вдоль шоссе были закрыты от глаз глухими и высокими заборами; черные трубы заводов на Голодае и на Васильевском дымили в то время где-то, казалось, очень далеко, усугубляя мрачную красоту закатов. Нет, дама с собачкой не вспоминала того прошлого, оно было загромождено (все равно как на пустырях Петербургской стороны) грудями развалин, поросших крапивой.

С пяти часов в будни — а в праздники с утра — на Петровском острове начиналось оживление. Стреляли мотоциклетки на виражах стадиона. Валом валил народ на трибуны, на парапеты виражей, лез на деревья, плыли через Ждановку, держа над головой доску, ломились через заставы с Тучкова моста: это с шести часов начинался великий бой между ленинградской сборной и сборной из Европы, и тысяч десять свирепых ленинградских патриотов рвали львами, когда наш бек, Червяков-второй, вбивал головой гол в ворота Европе. «Даешь сухую!»

Трепались паруса вдоль зеленых берегов острова, скользили, проплывали вереницами шлюпки: разлатые обывательские и узкие, как ножи, — спортивные, с голоногими девушками и юношами.

Проходил с песней двадцатичетырехвесельный военный вельбот: на голых моряках одни белые бескозырки, спины — как ошпаренные кипятком. Ревя, в водяной пыли пронеслась аэролодка. В мягкую синеву влажного неба летел вальс медных труб.

На мызе у затона, за покосившимся забором, Настя полола грядки. Долетали звуки труб, взрывы криков, плеск и голоса и смех на озере. Этой весной Настя окончила вторую ступень, и наступающее лето казалось ей огромным простором, где вьется в солнечной мгле и ее дорожка. Что-то будет, когда опадут листья в парке? Вместе с дождями начнется служба (где-то), новые люди, встречи, меняющие жизнь, незнакомые волнения, быть может — счастье. И Настя мечтательно выпалывала лебеду на грядке с салатом и редиской. Сегодня была суббота, и часов уже с трех на острове — куда ни глянь — лежали люди под липами, звенели гитары в траве. На озере слышался плеск и взвизги. С востока, из-за лип, с вышки стадиона чей-то великий голос кричал в рупор: «Товарищи... мы должны победить... понадобится напряжение всех сил...» Настя бросила полоть редиску. С синего неба лился свет хрустальными глыбами. Настя сняла белую косынку, взяла с куста полотенце и вышла за ворота.

7

Посреди озера вертелась огромная деревянная катушка из-под электрического кабеля. На нее лезли, как лягушата, мальчишки. Настя плыла по синей воде, по солнечным отсветам. Ей хотелось залезть на катушку, но увидела, что мальчишки не пустят. Она повернула.

Под столетними деревьями на низком берегу, казалось, собралось какое-то шумное многочадное племя. Лежали вповалку в траве, закусывали яичком, колбасой. Спали, подставив морду под солнце. Молодые люди, прикрыв только срам, играли на гитарах и балалайках девушкам, сонным от света и зноя и водяных зайчиков, скользивших по их лицам. Возились, плакали, смеялись дети, разбрызгивая ногами воду. Снюхивались собаки. Мальчишки-подростки висели на сучьях, на склоненных ивах, засматривая сверху на купающихся женщин. На мели, на пленке воды, лежали, выставляя пышные зады, две проститутки. Бегал по песку журавлем на единственной ноге волосатый инвалид, гоготал от удовольствия. Неугомонные старички в белых картузиках бродили около распаренных в траве женских тел. Налетел ветерок, шелестел листьями. Над озером, над парком плыли прозрачные звуки труб. Варварин брат Колька вместе с кучкой матерщинников шатался здесь же, надоедая всем хуже горькой редьки, — но поди его прогони!

Мельком Настя заметила на берегу узкобедрого человека без штанов. Он поспешно тащил через голову серую рубашку. Настя

отскринула. Он побежал в воду, бросился, поплыл. Настя повернула к дальнему берегу, к мызе. Человек, дыша со свистом, сильно выкидывая руки саженками, догнал Настю на середине озера.

— Нет, Настасья Ивановна, не уйдете...

Это был Сучков. Длинное, без румянца, лицо его разрезало воду, приближалось со страшной быстротой. Вдруг он вскинулся, вильнул спиной и, нырнув, проплыл глубоко бледной тенью под розовым Настиным телом. Ее охватил такой непонятный страх, что она вскрикнула, выскочила по пояс из воды. Загоготали парни на берегу, пронзительно засвистали мальчишки на мокрой катушке.

Сучков вынырнул, отфыркнувшись, отсморгнувшись, сказал:

Я всю неделю мечтал с вами встретиться...

Настя медленно плыла к мызе. Плохо слушались руки, ноги. Он плыл сбоку, как водяной конь, — казалось, вода кипит вокруг его ошпаренного тела...

Я искал встречи... Вы произвели на меня незабываемое впечатление...

— Слушайте, оставьте, Василий Алексеевич...

— Не вспоминайте, что было в прошлое воскресенье... Я совершенно переродился... С Варварой — ничего общего... Я понял, кому отдавал мои силы... Хочется много-много говорить вам о моих настроениях... То, что мы так разделены, чертовски бесит меня, моментами схожу с ума... Хочется синих глаз... Хочется вашей лиски...

— Слушайте, — проговорила Настя, задыхаясь, — поворачивайте, здесь женский пляж...

— Завтра приду опять, — сказал Сучков почти что зловеще. — Оставьте всякий страх, отдайтесь красивому зову.

Он поплыл назад так уверенно, будто и на самом деле был Настинной судьбой. Настя вышла из воды, встревоженная и рассеянная, накинула платышко и босиком пошла на мызу. Вот так начало лета, вот так начало жизни!.. Хотя, помимо всего прочего, по молодости и глупости ей было также и приятно, когда вспоминала, как по синей-синей воде, под потоками солнца плыл водяной конь.

8

Искупавшись, Сучков пошел через Тучков мост на Васильевский. Здесь на углу, у самого моста, в старинном подвале была пивная. Место известное. У хлопающей поминутно двери играл на цитре бородач с мертвыми глазами. Звенение цитры, несвязные крики, стук кулаков по столикам, грохот пивных ящиков — все эти звуки перекатывались под низкими и потными сводами. Дышали здесь одним махорочным дымом. Видимо, без того, чтобы въехать в голову пивной бутылкой, трудно было обойтись в этом месте.

Сучков прошел в дальнюю комнату и сейчас же увидел Матти.

— Давно ждете?

— Ничего, — не спеша сказал Матти.

— Ну что же, парочку?

— Но здесь чересчур много публика.

— Делу не мешает. Лучше места не найти.

Сучков сел, забарабанил ногтями. Ело глаза. Матти нагнулся к его уху:

— Я больше ожидать не в состоянии. Я есть лицо, которое бескорыстно взял на себя труд привлечь вас к высокоидейному делу. Вы в душе европеец. Вы должны нам помочь. Но если вы сегодня же не скажете «да» — сегодня же я ушел через границу.

— Конкретно, реально: сколько денег?

— Задатку пятьсот рублей.

— Мало, — быстро сказал Сучков.

— Хорошо, там посмотрим. Повторяю: я бескорыстно выполняю инструкции. Я буду говорить об увеличении задатка. Затем, по доставлении нам сведений...

— Тише с такими словами, — сказал Сучков.

— ...вы получаете за каждое вполне законченное сведение по сто рублей...

— Мало...

Молочное лицо Матти начало краснеть, побагровели уши, налилась потная жила поперек лба.

— Я бы не хотел, чтобы вы надо мной смеялись. На ваше жалованье вы не сможете сшить даже хороший пиджак, вы ходите в скверный пиджак, в Европе над такой пиджак будут смеяться... Вы курите паршивый папирос и кушайте в будни один блюд. (От возмущения он говорил все хуже по-русски.) А я вам предлагай колоссальные деньги... Я предлагай сто рублей за каждый сведений... За месяц вы можете дать много сведений...

— Тише орите... ну вас к черту!

Сучков оглянулся. Стало холодно спине. У стены сидела Варвара в розовой шляпке, надвинутой на глаза, сжимала обеими руками зонтик (из кладовых князей Юсуповых, приобретенный на аукционе). За столиком Варвары спал щекой в луже пива горько напившийся какой-то кустарь-одиночка.

Варвара не шевелилась, сжимала только зонтик, не разглядеть было ее глаз за тенью, губы стиснуты. Наконец увидел ее и Матти. Вскочил, протягивая руки:

— Какое счастливое совпадение!..

— Это что еще за новые штучки? — выговорил наконец Сучков.

Варвара не отвечала. От духоты ли или от чего другого ей, видимо, было совсем плохо. Сучков и Матти повели ее под руки из пивной. За столиками закричали вдогонку:

— Двое бабу поволокли... Эй, браточки... возьмите нас, мы подождем.

На улице Варвара, еще слабая, с томительной пытливостью стала глядеть на мужа. Закивала-закивала головой и пошла одна через микт.

9

Сучков пришел домой в сумерки, злой как черт. У самой двери он остановил управдом Шапшнев и попросил заплатить недоимочку (тридцать рублей). Попросил только для порядка, потому что была середина месяца и у Сучкова, очевидно, не могло иметься денег.

Управдом впоследствии показывал, что несказанно был удивлен, когда Сучков, ни слова не говоря, перекинулся, полез в карман пиджака, там пошарил, как человек, у которого большие деньги в кармане и он не хочет показывать, вытащил три бумажки и подал управдому. И сейчас же оба заметили: одна из бумажек была достоинством в десять червонцев.

«Сразу меня вроде как кирпичом ударило, — показывал управдом, — откуда у него такие деньги?» Сучков еще страшнее перекинулся, сунул десять червонцев в карман и вместо них вытащил другую бумажку, которая оказалась тоже десятком червонцами. Тогда он прошептал какое-то слово, кинулся в дверь и затворил ее за собой на крюк.

Управдом остался на площадке лестницы с двумя червонцами в руке и в великом смущении.

10

Варвара лежала в постели, закрывшись с головой. Сучков не спеша разделся, лег рядом с нею на спину и начал курить папирушки. За окном, испачканным кляксами извести, за непромытыми стеклами светила белая ночь. Варвара лежала как мертвая. Тикали часы на комод. В них что-то заскочило, захрипело, как будто и им стало невыносимо в затихшей спальне, где думал Сучков, — но хрипнули, оправались и опять пошли отрезать секунды жизни, утонять их трупики черт знает куда и зачем... Сучков соскочил с кровати, зло наступая на завязки подштанников, пошел в столовую, достал из ящика письменного стола тетрадку (школьную, с портретом Калинина и таблицей умножения) и, присев у подоконника, записал:

«17 июня. Утром ушел со службы под предлогом невыносимой зубной боли. Пошел в Петровский парк. Купался. Встретил Н. Волнующие формы ее тела оправдали ожидания. Говорил с ней, очень удачно подготовил почву для будущего свидания. Вечером покончил с М., хотя еще не знаю, как задастся работа. Но уже вырстают крылья. Между прочим, М. предложил отделаться от

Вари. Конкретного ничего не предлагает. Может быть, она сама поймет, что надо отойти...»

Заперев тетрадь в ящик и ключик положив в портмоне, Сучков вернулся в спальню. Сказал, глядя на маятник часов:

— У меня бессонница. Может быть, ты поставишь чайник на примус?

Тогда Варвара сорвала с себя простыню, села на постели, в расстегнутом платье, растрепанная, со спущенными чулками. Ей теперь было все равно — пусть его смотрит на опухшее, на мокрое лицо.

— Я ведь была, голубчик, в Петровском парке сегодня... Видела, как ты плавал с этой дрянью... Эх ты... мерзавец! — Она потрясла головой. — Мерзавец...

— Не ругайся, — сказал он ледяным голосом. — За ругательство, и вообще — бить по лицу, и за «мерзавца» недолго очутиться у народного судьи... Кроме того, я тебе не давал обещаний, что ограничу свои потребности одной женщиной...

— Знаю... знаю... Вот что для тебя плохо: то, что я тебя поняла, Василий Алексеевич... Глаза вдруг открылись... Ты — зверь... Скотина бритая...

— В последний раз — прекрати...

— Да хоть голову оторви, не перестану. Думаешь, хоть столечко мне страшно? Ты поганый... Тебе любая посудина хороша... Зачем же ты со мной целый год жил? Ведь я женщина все-таки... Ты бы лучше козу завел. Или эту Настьку, под которую сегодня нырлял. Я все видела... За год я от тебя человеческого слова не добилась... Нет, милый, ты их не умеешь говорить. Да будь они прокляты, твои поганые тряпки, твои подарки!.. (Она рванула до самого подола платье на себе.) До тебя я знала мужчин. Трех. С нашей фабрики. Тебе неизвестно про это? Так вот — знай... Они миленькой меня звали, душечкой... дорогим товарищем. Третьего я перед тобой бросила. Он меня и до сих пор жалеет.

— Ну, точка, — брезгливо сказал Сучков. — Подробности меня не интересуют...

Варвара опустила голову. Помолчала. И снова взглянула на мужа, — лицо ее беззвучно задрожало:

— Пользоваться тебе придется другой теперь посудиной, дружок... Конечно, чтобы ты как-нибудь не заразился... Только я тебе должна сказать про два секрета... (Сучков быстро покосился, она это заметила и вдруг усмехнулась.) Я беременная, Василий Алексеевич, на третьем месяце... Младенца убивать не стану, рожу его, и ты будешь платить алименты...

— Ага! — Сучков свернул нос, начал ходить по спальне. — Ну, это мы еще посмотрим... Если ты действительно беременная — это еще не значит, что я отец... Это еще вопрос — кто отец... — Он наступил, наконец, на завязки, с остервенением дернул ногой, оборвал их и заорал: — А шантажа не допущу!.. На алименты не очень-то рассчитывай...

Тогда Варвара потянула на грудь разорванное платье, прикрылась до горла, подобрала под себя голые ноги. Она будто боялась исперсть глядеть на мужа, мотающегося в подштанниках по спальне; глядела в окошко. Облизнув губы, сказала:

— Теперь — второе, Василий Алексеевич... Если ты так мне скизал... Я тебе тоже скажу... Не хотела... Нет, нет, нет... Все-таки муж мне был... Василий Алексеевич, я на тебя донесу...

Сучков сразу остановился. Длинное лицо его с проступившей гниью небритых щек казалось от бессонницы и света белой ночи мертвенно-зеленоватым. Варвара сказала тихо, горестно:

— Василий Алексеевич, ты — шпион.

На этом разговор окончился. Варвара опять легла, закрылась с головой. Сучков ушел в столовую. Затем он кипятил себе на примусе чай. В седьмом часу он зашел в спальню за одеждой и вскоре вышел из дому.

11

По праздникам Тимофей Иванович Жавлин любил обедать рано, как только поспевали пирог или пшеничные лепешки на коровьем масле. Жил он сейчас же за Нарвскими воротами (великолепной аркой с каменными мужиками и со «Славой», летевшей на четверке коней навстречу российскому воинству, припершему пешком из Парижа), в одноэтажном деревянном домике, подпертом бревнами со стороны пустыря.

На этом-то пустыре достраивалась первая группа рабочих домов, про которые Тимофей Иванович рассказывал в пивной Ивану Ивановичу. Это была уходящая изгибом от Петергофского шоссе на восток улица трехэтажных, песочного цвета, построек с плоскими крышами, балконами, вытянутыми в ширину окнами. Дома соединялись друг с другом высокими полуарками. Улица напоминала несколько урбанические пейзажи городов будущего, еще так недавно снівшихся художникам-графикам школы Добужинского.

Три группы таких построек расположены были по шоссе. Между ними на пустырях догнивали домишки едва ли не времени Петра — кикие-то почерневшие от непогоды хуторки с недоброй жизнью. Дальше раскинулись прокопченные корпуса Путиловских заводов, дымящие трубы, подъездные пути, стелющиеся к земле дымки паровозиков, стеклянные крыши, и вдали — Северная верфь с эллингом и решетчатými кранами, видными далеко с моря, с Лахты и Ораниенбаума. И тут же между речонкой Таракановкой, черной от угля, и заливом верфи, на пологом берегу, где опрокинуты лодки и сушатся сети, — примостилась рыбацья деревенька Ермолевка, петровских же времен, дворов с полсотни. Здесь ловят весной корюшку, по осени — миног и во всякое время гонят дешевую самогонку. Отсюда, проспавшись по шинкам, выходят баловаться нарвские богатыри-поножовщики. Место темное.

Сегодня Тимофей Иванович сел обедать один. Мишка — комсомолец — чуть свет ушел на парусной лодке. Колька всю ночь пьянствовал где-то, вернулся домой весь вывалянный в грязи, хотя и дождя-то не было, — значит, искал эту грязь специально, — сейчас посапывал за стеной в чулане.

Кухня, где сидел Тимофей Иванович у золоченого, в стиле Людовика XV, стола (полученного по ордеру в 1921 году со складов Тучкова буяна), была совсем ветхая, обои отлупились, пол сгнил, через стены дуло, посреди стояло бревно, поддерживая прогнувшийся потолок. Двадцать лет прожил здесь Тимофей Иванович. Сюда приволокли его раненного пулей (девятого января), на этой лавке сживали вожди (в пятом году и в семнадцатом), из этой гнилой избенки вылетали когда-то огненные слова.

Года отшумели, отлетели. Пришлось Тимофею Ивановичу и воевать, и заседать в Советах, и бродить с винтовкой по полям в поисках запрятанного хлеба, и замерзать в снегах Поморья, и трястись в туркестанской лихорадке. Но когда стало можно, вернулся он на верфь, к любезной работе. И пошли дни — будни, от которых с ума стали сходить иные горячие головы. В этих случаях Тимофей Иванович говаривал: «В особенности русскому надо учиться работать день за днем, как поршень».

Держа наготове вилку, Тимофей Иванович весело поглядывал на тетку Авдотью (двоюродную сестру покойной жены). Она вынимала из печи пирог с морковью. По неосознанности больше топталась, чем дело делала. Тимофей Иванович любил иногда над ней посмеяться.

— Авдотья, — говорил он вразумительно, — Авдотья, отдам я тебя обучать по системе Форда. Разве так можно с пирогом обращаться? Должна разумные движения делать, а ты топчешься.

— Да бог его знает, Тимофей Иванович, как я его далеко в печь закинула, а кругом чугуны.

— Конечно, богу одна забота о твоём пироге. Куда уж мне с советом соваться! Однако сомневаюсь: а вдруг бога-то нет? Тогда как же ты с пирогом? Ведь, пожалуй, он и пригорит...

— В праздник хотя бы помолчали об этом, Тимофей Иванович.

— Не могу. Мне из ячейки ударное задание — тебя обратить в безбожницу.

Авдотья не отвечала, только незаметно под фартуком перекрестилась. Наконец пирог она вытащила из печки, обмахнула крылышком, подала:

— Кушайте на здоровье, Тимофей Иванович.

Посмеиваясь, Тимофей Иванович отрезал дымящийся кусок. В это время на черном крыльце стукнула дверь, и вошла Варвара, в шляпке, с зонтиком. Тимофей Иванович взглянул на дочь и сейчас же опустил вилку. В глазах у него пропал смех.

Варвара сняла шляпку, села на скамью к отцу и положила ему голову на плечо.

— Папынька, — сказала она, — папынька родной, я проститься пришла.

12

Осторожно Тимофей Иванович стал выпрашивать у дочери:

— Дома, что ли, нехорошо?

— Нет, папынька, дома все благополучно.

— Уезжаешь?

— Нет, папынька, никуда не уезжаю. Только, может быть, не увидимся больше. Хотела проститься, в родные глаза посмотреть.

Варвара говорила с такой тоской, без слез, тихо, что Тимофей Иванович слушал ее, слушал и отвернулся к окну, волосы у него на затылке стали торчком.

— Умирать собралась, скажи пожалуйста... Вот глупая! Это оттого — что глупая...

Тетка Авдотья то же самое — слушала-слушала, бросила ухват на пол, залилась слезами:

— О-ой, Варвара-а-а...

Невеселый вышел обед в это воскресенье у Тимофея Ивановича. Варвара ничего толком так и не рассказала. Отошла, отогрелась на отцовском плече. Уехала домой.

13

В столовой, поджав под стул босые ноги, Сучков записал:

«18 июня. Час ночи. Был на озере... Н. на свиданье не пришла. Непрасно прождал до семи часов. Ходил около мызы и видел на двери замок. Если это вызов со стороны Н., то я не из тех, кто отступает перед намеченной целью. Вечером говорил с М., откровенно высказал опасения насчет Вари. М. настаивает. Дал слово быть товарищем. Вместе обсуждали план. Да, М. прав, говоря, что нужно быть европейцем: ясно видеть цель и сокрушать все на пути».

Эту ночь Сучков спал в столовой, прикрывшись старой военной шинелью. Он не слышал, как Варвара осторожно подходила к двери и долго глядела на него. Не погрозила даже пальцем ему, — глядела как будто с горестным изумлением...

14

Двадцатого июня Сучков вернулся раньше обычного со службы и сам жарил свиные котлеты. Варя приходила с шоколадной фабрики в половине шестого. Отворив ей парадную дверь, он сказал с улыбкой:

— Варя, надо кончить нашу бузу. Ты не поняла меня, я не понял тебя. Ты бросила мне обвинение, оно меня глубоко обидело. Но теперь я понял, что мы оба не виноваты. Нам нужно серьезно объясниться... Раз и навсегда.

Варвара глядела на его рот, покуда он говорил. Затем повторила, опустив голову: «Раз и навсегда». Сучков принес из кухни котлеты. Позвал:

— Иди шамать, сегодня я — кухарка за повара.

Он выпил несколько рюмок водки, с усмешкой нюхая черную корочку, и даже рассказал анекдот (из «Бегемота») про тещу и фининспектора. Варвара сидела за столом настороженная. Наконец, катая хлебные шарики, он приступил к самому главному:

— Ты подслушала мой разговор с Матти. Вышло вроде как в кинематографе: жена открывает, что муж ее шпион. Ха-ха-ха... Понятно твое настроение... Ах, Варя, Варя... Дело объясняется гораздо проще. Матти — представитель одной крупной фирмы. И, понимаешь, они очень осторожны... Покуда они собирают предварительные сведения для ориентировки, сметы и прочее... Пока все это в строжайшем секрете... Так вот, какой я шпион! Ха-ха... Вчера, наконец, я умолил Матти, и он разрешил тебе все рассказать, чтобы успокоить. (Он весело потрепал Варварину руку.) Ну, а что касается этой девочки, Насти, — будь благоразумна, Варя... Тут даже не увлечение... А просто игра с котенком... Я не люблю невинных...

Варвара столько настрадалась за эти дни, что рада была поверить, — не хотела, а поверила мужу. А что, если действительно ей все это только представилось? Прикрыв ладонью глаза, она сказала:

— Ты же сам сказал, что не давал обещания ограничить потребности одной женщиной...

— Брось, Варя. Не такие слова говорят со зла.

— Разговор этот в прошлое воскресенье никогда не забуду... Главное — и Настя тут же, и этот твой приятель... И всем ясно, что я тебе опостылела, не знаешь уж, на кого и кинуться...

— Нервы, нервы, Варя... Женская фантазия... Я говорил теоретически, чтобы поддержать интересный разговор за столом... Ну ведь и ты хороша — смазала меня по морде...

Варвара глубоко вздохнула от последней горечи. Ей было не под силу больше страдать. Не доев котлеты, пошла в спальню. Припудрилась, поправила волосы. Подумала и переменила платье. И вдруг стало как будто совсем легко. Сучков, едва она ушла, опустил голову и весь сморщился, стуча ногтями по клеенке. Затем выпил подряд три рюмки водки, не закусывая. Повернулся на стуле и смотрел на стену, за которой ходила Варвара.

— Варя, — позвал он тихо и хрипло, откашлялся и — громко: — Варя, знаешь, что я придумал... (Она вернулась в столовую.) Пойдем на воздух. Мы с тобой давно не гуляли... (Варвара вдруг улыбнулась доверчиво и готовно, совсем как год назад, в кинема-

тографсе. Сучков скользнул по ней взглядом и еще налил водки.)
Погоуляем, поговорим... У одного знакомого лодка стоит на Голодае,
неподалеку от Смоленского кладбища... Ну, одевайся... Шляпку не
видевай... Лучше — платочек...

В прихожей он стал тереть лоб, досадливо махнул рукой:

— Досада, забыл совсем. Ты иди к Большому, к остановке ше-
стерки, дожидайся меня, я на минутку зайду в правление.

Варвара ушла. Сучков, приоткрыв дверь, слушал, как она спу-
скалась по лестнице. Кажется, она ни с кем не встретилась, не
поговорила.

Затем долго перед зеркалом надевал фуражку. Посмотрел, взя-
ты ли папиросы, спички. На цыпочках — не замечая этого —
вышел из квартиры, неслышно притворил за собой дверь. Краду-
чись, спустился в домовую контору и там уже очень громко сказал
управдому Шапшневу:

— Жена ушла куда-то, забыла взять ключ от парадного. Пе-
редайте, пожалуйста, ей ключик, когда вернется. А я — на вечер-
ние занятия; вернусь, должно быть, поздно...

15

За Смоленским кладбищем на запад лежит пустынная, голая и
низменная земля, остров Голодай, или так называемый Новый Пе-
тербург. Здесь некогда замыслили строить фантастически прекрас-
ный город, весь из мрамора и гранита, новую Пальмиру северных
морей. Но успели поставить только несколько пятиэтажных кор-
пусов, которые хмуро глядят огромными окнами на море, на или-
стые берега с вытасненными кое-где лодками, на заколоченную
дичу Григория Григорьевича Ге (натерпевшегося однажды ночью,
сидя на крыше, великого страха во время наводнения), на канавы,
кучи щебня и железа, разбросанные по острову, на торчащие из
травы остатки фонтана. В одиноких домах живут, но места эти
мало посещаемы, в особенности юго-западная часть острова.

Туда-то и шли сейчас Сучков — впереди, сунув руки в кар-
маны, широко шагая, и Варвара, отстававшая несколько от него.
Вдали низко над зеркальным морем висели облака, уже окрашен-
ные вечерней зарей. Красноватый, золотой, зелено-водянистый свет
зари мирно разливался за полосками фортов Кронштадта, за ле-
систыми берегами Лахты, повисшими, как мираж, над заливом.

— Вася, не беги, куда ты торопишься? — задыхаясь, повторяла
Варвара.

Всю дорогу до кладбища Сучков простоял на площадке трамвая.
Сойдя, он взял Варвару под руку. И шел быстро, все быстрее.
Маленькие глаза его бегали по сторонам, по лицам редких прохо-
жих. Когда за поворотом открылось зеркальное море и вечерняя
звезда над ним и Варвара прижалась к мужу за лаской — он выдер-
нул руку из руки Варвары и побежал вперед.

Он остановился у невысокого обрыва. Внизу ленивая пленка воды набегала на песок, на осколки пивных бутылок, на камни...

— Вот черт, нет лодки, — сказал Сучков, глядя в море, где дремали паруса заштилевших яхт. — Вот черт, придется подождать...

Он спрыгнул на песок и, не оборачиваясь:

— Ну... прыгай... Сядем...

У Варвары горячо забилося сердце. Она прыгнула, села на песок, опираясь руками — откинулась, зажмурилась на зарю. От движения синее в полоску платье вздернулось выше колен. Не поправила, так и оставила. Так ей хотелось счастья в этот теплый вечер, что с той минуты, когда убежала в спальню напудриться, и до самого конца была в обмане, ничего не поняла.

Присев на корточки, Сучков курил. Оглядываясь по сторонам, повторял: «Сейчас, сейчас, подожди немного...» Вдали на стадионе (Голодайостровском) играла музыка, но это было версты за две, а здесь берег пуст.

— Вася, — проговорила, все еще жмурясь, Варвара, — мне ведь многого не нужно... Я не как другие — ревновать, мучить... Если я знаю, что ты меня жалеешь, любишь... Что же еще-то?

— Молчи, молчи, — сказал Сучков сквозь зубы. Наверху на обрыве заскрипели шаги, и голос Матти торопливо проговорил:

— Кончай скорей!

Варвара выпрямилась, раскрыла рот — захватить воздуху. Крикнула. Страшнее всего было землистое длинное лицо мужа. Глядел с такой неистойвой злобой, как черт... Варвара было рванулась с песка, он схватил ее за ногу, опрокинул, живо вскочил на грудь, обхватил шею ледяными пальцами. Душил, работая плечами. Отпустил одну руку, вытащил из песка кирпич и ударил им несколько раз Варвару по голове, — бил, куда кирпич не разломился. Потом слез с Варвары, оглянулся на лицо ее, залитое кровью, и пошел вдоль воды. Матти уже шагал далеко по пустырю к кладбищу.

16

Во втором часу утра Сучков быстро прошел в воротах мимо дворника, который долго еще нюхал после него пивной запах. Без десяти два он позвонил к управдому Шапшневу и в сильном волнении сказал:

— Варвара Тимофеевна не приходила разве? Не брала ключа?

— Нет, ключ у меня, — ответил управдом, почесывая босой ногой ногу. Он также отметил сильный запах пива от Сучкова.

— Я начинаю тревожиться... Не случилось ли чего? А? Или у отца она заночевала? А? Ведь люди такие теперь — заманят да и задушат... А?.. Как вы думаете?

Управдому стало жутко от этих вопросов. Сучков лез к самому лицу, глядел в глаза — не то пьян был вдребезги, не то возбужден

до того, что едва собой владел. Прижав управдома в полутемной прихожей к стене, он дрожал всем телом. Наконец взял ключ и, шатаясь, вышел на лестницу.

Поднявшись к себе, Сучков наложил цепочку на дверь. На цыпочках прошел в спальню, где смутно белела неубранная Варварина постель, и перед зеркальным шкафом тщательно причесался, припудрил лицо пуховкой. После этого лег на свою кровать на спину и некоторое время лежал как труп. Вскочил, тяжело дыша, и дрожащей от бешенства рукой остановил маятник часов. Ушел в столовую и там ходил и курил. Останавливаясь, прислушивался. Низкого голоса, с каким-то даже берущим за сердце чувством повторил несколько раз: «Да, вот я и один». Затем снял сапоги и сел у окна писать:

«21 июня. Задуманное выполнил. Тотчас поехал на Невский... М. уже ожидал на углу. Вместе зашли в бар. Почистился. В уборной М. передал еще триста. Ужинали. М. много рассказывал о загранице. После ужина познакомился с проституткой, которую мне указал М. Поехали к ней. Провел время очень удачно. По возвращении домой вопрос с ключом прошел как по маслу...»

Сучков почесал переносицу концом вставочки. Зрачки его расширились, расширились. Он осторожно положил вставочку. Лицо его сморщилось, как печеное. «Ну тебя к черту!» — прошептал он. И опять — ходил и курил.

Зачем он писал этот дневник? Почему, так тщательно обдумывая подробности убийства, он не уничтожил его в первую голову? Видимо, не будь дневника, точных записей, — Сучков растерялся бы, заблудился бы, потерял самого себя. Дневник его был скелетом, его личностью. Короткие записи и даты служили вехами, по которым в пустоте, в темноте брела его страшная душа.

Он тщательно завернул дневник в газету, перевязал ленточкой и положил в уборной на бак с водой. Сделав это, лег спать, как и все эти дни, — в столовой на диване, прикрывшись старой шпателью.

17

Около четырех часов следующего дня Настя встретила Сучкова и нарке на Петровском острове: он шел, поглядывая через плечо, точно уходил от кого-то. В свете безоблачного дня, льющегося сквозь листву, лицо его казалось болезненно-серым, сморщенным, старым. Он шел от мызы: Настя поняла, что он искал ее.

Внезапно, должно быть отделившись от дерева, к нему подошел Митти. Сучков сейчас же поджался, как собачонка при виде собаки. Опустил голову. Митти на ходу сказал ему что-то, решительно резанул воздух ладонью. Когда он скрылся между липами, Сучков стал закуривать, сунув папироску в рот не тем концом, — жег несколько спичек и с тихим бешенством растоптал папироску.

Настя видела все это, сидя после купанья на стволе наклонившейся над озером ивы. Купающихся было еще мало, — только дети, да няньки, да старички с собаками бродили по берегу. Насте стало страшновато: почувствовала, что сейчас будет решительный разговор. Она нагнулась над книжкой с оторванным концом и началом, неизвестного автора, по старой орфографии — про любовь. Сучков подошел неслышно. Чуть задыхаясь, сказал:

— Что же, избегаете меня, Настасья Ивановна? Я не болен, я не импотент... В чем, собственно, дело?

Настя подняла голову от книжки, откинула волосы с лица, прищурилась на солнечную воду:

— Я вас не избегаю, чего же избегать-то? Просто — безразлично...

— Врете, врете, врете, — надвинувшись, зашептал Сучков. От него шел особенный, какой-то прогорклый запах, на углах губ сбилась пена. — Врете, трусите... Не хотите дать волю естественным инстинктам... Что за обывательщина!.. Я пойду на все, не отступлю ни перед чем... Я в таком состоянии — все эти дурацкие предрассудки к черту!.. Такого темперамента, такого первоклассного мужчины не найдете в Ленинграде... Черта вам искать!..

Разумеется, Настя могла бы легко уклониться от объяснения, и впоследствии она лгала, рассказывая, будто Сучков налетел на нее как бешеный. Все это так. Но вначале она и волосы откинула, и глазки у нее были изумленно-хорошенькие, и ножкой болтала, сидя на изгибе ивы. Еще бы: даровое развлечение, переживание, посильнее, чем в театре. Сучков же так странно повернул разговор, так заспешил, точно от смертного голода готов был вонзить зубы в Настино загорелое плечо, — и у нее пропало всякое любопытство, стало страшно. Она слезла с дерева и легонько помахивала на Сучкова книжкой по старой орфографии.

— Слушайте, оставьте! Слушайте, я милиционера позову, — бормотала она, сама еще не зная, отчего такой страх идет от воспаленных, как угольки, мутных глаз Сучкова. Он видел, что она готова убежать, и не шевелился, говорил тихим баском, и только ногти его вцепились в ивовую кору:

— Я понимаю — вы опасаетесь Варвары, серной кислоты и прочее... Конечно... С Варварой все кончено... Да не бойтесь вы меня, боже мой... слушайте... Она ушла вчера... Мы расстались... Мирно, без скандала... Самка не поладила с самцом... Органическое отгалкивание... Кроме того — у нее любовники... С шоколадной фабрики... Я начинаю новую жизнь... Этой осенью непременно уезжаю за границу... Ненавижу Россию, здесь можно сойти с ума... (Точно от приступа боли он заскрипел зубами.) Я предлагаю роскошную жизнь... А здесь вам что предстоит? Стукать на машинке в советском учреждении... Эх, все равно первый попавшийся мерзавец изомнет вам юбочку...

И тут, в забытии, Сучков забормотал шепотом о таких бесстыдных подробностях, что у Насти похолодело сердце от омерзе-

ним. Она побежала по берегу к мызе. Сучков зашагал было за ней. Она закричала:

— Гадина!

Сучков споткнулся, закрутил головой, схватился за голову и многократу девушке захрипел страшными ругательствами...

Еще издали Настя увидела, что в огороде стоят отец и Тимофей Иванович. Настя, разгневанная, запыхавшаяся, подошла. Оба, отец и Жавлин, замолчали. У Тимофея Ивановича картуз был надвинут и странно побелевшие глаза. И лицо у него было странное — проваленные щеки, синие губы, острый костяной нос, борода в каком-то мусоре. Он вертел и ломал сухую палочку. Настя взглянула на отца, он сказал вполголоса:

— Большое несчастье у Тимофея Ивановича. Варвару нашли утром на Голодае. Вся голова разбита.

— Так бил ее по лицу, голове — ничего не осталось... По сержжам узнал, — проговорил Тимофей Иванович. — У меня дома лежит сейчас Варя...

Иван Иванович всхлипнул, обхватил дочь:

— Кто, ну — кто? Ну кто это сделал?... Настя, не ходи ты одна... Не ходи никуда... Не люди же, не люди — звери...

И когда отец это сказал, перед Настей взвилась туманная пелена. Перехватило дыхание — так вдруг все стало ясно и понятно...

— Убил Василий Алексеевич, — сказала она, дрожа всем телом. — Режьте меня, он убил Варю... Он здесь, по парку ходит... У него на рукаве пятно крови...

Тимофей Иванович медленно повернул костяной нос к парку, переспросил:

— Там ходит?

И пошел пудовыми шагами из ворот через мост к озеру. Уж не Насте, не Ивану Ивановичу было его остановить. Он только повторял бегущим с боков Насте и Ивану Ивановичу:

— Оставьте меня. Это мое дело...

Сучков действительно был еще в парке, сидел на пне и курил. Жавлин подошел к нему спереди, кашлянул, спросил просто:

— Ты убил?

Сучков вскочил. У него задрожало лицо. Но не успел ответить. Тимофей Иванович протянул к нему руки, как ветви, взял его за плечи, подтащил к себе, глядел ему в лицо белыми от сухих слез, свидящими глазами:

— Зачем ты убил мою дочь?

И казалось, он недоумевает, что ему делать с этим, которого он обхватил ветвями, — зверь не зверь, не человек — взбесившееся живородное, но уж места ему нет на свете... А в парке уже слышались свистки милиционера, позванного Иваном Ивановичем, чтобы не допустить до новой беды... Между липами бежали люди к месту происшествия. Тимофея Ивановича насилу оторвали от

зятя. Кругом шумно дышали любопытные, лезли на плечи. Сучков возмущенно разводил руками:

— Старика надо изолировать: налетел, понимаете ли, кричит — я убил его дочь... Он, может быть, сам ее убил... Почему я знаю...

— Убил, убил! — горестно повторял Жавлин. — Берите его, ведите его, этот человек страшнее сыпнотифозной вши.

.....

Ловко все было подстроено у Сучкова. Оказалось, что улики нет никаких. Этим утром им было заявлено в милицию о пропаже жены. Весь вчерашний день по минутам он мог установить, где был и что делал. Его видели даже в топографической школе, куда он направлялся, по словам управдома, на вечерние занятия: он проходил по чертежной и у одного сослуживца попросил прикурить. После допроса его выпустили. Он ушел, удовлетворенно усмехаясь. И сейчас же начал колесить в трамваях по городу. В одиннадцатом часу вечера он осторожно вылез у Смоленского кладбища и пошел к морю. Остров был пустынен в этот бледно-светлый час, неугаваемая заря отражалась в молочном зеркале моря. Рубашка на Сучкове была мокрая, пот лил по лицу. Он шел, низко пригибаясь, разыскивая что-то. Вот, наконец, то место, где вчера он спрыгнул к воде. Он оглянулся и прыгнул. На откосе, на песке, лежали двое в кожаных куртках. Они сейчас же поднялись и взяли Сучкова за руки, загнули их за спину. Один из агентов сказал:

— Вы стеклышко от часов-браслета разыскиваете? Вот оно, гражданин. А мы заждались, думали — не придете.

Такова была первая улика. Вторая — выдуманное Настей, но действительно оказавшееся, при тщательном исследовании, замкнутое пятно крови на правом рукаве у Сучкова, около локтя. Третьей — решающей, уликой послужил найденный при обыске дневник. В тюрьме Сучков пытался вскрыть себе гвоздем вену, но неудачно. И на третьем допросе, раздавленный, растерявшийся, он рассказал все, вплоть до сношений со шпионской организацией Матти.

ЭМИГРАНТЫ

Факты этой повести исторически подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств. Профессор Стокгольмского университета сообщил мне подробности этого забытого дела. Остальные персонажи и сцены взяты, по возможности документально, из материалов, изустных рассказов и личных наблюдений. В первой редакции эта повесть называлась «Черное золото».

А. ТОЛСТОЙ

1

Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года ветер с океана принёс короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрёпанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев.

Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами, боковые улочки — ванилью, овощами, минными лавками, непрветренными постелями, гигантские железно-стеклянные рынки — всеми дарами моря и земли. В старых, выходящих на холмы извилистых улицах, где жили те, чьё мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки.

Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились потом проборы у толстеньких гарсонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах, нездоровье проступало на женских лицах, заgrimированных с послевоенной решительностью, нехорошее возбуждение — на лицах юношей, свинцовая усталость — под седыми усами у стариков.

Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли ещё не кончили разлагаться пять миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город глшение. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи.

Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур оттался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывался пел саксофонами.

Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взывала стальная пластинка флексотона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами...

Каждый демобилизованный не прочь был бы устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. В конце концов, куда дураки сидели в окопах, умные не теряли времени в тылу. Но власть предоставила вернувшимся «защитникам отечества» лишь мирным путем отыскивать себе место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены росли.

Руки, привыкшие к винтовке, не легко протягивались в окошечко кассира за скудной субботней выручкой. Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним — с парусиновым свертком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим — проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах (сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокингowych рубашек), — тут можно было задуматься: «Так что же, выходит — ты чужое счастье купил своей кровью? Дурак же ты, Жак!»

Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту: около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. Двести тысяч франков взлетело вечером четырнадцатого июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, павлиньими хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все восемьдесят столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства — трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в Сене. Удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю: этот второй Рауль Синяя Борода заманил на свою дачу двенадцать женщин, ограбил, задушил и сжег их в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы шикарных парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, они веселились, как дети. Звезда эстрады, Мистангет, плясала на верху лимузина. На рассвете палач, в черном сюртуке, в цилиндре, появился рядом с двумя столбиками, где наверху поблескивал треугольник ножа, — палач дал знак. Из тюрьмы выволокли упирающегося лысого человека со всклокоченной черной бородой... Несколько секунд — и он привязан под ножом, он вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку, глухой стук ножа, голова Ландрю отскакивает в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Рукоплескания...

Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и ряды деревянных крестов пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых — почва была еще пропитана нарывным газом. За двадцать франков можно было поглядеть на места гибели пяти миллионов человек.

Эти экскурсии готовили общественное мнение: Совет Десяти медлил с подписанием мира, — Германию ожидала суровая зима. Двадцать семь стран и народов, воевавших против Германии, послали представителей на Парижскую мирную конференцию, в ней выделилось ядро из пяти великих держав — Совет Десяти. Во главе стоял президент США — Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона четырнадцать пунктов вечного мира для человечества. Эти четырнадцать заповедей из страны, которая загребла все золото Европы, должны были восстановить дух христианства, мирные рынки и свободу торговли на суше и море.

Четыре остальные державы — Франция (представитель Жорж Клемансо), Англия (Ллойд-Джордж), Италия (барон Сонино) и Япония (барон Макино) — готовились вонзить зубы в колонии и богатства Германии и ее союзниц. Их волчий аппетит президент Вильсон упрямо пытался ограничить бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от негодования. Не подымайся за его спиной из-за океана такая распухшая золотом махина — США, они давно бы вышвырнули за дверь этого божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками.

Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. Она готовилась к огромному индустриальному подъему: приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупируя угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности.

С первых же заседаний Совета Десяти Франция повела линию на завоевание мира. Восемидесятилетний «национальный тигр», злой и злопамятный Жорж Клемансо предоставил Вильсону бороться сколько влезет за торжество добра, и ждал, когда он всем опротивеет. Клемансо разрабатывал французский мир: двести миллиардов долларов германских репараций (по три тысячи долларов с каждой немецкой души), провинции, Рейн, колонии, раздел Турции, создание и вооружение «великой» Польши и, наконец, большой военный поход на восток Европы: Берлин — Москва. Словом — возобновление империи Наполеона I.

Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Германия и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Галицийцы, бунтуя против польских панов, осаждали Львов. Итальянские рабочие выбили медаль с профилем Ленина. Славяне бывшей Австрии казались ненадежными. Никто не мог поручиться (так говорил Ллойд-Джордж), что вся Восточная Европа, охваченная большевистским безумием, не двинет на Париж стомиллионную Красную Армию.

Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лающе покашливал, и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента. По существу он опасался одной только Англии.

Прошло уже восемь месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мирной конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселился Вильсон. Старик был дьявольски скрытен, — несомненно, он веселился, и вовсю, — он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Клемансо, он в первый раз за восемь месяцев усмехнулся, зажмурил глаза, седые усы приподнялись, лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь.

Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончатся заседания конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только четырнадцать пунктов Вильсона. Доходили слухи, что в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости: Вильсон ставил соотечественников в смешное положение, — чего поди, в Европе начнут думать, что США населены одними мечтателями... Вокруг Вильсона образовалась пустота... Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет Десяти с основами французских мирных требований.

Четырнадцать пунктов летели к черту. Президент возмутился и пригрозил отъездом. Но он не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии — Лигу Наций. Он отчаянно боролся. Лига Наций была провозглашена, тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор.

В безоблачное утро седьмого мая германский министр иностранных дел — граф Брокдорф-Ранцау (в черном, черных перчатках, с черной тростью), высокий, замкнутый, вошел с пятью представителями в белый зал Версальского дворца. Немцы увидели потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон. Свет и зелень лужаек, шпалер, синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены; казалось, солнце мира летело в восемь оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, короля-солнца, за столом, завершающим амфитеатром расположенные золотые кресла, сидел Клемансо в темно-серой стариковской визитке — коренастый, с угловатыми плечами; опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо топорщилось белыми бровями, пожелтевшими усами. Направо от него — высохший президент Вильсон, налево — приветливо улыбающийся, франтоватый, румяный, седогривый Ллойд-Джордж с опущенными на губу седыми усами и хищным носом. Ниже — в креслах — пестрые представители двадцати семи стран и народов, посланных купечеством урвать, что можно...

«Господа делегаты германского государства. Здесь не место для лишних слов... Вы навязали нам войну... Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось... — так заговорил

Жорж Клемансо, тяжело дыша от ярости. — Час расплаты настал. Мы просили нас о мире, мы согласны вам предложить его...»

После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу-Ранцау книгу в триста печатных страниц, переплетенную в белый сафьян, — условия мира. Ранцау бросил на нее черные перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки отпечатанной речи. Он знал, что слова бесполезны, — одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфиатру разбойников... Но этой силы у него не было.

Пятьдесят два дня спустя в том же зале Версаля к инкрустированному, на изогнутых ножках, столику подошел Клемансо, привычным движением матерого журналиста обмакнул золотое в золотой ручке перо, стряхнул, — черная капля как бы понеслась мимо чернильницы в мутную бездну воспоминаний («в семидесятом году в Бордо я полагалось отомстить пруссакам, — я мщу»), — и он подписал...

Шестьдесят миллионов немцев упали на колени. Из-за Рейна во Францию — день и ночь, день и ночь — потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Тощие, с желтыми щеками немцы, костлявые немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед этим поездам, вслед улетающей на долгие годы надежде поесть, отдохнуть... На Германию опускалась ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто правил Германией, этот отблеск был страшнее ночи.

2

Французское правительство пышно отпраздновало переход к мирной жизни по древнеримскому обычаю — триумфом.

В центре Парижа — на площади Согласия, вдоль широкой аллеи Елисейских полей и на площади Звезды вокруг приземистой арки Наполеона — навалены были кучами (с трехэтажные дома) немецкие ржавленные пушки. Повсюду торчали высокие жерди в форме средневековых копий, спирально перевитые лентами. Между ними висели гирлянды цветов из желтой бумаги... Одна из сидящих каменных статуй на площади Согласия — статуя города Страсбурга, пятьдесят четыре года покрытая трауром, — сегодня утопала в знаменах.

Августовский день был зноен и сух. В бледном небе, сверкая, кружились аэропланы. С голых ветвей каштанов падали последние сухие листья. Между шестов и бумажных роз по этой страшной милле войны, похожей на обгорелый лес, несли впереди войск полусгнивший труп без лица — неизвестного солдата. Могила ему была вырыта под триумфальной аркой Наполеона. Играли рожки, били барабаны. Из-за Сены, из горячей мглы, стреляли пушки. Республика отдавала воинские почести народу: каждый бедняк теперь вправе думать, что в центре столицы мира, под аркой Звезды, лежит его брат, его сын, пропавший без вести. Человеческие потоки медленно двигались за войсками. Тончайшая пыль поднималась от

мостовых, ложилась на миллионы лиц, обозначая морщины усталости, опустошения, невозвратимых утрат. Кое-где пробегала молодежь, взявшись за руки... Но разве это было веселье? За все муки — подарить народу гнилой труп без лица! Веселились всюду лишь американские солдаты — сытые жеребцы, шатались под руку с девчонками, нахлобучив их шляпки себе на железные шлемы...

Вечером над черной Сеной взвились потешные огни. В рабочих кварталах завертелись карусели, отражая миллионами зеркалец хмурые пыльные лица. По опустевшим улицам поползли на колесиках четырехугольные рамы с зажженными плашками, за ними ковыляли безногие, безрукие, безглазые, — это инвалиды войны собирали милостыню. На перекрестках играли уличные оркестрики. Но Парижу не плясалось в этот душный, безветренный вечер. Сидя на стульях у порогов своих домов, у кофеен, на скамейках бульваров, люди поглядывали на лиловое зарево над городом, на догорающие кое-где за рекой линии иллюминаций, на огоньки Эйфелевой башни. «Эх, Жак, не думаешь ли ты, что кто-то здорово надул тебя сегодня?...»

Немецкие миллиарды поплывут мимо носа, прямо в банки Больших бульваров. Краснеют огоньки папирос у дверей, тихо бредут по домам неясные в темноте фигуры... Вот когда сказала старость... Дикой бы крови сюда. Великих бы замыслов — в этот прекраснейший из городов...

3

Около часу дня на Елисейских полях (где уже убрали шесты и пушки) в кафе Фукеца, посещаемое иностранцами, вошел человек, одетый по моде, завезенной американцами: короткий пиджак с подложенными плечами, широкие штаны, полубашмаки с острыми носками, глубоко — набок — надвинутая мягкая шляпа, галстук бабочкой, в руке камышовая трость, в кармане полузасунуты свежие перчатки.

Он быстро прошел через первый зал с накрытыми для завтрака столиками, спустился на две ступеньки и положил трость и окурок сигары на цинковый прилавок бара.

— Что угодно, мосье?

— Степную устрицу.

За стойкой усатый тучный красавец в белой куртке начал готовить смесь из джина, томатного соуса, кабуля, кайенского перца и сырого желтка. Человек сел на высокий табурет, загнул за дубовые ножки носки туфель; впавшие сизо-выбритые щеки, прямой рот, быстрые глаза. На мизинце веснушчатой руки — крупный бриллиант.

Человек был не из тех, кто любит болтать всякий вздор за стойкой. Глотнув адской смеси, он сильно потянул ноздрями кривого носа и, повернувшись всем телом на высокой табуретке, стал глядеть на дверь. Он ожидал кого-то. Веки его время от времени полузакрывались, увлажняя сухость глаз.

И вот с тротуара в бар забежал человек, настолько странный, что бармен за стойкой высоко морщинами собрал кожу на лбу.

Вошедший не одну уже ночь, видимо, провел на бульварных скамьях — до того был помят и грязен. Розовое от пьянства лицо его не то шелушилось, не то давно было не мыто. К Фукьцу неудобно заходить в шляпе, снятой с огородного пугала. Но вошедший как будто не испытывал неудобства. Не подавая руки человеку с бриллиантом, он мутноватыми глазами обвел зеркальные полки с бутылками.

— Виноградной водки, — приказал человек с бриллиантом и ногой подвинул второй табурет. — Садитесь, Налымов. Если вы не пьяны до потери сознания, поговорим о деле.

Вошедший сел на табурет прямо, привычно, даже изящно, и мягкое лицо его сморщилось, будто от беззвучного смеха.

— Я необыкновенно трезв... Но водки пить не стану. Вы все-таки не держитесь со мной, как хам... Августин, коньяку с содовой...

Бармен поднял обе брови, округлил рот под серпообразными усами:

— Мосье Налимофф!.. О ля-ля... Это вы, мосье... (Он защелкал языком, дружески наливая рюмку коньяку, полез под стойку, обтер салфеткой холодный сифон содовой.) Уже скоро год, как вы не посещаете Фукьца.

— Были причины, Августин... (Налымов налил из сифона пенной содовой в фужер с коньяком, жадно — с каким-то даже стоном — выпил. Глаза его увлажнились.) Итак... (Обернулся к человеку с бриллиантом. Тот брезгливо-холодно оглядывал его лицо, одежду, башмаки.) Прошу извинить, я опять забыл вашу фамилию...

— Александр Левант, — сквозь зубы, редкие и желтые, ответил человек с бриллиантом.

— Левант, Левант, — повторил он, как бы втискивая это имя в пропитую память. — Итак, Левант, вы хотели, чтобы я вас познакомил?..

— Пойдемте за стол. — Левант схватил трость и пошел через арку. Августин негромко спросил:

— Мосье Налимофф хорошо знает мосье?

— Нет, Августин. Но это не важно. Предположим, что его действительно зовут Александр Левант. С этим нужно мириться. Это — люди будущего. Итак, мы завтракаем.

Потерев сухие ладони, он слез с табурета и пошел к уединенному столу, где, спиной к свету, поместился Левант.

4

— Вам нужно одеться приличнее, Налымов. Что это значит? Так опуститься! Семеновский офицер! И — бросьте вы это пьянство. Кому это нужно? Можете меня не благодарить, но после завтрака я повезу вас в английский магазин...

Александр Левант ел торопливо и неразборчиво, губ не вытир. Почти непил вина. Темные глаза его, не участвуя в еде, тревожно бегали по лицам входивших в кафе.

— Вижу, вы такой человек, — с вами нужно быть откровенным. Я на вас наткнулся, просматривая в военном министерстве списки русских офицеров... Отозвались о вас благоприятно. Познался — ожидал вас найти в более приличном виде... Что вас потянуло на дно? С головой на плечах не найти денег в Париже? Вздор!

Из верхнего зала доносилась музыка. Налымов жмурился, слаждался — рюмочка за рюмочкой, — слегка под музыку расхаживался. Еды почти не касался и ничем не выражал внимания собеседнику. Лицо его оживлялось внезапно, когда с залитого столиком тротуара в кафе входила какая-нибудь американочка с веселым лицом и птичьим голосом. Внимание его привлекла розовая узкая ваза, он, всхлипнув, глядел на опадающие лепестки. Рассеянность не смущала Александра Леванта. Подали десерт, кофе, ликеры, сигары. Левант выбрал гавану, золотыми ножничками осторожно отрезал кончик, закурил, откинулся, положил веснушчатые руки на скатерть.

— Поговорим о деле?

— Я все время слушаю вас внимательно.

Левант подумал: «Эге, парень, кажется, хитрее, чем прикидывается».

— Я хотел бы через вас устроить некоторые знакомства... Представлено будет вполне корректно. Вам нужен аванс, — пожал плечами... — Он хрустнул бумажками в боковом кармане. Предварительно увезу вас на недельку-другую в Севр. Там у меня вилла. Отдохнете, повеселитесь. Подружимся, — кто меня знает — за меня в огонь и воду... А потом кое с кем — хотя здесь, у Фукеца — встретимся, позавтракаем.

Налымов, кивая шелушащимся лицом в такт музыке, спросил:

— Очевидно, я должен познакомить вас с великими князьями?

— Отчего же... Делу не помешает, наоборот — красивое знакомство... Несколько одиозное... Там увидим. Моя идея строится на деловых людях. Идея большая — грандиозное дело. Заметьте — предлагаю вам работать на процентах, — солидно... Из пяти процентов вы будете иметь тысячу триста годовых, обещаю под любую гарантию...

— Предположим, я убежден... Но у меня долги.

— Сколько?

— Восемь тысяч необходимых. Остальные подождут.

— Счета и векселя передадите мне, все будет улажено.

С той же легкостью Налымов ответил:

— Ладно, согласен...

Мимо стола проходил бледный высокий человек, несколько туловатый, в темном пиджаке, в котелке набекрень. Повернувшись, Налымову вялое продолговатое лицо с темными усиками под носом.

Налымов сейчас же встал, опустил руки. Человек словно обласкал его сверху вниз беспечальными глазами:

— А-а, Налымов... Что же ты?.. Ну, сиди... А я здесь не за-
трикаю... Дрянь — Фуквецц...

И он опять, сверху вниз погладив глазами, пошел к стойке, выдвигаясь среди всех уверенной медлительностью. На него оборачивались. Александр Левант спросил:

— Великий князь? А какой именно?

— Кирилл Владимирович.

— Претендент на престол?

— Кажется... Хотите познакомиться?

— Знакомство возможно?

— Отчего же... Позвать к столу...

— Заманчиво. Но не сегодня... А что, у него есть войска, народ? Или что он рассчитывает? Вы мне подробно должны рассказать о русских делах. Берите вашу шляпу, едем к портному.

5

С российскими делами в Париже происходила неясность. Буржуа, держатели русской ренты, черпали из газетных заметок скудные и путанные сведения. С полгода тому назад сообщалось, что для охраны французских капиталов, вложенных в торговые, металлургические, угольные предприятия на Украине, на Дону и Урале, правительство вынуждено послать в одесский порт некоторое количество колониальных войск. Мысль была удачная.

Действительно, войска высадились в Одессе, не только французские колониальные, но и греческие. Русская рента, годная лишь для домашнего употребления, начала ползти вверх. Войска как будто победно маршировали по Новороссии. Хотя Советом Десяти и был отклонен план Клемансо о широкой военной экспедиции на восток Европы, но зато сама Россия подавала надежды на скорое освобождение от большевиков: на Северном Кавказе успешно воювал генерал Деникин, под Петроградом — генерал Юденич; в Сибири с помощью французского генерала Жанена и чехословаков обривалось правительство Колчака. Его солдаты очищали Сибирь и восстанавливали право собственности.

Совет Десяти с охотой обещал Колчаку всемерную помощь. Русское золото (увезенное чехословаками из Казани) находилось в его руках. Клемансо — как всегда, резко и отчетливо — указывал ему в зашифрованных телеграммах линии желательной политики... Огромные военные запасы, оставшиеся после мировой войны и засорявшие рынок, шли теперь в освобождаемую Россию, оживляя частную торговлю. В Архангельске и на Мурмане высаживались английские десанты. Рента ползла вверх.

И вдруг, казалось бы без видимой причины, победоносные французские и греческие войска отплыли из Одессы на родину, бросив

заводы, шахты и торговые предприятия своих соотечественников на произвол большевикам. Уплыли и англичане из Архангельска и Мурманска. Газеты объясняли эти досадные события причинами внутренней политики: не имело смысла лишний раз раздражать рабочие кварталы. Рабочие поднимали каждый раз невероятный шум из-за русского вопроса.

Держатели русской ренты (за столиками кафе, вздев очки и насупясь серыми усами в газету) ничего не могли понять в русских военных делах. Грандиозные битвы, кавалерийские рейды, занятие провинций величиной во всю Западную Европу... Москва окружена, большевикам — смерть. Но Деникин отступает, Юденич отступает, Колчак отступает... В Англии забастовка, в Италии волнения, Германия и Венгрию трясет коммунистическая лихорадка... (Буржуа снимает очки, потирает уставшие глаза...)

Не меньшее изумление вызывали и сами русские, пачками прибывающие в Париж через известные промежутки времени. Более чем странно одетые, с одичавшими и рассеянными глазами, они толкались по парижским улицам, как будто это была большая узловая станция, и все без исключения смахивали на сумасшедших. Сахар, хлеб, папиросы и спички они закупали в огромном количестве и прятали в каминь и под кровати, уверяя французов, что эти продукты должны исчезнуть. Встречаясь на улице, в кафе, в вагоне подземной дороги, они как бешеные размахивали газетами. Русских узнавали издали по нездоровому цвету лица и особой походке человека, идущего без ясно поставленной цели. У них водились драгоценности и доллары. На их женщинах (в первые дни по приезде) были длинные юбки, сшитые из портьер, и самодельные шляпы, каких нельзя встретить даже в Центральной Африке. К французам они относились почему-то с выскомерной снисходительностью.

Но были и другие русские: эти смахивали на европейцев и селились в дорогих отелях. Правда, их чемоданы были ободраны и даже с клопами, но фамилии звучали внушительно в промышленных, банковских и биржевых кругах.

У них был здесь свой политический центр: парижское совещание доверенных лиц правителя России (адмирала Колчака) и уполномоченных генерала Деникина для сношения с союзными правительствами. Во главе совещания стоял председатель бывшего Временного правительства князь Львов.

Очевидно, на эти-то русские деловые круги и намекал Левант за завтраком у Фукьеса.

6

Когда были внесены на подносе горячие закуски — по-русски, — последовала минута молчания, передавали графин с водкой, не чокаясь, выпили. Кто-то по-довоенному крикнул. Засмеялись. Кто-то вздохнул: «Да, господа...»

Хозяин дома князь Львов сидел спиной к камину — в поношенном пиджаке, в истрепанном жилете, в заштопанной мягкой рубашке. В этой одежде он бежал из екатеринбургской тюрьмы через Сибирь. Круглая седая борода, серебряные, зачесанные назад волосы и неподвижные беловатые глаза придавали ему сходство с земским деятелем девяностых годов; он не ел мяса и не пил вина.

Напротив него сидел известный барин, елецкий помещик, с желто-седой бородой по пояс, с медным орлино-строгим лицом, с волосами ежиком, — Михаил Александрович Стахович. Когда-то он был близок к Николаю II, но после 9 января оставил двор и уехал к себе в Елец, где и развивал независимые суждения. Временное правительство отправило его послом в Испанию. Он прибыл туда в день Октябрьского переворота, не успел вручить верительных грамот, истратил в Мадриде все деньги, вернулся в Париж и поселился у Львова. В политике он снисходительно оправдывал и белых и красных.

Направо от хозяина сидел директор-распорядитель Русско-азиатского банка Николай Хрисанфович Денисов, низенький, воспаленный, с крупным мясистым носом и жесткой бородой сатира. Он только что много говорил, был возбужден, выпил шесть рюмок водки и пододвигал к себе самые острые закуски. Рядом с ним сидел русский посол в Англии (назначенный Временным правительством) Константин Дмитриевич Набоков, изящный и выхоленный. Он привез из Лондона важные сообщения о русском вопросе и с любопытством разглядывал пятого собеседника, для которого, в сущности, и собрались за этим столом.

Пятый собеседник сидел налево от хозяина, — круглоголовый, широколицый, с волчьим лбом и выбитыми двумя передними зубами, которые он не успел еще вставить себе в Париже. Это был интный азербайджанец Тапа Чермоев, бывший конвоец и владелец огромных нефтяных участков в Баку.

За столом он еще не сказал ни слова. Все знали, что привела его сюда острая нужда в деньгах. В восемнадцатом году англичане, заняв Баку, предложили Чермоеву образовать Азербайджанскую республику. Он выказал англичанам преданность, но от продажи им нефтяных участков до времени уклонился. Тогда представлялось, что Азербайджан, Дагестан, Грузия, Абхазия и Армения прочно подпадут под державное покровительство Англии, и только безумец мог бы при таких перспективах торопиться продавать нефтяные земли.

Противно здравому смыслу, большевики выбили англичан из Баку и Азербайджана. И англичане почему-то не послали ни флота, ни войск, чтобы вернуть Чермоеву власть и нефть. Он бежал в Париж и стал, как все здесь, просыпаться с надеждой, засыпать в мрачном отчаянии. Денег ему не давали под национализированные большевиками нефтяные участки — предлагали сначала вернуть их от большевиков. За последнее время мысли его начали устремляться к военным успехам Деникина. Чем это пахло для Азербайджана, он понимал. Но в конце концов, ему неплохо было и при империи в свите его величества.

Задача (у сидящих за столом) была: прошупать намерения Чермоева и убедить его в безусловной и близкой победе белого оружия...

За столом шел покуда что легкий разговор. Денисов рассказывал парижские новости. Год тому назад Николай Хрисанфович и не подумал бы утруждать себя болтовней с такими музейными барами. Он искренне презирал высокородных вырожденков и дураков, все еще уверенных, что Россия — их большое имение, которым они призваны управлять. Вырожденки и дураки привели Россию к тому, что она оказалась неподготовленной к мировой войне, и в семнадцатом году история поставила запоздалую точку на самодержавии. Денисов был «демократом». Во время февральской революции он стал владельцем Русско-азиатского банка. Соразмерно этому выросло его честолюбие, раскрывались возможности вплоть до президента Российской демократической республики. Большевиков он воспринял как завершение революционного хаоса, из которого тоже умудрился извлечь пользу, широко скупая недвижимую собственность, акции и прочее. Приди сейчас успокоение и порядок — он сразу становился в ряды миллиардеров.

Весь восемнадцатый год он выжидал и покупал. В девятнадцатом большевики начали внушать ему опасения. Дело с их ликвидацией затягивалось. Колчак начал было хорошо, но от него понесло такой доисторической монархией, грабежом и безобразием, что французы подумывали об его ликвидации. Деникин воевал тоже пока что недурно, но чем ближе он придвигался к Москве, тем скупее Англия отпускала ему помощь и тем яснее обозначались различные точки зрения Англии и Франции на его успехи. Выигрывали на этом одни большевики. Ясное близкое будущее отодвигалось в неопределенную даль.

Николай Хрисанфович остроумно рассказывал о театральной новинке — комедии Саша́ Гитри, где отец, сын, жена и любовница играли ничем не прикрашенную, на самом деле этой весной случившуюся неурядицу в семье Гитри: Саша́ Гитри стал изменять жене (мадемуазель Претан), его отец (Люсьен Гитри) пожертвовал своими старческими силами, наставил Саша рога с его любовницей (мадемуазель Бланш) и вернул его к жене. Так это и написано в комедии — слово в слово. Первый акт — в столовой, второй и третий — в постели. Пресса разделилась: одни кричали, что это — натурализм, вечер французского искусства, другие — что это заря великой правды, с которой война сорвала последние блески лжи. Париж валом валит к Саша́ Гитри в театр.

— А вот, — сказал Стахович, — в «Олимпии» так совсем уж голые — двести девочек на сцене...

Беловато-стеклянный взгляд Львова с упреком остановился на Стаховиче, лицо которого уже побагровело от коньяка.

— Несколько удивляет, — проговорил князь Львов, — что сделались с французскими женщинами? Я повел племянницу в этот, как его, самый приличный вечерний ресторан, и сейчас же пришлось уйти... Нельзя предположить, что естественное целомудрие исчезло. Скорее — это массовый психоз. Сегодня мне сообщил секретарь министра исповеданий, что решен вопрос о причислении Жанны д'Арк к лику святых...

Львов, как всегда, был тяжелым собеседником. Никто за столом не подхватил темы о моральных проблемах. Стахович налил себе красного вина.

— Носят прозрачные юбочки по колено, а весь верх открыт, сиди — даже ниже талии, — это поражает непривычный глаз... Что прикажешь делать? Убито полтора миллиона отборных самцов... Поневоле обрежешь юбочку.

Денисов сказал:

— Куда дальше — в Ростове-на-Дону все режут юбки. На Садовой в четыре часа — как на пляже... Деникин, говорят, возмутился, но за короткой юбкой преимущество — безопасность от тифозных вшей и минимум материала...

Молчаливый до этого времени Тапа Чермоев медленно повернул круглое лицо к хозяину, спросил вежливо-презрительным голосом:

— Как сыпной тиф в добровольческой армии, Георгий Евгеньевич? Идет на убыль?

— Да... да, тиф — это великое испытание. — Львов вытащил из-за жилета салфетку. Все встали и перешли в салон, где дымились чашки с кофе. Опустив голову, заложив руки под пиджак за спину, Львов прошелся по ковру и остановился около Чермоева. — Тиф — наша основная забота. Но, может быть, и наше главное оружие. Мы широко снабжены медикаментами... У большевиков их нет, у красноармейцев нет сменных рубах... Смертность у них — семьдесят процентов, у нас вдвое меньше. Лучше пуль и штыков, чем нас борется тифозная вошь...

Чермоев без улыбки поклонился, показывая, что убежден. Львов опять, — руки под пиджаком, опустив голову, — прошелся и стал около Набокова, осторожно мешавшего ложечкой черный кофе в чашечке.

— Константин Дмитриевич, нам бы хотелось послушать ваше суждение о лондонских делах...

Набоков наклонил голову:

— Слушаю-с...

Он поставил чашечку на камин. По его понятиям, приличные в высшей степени люди (комильфо) существовали только в Лондоне. Немецкая аристократия, кичащаяся Готским альманахом (той адресной книгой для брачных контрактов с коронованными особами), французские блестящие фамилии, смешавшие свою кровь с кровью еврейских банкиров, русское дикое, безграмотное, пропахшее водкой и собаками дворянство, не умеющее охранить ни земель, ни чести, ни блеска имен, — все это были

варвары. В том числе и милейший Михаил Александрович Стахович. Англичанин, меланхоличный, замкнутый, равнодушно-гордый, в замке у очага в сумерках, на том же самом месте, на том же самом кресле, обитом тисненой кожей, где восемь столетий сидели его предки, — такой человек по праву, недоступному пониманию толпы, истинный патриций, хозяин мира, что вы там ни кричите со своих плебейских трибун... Разумеется, эти мысли не были написаны на бледном, с черными волосиками на губе, по-английски спокойном лице Набокова, оно выражало лишь величайшее внимание к собеседникам...

— Господа... на днях я говорил с Черчиллем... Кажущийся страх перед рабочей партией — лишь простой маневр. Слагаемые английской внутренней политики таковы, что выгоднее уступить крикунам в палате общин, чем вооружать против себя прессу Ирландии, Индии и так далее. Мы как будто уступили в эвакуации Архангельска и Мурмана, на самом деле эвакуация оттуда английских войск будет производиться крайне замедленно. Второе — отвод английских частей с деникинского фронта...

Львов тотчас заложил руки под пиджак и опять заходил, как в одиночке.

— ...На их место Черчилль посылает две тысячи пятьсот инструкторов-добровольцев... Эти уступки позволили Черчиллю сообщить мне: из секретного фонда английского военного министерства ассигновано двести сорок миллионов рублей на материальное снабжение Деникина...

На истуканьем лице Тапы Чермоева вдруг открылись зубы с изъязном. Денисов схватился за мясистый нос.

— ...Это тем более во всех отношениях приятно, что военное министерство не может потребовать и не потребует от России компенсации... Я боюсь, господа, быть непонятым... Мы знаем, что двадцать третьего декабря семнадцатого года Клемансо и Ллойд-Джордж договорились о разделе сфер влияния... Линия влияния проходит через Босфор, Керченский пролив, на Царицын и дальше к северу... Грехи русского народа были слишком вопиющи, Россия должна чем-то поплатиться. Да, сферы влияния! Да, мы теряем из суверенного хвоста несколько павлиньих перьев... И это все, чем мы платимся за Брестский мир... Мое глубочайшее убеждение: потеряв, мы приобретаем гораздо больше. Своими силами нам все равно не восстановить разрушенного. В мирное время нам приходилось занимать направо и налево. Одна Франция вложила столько денег, что фактически владела пятьюдесятью пятью процентами русского железа, семьюдесятью процентами русского угля и тридцатью процентами нефти...

Набоков поднял красивые глаза, как бы припоминая цифры, затем отхлебнул из чашечки, поставил ее снова на камин и осторожно платком потопонировал губы.

— ...Сферы влияния? Прежде всего это: две высшие цивилизации приходят исцелять тяжелобольного... Я приветствую Колча-

ви — он трезво учитывает неизбежность вмешательства Англии в нашу экономическую политику... Менее понятна позиция великодержавных генералов на юге России. Звон оружия заглушает в них голос здравого смысла. Единая, неделимая — это красивое имя, но это игра дикарей в войну, господ. Нельзя ссориться со шквалами.

Львов что-то хотел сказать, но только коротко кашлянул. Станович сопел, раздувая сигару.

— Россия — это организм, переросший самого себя. Дом нечистых Романовых кое-как слеплял разваливающиеся куски... Отсюда эта профессиональная великодержавность у наших генералов. Но — распался великий Рим, и — да здравствует европейская цивилизация... Так думают в Англии. Война окончена... Мы на развалинах Рима... Англия принимается наводить у нас порядок...

Поймав блеснувший, как олово, взгляд Львова, Константин Дмитриевич чуть-чуть нахмурился.

— ...Это право высшей культуры... Право патрицианского дуна над всем этим — квас, тройка, самовар... — Он незаметно в юморок покосился в сторону Стаховича. — Индусы, арабы, негры проходят тяжелую колониальную школу, но зато они прикасаются к цивилизации. Когда римляне несли в глушь германских лесов орлы своих легионов, это было первым уроком ребенку говорить «папа» и «мама»... Я понимаю французского буржуа: у него чулок набит русской рентой и промышленными акциями царской России, он с яростью будет кричать о восстановлении «великой и неделимой». Но такой ясный ум, как Жорж Клемансо?! Хотя в конце концов это не важно — совершится то, что совершится...

Слушатели молчали, не то подавленные, не то от недоумения. Нибоков приподнял брови, медленно закурил от восковой спички, покусал прилипший к губе кусочек папиросной бумаги.

— Теперь сообщу наиболее важное... Черчилль находит, что военный спектакль в России утомителен... Белые отступают, белые наступают, красные отступают, красные наступают... Черчилль находит, что большевики засиделись в Москве. Если у них нет такта уйти самим, придется прибегнуть к давлению извне... План коалиции четырнадцати государств для военной прогулки на Петербург, Минск, Киев, Одессу и концентрического наступления на Москву нужно считать решенным в положительном смысле... Вопреки в деталях — кое у кого сбавить аппетита, кое-кому прибавить прибрости... Я кончил, господа...

Гости взяли лежавшие в прихожей на креслах пальто, шляпы и трости. Сказали несколько последних шуток и гуськом молча спустились на влажную улицу, под мягко шелестящую листву пла-

танов, скупо озаряемых высоко взнесенными электрическими лунами.

Львов и Стахович вернулись в маленький салон. Стахович, потеряв всей ладонью медное лицо, спросил неожиданно:

— Как тебе понравился коньяк?

Львов гневно взглянул на старого друга:

— Как тебе понравился Набоков? Если так рассуждают русские, то как же должны... Прости, я никогда не был славянофилом, но... Эта англомания, это западничество, доведенное до... И все же... Я посылаю Деникину танки — расстреливать наших мужиков... Набоков удовлетворен... (Голос уже ушел вглубь и рвался оттуда все раздражительнее.) Но я-то, я — не удовлетворен. До большевиков можно добраться только через трупы русских... Я буду гореть на вечном огне, но я не знаю, как по-другому спасти Россию... Читай Апокалипсис, Михаил Александрович... Если бы я мог все бросить, бросить и — в монастырь...

— В русском западничестве, — ответил Стахович, полулежа в кресле и запустив пальцы в бороду, — в русском западничестве более глубокие и отдаленные корни, чем у славянофилов... Первое проявление западной ориентации я отношу ко времени Тушинского вора: это так называемый перелет к нему московских бояр. В сущности, они просили у польского короля того же, что просит Набоков у Черчилля...

— Вздор, вздор говоришь...

— Когда у нас начали читать Гегеля, западничество разделилось на две ветви — дворянскую и разночинную... Первая вылилась в устройстве английских парков. Перестали отправлять нужду под лестницей на горшке и завели ватерклозеты... Разночинцы начали бороться с богом, а впоследствии читать Маркса... Я вот сижу и думаю: не находишь ты, Георгий Евгеньевич, что Маркс понятнее русскому мужику, чем славянофилы?.. Не знаю, не знаю...

— Да, идем спать, — сказал Львов. Засопел, закрутил стальной цепочкой от ключей и вышел.

Стахович остался в кресле — курить и пить коньяк.

8

Набоков пошел пешком через Марсово поле. Под решетчатой ногой Эйфелевой башни, отраженной вместе с бледными звездами в маленьком озерке, он остановился закурить папироску. Здесь его нагнал, слегка задыхаясь, Тапа Чермоев.

— Я не нашел такси, — сказал Тапа, — и повернул за вами... Может быть, поедем развлечься?

Набоков вздохнул. Он чувствовал утомление, а нужно делать усилие, чтобы отвязаться от этого татарина. Чуть-чуть поморщился. Пошли туда, где через Сену, под аркадами моста, проносился, ярко светясь окошками, поезд метро. Не надеясь, что Тапа поймет,

Набоков все же сказал, глядя на лиловатое зарево над центром города:

— Париж напоминает мне корзину с влажными розами, внесенную в кабак.

Тапа подумал, ответил серьезно:

— Сейчас нет хороших кабаков. Парижане еще не оправились от войны.

— Да, постоянно жить в Париже я не хотел бы... Я люблю наше печальное лондонское солнце, наши туманы, чинное однообразие улиц...

Набоков покосился на одну из парочек в тени куста на скамейке. Женская рука белела на груди мужчины, где поблескивала южная пуговица. Они сидели неподвижно, и со стороны казалось, что они погружены в безнадежное горе.

— У меня всегда желание — вот таким предложить десять франков на ночную гостиницу, немножко комфорта. — Набоков обернулся на хруст колес такси, поднял трость, но шофер покачал указательным пальцем.

Тапа сказал:

— Константин Дмитриевич, вы меня обрадовали сегодня... Что такое? — так думаешь. — Неужели на свете нет правды?.. Да, Черчилль хороший человек, умный человек... То, что вы сообщили, еще не опубликовано в газетах?

— Нет, и не будет...

— Понимаю, понимаю...

— Вас интересуют нефтяные курсы, Чермоев?

— Да. Нефть меня интересует.

— Когда я входил к Черчиллю, у него сидел Детердинг...

— Так, так... Нефтяной король... Очень обрадовало и заинтересовало ваше сообщение... Такси! (Тапа, весь оживившись, побежал к перекрестку, где медленно проезжал автомобиль.) Константин Дмитриевич, свободен, — крикнул он оттуда. — Едем на Монмартр?

Выйдя от Львова, Николай Хрисанфович Денисов из ближайшего кафе позвонил по телефону. Трубку сейчас же взяли, и слабый ноющий голос проговорил:

— Да, это я, Уманский... Здравствуйте, Николай Хрисанфович... Отчего так поздно?.. Знаете, у меня болит восемнадцать зубов... Врач уверяет, что нервное, но мне не легче... Приезжайте, меня тут развлекают кое-какие друзья...

Бросившись в такси и крикнув адрес, Николай Хрисанфович увидел в автомобильном зеркальце свое лицо — налитый возбуждением нос и среди черной бороды оскаленные свежие зубы... «Ловко! — подумал. — У Семена Уманского болит восемнадцать

зубов — значит, военные стоки он еще не продал и о Черчилле ничего не знает...»

Семен Семенович Уманский, низенький и плешивый, с белобрысыми глазами, лежал на неудобном диванчике. Носок лакированной туфли его описывал круги, замирал, настораживался и начинал подскакивать кверху, затем опять описывал круги — в зависимости от дерганья зубной боли.

У стола, заваленного дорогими безделушками, сидели пышно-волосая дама с вишневыми губами и молодой, бледный, медлительный человек. Они пили шампанское.

Длинное лицо молодого человека усмехалось, в синих глазах дремала ледяная тоска. Это был довольно известный на юге России журналист Володя Лисовский, фантастический нахал и ловкач. Ему надоели вши, война и дешевые деньги. Он заявил начальнику контрразведки, что едет в Париж работать в прессе, ему нужна валюта и паспорт... Он явился к начальнику штаба генералу Романовскому и бесстрастно доказал, что гораздо дешевле послать в Париж одного русского журналиста, чем там покупать дюжину французских. Он явился к профессору Милюкову, ехавшему в Париж, и, несмотря на его хитрость, в пять минут убедил взять себя личным секретарем.

Сейчас, грызя миндаль, он рассказывал о знаменитых публичных домах, куда было принято ездить с приличными дамами после ужина смотреть через окошечки на забавы любви.

Семен Семенович, хватаясь за щеку, тянул слабым голосом:

— Перестань, Володя, ты смущаешь баронессу...

Баронесса Шмитгоф была не из робких. Чувствуя себя превосходно в кресле, за шампанским, она махала рукой на Семена Семеновича:

— Молчи, мое золотко, тебе вредно волноваться...

Когда несколько отпускала боль, Уманский говорил:

— Ах, деточки мои, меня не зубы мучают, меня мучает несправедливость... Я люблю делать добро людям... Я ведь тогда счастлив, когда делаю добро... Ой, ой!.. Сколько страданий!.. И мне — подрезают крылья... Но не огорчайтесь... Справимся, деточки, вылезем как-нибудь... Пейте и веселитесь...

В дверь постучали, нога Семена Семеновича судорожно подскочила. Вошел Денисов.

— Николай Хрисанфович, уж простите меня, буду лежать... Знакомьтесь, пейте, курите... Володя, голубчик, принеси — на кухне, в тазу во льду, — бутылочка... Ох, боже мой, боже мой, какая мука!.. Чудное довоенное клико... Граф де Мерси, громадный аристократ, предлагает продать родовой погреб. Боюсь только, что эту бутылку он дал не из своего погреба... Ведь обмануть меня ничего не стоит...

Сморщенное лицо Семена Семеновича изображало томную муку. Денисов сказал, что заехал исключительно от беспокойства — справиться о здоровье. Уманский собачьей улыбкой выразил, что

интерьер. У баронессы Шмитгоф горели щеки, — в эту минуту ей, вынужденно болтающей с двумя такими денежными тузами, завидовали бы многие женщины. Держалась она несколько по-старомодному, подражая кошечке, — шифоновое, с узким, до пуговицы, вырезом, черное платье, нитка жемчуга, встрепанные волосы, тонкий носик, близорукие глазки... (Денисов сразу определил: над девушкой нужно еще работать, но материал — не дурен...)

Забравшись кошечкой в большое кресло, она болтала о тайне «милых домов» (знаменитые портные) готовивших осенний переизобрет в модах. Президент палаты Дюшанель приподнял покрывало тайны: в интервью он сказал: «Передайте женщинам Парижа, что мирь осенней листвы закроет весь траур...»

— Как вы это понимаете, Николай Хрисанфович? «Эхо бульваров» объясняет, что цвет осенней листвы — это тона от багрового до нежно-желтого. И, конечно, шифон... Кстати, Дюшанель вчера в Люксембургском саду, гуляя, упал в бассейн, где дети пускали кораблики. Газеты это скрывают. Все уверены, что Дюшанель будет президентом после Пуанкаре. Пуанкаре пора уходить, он всем надел со своей войной...

Уманский с наслаждением слушал эту бурду из журнальных заметок и газетных сенсаций. Было очень кстати то обстоятельство, что акула Денисов, приехавший, по-видимому, что-то заглотив, явстал у него в будуаре за бутылкой шампанского настоящую светскую женщину.

— Не волнуйтесь, дорогая, — повторял он, когда баронесса кокетенькими глоточками пригубливала бокал, — у вас будут платья от лучших домов... Ах, Николай Хрисанфович, какое счастье помогать людям! — И он валился на круглую подушечку, шелками глаз наблюдая за непроницаемым лицом Николая Хрисанфовича, «Да, — подумал, — не мешает ли ему Лисовский?»

Володя Лисовский налил в бокалы вина и сел в тень. Сейчас же с этой стороны у Денисова напряглось ухо. Он медленно взял папиросу и закурил не с того конца...

«Так и есть, — подумал Уманский, — он знает что-то важное».

— Ну, как русские дела, Николай Хрисанфович?

— Неопределенно...

— А вот Володя Лисовский меня обнадеживает: самое позднее в ноябре Деникин будет в Москве... В России — ни обуви, ни белья, ни одеял, ни консервов. А мы здесь пьем шампанское!.. Юж мой, боже мой!.. Я, кажется, отправлю в дар москвичам целый эшелон обуви и байковых одеял... (У Денисова заблестел глаз...) Я так решил! (Скинул ноги с дивана.) В чем счастье, наконец, Николай Хрисанфович? Отправлю в подарок пароход с бельем и консервами... Пусть только они возьмут Москву... Володя, можете сказать об этом Бурцеву. Ей-богу, отправлю... Простите, баронесса, мы — все про свою боль... Ах, надоела политика...

Баронесса проговорила трескуче-сухим голоском с живостью:

— Французы в панике, когда в общество попадает хотя бы один русский: только и слышно — большевики, большевики, Москва, Москва... Так прогоните, наконец, ваших большевиков, вы становитесь смешны с вашей вечной политикой: Москва, большевики!..

Кружевным платочком она потрогала носик.

Денисов сказал:

— Вы слышали, застрелился Манус...

Семен Семенович сейчас же подскочил, впился в него расширенными глазами.

— Застрелился Манус?!

— Да, ужасно... В Марселе... Грузил два парохода военными стоками. Портовые рабочие вдруг отказались грузить для Деникина. Пришлось добиться от правительства публикации, что пароходы идут в Аргентину... Рабочие продолжают бастовать. А цены падают. Манус все ждет... Когда разница дошла до трех миллионов франков, выстрелил себе в рот...

— В рот! Манус, Манус, дорогой друг!..

Уманский притиснул ладони к глазам. Володя Лисовский встал, чтобы сбросить пепел в пепельницу.

— Курьезный факт, — с кривой усмешкой сказал он и стал глядеть на Денисова, — американцы в Булони сожгли целый склад мотоциклов... (Денисов сейчас же быстрым взглядом ответил: «Играете на меня, понял и благодарю».) Двести тысяч новых военных машин!..

Уманский оторвал руки от лица:

— Сожгли мотоциклы? В чем дело?

— Благодарная Франция предложила американцам чуть ли не по пятьдесят франков за мотоцикл. Дороже стоит погрузка и фрахт, а везти их назад в Америку — сбивать там цены... Шикарно: поставили кругом пулеметы, облили склад керосином и не моргнув глазом сожгли товару на десять миллионов долларов!.. А теперь французы будут платить по пятьсот долларов за машину...

— Слушайте! — Уманский сорвался с дивана. (Баронесса испуганно открыла ротик.) — Разве нет Деникина и Колчака? Русские армии разуты, раздеты, безоружны! Я имею пятьсот тысяч превосходных одеял, восемьсот тысяч пар башмаков для пехоты, миллион комплектов белья, десять тысяч тонн австралийской солонины... Я могу повести в бой полумиллионную армию... Я не хочу зарабатывать на святом деле, дайте мне только вернуть мои деньги...

Денисов безнадежно закивал носом в пузырящийся бокал:

— Семен Семенович, вы забываете, что американцы привезли в Европу военного снаряжения на два миллиона солдат с расчетом на пять лет войны. Англичане на такой же срок заготовили продовольствие. Кому сейчас нужна эта солонина, бобы, консервированные пудинги, бязевое белье для покойников, пудовые башмаки...

И окопы сейчас никого не загоните... А сколько можно продать Колчаку и Деникину? Пссст! Капля в море... Положение с военными стоками катастрофичное...

Уманский, забыв зубную боль, бегал по ковру. Топнул лакированной туфелькой:

— А все-таки я буду ждать! Я окажусь прав, а не паникеры.

— Ну что ж. — Денисов подвигался в кресле, будто собираясь встать. — В игре советов не дают. — Он осторожно покосился на Лисовского.

Тот понял и заговорил насмешливо:

— На днях забегал к Морозовым. Сидят три московские купчихи, где-то раздобыли арбуз, едят, ругательски ругают французов и свреев, собираются ехать в Россию, и Россию тоже ругают на чем свет... Все вещи — в чемоданах; собираются быть в Москве к началу сезона — смотреть премьеру в Художественном театре... Я им говорю: «Что же вы так собрались-то?...» — «А нам, — говорит, — из Лондона написали, что на днях будет война четырнадцатью державами». Я — натурально — шапку, трость и — в редакцию. (Денисов громко засмеялся. Уманский белобрысо моргал.) Там сдурю-то и рассказываю сенсацию... Бурцев, как был, в соломенной шляпенке, пальто набито корректурами, — рванулся писать передовицу: «Осиновый кол вам, большевики...» Кричит из кабинета: «Лисовский, сведения из достоверного источника?» Отвечаю: «Ага...» — «Лисовский, вы не можете достать денег, съездить в Лондон? Добейтесь аудиенции у Черчилля». А я как раз читаю «Таймс» — в Лондоне всеобщая забастовка... Жалко старика... «Вы, говорю, Владимир Львович, на всякий случай передовицу-то покажите военной цензуре...»

Лисовский положил в рот соленую миндалину; похрустев, вернулся в тень. Денисов допил бокал и поднялся.

— Боюсь я, что выйдет самое скверное, — сказал он, — Ллойд-Джордж добьется мирной конференции на Принцевых островах. Большевики, видимо, уже склонны мириться, а Деникина и Колчака англичане уломают... Ну вот, Семен Семенович, рад был вас видеть.

Он взял надушенную руку баронессы и прижался к ней колющими усами.

— С кем вы были вчера в Булонском лесу?

— Вы меня видели? Я была с графом де Мерси... Правда, он очарователен?.. Но он разорен... Он маниакально любит Россию и русских...

— Ах, этот... У него не то в Баку, не то в Грозном — нефтяные смли...

— Граф в отчаянии. Он живет надеждой, что будущий император вернет ему все... Николай Хрисанфович, скажите, кто будет у нас императором: Кирилл, Борис или Дмитрий Павлович?

— Я — демократ, моя дорогая.

— Как вам не стыдно! Я вся за Дмитрия Павловича, — молод, поистине красив... но замешан в убийстве Распутина... (Расширив глаза, шепотом.) При английском дворе определенное течение против Дмитрия Павловича... Борис и Кирилл Владимировичи должны получить от матери знаменитые изумруды, у них будет на что содержать двор... Кто же, кто — Борис или Кирилл?

— Кирилл, Кирилл, о чем говорить, — нетерпеливо перебил Уманский.

Денисов простился. Уманский торопливо пошел за ним в прихожую. Там оба, сразу постарев лицами, взглянули в глаза друг другу до самой глубины.

У Семена Семеновича дрогнули губы, Денисов проговорил холодно:

— Можно еще кое-что спасти...

Тогда Уманский распахнул золоченую дверцу в маленький зелено-голубой кабинетик с мягким светом потолочного полушара. На столе, покрытом стеклом, где стояли телефоны, и на ковре кучками валялись изорванные в клочки бумаги. Денисов вошел. Разговаривали торопливо, шепотом, не садясь.

Уманский:

— Есть предложение?

Денисов:

— Один приезжий...

— Откуда?

— Это безразлично. Большие деньги. Порет горячку, готов на ажиотаж. Я могу говорить за него. Покупаю весь ваш товар. Я подписываю, я плачу.

Уманский снова пронзительным взглядом измерил глубину человеческой совести.

Но там было непроницаемо. Он опустил голову. Губа его отвисла.

— Сколько я потеряю?

— Шестьдесят пять процентов.

— Шестьдесят пять процентов?! Невозможно! — Уманский заломил руки. — Тринадцать миллионов!! — Сразу сел, уронил руки на клочки разорванных бумаг.

Денисов:

— Семен Семенович, я знаю все сроки ваших платежей...

Уманский — бешеным шепотом:

— Деньги завтра, черт вас возьми...

— Все деньги завтра до часу дня.

— Согласен.

Денисов сухо, важно поклонился, пошел к двери. В прихожей к нему придвинулся Лисовский:

— Нам по дороге, Николай Хрисанфович?

— Едем на Монмартр... Позовите баронессу.

— Нельзя же лишать беднягу сразу всего, Николай Хрисанфович...

Денисов и Лисовский уселись за столиком в кафе «Либертис». Виски было развратно и не слишком шумно — обстановка, всегда вдохновлявшая Николая Хрисанфовича. К ним подошла рослая женщина в глубоко открытом платье, блестящем, как чешуя. Низким, хриповатым голосом спросила, что они пьют, и крикнула в глубину полуосвещенного кафе, мерцавшего зеркалами:

— Гарсон, два сода-виски.

После этого она пальцем приплюснула нос Денисову, показала кончик языка и ушла, покачивая бедрами. В сущности, это был мужчина, хозяин бара, знаменитый исполнитель куплетов — Жюль Серель.

Денисов засмеялся ему вслед, закурил и сказал Лисовскому:

— Хорошо, что мы не взяли баронессу, мы поговорим.

Принесли виски, он жадно отхлебнул. Лисовский, у которого началось нездоровое сердцебиение, незаметно положил в рот облатку аспирина.

— Я хочу выиграть войну с большевиками. Я хочу реализовать в России мой миллиард долларов, — сказал Денисов. — Желания понятны. Теперь — спрячем-ка их в несгораемый шкаф на некоторое неопределенное время... Дело не так просто, как кажется... Все эти блаженные дурачки вместе с князем Львовым ни черта не понимают... Они размалевывают перед англичанами и французами детские картинки: в милейшей и добрейшей России государственная власть захвачена бандой разбойников... Помогите нам их выгнать из Москвы и — дело в шляпе. Я утверждаю: французы и англичане точно так же ни свиньи собачьей не смыслят в политике, не знают истории с географией... Взять Москву! А Москва-то, между прочим, у них здесь — в Париже, в рабочих кварталах... Танки и пулеметы прежде всего нужно посылать сюда и здесь громить большевиков, и громить планомерно, умно и жестоко.

Лисовский не отрываясь глядел на красные влажные губы Денисова, шевелящиеся точно в лоснящемся гнезде усов и бородки.

Денисов говорил, смакуя фразы, поблескивая глазами:

— Вы думаете, в восемнадцатом году, в Москве и Петербурге, и только и делал, что прятался по подвалам, скупая акции и доходные дома? Я изучал революцию, дорогой мой Лисовский, я бегал на рабочие митинги и однажды, с опасностью для жизни, пробрался на собрание, где говорил Ленин... Выводы: Россия до самых костей заражена большевизмом, и это не шутки... И Ленин знает, что делает: у него большой стратегический план... А у здешних дурачков одна только желудочно-сердечная тоска... Кто победит — и вас спрашиваю?.. Так вот, у меня тоже свой стратегический план...

Шуря глаза, он отхлебнул виски.

— Я никогда не строю свою игру, рассчитывая на дураков, заметьте... К сожалению, дураков больше, чем следует. Поэтому

я не рассчитываю на быстрый успех моих идей... Их нужно подготовить, их нужно выносить, им нужно создать благоприятную почву... Вы мне будете нужны, Лисовский... Завтра я еду с баронессой за город. В понедельник мы с вами завтракаем...

Открылась входная дверь. Стали слышны голоса прохожих, женский смех, хрипкое кваканье автомобильных сигналов. Дверь, звякнув, закрылась, звуки затихли, в кафе вошли Чермоев и Набоков. По устало-вежливому лицу Набокова можно было предположить, что они уже давно таскаются из кабака в кабак в поисках развлечений.

К ним подошел Жюль Серель, в сверкающем платье. Чермоев, глупо и коротко заржав, потрепал его ниже глубокого выреза на спине.

— Это стоит сто су, — сейчас же сказал Жюль Серель, взмахнув наклеенными ресницами, — платите.

— Я плачу луи, — крикнул Денисов.

Жюль Серель взял четыре фарфоровых блюдечка-подставочки (на каждом стояла цена: 2,5 франка) молча поставил их на столик Денисова и предложил только для него спеть «О, ночные тротуары Парижа». Он сел за пианино, закинул голову...

О, ночные тротуары Парижа,
Поиски минутного счастья
И безнадежная печаль одиночества,
Которую ты находишь,
Ища совсем другого...

Запел он хриповато и негромко. В кафе не было никого, кроме четырех русских. Но из них только один, Набоков, повернув к Серелю бледное лицо, слушал слова песенки, от которой тянуло сладким тлением... Денисов трогал зубами набалдашник трости, Чермоев с достоинством ожидал минуты, когда можно будет пожаловаться ему на недостаток денег, Лисовский, посасывая вторую облатку аспирина, соображал — сколько можно будет содрать с Денисова за еще неведомую услугу.

11

Русская газета «Общее дело», издаваемая В. Л. Бурцевым, печаталась на плоских машинах. В узкой улочке (в старом квартале Парижа), в почерневшем от копоти здании с пыльными сетками на окнах, помещалась типография. Паутина на потолке, газовые рожки и машины, капающие грязным маслом на кирпичный пол, пережили не менее трех революций. Сейчас эта фабрика мысли занималась более или менее сомнительными делами. Рабочие занимались сюда на короткие сроки и лишь в крайних обстоятельствах. Их выпачканные свинцом, запавшие лица оживали только под суровым взглядом метранпажа — могучего толстяка с угрожающими усами. Он держал впроголодь свой «свинцовый батальон»,

набираемый в трущобах и кабаках. Типография работала кое-как, но владеец ее, Ришар, журналист, театральный критик и редактор-издатель газетки «Эхо бульваров», неплохо зарабатывал отделом хроники и смеси, беря с известных лиц и за то, что печатал, и за то, чего не печатал. Клиентами его были кокотки, жаждущие общественного скандала, дома терпимости, маленькие актрисы и немало членов палаты депутатов — эти платили за молчание, так как Ришар знал все, что касалось грязного белья или иных вещей, которые не стоило выносить на свет.

Над типографией направо помещались редакция «Эха бульваров», анархический листок «Фонарь» и анонимное издательство «Курочки Парижа»... Налево — в трех пустынных комнатах — расположился знаменитый орган борьбы с большевизмом — «Общее дело».

В редакции были голые и пыльные окна, на полу — пожелтевшие связки газет, несколько камышовых стульев, гвозди в стенах и листочки рукописных объявлений, приколотые булавками к обоям. На двери в крайнюю комнату — надпись: «Я занят». Там сидел Бурцев.

Он сидел спиной к двери. Входящим была видна маленькая, быстро пишущая фигурка с раздвинутыми продранными локтями и седые вихры из-под соломенной шляпы, которую он из торопливости и занятости никогда не снимал. Обойдя стол, посетитель мог видеть горбатый внушительный нос, испачканный чернилами, гнибно-седую бородку и худошавое возбужденное лицо Владимира Львовича. Он писал. Обычно он один заполнял всю газету. На столе — вороха рукописей, газет, окурки и пыль. В глубине комнаты на полу — рукописи, окурки и пачки газет, на которых Владимир Львович спал. Из бережливости он жил здесь же, при редакции, мирясь с отсутствием водопроводной раковины.

Сотрудникам, кроме Лисовского, он отказывался платить хотя бы одно су, — в дни уплаты ему гонорара впадал в тихое бешенство:

— Куда вы деваете деньги, Лисовский, куда вы расшвыриваете деньги? Каждую неделю вы отнимаете часть души от «Общего дела». Я спрашиваю: чем отличается ваша беспринципность от шайки московских разбойников? (Он думал и выражался фразами из своих передовиц; пронзительные со сжимающимися, расширяющимися зрачками светло-голубые глаза охотника за провокаторами ощупывали, казалось, все тайные извилины души Лисовского.) Вы, привыкший сорвать маску с преступления большевиков, завтракаете по ресторанам, крикливо одеваетесь, и я вижу, — должны это признать, — вы — ближайший соратник «Общего дела», вы — циник...

После этого Бурцев вытаскивал из-за рваной подкладки пиджака измятые двадцатифранковые бумажки и, удрученный, передавал их Лисовскому. Деньги на издание «Общего дела» доставались ему нелегко: французы не придавали серьезного зна-

чения газете, так как в экономической программе Бурцева не было ничего вещественного, кроме позорных столбов, осинового колья и проклятий, а телеграммы от собственных корреспондентов, сочиняемые в соседней комнате Лисовским (большевистские ужасы, социализация женщин и тому подобное), казались более живописными, чем деловитыми. Для Деникина Владимир Львович был слишком красен. В колчаковских кругах вообще собирались повесить Бурцева вместе со многими другими «либералами» после взятия Москвы. Деньги перепали лишь от князя Львова.

Лисовский советовал повернуть руль «Общего дела» от парламентаризма покруче вправо — созвучно с эпохой:

— Владимир Львович, играйте на генерала на белой лошадке. Нюхайте эпоху. Больше нельзя долбить, будто большевики сорвали святую, бескровную революцию... И слава богу, что сорвали, — осинового ей кол...

— Замолчите! — страшным шепотом перебивал Бурцев.

— Осознать настоящего хозяина — вот лозунг... Владимир Львович, вы верный слуга буржуазии, и дай бог ей здоровья и процветания...

— Молчите! Вы — циник, диалектик, большевик...

— Хотите, махну четыре фельетона подряд — во всем блеске, как я обо всем этом думаю... Редакция переезжает на Елисейские поля, вход с парадного... В приемной — жизнь, а не гвозди в стенах... Депутаты, дельцы, концессионеры, генералы... Шикарные девочки...

— Я вас больше не слушаю. — Бурцев хватал сухонькими пальчиками перо, и нос его нависал над торопливыми неразборчивыми строками, над чернильными брызгами.

12

«...У которых отмерло чувство элементарной порядочности; люди, в присутствии которых боишься за целостность твоего носового платка! И мы с полным правом бросаем им в лицо: проклятие вам, большевики!..»

Бурцев осторожно положил перо на стеклянную подставочку, потер сухие ладони. Перед ним, усмехаясь, как всегда, стоял Лисовский. Бурцев сказал:

— Я кончил передовицу... Едва ли кто-нибудь писал столь беспощадные слова. Они упадут громом на их голову. Если у них хотя бы остался намек на совесть, они не переживут позора...

Лисовский дернул ноздрей:

— Я только что завтракал с Денисовым. Николай Хрисанфович делает интересное предложение... Знаете, что он сказал? «Для какого дьявола Бурцев издает газету по-русски?..»

Бурцев угрожающе поднял палец:

— Слушайте, от вас несет вином...

— Мы пили великолепное бургонское, будьте покойны... Он сказал: «Бурцев, в конце концов, пишет для одних большевиков, — чтобы им стало стыдно и они бросили революцию...» В Доброармии им ни на маковое зерно не верят, сколько ни распинайтесь... Какова аграрная программа «Общего дела»? — Кукиш в кармане... А Доброармии нужно не много, но крепко: землю помещикам, мущиков — шомполами...

— Безумие! — закричал Бурцев, хватаясь за перо. — Я никогда не дам большевикам этого козыря! Скорее я пойду за Черным, хотя в настоящих условиях это тоже безумие!

— Ну, так вот Денисов именно это и ценит: у Бурцева хороший стаж; французский рабочий если кому-нибудь поверит — только Бурцеву... Рабочие питаются ядом Шарля Раппопорта в «Юманите»... Даже Анатоль Франс объявил себя большевиком... Раппопорт торчит у него каждый день на вилле «Саид»... Пусть рабочие читают «Общее дело», и на это можно дать деньги... Пусть Бурцев для собственного утешения издает пятьсот экземпляров по-русски, — все остальное на французском языке... Бурцев — марксист, революционер, неподкупный... (Владимир Львович, сам этого не ожидая, самодовольно усмехнулся...) Пусть он рассказывает рабочим, как их водит за нос шайка бандитов... Бурцев — это марка... Вот что сказал Денисов... (Пауза. Лисовский закурил.) Слушайте, с сегодняшнего вечера я займусь рабочими окраинами. Вы отводите мне весь нижний подвал под ярисовки. Нельзя сразу долбить читателя по башке вашими переловицами. Я его заинтересую. Что вы скажете о серии очерков — «С фонарем по Парижу»? Пусть это будет немного желто — все же лучше, чем ваши осиновые колья. Денисов прав: Москву нужно начать бить здесь, в рабочих кварталах. «Общему делу» суждено спасти Европу...

Лисовский сказал это черт его знает как: с кривой усмешкой и нагло глядя в глаза, но голосом как будто взволнованным и убежденным.

Для Бурцева настала тяжелая минута раздумья, все же он ее пережил.

— Лисовский, я хочу знать происхождение денисовских миллионов. Это чистые деньги?

— Чистые деньги.

— Хорошо... Я его приму... Но пусть он придет сюда... Сюда! (Он ткнул сухоньким пальцем в промокашку.) Пусть эти господа миллионеры увидят, что мы здесь не торгуем своими перьями...

В тридцати минутах трамвайного пути от Парижа, в Севре, в лесу стоял уединенный дом в два этажа с мансардой, за каменной высокой изгородью, поросшей ежевикой.

Сведения местных поставщиков мяса, зелени, молочных, хлебных и колониальных продуктов об обитателях уединенного дома в лесу были следующие.

Владелец дачи, мосье Мишо, имевший несчастье вложить две трети сбережений в русские займы и заболевший сердечными припадками после Брест-Литовского мира, получил однажды от комиссионной конторы предложение сдать в аренду на шесть месяцев свой дом иностранцу Хаджет Лаше. Мосье Мишо поставил условие — оплатить аренду за шесть месяцев вперед в английских фунтах стерлингов. Контора сейчас же ответила согласием и передала мосье Мишо контракт, уже подписанный Хаджет Лаше, и арендную плату в английских фунтах. Таким образом, мосье Мишо так и не увидел в лицо своего арендатора. Прислуга, рекомендованная мосье Мишо, мадемуазель Нинет Барбош, также не давала сколько-нибудь определенных сведений. Из многих посетителей дачи ни одного не звали Хаджет Лаше. Он оставался лицом, возбуждающим любопытство.

На даче жили три молодые женщины и угрюмая старуха, Фатма-ханум. Она следила за хозяйством, расплачивалась с поставщиками, по-французски знала только названия продуктов, никогда не выходила за ограду и спала на чердаке в полутемной клетушке. Три молодые женщины — мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили — занимали наверху три спальни. В четвертой комнате останавливался Александр Левант. Случайные посетители, гостившие иногда по нескольку дней, спали внизу, в салоне, на турецких диванах, покрытых смирнскими коврами. Нинет Барбош не могла определить, на каком языке разговаривают молодые дамы, некоторые слова она записала французскими буквами на клочке бумаги, но в Севре на рынке не удалось их расшифровать.

На рынке и в лавочках Севра задавали вопрос: не есть ли дача в лесу просто заведение с «девочками»? Но против этого решительно восстали поставщики. Мужчины бывали на даче не часто и не регулярно: будь там заведение, оно давно бы уже лопнуло, во всяком случае замечались бы жизненные перебои. Единственно, что можно было там отметить, — это оттенок несемейственности. Но в конце концов, всякий живет, как ему нравится, и нет основания совать нос туда, где честно расплачиваются по счетам.

Уважение внушало также и то, что Александр Левант всегда приезжал в автомобиле и никто из гостей никогда не пользовался поездом, тем более трамваем. Из Парижа привозилось шампанское, но после того, как владелец винного магазина в Севре предложил доставлять в любое время дня и ночи вина и шампанское любых марок в любом количестве, и эти случайные суммы стали оседать в Севре.

Мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили жили празднично. Спали до десяти утра; непричесанные, в шелковых пижамах, подолгу сидели за утренним кофе, курили папироски. Иногда гуляли, но больше валялись под двумя старыми липами напротив каменного крыльца.

Сад был запущен, розы одичали, на клумбах — сорная трава. Нинет Барбош, перетирая у окна тарелки, часто спрашивала себя: почему эти три кобылицы так боятся испачкать руки? На чудесной лужайке, где в июньском зное слышалось пчелиное гудение, валялись пустые коробки от папирос, бумажки, бутылки. А эти, положив голые руки под затылок, знай себе глядят в облака... Чулки не штопают, порвутся — бросят где попало; платья раскиданы по всему дому.

Мари была полная блондинка с длинными сонными глазами. Нера — высокая, худая, сложенная, как модель из большого дома; лицо азиатское, волосы лиловатые. Лили — во французском вкусе: круглое, как у подростка, лицо, вздернутый нос, стриженная тренинная голова, но слишком большой и чуждый по выражению рот выдавал славянское происхождение.

Когда слышался гудок поднимающегося в гору автомобиля, на крыльце появлялась Фатьма-ханум и что-то начинала говорить, ударяла ладонь о ладонь, трясла старым подбородком. Но дамы не слушали ее — может быть, потому, что Фатьма говорила на другом языке. Они лениво покидали парусиновые шезлонги, уходили в дом одеваться. Фатьма тусклыми покорными глазами глядела на железную калитку с колокольчиком. Появлялся Александр Левант, большею частью с гостями. Почти всегда это были иностранцы. Они бросали шляпы и пальто на траву, садились на шезлонги. Курили, спорили, смеялись. Александр Левант уходил за дамами. Обняв их за плечи, широко улыбаясь, сводил с крыльца, знакомил. Им целовали руки.

14

В один из июньских дней Александр Левант привез на дачу Василия Алексеевича Налымова. Под липами в безветренном зное гудели пчелы. Нинет Барбош энергично стучала тяпкой на кухне. Дамы умудрились даже стащить с себя пижамы, лежа с папиросками в парусиновых креслах. Повсюду — лень и жаркие голубоватые тени.

Среди полдневной истомы неожиданно раскрылась калитка, за спиной Александра Леванта смеялось одутловатое бритое лицо светловолосого человека, одетого во все новое. Дамы слабо ахнули и понеслись к дому, кое-как прикрывая наготу.

Левант рассердился и начал по-турецки кричать в чердачное окно. Оттуда высунулась перепуганная Фатьма, залопотала по-турецки. Левант с бешенством указал ей тростью на пустые бутылки и на пижамы, оброненные на песчаной дорожке...

— Проклятая старуха! — сказал он Налымову, увлекая его в дом. — Но вы не обращайте внимания на некоторый беспорядок. Мой друг, Хаджет Лаше, снявший эту дачу, в отъезде. Дамы, которых вы мельком видели, — его гости. У меня нет времени за-

няться порядком. Это дом без головы, но здесь можно чувствовать себя не стесняясь. Это — богема...

Он ввел Налымова в небольшой салон, затемненный закрытыми жалюзи, и предложил располагаться на любом из диванов. Присев на подоконник, перекатывал во рту сигару.

— Три дамы, — чтобы сразу вам ориентироваться, — эмигрантки из России. Мой друг, Хаджет Лаше, человек необычайно отзывчивый, подобрал их буквально умирающих от голода на тротуарах Константинополя... Одну из них, кажется, он хорошо знал по петербургскому свету, — та, высокая, чудно сложенная женщина — княгиня Чувашева... Маленькое создание — это несчастная дочь генерала Степанова, — отец пропал без вести, мать умерла во время эвакуации Одессы. Полная блондинка, если не ошибаюсь, — киевская сахарозаводчица, чудный голос, но до сих пор не совсем пришла в себя от потрясений... Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что наделали большевики с нашей Россией... Я ведь тоже отчасти русский, у меня были крупные дела в Петербурге... Помните гостиницу «Астория»? Там я держал постоянные апартаменты. Мой друг, Хаджет Лаше... Кстати, вы не знали его?

— Не вспоминаю, — ответил Налымов, прислушиваясь к женским голосам, слышным из раскрытых окон наверху.

— Совсем недавно он купил у стокгольмского эмигранта гостиницу «Астория» и еще ряд других гостиниц в Петербурге. Очень деловой человек... И патриот, русский патриот...

Заметив, что Налымов плохо слушает, Левант несколько изменил направление беседы:

— Сейчас мы отлично пообедаем. Нинет Барбош научилась у старухи восточным блюдам. Затем я вас покину на попечение дам. Отдыхайте, флиртуйте. А через несколько деньков займемся делами. Меня очень интересует Тапа Чермоев, — вы с ним близки?

— Пили где-то...

— Великолепно. Затем — Леон Манташев и другие... Эти нефтяные короли — беспечнейшие люди... И понятно: сиди себе и гляди, как из-под земли с божьей помощью хлещут деньги... Словом, об этом в свое время... Идем обедать...

Дамы вышли к столу в белых батистовых платьях. Александр Левант представил Налымова, — его приняли непринужденно, но равнодушно. Обед, в полумраке закрытых жалюзи, начался молчаливо. Левант с жадностью занялся едой. От щек и толстых рук Нинет Барбош, вносившей блюда, дышало жаром плиты. Мадам Мари изнемогала. Мадам Вера по-мужски пила белое вино — стакан за стаканом. Крошка Лили любопытно поглядывала на Налымова.

Отодвинув тарелку, Александр Левант вытер салфеткой лицо и шею.

— Дорогие создания, — сказал он неприветливо, — я оставляю на ваше попечение Василия Алексеевича. Но если будете его раз-

илскать, как сейчас, он к вечеру сбежит в Париж. Здесь не английский пансион, мои цыпочки...

— Так бы вы сразу и сказали, — мрачным, хриповатым голо-
сом ответила княгиня Чувашева.

Лили неизвестно чему засмеялась, и ее личико с горькими скла-
лочками у рта стало молодым. Мадам Мари лениво подняла веки.

— «Нам каждый гость дарован богом», — пропела она и кра-
сивой холеной рукой повела стаканом в сторону Налымова.

Он поклонился, под стулом стукнул каблуками.

Мари спросила:

— Вы военный?

— Бывший...

— Какого полка?

— Право, забыл... (Три дамы изумленно взглянули на него.)
И столько веселился, — право, отшибло память...

Подпрыгивая от беззвучного смеха, топорща локти, он кивал
дамам красноватым носом.

Левант сказал:

— Василий Алексеевич командовал серебряной ротой Семенов-
ского полка. Ну-с, давайте о чем-нибудь повеселее...

Но дамы помрачнели от воспоминаний. Княгиня жестко сжала
руж, стучала длинными ногтями по скатерти. У Лили увяло личико,
будто из него выпустили воздух. Веселья не выходило. Пить кофе
пошли в сад, откуда торопливо засеменила Фатьма с приподнятым
подолом, полным пустых бутылок и мусора.

Вскоре Левант докурил сигару и уехал. Налымов, поджав ноги,
покачиваясь от удовольствия, сидел в траве, потягивал коньячок.

— Слушайте, вы, по-моему, хороший парень, — сказала ему
княгиня Чувашева. Теперь, когда не было Леванта, лицо ее стало
исжнее, добрее. — Чего ради вы сюда приехали?

— Мой друг Левант находит — мне нужен небольшой отдых.

— Слушайте, давайте по-хорошему... Вам известно, что
здесь — притон?

— Княгиня, здесь — очаровательно...

— Меня зовут Верой... Подсаживайтесь ближе... Вы что же —
в самом отчаянном положении, что ли? В мусорном ящике?

Налымов все так же — со смешком:

— Я писал моему орловскому управляющему, — он чертовски
лентяивает с деньгами... Не то мужики не хотят платить, — вообще
что-то курьезное... Накопились долги, пришлось несколько стес-
ниться...

— ...Ночевать на бульваре, — низким голосом сказала княгиня.

— Как вы угадали? Ночевать на бульварах...

— ...Воровать хлеб в ресторанах...

— Воровал... Но не столько стесняло ограничение в еде, как в
напитках, представьте... Вы когда-нибудь работали, княгиня, по
очистке канализации?

— Работала кое-где похуже...

— На вас надевают огромные сапоги, и вы с лопатой стоите по колени в жижице. В каналах — множество заржавленных лавок, если такая штука воткнется в ногу, вам будет плохо. Зато под землей я подружился с отличнейшими людьми... Все отчаянные анархисты, и мне пришлось скрывать кое-что из прошлого... В общем, нужно забыть, что мы жили... Травка, пчелы, коньячок...

— Забыть — умно... Но не так-то легко...

— Забыть, где родились, как вас зовут. Перестаньте думать — и станет легко, как птичке...

Княгиня подперла щеку, сдвинула мужские брови:

— Перестать надеяться?

— Это такая же глупость, как воспоминания...

Мари и Лили сквозь дремоту прислушивались к их словам. Словах этого человека из мусорного ящика, в его трясащемся смехе, в пропитых водянисто-серых глазах была какая-то жуткая удивительность. Когда Вера повела его показывать усадьбу, Мари сказала в нос:

— Вера заинтересована...

Лили, лениво болтавшая туфелькой на кончике ноги:

— И он и все мы тут пропадем, как собаки...

15

Левант не показывался целую неделю. Наконец от него пришло на имя Налымова телеграмма из Стокгольма: «Приезжаю по делу, прошу быть в порядке».

Всю неделю на даче была тишина, благодать, ленивые разборы. Дамы уходили спать рано, в их комнатах наверху слышалось некоторое время тихое всхлипывание и сморканье. Затем гасли окна, и дача засыпала. Только Налымов еще сидел в траве, под ноги. Над липами — черная теплая ночь, над горой наклонилась семь звезд Большой Медведицы. Далеко — лиловатый свет Парижа.

Пропитая душа Василия Алексеевича прислушивалась к нем, как деревянные трещотки, голосам древесных лягушек. Когда кончался коньяк в полубутылке, он бодренько поднимался и шел в салон, где, не раздеваясь, засыпал на одном из диванов.

Часов с семи утра дамы (с припудренными веками) начинали подходить к двери салона, участливо дожидаясь, когда человек мусорного ящика перестанет посапывать, откашляется и ясным лосом, как ни в чем не бывало, проговорит будто про себя:

— Ну вот и чудесно...

Тогда подавали кофе, и день начинался — солнечный, длинный, лениво-бездумный. Василий Алексеевич мог бы взять по телефону и увести трех дам на край света — так они предались ему. Должно быть, и вправду на дне мусорного ящика он отыскивал секрет, и

жить в это фантастическое время. При нем затихал, как зубная боль, невыразимый ужас будущего... Когда заговаривали о близкой гибели большевиков, о возвращении в Россию, он валился навзничь в траву, дрыгал ногами, хихикал:

— Птички мои, не сходите с ума. Надейтесь только на эту минутку, на эту минутку...

Когда пришла телеграмма от Леванта, Вера появилась в саду в колдовом костюме, в маленькой изящной шапочке и сурово сказала Налымову:

— Я иду в парк, нам нужно поговорить...

Налымов поднялся, отряхнул с костюма травинки. Они пошли сначала по прямой и широкой улице, где за каменными изгородями и колючими кустарниками, среди садилов, клумб, газонов жилое французское благополучие. Потом спустились в городок Виль Давре и по шоссе поднялись к парку Сен-Клу... Вера шла быстро, по-мужски. На Василия Алексеевича ни разу даже и не покосилась. В глухой части парка свернула к скамье. Села — прямая, колючая.

— Слушайте, — сказала она отрывисто, — я вас люблю. Хотя это менее всего важно... Я вас люблю... И на этом кончим...

Она передохнула, но даже и в этот раз не взглянула на него.

— Предупреждаю, вы попали в скверную компанию... Например, за этот разговор, если Хаджет Лаше узнает, не поручусь, что не отправит меня куда-нибудь по частям в багажной корзине... У него уже были такие случаи... В Константинополе мы подписали с ним договорчик... Когда-нибудь, если буду очень пьяна, расскажу об этом... Так вот, на даче мы не просто три публичные девки... Нас для чего-то готовят... Догадываюсь только, что все связано со Стокгольмом... Когда Левант объявит, чтобы мы собирались, нас повезут именно в Стокгольм, и там будет главное... Я не жалею, заметьте... Сделать для меня вы ничего не сможете... Ну, да к черту... Предупреждаю, держитесь очень осторожно, — Левант страшный человек. А страшнее его — тот, главный хозяин, Хаджет Лаше...

Она угрюмо замолчала. Сладкий ветер шелестел в листве высокой платановой аллеи. По боковой дорожке проехал худой, как скелет, велосипедист в кепке. На раме, прильнув к нему, сидела с закрытыми глазами девчонка в черном платье.

Когда они проехали, Вера обхватила шею Василия Алексеевича, прижала его лицо к себе, к сердцу. Молча вся содрогнулась. Отодвинулась подальше на скамье:

— Непонятнее всего, что я — живу... Вот этого раньше никак бы не могла представить...

Когда она отсела, Налымова подняло будто пружиной. Отбежав, описал круг около скамьи:

— Вера Юрьевна, только не выдумывайте меня, боже упаси. Но мне — никакого проблеска, никакой надежды... Чучело на ого-

роде машет руками — это я... Меня забыли похоронить... Я — тот самый неизвестный солдат...

— Люблю вас, — мертво повторила она. Расширенные сухие глаза ее жадно глядели на Василия Алексеевича...

16

В понедельник Александр Левант вызвал к телефону Веру Юрьевну и потребовал спешно привести дом и сад в наилучший порядок, — особенно позаботиться о кухне и погребке. Будут солидные гости. Налымову он сказал, что вылетает на два дня в Лондон, и просил за это время подготовить почву для свидания с Чермоевым. «Напоминаю — от этого шага зависит все будущее, вы сможете возродиться...» Василий Алексеевич побрился, повязал галстук бабочкой, надел несколько набор новую шляпу и, помахивая тросточкой, отправился в Париж.

У калитки его ждала Вера Юрьевна. Рука ее была холодная и вялая, — он прикоснулся к ней носом и отпустил; рука ее, как неживая, ударила о бедро. Василий Алексеевич отвернулся. Мощенная плитами дорога уходила под гору. Внизу — старенькие домики, аспидные крыши Севра, извилины реки, сады уже с багровой зеленью, золотистые полосы на волнистой равнине. Все это — будто по ту сторону жизни, как на цветной картинке из далекого детства: спальня матери, и он — на полу, опершись на локти, глядит в книгу с картинками...

— Вы вернетесь? — спросила Вера Юрьевна.

Не оборачиваясь, он ответил сквозь зубы:

— Куда же я, к черту, денусь?..

— Вы в счастливом настроении едете в Париж...

— В превосходнейшем.

Она — тихо, с упрямством:

— Скоро не вернетесь, я уж чувствую...

Осторожно она потянула полу его пиджака и что-то положила в карман. Он покачал головой, в кармане нащупал пачку денег и, вытащив, осторожно положил на траву. Взглянул на Веру Юрьевну, — губы ее дрожали, в глазах было такое, что ему стало холодно. Он совсем было примирился, приспособился, выдумал даже особую философишку — простейшего организма, амфибии, похихикивающей в рюмочку среди оглушительно мчащихся времен. И вдруг — назад, к человеку, в жаркую женскую тьму! Самое простое было — приподнять шляпу, бодренько уйти вниз по беловатой дороге. Но потемневшие глаза Веры Юрьевны умоляли: ведь ты не убежишь, ты видишь, ты чувствуешь — уйдешь навсегда, — я же не буду защищаться.

— У меня пять франков, Вера Юрьевна, хватит на поезд, метро и папиросы... Постараюсь быть к обеду... (Взял ее за руку, потом — осторожно — за другую...) Может быть, это глупее всего, но — вернусь, вернусь к вам...

У нее забилося горло. Вырвала руки. Он неожиданно всхлипнул (почти так же, как тогда у Фукьеца за столом, нюхая розу), перскинул через плечо тросточку, пошел к вокзалу.

17

Чермоева он застал дома. Тапа завтракал в кругу родственников, — за столом было человек шестнадцать. Как глава рода, он сл важно и молча. Рядом сидели две красивые татарки в парижских туалетах, сильно надушенные, с розовой кожей, крупнос, длинноглазые. Татарки и Тапа пили вино. Остальные расположились по родству и знатности: почтенные люди с крашенными бородами, горбоносые смуглые усачи, старухи с косицами, в черных платках. Чермоев вывез в Париж весь цвет многочисленного рода — с нефтяных приисков, из Баку и из горных аулов. Понятно, что нужны были большие деньги содержать с достоинством семью в этом сумасшедшем городе, где у татарок дико загорались глаза перед витринами магазинов, смуглые усачи желали носить шелковые носки и лакированные ботинки, почтенные старики бродили, как голодные шакалы, по центральным бульварам, поворачивая крашеные бороды за каждой толстозадой девочкой. Тапе приходилось трудно.

Он подумал, что Налымов пришел просить денег. Другого бы он просто велел прогнать из прихожей, но Налымов был из придворной знати: прогонишь — ославит. Скомкав салфетку, Тапа вышел к Василию Алексеевичу, по-кунацки обнял: «Доставил радость, спасибо, пойдем кушать», — и посадил его между красивыми татарками, пахнувшими головкружительными духами.

Русоволосую звали Анис-ханум, медноволосую — Тамара-ханум. Обе — троюродные сестры Тапы. У обеих высокие, подведенные, как ниточки, брови и тонкие руки, обремененные кольцами. У Анис — приподнятый нос и пухлые губы. Тамара — скуластая, кудая, с глазами, как горячие пропасти. Они, видимо, вполне освоились с парижской жизнью, — шурша коленями по шелку, погигивая ликеры и куря из золотых мундштучков, говорили, что Париж невыносимо скучен в июле, можно рассеяться только в Булонском лесу, где танцуют на паркетном помосте под открытым небом при свете луны. Но мужчин нет. Французы, говорят, все от двадцати пяти лет до сорока убиты, остались подростки, но эти поголовно занимаются гомосексуализмом. Иностранцы все сейчас в Довилле. Вот где шикарно! (У обеих руки рассыпались брызгами колец над столом.) В казино игра, — банк в три миллиона — ничто... В Довилль рекой текут доллары и фунты... Счастливая Франция!..

Тапа встал, сложил ладони, как книгу, пошептав, провел ими по лицу. Завтрак кончился. Родственники неслышно исчезли. Татарки продолжали болтать, но он взял их за плечи, потрепал и

поцеловал обеих в волосы. Захватив золотые портсигарчики и сумочки, они вышли.

— Чудные женщины, — сказал Тапа, запирая за ними дверь, — одна вдова, у другой, Тамары, муж пропал без вести в горах... Молоды, красивы, что с ними делать, ума не приложу. — Он придвинул стул к Налымову и круглыми неподвижными глазами стал глядеть на него.

— Тапа, я к тебе по делу. Ты знаешь Александра Леванта? (Тапа мотнул тяжелой головой.) Я у него — поверенным в делах... Ты, наверное, слышал — я одно время опустился... (Тапа кивнул.) Да, было такое настроение... России нет, армия погибла, государь убит... Все, чему присягал, — гнилой труп...

— В белые армии не веришь?

— Белые, красные, зеленые — пусть их там делят остатки... Я тут при чем? Семеновский мундир растоптан в грязи, — думал: трагедия, и трагедии не вышло... И конца не вышло... А Россия — что ж... В России будут хозяйничать англичане... (Тапа насторожился.) Словом, я к тебе с предложением от моего доверителя, Александра Леванта. Он хочет с тобой встретиться.

— Можно.

— Нефтяные земли ты никому еще не продал? (Тапа усмехнулся.) Отлично. Назначим день и час. Я хотел бы привлечь другого нефтяного короля — как его... этого... Манташева — к этому свиданию.

— Ты думаешь — Кавказ будет английским? Деникин отдаст Кавказ англичанам?

— Об этом спросишь Леванта, он все знает... Левант предложил в пятницу завтракать в «Кафе де Пари»...

Нефтяной магнат, расточитель миллионов, липнувших к нему безо всякого, казалось, с его стороны усилия, человек с неожиданными фантазиями, лошадиник, рослый красавец Леон Манташев находился в крайне жалком состоянии. Он занимал апартаменты в одном из самых дорогих отелей — «Карлтоне» на Елисейских полях, и только это обстоятельство еще поддерживало его кредит в мелких учетных конторах, ресторанах, у портных.

Но окружение кредиторов непреклонно сжималось, душило его ночными кошмарами. Он утратил ценнейший дар жизни — беспечность. Особенно по утрам, просыпаясь от тревожного сердцебиения, гнал и не мог отогнать мрачные мысли, — в бессилии, в бешенстве курил, ворочался в постели, придумывая фантастические планы спасения и кровожадные планы мести.

Это была расплата за легкомыслие. В Москве (в двенадцатом году) неожиданный скачок биржи однажды подарил ему восемь миллионов. Он испытал острое удовольствие, видя растерянность прижимистых Рябушинских, меценатов Носовых, Лосевых, Высоцких, Гиршманов. Восемь миллионов — бездельнику, моту, армян-

шашлычнику! Чтобы продлить удовольствие, Леон Манташев затащил ужин на сто персон. Ресторатор Оливье сам выехал в Париж за устрицами, лангустами, спаржей, артишоками. Повар из Гифлиса привез карачайских барашков, форелей и пряностей. Из Урильска доставили саженных осетров, из Астрахани — мерную гурлядь. Трактир Тестова поставил расстегаи. Трактир Бубнова на Варварке — знаменитые суточные щи и гречневую кашу для шюхмеления на рассвете.

Идея была: предложить три национальных кухни — кавказскую, французскую и московскую. Обстановка ужина — древнеримская. Столы — полукругом, мягкие сиденья, обитые красным шелком, с потолка — гирлянды роз. На столах — выдолбленные глыбы льда со свежей икрой, могучие осетры на серебряных цоколях, старое венецианское стекло. В канделябрах — церковные, оббитые золотом свечи, — свет их дробился в хрустальных люстриумах с драгоценными японскими рыбками (тоже закуска под амсье). Вазы с южноамериканскими двойными апельсинами, фрукты с Цейлона. Под салфетками каждого куверта ценные подарки: дамам — броши, мужчинам — золотые портсигары. Три национальных оркестра музыки. За окнами на дворе — экран, где показали премьерой фильмы из Берлина и Парижа... Гостей удивили сразу же первой горячей закуской: были предложены жареные шивки, напитанные гусиной кровью. Ужин обошелся в двести тысяч... Теперь хотя бы половину этих денег!

Был уже третий час пополудни, когда Налымов вошел к нему в номер, полный табачного дыма. Высокие портьеры на окнах спущены, розовый ночник у постели освещал на раскиданных подушках крупного мужчину в полосатой пижаме, с измятым лицом и черными жокей-клубскими усами. По скаковой традиции Леон Манташев пил с утра шампанское с коньяком.

— Я болен, я измучен. Нервы, перебои, — приподнимаясь на локте, сказал он Налымову. — Придвигайте кресло. Хотите вина? Они мне, черт возьми, все еще подают, хотя у лакея рожа такая — хочется залепить плюху. Василий Алексеевич, когда же домой? Я больше не могу... Вы представляете, я, я, я — без денег... Хохотать хочется. Пропал даже вкус к лошадям... О женщинах я и не говорю...

— Вы не прочь, Леон, поговорить с одним крупным человеком о продаже нефтяных земель в Баку?

— Продать мои земли? Вы с ума сошли! Лучше я полгода здесь проваляюсь, но уж дождусь, когда вырежут большевиков... Они укорачивают мою жизнь!.. Вы вдумайтесь! Они распоряжаются моими землями, моими домами, моими деньгами, моим здоровьем... (Он вскопчил, с яростью подтянул штаны пижамы и заходил в одной труфле.) О чем думают эти болваны англичане, я вас спрашиваю? (Он французишках я уже и не говорю — лавочники, трусы, хамы... И решил написать английскому королю: «Ваше величество, вы первый джентльмен в мире, — меня ограбили, меня убивают медлен-

ной пыткой, прошу защиты...» Мои лошади бегали в Англии в тринадцатом году, он меня знает... А что, этот человек, с которым вы хотите, чтобы я говорил, — жулик, наверное?

— Он, насколько я помню, агент крупной компании. Моя роль маленькая — познакомить...

Манташев плюнул со злости:

— Довели — помещик, аристократ, семеновский офицер и служит фактором... Кошмар!.. Василий Алексеевич, давайте пить коктейль... (Позвонил.) В номер дают сколько угодно, а пойдешь ты через улицу к Фукьецу — сейчас же посылают мальчишку проследить: ага, я у Фукьеца!.. И вечером — счет... (Он поджал губы, черные усы взъерошились, выкатил бараньи глаза.) Тридцать восемь тысяч франков счет... А? Когда же с этим типом вы предполагаете встретиться? Что?

18

Налымов вернулся на дачу, как и обещал, в сумерки. У Веры Юрьевны похоронилось лицо, когда он медленно затворял за собой калитку. Из окон столовой лился приветливый свет. Сейчас же сели обедать.

Вечер был теплый, влажный, из темного окна влетела зеленая мошकारа, ночные бабочки крутились под шелковым абажуром. Казалось, за столом сидела дружная тихая семья, а не четыре тени из невозвратной жизни постукивали вилками и ножами, учтиво передавая друг другу блюда. Во всем этом было извращение настолько очевидное, что мадам Мари вдруг резко засмеялась:

— Семейка!..

Расширенные зрачки Веры Юрьевны остановились на Василии Алексеевиче. Он потянулся за бутылкой, сказал с усмешкой:

— На примере нашего ужина, дорогие женщины, вполне приличного, мы видим всю призрачность так называемого благополучия... Ах, мои птички, хорошо чувствовать себя невинно потерпевшими, но это утешение тоже призрачно...

Лили перебила плаксиво:

— Я еще в Константинополе хотела утопиться... Ни жить, ни умереть — вот в чем виновата.

Мари — низким голосом:

— А я в чем виновата? Отняли все бриллианты, меха, на триста тысяч... Я бы здесь ферму купила... Княгиня Мышецкая разводит цыплят, чудно живет...

Пришел час изливать горечь... Женщины начали жаловаться. Что они сделали, за что такое им не в меру грехов возмездие?

Мари продолжала:

— Жили, как все живут. Ну, мотали деньги... Вот и вся вина... Керенским восхищались, устраивали даже базары в пользу революционеров... Так нет — оказались виноваты, что мы хорошо оде-

ты, мы — красивые, в ванне моемся... В судомойки, что ли, было мити? Судомойки только там и царствуют... А когда у вас вывозят дорогую мебель, в квартиру вселяют солдатню и матросню — ревлюцией прикажете восхищаться?.. Хоть и вернемся когда-нибудь — как на пожарище: ни кусочка, ни клочочка не осталось... — Она сердито кулаком смахнула слезы. — Оскорбляют, выкидывают на улицу, обирают до нитки всех счастливых, всех нарядных, всех богатых... И при этом кричат, — вы же виноваты! Стыдно вам, Исаилий Алексеевич!

— За что, за что, за что? — шепотом повторяла за ней Лили, живая распухшим носом над тарелкой.

Женщины бежали от апокалиптического ужаса через фронты к своим милым, хорошим «рыцарям духа», подставлявшим грудь под большевистские пули во имя восстановления красивой жизни. Женщины металась по полуразрушенным городам, грязным, переполненным гостиницам, угарным кабакам, где песенки Вертинского прерывались револьверными выстрелами и треском разбиваемых о голы бутылкок... Знакомые, милые, изящные люди занимались инскульцией и грабежом, во время эвакуацией сталкивали женщин с вагонных площадок... «Рыцари духа» мечтали о шомполах и веригках, и в мутных глазах убийц не найти было приюта для любви мямученной женщине... Снова и снова — теплушки с сыпнотифозными, грязные кровати, разделяемые черт знает с кем за бутылку вина, за красновские, за деникинские кредитки... И так — все ниже, на дно человеческого водоворота...

Когда они вырвались из этого царства крови, сыпняка, сифилиса и разбоя на лазурные берега Константинополя, выбора не оказалось: тротуар, ночной фонарь и вдали пуговицы полицейского мундира...

— Да, да, Лилька верно сказала: в том и виноваты, что не утопились вовремя! — крикнула Мари и выругалась непристойно по-русски.

Так они плакали до полуночи. Фатьма-ханум несколько раз встревожено появлялась в дверях, покуда Мари не запустила в старуху бутылкой.

Самое бесполезное, что можно было придумать, — и этому немилло дивились французы, — сидеть у стола под газовым рожком и ночь напролет бродить по психологическим дебрям... Если взять, например, резиновый шар, наполненный воздухом, и поместить его в безвоздушное пространство, он начнет раздуваться, покуда не лопнет. Русских беженцев распирала сложность собственной личности. Для ее ничем не стесняемого расцвета Россия когда-то была удобнейшим местом. Неожиданно поставленная вне закона, она с угрозами и жалобами помчалась через фронты гражданской войны. Она докатилась до Парижа, где попала в разреженную атмосферу, так как здесь никому не была нужна. Иной из беженцев помирился бы даже с имущественными потерями, но никак не с тем, что из жизни может быть вышвырнуто его «я». Если нет меня, то что же

есть? Если я страдаю — значит, нужно изменить окружающее, чтобы я не страдал. Я — русский, я люблю мою Россию, то есть люблю себя в окружении вещей и людей, каким я был в России. Если этого нет или этого не вернут, то такая Россия мне не нужна.

Революция, революция! Взбрело же в жизнь такое страшное и неуютное... Опустевший город. На окнах заколоченных магазинов — декреты о классовой борьбе... Холод... Ночной звонок. И все мое, весь я отскакиваю от кожаной куртки человека с безжалостно сжатым ртом и мрачными глазами, глядящими сквозь мое «я».

У Веры, Мари и Лили будущее отягчалось еще и тем, что в Константинополе, затем во Франции они были зарегистрированы как профессионально занимающиеся проституцией. Эту услугу оказал им Левант. У него хранилась из марсельской префектуры какая-то гнусная бумажонка, он каждый раз угрожал ею, когда женщины начинали строптивиться.

Жалобы были излиты, слова все сказаны. Мари и Лили ушли спать. Вера Юрьевна придвинула стул к Василию Алексеичу, положила голову на стол, на руки.

— Помимо всех художеств, за мной числится еще «мокрое» дело в Константинополе... Рассказать?

— Зачем, птичка моя? (Налымов заложил пальцы в жилетные карманы и шурился блаженно.) И без того все ясно. Одним мокрым делом больше? Какой вздор, какой вздор! Происхождение совести? Меня это занимало в прошлую зиму. Я даже ходил в публичную библиотеку... Семь миллионов спрессованных мыслей о совести на книжных полках... Я много смеялся про себя. Я чудно грелся у калориферов, — был январь, и я очень зяб. Я так и не стал читать книг. Мировая совесть, закованная в телячью кожу, почиет в публичной библиотеке, ею питаются книжные клещи... Когда мой зад начинал согреваться на калорифере, я размышлял о том, что все условно... Птичка моя, вы жили в хорошем обществе, — оно разбежалось. Ваши деньги запиханы в мужицкие онучи. Вас нет, вы — только грустный рассказ о человеке. Кому нужна ваша совесть? Самой себе?... Так, так — вы заботитесь о чистоплотности... Старый, добрый буржуазный мир, где нам было так уютно жить, махнул рукой на чистоплотность. Видите, иногда я читаю газеты... Я даже пытался читать московские газеты. Читал, но испугался... Они требуют — значит, за ними сила. Они неприлично ругаются — значит, ничего не боятся. Несомненно, они в конце концов разобьют вдребезги этот старый мир... Но нам с вами от этого не станет легче... Итак, да здравствует мрак души, если у тебя, птичка моя, — мрак... Да здравствует кривой турецкий нож, если тебе хочется воткнуть его в сонную артерию пьяному негодяю...

Вера Юрьевна вскочила. Зрачки — во весь глаз. Спросила одними пересохшими губами:

— Откуда вы это знаете?

— Это довольно обычный прием константинопольских проституток. Садись, любовь моя, выпей винца. Поговорим о чем-нибудь невинном.

19

Лисовский доехал на поезде подземной дороги до последней остановки и по движущейся лестнице поднялся на небольшую площадку.

Посреди площади горел газовый фонарь. Под ним стояли два агента полиции, заложив руки под пелерины. Наверху — звезды, не омраченные городскими испарениями. В кирпичных невысоких домах, кругом обступивших площадку, кое-где свет керосиновой лампы. В пролете одного из узких переулков, уходящих ступенями вниз, вдалеке — скопища электрических огней, зарево реклам. Но шум Парижа сюда не долетал.

Лисовский надвинул кепку и вошел в кафе, где слышались голоса. В табачном дыму, за потемневшими от жира и пива столиками сидело человек полсотни рабочих. Они слушали человека, стоявшего спиной к цинковому прилавку. У него было маленькое круглое лицо с широко расставленными водянистыми глазами и вьющиеся усы. Левая рука обмотана окровавленной марлей. Когда вошел Лисовский, он быстро обернулся. Но ему закричали:

— Эй, Жак, продолжай!..

— Если это шпик, свернем шею.

— Да оциплем.

— Да поджарим.

— Да полакомимся...

От шуточек, сказанных с угрозой, Лисовскому стало неуютно. Как же он подошел к прилавку, спросил стакан белого вина. Жак поднял руку, — снизу на марле запеклась просочившаяся кровь.

— Я пошел в контору, я показал мою руку директору: «Вы размалываете пролетариев на ваших проклятых станках, вы питаете машины нашим мясом, вот как вы добываете ваши денежки, милютка Пишо». Ха! Он до того налился кровью, — я испугался, как бы он тут же и не лопнул, — он выкатил глаза, как осьминог... «Послушайте, Жак, несчастный случай произошел по вашей неосторожности, вам оказана бесплатная медицинская помощь, если вас это не удовлетворяет — идите жаловаться в ваш профсоюз». — «Иде, — я ему говорю, — секретарем ваш двоюродный братец». — «Если вы пришли мне говорить дерзости, убирайтесь вон!» — заржал милютка Пишо... «Великолепно, — говорю я ему, — но сначала посмотрим, как вы подавитесь этим сгустком!» Одним словом, я хотел ему вымазать сопатку моей кровью... Крик, звонки, полиция... Пишо визжал, как будто на него набросился бешеный волк. «Возьмите его, это агент Москвы, это большевик!..» Меня волокут из конторы... Ха!.. Как раз обеденный перерыв, двор полон рабо-

чими. Ого, как они зарычали! Тогда я высказал полицейским мое сомнение в целесообразности тащить меня сквозь строй товарищей в префектуру... Полицейские поблагодарили меня за толковый совет двумя бодрыми пинками и в порядке отступили в заводскую контору... Ха!.. Через пять минут там не осталось ни одного целого окошка... Это уже бунт! Директор вызвал подкрепление... Мы завалили ворота булыжником и железным ломом... Мы заявили о готовности весело провести время до конца рабочего дня... Заморозить бессемеровские печи, пустить в вальцы холодный рельс... Администрация вступила в переговоры... Мы послали расторопных ребят на соседние заводы — бить стекла... Начинать так начинать!..

Жак, не оборачиваясь, взял со стойки стакан белого вина и вылил его в пересохшее горло. На матовых щеках его краснели пятна, густые ресницы прикрывали веселое бешенство глаз. Лисовский осторожно наблюдал. Из тридцати — сорока человек больше половины слушали Жака с восторгом, — видимо, он был здесь коноводом, другие — пожилые рабочие, усатые, успокоенные — слушали со сдержанными усмешками, иные — хмуро.

— Ребяческая игра, — сказал один, шевеля усами.

— Затевать ссору с хозяином, — так уж знай, чего ты хочешь...

— Обдумать да взвесить... Да и предлог нужен покрупнее, если уж бастовать...

Выпив, Жак щелкнул языком:

— О, ля-ля! Предлог! Не все ли равно... Когда-нибудь надо начинать!

— Верно, верно, Жак! — подхватили молодые, топая башмаками. — Начинать, Жак, начинать!..

— Тише, мои деточки, помолчите-ка! — Грузный седой человек повернул к стойке кирпично-румяное лицо. — Жак, ты меня знаешь, полиция не раз пропускала меня «через табак» подкованными каблуками, в девятьсот восьмом я первый влез на баррикаду. Так вот я хочу сказать: после войны мы неплохо стали зарабатывать...

— Кто это мы? — закричали молодые. — Говори про себя, не про нас... Старику Шевалье, видно, ударили в голову его три тысячи франков!..

Кирпично-седой Шевалье — с добродушной улыбкой:

— У меня, деточки, в ваши годы была не менее горячая голова. Заткнитесь на минутку... Я только хочу спросить Жака — что начинать? Дело? Тогда я готов... А выплескивать темперамент, колотя заводские стекла да улепетывать по бульвару от конных драгун, — на это вы сейчас не много найдете охотников... Франк падает, мои деточки, это значит — к нам начнут приливать доллары и фунты, и работы всем будет по горло... Поднимать заработную плату — вот за это мы должны бороться. И мы ее здорово поднимем, или я ничего не смыслю в политике... Выставляйте эко-

номические требования, это я поддерживаю. А то — начинать да начинать... А что начинать? Прошло то время, когда знаменитый Боно со своими анархистами гремел по Парижу, стрелял полицейских, как кроликов, днем на Больших бульварах захватывал автомобили государственного банка... Тогда мы рукоплескали Боно, а сейчас бандиты-апаши и те бросают шалости, им выгоднее служить в больших магазинах приказчиками... Нет, деточки, буржуа в наших руках. Мелкий торговец зарабатывает меньше квалифицированного металлиста. А восстановление городов, разрушенных войной? Знаете, почему туда контрактуют чернорабочих? Начинать! Буржуа сегодня — курочка с золотым яичком, так что же — варить из нее суп? Плохой суп вы сварите, ребята...

Пожилые и солидные закивали:

— Умно говорит Шевалье.

— Довольно выпущено крови из Франции, мы хотим капельку счастья.

— Пусть наши жены и дочери узнают вкус настоящего паштета или походят в шелковых юбках...

— Правильно, Шевалье, пражем из буржуа золото.

— Единодушно и умно поставим наши требования. А что же лезть в ссору и драку, когда сам не знаешь, чего хочешь

Водянистые глаза Жака яростно упирались в говорившего, торжпливо перебежали на другого, под взъерошенными усами помялась и исчезала злая усмешка. Он опять поднял руку в окровавленной марле.

— Довольно, мои барашки! — сказал он резко, и молодежь три раза стукнула по столам доньшками пивных стаканов. — Слышали мы ваше мэ-мэ-мэ, бэ-бэ-бэ... У тебя, Шевалье, прикоплено денжонок на лавочку, ты уж и лавочку присмотрел в Батиньеле. Нет, ты вот что нам объясни... В траншеях мы сидели локоть о локоть с буржуа, германские пули пробивали кишки и нам и им, не разбирая... По Марне наши трупы плыли кверху синими спинами во славу Франции... (Он сжал зубы, и маленькое кошачье лицо его собралось морщинами.) Мы пробовали на вкус кровь буржуа, — она ничуть не слаще нашей... Наша-то, может быть, только посолонее.

— Солоней, солоней, солоней, — стуча стаканами, повторили молодые...

— Четыре года нас гоняли с одной бойни на другую... Франция ангораживалась нами, как щитом из живого мяса, куда всаживали штыки, вгоняли пули, рвали в клочья, ослепляли, душили газами, жгли фосфором, ломали танками... О, Шевалье, ты в это время спокойно покуривал трубку у станка на пушечном заводе... Тебе хорошо платили... А мы не могли даже сказать: «Нам страшно», — а это в тылу отвечали пулеметами... Ты, наверное, не видал дороги из Шарлеруа, где лежали «пуалю»¹ с дощечками на груди:

¹ Так называли во Франции солдат.

«Так рука отечества карает беглеца и труса...» Четыре года нас дурачили люди, которым мы не поручали вести войну и распоряжаться нашими жизнями... Нам раздавали фотографии с дерьма необыкновенной величины, найденного в немецких траншеях, чтобы мы охотнее стреляли в бошей, оставляющих такие следы. К каждому из нас прикрепили в тылу хорошенькую «мамочку», — какие письма они нам писали, раздушенные и облитые слезами: «О мой дорогой солдатик, спаси нашу дорогую Францию, не бойся умереть как герой, господь вознаградит твои страдания...» О, до чего ловкий народ буржуа! А скажи, Шевалье, если бы немцы разбили нас тогда же, в первый месяц, да заняли Париж, мы бы проиграли от этого?

— О бог мой! — Возмущенный Шевалье тяжело положил обе ладони на стол. — Проиграть войну немцам! Договорился же ты, Жак!..

И Шевалье покосился в сторону Лисовского, и многие за ним поглядели на неизвестного человека у стойки. Жак усмехнулся, переступил незашнурованными тяжелыми башмаками:

— Ни на десять су мы бы не проиграли! Только не наши, а немецкие буржуа вцепились бы нам в глотку... А тебе-то что хлопотать вокруг чужой драки!.. И полились бы к нам денежки не американские, а немецкие, и копил бы ты на лавочку не франки, а марки... И выходит, что война — чистейшее надувательство. Как там ни поверни, буржуа устроил широкий сбыт заводской продукции... Подумай-ка покрепче, не все ли равно, куда повезут продавать то, что сделано этой рукой: в немецкое или французское Конго!.. Рурский уголь — в Берлин или Париж, — ведь под землей тебе не видать... Мы только из траншей увидели, как велик свет, когда убивали три миллиона одуроченных ребят... И это еще не все, Шевалье... Локоть о локоть сидели мы с буржуа в траншеях? Сидели... На язык кровь пробовали? Да... А когда вернулись домой, буржуа растопырили карманы на немецкие репарации, а мы рот разинули, — денежки мимо... Буржуа надели смокинги, а мы снова стучим ногтем в фабричную кассу: «Эй, бывшие товарищи по крови, не нужны ли вам наши мускулы?..» Так вот, Шевалье, за эти четыре года мы поняли одну простую, как пустая бутылка, истину: Франция с городами, заводами, виноградниками, с землей и солнцем, с двенадцатью месяцами хорошей и дурной погоды — наша!

— Наша, наша, наша! — повторили молодые.

— Русские повернули штыки в тыл... «Наше», — сказали они и выворотили страну наизнанку вместе с рукавами... Русские смогли, а мы прозевали... Ха! Французы, не стыдно вам тащиться, как жирным скотам, позади человечества?.. (Веселыми глазами он оглянул все собрание.) Что правда, то правда — русским было легче заваривать революцию... Но мы даже и не пытались... Смерти, что ли, мы боимся на баррикадах? Детская забава... После Шампани, Ипра и Вердена — тьфу! А вот кто там сказал про паштет и шелковые юбочки? Вот эта дрянь завязла на наших штыках...

Вспомните! Мы знаем парижские соблазны. О, Париж, Париж!! Из всего мира слетаются лакомки на этот город. Здесь продают себя на три поколения вперед за кусочек паштета... Вот — сидят Жак, они были под Одессой, спроси у них о русских. Они тебе расскажут об этих варварах с горячей кровью... Русские верхом на конях бросались на наши танки, куда мы не оставили им и танки и аэропланы; мы были удивлены, черт возьми!.. Русские кричатся на телегах, как древние франки... Они едят на завтрак, и обед и ужин хлеб цвета земли. Вместо вина пьют спирт. Многие сидят в шкуры, не покрытые материей, в ботфорты из древесной коры или валяной шерсти... Ты скажешь, Шевалье, — это просто дикари, свергнувшие тирана?.. Нет, старичок, нет... Они давно уже могли бы успокоиться, если бы их революция была за сытный кусок хлеба... Но этот сытный кусок они с бешенством отталкивают от себя, они хотят чистого хлеба, пойми, Шевалье... Эти суровые люди верят в неминущее и близкое освобождение всех эксплуатируемых... Они не продают свою веру за вкусный паштет... Ты называешь их безумными? Ха!.. Посмотрим, кто окажется безумным — большевики (он в первый раз произнес это слово; в кафе было тихо, только шипел газовый рожок) или ты со своими паштетами и шелковыми юбочками. У них больше практического смысла, чем тебе кажется, Шевалье... Теперь ты понял, наконец, что мы хотим начать... (Жак облизнул губы, взял со стойки стакан вина.) Нас — ограбленных, обманутых, одураченных — много, много много... Мы еще неорганизованы, ты скажешь? Нас сформируют битвы и борьба... Нам не хватает суровости, — из Парижа слишком сладко тянет? Заткните носы, ребята! Подтяните пояса! Мы начинаем игру...

Он сказал и вылил в глотку остатки вина. В кафе молчали. У молодых блестели глаза. Шевалье с усмешкой постукивал по столу толстыми пальцами.

— Поговорить всегда хорошо, в свое время и мы обсуждали за стаканом вина судьбы человечества, и не менее горячо, — сказал он. — На большой разговор всегда больше охотников, чем на малое дело... Только вот дело-то у нас пострадает, когда одни в небо улетят слишком круто...

— А ты что же хочешь, чтобы я тебе сказал день и час, да еще при этом молодчике из Сюрте?..¹

Жак стремительно повернул кошачье лицо к Лисовскому, — в широко расставленных глазах его была угроза. Володя Лисовский жмочил, и сейчас же несколько молодых поднялись и стали в дверях. Хозяин кафе, мрачный, одноглазый, весь в шрамах, волосатыми ручищами равнодушно перемывал кружки. Лисовский сразу оценил обстановку: влип! На юге России бывали, между прочим, положения и похуже. Все же побелевшие губы его застыли в перекосенной усмешечке...

¹ Сюрте — охранка.

— Ну, ты, мосье Вопросительный знак, — сказал Жак, — докладывай, зачем залетел на огонек? Говори правду, как перед смертной казнью... Отсюда, видишь ли, можно уйти, но можно и не уйти совсем...

— Я русский журналист, — сказал Лисовский, засовывая дрожащие руки в карманы, — в Париже я затем, чтобы именно слушать то, что сегодня слышал, и сообщать моим читателям в Россию... Большого я вам не могу сказать по весьма понятным причинам...

— А мы сейчас проверим. — Жак кивнул в глубину кафе. — Мишель!

Оттуда подошел красивый, болезненно-бледный малый в синей прозодежде, деревянных башмаках и соломенной шляпенке. Став перед Лисовским, он оглядел его глазом знатока. Обернулся к товарищам

— Поляк, турок или русский? — Затем всей щекой подмигнул Лисовскому. — Одесса, рюски? Делал революсион... Карашо... Солдатский совет... Ошень карашо... Слюшал Ленин... Стал большевик... Пиф-паф Деникин... Э?..

Лисовский нагнулся к его уху:

— Я русский, из Москвы... Только — молчи, в Париже конспиративно. Понял?

— Будь покоен, старина! — Мишель здорово хлопнул его по плечу. — Свой... Карашо...

20

Лисовского поразила доверчивость этих ребят. Его похлопывали, с ним чокались, каждый, звякнув медяками по стойке, спрашивал для себя и русского стаканчик. Спрашивали, много ли раз он видел Ленина и что Ленин говорил. Спрашивали, много ли русских рабочих ушло на гражданскую войну. Сдвигая брови, раздувая ноздри, слушали рассказы о героизме красных армий и сокрушались о бедствиях при наступлении Деникина и Колчака. Лисовский рассказывал то именно, что от него хотели слышать.

Хлопая его по спине, по плечам, французы говорили:

— Передай своим, пусть они не боятся Колчака и Деникина: эти генералы выдуманы в Париже Клемансо. И бить их нужно в Париже, об этом мы позаботимся, так и передай...

Лисовский чувствовал богатейший материал, даже стало жалко, что достается Бурцеву: «Старикашка не поймет, еще и не пропустит...» И тут же мелькнуло: «Написать книгу с большевистским душком — скандал и успех...» В конце концов, ему было наплевать на белых и на красных, на политику, журналистику, на Россию и всю Европу. Все это он равнодушно презирал как обнищавшие задворки единственного хозяина мира — Америки, куда ушло все золото, все счастье.

Ему ничего не стоило сейчас прикидываться большевиком, — пожалуйста! Даже осторожный Жак, когда посетители кафе стали разбирать шапки, дружески кивнул Лисовскому и пошел проводить его до подземной дороги. С Жаком нужно было держать ухо востро. Лисовский, выйдя на пустынную площадь, где под фонарем все так же неподвижно стояли двое полицейских, сказал вполголоса:

— Не хочу вас обманывать, я по убеждениям — анархист. (Жак усмехнулся, кивнул.) Короткое время был в партии большевиков, но меня душит дисциплина... В Париже мои задания скорее литературные, чем партийные... Здесь приходится выдавать себя за белогвардейца и работать в «Общем деле»... Противно, но иначе не проникнешь в политические круги. В московских «Известиях» печатаюсь под псевдонимом. Вот вы уверены, что я просто авантюрист... Пожалуй, вы и правы. Но без нас в революции было бы мило перцу... И все же я — ваш со всеми потрохами...

Жак, подумав, ответил:

— Я предполагал, что вы так именно про себя и скажете, хотя вначале принял вас за агента... И половина того, что я говорил, предназначалась именно для вас.

— Понимаю, вы бросали вызов.

— Э, нет: Клемансо и Пуанкаре должны знать, что думают и юморят в предместьях... Пусть они не преуменьшают ни нашей ненависти, ни нашей силы... («Эге, — подумал Лисовский, — малый хитер, как черт».) Скажите, в Советской России знают, что Франция в восемнадцатом году была на волосок от революции? И эта опасность далеко не миновала...

Они перешли темную площадь и подходили к узкой улочке, откуда давеча Лисовский видел огни Парижа.

— Клемансо смелый человек, — сказал Жак. — Настолько смелый, что его доверители, думать надо, скоро уберут старика...

— Вы говорите, что — в восемнадцатом?..

— Да... Помешали кое-какие внешние причины, например: присутствие в Булони американской армии в миллион штыков... Но главное — это желтая сволочь... Желтая сволочь!

Жак потянул носом сырой воздух:

— У вас, у русских, правильный прицел... Между нами и капиталистами должно быть поле смерти... Никаких перебегающих фигурок... На мушку желтую сволочь!..

Он некоторое время шагал молча, затем рассмеялся:

— А вы знаете, что такое маленький французский буржуа? Отца и мать и царствие небесное отдаст за теплый набрюшник... И него и не выстрелишь, — он сейчас же поднимет руки и закричит: «Да здравствуют Советы!» Сейчас он окрылен. На Францию шлятся миллиарды немецких репараций... Но тут-то ему такая катастрофа, о какой ни в каких книгах не написано... Мы ждем грандиозного подъема промышленности. Будет перестройка в иных масштабах, — все мелкое, копеечное на слом... Маленькому буржуа придется надеть вельветовые штаны и подтянуть брюхо про-

летарским кумачом... Ну, что же, — приветствуем железную волну, девятый вал капитализма... Наши силы удесятятся... (Кивком головы Жак указал в пролет узкой улицы на черную яму Парижа, куда будто упали все звезды из черно-лиловой ночи.) Мы окружаем его, мы — на высотах, мы спустимся вниз за наследством.

У двух столбиков метро, освещенных двумя фонарями в виде красноватых факелов, перед лестницей в глубокое подземелье Жак пожал руку Лисовскому:

— Если вам нужен материал для статей, приходите завтра в Мон-Руж, на бульвар, наберетесь кое-каких впечатлений...

Он пристально взглянул на Лисовского.

Из-под земли слышался гул двигающихся стальных лестниц, несло теплым, пыльным сквозняком. Увлекаемый вниз на лестничной ступени эскалатора, Лисовский увидел, как из серого тоннеля, описывая полукруг, вылетел, светясь хрустальными окнами, белый поезд Норд-Зюйд. Шипя тормозами, остановился под изразцовым сводом.

И сейчас же почему-то у него сжалось сердце тоской и жутью. Глядя на поезд, он почувствовал, что отняли от него стержневую надежду, и в будущих днях он уже не ощущает себя беспечным и шикарным, с пачками долларов по карманам... Чувство — неожиданное и неясное... Он даже остановился на площадке, где кончалась бегущая лестница. Кондуктор поезда крикнул: «Торопитесь, мосье, последний!» Усевшись в почти пустом вагоне на сафьяновой скамейке, Лисовский закурил.

«Иначе и не может быть, это должно случиться, они спустятся вниз. Социализм! Ой, не хочу, не хочу!..»

Он прижался носом к стеклу, — мимо неслись серые стены, электрические провода, надписи... Поезд мчался к центру города, в низину. Лисовскому чудилось: на возвышенности, вокруг города, под беспросветным небом — толпы, толпы людей, глядящих вниз, на огни. Внизу — беспечность, легкомыслие, изящество, веселье (ох, хочу, хочу этого!), наверху — пристальные, беспощадные, широко расставленные глаза Жака... Мириады этих глаз светятся в темноте неумолимым превосходством, ненавистью... Ждут знака, ждут срока... (Ох, не хочу, не хочу!)

Нужно было стряхнуть наваждение. «Какого черта! Ничего еще плохого не случилось, — мир стоит, как и стоял...» Лисовский с отвращением подумал о своей постели. Пересчитал деньги, перелез с Норд-Зюйда на метрополитен и через десять минут вылез на площади Оперы.

На Больших бульварах было уже пустынно, театры окончились, гарсоны в кафе ставили столики на столики, гасили огни. Огромные серые дома с темными стеклами витрин казались вымершими. Лисовский стоял на перекрестке. По маслянистым торцам проносился иногда длинный лимузин или такси.

Автомобили направлялись наверх, по старым улочкам, в места ночных увеселений. Там можно было завить тоску веревочкой, ша-

тись по ярко освещенным тротуарам, пахнувшим пудрой, потом и духами, — от кафе к кафе, толкаясь между девчонками, пьяными иностранцами, сутенерами. Не пойти ли? Но с двадцатью франками — о сволочь, беженское существование! — благоразумнее не раздражать и без того болезненно возбужденные нервы.

Он стоял, опираясь задом на трость, курил и оглядывался. Подошел длинный человек в черном широком пальто почти до пят, в белом кашне, какое надевают при фраке, в шелковом цилиндре. Топнув со всей силой лакированной туфлей (чтобы проклятый тротуар не шатался), он стал около Лисовского. Закурил медленно, твердо, но спичку держал мимо папиросы, покуда не обжег пальцы.

— Прошу прощенья, — сказал он с сильным английским акцентом, — какая это улица?

— Бульвар Пуассоньер.

— Благодарю вас... Прошу прощения, а какой это, собственно, город?

— Париж.

— Благодарю, вы очень любезны... Странно... Очень странно...

Так же, как и Лисовский, он оперся задом на трость и глядел стекленевшими глазами вдоль бульвара. Появились сутулый мужчина и полная женщина, — они шли под руку, медленно, и говорили по-русски:

— Не понимаю, Сонюрка, откуда у тебя такая кровожадность...

— Оставь меня в покое...

— Согласен, — в самый момент подавления большевиков, конечно, будут эксцессы, но настанет же день всепрощения...

— Всепрощения!.. Противно тебя и слушать...

— Сонюрка, смотри, какая тихая ночь... Как эти громады черных домов заслоняют небо... Тишина великого города!.. Гляди же, дыши, — а тебе все мерещатся веревки да ножи...

Они прошли. Неожиданно человек в цилиндре вздрогнул, будто просыпаясь, вдруг тяжело повалился на спину. Не поднимаясь, он как-то странно побежал ногами... Лисовский осторожно выпростал из-под себя трость, перешел на другую сторону улицы. Оглянулся, тут лежал и дергался... «Эге, аорта не выдержала...» К лежащему приближались двое каких-то низкорослых...

«Ох, тоска! — Лисовский побрел дальше... Неостывшие каменные стены, высокие фонари, тени от деревьев на асфальте. — И иначе ты здесь столько же, друг Володя, сколько эти тени... Можешь идти по бульвару, а могло бы тебя совсем здесь не быть, — тень, голубчик, тень человека... Тьфу!.. (Он выплюнул окурочек и посмотрел на свое мертвенное отражение в темной зеркальной витрине.) А все-таки ничего у них не выйдет. Черт, Жак хвостун, паль!.. А вот книгу я напишу, что верно, то верно... Циничную, гнусную, невообразимую, — выворочу наизнанку всю человеческую мерзость. Чтоб каждая строчка налилась мозговым сифилисом... Это будет — успех!.. Исповедь современного человека, дневник растленной души, настольная книга для вас, мосье, дам...»

Навстречу шла девушка, руки ее, точно от холода, были засунуты в карманы полумужского пиджачка. Поравнялась, кивнула вбок головой и глазами, — невинное лицо подростка, вздернутый носик, пухлые губы. Лисовский сказал:

— Пойдем, моя курочка, но заплачу, предупреждаю, только любовью.

Она даже отступила, хорошенькое личико ее сморщилось отвращением.

— Кот, — сказала хриповато, — дрянь, дерьмо!..

Подняла полудетские плечики, и — топ-топ-топ — высокими тоненькими каблучками между теней на асфальте ушла разгневанная любовь.

21

Завтрак с Чермоевым и Манташевым состоялся в «Кафе де Пари». Болтали о том и о сем. Манташев был мрачен, Чермоев — спокоен и, как всегда, насторожен. После третьей бутылки шампанского Левант безо всякого предварительного перехода заговорил об английской политике:

— Я только что из Лондона, где имел удовольствие видеться с кругами, близкими к Черчиллю... Они непримиримы к России. Если бы это зависело от них одних, английские танки уже давно бы стояли в Кремле. Я виделся с кругами либералов и пять минут беседовал с Ллойд-Джорджем... (Левант покосился на Нальмова, но тот, подняв белесые брови, глядел оловянными глазами на пузырьки в бокале шампанского.) У либералов — все та же нерешительность, их девиз: «Время играет за нас...» Господа, мое впечатление от Лондона таково: война с большевиками — еще на долгие годы...

Чермоев тяжело вздохнул, Манташев, откинувшись на стуле, укусив зубочистку, подозрительно оглядывал Леванта. Тот изобразил лукавую улыбку, свернул по-собачьи нос.

— Но есть люди, думающие иначе... Правы они или нет — бог им судья... К таким принадлежит Детердинг... Завтра мы с Василием Алексеевичем выезжаем в Лондон, чтобы с ним видеться... Сегодня хотелось бы прийти к кое-каким предварительным решениям...

— Что же предлагает Детердинг? — сквозь зубы спросил Манташев. — Купить за грош пятак?

— Господа, Детердинг ничего не предлагает. Детердинг начинает мировую борьбу за нефть. В этой борьбе не только он — судьба Англии поставлена на карту. На сегодняшний день нефть — это знамя. Транспорт — это нефть. Химическая индустрия — нефть... Военное и морское могущество — нефть... Нефть — кровь цивилизации.

Чермоев пощелкал языком. Манташев, отодвинув стул, задрал ногу на колено, схватился за щиколотку.

— Борются нефтяные силы Америки и Англии... Но есть третья сторона: Россия, где находится третья часть всех мировых запасов нефти. Россия — не в игре... Но она войдет в игру, и та сторона, которая овладеет русскими запасами нефти, победит... Вы представляете — какими миллионами пахнет вокруг этой игры?

Он опять покосился на Василия Алексеевича, — тот продолжал глядеть на пузырьки. Левант перешел ближе к делу:

— Ллойд-Джордж и либералы не учитывают всей величины русского вопроса. Они идут на компромисс. Господа, это факт: мирная конференция на Принцевых островах решена, и большевики ни нее идут...

Чермоев и Манташев настороженно перевели глаза на Леванта.

— Ллойд-Джордж будет мирить белых с большевиками. Я сам, этими глазами, видел в кабинете Ллойд-Джорджа карту раздела России. Ленину оставлено московское государство. Предполагается, что там без угля, нефти и железа большевики умрут естественной смертью... Теперь, господа, спрошу вас, можете ли вы быть спокойны за свои нефтяные земли, покуда в центре России, милостью английских либералов, сидит Ленин?

— Сумасшествие! — прошептал Чермоев.

— Ничего не понимаю! — сказал Манташев, сбрасывая ногу на ковер. — Господа, я давно это говорю: я напишу королю...

— Детердинг смотрит на дело так же, как и вы, господа... Гражданская война в России кончается. Европа успокаивается. Помощи белым ждать неоткуда. Не пройдет и года, большевики ворвутся в Баку и Грозный... («Да уж будьте уверены», — трезвым толосом неожиданно сказал Налымов.) Исходя из этого, Детердинг желает сосредоточить в одних руках, — иными словами — в своих руках, все права на русские нефтяные земли, чтобы более решительно воздействовать на русскую политику Англии. Вот что я имсю вам сообщить, господа... Я ни на чем не настаиваю... Бескорыстность моих намерений может подтвердить Василий Алексеевич. Обдумайте. Дело серьезное, но предупреждаю: спешное... В Лондоне я видел Нобеля, он, кажется, уже договорился с Детердингом...

Это последнее — про Нобеля (крупнейшего шведско-русского нефтяника) — он ввернул ловко, без нажима. Впечатление было, как от выстрела над ухом. Манташев вскочил и, поддергивая клетчатые брюки, забегал по кабинету. Чермоев гнул и ломал кофейную ложечку.

В расчеты Леванта не входило выпускать из сферы влияния своих нефтяников до их окончательного решения. Он предложил автомобильную прогулку за город. У ресторана уже стояла новенькая машина. Садясь на переднюю скамейку, Левант поморщился:

— Машинка — хлам... Хочу сделать глупость — разориться на «роллс-ройс».

По пути заехали за шампанским. Когда Левант выскочил у магазина, Чермоев сказал Налымову:

— Тебе верю, как брату, но этот твой — жулик?

— А, черт, не с ним же будем иметь дело, — с досадой сказал Манташев, — пускай хлопочет... А вы как на него смотрите, Налымов?..

— Что ж... Конечно, жулик, — спокойно ответил Налымов. — С открытыми жуликами легче, по-моему...

Манташев с воодушевлением стукнул тростью:

— Я всегда говорил... Разные там идеи, принципы — первейшее жульничество. Современный человек — открытый человек... Деньги на стол — и точка... А сглупил — твоя вина. Так же и с женщинами, господа, так же и с женщинами... Вообще, все пора пересмотреть...

Левант, улыбающийся, с сигарой в зубах, снова повалился на переднее сиденье и — вполоборота к гостям:

— У меня маленькое предложение. Дела — делами, а мы все, как я вижу, не прочь пошалить. Шофер, в Севр...

22

По дороге Левант рассказывал о приключениях с девочками во всех европейских столицах. На круглом щербатом лице Чермоева была спокойная скука, Манташев позевывал, поднося к губам серебряный набалдашник трости.

Желтое солнце низко светило над лесом, когда подъехали к воротам дачи. Здесь стоял наемный автомобиль. Левант необычайно оживился.

— Вот это — кстати, это — радость... Господа, вы не пожалевте, что приехали...

Гости лениво вылезли из машины. Левант, распахнув калитку, кланялся, приглашал. Сад был прибран. Дам — не видно. По дорожке одиноко прохаживался плотный низенький человек в белой черкеске с серебряными галунами. Левант поспешил к нему. Оба протянули руки, обнялись. И Левант растроганно обратился к гостям:

— Позвольте познакомить — мой ближайший, чудный друг... Поэт, известный писатель, политический деятель, полковник французской службы, кажется, бывший турецкий паша, но с головы до пят — русский и патриот. А по-нашему, восточному, — благороднейший и умнейший человек, душа общества, Хаджет Лаше...

— Ну, ты все же умерь пыл, — добродушно, с достоинством, с легким восточным произношением ответил Хаджет Лаше. — Ишь, сколько надавал мне чинов.

Крепким рукопожатием он поздоровался с гостями.

Налымов поклонился ему издали.

— Ты откуда свалился, Хаджет?

— Прямо из Ревеля, на день задержался в Стокгольме. И завтра же — назад...

— Небось приехал пошептаться с Клемансо? Знаем мы вас, политиков... (Левант подмигнул, своротил нос.) Молчу, молчу, молчу... (Приложил палец к губам, даже пошел на цыпочках.) Простите, хочу узнать, как у нас с обедом...

Он убежал на кухню, крича: «Барбош, Барбош!» (Хаджет Лаше со снисходительной улыбкой вслед: «Весельчак, добрый парень».) Гости сели в парусиновые кресла. Нинет Барбош принесла поднос с горькими настойками, вермутом и портвейном. Налымов незаметно скрылся.

Как он и думал, Вера Юрьевна ждала его в маленьком салоне, где были закрыты жалюзи. Она изо всей силы схватила его за руки, почти прижалась лицом к лицу и — прерывающимся шепотом:

— Это — он, он... Боже мой, как это страшно!..

— Кто он, Вера? Что с вами?

— Хаджет Лаше... (Захрипела.) Это — он, он...

— Ну, хорошо, хорошо... Успокойтесь...

— Не могу... Принеси вина...

Он принес вина. У нее зубы застучали о стакан. Василий Алексеевич упрямо заходил по маленькой комнате. Она со стоном выдохнула воздух:

— Ты его видел?

Он неопределенно пожал плечами. До чего же человек оберегал свое червячковое благополучие! Ему бы в ореховую скорлупу, в середину ореха забиться от всех кошмаров. Глаза Веры Юрьевны понемногу отошли, суженные ужасом зрачки расширились и даже с юмором следили за шагающим, опустив голову, Налымовым.

— Бабы — сволочи, правда? — сказала она. — То ли дело — без баб... Ты прав — все вздор... Переживем и этот случай...

— В чем дело, Вера? Что у тебя было с этим человеком?

— Не скажу.

— Как хочешь.

Тогда она обхватила колено и засмеялась тихо:

— Знаешь, Вася, в сутенеры ты совсем не годишься. Скажи, почему ты все-таки так цепляешься за жизнь?

— Не знаю, не думал.

— Врешь... Вот когда ты меня потеряешь, — а я долго такого не пролюблю, — тогда тебе будет плохо... Потому что я — последний человек на твоём пути... (Тихо, мечтательно.) И ты — умрешь...

Василий Алексеевич споткнулся, остановился:

— Чего ты добиваешься от меня, Вера? Чтобы я ожил, как осенняя муха между рамами? Но ведь оживать нужно для какого-то продолжения... А у меня его нет. Еще недавно я с величайшим облегчением думал о конце: разумеется, с минимумом болезненных ощущений — это самое желательное. Колесо автобуса или удар ножа в пьяной драке...

— Еще недавно? — тихо переспросила Вера Юрьевна.

— Подожди! У меня был круг каких-то моральных понятий и какие-то устремления... То есть человеческое лицо... Я принадлежал к обществу, которое называло себя высшим... Вместе с этим обществом меня вышвырнули из России... Но этого мало: моральные понятия и устремления и мои и всего этого общества оказались чистойшей условностью... вздором... грязным тряпьем... И целей — никаких. У других — кровожадные планы и надежды вернуть все обратно. Но я устал от крови и ненависти и, главное, ни в какие возвраты не верю... Ты понимаешь меня? Неожиданно появляешься ты... Я сопротивляюсь этому... Я сопротивляюсь больше, чем собственному уничтожению...

Прижав подбородок к поднятому колену, Вера Юрьевна прошептала:

— Люблю, люблю...

— Вот это и ужасно. — Он закашлялся и рассмеялся дребезжащим смешком. — Значит, предстоит еще коротенькая дорожка. Весьма извилистая и темная... Ну что ж, любовь моя, — станем жуликами, бандитами или еще похуже.

Вера Юрьевна вскочила, обхватила его голову холодными пальцами.

— Ты — мой, мой, мой... — повторяла, прижимая его лицо к груди. — Кот мой, гаденький мой, страшненький мой... Все теперь вместе, все — вместе... (Она неловко царапала его кожу длинными ногтями, целовала в волосы, в висок.) Устрой, устрой только одно... Хаджет Лаше везет нас в Стокгольм... Устрой так, чтобы быть нам вместе.

Василий Алексеевич освободился от ее рук, медленно пригладил волосы.

— Для чего — в Стокгольм?

Вера Юрьевна не ответила. Он взглянул на нее и сейчас же отвел глаза. Послышалось хлопанье в ладоши и голос Леванта, зовущего гостей ужинать...

23

— ...Столько привелось видеть... Жалко, не обладаю талантом Льва Толстого... Бодливой корове бог рог не дает... Да теперь и времени не хватает — заниматься литературой... Все душевные силы уходят в борьбу...

Жирноватое лицо Хаджет Лаше с твердой нижней челюстью, с мясистым носом, ноздреватой, трудно пробиваемой кожей было чрезмерно красное. Короткие жесткие волосы — с бобровой сединой. Прямой рот — без улыбки, с жесткими морщинками. Глаза он добродушно жмурил. Лицо незаметное, но приглядеться — чем-то притягивало. К тому же он оказался занимательным собеседником и компанейским парнем.

Он сидел под темной листвою липы, расстегнув шелковую сорочку на волосатой груди. Свечи, обсыпанные мошкаррой, догорали.

Край неба зеленел на востоке. По всему саду валялись бутылки, кофры, подушечки, опрокинутые стулья — следы развлечений. Дамы были пьяны. Вера и Мари ушли в дом. Лили спала на траве, прикрытая скатертью. Левант (плясавший с кухонным ножом лезгинку) дремал в парусиновом кресле, как режиссер, окончивший спектакль. Необходимое согласие вести переговоры с Лондоном было дано Манташевым и Чермоевым.

Они сидели под липами и слушали Хаджет Лаше. Приятно тянуло предутренней прохладой. Он рассказывал:

— Я русский патриот, господа, и мне тяжело видеть, как святое белое дело тормозится безумной политикой англичан... Они до какой-то черты поддерживают нас, даже толкают на борьбу... Чего дальше, полковник Бермонт-Авалов формирует в Германии эшелон из русских добровольцев, и английская миссия устраивает на берлинском вокзале торжественные проводы — раздают продовольственные посылки, деньги, погоны. Оркестр играет «Боже, царя храни»... Но как только мы начинаем одерживать решительные успехи, англичане начинают тормозить, устраивают иной раз прямое предательство... Создается ужасное впечатление, как будто им нужен только самый факт гражданской войны, и чем она будет дольше и разрушительнее, тем лучше для англичан. Возьмите наш участок, Северо-Западный фронт... Поначалу все шло гладко: немцы взялись формировать армию: генерал фон дер Гольц сколотил серьезный кулак в сорок тысяч штыков, Бермонт-Авалов — корпус в Митаве, Булак-Балахович — псковскую группу. Ригу, всю Латвию очищаем от большевиков. Эстония выметена, как метлой. Жалованье войскам с немецкой аккуратностью выплачивается из Берлина: Шейдеман и Носке всей душой за белый поход на Петроград... Ждем только весеннего пути... Так — нет!.. Вмешиваются англичане: им нужно Балтийское море, им нужны острова Эзель и Даго, этого они не хотят отдавать. Английская эскадра адмирала Коузена начинает усиленно крейсировать в районе Биорке, и — блиц! — ультиматум: расформировать армию фон дер Гольца, лишить Бермонта материальной поддержки... В Ревеле высаживаются английские генералы Гоф и Марш, заявляют, что берут в свои руки очищение Севера и Петрограда от красных... Пожалуйста, сделайте милость... Даже есть некоторый плюс: умерить эстонские аппетиты, — чухонцы в Ревеле спят и видят захватить Балтийский флот в Кронштадте. Словом — перспективы веселенькие. Хорошо. С чего же начинают англичане? Предлагают на пост главнокомандующего северо-западной армией генерала Юденича... Да, господа, генерала Юденича!.. Вам, Леон, это имя особенно должно говорить... Юденича, известного резней аджарцев под Батумом в шестнадцатом году, когда в несколько дней были вырезаны сотни аулов... Земли под Батумом и на Чорохе он распродал под дачные места. Известного резней армян... Расстрелом трехсот семидесяти офицеров и солдат Эриванского полка. Тупой, упрямый, свирепый человек и кабинетный генерал... Англичане выбирают именно его.

Почему? Да потому — если он и возьмет Петроград, то зальет его кровью, и неминуемо вспыхнет новая революция, и — опять начинай сначала, — что и требовалось доказать... Ллойд-Джордж послал Колчаку предложение утвердить Юденича, и Колчак утвердил и авансировал из золотого запаса... А как они снабжают армию? В Ревель прибыло два парохода — табак, бритвенные приборы, варенье, футбольные мячи, пипифакс, ну там френчи, башмаки... А у пулеметов нет запасных частей, у пушек нет замков... Оказывается, пароходы направлялись в Архангельск для английского десанта, но Ллойд-Джордж побожился в палате, что интервенции нет и не будет, и пароходы направил в Ревель, где они сейчас грузятся льном из Пскова и Гдова... Эстонцы всю зиму скупали лен у русских мужиков... А замки от орудий и запасные части сняты, чтобы хорошее оружие нам не попало... Прислали десять тысяч винтовок времен франко-прусской войны, ни один патрон не подходит... На прошлой неделе я говорил с Лианозовым... Тот самый нефтяной магнат, да, да... Он — министр финансов в правительстве Юденича, в так называемом Политическом совещании.

Хаджет Лаше, смеясь одними глазами, — рот оставался жестким, жестоким, — потащил из заднего кармана штанов бумажник, отыскал газетную вырезку.

— Показал мне вот этот образец... (Качая головой, пододвинул подсвечник, надел роговое пенсне.) Образец — как мы боремся с большевистской пропагандой... Воззвание.

«Ленины, Апфельбаумы и прочие ненадолго сумели заглушить голос совести и разума русского народа.

Легендарный Народный Витязь, освободитель Северо-Западной России, генерал Юденич поднял и лично ведет рати народные на освобождение Белокаменной.

Уже раскрывается чуткая душа народа навстречу близкой великой радости.

Солнце свободы и обновления всходит над многострадальной Землею Русской.

Так хочет бог.

Так повелевает народ.

Так приказывает излюбленный Вождь Народный.

Пойдем за ним!..»

— Недурно? (Смеясь, снял пенсне, спрятал вырезку.) Лианозов сказал мне буквально (мы с ним друзья еще со школьной скамьи): «Не верю в наши силы, не верю людям, начинаю не верить самому себе... И больше всего не верю англичанам... Генерал Марш в восторге от этого воззвания, он в восторге от Юденича... Мы погибли, если англичане будут продолжать вести двойную игру.

Пусть Россия — колония. Пусть — вторая Индия. Имей мужество открыто заявить об этом. Но не разорение...» Вот что мне сказал Линозов, а он неглупый человек... Особенно тогда меня поразило, даже испугало: он, всегда такой выдержанный, с чрезвычайной нервностью ведет сейчас переговоры, — уж не знаю с кем в Лондоне, — о продаже всех нефтяных земель в Баку. Очень характерно, очень характерно...

Манташев взглянул на Чермоева, у того открылся изъян между передними зубами. Помолчали. Огонек свечи, лизнув розетку, затрещал, погас. И тогда стало заметно, что уже светает. Гости подмигивали, потягиваясь.

24

Нинет Барбош принесла крепкого кофе в небланковую столовую со следами ночного безобразия, открыла жалюзи. Утро было сырое. Под горой, за деревьями, поднимались ленивые дымки Севра. Неохотно чирикали воробьи. Густая роса лежала на измятой траве, с липовых листьев падали тяжелые капли...

Хаджет Лаше, в кавалерийских штанах и в туфлях, стоял у окна. За ночь у него отросла сизая щетина, лицо было помято, но усталости он, казалось, не чувствовал, — раздутые ноздри его с наслаждением втягивали запахи серенького утра, глаза блестели настроенно.

Когда Александр Левант, в пижаме и в туфлях, принес сверху портфель и присел у стола, сжав виски («Фу, черт, как трещит голова!»), Хаджет Лаше сказал с оттенком изысканной меланхолии:

— Только во Франции может так восхитительно пахнуть утро. Никуда человек приносит вместе с собой отвратительные запахи, но здесь даже дым из каминов пахнет восхитительно...

— Зависит от пищи, ничего особенного, — с неохотой ответил Левант.

— Мне сорок семь лет, как жалко, как жалко... — Хаджет подвигал бровями, сморщил лоб, и казалось, его лицо с мясистым носом и жирными скулами — маска, и вот-вот он сдерет ее. — Все чаще думаю — а не надо ли было всем пренебречь, все страсти принести на алтарь... Ах! Как ничтожны, мелки, банальны все эти писателишки с мировыми именами... Хотя бы один из них дал мне ощущение вот такого утра... Женщины открывают ставни, метут пороги жилищ... Какой древний запах очага! А чирикание находившихся пичужек?.. А шорох капель?.. Ведь это божественный оркестр!..

Левант взглянул на его несоразмерно плотный широкий загривок, хотел было сказать, что «будет уж ломаться, не перед кем», но промолчал.

— Бывают минуты, Александр, когда я чувствую, что мог бы... мог бы... Жаль и больно такой аппарат (коснулся лба) отдавать

грязной работе... (Левант опять изумленно взглянул на его двигающуюся маску.) Искусство! Обдуманная и осторожная игра на тончайших воспоминаниях. Ты меня понял? Есть воспоминания, ставшие физическими точками в мозгу... Может быть, я их получил от матери, от прадеда, от предков... Когда ты их затронешь, сыграешь симфонию на этих таинственных точках, — рождается чудо искусства... Я ношу в себе силы для такого искусства, Александр... Сорок семь лет! Право, брошу-ка все наши авантюры, поселюсь в Париже, в уединении, в мансарде, под небом, возьмусь за перо.

— Ты что это, серьезно? — с тревогой спросил Левант.

— А хотя бы и серьезно.

— То-то, а то я уж...

Левант, усмехнувшись, налил себе коньяку. Каждый раз этот человек-дьявол дурачил его, как маленького... Интересно, какой ход он делает сейчас этим разговором. Левант не верил, разумеется, ни одному его слову, но замыслов его до конца понять никогда не мог. Одно можно было предположить, что он боится, как бы Левант не почувствовал в чем-то над ним превосходство. «Эге, — подумал Левант, — да не плохи ли его дела в Стокгольме? То-то он так быстро прикатил по телеграфному вызову».

— Ну что ж, — сказал Левант, — сорвем куртаж с Манташева и Чермоева, две-три сотняшки тысяч нам перепадет, марай себе на здоровье бумагу, мансарду тебе подыщу. Мне тоже надоели наши авантюры, — тревог много, ночи не спишь, а где они, эти миллионы? Я тоже, пожалуй, от дел отойду, право, ей-богу, отойду.

Хаджет Лаше рассмеялся, подошел к столу и похлопал Леванта ладонью по шее так, что у того отдалось в ушах.

— Не старайся, Александр, меня не перехитришь. Мои дела далеко не плохи, далеко не так плохи. Видишь ли, в жизни нужно делать время от времени крутые повороты, — руль направо, руль налево, но всегда вперед... А кроме того, только то делать, к чему влечет страсть...

Он отомкнул ключиком замок портфеля и осторожно вынул пачку писем и фотографии. Освободил от грязной посуды место на столе.

— Теперь слушай внимательно... Завтра ты выедешь в Лондон с Налымовым. Я с вами не поеду, — на это есть причины. Я навел о нем справки в военном министерстве и в Интеллидженс Сервис, сведения благоприятны. Сегодня же закажешь ему приличные визитные карточки. Он одет? Нужны визитки и фрак.

— Достанем...

— Будет лучше, если вы встретитесь с самим Детердингом, но можно взять в оборот и секретаря. Разговаривать, конечно, должен Налымов. Пусть начнет с борьбы за Петроград, — это ключ ко всей России. Колчак и Деникин отрезают большевиков от угля, хлеба, нефти, моря и так далее, но смертельный удар им наносит генерал Юденич. Понятно? Затем вы начнете козырять мной... Я ближайший друг, советник и помощник генерала Юденича. А Юде-

нич — это герой и военный гений... (Левант изумленно заморгал.) И организовал в Стокгольме политический центр из европейских дипломатов и журналистов для моральной поддержки северо-западной армии. Наш центр связан с Парижем... Налымов может показать невзначай вот эти фотографии.

Надев роговое пенсне, Хаджет Лаше отобрал из пачки два снимка. На одном были сняты — спускающиеся с какой-то лестницы Хаджет Лаше, в черкеске, при кинжале, и на шаг позади низенький, плотный, с тысячами усами, хмуро скосившийся из-под огромного козырька фуражки генерал Юденич. На другой фотографии — Хаджет Лаше (широко улыбающийся) у подъезда гостиницы среди каких-то разноплеменных молодых людей в мягких шляпах и дорогих пальто, все они также смеялись чему-то перед объективом.

— Достоверные фотографии? — спросил Левант.

— Идиот, они же были напечатаны в журнале. Затем — четыре письма генерала Юденича ко мне. Это, как ты и сам понимаешь, липа, но первоклассная, работа моего нового помощника, Эттингера — концертмейстера Мариинского театра. Я подобрал его в Гельсингфорсе, — он ходил по кафе и показывал фокусы: разувался, ногой брал кирндаш и писал справа налево любой автограф. Клад, а не человек.

— У тебя широкие планы?

— Как всегда... Если бы мне на этот раз по-настоящему понравилось... Ого! с моими планами... Я пасынок счастья, Александр. Кому-нибудь ишаку Манташеву везет, — принц... Мы же вот ломаем голову, как его обогатить. Да, друг мой, от рождения нужно быть вымазанным медом, чтобы к тебе липли деньги... А впрочем, и слишком артист, меня больше увлекает сама игра, чем деньги... (Манташевым я бы не поменялся.

— Ну, заливай кому-нибудь другому.

— Друг мой, — со спокойной ясностью сказал Хаджет Лаше, — ты настолько сложившийся тип бандита, притом мелкого и унылого, что тебе непонятны взрывы фантазии. Ладно, теперь вот еще что; Детердинг после ваших объяснений несомненно примет вас за дешевых авантюристов. Налымов должен блестяще опровергнуть такое подозрение. (Он вынул из портфеля еще два письма и пачку газет — стохольмское «Эхо России».) Вот письмо в редакцию, — полномочия для сбора денег на издание антибольшевистского «Эха России», здесь подписи двух великих князей, кроме того — сенаторов, графов, баронов, фрейлин и прочие. Тоже работа Эттингера. Убедительно, как выстрел в лоб, и безопасно: здесь одни покойники... Детердинг должен понять, почему вы, не имея никакого касательства к нефти, хлопотаете о продаже нефтяных земель: вы договорились с Манташевым и Чермоевым о крупном взносе в пользу «Эха России».

Левант внимательно прочел письма, сделал пометки в записной книжке.

— Теперь — какие твои распоряжения насчет дачи?

— Ликвидировать. Через неделю девки должны выехать в Стокгольм.

— Хотя бы приблизительно можешь ты посвятить меня в стокгольмские планы, Хаджет?

— Видишь ли, мой друг, это уже высокая политика, тут начинаются вещи особо секретные.

— Ах, вот как... Значит, я остаюсь в Париже?

— В Стокгольме мне нужны люди только со звонкими фамилиями. Жулья и бандитов и там достаточно.

— Ну, ладно... Я когда-нибудь все-таки обижусь, Хаджет... Теперь объясни — почему ты так мало придаешь значения нефтяным делам?

— Двух таких дураков, как Чермоев и Манташев, тебе вряд ли еще придется подколоть. Афера случайная. Нефтяники сами скоро узнают дорогу к Детердингу.

— Да, ты прав, конечно... Что ж... идем заснем на часок.

Наверху, у запертой двери в комнату Веры Юрьевны, Хаджет остановился, подманил пальцем Леванта и вся ухмыляющаяся, зубастая маска его заходила ходуном.

— Эта длинная красивая женщина, как ее... Вера...

— Ну да, Хаджет, это та самая, константинопольская.

— Вот память, подумай. Ну, конечно. Очень хорошо, очень кстати.

25

Однопалубный широкий пароход покачивало подводной зыбью. Утонули зеленые французские берега, и в беловатом полутумане-полумгле висело большое солнце над Ла-Маншем.

Левант и Налымов, разговаривая вполголоса, лежали в парусиновых креслах на палубе. Василий Алексеевич был трезв, в петлице серого костюма краснела розетка Легиона. Левант чрезвычайно удивился, узнав, что орден у Налымова не липовый (пожалован в 1916 году после кровопролитного наступления русского экспедиционного корпуса). От приятной погоды и хорошего завтрака Левант впал в благодушие, — положил руку на колено Василия Алексеевича.

— Вот что значит — аристократ, вас и не узнать, голубчик. А помните, каким явились к Фукъецу, — прямо собиратель окурков. Знаете, жалко, что мы с вами раньше не встречались.

— Если бы мы встретились в Петрограде, я приказал бы лакею вывести вас вон, — ответил Налымов, щурясь на солнце, — а встретились бы на фронте, приказал бы вас повесить, тоже наверно.

Левант громко, искренне рассмеялся. Закурили сигары. Мимо кресел прошли румяный старик с прямыми пушистыми усами, в шотландском пледе на плечах, и длинный англичанин, державший за шнурок слишком маленькую по голове шляпу. Остановились у борта. С приятным смешком старик говорил (по-английски):

— Современники, стоящие слишком близко к событиям, никогда не видят их истинных масштабов. Только историческая наука вносит поправку в оценку современников...

— Так, так, — кивая шляпой, подтверждал англичанин и глядел на проступающий сквозь солнечную мглу меловой берег Англии.

— Революция — взрыв недовольства народных масс, доведенных до известного предела лишений и страдания. Оставим на время моральную оценку. Революция опрокидывает причины, порождающие недовольство. Опрокидывает, но никогда сама как таковая не становится творящей силой... Мирабо, Дантон, Робеспьер были только разрушителями..

— Так, так, — кивала шляпа.

— Революция порождает контрреволюцию, — обе силы вступают в борьбу. Оставим и тут моральную оценку... Если революция — биологический закон, неизбежно возникающий, когда старое общество уже не в силах прокормить, разместить, дать минимум счастья новому поколению, то контрреволюция — такой же биологический закон самосохранения старого общества... Таким образом, обе эти силы являются амплитудами одной и той же волны... Если революция — это хаос, анархия, разрушение, то контрреволюция — это бешенство сопротивления, жажда кары, наказания, тот же хаос... Как раз такую картину вы и наблюдали у Деникина...

— Так, так...

— Революция и контрреволюция качаются вверх и вниз, как стрелки одной и той же волны... Если посторонние силы не вмешаются в это качание и не остановят его, то оно окажется длительным и истощающим...

В первый раз за время разговора у англичанина приоткрылись зубы, крепкие и желтоватые, и под тенью шляпы юмором блеснули глаза.

— Вы видели на юге России у белых ужас и грязь, погромы и бессовестную спекуляцию, пьяную злобу и растление нравов... Вы, любящий и хорошо знающий Россию, были потрясены недоумением: куда же девался русский гений, породивший Петра Великого, Пушкина, Достоевского, Льва Толстого?.. Вы увидели одни разнузданные толпы гуннов...

— Гунны, гунны, — сквозь зубы подтвердил англичанин.

— Мистер Вильямс, откуда нам взять эту умиротворяющую, эту организующую наш вечный хаос — высшую моральную силу? Наше спасение в тех варягах, как и встарь, как и всегда... Мы должны призвать новых варягов, чтобы вмешаться в нашу драку белых и красных, разнять враждующие стороны и силой, если нужно, сурово обуздать дикого гуннского коня. Вот тогда снова у нас возьмут верх силы государственности... Снова духовное и интеллектуальное возьмет верх над биологией... Где же эти варяги?.. (С лукавой улыбкой он похлопал мистера Вильямса по плечу.) Англия, мой дорогой друг, Англия. Только Англия сейчас может взять на себя великую миссию умиротворения взбушевавшегося челове-

ческого океана. И вы это должны сделать со всей решительностью, со всей хваткой бульдога... И вы это сделаете — хотя бы во имя самосохранения. Никогда, ни днем, ни ночью, не забывайте, что бешеные волны революции уже захлестывают Германию и даже Францию, уже подкатываются к этим берегам...

Говоря это, человек со взъерошенными от ветра седыми усами протянул руку к меловым обрывам Англии.

Мистер Вильямс покачал шляпой.

— О нет, это прочно...

Когда старик и англичанин двинулись дальше вдоль борта, Левант спросил Налымова:

— Кто этот говорун с усами? Знакомое лицо...

— А черт его знает, — лениво ответил Налымов, — сволочь какая-то недостреленная.

— Слушайте, да это же профессор Милюков.

На пристани не оказалось ни носильщиков, ни такси. Это было по меньшей мере странно и необычно. Пассажиры заволновались, одни пошли объясняться, другие — пешком на вокзал. Леванту и Налымову пришлось тащить в руках увесистые, из свиной кожи, чемоданы (приобретенные для представительства).

На вокзале тоже не оказалось носильщиков. Бормоча левантинские проклятья, Левант ввалился, наконец, в купе.

— Видели что-нибудь подобное? Это — Англия! С ума они сошли!

Затем вагон начало толкать взад и вперед. По перрону взволнованно прошел начальник станции, — у него дрожали губы. Левант с бешенством высунулся в окошко:

— Слушайте, алло! Что случилось? Почему нас толкают? Я буду жаловаться, черт возьми! (Начальник что-то извинительно пробормотал.) Потрудитесь сделать, чтобы я сидел спокойно...

— Да сядьте вы, левантинец, — с досадой сказал Налымов.

Наконец тронулись. За вагонным окном понеслись ряды однообразных кирпичных домов, напоминающих гигантские, закопченные углем соты, огороженные зеленые поля, со столетними одинокими дубами, парки, островерхие кровли церковей, снова — огороженные поля, ручьи, ряды прокопченных рабочих домишек.

Левант с юмором стал поглядывать на хмурого, подтянутого Налымова.

— Знаете, я вас даже начинаю побаиваться. Вас бы посадить губернатором в военное время где-нибудь в Малой Азии, ой-ой, что бы вы натворили! Между нами: вешать вам приходилось? (У Налымова презрительно дрогнула верхняя губа.) Большой артист, честное слово. Я в вас не ошибся. Только послушайте, Налымов, ни капли спиртного, клянись мне.

Поезд, как в тоннель, ворвался в линии фонарей и освещенных окон; загрохотали виадук, сверху, снизу пересекая путь, понес-

лись поезда, трамваи, и паровозный дым лизнул грязно-стеклянные стволы вокзала. Лондон!

На перроне была явная тревога и недоумение, — ни одного носильщика. Несколько пассажиров растерянно стояли у багажного вагона, откуда два каких-то элегантных молодых человека вышвыривали без бережливости чемоданы. Красная от волнения дама, в битой набок шляпе и с дрожащей собачонкой на руках, пытаясь приостановить какую-то неловкость, торопливо шла позади безукоризненного джентльмена, — торжественно улыбаясь, он нес ее порипанный чемодан.

— Прошу, джентльмены, ваш багаж.

Перед Левантом остановился, поправляя монокль, другой, не мисс безукоризненный джентльмен. Он был в шелковом цилиндре, в свежих перчатках, воротник черного пальто поднят, прикрывая фрачный галстук, поверх пальто — зеленый фартук носильщика.

— Ваши чемоданы, джентльмены. — С британским упорством, выпятив атласно выбритый подбородок, он поднял багаж и зашагал (с британской решительностью) к выходу на площадь. Там, вынув мясницкий свисток, пронзительно свистнул. Мощно, бархатно подкитил длинный, из красного дерева, отделанный серебром «роллс-ройс». За рулем сидел третий джентльмен, в пушистой кепке, в монокле, — поднятый воротник прикрывал фрачный галстук.

— Джентльмены, ваш адрес?

У Леванта вылезли глаза; при всей наглости он не мог ничего ответить. Джентльмен-носильщик сказал джентльмену-шоферу:

— Артур, джентльмены не понимают по-английски.

Левант прошептал:

— Господи помилуй, на руле никак — лорд, честное слово!.. Сэр, — с поклоном спросил он, — не можете ли вы объяснить, что все это значит?

— В Лондоне забастовка, сэр, — учтиво ответил джентльмен-носильщик, — забастовала часть транспорта: носильщики, шоферы и трамвайные служащие. Вы хорошо сделали, что приехали сегодня. По нашим сведениям, завтра остановятся поезда. Мы штрейкбрехеры: нас вызвали на борьбу, — мы боремся. Я член «Жокей-клуба», весь «Жокей-клуб» работает носильщиками. Лорд (тенли (кивнул подбородком на шофера) — член клуба «Пасифик». Весь «Пасифик» обслуживает автотранспорт. Кондукторами и вагоновожатыми — члены королевского клуба «Британия». Все ясно, сэр. За перенос багажа один шиллинг и шесть пенсов, сэр.

— Ах, вот как, — сказал Левант и полез в шикарную машину.

— Алло, шофер, в «Савой-отель»...

Заняли в бельэтаже два соединенных салоном номера с зеркальными стенами. Побрились, переоделись во фраки. Ужинали в огромном, как площадь, колонном зале, торжественно, молча и

невкусно. Вернулись к себе в салон, покурили, помолчали, разделались, легли спать.

В восемь утра Левант уже висел на телефоне. В половине девятого в кровать подавался первый завтрак, но вместо этого осторожно постучался управляющий гостиницей и, сохраняя спокойствие, сообщил, что прислуга забастовала, — джентльменам придется спуститься в ресторан и удовольствоваться холодной говядиной и кофе; есть вероятность, что на сегодняшний вечер Лондон очутится в темноте, но вряд ли до этого дойдет, — городские электростанции заняты спортивным клубом «Мяч и парус» и отрядами полиции. Хуже с подвозом съестного, никаких запасов не хватает на семь миллионов ртов... «Да, джентльмены, тяжело сознавать: наш рабочий, чистокровный англичанин, — пусть из низов общества, но англичанин же, бог мой, — на поводу у шайки московских разбойников». Директор посоветовал передвигаться по городу пешком: трамваи, обслуживаемые клубом «Британия», часто направляются не по тем стрелкам, и были случаи нападения бездельников на вагоновожатых, — приходилось отстреливаться, страдали вагонные стекла и пассажиры. Передвижение на автомобилях также сопряжено с риском получить камень в голову... «А в общем, джентльмены поступят так, как им заблагорассудится, и простят мое вторжение в их частную жизнь».

После завтрака пошли пешком. Валили потоки пешеходов. Полицейские, в синих суконных шлемах, как идеи высшей закономерности, с отеческой строгостью возвышались на перекрестках.

В управлении «Ройял Дэтч Шелл» сообщили: Детердинг никогда здесь не бывает, и если джентльменам нужно видеть первого секретаря мистера Детердинга, то мистер Ховард может принять их у себя дома. Левант сделался меньше ростом, когда на полшага позади Налымова отпечатывал третью милю по указанному адресу. Дом мистера Ховарда (узкий, в три этажа, кирпичный, в стиле императрицы Виктории) был, по-видимому, более важным местом, чем управление, — на потемневшей дубовой двери, под старинным молотком — серебряная дощечка: «Ройял Дэтч Шелл». Левант по собачьему взглянул на Василия Алексеевича, надул щеки, выпустил воздух, стукнул молотком, и дверь тотчас открылась, будто за ней все время дожидался седоватый человек в ливрее. Левант совсем оробел. В вестибюле — драгоценные ковры, коллекция индусских богов, раскрашенные идолы с Соломоновых островов, изъеденная червями итальянская резная мебель. Когда лакей ушел с визитной карточкой, Налымов проговорил сквозь зубы:

— Здесь нужно вам заткнуть рот прочно. Как я и угадал, вы и близко не бывали около Детердинга. Предлагаю вам молчать, глазами не шарить, лучше всего глядите на свои ботинки, не курите без приглашения и обращайтесь ко мне: «Господин полковник».

— Так, так, так, будьте покойны, — прошептал Левант.

Неслышно вернулся лакей: «Мистер Ховард просит». Вошли в полутемный кабинет, где горел камин. Мистер Ховард, небольшого

иста, очень худой, с седыми висками, предложил кресло у огня. Инзитная карточка Налымова лежала на сигарном столике.

— Если не ошибаюсь, я имел удовольствие видеть вас в ставке главнокомандующего под Ипром, — сказал Налымов. — Это было в сочельник, за ужином...

— Как же, как же, — с улыбкой ответил мистер Ховард. Но так как перед ним сидел русский (то есть человек, у которого в доме тяжелое горе), дружескую улыбку он сменил на печальную и даже сопроводил ее легким вздохом.

Василий Алексеевич сухо, по-военному, начал излагать положение дел под Петроградом: наступление северной армии отложено до сентября из-за недостатка продовольствия и вооружения, — но, что еще важнее, — из-за отсутствия высокой моральной атмосферы. Нужно широко развить белую идею. Леванта он представил как одного из редакторов «Эха России». Он говорил точно по плану Хаджет Лаше. Мистер Ховард слушал с удовлетворением. Серьезно поглаживая на свои ногти, сказал:

— Мне кажется, мистер Детердинг должен заинтересоваться вашей беседой. К сожалению, нелепые события этих дней нарушили его душевное равновесие, и я, право, не знаю... В Англию мы запрещаем ввозить собак, дабы не портить породы, тем более догадано, что правительство слишком добросердечно смотрит на ввоз микковских идей, и не поручусь, что не только идей, но и их живых носителей.

Он обернулся, приподнял брови, прислушался к шагам.

Толкнув дверь, вошел коренастый человек в просторном серебристом автомобильном пальто, порванном и запачканном. Казалось, что он только что кого-то держал за глотку бульдожьими скулами, бритый жирный низ лица его, с прямым ртом, выпятился, когда, сдергивая перчатку, он вопросительно и свирепо взглянул на посторонних. Снизу вверх дернул, вместо поклона, плотно посаженной головой.

Секретарь, мягко поднявшись, сказал ему:

— Мы только что беседовали по вопросу, близкому стокгольмскому предложению.

Медленно сняв перчатки, вошедший человек вдруг устался на грязное пальто, расстегнул его и швырнул мимо кресла на пол. Стал у камина, — коротконогий, с маленькими ступнями и добродушным животом, никак не связанным с верхней частью тела, будто голова со слезавшимися от пота стальными волосами была представлена от другого человека.

Секретарь представил:

— Полковник Наулэмов и мистер Лайвэнт.

В ответ человек у камина показал белые мелкие зубы, как улыбающаяся лиса, — но на очень короткое время. Затем сказал, словно откусывая у слов хвосты:

— Они подожгли мой автомобиль. От Трафальгар-сквера я шел пешком. Я бы очень хотел видеть в таком же положении мистера Ллойд-Джорджа.

Затем, утопив затылок в прямых плечах, он коротконого пошел к двери. Обернулся и — Налымову:

— Хорошо. Завтра я вас жду в десять утра.

— Мистер Детердинг ждет вас точно в десять утра, — повторил секретарь Налымову и Леванту.

26

— Я не прошу у вас денег, дорогой полковник, и не посылаю счетов, я работаю ради идеи...

— С удовольствием хочу подтвердить вам, дорогой Хаджет Лаше, что в нас это вызывает чувство глубочайшего удовлетворения.

— Прекрасно... Но вы представляете, сколько стоит организация дела?

— О, разумеется.

— Небольшая сумма, переданная мне генералом Жаненом перед его отъездом в Сибирь, полностью ушла по назначению. Люди, идущие рисковать жизнью, часто весьма требовательны, — посылая агента в Москву, я не торгуюсь.

— Ну, о чем же может быть речь...

— Отвлекаясь от чисто идейной работы, я принужден пополнять мою кассу... Так, сегодня два моих агента выехали в Лондон, чтобы предложить Детердингу вполне порядочную комбинацию.

— Я не сомневаюсь...

— Не в том дело... Детердинг — осторожен, — прежде чем решить, он наведет справки в известном вам учреждении, оно запросит вас... Так вот, я бы хотел рассчитывать на положительный отзыв...

— Я полагаю, что вы можете рассчитывать на меня... Какова сумма куртажа?

— Тысяч сто каких-нибудь...

— О, пустяки...

— Мерси... Дорогой полковник, это не все...

— Пожалуйста...

— За сведения, доставленные мной, я бы хотел одного: чувствовать себя совершенно свободным в своих поступках...

— Я вас понимаю, дорогой друг, но бывают поступки...

— О!.. Господин полковник! Мое прошлое! Мои заслуги!

Хаджет Лаше, потрясенный недоверием, слегка отодвинулся от полковника Пети и глядел на хорошенькую девочку с тоненькими, как у новорожденного жеребенка, голыми ножками, — она бежала за обручем по песчаной дорожке. Хаджет Лаше и полковник Пети сидели на скамейке в Люксембургском саду. Мирно падал лист за листом с желтеющих каштанов. Со сдержанной горечью Хаджет Лаше сказал:

— Сотрудничество возможно только при обоюдном доверии. Взгляды стокгольмской полиции могут не сходиться с моими взгля-

лами, но с Парижем у меня не должно быть недоразумений. У нас общая цель, — зачем же привязывать мне моральный жернов на шею? Или вы мне не доверяете? Тогда — разойдемся.

— Дорогой друг, вы приводите меня в отчаяние...

— Нет, дорогой полковник. Я только хочу сказать: борьба есть борьба. В Париже достаточно злой шутки, чтобы убить человека, в джунглях нужна разрывная пуля. Не забывайте, мы имеем дело с большевиками. Это — люди по ту сторону добра, поджигатели цивилизации. Одни законы для цивилизованных, другие для каннибалов.

— Вы тысячу раз правы, — сказал полковник Пети, осторожно касаясь серповидных усов, тронутых сединой. — Но общественное мнение! Оно капризно, как любовница... Из пустяков оно создает гениацию... Мы не можем с ним не считаться.

— Общественное мнение! Скажите еще: парламентаризм!.. (Хаджет Лаше стукнул себя кулаком по коленке.) Непонятно, как этот пережиток все же переполз через поля войны!.. И вот вам: большевизм уже на тротуарах Парижа... А здесь все еще болтают о терпимости и почтительно снимают шляпу перед общественным мнением... Я бью тревогу, дорогой полковник! Я утверждаю: спасение Франции, спасение Европы в суровой диктатуре, в терроре... Парламентаризм, — простите за парадокс, — парламентаризм преступен, как секта самоубийц...

Полковник Пети рассмеялся, похлопывая стеком по коричневой кожаной гетре. Хаджет Лаше положил короткую ладонь на лоб, будто охлаждая его пылание. Хаджет Лаше был мыслителем и не скрывал этого. Он еще долго развивал тему о здоровом перерождении европейского культурного общества: диктатуру верхушки буржуазного общества в конце концов примут как историческую неизбежность, как спасение от мирового большевизма. Если диктатура будет связана с промышленным подъемом, то и пролетариат, во всяком случае наиболее рассудительная часть его, примирится с господствующими идеями. Остальных заставят примириться.

Пети наслаждался беседой:

— Мой дорогой Хаджет Лаше, я уверен — у нас с вами не возникнет принципиальных разногласий. Вы всегда можете чувствовать за спиной дружескую руку. Если только...

Хаджет Лаше пожал плечами и — сухо:

— Я всегда был осторожен.

Солнце изламывало жаркие лучи на радиаторах машин, на гигантских стеклах магазинов, ослепительно отражалось в ручьях вдоль асфальтовых тротуаров. Облетали каштаны. По теневой стороне двигался человеческий муравейник — светлые платья, светлые шляпы, голые руки, персиковые щеки, влажные глаза, веселый шговор, встречи, деловая суета и созерцательное безделье...

С утра в город с окраин спускались рабочие, — на знаменах и кумачовых полосах они написали: «Мы поддерживаем английских товарищей». Это было лаконично и неожиданно. Телефонogramмы (в префектуры полиции) с забастовавших фабрик и заводов сообщили, что рабочие не выставили никаких экономических требований. Это было уже тревожно. И хотя рабочие шли мирными колоннами, против них послали драгун. Произошли короткие схватки холодным оружием и камнями. Колонны были рассеяны, но в середине дня появились новые.

Около трех часов Володя Лисовский отпустил такси и пошел пешком по направлению бульвара Брюн, тянущегося вдоль старинных укреплений. Около заставы Мон-Руж он увидел первых драгун: в синих плащах, в медных сверкающих касках с красными конскими хвостами, драгуны ехали шагом, попарно на рослых карачовых лошадях. «Не повернуть ли?» — подумалось. Для лояльности беспечно помахивая тросточкой, Лисовский вышел на бульвар, — кирпичные грязные дома, пыльная мостовая, чахлые деревья, вытоптанная трава на лысых пригорках. Горячий ветер подхватил пыль и понес вместе с бумажками. Впечатление небогато. Лисовский медленно повернул налево к парку Мон-Сури и сразу же увидел: посреди улицы валялась пушистая новая кепка, шагах в десяти — окровавленный платок, подальше — большая лужа крови. Лисовский ногтями стал драть подбородок. В Ростове где-нибудь — эка штука лужа крови, но здесь — ого!

Он дошел до парка Мон-Сури. На истоптанных лужайках, на дорожках, пересеченных корнями, на искусственных холмиках со скамьями вокруг высоких фонарных столбов, на озере — ни души. Побродив, направился к выходу на авеню Мон-Сури и здесь, под платаном, на скамейке увидел двух пролетариев. Один — красивый парень, с сильной шеей, в разорванной до пупа рубашке и с кровавой царапиной на груди. Другой — бородатый, чахоточный, в пенсне, в пыльной черной шляпе. Оба курили, при виде Лисовского замолчали. Он сел рядом.

— Что здесь произошло, черт возьми? — сказал он нарочно грубовато. — Брожу целый час... куда делось население? На бульваре — лужи крови. А в пять часов мне сдавать хронику. О-ла-ла!..

— Двое убитых, тридцать ранено, можете это сообщить в вашей почтенной газете, — неохотно ответил красивый парень.

— Подробности, подробности, старина! — Лисовский с нарочной торопливостью схватился за записную книжку.

Парень пожал плечом. Человек со спутанной черной бородой сказал, поправляя на извилистом носу пенсне:

— Вполне законное любопытство узнать — из-за чего убивают граждан на парижской мостовой. Молодой человек, они убиты драгунами.

— Во время демонстрации?

— Вы угадали, — в то время, когда французы вышли на улицы заявить некоторой части населения по ту сторону Ла-Манши

« братских чувствах... Когда у французов появляется некоторый запас идей, они всегда выходят на улицу, чтобы швырнуть в воздух свои идеи подобно почтовым голубям... Так вот, Жюль... (Человек в пенсне повернулся к своему собеседнику.) Все движется, все меняется, даже такие понятия, как Франция и французы... Было принято определять расовые качества по языку, цвету кожи и строению черепа... Жюль, это невероятный вздор. Когда тебя вымотают резиновой дубинкой по черепу, Жюль, тебе, должно быть, безразлично — длинный у тебя череп или круглый, француз ты или бош... Цвет твоих волос не отражается на качестве расплавленной бронзы, выливаемой тобой в формы для автомобильных моторов... Почему ты должен считать себя французом, «или на земле, не принадлежащей тебе, на предприятии, не принадлежащем тебе, ты создаешь напряжением ума и мускулов ценности, не принадлежащие тебе? Но тебе все-таки хочется быть французом, черт возьми! Здесь земля прекрасна, и прекрасно небо, и еще прекраснее женщины... Так завоей свою Францию, Жюль... Три четверти человечества тебе помогут в этом, а в первую голову русские... (Человек в пенсне живо повернулся к Лисовскому.) Вот, молодой человек, некоторые своевременные мысли — бесплатно для вашей заметки...

Мрачный парень вдруг раскрыл рот и так захохотал, что закричалась скамейка... Володя Лисовский понял, наконец, что над ним издеваются. Встал, приподнял шляпу и пошел к выходу из парка. «Матерьял для Бурцева не годится, — размышлял он, — но для отдельной книги?» Он даже споткнулся, — так захватило воображение... Книгу назвать: «Заговор трех четвертей». Циничная, наглая, такая, будто автору известно в тысячу раз больше, чем сказано... С каждой страницы двигаются на читателя миллионы устрашающих теней... Или назвать: «Я даю цивилизации под жизни». Костры на площадях Парижа, сцены, от которых у буржуа волосы встают дыбом... И — сто тысяч долларов в кармане...

С невидящими глазами, шепча про себя и размахивая тростью, Лисовский шел по авеню Мон-Сури, будущая книга неслась перед ним, горячий ветер перелистывал ее невероятные страницы. Так он почти дошел до вокзала Со. Он не слышал, как его толкнули справа, слева. Сильным толчком с него сбили шляпу, — толпа демонстрантов стремительно бежала от площади Данфер Рошро. Презаясь в толпу, позади скакали драгуны, нагибаясь с седел, наотмашь били прямыми блестящими палашами. Сверкали гривастые шлемы, конские вспененные морды задирались над головами. Все это мелькнуло отчетливо, как на матовом стекле фотоаппарата.

Лисовский побежал, прикрывая голову руками. Многие из толпы, заскочив на тротуар, хватали круглые чугунные решетки под чихлыми деревцами, разбивали о мостовую, швыряли осколками в скачущих драгун. (У одного слетела медная каска, закинулось лицо, залитое кровью.) Вдруг брызнула боль из глаз: как будто жер-

новом ударили по черепу, Лисовский тяжело упал грудью на камни и потерял сознание.

Его грубо подняли, поставили на ноги; моргая, увидел по бокам два усатых недружелюбных лица, синие кепи. «Влип, — полиция!» Попытался что-то объяснить, так толкнули в спину — мотнулась голова. Повели. Только теперь начал болеть мозг, жгло солнце, ломило глаза. Свернули за угол, где была префектура полиции. Обшарпанная дверь, полутемный коридор, ступеньки вниз. Чей-то сдавленный вопль. Голый каземат, четыре здоровых сержанта, оскалившись от бешенства, бьют башмаками корчащегося на каменном полу человека. Лисовского толкнули на койку. Он сейчас же лег ничком на маслянистое, с круглыми дырочками железо. Полицейские ушли, дверь с грохотом захлопнулась, человек на полу торопливо стонал.

Мальчик лег пятнадцати поднял лохматую голову (рядом на койке) и — негромко Лисовскому:

— Тебя взяли на демонстрации?

— Да нет же. Я случайно...

— Э, старина, все равно за тебя не дам и двух су. Чего бы там ни врал, «грязные коровы пустят тебя в табак».

— Я не понимаю... Какие коровы?

Блестящими глазами мальчик указал на избитого человека: он со всхлипываниями втягивал воздух сквозь зубы... Подальше еще кто-то стонал. Мальчик с любопытством прислушался.

— У этого кофейник вдребезги, — проговорил он быстрым шепотом, — а ты, старина, не ломайся. Может быть, у тебя в эту минуту нет настроения иметь дело с копытами, я тебя понимаю, но не знать, как «пускают человека в табак», — ври другому. (Расширив глаза.) Ты видел, у них на подошвах гвозди с гранеными шляпками? По правде тебе сказать, я бы с удовольствием удрал отсюда. Они «пускают в табак» уже пятого парня, покуда я здесь. Одного, понимаешь, приволокли да сбили с ног, чтобы топтать, а он как вскочит да сержанту в сопатку, да другому в сопатку... Я уже и глядеть не стал...

Мальчик бодрился и шутил, но худенькое лицо его мелко подергивалось. Лисовский опять лег ничком на койку. Загрохотала дверь, вошли двое мрачных в кепи с серебряными галунами.

— Ты, встань! — схватили за воротник. Лисовский торопливо сел. — Кто такой? Документы!

Один держал за воротник, другой обшаривал. От прохождения «через табак» Лисовского спасла корреспондентская карточка. Под вечер его выпустили, даже извинились и в отеческой форме предложили подальше держаться от рабочих окраин, вернули документы и записную книжку, но пачка долларов, перехваченная тоненькой резинкой, исчезла: по-видимому (как заявили ему официально), похищена демонстрантами, когда он без чувств валялся на мостовой.

Налымов и Левант вернулись из Лондона. Переговоры с Детердингом прошли успешно. Левант поспешил обрадовать Чермоева и Манташева, и начались долгие бестолковые переговоры. Чермоев выломил дикую цену за нефтяные участки. Манташев, в мрачной нарастающей, с утра решал продавать все, вечером кричал, что какой-то десяток миллионов франков его никак не устраивает — цена скаковая конюшня обойдется дороже.

Левант проявил величайшее знание человеческого сердца. Манташва он взял на испуг, — тайно собрал все его счета и через нотариуса предъявил к срочной уплате. Манташев потерял голову и пошел на все. С азиатом Чермоевым было несравненно тяжелее, но и его Левант взял в конце концов семейным измором: распалил гумасшедшее воображение у Анис-ханум и Тамары-ханум, — поклялся татаркам в Булонском лесу будущий особняк, возил на автомобильную выставку, на приемы к знаменитым портным, где проходили, как швидения, длинные, потрясающей красоты женщины в невероятных платьях ценою в две, три, пять тысяч франков. Домашняя жизнь Чермоева стала невыносимой, он понял, что так хочет аллах, и пошел на условия Детердинга.

На даче в Севре ждали только телеграммы от Хаджет Лаше, чтобы выехать в Стокгольм. Дамам было выдано пять тысяч франков на тряпки. На дачу притаскивались вороха полосатых картонок. За ужином болтали о покупках, о модах, о ценах. Старались не думать, что в Стокгольм их везут не для невинных развлечений.

В одну из минут вечерней тишины, когда было слышно, как бабочки ударяются о стекло лампы, Лили вдруг заговорила о каком-то своем родственнике, белом офицере: постараться хорошенько, можно бы его разыскать... Он когда-то был влюблен в Лили, такой милый, чистый юноша. Конечно, прискачет в Париж, вырвет ее из этого ужаса... Она бы поехала с ним на гражданскую войну вострой милосердия, потом бы купили домик на берегу моря в тихом Таганроге, жили бы грустно, невинно, завели бы козу, кур.

Вера Юрьевна сказала с отвращением:

— Мало того — дура, ты пошлячка, милая моя.

— Врешь, врешь, меня еще можно любить. — Лили начала отчаянно стучать кулачком по столу. — Не старая шкура, как некоторые...

— Это я есть, милая моя, пошлость: домик в Таганроге, любовь и коза. Кто тебя любить-то будет? Офицеришка, прожженный спиртом и сифилисом?.. Э, милая моя, рук-то от крови не отмоешь...

— Врешь, врешь, он студент, юрист... Такой милый, застенчивый...

— Вот именно, у тебя законченная психология проститутки, должна заметить с большим огорчением.

Мадам Мари сказала:

— Да, Лилька, надо тебе подтянуться... Любовь вычеркни из словаря... Я, девочки, страшно верю в Стокгольм. Во-первых, Хаджет Лаше обещал мне ангажемент в кафешантан... Ну уж тогда держись, девочки, мы проживем: на все пушусь, вплоть до кражи бумажников.

— Правильно, — твердо сказала Вера, — уважаю.

29

Дамы и Налымов приехали в Париж с девятичасовым поездом. На площади вокзала Сан-Лазар стояли трамваи, набитые народом. Машины медленно продвигались сквозь густые толпы пешеходов. В городе что-то случилось. Мальчишки-газетчики с отчаянными криками на бегу размахивали экстренными выпусками. Оказалось (на даче в Севре совсем забыли об этом): сегодня в одиннадцать часов должна состояться близ Нью-Йорка в присутствии двенадцати тысяч зрителей встреча двух мировых боксеров — Карпантье (Франция) и Демпси (Северная Америка). Пресса придавала этому матчу более чем спортивное значение. Французская нация дралась за мировое первенство. Перед своим отъездом Карпантье — красавец, чистокровный француз — был принят президентом республики. Пуанкаре будто бы сказал ему: «Итак, мужайтесь, мой друг. Удар, который вы нанесете вашему противнику, отзовется в сердце каждого француза. Нация вручает вам свою честь и свою славу».

Весь месяц газеты были заняты описаниями тренировки Карпантье перед встречей; каждая минута его жизни стала достоянием широких народных масс. Специально посланные в Нью-Йорк корреспонденты сообщали о мельчайших отклонениях его здоровья, о его ежедневном меню, утонченных вкусах, остроумии, оптимизме, веселости, о его галстуках, костюмах, шляпах и прочее. Корреспонденции не замалчивали силы и ловкости Демпси, что еще сильнее возбуждало ожидание.

Великий день настал. Не менее миллиона людей двигалось по Большим бульварам к центру, где над редакцией «Матэн» изда-лека виднелся большой экран, на нем — схематическое изображение двух голов — Карпантье и Демпси. Каждый удар передается через океан по радио, и на очертаниях голов посредством электрической сигнализации кружком отмечается место, где нанесен удар. Аэропланы, парящие над городом, также принимают радиосообщения о наносимых ударах и выкидывают светящиеся шары — белый, если удар нанесен в лицо Карпантье, красный — в лицо Демпси. Такая же сигнализация шарами установлена на верху Эйфелевой башни. Приз победителю — три миллиона долларов, побежденному — миллион. Если переводить на франки, шестьдесят миллионов франков за пять минут битвы по лицу, — не у одного только маломощного буржуа мутилось в голове... Энтузиазм был всеобщим...

К одиннадцати часам Налымов с дамами добрался до пятиэтажного уродливого здания «Матэн». Над волнующимся полем шлуп и женских шляпок возвышались плечи и каски конных драгун. Стрелка часов подошла к одиннадцати. По толпе пронеслось сдержанно: «А-а!» Эйфелева башня сигнализировала. Кружащиеся над городом аэропланы выпустили облачка цветного дыма. Разорвалась петарда на крыше «Матэн». По экрану (с очертаниями двух голов) побежали надписи: «Бойцы вскочили на арену»... «Командор боя появляется на арене»... «Командор свистит»... «Двенадцать тысяч американцев затаили дыхание»... «Карпантье изящным жестом сбрасывает халат»... «Демпси поступает так же, лицо его хмуро»... «Карпантье оживлен, он смеется»... (О, французы всегда смеются в минуту опасности...) «Бойцы подходят друг к другу,жимают руки в боевых перчатках, отскакивают в позиции»... «Оба колосса замерли в классических позах»... «Резкий свисток командора»... «Карпантье кидается первым»... (Вера Юрьевна впиалась ногтями в руку Налымова.)

Надписи прерываются. События разворачиваются с бешеной быстротой. На экране от слов переходят к сигнализации. Глаза трехсот тысяч парижан устремлены на два силуэта... Странно, на физиономии Демпси пока ни одного кружочка! Видимо, бойцы только еще изучают друг друга. Пустая минута первого раунда γίνεται невыносимо. И вдруг за секунду до конца у Карпантье нахредине лба выскакивает черный кружок. Триста тысяч пар глаз смущенно перемигиваются.

Минута перерыва. (Бойцов разводят в противоположные углы квадратной арены, окруженной канатами, сажают на стулья, массируют мускулы, обмахивают полотенцами, брызжут в лицо квасцами.) Над взволнованной толпой поднимаются дымки закуриваемых папирос. Второй раунд. Надпись: «Карпантье с холодным бешенством кидается на противника»... Секунда ожидания. Подземным гулом бьется сердце толпы. И сейчас же на экране левый глаз Карпантье закрывается кружком, второй кружок выскакивает на правой скуле, третий на левой, четвертый на подбородке... Перерыв. Французы хмуро отводят глаза от экрана. С хвостов парящих аэропланов срываются заподаввшие ослепительные белые шары.

Зрачки у Веры Юрьевны расширены, голос хриплый:

— Я загадала на Карпантье... Я верю, верю!

У Лили раздуты ноздри, будто из-за океана доносится к ней запах могучего пота и льющейся крови. По толпе — ветерок тревожного шепота. Третий раунд. Нос Демпси прикрывается кружком. Крики «браво», аплодисменты, — ураган криков. Но знатоки качают головами: разбитый нос ничего не стоит, у Демпси нос вдавливается внутрь, как резиновый. В ответ рассерженный Демпси наносит подряд по лицу три удара противнику. Карпантье падает. О нет, нет, несправедливости не должно совершиться! Карпантье снова на ногах... «Браво, браво, Карпантье!» У Демпси кружок на скуле... Конец третьего раунда.

От толпы перед редакцией «Матэн» поднимаются едкие испарения... Медленно, как судьба, ползет минута перерыва. Четвертый раунд. Инициатива переходит к Демпси. Удары в скулы, в нос, в ухо, в череп, в сердце громовыми раскатами разносятся по вселенной. У Карпантье треснула лобная кость, лопается челюсть. Повреждена ключица, но держится, держится! Надежда не потеряна. Толпа глядит, задрав головы со сдвинутыми шляпами. «О, ударь его хорошенько в зубы, Карпантье, вышиби ему глаз!..»

Сила кулака у Демпси равна удару задней ноги лошади. Демпси (как потом стало известно) дал слово устроителю матча держаться более или менее пассивно семь раундов. Но, видимо, ему надоело валять дурака. На пятом раунде лицо Карпантье стало быстро покрываться кружками. Демпси колотит в него, как в бубен, и через двадцать секунд делает нокаут: двойной удар снизу наискось в подбородок и в челюсть (мозги встряхиваются, головные позвонки выходят из сочленений, челюсть соскальзывает в сторону). Карпантье упал. Командор боя (нагнувшись над ним, высоко подняв руку) начал считать до десяти... Десять. Кончено! Карпантье не встал... На арену вскочили служители взять его обморочное тело. Франция разбита. Аэропланы, выпустив черный дым, улетели в западном направлении. Толпа перед редакцией «Матэн», повинувшись древней традиции, обнажила головы. Человеческие потоки медленно расходились.

Налымов сказал:

— Девочки, нас еще раз одурачили. Предлагаю выпить.

30

Левант позвонил поздно ночью: «Едем завтра». Всю ночь укладывались. Чуть свет из Парижа приехали такси. Дамы поцеловали заплаканную Нинет Барбош и навек покинули дачу в Севре. Какова будет новая жизнь — плевать, лишь бы новая.

Левант выбрал кружной путь через Берлин — Штеттин и оттуда морем до Стокгольма. В Берлине остановились в дорогой гостинице «Адлон», где сразу же в вестибюле бросились в глаза такие подозрительные, лоснящиеся, шикарно одетые людишки, такое настойчивое, нетерпеливое жулье, что дамы приказали весь багаж сейчас же поднять в номер. Завтрак в ресторане был гнусный, но на еду здесь, видимо, не обращали внимания, за столиками совершались сделки, из конца в конец зала перекликались лоснящиеся людишки, показывали друг другу что-то пальцами, оркестр исполнял в том же истерическом темпе американские фокстроты. На дам нагло тарасились: «О-о-о, паризер шик!»

Левант занял в бельэтаже дорогие апартаменты. После полудни в его салоне появились русские важные старцы, молодые люди с мутно-пристальными глазами убийц, серые штабс-капитаны и полковники мировой войны, несколько солдатских шинелей, прикры-

видших военные лохмотья, провинциальные говорливые барыни, трагические старухи из петербургского большого света. Все это сборище разговаривало в повышенном тоне, ругало немцев и ожидало от Леванта не то каких-то инструкций, не то просто денег. На открытом листе производилась запись добровольцев в Лигу спасения Российской империи..

Левант разговаривал от имени Стокгольмского отделения Лиги. Денег, правда, не предлагал никому, но обещал самые широкие перспективы в недалеком будущем. С иными молодыми людьми удалялся в спальню для секретного совещания. Окруженный русскими (на пышных розах ковра, замусоренного окурками), он горючил, засовывая большие пальцы за подтяжки:

— Господа, в Париже, где сосредоточены все нити борьбы с большевиками, где, не преувеличивая, бьется сейчас сердце русского народа, чрезвычайно удивлены пассивной деятельностью берлинских военных организаций. Мы были уверены, что энтузиазмом борьбы охвачены все русские. К сожалению, я этого не вижу. Германское правительство всемерно идет нам навстречу. Англичане делают даже больше того, на что можно надеяться. И что же? За следующую неделю из Берлина на русский фронт отправили всего один эшелон добровольцев. Господа, какой отчет я дам Парижу?

Коренастые штабс-капитаны и лысоватые полковники чесали в затылке. У генералов строго тряслись щеки, молодые люди с глазами убийц хмуро отворачивались. Отвечать было нечего... Вот дабы Германия послала тысяч сто войска. Или черт с ней, если Германии не позволят, почему Франции не двинуть чернокожих на Россию?.. Почему Англия, как собака, то укусит, то отскочит, — ее большой флот мог бы в один день сравнять с землей и Кронштадт и Питер. Поддадут интервенты жару, — до одного человека пойдём в передовые войска. Без нас все равно не обойдутся, очистить Россию от большевиков иностранцы небось не станут, ручек не захотят марать.

Налымов с дамами бродил по Берлину. Неприветливыми казались перспективы однообразных улиц, темные дома с высокими красными крышами. В магазинных витринах подделки, эрзацы, плам. Угнетало количество неумелых девушек с нищими глазами, — их жалкий торопливый шепот встречным прохожим: «Идем со мной, я очень испорченная». На перекрестках когда-то блестящих улиц — участники мировой войны: обрубки на тележках, слепые в черных очках с поводырем — санитарной собакой на привязи (подарок правительства). Перед витринами мясных лавок, где в бумажных кружевах разложены окорока, филеи, колбасы, драгоценные куски жира, — неизменная толпа: бежит суровый пожилой человек вареной картошки и от громового рефлекса вращает в тротуар перед мясной витриной... Рука стискивает портфель, воловьих мускулы вздуваются на впавших щеках: позволяет себе пе-

резать вон ту свиную котлету в бумажном кружеве на стеклянной доске... Пять минут пищевой фантазии!.. Крепче портфель с несъедобными бумагами под мышку и — мимо, мимо... Версальскому миру отзовется когда-нибудь эта свиная отбивная!

Скалы, холмы, печальный свет северного солнца, вдали — груды облаков, как снежные вершины.

Пароход плывет мимо каменистых островов. С каждым поворотом — новые склоны берегов и глубже уходящие воды фиорда, то затененные, то сверкающие. Дамы облокотились о перила борта. Ясен воздух, скудное тепло. Красные черепицы домиков в зеленоющей лощине между бесплодных скал. Север. Безлюдье. Это земля, куда возвращаются с отгоревшими страстями, с поседевшей головой.

Вера Юрьевна говорит вполголоса:

— Если бы так же возвращаться в Петроград... Человек должен жить на севере... Девочки, — вон в том домишке, под скудным солнцем... Какая печаль!.. Мечтать, ждать несбыточного...

Она положила на борт руку, обтянутую лайковой перчаткой. Молочно-румяный швед оглянул стройную Веру Юрьевну, — гм! — черный жакет, светлая мягкая юбка, обувь без каблуков... Просто, дорого, шикарно, никакого желания нравиться, — равнодушное лицо, в нем все обдуманно, все законченно... Гм!.. Самый высокий продукт цивилизации, международная хищница, парижская штучка...

— Девочки, а — зима!.. Мы и забыли ее... Снега, стужа, вьюга... Куплю дом непременно, только еще дальше на севере, — всю зиму буду одна, одна совершенно...

Лили — с усмешкой:

— А помнишь, меня ругала за домик в Таганроге? Сама-то, видно, — тоже...

— Нет, Лилька, нет... Домик в Таганроге с офицериком — свинство. Я об одиночестве говорю... Меня так и найдут в этом домике, — раскопают занесенную дверь, в разбитое окно нанесло снегу, я — на постели, седая, высохшая и руками вот так — зажаты глаза, чтобы мне, мертвой, никто не смел глядеть в глаза...

Мари, тоже стоявшая у борта, присвистнула:

— С хорошеньким настроением едешь на работу!..

Кисло усмехаясь, Вера Юрьевна ответила:

— Всякий бесится по-своему, милая моя шансонетка. Для тебя высшее счастье — пожарские котлеты. Ну, а я еще должна все обиды припомнить...

— Батюшки, как страшно! — лениво сказала Мари.

Лили придвинулась, глядела в глаза Вере Юрьевне:

— Верочка, не надо...

Молочно-румяный швед, стоявший позади дам (руки в карманах, сигара в углу рта, полный подбородок удовлетворенно уперт

в прахмальный воротничок), не понимал по-русски и до крайности странный разговор трех элегантных дам принял за восхищение северной природой. Вынув сигару, попробовал вмешаться:

— Пardon, смею обратить ваше внимание, — Стокгольм сейчас склонен островом Бекхольм. — Он указал сигарой на кирпичные постройки и решетчатые краны эллинга, показавшиеся с правого порта; вдали, налево, стояли грузовые пароходы у высокой каменной стены, где курилась дымом многоэтажная мельница. — За войну город очень разбогател. Шведы неплохо поступили, что не вмешались в войну. Нас много ругали (засмеялся), но кому-нибудь надо же было торговать, и мы принесли обеим сторонам много пользы, торгуя с теми и с этими. Теперь вы не узнаете Стокгольма, — это маленький Берлин. Правда, после Версальского мира оживление несколько уменьшилось, но мы надеемся, что кризис временный. Во всяком случае, здесь можно весело провести денек... (Пароход повертывал.) А вот и город. Вы видите старую часть — Стаден. В древности город располагался на этом острове, сейчас выросся направо и налево. Самые шикарные кварталы на тех холмах — лучшие магазины, театры, кафе и вокзал. А еще дальше на север — чудные загородные места: озера, красивые виллы и замки. За время войны мы много строились.

Пароход приближался к лиловато-серым очертаниям города. За ним — холмы, облака. Тыкая сигарой, швед называл знаменитые здания — дворец, собор, отели.

— Если захотите быть ближе к нашей природе, могу посоветовать прелестный уголок в тридцати километрах по железной дороге, — Баль Станэс на озере Несвинен.

— Как вы сказали? — резко обернулась к нему Вера Юрьевна. — Баль Станэс?..

Швед, несколько изумленный порывистым движением, нагнул по-бараньи голову:

— Да, мадам, вы не пожалеете. Там можно отдохнуть.

Пароход загудел и стал поворачивать к стенке набережной. В пролетах между дощатыми пакгаузами стояли черные такси. За ними двигались чистенькие трамваи. Дальше — груды тюков, бочки, ящиков, черепичные крыши и старинные фасады домиков, живописки портовых кабаков, узкие переулки. У самого края стенки, на причальной тумбе, сидел, улыбаясь, носатый Хаджет Лаше, в белой черкеске и мерлушковой шапке. Увидев его, Вера Юрьевна положила руку на горло, отвернулась.

31

В зале ресторана «Гранд-отеля» в обеденный час играл симфонический оркестр и выступали, — как всегда по воскресным дням, — сольные номера. Года два тому назад все это было обставлено гораздо богаче, европейских знаменитостей слушали здесь

ежедневно. Но после мира схлынули интендантские чиновники, поставщики, шпионы, контрразведчики, международные авантюристы, великолепные женщины с ассортиментом паспортов и коробочкой кокаина в золотой сумочке, нейтральные дипломаты и засекреченные дипломаты воюющих стран, — все, кто, не задуываясь, разменивал деньги и покупал все: оружие, товары, сталь и яды, человеческую подлость и острые удовольствия.

Теперь в будние дни в ресторане «Гранд-отеля» вместо вина подавали графины с холодной водой. Стокгольму грозило захоластье. С убытком для себя ресторатор устраивал воскресные концерты; их посещали даже почтенные семейства, поддерживавшие национальное предприятие.

Все столики были заняты. Сигарный дым пробирался сквозь лапчатые пальмы. Сегодня демонстрировалась американская новинка — джаз-банд с настоящими неграми. Трудно было привыкать к адской трескотне, вою сакофона, барабанам и тарелкам, взвизгам веселых людоедов. Мало того, что Америка сняла исподнюю рубашку со старого мира, — на могилах пятнадцати миллионов заставила плясать бешеный фокстрот... Ах, то ли дело убаюкивающий старый, мечтательный вальс!

— Слишком близко к оркестру сели.

— А вы говорите погромче.

— Погромче-то не хочется...

— Да бросьте ваши страхи... В Европе, чай. Что же водку не пьете?

У стены за небольшим столиком обедали двое русских: один — худощавый, холеный, с залысым лбом, с острой бородкой, другой — с воспаленным, несколько беспокойным лицом, с выпуклыми, влажными, жадными глазами. Худощавый мало ел, много пил. Его собеседник ел жадно, наваясь грудью на стол. Худощавый говорил ему:

— Напрасно, напрасно, Александр Борисович. Что же, и в Петрограде ни капли не пили?

— Да бросьте вы, слушайте... (Александр Борисович косился на соседей.) Вот тот, внушительный дядя, — кто такой?

— Полицейский, из отдела наблюдения над иностранцами. Мой приятель...

— Хорошенькое знакомство!

— Без этого здесь нельзя.

— Ну, а вон те, в смокингах?

— Двоих не знаю, третий, тот, кто вертит ложечкой в шампанском, — граф де Мерси, из французского посольства, недавно прибыл с таинственной миссией.

— А тот высокий старик? Русский помещик какой-нибудь?

— Эка! Поважнее короля — сам Нобель.

— А за тем столиком? Что-то уж очень они поглядывают на нас.

— Русские. Лысый, смуглый, маленький — Извольский, во всяком случае, живет здесь под этой фамилией. Тот, кто смеется, — рыжебородый, — концертмейстер Мариинского театра Анжелини, он же Эттингер почему-то. Чем занимается, черт его знает, но деньги есть, он угощает. А третий, верзила — Биттенбиндер, тоже — сволочь.

— А та компания за большим столом — красивые женщины?

— В гостинице со вчерашнего дня. Их уже заметили. С лиловыми волосами, по-видимому, жена Хаджет Лаше.

— Какого Хаджет Лаше? Того — в черкеске? Так я же его знаю, встречались в прошлом году в Петербурге. Он печатал свою книжку, интереснейшие записки — разоблачение застенков Абдул-Гамида. пытки, убийства, кошмары в турецком вкусе, здорово написано. Что он здесь делает?

— Живет за городом в Баль Станэсе. Рантье, как мы все. Любопытный парень.

Негры положили инструменты и ушли с эстрады. Танцующие вернулись к столикам. В зале — сдержанный гул голосов, хлопают пробки от шампанского. Худощавый закуривает, щурится удовлетворенно, бровями подзывает лакея и, когда закуска убрана, наклоняется к собеседнику:

— Ну-с, какие же новости из Петрограда?

Как только смолкла музыка, Хаджет Лаше указал Леванту:

— Видишь того — с выпученными глазами, — это Леви Левицкий, журналист, пробрался через финскую границу курьером к Воровскому. Ловкий малый, — у него, мне известно, другое поручение, помимо бумажонок Воровскому... (На ухо.) Был близок к Распутину, Вырубовой и всем тем кругам. Вчера был в банке с Чмоданом, который там оставил, и, кроме того, внес на текущий счет какие-то суммы...

Левант равнодушно вертел деревянной мешалкой в бокале шампанского.

— А другой с ним — худощавый?

— Ардашев, тоже в сфере внимания... Во время войны успел перевести сюда не менее миллиона крон... В прошлом году приехал для закупки бумаги для Петрограда, — бумагу купил, но остался. (С русской колонией не встречается.)

— Трудновато, — сказал Левант, — без обличающих документов не советую, — французы щепетильны...

— Будь покоен... А вон, смотри, в самом углу сидит один. Тут уж дело чистое, — курьер Воровского, Варфоломеев, матрос с бронюса «Потемкин». (Левант недоуменно взглянул.) Очень доверенное лицо. Много знает... (на ухо) о царских бриллиантах...

Негры, показывая белые зубы, появились на эстраде. К Вере Юрьевне подошел давешний молочно-румяный швед. С первым тактом джаз-банда она положила голую руку на его плечо и пошла легким шагом, бесстрастная и равнодушная, — новая Афродита, рожденная из трупной пены войны, — волнуя прозрачно-пустым

взглядом из-под нагримированных ресниц, не женскими движениями, всем доступная и никому не отдававшаяся. Глаза всего ресторана следили за ней.

Леви Левицкий, вытирая салфеткой вспотевший лоб, сказал Ардашеву:

— Слушайте, с ума сойти! Кто она?

— Соотечественница, разве не видишь?

— Будьте другом — познакомьте.

— Не очень бы советовал знакомиться с здешними русскими... Это не прошлогодние паникеры-беженцы... Их тут сорганизовали.

— А, бросьте... Я — нейтральный. (В глазах его появилось страдание.) Ах, женщина!.. Послушайте, это же — сон, сказка!..

32

Граф де Мерси, держа за уголок визитную карточку, на которой было отпечатано: «Хаджет Лаше. Полковник. Шеф-редактор», вошел в маленькую приемную, затворил дверь в соседнюю комнату, где стучала машинистка, изящно-холодно поклонился Хаджет Лаше и указал на стул у круглого дубового стола, заваленного газетами и журналами. Когда посетитель сел, граф де Мерси тоже сел, положив ногу на ногу, вопросительно подняв брови, — длиннолицый, с тяжелыми веками, с большим носом, с висячими усами и скудноволосям пробором через всю голову, — аристократ с головы до ног, прямой потомок крестоносцев. Хаджет Лаше (в черной визитке, в черных перчатках) сказал с осторожной задушевностью:

— Граф, я бы хотел поставить вас в известность о том, что моя деятельность в Стокгольме проходит в полном согласии со взглядами полковника Пети.

Де Мерси слегка поклонился:

— Я в вашем распоряжении.

— Граф, вам известно, что в Стокгольме сосредоточены все нити заграничной агентуры большевиков.

— Если не считать Константинополя.

— О нет, здесь гораздо серьезнее. Газета «Скандинавский листок» — плохо прикрытый большевистский орган.

— Вот как?

Хаджет Лаше знающе улыбнулся, давая понять, что «вот как» относит к дипломатической скрытности, но отнюдь не к плохой осведомленности графа.

— «Скандинавский листок» издается на средства здешней группы сочувствующих. Москва не дает им дотации. Поэтому не исключена возможность перекупить у них газету. Ваше мнение, граф?

— Гм... целесообразно. — Граф де Мерси сосредоточенно взглянул на свои длинные ногти. — Но это, мне кажется, должно исходить от частных лиц.

— Успех будет зависеть от суммы, которую можно предложить. Нужно располагать ста, полтора ста тысячами франков... Хотелось бы иметь гарантию, что затраты, которые произведут эти частные лица... (Хаджет Лаше застыл в улыбке.)

— Думаю, ваше предложение не встретит принципиального отказа. Гм! Полтора ста тысяч? Может быть, вы посоветуете мне написать полковнику Петти?

— О, я просил бы об этом.

— Прекрасно... (Граф облегченно вздохнул.) Если мы не встретим с его стороны возражений, я гарантирую ваши затраты из моих сумм.

Он опустил брови, — шепетильная часть разговора была окончена. Но Хаджет Лаше упрямо поджал рот:

— Граф, это не все... Я бы хотел иметь гораздо более важное — моральные гарантии...

— Простите?

— Есть некоторые чрезвычайные директивы из ставки генерала Юденича. Я бы не хотел вас обременять подробностями неприятных поручений, не всегда совпадающих со взглядами европейского человека на добро и зло. Но не нужно забывать, что Россия под управлением большевиков отрешена от морали... В борьбе с красной опасностью приходится применять средства, несколько выходящие за пределы... — Граф де Мерси предупреждающе поднял брови, но Хаджет Лаше продолжал с напором: — О, никакой мысли — запутать ваше имя в события, которые могут развернуться. Я хочу лишь заручиться вашим согласием, — полковник Петти обещал мне это, — что в случае трений со шведской полицией... я и группа лиц, идейно работающая со мной, могли бы рассчитывать на юридическую помощь...

— Я понимаю, вы хотите в случае... (граф не подыскал слова) рассчитывать на защиту видного парижского адвоката?..

— Да, граф... Я бы назвал имя Жюль Рошфора, моего старого друга...

— О да, он берет не дешево... Хорошо, я вам обещаю это.

— Я удовлетворен, граф.

— О, пожалуйста...

Тут они поднялись, простились сильным, хорошим рукопожатием, и граф де Мерси проводил гостя до дверей:

— Всегда к вашим услугам, мой дорогой Хаджет Лаше.

Николай Петрович Ардашев в пестром халате, в сафьяновых туфлях, окончив завтрак, просматривал почту: неизбежные письма от русских беженцев... «Услышав о вашей отзывчивости, умоляю...», «Бежав с женой и ребенком от ужасов большевизма, умоляю...», «Вы меня не знаете, я — липецкий помещик, изгнан за

пределы родины... Меня выручили бы двадцать крон...», «Помогите... Волею судеб выброшен на мель, в среду черствых лавочников и торгашей, а в России эти же иностранные стрикулисты обивали мой порог, короче говоря, я — харьковский негоциант...», «...Николай Петрович, перед вами — отец многочисленного семейства: престарелая бабушка, пять малолетних детей и кровоточивая жена...» И так далее...

Николай Петрович внимательно (для собственной совести) прочитывал эти письма, сверху делал пометки карандашом — 50, 20, 10 крон. Приходилось покупать право на душевный комфорт. Эти люди лезли через границу, как клопы из ошпаренного тюфяка. Он помогал им потому, что любил вот такое светлое утро, озаряющее безмятежную опрятность всех уголков его жилища, прочное холостяцкое согласие с самим собой. Личного общения с беженцами он избегал (деньги передавались через секретаря), избегал также осевшей в Стокгольме русской колонии.

Одно из писем прочел два раза: «Многоуважаемый Николай Петрович, буду крайне признателен, если вы уделите мне несколько минут беседы по делу, которое может вас заинтересовать. Известный вам Хаджет Лаше». Ардашев ногтем почесал бородку: «Что-нибудь по поводу издательских дел. Лаше — занятный человек, но, наверное, опять политика...» Вспомнилась красавица, его дама, танцевавшая в «Гранд-отеле», с усмешкой прищурился на блестящий кофейник... «Да, от женщин и политики — подальше: это тоже плата за комфорт...»

Звонок. В прихожей знакомый голос. Ардашев бросил газету на пачку прочитанных писем, зажег погасшую сигару. Вошел Бистрем, двадцатипятилетний скандинав, шести футов ростом, добро-голубоглазый, в очках, с нежной кожей, сильной шеей и раздвоенным подбородком. Он недавно окончил университет и со всем прямолинейным пылом честного германца изучал исторические, социальные и экономические предпосылки русской революции. Состоял сотрудником «Скандинавского листка», был непрактичен и доверчив. Несколько раз пытался быть посланным в Москву в качестве корреспондента, но в редакциях его подняли на смех, вышла даже неприятность с полицией.

— Николай Петрович! — крикнул он по-русски, с акцентом (восторженный, румяный, свежий), — прочли сегодняшнюю газету? О, я вижу, вы не читали!.. — Схватил со стола газету и отчеркнул ногтем — «Ревель, от собственного корреспондента»... — Слушайте: «Кредитные знаки северо-западного правительства в России, печатающиеся, как известно, на Стокгольмском монетном дворе, на общую сумму один миллиард двести миллионов рублей, по точно проверенным сведениям, гарантированы к размену на золото английским государственным банком». Слушайте, Юденичу — капут!..

— Не понимаю, — сказал Ардашев, — что же тут такого? Деньги печатаются по заказу Юденича...

— Деньги печатаются под гарантийную телеграмму Колчака из Омска. (Бистрем вытащил из кармана пачку газетных вырезок, отмысал, прочел.) Это из ревельской «Свободы России». Вот... «Верный правитель адмирал Колчак приказал передать правительству Северо-западной области, что им будет оказано всемерное содействие для успешного завершения борьбы с большевизмом в Петроградском районе, что министру финансов омского правительства срочно указано перевести просимые главнокомандующим генералом Юденичем двести шестьдесят миллионов рублей золотом. Указанная сумма поступает в Лондонский банк в английской валюте и гарантирует выпускаемые правительством Северо-западной России денежные знаки, которые являются всероссийскими денежными знаками и обеспечиваются, кроме указанной суммы, всемогуществом государства Российского». Под этот блеф Юденич и выпускает миллиард двести миллионов для разгрома Петрограда.

— Почему блеф? Разве Колчак не перевел денег?

— Колчак перевел в Лондон только пять миллионов золотом... У меня вернейшие сведения... Понимаете, что получится после секундной заметки? Англичане вынуждены будут официально и немедленно ее опровергнуть, — иначе адский скандал в палате. Они скажут, что не гарантировали и никогда не намерены гарантировать авантюру. О пяти миллионах они тоже не скажут ни слова, и юденические кредитки будут продаваться на вес... Кто дал эту заметку? Гениальнейший ход!.. Чья здесь рука?.. Или это Мокша... Или это спекуляция на валюте, — тогда это — Митька Рубинштейн. По пути к вам забежал в «Гранд-отель», — внизу, в баре, шумят журналисты, дьявольский крик. Уверены, что заметку дал я... Представляете, как меня приняли?

Он повалился на стул, потянул скатерть, толкнул стол, расплескал молоко и закатился радостным смехом, — румяный, белозубый, отражающий стеклами очков утреннее солнце. Ардашев налил ему кофе, намазал бутерброды. Бистрем с воодушевлением стал есть.

— Большевики играют на противоречиях... В этом их основной расчет... Диалектика на фактах! Великолепно!.. Представляете, — шпиряды-головоломки: Ревель, Рига и Гельсингфорс добиваются самостоятельной буржуазной республики. Поэтому они против большевиков. Значит, им нужно помогать белым. Но белые страшны, — Колчак в Омске, Юденич в Ревеле и Сазонов в Политическом помещении в Париже угрюмо не желают гарантировать независимость Эстонии, Латвии и Финляндии. Французы тоже против независимости, — им нужна неразделенная, сильная Россия — угроза Германии. Но англичане за раздел России и за независимость Риги, Ревеля и Гельсингфорса; но англичане боятся немецкого влияния в Балтике, поэтому намерены захватить остров Эзель для морской базы; но рабочая партия в палате против вмешательства в русские дела, — у англичан связаны руки... Германия против самостоятельности Риги, Ревеля и Гельсингфорса, потому что

тогда здесь будет база Антанты, но Германия парализована Версальским миром. Синтез: большевики, сталкивая лбами все эти противоречия, выигрывают игру... Простите, я, кажется, съел весь хлеб.

Ардашев сказал, глядя в окно:

— В прошлом году я уезжал из Петрограда, там было очень скверно. Не представляю, как они еще могут держаться.

— В Петрограде осталось всего около семисот тысяч жителей, остальные разбежались или вымерли. От голода умирает каждый двенадцатый человек... — У Бистрема расширились глаза. — Топлива нет. Город не освещается. На улицах лошадиная падаль, объеденная людьми... Я добыл эти сведения через контрразведку, подпоил одного пропадающего человека. Из двухсот шестидесяти заводов работает только полсотни. Целые кварталы пустых домов с выбитыми окнами, заколоченные досками магазины. Не видно прохожих, не ходят трамваи. Город разбит на боевые участки. Власть предоставлена Комитету обороны. На заводах и по районам управляют тройки. В домах — комитеты бедноты. Все рабочие призваны к оружию. Особые отряды рабочих обыскивают город, ища оружие и съестные припасы. Над всей жизнью — идея: победить или умереть. Голод, лишения и суровость стали величием. О!.. Трагический Петроград!.. И он победит!

— Дорогой друг, все это романтично издали, — негромко сказал Ардашев. — Ну, хорошо, предположим, они победят Юденича, они победят еще десять Юденичей. Но террор когда-нибудь кончится, и нужно будет восстанавливать обыкновенную жизнь, и вот тут-то на смену романтизму придут будни вместе с богатеньким буржуем. Одними идеями не возродишь города, и придется кланяться. Европа богата в переизбытке продукции и в поисках новых рынков. Россия — нищая, разоренная, но — широчайший рынок, которого хватит на всех. Не пройдет и года — высокий уровень перельется в низкий, Европа — в Россию, и мечтам — конец. Мне кажется, так именно и думают англичане, самые реальные из политиков.

Бистрем весь сморщился, слушая. Поднялся, заходил, потирая подбородок. Поднял палец:

— Вы упускаете: власть над политикой и экономикой в России взял рабочий класс. Этого еще не бывало в истории. Тут должны быть вскрыты новые источники творчества, новые органы политической и экономической структуры... Конечно, можно возразить: рабочий класс в России еще не готов... Не знаю... Может быть, к таким штукам совсем и не нужно готовиться... Даже и лучше неготовыми-то? А? Русские — талантливы, русские — чудовищно неожиданный народ... (Кукушка на стенных часах, выскочив из дверцы, бодренько прокуковала одиннадцать. Бистрем спохватился.) Опаздываю безумно! Надо бежать...

Задержав его руку, Ардашев спросил:

— Вы хорошо знаете такого — Хаджет Лаше?

- Темный человек.
- А какие данные?
- Черт его знает, — никаких... Если нужно — добуду.
- Что он тут делает?

— Очевидно, как большинство иностранцев в Стокгольме, — инквисти на армию, продовольствие для Петрограда, спекуляция на фондах... Пойдите, пойдите... (Бистрем отложил шляпу.) Его компаньон, вот тот, что приехал с дамами из Парижа, вчера давал интервью... Какая-то у них афера с нефтью с Детердингом... Корреспонденты чрезвычайно заинтересовались, особенно американцы. Говорят, эта афера должна отразиться на международных отношениях... Хорошо. Я все узнаю подробно.

Он распахнул дверь и столкнулся с Хаджет Лаше.

— Простите, я стучал, но вы горячо разговаривали, — Хаджет Лаше церемонно поклонился Ардашеву, дружески кивнул Бистрему и сел, не снимая перчаток, поставил трость между колен. — Я вам писал, Николай Петрович, этим объясняется мое вторжение... — С улыбкой — Бистрему: — Вы собирались уходить, но вижу, намерены спросить меня о чем-то?

— Несколько слов о нефти... — Бистрем присел у двери, положив шляпу на одно колено, на другое — блокнот.

— Простите, принципиально не даю интервью никому никогда. Не обижайтесь, Бистрем, я дам вам заработать на чем-нибудь другом... (Огромные башмаки Бистрема на вошеном полу и отблескивающие очки его застыли настороженно.) Если обещаете не упоминать моего имени, приезжайте ко мне, я вам наболтаю крон на пятьдесят всякой чепухи... (Засмеялся и — Ардашеву.) Нефтью я интересуюсь, как прошлогодним снегом. Но со вчерашнего дня, видимо спутав меня с моим другом, Левантом, журналисты оборвали мой телефон: бакинская нефть, «Стандарт Ойл» и Детердинг, Деникин и большевики... Господа, я только романист, я страшно виноват, что пишу плохие романы, но позвольте мне быть чудиком и спрашивайте о нефти у моей квартирной хозяйки.

Поднявшись, кашлянув, Бистрем проговорил глухо:

— Благодарю вас!.. — И, не прощаясь, вышел.

— Так живешь себе врагов. — Хаджет Лаше сделал безнадежный жест рукой в перчатке. — Бистрем неплохой малый, но когда-нибудь я же вправе обидеться, — журналисты упорно говорят со мной о чем угодно, только не о моих книгах. (Он засмеялся, показав сильную белую линию зубов.) Я к вам вот с каким предложением, Николай Петрович... У группы лиц возникла мысль купить «Скандинавский листок»... Вы бы не вошли в компанию?.. (Ардашев отложил сигару и насторожился.) Дело ведется плохо, денег у них нет, а хорошая, культурная русская газета ох как нужна... Перед иностранцами стыдно за «Скандинавский листок», — газета, надо признаться, определенно пованивает... Вы согласны со мной? (Ардашев быстро подумал: «Что за черт, дурак или провокатор?») Я немножко патриот. К тому же честолюбие,

неудовлетворенное честолюбие, Николай Петрович. Ночи не сплю, — засело гвоздем, так и чудится: нижний фельетон Хаджет Лаше, — глава из романа, продолжение следует... Кстати, прошу принять мой последний труд. (Он вынул из кармана книжечку на серой скверной бумаге.) Отпечатано в Петрограде, в прошлом году. О ней хотел писать Амфитеатров, но было уже негде... Полюбопытствуйте... Я хорошо знаю Турцию, — здесь все на основании подлинных фактов... (Он положил книгу на край стола.) Подумайте над моим предложением, Николай Петрович. В городе нехорошо говорят про газету... А это больно. Говорят — там всем заворачивает какой-то инкогнито, будто бы на издание разменял несколько царских бриллиантов, за какие-то гроши загнал евреев в Гамбург: чуть ли не шапку Мономаха... Вы не слышали? Нет?.. Наверно, сплетни журналистов... Даже и ваше имя приплели.

Не то почудилось, не то на самом деле — издательское торжество просквозило вдруг в добродушных, даже глуповатых глазах гостя. Ардашев похолодел от омерзения и сделал непоправимую ошибку... Начав смахивать в кучку невидимые крошки на скатерти, сказал глуховатым голосом:

— Простите, не понимаю цели нашего разговора... Вы, видимо, плохо осведомлены: я — один из соиздателей «Скандинавского листка»... Чрезвычайно благодарен вам за критику, но оставляю за собой свободу ею воспользоваться. (Все больше сердясь.) Газета наша левая, хотите считать ее большевистской — считайте, желаете верить в царские бриллианты и шапку Мономаха — сделайте ваше одолжение, — разуверить не могу, да и нет охоты опровергать всякие пошлости... (Не на крошки на скатерти надо было ему глядеть, а на гостя в эту минуту.) На этом, думаю, можем исчерпать нашу беседу.

Теперь — встать и ледяным кивком ликвидировать неприятного гостя... Проклятая интеллигентская мягкотелость! — Ардашев не мог поднять глаз, чувствуя, что, кажется, пересолил и нагрубил. А может быть, гость просто неудачно выразился и сам, наверно, смущен до крайности?

Гость молчал. Угнетающе не шевелился на стуле. Ардашеву видны были только острые носки его лакированных туфель — на правый носок села муха. Хаджет Лаше проговорил тихо:

— Вы меня не изволили понять, Николай Петрович... Если я и выразился резко о «Скандинавском листке», то не за левизну. Идя сюда, я чувствовал себя связанным, это правда. Вы открываете карты, — тем лучше, я могу говорить искренне. Мы единомышленники, Николай Петрович... (Ардашев поднял глаза, — Хаджет Лаше, округло разводя руками, говорил с подкупающим добродушием.) Возьмите Анатоля Франса. Открыто объявил себя большевиком. А как же иначе должен смотреть подлинный культурный европеец на акты величественной трагедии, которые развертывает перед ним русская революция? На вилле «Саид» я застал Анатоля Франса у камина в беседе с Шарлем Раппопортом. Первое, что

приехал Франс: «Друг мой, вы видели Ленина?» Я ответил: «Да...» Франс указал мне место у камина: «У этого огня сегодня беседуют только о героических событиях». Короче говоря, Николай Петрович, мой резкий отзыв вызван вот чем: в «Скандинавском листке» помещена заметка об английской гарантии юденических денег. Теперь я верю, это простой промах редакции, — заметка желтая и помещена Митькой Рубинштейном. Вы знаете, что он играет на понижении курсов?

Все еще сердясь, Ардашев ответил глухим голосом:

— От кого бы она ни исходила, заметка полезная... Пускай Рубинштейн спекулирует, тем лучше: Юденич натворит меньше зла с дутой валютой.

— Bravo!.. Это по-большевистски... Так газета намерена валить юденические деньги? Это смело. Я аплодирую. Я все-таки не осужаю мысли стать ближе к газете. Хотелось бы застраховать газету от случайностей гражданской войны... Представьте, падет Петроград? Подумайте над моим предложением. Я располагаю ста пятьюдесятью тысячами франков, — это реальнее, чем шапка Мономаха. Правда?

— Из этого ничего не выйдет, Хаджет Лаше. Газета издается на деньги частных лиц, но распоряжается ею редакционный совет.

— Они меня должны знать.

— Кто они?

— Редакционный совет.

Ардашев подумал, поджав губы.

— Простите, Хаджет Лаше, я не могу раскрыть конспирации и даю честное слово, что и сам очень слабо посвящен в эти тайны...

— Ну, на нет и суда нет...

Хаджет Лаше поднялся, взял шляпу, взглянул исподлобья и потер нос набалдашником палки.

— Еще просьба, Николай Петрович. Ко мне в Баль Станэс прислал интимнейший друг, княгиня Чувашева. У нее идея создать миленький культурный центр. Мы бы очень просили — не отказать пожаловать.

Ардашев поблагодарил, — отказать было совсем уж неудобно. Проводил гостя до прихожей. Там Хаджет Лаше начал восхищаться цветными гравюрами. Заговорил о гравюрах, о книгах. Ардашев не утерпел, пригласил гостя в кабинет — похвастаться инкунабулами¹: двенадцать, великолепной сохранности, инкунабул он вывез из Петрограда.

— Ну, как вы думаете, сколько я за них заплатил?

— Право, — теряюсь...

— Ну, примерно?.. Даю честное слово: две пары брюк, байковую куртку и фунт ситнику... (Ардашев самодовольно засмеялся высоким хохотком.) Приносит солдат в мешке книжки... Я — через левую цепочку: «Не надо». — «Возьми, пожалуйста, гражданин

¹ Инкунабула — первопечатная книга XV столетия.

буржуй, — третий день не жрамши». И лицо действительно голодное... «Где украл?» — спрашиваю. «Ей-богу, нашел в пустом доме на чердаке...» И просовывает в дверную щель вот эту книжку, — в глазах потемнело: 1451 год... В Париже, только что, на аукционе инкунабула куда худшей сохранности прошла за тридцать пять тысяч франков.

— Ай-ай, — повторил Хаджет Лаше. — Какие сокровища!

Ардашев выбрал из связки ключей на брючной цепочке бронзовый ключик и, отомкнув бюро, выдвинул средний ящик:

— Вы, вижу, знаток... — Он вытащил большую серую папку и, ломая ноготь, развязывал завязку.

Хаджет Лаше, стоявший за его спиной, сказал медленно:

— Вы не боитесь хранить дома ценности?

— Никогда ничего не сдаю в сейф. Вы что — смотрите, где запрятана у меня шапка Мономаха?

Хаджет Лаше, не отвечая, пристально, неподвижно глядел ему в глаза... Когда лицо его задвигалось, Ардашев понял, в чем странность этого лица: живая маска! Будто другое, настоящее лицо движением бровей, всех мускулов силится освободиться от нее... И, поняв, он почувствовал даже расположение к этому странному, некрасивому и, кажется, умному и утонченному человеку. Крутя цепочкой, наклонился вместе с гостем над раскрытой папкой. Хаджет Лаше взял один из цветных гравированных листов, поднял высоко, повертел и так и этак:

— Могу вас поздравить, Николай Петрович. Это подлинный, чрезвычайно редкостный Ренар, — чудная сохранность. Сколько заплатили?

— Пять стаканов манной крупы.

— Анекдот!.. В коллекции лорда Биконсфильда имеется второй экземпляр этой гравюры. Третьего в природе не существует. Антикварам было известно, что этот лист где-то в России, но его считали пропавшим. Гравюра стоит не меньше двух с половиной тысяч фунтов.

Ардашев был в полном восхищении от гостя. Уходя, Хаджет Лаше повторил приглашение в Баль Станэс.

34

Дом в Баль Станэсе одиноко стоял на травянистой лужайке, на берегу озера. Кругом на холмах расцветивался осенней желтизной березовый лес, мрачными конусами поднимались ели. Дом был бревенчатый, с огромной, высокой черепичной кровлей, с мелкими стеклами в длинных окнах, с углами, увитыми диким виноградом. От города всего двадцать минут на автомобиле, но — глушь, безлюдье.

Хаджет Лаше жил здесь один в нижнем этаже, в комнате с отдельным выходом, — окнами на просеку, где проходила шоссе-

ная дорога. Приехавших поразила пустыньность и запущенность дома. Прислуги не оказалось — ни горничной, ни кухарки, ни дворника. Повсюду — непроветренный запах сигар и мышьеины. На портьерах, на мебели — пыль, в каминах — кучи мусора, окурков, пустых бутылок.

Когда чемоданы были внесены и автомобили уехали, Лили присела на подоконник и горько заплакала. Вера Юрьевна, — кулаки в карманах жакета, — ходила из комнаты в комнату.

— Послушайте, Хаджет Лаше, неужели вы предполагаете, что мы станем жить в этом сарае? Для какого черта вам понадобилось привезти нас сюда?

— Поговорим, — сказал Хаджет Лаше и сел на пыльный реиновый диван. — Присядьте, дорогая.

Вера Юрьевна двинула бровями и, не вынимая рук из карманов, усительно села рядом. Здесь, во втором этаже, был так называемый музыкальный салон, — с окном на озеро; стены и потолки отделаны лакированной сосной; кирпичный очаг с маской Бетховена; рояль; на стенах — криво висящие картины северных художников.

— Поговорим, Вера Юрьевна... Вам нечего объяснять, что привезены вы сюда не для развлечений. Дом этот снят также не для безмятежного занятия летним и зимним спортом. После константинопольских походов вы достаточно отдохнули в Севре, здесь вы будете работать.

— Знаете что, Хаджет Лаше, чтобы животное хорошо работало, на нем нужно хорошо ухаживать и держать в чистоте... Так что с самого начала я ставлю требование...

— Требование?... — угрожающе переспросил Хаджет Лаше и насмешливыми глазами внимательно осмотрел Веру Юрьевну, будто измеряя опасные возможности этой темной души. — Так, так... Чтобы требовать — нужна сила... Сомневаюсь — есть ли у вас что-либо, кроме нахальства.

Вера Юрьевна подумала и — с изящной улыбкой:

— Кроме нахальства — прочная ненависть и зрелое желание мстить.

Хаджет Лаше безгласно поморщился.

— Мало... И — не страшно...

— Как сказать... Во всяком случае, у меня достаточно безразличия ко всему дальнейшему, вплоть до тюрьмы и веревки.

— Угрожаете?

— Да. Определенно угрожаю.

— Стало быть, предлагаете мне быть осторожным?

— Очень...

— Не пощадите себя, если довести вас до аффекта?

— До аффекта!.. Ой! Ой!.. В ваших романах, что ли, так выражаются роковые женщины?.. (Добилась — у Лаше сузились глаза любовью.) Говоря нелитературно, — могу быть опасна, если меня довести до выбора: жить в вашей грязи или не жить совсем.

— Мысль формулирована четко.

— Дарю вам для записной книжечки.

Молчание... У него опущены глаза, кривая усмешка. У нее лицо, как у восковой куклы. В пыльное стекло уныло бьется большая муха.

— Курите, Вера Юрьевна?

— Да.

Он медленно полез в задний брючный карман и с этим движением поднял глаза, вдруг усмехнулся всеми зубами. Но у нее ничего не дрогнуло. Задержав руку в кармане, вынул плоскую золотую папиросницу, — предложил.

— Как видите, всего-навсего — портсигар.

— Да я и не сомневалась, что не револьвер.

— Ах, не сомневались?

Закурили... Вера Юрьевна положила ногу на ногу, — курила, упершись локтем в колено. Он поглядывал на нее искоса... Затынулся несколько раз.

— Вера Юрьевна...

— Да, слушаю.

— Во-первых, не верю в ваше безразличие, — вы женщина жадная и комфортабельная.

— Наконец-то догадались.

— Само собой, кроме этого, имеется психологическая надстройка.

— Вот тут-то вы и собьетесь, плохой романист.

— Признаю, вы нащупали у меня уязвимое место... Но ведь и мышь кусает за палец... Ну, хорошо, — вы требуете, чтобы жизнь в Баль Станэсе обставить пристойно... Завтра придут люди, выколотят пыль, дом приведем в относительный порядок, привезу из Стокгольма кухонную посуду, ночные горшки и так далее... Удовлетворены? Видите, в мелочах я уступаю... Но поговорим о крупном. (Он надвинул брови, изрытое лицо потемнело.) Когда вы были в Петрограде княгиней Чувашевой, сидели в особняке на Сергиевской, кушали торты и ананасы... (Вера Юрьевна засмеялась, он сопнул, раздул ноздри.) Ананасы и торты... Тогда можно было поверить в ваши роковые страсти и даже отступить, скажем, такому пугливому человеку, как я... А сейчас... Уж простите за натурализм, — как поперли вас из особняка в одной рубашонке, как пошли вы бродить по матросским притонам: оказались вы, утонченная-то, с психологической надстройкой, хуже самой распоследней стервы...

— Здорово запущено! — громко, весело сказала Вера Юрьевна.

— Понимаю, — числите за собой в психологическом активе константинопольский случай... (Вера Юрьевна подняла брови, розовым ногтем мизинца сбросила пепел с папиросы.) Вот вы и сами сознаете, что константинопольский случай произошел, так сказать, с разбегу, от неразвешанных иллюзий. Теперь-то вы его уже не повторите...

— Да! — сказала она твердо. — Того не повторить... Я была на тысячу лет моложе. Знаете, Хаджет Лаше, — искренне, — и люблю себя той константинопольской проституткой... В последнем счете — не все ли равно: сумасшедшее страдание или сумасшедшее счастье... Мы любим только наши страсти. Женщины любят боль. А ужасает — мертвое сердце. Если перед казнью мне обещают минуту чудного волнения, днем и ночью буду думать об этой минуте и, конечно, предпочту ее всей жизни. Вот так, писатель...

Лицо ее порозовело, голос вздрагивал. Но так же — острый докоть на колене, лишь вся подалась вперед с каким-то увлечением. Хаджет Лаше посматривал, — любопытная баба! Действительно — не узнать ее после Константинополя, когда, полоумную, страшную, неистовую, он спас ее от полиции и передал на руки Леванту. С тех пор впервые разговаривали «по душам». Казалось, что он сейчас же покончит с ее строптивостью, но баба была сложнее, чем он ждал. Хотя — тем полезнее для дела, лишь бы обуздать. Он следил с осторожностью за ходом ее мысли.

— С психологической надстройкой вы, по-моему, просыпались, Хаджет Лаше... Людей, просто, по-собачьему ползущих за куском хлеба, в природе нет, мой дорогой... Подползет к вашим лакированным туфлям такой сложный мир страстей, такая задавленная ненависть, — понять — задохнетесь от ужаса... Делаете крупнейшую ошибку: профессиональному аферисту, как вы, надо прежде всего быть психологом. Тем более при вашей двойной профессии. (Кивнула ему дружеской гримаской.) Так вот, в особняке на Сергиевской я была нераскрытым бутоном. Безделье, роскошь, покой, не страсти, а щекотка, и — дымка иллюзий... А психологическая надстройка появилась уже после Константинополя... И от этого груза с удовольствием бы освободилась. Кстати, для чего вам тогда понадобилось вытащить меня из притона, спасти от полиции? Искали, что ли, подходящий товар?

— Отчасти искал подходящий товар, отчасти — вдохновение: глаза ваши понравились.

— Глаза, — задумчиво повторила Вера Юрьевна, — да, глаза... Я многого не могу припомнить... В памяти провалы... Точно и минутами слепла...

— Всегда так бывает — в первый раз. Откуда у вас тогда завелся нож?

— Подарил один матрос... От ножа все тогда и пошло... Ах, какая глупость! (Прямая спина ее вздрогнула.)

— Теперь вооружены лучше?

— О, будьте покойны.

— Как же все-таки это случилось, почему именно этого грека? Ограбить, что ли, хотели?

— Не знаю... Нет... просто оказался противнее других... чего-то все добивался, какой-то последней мерзости... Должно быть, за

многословие, за жестикуляцию, за какую-то вонь бараньим салом... Когда заснул, понимаете, как счастливый баранчик, — меня и толкнуло...

— Как баранчика, от уха до уха!.. (Она опустила голову, уронила руку с колена.) Еще деталь, Вера Юрьевна, — наверное, не помните: вы это сделали и начали пятиться и все время будто совали озябшие руки в несуществующие карманчики, а были-то совершенно голая. (Стремительным движением Вера Юрьевна поднялась, отошла к окну.) Я за стеной по звукам понял, что — веселенькое дело... Приподнял ковер, гляжу, потом и совсем вошел и — поразило: глаза! Да, жалко, я не живописец... Помните, как я вам приказал одеться?.. Между прочим, под именем Розы Гершельман вас и сейчас разыскивает полиция...

Вера Юрьевна неподвижно стояла в окне, — вытянутая, тонкая, с широкими плечами... Только по движению юбки Хаджет Лаше понял, что у нее дрожат ноги.

— Хотя в ту пору у меня определенных планов не было, но вы сами уже были план, дорогой случай. Кровно связаться с человеком — дело сложное, — большие деньги дают за такого сотрудника... Теперь, когда планы созрели, согласитесь — глупо нам не договориться. Признаю — начало было не тонкое. Ну, хорошо, вы поставили свои условия, я поставлю свои. Но уже идти в дело слепо и без психологии. Ладно? А? Ножки-то дрожат? Ай-ай! Мне один военный рассказывал: бреется он однажды утром, на фронте, а солдатишки приводят еврея, шпиона поймали... Ну, велел повесить, а сам бреет другую щеку, глядит в окно, — еврей висит, в котелке, ноги длинющие... История будничная?.. Так нет, — прошло сколько уже времени... Только он — бриться, — висит еврей, а такое уныние, ничем не отвязаться от этой памяти... А совсем как будто заурядный человек...

Вера Юрьевна вернулась на диван, взяла из портсигара папироску.

— Пример неудачный... Против себя рассказали... (Зажгла спичку.) Связь кровью — пошлейшая бульварщина... Константинопольские воспоминания взволновали меня, но — запомните! — в последний раз... А вы, Хаджет Лаше... (закурила) просто не импонируете мне ни как мужчина, ни как собеседник. Очевидно, вы не имели дела с интересными женщинами... Но это не важно... Мои требования: комфорт, свобода бесконтрольная и никакого общения между нами, кроме делового... Я — верна, я — хороший товарищ, если сказала — да, то — да... Излагайте ваши требования...

— Вера Юрьевна, во-первых, то, что скажу, — тайна, даже от Леванта.

— Хорошо.

Хаджет Лаше прислушался к голосам внизу и, пройдя на цыпочках через комнату, закрыл дверь...

Мари, Лили и Налымов продолжали сидеть внизу, в столовой, среди нераскрытых чемоданов. Здесь было то же запустение. Закрытые мухами окна, паутина. На непокрытом столе — грязные стаканы, пустые бутылки, остатки еды на бумажках. Наверху неслышно гудел голос Хаджет Лаше... Тоска — хуже, чем на разбитом вокзале в ожидании эвакуации.

— Пять стульев у стола, пять рюмок, — похоже, здесь было деловое заседание, — сказал Налымов. — Чрезвычайное изобилие куржков. Дети мои, похоже, — здесь каза...

Лили опять всхлипнула. У Мари концы красивых бровей ползли вверх по вертикальной морщинке.

— Логично мы должны докатиться до бандитизма... Всякая идея, деточки, создает свою мораль. Священная собственность, честность, неприкосновенность личности — расстреляны пушками. Вуржуа, ограбленный вчистую, галдит о революции, Версальский мир узаконил массовый грабеж, сверхпроцентный, грандиозный, небоскрежный... Таскать бумажники в трамвае нехорошо только потому, что это не предусмотрено в Версале. Но если сразу вытащить семьдесят пять миллионов бумажников, по три тысячи долларов в каждом, то это уже не воровство, а репарации. Большие цифры — первый закон новой морали. В данном случае, я надеюсь, — наш друг Хаджет Лаше ставит дело широко, в контакте с версальской политикой, и в Баль Станэсе не станут пачкать совесть на мелочах.

Покуривая на чемодане, Налымов развивал разные философские теории. Его не слушали. Наконец голоса наверху затихли. Налымов оборвал на полуслове. Хлопнула дверь. Неверные шаги. Пошла Вера Юрьевна, устало села у стола.

— Лаше пошел вызывать по телефону машину. Поедет в поселок и привезет женщин — убирать дом. Ужин будет горячий...

Мари, взглядываясь в нее, спросила резко:

— О чем говорили? Почему у тебя физиономия перекошенная?

Не отвечая, Вера Юрьевна прикрыла ладонью глаза. Все трое глядели на ее слабую худую руку, туго охваченную у запястья морным рукавом. Лили всхлипнула, бросилась к Вере Юрьевне, схватила изо всей силы:

— Что случилось, что случилось?..

Вера Юрьевна подняла, опустила плечи. Сильно сжав глаза, отняла руку, сказала:

— Вот что, Василий Алексеевич, уезжайте-ка вы отсюда. Лежит на днях возвращается в Париж, — вы поезжайте с ним... (Вдруг сердито затрясла головой.) Не хочу вас здесь... Не хочу наших шуточек... Все шуточки!.. Ничего шуточками не прикрывать... Трусость! Пошлость!.. Пусть — ночь, пусть — мрак, пусть — ужас, пусть — трагедия... (Станным, не своим голосом.) Пусть ледяная ночь, безнадежность... К черту шуточки!..

Она опустила голову. Все глядели на Веру Юрьевну. У Лили начали стучать зубы от страха.

— Он будет говорить с вами, с каждой отдельно, — резко сказала Вера Юрьевна. — Можете вы понять, наконец, что у меня истерика!..

Она упала на стол — лицом в руки, схватила себя за волосы. Ступни ног повернулись носками внутрь. Лили осторожно отошла. Мари, чиркнув спичкой, не закурила, спичка догорела до ногтей. Налымов с усилием тащил пробку, не откупорив, поставил бутылку с коньяком, пошел на цыпочках на кухню, принес стакан воды:

— Отхлебни, Вера...

Она локтем отстранила стакан.

— Летим на дно водоворота... Тени какие-то ночные. Разве мы живем? Только вопль человеческий, а самого человека давно нет... Эмигранты, шелуха! Лаше мне сказал — мы здесь, чтобы бороться с большевиками террором. (Мари тихо свистнула.) Сказал — вам бы хотелось сидеть в Париже, ждать, когда союзники возьмут Петроград, и вернуться на готовое. Союзные державы предлагают самим русским идти в авангарде... Авангард: Лилька, Мари, Вася!.. Мы должны шпионить, провоцировать, заманивать, отравлять, душить — кого укажут... Говорил о великой белой идее!.. Железный авангард: три проститутки и спившийся кот... Но — не важно, — за нами стоят союзники, великие цивилизации... Для грязной работы посылают нас. Оказывается, — в первый же день приезда мы, три женщины, были включены в Лигу борьбы за восстановление Российской империи... Завтра даем клятву... Нарушение клятвы, выход из Лиги карается смертью... Василий Алексеевич, прошу тебя — уезжай сегодня же...

Серовато-мутными глазами Василий Алексеевич тускло глядел на Веру Юрьевну, стоял, опустив по-военному руки, очень серьезный, даже важный.

— Никак нет, в Лигу я не запишусь, Вера Юрьевна. Не по чему иному, как потому, что не желаю одним волоском пожертвовать для европейской цивилизации. С большевиками тоже бороться не стану, большевиков боюсь. Будет время, когда от них ни на какой остров не скроешься, и это будет скорее, чем думают. Но при всем том из Баль Станэса не уеду, Вера Юрьевна, никак нет...

36

— ...В сегодняшнем заседании, кроме членов Лиги, присутствуют уважаемые гости, а также кандидаты в Лигу... Разрешите огласить повестку дня. «Первое: принесение кандидатами торжественной присяги. Второе: оглашение письма генерала Сметанникови к стокгольмскому атташе Американских Соединенных Штатов. Третье: текущие дела и дальнейший план работы»...

Хаджет Лаше снял черепаховое пенсне и оглянул собрание. За расдвинутым обеденным столом, в квартире, занимаемой генерал-майором Гиссером, сидело семнадцать человек. Направо от председательствующего Лаше играл карандашом граф де Мерси. Налево сидел, как бы отсутствуя, маленький, сухой, остроносый американец — адъютант атташе США. Напротив блестел сальной лысиной генерал-майор Гиссер, с отечным животом и пыльной растительностью на лице. В восемнадцатом году военный комиссарит РСФСР почему-то поверил в офицерскую честь Гиссера и послал его военным агентом в Швецию; некоторое время он отсиживал из Стокгольма с курьером в Питер пачки газетных вырежек, покауда не удалось выписать к себе жену, дочь и сына; после того он счел свои моральные обязанности исчерпанными. Теперь — сильно нуждался в деньгах.

По сторонам сидели: рыжебородый Эттингер, рослый, со вздернутым носом, со шрамом через всю щеку — поручик Биттенбиндер и женственный, элегантный, с залысым лбом — лейтенант Извольский. На одном конце стола — у раскрытого окна — четверо рослых, молочно-румяных шведских офицеров; на другом — литчанин коммерсант Вольдемар Ларсен, Александр Левант и три дамы — Вера, Мари и Лили. Налымов — бочком на стуле поиди них.

— Господа, создатель Лиги и почетный ее председатель генерал Сметанников находится в настоящее время в России, где с опасностью для жизни производит работу по укомплектованию сил для борьбы изнутри. Мне поручено вести работу Лиги на периферии. Угодно вам считать меня заместителем председателя? (Голос Биттенбиндера: «Просим, просим!..» Несколько хлопков...) Благодарю за честь. Господа, предлагаю считать заседание открытым, приступим к принесению присяги.

Хаджет Лаше перегнулся через стол к Извольскому и указал глазами на угол комнаты. Там, на круглом столике, стоял закрытый крепом портрет в плюшевой рамке, убранный хвоей и живыми цветами. Извольский и поручик Биттенбиндер по-военному ловко вскочили, выдвинули столик с портретом на середину комнаты и лихо стали по сторонам на карауле.

Лаше, опять вздев пенсне, вынул листочек, строго через стекла взглянул на дам и предложил подойти к столику. Вера — хмуро, Лили — растерянно, Мари — снисходительно усмехаясь — поднялись и стали перед портретом. Члены Лиги также поднялись. Иностранцы перешепнулись и остались сидеть.

— Вступающие в священную Лигу борьбы за восстановление Российской империи: княгиня Вера Юрьевна Чувашева, Елизавета Николаевна Степанова, дочь зверски замученного генерал-майора Николая Александровича Степанова, и Марья Михайловна Лещенко, урожденная Скоропадская, повторяйте за мной слова присяги... Помните, что под этим траурным крепом — символ спасения и величия нашей родины... — Он поправил пенсне и стал читать по

бумажке раздельным, торжественным голосом: — «Я прочел и одобрил предложенный мне для подписи текст присяги. Я подписал ее, вполне сознавая всю ответственность за нарушение ее. Всею моею жизнью, всеми моими помышлениями, с радостью вступаю я в организованную по-военному группу и клянусь до последнего издыхания служить отечеству, не думая о вознаграждении или личных преимуществах. Если я вольно или невольно изменю святому делу, я тем самым себя осуждаю на смерть...»

Вера Юрьевна, Елизавета Николаевна и Марья Михайловна пробормотали вслед за Лаше слова присяги. Поручик Биттенбиндер, быстро наклонившись, приподнял конец креповой ленты:

— Целуйте, медам...

Клятва была принесена. Дамы вернулись к столу. Члены Лиги сели. Лаше с мягкой улыбкой — Налымову:

— Мы никого не принуждаем вступать в Лигу. Дело спасения родины — дело совести. Но позвольте еще раз повторить вам — патриоту, дворянину, офицеру императорской гвардии — наше горячее желание — видеть командира серебряной роты, подполковника Налымова, среди нас...

Вера Юрьевна за спинкой стула схватила руку Василия Алексеевича. Его красноватое, неопределенно улыбающееся лицо покивало председателю...

Хаджет Лаше нахмурился. Левант, торопливо подойдя, о чем-то зашептал ему на ухо. Генерал Гиссер и Биттенбиндер угрожающе поглядывали. Лаше кивком отпустил Леванта.

— Господа, подполковник Налымов наш друг. Его колебания не должны создавать впечатления недоверия к нему. Будем надеяться, что они скоро окончатся, и мы братски обнимем нового сочлена. Теперь позвольте огласить письмо генерала Сметанникова, подписанное также по передоверию мною, генералом Гиссером, лейтенантом Извольским и секретарем Стокгольмского отделения Лиги поручиком Биттенбиндером...

Он вынул из портфеля листы плотной бумаги, благоговейно развернул, поверх пенсне с придушенным вздохом взглянул на занавешенный трауром портрет и начал читать, переводя фразу за фразой по-французски — с поклоном в сторону графа де Мерси и по-английски — с поклоном в сторону адъютанта американского атташе:

— «Стокгольм. Господину атташе США. Милостивый государь, настоящее положение в России требует немедленной военной поддержки со стороны союзников против большевиков. Так как за последние месяцы некоторые газеты во Франции, Англии и Америке предприняли поход против вмешательства, то крайне необходимо документально осветить политический характер и незаконный образ действия большевиков. В высшей степени важно, чтобы мы могли представить общественному мнению вышеуказанных стран как можно больше документов, доказывающих злодеяния этих лжесоциалистов...»

Граф де Мерси и адъютант военного атташе США переглянулись. Лаше продолжал:

— «За последние месяцы Стокгольм был центром, в который возились все важные документы большевиков, а также крупные ценности: сто двадцать семь миллионов рублей русскими кредитными билетами, два миллиона американских долларов, двести тысяч английских фунтов и четыре миллиона франков. Нам совершенно известно, что в Стокгольм привезены из Петрограда личные драгоценности семьи Романовых — императорская корона, держава и скипетр, осыпанные бриллиантами мирового значения, шапка Мономаха, бриллиант «Граф Орлов» в четыреста каратов, несколько десятков пудов жемчуга и горностаевая мантия...»

Здесь Хаджет Лаше приостановился на секунду, чтобы впечатление от его сообщений глубже проникло в души присутствующих... Действительно, у членов Лиги светились глаза...

— «Упомянутые документы и ценности хранятся большевиками на трех частных квартирах в Стокгольме, местонахождение которых мы можем установить, — продолжал он. — Полковник Магомет бек Хаджет Лаше, который перенес от большевиков неслыханные нравственные и физические страдания и является человеком железной воли и энергии, предлагает достать все документы и ценности большевиков. Он готов принять на себя всю ответственность хотя бы перед публичным судом. Он имеет свою собственную организацию — Стокгольмское отделение Лиги — из храбрых и вполне надежных людей, с которыми предполагается посетить упомянутые помещения и изъять у большевиков все их средства подкупа и преступной пропаганды».

Четыре шведских офицера сдвинулись головами, перешепнулись. Граф де Мерси, собрав горизонтальными морщинами лоб, изглядывал кончик карандаша. Американец плотно поджал губы.

— «Большевистская пропаганда подкапывает социальный строй всего мира. Потеря на полмиллиарда ценностей и опубликование всех их документов явились бы для большевиков большим ударом, чем даже военная карательная экспедиция, и помогли бы всем странам избежать крупных затрат и пролития крови. Полковник Магомет бек Хаджет Лаше снесся по вышеуказанному делу со шведскими властями и получил заверение, что в отношении посещения квартир ему не следует опасаться каких-либо затруднений, но что Швеция, как нейтральная страна, сама не может принимать участия в осуществлении плана изъятия. Этот план Лига целиком берет на себя. При этом мы хотим совершенно ясно установить, что по изъятии документы должны попасть в руки американской миссии и от лица Америки, как мирового арбитра, обнародованы в соответствующих органах».

— Очень хорошо, — быстро сказал американец.

— «Что касается денег и ценностей, то мы хотим, чтобы они были употреблены на образование русской белой гвардии для не-

посредственных действий против большевиков. Все конфискованные деньги Лига, в полном сознании долга, внесет на текущий счет в любой из банков, какой укажут союзники».

— Разумно, — со сдержанным волнением проговорил генерал Гиссер.

— «Для исполнения нашего плана требуется двадцать пять тысяч крон для следующих надобностей: для найма квартир, прилегающих к вышеупомянутым помещениям; для найма дачи где-нибудь вне Стокгольма, куда свозились бы конфискованные деньги и документы; для найма автомобилей, покупки оружия, подкупа разных лиц и на слежку за большевиками. Мы берем на себя смелость обратиться непосредственно к вам, господин адъютант, в надежде, что вы окажете вышеизложенному полное внимание, ибо каждый день дорог и большевики могут покинуть Стокгольм и увезти документы и ценности».

— Следуют наши подписи, — сказал Хаджет Лаше, бросая пенсне на листки письма. — Итак, господа, мы выходим из подполья и начинаем действовать с открытым лицом. Нам нужна нравственная поддержка, нужны средства, нужна защита. Деятельность Лиги покрыта тайной для наших врагов. Перед союзниками мы не имеем тайн, притом уверены в скромности здесь присутствующих... Господа, вот краткий отчет деятельности Лиги за год... Мы получили от генерала Трепова семьдесят две тысячи крон, от принца Ольденбургского пятнадцать тысяч крон и триста тысяч думских рублей. Эти суммы целиком поступили в распоряжение генерала Сметанникова для внутренней подрывной работы в России. Далее: Лига организовала в Стокгольме бюро, куда вошли офицеры шведской королевской армии (поклон в сторону молочно-румяных шведов), задача бюро — формировать в Скандинавии и на побережье Балтики белые отряды для борьбы против Петрограда. Наконец, господа, я должен огласить наиболее щекотливую сторону моего доклада и делаю это с сознанием нравственной правоты. Дело в том, господа (в сторону графа де Мерси и американца), что по русским полевым законам семь кадровых офицеров имеют право вынести смертный приговор государственному преступнику и привести приговор в исполнение.

— Вот как? — беспечно спросил граф де Мерси.

— Да, граф... И пусть это не покажется вам проявлением личной мести или нарушением гуманности:

Лига приговорила к смерти и казнила четырех опаснейших большевиков: Якова Фейгина, Иосифа Домбровского, Самуила Либермана и Алексея Фокина, он же — Браутман...¹ Совершая этот акт, Лига защищала благосостояние и покой миллионов культурных семейств, которые могли стать жертвой кровавого исступления вышеназванных лжепророков... Протоколы о времени, месте и подробностях казни будут в свое время переданы в американское по-

¹ Имена и фамилии подлинные.

сольство... Господа, я кончил. Господин лейтенант, позвольте вам вручить письмо для передачи господину атташе.

Американец секунду колебался, но взял письмо и медленно закрутил его в набедренный карман френча. Лаше предложил обменяться мнениями. Все головы повернулись к графу де Мерси. Тот сомал, наконец, кончик карандаша.

— Кажется, нужно, чтобы я высказался? Мои дорогие дамы и господа... Что я могу прибавить к словам энергичного Магомета бек Хаджет Лаше? Я очень живо провел сегодняшний вечер. Надеюсь, в Париже с чувством удовлетворения воспримут новеллу моего друга Хаджет Лаше.

Покинув заседание, граф де Мерси и адъютант американского атташе не спеша шли по Ваза-гатан. Прохожих было мало. Бесшумно вверх и вниз по главной улице проносились машины. Ночной ветер неприятно подувал с залива.

— Все-таки маленький городок, не правда ли? — беспечно сказал граф де Мерси.

Американец шагал, глядя под ноги, — на этот раз он заговорил: — Как вы относитесь к сообщениям полковника Магомета бек Хаджет Лаше?

— Татарин врет процентов на семьдесят пять, — беспечно ответил граф де Мерси.

— Сегодня мне показалось, что нас втягивают в грязное дело.

— Это не совсем так, дорогой друг.

— Вы находите, что бывают дела грязнее?

— Сегодня нам демонстрировали один из участков белого фронта, снабженного не совсем обычным оружием, — только и всего. Если большевики напускают на нас всех оборванцев всего мира, мы вправе спустить на них всю человеческую сволочь. Иногда профессиональный негодяй стоит целой стрелковой бригады.

— Я предпочел бы все же стрелковую бригаду, — мрачно пробормотал лейтенант. — Американская точка зрения может казаться слишком пуританской, но с этим приходится мириться.

— О, разумеется! — Граф де Мерси сделал изящно-неопределенный жест.

— Если мы коснемся устоев нравственности, единственной непоколебимой реальности, Америка в тот же день взлетит на воздух... Я бы хотел выскоблить из памяти сегодняшнюю прогулку по ту сторону морали.

— Насколько мне не изменяет память, президент Вильсон развивал подобные же взгляды на Версальской конференции. Но его не слишком горячо поддержали в Америке.

— Это наш позор! Президент выражал самые светлые стороны американского духа, наши старые традиции, создавшие Америку и американцев. История с президентом — наш позор! Война развратила людей. У нас оказалось слишком много денег. Окровавленные

пожарища Европы, дешевые европейские руки, разоренная промышленность — это воистину сатанинское искушение! Слепленные наживой, мы сами шаг за шагом втягиваемся в европейскую грязь — мы очутимся в ней по уши.

— Это ужасно, — с сочувствием сейчас же ответил граф де Мерси.

— Когда я пересекал океан, я думал, что найду Европу, искупившую свои грехи, смиренную от перенесенных несчастий... И нашел всеевропейский шабаш, торжество наглого и откровенного зла... Русская революция. Мы ждали ее, мы приветствовали освобождение России от феодальной тирании великих князей... Русские воспользовались свободой, чтобы поставить трон сатане. Русские цинично растоптали все нравственные законы. А вы пытаетесь и в ведро заливать этот адский пожар... В крестовый поход на Россию! С библейской суровостью вырвать плевелы зла! Не корпуса — миллионные армии с крестом на шлемах, с крестом на танках! Что я увидел за этот месяц в Стокгольме? Жалкую кучку беспринципных журналистов и мелкие посольские интриги... И этого полковника Магомета бек Хаджет Лаше, которому место несомненно на электрическом стуле...

Граф де Мерси весело рассмеялся, взял лейтенанта под руку.

— Я в восторге от вашей молодости и вашей принципиальности. Но все же, как вы думаете поступить с письмом Хаджет Лаше?

— Я передам письмо нашему атташе с моими комментариями.

— Если он все же найдет нужным воспользоваться некоторыми услугами Хаджет Лаше?

Лейтенант некоторое время шел молча, затем лицо его презрительно сморщилось:

— Если бы мы были в Америке, не представляю, как бы мне могли задать подобный вопрос... Но здесь... на этих человеческих задворках!.. Если здесь возможно существование Магомета бек Хаджет Лаше, очевидно, я чего-то не понимаю... Я подчиняюсь...

— Превосходно... Вот мы и дошли... Очаровательный маленький кабачок. Вы не голодны? Зайдем. Я уже несколько дней собираюсь побеседовать с вами об одном милосердном деле: о продовольствии несчастного населения Петрограда. По-видимому, Юденич скоро освободит город, и во всю остроту встанет вопрос питания... Хотелось бы всю спекуляцию вокруг этого ввести в русло...

В старой узенькой улице на Стадене, близ корабельной стенки, при выходе из портового кабачка, охотно посещаемого журналистами в поисках живописного материала, Карл Бистрем столкнулся с четырьмя рослыми румяными шведами. Они были в одинаковых светло-серых шляпах и синих пиджаках. Они загородили тротуар

и, когда Бистрем сошел на мостовую, его толкнули в плечо. Он испльчиво обернулся, — его окружили.

— Эй вы, господин в кепке!.. Вы умышленно толкнули нашего друга... Потрудитесь извиниться...

Несмотря на свои тяжелые мужицкие кулаки, Бистрем не любил драки. Этих к тому же было четверо. Он пробурчал, насколько мог примирительно, что, в сущности, не он, но его толкнули. Тогда четверо заорали:

— Ага! Он еще лжет!

— Лгун и трус!

— Мало тебя били по морде!

Задыхаясь от гнева, Бистрем сказал:

— По морде меня никогда не били... Прошу дать мне дорогу...

Но его так толкнули в спину, что он едва удержался на ногах. Он торопливо стал снимать очки, птясь к стене. Но от второго удара вылетел на середину улицы. Уже не помня себя, размахнулся, сбил чью-то шляпу. Сейчас же в его трясущееся от ярости лицо ударили костяной рукояткой стека. Тогда он бросился вперед головой, схватил одного за мягкий живот, повалил... Рукоятки стека замолотили по его голове, по шее, плечам... Затрещали ребра, — его били каблуками, повторяли:

— Провокатор, шпион, большевик...

На шум выбежали матросы из кабака. Тогда эти четверо пустились бежать и в конце улицы вскочили в автомобиль. Матросы подняли окровавленного Бистрема — он сопел с закрытыми глазами. Повели в кабак. Усадили, захлопотали. Голова у него была рассечена в нескольких местах, глаз затек, губу раздуло. Ему водкой промыли раны, перевязали платками. Не рожима зубов, Бистрем продолжал сопеть. Через зубы ему влили стакан рому.

Один из матросов, погладив его по спине, сказал:

— Будь уверен, дружище, тебя обработали за политику, мы эти дела понимаем... Дай срок, — мы расправимся с этими модниками. А ты — знай стой на своем... И тебе это даже полезно, газетному писаке, — на своей шкуре узнал, что такое буржуа...

Костяные рукоятки стеков разрешили колебания Бистрема. Неудю пролежав в постели в ужасающем душевном состоянии, однажды утром, замкнутый, сосредоточенный, худой, заклеенный пластырями, с лимонным кровоподтеком на глазу, он появился в столовой у Ардашева.

— А! Бистрем, дружище!.. Ай-ай, где же это вы так?

— Это не играет теперь никакой роли, Николай Петрович. Я не буду рассказывать подробности... Я много думал и понял, что обижаться на дураков глупо... Я стал выше личной мести... Но зато я очень прочно утвердился в классовой ненависти...

За стеклами очков глаза его цвета зимнего моря были жестки. На угловатом лице — ни прежней открытости, ни добродушия.

— Вы когда-нибудь слышали о берсёркьерах, Николай Петрович? У скандинавских викингов некоторые из воинов были одержимы бешенством в бою, они сражались без щита и панциря, в одной холщовой рубашке. Их можно было убить, но не победить. За эти дни я почувствовал в себе кровь берсёркьера... Хочу просить вас, Николай Петрович, дать мне несколько рекомендательных писем в Петроград... Это пригодится на всякий случай... В дальнейшем я уже сам сговорюсь с большевиками.

— Слушайте, Бистрем, вы знаете, что ехать сейчас в Петроград совершенное безумие...

— Почему?

— Я вообще не представляю, как большевики отстают город... Юденич неминуемо возьмет Петроград и зальет кровью...

— Значит, тем более мне нужно ехать. Кое-какую пользу я, наверно, принесу.

— Там террор...

— Революция всегда на внешнюю опасность отвечает террором, это лишь подтверждает ее жизнеспособность...

— Чудак... Вы там умрете с голоду...

— Не думаю... Я уверен — когда человек приносит революции самого себя, революция дает ему хотя бы двести граммов хлеба в сутки... На большее я не рассчитываю...

— Ну, дело ваше... (Ардашев иронически поглядел на Бистреми и почесал нос.) Но слушайте, если вы попадетесь белым на границе и на вас найдут мои письма?..

— Вы напишите их на тонкой бумажке, я положу ее в капсулу и на границе возьму капсулу в рот... Вы спокойно можете мне довериться, Николай Петрович...

— Хорошо, ладно... Кому бы только написать из видных большевиков? Предупреждаю, моя рекомендация — не ахти какая... Я пощупаю, вечером приготовлю... Давайте завтракать...

— Благодарю, Николай Петрович, я уже начал приучать себя к суровому режиму...

Ардашев засмеялся было... Но нет... Перед ним — не прежний шутник Карл Бистрем, простодушный, веселый, как солнце. Получив согласие, что письма завтра будут, Бистрем медленно поднялся со стула, сдержанно поклонился и, кажется, даже секунду колебался, подавать ли руку или уйти из этого мира, оборвав все ниточки до последней.

В конце августа, в седьмом часу вечера, красногвардеец, рабочий Путиловского завода, Иванов, сидевший на песчаной насыпи пограничного окопа под Сестрорецком, услышал со стороны финской границы осторожный хруст веток.

Иванов вытянул за штык из окопа винтовку и сощурился, чтобы лучше слушать. Хрустело и затихало. Как будто ползком пробились человек. Вечер был безветренный и ясный. В конце недавно вываленной артиллеристами просеки лежало оранжевое море с синими и красными отливами. Иванову стало не по себе в этой странной закатной тишине. Следующий пост был шагах в трехстах.

Друг не поползет от финской границы, — очевидно. Значит, надо стрелять. Ну, а вдруг их там не один, а банда? Как действовать в таком случае? Оставаться на посту до последней капли крови или, заметив приближение врага, бежать к телефонному посту донести об опасности? Революционный пограничный воинский устав еще не был написан, он целиком вытекал из сознательного юнионизма бойцом задач революции и, в частности, обороны центра дел пролетариата — Северной коммуны.

Не решив еще тактической задачи, Иванов неслышно соскользнул с бруствера в окоп и, прикрываясь еловой веткой, поглядывал. Ни черта среди вечерних теней в лесу не было видно. Опять хруст, — ближе. Он изготовил винтовку... Подумал и на всякий случай вытащил ноги из разбитых до последней степени и обмотанных бечевками валенок. Угрюмая ворона пролетала над просекой. Чем дальше Иванов ожидал, тем злее становилось на сердце. «Ползут, ползут проклятые гады, не могут успокоиться, что рабочий класс, разутый, раздетый, страдает за то, чтобы жить и работать справедливо».

Поправее расщепленной сосны заколебалась ветка. «Вот он!» Товарищ Иванов лег грудью на бруствер, выстрелил... Второй патрон заело. Захрустел зубами... Тотчас там за веткой чем-то замаяли — и срывающийся от страха нерусский голос проговорил по-русски:

— Товарищи, не стреляйте, свой, свой!..

Ближайший пост ответил гулко, и сейчас же по всему лесу настегали винтовки.

А тот все вскрикивал: «Товарищи, не надо!..» Иванов вывел тактическое заключение, что, по-видимому, тут — один человек, убить его никогда не поздно, а лучше взять живьем и допросить. Идрывая горло, Иванов заорал в сторону веток за расщепленной стлостью:

— Выходи на открытое, эй!

Ветки заворошились, и из-за хвои поднялся длинный человек, выдвинул руки над головой, в стеклах его очков блеснул красный закат. Нискоко поднимая ноги, зашагал к окопу. Но Иванов опять бешено:

— Не подходи ближе десяти шагов... Устав не знаешь, сволочь! Просай оружие...

— У меня нет оружия, товарищ...

— Как нет оружия! Не шевелись...

Иванов влез на бруствер, поедая глазами длинного человека в шерошавой буржуазной одежде — короткие штаны в клетку, чулки; морда, конечно, трясется со страха, а рот растянул до ушей... Шу-

тить хочешь? Мы покажем шутки!.. Держа винтовку наизготовок, Иванов подошел к нему:

— Покажь карманы...

Левой рукой ощупал, — ничего подозрительного нет. Платок, спички, коробка папирос...

— Товарищ, пожалуйста, возьмите папиросу...

— Что такое? Подкупать, — это знаешь? Положь барахло в карман... Опустит руки. Кто такой?

— Я шведский ученый... Я иду в Петроград, хочу работать с вами... Мое имя — Карл Бистрем.

— Ты один?

— Один, один.

Иванов в высшей степени подозрительно оглядывал лицо и одежду человека:

— Документы есть?

— Вот, пожалуйста...

— Ладно... Иди впереди меня... — Дойдя с ним до окопа, Иванов стал кричать ближайшему постовому: — Эй, товарищ Емельянов!.. Шпиона поймал. Звони в штаб... (И — Бистрему уже спокойно.) Обожди тут. Придет разводящий, отведет тебя в штаб, там выясним... За переход границы — ты должен знать, что полагается.

— Товарищ, но я же не мог легально.

— Ладно, выясним... Как же белофинны тебя пропустили?

— О, я два дня скрывался в лесу... Я очень голоден, товарищ...

На это Иванов только усмехнулся недобро. Бистрем с возраставшей тревогой глядел на первого встреченного им большевика, — продранное под мышками черное пальто, подпоясанное патронташем, зеленый армейский картузишко с полуоторванным козырьком, босой, среднего роста, невзрачный, ввалившийся, давно не бритые щеки, голодные скулы и чужие, не знающие жалости, умные глаза.

И вдруг Бистрем понял, что этот человек ничем человеческим с ним не связан. Он из другого мира. Что, перебежав границу Северной коммуны, он еще не попал туда... Что недостаточно поверить в революцию, предпочесть старому порядку этот неведомый мир (такой романтический, такой грозно трагический издали, из бистремовской мансарды на Клара Кирка-гатан), но нужно что-то понять простое, совершенно ясное и простое, опрокидывающее внутри себя весь старый мир во имя неизбежного, совершенно нового. И тогда он увидит человеческий ответный взгляд в глазах этого невзрачного и голодного рабочего, чьи негнущиеся руки лежат — ладонь на ладони — на дуле винтовки.

Бистрем холодел от волнения. Стояли молча: Бистрем — засунув руки глубоко в карманы спортивных штанов, Иванов — терпеливо поджидая разводящего. Негромко, будто отвечая на мысли, Иванов сказал:

— Хоть ты не сопротивлялся и взят без оружия, но твое положение отчаянное, прямо говорю...

— У меня с собой письма, рекомендации...
— Да что же письма. От тебя на версту буржуем несет... Кто тебе знает, кто ты такой... Возиться, знаешь, теперь не время, каждый человек опасен...

— Товарищ, разве вы не можете представить, что в буржуазной Европе есть вам сочувствующие, которые хотят бороться вместе с нами?

Иванов ответил не сразу, предостерегающе:

— Хочешь меня уговорить, чтобы я тебя отпустил, да?

— Товарищ!.. (Бистрем сказал с искренней горячностью.) Я не боюсь от вас бежать... Я сам прибежал к вам.

— Это и подозрительно... И опять тебе здесь нечего делать... У нас война со всем миром...

Помолчали. Мрачнейший закат лежал на море в конце просеки. В лесу было уже совсем темно. Из-под откоса, куда спускался Бистрем, слышалось дыхание идущих по песку людей. Товарищ Иванов вздохнул: идут. Поднял винтовку — ложем под рваную подмышку.

— Конечно, есть среди вас совестливые, не все же огулом бегбандиты, — сказал он примирительно. — Посмотреть, что ли, захотел, как мы без вас справляемся? Так, что ли? — Он поднял глаза, и они сузились насмешкой. — Не понравится тебе... Работа у нас черная, тяжелая... Это, брат ты мой, революция, не как в книжках... Читать ее трудно...

Подожли трое, в пиджаках, в куртках, перепоясанные патронными лентами и пулеметными лентами, — те же суровые худые лица, строгие голоса.

— Который? Этот? — спросил разводящий, указывая наганом на Бистрема.

Двое других стали по сторонам.

Иванов рапортовал:

— Оружия на нем не было, попытки к бегству не делал, руки не поднял, идет на меня, смеется... Прямо думаю — что такое за человек? Вот письма на нем к питерским товарищам. Я с ним поговорил... Идеалист — сочувствующий...

— Вы задержаны, товарищ, — сказал разводящий. — Следуйте за нами.

Держа в опущенной руке револьвер, он пошел по песчаной насыпи вниз по откосу, за ним зашагал Бистрем, — руки в карманах, — за ним два красногвардейца...

Его привели на уединенную дачу на пустыре, с разрушенными службами и выбитыми стеклами. Заперли в одной из комнат, в нижнем этаже. Он изнемог от усталости и голода, сел на какой-то ящик. За единственным окном над догоревшим закатом зажглась звезда.

— Чего ты, собственно, ждал, Карл Бистрем? Вот ты на земле Великой Революции. Ждал, чтобы земля эта сотряслась, перед то-

бой бы проходили колонны великанов и небо иного цвета было, чем над Стокгольмом?»

Подпирая скулы так, что очки взлезли на лоб, он вспоминал слова товарища Иванова.

«Ты ехал на праздник, Карл Бистрем, — тебя сразу раскусили... Вот она, революция — полутемная комната на заброшенной даче, мертвая усталость и горькая слюна голода... Дырявое пальтишко на голом теле, унылый окоп, ржавая винтовка. Нет, Карл Бистрем, ты не идеалист, не романтик... Ты не отступишь перед унынием революционных будней... Загляни хорошенько в самого себя, — честно, как перед смертью... Веришь в начало великого наступления Пролетариата? Веришь, что пробил первый час века Социализма?»

Бистрем встал с ящика и заходил по гнилому полу, где между щелями пробивалась трава. Будто горячее вдохновение охватило его голову. И, стараясь обуздать разбросанные мысли, он с методичностью и беспристрастием захотел еще раз проверить выводы.

«Русская революция одним взмахом зачеркивает прочное буржуазное хозяйство. Она отказывается от эволюции, она считает идею эволюции самой хитрой и опаснейшей ловушкой, расставленной, чтобы выиграть время одурманиванием пролетариата... Буржуазное хозяйство не оправится от смертельной язвы войны... Равновесие уже нарушено, и противоречия будут расти с каждым годом, как раковые опухоли. Русская революция опережает естественный процесс разложения старого порядка, этим она спасает запасы творческой энергии пролетариата. Это правильно. Мы спасаем одно, два, может быть, три поколения... На три поколения приближаем социализм и будем строить его со всем буйством неистраченных сил...»

Он потер ладонью о ладонь и только тогда заметил стоящего у дверного косяка человека в кожаной куртке, в черном картузе. На бледном — в сумерках — лице его черная борода казалась приклеенной.

— Ну что же, пойдем побеседуем, Карл Бистрем, — сказал он негромко.

Он пошел вперед по темному коридору и толкнул дверь в небольшую комнату, едва освещенную огоньком фитиля, плавающего в жестянке из-под консервов. Сел у стола, указал Бистрему кленчатое изорванное кресло:

— Осторожнее, нет одной ножи. — Слабой рукой выдвинул ящик, вынул завернутый в обрывок газеты продолговатый, в два пальца толщины, кусок черного хлеба. Протянул его Бистрему. — Ешьте... Здесь ровно двести граммов, все, что революция предлагает за вашу жизнь.

Бистрем опустил руку с куском, уставился на человека: озабоченное огоньком коптилки матово-бескровное лицо чахоточного, большие, без блеска, без любопытства, черные глаза. Вся жизнь никогда не смеявшегося лица сосредоточена, казалось, в широких

нервных ноздрях. Он глядел не мигая, но будто и не видя сидящего перед ним...

— Откуда вы знаете про хлеб? — со страхом спросил Бистрем.

— Вы же разговаривали вслух. Я могу повторить: «Когда че-
мек приносит революции самого себя, революция должна дать
ему хотя бы двести граммов в сутки...»

— Да, да, меня очень занимал этот вопрос... Я думал, что
острые материальные лишения, неизбежные во время революции,
раскрывают огромные запасы духовной энергии, дают революции
специфическую, неотразимую убедительность... Но я готов оставить
эти рассуждения по ту сторону границы... Сегодня я получил хо-
роший урок...

— Вы рисковали получить урок более суровый, — сказал че-
мек. Не разжимая рта, подавил кашель. — Вопрос питания —
одни из самых страшных у нас. Мы не можем утешаться тем, что
у голодного человека рождаются гениальные мысли. (Щеки Бист-
рема залились румянцем.) С другой стороны, мы не можем снаб-
жать население кулацким и спекулянтским хлебом... Под этим
хлебом мы похороним социализм... Кусок, который вы съели, —
ператительный хлеб, пополам с так называемой кострой, но, чтобы
его добыть, затрачены человеческие жизни. И все же мы не от-
ступаем от такого дорогого хлеба... Ну, так вот... Я прочел ваши
рекомендательные письма. Звонил в Петроград по поводу вас...
Вы — свободны... (Бистрем сейчас же поднялся. Человек заслонил
просвечивающей рукой с черными ногтями заколебавшийся огонек
свистильни.) До первого поезда много времени. Может быть, вы
расскажете поподробнее о политической обстановке в Европе, об
организациях, о людях. Позвольте вам поставить несколько воп-
росов.. Скажите, вы не встречали в Стокгольме такого — Хаджет
Лаше?

Утренний поезд тащился по заросшему травой полотну. Без-
людье и запустение, дачи с выбитыми окнами, поваленные заборы,
фундаменты и груды кирпича... Болота, пни... Ржавые проволоки
опов... Направо — заросшая камышами Лахта, негреющее сол-
нце над пустым заливом. Вдали — необъятный город. Ни одного
дыма в прозрачном воздухе над городом. В море — синеватые очер-
тания Кронштадта.

Бистрем думал о ночном собеседнике. (Под утро, когда они
пили морковный кипяток, человек рассказал кое-что про себя.)
Одиннадцать лет царской каторги. Туберкулез, видимо, в послед-
ней стадии. Жизнь — в напряжении воли. Он сказал: «Вам при-
дется отрешиться от многого того, что еще вчера по ту сторону
границы вы считали дурным или хорошим. Резко и непримиримо
отделить врагов от своих: классовое чутье поддается развитию. Ум
должен быть устремлен к одной цели, направлен, подчинен воле
революции».

Бистрем был подавлен и испуган. Будто попал в чудовищный водоворот, и он несет его от сегодняшнего дня в неведомое — прочь от всего привычного и обыденного... Он сидел у выбитого окна. Вагон медленно полз мимо заросших бурьяном огородов. Не сколько человек разбирали деревянную дачу. Как будто вымершее предместье, покосившиеся фонарные столбы. Остовы печей и дымовых труб. Белая коза на пригорке в бурьяне. Пакгаузы с сорванными дверями, на путях — ржавые паровозы, платформы с пушками. Вокзал, и на перроне — суровые люди с винтовками.

Бистрем вышел на безлюдную площадь, — окопы, заграждения из мешков и проволоки. Достал клочок бумаги с адресом Смольного и номером комнаты, где должен был зарегистрироваться, прикрепиться к комиссариату народного просвещения, как ему посоветовали сегодня ночью, и получить паек и жилплощадь. Он побрел вдоль ржавых трамвайных рельсов, скрытых под травой. Перешел Большую Невку, где из воды торчали заплесневелые ребра огромных барок.

Понемногу стали появляться обыватели. Сутулый человек с мешком и жестяной от керосина за спиной в раздумье стоял на перекрестке — ноги обернуты кусками ковра, сваливающиеся штаны, редкая бородка, пенсне на унылом носу. Размышлял, казалось, куда идти? На солнышке между тенями от домов лежали два босых мальчика и худенькая девочка, кусали травинки, долго провожали взглядом не по-русски одетого Бистрема. В темном доме с колонным подъездом, высоко, в раскрытом окне, стоял, заложив руки за спину, очень полный человек в нижнем белье, в золотых очках, — круглой серебристо-седой головой и насмешливым лицом походил на римлянина. Его просторные штаны, проветриваясь для гигиены; висели на оконной задвижке. С полнокровным благодушием он глядел на город. Бистрем изумился. Полный человек, перегнувшись через подоконник, с усмешкой следил за ним.

Дойдя до конца улицы, Бистрем остановился, — эту решетку, галерею Зимнего сада и балкончик во втором этаже он узнал по фотографиям. Отсюда Ленин поднял революцию. Присев под липой напротив в сквере, Бистрем глядел на этот дом из глазированных кирпичей, на огромную, доходящую пустырями до реки Троицкую площадь с ветхой деревянной церковью, на низенький дощатый купол цирка, на серые башенки и гранитные бастионы крепости. Тишина, лишь в сквере шелестели липы.

Отдохнув, Бистрем направился через Троицкий мост, укрепленный предмостными окопами. Отсюда ему открылась широкая, лазурно сверкающая в тот час Нева. Вдали отражались белые колонны Биржи, старые ивы у подножья крепости. Течением мягко разбивался золотой отсвет иглы Петропавловского собора. На левой стороне тянулись колоннады опустевших дворцов.

Величественный, прекраснейший из мировых городов, казалось, задремал на берегах полноводной реки, на грани двух миров, двух эпох, отдыхая от пронесшихся бурь, от видений прошлого, окаменевшего в этих колоннадах, в бронзовых львах, вечно улыбающихся

на финксах, в черном ангеле на яблоке Петропавловского шпиля, и сквозь дремоту ожидая новых, еще неизвестных потрясений, чтобы раскрыть гранитные глаза на вторую жизнь.

Бистрем, облокотясь о перила, поддался неизбежному очарованию Петербурга.

По мосту двигалась странная толпа. По двое, по трое в ряд: дамы в старомодных шляпках, истрепанных непогодой, иные в необычайной одежде, сшитой из портьер и диванных обивок; длинноволосые люди с истощенными комнатными лицами, иные — бритые, круглощечные, с остатками щегольства в одежде — напоминали поставщиков и спекулянтов времен войны; глядя поверх истощенными глазами, шагало несколько рослых стариков с похлестистыми презрительно-удивленными лицами; молодые женщины — одни заплаканные, другие — с вызовом самому черту...

Все они несли лопаты, кирки и заступы. Впереди бойко шел, умыляясь белыми зубами, матрос с железной лопаткой на плече, — маленькая шапочка с ленточками, на загорелой груди под пальником — татуированное сердечко. Поворачиваясь к толпе, он шептался и подмигивал:

— Бодрее, братишки, подтянись, антиллигенты!

Бистрем последовал в некотором отдалении за толпой. С Дворцовой площади свернул на Невский, — там на буграх илистой земли, на кучах булыжника и торцов копошились сотни людей. Поперек Невского, вдоль решетки Александровского сада, рылись окопы, строились укрепления. Подошедшая толпа медленно, поодиночке, расплзлась по канавам. На перевернутой бочке агитатор, работая кулаком, выбрасывал отрывистые фразы:

— ...не отдадим белой сволочи первого города республики!.. Прихвостни мирового капитализма рассчитывают на наш голод, на затруднения с углем и металлами... Они просчитаются, товарищи... Отвистим на их бешеные вылазки сплочением наших рядов... Вырвем хлеб у кулака!.. Паркетами буржуазных особняков будем топить фабричные котлы, переплавим на штыки решетки дворцов... С большевистской беспощадностью раздавим заговоры... Каленым железом отбросим от Петрограда кровавую свору белогвардейских собак... Товарищи, каждый удар лопатой — удар по гнусным занеслам контрреволюции.

Его не все слушали, — иные равнодушно продолжали копать, иные, опершись о лопату или держась обеими руками за поясницу, глядели в землю; на лицах — отвращение и страдание. Сухонькая старушка, остановившаяся около Бистрема, сказала, точно ткнула шилом:

— Сами себе могилу копают...

Бистрем шел по Невскому к Октябрьскому вокзалу. Все то же, маю ему понятное двойственное впечатление... На перекрестках улиц — окопы, блиндажи, орудия, штыки часовых. На прострелен-

ных окнах магазинов и заколоченных дверях — кричащие угловатые плакаты о борьбе, о борьбе... Подскакивая по выбитым торцам в седле мотоциклета, проносится суровый усач, весь в коже. А вереницы прохожих бредут посреди улицы медленно и рассеянно, как во сне. У каждого за спиной — мешок, жестянка, кошелка. Стоят очереди. У выходящих из распределительного пункта — в руках лавровый лист и селедка. По трамвайному пути ползет платформа с бревнами и досками. За платформой движется длинная очередь.

Подъезды иных домов оживлены, — люди входят и выходят. Бистрем читает надписи: «Народный университет»... «Академия искусств»... «Высшая школа хореографии»... «Музыкальная академия»... «Студия народной драмы»... По-видимому, — так представляется ему, — весь этот бредущий по Невскому народ занят искусствами и наукой... Но вот — музыка, сверкающие трубы: «Интернационал»... Прохожие сердито оборачиваются. Плывет шелковое пурпуровое знамя и за ним — по-особому, в полшага — неторопливо шагает отряд человек в пятьсот. По одежде — рабочие, молодые, худые, возбужденно-решительные лица. Винтовки, вещевые мешки. Посреди отряда лозунг: «Опрокинем деникинские банды в Черное море»... Походная кухня, десяток молоденьких девушек в солдатских шинелях с красным крестом на рукаве, повозки с пулеметами, с поклажей.

Прошли, и снова прохожие, как во сне. Лошадиные ребра на мостовой у Гостиного двора. Расстрелянный фасад и рыжие колонны Аничкова дворца. Бронзовые кони на мосту. На углу Литейного — опять трудовая повинность буржуазии. Снова — конская падаль. Ямы провалившейся мостовой. Площадь Восстания перед вокзалом запружена ручными тележками. С криками и руганью проходит военный обоз. Отряды рабочих дожидаются посадки. По всему белесому облупленному фасаду «Северной» гостиницы — наискось — истрепанная непогодой кумачовая полоса: «Все, как один, на борьбу за власть Советов, за Социализм»...

Посреди площади, вокруг забрызганного грязью и лохматого от обрывков плакатов дощатого куба, прикрывающего чудовищную громаду бронзового императора, сидят и полеживают мужики, деревенские бабы. Посматривают на суету площади, на умственные надписи, на тысячи заманчивых окон многоэтажных домов.

Пришли ли эти люди для торга или как разведчики, приглядеться, не пора ли окружать обозами город, пожравший в книжном безумии царя, и господ, и купцов и теперь свирепо отталкивающий мешок с хлебом, куль картошки, телячью тушку из рук «кормильца-мужичка»? Дело ясное, — торопиться некуда, чему созреть — созреет, само упадет в руки... А покуда за стакан мучки, за шапку картошки мешочники привозили домой граммофоны, зеркала, двухспальные кровати, всякие барские пустяки... Деревенские кулаки ждали этого часа долго и желали теперь многого.

Один из мужиков, плечистый, черноволосо-кудрявый, с припухшим красным лицом, окликнул Бистрема:

— Гражданин!.. (Бойко вскочил и пальцем зацепил за часовую петлю на пиджаке Бистрема.) Почему?

— Я не продаю.

— А то хозяйка кое-что на дорогу мне завернула, уступил бы...

Из-под мышки взял сверток в тряпице, сокрушаясь о явной потере, осторожно развернул, — четверть краюхи хорошего хлеба, два каленых яйца, луковица.

— Чапоцка мне и не нужна, так-то уж говорить, да вижу — добрый человек, отчего не выручить... На, получай все, бог с тобой...

Голодной слюной наполнился рот у Бистрема, в голове помутилось от тошноты. Отстегнул цепочку. Взял хлеб, яйца, луковицу...

— Постой, а может, часы продашь?.. Тута у меня (понижив голос) на одной квартире поросенок полугодовалый...

Не отвечая, Бистрем пошел прочь. Мужик — за ним. Уговаривая, схватил за плечо. Бистрем — с гневом:

— Послушайте, вы пользуетесь моим голодом, вы дурной человек, вы спекулянт...

39

В часы досуга главнокомандующий белой северо-западной армией, наступавшей на Петроград, генерал Юденич для упражнения читал своей жене вслух по-французски.

Читал он не слишком бойко — всего полгода назад взялся за изучение языков. Читал обычно, сидя у окна (в серой тужурке и ночных туфлях), держа на отлете перед строгими глазами желтый томик «Клодина в Париже». Генеральша за ширмой разогревала на керосинке тушеную капусту. Супруги Юденич были не глупы, но мудры, — они трезво сознавали, что их жизнь в Ревеле — не жизнь, но случайный этап, что политика и война непредсказуемы, и умный, желая стать хозяином превратностей, должен терпеливо подкопить нешатающиеся от всяких революций ценности, доллары, золото.

Генерал, запинаясь, строго читал:

— «Фиалковые глаза Клодины смеялись, и крошечные розовые пятнышки на двух прелестных выпуклостях, просвечивающих под ароматным батистом сорочки...»

За ширмой генеральша перебила:

— Совсем не так... Грудь, женская грудь, будет не «сан», а «с'н» — «и», — «эн», причем «и» почти не слышно, — «с'н»... Тебя не поймет ни одна француженка...

В голосе генеральши послышалось раздражение. Генерал повторил вполголоса:

— Грудь — «с'н», грудь — «с'н»... — Затем вздохнул, как человек, взобравшийся на холм.

В дверь постучали. Вошел свежий, улыбающийся, в английском ливке френче, адъютант — барон фон Мекк.

— Ваше высокопревосходительство, из Стокгольма — миссия полковника Магомета бек Хаджет Лаше... Он хотел бы...

— А! Знаю — Лаше...

— Может быть, вы изволите принять запросто?..

— А? Да, да... Только, голубчик, дайте-ка мне из-за ширмы штиблеты...

Генерал закрыл томик «Клодина в Париже», не спеша натянул старые, еще петербургской постройки, зеркально вычищенные башмаки на резинках и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

Фон Мекк ввел полковника Хаджет Лаше. Генерал полуофициально предложил ему занять место на голубого шелка диванчике. Сам опустился коротким туловищем в кресло, — плечи поднялись, небольшая голова с волосами ежиком ушла в плечи, и огромные подушки величественно легли на широкие без звездочек погонны с зигзагами.

— Чем могу служить, полковник?

— Ваше высокопревосходительство, я говорю от имени Лиги спасения России...

— Знаю, слышан, весьма одобряю вашу патриотическую деятельность, голубчик...

— Ваше высокопревосходительство, когда вы рассчитываете взять Петроград?

Седоватые подушки сдержанной усмешкой шевельнулись по золотым погонам. Касаясь пальцами пальцев, опустив покачивающуюся голову, Юденич ответил:

— Когда поможет бог, полковник, когда поможет бог...

— Ваше высокопревосходительство, Лига берет на себя смелость поставить вас в известность, что огромное количество национальных ценностей может бесследно ускользнуть от вас... Большевики лихорадочно перевозят из Петрограда на территорию Швеции, как нейтральной страны, валюту, золото, камни... По нашим сведениям, на трех частных квартирах в Стокгольме спрятано ими свыше полумиллиарда...

Подушки замерли, генерал, казалось, перестал дышать. Затем голова его начала подниматься, и немигающие глаза, как два зенитных орудия, уперлись в полковника Лаше:

— Потрудитесь объяснить подробнее...

Хаджет Лаше рассказал о деятельности Лиги, подчеркнул участие шведской гвардии и представил обширный список добровольцев, вступивших в Лигу (это был лист, заполненный в Берлине в гостинице «Адлон»). Генерал нашел в списке много знакомых имен, немало боевых товарищей, — иных он считал давно погибшими от руки большевиков. Читая, засопел.

Хаджет Лаше подробно перечислил сокровища царской короны. Когда он упомянул о шапке Мономаха, генерал тяжело поднялся с кресла и в волнении отошел к окошку, — короткие пальцы его за спиной сжимались и разжимались...

— Ваше высокопревосходительство, я своими ушами слышал в Стокгольме, в ресторане: большевистский курьер Леви Левицкий в нетрезвом состоянии публично похвалялся другому большевику, Ардашеву, что будто бы примерял на себя шапку Мономаха и сидел на кресло с державой и скипетром... Российская реликвия на еврейской голове!..

Юденич поднял, опустил плечи.

— Прекрасно-с... Они заплатят... (Пальцы заработали за спиной.) Жестоко заплатят...

— Чтобы спасти эти священные ценности, нам нужно, по огромному подсчету, — на слезку, наем помещений, автомобили, покупку оружия — двадцать пять тысяч крон... Лига ходатайствует, чтобы вы вместе с этими суммами прикомандировали к нам доверенное лицо для наблюдения.

Генерал вернулся в кресло, жирный лоб его прорезывала морщина.

— Я должен подумать... Дело весьма щекотливое... В европейской столице расправляться своими средствами!.. Гм... Мы-то знаем, у кого берем и что берем, но щепетильные европейцы!.. Люди вы горячие, батенька, ухлопаете там парочку еврейчиков... Да еще двадцать пять тысяч... Гм...

Генерал с той минуты, когда было упомянуто о двадцати пяти тысячах крон, начал поглядывать на ширмы, где шипело и пахло салом. Лаше, проведя ладонью по лбу, сказал с мягкой задушевностью:

— До взятия Петрограда остается — три, ну — два месяца... Но пока я не вижу других путей поддержать ваши бумажные деньги, ваше высокопревосходительство...

Генерал отвлекся от ширмы, насторожился:

— Не улавливаю связи.

— Вы помните провокационную заметку об английском обеспечении ваших денег, печатающихся в Гельсингфорсе? Она исходила от компании — Леви Левицкий, Ардашев, Бистрем. Одного из них Лига ликвидировала... За последние дни нам стало известно, — и это одна из причин моего приезда в Ревель, — что английский государственный банк не сегодня-завтра опубликует опровержение... Ваше высокопревосходительство, сам господь бог не спасет вас от инфляции, от катастрофы с кредитами и так далее...

— Мои деньги, господин полковник Лаше, обеспечены всем достоинством государства Российского...

Но тут полковник Магомет бек Хаджет Лаше не то чтобы подмигнул как-нибудь неприлично, — жирноносое лицо его осталось невозмутимым, — изменился лишь цвет глаз, они будто просветились веселой иронией.

— Перед отъездом я беседовал с небезызвестным биржевым деятелем Дмитрием Рубинштейном. Он откровенно высказался, что готовится к большой игре, но не решил еще — валить ли ему финскую марку и поднимать рубль вашего превосходительства или поднимать финскую марку и валить рубль вашего высокопревосходительства...

— Ах, вот как! (Генерал беспокожно потерся спиной о спинку кресла.) На чем же Рубинштейн основывает недоверие к моему рублю?

— Не к вашему рублю, но к российскому рублю... Европейская биржа рассматривает Россию как банкрота на долгий период времени... Проблема русского банкротства — мировая проблема. Русские долги, задолженность по внешним займам, разрушение промышленности, транспорта, шахт, нефтяных вышек, сельского хозяйства — это колоссальнейший пассив. Рубинштейн исчисляет его миллиардов в сто золотых рублей. (Генерал крикнул.) В активе только — будущая твердая власть. Под нее союзники могут дать денег на возрождение русской промышленности и сельского хозяйства. А могут и не дать... Но откуда русский рубль — пусть на острие победоносного белого штыка — стоит не дороже бутылочной этикетки...

— Так, так, — сказал Юденич. — Ага, вот как! А если я как следует умиротворю Петроград?

— Это уже много... Но, ваше высокопревосходительство, деньги нужны сейчас... Я просил Рубинштейна обождать несколько дней... Если я скажу ему, что в ваших руках будет на полмиллиарда валютных ценностей, разумеется, он не станет колебаться в выборе между рублем и финской маркой...

Генерал все еще не решался. Больше всего его напугал Митьки Рубинштейн. Но двадцать пять тысяч крон тоже было не легко оторвать. Он сказал, что хочет посоветоваться с начальником снабжения генералом Яновым, и попросил Лаше оттянуть вопрос о деньгах до завтра.

Хаджет Лаше решил не утруждать главнокомандующего остальными чрезвычайными вопросами и с полным составом миссии (в Ревель он приехал с Левантом, Вольдемаром Ларсеном — датским коммерсантом, и одним из четырех шведских офицеров — членом Лиги) явился к правой руке генерала Юденича — генералу Янову.

Генерал Янов был «с мухой» после обеда и повышенно встретил гостей. Денщик «соорудил» кофе с коньячком. Сели вокруг предиванного стола. От генерала веяло здоровьем и оптимизмом, — закрученные усы, раздвоенная бородка, подвижные брови на низеньком лбу, расстегнутая гимнастерка с мягкими генерал-майорскими погонами и короткие крепкие ляжки ерника... Он сразу «овладел настроением». Предложил чудные папиросы:

— Табак настоящий — довоенный «Месаксуди»... Один тип ухитрился вывезти из Петрограда полвагона этого табаку и загнал его к нам во время наступления... Гений, честное слово!.. Вот это (хлопнул по валяющейся на плюшевом диване папке с бумагами) одни его проекты... Тут и колбаса для Петрограда, дрова, и картошка, и полсотни американских аэропланов. Как он умудряется ставить такие цены — на тридцать процентов дешевле, поражаюсь... Уверяет, что из чистого патриотизма, честное слово...

Хаджет Лаше высказал, что действительно патриотов гораздо больше, чем это кажется, по той причине, что истинный патриот не шумит и не кричит, но делает свое скромное и незаметное дело.

— Пусть при этом что-то положит в карман, малую крупинку, — нужен же какой-то материальный «стимул», кроме голой мысли. Правда?

— Стимул! Совершенно верно, полковник...

— Мы тоже люди, ваше превосходительство...

— Совершенно верно, полковник...

Чисто одетый денщик, работая под придурковатого, принес кофе, раскупорил коньяк. Генерал Янов пробасил, указывая на его припомаженный чуб, вздернутый нос, часто мигающие русые ресницы:

— Вот — рожа расейская, решетом не покроешь, а поговорите с ним. Ну-ка, Вдовченко... При покойном государе-императоре хорошо жилось тебе?

Вдовченко — руки по швам, нос кверху — рывкнул:

— Так точно, ваше превосходительство.

— А почему? Объясни толково.

— Так что — страх имел, ваше превосходительство.

— Молодец... Ну, а скажи ты, милостью революции освобожденный народ, что ты сделаешь в первую голову, когда с оружием в руках войдешь в Петроград?

— Не могу знать, ваше превосходительство...

— Отвечай, болван...

— Так что — стану колоть и рубить большевиков, жидов, капиталов и всех антилихентов...

Генерал руками развел:

— Пасую, господа... Что я буду делать с этим народом! Слушай, Вдовченко, троглодит, ну, а что бы тут сидели наши министры — Маргулиес или Горн, — и ты бы им так вот брякнул... Заели бы меня, болван! (Открыл крепкие, как собачья кость, зубы, загрохотал.) Живьем бы съели... Сгинь, харя деревенская!.. (Денщик повернулся по-лошадиному топая, вышел.) Да, господа, беда с нашими либералами... Мечтатели, российские интеллигенты... Реальной жизни знать не хотят... Кофейку, господа, коньячку...

Хаджет Лаше заговорил за коньячком:

— Либерализм как оппозиция — залог кредита... У нас в России часто не понимают, что политическое приличие дороже искренности. Мы еще варвары, простите за словечко, генерал...

— Пожалуйста, пожалуйста, дорогой.

— наших друзей-союзников не нужно заставлять морщиться от меловкости. Господа, тот же Клемансо, Ллойд-Джордж, Черчилль покидают же когда-то деловой кабинет и садятся за обеденный стол с изящными женщинами. Не будем пачкать этим людям наши вечерних сорочек... Либеральные министры, Маргулиесы и Горны — это тот маленький комфорт, которого у нас вежливо просят, и, поверьте, дорогой генерал, эти мелочи приносят иногда больше выгоды, чем военные успехи...

Генерал Янов, неподвижно выкатив бутылочные глаза, с удивлением слушал полковника Лаше. Черт его возьми — европеец! Потянулся за рюмкой, выпив, покрутил головой:

— Да... Политика... Извольте видеть, нам из Парижа Савинкова навязывают. Социалист, бомбометатель. Нет уж, пардон. Может быть, я чего-то не понимаю, но, ей-богу, повешу... Да и вообще... (Чтобы не брякнуть лишнего, хлопнул еще рюмку.) Так что же вас привело, господа, в нашу чухонскую дыру?

Шведский офицер Иоганн Гензен, похожий на гигантского младенца, и датский коммерсант Вольдемар Ларсен, с дряблым животом и маленькой востроносой головой, не понимали по-русски, с достоинством терпеливо улыбались, воспитанно попивая коньячок. Хаджет Лаше перешел к делу, широким жестом указал на скандинавов:

— Дорогой генерал, перед вами потомки тех самых древних варягов, которым русские когда-то сказали: «Земля наша велика и обильна, но порядка не имам»... (Он перевел эти слова по-датски. Все рассмеялись, чокнулись.) Ходатайствую за них в интересах Лиги, дорогой генерал. Гензен и Ларсен — наши активные сотрудники, горячо любят Россию и в данном случае руководятся более идейными соображениями, чем личной выгодой... Но, — несовершенство человеческой природы, — одними светлыми идеями сыт не будешь... Конкретно предложения таковы: лейтенант Иоганн Гензен интересуется псковским и гдовским льном.

— Ага, — басом сказал генерал Янов, — представляю.

— Лейтенант Гензен хотел бы оформить концессию на вывоз льна и кудели не из вторых рук — от эстонских скупщиков, и непосредственно от русского интендантства. Условия чрезвычайно выгодные, — с валовой выручки десять процентов интендантству. И обязательство: при заключении договора поставить в северо-западную армию четыре тысячи добровольцев, лучших стрелков Швеции, коим по окончании войны российское правительство должно предоставить свободные земли для поселения.

Генерал Янов настороженно стучал ногтями по столу.

— Счастливая идея, есть о чем подумать...

— Второе касается моего друга, фанатика России, Вольдемара Ларсена. (Маленькое остроносое личико Ларсена закивало дружелюбно.) Предложение его таково: концессионный договор на двадцать пять лет на сдачу господину Ларсену петроградского городского хозяйства — водопровода, трамвая, электричества и телефона. В день взятия Петрограда Ларсен вносит первый денежный аванс. Но, идя навстречу нуждам армии, он готов теперь же поставить интендантству тысячу тонн колбасы лучшего качества, с уплатой половины в русских и половины в финских деньгах... Вот в общих чертах... И тот и другой считают, что, минуя министерство снабжения, то есть говорить непосредственно с вами, они короче идут к цели. Господа Ларсен и Гензен были бы в восторге скрепить дружбу вещественными узами...

Отвыкший от европейских форм разговора генерал Янов испытывал душевное напряжение, глаза его налились кровью.

— Я доложу главнокомандующему... Он озабочен, надо вам сказать, вопросом пополнения особого безотчетного секретного фонда...

— Ну да, да, суммы на контрразведку и так далее...

— Именно... Скажите этим господам откровенно, так сказать, — в данном случае желательно, чтобы они пополнили секретный фонд исключительно американской или английской валютой... Мы, так сказать, договоримся, я, так сказать, приму без расписки, и договоры оформим... Генерал Юденич так именно и выскажется, я уверен... — Генерал Янов отдулся, вытащил шелковый платок, провел по усам и уже облегченно гаркнул: — Эй, Идовченко! Слетай в буфет, — две бутылки шампанского и минерального печенья...

40

Вернувшись в составе всей миссии к себе в номер, Хаджет Лаше потребовал минеральной воды и некоторое время сосредоточенно сидел, стиснув за спиной руки. Остальные члены миссии сидели.

— Ваше дело со льном, петроградской концессией и колбасой — на колесах... Мошеннику Янову сунуть пятьсот долларов, Юденичу — тысячи полторы... (Вольдемар Ларсен тяжело вздохнул.) Но с кредитами для Лиги — хуже, да — хуже... Мне не понравился главнокомандующий, — мелочный человек, глупый, ленивый хохол... На Кавказе этот орел зажал большую валюту на продаже курдских земель и врет — большевики у него ни крошки не конфисковали, все перевел за границу. Информация о царских сокровищах произвела на него некоторое впечатление, но, едва я упомянул о двадцати пяти тысячах крон, упал духом... Широты — нуль...

Иоганн Гензен произнес презрительно:

— Псст!.. (Вложил в рот сигару, дым — к потолку, и снова, вынув сигару, уже удивленнее.) Псст!

Вольдемар Ларсен, обладавший умом более острым, заметил осторожно:

— Быть может, у господина главнокомандующего более достоверные сведения о местонахождении сокровищ царской короны?

Лаше круто остановился, бешено взглянул на Ларсена:

— Прикажете понимать как недоверие к оперативному отделу Лиги?

— Сохрани меня бог — недоверие, нет... (Острый нос Ларсена к добродушием андерсеновских сказок поднялся навстречу проживающему взгляду Лаше.) Колбаса для армии и право на петроградскую концессию — это пахнет деньгами, господин полковник... Но царские сокровища еще не пахнут, — позвольте себе именно так понять мою мысль...

Как от доброй шутки, нос Вольдемара Ларсена свернулся слегка на сторону, собрались добродушные морщинки на висках. Александр Левант (обычно молчавший в присутствии Лаше) сказал жестко:

— Мы не настаиваем, чтобы именно вы получили концессию на петроградское хозяйство. Нам известно состояние ваших сче-

тов, — вам едва хватило денег на закупку тухлой колбасы. Права на концессию беру я.

Хаджет Лаше, раздвинув ноги, руки — в карманах черкески, вывороченными губами проговорил в лицо Вольдемару Ларсену:

— Лига сквозь пальцы смотрела на ваши спекуляции... Вы не желаете нам доверять, по-видимому слишком спешите отделаться от нас... Мы тоже будем осторожны, господин Вольдемар Ларсен... Мы не позволим вам подписать запродажную на колбасу, покуда не выполните первого параграфа устава: не внесете в кассу Лиги двадцать процентов со всей суммы — то есть двести сорок тысяч... Или финны вышвырнут вашу тухлятину в море...

Вольдемар Ларсен ушел в кресло, выставил дряблый живот, прикрыл веки. Он никак не думал, что этим бандитам Леванту и Лаше известно его тяжелое дело с колбасой. Два месяца тому назад он выгодно закупил колбасу у американской комиссии Гувера (распихивающей по Европе свиные изделия — заготовки мировой войны). Но колбаса так воняла, что санитарный осмотр в Бергене приказал товар сжечь. Пришлось истратиться на погрузку и фрахт, и сейчас парусник с колбасой болтался на якоре в Гельсингфорском порту.

— Я плачу десять процентов при подписании запродажной с северо-западным правительством и десять процентов при сдаче колбасы, — слабо сказал Ларсен. — Это все, что я могу... Но концессия за мной, господа, на этом я буду настаивать...

Левант и Лаше переглянулись. Согласились. Разговор снова принял дружественный оборот. В семь часов Левант и Лаше пошли — этажом выше — в номер министра просвещения Кедрина для свидания (по третьему чрезвычайному делу) с премьером Лианозовым.

41

Принадлежность к левому крылу правительства обязывала много и хорошо говорить. Министры северо-западного правительства собирались в чем-нибудь номере, пили чай, выкуривали болезненное количество папирос и говорили о метафизических проблемах, поставленных историей перед многострадальной Россией и перед цветом и мозгом страны — русской интеллигенцией. Практическая сторона деятельности интересовала их меньше, потому что территория для приложения великих идей конституционной свободы была мала, и народ на этой территории (псковские и гдовские мужики) — невежественный, звероподобный и даже неграмотный, и потому еще, что главнокомандующий Юденич и вся военщина не допускали штатских либералов до практической деятельности: «Было ваше сволочное времечко, книжники слюнявыс, был ваш царь — Сашка Керенский, дюжины большевиков не могли повесить...»

Англичане, американцы и французы относились к министрам симпатично, оказывали знаки внимания (консервы, табак, одежда,

капитки), но в практических вопросах предпочитали иметь дело с Юденичем и его штабом. Министры надеялись на одно, — что окончится же когда-нибудь власть грубой силы и солнце гуманизма и свободы взойдет над куполом Учредительного собрания... О, обитываемые темно-коричневые трибуны в колонном зале Таврического дворца, — блеск речей и водопады оваций!.. О, кулуары, — веселая и остроумная политическая болтовня, — журналисты, фотографы, элегантные женщины! О, собственные автомобили, уносящие избранников народа по широким петроградским улицам!

В чрезвычайно удушливом воздухе пять министров, сидя в красных плюшевых креслах вокруг овального стола, слушали министра просвещения Кедрин. Он был невелик ростом и, находясь на низеньком диванчике, подвертывал под себя ногу. На нем были теплые светлые брюки и по-стариковски просторный старомодный спортук, — бледное, как жеваная бумага, заросшее сединой лицо, растрепанные белые волосы, глаза, воспаленные от бессонницы и никотина. Несмотря на грудную жабу и бронхитное покашливание, душа его была порывиста и неутомима. Министры устало, через силу внимали ему. Кедрин говорил:

— Мережковский дает только две составные силлогизма, две линии великого треугольника, две линии, разлетающиеся в бесконечность, — Христос и Антихрист... Он только вопрошает. Мережковский — это все безумие вопроса, он — это мы — русская интеллигенция. Славянофильство и западничество... Деревня и фабричный город... Европа и Азия... До девятьсот семнадцатого мы чувствовали присутствие исторической обреченности, мессианства... Да, мы называли Россию мессией... И недаром Рудольф Штейнер весной четырнадцатого года в Гельсингфорсе говорил о роковой обреченности России, предназначенной спасти мир, спасти своим телом и кровью... Господа, теперь мы знаем эту третью составную силлогизма, мы замыкаем равнобедренный треугольник. Это треть: мировой большевизм, в демонических безднах которого рождается спасение мира — священное белое движение. Его символ — солнечные латы Георгия-победоносца, под копытами его белого коня — Антихрист — большевизм и за плечами — пурпуровый, то есть победный, плащ, взвитый над бурей революции... (Переимешка. Бронхитное покашливание. Звон чайных ложечек и клубы табачного дыма.)

Я цитирую это по замечательной книге Николая Александровича Кордяева. Я положил бы эту книгу в ранец каждого белого солдата. Большевики идут в бой, распевая «Интернационал» и веря в социализм... Мы должны противопоставить свою идею, — понятную массам, идею Георгия-победоносца, идею белого посланца, поражающего в мире Антихриста... Я слышу, господа, иронические голоса: мы владем пока только двумя уездами России, мы еще собираемся идти на Петроград, у нас, представителей русской культуры, нет реальной силы, мы машем кулаками по воздуху, нас едва терпят, в день взятия Петрограда генерал Юденич попытается вздернуть нас на трамвай-

ных столбах... Все это так... Но тем не менее или, если хотите, тем более положение обязывает нас ставить вопросы мирового порядка...

Министр просвещения Кедрин вытащил из-под себя затекшую ногу и живо подsunул другую. Бумажное лицо его не розовело от умственного возбуждения, только сильнее лоснилось. Душа в этом хилом теле, заключенном в пыльный сюртук, выбрасывала фейерверки идей.

— Мы должны создать и возглавить международную комиссию по изучению в теории и на практике большевистской доктрины и ее практического применения. Ходячее понимание большевиков, как шайки уголовных преступников, нужно решительно отвергнуть, это — одна из провокаций самих большевиков: они усыпляют наше внимание, они хотят незаметно подкрасться, чтобы внезапно встать во весь антихристов рост... Да, мы имеем дело с антихристианством и антикультурой. Задачи комиссии: первая — изучить большевизм исторически, изыскать его корни в научных и метафизических работах социальных мыслителей... Лично я ставлю под подозрение основной источник — Жан-Жака Руссо. Пусть молодая буржуазия эпохи Великой французской революции подняла на острие копья вместе с фригийским колпаком его «Общественный договор». Руссо — это бунт духовного варвара против восемнадцати веков христианской цивилизации. Книги Руссо предвещают кровь робеспьеровского террора. Фурье, Сен-Симон, весь ряд утопистов — та же тенденция выключиться от гуманизма. Вторая задача: комиссия должна собрать исчерпывающий объективный материал о большевиках, добытый следственными властями и судебными приговорами. Для этого — третье: комиссия должна подготовить со всей широтой сеть уголовных судов с привлечением в прокуратуру иностранных специалистов для мирового судебного процесса над большевиками... Таковы, господа, задачи, стоящие перед нами. Исполнив их, мы создадим чрезвычайные профилактические меры против большевизма не только в России, но и на пространстве всего мира, мы откроем, — и мы призваны к этому, — откроем глаза близоруким европейским политикам на величайшую, когда-либо грозившую миру опасность, на змия, нашептывающего пролетариату сладкую ложь о невозможном, на змия, которого раздавят только мистические копыта белого коня...

Когда в номере появились Хаджет Лаше и Левант, утомленные министры договаривали последние фразы критического разбора этой замечательной речи. Бывший нефтяной король — Лианозов (предупрежденный о визите) тотчас встал из-за стола и отошел с Хаджет Лаше и Левантом.

Это был маленький утомленный человек с бородкой цвета высушенной степной травы и редкими волосами, тщательно зачесанными на пробор.

Он без любопытства поглядел на полнокровного, улыбающегося с открытой честностью Лаше, на костлявые скулы, сломанный нос и выражение бандитского мрака на лице Леванта.

— Я слушаю вас, господа...

Хаджет Лаше, оберегая драгоценное время министра, в сжатой форме изложил свою точку зрения на мировую борьбу американской компании «Стандарт Ойл» и английского нефтяного концерна Детердинга. Он откровенно признался, что в этой борьбе он, — «как это ни странно звучит», — является агентом Детердинга, «не в буквальном, конечно, смысле». (Лианозов устало покивал, выражая этим, что понимал, в каком смысле...) Как уроженец горячо им любимого Кавказа, как председатель Лиги по восстановлению Российской империи и как русский патриот — Хаджет Лаше решительно стоял на стороне Англии. Одни англичане способны смертельной хваткой взять большевиков за горло. Но для этого английские интересы нужно прочно увязать в российском болоте. Отсюда — прямой ход к поддержке Детердинга залежами русской нефти. Детердинг сейчас платит громадные деньги за нефтяные участки. Но гражданская война превратна. Кто поручится, что большевики, хотя бы на короткое время, снова не захватят Баку и Грозный; что верховный правитель Колчак не предоставит американцам каких-либо исключительных концессий; что под давлением революционных масс не осуществится эта проклятая конференция на Принцевых островах, где Америка несомненно легко договорится с большевиками о нефти?

Затем Хаджет Лаше передал слово Леванту, и тот подробно рассказал о свидании с Детердингом в Лондоне, о продаже Чермоевым и Манташевым нефтяных земель и показал письмо к нему Детердинга, где глава концерна «Ройял Дэтч Шелл» благодарил Леванта за содействие, удивлялся его бескорыстию, просил передать поклон Хаджет Лаше и два раза вскользь упоминал имя Лианозова. Письмо это было одной из первокласснейших работ Эттингера.

— Итак, что же вы от меня хотите, господа? — слегка встревоженным голосом спросил Лианозов.

— Лично мы — ничего, господин министр.. — Лаше поклонился и открыто, честно, с кунацкой улыбкой положил руку на Бижал. — Если вы задумаетесь над моими словами, то мы уже исполнили долг перед родиной...

Лианозов, потирая на виске мигрень, ответил:

— Хорошо, я серьезно подумаю над вашим предложением. Займите ко мне в номер после полуночи, но не слишком поздно...

42

В десятом часу вечера Лаше и Леванту удалось, наконец, спокойно пообедать вдвоем, в тихом ресторанчике. Закурив сигару, Хаджет Лаше зубочисткой на скатерти стал подводить итоги:

— ...За шесть месяцев (организация Лиги, наем помещений, разъезды, представительство и прочее) мною истрачено тысяча двести английских фунтов, тобой во Франции (долги Налымова, труппы для дам, дача в Севре, разъезды, представительство и прочее) истрачено шестьдесят тысяч франков. Общий пассив, пе-

реводя на доллары, — девять тысяч долларов. Поступлений за это время в общую кассу — нуль.

Подсчитали еще раз. Минут пять дымили сигарами. Левант сказал, качнув головой:

— Да...

Хаджет Лаше — высокомерно:

— Что — да?

— Треску много, а...

— Что — а?

— Нет, что ж, тебе, конечно, виднее... Твои, в конце концов, деньги, Магомет...

— Дурак, гляди, считай...

Хаджет Лаше зубочисткой на скатерти подвел должествующий поступить актив: сто пятьдесят тысяч франков от графа де Мерси (на приобретение «Скандинавского листка»), двадцать пять тысяч крон от американского атташе, двадцать пять тысяч крон от Юденича, сто тысяч франков от Чермоева и Манташева, двести сорок тысяч юденических рублей от Вольдемара Ларсена и минимум двести тысяч франков от Лианозова.

— Может быть, Лианозова пока не будем считать? — скромно спросил Левант.

— Это такие же верные деньги, как все остальное.

Лаше кусал зубочистку. Левант всматривался в цифры, нацарапанные на скатерти:

— Магомет, ты не думаешь, было бы выгоднее, если бы, как я тебе говорил, мы занялись просто спекуляцией, хотя бы с той же американской свининой?.. Ларсен буквально червей сбывает, и — свежие деньги... Политика, знаешь, далеко не верная игра.

— Не раз повторял тебе, Александр, ты — мелкий жучок, жаба... Спекуляция! Плевал я на твои проценты, разницы, накладные... Я швырнул девять тысяч долларов и еще швырну и возьму миллионы...

— Я тебя понимаю, Магомет... Но ведь куда миллионы — это сон... Даже за все эти цифры, — он указал на скатерть, — за этот актив самый неосторожный человек не даст и десяти процентов наличными.

— Ты — ишак.

Левант пожал плечами. Помолчали. Лаше спросил бутылку шампанского.

— Плохо, Александр, когда у человека нет фантазии... Морган и Вандербильд, — откуда их миллиарды? Плоды мощной фантазии. Эти люди призвали миллиарды, как Фауст сатану в магический круг. Точно так же я выдумал царские сокровища.

— Магомет, ты их выдумал? Ай, я так и знал! — У Леванта отхлынула краска с лица, белые хрящики проступили на носу. — На что же ты рассчитываешь? Безумец!

— Я их выдумал, я их возьму... Царские бриллианты, шапка Мономаха, скипетр и корона — это все для американцев, фран-

кузов, Юденича и для нашей шпаны из Лиги... Но миллиона три-четыре долларов я возьму. Они дожидаются меня в Стокгольме... (Левант передохнул, с тоской и надеждой взглянул на друга.) Ты спрашиваешь, что мной сделано за шесть месяцев, куда я угрохал деньги? А вот что сделано: военные миссии великих держав, президенты и премьеры, все контрразведки, нефтяные короли и магнаты тяжелой индустрии, биржи и спекулянты военными потоками — все они заинтересованы теперь в том, чтобы полковник Магомет бек Хаджет Лаше, хотя бы нарушая все правила благопристойности, взял эти миллионы. Сама полиция поможет мне превратить уголовный грабеж в акт священной борьбы за цивилизацию, и ни один болван не посмеет спросить у меня отчета в деньгах. Вот что сделал Хаджет Лаше, — я поставил кверху ногами все их моральные незыблемости. Великолепнейший сюжет для книги...

— Ты сходишь с ума, Магомет...

— Я играю за «золотым столом» в игру, которая называется тайной политикой... Жучки, мелкая рыбка пачкаются на биржевой площадке: заработав сто долларов, бегут покупать бриллианты в четыре карата и лакированные ботинки. Я играю за столом с королями и президентами.

— Магомет, Магомет, ты сломишь шею...

Хаджет Лаше надменно усмехнулся. Зрачки его глаз были расширены и неподвижны. Опытный лакей, не так поняв его возбуждение, наклонился из-за его плеча и шепотом предложил пригласить к столу девочек. Лаше послал его к черту.

— Ни на один градус я не более сумасшедший, чем Жорж Клемансо, президент Вильсон или создатель вертикальных концернов Гуго Стиннес. Я современен, я впечатлителен, я нервами юмил, что такое дерзость... Вся гуманитарная бюргерская благопристойная бурда выметена начисто после мировой войны... Будь дерзким до конца, будь циником до конца... Шагай по человеческим трупам, грабеж и насилие возведи в систему, и ты — царь жизни. Может быть, я смахиваю иногда на сумасшедшего, не забывая — при всем прочем я еще артист. Меня утомило однообразие человеческой глупости, — у меня потребность в более острых ощущениях... Ты понял меня, Александр?.. Послезавтра — в Стокгольм... Я приступаю к делу... Не бойся, ты-то будешь кушать союю кефаль в Париже.

Дом в Баль Станэсе был приведен в порядок, — все вымыто и почищено, в столовой — ковры, на лампах — шелковые абажуры, в вазах — охапки осенних цветов. Поздно ночью из Стокгольма, как обычно, возвращалась Мари, усталая, объевшаяся соусами за столиками гостей. Выступала она в «Гранд-отеле» в русском ре-

пертуаре, даже с некоторым успехом. Часто ей было лень снимать грим и переодеваться, и она садилась в столовой, полуголая, с осыпавшейся пудрой на розовых плечах, в шансонеточном платье. За этими предрассветными ужинами пили шампанское, но без прежних откровенных бесед, даже без шуток Нальмова, — не то что в незабываемом Севре... «Все-таки там было чудно, девочки! Помните, июль, цвели липы? Песенки Барбош из кухонного окна?»

На рассвете Лили засыпала за столом, уронив растрепанную голову на руки. Мари в шансонеточном платье засыпала на диване. Вера Юрьевна, пошатываясь, брела на лужайку, где над озером вставало осеннее солнце, валилась в копну сена и дремала в странных видениях, рожденных из пузырьков шампанского. Нальмови находили мертвецки пьяного в самых неожиданных местах.

Молча, мрачно обедали, опохмеляясь водочкой. После обеда купались в холодном озере. Под вечер Мари уезжала. Через день уезжала в Стокгольм и Лили — по требованию Хаджет Лаше она дала объявление в гостинице «Гранд-отель» об уроках французского и английского; требований покуда не поступало, но определенные часы приходилось отсидивать в холле гостиницы, сдерживая зевоту над иллюстрированными журналами.

Всего тяжелее были пустые часы, когда Вера Юрьевна и Нальмов оставались одни в Баль Станэсе. Василий Алексеевич старался держаться в сторонке, — то одиноко покурил на крылечке, то возился с футбольным мячом, трусая за ним пропитой рысцой по поляне. Однажды Вера Юрьевна долго наблюдала, как он сидел с удочкой на берегу в Лилькиной широкополой соломенной шляпе. Вера Юрьевна подошла, посмотрела на поплавок, на консервную жестянку с червями, в лицо Василию Алексеевичу. От солнца, от водки кожа у него лупилась, глаза были совсем выцветшие. Пожала плечами: «Шут гороховый, право...»

Они мало разговаривали, только о мелочах. Здесь между ними не было близости. Вера Юрьевна и подумать не могла бы теперь прийти ночью «выкурить папироску в его постели». В Баль Станэсе все осложнилось. Нагромоздились чувства, не выразимые словами. Не будь его здесь, половина тяжести свалилась бы с Веры Юрьевны. Но то, что он остался, наполняло ее почти что мрачным восторгом. В тот же первый день приезда она рассказала ему в подробностях свои константинопольские похождения. На Василия Алексеевича это как будто не произвело впечатления: «Твой жизненный опыт, Вера Юрьевна. Так это и запиши». Но после разговора он совсем бросил хихикать и разводить «философшишку». К Вере Юрьевне у него появилась особая осторожность, как к чему-то, что выше меры переполнено и хрупко.

Иногда ей приходила дикая мысль (почему, в сущности, дикая?): неужели он не может придумать какой-нибудь план спасения, вытащить ее и себя из предсмертного мрака? Должен же он получить деньги от Чермоева и Манташева. Все дело в том, чтобы бесследно скрыться от Хаджет Лаше, от полиции, от русских, от

ниго прошлого... Что ему мешает? Легкомыслие, безволие? «Шут гороховый...» С папироской сидит, шуруется на поплавок. Злоба приливала к сердцу Веры Юрьевны. Сердце свирепо сжималось, в горле — злой клубок. Но понемногу отходила в тишине под плывущими над озером облаками... «Нет, он прав, конечно, — никуда не уйти, не скрыться... Все это пошлость и чушь... Клейменные...»

Однажды она попросила его присесть рядом на копне. Обхватив руками колено, сказала:

— Все время думаю о тебе, — загадочный ты человек. Скажи, ради бога, на что ты надеешься? Неужели только так — пиццегореть, выпивать и — в могилу? Ведь что-то не так... Я не про себя говорю, про тебя... Почему ты ничего не придумашь? А уж я-то не тобой, как смятая газета в пыли за автомобилем, помчалась бы... Понимаешь, у тебя вихря нет, у тебя хода нет... Ну, почему? Ты меня измучил... В Константинополе в номере у Лаше после убийства и в Париже с Левантом, когда он меня, мерзавец, на улицу посылал... это тоже было, — месяца за три до Севра... во мне была сила жить несмотря ни на что... А теперь нет... Вася, не могу представить: человек, которого любишь, этот человек больше всего мира... В нем — все... А ты хочешь уверить меня, что ты — чучело на огороде, машешь рукавами... (Покусав губы, сдержалась, — вот-вот готовая закричать.) У тебя должна быть идея... Зачем прикидываешься шутком гороховым, — с ума сойду, не пойму... Сволочь ты!.. (Побелевшим кулачком заколотила себя по колену.) Должен ты сейчас же ответить: на что надеешься? И от этого твоего ответа я буду жить или я не буду жить...

Первый раз во всю бытность Василий Алексеевич ответил важно, тихо, почти заикаясь:

— Мои достоинства, то есть одно достоинство, в том, что я тебя понимаю и всей тобой восхищаюсь... Вот объяснение, почему решил разделить с тобой все, до конца... Это — одно... Каждый человек носит в себе спектакль — пошлый, маленький или трагический, величественный... Твой спектакль, Вера, трагический спектакль. Он закончен, разучен, актеры на местах. Но зрительный зал пуст. Трагедии играть не перед кем... Один я торчу где-то там по контрамарке... Мир, где мы сейчас живем, пресытился зрелищами... Вернулись к обезьяньему царству. Я прав: Шекспир больше не нужен. А мой маленький водевильчик? Разве что перед Лилькой и Машкой по пьяному делу поломаться для смеха... Ужасно, Вера, что друга в эти годы ты отыскала себе такого, как я... Я предупреждал, — не выдумывай меня. Ты продолжаешь награждать меня своим избытком и сердись-ся, почему я пальцем не пошевелю вытащить тебя из этого ужаса... Не могу, да и не знаю, зачем это делать... Куда бы ты ни убежала, хоть на Соломоновы острова, ты — уголовная преступница, девка с желтым паспортом и ко всему тому чрезвычайно опасная, потому что всегда готова перейти через страх виселицы и потащить за собой хоминина, кто тебя нанял. Бешеное животное, вот кто ты. Спасти тебя? Дурочка. Тебе же самой не нужно спасение.

Вера Юрьевна слушала спокойно, кивала иногда, соглашаясь. Лицо ясное, даже улыбочка блуждала на бледных, не тронутых карандашом губах.

— Теперь договаривай главное, — сказал она после молчания.

— Я уже повторял, Вера Юрьевна, — не мне вмешиваться в твой спектакль. Сама, сама, не надеясь ни на кого, пойми, реши и так и поступи.

— Ты не о смерти ведь говоришь? (У нее чуть дрогнул голос.)

— Нет, не о смерти. О такой пакости не стоило бы и говорить много. Нет, я не хочу, чтобы ты умирала, любовь моя. Все зависит от установки. Если ты делаешь установку на смерть — вся твоя жизнь закрутится вокруг могилы, как водоворот, — все ближе и ближе туда — к черной дыре... Черт знает какая бессмыслица! (Едва заметно вздохнул.) Но можно представить и другую установку... Участвовать в бесконечно движущемся мире творчества. Смерть? Какое тебе дело до нее? Эта зловонная гнусность — твоя могила — выключена из сознания, из поля зрения; через нее валом валят толпы феноменальных идей, великолепные потоки жизни. Обезьянье царство сгинет, человечество расколется в новую вселенную. Человек получит свое настоящее призвание. Мозг или желудок? Творчество или пищеварение? Мы — пещерные троглодиты, мы не можем вообразить всей величины счастья, когда человечество поведут великие идеи. Люди будут испытывать неведомые нам восторги... А смерть, могила, — ты просто споткнешься и, падая, передашь другому факел... Только всего... Смерти нет... Факел летит вперед. А для желудка — хотя бы питательная таблетка, чтобы отвязаться...

— Сказки, — проговорила Вера Юрьевна, — валяешься бездельником на копне, плетешь сказки... Ты предложи-ка мне что-нибудь реальное.

— Сказки? А ты поверь. Это — ведь также все от установки. Поверь, начни приглядываться, — гроб трещит, обезьянье царство шатается. Ты видела только обезьяноподобных, а тех, кто в подземельях, — ты их знаешь? Я был в подземельях, заглянул туда одним глазом. О, какие люди, какие намерения! Сказки оказываются наяву, да такие, что не придумаешь. Мое несчастье, Вера Юрьевна, что я — спившийся барин, я — наблюдатель, я — со стороны, спектакль мой — маленький... Ты — другое дело. И тебе возможно унести самое себя совсем из обезьяньего царства.

— Не понимаю, ты про что?

Василий Алексеевич медленно кивнул красным припухшим лицом куда-то в синюю даль, за озеро. Вера Юрьевна в недоумении взглянула туда, уронив на колени руки, глядела долго. Поняла:

— Ах, вот о чем ты...

— А что, дико?

— Да ты с ума сошел... Вернуться в Россию?

— Такой страны нет больше. Россия — это мы, неприкаемые, с желтым паспортом... Третьего дня читаю в «Скандинавском ли-

«не»: русская революция отказывается от хлеба из рук спекулянт-
тин. Революция будет есть хлеб, только добытый без противоречия
принципами. Понять ты можешь это?

— Знаешь... (Вера Юрьевна сморщилась, подвигала лопатками,
точно под платье набились колючки из сена.) Я не знаю, что
происходит в России. Я-то помню теплушки со вшами, опустевшие
города, свотные кабаки, истерических баб, тыловую сволочь, про-
спиртованную военщину... Другой стороны не видала, не знаю...
Революция швырнула меня в помойную яму... Но виню в этом
только себя. Но так растленно болтать, как ты болтаешь, благопо-
лучный кот... Ужасно, это ужасно!.. Там — потоки крови, а ты
философствуешь. За это одно тебя бы там расстреляли.

— В два счета, у первого пограничного столба, без всякого
сомнения...

— Для чего же все это говорил?

— Потому, Вера Юрьевна, что я только твои мысли высказы-
вал, а мне лично — рюмочка водочки. Разговор этот нужен пото-
му, что послезавтра приезжает хозяин из Ревеля и ты должна быть
готовой...

— К чему готовой?

— К поступкам, к решениям...

Она медленно сдвинула брови, все лицо стало асимметричным,
обозначились скулы... Безобразное, кровавое и неминуемое (для
чего и приехали сюда) придвинулось. Больше уже нельзя было
змуриться. Потемнел свет над лугом, над озером, над раздумьем
этих дней.

Нальмов, лежа на животе, грызя соломинку, глядел в лицо
Иоры Юрьевны, — глаза ее подергивались пленкой, как у птицы.

44

Каждый день в штаб Лиги являлись новые члены, на вербован-
ные в Германии, Швеции, Финляндии, требовали суточных, кор-
мовых, подъемных и квартирных... Генерал Гиссер выдавал
каждому до десяти крон и предлагал ожидать — вот-вот должен-
ствующих поступить — крупных кредитов. Вербовочные списки от-
правлял американскому атташе и графу де Мерси. Так составлялся
«железный» батальон (посланный впоследствии под Петроград).

Сердце Лиги — разведка — Извольский, Биттенбиндер и Эт-
тингер пьянствовали в «Гранд-отеле», составляли сводки подозри-
тельных по большевизму лиц и под эти списки вымогали у генерала
Гиссера мелкие суммы. Лучше других работала «парижская груп-
па» — мадам Мари и мадам Лили. Приглашаемая в ресторане за
столики, Мари, ленивая, но любопытная и острая на ухо, улавли-
вала обрывочки интересных фраз. Так ей удалось установить, что
какие-то люди ожидают приезда в Стокгольм двух большевистских
комиссаров, фамилию одного услышала ясно — Красин. По поводу

этого сообщения в Лиге было экстренное заседание. Мари поручили добыть дальнейшие сведения. Ей опять повезло: она установила, что семья комиссара Красина недавно прибыла в Стокгольм. Сведения о приезде семьи Красина настолько взволновало членов Лиги, что среди ночи Биттенбиндер отвез мадам Мари к Гиссеру. Генерал выслушал ее, обнял, перекрестил:

— Вы неоцененная сотрудница, деточка, продолжайте же свою беззаветную деятельность. Россия не забудет вас.

Ей дано было экстренное задание сблизиться с курьером большевистского посольства матросом Варфоломеевым. Но он почти никогда не появлялся один в ресторане, — по-видимому, ему назначили для охраны к разным проезжим таинственным личностям. Заговорить с ним не удавалось, на зовущие томно-синие взгляды Мари он — «хоть бы хны»... Он был смуглый и мрачный, наголо обритый, с каменной шеей и налитыми мускулами под синей пиджачной парой! Мари, несмотря на лень, чувствовала легкую досаду, что такой чудно выраженный «зверь» не реагирует.

Лили успела сделать еще больше за эти дни. Очень милостивая, в простеньком платье учительницы языков, — всегда за перелистыванием журнала в вестибюле гостиницы, — Лили подманила, наконец, двух коммивояжеров — французов, развязных и легкомысленных до последней возможности. «Не преподает ли мадемуазель еще что-нибудь, кроме языков?» — спросили они. Лили смутилась. Коммивояжеры в восторге предложили ей себя в полное распоряжение. После французов в тот же день она получила час по-французски у застенчивого с виду англичанина, но этот у себя в номере оказался таким грубияном и циником, что Лили расплакалась и отказалась от урока. Затем на ее крючок налетел тот, для кого она и сидела в «Гранд-отеле», — Леви Левицкий.

— Я беру вас на всю неделю, по два часа в день, делайте из меня европейца, — сказал он Лили весело и самоуверенно, — выкаченные потные глаза, шикарный мохнатый костюм, платиновая цепочка поперек жилета, впереди живота — руки, засунутые большими пальцами в жилетные карманы, так что бриллиантовые перстни видны были всему вестибюлю.

Лили поднялась к нему в номер. Александр Борисович Леви Левицкий вынул из стенного шкафа пакетики со сладостями, бутылку сладкого вина, предложил барышне не стесняться. Повалился на диван, полнокровный и возбужденный после завтрака.

— Я не могу молчать, это характерно для меня. Знаете, что я вам предложу: я буду говорить по-немецки, вы меня поправляйте, потом то же повторим по-английски. Идет? Я буду рассказывать что-нибудь интересное, ну, например, мою биографию... Кушайте конфеточки... Так вот, с чего начать? Мой папашка — из Умани, бедный уманский портной. Вы знаете, что такое была черта оседлости, или вы не знаете? Русские лучшие люди охали и ахали, кричали: «Позор!» — а самого главного о черте не договаривали. Черта — это был сложный и хлопотливый способ русского само-

бийства... За черту была посажена европейская культура. Вы скоро ко мне привыкнете, — я люблю выражаться парадоксами... Россия не захотела идти за европейской культурой, захотела сидеть в провинции, как при царе Горохе. Еврей-промышленник строил фабрику по новейшему европейскому образцу, выписывал из-за границы новейшие машины, еврей-купец забивал русского, — он торговал дешевле, брал шесть процентов на капитал, куда русский поворачивался, еврей уже шесть раз успевал повернуться с капиталом... Что было делать русским? Перестраивать промышленность и торговлю по европейским образцам? Вы не знаете русское купечество... Так они решили, что будет дешевле натравить царя на евреев... Зазвонили во все колокола, подняли духовенство с отцом Иоанном Кронштадтским, сказали, что от евреев дурно пахнет, евреи кладут в мацу христианскую кровь, и царь повелел казнить евреев, как баранов, за черту. В России стала тишь да гладь, — спи, кушай пироги, воруй и грабь, ходи крестным ходом. Ария!.. Это было так же умно, как поставить себе под кровать ящик с динамитом!.. Вы бы посмотрели, барышня, какие характеры выговаривались в черте оседлости! Там было больше духа, чем хлеба... Среди нас были святые люди, они уходили в революцию, в подполье, на виселицы, — мы молились на них... Когда я стал парастать, помню, ох, помню в себе задор!.. Мой папашка знал талмуд, как свой наперсток, он брал деревянный аршин и хотел мне вогнать через спину усидчивость, но я сомневался — так ли уже нужен богу мой голодный нос, ползающий по талмуду. Папашка был умный еврей, он понял меня и сказал: «Каждому свое, ты можешь учиться на экстерна, ты можешь пойти в партию эсеров или эсдеков, но я не потерплю, если мне когда-нибудь скажут: ваш сын нечестный человек». Когда папашка так разглагольствовал, глаза его поверх очков поглядывали на деревянный аршин, и уже я хотел быть честным человеком.

Леви Левицкий прихлебывал сладкое вино и грыз засахаренные орешки. Он с удовольствием слушал самого себя.

— Идти на фабрику, жениться на фабричной девушке с такой сутулой спиной, как будто на ней вынесено все еврейское горе, народить издюжины голодных сопляков, — перспектива не для моего темперамента... Броситься в революционную работу? «Все равно, — сказал я сам себе, — святым считать тебя не будут, тебе не выдержать моральной высоты...» Я выбрал богатство и славу, но не сказал об этом папашке... Я стал учиться как зверь, науки шли как по маслу. В Умани я уже стал удивлять людей. Сдал на экстерна и сквозь процентную чорму протискался на юридический факультет. Как я жил это время? Я умудрялся зарабатывать — факторством, частными уроками, даже набивкой папирос — рублей двадцать пять в месяц. Я посылал мелкие газетные заметки в Одессу, Киев, Харьков... Меня заметили, — это давало еще рублей пятнадцать в месяц. Я верил в победу. Я ждал случая. Война! Через неделю после мобилизации я был уже в Петербурге... Вам не надоело слушать, барышня?

Блестя глазами, Леви Левицкий, казалось, всматривался с восторгом в пройденный путь. В Петербурге он сразу попал, как пуля в цель, в редакцию «Вечерней биржевой». Он не разменивался на вопли о русских победах, на глубокомысленные сравнения антантовской «гуманности» и немецкого варварства. Он помещал две-три заметочки петитом в конце четвертой страницы перед колонками биржевых курсов, но заметочки были очень дорогие и появлялись на день раньше, чем в других газетах... Чтобы доставить их, нужен был неисчерпаемый темперамент Леви Левицкого, двадцать семь лет кипевший в уманской глуши. В редакции посмеивались над его местечковым языком, над сверхрасторопностью, скупостью и в особенности над неожиданной дружбой с петербургским митрополитом Питиримом. Когда Леви Левицкий появлялся в редакции — черная визитка, руки в карманах, губы плотно сжаты, — ему кричали хроникеры и журналисты с тройной совестью, — все птенцы короля газетчиков, редактора «Биржевки» — Гаккебуша: «Сашка, ну как? Завтракал с его преосвященством? Распутин тебе только что звонил, кланялся. Что нового при дворе?»

Шум, телефонные звонки, трескотня машинисток, зубоскальство, анекдоты, хохот... Леви Левицкий спокойно подходил к настольному телефону (если кто-нибудь разговаривал, он вырывал у него трубку) и лез с аппаратом под огромный редакционный стол, за корзину с бумагами. Оттуда было слышно только: «Барышня, я вам повторяю номер, алло!.. Это вы, ваше преосвященство?.. Это я, Леви Левицкий. Здравствуйте, как ваше здоровье? Слава богу! Я очень рад. Мое как? Так себе. Есть интересное сообщение. Бой на Гнилой Липе... Сведения из первоисточника. Завтра уже будет в газетах, но пока на бирже не знают».

В него под стол швыряли книги, иногда вытаскивали за ногу вместе с телефоном, но он успевал сообщить то, чего еще не знали ни на бирже, ни в военном министерстве. Понемногу круг сообщений из-под стола расширялся, — он вызывал то банкира Жданова, то самого Митьку Рубинштейна, то — анонимно: «Попросите к аппарату графа...» За военные и политические новости ему платили акциями. В шестнадцатом году он играл уже самостоятельно. После убийства Распутина сказал в редакции: «Увидите, господа, кровь этого мужика затопит всю Россию...» В марте семнадцатого года он исчез на три месяца, оказалось — уехал в Умань, революция разбудила в нем своеобразное чувство сыновнего долга и честолюбия. В своих лучших костюмах он гулял по Умани, проносил речи на летучих митингах, был даже назначен уездным комиссаром по делам печати, но под конец удачно купил несколько деревянных домов и снова появился в Петербурге, утомленный и разочарованный. Здесь он свирепо рванулся в спекуляцию, картежную игру и в похождения с женщинами. В это время ему удалось перевести в Стокгольм значительную сумму денег. Когда разразился Октябрьский переворот, Леви Левицкий сказал в редакции: «Бросьте смеяться, будет гораздо хуже, будет кошмарно»

плохо. Вы не представляете, что такое русская демобилизация. Дай Бог здоровья большевикам, если они хоть что-нибудь спасут в этой каше».

Он пошел в Смольный и предложил свои услуги. Впопыхах ему поверили. Он добросовестно исполнял мелкие и незначительные работы, но умело откручивался от ответственных назначений. Он похудел, помрачнел, носил полувоенный костюм, сутуло переходил на другую сторону улицы, когда встречал старых товарищей по редакции...

— Вы спросите, барышня, что же меня удерживало в Петрограде? Немцы оккупировали Украину, восстали чехословаки, отложились Сибирь, на юге хозяйничали добровольцы и разбойничьи банды. Я отлично видел, что большевикам не выдержать и года... Но кто их заменит? Батько Махно? В душе моей был мрак, я ни во что не верил. Я получил известие, что Умань вырезана петлюровским атаманом и мой папашка погиб. Он плюнул в глаза атаману, и его мучительно зарубили шашками... Так что же, и революция не избавила нас от погрома?

Весь восемнадцатый год Леви Левицкий пребывал в состоянии величайшей растерянности: он сорвал покрывало со святыни и ужаснулся вида ее. В нем жила, напечатанная отцами и дедами в подвалах гетто, любовь к святому акту революции: от ее трубного звука рухнет стена плача, и перед угнетенными и униженными откроется свобода и богатство. Но революция, разрушив стену плача, сурово повелевала идти мимо процветания Леви Левицкого, в туманные туманы новой истории, где золото предназначалось для общественных ватерклозетов. Во что же было верить, когда сама революция обманула?

В девятнадцатом году Леви Левицкому удалось побывать за границей, он ездил в Ревель и Ригу и вернулся. Тогда ему дали более ответственное поручение — в Стокгольм. Вместе с казенными папашками он вывез туда всю свою валюту и драгоценности.

— Вот что странно, барышня, я действительно отряхнул прах с ног... Но здесь меня тянет к советским людям, право... Я не могу сблизиться с эмигрантами. У них погромное отношение к революции, они готовы молиться даже на великого князя Кирилла, дать ему шомпол вместо скипетра и еврейский череп вместо державы... Слушайте, надо же было чему-нибудь научиться!.. Но что касается женщин, — с ними я немножко сумасшедший. Боже сохрани, не раздражайте, золотко мое... Я хотел бы поговорить о вашей знакомой, такая высокая, элегантная... Помните ужин в «Гранд-отеле»? Она задела меня, скрывать нечего...

Лили, помня инструкции Хаджет Лаше, сказала:

— Я уверена, княгиня будет очень заинтересована вашим знакомством.

— Слушайте, как бы нам встретиться?

Лили сказала согласно инструкции:

— Можно здесь, в ресторане. Можно у нас на даче...

— А где она живет?

— В Баль Станэсе... Хотите — приезжайте на дачу...

Лили спешила замять разговор, — было страшно что-нибудь напутать и потом отчитываться перед Лаше... Но Леви Левицкий продолжал возбужденно расспрашивать, и Лили, запинаясь, врала про Веру Юрьевну и Хаджет Лаше (ее горячего поклонника, богатого человека и писателя), про восхитительную дачу, предложенную Хаджет Лаше в полное распоряжение женщинам, утомленным парижским сезоном. Леви Левицкий спохватился ехать завтра же. Лили, вспомнив инструкцию, сказала торопливо:

— Нет, нет. Вера сейчас немножко нездорова... Словом, я вам извещу.

Несмотря на путаницу и очевидную чушь, всегда осторожный и подозрительный Леви Левицкий не почувал опасности, — сам черт не догадался бы, что эта запинаящаяся хорошенькая девушка заманивает его в ловушку, на мучительную смерть. Он придвинулся и поглаживал холодноватую руку Лили, называя деточкой, — кровавые жилки наливались в его маслянистых глазах.

— Когда женщина ударит по нервам, — да еще такая европейская красавица, как ваша княгиня, — я готов отдать все... Вы меня понимаете? Деточка, я воспитан войной и революцией... Я голодный. Я хочу досыта накушаться жизнью.

45

После позднего обеда, в сумерках, Вера Юрьевна сидела в шезлонге на берегу озера. Неожиданно подъехал к даче автомобиль. Это из Ревеля вернулся Хаджет Лаше. Послышались голоса нескольких человек, — с ним были Эттингер, Биттенбиндер, Извольский... Кто-то из них закричал:

— Вера Юрьевна! Княгиня! Ваше сиятельство! Ваше стервятство!.. Эй, Василий Алексеевич, полковник! (Вера Юрьевна не подняла головы, не пошевелилась в кресле, подумала спокойно: «Хулиганы, бандиты, почему ни тиф их, ни пуля не взяли?...»)

Автомобиль уехал, четверо вошли в дом. Свет через раскрытое окно лег на скошенный луг. В столовой звенела посуда, хлопнула откупориваемая бутылка, и — затем — раздраженный голос Хаджет Лаше:

— Эти девки жрут тут без меня, как свиньи. Господа, господа, не начинайте с коньяка, — у нас целый ряд серьезнейших вопросов...

Тогда Вера Юрьевна поднялась и неслышно подошла к дому. До последнего слова она прослушала совещание в столовой. Лаше говорил:

— Предварительная подготовка закончена... Лига связала себя круговой порукой с Парижем, Лондоном, Вашингтоном, с Колчком, Деникиным...

Вежливый голос Извольского:

— Простите, через кого установлены связи с Колчаком и Деникиным?

— С Колчаком — через Юденича, с Деникиным — через генерала Янова... Затем мы связались с эмигрантским центром и крупнейшей нефтяной группой. Теперь я это могу открыть, господа, нами очень интересуется Детердинг... Лига неуязвима... Мы должны перейти к действиям...

(Пауза. И — голоса: Извольского: «Давно пора», Биттенбиндера: «Уррра!», Эттингера: «Честное слово, мы уже совершенно без денег, господа...»)

— Вот список, пополненный в мое отсутствие генералом Гиссером, — продолжал Лаше. — Мы его обсудим и установим очередь. Первый номер: матрос Варфоломеев...

Голос Извольского:

— В расход...

Эттингер — вскользь:

— С ним придется здорово повозиться...

— Вторым номером — семья народного комиссара Красина.

Извольский:

— А что это нам даст?

— Это даст нам самого Красина...

— Ага... Не спорю...

— Третий — полпред Воровский... Он еще в Стокгольме. Но с ним, так же как и с Красиным, я бы несколько подождал, господа, вернее — я бы не с них начал. Четвертый — это также по политической линии... Я говорю о загадочном лице, недавно прибывшем из России, — нашей разведке он известен под кличкой «в голубых очках».. Имени установить не удалось. Граф де Мерси сказал мне сегодня, что посылал запрос в Париж, и Сюрте ему ответило, что московский агент Сюрте предупреждал о возможности появления в Европе крайне опасной личности в голубых очках...

— Я его знаю, — крикнул Биттенбиндер, — голубые очки — марковский чекист... Этому молодчику спицы надо под ногти!

— Детали обсудим после... Пятым в списке — Леви Левицкий (удовлетворенное рычание собеседников...) и, наконец, шестой — Ардашев... (Снова одобрительные восклицания.) Эта тройка — Леви, Ардашев и Варфоломеев — не вызовет никаких политических неприятностей, здесь можно действовать без оглядки, кроме того, господа, вы сами понимаете, это вещественно... Поэтому я и предлагаю: начать с этой тройки. А чистой политикой займемся уже во вторую очередь.

Биттенбиндер:

— Bravo!

Эттингер:

— Поддерживаю...

Затем — холодный голос Извольского:

— Я не согласен... Господа, прежде всего мы должны оправдать свое лицо... Мы боремся за поруганную и распятую монархию.. Мы — братья белого ордена — боремся с большевиками, то есть с агентами сионских мудрецов, с еврейством в целом и с его прихвостнями — российскими либералами и интеллигентами. Наша цель — вернуть России ее исконную святую и восстановить за лотой век, когда государственный строй был подобен небесной иерархии: народ был покоен и чист духом, высшие силы заботились и пеклись о нем. Крестьянин был сыт, здоров и весел, под отеческой опекой крестьянин истово трудился, имея видимую цель: своего барина — своего отца. В свою очередь, над барином стояли высшие силы, и вся незыблемая система осеялась славой горностаевой мантии помазанника. Было легко дышать, легко жить... Так вот, господа, я полагаю, что первый наш акт должен быть чисто политическим. Это наш первый долг, этим мы поднимаем себя на моральную высоту и смело взглянем в лицо нашим друзьям... Иначе — Лига разменится на мелкие операции...

Его перебил рев Биттенбиндера:

— Хороши мелкие операции! У Леви Левицкого полмиллиарда крон на текущем счету...

— Вы меня не поняли, поручик Биттенбиндер, я говорю — мелкие в моральном смысле...

— Ну, это уже тонкости...

Лаше — мягко Извольскому:

— Не забудьте, что организация казни крупного политического лица требует огромных предварительных затрат. Ассигнованные нам суммы — капля в море, да и капля-то еще в море, а не у нас... Прежде всего мы должны пополнить нашу кассу... Итак, вопрос о Леви Левицком, Ардашеве и Варфоломееве я считаю решенным... Мой план захвата этих лиц таков...

Налымов проснулся, зажег электрическую лампочку у дивана и стал поджидать Веру Юрьевну.

Внизу в столовой бубнили голоса. Деревянные стены дома резонировали тревожно, будто волны беспокойных мыслей бежали до чердака, уносились в ночь, рассыпавшую августовские звезды над домом.

Налымов подумал лениво: «Совещаются...» Но где Вера Юрьевна? Ему до того внезапно стало жалко ее, что он сморщился и потер грудь там, где тупой болью сжималось пропитое сердце. «Да, братец ты мой... Пора, пора... Довольно, будет. Пора, братец мой...»

Под его постелью стоял чемодан, в нем в скомканном белье, в коробке от мыла, среди бритвенных принадлежностей, грязных воротничков и прочей ерунды — маленький браунинг... Эта смерть была далеко запрятана, как у Коцея бессмертного.

Он повторил: «Пора, пора!» — но даже и не пошевелился. Значит — еще не «пора». А не пора потому, что, кроме него, еще —

Вера. «Да, накачал бабу на шею... А, собственно говоря, если бы накачал? Неизбежно, братец мой, все равно — неизбежно, — не ее, так другую, именно такую. Да, братец, живуч все-таки человек...»

Осторожно скрипнула дверь, вошла Вера Юрьевна.

— Приехали, — шепотом сказала она и села у него в ногах на диван. Лицо ее было жалкое. Зрачки — во весь глаз. — Дождись...

Василий Алексеевич спросил как можно спокойнее:

— Что именно случилось?

— С завтрашнего дня начинают... Как мясники... Ну, ты понимаешь, — как мясники!.. Что же это такое?! — Она тихо зажала руки.

— Хочешь, дадим знать полиции?

— Ах, у них все — шито-крыто... У них поддержка повсюду. Все предусмотрено. Они спокойны! Пойми, какие-то фантастические злодеи!

У Василия Алексеевича задрожало где-то в кишках. Осторожно спустил ноги с дивана. У Веры Юрьевны зрачки сузились; она медлила за ним, не отрываясь. Да, надо было решать... Дряблая нога, давно отвыкшая вельть, мелко тряслась где-то в кишках... Но понимал: «Прижали вилами — выкручивайся...»

— Вера... Если ты в состоянии, — бежим...

Она — быстро:

— Куда?

— Не знаю пока еще... Там увидим... Во всяком случае, у нас будет какое-то одно очко... (Зрачки ее заматались.) А здесь они используют тебя и уберут как ненадежного свидетеля... И тебя, и Дильку, и Машу...

— Я это знаю... Я этого давно ждала... Ведь это же — мясная ловушка! Нужно бежать сейчас, — они, кажется, уже там напились... И Финляндию и в Петроград! На границе нас схватят, и мы расстреляем все... Я скажу.. (Вытянулась, зрачки — как точки...) Господин комиссар!.. Мы бежали к вам — предупредить о кошмарном преступлении... Мы — из шайки убийц. Найдете нужным — расстреливайте нас... Ведь все равно же, Вася!

— Конечно, конечно... Я бы даже так сказал: приятно быть зрителем, но наступает час, когда нельзя быть зрителем... Тут не опасности, конечно, дело... Но есть предел грязи, мерзости...

— Да, да, да...

— Теперь — практически: бежать, конечно, сегодня, сейчас. Взять только деньги и драповое пальто... Когда доберемся — там уже будут дожди, а в Питере теплого не достанешь. Да! Надень высокие башмаки... А я пойду в столовую и подпою их хорошенько...

— Сам не напейся, Вася...

— Брось!.. И жди меня на шоссе... Мы еще захватим последний поезд в Стокгольм...

Вера Юрьевна молча обхватила его, прижалась лбом, носом, губами к его жилетке. Он отогнул ее голову, растрепал волосы, погрозил пальцем ее взволнованному лицу:

— Не сплеховать!

— Нет... Иду...

Дверь в это время толкнули. В комнату вскочил Хаджет Лаше, за ним вошли Биттенбиндер и Извольский. Изрытое воспаленное лицо Хаджет Лаше кривлялось и прыгало, силясь сорвать маску Бешенство застряло у него в горле, — он шипел, заикался и брылся. Вера Юрьевна попятилась в ужасе.

Биттенбиндер подошел к Налымову и ударил его рукояткой револьвера в переносье. Василий Алексеевич схватился за голову, повернулся к дивану, нагнулся, — кровь выступила между пальцами. Вера Юрьевна закричала. Извольский сказал с кривой усмешкой:

— Господа, мы слышали все. Прошу вас не покидать этой комнаты... Мы сделаем короткое совещание и вынесем приговор...

46

В одной из стокгольмских газет появилась заметка в отделе происшествий:

«При загадочных обстоятельствах исчез курьер русского посольства некто Кальве. Идет речь о посольстве Советов, захватившем помещение царского посольства, которое принуждено теперь ютиться на окраине города. Настоящая его фамилия Кальве-Варфоломеев. Это один из матросов ушедшего в Румынию царского броненосца «Потемкин». Бунтовщики, как известно, находились под охраной международного права и свободно проживали в Европе под своими именами. Перемена Варфоломеевым своей фамилии наводит на мысль, — не скрывалось ли под этим намерение укрыться от уголовной полиции?»

«...До сих пор стокгольмской полиции не удалось выяснить причину исчезновения Кальве-Варфоломеева, также и то — было ли тут наличие преступления, или Кальве-Варфоломеев исчез, выполняя какие-то таинственные задачи...»

Откликаясь на эту заметку, ревельская (русская) газета опубликовала статью небезызвестного русского писателя-эмигранта — И. Н., с огромным темпераментом взыскующего к народам Антанты:

«...Вы, гордые своей цивилизацией, мощью и богатством, вы, удовлетворенные плодами победы и мира, вы, беззаботно посылающие своих слуг в ближайший магазин за хлебом, мясом, сахаром и папиросами, вы, безопасно разгуливающие в прочных ботинках и дорогих одеждах по улицам блестящих городов, вы, по ночам не просыпающиеся в ужасе от звука подъехавшего автомобиля... Вы, с высоты благополучия, спокойно взираете на окровавленную Россию, где ваши братья, — пусть младшие, — лишены всего, пони

месте ли вы, лишены элементарных прав человека и гражданина!.. Антихристовой формулой мы лишены хлеба! А вы слышите наши предсмертные вопли и не спешите на помощь... Мало того... Вы даете убежище большевикам и их приспешникам — вместо того чтобы сажать их, как диких зверей, в железные клетки. Да знаете ли вы, что большевики готовят вам, вашей цивилизации, вашему спокойствию? О, мы, русские, могли бы порассказать об ужасах, перед которыми побледнеет самая болезненная фантазия!»

Следовало на трех столбцах перечисление большевистских ужасов. Далее автор переходил к биографии Кальве-Варфоломеева — «того гориллообразного зверя-большевика». Автор не сомневался, что гориллоподобный курьер, наведя полицию на ложный след, на самом деле отправился в Венгрию раздувать пламя преступной революции.

Выдержки из статьи перепечатала стокгольмская газета, после чего толпа разношерстных людей собралась перед советским посольством, пыталась ворваться в парадный подъезд, но, потерпев неудачу, выкинула андреевский флаг и камнями выхлестала окошки в первом этаже.

47

В уборной для артистов — в «Гранд-отеле» — Мари пудрила плечи. У соседнего зеркала голая, лимонно-матовая, совсем молоденькая мулатка тихо оттаптывала джигу, упершись в бедра худыми руками, полузакрыв ресницы. Шесть «герлс» переодевались в спортивные юбочки среди хаоса сброшенного белья, картонок и искусственных цветов.

От резкого света стосвечевых ламп лица женщин казались кукольными, глаза — стеклянно-прозрачными. Говорили немного, негромко, профессионально озабоченно. Дули на пуховки. Деловито испытывали движения, гримасы лица, повороты тела — те самые, с трудом найденные и точно рассчитанные движения, которые из вечера в вечер превращались на эстраде в возбуждающую женственность. Там, с помоста, женщины улавливали нормальное для успеха номера количество обращенных к ним мужских лиц, нормальное вожделение. Выше этой нормы возбуждения ужинающих самцов они не шли, — каждое лишнее движение в сторону красной физиономии, давящейся бифштексом, было бы утомительно, непрофессионально и грязно. Мари с первых же дней поняла эту границу. Среди певичек, плясуний, «герлс», акробаток, фокусниц она почувствовала такую забытую потребность в уважении, товарищеской ласке, дружбе, что эта тесная, пропахшая потом и пудрой уборная стала для нее островком спасения, куда ее — загаженную по уши в грязи и крови — выбрасывало, как на свежий воздух. Здесь никогда ни о чем не спрашивали, были дружны и внимательны и с профессиональным уважением относились даже к ее

сильно пропитому голосу и дрянным песенкам, которые она пела с эстрады.

Мари напудрила плечи, через голову набросила платье в блестящих. Оно застегивалось на спине. Она подошла к голой мулатке, тихо отплясывающей джигу. Застегивая ей на спине платье, мулатка сказала на ухо:

— Вам нужно похудеть, Маша, — и прищемила жирок у нее на боку. — Здесь это сойдет, но в Париж вы не подпишете с такими боками. Перестаньте есть сладкое и мучное.

— Меня губят ужины, — с огорчением сказала Мари. — Я обязана заказывать.

Застегнув платье, девушка ласково шлепнула Мари по заду. Мари поцеловала узкое, с большим ртом, чуть плосконосое личико мулатки, ласково улыбнувшейся от поцелуя. Вернулась к зеркалу: «Да, жирна...»

— Мари, можно?

В полуоткрытую дверь просунулась бледная Лилька, — глаза птичьи, круглые, вся насыщена дрянью. Мари поспешно вышла к ней за дверь:

— Зачем явилась? Знаешь — я не люблю.

— Мари... (Дрожащим шепотом.) Мне — опять поручение...

— Я тут при чем?

— Ты всегда ни при чем — одна я отдувайся... Слушай, этот Кальве, оказывается, исчез, — которого я привезла на дачу-то... В газете напечатано — разыскивается полицией...

— Тише ты! — Мари прикрыла дверь. — Ты что узнала?

— Ничего я не узнала. Понимаешь, когда я его отвезла в Баль Станэс, мне велели вернуться и ждать тебя в «Гранд-отеле» до утра... И в это именно время, — я уверена, — что они его... (Всхлипнула.) Боюсь, Маша... Теперь велели привезти Леви Левичского.

— С Верой говорила?

— Что ты!.. К ней подойти-то страшно....

Помолчали. За бархатным занавесом кулис на эстраде настраивали оркестр. Прошли четверо, в клетчатых широких пальто с поднятыми воротниками, в мохнатых кепках, в руках одинаковые чемоданчики, — братья Хипс-Хопс, воздушные эксцентрики. Задний ласково кивнул Мари. Тогда Марья Михайловна задрожала от отвращения и — тихо Лильке:

— Ну вас всех к черту... Убирайся отсюда к черту!..

Лилька подняла плечи и пошла, не оборачиваясь. На голове ее не-лепо, как на манекене, торчала шапчонка — дурацким колпачком.

Лили села в вестибюле на обычное место, у камина.

Не переставая махали стеклянные половинки парадных дверей. Входили и выходили люди, уверенные в своем праве нести себя через жизнь. Вплывали и уплывали на спинах служителей огром-

ные груды элегантного багажа. Как сказочные гномы, выскакивали из мягко упавших лифтов ливрейные мальчики со множеством блестящих пуговичек на курточках. В коробки лифтов входили Уверенные и женщины Уверенных, — для них, только для этих земных божеств тутовые гусеницы ткали шелк, громадные кашалоты копили амбру в мочевых пузырях, под землей уголь спекался в алмаз, седел соболь под северным сиянием и восемьдесят процентов человечества добывали эти и другие прекрасные вещи, получая взамен скромное счастье созерцать красивую жизнь земных божеств, так умело и так цивилизованно пользующихся дарами природы и рук человеческих.

Среди Уверенных одна Лилька, хипесница, сидела чужая, с глупыми круглыми глазами перепуганной птицы. На прошлой неделе она выполнила задание Хаджет Лаше, — привезла Варфоломеева в Баль Станэс. Вышло это так. Предварительная слежка установила, что Варфоломеев посещал антикварную лавку и приценивался к восточным коврам. Лили должна была подойти в вестибюле к Варфоломееву и попросить как соотечественника помочь на горю: старушка мать лежит-де при смерти, все продано и заложено, но у них-де осталась одна вещь — персидский ковер, она хотела бы за него — ну хоть пятьдесят крон... Если Варфоломеев спросит, откуда ковер, — объяснить, что покойный папочка — швед по происхождению — работал в России, но из-за плохого здоровья оставил службу и еще до войны перебрался вместе с семьей в Стокгольм. А ковер-де — подарок бывшего хозяина.

Когда Лили подошла в вестибюле к Варфоломееву и заговорила, Хаджет Лаше и Биттенбиндер стояли в двух шагах. Лили была как под гипнозом. Варфоломеев сначала слушал подозрительно. Но у Лили от волнения выступили слезы, бормотала она так бессвязно и жалобно, что его широкое крепкое лицо вдруг смягчилось, виски у глаз собрались морщинками, но неожиданно все едва не сорвалось: он просто предложил ей эти пятьдесят крон взаймы. Лили растерялась. В нее воткнулись черные глаза Хаджет Лаше. Лили намотала головой. Варфоломеев вынул деньги. Тогда Хаджет Лаше решительно вмешался.

— Простите, сударыня, — сказал он Лили, — я нечаянно подслушал ваше предложение господину... (Высокомерно поклонился насупившемуся Варфоломееву.) За персидский ковер я мог бы дать более высокую цену.

Лили под колючим взглядом ответила, что уже сговорилась с господином... Лаше, ворча, отошел... Варфоломеев пожелал сейчас же взглянуть на ковер. Лили попросила подождать до вечера. В сумерки они встретились у выхода из гостиницы и сели в поджидавшее такси. За шофера сидел сын генерала Гиссера, Жоржик, отчаянный автомобилист. Выбравшись из людной части города, он на ураганной скорости погнался машину в Баль Станэс.

Все дело прошло как по маслу. У Варфоломеева не закралось подозрение, даже когда Лили ввела его в темную дачу, попросила

подняться наверх, в гостиную, и, не зажигая света, оставила одного.

Лили тотчас же увезли обратно в Стокгольм. Когда наутро они и Мари вернулись, на даче никого не было, одна Вера Юрьевна заперлась на ключ и не откликнулась. Неожиданно Лили обнаружила рязгром у себя в комнате — одеяло с постели сорвано, простыни исчезли. Лили и Мари обошли оба этажа: все — на местах, как и стояло, только в гостиной паркетный пол как будто недавно был вымыт. Сунулись опять к Вере Юрьевне, — к себе не пустила, шипела, как змея, на дверь... хотя такое ее настроение легко можно было объяснить после внезапного отъезда Налымова в Париж.

Лили не отличалась склонностью углублять явления, так и на этот раз она отмахнулась от непонятного. Но во вчерашней вечерней газете прочла, что полиция «идет по следу таинственного преступления»... «Варфоломеев исчез или убит?..» «Кто он — жертва или преступник?..» У Лили от страха расстроился кишечник. Всю ночь она прислушивалась к шорохам, но полиция не явилась в Баль Станс. Началось томительное ожидание катастрофы. Все тело ее точно измолотили невидимыми дубинками. Сейчас Лили сидела в вестибюле и воспаленными кончиками нервов ждала громового голоса: «Сударыня, следуйте за мной...»

Теперь Хаджет Лаше приказал ей привезти на дачу Леви Левицкого. Ему опять показали Веру Юрьевну. Накануне за уроком Лили сообщила ему, что княгиня будет в Стокгольме у ювелира. Леви Левицкий попросил Лили пойти вместе с ним... Они долго стояли на тротуаре у ювелирного магазина. Вера Юрьевна подъехала в машине, вышла и остановилась у витрины, где на черном бархате колючими лучами переливались камни. Вера Юрьевна была в седых соболях, бледна, потрясающе шикарна. Перед витриной, в блестящей суеде улицы, эта неподвижная, высокая и недоступная женщина отшибла у Леви Левицкого остатки благоразумия. Он намеревался было заговорить, но Вера Юрьевна, не замечая его, вернулась в автомобиль и исчезла среди несущихся вниз по крутой улице машин, автобусов, трамваев...

На диван рядом с Лилькой тяжело плюхнулся Леви Левицкий. Она обмерла. Он положил горячую руку на ее колено:

— Когда же, когда, Елизавета Николаевна? Завтра наверное?

— Да... (Чуть слышно.) Завтра... Вечером...

— Вы чем-то расстроены, золотко мое? Ну-ну-ну... (Потрепал по колену.) Только шепните ей про меня — ничего для вас не пожалею...

Лили проглотила слюну, — средство не помогло: как из лейки, вдруг брызнули слезы. Уткнулась в платок. Леви Левицкий с горячей отзывчивостью сжал ее руки, нагнулся к лицу:

— Детка моя, кто же вас так расстроил? Можно помочь как-нибудь? Ай-ай-ай... Денег, что ли, нет? Э, бросьте, а Леви Левицкий на что? Пойдемте-ка, золотко, ко мне в номер да выложите все, как родному брату...

Лили ладонями зажала трясущийся рот, чтобы не заорать на весь вестибюль. Кое-кто из Уверенных стал уже оборачиваться с неодобрением... Нахмурился портье за конторкой. Тогда Лили стащила с себя шапочку и закрыла ею лицо. Еще секунда, и она утонула бы в грудь этого доброго Леви Левицкого и вырыдала всю свою отчаянную растерзанность. Но вовремя от этого безумного шага ее удержал пристальный взгляд Биттенбиндера, — поручик был в смокинге, цилиндре, с черным плащом на руке.

— Нет, я оттого, — пролепетала она, — что моя мамочка при смерти

Леви Левицкому вспомнился зарубленный петлюровцами папашка. Искренне и пылко жалея девушку, он настоял, чтобы она ужинала с ним ужинать. Биттенбиндер сделал знак, и Лили согласилась.

48

Тогда ночью в Баль Станэсе президиум Лиги вынес смертный приговор Налымову и Вере Юрьевне. И она и он выслушали его с каким-то даже облегчением, — наконец кончена канитель! Издольский, прочтя приговор, разорвал бумажонку и обрывки поджег спичкой. Вера Юрьевна и Налымов сидели на диване, президиум расселся напротив, Хаджет Лаше немного впереди других. Он уже успокоился, подогнул под стул ногу, уперев руку в бедро, поигрывая концом кавказского пояса, игриво поглядывал на Веру Юрьевну. Выдержав минуту, чтобы приговоренные полной мерой полюбили предсмертной тоски, закончил решение президиума:

— Считаясь с нуждами Лиги, мы откладываем исполнение приговора и даже даем обоим государственным преступникам возможность загладить беззаветной работой свой проступок. Полковник Налымов немедленно выезжает в Париж к своим обязанностям, Евгения Чувашева остается здесь под моим личным наблюдением...

Налымова увезли в автомобиле на следующее утро, не разрешив проститься с Верой Юрьевной. Она получила от него на другой день открытку в два слова. Ночью Хаджет Лаше говорил Вере Юрьевне:

— Красавица моя, от вашего поведения зависит жизнь полковника Налымова: попытайтесь послушаться меня хотя бы в мелочках, — обещаю прострелить ему башку. Понятно? Его я также предупредил, что спущу вас в мешке в озеро, если он попытается нырять там, в Париже. Понятно? Кроме того, если он сделает глупость — донесет полиции, донос поступит ко мне же, в первую голову. Последствия понятны. Ну-с, а ваши предположения, что всех вас по миновании надобности Лига «уберет», как вы или Василий Алексеевич тогда выразились, кошечка моя, — истерический вздор. Денежную долю выделим вам широко, милуйтесь себе на здоровье хоть на Соломоновых островах... Пора понять: в политике

я жесток, вне политики — доброжелателен. Может быть, я — последний романтик, почитали бы все-таки мои книжечки. Особенно рекомендую роман «Убийца на троне». Там с большой эрудицией описываются турецкие пытки... А также глубокое знание женской души... (Весело открыл зубы.) Итак, по рукам?

Что же ей оставалось? Хаджет Лаше внушал ей ужас. Он и не скрывал, что намеренно усиливал близость между ней и Нальмовым. «Не на один, так на другой крючок вас возьму, если смерти не боитесь». И действительно, если в ней и оставалось что-нибудь живое — так только отчаянный страх за Васеньку.

Оставаясь одна на даче, Вера Юрьевна тихо выла в подушку. И приказания Хаджет Лаше исполняла в точности. Только один раз, недавно ночью, не выдержала... Затыкала уши, совала голову под подушку, — не могла больше слушать протяжного крика боли, доносившегося из гостиной. Крик обрывался. Она различала мужское всхлипывание. Начиналась омерзительная возня... Бормотание голосов. Удары. Тишина. Острый крик раздирал ночную тишину (Хуже всего, что она видела из окна в Лилькиной машине этого Варфоломеева.) Кричал сильный, полный крови человек...

Вера Юрьевна сорвалась с постели, выскочила на балкончик, сползла по низко спускающейся крыше на луг, побежала к озеру и дальше — к березовому леску. И там до зеленого рассвета трислась в одной сорочке.

Но и эта ночь миновала. Остался только непроглотный клубок в горле, — не запить никаким вином. Веру Юрьевну два раза таскали в Стокгольм — вечером в ресторан, днем на свидание к Леви Левицким у ювелирного магазина.

Наконец Лаше сказал:

— Завтра его привезут. Может, все обойдется вполне прилично, — я еще не решил... Тогда вам придется пофлиртовать. Не давайте себя откровенно лапать, но и не очень его отпугивайте.

49

Леви Левицкий брился, стоя перед зеркальным шкафом. Что могло быть лучше ощущения горячего прилива жизни! Черт возьми, какая легкость! Кровь так всего и обмывает, мыло шипит на щеках — до чего щеки здоровы. Хорошо, что вчера не пил водки (угощая ужином Лили), только стопочку шампанского! Здесь пить надо бросить, — жизнь пьянее вина. Водка, спирт, автомобильная смесь, — пили мы, братишечка, чтобы отмахнуться от жизни... «Эх ты, яблочко!..» Он повел плечом, и ноги сами притопнули по ковру. Это же — счастье, полная жизнь! И, вдруг испугавшись, — не прыщик ли? — придвинулся к зеркалу. И загляделся на себя... Ах, Леви Левицкий, ты ли это?

Положив бритву на стеклянную доску на туалете, смочил полотенце одеколоном, осторожно вытер щеки и шею. Припудрил

тальком из пестрой жестианки. Эти предметы высокой культуры, разбросанные по столикам и креслам, усиливали ощущение полноты жизни. А помнишь, братишка, питерский пропотевший френч, хлопающие сыростью башмаки, белье, липнувшее к телу? Влагословенны шелковые кальсоны, паутиновые носочки, лакированные башмаки, внутри выложенные замшей и посыпанные тальком, чтобы нога нежилась, как в утробе матери.

Он отворил дверцу в ванное помещение — изразцы озарены пестрым витражом окна. Повернул никелированные краны, синеватая горячая вода зашумела в белую ванну, поднимая облачка пара, и вдруг ему стало страшно: слишком уже все хорошо... А вдруг все это — на ниточке? Он сел на край ванны, мрачно задумался. Еще в постели он просмотрел утренние газеты. Германия и особенности внушала самые серьезные опасения. Очень ненадежно. «Черт их знает, на что-то надеются же большевики. Прут напролом, да еще издеваются... Какие-то данные должны у них быть для такой уверенности. Ой-ой-ой!.. Версальский мир! Пропаганды для европейской революции лучше и не придумать».

Леви Левицкий закрыл воду, сбросил пижаму и, вздрагивая от сверлящего наслаждения, лег в ванну. Глядел на пестрых рыцарей на витраже.

«Что, если все — вздор? Русская революция просто — затянувшаяся демобилизация? Большевики — книжники, спятившие с ума? Ну-те-с! Тогда версальцы не такие уж ослы. Германия и Россия — две половинки одного тела, — индустрия и сырье. Версальский мир весь целиком направлен против Востока, — считая от Рейна до Тихого океана. А если так, — Антанта получает рынок, какой и не снился человечеству. Германские заводы переходят к Франции и Англии. Широкий карательный марш на Восток. Народики российских федеративных республик разметываются, как мусор. Вслед за армиями Антанты вливается излишек европейского населения. И великолепнейшую буржуазную культуру железным гвоздем приколачивают до самого земного пупа на веки веков — от Великой Британии до Тихого океана».

Леви Левицкий длил наслаждение, поворачиваясь с боку на бок в ванне. Нет, будущее — лучезарно. За будущее он спокоен. И мысли его перенесли к волнующей женщине из Баль Станэса. Вдруг он вспомнил: «Черт, цветов забыл!» Торопливо вышел из воды, растерся, надушился, припудрился и начал одеваться, выбрав самый лучший костюм.

Роскошной бабочкой Леви Левицкий стремительно летел на огонь. По телефону он заказал букет белых роз. Легко позавтракал, без вина, — только рюмочка ликера с черным кофе. Спросил гавану в шесть крон. Попыхивая ароматным дымком (каким попыхивают только самые богатые люди на свете), самоуверенно, исторопливо вышел в вестибюль за шляпой и тростью. Навстречу

с кожаного дивана поднялась Лили, пробормотала, что автомобиль уже нанят и ждет.

— Превосходно, — сказал Леви Левицкий, беря у ливрейного мальчика шляпу и трость. Его не удивило ни землистое лицо Лили с провалившимися глазами, ни то, что нанятый автомобиль стоял не у подъезда, но довольно далеко от гостиницы, за углом.

Усевшись на заднее сиденье машины, Леви Левицкий сказал адрес цветочного магазина. Шофер (Жоржик Гиссер), как будто не поняв приказания, быстро поехал не в сторону Биргельярлс-гитан (где был цветочный магазин), а к набережной. Леви Левицкий схватил его за плечо (Жорж, не оборачиваясь, болезненно осклился) и крикнул с раздражением:

— Елизавета Николаевна, скажите этому болвану по-шведски, — я должен заехать за букетом...

Машина повернула на Биргельярлс-гитан. В то время когда Леви Левицкий платил в магазине за цветы, шофер Жорж успел заскочить в уличный автомат и по телефону запросил Баль Станэ:

— Гость наследил. Что делать?

Голос Хаджет Лаше бешено, отрывисто:

— В чем дело? Точнее...

— Покупает на Биргельярлс-гитан огромный букет. Десятки свидетелей...

— Невозможно!.. (Голос захлебнулся и затараторил татарские ругательства.) Все делается из рук вон! Позовите к телефону Елизавету Степанову. (Жорж ответил: «Нельзя, говорю из уличного автомата».) О, черт! (Опять по-татарски.) Ананасана... Бабасани! Везите, все равно...

Букет был завернут в тончайшую шелковую бумагу. Леви Левицкий держал его на коленях, как свое счастье.

Он был счастлив за эти двадцать пять минут перегона по великолепному шоссе от Стокгольма до Баль Станэса. Он сказал Лили, что Европа для него, в сущности, тесна, развернуться можно только в Америке, где, «душка моя, вот вам мое слово: этих башмаков не изношу, — буду иметь собственный банк и парочку небоскребов...»

На завороте шоссе автомобиль почти коснулся крылом мелькнувшей навстречу машины, — она шла из Баль Станэса в Стокгольм. За стеклом две пары свирепых глаз укололи Леви Левицкого. Но заметила это только Лили, узнав Биттенбиндера и Эттингера. Затем — за поворотом — открылось кубово-синее, среди желтеющей листвы, длинное озеро. Лили указала на черепичную кровлю уединенного дома. Быстро покрыли дорогу вдоль леса. У подъезда дачи на садовой скамейке сидел Хаджет Лаше и до бродушно курил из длинного мундштука.

— А-а, милости просим, милости просим... Давно друг друга знаем, но не знакомы, рад, очень рад, — сказал Хаджет Лаше, задерживая руку Леви Левицкого. — И с цветами! По-европейски.

Княгиня вас поджидает Не нравится мне ее здоровье, — настроиме, нервы... Да, да, все мы здесь чахнем потихоньку без родной ночвы... Вера Юрьевна! — крикнул он, задрав к окну голову и расставя ноги, — гость из Петрограда... Да, поджидает она вас, очень поджидает... Елизавета Николаевна, по русскому обычаю, гостя надо бы чайком. (Лили сейчас же ушла в дом.)

— Да вы садитесь, Александр Борисович, в ногах правды нет... Давно ли из Петрограда? Ах, иногда все кажется, как сон какой-то... Помню, — давно ли это было, — Невский проспект: чинно, строго, прочно. Войска проходят с музыкой... Спешат чиновники, мчатся коляски, юнкера на лихачах. Помните пару вороных под синей шелковой сеткой — запряжку императрицы? Любил я глядеть, как, бывало, идет генерал в кожаных калошах с медными пятками, помните? Может быть, сам-то по себе заурядный человек, но сознание в лице, что — высший представитель империи. И это было внушительно. Солдаты — раз-раз — во фронт, юнкера — дзынь, дзынь — в четверть оборота, локоть — в уровень козырька. Красиво! И вместо этого на пустынном Невском — выбитые стекла и лошадиная падаль. Да, да, вот сию здесь и размышляю о скоротечности всего земного...

В это время произошло что-то мгновенное и малопонятное... В дверях дома появилась Вера Юрьевна. Только по росту, по меху на плечах Леви Левицкий узнал ее, — бледное, густо напудренное лицо было искажено гримасой перекошенного рта. Соболий палантин у самого горла она стискивала худой, в перстнях, рукой, ногтями — глубоко в мех. На пороге споткнулась и с каким-то отчаянием протянула руку перед собой. Хаджет Лаше кинулся к ней, втолкнул в дом и захлопнул за собой и за нею дверь. Все это — в долю секунды. Леви Левицкий в недоумении остался на скамейке.

Дотавив Веру Юрьевну до внутренней лестницы, Лаше придвинулся вплоть вздувшимся от гнева лицом и — без голоса:

— Это что же... знаки? Ананасана! Знаки подаешь? Марш! В постель!.. Лечь... Предупреждение последнее...

Под мехом он ловил ее руку, чтобы сломать пальцы. Вера Юрьевна пошла наверх по лестнице неживыми шагами. Лаше вернулся к Леви Левицкому. Ударил себя по ляжкам. Сел:

— Вы видели? Ну что с ней поделаешь! Опять припадок истерии. Переволновалась, ожидая вас, что ли... Приказал, буквально силой, — лечь... (Всовывая папиросу в длинный мундштук.) Доктора, ах, доктор! Кого ей только не привозил... Без докторов понятно, что будь при ней муж, любовник, грубо говоря, хороший самец, — вот и все лекарство. Да, тяжело, Александр Борисович, мне, право, совестно перед вами... Да и княгиня будет в отчаянии... Приезжайте-ка к нам, батенька, и просто ужинать... Будут милые люди... Засидимся — останетесь ночевать... Условились, а? Завтра вечером, идет? Этот же шофер вам и подаст машину... Но только уж никаких букетов... И просьба... Не говорить никому... Знаете, голодные эмигранты такая бесцеремонная публика, — чуть где запахнет ужином, — так и тянутся на огонек...

Остаток дня Леви Левицкий прогуливался по Ваза-гатан. Купил чудные перчатки антилоповой кожи и машинку для точки бриты. Потом зашел в кино, где шла новинка — «Три мушкетера». Три французских дворянина и их друг совершали чудеса храбрости во имя чести, Франции и короля. Леви Левицкий скучал, — кому нужна эта неправдоподобная чепуха?

Ужинать пошел в известный кабачок «Три рюмки», но и здесь было скучновато, пресно. От сегодняшнего посещения Баль Станжи оставалось смутное впечатление чего-то болезненного и тоже неправдоподобного... «А не бросить ли канитель с этой бабой? На верное, с фокусами, подумаешь — аристократка!..» Спать он лежал раздраженный, неудовлетворенный.

Утром, лежа в ванне, окончательно решил: довольно нежиться, довольно сладострастничать, мотать деньги. Первое — прочь из этой дыры, Стокгольма, — на простор, в Америку. В девять часов он позвонил Ардашеву и к двенадцати поехал к нему завтракать. Задача: устроить через Ардашева американскую визу.

Николай Петрович встретил его, размахивая объективом комвертом, сплошь облепленным марками — они тянулись в виде хвоста на особой подклейке. Леви Левицкий засмеялся:

- Узнаю советскую почту. От кого?
- Представьте, дошло! От Бистрема.
- Ну-ка, ну-ка?
- За кофе прочтем.

Сели завтракать. После водочки, когда у Ардашева увлажнились глаза, Леви Левицкий изложил просьбу об американской визе. Николай Петрович отнесся к этому чрезвычайно серьезно.

— Дорогой мой, вы хотите окончательно эмигрировать?

— Не понимаю такого вопроса, Николай Петрович, — я не был и не буду эмигрантом... Я должен испытать счастье, раз уже вырвался за границу... Во мне столько темперамента, столько энергии, удачи, честное слово, — жалко бросать Советской России такой кусок! Мне нужен Буденный, а я боюсь острых предметов, сижу на лошади, как собака на заборе. Года через три или я сделаю миллионы, или лопну, как мыльный пузырь... Тогда уж вернусь в Советскую Россию, раскаюсь (рассмеялся) и отдам себя революции. Вы понимаете, я — слишком Я... Это мне мешает спать. Зла трудящимся я не собираюсь делать, разве пушу в трубу десяток-другой спекулянтов...

Ардашев снял серебряную крышку с дымящегося блюда. Близоруко прищурился.

— Мне-то уж слишком смешно быть моралистом, Александр Борисович... Эмигранты считают меня большевиком, большевики — буржум. И те и другие правы. Я верю в правду революции, но не верю в себя и продолжаю кушать с серебряной тарелки... И вас я понимаю. Вы цельный человек... Но было бы больно увидеть вас среди врагов Советской России.

— Боже сохрани! Николай Петрович, Россия была мне злой мачехой... Но зла я не хочу помнить. Богом вам клянусь, чем хотите: будет у меня сто миллионов, все равно в душе останусь пролетарием!..

Он сказал это горячо, с верой в себя и в сто миллионов. Выпили под дымящееся блюдо. Ардашев обещал завтра же сходить в американскую миссию.

— Должен вас все-таки огорчить, Александр Борисович: Америка сейчас — не слишком удобное поле для игры. Нет ничего прочнее американских бумаг. Игра сейчас — здесь, в Европе. За войну Америка ввезла сюда товаров более чем на десять миллиардов долларов. По крайней мере половину этого не успели израсходовать. Считайте, что в Европе болтается на разных складах, в юсных министерствах, у разных спекулянтов — обуви, белья, изделий, консервов, печенья, варенья, муки, табаку, мороженого мяса и прочего на пять миллиардов долларов. Вот и положите эту сумму себе в карман, Александр Борисович... Потом соберемся опять у меня за завтраком и посмеемся, как два авгура, знающих цену долларам, человеческой низости и юмору.

— Слушайте, вы серьезно советуете обратить внимание на Европу? Ладно, подумаю... Читайте письмо Бистрема.

Начало письма было о матери Бистрема, — он просил Ардашева сходить к ней и, если нужно, помочь денежно. «Передайте мамочке, что здесь я, во всяком случае, в большей безопасности, чем живя в Стокгольме». Сообщал о себе: вначале он работал в Наркомпрозе. «С нетерпеливостью революция требует от наук и искусств покинуть горные вершины и все свои сокровища отдать массам. Грандиозные здания бывших учреждений и дворцов отводятся под академии. Туда привлекаются все, кто может чему-нибудь научить: ученые, академики, специалисты, поэты, философы, билетные танцоры, музыканты, режиссеры... Бесчисленное множество факультетов и аудиторий заполняется толпой рабочих и работниц, красноармейцев, подростков и стариков. Половина этих людей не знает грамоты. Но они, как растения в засуху, пьют влагу знания. В одном зале знаменитый астроном, с мешком для пайков за спиной, в калошах на босу ногу, читает о мироздании. Тысяча человек, таких же голодных, как он, слушают как очарованные о небесных туманностях, о лучах света, ползущих миллионы световых лет по сферическому четырехмерному пространству. Тысяча слушателей чувствуют, что эфир, туманности и свет завоеваны ими, они свои теперь, советские, как этот дворец, как этот величественный и суровый город. В другой аудитории бледнолицый поэт говорит о ямбах и хорях, трехдольных паузниках, ритме, аллитерациях, читает поэмы Пушкина под всеобщее одобрение, с бешенством нападает на символистов и поздравляет слушателей с появлением космического гения Хлебникова. В третьей аудитории деревенские парни, сняв простреленные шинели, обучаются движениям классического балета, и это не смешно, по-

тому что революция взамен мешанских материальных благ при горшнями швыряет величайшие сокровища тысячелетней цивилизации.

Жизнь с каждой неделей все тревожнее: растет голод, белые армии теснее обхватывают пределы республики.

Из Наркомпроса меня перебросили в отряды по продразверстке. Нужно силой добывать хлеб у все более лютеющего кулачья. () да, я научился ненавидеть сытых... Я пересмотрел мое философическое отношение к еде. В этой точке начинается расхождение двух мировосприятий: чувственного и идейного, индивидуалистического с его «сегодня» и социалистического с его «завтра»... Я вижу, вы читаете это письмо за завтраком и улыбаетесь. Николай Петрович, я немного похож на голодного оптимиста, не имеющего чем набить желудок и бодро философствующего на тему, что не единым хлебом жив человек. Да, я хочу есть, и это мучительно. Но мозг мой ясен и верит в победу великих истин, и долю истинны вы найдете в моих рассуждениях.

Самая буржуазная нация, французы создали из еды искусство, более почитаемое, чем все остальные. В хоровод муз они ввели десятую музу — Кипящую Кастрюлю. Эту бабу, с глазами восхитительно пошлыми и засасывающими, богиню всех рантье, мелкий буржуа, богиню угрюмой жадности, индивидуализма, человеконенавистничества, богиню тухлой отрыжки, называемую также — Версальским миром. Эту мировую стерву я со всей классовой ненавистью выкидываю из хоровода муз. Десятой музой я ввожу крылатую музу Революции, уносящую на своих пылающих крыльях человечество к голубым городам социализма. Она — со мной, опершись о мой стол (где пишу вам при свете коптящего фитильки в консервной жестянке), глядит в мою совесть глазами прозрачными, как математическая формула, неумолимыми, как декрет, светлыми, как утренняя заря.

Не думайте все же, Николай Петрович, что я занимаюсь здесь одной поэзией при свете копилки. Это мой досуг, очень скудный, кстати. Вчера вернулся из двухнедельной поездки с продотрядом. Нас было четырнадцать человек — двенадцать рабочих-металлистов, комиссар и я — агитатор. Из отряда вернулись живыми двое — пятидесятилетний рабочий Чуриков и я. Двенадцать вагонов хлеба, которые мы успели пригнать в Петроград, стоили нам двенадцати жизней: в дождливую и ветреную ночь комиссар с одиннадцатью товарищами были зарублены топорами, сожжены вместе с сараем, где ночевали. Мы с Чуриковым спаслись только потому, что в этот час были на железнодорожной станции.

Боюсь, что мне теперь долго не придется писать вам. События для нас, петроградцев, чрезвычайно угрожающие. По нашим сведениям, Антанта серьезно принялась вооружать Юденича и финнов. Петроград — на мушке дальнобойных орудий финского берега, Кронштадт — под жерлами английских дредноутов. Наступлениям ждем со дня на день. А Москва продолжает высасывать у нас силы

или иных фронтов. Есть слухи (но, очевидно, панические, а может быть, и провокаторские) — будто бы Петроградом на крайний случай решено пожертвовать и базу тяжелой индустрии перенести на Урал и в Кузнецкий бассейн. Слухи подогреваются приказами об эвакуации заводов. Но рабочие отвечают на это примерно так:

Рабочие Ижорского завода постановили: «Всякую эвакуацию прервать, дабы не вводить дезорганизацию как в среду рабочих, так и во вполне налаженную работу по бронированию автомашин. Мы, ижорцы, закаленные в боях, твердо верим в победу, крепко стоим на своих постах и знаем, что и когда нужно делать, когда и какую работу производить и когда нужно заниматься эвакуацией».

Впечатление от этого письма было настолько крепкое, что Леви Левицкий и Ардашев долго молчали, — один, навалив локтями на стол, глядел в пустую синеву окна, другой, поджав губы, мял хлебные шарики. Потом они заговорили о судьбе революции, водочащей на ногах чудовищные гири: на левой — семьдесят пять процентов неграмотного населения, на правой — интервенцию с большими генералами и за спиной — змеиный клубок заговоров.

Ардашев откупорил бутылку коньяку, — сердца у обоих разгорячились и умилились. В этот час оба, казалось, готовы были отдать жизнь за справедливость.

— Честное слово, я вернусь, я вернусь, я должен вернуться, — повторил Леви Левицкий. — Здесь я себя не уважаю! Человек может пачкать себе лицо, но жить в грязи? Нет! Нет!

Возвращаясь уже под вечер с затянувшегося завтрака, Леви Левицкий не останавливался перед витринами, не дергал ноздрей в сторону хорошеньких женщин. Он купил русских и немецких газет, вернулся в гостиницу, снял пиджак и сел читать. В Венгрии — революция, в Германии — вот-вот восстанут спартаковцы, в Англии — забастовки, в Италии — невообразимый хаос. Душа Леви Левицкого расщепилась. «Они правы, черт их возьми, правы, правы, — бормотал он, хватая, бросая, комкая газеты, — это начало мировой революции...» Заглядывая в котировку биржевых курсов, сличая их со вчерашними, шумно сопел носом: «Ардашев прав, деньги нужно делать в Европе, и именно там, где все на волоске». Наконец он начал ходить из угла в угол, волоча за собой табачный дым. В дверь слабо постучали. Бесцветной тенью появилась Лили:

— Вера Юрьевна просила передать, что очень извиняется за вчерашнее, непременно ждет вас сегодня к обеду, к семи часам.

— Вы знаете, я, кажется, не поеду... А? (Лили опустила голову.) Золотко мое, извинитесь за меня... Или я напишу. (Лили тенью стала уползать в дверную щель.) Может быть, отложим?

И вдруг в нем поднялось желание, такое вещественное и мучительное, что, стиснув зубы, он за руку втащил Лили в комнату.

— Подождите... Княгиня ждет меня, говорите?

— Да, они очень ждут.

— Ну, раз ждут... Буду европейцем... Что нужно — смокинг!
Через десять минут буду готов.

— Я заказала автомобиль... Вы одни поедете, я позже...

Закрыв за ней дверь, он взглянул на часы: двадцать минут седьмого. Он торопливо достал крахмальную рубашку и, ломая ногти, всовывал запонки. Желание раздавливать его, как лягушку в колесной колее, и он, сердясь на запонки, бешено оскалился. Ни остроумие все же никогда его не покидало: покосился в зеркало, пробормотал:

— Завоеватель Европы...

51

— Едет, — сказал Хаджет Лаше.

Он вышел на крыльцо. В сумерках, быстро приближаясь, шумела машина. Лаше схватился за перила, слушал, всматриваясь.

Вдали выступали из темноты березовые стволы, свет фар побегал по стволам. Лаше снял руки с перил, провел по волосам. Сошел с крыльца.

Со всего хода автомобиль затормозил. Лаше подошел, дернул дверцу. Из автомобиля неуклюже, боком вылез Леви Левицкий. Поправил шляпу, глядя на темный дом, где — ни одного освещенного окна.

— Приехали все-таки... — обеими руками Лаше потер щеки.

— А что? — почти с испугом спросил Леви Левицкий.

— Да ничего, все в порядке... Ждем... Кто-нибудь знает, что вы поехали сюда?

— Нет... Вы же просили...

— Кому-нибудь да сказали все-таки?

— Слушайте... Это странно даже...

— Завтракали у Ардашева?

— Ну, завтракал...

— Он знает?

— Что? Что он знает?

Оба говорили отрывисто, торопливо, сдерживая нарастающее волнение.

— Да никто ничего не знает, — сердито сказал Леви Левицкий. — В чем дело?

Хаджет Лаше придвинулся.

— Ах, в чем дело, хотите знать?

Это уже походило на угрозу. Леви Левицкий оглянулся, сейчас же Жорж погасил фары. В руке Леви Левицкого задрожала тросточка. Но он был больше растерян, чем испуган. Что все это могло значить? Лаше или сумасшедший, или бешеный ревнивец...

— Я не навязывался ни к вам, ни к вашим дамам... И даже ехать-то не имел особенного желания... (Леви Левицкий осмелел

и петушился.) Княгиня хотела о чем-то со мной говорить... Пожалуйста... Не нравится мое присутствие? Пожалуйста...

Он повернулся к автомобилю. Жорж торопливо отъехал. Леви Левицкий остался с поднятой тростью. Лаше — мягко, с завыванием:

— Милости просим в дом, дорогой товарищ, поговорим по душам.

Больно схватил за руку выше локтя. Леви Левицкий с силой рванулся. Из темного дома на крыльцо вышли трое. У него стало тошно в ногах. Три человека сбежали с крыльца, вырвали у него трость, сбили шляпу. Двое — под руки, третий, схватив сзади за штаны, втащили в дом, в темноту. Все это — мгновенно и молча, только шумно сопел Хаджет Лаше.

— Наверх его, наверх...

Леви Левицкий в изорванном смокинге, с выскочившими запонками полулежал на угловом диване наверху, в комнате с камином. Лице в темноте его обыскали, взяли бумажник, документы, золотой портсигар, часы с бриллиантиками, сорвали перстень с пальца. Кто-то наконец, зажег свет. Четыре запыхавшихся человека стояли перед ним... У Хаджет Лаше, как резиновое, ходило ходуном изрытое лицо. Рыжеволосый Эттингер, от сердцебиения побледневший до веснушек, вытирался платком. Биттенбиндер свирепо выпячивал губы. Извольский свинцово глядел в лицо Леви Левицкому. Затем кто-то достал папиросы, и все четверо жадно закурили.

Извольский, не спуская темных от ненависти глаз с Леви Левицкого, сказал тихо:

— Мерзавец! Товарищ большевик! Ты приговорен Лигой спасения Российской империи... Сволочь, жид! Повесить... твою мать!

Он качнулся, точно падая, ударил его в лицо, но Леви Левицкий втянул голову, и кулак стукнул ему о череп. Биттенбиндер, отстраняя Извольского:

— Это ему что! Пытать его...

Извольский — тяжелым дыханием поднимая и опуская плечи:

— Излишне... Повесить и — в озеро.

Леви Левицкий глядел на Хаджет Лаше, чувствуя, что это — главное. Лаше подошел, — он был в туго перепоясанной малиновой кавказской рубахе.

— Ты в руках грозной организации, голубчик... Тебе не уйти... Но можешь смягчить свою участь, ты понял меня?

Извольский, — топнув, резко:

— Смягчить? Не согласен...

Лаше всем телом повернулся к нему, Извольский опустил глаза... Лаше — опять:

— Ты понял, голубчик?.. Так вот: где ключ от твоего сейфа? Леви Левицкий облизнул губы.

— Где ключ от сейфа? — повторил Лаше. — И сообщить подробно, сколько вывез бриллиантов, валюты... Поддай чековую книжку... Ну, что же ты молчишь?

Все четверо глядели на Леви Левицкого так, будто изо рта его сейчас посыплется золотые червонцы. Но он, полузакрыв веки, ноздри его трепетали, — ненависть, выношенная десятками еврейских поколений в гетто, каменное упрямство, ненависть и упрямство, более жгучие, чем страх смерти, высушили его горло, в ответ он только проворчал невнятное...

Биттенбиндер — зловеще:

— Что-о-о? Повтори, скотина!

Лаше, — начиная завывать:

— Отказываешься отвечать, голубчик? Говорить отказываешься? (Голос взывал все выше, глаза завертелись.) В последний раз спрашиваю, голубчик: где ключ от сейфа, где чековая книжка?

Облизнув губы, Леви Левицкий, наконец, ответил:

— Я не большевик. Мои деньги — это мои деньги... Отвечать мне нечего... Бриллианты — чушь! И здесь не контрразведка...

Тогда Хаджет Лаше кинулся на него, запустил большие пальцы в рот, рвя ему губы, вертя голову. Заходясь голосом, закричал Извольский. Кричали все, сбившись у дивана. Руки Левицкого кто-то схватил, скручивая в кисти. От возни поднялась пыль. Звенели стекляшки в люстре.

Лаше запыхался, отвалился. От него шел резкий чесночный запах. Леви Левицкий остался лежать навзничь на диване. Из ноздри, из угла разорванного рта ползла кровь. Одна штанина сорвана, на оголенном вздувшемся животе — красные полосы. Он потерял сознание, когда ему вывертывали кисти рук.

Извольский опять предложил всем папирос. Схватили, закурили. Лаше, — яростно плюнув:

— Какой черт выдумал крутить ему руки?

Биттенбиндер — вызывающе:

— Я выдумал.

— Идиот!

— Но-но, потише!

— Пьяная морда. Он же должен подписать чеки... Как он будет подписывать чеки свернутой рукой? Поди — принеси воды...

Биттенбиндер принес из Лилькиной комнаты кувшин с водой. Лаше вырвал у него кувшин, плеснул, затем весь кувшин вылил на лицо Леви Левицкому. Тот застонал. Медленно очнулся. Глаза, сначала бессмысленные, налились ужасом. Он поднял изуродованную правую руку, посмотрел на нее, мокрое лицо его сморщилось от безмолвного плача. На вопрос, будет ли он теперь отвечать, Леви Левицкий вздернул голову и, пуская кровавые пузыри, начал проклинать этих четверых на том древнем языке, который слышал от папашки, читавшего талмуд. Тогда все опять сорвались.

— Огонь разводи! Огонь! Спички!.. Ананасана!.. Огня!.. — кричал Хаджет Лаше, размахивая каминными щипцами...

Вере Юрьевне давеча велели быть в столовой. Там она и осталась в темноте, — впопыхах о ней забыли. Впрочем, это было и неважно, — она была смертельно пьяна. Раскинув руки по столу,

то засыпала на долю секунды, то, подброшенная толчком сердца, шептала и бормотала.

С потолка сыпалась штукатурка — наверху топот и крики. Опять та же возня... В затуманенном мозгу ее появлялась навязчивая мысль: «На кухне бидон с керосином... Опрокинуть его на лестницу... спички... взовьется огонь... Костер до самых туч... Всех — живьем. Зажарить кавказский шашлык... Боже, как гениально: шашлык из Хаджет-Лаше!.. «Нам каждый гость дарован богом...»

Тихо повизгивая, Вера Юрьевна смеялась, царапала скатерть. Но алкоголь оглушал, падали руки, падала голова на стол.

Наверху снова — крик. Веру Юрьевну опять подбросило. Такого крика еще не было. Дикий, нарастающий рев боли, невыносимого страдания. На весь дом разинут кричащий рот. Как может так кричать человек?

Она поднялась. Схватила за голову. Побежала, налетела в темноте на какую-то мебель, со всего размаха упала, покатила...

По-видимому, минутой позже Леви Левицкий, проткнувший расклеванными щипцами, с вырванным глазом, с джутовой бечевкой на шее, неожиданно (для утомленных членов Лиги) опрокинул двоих, оттолкнул третьего, кинулся к окну, разбил раму и выбросился со второго этажа. Когда члены Лиги выбежали из дому в сырую темноту, — на гравиевой дорожке лежал Леви Левицкий, уткнувшись, мертвый. Все же они еще долго топтали его и добивали.

52

Одиннадцатого октября северо-западная армия Юденича разорвала на две части фронт Красной Армии и начала наступление на Петроград в направлении: Красная Горка (левый фланг), Царское Село (центр) и станция Октябрьской дороги Тосно (правый фланг). Северо-западная армия, численностью в восемнадцать тысяч пятьсот штыков и сабель, при танках и четырех бронепоездах, была одета в английское обмундирование и прекрасно снабжена пищевым довольствием и огневыми припасами. Шли, как на прогулку, отбрасывая красные части.

С моря над Петроградом навис английский флот адмирала Коуэна. С севера стояла готовая к карательным действиям семидесятитысячная армия финнов. В самом Петрограде сидело тайное правительство, сформированное английским агентом Полем Дьюксом (выдававшим себя за социалиста, друга России). «Цивилизованный» мир принял к сведению заявление Юденича о том, что Петроград после взятия будет изолирован на сто дней в целях планомерной очистки города от преступного элемента и лишь по прошествии ста дней туда будут допущены гражданские власти.

Огромный заговор пронизывал в Петрограде все жизненные центры армии и флота. Люндеквист (начальник штаба Седьмой армии) и Медиокритский (заведующий оперативным отделом Балтфлота)

пересылали Юденичу военные планы. Берг — начальник воздушных сил Балтфлота — передал Финляндии план минных заграждений Кронштадта. Рейтер — начальник петроградской радиостанции — отправлял радиосообщения шифрами, понятными белым. Заговор проникал в боевые части. Заговор заводил сомнительные беседы у ночных красноармейских костров. Заговор скрипел перьями в чудовищно громоздких советских учреждениях. Заговор высовывал настороженный бледный нос из-за пыльных портьер в нетопленных питерских квартирах.

Красные части отступали. Белые с каждой занятой деревней воодушевлялись мщением. Четырнадцатого октября у них в цепях кидали в небо фуражки и кричали «ура»... К вечеру стало известно всему миру о взятии деникинской армией города Орла — предпоследней цитадели перед Москвой...

Жорж Клемансо, лично сам, взяв из рук секретаря телефонную трубку, сказал завывающим голосом председателю парижского совещания князю Львову:

— Кажется, я скоро буду иметь удовольствие поздравить вас с российским законным правительством?

Князь Львов, прикрыв дрожащей рукой засветившиеся глаза (это было во время заседания, в наступившей напряженной тишине), ответил тихим голосом:

— Все основания так думать, господин министр...

Из Парижа в Лондон торопливо выехал Николай Хрисанфович Денисов вместе с группой банкиров, чтобы организовать англо-русский банк для кредитования освобожденной России. На черных биржах зашевелились русские бумаги, преимущественно нефтяные акции. Северный богатырь, Митька Рубинштейн, в три дня свалил в пропасть финляндскую марку и начал взвинчивать юденический рубль.

Бурцев Владимир Львович на последние деньги денисовской дотации выпустил знаменитый номер «Общего дела» с заголовком на всю страницу «Осиновый кол вам, большевики». Со свежим оттиском газеты он ворвался на заседание Парижского совещания (объявленного непрерывным) и потребовал пятьдесят тысяч франков на окончательную дискредитацию Ленина и Г...

Русских эмигрантов охватила счастливая суматоха возвращении на родину. Неожиданно вынырнул из небытия Александр Федорович Керенский и объявил две публичные лекции на тему: «Винюта ли я!..» Не во френче и в перчатках, — каким знали его, всероссийского диктатора, — в поношенном пиджачке, с судорожно затянутым грязным галстуком на шее, с припухшим нездоровым лицом старого мальчишки, — Александр Федорович с крайней заносчивостью доказал аудитории, что если бы его вовремя послушали, то не было бы ни большевиков, ни гражданской войны, ни эмиграции, но было бы все хорошо и превосходно.

Журналист Лисовский получил блестящее назначение военным корреспондентом в Ревель. Живописность ревельских телеграмм

Лисовского изумила самых прожженных журналистов Парижа. В Ревель из всех европейских закоулков устремились сотни спекулянтов с наивыгоднейшими предложениями снабжения освобожденного Петрограда всем необходимым: от австралийской солонины до венских презервативов, — на Петроград надвигались горы тухлятины и гнилья. Северо-западная армия не шла — летела вперед. Восемнадцатого октября были взяты Красное Село и Гатчина. Десятинадцатого генерал Юденич вошел в Царское Село.

Генерал знал, что на него смотрит мир. Он тяжело спустился с площадки салон-вагона и взглянул в сторону Петрограда, синеватой полоской проступающего вдаль болотистой равнины. Доносились орудийные выстрелы. Ждали, что генерал размахисто перекрестится. Но он почему-то этого не сделал. Малиновые отвороты его шинели, надвинутый большой козырек и седые подусники проплыли мимо выстроившегося караула юнкеров. Дул холодный ветер, гоня по вокзальной площади опавшие листья. В городе было пустынно, лишь качались и шумели высокие лиственницы и оголенные липы с покинутыми вороньими гнездами.

Генерал сел в коляску и, сопровождаемый лихими конвойцами, проследовал в Александровский дворец.

53

Громовыми вздохами над Петроградом прокатывались выстрелы со стороны моря, — это линкор «Севастополь» стрелял из башенных орудий по Красному Селу. С моря, с северо-запада, ползли тучи, дождь хлестал вдоль пустынных улиц по простреленным крышам, по облупленным фасадам с разбитыми окнами.

У Троицкого моста за грудками мешков нахлобачились часовые. Непогода посвистывала на штыках. Тощие, заросшие лица, суровые от голода и ненависти глаза. Ветер доносит — бух! бух! Низкая гуча наползает на город, навстречу ей ледяной бездной вздувается Нева и хлещет о полузатонувшие баржи, о граниты набережных.

Надвинув промокшую кепку, руки в карманах, нос — в поднятый воротник, Карл Бистрем, преодолевая ветер, миновал Троицкий мост, протянул часовому пропуск и — бодро:

— Чертова погодка, товарищ...

В ответ часовой, повертев пропуск и так и этак, нехотя проорчал:

— Проходи.

Пробраться было не просто через взрытую и залитую дождем Троицкую площадь. Повалил снег. Ветер задирает толевые листы на круглой крыше деревянного цирка. Несколько человек пробиралось туда. Восторженный, как во все эти дни, бодро шлепая размокшими башмаками по грязи, Бистрем перегнал их. У входа — пулемет и красногвардейцы. Снова — пропуск. Полный народа, туманный от сырости вестибюль: Бистрем с трудом протолкался.

Цирк был полон, на высоком месте оркестра стояли двое — коренастый сивоусый человек и нескладный солдат, не вытаскивающий рук из карманов мокрой шинели. Сивоусый, — подняв палец:

— Товарищи... В ответ мировым империалистам и их кровавым собакам — православным генералам... В ответ белогвардейскому разъезду, который мы видели за Нарвскими воротами... В ответ мму, путиловские рабочие, сегодня послали в партию двести пятьдесят человек... А всего за эти дни петроградские заводы послали в партию пять тысяч человек... Да здравствует мировая революция!..

Длительные аплодисменты... Усы оратора еще некоторое время двигаются. И вдруг он широко улыбнулся. Хлопающие поднаддали. Когда, наконец, смолкло, он указал на нескладного солдата:

— Вот — товарищ делегат с зеленого фронта... От дезертирии Сормовского завода... (Сразу тишина, — над мокрой крышей глухо — бух! бух! — вздыхает воздух.)

Чей-то грубый голос:

— При чем тут дезертиры?

Солдат испуганно оглянулся на путиловца и с виноватой готовностью нескладно заговорил:

— Мы, то есть дезертиры, с Сормовских заводов... Не так чтобы большое количество, но — достаточно... Значит, признаемся шкурники... Что хочешь делай... Мы, значит, узнали, что на вас на питерских рабочих — идут белые генералы. Обсудили: надо им ручать. Трех нас, делегатов, послали к вам, чтобы вы разрешили грузиться в эшелон нам, дезертирам, и выдали бы оружие, что ли, — здесь, на месте, — все равно... Не настаиваем... Постановили единогласно — выручать!..

— Принять!.. Благодарить!.. — закричали с мест.

По лестнице в оркестр проворно взбежал матрос в распахнутом бушлате, локтем, как котенка, отстранил солдата:

— Товарищи, в грозный час, в двенадцатый час революции кричащие моряки-балтийцы стали на своих боевых постах... (Выкинул кулаки.) Не раз мы били белые банды на подступах к Петрограду. Страх и ужас вселяли матросы в ряды врагов трудового народа. (Плечо вперед, прищурился и — по буквам.) Принять бой с нами, значит принять смертный бой... Кто колеблется — отбросьте свои сомнения... Моряки красной Балтики зовут всех трудящихся, всех, кто, как мы (кулаком гулко в грудь), ненавидит золотопогонников, барскую сволочь, зовут вас на последний, победный бой... (С какой-то даже изнеженностью, от переизбытка сил, помахал затихшему бездыхания цирку...) До последнего патрона, до последнего вздоха... Иск к оружию!.. Все на боевые линии!.. Мы, балтийские моряки, даем смертную клятву — победить под стенами Питера...

Карл Бистрем закричал, протискиваясь в тесноте к эстраде. Великие лица, худые и тусклые, старые и молодые, дрожали, разевали рты, кричали, как будто вместо красновато-накаленных шаров с потолка обрушился поток горячего света... На лицах, в глазах, исхлестанных осенним дождем, иступленное решение... Весь амфитеатр ко

махался и кричал, ошестиненный вытянутыми руками, кричал важнейшее слово:

— Клянемся!.. Клянемся!..

Карл Бистрем не успел высказать все, что переполняло его. Пожалуй, было и хорошо, что не заговорил, — в крайнем возбуждении этих дней мысли его заносились во все более отвлеченные пределы, а он и сам видел, что сейчас нужны слова такие же простые и вещественные, как смертная клятва... Бистрем получил записку и протолкался к столу президиума. Председатель, старый знакомый (кто допрашивал его в Острорецке), шепотом сказал, преодолевая кашель:

— Ступай на Путиловский завод... Возьми мою машину. Там ни одного агитатора... Будь бессменно... Держи телефонную связь со мной. Ты клялся?

Бистрем запотевшими очками уставился ему в блестящие лижорадкой глаза:

— Великой клятвой пролетария..

Председатель кивнул:

— Ступай.

На улице хлестал дождь со снегом. Громовые удары отдавались за низких туч. Казалось, отчаяние легло на низкие дома, на жидко-грязные мостовые. Дребезжащая машина уносила Бистрема через мосты, пустынные набережные. Потоки грязи из-под колес хлестали по плачущим окнам.

Дома — все пустынное и ниже. Пустыри. Развалины лагун без окон и дверей. Бух! Бух! — яснее доносились орудия. Та-та-та, — постукивало из едва видимой торфяной равнины. Справа — за вздувшейся речонкой — деревянные крыши деревни Волянки, прямо — решетчатым призраком повис большой кран путиловской верфи. Серая пелена моря. Шквалистый ветер. Автомобиль, валясь на стороны, мчит по сплошной воде. С юго-запада, из мглы, по оловянной ленте Петергофского шоссе тянутся обозы, грузовики, пешие люди.

Автомобиль сворачивает к заборам, за ними — кирпичные корпуса со ступенчатыми крышами. Угрюмо, сбивая черный дым к земле, дымят трубы. У заводских ворот — скопище повозок. Шофер остановил машину и Бистрему — со злобой:

— Вылезайте.

— Что тут такое?

— Не видите, что ли?

Бистрем вылез из машины; по щиколотку в грязи, разезжаясь ногами, пошел к воротам. Люди в солдатских шинелях сидели поперек горой наваленной поклажи на военных повозках: серые, щетиные, мрачные лица. На крестьянских телегах среди узлов — женщины и дети, покрытые ветошью и рогожами. Грязью залиты люди, лошади, грузовики, вереницы телег, обозы отступающей армии. В воротах — крик, треск осей; свирепый человек в черной коже, размахивая револьвером, кидается к лошадиным мордам.

Телеги и повозки въезжали на огромный фабричный двор, кучами железного лома, бунтами леса, валяющимися ржавыми с довыми котлами и кучками беженцев, укрывающимися от непогоды. Закутытая пара, свистели паровозики узкоколейки рабочие с криками и руганью проносили железные балки, стальные листы, мешки с песком, шпалы; повсюду горели раздуваемые горючие горны; люди облепили вагоны бронепоезда, треща и стуча молотками; слепили глаза, сыпали искрами автогенные горелки; высокими закопченными окнами завода тяжело били молоты, вспыхивало пламя, грохотала и скрежетала сталь.

Протолкавшись на фабричный двор, Бистрем с трудом добился где помещается заводской комитет. В полутемном коридоре конторы сидели женщины на узлах, плакали дети. На одной из дверей стояло мелом: «Завком». Рабочий штыком преградил вход. Бистрем показал пропуск. В комнате, в махорочном дыму, осипшие голоса кричали в телефонные трубки. На столах — кучи черствого хлеба и винтовок. Тут же, на одном из столов, кто-то спал, покрывшись инженерской фуражкой.

Здесь было сердце обороны Петрограда. Путиловский завод лез хорачно — в три смены — строил и ремонтировал бронепоезда, орудия, паровозы, автомобили, мобилизовал отряды, размещал сходящие военные части, организовывал ночлег для беженцев, устанавливал бронестены на подступах к городу, проводил электрическое освещение на боевые линии. По отрывкам лающих телефонных разговоров Бистрем понял, что все эти работы были сосредоточены здесь, в завкоме.

Стряхнув воду с кепки, протерев очки, Бистрем подошел к одному из столов. Из-за буханок заплесневелого хлеба и цинковых ящиков с патронами на Бистрема воткнулись светлые глаза в выжженных веках...

— Что надо?

Бистрем протянул мандат, наспех чернильным карандашом написанный давеча в цирке председателем, — по-видимому, на одном из записок, поданных в президиум. Рука с изломанными ногтями протянулась из-за буханок, взяла клочок бумаги, поднесла к выжженным векам... Зазвонил один из трех телефонов на столе. Человек сорвал трубку:

— Да... Я... Что? Как не можете? Задавило? — Так. — И слушая, читал бистремовский мандат с обратной стороны записки.

На обратной стороне стояло:

«Гражд. пред... Туманные обещания о коммунистическом правде на практике — тухлая вобла — карие глазки... Если вы действительно убежденный — можете предложить населению хотя бы по триста граммов хлеба? Ну-ка?.. За армией Юденича идут поезда с белыми булками и консервами... Советую: бросьте словоблудие, предложите нам существенное...»

— Чепуха!.. (В трубку.) Никак, товарищ... Бронепоезд должен быть на линии сегодня... Под Пулковом держимся... В ночь обсто-

Пулково... А? Чего? — Красные веки его напряженно замигали. Слушая бормочущий в трубку голос, он махнул в сторону Бистрема запиской. — Чепуха! Ничего не понимаю, товарищ...

— Мандат на обратной стороне, товарищ, — сказал Бистрем.

Тот перевернул записку: «Товарищ Бистрем ударно перебрасывается на Путиловский»... (В трубку.) К шести часам крайний срок... Постой, бронепоезд вывести на линию в шесть... (С угрозой.) Товарищ, минуту промедления засчитаем как контрреволюционный акт... Ладно. Катись!.. (Положил трубку и — Бистрему.) Ступай в вагонный цех... Подыми настроение, — ребята третьи сутки не спят...

Он тяжело поднялся, подошел к столу, где спал человек в инженерской фуражке, и, подсунув руку ему под затылок, встряхнул: — Э! Проснись!

Инженер сейчас же, как подкинутый пружиной, сел: мертвенно бледное лицо, припухшие мешки под замуренными глазами, один ус во рту...

— Слышишь ты, товарищ, беги в цех. Инженера там задавило. К шести бронепоезд надо на линию.

Инженер сполз со стола и, спотыкаясь, пхнулся в дверь, вышел. Бистрем, получив ломоть хлеба, догнал его во дворе. Под резким ветром и дождем у инженера глаза разлиплись, он покосился на гарман Бистрема.

— Вот это несправедливо, — сказал, — двойной паек... Дайте же ка половину... (Бистрем разломил ломоть. Инженер на ходу топочливо начал есть.) Так надоело, знаете, так надоело... Мы им мынче всыпем из шестидюймовых... Двадцать четыре часа будут спать. Вы иностранец? Знаете, о чем скучаю? Пива хочу. Поднимите, поднимите настроение, это не мешает...

Из широких ворот вагонного цеха вылетела такая оглушающая трескотня клепки, — Бистрем сморщился от боли в ушах. Под низким потолком, где ползали мостовые краны, летели фонтаны искр из мажачных кругов. В сумраке огромной мастерской с трудом можно было разглядеть закопченные, запыленные человеческие фигурки; они то отделялись, то сливались с этим хаосом железа, искр и звуков. Бистрем в первый раз был на металлическом заводе. Ему показалось непонятным соотношение между громадами металла, чудовищными формами бронированных вагонов, двигающимися, крутящимися, ползающими станками — и такими слабыми человеческими фигурками. И все же они в дыму, в огне, в метели искр делали что-то, от чего тысячепудовые глыбы визжали, гнулись, соединялись и, обузданные, покорялись воле людей, шатающихся от усталости.

Отчаянно звонил колокол. Чья-то рука в кожаной рукавице потянулась и оттащила Бистрема. На него по воздуху плыла вагонная ось. На ней стоял, держась за тросы мостового крана, щуплый человек в пальто с рваными подмышками, в валенках, обмотанных бечевками. Он опустился вместе с осью. На вымазанном, сером, как железо, лице вдруг приветственной улыбкой смор-

шил нос, слабо приоткрылись зубы. Бистрем узнал: Иванов, тот, что взял его на границе под Сестрорецком.

В первый раз Бистрем почувствовал, что революция подарила ему, кроме двухсот граммов хлеба, еще и суровый мимолетный привет человека, идущего на смерть. С ужасающей ясностью Бистрему представилось, как завтра, сегодня ночью, быть может, кавалеристм генерала Родзянки, спешась в жидкую грязь, заворотив спереди длинные шинели, упрутся плечами в ложа винтовок и, выбрасывая на рущийся ветер желтоватые дымки, будут укладывать — тело на тело — у расщепленного пулями забора вон тех, кто копошится под вагоном, тех, кто, расставив ноги, вертя лопатками, заливаясь потом, бьет молотом по брызжущей окалиной полосе, тех, кто, прижав к разбитой груди пневматический молот, наспех skleпывает стальную броню.

Бистрем влез на двигающуюся взад и вперед станину станка и, поправив очки, начал говорить о противоречиях европейской политики, колеблющейся между желанием раздавить Советский Союз и страхом перед революцией у себя, о слабости Юденича, не имеющего резервов, — ничего, кроме десятка кораблей с английским снабжением и восемнадцати тысяч бандитов, страшных только для тех, кто бежит перед ними. Он рассказывал о клятве в цирке и, потрясая растопыренными пальцами, кричал:

— Товарищи, дух революции сильнее всех английских дредноутов! Буржуазный мир, несмотря на миллионные армии и несметные богатства, только обороняется. Да, он обороняется, а мы наступаем.. В этом наша сила, — у нас цель и вера. А там только хотят уберечь награбленное. Им только кажется, что они наступают на Петроград, — неправда, они отступают, потому что они нас боятся больше, чем мы их... Победит тот, кто наступает, у кого вера в победу...

Несколько пожилых рабочих подошли и слушали иностранца в очках, но даже при тех его словах, когда у него самого закипали слезы восторга, — лица их, суровые и усталые, оставались неподвижными. Когда он окончил, Иванов попросил у него папирос — раздать товарищам, — не курили со вчерашнего дня. Ногтем стуча ему в пуговицу, сказал:

— Тебе не в наш цех, тебе в деревообделочный надо пойти поговорить, — там много сиволапых. А у нас ребята в большинстве все сознательные.

Бистрем обошел артиллерийский, вагонный, автомобильный, паровозный отделы, — во всех цехах шла горячая работа. В лафетно-снарядной заканчивали первые советские танки. И минно-сборочной ковали лошадей. Под дождем грузились военные повозки. С угольной кучи по доскам и лужам бежали тачки. В раскрытые настежь двери котельных виднелись раскаленные топки, — кочегары с остервенением кидали лопатами уголь в ревущее пламя, будто это в самом деле и было пламя пролетарской революции.

Бистрем дивился: на всей территории завода не было видно охраны — ни вооруженных, ни оружейных установок, ни окопов. Беспечность? Недосуг? Или действительно эти люди обрели себя?

Не умолкая грохотали орудия с моря, из-под Пулкова и Царского Села. Правым крылом белые пробивались к Октябрьской дороге, чтобы перерезать единственную питающую город артерию.

В сумерки сквозь рваные тучи пронесся биплан, и долго на миодский двор падали мокрые листочки белых прокламаций. Кое-кто поглядывал на них искоса. Бистрем видел, как в кузнечном цехе у трех-четырех горнов оставили работу, обступили низенького старичка мастера, — вполголоса он читал прокламацию. Плечистый молотобоец, пивший воду из ведра, зло оглянулся, бросил ведро, протолкался к мастеру, выхватил листок, бросил в огонь.

Бистрем натякался и на кучки людей, внимательно и тревожно слушающих кого-то, кто замолкал, когда он приближался. Эти люди со странными усмешками не глядели ему в лицо. Время от времени он забегал в контору, пытаясь соединиться по телефону со Смольным. В восемь часов вечера ему это удалось. Он получил задание перебраться на фронт под Пулково, в красноармейскую часть, где только что выбыли из строя два комиссара.

В сарай набилось полсотни красноармейцев. Горел костер, было дымно. Входившие, засыпанные мокрым снегом, с удовольствием крикали, стаскивая с плеча винтовку, протискивались к огню. Сарай находился в стороне от Московского шоссе, в деревне, на южном склоне Пулковского холма. Было за полночь, под дощатой крышей свистела непогода, редко доносились выстрелы.

Бистрем по совету пожилого красноармейца Ермолая Тузова (почему-то принявшего в нем хлопотливое участие) разулся и сушил носки и башмаки. Местечко у огня устроил ему тот же Тузов: «Вратишечки, видите, человек растроганный, надо бы потесниться — сомлеет...» Потеснились, — впрочем, на Бистрема никто не обращал внимания.

Почти сутки он не спал и не присаживался. С Путиловского — в Смольный, оттуда — на фронт, в мокрую, снежную, жуткую темноту, где угрожающе окликали сторожевые. Только теперь можно было передохнуть. Весь мокрый, в липнущем белье, засунув руки в рукава, Бистрем мужественно боролся со сном. Голоса слышались, будто за мягкой стеной, — содрогаясь, с испугом он разлинял веки: ни на секунду нельзя понадеяться, что настроение у фэйцов до конца прочно; здесь были разные люди. Ему не нравился услужливый Ермолай Тузов, — прищуренный, с бороденкой, — слишком ласков. Бистрем настораживался каждый раз, когда в обрывки разговоров ввертывался медовый голос Ермолая, — нет-нет ли и поглядывал быстро, сквозь щелки, спит ли комиссар.

Застуженный, хрипучий голос:

— Промерз, где только душа, ребята, пустите к огоньку, Христа ради.

Ермолай — скороговоркой:

— Нынче, миленок, бога поминать не велено.

— Как же говорить-то?

— «Батрак-бедняк»... Его поминай.

Огромный, как туча, человечище пропихивается к костру, мн-лится на колени едва не в самый огонь:

— А ты все вертишься, Ермолай, как вор на ярмарке.

— Я, как все, — от своей свободы верчусь: нынче ни царя, ни бога...

Еще чей-то тревожный голос:

— Василия Мокроусова нет здесь?

Угрюмый безусый красноармеец, накинувший на голову шинель, на короточках у огня, ответил:

— Не ищи.

Сзади:

— Ой, что ты?

Мокрый человечище:

— Застрелили насмерть Мокроусова.

Бистрем тарашится. Сон мягкой пустотой бросается на него, опрокидывает в ничто, — голова кивает, валится на грудь, очки сползают, губы вытягиваются.

Ермолай — кому-то:

— Ну да, я — лужский... Чего? Да будет тебе — кулак, кулак... Не такие кулаки-то... У кулаков дома железом крыты.

Молодой красноармеец, под накинутой шинелью:

— А у тебя чем крыто?

Огромный человечище, — борода его распушилась от огня:

— За войну-то Ермолай раз пять, чай, слетал домой, по хозяйству. Знаем мы, чем его изба крыта... Железа-то у него припасено, — замирения только не дождется... (Ермолай на это только: «Ах, ах!») Вместе, чай, в царской армии служили — я рядовой, он — вестовой. Человек известный.

— Ну, еще что? — со злобой спросил Ермолай.

— Я как был бос, так и ныне бос... А ты, гляди, живалый, — красная звезда!..

Молодой красноармеец усмехнулся худощавым лицом. Ермолай цапапнул зрачком огромного человечища, но обернул все в шутку:

— Эх ты, чудо морское, то-то говорлив... (И уже — не тому, с кем спорил, а — к стоящим в отблесках пламени у дверей сарая, — видимо, продолжая какой-то начатый разговор.) Значит — при пожарном депо этот козел и живет. В Луге все его знают, — ходит, как человек, по дворам: такой умный козел... До революции ходил на станцию — встречал дачников... Прелесть!.. Так что ж они: взяли козла и вымазали всего красным фуксином.

Чье-то улыбающееся широкое лицо — в отблесках пламени:

— Кто же вымазал?

— Ну, кто... (вполголоса) коммунисты...

— Козла-то зачем?

— Для агитации...

Несколько человек разинули рты и — крепко, дружно — ха-ха-ха!.. Ермолай удовлетворенно шурился. Бистрем беспомощно пытается взмахнуть плавниками, подняться из мягкой черной прощности, но сон снова оттягивает его губы... Молодой красноармеец (под шинелью) — с угрозой:

— Ермолай!..

— Чего, — Ермолай весь тут...

— Дошутись ты до Чеки...

— Отчего? Я при комиссаре говорю...

Тогда все головы повернулись к Бистрему. Он посапывал. Ермолай, приободряясь:

— У меня такая же звезда на лбу... Нет, браток, ошибся. Ты еще молодой... Я с винтовкой пять тысяч верст исходил... А ты где был, когда мы Николашку свергали? Гусей пас?.. То-то. Похерите — нет, братки, вот этой рукой главнокомандующего Духонина, самого кровопийцу народного, выволоч из вагона — гнать... А ты — в Чеку... Тогда всю народную армию волоки в Чеку... Мы за Советы кровь проливали... (С неожиданной яростью хватил себя кулаком по коленке.) И сейчас не пятимся...

— Верно, верно. Правильно, — негромко зашумели голоса.

Молодой, сбросив с головы шинель:

— За какие за Советы?.. Без коммунистов, что ли?

Большой человечие с высохшей бородой, видимо, не поспевая мыслью за спором, повертывался то к Ермолаю, то к молодому. Из толпы просунулось припухловатое лицо в кудрявом пуху на смшливых щеках:

— Ермолай-та, — он за такой совет, куда его с кумовьями председателем выберут.

И опять, и уже громче, дружнее, стоящие у огня: ха! ха! ха! Бистрем от этого грохота «ха, ха!» — вздернул головой, проснулся, испуганно оглядываясь. Ермолай к нему:

— Товарищ комиссар, носочки просохли, можно обуться...

Сотрясая сарай, ударило тяжелое орудие. Сидевшие у огня вскочили. Сейчас же второй удар будто придавил крышу. На лицах — изумление, напряжение, рты открыты, — рука сжимает ружье. Совсем близко хлестнул винтовочный выстрел. Еще и еще, торопясь, сдваиваясь, прокатилось громовой трещоткой. Молодой красноармеец (одна рука — в рукаве шинели) шепотом: «Наши!..» Снова — удары шестидюймовок с путиловского бронепоезда у Средней Рогатки. И ночь, тьма закипела, застучала, задыхаясь слезными звуками от моря до Ям-Ижоры.

Прошло не слишком много толчков сердца с тех пор, когда только лишь уныло посвистывал ветер под крышей. Первым за-

кричал Ермолай: «Белые наступают!» Молодой красноармеец, попадая крючками в петли шинели: «Товарищи, никакой паники!» Бородатый человечество, — кидаясь с винтовкой к двери: «В порядке, братва, выходи в порядке!»

Снаружи рванули дверь, в неясном отблеске тлеющих головешек появился военный и — протяжно:

— Бойцы! Вчера под Воронежем красный корпус товарища Буденного разбил наголову генералов Мамонтова и Шкуро... Бойцы! Горький Орел обратно взят Красной Армией. Бойцы! Военный совет Петроградского укрепленного района дал приказ — наступать сегодня в ночь.

— Ура! — хрипло сорвался чей-то голос...

— Ура! Уррра! — торопливо крепкими глотками закричали бойцы, нажимая к выходу. Среди вышедших Ермолая не оказалось.

В ночной глухой синеве над белой равниной стоял холодный срезанный месяц. Небо очистило. Ветер затих. Пахло свежим снегом. Ночь, умытая бурей, разрывалась грохочущими звуками. Они то слабели, то усиливались. С подножья Пулковского холма были видны длинные вспышки орудий. Отблески зажигали искорку далеко на куполе собора в Царском Селе. Отблески зловеще отражались в двух окошках крестьянской избы, где был штаб и где неподалеку стоял Бистрем. (Ждали запоздавшую машину с литературой из Питера.) Он вглядывался, — снежная равнина, разбросанные черные пятна деревьев и построек — все было безлюдно. Зарево занималось на северо-востоке. Этот бой решал судьбу революции, — так представлялось ему. Совсем близко над оснеженными крышами разорвалось что-то желто-огненное, и будто пчелки просвистели мимо ушей Бистрема. Он обернулся — на вершине холма, за темной чертой парка, тускло поблескивал купол обсерватории. Левее его, ближе к деревне, снова лопнул огненный шар...

Под куполом, куда в меридиональную щель падал лунный свет на лакированную лесенку, на медные части окуляра большого, как морское орудие, рефрактора, стоял семидесятилетний знаменитый астроном в черной шелковой шапочке.

Подняв к меридиональной щели морщинистое лицо, выпитое звездами, он сказал кому-то — невидному в тени:

— Они нацеливаются в купол, — это беспримерно... Нельзя ли как-нибудь телефонировать этому генералу, чтобы не нацеливались? А нельзя ли, — как вы полагаете, — если мы возьмем несколько подушек и закроем ими верхнее стекло рефрактора? Во всяком случае, тогда мы несколько понизим вероятность.

Черной, как сажа, полосой на снегу лежало Московское шоссе. Белые пристрелялись по нему, — кустами огня на шоссе взметы-

нались их снаряды. Со стороны Питера приближалась с огромной быстротой машина. Бистрем спустился к шоссе. Перед вырастающей машиной взвилось пламя, заволокло дымом. Но автомобиль проскочил и скрылся в овражке, — через мост... Низко над тем мостом ослепительно рванулась шрапнель. Блестящий радиатор с потушенными фонарями вынырнул из овражка. Бистрем подбежал. В машине была литература — еще сырые кипы приказа и отчетанных речей...

При двойном свете — луны и спички — Бистрем разбирал слова приказа:

«Красноармейцы, командиры, комиссары! Сегодняшний день решает судьбу Петрограда... Дальше отступать нельзя... Петроград нужно отстоять какой угодно ценой... Помните — на вашу долю выпала великая честь защищать город — родину пролетарской революции... Вперед, в наступление!.. Смерть наемникам английского капитала...»

Набив карманы литературой, Бистрем зашагал по шоссе. Вдогонку что-то ему закричали из машины, — он, не оборачиваясь, махнул рукой. Поднеся к очкам листочек, читал на ходу, чтобы запомнить наизусть. Поворот в окопы был за горелой избой. Между глушительными ударами нашей батареи (откуда-то близко, из овражка) слышалось посвистывание пуль.

Стоп — горела изба... Надрывающе взвыло что-то прямо в душу, из лунного света скользнула тень (или так почудилось), и огненный грохот швырнул Бистрема в сторону от шоссе.

Когда лицо его, грудь, живот, распростертые руки напились снегового холода, Бистрем медленно очнулся. Лежа ничком, силился разобраться, почему он в таком странном положении, — носом в снег, и на чем прервались его обязанности? Из чувств у него ничего сильнее была воля к долгу.

Он с трудом повернулся, — удалось сесть. В карманах литература цела. «Неприятное обстоятельство, — пробормотал. — Сколько же я здесь провалялся?...» Небо было железного цвета, снег на крышах розовел от зари. Попытки встать не привели ни к чему. Ощупал ноги, — целы, по-видимому контузия... Уши будто чем-то навалены, — мир был беззвучен.

Только теперь он заметил, что очертания горелых стропил и лунного диска расплылись, как за потным стеклом. Правел по лицу, ладонь стала липкой: кровь. Тогда он заговорил: разбились его очки.

А в десяти шагах от него бежали серые тени в сторону Царского Села. Их было много, полно шоссе. Сощуря веки, он различал шинели и фуражки курсантов, винтовки, готовые к бою. Пожали неистово. За ними — медленнее, плотнее двигались покачивающейся колонной кожаные куртки... У Бистрема ошестинились волосы на затылке, сорвал кепку, крутя ею, закричал: «Да

здравствует Коммунистический Интернационал...» С шоссе к нему свернули два санитаря с носилками.

В ту же ночь четыре эскадренных миноносца — «Гавриил», «Свобода», «Константин» и «Азард» — вышли из Кронштадта в море, держа курс на Копорский залив. Был приказ — загородить минами путь в залив.

Бушевала метель, и небо еще не прояснилось. Эсминцы шли в потушенными огнями в кабельтове друг от друга. Кругом на горизонте появлялись и пропадали какие-то огни. «Гавриил» передавал по радио, что впереди — англичане. Эсминцы шли полным ходом, до труб зарываясь в косматое море.

Тучи начало сносить, показалась луна. В шесть часов поутру около параллели Долгий нос на «Гаврииле» показался огонь и последовал взрыв, после чего судна не стало видно. Через семь минут огромное пламя переломило надвое «Константина». Он затонул мгновенно. Через минуту «Свобода» скрылась за водяной горой взрыва. «Азард» застопорил машины. Впереди опять появились дымящиеся трубы «Свободы». Ветер донес слабые крики «Ура!». «Свобода» сообщала световыми сигналами: «Идем ко дну. Нарвались на свежее минное поле. Нас предали. «Азарду» повернуть, идти в Кронштадт. Да здравствует революция!..»

К утру двадцать первого октября под Пулковом обозначился перелом в военных действиях. Брошенные на передовые линии отряды курсантов, коммунаров и балтийских моряков переходили в штыковые атаки. В одном из отрядов матросы сбросили бушлаты и тельники, — голые по пояс балтийцы бросились на танки. Днем двадцать первого штаб Юденича оставил Царское Село. Из Царского, Павловска и Гатчины потянулись в Ревель обозы с дворцовым имуществом. К вечеру Красная Армия ворвалась в Царское Село, — дрались под столетними липами, у Фридентальских и Орловских ворот. Белые покатались на юг, цепляясь за Красное Село, за Гатчину и Лугу. Это был разгром, неожиданный и непоправимый, у самых ворот Петрограда.

Предполагая, что еще можно спасти положение, французский генеральный штаб предложил финскому генеральному штабу не медленно двинуть войска и интернировать Петроград. Финны ответили, что сделают это, если французы дадут денег на войну и заставят Колчака признать независимость Финляндии. Французам денег не дали. Колчак ответил отказом. Финны не выступили. Адмирал Коуэн, боясь кронштадтских мин, ограничился тем, что послал к русскому берегу монитор новейшей постройки, который несколько дней обстреливал из пятнадцатидюймовых орудий Красное Село, оставленное белыми. Эстонское правительство, не имея более привести в Ревель Балтийский флот, отдало приказ разоружить и интернировать Юденича с его бандами, буде они перейдут эстонскую границу.

Министр северо-западного правительства Маргулиес записал в дневнике:

«Все опять у разбитого корыта... Все поражены, — одни большевики победили. Это — нечто фатальное. Русская публика приехала, озирается. Кедрин, совершенно разбитый морально, выехал в Париж...»

54

Михаил Александрович Стахович, попыхивая папироской в толстом мундштуке, читал, против обыкновения, русскую газету «Общее дело». Пробыло час. В столовой звякала посуда, на цыпочках ходил лакей. Наконец — шум машины у подъезда. Хлопнула парадная дверь. В прихожей вздохнули, начали снимать калоши... (В Париже-то калоши!) В салон вошел Львов, рассеянно потирая руки, как с мороза. По всему заметно, что в Политическом совещании, откуда он приехал завтракать, — самые серьезные неприятности...

— Уже семь минут второго, — не опуская газеты, густовато проговорил Михаил Александрович.

Львов остановился и некоторое время глядел невидяще. В безжизненных глазах его мелькнуло изумление.

— Миша, ты читаешь «Общее дело»?

— Почему это тебя так встревожило? Я уже несколько дней читаю русские газеты, это меня забавляет.

— Гм... Это тебя забавляет...

Львов сделал попытку заходить по красному бобрику салона. Его внимание привлек вихрь осеннего ветра, гнавший сухие листья от подножья Эйфелевой башни по улице Монтескье, — закружив, ветер швырнул их в окно.

— Я не нахожу в этом ничего забавного, — сказал Львов. — Если Бурцев несколько односторонне освещает события, то надо же считаться с настроением французов... Вчера Николай Хрисанфович Денисов с трясущимися губами умолял меня ослабить впечатление от неудачи Юденича — не наносить удара по парижской бирже... Под Петроградом временная заминка, может быть чисто тактическая... Вот все, что нам здесь известно в конце концов... А то, что у Николая Хрисанфовича тряслись губы...

Стахович — из-за газеты:

— Неужели тряслись губы?

— Так вот... Он дал мне понять, что неудача Юденича — никак не местного значения, даже не общерусского, но европейского, но мирового... И удар по бирже прежде всего на руку большевикам... Стало быть, нужно писать так, как пишет Бурцев... Можно быть более остроумно, согласен, но у нас нет талантливых журналистов. Ты представляешь, как все мне далеко, и чуждо, и отчужденно: лживая пресса, биржа, спекулянты, французские интересы, английские интересы. Но что делать, Миша? Все более

начинаешь убеждаться, что не ты руководишь, а тебя перебривают из рук в руки, как мячик. Быть чисто плотным очень, очень приятно... Я тебе очень завидую.

Он заходил по красному бобрику, руки — сзади под пиджаком голова с гладко зачесанными волосами — цвета алюминия — опущена, уперта в неразрешимое.

— В девятьсот семнадцатом я не хотел брать власть, но не считал себя вправе уклоняться от долга. Из всего Временного правительства я один знал мужика... И я верил, я и сейчас не откажусь от моей веры, иначе бы я давно сошел с ума: гармония озаренная высшей правдой, восторжествует над ожесточенной мистерией... Путь к правде — через страдания и кровь, и, может быть, сами большевики посланы России высшим разумом.

Стахович — примирительно:

— Это очень по-русски: гегелианство, переваренное в помещицкой усадьбе... Это — очень наше...

Львов взглянул на «Общее дело» на коленях Стаховича, коротко кашлянул. Походил.

— Неудача под Петроградом чревата для нас последствиями гораздо более тяжкими, чем поражение стотысячной армии Колчака, чем неудача Деникина под Орлом. Петроград — это уже Европа, под Петроградом завязан узел мировой политики... Тебе известно, что в тонцы начали переговоры о мире с большевиками? Сегодня мне представили эту новость. (Львов пофыркал носом.) Генерал Юденич должен был взять Петроград, как разгрызть орешек: поставить английскую и французскую оппозицию перед существующим фактом. Он же устраивает невероятный шум, рассылает союзникам хвастливые телеграммы и не берет Петрограда...

— Юденич — истинный чудо-богатырь, было бы странно ждать от него чего-нибудь другого. — Михаил Александрович потерял донью медно-красное лицо. — Кстати, я где-то встречал этого Юденича, — редкостный болван и жулик. Английская и французская оппозиция будет в восторге, если мы окончательно посрамямся под Петроградом. На наших спинах эти господа из профессиональных союзов прыгнут к власти. И я утверждал также, и не раз, что мы неминуемо осрамямся под Петроградом...

— Почему неминуемо? Прости меня, Миша... Ты комфортно устраиваешься с газетой и папироской... (Голос Георгия Евгеньевича задрожал от горечи.) Прости меня... Ты опять начинаешь злоупотреблять спиртным... (Пить Михаилу Александровичу было запрещено, — он недоуменно поднял плечи и округлил глаза, как бы от явного поклепа.) Ты безапелляционно высказываешься о событиях, которые — прости меня — уже совершились... Ты представляешь другим пачкать руки... Нет, почему неминуемо? Почему? Если бы адмирал Коуэн выступил со всем своим флотом двадцать первого октября... Если бы финны двинули армию за Сестру-реку... Если бы эстонцы оказали нам действительную помощь... Почему неминуемо?..

— Во-первых, — сказал Михаил Александрович и от подбородки захватил почти аршинной длины бороду, в порядке уложил ее на обсыпанном пеплом жилете, — во-первых, что касается комфорта... Я — бывший помещик и бывший дворянин, бывший потому, что советская конституция отменила наши привилегии, а вы пока еще не отменили советской конституции. Как человек бывший и уже в летах, считаю наиболее добросовестным жить на ту единственную привилегию, которую у меня отнять нельзя и отнять никто не вправе: мое свободомыслие... Я сижу у окна, курю табак, читаю о политике и рассуждаю. Это ни к чему не обязывает, это безвредно, и это меня забавляет... Это мой комфорт... Комфорт я купил себе тем, что я, ни на кого не сердясь, спокойно принял факт: я — бывший... Я никогда не был слишком красным, но держался либеральных мыслей, как всякий порядочный человек... Почему же сейчас, когда я — пролетарий, я должен выбрасывать из шкатулки огонь на моих бывших мужиков и вообще на русских людей? (Кажи, имею я право хотя бы на свободомыслие?)

Львов положил руки на голову, будто защищая ее от ударов, и так прошелся. Он стал у окна, где ветер снова пронес желтые листья, столь же бесполезные, как несбыточные мечтания, отговоренные слова.

— Месяц тому назад я сказал бы тебе: нет, не имеешь права. Во имя тех жертв, которые... (Опять попытался схватиться за голову, но решительно засунул руки в карманы и там потряс ключами и медяками.) Да, Миша, ты имеешь право на свободомыслие, и мы все имеем на это право... Но как осуществить это право? Передо мной, человеком, который против насилия, против всякой крови, — встает неразрешимый вопрос: должен ли я продолжать убийство русскими русскими, продолжать, сознавая, что на моей совести — кровь, ужасная кровь... Или — уйти, уйти, пока не поздно, зная, что поздно. Видимо, я не годен для борьбы, у меня нет сознания правоты... Миша, сегодня на совещании мне дали просмотреть номер московской газеты... Там — обо мне... Я принесу сейчас... (Он пошел к двери, но вернулся.) Они пишут: я — крупный помещик, до войны был заинтересован в переходе сельского хозяйства на интенсивные формы. Понимаешь?... Отсюда — я заинтересован в развитии национального капитала, отсюда я — во главе кадетской партии... Во время войны я заинтересован в широчайшем сбыте на нужды армии продукции с моих латифундий!.. (Он особенно, с горькой иронией подчеркнул это слово «латифундий».) Отсюда — я становлюсь во главе Исмского союза, чтобы организовать тыл и возможно дольше затянуть войну, набивающую карманы помещикам... Теперь я — во главе самой реакционной группы крупных земельных собственников, определяющих политику Деникина. Я — во главе интервенции, иными словами, я продаю Россию, я — предатель, я — враг...

Он развел руками и с силой хлопнул себя по ляжкам, так что из серых панталон его пошла пыль.

Стахович сказал:

— У них это называется диалектикой. Очень неглупая штука. Тоже — от Гегеля...

— Как бы это ни называлось, я прочел, и мне будто плеснули в лицо помоями... Сейчас принесу... (Пошел и опять вернулся.) Я перечитал еще раз в автомобиле... Миша, у меня волосы встали дыбом: ведь фактически все это так и есть. Миллионы русских людей с величайшей ненавистью должны произносить мое имя... Как я могу доказать, что не жадностью к деньгам были обусловлены мои поступки?.. Мне лично — монастырская келья да ломоть хлеба. Может быть, я честолюбив, что? Я был кадетом, потому что хотел широкого парламентаризма для моей несчастной страны... Я пошел в Земский союз, потому что не мог же не хотеть победы несчастной России. Я борюсь с большевиками, потому что... (Он вдруг махнул рукой.) Выходит так, что какие-то силы толкали меня и я делал вид, что не замечаю этих сил, и вместо них представлял свое прекраснодушие... Самое страшное, Миша, что я, кажется, в глубине души не верю себе... А может быть, и в самом деле мной руководили материальные соображения? Что? Но этих ничтошек, привязанных к моим рукам и ногам, я не могу ощупать, не вижу. И дергаюсь, как «петрушка», на ужас и позорище всему миру. (Он вскакивал измятый и пыльный. Глаза погасли. Свернул к двери.) Ну, вот... Я пойду на часик прилягу... Завтракать не буду.

Насупившись, Михаил Александрович проводил его соколиным взглядом. Решительно растрепал бороду и двинулся в столовую завтракать в одиночестве... Выпил рюмку водки, подпер голову и сидел, не притрагиваясь к блюдам...

Он давно видел приближение гибели. В особенности ощутил это сейчас, с запутавшимся стариком Львовым... «Да, да, нужно уходить», засиделись до неприличия. Устраивали воскресные школы и английские парки, шумели и говорили прекрасные слова, поднимали на ноги печать, если какому-нибудь уряднику случалось побить мужика. Либеральные земства, воскресные школы, вегетарианство, непротивление злу, англomanия и «Русские ведомости» и — логический финал. массовое убийство русских, этих же самых мужичков... В крови — горло... И в темени — диалектический гвоздь. Нужно уходить...»

В половине второго затрещал телефонный звонок. Стахович вытер салфеткой усы и тяжело подошел к телефону. Голос Денисова кричал:

— ...пожалуйста, передайте Георгию Евгеньевичу — сегодня и еду в Лондон с ночным... Да, он знает, в связи с Детердингом... Умоляю еще раз попрiderжать сведения из Ревеля... До свидания, Михаил Александрович, вам привезу хороших сигар...

В кафе Фукьца на Елисейских полях у стойки бара сидели на высоких табуретках Налымов и Александр Левант, который остервенело жевал сигару.

— Василий Алексеевич, ведь минуты дороги...

Налымов, трезвый, похудевший, очень приличный, в черном пиджаке, черном галстуке и перчатках (на руках его была нервная жзвама), молча разглядывал этикетки бутылок...

— Слушайте, давайте это отложим до вечера... Дела, дела сначала... В двух словах я вам объясню, милый вы человек...

— Короче и без хамства, — сказал Налымов.

— Хорошо... Мои сведения совершенно достоверные, самые свежие. Юденич окончательно провалился: его армия интернирована на эстонской границе. На днях в английской палате будет запрос о кредитах Юденичу, и Черчилль продаст его как миленького... Финны без французских денег не полезут на Петроград, — французы денег не дадут, франк валится в пропасть, заметьте, это — сегодняшние сведения... Деникинские добровольцы драпают к Черному морю, в тылу у Деникина — поголовные восстания. В Сибири — и того хуже. Интервенция в этом году сорвалась. Еще два-три дня — об этом заговорят все газеты. Представляете, какие золотые часы мы пропускаем?

— Ну и что же?

— Нужно продавать, продавать! (Левант задышал спертым жаром в ухо Налымову.) Продавать на декабрь, на январь, на февраль...

— Что продавать?

— В первую голову — нефтяные акции... Почему, спросите? Потому что это самые загадочные ценности. Вокруг них обаяние Детердинга. Акции каких-нибудь уральских заводов? Железнодорожные? Этим никого не заинтересуешь: заводы разрушены, русские железные дороги, как каналы на Марсе, — может быть, они есть, может быть, их нет... Но за бакинской и грозненской нефтью — английский большой военный флот, политика Черчилля, польская и румынская армии. Это производит впечатление! Другое дело, когда именно русская нефть попадет к англичанам. Между нами — не раньше будущей осени... А покуда всю эту зиму нефтяные бумаги будут шататься и валиться. Мы играем на понижение. Представляете, что можно взять на разнице?!

— У вас же нет нефтяных акций...

— Наивный ребенок! Мне нужна только биржевая кредитоспособность. А ее получу через того же Манташева. Черт с ним, пускай ишак снимает львиную долю, нам с вами хватит на кусочек клбца... (Испачканные никотином зубы его заколотились истерично.) Вы поняли мою мысль? Звоните Манташеву, едем к нему немедленно.

— Я никуда не поеду, покуда вы не отдадите мне письма.

— Богом клянусь, письмо в чемодане, в бумагах...

— Врете, письмо при вас...

Левант схватил рюмку и опрокинул ледяной коктейль в перекохшее горло. Налымов искоса наблюдал за ним. Левант только что вернулся из поездки Стокгольм — Ревель. Он должен был передать Вере Юрьевне письмо Налымова и во что бы то ни стало

привезти ответ. Вот уже месяц, как она не отвечала ни на письма, ни на телеграммы. По некоторым признакам Налымов был почти уверен, что Левант привез ответ, а это означало, что Вера Юрьевна жива... Но Левант, по обыкновению, лгал, и вывертывался, и дрожал от какого-то паршивого нетерпения...

— Слушайте, Левант, я не послал до сих пор к черту всю вашу шайку вместе с вами только из-за Веры Юрьевны...

— Это все мной учтено.

— Я одно только могу предположить: ответ Веры Юрьевны сфабрикован Эттингером, и вы боитесь, что я обнаружу это... И Вера Юрьевну там убили еще месяц тому назад...

— Знаете, шутки имеют некоторую границу, и я просил бы...

Бармен, готовя новую порцию коктейля, с любопытством поглядывал на собеседников. Налымов сказал громко по-французски:

— Очень хорошо, я иду к прокурору...

Он положил мелочь на прилавок, поправил шляпу, слез с высокой табуретки и вышел на улицу — пряменький, с поднятыми плечами. Бармен — с видимым огорчением Леванту:

— Мосье пьет один?

— Приготовьте столик, мы завтракаем.

Левант выскочил на тротуар, где холодный ветер гнал листья, срывал шляпы, трепал юбки. Налымов на углу, подняв трость, подзывал такси. Левант схватил его за руку:

— Василий Алексеевич, не глумитесь... Вернемся... Я все расскажу про Веру Юрьевну...

— Письмо...

— Успокойтесь, при мне, в кармане... Не могу же, черт возьми, на ветру...

Налымов молча повернул к Фукецу. Сели за тот же столик, что и в первую встречу (в начале лета). Левант, — покосясь на стенные часы:

— Давайте скоро... Я хотел вам отдать письмо завтра, ну — сегодня вечером... Знаю же я, какой вы сумасбродный человек... А ведь дела, дела, — ни часу промедления... Ну ладно... (Вынул помятый конверт и прикрыл его ладонью.) Только несколько слов... Я не меньше вашего, Василий Алексеевич, хочу развязаться с Лаше. Он все нас приведет на эшафот! У Лаше пропал политический нюх, он уже не способен к быстрым поворотам... На сегодняшний день его пресловутая Лига — просто шайка грязных авантюристов. Вы понимаете меня? Если англичане не поморщившись предали Юденича с целой армией, — что Лига? — каблуком раздавят... Я ему в лицо это сказал Дурак, заварил грандиознейшую кашу, впутал генеральные штабы, контрразведки, а сделал мелкую грязь, пшик, что гораздо лучше обделает какой-нибудь провинциальный бандит... Этому дьяволу хочется сыграть роль мирового злодея, а весь-то он — беспаспортный бродяга, гопник, содержатель публичного дома в Афинах, марсельский сутенер, форточник из Скутари, вышибала из вонючего переулка в Галате...

Слова вместе с крошками вылетали изо рта Леванта. Налымов — негромко и угрожающе:

— Письмо...

— Сейчас... Как я и думал, все его сокровища царской короны — чистый блеф... Обидно, Василий Алексеевич. Открытой, честной, законной игрой, какую я вам предлагаю, мы бы давно заработали на кусочек хлеба с маслом. Сейчас о письме... Минутку... Лаше — бывший агент тайной полиции при Абдул-Гамиде, да еще — по особому отделу загадочных убийств, таинственных исчезновений, пыток в стамбульских подземельях, денежных вымогательств и прочей старотурецкой романтики. Вот... (Ногтем он щелкнул о зуб.) Вот как я его знаю... Он страшен, когда у него за спиной сила, а персонально он — трус и малодушный истерик. Он еще не понял, что его участь решилась под Петроградом... Да, да, вы увидите: скоро полетят и Черчилль и сам Клемансо... Довольно размахивать оружием. Европе это надоело. Либерализм, гуманность, законность — вот о чем сегодня говорят на бирже. Военные запасы все разбазарены. Спекулянты на военных стоках проспекулировались. Довольно кустарщины! Идет серьезный промышленник и серьезный купец... Да, да! Сейчас, потерпите минутку, я к письму именно и подхожу. Предлагаю вам, Василий Алексеевич, решительно и как можно скорее отделаться от Лаше... Он будет бешено сопротивляться, и наша борьба упрется в борьбу за Веру Юрьевну... Не удивляйтесь... Лаше прекрасно понимает, что именно эта женщина погубит его с головой. Он бережет ее, как свой глаз. Он давно понял, что жестоко промахнулся, отослав вас в Париж. Если бы не вы, — давно бы ее и кости сгнили. Но вы — на чеку, и вам терять нечего. Он это тоже понял. В игре троих карта Лаше бита... Знаете, для чего он вызвал меня в Баль Станэс? Предложил убрать вас старотурецким способом, клянусь богом...

Налымов со слабой усмешкой:

— Что это за способ?

— Так, порошочек один, пустяк... Лаше потерял чувство современности. Сами понимаете, я без спора принял предложение... (Торопливо хихикнул, стукнул желтыми зубами.) И тогда он повел меня к Вере Юрьевне.

Налымов мутно уперся в бегающие глаза Леванта.

— Вера Юрьевна нездорова, давно уже — с месяц... Нервное расстройство, по-видимому на почве белой горячки... Что касается комфорта — все в порядке: у кровати — ваза с фруктами. Вывадет врач... То, что Лаше писал вам и телеграфировал о ней, все соответствует действительности... Я прочел ей ваше письмо...

— Она в сознании?

— Временами... Я-то предполагаю, что на пятьдесят процентов у нее — симуляция, но этого Лаше, конечно, не высказал... Лаше предложил ей ответить вам, и она что-то долго писала. Он это письмо взял и спрятал, и, как вы верно угадали, Эттингер под его диктовку настроил вам ответ от Веры Юрьевны...

Левант презрительно перебросил через стол письмо. Налымов не прикоснулся к нему. Левант вынул пухлую грязную записную книжку, заполненную цифрами и знаками биржевых бюллетеней, перелистал и протянул Налымову:

— Вы понимаете, без этого я бы и не начал с вами разговаривать. Мне таки удалось перехитрить Лаше: покуда они внизу строчили вам ответ, я заскочил к Вере Юрьевне и шепнул: «Продолжайте этот курс, развязка близка...» У нее глаза так и сверкнули, понимаете, — у сумасшедшей-то? И собственноручно нацарапала вам парочку слов... Читайте, этого не подделаешь...

Налымов с трудом разобрал большие слабые буквы поперек листочка записной книжки:

«...Велосипедист вез девочку с закрытыми глазами, помнишь -- парк Сен-Клу? Я тебе сказала тогда... Все по-прежнему... Только тобой... За все благодарю...»

— Василий Алексеевич, но, ради бога, давайте Веру Юрьевну отложим... Едем к Манташеву...

— Хорошо. Я верю вам, — сказал Налымов, осторожно вырывая из записной книжки листочек. — Что мы должны делать?

— Прежде всего — деньги, деньги, деньги...

56

У суетного Леванта голова даже ушла в плечи, когда таким образом остановился у подъезда мрачного трехэтажного дворца на набережной Сены.

— Это его собственный дом!

История превращения Леона Манташева из нищего эмигранта в миллионера была так стремительна и необычайна, что парижская пресса на несколько дней занялась этой сенсацией. Леон Манташев получил от «Ройял Дэтч Шелл» за проданные Детердингу бакинские земли девятнадцать миллионов франков. Деньги он получил на руки все целиком, неожиданно, как землетрясение. Однажды утром шеф гостиницы «Карлтон» был вызван к Манташеву, только что вернувшемуся из Лондона. Предполагая, что дело идет о бутылке коньяку и бутылке шампанского в кредит, шеф послал вместе себя лакея узнать, в чем дело.

Лакей, едва только отворил дверь, буквально был выбит обратно в коридор ураганным ревом нервного русского клиента. Лакей был бледен, у него тряслись губы, когда он сообщил об этом шефу. Шеф, с окаменелым, недоступным снисхождением лицом, без стука (что было прямым вызовом) вошел в номер к Манташеву, где, несмотря на поздний утренний час, были спущены шторы, зажжены все электрические лампочки, пахло виски и сигарами.

Леон Манташев, расставив ноги, стоял под люстрой. Карманы его необыкновенной канареечной пижамы оттопыривались. Усы торчали дыбом. Глаза бешено крутились.

— Счет! — заорал он, делая в воздухе широкий крестообразный жест.

— Хорошо, мосье, я подам вам весь счет, — мертвым голосом ответил шеф, подчеркивая «весь», что обозначало восемьдесят тысяч франков, или знакомство с комиссаром полиции, или подтяжки, привязанные одним концом к шее, другим — к дверной ручке. Шеф вышел. Счет был немедленно послан. Шеф, портье и два мускулистых коридорных стояли за дверью на случай атаки клиента. Они увидели в дверную щель, как лакей подал счет, как русский, не взглянув на счет, не моргнув глазом вытащил из карманов пачку денег и одну за другой швырял их на серебряный поднос, дрожавший в руке лакея, и мимо — на ковер...

— Восемьдесят тысяч! — заревел Леон Манташев. — Восемь тысяч получи на чай, скотина! Пшел! — И под ноги оторопевшему лакею швырнул последнюю пачку.

Шеф, портье и коридорные отступили от двери, охваченные сильным волнением.

В то же утро Манташев переехал в гостиницу «Мажестик», в апартаменты, сдававшиеся обычно коронованным лицам и американцам Пятой авеню. Темперамент его искал выхода. Манташеву сразу показалось тесно в этом городишке. (Париж тогда еще только приспосабливался к приему дорогих гостей.) Например: машины «роллс-ройс» он не мог найти ни в одном магазине, — предлагали заказать на фабрике — и ждать полгода?.. А портные! Парижские портные шли на мертвецов! А женщины, черт возьми! У самых шикарных фантазия не шла дальше ужина в кабинете «Кафе де Пари» и тысячи франков в сумочку. «Мерси, мой казак», — вот и все безумство...

Попытки бушевать на Монмартре также не вывели души на простор. Самая дорогая котлета стоила двадцать франков. Шампанское — пятьдесят франков. Правда, во всех кафе (слух о нем уже облетел Монмартр) «баловня судьбы» приветствовали джаз-банды салютом, — он сидел, густо обсыпанный конфетти, обмотанный серпантинном, обвитый голыми руками девчонок. Его знаменитые усы, торчавшие из этой путаницы, зарисовывались карикатуристами и даже были опубликованы в газетах. Все же это был не размах. Красивая идея — откупить на всю ночь уличные развлечения на бульваре Клиши — наткнулась на сопротивление полиции. Даже любимое дело — скаковая конюшня — не могло заполнить времени. Он купил четырех кровных жеребят и двух трехлеток для дерби, но и с этим приходилось ждать до весны. Вместо нищеты ему грозила скука.

С первых же дней к нему прилип один жизнерадостный эмигрант, мосье Сипин (по-видимому, просто — Сипкин), знающий Париж, как дно своего кошелька. С первым утренним кашлем счастливого миллионера Сипин проскальзывал в опочивальню со свежими новостями и игривыми предложениями. Он садился за пианино, пел бульварные новинки, имитировал знаменитостей, изображал один целый оркестр, чудно лаял собакой, до жути прав-

диво изображал автомобильные гудки, мог есть сколько угодно и что угодно, даже гнилое, кроме того, он зорко следил за многими численными просителями, надоедливо крутившимися вокруг отела «Мажестик».

По его совету Манташев купил мрачный дворец на набережной Сены, с великолепными конюшнями во дворе. Столовая в белом тоже была расширена и украшена колоннадой, вторая столовая оборудована под кавказский духан с очагом для шашлыков. Устроены бассейн для плавания, гимнастический и спортивный залы. Особое внимание обращено на спальни наверху — их было три: личная, холостая, в английском вкусе, затем помпадурная, с полой кроватью Марии Антуанетты, — для красивых связей, и — зеркальная, с фонтаном, — для легких массовых развлечений. Нижний этаж отведен под контору и жилища челяди.

На новоселье было разослано триста билетов — в редакции газет, кое-кому из русских и подавляющее большинство — женщинам по списку Сипина. Новоселье это произошло как раз накануне того дня, когда Левант и Налымов приехали к Манташеву. В доме еще не все было в порядке.

— Не везет, несчастье, боюсь, не примут, — шептал Левант, стоя в вестибюле и глядя на верх мраморной лестницы, откуда им заду по перилам съезжала с папироской очень хорошенькая, но помятая девушка в пышной юбочке, с голой спиной и худыми руками. Спустившись, она с гримаской выпустила дым в лицо посторонившемуся Леванту и надтреснутым голосом потребовала у портье шубу и такси.

Наверху лестницы к Налымову подошел мосье Сипин, — лицо его со страдальчески выпученными глазами было как у призрака, смокинг — в пуху.

— Мосье, вы опоздали ровно на двадцать четыре часа, — сказал он, покачнувшись.

Когда Налымов назвал себя и объяснил, что — по неотложному нефтяному делу, Сипин надул дряблые щеки...

— Боюсь, что Леон не в состоянии сегодня заниматься делами... Правда, он только что из бассейна после гимнастики, но... Он несколько угнетен... Хотя, может быть, ваш визит развлечет его, идите.

Леон Манташев в пестром халате, с мокрыми и непричесанными волосами сидел в туалетной комнате и, устало облокотясь, глядел в огромное наклонное зеркало. На краю туалета дымила папироска. Он вяло поднялся навстречу, — преувеличенно длинный в халате; усы его висели, восточные глаза страдали, — протянул обе руки Налымову, кивнул Леванту (которому в большинстве случаев только кивали, не соображая, как это болезненно даже для жулика).

— Господа, садитесь где-нибудь, — здесь такой беспорядок после вчерашнего... Сипинка, будь другом, скажи какому-нибудь болвану — кофе, четыре чашки, самого крепкого... (Вдогонку Сипину.) Да чего-нибудь спиртного... В комнаты не зову, боже сохрани, там еще

являются девчонки на диванах... Одну нашел в бассейне, — половина туловища в воде, — спит, — правда, вода теплая, но как она не утонула? Все-таки не ожидал от французов: ужасные развратники, ерники, ч-е-о-о-орт знает что такое. После войны, что ли, такие стали? В восточной комнате утром нашли несколько мужских кальсон. Нет, господ, пировать нужно уметь. Пускай царствует эрос, но красиво, по-римски... Ну, заблевали же все ковры! Очень жалко, что вас не было, Василий Алексеевич. У меня возникла идея сделать над столом балдахин из малинового бархата, на золотых копьях, и вот для чего: когда подают десерт, с балдахина начинают сыпаться розовые лепестки... Розы падали, падали, покрыли стол, всех гостей... Красиво... В утренней прессе, кажется, еще нет, но в вечерней будет полный отчет... Этот прием влетел мне в триста тысяч франков... (Он взял с края туалета дымящуюся папироску, сильно затянулся.) Этот дом обходится мне не дешево во всяком случае... Сотни тысяч так и летят... Господа... (Оглянул собеседников изумленными глазами.) Я не чувствую себя богатым человеком!..

— Полковник Налымов и я, — заторопился Левант, — именно по этому вопросу и позволили себе...

Манташев, — не обращая на него внимания:

— Деньги тают в руках, господ... Нужно что-то предпринимать. Так мне не хватит и до конца года.

— Мы опять с предложением, — сказал Налымов, — вернее: его идея, моя гарантия.

— Вам верю, как богу, Василий Алексеевич... Что это — опять Детердинг?

Левант, подавшись вперед на стуле и ощерив по-шакальи зубы:

— На Детердинга рассчитывать больше не приходится... Политическая обстановка круто изменилась к худшему. (Манташев моргнул, точно ему в глаза бросили песок.) Сведения из Ревеля и Ростова-на-Дону самые тревожные. Детердингу скоро понадобится вмешательство европейских войск, чтобы узнать, как пахнет кавказская нефть.

Манташев перевел глаза на Налымова. Тот подтвердил, что действительно за последнюю неделю в России произошел тревожный перелом. Сизо-бритое оливковое лицо Леванта с кривым носом многозначительно усмехнулось:

— Господин Манташев, вы неплохо заработали на наступлении Деникина и Юденича. Сегодня вы сумеете заработать еще больше на отступлении Деникина и Юденича... Мы вам гарантируем минимум удвоение капитала. Если это вам подходит, вы платите нам пятнадцать процентов куртажных...

— Ого, пятнадцать процентов, — пробормотал Манташев, скрывая тревогу. — Ну нет, это жирно!..

— Двенадцать нам предлагает Чермоев.

Манташев с живостью поднялся, но туалетная комната была тесна для его широких движений, и он повалился на кушетку.

— Я широкий человек, господ, но надо же иметь совесть. (Молчание. Лицо Леванта решительно выражало, что совести у

него нет.) Вы пользуетесь моей головной болью... Предположим — я согласился... Рассказывайте.

— Вчерашний раут запишите себе в актив, — начал Левант. — Когда человек после такого раута появляется на бирже, бумаги у него рвут из рук.

И он подробно стал излагать те же соображения, что и Налымову в кафе у Фукьца.

— ...Парижская пресса будет пока молчать. Вчера Денисов выехал в Лондон, чтобы придержать лондонскую прессу. Все это глупость: Деникину и Юденичу ничего не поможет, это — мертвецы... Интервенцию нужно делать европейскими войсками — открыто, широко, в полном контакте с деловыми кругами... Но оставим это... В нашем распоряжении — три-четыре дня. Нужно продавать, покуда у вас хватит присутствия духа... Потом за сотню тысяч франков французская пресса утопит русских генералов как миленьких. Тут уже самому Детердингу не удержать биржи...

Левант закончил свою мысль. Манташев засунул в рот усы и грыз их. Левант медленно вытащил шелковый платок и, вытирая лоб, из-под платка успокоительно моргнул Налымову, сидевшему в полном безразличии.

После продолжительного молчания Манташев сказал:

— Итак, вы хотите, чтобы я действовал против Детердинга?

— Это — логика, — сказал Левант.

— Против Черчилля, против французской политики, против всех порядочных людей, которые, как скалы, высятся среди грязи, предательства, спекуляции?.. Боже мой, боже мой! (Манташев вскочил, вслепую ища босой ногой туфлю под кушеткой.) Чтобы я пошел против своей совести?! Черт, вы направляетесь мою руку и спину святому белому делу!..

— Биржа реагирует только на логику...

— К чертям логику! Вы требуете от меня подлости! И еще хотите за это пятнадцать процентов куртажа!

— Хорошо, — спокойно сказал Левант, — я уже вижу, что вам трудно отрывать от себя пятнадцать процентов... Платите нам двенадцать — и покончим...

57

Перед камином на низеньком столике — бутылка портвейна, бисквиты и коробка сигар. Уголь только что подсыпали, и он еще дымит, распространяя в слабо освещенной комнате запах старой Англии. Портвейн сердоликово отсвечивает в граненых рюмках, — он не менее трех раз проплыл в бочке вокруг света на парусном клипере, крепкий его аромат примешивается к запаху угля.

Все страсти, поднятые Великой войной, — взбаламученная грязь со дна человеческого океана, — разобьются в бессилие и строгий покой этой комнаты. Аминь!

В сумрачный вечер сидящие у камина знают, конечно, что куки дымящегося угля с отчаянием и проклятием подняты из глубины шахт, а не свалились с неба. Человечество, в сущности, еще глубоко несовершенно. Да, много печальных и тревожных несовершенств в социальном строе Англии. Но это не означает, что во имя прибавки бедному человеку лишнего шиллинга в неделю нужно разломать тысячелетнюю крепость культуры, впустить в эту комнату рабочего с туберкулезными ребятишками, отдать бутылку драгоценного портвейна уэльскому шахтеру, понимающему толк лишь в количестве градусов, и предоставить прекрасные картины, украшающие стены этой комнаты, для сушки гороха.

Оба сидящие у огня — джентльмены. Оба говорят на прекрасном английском языке, не подчеркивают своих мыслей, но выражают их с тонким юмором. Они угадывают сокровенные намерения друг друга и с добродушием сознаются в этом. Цель одного из них — сэра Генри Детердинга — указать на призрачность некоторых точек зрения собеседника. Цель другого — мистера Ллойд-Джорджа — изящно не дать провести себя за нос.

Обмениваясь фразами, окуная бисквитики в портвейн, собеседники стараются совместными усилиями как бы разыграть трудную шахматную партию. По-видимому, это их забавляет, и они исполнены чувства открытого дружелюбия друг к другу.

— В самом начале были допущены ошибки, сэр Генри... Ошибки, стоившие нам дорого.

— Вы говорите об отсутствии должной твердости?

— Об отсутствии полезной гибкости. В Англии, к сожалению, слишком много людей, которые смешивают в одной кастрюле нашу современность и отошедшую в вечность непоколебимую политику времен императрицы Виктории... Противоречия, порождаемые развитием английского капитала в половине прошлого века, казались устранимыми простым, крепким, английским ударом в переносицу, в крайнем случае — частной благотворительностью. Но сегодня добросовестному политику невозможно не принимать этих противоречий как реальных данных при учете сил, — вот именно об этой гибкости я и хотел сказать, сэр Генри. Возьмите сигару.

— Благодарю. Позвольте вам предложить мою.

— Благодарю. Я был против оккупации Баку в восемнадцатом году, против посылки наших войск на север России, и я был прав. Мы ничего не достигли, мы раздражили большевиков и бросили жирную кость нашим домашним крикунам.

— Но боязнь либеральных болтунов в парламенте и в английских профсоюзах — это еще не учет сил, мистер Ллойд-Джордж. Либерализм сам по себе — прекрасен, когда он цветет у домашнего очага. Оставим его там, очистим, наконец, от него нашу твердую политику. Будем прямолинейны и суровы, как орудия английских предноутов.

— Сэр Генри, вы хорошо сделали, что связали свою судьбу с судьбой Англии и поставили половину запасов мировой нефти под

защиту английских пушек, но я немного огорчен тем, что у нас все еще нет доверия к дальности прицела английских пушек.

— Разрешите вам налить?

— Благодарю.

— Я ни на чем не настаиваю, мистер Ллойд-Джордж. Последние события на востоке встревожили меня так же, как любого англичанина, охраняющего свою семью, свой дом и свой кошелек от ночного посетителя. Я немного растерян. До сих пор мне казалось, что в сильном государстве сильная политика опирается на силу.

— Сэр Генри, мы раз и навсегда должны отказаться от некоторой терминологии, которую нам навязали наши друзья из профессиональных союзов. Например, империализм! Будь я ребенок, я бы, наверно, заплакал в своей кровати, услышав это слово... Интервенция! Это похоже на пощечину. Колониальная политика! Это — безобразные, ненужные, раздражающие слова... Зачем я буду каждое утро вывываться из окон и строить гражданам неприличные гримасы?.. Они вправе начать швырять камнями в мое окошко...

Сэр Генри откинулся в сафьяновом квадратном кресле, — должно быть от портвейна, массивное бритое лицо его с угрюмой челюстью было багровое, веки полуопущены над мешками глаз, щека вздрагивала. Мистер Ллойд-Джордж — седогривый, с моржовыми седыми усами, розовый, как дядюшка из провинции, благодушно улыбался.

— Игра с огнем всегда кончается пожаром, — сквозь зубы проговорил сэр Генри.

— Единственно, в чем мы с вами расходимся, — так мне кажется, сэр Генри, — это в способах тушения пожара. Эффектное появление пожарных на сцене: много крику и шуму, хлопотно и мало толку.

— Какие же другие способы?

— Правильная осада: когда осажденные начинают есть крыс и пить тухлую воду, они сдаются... Из истории Пунических войн мы знаем, что римляне, ускоряя процесс капитуляции, бросали в осажденный Карфаген зачумленные трупы. Это классика...

— Все это превосходно, если бы рынок мог ждать терпеливо... «Ройял Дэтч Шелл» вложил огромные суммы в кавказские земли. Американцы не вложили ни одного цента. Мы ослаблены, они нет. Если к будущему лету мы не будем стоять твердой ногой в Баку и Грозном, — Англия потеряет первое место...

Разговор принял такой оборот, что мистер Ллойд-Джордж почувствовал, наконец, будто его прочно взяли за нос. Он нагнулся к камину и некоторое время возился с углями.

— Да, да, вы, как всегда, правы, сэр Генри, — бормотал он, озаряемый пламенем; порозовели даже его пышные волосы. — Будем надеяться, бог поможет старой Англии... Видит бог, — мистер Ллойд-Джордж выпрямился, вооруженный каминными щипцами, — мы хотим только мира и счастья! Побольше счастья! Путь к нему открыт. Но при всем миролюбии (Ллойд-Джордж положил щипцы) мы не можем, не в состоянии остановить процесса кри-

сталлизации новорожденных республик на востоке Европы. Самоопределение — священный процесс. Польша и Румыния в своем историческом развитии *должны пройти через войну...* И мне представляется, что не дальше, как этим летом...

Подумав, сэр Генри сказал:

— Это — идея.

После этого оба молчали некоторое время. Существенная часть беседы была окончена. Сэр Генри поднялся. Мистер Ллойд-Джордж проводил его до дверей, глядя с чувством тревоги на апоплексическую шею такого нужного Англии, такого значительного человека.

Сэр Генри отпустил машину, отпер парадное, зажег яркий свет в вестибюле, бросил на кресло шляпу и пальто и на секунду остановился перед пестро размаляванным деревянным идиолом с Сомоновых островов.

Людоедский бог, со ртом до ушей, с треугольными зубами, жаждущими человечины, с клювообразным носом и ожерельем из раковин и бус (американского происхождения) глядел на Детердинга косыми непонятными глазами. Однажды сэр Генри пошутил, указывая друзьям на этого идола:

— Большевик.

Сейчас он вспомнил об этом и зло усмехнулся. Мысль, овладевшая им за время поездки по запруженным лондонским улицам, снова отчеканила:

«Польша, это — идея».

По лестнице, улыбаясь, спускался изящный, с седыми висками мистер Ховард — секретарь. На предпоследней ступеньке он остановился и ожидал, когда сэр Генри обратит на него внимание.

— Кто-нибудь ждет в приемной? — спросил сэр Генри.

— Мистер Константин Набоков и мистер Денисов из Парижа.

Мешки под глазами сэра Генри задрожали от гнева:

— Передайте этим русским... Гм... (Горловой звук, похожий на орлиный клекот...) Передайте, что я крайне утомлен и ложусь в постель. Пусть придут завтра... Приготовьте на завтра точную сводку военных действий в этой проклятой России... Гм... А также... Скажите, Ховард, вам известно количество населения в Польше? Приготовьте также и эту цифру, и подробнее о Польше... Если нам это доставит удовольствие, передайте русским, что их белые генералы ни к черту не годятся... Любой чурбан... (он кивнул на идола) понимает в политике больше, чем они...

За пять дней Володя Лисовский заработал три с половиной тысячи франков. Но пришлось здорово потрудиться. Особенно много хлопот доставил Бурцев, хотя у него он не заработал ни сантима.

Владимир Львович Бурцев сделался окончательно невыносимым последнее время. Его настроения вместе с политическими убеждениями качались, как метроном, направо — налево, и где-то по середине: чик! — сухой треск — трещала надорванная борьбой и большевиками душа Владимира Львовича.

Еще бы! Ум заходил за разум, когда он все в той же соломенной шапочке (несмотря на ноябрь и нетопленную редакцию) сидел за пыльным столом над исковыренной ногтями промокашкой и его духовный взор, пронзивший в свое время такого демона, как Азеф, беспомощно бился о неразрешимые загадки. Владимир Львович был подобен провинциалу, попавшему в волшебную шестнадцатигольную комнату в паноптикуме: куда ни ткнишь, вместо выхода — зеркальная стена, откуда смотрит на тебя твое же растерянное лицо.

В противовес большевикам, сводящим все исторические процессы к классовой борьбе, он теперь выдвигал личность героя, сверхчеловека, носителя национальной, государственной, мировой идеи. Этой личностью был Колчак. О нем Владимир Львович писал с хлыстовской страстностью. В день его именин опубликовал «Письмо сибирского купца», лично будто бы видевшего верховного правителя.

«...Стою это я, — рассказывал купец, — в приемной, а у самого сердце так и трепещет... Господи, думаю, вся наша надежда на нем! И почуяло ретивое: идет он, батюшка, тихо, плавно... И как будто некое дуновение пронеслось. Казаки отворяют дверь, и мне впору, как перед Спасом, — в землю лбом. Он входит, — лик светлый, глаза вещие и подает мне белую ручку: «Здравствуй, говорит, сибирский купец, много ты горя вынес, многое тебе и воздастся...»

По поводу фельетона Лисовский сказал:

— Владимир Львович, кто вам сочинил письмо истового купца?

— Что? Как кто?

— Не сами ли уж, чего поди?.. Вы бы все-таки литературный материал через меня пропускали. В городе над фельетоном смеются.

— Кто смеется?

— Встретил Савинкова, смеется: скоро у вас верховный правитель по водам будет ходить...

— Вон! — надорванным фальцетом закричал Бурцев. — Вон! Вы больше не сотрудник «Общего дела».

И вот через несколько дней тот же Лисовский пришел опять, нагло сел у редакционного стола, распространяя запах коньяку, и заявил, что Колчак — истерик, политический дурак, военная бездарность и подставная кукла, которую в самом непродолжительном времени союзники вышвырнут за ненадобностью. Задохнувшему от негодования Бурцеву он показал кучу французских газет, где все это было напечатано.

Владимир Львович бросился на улицу Гренель. Там, на Политическом совещании, за зеленым сукном с золотой бахромой, на потертых креслах сидели: мертвенно утомленный князь Львов, на лево от него — белобородый, щеголевато одетый «дедушка русский»

революции» Чайковский, направо — царский посол во Франции старый Извольский, напротив — посол Временного правительства во Франции Василий Маклаков, нахмуренный Савинков (чем-то — жидкой прядью волос, упавшей на большой лоб, — напоминающий один из портретов Наполеона), мягколицый блондин из московского купечества — Третьяков и царский посол в Италии Гирс.

Этим людям, по-видимому, казалось, что на листах чистой бумаги, разбросанной по столу, они должны начертать и непременно, как умные и образованные люди, начертают судьбу России. Они слушали прибывшего из Ревеля Кедрин, — печальный анализ событий под Петроградом. Лица всех (исключая Львова) выражали вежливую скуку: Кедрин был на подозрении в левизне, — «краснозадый», — как подписавший вместе с другими министрами северо-западного правительства акт о независимости Эстонии.

Доложили о Бурцеве. К нему вышел старый дипломат Извольский, — ему всегда доставляло удовольствие говорить неприятности. Бурцев, особенно казавшийся пыльным, без пуговиц, обсыпанный табаком, с растрепанными седыми космами из-под соломенной шапочки, с карманами, оттопыренными от газет, — кинулся к Извольскому.

— Что случилось? — спросил он почти одними движениями пересохших губ.

Извольский, выставив впереди себя палец, чтобы удержать наскок Бурцева:

— Центр борьбы переносится с востока на юг России, вот все, что случилось.

— Но — верховное правительство?

— Омск эвакуирован... Правительство где-то там...

— Адмирал?

— Право, не знаю... Где-нибудь едет в поезде...

Обухом ударило старого Бурцева в темя, в мечту, в идеализм. Встряслись полные брюки. Вернувшись в редакцию, он долго одиноко сидел у стола в надвинутой на глаза соломенной шапочке. Потом он вызвал Лисовского и, стараясь не глядеть в эту нагло укмыляющуюся рожу, затребовал у него самые обширные данные биографии генерала Деникина. Владимир Львович не хотел сдаваться, — еще раз он делал усилие, чтобы на кончике пера поднять светлую личность.

На самом деле Политическое совещание было не менее Бурцева потрясено неожиданным поворотом французской печати от сдержанно-благожелательного отношения — по поводу русских дел — к резко враждебному. Что-то случилось, какая-то новая сила вошла в игру, чья-то сильная рука наносила удар.

Биржа, по существу учреждение паническое, реагировала на все это паникой. Русские ценности летели кувырком. Кто-то пригоршнями швырял для продажи русские нефтяные акции. Так продолжалось несколько дней. И будто нарочно из Сибири получались телеграммы одна мрачнее другой.

К Львову к завтраку позвали Тапу Чермоева, подпоили и мы ведали, что газетная кампания идет от Леона Манташева, играющего на понижение. Все это было бы понятно, если бы не одно странное явление: несмотря на то что газеты поддавали жару, нефтяные акции после первых дней паники начали как будто сопротивляться и даже испытывать тенденцию ползти вверх: чья-то еще более сильная рука продолжала смело и широко поддерживать их.

— Нет, это игра темная, — говорил Тапа за завтраком, боже спаси ввязываться... Боюсь за Леона, он — горячий человек, а политика — не скаковая конюшня. Между прочим, если уж играть сегодня, так только на повышение. Почему? Признаки есть, господа, счастливые признаки.

Хитрый татарин напустил еще гуще туману. Где-то кем-то то вилась таинственная диверсия по отношению России. Тревожилось всего было то, что Политическое совещание — фокус борьбы и ядро будущей русской власти — менее других было осведомлено. Им явно пренебрегали. Затем из Лондона пришла телеграмма от Константина Набокова:

«Необходим оптимизм. Необходимо внушить Деникину, что события расцениваются как временные неудачи. Входит новый фактор. Лондон на страже».

В Политическом совещании изрисовали рожцами и завитушками пятьдесят листов чистой бумаги, но телеграммы не поняли. Пока что решили предложить Бурцеву немедленно выехать в Новороссийск для организации оптимизма и местной печати. Из Лондона приехал Денисов, но по телефону его нельзя было добиться.

Шумели ноябрьские дожди. Париж веселился. Володя Лисовский часов в одиннадцать утра все еще нежился под теплой периной, с удовольствием слушая шум дождя. В дверь торопливо постучали. Вошел Александр Левант. Зонт его, концы брюк и башмаки были мокры. Глаза — как две тухлые маслины. Не снимая шляпы, он сказал:

— Можно уничтожить всю армию сразу, окружить и расстрелять или утопить в реке? И армию и генералов?

— Кого именно? — спросил Лисовский.

— В данный момент — белых с Деникиным.

— Можно, конечно, — не поверят...

— Чума в белой армии? Что вы скажете? Повальная чума...

— Чума — неплохо. А вам когда это нужно?

— Завтра.

— С чумой придется повозиться с недельку, иначе не подействует:

— Кошмар!..

Александр Левант, присев на постель в ногах Лисовского, некоторое время скалил длинные зубы. Ошеренная голова его глядела на туман и дождь за окном, где угольными очертаниями проступали аспидные крыши, гончарные каминные трубы.

— Манташев может еще вылезти, он продавал на февраль, к тому времени проклятую нефть удастся опять повалить... Я продавал на короткие сроки...

— Ай-ай-ай!..

— Кто мог знать? Я хотел скорее взять деньги. Сегодня я уплатил разницы сто двадцать тысяч франков. Послезавтра платить столько же... Я — банкрот... (Лисовский сочувственно пощипал язык.) Если бы завтра что-нибудь сверхъестественное про Россию! Слушайте, Америка не могла бы признать большевиков?..

— Такого ерша ни одна газета не рискнет напечатать.

— Я не спал две ночи... Голова отказывается... Слушайте, Лисовский, что случилось с нефтью? Кто ей помогает? Кто скупает эти паршивые акции? Можно сойти с ума! Вы сумеете что-нибудь придумать?

— Нет.

Левант повторил тихо: «Нет!» Он и сам знал, что — нет... Подошел к окну. Постоял и, не прощаясь, вышел... На трамвае поехал до Биржи и рассеянно стоял у колонн, заложив руки с зонтом за спину. Затем он вернулся в гостиницу и еще засветло вышел оттуда с объемистым пакетом, сказав консьержу, что — к портному. Ночевать не явился. Наутро консьерж обнаружил у него в номере, в камине, следы сожженных бумаг, на полу в раскрытом чемодане — пару поношенных носков и неоплаченный счет из гостиницы: все, что осталось на поверхности жизни от Леванта. По-видимому, он совсем исчез из Парижа, предоставив Налымову одному выкручиваться из кучи неприятностей.

Манташев, узнав о его бегстве, сломал несколько ценных предметов у себя в туалетной комнате и заявил в полицию. Налымову послал бешеное письмо. Но Василий Алексеевич был уже на пути в Стокгольм. В полицейской префектуре Леванта отметили как исчезательного иностранца.

Ни в Париже, ни в мировой истории деятельность, появление и исчезновение Леванта не произвели никакого впечатления. Вымырнула из болота лягушечья голова, квакнула, переполошив десятков-другой мошек, и скрылась. Странно все же подумать, сколько было затрачено сумрачного труда, всех видов энергии и пищевых продуктов, чтобы обслужить и прокормить эту лягушечью голову. (Сколько затрачено умственной деятельности на мирных конференциях, в парламентах и министерских кабинетах, сколько изготовлено оружия и взрывчатых веществ, чтобы сделать существование гикой лягушечьей головы приятным и спокойным. Только поэтому, из-за этой странности, и стоило, пожалуй, упоминать о Леванте. Сам по себе он серый, как ночная тень, мелкий левантинский жулик. Хаджет Лаше — тот по крайней мере злодей, в старое время его восковой бюст показывали бы в провинциальном паноптикуме вместе с Джеком — потрошителем животов. Кроме того, Хаджет Лаше предвосхитил некоторые приемы, которыми несомненно будут широко пользоваться на европейской политической

арене. Или Денисов! Этот, правда, пока еще в полутени, роскошные говоруны-политики и чудо-генералы заслоняют его, но голова его несомненно высунется в свое время и так квакнет, что только держись: «Шире дорогу черному интернационалу!»

Налымов приехал в Стокгольм в туманное, холодное утро, когда над Балтикой неслись тревожные сигналы судов, блуждающих в тумане. Изморозь секла железный борт парохода. Поднятый воротник не спасал от холода.

Продрогший шофер сердито захлопнул дверцу машины и поискал Налымова в одну из второклассных гостиниц. Налымов взял комнату подешевле. Когда внесли чемодан, он сейчас же заперся и ходил, ходил, останавливаясь у окна, за которым стоял туман стеной безвыходного мрака. Скука, тоска, мерзость...

Причина отвратительного настроения была в том, что его чувства к Вере Юрьевне остыло, сколько он ни пытался подогреть его. Ущерб начался, когда к нему пришло некоторое благополучие. (Сто тысяч франков куртажных.) Он босяк — это было одно, он рантье — в корне было что-то другое... Еще месяц, два — и он бы совсем не поехал в Стокгольм... Побранил бы себя, потужил и навряд бы расстался с покойной постелью в своей холостяцкой квартире. И вместе с ущербом надвинулась холодная дрянная пустота, как этот желтый туман за окошком. Василий Алексеевич сел, наконец, к телефону. И сущности, плана у него никакого не было. Исчезновение Леванта смывало все планы. Нужно было попытаться переговорить с Мари или с Лили... Он позвонил в «Гранд-отель».

Оказалось — мадам Мари в прошлом месяце уехала с труппой Хипс-Хопс в Варшаву. Подробностей портье не сообщил. На просьбу попросить к телефону Лили портье, помолчав, неохотно ответил, что посмотрит, здесь ли мадемуазель, и предложил Налымову оставить свой номер телефона. Из осторожности Василий Алексеевич не сказал фамилии.

Звонка ждал долго. Сняв пиджак, продолжал ходить от двери до окна. Желтый сумрак сгущался. Во всяком случае, Вера Юрьевну он — так или иначе — выручит. О дальнейшем не стоило думать. Налымов позвонил и приказал коридорному принести комплект местных газет за последний месяц.

Просматривая газеты, он сразу же наткнулся на историю о Кальве. Через десять номеров новая сенсация: «Таинственное исчезновение Леви Левицкого»... Газеты на этот раз всерьез переполошились. Заметка в «Эхе России» (в специальном номере, выпущенном Лигой) о прикосновенности Леви Левицкого к сокровищам царской короны впечатления не произвела: Леви Левицкий

был связан со стокгольмскими банками, — о нем единогласно отзывались как о солидном и порядочном человеке. Через день после его исчезновения с его текущего счета было снято тридцать тысяч крон, подпись на чеке оказалась поддельной. Не напечатай об этом газеты, преступники несомненно попались бы со вторым чеком. Затем поднятый шум вокруг Леви Левицкого внезапно оборвался — видимо, под давлением свыше.

Для Лиги история с Леви Левицким прошла не гладко. Понятно теперь возмущение и предательство Леванта. Он прав. Хаджет Лаше потерял политический нюх. После событий под Петроградом Лига оказывалась громоздкой кустарщиной.

Позвонил телефон, и — надтреснутый просящий голосок:

— У телефона Лили.. Вы меня хотели видеть, мосье?

Не называя себя, Налымов попросил ее немедленно приехать в гостиницу.

— Хорошо, я приеду... Автомобиль на ваш счет...

Ясно — девчонка опустила до уличного фонаря... Налымов бросил газеты и позвонил, чтобы подали завтрак на двоих. Через несколько минут, поцарапав в дверь, вошла Лили, — юбочка до колен, ноги тонкие, из-под яркой дешевой шляпки — беспокойные глаза, обострившийся напудренный носик. Разинула в два приема рот, — все шире, — увидя Василия Алексеевича:

— Нет, нет!

— Лилка, милая, здравствуй. Раздевайся, садись! Будем завтракать.

Он поцеловал ее холодную щеку. Под пудрой — морщины. Она опустила руки и так, стоя, начала плакать.

— Ну, что ты, дурочка, перестань...

Он снял с нее пальто и шляпку. Под шерстяным, без любви и заботы надетым платьем было видно, как она худая. Налымов усадил ее в кресло, поцеловал в темя:

— Рассказывай.

— Вася, тебя здесь убьют... Ах, ты ничего не знаешь: это кошмарный ужас...

— Подожди, что Вера, где она?

— Там же, на даче... Я там больше не живу Я здесь снимаю комнату и сама плачу, я это отстояла... Вот Мари, понимаешь ты, счастье-то! В нее влюбился один из Хипс-Хопсов, Ричард, и взял ее в Польшу, — она прекрасно знает польский язык, и она очень музыкальна, они ее научили играть на метле... Но что было! Лаше не хотел отпускать. Хипс-Хопсы пожаловались в английскую миссию... Только так и вырвалась... А я — совсем, Вася... (Нырнула головой в колени, затагнула детским плачем.) Сейчас перестану... (Вытерла глаза уголком скатерти.) Вера очень была больна. У ней — что-то мозговое. Если тебе будут говорить белая горячка, — пранье. Конечно, ей лучше бы умереть... (Покосилась на дверь, ее лицо у нее задрожало.) Убивали при ней, понимаешь?..

— Мы прямо поедem к начальнику полиции.

— Господи! (Схватила за щеки.) С ума сошел! Чтобы меня увезли в Баль Станэс и пытали и резали! Полиция сейчас же должна знать Лаше, и Лаше им докажет, что мы — большевики... И мы припали... Полиция еще недовольна, что Лига плохо работает. У меня есть один любовник, я знаю, конечно, что он — шпион, приставлен от Лиги следить... Он рассказывал: начальник полиции кричал на Лаше и на генерала Гиссера, что они больше о своем кармане заботятся, чем о большевиках, что они просто жулики, а не политические борцы, что в Стокгольме пруд пруди большевиками. Поэтому Лига готовит крупное убийство... И не думай заявлять! Ведь при тебе же я давала клятву, а знаешь, что за нарушение клятвы?

— Хорошо. Я поеду один. Но я должен выставить тебя как свидетеля...

— Нет, нет, нет... Я ничего не знаю...

Она схватила за шляпку. Налымов едва уговорил ее остаться завтракать. Но только он начинал настаивать на заявлении в полицию, — Лилька бросала вилку, принималась плакать.

60

Бистрем позвонил. Отворил Ардашев, поднял руки:

— Батюшки! Какими судьбами! Худой, страшный, ободранный! Неужто из Петрограда?

Бистрем пролез в маленькую прихожую, широко улыбаясь, стиснул тяжелое от грязи, залатанное пальто, свернул его и вместе с кепкой положил в угол на лакированный пол.

— Николай Петрович, я к вам прямо с поезда. Понимаете, мне необходимо прилично одеться... За мной следят от самой границы Николай Петрович, что мама?

— Здорова, все великолепно...

— В таком виде домой не рискну... Главное — пальто, башмаки и шапка...

— Сушие пустышки, магазины еще не закрыты... Слетаю мигом. Есть хотите?

— Ужасно.

— Через час обед. А это тряпье не лучше ли сжечь?

— Да, пожалуй... Я не ручаюсь, что насекомые...

— Куплю и костюм и белье. Размер, конечно, самый большой?.

— Да, да, самый большой... (Бистрем внезапно крепко взял спл за руки.) Я так и думал, вы — хороший человек.

— Глупости, глупости... Вы мне расскажите-ка, что в России? Бьем интервентов в хвост и в гриву? Правда это? Я всегда говорил проснется, черт возьми, русский богатырь... Россия-с — не Австро-Венгрия! Эта раскололась, как глиняный горшок, а мы, черт ни возьми, покажем Европе евразийцев!

— Процесс гораздо более сложный, Николай Петрович. Я бы не сказал, что национализм...

— Ладно... Расскажите... Бегу...

Ардашев живо оделся, хлопнул дверью, весело затопал по лестнице. Улыбка слезла с небритого, обветренного лица Бистрема. Поправив маленькие — не по размеру — очки, он сурово огляделся. Вошел в кабинет и сел у топящейся печки, — нога на ногу, локоть о колено, костлявый подбородок на ладонь.

Он был послан курьером из Петрограда и три дня назад перешел финскую границу. Три ночи не спал, страхась быть захваченным контрразведчиками, шнырявшими по всей Финляндии. У него еще не прошли болезненные ощущения контузии, полученной под Пулковом, голову от усталости и голода застилала тошнотаватая муть. Но это — мелочи. Он иными глазами глядел теперь на этот мир, покинутый им в сентябре. Швеция поразила его опрятностью, порядком, удовлетворенностью, — страна еще не израсходовала богатств, переживших ей во время мировой войны. Бистрем вглядывался в краснощекие лица щегольски одетых граждан, в окно вагона-ресторана видел, как они ели, пили, курили. Они были благодущны и вежливы. И Бистрем не мог отрешиться от ощущения, что этот великолепный мир отделен от него будто невидимой решеткой.

Перед отъездом из Петрограда он получил наказ провести в европейской печати ряд статей, чтобы, сколько возможно, парализовать желтую прессу. Со всей пылкостью он принял тогда наказ. Сейчас у горячей печки он с тяжестью думал, что трудно ему будет полностью оправдать доверие товарищей. Нужна бешеная энергия, свежесть всех сил, а у него слипаются глаза, и он с жадностью думает об ардашевском обеде. Несомненно, сильно перспаны нервы...

В прихожей трещал звонок. Бистрем провел ладонью по лицу, встряхнулся, отворил парадную дверь. Вошел небольшого роста, красивый, неприятный человек, с темными усиками, с острой бородкой. Снял с плечи котелок.

— Николай Петрович дома?

— Нет, — угрюмо ответил Бистрем.

— Могу я подождать его?

— Не знаю, я нездешний.

Человек быстро и внимательно оглядел Бистрема и до половины неприятно приоткрыл редко посаженные зубы:

— Простите, вы, кажется, Бистрем? Мы однажды встречались. (Бистрем не ответил.) Хорошо. Я позвоню Николаю Петровичу. Не откажите передать, что заходил Извольский...

Человек надменно кивнул снизу вверх подбородком и вышел. Бистрем некоторое время глядел на захлопнувшуюся дверь, — будто он прикоснулся к ядовитой гадине... «Ну и черт с ним», — вернулся в кабинет и опять сел у печки. Сонливость прошла, но чувство гадливости оставалось. Он потирал перед огнем большие свои красные руки... «Глупости, глупости, не нужно нервничать...»

Вернулся Ардашев, веселый и запыхавшийся, нагруженный свертками и картонками.

— Идите в ванну, Бистрем, берите горячий душ, брейтесь. Будете одеты, как принц Уэльский... Понимаете, замечательное удобство — открылся новый американский магазин, все для мужчин, что твоей душе угодно: от запонки до автомобиля... Купил вам даже трубку и табаку... Да, батенька, плоха, плоха буржуазная культура, а умеют они создавать условия... Рубашки купил флисовые, правильно?..

Вымытый, выбритый, одетый во все чистое и новое — Бистрем сел за обеденный стол. Ардашев, продолжая хлопотать, поднял крышки с дымящихся блюд:

— Ешьте, ешьте, дорогой! Что-что, а жратва у нас в Швеции хороша. Вот это — сосиски! А это — гоголевский лабардан, си-речь — свежая треска, — мечта, а не рыба. К ней растопленое масло...

Ардашев подкладывал, потчевал друга, искренне, горячо, и вместе с тем казалось, в чем-то извинялся перед ним.

— Ну, а теперь — рассказывайте о вашем путешествии на планету Марс...

Давеча, когда Бистрем тер ладонь о ладонь у печки — клещами у него не вытащить ни слова о Петрограде, — сейчас, растроганный и сытый, он доверчиво начал рассказывать о своем путешествии. Ардашев сейчас же принялся катать хлебные шарики на скатерти, кивал и поддакивал. Но глаз не поднимал на Бистрема.

— Понимаете, Ардашев, я понял там одно, главное, основное, — что физические лишения отходят на второй план... Куда там — на десятый... Голод и холод, отсутствие чистой одежды и даже мыла — совершенно по-другому переносятся человеком в том случае, если душа его окрылена великими идеями... Борьбой за эти идеи... Да, да, — ими, только ими руководствуется наша жизнь, и тогда она — полна, целесообразна, прекрасна... Здесь мало знают и мало понимают, что означает для человека моральная высота.

— И вы там ее увидели и узнали? — тихо спросил Ардашев.

— Да... Вы бы... я не говорю лично о вас, но человек из этого вашего мира отпрянул бы в ужасе при виде внешности ремолюции. Внешность ее непривлекательна... Промокшие валенки, обвязанные бечевками, да худое пальтишко, да перетянутый ремнем голодный живот... Но — глаза человеческие! (Глаза Бистрема вдруг увлажнились, он прищурился, скрывая это...) Когда перешагнешь на ту сторону, когда тебя примут в то высокое дело, как товарища, — тогда узнаешь, что такое человек... О, это замечательное животное... Это высокое существо... Человек дерется и умирает за счастье других!.. И в этой борьбе требует для себя только двести граммов хлеба... И должен вам сказать, Ардашев, я очень полюбил русских... Это люди, способные на грандиозные дела, и очень выносливые люди...

— Так, так, так. — Ардашев неожиданно засопел, рассматривая хлебный шарик. — Ужасно хочется вам верить, Бистрем... Вам нужно об этом писать...

— Николай Петрович, я именно по поводу этого и хочу говорить с вами...

— Отлично, отлично... Поедемте-ка завтра к одному человеку: профессору славянских языков в здешнем университете... Переводчик Пушкина... Он вас особенно поймет, мне кажется... Завтра приходите ко мне вот так же завтракать и отправимся...

Бистрем за этим разговором совсем забыл сказать о визите неприятного господина, назвавшего себя Извольским. Попросив Ардашева предупредить по телефону мать, Бистрем надел новое пальто, шляпу, неожиданно горячо потряс руки Ардашева и пошел домой, уверенный, что не обратит на себя ничего внимания.

61

На следующий день он пришел к Ардашеву в назначенный час. Приветливая пожилая женщина, отворившая дверь, сказала, что Николай Петрович вышел куда-то, но с минуты на минуту должен вернуться. Завтрак уже готов.

Бистрем сел, как и вчера, в кабинете, у печки. В комнате — лакированный паркет, в шкафах — корешки книг с красными, синими, зелеными наклейками. На стенах — дорогие эстампы. За чисто протертым окном — туман. Пробило час. Приветливая женщина, приоткрыв дверь, взглянула на стенные часы:

— О, бог мой, две минуты второго! Что-нибудь экстренное задержало господина Ардашева, он очень пунктуален.

У Бистрема было достаточно тем для размышления, — он спокойно сидел, когда часы пробили половину второго и два. Каждый раз экономка, складывая молитвенно ладони, принималась извиняться. Больше всего ее удивляло, что Ардашев не звонит по телефону. Когда пробило три, Бистрему тоже все это начало казаться странным. Он протелефонировал домой и у матери спросил, нет ли для него письма или телефонограммы? Оказалось, был посыльный, оставил письмо от Ардашева, но оно — по-русски, и мать не может прочесть. Помимо письма, позже, от него же были две телефонограммы...

Неужели Николай Петрович забыл о завтраке? Экономка с недоумением затрясла головой: «Господин Ардашев еще сегодня утром напомнил о завтраке на две персоны и приказал купить шампанское...» — «Странно!» Бистрем зашагал домой. Письмо оказалось действительно от Ардашева:

«Уважаемый Бистрем, немедленно приезжайте в ресторан «Сорока». Это немного далеко от центра, но кормят великолепно. Поезжайте на трамвае № 11. Я один, скучаю, поболтаем. Жду. Ваш Николай Ардашев». Обе телефонограммы были о том же, просьба приехать в ресторан «Сорока»...

Бистрем сел к столу, положил перед собой письмо, перечел. Снял очки, близоруко перечел еще раз... До отвращения было непонятно!.. Вскочил, отыскал в телефонной книжке ресторан «Сорока». Позвонил туда и какому-то пивному голосу подробно описал наружность Ардашева. Пивной голос ответил, что «очень извиняется, но такого господина у них, к сожалению, сегодня не было».

Бистрем позвонил к Ардашеву. Взволнованная экономка ответила:

— Нет, нет, все еще не вернулся.

Что можно было подумать? Особенно странной казалась фраза в письме: «Я один, скучаю, поболтаем»... Как будто не было ничего рашнего разговора... «Поболтаем»... — так нельзя написать после вчерашнего. И потом: «Уважаемый»!.. Непонятно...

Бистрем нашел в столе одну из коротеньких ардашевских записок, сличил: и там и там почерк — круглый, аккуратный, и письмо даже более уверенный, чем в записке... Быть может, мистификация, издевательство? Уязвленный, он опять позвонил. Экономка ответила как будто даже с негодованием: «Нет, нет слышите! Тогда Бистрем рассердился: «Хамство богатого бездельника!» Сел к столу, чтобы написать резкую «отповедь»... Но бросил перо: «Черт с ним, плевать, дело, в конце концов, важнее самолюбия».

Он решил этот вечер посвятить матери. В смягченных красках, чтобы мать не очень пугалась, он рассказал ей о путешествии в Петроград. Фру Бистрем мало смыслила в политике, из рассказа усвоила, что сын привез богатый материал для статей и может несколько поправить материальные дела. В восемь часов он повел мать в кинематограф. Вернулись домой в половине одиннадцатого. В прихожей, покосившись на телефон, Бистрем еще раз позвонил Ардашеву, — на этот раз к аппарату никто не подошел. Все-таки все это более чем непонятно. Затем они скромно ужинали в кухне. Бистрем закурил трубочку. Фру Бистрем, растроганная кинематографом, поцеловала сына в голову.

— Ты у меня скромный, честный мальчик, каждый вечер благодарю бога, что не пристрастился к вину, бог тебе поможет стать когда-нибудь на ноги.

— Не огорчайся, мать, я твердо стою на ногах.

Бистрем пошел в свою комнату, когда-то детскую, теперь — рабочий кабинет, уставленный книжными полками. Начал стелить постель на кожаном диване, слишком коротком для него, так что приходилось подставлять для ног кресло. Он уже снял подтяжки, когда заметил под письменным столом на коврике папку со своими рукописями, — он твердо помнил, что давеча положил ее в стол, — тесемки развязаны, и — на глаз — половины рукописей не хватало. Он торопливо выдвинул средний ящик стола, где лежали петроградские заметки и материалы: их не оказалось, все в ящике было перевернуто. На столе под пресс-папье не было и ардашевского письма.

Бистрем поправил очки. Пошел было к двери, вернулся... К чему пугать мать?.. Ясно, — полицейский обыск, как раз когда

они были в кино... Ну, конечно, — он вспомнил и фигуру в котелке с поднятым воротником, быстро перешедшую от их подъезда на другую сторону улицы... Но — ужас, ужас! — пропали все материалы для статей... Он всей кожей почувствовал неумолимую ненависть, окружившую его маленькую комнату с зеленой рабочей лампой. Сидя перед оскверненным столом, он сжал кулаки, сжал челюсти.

Повода для ареста в похищенных материалах они, пожалуй, не найдут, но высылка из Стокгольма обеспечена. Тем лучше... В Германию! Не дожидаясь, завтра взять у Ардашева нужные письма и — в Берлин. Взглянул на стенные часы — половина первого. На цыпочках прошел в прихожую и позвонил Ардашеву. Долго не отвечали. Затем слабый, удерживающийся от плача голос экономки:

— Ах, это вы, господин Бистрем... Пожалуйста, не могли бы вы сейчас прийти, мне очень страшно...

— В чем дело?

— Ах, я, право, очень боюсь по телефону...

Вытирая глаза белоснежным передником, экономка рассказала Вистрему следующее: ровно в десять часов позвонили по телефону. Незнакомый голос, назвав ее по имени, — фру Вендля, — сообщил, что Ардашев немного выпил и остается ночевать в гостинице «Хасельбакен» (в пригородном местечке Хасельбакен) и просит немедленно привезти ночную рубашку, туфли и зубную щетку. Фру Вендля сейчас же собрала вещи и поехала в трамвае в Хасельбакен...

— О господин Бистрем, господин Бистрем, — у нее плачем перекошилось все лицо, — господина Ардашева там не было. В гостинице Хасельбакен никогда не слышали о господине Ардашеве.

— Так. Когда же вы вернулись домой?..

— Да, господин Бистрем, когда я вернулась домой, мне сразу бросилось в глаза, что вот этот коврик у двери лежит криво. Я было подумала, что господин Ардашев вернулся, и позвала его... В кабинете обе шторы были спущены, — я их не опускала сегодня...

— Понятно. И ящик в письменном столе...

Оказалось, все ящики в столе и в бюро (где Ардашев хранил золото и драгоценности) были взломаны. На ковре фру Вендля нашла золотую монету и бриллиантовую запонку. Похищены также папка с цветными гравюрами и несколько книг из шкафа. Но в столовой и спальне все оказалось на месте, буфет, где хранилось столовое серебро, даже не вскрыт, не взята дорогая бобровая шуба из прихожей...

— Дело очень серьезное, очень серьезное, фру Вендля... Помните-ка, по какому делу мог пойти сегодня утром Николай Петрович?

Фру Вендля вдруг оживилась:

— Господин Ардашев пошел во дворец Густава. Там открыта школа для русских детей. О, я теперь вспомнила... Когда он раз-

говаривал утром по телефону, он говорил по-русски... И потом он крикнул: «Фру Вендя, сегодня к завтраку две персоны»... Ах, моя голова, моя бедная голова!.. Две персоны к завтраку, кроме него, и две бутылки шампанского...

— Значит, ждали еще третьего?

— Так, господин Бистрем...

— Кого?

— Мне кажется, того господина, что заходил вчера... Я узнали его голос, когда он утром просил к телефону господина Ардашева

— Небольшого роста, с темными усиками, — Извольский?

— Так, так... Третьего дня он еще был у господина Ардашева

— О чем они тогда говорили?

— Господин Ардашев позвал меня в кабинет и сказал: «Фру Вендя, к господину Извольскому приехала из России девочка, племянница. Мы устраиваем ее в русскую школу, ее нужно приодеть хорошенько. Где можно купить недорогие первоклассные детские вещи?» Я сказала: «С большим удовольствием схожу с девочкой в один магазин». Господин Извольский сказал мне: «К сожалению, девочка нездорова и живет далеко от города, в Баль Станэсе, — вещи придется купить заочно».

— По какой дороге Баль Станэс?

— По Северной. На автомобиле туда двадцать минут.

— Николай Петрович мог рассчитывать, выйдя в десять часов из дому, съездить в Баль Станэс и вернуться к завтраку?

— О, вполне.

— Фру Вендя, — сказал Бистрем, надевая пальто, — сейчас же звоните в полицию, заявите о грабеже. Когда они явятся, повторите им все, что вы мне говорили...

— Меня могут арестовать?

— Я думаю, они с этого и начнут. Но не бойтесь. Скажите им, что только что здесь был журналист Карл Бистрем и очень заинтересовался этим делом. Я оставляю вам мой телефон, будут какие-нибудь новости, непременно звоните.

Несомненно, была какая-то связь между обыском у него и грибежом у Ардашева. Таков был первоначальный вывод, когда Бистрем шагал в ночном тумане. Дойдя до своего дома, он остановился, всматриваясь: близ подъезда под фонарем стоял человек с поднятым воротником и тоже всматривался. Бистрем быстро снял очки, носовым платком прикрыл лицо и прошел мимо незнакомца — вниз по пустынной улице.

Туман клубился у фонарей. Подошвы скользили на ледяном асфальте. Незнакомец некоторое время шел за ним и отстал. Светящийся диск часов на башне висел, как чудовищная луна. Бистрем различал: четверть третьего. Где-то нужно переждать до утра... Он вспомнил о портовом кабаке, открытом всю ночь, и свернул к старому острову.

В кабачке «Ночная вахта» в передней комнате с цинковым прилавком он устроился за изрезанным ножами столом, спросил черного кофе. У другого конца стола дремал, подперев щеку, человек в черном пальто, в плюшевой шляпе. В глубине — низкая арка и несколько каменных ступеней вели в помещение, куда полиция неохотно заглядывала. Там слышались матросские песни, щелканье костяшек, пьяный говор; порой он усиливался и свирепел, как ноябрьский шторм, тогда плечистый хозяин за цинковой стойкой поворачивал к арке тяжелое лицо, знакомое с приключениями на всех широтах. Туда, в глубину кабака, и оттуда, к стойке, циркулировали кучками и в одиночку: тяжелоногие матросы; элегантные воры; бледные, как полотно, курильщики опиума, рассеянные и неряшливые морфинисты; томные эротики, нюхающие эфир; опухшие алкоголики; жаждущие странных видений потребители гашиша с остановившимися зрачками. Близ наружной двери за столиком дремал полицейский, — он вступал в свои обязанности только лишь в случае, когда чья-нибудь отчаянная душа, не успев кусить всех наслаждений, вылетала в маленькую дырку, предназначенную ножом.

Бистрем размышлял. Самое благоразумное — завтра же с утренним поездом удрать в Берлин. Но благоразумие было у него наименее развитым рефлексом. Помимо всего, эта история зацепила его профессионально, — нюхом журналиста он чувствовал поживу. Если бы еще удалось создать политический процесс, — лучшего громкоговорителя на всю Европу и желать нечего.

Из глубины кабака к дремлющему человеку в черном пальто подошла женщина, и они заговорили шепотом. Она была пьяна и плаксива, у него — мутные глаза, измятое лицо. Он пытался что-то выпытать, она трясла красной шляпкой, двигая по столу пустым стаканом. Несколько фраз долетело до Бистрема; он насторожился, — они говорили по-русски:

— Брось глупости, что случилось?

Она топорщилась. Он настаивал. Засопев носиком, она сказала:

— Третьего привезли.

— Когда?

— Часов в одиннадцать, утром сегодня...

— Кого?

— Он так мне всегда нравился, так я мечтала с ним познакомиться... Тебе не все равно — кого?.. Поехала я в девять часов на дачу за моими платьями... Иду с вокзала... А они катят в автомобиле... Я — в лес, — назад на станцию... Если бы он меня увидел на дороге, — только бы мне до утра и жить...

— Кто, Хаджет Лаше?

У Бистрема точно заслонка соскочила с глаз — сразу вспомнил, как под Сестрорецком ночью во время опроса его особенно спрашивали о Хаджет Лаше.

— Тише ты! — Она схватила человека за руку, глядела на него мечущимися зрачками. — Дурак, дурак!.. (Качнулась и ему —

в самое ухо.) В автомобиле были двое: этот — симпатичный, и сволочь — Извольский... Там они с ним черт знает что делают!

Человек встряхнул ее:

— Лилька, слушай ты, еще раз повторяю, — скажи фамилию!

— Оставь! Ты просто дурак... Сказала, боюсь, значит — боюсь... Все равно я уже опиум теперь курю... Черт с вами, хоть все друг другу глотки перегрызайте... Да черт со мной тоже. Но что...

Она встала, пошатываясь. Он пытался удержать, — она всей силы вырывала руку. (Кабатчик за стойкой угрожающе на нее лаял.) Она со страхом уставилась на него. И опять — собеседнику:

— Ну, хорошо, я скоро приду, подожди.

Она ушла за арку вниз, человек в плюшевой шляпе рассеянно мял незакуренную папироску. Бистрем до тех пор глядел на нее, покуда тот не поднял глаз.

— Можно вам задать несколько вопросов? — Бистрем сейчас же подсел к нему. — Я журналист. Я невольно подслушал ваш разговор. Насколько я понял, эта девушка видела сегодня в одиннадцать утра где-то за городом в автомобиле моего друга Ардашева вместе с неким Извольским. Ардашев до сих пор домой не возвращался. Между десятью и двенадцатью часами его квартира была ограблена. И я боюсь, что жизни его грозит опасность. Можете ли мне дать какие-нибудь объяснения по поводу всего этого?

Налымов поправил плюшевую шляпу. Потом повернулся к Бистрему всем телом. Лицо его с мягковатым носом и глубокими складками у рта, представлявшееся издали даже значительным, теперь, на близком расстоянии, оказалось просто жалкой дребеденью. И, видимо, у него самого не было желания скрывать это обстоятельство. Он встал, запахнул пальто:

— Идемте...

Они пошли по пустынной набережной. Внизу медленно плескалась черная вода. Огни маяков боролись с туманом, бычьими рычаниями стонали ревуны на бакенах. Налымов сел на сверток канатов, засунул руки в рукава.

— Если у вас есть возможность пригрозить полиции скандалом в печати, вашего друга можно еще попытаться спасти. Не думайте, чтобы они прикончили его сегодня же ночью. Вам что-нибудь известно о Лиге спасения Российской империи и о Хаджет Лаше? Лига и Хаджет Лаше — шайка наемных убийц, но вести борьбу придется с теми, кто их нанял, а это довольно серьезно. Вы можете взять только большим европейским скандалом. Вы намерены ввязаться в драку?

— Да, теперь особенно намерен.

Налымов вздохнул будто с облегчением. Глубже засунул руки в рукава и начал рассказывать о Хаджет Лаше, о создании Лиги,

организации политических убийств. Случай с поддельным чеком Леви Левицкого он считал их самым уязвимым местом, в особенности теперь, когда высшая политика в Лондоне и Париже берет курс на демократию в надежде, что у вождей рабочей партии и социал-демократов найдутся более современные приемы свернуть ною большевикам...

Кашлянув от застрявшего в горле тумана, Бистрем спросил:

— Например, какие приемы?

— Хотя бы польская война... Тем не менее Лаше все же попытаются спасти, чтобы не выволакивать на улицу грязи. Но на широкий скандал не пойдут, выдадут его с головой.

Помолчав, Бистрем сказал сурово:

— Слушайте, вы представляете, какую сейчас огромную услугу вы оказываете большевикам?

— Пожалуйста, — Налымов пожал плечами.

— За эту услугу вы можете жестоко поплатиться, предупреждаю заранее.

Налымов не ответил. Мутное пятно его лица как будто затряслось от смеха.

— Я-то в этом деле хочу только спасти одного человека, такого же лишнего, как и я, — сказал он. — Но на свет вы меня не вытаскивайте, не из скромности говорю, из чисто санитарных соображений. Впрочем, с удовольствием, даже с острым удовольствием окажу эту услугу. Это было бы прекрасным завершением...

И он начал бормотать какие-то совсем уже малосодержательные фразы. Бистрем, присев на корточки перед свертком канатов, заговорил шепотом:

— Слушайте, план действий должен быть таков, по-моему...

Они вернулись в «Ночную вахту» и едва отогрелись водкой с крепким кофе. Когда в предутренней мгле зазвонил первый трамвай, Бистрем и Налымов поехали в главное полицейское управление. Пришлось ждать. В половине восьмого они вошли в кабинет начальника полиции. Он сидел широкой спиной к газовому камину. Не вокруг него блестело лакированным деревом. Вопреки сели напротив полнокровного лица начальника с лакированными глазами, лакированными усами. Он был изысканно вежлив. Бистрем кратко и энергично объяснил цель прихода: их друг, Ардашев, находится в руках шайки убийц. Дорога каждая минута: нужно немедленно послать отряд полиции на дачу в Баль Станэс.

Ничто не отразилось на лице начальника полиции, не дрогнул волосок гороховых бровей, не затуманились даже глаза, когда Бистрем упомянул о Хаджет Лаше, о Лиге, о загадочных убийствах Альве и Леви Левицкого. Начальник полиции улыбался, взявшись за ручки лакированного кресла.

— Господа, — голос его был трубный и мощный, — господа, охотно верю, что вы оба — в добром здравьи и твердом рассудке.

Если вы пришли рассказывать мне сказки о каких-то таинственных лигах и загадочных убийствах, охотно позабавлюсь вместе с вами в неслужебное время...

Он слегка наклонил туловище. Бистрем взглянул на Нальмова, тот пожал плечами. Бистрем нахмурился:

— Вам известно, что у меня был обыск и изъятие журнальных материалов?

— Вот как? Нет, не известно...

— Предположим... Но вам известно, что я вернулся из Советской России, куда ездил в качестве корреспондента от больших европейских газет. Я не сомневаюсь, что вы будете пытаться арестовать меня. (Лицо начальника сияло.) Поэтому — к сведению мною уже начата газетная кампания, не здесь, конечно, — в Лондоне и Париже, в оппозиционной прессе. Материалы о Лиге и Хаджет Лаше и все, что сопутствовало его деятельности в Стокгольме, мною переданы по назначению. Вы, конечно, осведомлены о перемене общеполитического курса в Европе. Мой арест и мое неведение в делах Лиги и Хаджет Лаше послужат тем желанным политическим скандалом, который ищет сейчас оппозиционная пресса...

— Вы мне грозите? — с тихой медью в горле спросил начальник.

— Да, я вам угрожаю — и неприятностями более серьезными, чем вы мне...

В первый раз начальник отвернул лицо и некоторое время смотрел в окошко. Затем с приветливой мягкостью:

— Простите, господа, я наведу справки.

Он поднялся, рослый, облитый мундиром. Вышел. Бистрем смеялся, сняв и потирая очки. Начальник отсутствовал минут двадцать. Вернулся красным солнышком. Снова плотно сел.

— Я навел справки. Господа, предоставьте это дело мне и нашей работе, когда в нее вмешиваются любители-детективы (маленький клон туловища в сторону Нальмова) или пресса принимает слишком горячее участие, — начинается невообразимая путаница много бумаги, много шума, мало толку. Шведская полиция, как и во всех цивилизованных странах, не интересуется политикой, мы — слепое орудие власти. Мы одинаково гостеприимны и к русским монархистам и к большевикам. Но сводить ваши внутренние счета, господа, этого допустить на нашей территории не можем, отправляйтесь за этим к себе домой... Лига занимается политикой, — говорите вы?.. Да хоть черной магией, это — ее дело. Если какие-то члены Лиги преступили закон, будьте покойны — меч закона опустится на них... Господа, верьте в мою искренность, оставьте ваши телефоны, через два-три часа я сообщу вам интересующие сведения о господине Ардашеве.

Начальника несло словоохотливостью. Честный Бистрем приоткрыл рот от изумления. Нальмов сказал по-русски:

— Он маневрирует. Действуйте энергичнее.

Тогда Бистрем быстро на блокноте набросал десяток фраз, вырвал страницу и протянул ее начальнику. Это была телеграмма, она начиналась: «Париж. Юманите. Редакция. В Стокгольме мною раскрыта террористическая организация...» И так далее.

Прочтя, начальник осторожно почесал мизинцем сбоку носа:

— Что это такое?

— Начало борьбы, — блеснув очками, ответил Бистрем. — Через несколько минут телеграмма отправится в Париж.

— Я не могу понять, что, собственно, вы от меня хотите, господа?

— Немедленно отрядить с нами агентов для обыска на даче в Баль Станэсе.

Налымов — учтиво:

— Хорошо вооруженных, господин начальник.

— Знаете, господа, — воротник у начальника стал тесен, — все же это — беспримерно. Вы не доверяете мне. Вы пытаетесь руководить моими поступками. Вы грозите мне...

Бистрем перебил:

— Курьер советского посольства Кальве и журналист Леви Левицкий под носом у стокгольмской полиции были подвергнуты пыткам и убиты. По этому делу у нас имеются документы и свидетели.

Начальник отвалился на спинку патентованного кресла. С лица его стал сходить лак. Пауза. Он вскочил, отшвырнул кресло и — бешено:

— Я покажу проклятым русским эмигрантам политику! (Повзвонил.) Господа, собирайтесь. Я придам к вам шесть полицейских и детектива...

62

Под клубящимися осенними тучами дача в Баль Станэсе казалась покинутой, — ни дымка из труб на высокой кровле, окна закрыты ставнями, на дорожках — прелые листья, в клумбах — поломанные цветы. Один из полицейских, бросив нажимать звонкую кнопку, долго стучал в дверь крыльца.

Подслеповатое лицо детектива изображало крайнюю скуку: «Пустая затея, здесь уже неделю никто не живет...» Инструменты для взлома двери не были взяты, сержант предложил поехать на станцию и переговорить с начальником. Пришлось вмешаться Бистрему и Налымову. Они начали стучать руками и ногами, сержант по их просьбе выстрелил из револьвера.

В доме послышалось шлепанье туфель. Дверь раскрылась, высунулся Хаджет Лаше, небритый, опухший и заспанный, в туфлях на босу ногу, в накинутах на ночную рубашку пальто.

— В чем дело?

— А вот сейчас узнаете, в чем дело, — сердито проговорил сержант, оттесняя Лаше в переднюю. — Тут у вас, черт возьми,

крепко спят. — Из-за борта мундира он вытащил предписание об обыске. — Ваше имя?

Лаше пошел за очками.

— Закрывайте двери, настудите дом! — крикнул он из столовой.

Вернулся, добродушно поправляя черепаховое пенсне на жирном носу:

— Покажите-ка этот курьез... — Прочел. Снял пенсне. — Пожалуйста, господа. — И тогда только царапнул зрачками по Налымову. — Сделайте ваше одолжение, здесь все нараспашку.

Полицейские разошлись по комнатам. Налымов сказал сержанту:

— В этом доме — больная женщина. Прошу у ее дверей не ставить агента, иначе мы найдем ее мертвой.

Хотя трудно было предположить, что начальник полиции предупредил Хаджет Лаше об обыске, все же Лаше как будто приотворился. Он был спокоен. Надев черкеску и сапоги, он, с длинным мундштуком, улыбаясь, ходил за агентами, сам открывал шкафы, ящики, двери. Обыск в первом этаже и в его комнате не дал ничего. Бистрем хмурился. Налымов, безучастно сидя в столовой, ждал, когда дойдут до второго этажа.

На мгновение в столовую заглянул Хаджет Лаше и — хриплым голосом, по-русски:

— Напрасно затеяли. С тобой будет то же, что с Левантом.

— А что с Левантом? — с кривой усмешкой спросил Налымов.

— Найден с перерезанным горлом в Марселе.

— Что вы сделали с Верой Юрьевной?

— Наверху. Плоха. — Лаше убежал и — весело агентам:

Теперь — только кухня. Или кухня потом? Пойдемте наверх.

Налымов, в шляпе, надвинутой на глаза, с тросточкой за спиной, последним поднимался по лестнице. Он чувствовал, что боится встречи с Верой Юрьевной. Он необычайно легко приспособившись к любой, самой невероятной обстановке, но с такой же легкостью и отряхивался. В этот раз отряхнуться не удалось: часть его самого оставалась в этом памятном доме.

Впереди по лестнице поднимался Лаше, бойко подшучивая или самим собой. Кое-кто из полицейских ухмылялся. Внезапно Бистрем — громко:

— Прошу обратить внимание, лестница — свежемыта.

Все остановились. Подслеповатый детектив сердито взглянул на Бистрема и нагнулся, рассматривая растоптанный окурочок. Лишь раскатисто засмеялся:

— Bravo! Лестница действительно вымыта и не дальше как вчера. (Сержанту.) Не могу привыкнуть к вашему северному обычаю: снимать сапоги в прихожей и дома ходить в шерстяных носках... Натаскиваешь с улицы грязь.

Поднявшись наверх, Лаше объяснял:

— Здесь музыкальный салон. Как видите, пол также замыт... Здесь — две спальни для приезжающих. Здесь — комната большой... Начнем с салона?

Налымов остался у запертой комнаты Веры Юрьевны, — там не было слышно ни звука, ни дыхания. Лаше издали мимходом поглядывал насмешливо. Бистрем ходил за агентом, сурово сжав прямой рот. Наверху тоже не обнаружили существенного, только в музыкальном салоне — на обивке кресла — невыясненного происхождения темное пятно, сильно в одном месте поцарапанный пол и в камине, в золе, пряжку от ошейника... Все вернулись к двери Веры Юрьевны.

— О-ла-ла! — Хаджет Лаше отыскивал ключ на связке. — Здесь самое тяжелое, господа... Я бы просил, если возможно, не входить всем, — дама душевно больна, положение очень, очень тяжелое.

Налымов спросил:

— Быть может, у нее та именно форма заболевания, когда больной отказывается от еды?..

— Да. Вы угадали, она наотрез отказывается от еды и питья. (Пониженным голосом.) Пожалуйста, господа...

Налымов — опять позади всех — тихо Бистрему:

— Берите агента и — на кухню... Общайте кухню и чердак...

Вошли на цыпочках. Пустая комната, закрытые ставни, холодно, не проветрено. «Ай-ай-ай!» — пробормотал сержант. У стены на кровати — очертание тела, закрытого с головой грязной простыней.

— Припадки бешенства, мы все отсюда вынесли, — прошептал Лаше.

Налымов стащил перчатку и, продолжая держать левую руку тростью за спиной, подошел к постели. Осторожно откинул простыню. Лаше: «Тише, тсс».

Вера Юрьевна лежала на правом боку. Голова ее была обрита, полуседые волосы отросли на сантиметр. Налымов положил ладонь на ее лоб и почувствовал, как медленно раскрылись и закрылись у нее ресницы. Он нагнулся:

— Вера, это — я.

Ресницы ее затрепетали. Лоб был холоден. Он осторожно провел по лицу, ощутил острый кончик носа, прижал ладонь к сухим, будто шерстяным губам. Они пошевелились, он почувствовал, как зубы ее чуть-чуть укусили ладонь. Он отдернул руку, повернулся к сержанту:

— Прикажите принести воды... Эту женщину убивают жаждой...

— Что ты сказал? — Жирная маска Лаше задвигалась, будто удаляясь с лица. — Кто ты здесь? Шантажист! Апаш!

Налымов, как во сне, переложил трость в правую руку и всей силой ударил Хаджет Лаше по лицу, по голове, по пальцам вздернувшейся его руки. Лаше гортанно крикнул и кинулся на Налымова. Оба покатались на пол. Сейчас же их растащили. Лаше весь содрогался в руках агентов... «Ананасана, ананасана», — бормотал он шепотом. Налымов, подняв шляпу и трость, стоял некоторое время, низко опустив голову.

— Господин сержант, я дам все показания в протоколе, — на конец с трудом сказал он. — Прошу позвонить начальнику о решении остаться мне с этой женщиной, — безразлично, будет или не будет арестован Хаджет Лаше.

Он поставил трость к стене и стащил вторую перчатку.

Удары палкой по лицу сразу повернули дела Хаджет Лаше в худшему. Он потерял самообладание. Агенты во время возни вынули у него из кармана револьвер. Сейчас Лаше стоял у камина в музыкальном салоне и не отрываясь глядел на Налымова, сидевшего боком к нему в кресле у стола, где сержант, надев очки и расставив локти, неторопливо писал протокол.

Лаше настолько был поглощен бешеными ощущениями, что не заметил даже отсутствия в комнате Бистрема и одного из агентов. Налымов всею щекой чувствовал его упорный взгляд и был настроен роже. Когда сержант спросил Налымова, что он знает об образе жизни Хаджет Лаше, и когда Василий Алексеевич заговорил, Лаше начало трясти. При словах: «Внизу, в столовой, они совещались и поджидали жертву, в этой же комнате они...» — Лаше живо нырнул за каминными щипцами, но один из агентов успел схватить его за руку и с трудом отнял щипцы. Их положили на стол. Правда, Налымов треснул Лаше палкой, почему бы Лаше в свою очередь не треснуть его каминными щипцами? Это было, так сказать, частное дело русских. Неожиданно все осложнилось: подслеповатый детектив, заинтересовавшись щипцами, обнаружил в лупу на одной из их лапок прилипшие вместе с засохшей кровью человеческие волосы. Сержант сказал: «Ого!» — и поверх очков строго посмотрел на Лаше. Протокол отягчался. Лаше, наотрез все отрицавший, стоял, чтобы в протоколе пометили просто: «волосы», без упоминания «человеческие», так как эти волосы собачьи, что и должно показать экспертиза.

Затем в комнате появились Бистрем и агент, они несли кучу мешков, бечевок и две пятикилограммовые гири. Эти вещи были найдены на кухне, в потайном стенном шкафу, заклеенном — по видимому, совсем недавно — снаружи обоями. Мешки были большие, из джута, девять штук. На трех — надписи масляной краской. На одном: «По постановлению Лиги спасения Российской империи — большевистский комиссар Красин». На другом: «По постановлению Лиги — большевистский комиссар Воровский». На третьем: «По постановлению Лиги — журналист Карл Бистрем,

агент Чека». Эта последняя надпись была свежая — краска липла к пальцам.

На вопрос, что означают эти мешки и надписи на них, — Лаше силно задышал. На повторный вопрос он, клятвенно протянув руки, в повышенном тоне ответил, что его принуждают к бесчестью, он не в состоянии, даже спасая свою жизнь, разглашать тайн, в которые замешаны лица, играющие в настоящее время руководящие роли в европейской политике...

Все это было более чем странно. На вопрос Бистрема в лоб: где находится Ардашев или его тело, не в одном ли из таких мешков? — Лаше ответил с наглой усмешкой, что об этом с большим успехом можно спросить у постового полицейского, у содержателя любого из ночных притонов или, что еще вернее, в большевистском посольстве.

Закончив протокол, сержант, сопровождаемый Бистремом, пошел вниз переговорить по телефону с начальником полиции, как поступить с Лаше. Вернулся строго нахмуренный:

— Господин Хаджет Лаше, на основании данных протокола господин начальник счел нужным арестовать вас и препроводить в тюрьму, без накладывания наручников.

— Могу я по крайней мере одеться? — вызывающе спросил Лаше. И, затрясшись всей маской, крикнул Налымову и Бистрему: — Через неделю выйду из тюрьмы, включите это в ваши расчеты!

Лаше увезли. Бистрем и Налымов остались на даче. В бывшей Лилькиной спальне затопили печь и перенесли туда Веру Юрьевну: от слабости она не могла даже говорить. После обсуждения решили вымыть ее в ванной и сегодня же перевезти в гостиницу. Бистрем позвонил об этом начальнику полиции, тот ответил: «Делайте на свою ответственность».

Бистрем отнес на руках завернутую в простыню, легонькую, как ребенок, Веру Юрьевну в ванную. Простыню и рубашку сочли за лучшее тут же сжечь. Желтое, с проступающими ребрами, длинное тело Веры Юрьевны все было в кровоподтеках. В горячей ванне она блаженно закрыла глаза. Ей вымыли стриженные волосы, и голова ее стала похожа на реденький бобровый мех. Уложили в чистую постель, дали чашку крепчайшего кофе. Она вытянулась, откинула голову, кажется — задремала. Бистрем и Налымов спустились в столовую.

Надо было признать, с обыском они просыпались. Кроме надписей на мешках и каминных щипцов, никаких безусловных улик не найдено. Преступление не установлено. Даже если Вера Юрьевна оправится и даст показания, Хаджет Лаше — при могущественной поддержке — вылезет сухим: вне всякого сомнения, он яппася врачебным свидетельством и показания Веры Юрьевны представит как бред сумасшедшей.

Бистрем формулировал:

— Если мы не найдем трупов Кальве, Левицкого и Ардашеви, наше дело бито. Пока что мы только растревожили осиное гнездо.

Они еще раз обшарили весь дом, подвал, чердак. Бистрем некоторое время бродил вокруг дачи. Внезапно, топая, как лошадь, он взбежал по лестнице:

— Слушайте, мы — идиоты! Мешки и гири, вы поняли? Трупы — в озере... И, конечно, с надписями на мешках. Но это Лаше не спасет. И даже еще будет пикантнее связать этого бандита с английской и французской контрразведкой...

63

На следующее утро Бистрем, зайдя на квартиру Ардашева, сделал еще чрезвычайное открытие: в кабинете Ардашева наткнулся на книжку «Убийца на троне» с надписью от автора: «Август 1910 года, Хаджет Лаше»¹. С первых же страниц Бистрем почувствовал, что попал на настоящий след. Книжка была тем хорошо известным в уголовной практике психическим явлением, когда преступник, даже рискуя головой, возвращается на место своего преступления (Эта необходимость, по-видимому, происходит из тайного желания «растормозить рефлекс», болезненно возбужденные в напряженной суеде преступления.)

В книжке Хаджет Лаше рассказывал в полубеллетристической форме о делах турецкой тайной полиции при Абдул-Гамиде: как намечалась жертва, как она заманивалась в дом на пустынной улочке и там угрозами и пытками жертву заставляли выдать чек, или денежное письмо, или ключ от сейфа. С удивительными подробностями и мелочами Лаше описывал пытки — человеку одевали тугую ошейник, резали лицо, вырывали волосы, выжигали глаза, всовывали иголки под ногти. Жертву засовывали в мешок и бросали в Босфор. На даче в Баль Станэсе было повторено то самое, что лет пятнадцать тому назад — им же, Хаджет Лаше, — предельно валось в Константинополе, — такова была полнейшая уверенность Бистрема.

Но для какого черта Лаше подарил, да еще с надписью, эту книжку одной из намеченных жертв? Здесь — расчет тончайший, но какой? В мозгу Бистрема не находилось объяснений. Но он понимал, что, если выступит на суде с этой книжкой как с одной из улик, прежде всего должен будет ответить именно на вопрос для чего Лаше принес Ардашеву книжку?

Он ходил по кабинету, бормотал, выворачивая губы, корчил гримасы, какие, по его соображениям, должны быть у матери убийц, силился влезть в эту черную психику. Ничего не полу

¹ Книга издана в русском переводе самого Хаджет Лаше в Петрограде в 1917 году. Большая редкость.

чилось. И когда только с досадой отмахнулся («Драматург какой-нибудь, романист, тот бы сразу с восторгом влез в шкуру Лаше»), чрезвычайно простое объяснение явилось само собой: да именно потому-то Лаше и подарил Ардашеву книжку, чтобы этого поступка и нельзя было объяснить в случае, если на Лаше падет подозрение...

— Ах, дьявол, ах, гениальнейшая голова! — бормотал Бистрем, в восторге потирая руки.

На предварительном следствии Хаджет Лаше заявил, что его арест не что иное, как происки большевиков. Исчезновение Кальве, Леви Левицкого и Ардашева устроено заграничными агентами Чека с целью создать политический процесс и дискредитировать Лигу, учрежденную для вербовки добровольцев для белых армий. Эти три лица похищены чекистами и переправлены в Россию, причем Левицкий и Ардашев расстреляны, Кальве — на свободе, как бывший бунтовщик. Документальные сведения Лаше обещался к следующему дню доставить из архива Лиги.

По поводу надписей на мешках он дал такое объяснение: один из членов Лиги оказался провокатором, подкупил Бистрема и Налымова и перед обыском, в отсутствие Лаше, сделал надписи на мешках, о чем Лаше узнал только во время обыска и, вполне понятно, ужасно взволновался и даже не помнит, что говорил. Мешки были приобретены для хозяйственных надобностей. Каминными щипцами он действительно защищался от бешеной собаки, убежавшей на дачу.

Следствием чрезвычайно заинтересовался граф де Мерси, — приехав в камеру следователя, он долго и значительно разговаривал с ним, подтвердив, между прочим, предположение о провокационном увозе агентами Чека трех упомянутых лиц на территорию Советской России. Затем, как и обещал Лаше, русский офицер Биттенбиндер вручил следователю письмо генерала Сметанникова к генералу Гиссеру, где сообщались подробности о Кальве, Левицком и Ардашеве, привезенных на рыбацьем паруснике в Петроград. Следователю оставалось признать факт и выпустить Лаше на свободу. Но следователь колебался, — Бистрем передал ему книгу «Убийца на троне», указал на параллельные подробности и по поводу письма Сметанникова твердо заявил, что такого генерала не существует в списках бывшей царской армии, — письмо сфабриковано шайкой Лаше.

Бистрем добился также ордера на обыск в квартире Извольского. Но Извольский исчез из Стокгольма. Получался скандал. «Юмамите» напечатала телеграмму Бистрема о процессе. Честь полиции была затронута. На четвертый день после исчезновения Извольский был арестован на яхте у Аландских островов и препровожден в Стокгольм.

Вначале он отрицал все, даже бегство: он страстно любит море, представился случай прокатиться и тому подобное...

Бистрем потребовал очной ставки Извольского с ардашевской экономкой — фру Вендля. Он сам привез ее к следователю. Плача,

она снова рассказала всю историю про вымышленную девочку, которой Ардашев хотел купить «недорогие первоклассные детские платица». Экономка молитвенно складывала руки: «Он был так добр к детям, господин следователь!» У Извольского нервы, видимо, были не крепкие. В истории с вымышленной племянницей он не знался. Когда Бистрем в упор спросил его: «Теперь рассказывайте, что вы сделали с моим другом Ардашевым?» — Извольский потонул к графину с водой и в отчаянии уронил руки.

— Я расскажу все... Господин следователь, я был втянут в преступную шайку. Я — морской офицер. Я мечтал о борьбе с теми, кто издевается над моей родиной, уничтожает все святыни... Меня погубила слабость, сознаюсь... Я должен был взять винтовку... Меня место там, где сражаются... Я искренне хотел... А впрочем... Меня шаг за шагом втянули в грязь! — Он вскрикнул, но у него это не вышло. Уронил локти на стол. — Эх! — Решительно поднял голову и — Бистрему: — Ваш друг Ардашев замучен пытками. Он выдал чеки на пятьсот тысяч крон... Убит и брошен в озеро... Его крик и сейчас у меня в ушах... Я не спал пять суток... Едемте сейчас, я покажу место, куда его бросили...

64

На первой лодке крикнули: «Есть! Попало!» В ней стояли поднятые, вытягивая длинный багор, другие заводили второй багор под то, что попало. Поспешно подошла лодка, где сидели следователь, врач, Бистрем и Извольский. Из глубины всплывало серое и бесформенное, облепленное водорослями. Мешок с телом трудно было поднять на борт, его прибуксировали к берегу, выволокли на смятую траву. Это была третья находка, — вчера и позавчера железными кошками извлекли из озера полуразложившиеся трупы Кальве и Леви Левицкого. Люди устали и продрогли, и сейчас, выбросив из лодок весла и багры, уселись на берегу закурили.

Окончив внешний осмотр (на мешке та же надпись: «По становлению Лиги» и так далее), следователь приказал развязать мешок, но это не удалось, и его осторожно разрезали. Обнажило распухшее лицо, оскаленное, как у собаки, перееханной колесами. На щеках — порезы, на месте глаз — кровавые впадины, череп проломлен. Извольский сказал упавшим голосом: «Это Ардашев». Труп понесли на дачу. Извольский засуетился было, чтобы помочь тащить, но Бистрем крикнул ему:

— Что вы за жизнь-то цепляетесь?.. Хорошо завтракать любите... Вас тогда Николай Петрович с хорошим завтраком ждал, с шампанским. Сволочь!

Извольский — как будто передохнув астмическое удушье:

— Эта мелочь мучит меня невыносимо... В последнюю минуту, когда я вез его сюда, я понял, какой это был обаятельный человек...

Так начался большой процесс об убийствах в Баль Станэсе. Извольский выдал всех. Были арестованы и привлечены к делу Биттенбиндер, Эттингер, Гиссер с сыном и Вера Юрьевна. Стараниями графа де Мерси, американского атташе и внезапно появившегося в Стокгольме одного майора из английской разведки остальных членов Лиги привлекли только в качестве свидетелей. Мадам Мари арестовали в Варшаве во время циркового представления, когда она готовилась исполнить соло на метле. Долго не могли разыскать следов Лили, покуда в кабачке «Ночная вахта» один подгулявший матрос не объяснил, что девчонку нужно искать не ближе Порт-Саида, но на каком корабле она уплыла — сказать он не может...

Еще при следствии обнаружилась борьба за политическую окраску процесса. С одной стороны, Бистрем, выступавший как гражданский истец со стороны Веры Юрьевны (она лежала в тюремном госпитале), раздувал политическое пламя. С другой стороны, защита группы Хаджет Лаше — два видных шведских адвоката и заинтересовавшийся «загадочным» делом прибывший из Парижа, чтобы выступить бесплатно защитником Хаджет Лаше, знаменитейший адвокат Жюль Рошфор, — эти три блестящих ума сворачивали весь процесс в сторону чистого психологизма... Фрейд, Шпенглер — вот вежи, по которым можно было подобраться к «жуткой загадке Баль Станэса». Бистрем отчаянно боролся против психологизма, но не в силах был справиться с десятком понаехавших шикарных журналистов. Его выслушивали вежливо и, отойдя, смеялись:

— Сентиментальный немец вместе со вшами вывез из России Карла Маркса и хочет заставить нас считать его чудотворцем.

Бистрем мечтал о рупоре на всю Европу. Вместо этого не было газетной заметки, где бы его не высмеивали под тем или иным видом, изображали в карикатурах, перевирали его слова, приписывали ему idiotские поступки. Когда в первый день суда он появился в ложе журналистов, раздался смех в публике: Бистрема узнали по карикатурам.

В зале присутствовал весь дипломатический корпус. Первые ряды занимали нарядные женщины. Из видных русских присутствовал генерал Юденич, в штатском платье, усатый, важный, без видимых следов недавнего разгрома. Следователю он дал показание, что действительно некий Хаджет Лаше однажды явился к нему, но о чем он тогда говорил — генерал не припомнит. Больше ничего он не мог прибавить к своим показаниям.

Подсудимые вели себя, как все подсудимые, — заслонялись рукой от фотографов, с видом равнодушия поправляли галстуки, перелистывали обвинительный акт, не глядели в публику, с особенным вниманием слушали словоговорение. Один Лаше сидел, как на сцене перед рампой (в белой черкеске с малиновым вырезом рубахи), блестящими глазами обводил зал и, когда замечал на женских лицах впечатление, честолюбиво усмехался.

С особенным интересом публика ждала показаний свидетеля Налымова. Но он будто выдохся, как резиновый шарик, проткнутый булавкой: отвечал на вопросы скучно, сухо, даже с некоторой осторожностью. О своих отношениях к подсудимой Вере Юрьевне ограничился общими чертами:

— Мы оба принадлежали когда-то к высшему обществу, оба установили свою полную беспомощность в жизни, оба пошли на дно. Мы ничего не ждем и ни на что не надеемся. Это, если хотите, — известного рода эпикурейство, — нас связало и связывает... (Вера Юрьевна со скамьи подсудимых, похожая худым лицом и стриженной головой на поседевшего от ужаса подростка, подняла было руку, привстала, но он даже не обернулся к ней.) Если угодно суду знать, то я сообщаю, что в период следствия мы юридически узаконили наши брачные отношения...

Это его заявление вызвало ропот среди публики, некоторые аплодировали. На вопрос судьи, что могло связывать Веру Юрьевну с Хаджет Лаше? — Налымов ответил тем же спокойно-скучным голосом:

— Преследование константинопольской полиции за уголовное преступление, совершенное фактически Хаджет Лаше, но признанное им моей женой... («Лжет! — крикнул бешено Хаджет Лаше. — Мерзавец! Докажи!..») Судья остановил его.) Дело шло об убийстве в публичном доме, который содержал Хаджет Лаше... Дело в том, что в первый год эмиграции моя жена... (он опустил голову, как бы раздумывая, и снова — вялым голосом) моя жена была завербована в дом терпимости... Вот, в сущности, и все...

На третий день процесса выступил Бистрем. Как Робеспьер, сжимая в руке скрученную рукопись, он начал:

— Господа судьи, я выступаю как гражданский истец подсудимой Чувашевой... Ее обвиняют в укрывательстве преступления, в том, что она не донесла полиции... Почему она молчала? Кто такая подсудимая Чувашева? Это — лист, оторванный бурей от дерева и растоптанный подошвами, это — эмигрантка, господа судьи. (Сердитый ропот среди части публики.) Ее привязывало к жизни только одно — женское чувство, столь же болезненное, иступленное и безнадежное, как вся ее эмигрантская судьба. Ради этого чувства она, обезумевшая от ужаса, запертая в пустой комнате, без еды и питья, — молчала, потому что Хаджет Лаше сказал ей: если донесешь полиции, с Налымовым будет то же, что с Кальме, Леви Левицким, Ардашевым, или с греком в публичном доме, или с недавним компаньоном Хаджет Лаше, одним из агентов Дстердинга, грязным спекулянтom Левантом, зарезанным по приказанию Хаджет Лаше. Но, господа судьи, нас здесь гораздо больше интересует не причина молчания подсудимой, а причина появления на политической арене таких персонажей, как Хаджет Лаше, и его бандитской шайки, именуемой Лигой, аккредитованной такими же сокими политическими лицами. Причин для появления Хаджет Лаше много. Я укажу только на главную, — причину всех причин,

это страх перед пролетарской революцией. (Резкий свист в зале.) Здесь уже действуют единодушно, — и я бы сказал — опрометчиво, — все могущественные силы, которые посылают Деникина на Москву, Юденича на Петроград и всовывают каминные щипцы в руку Хаджет Лаше, чтобы он опустил их на головы тех лиц, чьи фамилии обнаружены следствием на неиспользованных мешках в Баль Станэсе. Хаджет Лаше — наемный убийца, но он достоин своих хозяев. Идеология у них одна и та же. Разница лишь в масштабах. Хаджет Лаше при помощи раскаленных щипцов пытается свои жертвы, вымогая у них чеки в тридцать тысяч крон. Его хозяева при помощи Версальского мира обрекают на муки голода, физического истощения и отчаяния сотни миллионов тружеников и готовят для еще более страшных пыток уже не каминные щипцы, готовят новую мировую войну, чтобы раз и навсегда утопить в крови самую надежду на освобождение у трудящихся, чтобы оставить лишь самое необходимое число обезличенных рабов, прикованных к стальным жерновам капитализма. Война за рынки, за нефть, уголь, руду! О, в этой части хозяева договорятся о разделе между собой. Но глубочайшая сущность Версальского мира направлена всем жалом на истребление революции...

Председательствующий, под возмущенные возгласы публики, остановил Бистрема, предложив ему говорить по существу. Бистрем вытер платком лоб и продолжал о Вере Юрьевне. Конец его речи был скомкан, он не сказал и половины того, что хотел. Его проводили молчанием, насмешливыми, злыми взглядами. При выходе из зала суда к нему подошли двое — рослые, широкоплечие, тяжелоногие, в синих тяжелых пиджаках. Морщась улыбками, они сказали ему:

— Хорошо было сказано, дружок.

— Не горюй, что тебя не слишком ласково приняли, кому нужно — тот понял...

И эта мимолетная встреча вознаградила взъерошенного Бистрема за неудачу.

Приговор суда был таков: Хаджет Лаше — к десяти годам тюрьмы, остальных — от восьми до трех лет. Мари была признана невиновной. Вере Юрьевне дали полтора года тюремного заключения.

Налымов остался в Стокгольме. Раз в неделю он посещал в тюрьме Веру Юрьевну. Из гостиницы переехал в недорогой пансион. Стал весьма сдержан в денежных тратах, даже скуповат. Через день ходил в кинематограф. Умеренно пил. Пристрастился обкуривать пенковые мундштуки, словом, жил тихо, — черт его знает, — иногда сам себя спрашивал, — зачем он живет на свете?..

Бистрем... Если житейские события некоторых из персонажей хотя бы отчасти пришли к какому-то завершению, — жизнь Бистрема только-только начала организовываться... Он написал несколько статей и уехал в Германию, сжимаемую смертельными объятиями Версальского мира. Там след его на некоторое время затерялся.

В Советской России революция продолжала победоносно развиваться, опрокидывая все планы версальских мудрецов и надежды эмигрантских комитетов. В Лондоне и Париже с золотым перьев слетали новые ядовитые капли, вызывая новые волны исторических событий. Так, на гребне одной из волн поднялся былин над рубежом Советской России всадник в польской конфедератке и занес уже саблю для удара, но ответная волна гневно опрокинула это жалкое подобие воина.

НАУЧНО-
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
РОМАНЫ



АЭЛИТА

Роман

СТРАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

На улице Красных Зорь появилось странное объявление: большой, серой бумаги листок, прибитый к облупленной стене пустынного дома. Корреспондент американской газеты Арчибальд Скайльс, проходя мимо, увидел стоявшую перед объявлением босую молодую женщину в ситцевом опрятном платье; она читала, шевеля губами. Усталое и милое лицо ее не выражало удивления, — глаза были равнодушные, синие, с сумасшедшинкой. Она завела прядь волнистых волос за ухо, подняла с тротуара корзинку с иеленью и пошла через улицу.

Объявление заслуживало большего внимания. Скайльс, любопытствуя, прочел его, придвинулся ближе, провел рукой по глазам, перечел еще раз.

— Twenty three, — наконец проговорил он, что должно было означать: «Черт возьми меня с моими потрохами».

В объявлении стояло:

«Инженер М. С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная, дом 11, во дворе».

Это было написано обыкновенно и просто, обыкновенным чернильным карандашом.

Невольно Скайльс взялся за пульс: обычный. Взглянул на хронометр: было десять минут пятого, 17 августа 192... года.

Со спокойным мужеством Скайльс ожидал всего в этом безумном городе. Но объявление, приколоченное гвоздиками к облупленной стене, подействовало на него в высшей степени болезненно.

Дул ветер по пустынной улице Красных Зорь. Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались межильями — ни одна голова не выглядывала на улицу. Молодая женщина, поставив корзинку на тротуар, стояла на той стороне улицы и глядела на Скайльса. Милое лицо ее было спокойное и усталое.

У Скайльса задвигались на скулах желваки. Он достал старый конверт и записал адрес Лося. В это время перед объявлением остановился рослый, широкоплечий человек, без шапки, по одежде — солдат, в суконной рубашке без пояса, в обмотках. Руки у

него от нечего делать были засунуты в карманы. Крепкий затмился и напрягся, когда он стал читать объявление.

— Вот этот — вот так замахнулся, — на Марс! — проговорил он с удовольствием и обернул к Скайльсу загорелое беззаботное лицо. На виске у него наискосок белел шрам. Глаза — сизо-карие и так же как у той женщины, — с искоркой. (Скайльс давно уже подметил эту искорку в русских глазах и даже поминал о ней в статье: «...Отсутствие в их глазах определенности, то насмешливость, то безумная решительность, и, наконец, непонятное выражение превосходства крайне болезненно действуют на европейского человека».)

— А вот взять и полететь с ним, очень просто, — опять скайльс солдат, и усмехнулся простодушно, и в то же время быстро, и головы до ног, оглядел Скайльса.

Вдруг он прищурился, улыбка сошла с лица. Он внимательно глядел через улицу на босую женщину, все так же неподвижно стоявшую около корзинки.

Кивнув подбородком, он сказал ей:

— Маша, ты что стоишь? (Она быстро мигнула.) Ну, и шла бы домой. (Она переступила небольшими пыльными ногами, вздохнула, нагнула голову.) Иди, иди, я скоро приду.

Женщина подняла корзину и пошла. Солдат сказал:

— В запас я уволился вследствие контузии и ранения. Хожу объявления читаю, — скука страшная.

— Вы думаете пойти по этому объявлению? — спросил Скайльс.

— Обязательно пойду.

— Но ведь это вздор — лететь в безвоздушном пространстве пятьдесят миллионов километров.

— Что говорить — далеко.

— Это шарлатанство или — бред.

— Все может быть.

Скайльс, тоже теперь прищурясь, оглянул солдата, смотревшего на него именно так: с насмешкой, с непонятым выражением превосходства, вспыхнул гневно и пошел по направлению к Немецкому Шагалу уверенно и широко. В сквере он сел на скамью, засунул руку в карман, где, прямо в кармане, как у старого курильщика и делового человека, лежал табак, одним движением большого пальца набил трубку, закурил и вытянул ноги.

Шумели старые липы в сквере. Воздух был влажен и тепел. На куче песку, один во всем сквере, видимо уже давно, сидел маленький мальчик в грязной рубашке горошком и без штанов. Ветер поднимал время от времени его светлые и мягкие волосы. В руке он держал конец веревочки, к другому концу веревочки была привязана за шею старая взлохмаченная ворона. Она сидела недовольная и сердитая и так же как и мальчик, глядела на Скайльса.

Вдруг — это было на мгновение — будто облачко скользнуло по его сознанию, закружилась голова: не во сне ли он все это видит?... Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы, страши

ные взгляды прохожих и приколоченное гвоздиками объявлениице — приглашение лететь в мировые пространства...

Скайлс глубоко затянулся крепким табаком. Развернул план Петрограда и, водя по нему концом трубки, отыскал Ждановскую набережную.

В МАСТЕРСКОЙ ЛОСЯ

Скайлс вошел во двор, заваленный ржавым железом и бочонками от цемента. Чахлая трава росла на гудах мусора, между спутанными клубками проволоки, поломанными частями станков. В глубине двора отсвечивали закатом пыльные окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена, на пороге сидел на корточках рабочий и размешивал в ведерке сурик. На вопрос Скайлса, можно ли видеть инженера Лося, рабочий кивнул вовнутрь сарая. Скайлс вошел.

Сарай едва был освещен — над столом, заваленным чертежами и книгами, горела в жестяном конусе электрическая лампочка. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Здесь же пылал горн, раздуваемый рабочим. Сквозь нагромождения лесов поблескивала металлическая, с частой клепкой, поверхность сферического тела. В раскрытые половинки ворот были видны багровые полосы заката и клубы туч, поднявшихся с моря.

Рабочий, раздувавший горн, проговорил вполголоса:

— К вам, Мстислав Сергеевич.

Из-за лесов появился среднего роста крепко сложенный человек. Густые, шапкой, волосы его были белые. Лицо — молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными, светлыми, казалось, лтящими впереди лица, немигающими глазами. Он был в холщовой грязной раскрытой на груди рубашке, в заплатанных штанах, перепоясанных веревкой. В руке он держал запачканный чертеж. Подходя, он попытался застегнуть на груди рубашку на несуществующую пуговицу.

— Вы по объявлению? Хотите лететь? — спросил он глуховатым голосом и, указав Скайлсу на стул под конусом лампочки, сел напротив у стола, положил чертеж и начал набивать трубку. Это и был инженер Мстислав Сергеевич Лось.

Опустив глаза, он зажег спичку; огонек осветил снизу его крепкое лицо, две морщины у рта — горькие складки, широкий вырез позрейд, длинные темные ресницы. Скайлс остался доволен осмотром. Он объяснил, что лететь не собирается, но что прочел объявление на улице Красных Зорь и считает долгом познакомить своих читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом междупланетного сообщения.

Лось слушал, не отрывая от него немигающих светлых глаз.

— Жалко, что вы не хотите со мной лететь, жалко, — он качнул головой, — люди шарахаются от меня, как от бешеного.

Через четыре дня я покидаю землю и до сих пор не могу найти спутника. — Он опять зажег спичку, пустил клуб дыма. — Какие вам нужны данные?

— Наиболее выпуклые черты вашей биографии.

— Это никому не нужно, — сказал Лось, — ничего замечательного. Учился на медные гроши, с двенадцати лет на своих ногах. Молодость, годы учения, работа, служба, — ни одной черты, любопытной для ваших читателей, ничего замечательного, кроме... — Лось вдруг насупил, резко обозначились морщины у рта. Ну, так вот... Над этой машиной, — он ткнул трубкой в сторону лесов, — работаю давно. Постройку начал два года тому назад. Все!

— Во сколько приблизительно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом? — спросил Скайлс, глядя на кончик карандаша.

— В девять или десять часов, я думаю, не больше.

— Ага! — сказал Скайлс на это, затем покраснел, зашевелил скулами. — Я бы очень был вам признателен, — проговорил он с вкрадчивой вежливостью, — если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью.

Лось положил локти на стол, закутался дымом, сквозь табачный дым блеснули его глаза.

— Восемнадцатого августа Марс приблизится Земле на сорок миллионов километров, — это расстояние я должен пролететь. Из чего оно складывается? Первое — высота земной атмосферы — семьдесят пять километров. Второе — расстояние между планетами в безвоздушном пространстве — сорок миллионов километров. Третье — высота атмосферы Марса — шестьдесят пять километров. Для моего полета важны только эти сто сорок километров атмосферы.

Он поднялся, засунул руки в карманы штанов, голова его тонула в тени, в дыму, — освещены были только раскрытая грудь и волосатые руки с закатанными по локоть рукавами.

— Обычно называют полетом — полет птицы, падающего листа, аэроплана. Но это не полет, а плавание в воздухе. Чистый полет — это падение, когда тело движется под действием толкающей его силы. Пример — ракета. В безвоздушном пространстве, где нет сопротивления, где ничто не мешает полету, ракета будет двигаться со все увеличивающейся скоростью: очевидно, там я могу приблизиться к скорости света, если не помешают магнитные влияния. Мой аппарат построен именно по принципу ракеты. Я должен буду пролететь в атмосфере Земли и Марса сто сорок километров. С подъемом и спуском это займет полтора часа. Час я кладу на то, чтобы выйти из притяжения Земли. Далее, в безвоздушном пространстве я могу лететь с любой скоростью. Но есть две опасности: от чрезмерного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды, и второе — если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то удар в воздух будет подобен тому, как будто я вонзилась в песок. Мгновенно аппарат и все, что в нем, превратятся в глыбу. В межзвездном пространстве носятся осколки планет, нерожденные

ных или погибших миров. Вонзаясь в воздух, они сгорают мгновенно. Воздух — почти непроницаемая броня. Хотя на Земле она, по-видимому, однажды была пробита.

Лось вынул руку из кармана, положил ее на стол, под лампочкой, и сжал пальцы в кулак.

— В Сибири, среди вечных льдов, я откапывал мамонтов, погибших в трещинах земли. Между зубами у них была трава, они паслись там, где теперь льды. Я ел их мясо. Они не успели разложиться, — они замерзли в несколько дней, их замело снегами. Видимо, отклонение земной оси произошло мгновенно. Земля столкнулась с небесным телом, либо у нас был второй спутник, меньший, чем луна. Мы втянули его, и он упал, разбил земную кору, отклонил земную ось. Быть может, от этого именно удара погиб материк, лежавший на запад от Африки в Атлантическом океане. И так, чтобы не расплавиться, вонзаясь в атмосферу Марса, мне придется сильно затормозить скорость. Поэтому я кладу на весь перелет в безвоздушном пространстве шесть-семь часов. Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Нью-Йорк.

Лось отошел от стола и включил рубильник. Под потолком зашипели, зажглись дуговые фонари. Скайльс увидел на дощатых стенах чертежи, диаграммы, карты; полки с оптическими и измерительными инструментами; скафандры, горки консервов, меховую одежду; телескоп на лесенке в углу сарая.

Лось и Скайльс подошли к лесам, которые окружали металлическое яйцо. На глаз Скайльс определил, что яйцеобразный аппарат был не менее восьми с половиной метров высоты и шести метров в поперечнике. Посредине, по окружности его, шел стальной пояс, пригибающийся книзу, к поверхности аппарата, как юнт, — это был парашютный тормоз, увеличивающий сопротивление аппарата при падении в атмосфере. Под парашютом расположены три круглые дверцы — входные люки. Нижняя часть яйца оканчивалась узким горлом. Его окружала двойная, массивной стали, круглая спираль, свернутая в противоположные стороны, — это был буфер, смягчающий удар при падении на землю...

Постукивая карандашом по клепаной обшивке яйца, Лось стал объяснять подробности междупланетного корабля. Аппарат построен из упругой и тугоплавкой стали, внутри хорошо укреплен ребрами и легкими фермами. Это внешний чехол. В нем помещался второй чехол из шести слоев резины, войлока и кожи. Внутри этого второго кожаного стеганого яйца находились аппараты наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии. Для наблюдения поставлены выходящие за внешнюю оболочку аппарата особые «глазки» в виде короткой металлической трубки, снабженной призматическими стеклами.

Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла, твердостью превосходящего астрономиче-

скую бронзу. В толще горла высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширился наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведена искровая свеча от общего магнетона и питательная трубка. Как в цилиндры мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались ультралиддитом — тончайшим порошком, необычайной силы взрывчатым веществом, найденным в лаборатории ...ского завода в Петрограде. Сила ультралиддита при восхождении все до сих пор известное в этой области. Конус взрыва чрезвычайно узок. Чтобы ось конуса взрыва совпадала с осями вертикальных каналов горла, поступающий во взрывные камеры ультралиддит пропускался сквозь магнитное поле.

Таков в общих чертах был принцип движущего механизма: это была ракета. Запас ультралиддита — на сто часов. Уменьшая или увеличивая число взрывов в секунду, можно регулировать скорость подъема и падения аппарата. Нижняя его часть значительно тяжелее верхней, поэтому, попадая в сферу притяжения планеты, аппарат всегда поворачивается к ней горлом.

— На какие средства построен аппарат? — спросил Скайльс. Лось с некоторым изумлением взглянул на него.

— На средства республики...

Лось и Скайльс вернулись к столу. После некоторого молчания Скайльс спросил неуверенно:

— Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ?

— Это я увижу утром, в пятницу, девятнадцатого августа.

— Я предлагаю вам десять долларов за строчку путевых впечатлений. Аванс — шесть фельетонов по двести строк, чек может учесть в Стокгольме. Согласны?

Лось засмеялся, кивнул головой: согласен. Скайльс присел на углу стола писать чек.

— Жаль, жаль, что вы не хотите лететь со мной: ведь это, в сущности, так близко, ближе, чем пешком, например, до Стокгольма, — сказал Лось, дымя трубкой.

СПУТНИК

Лось стоял, прислонившись плечом к веревке раскрытых ворот. Трубка его погасла.

За воротами до набережной Ждановки лежал пустырь. За рекой неясными очертаниями стояли деревья Петровского острова. За ними догорал и не мог догореть печальный закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова, лежали в зеленых водах неба. Над ними зеленело небо. Несколько звезд зажглось над ним. Было тихо на старой Земле.

Рабочий Кузьмин, давеча мешавший в ведерке сурик, тоже подошел и остановился в воротах, бросил огонек папироски в темноту.

— Трудно с Землей расставаться, — сказал он негромко. — (Дома и то трудно расставаться. Из деревни идешь на железную

дорогу — раз десять оглянешься. Изба соломой крыта, а — свое, прижилое место. Землю покидать — ай, ай, ай...

— Вскипел чайник, — сказал Хохлов, другой рабочий, — иди, Кузьмин, чай пить.

Кузьмин вздохнул: «Да, так-то» — и пошел к горну. Хохлов — суровый человек — и Кузьмин сели у горна на ящики и пили чай, осторожно ломали хлеб, отдирали от костей вяленую рыбу, жевали не спеша. Кузьмин, мотнув бородкой, сказал вполголоса:

— Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет.

— А ты погоди его отпевать.

— Мне один летчик рассказывал: поднялся он на восемь верст, — летом, заметь, — и масло все-таки замерзло у него в аппарате. А выше лететь? Там — холод. Тьма.

— А я говорю — погоди отпевать, — повторил Хохлов мрачно.

— Лететь с ним никто не хочет, не верят. Объявление вторую неделю висит напрасно.

— А я верю.

— Долетит?

— Вот то-то, что долетит. Вот и в Европе они тогда взвываются.

— Кто взвывается?

— Кто, кто взвывается? На теперь, выкуси, — Марс-то чей? — советский.

— Да, это бы здорово.

Кузьмин пододвинулся на ящике. Подошел Лось, сел, взял кружку с дымящимся чаем.

— Хохлов, не согласитесь лететь со мной?

— Нет, Мстислав Сергеевич, — ответил Хохлов, — не соглашусь, боюсь.

Лось усмехнулся, хлебнул из кружки, покосился на Кузьмина.

— А вы, милый друг?

— Мстислав Сергеевич, да я бы с радостью полетел, — жена у меня больная, опять — детишки, как их оставишь?

— Да, видимо, придется лететь одному, — сказал Лось, поставив пустую кружку, вытер губы ладонью, — охотников покинуть Землю маловато. — Он опять усмехнулся, качнул головой. — Вчера барышня приходила по объявлению. «Хорошо, говорит, я с вами лечу, мне девятнадцать лет, пою, танцую, играю на гитаре, на Земле жить больше не хочу — революции мне надоели. Визы на выезд не нужно?» Кончился наш разговор, — села барышня и заплакала. «Вы меня обманули, я рассчитывала, что лететь нужно гораздо ближе». Потом молодой человек явился, говорит басом, руки потные. «Вы, говорит, считаете меня за идиота — лететь на Марс невозможно; на каком основании вывешиваете подобные объявления?» Насилу его успокоил.

Лось оперся локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомленным, лоб сморщился. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Кузьмин ушел за табачком. Хохлов, кашлянув, сказал:

— Мстислав Сергеевич, самому-то вам разве не страшно? Лось перевел на него глаза, согретые жаром углей.

— Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача, — удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так: мои расчеты окажутся неверны, я не паду в притяжение Марса — проскочу мимо. Запаса топлива, кислорода, еды мне хватит надолго. И вот — лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через тысячу лет мой окоченелый труп влетит в огненные океаны. Но эти тысячу лет — мой летящий во тьме труп! Но эти долгие дни, покуда я еще жив, — а я буду жить долго в этой коробке, — долгие дни безнадежного отчаяния — один во всей вселенной! Не смерть страшна, но одиночество, безнадежное одиночество в вечной тьме. Это действительно страшно. Очень не хочется лететь одному.

Лось прищурился на угли. Рот его упрямо сжался.

В воротах показался Кузьмин, позвал его вполголоса:

— Мстислав Сергеевич, к вам.

— Кто? — Лось быстро поднялся.

— Красноармеец какой-то спрашивает.

В сарай, вслед за Кузьминым, вошел человек в рубашке без пояса, читавший объявление на улице Красных Зорь. Коротко кинув Лосю, оглянулся на леса, подошел к столу.

— Попутчик вам требуется?

Лось пододвинул ему стул, сел напротив.

— Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс.

— Знаю, в объявлении сказано. Мне эту звезду показали давеча. Далеко, конечно. Условия какие, хотел я знать: жалованье, харчи?

— Вы семейный?

— Женатый, детей нет.

Он ногтями деловито постукивал по столу, поглядывал кругом с любопытством. Лось вкратце рассказал ему об условиях перелета, предупредил о возможном риске. Предложил обеспечить семью и выдать жалованье вперед деньгами и продуктами. Красноармеец кивал, поддакивал, но слушал рассеянно.

— Как, вам известно, — спросил он, — люди там или чудо-вища обитают?

Лось крепко почесал в затылке, засмеялся.

— По-моему, там должны быть люди, что-нибудь вроде нас. Приедем, увидим. Дело вот в чем: уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и в Америке начали принимать непонятные сигналы. Сначала думали, что это следы бурь в магнитных полях Земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигналы. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? Ни на планетах, кроме Марса, не установлено пока жизни. Сигналы могут идти только с Марса. Взгляните на его карту, — он, как сеткой, покрыт каналами. (Он указал на чертеж Марса, прибитый к дощатой стене.) Видимо, там есть возможность установить огромной мощности радиостанции. Марс хочет говорить с Землей. Пока мы не можем от

вечать на эти сигналы. Но мы летим на зов. Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены чудовищами, существами, не похожими на нас. Марс и Земля — два крошечные шарика, кружащиеся рядом. Одни законы для нас и для них. Во вселенной носится пыль жизни. Одни и те же споры оседают на Марс и на Землю, на все мириады остывающих звезд. Повсюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный: нельзя создать животное более совершенное, чем человек.

— Еду с вами, — сказал красноармеец решительно. — Когда с вещами приходите?

— Завтра. Я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия?

— Гусев, Алексей Иванович.

— Занятие?

Гусев рассеянно взглянул на Лося, опустил глаза на свои потукивающие по столу пальцы.

— Я грамотный, — сказал он, — автомобиль ничего себе знаю. Летал на аэроплане наблюдателем. С восемнадцати лет войной занимаюсь — вот все мое и занятие. Имею ранения. Теперь нахожусь в запасе. — Он вдруг ладонью шибко потер темя, коротко засмеялся. — Ну, и дела были за эти семь лет! По совести говоря, я бы сейчас полком должен командовать, — характер неуживчивый! Прекратятся военные действия, — не могу сидеть на месте: сосет. Отравлено во мне все. Отпрошусь в командировку или так убегу. (Он потер макушку, усмехнулся.). Четыре республики учредил, — и городов-то сейчас этих не запомню. Один раз собрал сотни три ребят, — отправились Индию освобождать. Хотелось нам туда добраться. Но сбились в горах, попали в метель, под обвалы, побили лошадей. Вернулось нас оттуда немного. У Махно был два месяца, погулять захотелось... ну, с бандитами не ужился... Ушел в Красную Армию. Поляков гнал от Киева, — тут уж я был в коннице Буденного: «Даеть Варшаву!» В последний раз ранен, когда брали Перекоп. Провалился после этого без малого год по лазаретам. Выписался — куда деваться? Тут эта девушка моя подвернулась, — женился. Жена у меня хорошая, жалко ее, но дома жить не могу. В деревню ехать, — отец с матерью померли, братья убиты, земля заброшена. В городе делать нечего. Войны сейчас никакой нет, — не предвидится. Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам на Марсе пригожусь.

— Ну, очень рад, — сказал Лось, подавая ему руку, — до завтра.

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Все было готово к отлету с Земли. Но два последующих дня пришлось, почти без сна, провозиться над укладкой внутри аппарата — в полых подушках — множества мелочей. Проверяли приборы и инструменты. Сняли леса, окружавшие аппарат, разобрали часть крыши.

Лось показал Гусеву механизм движения и важнейшие приборы, — Гусев оказался ловким и сметливым человеком.

На завтра, в шесть вечера, назначили отлет.

Поздно вечером Лось отпустил рабочих и Гусева, погасив элтричество, кроме лампочки над столом, прилег, не раздеваясь, на железную койку — в углу сарая, за треногой телескопа.

Ночь была тихая и звездная. Лось не спал. Закинув за голову руки, глядел в сумрак. Много дней он не давал себе воли. Сейчас, в последнюю ночь на Земле, он отпустил сердце: мучайся, плачь.

Он вспомнил... Комната в полутьме... Свеча заставлена книгами. Запах лекарств, душно. На полу, на ковре — таз. Когда встанешь и проходишь мимо таза, по стене, по тоскливым обоям колышутся тени. Как томительно! В постели то, что дороже света, — Катя, жена — часто-часто, тихо дышит. На подушке — густые, спутанные волосы. Подняты колени под одеялом. Катя уходит от него. Изменилось недавно такое хорошее кроткое лицо. Оно — розовое, спокойное. Выпростала руку и щиплет пальцами край одеяла. Лось снова, снова берет ее руку, кладет под одеяло.

«Ну, раскрой глаза, ну, взгляни, простись со мной». Она говорит жалобным, чуть-чуть слышным голосом: «Ской око, ской око». Детский, едва слышный, жалобный ее голос хочет сказать: «Открой око». Страшнее страха — жалость к ней, к этому голосу. «Кати, Катя, взгляни». Он целует ее в щеки, в лоб, в закрытые веки. Горло у нее дрожит, грудь подымается толчками, пальцы вцепились в край одеяла. «Катя, Катя, что с тобой?» Не отвечает, уходит. Поднялась на локтях, подняла грудь, будто снизу ее толкали, мучили. Милая головка закинулась... Она опустила, ушла в постель. Упал подбородок. Лось, сотрясаясь от отчаяния, обхватил ее, прижался.

...Нет, нет, нет, — со смертью нет примиренья...

Лось поднялся с койки, взял со стола коробку с папиросами, закурил и ходил некоторое время по темному сараю. Потом взошел на лесенку телескопа, нашел искателем Марс, поднявшийся уже над Петроградом, и долго глядел на небольшой, ясный, теплый шарик. Он слегка дрожал в перекрещивающихся волосках окуляра.

...Он опять прилег... Память открыла видение. Катюша сидит в траве на пригорке. Вдали, за волнистыми полями, — золотые точки Звенигорода. Коршуны плавают в летнем зное над хлебами, над гречихами. Катюше лениво и жарко. Лось, сидя рядом, кусает травинку, поглядывает на русую голову Катюши, на загорелое плечо со светлой полоской кожи между загаром и платьем. Катюшины серые глаза — равнодушные и прекрасные, — в них тоже плавают коршуны. Кате восемнадцать лет. Сидит и молчит. Лось думает: «Нет, милая моя, есть у меня дело поважнее, чем вот на этом пригорке влюбиться в вас. На этот крючок не попадусь, на дачу к вам больше ездить не стану».

Ах, боже мой! Как неразумно были упущены эти летние, июльские дни. Остановить бы время тогда! Не вернуть! Не вернуть!

Лось опять встал с койки, чиркал спичками, курил, ходил. Но и хождение вдоль дощатой стены было тягостно: как зверь в яме. Лось отворил ворота и глядел на высоко уже взошедший Марс. «И там не уйти от себя, — за гранью Земли, за гранью смерти. Зачем нужно было хлебнуть этого яду, — любить! Жить бы неразбуженным. Летят же в эфире окоченевшие семена жизни, ледяные кристаллы, летят дремлющие. Нет, нужно упасть и расцвести — пробудиться к жажде — любить, слиться, забыться, перестать быть одиноким семенем. И весь этот короткий сон затем, чтобы снова — смерть, разлука, и снова — полет ледяных кристаллов».

Лось долго стоял в воротах. Кровяным, то синим, то алмазным светом переливался Марс — высоко над спящим Петроградом. «Новый, дивный мир, — думал Лось, — быть может, давно уже погасший или фантастический, цветущий и совершенный... Так же оттуда, когда-нибудь ночью, буду глядеть на мою родную звезду среди звезд... Вспомню — пригорок, и коршунов, и могилу, где лежит Катя... И печаль моя будет легка...»

Под утро Лось положил на голову подушку и забылся. Его разбудил грохот обоза, ехавшего по набережной. Лось провел ладонью по лицу. Еще бессмысленные от ночных видений глаза его разглядывали карты на стенах, очертания аппарата. Лось вздохнул, совсем пробуждаясь, подошел к крану и облил голову студеной водой. Накинул пальто и зашагал через пустырь к себе на квартиру, где полгода тому назад умерла Катя.

Здесь он вымылся, побрился, надел чистое белье и платье, осмотрел, заперты ли все окна. Квартира была нежилая — повсюду пыль. Он открыл дверь в спальню, где после смерти Кати он никогда не ночевал. В спальне было почти темно от спущенных штор, лишь отсвечивало зеркало шкафа с Катиными платьями, — зеркальная дверца была приоткрыта. Лось нахмурился, подошел на цыпочках и плотно прикрыл ее. Замкнул дверь спальни. Вышел из квартиры, запер парадное и плоский ключик положил себе в жилетный карман.

Теперь все было закончено перед отъездом.

ТОЮ ЖЕ НОЧЬЮ

Этой ночью Маша долго дожидалась мужа — несколько раз подогревала чайник на примусе. За высокой дубовой дверью было тихо и жутковато.

Гусев и Маша жили в одной комнате, в когда-то роскошном, огромном, теперь заброшенном доме. Во время революции обитатели покинули его. За четыре года дожди и зимние вьюги сильно испортили его внутренность.

Комната была просторная. На потолке, среди золотой резьбы и облаков, летела пышная женщина с улыбкой во все лицо, кругом — крылатые младенцы.

«Видишь, Маша, — постоянно говаривал Гусев, показывая на потолок, — женщина какая веселая, в теле, и детей шесть душ, вот это — баба».

Над золоченой, с львиными лапами, кроватью висел портрет старика, в пудреном парике, с поджатым ртом, со звездой на кифтане. Гусев прозвал его «Генерал Топтыгин». «Этот спуска не давал, чуть что не по нем — сейчас топтать». Маша боялась глядеть на портрет. Через комнату была протянута железная труба желтой печечки, закоптившей стену. На полках, на столе, где Маша готовила скудную еду, — порядок и чистота.

Резная дубовая дверь отворялась в двусветную залу. Разбитые окна в ней были заколочены досками, потолок местами обвалился. В ветреные ночи здесь гулял, завывая, ветер, бегали крысы.

Маша сидела у стола. Шипел огонек примуса. Издалека ветер донес печальный перезвон часов, — пробило два. Гусев не шел. Маша думала:

«Что ищет, чего ему мало? Все чего-то хочет найти, душа не покойная, Алеша, Алеша... Хоть бы раз закрыл глаза, лег бы мне на плечо, сынок: не ищи, не найдешь дороже моей жалости».

На ресницах у Маши выступали слезы, она их не спеша вытирала и подпирала щеку. Над головой летела, не могла улететь веселая женщина с веселыми младенцами. О ней Маша думала «Вот была бы такая — никуда бы от меня не ушел».

Гусев сказал ей, что уезжает далеко, но куда — она не знала, спросить боялась. Она и сама видела, что жить ему с ней в этой чудной комнате, в тишине, без прежней воли, — трудно, не вынести. Ночью приснится ему что-нибудь — заскрежест, вскрикнет глухо, сядет на постели и дышит, — зубы стиснуты, в поту лицо и грудь. Повалится, заснет, а наутро — весь темный, места себе не находит.

Маша до того была тихой с ним, так прилащивалась, — умнее матери. За это он ее любил и жалел, но как утро, — глядел, куда бы уйти.

Маша служила, приносила домой пайки. Денег у них часто совсем не было. Гусев хватался за разные дела, но скоро бросал. «Стариким сказывали — в Китае есть золотой клин, — говаривал он, — клинчик чай, такого там нет, но земля действительно нам еще неизвестная, иду я, Маша, в Китай, поглядеть, как и что».

С тоской, как смерти, ждала Маша того часа, когда Гусев уйдет. Никого на свете, кроме него, у нее не было. С пятнадцати лет служила продавщицей по магазинам, кассиршей на невских прогулках. Жила одиноко, невесело.

Год назад, в праздник, познакомилась с Гусевым в парке на скамейке. Он спросил: «Вижу, одиноко сидите, дозвоьте с вами провести время, — одному скучно». Она взглянула, — лицо слезное, глаза веселые, добрые и — трезвый. «Ничего не имею против», — ответила коротко. Так они и гуляли в парке до вечера. Гусев рассказывал о войнах, набегах, переворотах, — такое, что ни в одной книге не прочтешь. Проводил Машу до квартиры и

того дня стал к ней ходить. Маша просто и спокойно отдалась ему. И тогда полюбила, — вдруг, кровью всей почувствовала, что он — ей родной. С этого началась ее мука...

Чайник закипел, Маша сняла его и опять затихла. Уже давно ей чудился какой-то шорох за дверью, в пустой зале. Было так грустно, — не вслушивалась. Но сейчас — явственно слышно — шаркали чьи-то шаги.

Маша быстро открыла дверь и высунулась. В одно из окон в залу пробирался свет уличного фонаря и слабо освещал пузырчатými пятнами несколько низких колонн. Между ними Маша увидела седого, магнувшего лоб старичка, без шапки, в длинном пальто, — он стоял, вытянув шею, и глядел на Машу. У нее ослабели колени.

— Вам что здесь нужно? — спросила она шепотом.

Старичок вытянул шею и так смотрел на нее. Поднял, грозя, указательный палец. Маша с силой захлопнула дверь, — сердце отчаянно билось. Она вслушивалась, — шаги теперь отдалялись: старичок, видимо, уходил по парадной лестнице вниз.

Вскоре с другой стороны залы раздались быстрые, сильные шаги мужа. Гусев вошел веселый, перепачканный копотью.

— Слей-ка помыться, — сказал он, расстегивая ворот, — завтра едем, прощайте. Чайник у тебя горячий? Это славно. — Он вымыл лицо, крепкую шею, руки по локоть, вытираясь — покосился на жену. — Будет тебе, не пропаду, вернусь. Семь лет меня ни пуля, ни штык не могли истребить. Мой час еще далек, — отметка не сделана. А умирать — все равно не отвертеться: муха на лету заденет лапой, — брык и помер.

Он сел к столу, начал лупить вареную картошку, разломил, окунул в соль.

— Назавтра приготовь чистое, две смены, — рубашки, подштанники, подвертки. Мыльца не забудь, шильца да мыльца. Ты что — опять плакала?

— Испугалась, — ответила Маша, отворачиваясь, — старик какой-то все ходит, пальцем погрозил. Алеша, не уезжай.

— Это не ехать — что старик-то пальцем погрозил?

— На несчастье он погрозил.

— Жалко, я уезжаю, я бы с этим старикашкой сурьезно поговорил. Это непременно кто-нибудь из бывших, здешних, бродит по ночам, нашептывает, выживает.

— Алеша, ты вернешься ко мне?

— Сказал — вернусь, значит, вернусь. Фу ты, беспокойная.

— Далек едешь?

Гусев засвистал, кивнул на потолок и, посмеиваясь глазами, налил горячего чаю на блюдце.

— За облака, Маша, лечу, вроде этой бабы.

Маша только опустила голову. Гусев зевнул, начал раздеваться. Маша неслышно прибрала посуду, села штопать носки, — не поднимала глаз. А когда скинула платье и подошла к постели, — Гусев уже спал, положив руку на грудь, покойно закрыв ресницы.

Маша прилегла рядом и глядела на мужа. По щекам ее текли слезы, так он был ей дорог, так тосковала она по его мятежному сердцу: «Куда летит, чего ищет?»

На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрали чистое белье. Гусев проснулся. Напился чаю, — шутил, гладил Машу по щеке. Оставил денег — большую пачку. Вскинул на спину мешок, задержался в дверях и поцеловал Машу.

Так она и не узнала, куда он уезжает.

ОТЛЕТ

На пустыре перед мастерской Лося стал собираться народ. Шли с набережной, бежали со стороны Петровского острова, сбивались в кучки, поглядывали на невысокое солнце, пустившее сквозь облака широкие лучи. Начинались разговоры:

— Что это народ собрался — убили кого?

— На Марс сейчас полетят.

— Вот тебе дожили, этого еще не хватало!

— Что вы рассказываете? Кто полетит?

— Двоих бандитов из тюрьмы взяли, запечатают их в стальной шар и — на Марс, для опыта.

— Бросьте вы врать, в самом деле.

— Ах, сволочи, людей им не жалко!..

— То есть — кому это — «им»?

— А вы, гражданин, не цепляйтесь.

— Конечно, издевательство.

— Ну и народ дурак, боже мой!

— Почему народ дурак? Откуда вы решили?

— Вас бы самого отправить за эти слова.

— Бросьте, товарищи. Тут в самом деле историческое событие, а вы леший знает что несете.

— А для каких целей на Марс отправляют?

— Извините, сейчас один тут говорил: двадцать пять пудов погрузили они одной агитационной литературы.

— Это экспедиция.

— За чем?

— За золотом.

— Совершенно верно, — для пополнения золотого фонда.

— Много думают привезти?

— Неограниченное количество.

— Гражданин, долго нам еще ждать?

— Как солнце сядет, так они и взвьются...

До сумерек переливался говор, шли разные разговоры в толпе ожидающей необыкновенного события. Спорили, ссорились, но не уходили.

Тусклый закат багровым светом разлился на полнеба. И вот, медленно раздвигая толпу, появился большой автомобиль Губии

полкома. В сарае изнутри осветились окна. Толпа затихла, придвинулась.

Открытый со всех сторон, поблескивающий рядами заклепок, яйцевидный аппарат стоял на цементной, слегка наклоненной площадке, посреди сарая. Его ярко освещенная внутренность из стеганой ромбами желтой кожи была видна сквозь круглое отверстие люка.

Лось и Гусев были уже одеты в валяные сапоги, в бараньи полушубки, в кожаные пилотские шлемы. Члены исполкома, академики, инженеры, журналисты окружали аппарат. Напутственные речи были уже сказаны, фотографические снимки сделаны. Лось благодарил провожающих за внимание. Его лицо было бледно, глаза как стеклянные. Он обнял Хохлова и Кузьмина. Взглянул на часы.

— Пора!

Провожачие затихли. Гусев нахмурился и полез в люк. Внутри аппарата он сел на кожаную подушку, поправил шлем, одернул полушубок.

— К жене зайди, не забудь, — крикнул он Хохлову и сильно нахмурился.

Лось все еще медлил, глядел себе под ноги. Вдруг он поднял голову и сказал глуховатым, взволнованным голосом:

— Я думаю, что удачно опущусь на Марсе. Я уверен — пройдет немного лет, и сотни воздушных кораблей будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно нас толкает дух искания. Но не мне первому нужно было лететь. Не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там? — Забвение самого себя... Вот это меня смущает больше всего при расставании с вами... Нет, товарищи, я — не гениальный строитель, не смельчак, не мечтатель, я — трус, я — беглец...

Лось вдруг оборвал, странным взглядом оглянул провожающих, — все слушали его с недоумением. Он надвинул на глаза шлем.

— А впрочем, это не нужно никому — ни вам и ни мне, — личные пережитки... Оставляю их на этой одинокой койке, в сарае... До свиданья, товарищи, прошу как можно дальше отойти от аппарата...

Сейчас же Гусев крикнул из люка:

— Товарищи, я передам энтим на Марсе пламенный привет от Советской республики. Уполномачиваете?

Толпа загудела. Раздались аплодисменты.

Лось повернулся, полез в люк и сейчас же с силой захлопнул его за собой. Провожачие, теснясь, взволнованно перекидываясь словами, побежали из сарая к толпе на пустырь. Чей-то голос протяжно начал кричать:

— Осторожнее, отходите, ложитесь!

В молчании теперь тысячи людей глядели на квадратные освещенные окна сарая. Там было тихо. Тишина и на пустыре. Так прошло несколько минут. Много людей легло на землю. Вдруг звонко вдалеке заржала лошадь. Кто-то крикнул страшным голосом:

— Тише!

В сарае оглушающе грохнуло, затрещало. Сейчас же раздались более сильные, частые удары. Задрожала земля. Над крышей сарая поднялся тупой металлический нос и заволокся облаком дыма и пыли. Треск усилился. Черный аппарат появился весь над крышей и повис в воздухе, будто примериваясь. Взрывы слились в сплошной вой, и четырехсаженное яйцо, наискось, как ракета, взвилось над толпой, устремилось к западу, ширкнуло огненной полосой и исчезло в багровом, тусклом зареве туч.

Только тогда в толпе начался крик, полетели шапки, побежали люди, обступили сарай.

В ЧЕРНОМ НЕБЕ

Завинтив входной люк, Лось сел напротив Гусева и стал глядеть ему в глаза, — в колючие, как у пойманной птицы, точки зрачком.

— Летим, Алексей Иванович?

— Пускайте.

Тогда Лось взялся за рычажок реостата и слегка повернул см. Раздался глухой удар, — тот первый треск, от которого вздрогнули на пустыре тысячная толпа. Повернул второй реостат. Глухой треск под ногами — и сотрясения аппарата стали так сильны, что Гусев схватился за сиденье, выкатил глаза. Лось включил оба реостата. Аппарат рванулся. Удары стали мягче, сотрясение уменьшилось. Лось прокричал:

— Поднялись.

Гусев отер пот с лица. Становилось жарко. Счетчик скорости показывал пятьдесят метров в секунду, стрелка продолжала подвигаться вперед.

Аппарат мчался по касательной, против вращения Земли. Цитробежная сила относила его к востоку. По расчетам, на высоте ста километров он должен был выпрямиться и лететь по диагонали, вертикальной к поверхности Земли.

Двигатель работал ровно, без сбоев. Лось и Гусев расстегнули полушубки, сдвинули на затылок шлемы. Электричество было потушено, и бледный свет проникал сквозь стекла глазков.

Преодолевая слабость и начавшееся головокружение, Лось опустился на колени и сквозь глазок глядел на уходящую Землю. Она расстилалась огромной, без краев, вогнутой чашей, — голубовато-серая. Кое-где, точно острова, лежали на ней гряды облаков, это был Атлантический океан.

Понемногу чаша суживалась, уходила вниз. Правый край ее начал светиться, как серебро, на другой находила тень. И вот чаша уже казалась шаром, улетающим в бездну.

Гусев, прильнувший к другому глазку, сказал:

— Прощай, матушка, пожито на тебе, пролито кровушки.

Он поднялся с колен, но вдруг зашатался, повалился на подушку. Рванул ворот:

— Помираю, Мстислав Сергеевич, м'о́чи нет.

Лось чувствовал: сердце бьется чаще, чаще, уже не бьется, — трепещет мучительно. Бьет кровь в виски. Темнеет свет.

Он пополз к счетчику. Стрелка стремительно поднималась, отмечая невероятную быстроту. Кончался слой воздуха. Уменьшалось притяжение. Компас показывал, что Земля была вертикально вни-ву. Аппарат, с каждой секундой набирая скорость, с сумасшедшей быстротой уносился в мировое ледяное пространство.

Лось, ломая ногти, едва расстегнул ворот полушубка — сердце стало.

Предвидя, что скорость аппарата и находящихся в нем тел достигнет такого предела, когда наступит заметное изменение скорости биения сердца, обмена крови и соков, всего жизненного ритма тела, — предвидя это, Лось соединил счетчик скорости одного из жироscopes (их было два в аппарате) электрическими проводами с кранами баков, которые в нужную минуту должны выпустить большое количество кислорода и аммиачных солей.

Лось очнулся первым. Грудь резало, голова кружилась, сердце шумело, как волчок. Мысли появились и исчезли — необычайные, быстрые, ясные. Движения были легки и точны.

Лось закрыл лишние краны в баках, взглянул на счетчик. Аппарат покрывал около пятисот верст в секунду. Было светло. В один из глазков входил прямой, ослепительный луч солнца. Под лучом, навзничь, лежал Гусев, — зубы оскалены, стеклянные глаза вышли из орбит.

Лось поднес ему к носу едкую соль. Гусев глубоко вздохнул, мотрепетали веки. Лось обхватил его под мышками и сделал усилие приподнять, но тело Гусева повисло, как пузырь с воздухом. Он разжал руки, — Гусев медленно опустился на пол, вытянул ноги по воздуху, поднял локти, — сидел, как в воде, озирался:

— Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?

Лось приказал ему лезть наблюдать в верхние глазки. Гусев встал, качнулся, примерился и полез по отвесной стене аппарата, как муха, — хватался за стеганую обивку. Прильнул к глазку.

— Темень, Мстислав Сергеевич, как есть ничего не видно.

Лось надел дымчатое стекло на окуляр, обращенный к солнцу. Четким очертанием, огромным, косматым клубком солнце висело в пустой темноте. С боков его, как крылья, были раскинуты две световые туманности. От плотного ядра отделился фонтан и расплылся грибом, — это было время, когда проходили большие солнечные пятна. В отдалении от светлого ядра располагались еще более бледные, чем зодиакальные крылья, световые океаны огня, отброшенные от солнца и вращающиеся вокруг него.

Лось с трудом оторвался от этого зрелища, — живоносного огня вселенной. Прикрыл окуляр колпачком. Стало темно. Он придвинулся к глазку, противоположному световой стороне. Здесь была

тьма. Он повернул окуляр, и глаз укололся в зеленоватый луч звезды. Но вот в глазок вошел голубой, ясный, сильный луч, это был Сириус, небесный алмаз, первая звезда северного неба.

Лось подполз к третьему глазку. Повернул окуляр, взглянул, протер его носовым платком. Всмотрелся. Сжалось сердце, стали чувствительны волосы на голове.

Невдалеке, во тьме, плыли, совсем близко, неясные, туманные пятна. Гусев проговорил с тревогой:

— Какая-то штука летит рядом с нами.

Туманные пятна медленно уходили вниз, становились отчетливей, светлее. Побежали изломанные, серебристые линии, нити. И вот стало проступать яркое очертание рваного края скалистого гроба. Аппарат, видимо, сближался с каким-то небесным телом, вошел в его притяжение и, как спутник, начал поворачиваться вокруг него.

Дрожащей рукой Лось пошарил рычажки реостатов и повернул их до отказа, рискуя взорвать аппарат. Внутри, под ногами, миг заревело, затрепетало. Пятна и сияющие рваные края быстрее стали уходить вниз. Освещенная поверхность увеличивалась, приближалась. Теперь уже ясно можно было видеть резкие, длинные тени от скал, — они тянулись через оголенную, мертвую равнину.

Аппарат летел к скалам, — они были совсем близко, залиты сбоку солнцем. Лось подумал (сознание было спокойное и ясное) через секунду, — аппарат не успеет повернуть к притягивающей его массе горлом, — через секунду — смерть.

В эту долю секунды Лось заметил на мертвой равнине, мчал скал, развалины уступчатых башен... Затем аппарат скользнул над голыми острями гор... Но там, по ту их сторону, был обрыв, бездна, тьма. Сверкнули на рваном отвесном обрыве жилы металла. И осколок разбитой, неведомой планеты остался далеко позади, — продолжал свой мертвый путь к вечности. Аппарат снова мчался среди пустыни черного неба.

Вдруг Гусев крикнул:

— Вроде как Луна перед нами!

Он обернулся, отделился от стены и повис в воздухе, раскорчился лягушкой и, ругаясь шепотом, силился приплыть к стене. Лось отделился от пола и тоже повиснул, держась за трубку глядя, — глядел на серебристый, ослепительный диск Марса.

СПУСК

Серебристый, кое-где словно подернутый облачками диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность. На востоке она доходила до экватора, близ среднего меридиана поднималась, огибая полого более светлую поверхность, и раздваивалась, образуя у западного края диска второй мыс.

По экватору были расположены — ясно видны — пять темных точек, круглых пятен. Они соединялись прямыми линиями, которые начерчивали два равносторонних треугольника и третий — удлиненный. Подножие восточного треугольника было охвачено правильной дугой. От середины ее до крайней, западной точки шло второе полукружие. Несколько линий, точек и полукружий разбросано к западу и востоку от этой экваториальной группы. Северный полюс тонул во мгле.

Лось жадно вглядывался в эту сеть линий: вот они, сводящие с ума астрономов, постоянно меняющиеся, геометрически правильные, непостижимые каналы Марса. Лось различал теперь под этим четким рисунком вторую, едва проступающую, словно стертую, сеть линий.

Он начал набрасывать примерный рисунок ее в записной книжке. Вдруг диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Лось кинулся к реостатам:

— Попали, Алексей Иванович, притягиваемся, падаем!

Аппарат поворачивал горлом к планете. Лось уменьшил и совсем выключил двигатель. Перемена скорости была теперь менее болезненна. Но наступила тишина настолько мучительная, что Гусев уткнулся лицом в руки, зажал уши.

Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, становится все более выпуклым серебряный диск. Казалось, из черной бездны он сам теперь летел на них.

Лось снова включил реостаты. Аппарат затрепетал, преодолевая притяжение Марса. Скорость падения замедлилась. Марс закрывал теперь все небо, тускнел, края его выгибались чашей.

Последние секунды были страшными: головокружительное падение. Марс закрыл все небо. Внезапно стекла глазков запотели. Аппарат прорезывал облака над тусклой равниной и, ревя и сотрясаясь, медленно теперь опускался.

— Садимся! — успел только крикнуть Лось и выключил двигатель. Сильным толчком его кинуло на стену, перевернуло. Аппарат грузно сел и повалился набок.

Колени тряслись, руки дрожали, сердце замирало. Молча, топорливо Лось и Гусев приводили в порядок внутренность аппарата. Сквозь отверстие одного из глазков высунули наружу полуживую мышь, привезенную с Земли. Мышь понемногу ожила, подняла нос, стала шевелить усами, умылась. Воздух был годен для жизни.

Тогда отвинтили входной люк. Лось облизнул губы, сказал еще глуховатым голосом:

— Ну, Алексей Иванович, с благополучным прибытием. Вылетаем.

Скинули валенки и полушубки. Гусев прицепил маузер к поясу (на всякий случай), усмехнулся и распахнул люк.

Темно-синее, как море в грозу, ослепительное, бездонное небо увидели Гусев и Лось, вылезая из аппарата.

Пылающее, косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потoki хрустального синего света были прохладны, прозрачны — от рся кой черты горизонта до зенита.

— Веселое у них солнце, — сказал Гусев и чихнул, до того ослепителен был свет в густо-синей высоте. Покалывало грудь, стучали кровь в виски, но дышалось легко, — воздух был тонок и сух.

Аппарат лежал на оранжево-апельсиновой плоской равнине. Горизонт совсем близок, подать рукой. Почва вся в больших трещинах. Повсюду на равнине стояли высокие кактусы, точно семисвечники, — бросали резкие лиловые тени. Подувал сухой ветерок.

Лось и Гусев долго озирались, потом пошли по равнине. Идти было необычайно легко, хотя ноги и вязли по щиколотку в рассыпающейся почве. Огибая жирный высокий кактус, Лось протянул к нему руку. Растение, едва его коснулись, затрепетало, как под ветром, и бурые его, мясистые отростки потянулись к руке. Гусев пхнул сапогом ему под корень, — ах, погань! — кактус повалился, вонзая в песок колючки.

Шли около получаса. Перед глазами расстилалась все та же оранжевая равнина, — кактусы, лиловые тени, трещины в грунте. Когда повернули к югу и солнце осталось сбоку, Лось стал присматриваться, словно что-то соображая, вдруг остановился, присел, хлопнул себя по колену.

— Алексей Иванович, почва-то ведь вспаханная.

— Что вы?

Действительно, теперь ясно были видны широкие, полуобсыпавшиеся борозды пашни и правильные ряды кактусов. Через несколько шагов Гусев споткнулся о каменную плиту, в нее было ввернуто большое бронзовое кольцо с обрывком каната. Лось поскреб под бородак, глаза его блеснули.

— Алексей Иванович, вы ничего не понимаете?

— Да вижу, что мы — в поле.

— А кольцо зачем?

— Черт их душу знает, зачем они кольцо ввинтили.

— А затем, чтобы привязывать бакен. Видите ракушки? Мы — на дне высохшего канала.

Гусев сказал:

— Да, действительно... Насчет воды тут плоховато.

Они повернули к западу и шли поперек борозд. Вдалеке над полем поднялась и летела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висачим, как у осы, телом. Гусев приостановился, положив руку на револьвер. Но птица взмыла, сверкнув в густой синеве, и скрылась за близким горизонтом.

Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Приходилось осторожно пробираться в их живой, колючей чаще. Из-под ног

бегали животные, похожие на каменных ящеров, многоногие, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в сторону какие-то щетинистые клубки. Здесь шли осторожно.

Кактусы кончились у белого, как мел, покатога берега. Он был обложен, видимо, древними тесаными плитами. В трещинах и между щелями кладки висели высохшие волокна мха. В одну из таких плит ввернуто такое же, как на поле, кольцо. Хребтатые ящеры мирно дремали на припеке.

Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видна холмистая равнина того же апельсинового, но более тусклого цвета. Кое-где разбросаны на ней кущи низкорослых, подобных горным сонам, деревьев. Кое-где белели груды камней, очертания развалин. Вдали, на северо-западе, поднималась гряда гор, острых и неровных, как застывшие языки пламени. На вершинах сверкал снег.

— Вернуться нам надо, поесть, передохнуть, — сказал Гусев, — умаемся, тут ни одной живой души нет.

Они стояли еще некоторое время. Равнина была пустынна и печальна, — сжималось сердце.

— Да, заехали, — сказал Гусев.

Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов.

Вдруг Гусев — шепотом:

— Вот он!

Привычной хваткой вырвал револьвер из кобуры.

— Эй, — закричал он, — кто там у аппарата, так вашу эдак. Стрелять буду!

— Кому кричите?

— Видите, аппарат поблескивает?

— Вижу теперь, да.

— А вон, правее его, — сидит.

Лось, наконец, увидел, и они, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо, сидевшее около аппарата, двинулось в сторону, запрыгало между кактусами, подскочило, раскинуло длинные перепончатые крылья, с треском поднялось и, описав полукруг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя. Но Лось вышиб у него оружие, крикнул:

— С ума сошел! Это марсианин!..

Закинув голову, раскрыв рот, Гусев глядел на удивительное существо, описывающее круги в кубово-синем небе. Лось вынул носовой платок и начал махать странной птице.

— Мстислав Сергеевич, поосторожнее, как бы он в нас чем-нибудь не шарахнул оттуда.

— Спрячьте, говорю, револьвер.

Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. По поясу тела сидящего висело в воздухе. На уровне его плеч взмахивали

два изогнутых подвижных крыла. Под ними, впереди, крутили теневой диск, видимо — воздушный винт. Позади седла — хвост с раскинутыми вилкой рулями. Весь аппарат подвижен и гибок, как живое существо.

Вот он нырнул и пошел у самой пашни, — одно крыло вниз, другое вверх. Показалась голова марсианина в шапке — яйцом, с длинным козырьком. На глазах — очки. Лицо кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и пищал что-то. Часто-часто замахал крыльями, снизился, пробежал по пашне и соскочил с седла шагах в тридцати от людей.

Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, туго обмотаны. Он сердито указывал на поваленные кактусы. Но когда Лось и Гусев двинулись к нему, живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел, почти без разбега, и сейчас же опять сел и продолжал кричать пискливым, тонким голосом, указывая на поломанные растения.

— Чудак, обижается, — сказал Гусев и крикнул марсианину: — Да будет тебе орать, сукин кот. Катись к нам, не обидим.

— Алексей Иванович, перестаньте ругаться, он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет.

Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть. Гусев закурил папироску, сплюнул. Марсианин некоторое время глядел на них и кричать перестал, но все еще сердито грозил длинным, как карандаш, пальцем. Затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом.

В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки — в одной было сильно пахучее желе, в другой — студенистые кусочки, похожие на рахат-лукум. Гусев понюхал.

— Тыфу, скажите что едят! Он вытащил из аппарата корзинку с провизией, набрал сухих обломков кактуса, запалил их. Поднялся легкий дымок, кактусы тлели, но жара было много. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод.

Солнце стояло над головой, ветер утих, было жарко. По оранжевым кочкам подполз многоногий зверек... Гусев кинул ему кусочек сахара. Он поднял треугольную рогатую голову и будто окаменел.

Лось попросил папироску и прилег, подперев щеку, — курил, усмехался.

— Алексей Иванович, знаете, сколько времени мы не ели?

— Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом я картошки наелся.

— Не ели мы с вами, друг милый, двадцать три или двадцать четыре дня.

— Сколько?

— Вчера в Петрограде было восемнадцатое августа, а сегодня в Петрограде одиннадцатое сентября, — вот чудеса какие.

— Этого, вы мне голову оторвите, не пойму, Мстислав Сергеевич.

— Да этого и я хорошенько-то не понимаю, как это так. Вылетели мы в семь. Сейчас, видите, два часа дня. Девятнадцать часов тому назад мы покинули Землю, по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло около месяца. Вы замечали, — сиде вы в поезде, спите, поезд останавливается, вы либо проснетесь от неприятного ощущения, либо во сне вас начинает томить. Это потому, что, когда вагон останавливается, во всем вашем теле происходит замедление скорости. Вы лежите в бегущем вагоне, и ваше сердце бьется, и ваши часы идут скорее, чем если бы вы лежали в недвижущемся вагоне. Разница неуловимая, потому что скорости очень малы. Иное дело — наш перелет. Половину пути мы пролетели почти со скоростью света. Тут уже разница ощутима. Биение сердца, скорость хода часов, колебание частиц в клеточках тела не изменились по отношению друг друга, покуда мы летели в безвоздушном пространстве, — составляли одно целое с аппаратом, все двигалось в одном с ним ритме. Но если скорость аппарата превышала в пятьсот тысяч раз нормальную скорость движения тела на Земле, то скорость биения моего сердца, — один удар в секунду, если считать по часам, бывшим в аппарате, — увеличилась в пятьсот тысяч раз, то есть мое сердце отбивало во время полета пятьсот тысяч ударов в секунду, считая по часам, оставшимся в Петербурге. По биению моего сердца, по движению стрелки хронометра в моем кармане, по ощущению всего моего тела мы прожили в пути девятнадцать часов. И это на самом деле были девятнадцать часов. Но по биению сердца питерского жителя, по движению стрелки на часах Петропавловского собора прошло со дня нашего отлета три с лишком недели. Впоследствии можно будет построить большой аппарат, снабдить его на полгода запасом пищи, кислорода и ультралиддита и предлагать каким-нибудь чудакам: вам не нравится жить в наше время, — хотите жить через сто лет? Для этого нужно только запастись терпением на полгода, посидеть в этой коробке, но зато — какая жизнь! Вы перескочите через столетие. И отправлять их со скоростью света на полгода в межзвездное пространство. Поскучают, обрастут бородой, вернуться, а на Земле — золотой век. А ведь все это так и будет когда-нибудь.

Гусев охал, щелкая языком, много удивлялся:

— Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья, — мы не отравимся?

Он зубами вытащил из марсианской фляжки затычку, попробовал жидкость на язык, сплюнул: пить можно! Хлебнул, крикнул.

— Вроде нашей мадеры.

Лось попробовал; жидкость была густая, сладковатая, с сильным запахом цветов. Пробуя, они выпили половину фляжки. По жилам пошла тепло и особенная легкая сила, голова же оставалась ясной.

Лось поднялся, потянулся, расправился, — хорошо, легко, странно было ему под этим иным небом, несбыточно, дивно. Будто

он выкинут прибором звездного океана, заново рожден в неизведанную, новую жизнь.

Гусев отнес корзинку с едой в аппарат, плотно завинтил люк, сдвинул картуз на самый затылок.

— Хорошо, Мстислав Сергеевич, не жалко, что поехали.

Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине.

Весело переговариваясь, они пошли между кактусами, иногда перепрыгивали через них длинными, легкими прыжками. Камни набережного откоса скоро забелели сквозь заросль.

Вдруг Лось стал. Холодок омерзения прошел по спине. В трех шагах, у самой земли, из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глаз дели пристально, с лютой злобой.

— Вы что? — спросил Гусев и тоже увидел глаза. И, не размышляя, сейчас же выстрелил в них, — взлетела пыль. Глаза исчезли. — Вон еще — гадина! — Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее на больших паучьих ногах бурое, редкополосое, жирное тело. Это был огромный паук, какие на Земле водятся лишь на дне глубоких морей. Он ушел в заросль.

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ

От берега до ближайшей кущи деревьев Лось и Гусев шли по неровному, бурому праху, перепрыгивали через обсыпавшиеся неширокими каналами, огибали высохшие прудки. Кое-где, в полузасыпанных руслах, из песка торчали ржавые остовы барок. Кое-где на мертвой, унылой равнине поблескивали выпуклые диски — около метра в диаметре. Отсвечивающие пятна этих дисков тянулись от зубчатых гор — по холмам — к древесным кущам, к развалинам.

Среди двух холмов стояла куща низкорослых, с раскидистыми, плоскими вершинами, бурых деревьев. Их ветви были корявы и крепки, листва напоминала мелкий мох, стволы — жилистые и шишковатые. На опушке, между деревьями, висели обрывки колючей сети.

Вошли в лесок, Гусев нагнулся и пихнул ногой, — из-под праха покотился проломанный человеческий череп, в зубах его блеснул металл. Здесь было душно. Мшистые ветви бросали в безветренном зное скудную тень. Через несколько шагов опять наткнулись на выпуклый диск, — он был привинчен к основанию круглого металлического колодца. В конце леска виднелись развалины, — толстые кирпичные стены, словно развороченные взрывом, горючие щепня, торчащие концы согнутых металлических балок.

— Дома взорваны, Мстислав Сергеевич, — сказал Гусев. Тут у них, видимо, были дела. Эти штуки мы знаем.

На куче мусора появился большой паук и побежал вниз по рваному краю стены. Гусев выстрелил. Паук высоко подскочил и

упал, перевернувшись. Сейчас же второй паук побежал из-за дома к деревьям, поднимая коричневую пыльцу, и ткнулся в колючую сеть, стал биться в ней, вытягивая ноги.

Из рожицы Гусев и Лось вышли на холм и стали спускаться ко второму леску, туда, где издали виднелись кирпичные постройки и одно, выше других, каменное здание — с плоскими крышами. Между холмом и поселком лежало несколько дисков. Указывая на них, Лось сказал:

— По всей вероятности, это колодцы водопровода, пневматических труб, электрических проводов. Все это, видимо, орошено.

Они перелезли через колючую сеть, пересекли лесок и подошли к широкому, мощенному плитами двору. В глубине его стоял дом необыкновенной и мрачной архитектуры. Гладкие стены его суживались кверху и заканчивались массивным карнизом из черно-красного камня. В стенах — длинные и узкие, как щели, глубокие отверстия окон. Две чешуйчатые, суживающиеся кверху колонны поддерживали над входом бронзовый барельеф — покоящуюся фигуру с закрытыми глазами. Плоские, во всю ширину здания, ступени вели к низким массивным дверям. Высохшие волокна ползучих растений висели между темными плитами стен. Дом напоминал огромную гробницу.

Гусев стал пробовать плечом металлическую дверь. Налег, — она со скрипом подалась. Они миновали темный вестибюль и вошли в высокую залу: Свет проникал в нее сквозь стекла купола. Зала была почти пуста. Несколько опрокинутых табуретов, низкий стол с пыльной черной скатертью, на каменном полу — разбитые сосуды, какая-то странной формы машина, не то орудие — из дисков, шаров и металлической сети, стоящая близ дверей, — все было покрыто слоем пыли.

Пыльный свет падал на желтоватые, с золотистыми искрами стены. Вверху они были опоясаны широкой полосой мозаики. Видимо, она изображала события истории — борьбу желтокожих существ с краснокожими: морские волны с погруженной в них по пояс человеческой фигурой, та же фигура, летящая между звезд, — картины битв, нападение хищных зверей, стада странных животных, гонимые пастухами, сцены быта, охоты, пляски, рождения и погребения. Мрачный пояс этой мозаики смыкался над дверьми изображением постройки гигантского цирка.

— Странно, странно, — повторял Лось, влезая на диваны, чтобы лучше разобрать мозаику, — повсюду повторяется любопытный рисунок человеческой головы, понимаете, очень странно...

Гусев тем временем отыскал в стене едва приметную дверь, — она открывалась на внутреннюю лестницу, ведущую в широкий сводчатый коридор, залитый пыльным светом.

Вдоль стен и в нишах коридора стояли каменные и бронзовые фигуры, торсы, головы, маски, черепки ваз. Украшенные мрамором и бронзой порталы дверей вели отсюда во внутренние покои.

Гусев пошел заглядывать в боковые — низкие, затхлые, слабо освещенные комнаты. В одной был высохший бассейн, в нем ва-

лялся дохлый паук. В другой — вдребезги разбитое зеркало, составляющее одну из стен, на полу — куча истлевшего тряпья, опрокинутая мебель, в шкафах — лохмотья одежд.

В третьей комнате, на возвышении, под высоким колодцем, от куда падал свет, стояло широкое ложе. С него до половины свисивался скелет марсианина. Повсюду — следы жестокой борьбы. В углу, тычком, лежал второй скелет.

Здесь среди мусора Гусев отыскивал несколько вещей чеканного, тяжелого металла, — видимо, украшения, предметы женского обихода, — маленькие сосуды из цветного камня. Он снял с истлевшей одежды скелета два соединенных цепочкой больших темно-золотистых камня, словно светящихся изнутри.

— Пригодится, — сказал Гусев, — Машке подарю...

Лось осматривал скульптуру в коридоре. Среди востроносых марсианских голов, изображений морских чудовищ, раскрашенных мисок, склеенных ваз, странно напоминающих очертанием и рисунком этрусские амфоры, — внимание его остановила большая поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину с вискоченными волосами и свирепым асимметричным лицом. Острые груди ее торчали в стороны. Голову обхватывал золотой обруч из звезд, над лбом он переходил в тонкую параболу, внутри ее заключались два шарика: рубиновый и красновато-кирпичный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе-знакомое, выплывающее из непостижимой памяти.

Сбоку статуи, в стене, темнела небольшая ниша, забранная решеткой. Лось запустил пальцы сквозь прутья, но решетка не поддалась. Он зажег спичку и увидел в нише на истлевшей подушечке золотую маску. Это было изображение широкоскулого человеческого лица со спокойно закрытыми глазами. Лунообразный рот улыбался. Нос — острый, клювом. На лбу между бровей припухлость в виде увеличенного стрекозиного глаза. Это была голова, изображенная на мозаике в первой зале.

Лось сжег половину коробки спичек, с волнением рассматривая удивительную маску. Незадолго до отлета с Земли он видел снимки подобных масок, отрытых недавно среди развалин гигантских городов по берегам Нигера, в той части Африки, где теперь предпологают следы культуры исчезнувшей таинственной расы.

Одна из боковых дверей в коридоре была приоткрыта. Лось вошел в длинную, очень высокую комнату с хорами и решетчатой балюстрадой. Внизу и наверху — на хорах стояли плоские шкафы и тянулись полки, уставленные маленькими толстыми книжечками. Украшенные тиснением и золотой чеканкой, корешки их тянулись однообразными линиями вдоль серых стен. В шкафах стояли металлические цилиндрики, в иных — огромные, переплетенные в кожу или в дерево книги. Со шкафов, с полок, из темных углов библиотеки глядели каменными глазами морщинистые, лысые головы ученых марсиан. По комнате расставлено несколько глубоких сидений, несколько ящичков на тонких ножках с приставленным сбоку круглым экраном.

Затаив дыхание, Лось оглядывал эту, с запахом тления и плесени, сокровищницу, где молчала, закованная в книги, мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом.

Осторожно он подошел к полке и стал раскрывать книги. Бумага их была зеленоватая, шрифт геометрического очертания, мягкой коричневой окраски. Одну из книг, с чертежами машин, Лось сунул в карман, чтобы просмотреть на досуге. В металлических цилиндрах оказались вложенными желтоватые, звучащие под ногтем, как кость, валики, подобные валикам фонографа, но поверхность их была гладкая, как стекло. Один из таких валиков лежал на ящике с экраном, видимо приготовленный для зарядки и брошенный во время гибели дома.

Затем Лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, изъеденную червями, легкую пухлую книгу и рукавом осторожно отер с нее пыль. Желтоватые ветхие листы ее шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами, полосой. Эти переходящие одна в другую страницы были покрыты цветными треугольниками величиною с ноготь. Они бежали слева направо и в обратном порядке неправильными линиями, то падая, то сплетаясь. Они менялись в очертании и цвете. Спусти несколько страниц между треугольниками появились цветные круги, меняющие форму и окраску. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетения и переливы цветов и форм этих треугольников, кругов, квадратов, сложных фигур бежали со страницы на страницу. По-немногу в ушах Лося начала наигрывать едва уловимая, тончайшая, изумительная музыка.

Он закрыл книгу и долго стоял, прислонившись к книжным полкам, взволнованный и одурманенный никогда еще не испытанным очарованием: это была поющая книга.

— Мстислав Сергеевич, — раскатисто по дому пронесся голос Гусева, — идите-ка сюда, скорее.

Лось вышел в коридор. В конце его, в дверях, стоял Гусев, испуганно улыбаясь.

— Посмотрите-ка, что у них творится.

Он ввел Лося в узкую полутемную комнату; в дальней стене было вделано большое квадратное матовое зеркало, перед ним стояло несколько табуретов и кресел.

— Видите, шарик висит на шнурке; думаю, — золотой, дай сорву, — глядите, что получилось.

Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось, появились уступчатые очертания огромных домов, окна, сверкающие закатным солнцем, развевающиеся полотнища. Глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу, сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, резкий треск раздался под полом комнаты, туманное зеркало погасло.

— Короткое замыкание, провода перегорели, — сказал Гусев. — Нам надо идти, Мстислав Сергеевич, ночь скоро.

ЗАКАТ

Раскинув узкие туманные крылья, пылающее солнце клонилось к закату.

Лось и Гусев торопливо шли по тускнеющей, теперь еще более пустынной и дикой равнине к берегу канала. Солнце быстро ушло за близкий край поля — и кануло. Ослепительное алое сияние разлилось на месте заката. Резкие лучи его озарили полнеба и быстро-быстро покрывались серым пеплом, — гасли. Небо казалось непроглядным.

В пепельном закате, низко над Марсом, встала большая красная звезда. Она восходила, как гневный глаз. Несколько мгновений темнота была насыщена лишь ее мрачными лучами.

Но уже по всему непомерно высокому небесному куполу начали выплывать звезды, сияющие, зеленоватые созвездия, — ледяные лучи их кололи глаза. Мрачная звезда, восходя, разгоралась.

Дойдя до берега, Лось остановился и, указывая рукой на звезду, сказал:

— Земля.

Гусев снял картуз, вытер пот со лба. Закинув голову, глядел на плывущую между созвездиями далекую родину. Его лицо казалось осунувшимся, печальным.

— Земля, — повторил он.

Так они долго стояли на берегу древнего канала, над равниной с неясными в свете звезд очертаниями кактусов.

Но вот из-за резкой черты горизонта появился светлый серп, меньше лунного, и стал подниматься над кактусовым полем. Длинные тени легли от лапчатых растений.

Гусев локтем толкнул Лося.

— Позади-то нас, поглядите.

Позади них над холмистой равниной, над рощами и развалинами сиял второй спутник Марса. Круглый желтоватый диск светил, также меньше луны, клонился за зубчатые горы. Отблескивали на холмах металлические диски.

— Ну и ночь, — прошептал Гусев, — как во сне.

Они осторожно спустились с берега в заросли кактусов. Из-под ног шарахнулась чья-то тень. Мохнатый клубок побежал по отсветам двух лун. Заскрежетало. Пискнуло — пронзительно, нестерпимо, тонко. Шевелились поблескивающие листья кактусов. Липли к лицу паутина, упругая, как сеть.

Вдруг вкрадчивым, раздражающим воем огласилась ночь. Оборвало. Все стихло. Гусев и Лось большими прыжками, содрогаясь от отвращения и ужаса, бежали по полю, высоко перескакивая через ожившие растения.

Наконец в свету восходящего серпа блеснула стальная обшивка аппарата. Добежали. Присели, отпыхиваясь.

— Ну нет, по ночам в эти паучьи места я не ходок, — сказал Гусев. Отвинтил люк и полез в аппарат.

Лось еще медлил. Прислушивался, поглядывал. И вот он увидел — между звезд фантастическим силуэтом плыла крылатая тень корабля.

ЛОСЬ ГЛЯДИТ НА ЗЕМЛЮ

Тень воздушного корабля исчезла. Лось влез на мокрую обшивку аппарата, закурил трубочку и поглядывал на звезды. Тонкий холодок знобил тело. Внутри аппарата возился, бормотал Гусев, рассматривал, прятал найденные вещицы. Потом голова его высунулась из люка лодки.

— Что вы ни говорите, Мстислав Сергеевич, а это все золото, а камешкам — цены им нет. Вот дуреха-то моя обрадуется.

Голова его скрылась, вскоре он совсем затих. Счастливый был человек Гусев.

Но Лось спать не мог, — сидел, помаргивал на звезды, посащивал трубочку. Черт знает что такое! Откуда на Марс могли попасть золотые маски с этим отличительным третьим стрекозиным глазом? А мозаика? Погибающие в море, летящие между звезд великаны. А знак параболы: рубиновый шарик — Земля и кирпичный — Марс? Знак власти над двумя мирами? Непостижимо. А поющая книга? А странный город, появившийся в туманном зеркале? И почему, почему весь этот край покинут, заброшен?

Лось выколотил трубку о каблук. Скорее бы настал день! Очевидно, что марсианин-летчик даст знать куда-нибудь в населенный центр. Быть может, их уже и сейчас разыскивают, и проплывший перед звездами корабль именно послан за ними.

Лось оглянул небо. Свет красноватой звезды — Земли — бледнел, она приближалась к зениту, лучик от нее шел в самое сердце.

Бессонной ночью, стоя в воротах сарая, Лось точно так же, с холодной печалью, глядел на восходивший Марс. Это было позапрошлой ночью. Лишь одни сутки отделяли его от того часа, от Земли.

Земля, Земля, зеленая, то в облаках, то в прорывах света, пышная, многоводная, так расточительно-жестокая к своим детям, все же любимая, — родина...

Ледяным холодом сжало мозг. Этот красноватый шарик Земли — точно горячее сердце... Человек, эфемериды, пробуждающийся на мгновение к жизни, он — Лось, один, своей безумной волей оторвался от родины, и вот, как унылый бес, один сидит на пустыре. Вот оно, вот оно одиночество. Этого ты хотел? Ушел ты от самого себя?..

Лось передернул плечами от холодка. Сунул трубку в карман. Влез в аппарат и лег рядом с похрапывающим Гусевым. Этот простой человек не предал родины, прилетел за тридевять земель, на девятое небо, и здесь, как и там, — у себя дома... Спит спокойно, совесть чиста.

От тепла, от усталости Лось задремал. Во сне сошло на него утешение. Он увидел берег земной реки, березы, шумящие от вет-

ра, облака, искры солнца на воде, и на той стороне кто-то в смелом, сияющем — машет ему, зовет, манит. Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов.

МАРСИАНЕ

Ослепительно-розовые гряды облаков, как жгуты пряжи, покрывали утреннее небо. То появляясь в густо-синих просветах, то исчезая за розовыми грядами, опускался, залитый солнцем, летучий корабль. Очертание его трехмачтового остова напоминало гигантского жука. Три пары острых крыльев простирались с боков ст.

Корабль прорезал облака и, весь влажный, серебристый, сверкающий, повис над кактусами. На крайних его коротких мачтах мощные ревели вертикальные винты, не давая ему опуститься. С бортов откинулись лесенки, и корабль сел на них. Винты остановились.

По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиан. Они были в одинаковых яйцевидных шлемах, в серебристых широких куртках с толстыми воротниками, закрывающими шею и низ лица. В руках у каждого было оружие в виде короткого, с диском посредине, автоматического ружья.

Гусев, насупившись, стоял около аппарата. Держа руку на мизинце, поглядывал, как марсиане выстроились в два ряда. Их ружья лежали дулом на согнутой руке.

— Оружие, сволочи, как бабы держат, — проворчал он.

Лось стоял, сложив на груди руки, улыбаясь. Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками халат. Открытая голова его была лысая, в шишках. Безбородое узкое лицо голубоватого цвета.

Увязая в рыхлой почве, он прошел мимо двойного ряда солдат. Выпуклые светлые, ледяные глаза его остановились на Гусеве. За тем он глядел только на Лося. Приблизился к людям, поднял мизинцевую руку в широком рукаве и сказал тонким, стеклянным, медленным голосом птичье слово:

— Талцетл.

Еще более расширились его глаза, осветились холодным возбуждением. Он повторил птичье слово и повелительно указал на небо. Лось сказал:

— Земля.

— Земля, — с трудом повторил марсианин, поднял кожу на лбу. Шишки его потемнели.

Гусев выставил ногу, кашлянул и сказал сердито:

— Из Советской России, мы — русские. Мы, значит, к вам, здрасте, — он дотронулся до козырька, — мы вас не обижаем, мы нас не обижайте... Он, Мстислав Сергеевич, ни черта по-нашему не понимает.

Голубоватое, умное лицо марсианина было неподвижно, лишь на покато лбу его, между бровей, стало вздуться от напряжения

красноватое пятно. Легким движением руки он указал на солнце и проговорил знакомый звук, прозвучавший странно:

— Соацр.

Он указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар:

— Тума.

Указав на одного из солдат, стоявших полукругом позади него, указал на Гусева, на себя, на Лосю:

— Шохо.

Так он назвал словами несколько предметов и выслушал их значение на языке Земли. Приблизился к Лосю и важно коснулся безымянным пальцем его лба, впадины между бровей. Лось нагнул голову в знак приветствия. Гусев, после того как его коснулись, дернул на лоб козырек:

— Как с дикарями обращаются.

Марсианин подошел к аппарату и долго, со сдержанным удивлением, затем, — поняв, видимо, его принцип, — с восхищением рассматривал огромное стальное яйцо, покрытое коркой нагара. Вдруг всплеснул руками, обернулся к солдатам и быстро-быстро стал говорить им, подняв к небу стиснутые руки.

— Аиу, — ответили солдаты завывающими голосами.

Он же положил ладонь на лоб, вздохнул глубоко, — овладел волнением и, повернувшись к Лосю, уже без холода, потемневшими, увлажненными глазами взглянул ему в глаза.

— Аиу, — сказал он, — аиу утара шохо, да́циа Тума ра гео Талцетл.

Вслед за этим он рукою закрыл глаза и поклонился низко. Выпрямился, подозвал солдата, взял у него узкий нож и стал царапать по обшивке аппарата: начертил яйцо, над ним крышку, сбоку — фигуру солдата. Гусев, смотревший ему через плечо, сказал:

— Предлагает кругом аппарата палатку поставить и охрану, только, Мстислав Сергеевич, как бы у нас вещи не растаскали, люки-то без замков.

— Бросьте, в самом деле, дурака валять, Алексей Иванович.

— Так ведь там инструменты, оде́жа... А я с одним, вот с энтим солдатежком, переглянулся, — рожа у него самая ненадежная.

Марсианин слушал этот разговор со вниманием и почтением. Лось знаками показал ему, что согласен оставить аппарат под охраной. Марсианин поднес к большому тонкому рту свисток. С корабля ответили таким же пронзительным свистом. Тогда марсианин стал высвистывать какие-то сигналы. На верхушке средней, более высокой мачты поднялись, как волосы, отрезки тонких проволок, раздалось потрескивание искр.

Марсианин указал Лосю и Гусеву на корабль. Солдаты придвинулись, стали кругом. Гусев оглянулся на них, усмехнулся криво, пошел к аппарату, вынул из него два мешка с бельишком и мелочами, крепко задвинул люк и, указывая на него солдатам, хлопнул по маузеру, погрозил пальцем, скосоротился угрожающе. Марсиане с изумлением наблюдали за этими движениями.

— Ну, Алексей Иванович, пленники мы или гости — податы нам некуда, — сказал Лось, засмеялся, вскинул мешок на плечо, и они пошли к кораблю.

На мачтах его с сильным шумом закрутились вертикальные винты. Крылья опустились. Завыли пропеллеры. Гости, быть может пленники, вошли по хрупкой лесенке на борт.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗУБЧАТЫХ ГОР

Корабль летел невысоко над Марсом в северо-западном направлении. Лось и лысый марсианин остались на палубе. Гусев сошел внутрь корабля к солдатам.

В светлой, соломенного цвета рубке он сел в плетеное кресло и некоторое время глядел на востроносых, щуплых солдатиков, помаргивающих, как птицы, рыжими глазами. Затем вынул жестяной заветный портсигар, — с ним он семь лет не расставался на фронтах, — хлопнул по крышке, — «покурим, товарищи», — и предложил папирос.

Марсиане с испугом затрясли головами. Один все-таки взял папироску, рассмотрел, понюхал и спрятал в карман белых штанов. Когда же Гусев закурил, солдаты в величайшем страхе попятились от него, зашептали птичьими голосами:

— Шóхо тáо тáвра шóхо-ом.

Красноватые, востренькие лица их с ужасом следили, как «шохо» глотает дым. Но понемногу они принюхались и успокоились и снова подсели к человеку.

Гусев, не особенно затрудняясь незнанием марсианского языка, стал рассказывать новым приятелям про Россию, про войну, революцию, про свои подвиги:

— Гусев — это моя фамилия. Гусев — от гусей: здоровенные такие птицы на Земле, вы таких сроду и не видали. Зовут меня — Алексей Иванович. Я не только полком, конной дивизией командовал. Страшный герой, ужасный. У меня тактика: пулеметы не пулеметы, — шашки наголо — «даешь, сукин сын, позицию!» — и рубать. И я весь сам изрубленный, мне наплевать. У нас в военной академии даже особый курс читают: «Рубка Алексея Гусева», — не верите? Корпус мне предлагали. — Гусев ногтем сдвинул картуз, почесал за ухом. — Надоело, нет, извините. Семь лет воевал, хоть кому очертеет. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет, умоляет: «Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети». Вот, значит, здрасте.

Марсиане слушали, дивились. Один принес фляжку с коричневой, мускатного запаха жидкостью. Гусев вынул из мешка полбутылки спирту, захваченной с Земли. Марсиане выпили и залопотали. Гусев хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из карманов разную дребедень, — предлагал меняться. Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный ножик, за огрызок караида ша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона зажигалку.

Тем временем Лось, облокотившись о решетчатый борт корабля, глядел на уплывающую внизу унылую, холмистую равнину. Он узнал дом, где побывали вчера. Повсюду лежали такие же развалины, островки деревьев, тянулись высохшие каналы.

Указывая на эту пустыню, Лось изобразил недоумение: почему целый край покинут и мертв. Выпуклые глаза лысого марсианина вдруг стали злыми. Он подал знак, и корабль поднялся, описал дугу и летел теперь к вершинам зубчатых гор.

Солнце взошло высоко, облака исчезли. Ревели пропеллеры, при поворотах и подъемах поскрипывали, двигались гибкие крылья, гудели вертикальные винты. Лось заметил, что, кроме гула винтов и посвистыванья ветра в крыльях и прорезных мачтах, не было слышно иных звуков: машины работали бесшумно. Не было видно и самих машин. Лишь на оси каждого винта крутилась круглая коробка, подобная кожуху динамо, да на верхушках передней и задней мачт потрескивали две эллиптические корзины из серебристой проволоки.

Лось спрашивал у марсианина названия предметов и записывал их. Затем вынул из кармана давешнюю книжку с чертежами, прося произвести звуки геометрических букв. Марсианин с изумлением смотрел на эту книгу. Снова глаза его похолодели, тонкие губы скривились брезгливо. Он осторожно взял книгу из рук Лося и швырнул за борт.

От высоты, разреженного воздуха у Лося начало ломить грудь, слезами застилало глаза. Заметив это, марсианин дал знак снизиться. Корабль летел теперь над кроваво-красными пустынными скалами. Извилистый и широкий горный хребет тянулся с юго-востока на северо-запад. Тень от корабля летела внизу по рваным обрывам, искрящимся жилами руд и металлов, по крутым склонам, поросшим лишаями, срывалась в туманные пропасти, покрывала тучкой сверкающие ледяные пики, зеркальные глетчеры. Край был дик и безлюден.

— Лизиазира, — кивнув на горы, сказал марсианин и оскалил мелкие, блеснувшие металлом зубы.

Глядя вниз на эти скалы, так печально напомнившие ему мертвый пейзаж разбитой планеты, Лось увидел в пропасти на камнях опрокинутый корабельный остов, — обломки серебристого металла были раскиданы кругом него. Далее, из-за гребня скалы, поднималось сломанное крыло второго корабля. Направо, пронзенный гранитным пиком, висел третий, весь изуродованный корабль. Повсюду в этих местах виднелись остатки огромных крыльев, разбитых остовов, торчащих ребер. Это было место битвы; казалось, демоны были повержены на эти бесплодные скалы.

Лось покосился на соседа. Марсианин сидел, придерживая халат у шеи, и спокойно глядел на небо. Навстречу кораблю летели длиннокрылые птицы, вытянувшись в линию. Вот они взмыли, сверкнули желтыми крыльями в темной синеве и повернули. Следя за их снижающимся полетом, Лось увидел черную воду круглого озера, глубоко лежащего между скал. Кудрявые кусты лепились по его берегам. Желтые птицы сели у воды.

Озеро начало ходить зыбью, закипело, из середины его поднялась сильная струя воды, раскинулась и опала.

— Соам, — проговорил марсианин торжественно.

Горный хребет кончался. На северо-западе сквозь прозрачные, зыбкие волны зноя виднелась канареечно-желтая равнина, блестели большие воды. Марсианин протянул руку в направлении туманной, чудесной дали и с длинной улыбкой сказал:

— Азора.

Корабль слегка поднялся. Влажный, сладкий воздух шел в лицо, шумел в ушах. Азора расстилалась широкой, сияющей равниной. Прорезанная полноводными каналами, покрытая оранжевыми кущами растительности, веселыми канареечными лугами, Азора, что означало — радость, походила на те цыплячьи, весенние луга, которые вспоминаются во сне, в далеком детстве.

По каналам плыли широкие металлические барки. По берегам разбросаны белые домики, узорные дорожки садов. Повсюду ползали фигурки марсиан. Иные снимались с плоской крыши и летучей мышью летели через воду или за рошу. Повсюду в лугах блестели лужи, сверкали ручьи. Чудесный был край Азора.

В конце равнины играла солнечная зыбь огромного водного пространства, куда уходили извилистые линии всех каналов. Корабль летел в ту сторону, и Лось увидел, наконец, большой прямой канал. Дальний берег его тонул во влажной мгле. Желтоватые мутные воды его медленно текли вдоль каменного откоса.

Летели долго. И вот в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящий концами за горизонт. Стена выросла. Теперь были видны огромные глыбы кладки, поросшей кустами и деревьями между щелями. Они подлетали к гигантскому цирку. Он был полон воды. Над поверхностью во многих местах поднимались пенными шапками фонтаны...

— Ро, — сказал марсианин, важно подняв палец.

Лось вытащил из кармана записную книжку, отыскал в ней наспех вчера набросанный чертеж линий и точек на диске Марса. Рисунок он протянул соседу и указал вниз, на цирк. Марсианин всмотрелся, сморщившись, — понял, радостно закивал и ногтем мизинца отчеркнул одну из точек на чертеже.

Перегнувшись через борт, Лось увидел расходящиеся от цирка две прямые и одну изогнутую линию наполненных водой каналов. Так вот она — тайна: круглые пятна на диске Марса были цирками — водными хранилищами, линии треугольников и полукругий — каналами. Но какие существа могли построить эти циклопические стены? Лось оглянулся на своего спутника. Марсианин выпятил нижнюю губу, поднял разведенные руки к небу:

— Тао хацца ро хамагацитл.

Корабль пересекал теперь выжженную равнину. На ней лежало розово-красной, весьма широкой, цветущей полосой безводное русло четвертого канала, покрытое, словно посевом, правильными ря-

дами растительности. Видимо, это была одна из линий второй сети каналов — бледного рисунка на диске Марса.

Равнина переходила в невысокие мягкие холмы. За ними стали проступать голубоватые очертания решетчатых башен. На средней мачте корабля поднялись и защелкали искрами отрезки проволоки. За холмами вставали все новые и новые очертания решетчатых башен, уступчатых зданий. Огромный город выступал серебристыми тенями из солнечной мглы.

Марсианин сказал:

— Соацера.

СОАЦЕРА

Голубоватые очертания Соацеры, уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые зеленью, овальные зеркала прудов, прозрачные башни, поднимаясь из-за холмов, занимали все большее пространство, тонули за мгlistым горизонтом. Множество черных точек летело над городом навстречу кораблю.

Цветущий канал отошел к северу. На восток от города расстиралось пустынное, покрытое кучами щебня, изрытое поле. У края этой пустыни, бросая резкую, длинную тень, возвышалась гигантская статуя, потрескавшаяся, покрытая лишаями.

Каменный, обнаженный человек стоял во весь рост, ноги его были сдвинуты, руки прижаты к узким бедрам, рубчатый пояс подпирал выпуклую грудь, на солнце тускло мерцал его ушастый шлем, увенчанный острым гребнем, точно рыбий хребет. Скуластое лицо с закрытыми глазами улыбалось лунообразным ртом.

— Магацитл, — сказал марсианин и указал на небо.

Вдали за статуей виднелись огромные развалины цирка, очертания рухнувших арок акведука. Всматриваясь, Лось понял, что кучи щебня на равнине — ямы, холмы — были остатками древнейшего города. Новый город, Соацера, начинался за сверкающим озером, на запад от этих развалин.

Черные точки в небе приближались, увеличивались. Это были сотни марсиан, летевших навстречу в крылатых лодках и седлах, на парусиновых птицах, в корзинах с парашютами.

Первой домчалась, описала крутой заворот и повисла над кораблем сияющая, золотая, четырехкрылая, как стрекоза, узкая сигара. С нее посыпались цветы, разноцветные бумажки на палубу корабля, свешивались взволнованные лица.

Лось встал, держась за трос, снял шлем, — ветер поднял его белые волосы. Из рубки вылез Гусев и стал рядом. Охапки цветов полетели на них из лодок. На голубоватых, то смуглых, то кирпичных лицах подлетающих марсиан было возбуждение, восторг, ужас.

Теперь над головой, спереди, с боков, вдогонку за медленно плывущим кораблем, летели сотни воздушных экипажей. Вот скользнул сверху вниз в корзине под парашютом размахивающий

руками толстяк в полосатом колпаке. Вот мелькнуло шишковатое лицо, глядящее в трубку. Вот озабоченный, с развевающимися волосами, востроносый марсианин, вертясь перед кораблем на крылатом седле, наводил какой-то крутящийся ящичек на Лося. Вот пронеслась, вся в цветах, плетеная лодка, — три женских, большеглазых, бледных лица, голубые чепцы, голубые летящие руками, золототканые шарфы.

Пение винтов, шум ветра в крыльях, тонкие свистки, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве, внизу — пурпуровая, то серебристая, то канареечная листва парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов, — все было как сон. Кружилась голова. Гусев озирался, повторял шепотом:

— Гляди, гляди, эх ты, мать честная!..

Корабль проплыл над висячими садами и плавно опустился на большую круглую площадь. Тотчас посыпались горохом с неба сотни лодок, корзин, крылатых седел, — садились, шлепались на белые плиты площади. В улицах, расходившихся от нее звездою, шумели толпы народа, — бежали, кидали цветы, бумажки, махали платочками.

Корабль сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. На широкой лестнице его, между квадратных, суженных кверху колонн, доходивших только до трети высоты дома, стояла кучка марсиан. Они были все в черных халатах, в круглых шапочках. Это был, как Лось узнал впоследствии, Высший совет инженеров — высший орган управления всеми странами Марси.

Марсианин-спутник указал Лося — ждать. Солдаты сбегали по лесенкам на площадь и окружили корабль, сдерживая напиравшие толпы. Гусев с восхищением глядел на пеструю от одежд, волнующуюся площадь, на вздымающееся над головами множество крыльев, на громады сероватых или черно-красных зданий, на прозрачные, за крышами, очертания башен.

— Ну, город, вот это — город! — повторял он, притопывая.

На лестнице марсиане в черных халатах раздвинулись. Появился высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным мрачным лицом, с длинной узкой черной бородой. На круглой шапочке его дрожал золотой гребень, как рыбий хребет.

Сойдя до середины лестницы, опираясь на трость, он долго смотрел запавшими, темными глазами на пришельцев с Земли. Глядел на него и Лось — внимательно, настроженно.

— Дьявол, уставился! — шепнул Гусев. Обернулся к толпе и уже беспечно крикнул: — Здравствуйте, товарищи марсиане, мы к вам с приветом от Советских республик... Для установления добрососедских отношений...

Толпа изумленно вздохнула, зароптала, зашумела, надвинулась. Мрачный марсианин захватил горстью бороду и перевел глаза на толпу, окинул тусклым взором площадь. И под его взглядом стало утихать взволнованное море голов. Он обернулся к стоявшим на лестнице, сказал несколько слов и, подняв трость, указал ему на корабль.

Тотчас к кораблю сбежал один из марсиан и тихо и быстро проговорил что-то нагнувшись к нему через борт лысому марсианину. Раздались сигнальные свистки, двое солдат взбежали на борт, завывли винты, и корабль, грузно отделившись от площади, поплыл над городом в северном направлении.

В ЛАЗОРОВОЙ РОЩЕ

Соацера утонула далеко за холмами. Корабль летел над равниной. Кое-где виднелись однообразные линии построек, столбы и проволоки подвесных дорог, отверстия шахт, груженные шаланды,двигающиеся по узким каналам.

Но вот из лесных кущ все чаще стали подниматься скалистые пики. Корабль снизился, пролетел над ущельем и сел на луг, покато спускавшийся к темным и пышным зарослям.

Лось и Гусев взяли мешки и вместе с лысым их спутником пошли по лугу, вниз к роще.

Водяная пыль, бьющая из-под дерева, играла радугами над сверкающей влагой кудрявой травой. Стадо низкорослых длинношерстных животных, черных и белых, паслось по склону. Было мирно. Тихо шумела вода. Подувал ветерок.

Длинношерстные животные лениво поднимались, давая дорогу людям, и отходили, переваливаясь медвежьими лапами, оборачивали плоские, кроткие морды. Опустились на луг желтые птицы и распустились, отряхиваясь под радужным фонтаном воды.

Подошли к роще. Пышные плакучие деревья были лазурно-голубые. Смолистая листва шелестела сухо повисшими ветвями. Сквозь пятнистые стволы играла вдали сияющая вода озера. Пряный, сладкий зной в этой голубой чаше кружил голову.

Рощу пересекало много тропинок, посыпанных оранжевым песком. На скрещении их, на круглых полянах, стояли старые, иные поломанные, в лишаях, большие статуи из песчаника. Над зарослями поднимались обломки колонн, остатки циклопической стсны.

Дорожка загибалась к озеру. Открылось его темно-синее зеркало с опрокинутой вершиной далекой скалистой горы. Чуть шевелились в воде отражения плакучих деревьев. Сияло пышное солнце. В излучине берега, с боков мшистой лестницы, спускавшейся в озеро, возвышались две огромные сидящие статуи, потрескавшиеся, поросшие ползучей растительностью.

На ступенях лестницы появилась молодая женщина. Голову ее покрывал желтый острый колпачок. Она казалась юношески-тонкой, бело-голубоватая, рядом с грузным очертанием покрытого мхом, вечно улыбающегося сквозь сон, сидящего Магацитла. Она поскользнулась, схватилась за каменный выступ, подняла голову.

— Аэлита, — прошептал марсианин, прикрыл глаза рукавом и потащил Лося и Гусева с дорожки в чащу.

Скоро они вышли на большую поляну. В глубине ее, в густой траве, стоял угрюмый, с покатыми стенами, серый дом. От зыбкой дообразной песчаной площадки перед его фасадом прямые дорожки бежали через луг вниз к роще, где между деревьями виднелись низкие каменные постройки.

Лысый марсианин свистнул. Из-за угла дома появился низенький, толстенький марсианин в полосатом халате. Багровое лицо его было точно натерто свеклой. Морщась от солнца, он подошел, но, услышав — кто такие приезжие, сейчас же приноровился удирать за угол. Лысый марсианин заговорил с ним повелительно, и толстяк, приседая от страха, оборачиваясь, показывая желтый зуб из беззубого рта, повел гостей в дом.

ОТДЫХ

Гостей отвели в светлые, маленькие, почти пустые комнаты, выходящие узкими окнами в парк. Стены столовой и спален были обтянуты белыми циновками. В углах стояли кадки с цветущими деревцами. Гусев нашел помещение подходящим: «Вроде багажной корзины, очень славно».

Толстяк в полосатом халате, управляющий домом, суетился, лопотал, катался из двери в дверь, вытирал коричневым платком череп и время от времени каменел, выкатывая на гостей склерозные глаза, — шептал торопливо, беззвучно какие-то, должно быть, заклинания.

Он напустил воду в бассейн и провел Лося и Гусева каждому в свою ванну, — со дна ее поднимались густые клубы пара. При касании к безмерно уставшему телу горячей, пузырящейся, легкой воды было так сладко, что Лось едва не заснул в бассейне. Управляющий вытащил его за руку.

Лось едва доплелся до столовой, где был накрыт стол множеством тарелочек с овощами, паштетами, крошечными яйцами, фруктами. Хрустящие, величиной с орех, шарики хлеба таяли во рту. Не было ни ножей, ни вилок, только — в каждое блюдо — воткнута крошечная лопаточка. Управляющий каменел, глядя, как люди с Земли пожирают блюда деликатнейшей пищи. Гусев вошел во вкус. Особенно хорошо было вино с запахом сырости цветов. Оно испарялось во рту и горячей бодростью текло по жилам.

Приведя гостей в спальни, управляющий долго еще хлопотал, подтыкая одеяла, подсовывая подушечки. Но уже крепкий и долгий сон овладел «белыми гигантами». Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах и кровати трещали под их не по-марсиански могучими телами.

Лось открыл глаза. Синеватый искусственный свет лился на потолочного колодца. Было тепло и приятно лежать. «Что случилось? Где я лежу?» Но так и не сообразил, — с наслаждением снова закрыл глаза.

Проплыли какие-то лучезарные пятна, — словно вода играла сквозь лазурную листву. Предчувствие изумительной радости, ожидание, что вот-вот из этих сияющих пятен что-то должно войти в его сон, наполняло его чудесной тревогой.

Сквозь дремоту, улыбаясь, он хмурил брови, — силился проникнуть за эту тонкую пелену скользящих солнечных пятен. Но еще более глубокий сон прикрыл его облаком.

Лось сел на постель. Так сидел некоторое время, опустив голову. Поднялся, дернул вбок штору. За узким окном горели ледяным светом огромные звезды, незнакомый их чертеж был странен и дик.

— Да, да, да, — проговорил Лось, — я не на Земле. Ледяная пустыня, бесконечное пространство. Я — в новом мире. Ну, да: я же мертв. Жизнь осталась там...

Он вонзил ногти в грудь там, где сердце.

— Это не жизнь, не смерть. Живой мозг, живое тело. Но жизнь осталась там...

Он сам не мог понять, почему вторую ночь его так невыносимо мучает тоска по Земле, по самому себе, жившему там, за звездами. Словно оторвалась живая нить, и душа его задыхается в ледяной, черной пустоте. Он опять повалился на подушки.

— Кто здесь?

Лось вскочил. В окно бил луч утреннего света. Соломенная маленькая комната была ослепительно чиста. Шумели листья, свистели птицы за окном. Лось провел рукой по глазам, глубоко вздохнул.

В дверь опять легонько постучали. Лось распахнул дверь, — за нсю стоял полосатый толстяк, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осыпанных росой цветов.

— Аиу утара Аэлита, — прошептал он, протягивая цветы.

ТУМАННЫЙ ШАРИК

За утренней едой Гусев сказал:

— Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели черт знает в какую даль, и пожалуйста, — сиди в захолустье. В ваннах прохлаждаться, — за этим ведь лететь не стоило. В город они насбоь нас не пустили, — бородатый-то, помните, как насупился. Ох, Мстислав Сергеевич, опасайтесь его. Пока нас поят, кормят, и потом?

— А вы не торопитесь, Алексей Иванович, — сказал Лось, поглядывая на лазоревые цветы, пахнувшие горьковато и сладко, — поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны, пустят и в город.

— Не знаю, как вы, Мстислав Сергеевич, а я сюда не хлаждаться приехал.

— Что же, по-вашему, мы должны предпринять?

— Странно от вас это слышать, Мстислав Сергеевич, у нас нюхались ли вы чего-нибудь сладкого?

— Ссориться хотите?

— Нет, не ссориться. А сидеть — цветы нюхать, — этого нас на Земле сколько в душу влезет. А я думаю, — если первые люди сюда заявили, то Марс теперь наш, советский. дело надо закрепить.

— Чудак вы, Алексей Иванович.

— А вот посмотрим, кто из нас чудак. — Гусев одернул пояс, повел плечами, глаза его хитро прищурились. — дело трудное, я сам понимаю: нас только двое. А вот надо, чтобы они бумагу нам выдали о желании вступить в состав Российской Федеративной Республики. Спокойно эту бумагу нам не дадут нечно, но вы сами видели: на Марсе у них не все в порядке. у меня на это наметанный.

— Революцию, что ли, хотите устроить?

— Как сказать, Мстислав Сергеевич, там посмотрим. С чем в Петроград-то вернемся? Паука, что ли, сушеного привезем? вернуться и предъявить: пожалуйста — присоединение к Ресед планеты Марса. Вот в Европе тогда взовьются. Одного золота за сами видите, кораблями вози. Так-то, Мстислав Сергеевич.

Лось задумчиво поглядывал на него: нельзя было понять — тит Гусев или говорит серьезно, — хитрые, простоватые глазки посмеивались, но где-то пряталась в них сумасшедшинка.

Лось покачивал головой и, трогая прозрачные восковые лепестки больших цветов, сказал задумчиво:

— Мне не приходило в голову, для чего я лечу на Марс. Чтобы прилететь. Были времена, когда конквистадоры снаряжали корабль и плыли искать новые земли. Из-за моря показывал неведомый берег, корабль входил в устье реки, капитан снимал широкополую шляпу и называл землю своим именем. Затем грабил берега. Да, вы, пожалуй, правы: приплыть к берегу мало, — нужно нагрузить корабль сокровищами. Нам предзаглянуть в новый мир, — какие сокровища! Мудрость, мудрость — вот что, Алексей Иванович, нужно вывезти на нашем корабле.

— Трудно нам будет с вами сговориться, Мстислав Сергеевич. Не легкий вы человек.

Лось засмеялся:

— Нет, я тяжелый только для самого себя, сговоримся, мы друг.

В дверь поскреблись. Слегка садясь на ноги от страха и тени, появился управляющий и знаками попросил за собою довать. Лось поспешно поднялся, провел ладонью по волосам. Гусев решительно закрутил усы — торчком. Гости шли по коридорам и лесенкам в дальнюю часть дома.

Управляющий постучал в низенькую дверь. За ней раздался торопливый, точно детский голос. Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Лучи света с танцующими в них пылинками падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, стоящие между плоскими шкапами, столики на острых ножках, облачные зеркала экранов.

Недалеко от двери стояла пепельноволосая молодая женщина в черном платье, закрытом до шеи, до кистей рук. Над высоко поднятыми ее волосами танцевали пылинки в луче, падающем на золоченные переплеты книг. Это была та, кого вчера на озере марсианин назвал — Аэлита.

Лось низко поклонился ей. Аэлита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Ее бело-голубоватое удлиненное лицо чуть-чуть дрожало. Немного приподнятый нос, слегка удлиненный рот были по-детски нежны. Точно от подъема на крутизну дышала ее грудь под черными и мягкими складками.

— Эллио утара гео, — легким, как музыка, нежным голосом, почти шепотом, проговорила она и наклонила голову так низко, что стал виден ее затылок.

В ответ Лось только хрустнул пальцами. Сделав усилие, сказал, непонятно почему, напыщенно:

— Пришельцы с Земли приветствуют тебя, Аэлита.

Сказал и покраснел. Гусев проговорил с достоинством:

— Рады познакомиться — командир полка Гусев, инженер — Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб-соль.

Выслушав человеческую речь, Аэлита подняла голову, ее лицо стало спокойнее, зрачки — меньше. Она молча вытянула руку, обернула узенькую часть руки ладонью кверху и так держала ее некоторое время. Лосю и Гусеву стало казаться, что на ладони ее появился бледно-зеленый шар. Затем Аэлита быстро перевернула ладонь и пошла вдоль книжных полок в глубину библиотеки. Гости последовали за ней.

Теперь Лось рассмотрел, что Аэлита была ему по плечо, нежная и легкая, как те с горьковатым запахом цветы, что прислала она утром. Подол ее широкого платья летел по зеркальной мозаике. Оборачиваясь, она улыбалась, но глаза оставались взволнованными, встревоженными.

Она указала на широкую скамью, стоявшую в полукруглом расширении комнаты. Лось и Гусев сели. Сейчас же Аэлита присела напротив них у читального столика, положила на него локти и стала мягко и пристально глядеть на гостей.

Так они молчали небольшое время. Понемногу Лось начал чувствовать покой и сладость, — сидеть вот так и созерцать эту чудесную, странную девушку. Гусев вздохнул, сказал вполголоса:

— Хорошая девушка, очень приятная девушка.

Тогда Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального инструмента, — так чудесен был ее голос. Строка за строкою по-

вторяла она какие-то слова, чуть шевеля губами. Ее пепельные ресницы то смыкались, то раскрывались медленно.

Она снова протянула перед собою руку, ладонью вверх. Почти тотчас же Лось и Гусев увидели в углублении ее ладони бледно-зеленый туманный шарик, с небольшое яблоко величиной. Внутри своей сферы он весь двигался и переливался.

Теперь оба гостя и Аэлита внимательно глядели на это облачное, опаловое яблоко. Вдруг струи в нем остановились, пропустили темные пятна. Вглядевшись, Лось вскрикнул: на ладони Аэлиты лежал земной шар.

— Талцетл, — сказала она, указывая на него пальцем.

Шар медленно начал крутиться. Проплыли очертания Америки, тихоокеанский берег Азии. Гусев заволновался.

— Это — мы, мы — русские, — сказал он, тыча ногтем в Сибирь.

Извилистой тенью проплыла гряда Урала, ниточка нижнего течения Волги. Очертились берега Белого моря.

— Здесь, — сказал Лось и указал на Финский залив.

Аэлита удивленно подняла на него глаза. Вращение шара остановилось. Лось сосредоточился, в памяти возник кусок географической карты, — и сейчас же, словно отпечаток его воображения, появились на поверхности туманного шара черная клякса, расходящаяся от нее ниточка железных дорог и — надпись на зеленоватом поле: «Петроград».

Аэлита всмотрелась и заслонила шар, — он теперь просвечивал сквозь ее пальцы. Взглянув на Лося, она покачала головой.

— Озео, хо суа, — сказала она, и он понял: «Сосредоточьтесь и вспоминайте».

Тогда он стал вспоминать очертания Петербурга — гранитную набережную, студёные синие волны Невы, ныряющую в них лодочку, повиснувшие в тумане длинные арки Николаевского моста, густые дымы заводов, дымы и тучи тусклого заката, мокрую улицу, вывеску мелочной лавочки, старенького извозчика на углу.

Аэлита, подперев подбородок, тихо глядела на шар. В нем проплывали воспоминания Лося, то отчетливые, то словно стертые. Выдвинулся тусклый купол Исаакиевского собора, и уже на месте его проступала гранитная лестница у воды, полукруг скамьи, начальная сидящая русая девушка, — лицо ее задрожало, исчезло, и над нею — два сфинкса в тиарах. Поплыли колонки цифр, рисунок чертежа, появился пылающий горн, угрюмый Хохлов, раздувающий угли.

Долго глядела Аэлита на странную жизнь, проходящую перед ней в туманных струях шара. Но вот изображения начали путаться в них настойчиво вторгались какие-то совсем иного очертания картины — полосы дыма, зарево, скачущие лошади, какие-то бегущие, падающие люди. Вот, заслоня все, выплыло бородатое, залитое кровью лицо. Гусев шумно вздохнул. Аэлита с тревогой обернулась к нему и сейчас же перевернула ладонь. Шар исчез.

Аэлита сидела несколько минут, облокотившись, закрыв рукою глаза. Встала, взяла с полки один из цилиндров, вынула костяной валик и вложила в читальный — с экраном — столик. Затем она потянула за шнур, — верхние окна в библиотеке задернулись синими шторами. Она придвинула столик к скамье и повернула включатель.

Зеркало экрана осветилось, сверху вниз поплыли по нему фигурки марсиан, животных, дома, деревья, утварь.

Аэлита называла каждую фигурку именем. Когда фигурки двигались и совмещались, она называла глагол. Иногда изображения перемежались цветными, как в поющей книге, знаками, и раздавалась едва уловимая музыкальная фраза, — Аэлита называла понятие.

Она говорила тихим голосом. Не спеша плыли изображения предметов этой странной азбуки. В тишине, в голубоватом сумраке библиотеки глядели на Лося пепельные глаза, голос Аэлиты сильными и мягкими чарами проникал в сознание. Кружилась голова.

Лось чувствовал, — мозг его яснее, будто поднимается туманная пелена, и новые слова и понятия отпечатлеваются в памяти. Так продолжалось долго. Аэлита провела рукой по лбу, вздохнула и погасила экран. Лось и Гусев сидели как в тумане.

— Идите и лягте спать, — сказала Аэлита гостям на том языке, звуки которого были еще странными, но смысл уже сквозил во мгле сознания.

НА ЛЕСТНИЦЕ

Прошло семь дней.

Когда впоследствии Лось вспоминал это время, — оно представлялось ему синим сумраком, удивительным покоем, где наяву проходили вереницы дивных сновидений.

Лось и Гусев просыпались рано поутру. После ванны и легкой сды шли в библиотеку. Внимательные, ласковые глаза Аэлиты встречали их на пороге. Она говорила почти уже понятные слова. Было чувство невыразимого покоя в тишине и полумраке этой комнаты, в тихих словах Аэлиты, — влага ее глаз переливалась, глаза раздвигались в сферу, и там шли сновидения. Бежали тени по экрану. Слова вне воли проникали в сознание.

Слова — сначала только звуки, затем сквозящие, как из тумана, понятия — понемногу наливались соком жизни. Теперь, когда Лось произносил имя — Аэлита, оно волновало его двойным чувством: печалью первого слова АЭ, что означало — «видимый в последний раз», и ощущением серебристого света — ЛИТА, что означало «свет звезды». Так язык нового мира тончайшей материей вливался в сознание.

Семь дней продолжалось это обогащение. Уроки были — утром и после заката — до полуночи. Наконец Аэлита, видимо, утомилась. На восьмой день гостей не пришли будить, и они спали до вечера.

Когда Лось поднялся с постели, в окно были видны длинные тени от деревьев. Хрустальным, однообразным голосом посвистывала какая-то птичка. Лось быстро оделся и, не будя Гусева, пошел в библиотеку, но на стук никто не ответил. Тогда Лось вышел во двор, первый раз за эти семь дней.

Поляна полого спускалась к роще, к низким постройкам. Туди, с унылым поревыванием, шло стадо неуклюжих, длинношерстных животных — хаши, — полумедведей, полукоров. Косое солнце золотило кудрявую траву, — весь луг пылал влажным золотом. Пролетели на озеро изумрудные журавли. Вдали выступил, залитый закатом, снежный конус горной вершины. Здесь тоже был покой, печаль уходящего в мире и золоте дня.

Лось пошел к озеру по знакомой дорожке. Те же стояли с обеих сторон плакучие лазурные деревья, те же увидел он ржавчины за пятнистыми стволами, тот же был воздух — тонкий, холодеющий. Но Лосю казалось, что только сейчас он увидел эту чудесную природу, — раскрылись глаза и уши, — он узнал имена вещей.

Пылающими пятнами сквозило озеро сквозь ветви. Но когда Лось подошел к воде, солнце уже закатилось, огненные перья заката, языки легкого пламени побежали, охватили полнеба золотым пламенем. Быстро-быстро огонь покрывался пеплом, небо очищалось, темнело, и вот уже зажглись звезды. Станный рисунок созвездий отразился в воде. В излучине озера, у лестницы, возвышались черными очертаниями два каменных гиганта, — сто рожа тысячелетий сидели, обращенные лицами к созвездиям.

Лось подошел к лестнице. Глаза еще не привыкли к быстро наступившей темноте. Он облокотился о подножие статуи и вдыхал сыроватую влагу озера, — горьковатый запах болотных цветов. Отражения звезд расплывались, — над водою закурился тончайший туман. А созвездия горели все ярче, и теперь ясно были видны заснувшие ветки, поблескивающие камешки и улыбающееся лицо сидящего Магацитла.

Лось глядел и стоял так долго, покуда не затекла рука, лежащая на камне. Тогда он отошел от статуи и сейчас же увидел внизу на лестнице Аэлилу. Она сидела неподвижно, глядя на отражение звезд в черной воде.

— Аиу ту ира хасхе, Аэлила, — проговорил Лось, с изумлением прислушиваясь к странным звукам своих слов. Он выговорил их, как на морозе, с трудом. Его желание, — могу ли я быть с вами, Аэлила? — само претворилось в эти чужие звуки.

Аэлила медленно обернула голову, сказала:

— Да.

Лось сел рядом на ступень. Волосы Аэлилы были покрыты черным колпачком — капюшоном плаща. Лицо различимо в свете звезд, но глаз не видно, — лишь большие тени в глазных впадинах. Холодноватым голосом, спокойно, она спросила:

— Вы были счастливы там, на Земле?

Лось ответил не сразу, — всматривался: ее лицо было неподвижно, рот печально сложен.

— Да, — ответил он, — да, я был счастлив.

— В чем счастье у вас на Земле?

Лось опять всмотрелся.

— Должно быть, в том счастье у нас на Земле, чтобы забыть самого себя. Тот счастлив, в ком полнота, согласие и жажда жить для тех, кто дает эту полноту, согласие, радость.

Теперь Аэлита обернулась к нему. Стали видны ее огромные глаза, с изумлением глядящие на этого беловолосого великана, человека.

— Такое счастье приходит в любви к женщине, — сказал Лось.

Аэлита отвернулась. Задрожал острый колпачок на ее голове. Не то она смеялась? — нет. Не то заплакала? — нет. Лось тревожно заворочался на мшистой ступени. Аэлита сказала чуть дрогнувшим голосом:

— Зачем вы покинули Землю?

— Та, кого я любил, умерла, — сказал Лось. — Не было силы побороть отчаяние, жизнь для меня стала ужасна. Я — беглец и трус.

Аэлита выпростала руку из-под плаща и положила ее на большую руку Лося, — коснулась и снова убрала руку под плащ.

— Я знала, что в моей жизни произойдет это, — проговорила она, словно в раздумье. — Еще девочкой я видела странные сны. Снились высокие зеленые горы. Светлые, не наши, реки. Облака, облака, огромные, белые, и дожди, — потоки воды. И люди-великаны. Я думала, что схожу с ума. Впоследствии мой учитель говорил, что это — ашке, второе зрение. В нас, потомках Магацитлов, живет память об иной жизни, дремлет ашке, как непроросшее зерно. Ашке — страшная сила, великая мудрость. Но я не знаю, что — счастье?

Аэлита выпростала из-под плаща обе руки, всплеснула ими, как ребенок. Колпачок ее опять задрожал.

— Уж много лет, по ночам, я прихожу на эту лестницу, гляжу на звезды. Я много знаю. Уверяю вас, я знаю такое, что вам никогда нельзя и не нужно знать. Но счастлива я была, когда в детстве снились облака, облака, потоки дождя, зеленые горы, великаны. Учитель предостерегал меня: он сказал, что я погибну. — Она обернула к Лосю лицо и вдруг усмехнулась.

Лосю стало жутко: так чудесно красива была Аэлита, такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания.

— Учитель сказал: «Хао погубит тебя». Это слово означает нисхождение.

Аэлита отвернулась и надвинула колпачок плаща ниже, на глаза.

После молчания Лось сказал:

— Аэлита, расскажите мне о вашем знании.

— Это тайна, — ответила она важно, — но вы человек, я должна буду вам рассказать многое.

Она подняла лицо. Большие созвездия по обе стороны Млечного Пути сияли и мерцали так, как будто ветерок вечности проходил по их огням. Аэлиита вздохнула.

— Слушайте, — сказала она, — слушайте меня внимательно и спокойно.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ АЭЛИТЫ

— Тума, то есть Марс, двадцать тысячелетий тому назад был населен Аолами — оранжевой расой. Дикае племена Аолов — охотники и пожиратели гигантских пауков — жили в экваториальных лесах и болотах. Только несколько слов в нашем языке осталось от этих племен. Другая часть Аолов населяла южные заливы большого материка. Там есть вулканические пещеры с солеными и пресными озерами. Население ловило рыбу и уносило ее под землю, сваливало в соленые озера. В глубине пещер они спасались от зимних стуж. До сих пор там еще видны холмы из рыбьих костей.

Третья часть Аолов селилась близ экватора у подножья гор, всюду, где из-под земли били гейзеры питьевой воды. Эти племена умели строить жилища, разводили длинношерстных хаши, воевали с пожирателями пауков и поклонялись кровавой звезде Талцетл.

Среди одного из племен, населявшего блаженную страну Азори, появился необыкновенный шохо. Он был сыном пастуха, вырос в горах Лизиазиры и, когда ему минуло семнадцать лет, спустился в селения Азори, ходил из города в город и говорил так:

«Я видел сон, раскрылось небо и упала звезда. Я погнал моих хаши к тому месту, куда упала звезда. Там я увидел лежащего в траве Сына Неба. Он был велик ростом, его лицо было бело, как снег на вершинах. Он поднял голову, и я увидел, что из глаз его выходят свет и безумие. Я испугался и упал ниц и лежал долго, как мертвый. Я слышал, как Сын Неба взял мой посох и погнал моих хаши, и земля дрожала под его ногами. И еще я услышал его громкий голос, он говорил: «Ты умрешь, ибо я хочу этого». Но я пошел за ним, потому что мне было жалко моих хаши. Я боялся приблизиться к нему: из его глаз исходил злой огонь, и каждый раз я падал ниц, чтобы остаться живым. Так мы шли несколько дней, удаляясь от гор в пустыню.

Сын Неба ударял посохом в камень, и выступала вода. Хаши и я пили эту воду. И Сын Неба сказал мне: «Будь моим рабом». Тогда я стал пасти его хаши, и он кидал мне остатки пищи».

Так говорил пастух жителям городов. И он говорил еще:

«Кроткие птицы и мирные звери живут, не ведая — когда придет гибель. Но уже хищный ихти распростер острые крылья над журавлем, и паук сплел сеть, и глаза страшного ча горят сквоны голубую заросль. Бойтесь. У вас нет столь острых мечей, чтобы

поразить злого, у вас нет столь крепких стен, чтобы от него отгородиться, у вас нет столь длинных ног, чтобы убежать от злого. Я вижу в небе огненную черту, и злой Сын Неба падает в ваши ссленья. Глаз его, как красный огонь Талцетл».

Жители мирной Азоры в ужасе поднимали руки, слушая эти слова. Пастух говорил еще:

«Когда кровожадный ча ищет тебя глазами сквозь заросль — стань тенью, и нос ча не услышит запаха твоей крови. Когда их падает из розового облака — стань тенью, и глаза их напрасно будут искать тебя в траве. Когда при свете двух лун — Олло и Литха — ночью злой паук, цитли, оплетает паутиной твою хижину, — стань тенью, и цитли не поймает тебя. Стань тенью, бедный сын Тумы. Только зло притягивает зло. Удали от себя все сродное злу. Закопай свое несовершенство под порогом хижины. Иди к великому гейзеру Соам и омойся. И ты станешь невидимым злему Сыну Неба, — напрасно его кровавый глаз будет пронзать твою тень».

Жители Азоры слушали пастуха. Многие пошли за ним, на круглое озеро, к великому гейзеру Соам.

Там иные спрашивали: «Как можно закопать зло под порогом хижины?» Иные сердились и кричали пастуху: «Ты обманываешь, — обиженные нищие подговорили тебя усыпить нашу бдительность и завладеть нашими жилищами». Иные сговаривались: «Отведем безумного пастуха на скалу и бросим его в горячее озеро, пусть сам станет тенью».

Слыша это, пастух брал уллу, деревянную дудку, внизу которой на треугольнике были натянуты струны, сидел среди сердитых, раздраженных и недоумевающих и начинал играть и петь. Играл он и пел так прекрасно, что замолкали птицы, затихал ветер, ложились стада и солнце останавливалось в небе. Каждому из слушающих казалось в тот час, что он уже зарыл свое несовершенство под порогом хижины.

Три года учил пастух. На четвертое лето из болот вышли пожиратели пауков и напали на жителей Азоры. Пастух ходил по ссленьям и говорил: «Не перешагивайте через порог, бойтесь зла в себе, бойтесь потерять чистоту». Его слушали, и были такие, которые не хотели противиться пожирателям пауков, и дикари побили их на порогах хижин. Тогда старшины городов, сговорившись, взяли пастуха, повели на скалу и бросили его в озеро.

Учение пастуха шло далеко за пределы Азоры. Даже обитатели поморских пещер высекали в скалах изображение его, играющего на улле. Но было также, что вожди иных племен казнили смертью поклоняющихся пастуху, потому что учение его считали безумным и опасным. И вот настал час исполнения пророчества. В летописях того времени сказано:

«Сорок дней и сорок ночей падали на Туму Сыны Неба. Звезда Галцетл всходила после вечерней зари и горела необыкновенным светом, как злой глаз. Многие из Сынов Неба падали мертвыми,

многие убивались о скалы, тонули в южном океане, но многие достигли поверхности Тумы и были живы».

Так рассказывает летопись о великом переселении Магацитлов, то есть одного из племен земной расы, погибшей от потопа двадцать тысячелетий тому назад.

Магацитлы летели в бронзовых, имеющих форму яйца аппаратах, пользуясь для движения силой распада материи. В продолжение сорока дней они покидали Землю.

Множество гигантских яиц затерялось в звездном пространстве, множество разбилось о поверхность Марса. Небольшое число без вреда опустилось на равнины экваториального материка.

Летопись говорит:

«Они вышли из яиц, велики ростом и черноволосы. У Сыном Неба были желтые и плоские лица. Туловища их и колени покрывал бронзовый панцирь. На шлеме был острый гребень, и шлем выдавался впереди лица. В левой руке Сын Неба держал короткий меч, в правой — свиток с формулами, которые погубили бедные и невежественные народы Тумы».

Таковы были Магацитлы, свирепое и могущественное племя. На Земле, на материке, опустившемся на дно океана, они владели городом Ста Золотых Ворот.

Здесь, выйдя из бронзовых яиц, они пошли в селения Аолов и брали то, что хотели, и сопротивляющихся им убивали. Они угнали стада хаши на равнины и стали рыть колодцы. Они вспахали поля и засеяли их ячменем. Но воды в колодцах было мало, погибли зерна ячменя в сухой и бесплодной почве. Тогда они сказали Аолом — идти на равнину, рыть оросительные каналы и строить большие водохранилища.

Иные из племен послушались и пошли рыть. Иные сказали: «Не послушаемся и убьем пришельцев». Войска Аолов вышли на равнину и покрыли ее как туча.

Пришельцев было мало. Но они были крепки, как скалы, могучи, как волны океана, свирепы, как буря. Они разметали и уничтожили войска Аолов. Пылали селения. Разбегались стада. Из болот вышли свирепые ча и разрывали детей и женщин. Пауки оплетали опустевшие хижинны. Пожиратели трупов — их — разжирили и не могли летать. Наступал конец мира.

Тогда вспомнили пророчество: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и кровавый глаз Сына Неба напрасно пронзит твою тень». Много Аолов пошло к великому гейзеру Соам. Многие уходили в горы и надеялись услышать в туманных ущельях очищающую от зла песню уллы. Многие делились друг с другом имуществом. Искали в себе и друг в друге доброе и с песнями, со слезами радости приветствовали доброе. В горах Лизиазиры верующие в пастуха построили Священный Порог, под которым лежало зло. Три кольца неугасимых костров охраняли Порог.

Войска Аолов погибли. В лесах были уничтожены пожиратели пауков. Стали рабами остатки рыбарей-поморов. Но Магацитлы не

трогали верующих в пастуха, не касались Священного Порога, не приближались к гейзеру Соам, не входили в глубину горных ущелий, где в полдневный час пролетающий ветер издавал таинственные звуки — песню уллы.

Так минуло много кровавых и печальных лет.

У пришельцев не было женщин, — завоеватели должны были умереть, не оставив потомства. И вот, в горах, где скрывались Аолы, появился вестник — прекрасный лицом Магацитл. Он был без шлема и меча. В руке он держал трость с привязанной к ней пряжей. Он приблизился к огням Священного Порога и стал говорить Аолам, собравшимся ото всех ущелий:

«Моя голова открыта, моя грудь обнажена, — поразите меня мечом, если я скажу ложь. Мы — могущественны. Мы владели звездой Талцетл. Мы перелетели звездную дорогу, называемую Млечным Путем. Мы покорили Туму и уничтожили враждебные нам племена. Мы начали строить водные хранилища и большие каналы, дабы собирать воды и орошать донные бесплодные равнины Тумы. Мы построим большой город Соацеру, что значит Солнечное Селенье, мы дадим жизнь всем, кто хочет жизни. Но у нас нет женщин, и мы должны умереть, не исполнив предназначения. Дайте нам ваших девственников, и мы родим от них могучее племя, и оно населит материки Тумы. Идите к нам и помогите нам строить».

Вестник положил трость с пряжей у огня и сел лицом к Порогу. Глаза его были закрыты. И все видели на лбу его третий глаз, прикрытый плевой, как бы воспаленный.

Аолы совещались и говорили между собой: «В горах не хватает корма для скота и мало воды. Зимой мы замерзаем в пещерах. Сильные ветры сносят наши хижины в бездонные ущелья. Послушаемся вестника и вернемся к старым пепелищам».

Аолы вышли из горных ущелий на равнину Азоры, гоня перед собой стада хаши. Магацитлы взяли девственников Аолов и родили от них голубое племя Гор. Тогда же начаты были постройкою шестнадцать гигантских цирков Ро, куда собиралась вода во время таянья снегов на полюсах. Бесплодные равнины были прорезаны каналами и орошены.

Из пепла возникли новые селения Аолов. Поля давали пышный урожай.

Были возведены стены Соацеры. Во время постройки цирков и стен Магацитлы употребляли гигантские подъемные машины, приводившиеся в движение удивительными механизмами. Силою знания Магацитлы могли передвигать большие камни и вызывали рост растений. Они записали свое знание в книги — цветными пятнами и звездными знаками.

Когда умер последний пришелец с Земли — с ним ушло и знание. Лишь через двадцать тысячелетий мы, потомки племени Гор, снова прочли тайные книги Атлантов.

СЛУЧАЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

В сумерки Гусев от нечего делать пошел бродить по комнатам. Дом был велик, построен прочно — для зимнего жилья. Множество в нем было переходов, лестниц, пустынных зал, галерей с нежилой тишиной. Гусев бродил, приглядывался, позевывал: «Богато живут, черти, но скучно».

В дальней части дома были слышны голоса, стук кухонных ножей, звон посуды. Писклявый голос управляющего сыпал птичьими словами, бранил кого-то. Гусев дошел до кухни, низкой сводчатой комнаты. В глубине ее вспыхивало масляное пламя над сковородами. Гусев остановился в дверях, повел носом. Управляющий и кухарка, бранившиеся между собою, замолчали и подались с некоторым страхом в глубину сводов.

— Чад у вас, чад, чад, — сказал им Гусев по-русски, — колпак над плитой устройте. Эх, варвары, а еще марсиане!

Махнув рукой на их перепуганные лица, он вышел на черное крыльцо. Сел на каменные ступеньки, вынул заветный портсигар, закурил.

Внизу поляны, на опушке, мальчик-пастух, бегая и вскрикивая, загонял в кирпичный сарай глухо поревывающих хаши. Оттуда в высокой траве по тропинке шла к нему женщина с двумя ведерышками молока. Ветер отдувал ее желтую рубашку, мотал кисточку на смешном колпачке на ярко-рыжих волосах. Вот она остановилась, поставила ведерышки и стала отмахиваться от какого-то насекомого, локтем прикрывая лицо. Ветер подхватил ее подол. Она присела, смеясь, взяла ведерышки и опять побежала. Завидев Гусева, оскалили белые веселые зубы.

Гусев звал ее Ихошка, хотя имя ей было — Иха, — племянница управляющего, смешливая, смугло-синеватая, полненькая девушка.

Она живо пробежала мимо Гусева, — только сморщила нос в его сторону. Гусев приноровился было дать ей сзади «леща», но воздержался. Сидел, курил, поджидал.

Действительно, Ихошка скоро опять явилась с корзиночкой и ножиком. Села невдалеке от Сына Неба и принялась чистить овощи. Густые ресницы ее помаргивали. По всему было видно, что — веселая девушка.

— Почему у вас на Марсии бабы какие-то синие? — сказал ей Гусев по-русски. — Дура ты, Ихошка, жизни настоящей не понимаешь.

Иха ответила ему, и Гусев, будто сквозь сон, понял ее слова:

— В школе я учила священную историю; там говорилось, что Сыны Неба — злы. В книжках одно говорится, а на деле получается другое. Совсем Сыны Неба не злые.

— Да, добрые, — сказал Гусев, прищулив один глаз.

Иха подавилась смехом, кожаура шибко летела у нее из-под ножика.

— Мой дядя говорит, будто вы, Сыны Неба, можете убивать взглядом. Что-то я этого не замечаю.

— Неужели? А чего же вы замечаете?

— Слушайте, вы мне отвечайте по-нашему, — сказала Ихощка, — а по-вашему я не понимаю.

— А по-вашему у меня говорить нескладно выходит.

— Чего вы сказали? — Иха положила ножик, до того ее распирало от смеха. — По-моему, у вас на Красной Звезде все то же самое.

Тогда Гусев кашлянул, придвинулся ближе. Иха взяла корзинку и отодвинулась. Гусев кашлянул и еще придвинулся. Она сказала:

— Одежду протрете — по ступенькам елозить.

Может быть, Иха сказала это как-нибудь по-другому, но Гусев именно так и понял.

Он сидел совсем близко. Ихощка коротко вздохнула. Нагнула голову и сильнее вздохнула. Тогда Гусев быстро оглянулся и взял Ихощку за плечи. Она сразу откинулась, вытаращилась. Но он очень крепко поцеловал ее в рот. Иха изо всей мочи прижала к себе корзинку и ножик.

— Так-то, Ихощка! — Она вскочила и убежала.

Гусев остался сидеть, пощипывая усики. Усмехался. Солнце закатилось. Высыпали звезды. К самым ступенькам подкрался какой-то длинный мохнатый зверек и глядел на Гусева фосфорическими глазами. Гусев пошевелился, — зверек зашипел, исчез, как тень.

— Да, пустяки эти надо все-таки оставить, — сказал Гусев. Одернул пояс и пошел в дом. В коридоре сейчас же мотнулась перед ним Ихощка. Он пальцем поманил ее, и они пошли по коридору. Гусев, морщась от напряжения, заговорил по-марсиански:

— Ты, Ихощка, так и знай: если что — я на тебе женюсь. Ты меня слушайся. (Иха повернулась к стене лицом, — уткнулась. Он оттащил ее от стены, крепко взял под руку.) Погоди носом в стену соваться, — я еще не женился. Слушай, я, Сын Неба, приехал сюда не для пустяков. У меня предполагаются большие дела с вашей планетой. Но человек я здесь новый, порядков не знаю. Ты мне должна помогать. Только смотри не ври. Вот что ты мне скажи, — кто такой наш хозяин?

— Наш хозяин, — ответила Иха, с усилием вслушиваясь в странную речь Гусева, — наш хозяин — властелин надо всеми странами Тумы.

— Вот тебе — здравствуй! — Гусев остановился. — Врешь? (Поскреб за ухом.) Как же он официально называется? Король, что ли? Должность его какая?

— Зовут его Тускуб. Он — отец Аэлиты. Он — глава Высшего совета.

— Так. Понятно.

Гусев шел некоторое время молча.

— Вот что, Ихоска, в той комнате, я видел, у вас стоит ма-товое зеркало. Интересно в него посмотреть. Покажи мне, как оно соединяется.

Они вошли в узкую полутемную комнату, уставленную низкими креслами. В стене белелось туманное зеркало. Гусев повалился в кресло, поближе к экрану. Иха спросила:

— Что хотел бы видеть Сын Неба?

— Покажи мне город.

— Сейчас ночь, работа повсюду окончена, фабрики и магазины закрыты, площади пустые. Быть может — зрелища?

— Показывай зрелища.

Иха воткнула выключатели в цифровую доску и, держа конец длинного шнура, отошла к креслу, где Сын Неба сидел, вытянув ноги.

— Народное гулянье, — сказала Иха и дернула за шнур.

Раздался сильный шум — угрюмый тысячеголосый говор толпы. Зеркало озарилось. Раскрылась непомерная перспектива сводчатых стеклянных крыш. Широкие снопы света упирались в огромные плакаты, в надписи, в клубы курящегося многоцветного дыма. Внизу кишели головы, головы, головы. Кое-где, как летучие мыши, вверх, вниз, пролетали крылатые фигуры. Стеклянные своды, пререкрещивающиеся лучи света, водовороты толпы уходили в глубину, терялись в пыльной, дымной мгле.

— Что они делают? — закричал Гусев, надрывая голос, — так велик был шум.

— Они дышат драгоценным дымом. Вы видите клубы дыма? — это курятся листья хавры. Это драгоценный дым. Он называется дымом бессмертия. Кто вдыхает его, видит необыкновенные вещи: кажется, будто никогда не умрешь, — такие чудеса можно видеть и понимать. Многие слышат звук уллы. Никто не имеет права курить хавру у себя на дому, — за это наказывают смертью. Только Высший совет разрешает курение, только двенадцать раз в году в этом доме зажигают листья хавры.

— А те вон что делают?

— Они вертят цифровые колеса. Они угадывают цифры. Сегодня каждый может загадать число, — тот, кто отгадает, навсегда освобождается от работы. Высший совет дарит ему прекрасный дом, поле, десять хашей и крылатую лодку. Это огромное счастье — угадать.

Объясняя, Иха присела на подлокотник кресла, Гусев сейчас же обхватил ее поперек спины. Она попыталась выпростаться, но затихла, сидела смирно. Гусев много дивился на чудеса в туманном зеркале: «Ах, черти, ах, безобразники!» Затем попросил показать еще что-нибудь.

Иха слезла с кресла и, погасив зеркало, долго возилась у цифровой доски, — не попадала выключателями в дырки. Когда же вернулась к креслу и опять села на подлокотник, вертя в руке

шарик от шнура, личико у нее было слегка одурелое. Гусев снизу вверх поглядел на нее и усмехнулся. Тогда в глазах ее появился ужас.

— Тебе, девка, совсем замуж пора.

Ихошка отвела глаза и передохнула. Гусев стал гладить ее по спине, чувствительной, как у кошки.

— Ах ты, моя славная, красивая, синяя.

— Глядите, вот еще интересное, — проговорила она совсем слабо и дернула за шнур.

Половину озарившегося зеркала заслоняла чья-то спина. Был слышен ледяной голос, медленно произносивший слова. Спина качнулась, отодвинулась с поля зеркала. Гусев увидел часть большого свода, в глубине упирающегося на квадратный столб, часть стены, покрытой золотыми надписями и геометрическими фигурами. Внизу, вокруг стола, сидели, опустив головы, те самые марсиане, которые на лестнице мрачного здания встречали корабль с людьми.

Перед столом, покрытым парчой, стоял отец Аэлиты, Тускуб. Тонкие губы его двигались, шевелилась черная борода по золотому шитью халата. Весь он был как каменный. Тусклые, мрачные глаза глядели неподвижно перед собой, — прямо в зеркало. Тускуб говорил, и колючие слова его были непонятны, но страшны. Вот он повторил несколько раз — Талцетл — и опустил, как бы поражая, руку со стиснутым в кулаке свитком. Сидевший напротив него марсианин, с широким бледным лицом, поднялся и бешено, белевыми глазами глядя на Тускуба, крикнул:

— Не они, а ты!

Ихошка вздрогнула. Она сидела лицом к зеркалу, но ничего не видела и не слышала, — большая рука Сына Неба поглаживала ее спину. Когда в зеркале раздался крик и Гусев несколько раз переспросил: «О чем, о чем они говорят?» — Ихошка точно проснулась — разинула рот, уставилась на зеркало. Вдруг вскрикнула жалобно и дернула за шнур.

Зеркало погасло.

— Я ошиблась... Я нечаянно соединила... Ни один шохо не смеет слушать тайны Высшего совета. — У Ихошки стучали зубы. Она запустила пальцы в рыжие волосы и шептала в отчаянии: — Я ошиблась. Я не виновата. Меня сошлют в пещеры, в вечные снега.

— Ничего, ничего, Ихошка, я никому не скажу. — Гусев пригнул ее к себе и гладил ее мягкие, как у ангорской кошки, теплые волосы. Ихошка затихла, закрыла глаза.

— Ах, дура, ах, девчонка! Не то ты зверь, не то человек. Синяя, глупая.

Он почесывал у ней пальцами за ухом, уверенный, что это ей приятно. Ихошка подобрала ноги, свертывалась клубочком. Глаза у нее светились, как у давешнего зверька. Гусеву стало уютковато.

В это время слышались шаги и голоса Лося и Аэлиты. Ихоски слезла с кресла и нетвердо пошла к двери.

Этой же ночью, зайдя к Лосю в спальню, Гусев сказал:

— Дела наши не совсем хорошо обстоят, Мстислав Сергеевич. Девчонку я тут одну приспособил — зеркало соединять, и наткнулись мы как раз на заседание Высшего совета. Кое-что я понял. Надо меры принимать, убьют они нас, Мстислав Сергеевич, но верьте мне, — этим кончится.

Лось слушал и не слышал, — мечтательным взглядом глядел на Гусева. Закинул руки за голову:

— Колдовство, Алексей Иванович, колдовство. Потушите-ки свет.

Гусев постоял, проговорил мрачно:

— Так.

И ушел спать.

УТРО АЭЛИТЫ

Аэлита проснулась рано и лежала, облокотившись. Ее широко, открытая со всех сторон постель стояла, по обычаю, посреди спальни на возвышении. Шатер потолка переходил в высокий мраморный колодезь, — оттуда падал рассеянный утренний свет. Стены спальни, покрытые бледной мозаикой, оставались в полумраке, — столб света спускался лишь на снежные простыни, на подушечки, на склонившуюся на руку пепельную голову Аэлиты.

Ночь она провела дурно. Обрывки странных и тревожных сновидений в беспорядке проходили перед ее закрытыми глазами. Сон был тонок, как водяная пленка. Всю ночь она чувствовала себя спящей и рассматривающей утомительные картины и в полубытьи думала: какие напрасные сновидения!

Когда, утренним солнцем озарился колодезь и свет лег на ее постель, Аэлита вздохнула, пробудилась совсем и сейчас лежала неподвижно. Мысли ее были ясны, но в крови все еще текла смутная тревога. Это было очень, очень нехорошо.

«Тревога крови, помрачение разума, ненужный возврат в давно-давно пережитое. Тревога крови — возврат в ущелья, к стадам, к кострам. Весенний ветер, тревога и зарождение. Рожать, растить существа для смерти, хоронить, и снова — тревога, муки матери. Ненужное, слепое продление жизни».

Так раздумывала Аэлита, и мысли были мудрыми, но тревога не проходила. Тогда она вылезла из постели, надела плетеные туфли, накинула на голые плечи халатик и пошла в ванную, разделась, закрутила волосы узлом и стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн.

На нижней ступени она остановилась, — было приятно стоять в луче солнечного света, бьющего сквозь окно. Зыбкие отражения играли на стене. Аэлита посмотрела в синеватую воду и там уви-

дела свое отражение, луч света падал ей на живот. У нее дрогнула брезгливо верхняя губа. Аэлита бросилась в прохладу бассейна.

Купанье освежило ее, мысли вернулись к заботам дня. Каждое утро она говорила с отцом, — так было заведено. Маленький экран стоял в ее уборной комнате.

Аэлита присела у туалетного зеркала, привела в порядок волосы, вытерла ароматным жиром, затем цветочной эссенцией лицо, шею и руки, исподлобья поглядела на себя, нахмурилась, придвинула столик с экраном и включила цифровую доску.

В туманном зеркале появился знакомый отцовский кабинет: книжные шкафы, картограммы и чертежи на вращающихся призмах. Вошел Тускуб, сел к столу, отодвинул локтем рукописи и глазами нашел глаза Аэлиты. Улыбнулся углом длинных, тонких губ:

— Как спала, Аэлита?

— Хорошо. В доме все хорошо.

— Что делают Сыны Неба?

— Они покойны и довольны. Они еще спят.

— Продолжаешь с ними уроки языка?

— Нет. Инженер говорит свободно. Его спутнику достаточно знания.

— У них нет еще желания покинуть мой дом?

— Нет, нет, о нет.

Аэлита ответила слишком поспешно. Тусклые глаза Тускуба изумленно расширились. Под взглядом его Аэлита стала отодвигаться, покуда ее спина не коснулась спинки кресла. Отец сказал:

— Я не понимаю тебя.

— Чего ты не понимаешь? Отец, почему ты мне не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними? Я прошу тебя...

Аэлита не договорила, — лицо Тускуба исказилось, словно огонь бешенства прошел по нему. Зеркало погасло. Но Аэлита все еще всматривалась в туманную его поверхность, все еще видела страшное ей, страшное всем живущим лицо отца.

— Это ужасно, — проговорила она, — это будет ужасно. — Она поднялась стремительно, но уронила руки и снова села.

Смутная тревога сильнее овладела ею. Аэлита огромными зрачками глядела на себя в зеркало. Тревога шумела в крови, бежала влином. «Как это плохо, напрасно».

Помимо воли встало перед ней, как сон этой ночи, лицо Сына Неба, — крупное, со снежными волосами, — взволнованное, с рядом непостижимых изменений, с глазами то печальными, то нежными, насыщенными солнцем Земли, влагой Земли, — жуткие, как туманные пропасти, грозовые, сокрушающие разум.

Аэлита медленно встряхнула головой. Сердце страшно, глухо билось. Нагнувшись над цифровой дощечкой, она воткнула стерженьки. В туманном зеркале появилась дремлющая в кресле, среди

множества подушек, сморщенная фигурка старичка. Свет из окошечка падал на его иссохшие руки, лежавшие поверх мохнатой одеяла. Старичок вздрогнул, поправил сползшие очки, взглянул поверх стекол на экран и улыбнулся беззубо.

— Что скажешь, дитя мое?

— Учитель, у меня тревога, — сказала Аэлита, — ясность покидает меня. Я не хочу этого, я боюсь, но я не могу.

— Тебя смущает Сын Неба?

— Да. Меня смущает в нем то, что я не могу понять. Учитель, я только что говорила с отцом. Он был неспокоен. Я чувствую — у них борьба в Высшем совете. Я боюсь, как бы Совет не принял ужасного решения. Помогите.

— Ты только что сказала, что Сын Неба смущает тебя. Будет лучше, если он исчезнет совсем.

— Нет! — Аэлита сказала это быстро, резко, взволнованно.

Старичок под взглядом ее насупился. Пожевал сморщенным ртом.

— Я плохо понимаю ход твоих мыслей, Аэлита, в твоих мыслях двойственность и противоречие.

— Да, я чувствую это.

— Вот лучшее доказательство неправоты. Высшая мысль — она, бесстрашна и непротиворечива. Я сделаю, как ты хочешь, и поговорю с твоим отцом. Он тоже страстный человек, и это может привести его к поступкам, не соответствующим мудрости и справедливости.

— Я буду надеяться.

— Успокойся, Аэлита, и будь внимательна... Взгляни в глубину себя. В чем твоя тревога? Со дна твоей крови поднимается древний осадок — красная тьма, — это жажда продления жизни. Твоя кровь в смятении...

— Учитель, он меня смущает иным.

— Каким бы возвышенным чувством он ни смутил, — в тебе пробудится женщина, и ты погибнешь. Только холод мудрости, Аэлита, только спокойное созерцание неизбежной гибели всего живущего, — этого пропитанного салом и похотью тела, только ожидание, когда твой дух, уже совершенный, не нуждающийся более в жалком опыте жизни, уйдет за пределы сознания, перестанет быть, — вот счастье. А ты хочешь возврата. Бойся этого искушения, дитя мое. Легко упасть, быстро — катиться с горы, но подъем медленен и труден. Будь мудра.

Аэлита слушала, голова ее склонялась...

— Учитель, — вдруг сказала она, и губы ее задрожали, глицерин налился тоской. — Сын Неба говорил, что на Земле они знают что-то, что выше разума, выше знания, выше мудрости. Но что это — я не поняла. От этого моя тревога. Вчера мы были на озере, взойшла Красная Звезда, он указал на нее рукой и сказал: «Она окружена туманом любви. Люди, познающие любовь, не умирают». Тоска разорвала мою грудь, учитель.

Старичок нахмурился, долго молчал, — только не переставая шевелились пальцы его высохшей руки.

— Хорошо, — сказал он, — пусть Сын Неба даст тебе это знание. Покуда ты не узнаешь всего, не тревожь меня. Будь осторожна.

Зеркало погасло. Стало тихо в комнате. Аэлита взяла с колен платочек и отерла им лицо. Потом взглянула на себя — внимательно, строго. Брови ее поднялись. Она раскрыла небольшой ларчик и низко нагнулась к нему, перебирая вещицы. Нашла и надела на шею крошечную, оправленную в драгоценный металл сухую лапку чудесного зверька индри, весьма помогающую, по древним поверьям, женщинам в трудные минуты.

Аэлита вздохнула и пошла в библиотеку. Лось поднялся ей навстречу от окна, где сидел с книгой. Аэлита взглянула на него, — большой, добрый, встревоженный. Ей стало горячо сердцу. Она положила руку на грудь, на лапку чудесного зверька, и сказала:

— Вчера я обещала вам рассказать о гибели Атлантиды. Садитесь и слушайте.

ВТОРОЙ РАССКАЗ АЭЛИТЫ

— Вот что мы прочли в цветных книгах, — сказала Аэлита.

В те далекие времена на Земле центром мира был город Ста Золотых Ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе населявшие Землю племена и разжигал в них первобытную жадность. Наступал срок, и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации на время замирал. Но проходило время, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенный свежей кровью победителей. Проходили столетия, и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом.

Первыми основателями города Ста Золотых Ворот были африканские негры племени Земзе. Они считали себя младшей ветвью черной расы, которая в величайшей древности населяла погибший в волнах Тихого океана гигантский материк Гвандана. Уцелевшие части черной расы раздробились на множество племен. Многие из них одичали и выродились. Но все же в крови негров текло воспоминание великого прошлого.

Люди Земзе были огромной силы и большого роста. Они отличались одним необыкновенным свойством: на расстоянии они могли чувствовать природу и форму вещей, подобно тому как магнит ощущает присутствие другого магнита. Это свойство они развили во время жизни в темных пещерах тропических лесов.

Спасаясь от ядовитой мухи гох, племя Земзе вышло из лесов и двигалось на запад, покуда не встретило местность, удобную для жизни. Это было холмистое плоскогорье, омываемое двумя огромными реками.

Здесь было много плодов и дичи, в горах — золото, олово и медь. Леса, холмы и тихие реки — красивы и лишены губительных лихорадок.

Люди Земзе построили стену в защиту от диких зверей и навалили из камней высокую пирамиду в знак того, что это место — прочно.

На верху пирамиды они поставили столб с пучком перьев птицы клитли, покровительницы племени, спасавшей их во время пути от мухи гох. Вожди Земзе украшали головы перьями и давали себе имена птиц.

На запад от плоскогорья бродили краснокожие племена. Люди Земзе нападали на них, брали пленных и заставляли пахать землю, строить жилища, добывать руду и золото. Слава о городе шла далеко на запад, и он внушал страх краснокожим, потому что люди Земзе были сильны, умели угадывать мысли врага и убивали на далеком расстоянии, бросая согнутый кусок дерева. В лодках из древесной коры они плавали по широким рекам и собирали с краснокожих дань.

Потомки Земзе украсили город круглыми каменными зданиями, крытыми тростником. Они ткали превосходные одежды из шерсти и умели записывать мысли посредством изображения предметов, — это знание они вынесли в глубинах памяти, как древнее воспоминание исчезнувшей цивилизации.

Прошли столетия. И вот на западе появился великий вождь красных. Его звали Уру. Он родился в городе, но в юности ушел в степи, к охотникам и кочевникам. Он собрал бесчисленные толпы воинов и пошел воевать город.

Потомки Земзе употребили для защиты все знания: поражали врагов огнем, насылали на них стада взбесившихся буйволов, рассекали их летящими, как молния, бумерангами. Но краснокожие были сильны жадностью и численностью. Они овладели городом и разграбили его. Уру объявил себя вождем мира. Он велел красным воинам взять себе девушек Земзе. Скрывавшиеся в лесах остатки побежденных вернулись в город и стали служить победителям.

Красные усвоили знания, обычаи и искусства Земзе. Смешанная кровь дала длинный ряд администраторов и завоевателей. Тайственная способность чувствовать природу вещей передавалась поколениям.

Военачальники династии Уру расширили владения, на западе они истребили кочевников и на рубежах Тихого океана навалили пирамиды из земли и камней. На востоке они теснили негров. По берегам Нигера и Конго, по скалистому побережью Средиземного моря, плескавшегося там, где ныне пустыня Сахара, они заложили сильные крепости. Это было время войн и строительства. Земля Земзе называлась тогда — Хамаган.

Город был обнесен новой стеной, и в ней сделаны сто ворот, обложенных золотыми листьями. Народы всего мира стекались туда, привлекаемые жадностью и любопытством. Среди множества

племен, бродивших по его базарам, разбивавших палатки под его стенами, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с длинными горящими глазами и носами, как клюв. Они были умны и хитры. Никто не помнил, как они вошли в город. Но вот прошло не более поколения, и наука и торговля города Ста Золотых Ворот оказались в руках этого немногочисленного племени. Они называли себя «сыны Аама».

Мудрейшие из сынов Аама прочли древние надписи Земзе и стали развивать в себе способность видеть сущность вещей. Они построили подземный храм Спящей Головы Негра и стали привлекать к себе людей, — исцеляли больных, гадали о судьбе и верующим показывали тени умерших.

Богатством и силою знания сыны Аама проникли к управлению страной. Они привлекли на свою сторону многие племена и подняли одновременно на окраинах Земли и в самом городе восстание за новую веру. В кровавой борьбе погибла династия Уру. Сыны Аама овладели властью.

С этим древним временем совпал первый толчок Земли. Во многих местах, среди гор, вырвалось пламя, и пеплом заволокло небо. Большие пространства на юге атлантического материка опустились в океан. На севере поднялись с морского дна скалистые острова и соединились с сушей: так образовались очертания европейской равнины.

Всю силу власти сыны Аама направляли на создание культуры среди множества племен, когда-то покоренных династией Уру и отпавших. Но сыны Аама не любили войны. Они снаряжали корабли, украшенные Головой Спящего Негра, нагружали их пряностями, тканями, золотом и слоновой костью. Посвященные в культ, под видом купцов и знахарей, проникали на кораблях в дальние страны. Они торговали и лечили заговорами и заклинаниями больных и увечных. Для охраны товаров они строили в каждой стране большой, по форме пирамиды, дом, куда переносили Голову Спящего. Так утверждался культ. Если народ возмущался против пришельцев, с корабля сходил отряд краснокожих, закованных в бронзу, со щитами, украшенными перьями, в высоких шлемах, наводящих ужас.

Так снова расширились и укреплялись владения древней земли Земзе. Теперь она называлась Атлантида. На крайнем западе, в стране красных, был заложен второй великий город — Птитлигуа. Торговые корабли Атлантов плавали на восток, до Индии, где еще властвовала черная раса. На восточном побережье Азии они впервые увидели гигантов с желтыми и плоскими лицами. Эти люди бросали камни в их корабли.

Культ Спящей Головы был открыт для всех, — это было главным орудием силы и власти, но смысл, внутреннее содержание культа хранились в величайшей тайне. Атланты выращивали зерно мудрости Земзе и были еще в самом начале того пути, который привел к гибели всю расу.

Они говорили так:

«Истинный мир — невидим, неосязаем, неслышим, не имеет вкуса и запаха. Истинный мир есть движение разума. Начальным и конечная цель этого движения непостижима. Разум есть материя, более твердая, чем камень, и более быстрая, чем свет. Ища покоя, как всякая материя, разум впадает в некоторый сон, то есть становится более замедленным, что называется — воплощением разума в вещество. На степени глубины сна разум воплощается в огонь, в воздух, в воду, в землю. Из этих четырех стихий образуется видимый мир. Вещь есть временное сгущение разума. Вещь есть ядро сферы сгущающегося разума, подобно круглой молнии, в которую уплотняется грозовой воздух.

В кристалле разум находится в совершенном покое. В междузвездном пространстве разум — в совершенном движении. Человек есть мост между этими двумя состояниями разума. Через человека течет поток разума в видимый мир. Ноги человека вырастают из кристалла, живот его — солнце, его глаза — звезды, его голова — чаша с краями, простирающимися во вселенную.

Человек есть владыка мира. Ему подчинены стихии и движения. Он управляет ими силой, исходящей из его разума, подобно тому как луч света исходит из отверстия глиняного сосуда».

Так говорили Атланты. Простой народ не понимал их учения. Иные поклонялись животным, иные — теням умерших, иные — идолам, иные — ночным шорохам, грому и молнии или яме в земле. Было невозможно и опасно бороться со множеством этих суеверий.

Тогда жрецы — высшая каста Атлантов — поняли, что нужно внести ясный и понятный, единый для всех культ. Они стали строить огромные, украшенные золотом храмы и посвящать их солнцу — отцу и владыке жизни, гневному и животворному, умирающему и вновь рождающемуся.

Культ солнца вскоре охватил всю Землю. Верующими было пролито много человеческой крови. На крайнем западе, среди красных, солнце приняло образ змея, покрытого перьями. На крайнем востоке солнце — владыка теней умерших — приняло образ человека с птичьей головой.

В центре мира, в городе Ста Золотых Ворот, была построена уступчатая пирамида столь высокая, что облака дымились на вершине ее, — туда перенесли Голову Спящего. У подножья пирамиды, на площади, был поставлен золотой крылатый бык с человеческим лицом, со львиными лапами. Под ним неугасимо горел огонь.

В дни равноденствий, в присутствии народа, под удары в яйцеобразные барабаны, под пляски обнаженных женщин, верховный жрец, Сын Солнца, великий правитель, умерщвлял красивейшего из юношей города и сжигал его во чреве быка.

Сын Солнца был неограниченный владыка города и страны. Он строил плотины и проводил орошения. Раздавал из магазинов одеж-

ду и питание, назначал, кому сколько нужно земли и скота. Многочисленные чиновники были исполнителями его повелений. Никто не мог говорить: «Это мое», потому что все принадлежало солнцу. Труд был священен. Лениость наказывалась смертью. Весною Сын Солнца первый выходил в поле и на быках пропахивал борозду, веял зерна маиса.

Храмы были полны зерна, тканей, пряностей. Корабли Атлантов, с пурпуровыми парусами, украшенными изображениями змеи, держащей во рту солнце, бороздили все моря и реки. Наступал долгий мир. Люди забывали, как держать в руке меч.

И вот над Атлантидой нависла туча с востока.

На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицее, с раскосыми глазами, сильное племя Учкурров. Они подчинялись женщине, которая обладала способностью бесноваться. Она называлась Су Хутам Лу, что значило «говорящая с луной».

Су Хутам Лу сказала Учкурам:

«Я поведу вас в страну, где в ущелье между гор опускается волнище. Там пасется столько баранов, сколько звезд на небе, там текут реки из кумыса, там есть такие высокие юрты, что в каждую можно загнать стадо верблюдов. Там еще не ступали ваши кони, и вы еще не зачерпывали шлемом воды из тех рек».

Учкурры спустились с плоскогорья и напали на многочисленные кочевые племена желтолицых, покорили их и стали среди них военачальниками. Они говорили побежденным: «Идите за нами в страну солнца, которую указала Су Хутам Лу».

Поклонявшиеся звездам кочевники были мечтательны и бестрашны. Они сняли юрты и погнали стада на запад. Шли медленно, год за годом. Впереди двигалась конница Учкурров, нападая, сражаясь и разрушая города. За конницей брели стада и повозки с женщинами и детьми. Кочевники прошли мимо Индии и разлились по восточной европейской равнине.

Там многие остались на берегах озер. Сильнейшие продолжали двигаться на запад. На побережье Средиземного моря они разрушили первую колонию Атлантов и от побежденных узнали, где лежит страна солнца. Здесь Су Хутам Лу умерла. С головы ее сняли волосы вместе с кожей и прибили к высокому шесту. С этим знаменем двинулись далее, вдоль моря. Так они дошли до края Европы и вот, с высоты гор, увидели очертания обетованной земли. Со дня, когда Учкурры впервые спустились с плоскогорья, минуло сто лет.

Кочевники стали рубить леса и вязать плоты. На плотях они переправлялись через соленую теплую реку. Ступив на заповедную землю Атлантиды, кочевники напали на священный город Туле. Когда они полезли на высокие стены, в городе начали звонить в колокола: звон был так приятен, что желтолицые не стали разрушать города, не истребили жителей, не разграбили храмов. Они взяли запасы пищи и одежды и пошли далее на юго-запад. Пыль от повозок и стад застилала солнце.

Наконец кочевникам преградило путь войско краснокожих. Атланты были все в золоте, в разноцветных перьях, изнеженные и прекрасные видом. Конница Учкурров истребила их. С этого дни желтолицы слышали запах крови Атлантов и не были более милостивы.

Из города Ста Золотых Ворот послали гонцов на запад к красным, на юг к неграм, на восток к племенам Аама, на север к циклопам. Приносились человеческие жертвоприношения. Неугасимо пылали костры на вершинах храмов. Жители города стекались на кровавые жертвы, предавались иступленным пляскам, чувственным забавам, опьянялись вином, расточали сокровища.

Жрецы и философы готовились к великому испытанию, уносили в глубь гор, в пещеры, зарывали в землю книги Великого Знания.

Началась война. Участь ее была предрешена: Атланты могли только защищать пресытившее их богатство, у кочевников были первобытная жадность и вера в обетование. Все же борьба была длительной и кровопролитной. Страна опустошалась. Наступил голод и мор. Войска разбегались и грабили все, что могли. Город Ста Золотых Ворот был взят приступом и стены его разрушены. Сын Солнца бросился с вершины уступчатой пирамиды. Погасли огни на вершинах храмов. Немногие из мудрых и посвященных бежали в горы, в пещеры. Цивилизация погибла.

Среди разрушенных дворцов великого города на площадях, поросших травой, бродили овцы, и желтолицый пастух пел печальную песню о блаженной, как степной мираж, заповедной стране, где земля голубая и небо — золотое.

Кочевники спрашивали своих вождей: «Куда нам еще идти?» Вожди говорили им: «Мы привели вас в обетованную страну, селитесь и живите мирно». Но многие из кочевых племен не послушались и пошли дальше на запад, в страну Перистого Змея, но там их истребил повелитель Птитлигуа. Иные из кочевников проникли к экватору, и там их уничтожили негры, стада слонов и болотные лихорадки.

Учкурры, вожди желтолицых, избрали мудрейшего из военачальников и поставили его правителем покоренной страны. Имя его было Тубал. Он велел чинить стены, очищать сады, вспахивать поля и отстраивать жилища. Он издал много мудрых и простых законов. Он призвал к себе бежавших в пещеры мудрецов и посвященных и сказал им: «Мои глаза и уши открыты для мудрости». Он сделал их советниками, разрешил открыть храмы и повсюду послал гонцов с вестью, что желает мира.

Таково было начало третьей, самой высокой волны цивилизации Атлантов. В кровь многочисленных племен — черных, красных, оливковых и белых — влилась мечтательная, бродящая, как хмель, кровь азиатских номадов, звездопоклонников, потомков бесноватой Су Хутам Лу.

Кочевники быстро растворялись среди иных племен. От юрт, стад, дикой воли оставались лишь песни и предания. Появилось новое племя сильным сложением, черноволосых, желто-смуглых людей. Учкура, потомки всадников и военачальников, были аристократией города. Они любили науки, искусства и роскошь. Они украсили город новыми стенами и семиугольными башнями, выложили золотом двадцать один уступ гигантской пирамиды, провели акведуки, впервые в архитектуре стали употреблять колонну.

В долгих войнах снова были покорены отпавшие страны и города. На севере воевали с циклопами — уцелевшими от смешения, одичавшими потомками племени Земзе. Великий завоеватель Рама дошел до Индии. Он соединил младенческие племена арийцев в царство Ра. Так еще раз раздвинулись до небывалых размеров и окрепли пределы Атлантиды — от страны Перистого Змея до азиатских берегов Тихого океана, откуда некогда желтолицые великаны бросали камни в корабли.

Мечтательная душа завоевателей стремилась к знанию. Снова были прочитаны древние книги Земзе и мудрые книги сынов Аама. Заключился круг и начался новый. В пещерах были найдены полуистлевшие «семь папирусов Спящего». — С этого открытия начинается быстро развиваться знание. То, чего не было у сынов Аама, — бессознательной творческой силы, — то, чего не было у сынов племени Земзе, — ясного и острого разума, — в изобилии текло в тревожной и страстной крови Учкуров.

Основа нового знания была такова:

«В человеке дремлет самая могучая из мировых сил — материя чистого разума. Подобно тому как стрела, натянутая тетивой, направленная верной рукой, поражает цель, — так и материя дремлющего разума может быть напряжена тетивой воли, направлена рукой знаний. Сила устремленного знания безгранична».

Наука знания разделялась на две части: подготовительную — развитие тела, воли и ума, и основную — познание природы, мира и формул, через которые материя устремленного знания овладевает природой.

Полное овладение знанием, расцвет небывалой еще на Земле и до сих пор не повторенной культуры продолжались столетие, между четыреста пятидесятым и триста пятидесятым годами до Потопа, то есть до гибели Атлантиды.

На Земле был всеобщий мир. Силы Земли, вызванные к жизни знанием, обильно и роскошно служили людям. Сады и поля давали огромные урожаи, плодились стада, труд был легкий. Народ вспоминал старые обычаи и праздники, и никто не мешал ему жить, любить, рожать, веселиться. В преданиях этот век назван *золотым*.

В то время на восточном рубеже Земли был поставлен сфинкс, изображавший в одном теле четыре стихии, — символ тайны спящего разума. Были построены семь чудес света: лабиринт, колосс

в Средиземном море, столбы на запад от Гибралтара, башня змеиных дочерей на Посейдонесе, сидящая статуя Тубала и город Лемутоа на острове Тихого океана.

В черные племена, до этого времени теснимые в тропических болота, проник свет знания. Негры быстро усваивали цивилизацию и начали постройку гигантских городов в Центральной Африке.

Зерно мудрости Земзе дало полное и пышное цветение. Но самые мудрейшие из посвященных в знание стали понимать, что во всем росте цивилизации лежит первоначальный грех. Дальнейшее развитие знания должно привести к гибели: человечество поразит само себя, как змея, жалящая себя в хвост.

Первородное зло было в том, что бытие — жизнь Земли и существ — постигалось как нечто выходящее из разума человека. Познавая мир, человек познавал только самого себя. Разум был единственной реальностью, мир — его представлением, его сном и сновидением. Такое понимание бытия должно было привести к тому, что каждый человек стал бы утверждать, что он один есть единственное, сущее, все остальное — весь мир — лишь плод его воображения. Дальнейшее было неизбежно: борьба за единственную личность, борьба всех против всех, истребление человечества, как восставшего на человека его же сна, — презрение и отвращение к бытию, как к злему сновидению.

Таково было начальное зло мудрости Земзе.

Знание расколосось. Одни не видели возможности вынуть семя зла и говорили, что зло есть единственная сила, создающая бытие. Они называли себя черными, так как знание шло от черных.

Другие, признававшие, что зло лежит не в самой природе, но в отклонении разума от природности, стали искать противодействия злу.

Они говорили: «Солнечный луч падает на землю, погибает и воскресает в плод земли: вот основной закон жизни». Таково же движение мирового разума: нисхождение, жертвенная гибель и воскресение в плоть. Первоосновной грех — одиночество разума — может быть уничтожен грехопадением. Разум должен пасть в плоть и пройти через живые врата смерти. Эти врата — пол. Падение разума совершается силою полового влечения, или Эроса.

Утверждавшие так называли себя белыми, потому что носили полотняную тиару — знак Эроса. Они создали весенний праздник и мистерию грехопадения, которая разыгрывалась в роскошных садах древнего храма солнца. Девственный юноша представлял разум, женщина — врата смертной плоти, змей — Эроса. Из отдаленных стран приходили смотреть на эти зрелища.

Раскол между двумя путями знания был велик. Началась борьба. В то время было сделано изумительное открытие, — найдем

возможность мгновенно освобождать жизненную силу, дремлющую в семенах растений. Эта сила, — гремучая, огненно-холодная материя, — освобождаясь, устремлялась в пространство. Черные воспользовались ею для борьбы, для орудий войны. Они построили огромные летающие корабли, наводящие ужас. Дикие племена стали поклоняться этим крылатым драконам.

Белые поняли, что гибель мира близка, и стали готовиться к ней. Они отбирали среди простых людей наиболее чистых, сильных и стали выводить их на север и на восток. Они отводили им высокие горные пастбища, где переселенцы могли жить, как первобытные существа.

Опасения белых подтверждались. Золотой век вырождался, в городах Атлантиды наступало пресыщение. Ничто не сдерживало более разнузданную фантазию, жажду извращений, безумие опустошенного разума. Сила, которою овладел человек, обратилась против него. Неизбежность смерти делала людей мрачными, свирепыми, беспощадными.

И вот настали последние дни. Начались они с большого бедствия: центральная область города Ста Золотых Ворот была потрясена подземным толчком, много земли опустилось на дно океана, морские волны Атлантики отделили навсегда страну Перистого Змея.

Черные обвиняли белых, что силою заклинаний они расковали духов земли и огня. Народ возмутился, черные устроили ночное избиение в городе, — более половины жителей, носивших полотняную тиару, погибло смертью, остальные бежали за пределы Атлантиды.

Властью в городе Ста Золотых Ворот овладели богатейшие из граждан Черного ордена, называвшиеся Магацитлами, что значит «беспощадные». Они говорили: «Уничтожим человечество, потому что оно есть дурной сон разума».

Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они объявили по всей Земле праздники и игрища, раскрыли государственные сокровищницы и магазины, привезли с севера белых девушек и отдали их народу, распахнули двери храмов для всех жаждущих противоестественных наслаждений, наполнили фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Это было в осенние дни сбора винограда.

Ночью, на озаренных кострами площадях, среди народа, испитого вином, плясками, едой, женщинами, — появились Магацитлы. Они были в высоких шлемах с колючим гребнем, в панцирных поясах, без щитов. Правую рукою они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным, разрушающим пламенем, левую рукою погружали меч в пьяных и безумных.

Кровавая оргия была прервана страшным подземным толчком. Рухнула статуя Тубала, треснули стены, повалились колонны акведука, из глубоких трещин вырвалось пламя, пеплом заволокло небо.

Наутро кровавый, тусклый диск солнца осветил развалины, горящие сады, толпы измученных излишествами, сумасшедших людей, кучи трупов. Магацитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать Землю. Они улетели в звездное пространство, в родину абстрактного разума.

Улетело уже много тысяч аппаратов. Тогда раздался четвертый, еще более сильный толчок земли. С севера поднялась и пепельной мглы океанская волна и пошла по земле, уничтожив все живое.

Началась буря, молнии падали на землю, в жилища. Хлынул ливень, летели осколки вулканических камней.

За оплотом стен великого города с вершинами уступчатой, обложенной золотом пирамиды Магацитлы продолжали улетать сквозь океан падающей воды, из дыма и пепла в звездное пространство. Три подряд толчка раскололи землю Антлантиды. Город Золотых Ворот погрузился в кипящие волны.

ГУСЕВ НАБЛЮДАЕТ ГОРОД

Иха совсем одурела. О чем бы ни просил ее Гусев, тотчас исполняла, глядела на него матовыми глазами. И смешно и жалко. Гусев обращался с нею строго, но справедливо. Когда Ихошка со всем изнемогала от переполнения чувствами, он сажал ее на колени, гладил по голове, почесывал за ухом, рассказывал всякие смешные истории. Она одурело слушала.

У Гусева гвоздем засел план удрать в город. Здесь было как в мышеловке: ни оборониться в случае чего, ни убежать. Опасности грозила им серьезная, — в этом Гусев не сомневался. Разговоры с Лосем ни к чему не вели. Лось только морщился, весь свет ему заслонил подол Тускубовой дочки.

«Суетливый вы человек, Алексей Иванович. Ну, нас убьют, — не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде — чего безопаснее?»

Гусев велел Ихошке унести ключи от ангара, где стояли крылатые лодки. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, видимо быстролетной, двукрылой лодкой. Механизм ее был прост. Крошечный моторчик питался крупинками белого металла, распадающегося с чудовищной силой в присутствии электрической искры. Электрическую энергию аппарат получал во время полета из воздуха, так как Марс был покрыт электричеством высокого напряжения, — его посылали станции на полюсах. (Об этом рассказывала Аэлита.)

Гусев подтащил лодку к самым воротам ангара. Ключ вернул Ихе. В случае надобности замок не трудно было сорвать рукой.

Затем он решил взять под контроль город Соацеру. Иха научили его соединять туманное зеркало. Этот говорящий экран в доме

Тускуба можно было соединять односторонне, то есть самому оставаться невидимым и неслышимым.

Гусев обследовал весь город: площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманном зеркале.

Кирпичные низкие залы фабрик, тусклый свет сквозь пыльные окна. Унылые, с пустыми, запавшими глазами, морщинистые лица рабочих. Вечно, вечно двигающиеся станки, машины, сутулые фигуры, точные движения работы, — унылая, беспросветная муравьиная жизнь.

Появлялись прямые, однообразные улицы рабочих кварталов, те же унылые фигуры брели по ним, опустив головы. Тысячелетней скукой веяло от этих кирпичных, чисто подметенных, один как один, коридоров. Здесь, видимо, уже ни на что не надеялись.

Появлялись центральные площади: уступчатые дома, ползучая пестрая зелень, отсвечивающие солнцем стекла, нарядные женщины; посреди улицы — столики, узкие вазы, полные цветов;двигающаяся водоворотами нарядная толпа, черные халаты мужчин, фасады домов — все это отражалось в паркетной зеленоватой мостовой. Низко проносились золотые лодки, скользили тени от их крыльев, смеялись запрокинутые лица, вились пестрые легкие шарфы...

В городе шла двойная жизнь. Гусев все это принял во внимание. Как человек с большим опытом — почувствовал носом, что, кроме этих двух сторон, здесь есть еще и третья — подпольная. Действительно, по богатым улицам города, в парках — повсюду шаталось большое количество неряшливо одетых, испитых молодых марсиан. Шатались без дела, заложив руки в карманы, — поглядывали. Гусев думал: «Эге, эти штуки мы тоже видали».

Ихошка все ему подробно объясняла. На одно только не соглашалась — соединить экран с Домом Высшего совета инженеров.

В ужасе трясла рыжими волосами, складывала руки:

— Не просите меня, Сын Неба, лучше убейте меня, дорогой Сын Неба.

Однажды, на четырнадцатый день, утром, Гусев, как обычно, сел в кресло, положил на колени цифровую доску, дернул за шнур.

В зеркальной стене появилась странная картина: на центральной площади — озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пестрые зонтики. Появился отряд солдат, — шли треугольником, как страшные куклы, с каменными лицами. Далее — на торговой улице — бегущая толпа, свалка и какой-то марсианин, вылетевший из драки винтом на машинах-крыльях. В парке — те же встревоженные кучки шептунов. На одной из фабрик — гудящие толпы рабочих, возбужденные, мрачные, свирепые лица.

В городе, видимо, произошло какое-то событие чрезвычайной важности. Гусев тряс Ихощку за плечи: «В чем дело?» Она молчала, глядела матовыми влюбленными глазами.

ТУСКУБ

Город был охвачен тревогой. Бормотали, мигали зеркальные телефоны. На улицах, на площадях, в парках шептались кучки марсиан. Ждали событий, поглядывали на небо. Говорили, что где-то горят склады сушеного кактуса. В полдень в городе открыли водопроводные краны, и вода иссякла в них, но ненадолго... Многие слышали на юго-западе отдаленный взрыв. В домах заклеивали стекла бумажками — крест-накрест.

Тревога шла из центра по городу, из Дома Высшего совета инженеров.

Говорили о пошатнувшейся власти Тускуба, о предстоящих переменах.

Тревожное возбуждение прорезывалось, как искрой, слухами:

«Ночью погаснет свет».

«Остановят полярные станции».

«Исчезнет магнитное поле».

«В подвалах Дома Высшего совета арестованы какие-то личности».

На окраинах города, на фабриках, в рабочих поселках, в общественных магазинах слухи эти воспринимались по-иному. () причине их возникновения здесь, видимо, знали больше. С тревожным злорадством говорили, что будто гигантский цирк, номер одиннадцатый, взорван подземными рабочими, что агенты правительства ищут повсюду склады оружия, что Тускуб стягивает войска в Соацеру.

К полудню почти повсюду прекратилась работа. Собирались большие толпы, ожидали событий, поглядывали на неизвестно откуда появившихся многозначительных молодых, неряшливо одетых марсиан с заложенными в карманы руками.

В середине дня над городом пролетели правительственные лодки, и дождь белых афишек посыпался с неба на улицы.

Правительство предостерегало население от злостных слухов, — их распускали враги народа. Говорилось, что власть никогда еще не была так сильна и преисполнена решимости.

Город затих ненадолго, и снова поползли слухи — один страшнее другого. Достоверно знали только одно: сегодня вечером в Доме Высшего совета инженеров предстоит решительная борьба Тускуба с вождем рабочего населения Соацеры — инженером Гором.

К вечеру толпы народа заполнили огромную площадь перед Домом Высшего совета. Солдаты охраняли лестницу, входы и крышу. Холодный ветер нагнал туман, в мокрых облаках раскачивались фонари красноватыми расплывающимися сияниями. Неясной

пирамидой уходили во мглу мрачные стены дома. Все окна его были освещены.

Под тяжелыми сводами, в круглой зале, на скамьях амфитеатра сидели члены Высшего совета. Лица всех были внимательны и настороженны. В стене, высоко над полом, проходили быстро одна за другой в туманном зеркале картины города — внутренность фабрик, перекрестки с перебегающими в тумане фигурами, очертания водяных цирков, электромагнитных башен, однообразные пустынные здания складов, охраняемые солдатами. Экран непрерывно соединялся со всеми контрольными зеркалами в городе. Вот появилась площадь перед Домом Высшего совета инженеров, океан галов, застилаемый клочьями тумана, широкие сияния фонарей. Своды залы наполнились зловещим ропотом толпы.

Тонкий свист отвлек внимание присутствующих. Экран погас. Перед амфитеатром, на возвышение, покрытое черно-золотой парчой, взошел Тускуб. Он был бледен, спокоен и мрачен.

— В городе волнение, — сказал Тускуб, — город возбужден слухом о том, что сегодня мне здесь намерены противоречить. Одного этого слуха было достаточно, чтобы государственное равновесие пошатнулось. Такое положение вещей я считаю болезненным и зловещим. Необходимо раз навсегда уничтожить причину подобной возбуждаемости. Я знаю, — среди нас есть присутствующие, которые нынче же ночью разнесут по городу мои слова. Я говорю открыто: город охвачен анархией. По сведениям моих агентов, в городе и стране нет достаточных мускулов для сопротивления. Мы накануне гибели мира.

Ропот пролетел по амфитеатру. Тускуб брезгливо усмехнулся.

— Сила, разрушающая мировой порядок, — анархия, — идет из города. Спокойствие души, природная воля к жизни, силы чувств растрачиваются здесь на сомнительные развлечения и бесполезные удовольствия. Дым хавры — вот душа города: дым и бред. Уличная пестрота, шум, роскошь золотых лодок и зависть тех, кто снизу глядит на эти лодки. Женщины, обнажающие спину и живот и надушенные возбуждающими ароматами; пестрые огоньки, перебегающие по фасадам публичных домов; летающие над улицами лодки-рестораны — вот город! Покой души сгорает в пепел. Желание таких опустошенных душ одно — жажда... Жажда опьянения... Пресыщенные души опьяняет только кровь.

Тускуб сказал это, пронзив перед собою пальцем пространство... Зал сдержанно загудел. Он продолжал:

— Город готовит анархическую личность. Ее воля, ее пафос — разрушение. Думают, что анархия — свобода, нет, — анархия жаждет только анархии. Долг государства — бороться с этими разрушителями, — таков закон! Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. Мы должны вызвать в стране здоровые силы и с наименьшими потерями бросить их на войну с анархией. Мы объявляем анархии беспощадную войну. Меры охраны — лишь временное средство: неизбежно должен настать час, когда

полиция откроет свое уязвимое место. В то время как мы вдвоем увеличиваем число агентов полиции, — анархисты увеличиваются в квадрате. Мы должны первые перейти в наступление, решиться на суровое и неизбежное действие, мы должны разрушить и уничтожить город.

Половина амфитеатра завывала и повскакала на скамьях. Лица марсиан были бледны, глаза горели. Тускуб взглядом восстановил тишину.

— Город неизбежно, так или иначе, будет разрушен, мы сами должны организовать это разрушение. В дальнейшем я предложу план расселения здоровой части городских жителей по сельским поселкам. Мы должны использовать для этого богатейшую страну, — по ту сторону гор Лизиазиры, — покинутую населением после междоусобной войны. Предстоит огромная работа. Но цель ее велика. Разумеется, мерой разрушения города мы не спасем цивилизации, мы даже не отсрочим ее гибели, но мы дадим возможность марсианскому миру умереть спокойно и торжественно.

— Что он говорит?.. — испуганными, высокими голосами закричали слушатели.

— Почему нам нужно умирать?

— Он сошел с ума!

— Долой Тускуба!

Движением бровей Тускуб снова заставил утихнуть амфитеатр.

— История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет несколько столетий — и последний марсианин застывающим взглядом в последний раз проводит закат солнца. Мы бессильны остановить вымирание. Мы должны суровыми и мудрыми мерами обставить пышностью и счастьем последние дни мира. Первое и основное — мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все; теперь он разлагает цивилизацию, он должен погибнуть.

В середине амфитеатра поднялся Гор — тот широколицый молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале.

Голос его был глухой, лающий. Он выкинул руку по направлению Тускуба.

— Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть. Он приговаривает нас к смерти, чтобы сохранить власть. Он понимает, что только уничтожением миллионов он еще может сохранить власть. Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто рождается и умирает в подземных фабричных городах, кто в праздник шатается по пыльным коридорам, зевая от безнадежности, кто с остервенением, ища забвения, дышит дымом проклятой хавры. Тускуб приготовил нам смертное ложе, пусть сам в него ляжет. Мы не хотим умирать. Мы родились, чтобы жить. Мы знаем опасность — вырождение Марса. Но у нас есть спасение. Нас спасет Земля, люди с Земли, здоровая, свежая раса с горячей кровью. Вот кого он боится больше всего

на свете. Тускуб, ты спрятал у себя в доме двух людей, прилетевших с Земли. Ты боишься Сынов Неба. Ты силен только среди слабых и одурманенных хаврой. Когда придут сильные, с горячей кровью, ты сам станешь тенью, ночным кошмаром, ты исчезнешь, как призрак. Вот чего ты боишься больше всего на свете! Ты нарочно выдумал анархию, ты сейчас придумал это потрясающее умы разрушение города. Тебе самому нужна кровь — напиться. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ...

Гор вдруг оборвал. Лицо его начало темнеть от напряжения. Тускуб тяжело, из-под бровей, глядел ему в глаза.

— ...Не заставишь... Не замолчу!.. — Гор захрипел. — Я знаю — ты посвящен в древнюю чертовщину... Я не боюсь твоих глаз...

Гор с трудом широкой ладонью отер пот со лба. Вдохнул глубоко и зашатался. В молчании недышащего амфитеатра он опустился на скамью, уронил голову на руки. Было слышно, как скрипнули его зубы.

Тускуб поднял брови и продолжал спокойно:

— Надеяться на переселенцев с Земли? Поздно. Вливать свежую кровь в наши жилы? Поздно. Поздно и жестоко. Мы лишь продлим агонию нашей планеты. Мы лишь увеличим страдания, потому что неизбежно станем рабами завоевателей. Вместо покойного и величественного заката цивилизации мы снова вовлечем себя в томительные круги столетий. Зачем? Зачем нам, ветхой и мудрой расе, работать на завоевателей? Чтобы жадные до жизни дикари выгнали нас из дворцов и садов, заставили строить новые цирки, копать руду, чтобы снова равнина Марса огласилась криками войны? Чтобы снова наполнять наши города развратниками и сумасшедшими? Нет. Мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека. Мы не пустим к себе чужеземцев. Мы построим новые станции на полюсах и окружим планету непроницаемой броней. Мы разрушим Соацеру — гнездо анархии и безумных надежд, — здесь, здесь родился этот преступный план сношения с Землей. Мы пройдем плугом по площадям. Мы оставим лишь необходимые для жизни учреждения и предприятия. В них мы заставим работать преступников, алкоголиков, сумасшедших, всех мечтателей несбыточного. Мы закуем их в цепи. Даруем им жизнь, которой они так жаждут. Всем, кто согласен с нами, кто подчиняется нашей воле, мы отведем сельскую усадьбу и обеспечим жизнь и комфорт. Двадцать тысячелетий каторжного труда дают нам право жить, наконец, праздно, тихо и созерцательно. Конец цивилизации будет покрыт венцом золотого века. Мы организуем общественные праздники и прекрасные развлечения. Быть может, даже срок жизни, указанный мною, продлится еще на несколько столетий, потому что мы будем жить в покое.

Амфитеатр слушал молча, замороженный. Лицо Тускуба покрылось пятнами. Он закрыл глаза, будто вглядываясь в грядущее. Замолк на полуслове...

...Глухой, многоголосый гул толпы проник снаружи под сводами зала. Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и швырнул далеко. Протянул руки и ринулся вниз на скамьям к Тускубу. Он схватил Тускуба за горло и сбросил с парчового возвышения. Так же, протянув руки, растопырив пальцы, повернулся к амфитеатру. Будто отдирая присохший язык, закричал:

— Хорошо. Смерть! Пусть смерть! Для вас!.. Для нас — борьба..

На скамьях вскочили, зашумели, несколько фигур побежали вниз, к лежащему ничком Тускубу.

Гор прыгнул к двери. Локтем отшвырнул солдата. Полы с черного халата мелькнули у выхода на площадь. Раздался его отдаленный голос. По толпе пошел будто рев ветра.

ЛОСЬ ОСТАЕТСЯ ОДИН

— Революция, Мстислав Сергеевич. Весь город вверх ногами. Потеха!

Гусев стоял в библиотеке. В обычно сонных глазах его прыгали веселые искорки, нос вздернулся, топорщились усы. Руки он глухо засунул за ременный пояс.

— В лодку я уже все уложил: провизию, гранаты. Ружьишко ихнее достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим.

Лось сидел, подобрав ноги, в углу дивана, невидяще глядел на Гусева. Вот уже более двух часов он ожидал обычного прихода Аэлиты, подходил к двери, прислушивался, — в комнатах Аэлиты было тихо. Он садился в угол дивана и ждал, когда зазвучат ее шаги. Он знал: легкие шаги раздадутся в нем громом небесным. Она войдет, как всегда, прекраснее, изумительнее, чем он ждал, пройдет под озаренными верхними окнами; по зеркальному полу пролетит ее черное платье. И в нем все дрогнет. Вселенная с души дрогнет и замрет, как перед грозой.

— Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич? Чего уставились? Говорю, летим, все готово, я вас хочу марскомом объявить. Дело чистое.

Лось опустил голову, — так впился глазами Гусев. Спросил тихо:

— Что происходит в городе?

— Черт их разберет. На улицах народ — тучи, рев. Окна бьют.

— Слетайте, Алексей Иванович, но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию, назначайте меня комиссаром, если будет нужно — расстреляйте меня. Но сегодня, умоляю вас, оставьте меня в покое. Согласны?

— Ладно, — сказал Гусев, — эх, от них весь беспорядок, мухи их залягай, — на седьмое небо улети, и там баба. Тьфу! В полночь вернись. Ихощка посмотрит, чтобы донос на меня не было.

Гусев ушел. Лось опять взял книгу и думал:

«Чем кончится? Пройдет мимо гроза любви? Нет, не минует. Рад он этому чувству напряженного, смертельного ожидания, что вот-вот раскроется какой-то невысказанный свет? Не радость, не печаль, не сон, не жажда, не утешение... То, что он испытывает, когда Аэлита рядом с ним, — именно принятие жизни в ледяное одиночество своего тела. Жизнь входит в него по зеркальному полю, под сияющими окнами. Но это тоже ведь сон. Пусть случится то, чего он жаждет. И жизнь возникнет в ней, в Аэлите. Она будет полна осуществлением, трепетной плотью. А ему снова — томление, одиночество».

Никогда еще Лось с такой ясностью не чувствовал безнадежной жажды любви, никогда еще так не понимал этого обмана любви, страшной подмены самого себя — женщиной: проклятие мужского существа. Раскрыть объятия, распахнуть руки от звезды до звезды, — ждать, принять женщину. И она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец, — как пустая тень, раскинувшая руки от звезды до звезды.

Аэлита была права: он напрасно многое узнал за это время, слишком широко раскрылось его сознание. В его теле еще текла горячая кровь, он был весь еще полон тревожными семенами жизни, — сын Земли. Но разум опередил его на тысячу лет: здесь, на иной земле, он узнал то, что еще не нужно было знать. Разум раскрылся и зазял ледяной пустыней. Что раскрыл его разум? Пустыню, и там, за пределом, новые тайны.

Заставь птицу, поющую в нежном восторге, закрыв глаза, в горячем луче солнца, понять хоть краешек мудрости человеческой, — и птица упадет мертвая.

За окном послышался протяжный свист улетающей лодки. Затем в библиотеку просунулась голова Ихти.

— Сын Неба, идите обедать...

Лось поспешно пошел в столовую — белую, круглую комнату, где эти дни обедал с Аэлитой. Здесь было жарко. В высоких вазах у колонн тяжелой духотой пахли цветы. Ихти, отворачивая покрасневшие от слез глаза, сказала:

— Вы будете обедать один, Сын Неба, — и прикрыла прибор Аэлиты белыми цветами.

Лось потемнел. Мрачно сел к столу. К еде не притронулся, — только крошил хлеб и выпил несколько бокалов вина. С зеркального купола — над столом — раздалась, как обычно во время обеда, слабая музыка. Лось стиснул челюсти.

Из глубины купола лились два голоса — струнный и духовой: сходились, сплетались, пели о несбыточном. На высоких, замирающих звуках они расходились, — и уже низкие звуки звали из могилы тоскующими голосами — звали, — перекликались взвол-

нованно, и снова пели о встрече, сближались, кружились, похожи на старый, старый вальс.

Лось сидел, стиснув в кулаке узкий бокал. Иха, зайдя за колонну, приподняла платье и уткнула в него лицо, — у нее тряслись плечи. Лось бросил салфетку и встал. Томительная музыка, духоти цветов, пряное вино — все это было совсем напрасно.

Он подошел к Ихе.

— Могу я видеть Аэлиту?

Не открывая лица, Иха замотала рыжими волосами. Лось взял ее за плечо.

— Что случилось? Она больна? Мне нужно ее видеть.

Иха проскользнула под локтем у Лося и убежала. На полу у колонны осталась оброненная Ихошкой фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме — суконный шлем, ремни на груди, одна рука на рукояти шашки, в другой — револьвер, сзади разрывающиеся гранаты, — подписано: «Прелестной Ихошке на незабываемую память».

Лось швырнул открытку, вышел из дому и зашагал по лугу, к роще. Он делал огромные прыжки, не замечал этого, бормотал:

— Не хочет видеть — не нужно. Попасть в иной мир, — беспримерное усилие, — чтобы сидеть в углу дивана, ждать: когда же, когда, наконец, войдет женщина... Сумасшествие! Одержимость! Гусев прав, — лихорадка. «Нанюхался сладкого». Ждать, как светопреставления, нежного взгляда... К черту!..

Мысли жестоко укалывали. Лось вскрикивал, как от зубной боли. Не соразмеряя силы, подсакивал на сажень в воздух и, падая, едва удерживался на ногах. Белые волосы его развевались. Он люто ненавидел себя.

Он добежал до озера. Вода была, как зеркало, на черно-синей ее поверхности пылали снопы солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень.

Из прозрачной глубины озера медленно поднимались круглые пурпуровые рыбы, шевелили волокнами длинных игл, водяными глазами равнодушно глядели на Лося.

— Вы слышите, рыбы, пучеглазые, глупые рыбы, — вполголоси сказал Лось, — я спокоен, говорю в полной памяти. Меня мучит любопытство, жжет, — взять в руки ее, когда она войдет в черном платье. Услышать, как станет биться ее сердце... Она сама, странным движением, придвинется ко мне... Я буду глядеть, как станут дикими ее глаза... Видите, рыбы, — я остановился, оборвал, не думаю, не хочу. Довольно. Ниточка разорвана, — конец. Завтри в город. Борьба — прекрасно. Смерть — прекрасно. Только — ни музыки, ни цветов, ни лукавого обольщения. Больше не хочу духоты. Волшебный шарик на ее ладони — к черту, к черту, все это обман, призрак!..

Лось поднялся, взял большой камень и швырнул его в стаю рыб. Голову ломило. Свет резал глаза. Вдали сверкала льдами, поднималась из-за рощи острым пиком горная вершина. «Необхо-

димо хлебнуть ледяного воздуха». Лось прищурился на алмазную гору и пошел в том направлении через голубые заросли.

Деревья окончились, перед ним лежало пустынное холмистое плоскогорье, — ледяная вершина была далеко за краем. По пути под ногами валялись шлак и щебень, повсюду — отверстия брошенных шахт. Лось упрямо решил хватить зубами кусок этого вдали сияющего снега.

В стороне, в ложине, поднималось коричневое облако пыли. Горячий ветер донес шум множества голосов. С высоты холма Лось увидел бредущую по сухому руслу канала большую толпу марсиан. Они несли длинные палки с привязанными на концах ножами, кирки, молоты для дробления руды. Брели, спотыкаясь, потрясали оружием и ревели свирепо. За ними, над коричневыми облаками, плыли хищные птицы.

Лось вспомнил давешние слова Гусева о событиях. Подумал: «Вот — живи, борись, побеждай, гибни... А сердце держи на цепи, неистовое, несчастное».

Толпа скрылась за горами. Лось быстро шел, взволнованный движением, борьбой, и вдруг остановился, запрокинул голову. В синей вышине плыла, снижаясь, крылатая лодка. Вот сверкнула, описала круг, все ниже, ниже, скользнула над головой и села.

В лодке поднялся кто-то закутанный в белый мех, белый, как снег. Из-за меха, из-под кожаного шлема глядели на Лося взволнованные глаза Аэлиты. Горячо забилося сердце. Он подошел к лодке. Аэлита отогнула на лице влажный от дыхания мех. Потемневшим взором Лось глядел в ее лицо. Она сказала:

— Я за тобой. Я была в городе. Нам нужно бежать. Я умираю от тоски по тебе.

Лось только стиснул пальцами борт лодки, с трудом передохнул.

ЧАРЫ

Лось сел позади Аэлиты. Механик — краснокожий мальчик — плавным толчком поднял крылатую лодку в небо.

Холодный ветер кинулся навстречу. Белая, как снег, шубка Аэлиты была пропитана грозовой свежестью, горным холодом. Аэлита обернулась к Лосю, щеки ее горели.

— Я видела отца. Он мне велел убить тебя и твоего товарища. — Зубы ее блеснули. Она разжала кулачок. На кольце, на цепочке, висел у нее каменный флакончик. — Отец сказал: пусть они уснут спокойно, они заслужили счастливую смерть.

Серые глаза Аэлиты подернулись влагой. Но сейчас же она рассмеялась, сдернула с пальца кольцо. Лось схватил ее за руку.

— Не бросай, — он взял у нее флакончик и сунул в карман, — это твой дар, Аэлита, — темная капелька — сон, покой. Теперь

и жизнь и смерть — ты. — Он наклонился к ее дыханию. — Когда настанет страшный час одиночества, я снова почувствую тебя и этой капельке.

Силясь понять, Аэлита закрыла глаза, прислонилась спиной к Лосю. Нет, все равно не понять. Шумящий ветер, горячая грудь Лося за спиной, его рука, ушедшая в белый мех на плече, — казалось, кровь их бежит одним круговоротом, в одном восторге, одним телом летят они в какое-то сияющее древнее воспоминание. Нет, все равно не понять!

Прошла минута, немного больше. Лодка поравнялась с высотой Тускубовой усадьбы. Механик обернулся: у Аэлиты и Сына Неба были странные лица. В пустых зрачках их светились солнечные точки. Ветер мял снежную шерсть на шубке Аэлиты. Восторженные глаза ее глядели в океан небесного света.

Мальчик-механик уткнул в воротник острый нос и принялся беззвучно смеяться. Положил лодку на крыло и, разрезая воздух крутым падением, спустился у дома.

Аэлита очнулась, стала растягивать шубку, но пальцы ее скользили по птичьим головкам на больших пуговицах. Лось поднял ее из лодки, поставил на траву и стоял перед ней согнувшись. Аэлита сказала мальчику:

— Приготовь закрытую лодку.

Она не заметила ни Ихошкиных красных глаз, ни желтого, как тыква, перекошенного страхом лица управляющего, — улыбаясь, рассеянно оборачиваясь к Лосю, она пошла впереди него в глубь дома, к себе.

В первый раз Лось увидел комнаты Аэлиты, — низкие золотые своды, стены, покрытые теневыми изображениями, будто фигурками на китайском зонтике, почувствовал кружащий голову горьковатый теплый запах.

Аэлита сказала тихо:

— Сядь.

Лось сел. Она опустилась около его ног, положила голову ему на колени, руки на грудь и более не двигалась.

Он с нежностью глядел на ее пепельные, высоко поднятые на затылке волосы, держал руки. У нее задрожало горло. Лось нагнулся. Она сказала:

— Тебе, быть может, скучно со мной? Прости. Я еще не умею любить. Мне смутно. Я сказала Ихе: «Поставь побольше цветов в столовой, когда он останется один, пусть ему играет улла».

Аэлита оперлась локтями о колени Лося. Лицо ее было мечтательное.

— Ты слушал? Ты понял? Ты думал обо мне?

— Ты видишь и знаешь, — сказал Лось, — когда я не вижу тебя — схожу с ума от тревоги. Когда вижу тебя — тревога страшнее. Теперь мне кажется — тоска по тебе гнала меня через звезды.

Аэлита глубоко вздохнула. Лицо ее казалось счастливым.

— Отец дал мне яд, но я видела — он не верит мне. Он сказал: «Я убью и тебя и его». Нам недолго жить. Но ты чувствуешь — минуты раскрываются бесконечно, блаженно.

Она запнулась и глядела, как вспыхнули холодной решимостью глаза Лося, — рот его сжался упрямо.

— Хорошо, — сказал он, — я буду бороться.

Аэлита придвинулась и зашептала:

— Ты — великан из моих детских снов. У тебя прекрасное лицо. Ты сильный, Сын Неба. Ты мужественный, добрый. Твои руки — из железа, колени — из камня. Твой взгляд смертелен. От твоего взгляда женщины чувствуют тяжесть под сердцем.

Голова Аэлиты без силы легла ему на плечо. Ее бормотание стало неясным, чуть слышным. Лось отвел с лица ее волосы.

— Что с тобой?

Тогда она стремительно обвила его шею, как ребенок. Выступили большие слезы, потекли по ее худенькому лицу.

— Я не умею любить, — сказала она, — я никогда не знала этого... Пожалей меня, не гнушайся мною. Я буду рассказывать тебе интересные истории. Расскажу о страшных кометах, о битве воздушных кораблей, о гибели прекрасной страны по ту сторону гор. Тебе не будет скучно любить меня. Меня никто никогда не ласкал. Когда ты в первый раз пришел, я подумала: «Я его видела в детстве, это родной великан». Мне хотелось, чтобы ты взял меня на руки, унес отсюда. Здесь — мрачно, безнадежно, смерть, смерть. Солнце скудно греет. Лды больше не тают на полюсах. Высыхают моря. Бесконечные пустыни, медные пески покрывают Туму... Земля, Земля... милый великан, унеси меня на Землю. Я хочу видеть зеленые горы, потоки воды, облака, тучных зверей, великанов... Я не хочу умирать...

Аэлита заливалась слезами. Теперь совсем девочкой казалась она Лосю. Было смешно и нежно, когда она всплеснула руками, говоря о великанах.

Лось поцеловал ее в заплаканные глаза. Она затихла. Ротик ее припух. Снизу вверх, влюбленно, как на великана из сказки, она глядела на Сына Неба.

Вдруг в полумраке комнаты раздался тихий свист, и сейчас же вспыхнул облачным светом овал на туалетном столике. Появилась всматривающаяся внимательно голова Тускуба.

— Ты здесь? — спросил он.

Аэлита, как кошка, соскочила на ковер, подбежала к экрану.

— Я здесь, отец.

— Сыны Неба еще живы?

— Нет, отец, — я дала им яд, они убиты.

Аэлита говорила холодно, резко. Стояла спиной к Лосю, заслоня экран.

— Что тебе еще нужно от меня, отец?

Тускуб молчал. Плечи Аэлиты стали подниматься, голова закидывалась. Свиристый голос Тускуба проревел:

— Ты лжешь! Сын Неба в городе. Он во главе восстания! Аэлита покачнулась. Голова отца исчезла.

ДРЕВНЯЯ ПЕСНЯ

Аэлита, Ихошка и Лось летели в четырехкрылой лодке к горам Лизиазиры.

Не переставая работал приемник электромагнитных волн — мачта с отрезками проводов. Аэлита склонилась над крошечным экраном, слушала, всматривалась.

Было трудно разобраться в отчаянных телефонограммах, призывах, криках, тревожных запросах, летящих, кружащихся в магнитных полях Марса. Все же, почти не переставая, бормотал стальной голос Тускуба, прорезывал весь этот хаос, владел им. В зеркальце скользили тени потревоженного мира.

Несколько раз в каше звуков слух Аэлиты улавливал странный голос, вопивший протяжно:

«...Товарищи, не слушайте шептунов... не надо нам никаких уступок... к оружию, товарищи, настал последний час... вся власть сов... сов... сов...»

Аэлита обернулась к Ихошке.

— Твой друг отважен и дерзок, он истинный Сын Неба, не бойся за него.

Ихошка, как коза, топнула ногами, замотала рыжей головой. Аэлите удалось проследить, что бегство их осталось незамеченным. Она сняла с ушей трубки. Пальцами протерла запотевшее стекло иллюминатора.

— Взгляни, — сказала она Лосю, — за нами летят их.

Лодка плыла на огромной высоте над Марсом. С боков лодки, в ослепительном свете, летели на перепончатых крыльях два извивающихся, покрытых бурой шерстью, облезлых животных. Круглые головы их с плоским зубастым клювом были повернуты к окошкам. Вот одно, увидев Лосю, нырнуло и ляскнуло пастью по стеклу. Лось откинул голову. Аэлита рассмеялась.

Миновали Азору. Внизу теперь лежали острые скалы Лизиазиры. Лодка пошла вниз, пролетела над озером Соам и опустилась на просторную площадку, висящую над пропастью.

Лось и механик завели лодку в пещеру, подняли на плечи корзины и вслед за женщинами стали спускаться по едва приметной в скалах, истершейся от древности лестнице вниз в ущелье. Аэлита легко и быстро шла вперед. Придерживаясь за выступы скал, внимательно взглядывала на Лосю. Из-под его огромных ног летели камни, отдавались в пропасти эхом.

— Здесь спускался Магацитл, неся трость с привязанной пряжей, — сказала Аэлита. — Сейчас ты увидишь места, где горели круги священных огней.

На середине пропасти лестница ушла в глубь скалы, в узкий туннель. Из темноты его тянуло влажной сыростью. Широкая по камням плечами, нагибаясь, Лось с трудом двигался между отполированными стенами. Ощупью он нашел плечо Аэлиты и сейчас же почувствовал на губах ее дыхание. Он прошептал по-русски: «Милая».

Туннель окончился полуосвещенной пещерой. Повсюду поблескивали базальтовые колонны. В глубине взлетали легкие клубы пара. Журчала вода, однообразно падали капли с неразличимых в глубине сводов.

Аэлита шла впереди. Ее черный плащ и острый колпачок скользили над озером, скрывались иногда за облаками пара. Она сказала из темноты: «Осторожнее» — и появилась на узкой, крутой арке древнего моста. Лось почувствовал, как под ногами дрожит мостовой свод, но он глядел только на легкий плащ, скользящий в полумраке.

Становилось светлее. Заблестели над головой кристаллы. Пещера окончилась колоннадой из низких каменных столбов. За ними видна была залитая вечерним солнцем перспектива скалистых вершин и горных цирков Лизиазеры.

По ту сторону колоннады лежала широкая терраса, покрытая ржавым мхом. Ее края обрывались отвесно. Едва заметные лесенки и тропинки вели наверх, в пещерный город. Посреди террасы лежал до половины ушедший в почву, покрытый мхами Священный Порог. Это был большой, из массивного золота, саркофаг. Грубые изображения зверей и птиц покрывали его с четырех сторон. Наверху покоилось изображение спящего марсианина, — одна рука его подложена под голову, другая прижимала к груди уллу. Остатки рухнувшей колоннады окружали эту удивительную скульптуру.

Аэлита опустила на колени перед Порогом и поцеловала в сердце изображение спящего. Когда она поднялась, ее лицо было задумчивое и кроткое. Иха тоже присела у ног спящего, обхватила их, прижалась лицом.

С левой стороны, в скале, среди полустертых надписей виднелась треугольная золотая дверца. Лось разгреб мхи и с трудом отворил ее. Это было древнее жилище хранителя Порога — темная пещерка с каменными скамьями, очагом и ложем, высеченным в граните. Сюда внесли корзины. Иха покрыла циновкой пол, постлала постель для Аэлиты, налила масла в висевшую под потолком светильню и зажгла ее. Мальчик-механик ушел сторожить крылатую лодку.

Аэлита и Лось сидели на краю бездны. Солнце уходило за острые вершины. Резкие длинные тени потянулись от гор, ломались в прорывах ущелий. Мрачно, бесплодно, дико было в этом краю, где некогда спасались от людей древние Аолы.

— Когда-то горы были покрыты растительностью, — сказали Аэлита, — здесь паслись стада хашей и в ущельях шумели водопады. Тума умирает. Смыкается круг долгих, долгих тысячелетий. Быть может, мы — последние: уйдем, и Тума опустеет.

Аэлита помолчала. Солнце закатилось невдалеке за драконий хребет скал. Яростная кровь заката полилась в высоту, в лиловую тьму.

— Но сердце мое говорит иное. — Аэлита поднялась и пошла вдоль обрыва, поднимая клочки сухого мха, сухие веточки. Собрала их в край плаща, она вернулась к Лосю, сложила костер, принесли из пещеры светильню и, опустившись на колени, подожгла травы. Костер затрещал, разгораясь.

Тогда Аэлита вынула из-под плаща маленькую уллу и, сидя, опираясь локтями о поднятое колено, тронула струны. Они нежно, как пчелы, зазвенели. Аэлита подняла голову к проступающим во тьме ночи звездам и запела негромким, низким, печальным голосом:

Собери сухие травы, помет животных и обломки ветвей,
Сложи их прилежно,
Ударь камнем о камень, — женщина, водительница двух душ.
Высеки искру, — и запылает костер.
Сядь у огня, протяни руки к пламени.
Муж твой сидит по другую сторону пляшущих языков.
Сквозь струи уходящего к звездам дыма
Глаза мужчины глядят в темноту твоего чрева, в дно души.
Его глаза ярче звезд, горячей огня, смелее фосфорических глаз ча.
Знай, — потухшим углем станет солнце, укатятся
Звезды с неба, погаснет злой Талцетл над миром, —
Но ты, женщина, сидишь у огня бессмертии, протянув к нему руки,
И слушаешь голоса ждущих пробуждения к жизни,
Голоса во тьме твоего чрева.

Костер догорал. Опустив уллу на колени, Аэлита глядела на угли, — они озаряли красноватым жаром ее лицо.

— По древнему обычаю, — сказала она сурово, — женщина, спевшая мужчине песню уллы, становится его женой.

ЛОСЬ ЛЕТИТ НА ПОМОЩЬ ГУСЕВУ

В полночь Лось выскочил из лодки на дворе Тускубовой усадьбы. Окна дома были темны, — значит, Гусев еще не вернулся. Покатая стена освещена звездами, голубоватые искры их поблескивали в черноте стекол. Из-за зубцов крыши торчала острым углом странная тень. Лось вглядывался, — что бы это могло быть?

Мальчик-механик наклонился к нему и шепнул опасно:

— Не ходите туда.

Лось вытащил из кобуры маузер. Втянул ноздрями холодноватый воздух. В памяти встал огонь костра над пропастью, запах горящих трав. Потемневшие, горячие глаза Аэлиты... «Вернешься? — спросила она, стоя над огнем. — Исполни долг, борись».

победи, но не забывай, — все это лишь сон, все тени... Здесь, у огня, — ты жив, ты не умрешь. Не забывай, вернись...» Она подошла близко. Ее глаза у самых его глаз раскрывались в бездонную ночь, полную звездной пыли: «Вернись, вернись ко мне, Сын Неба...»

Воспоминание обожгло и погасло, — длилось всего секунду, куда Лось расстегивал кобуру револьвера. Вглядываясь в странную тень по ту сторону дома, над крышей, Лось чувствовал, как мышцы его напрягаются, горячая кровь сотрясает сердце, — борьба, борьба.

Легко, прыжками, он побежал к дому. Прислушался, скользнул вдоль боковой стены и заглянул за угол. Близ входа в дом лежал, завалившись набок, разбитый корабль. Одно его крыло поднималось над крышей к звездам... Лось различил несколько валявшихся на траве точно мешков, — это были трупы. В доме — темнота, тишина.

«Неужели — Гусев?» Лось подбежал к убитым. «Нет, марсиане». Один лежал вниз головой на ступенях. Еще один висел среди обломков корабля. Видимо, были убиты выстрелами из дома.

Лось взбежал на лестницу. Дверь была приоткрыта. Он вошел в дом.

— Алексей Иванович, — позвал Лось.

Было тихо. Он включил освещение, — вспыхнул огнями весь дом. Подумал: «Неосторожно», — и сейчас же забыл об этом. Проходя под арками, поскользнулся в липкую лужицу.

— Алексей Иванович! — закричал Лось.

Прислушался, — тишина. Тогда он прошел в узкое зальце с туманным зеркалом, сел в кресло, захватил ногтями подбородок. «Ждать его здесь? Лететь на помощь? Но куда? Чей это разбитый корабль? Мертвые не похожи на солдат, — скорее всего — рабочие. Кто здесь дрался? Гусев? Люди Тускуба? Да, медлить нельзя».

Он взял цифровую доску и включил зеркало: «Площадь Дома Высшего совета инженеров». Дернул шнур, и сейчас же грохотом отшвырнуло его от зеркала: там, в красноватом сиянии фонарей, летели клубы дыма, чиркали огненные вспышки, искры. Вот влетела, раскинув руки, в зеркало чья-то фигура с залитыми кровью глазами.

Лось дернул за шнур. Отвернулся от экрана.

«Неужели он не даст знать, где искать его в этой каше?»

Лось заложил руки за спину и ходил, ходил по низкому зальцу. Вздрогнул, остановился, живо обернулся, щелкнул предохранителем маузера. Из-за двери, у самого пола, высовывалась голова — красные вихры, красное морщинистое лицо.

Лось подскочил к двери. По ту ее сторону лежал у стены в луже крови марсианин. Лось взял его на руки, понес и положил в кресло. У него был разодран живот.

Облизнув губы, марсианин проговорил едва слышно:

— Спешите, мы погибаем, Сын Неба, спаси нас... Разожми мне руку...

Лось разжал коченеющий кулачок умирающего, отодрал от ладони записочку. С трудом разобрал:

«Посылаю за вами военный корабль и семь человек рабочих, — ребята надежные. Я осаждаю Дом Высшего совета инженеров. Спускайтесь рядом на площади, где башня. Гусев».

Лось нагнулся к раненому — спросить, что здесь произошло. Но марсианин только хрипел, дергаясь в кресле.

Тогда Лось взял его голову в ладони. Марсианин перестал хрипеть. Глаза его выкатились. Ужас, блаженство осветило их: «Спаси...» Глаза подернулись пылью, оскалился рот.

Лось застегнул куртку, обмотал шею шарфом. Пошел к выходу. Но едва отворил дверь, впереди, из-за остова корабля, метнулись синеватые искорки; раздался слабый, режущий треск. Пулей сорвало шлем с головы Лося.

Стиснув зубы, Лось кинулся вниз по лестнице, подскочил к кораблю, навалился плечом, — мускулы хрустнули, и он опрокинул остов корабля на тех, кто таился позади него в засаде.

Раздался треск ломающегося металла, птичьих крики марсиан; огромное крыло мотнулось по воздуху и прилепнуло уползавших из-под обломков. Пригибающиеся фигуры побежали зигзагами по туманной лужайке. Лось одним прыжком догнал их, выстрелил. Грохот маузера был ужасен. Ближайший марсианин ткнулся в траву. Другой бросил ружье, присел, закрыл лицо руками.

Лось взял его за воротник серебристой куртки и поднял, как щенка. Это был солдат: Лось спросил:

— Ты послан Тускубом?

— Да, Сын Неба.

— Я тебя убью.

— Хорошо, Сын Неба.

— На чем вы прилетели? Где корабль?

Вися перед страшным лицом Сына Неба, марсианин расширенными от ужаса глазами указал на деревья: в тени их стояла небольшая военная лодка.

— Ты видел в городе Сына Неба? Ты можешь его найти?

— Да.

— Вези.

Лось вскочил в военную лодку. Марсианин сел к рулям. Взвыли винты. Ночной ветер кинулся навстречу. Закачались в черной высоте огромные дикие звезды.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУСЕВА ЗА ИСТЕКШИЙ ДЕНЬ

В десять часов утра Гусев вылетел из Тускубовой усадьбы в Соацеру, имея на борту лодки авиационную карту, оружие, довольствие и шесть штук ручных гранат, — их он, тайно от Лося, захватил еще в Петрограде.

В полдень Гусев увидел внизу Соацеру. Центральные улицы были пустыни. У Дома Совета инженеров, на огромной звездобразной площади, стояли военные корабли и войска — тремя концентрическими полукругами.

Гусев стал снижаться. И вот — его, очевидно, заметили. С площади снялся шестикрылый сверкающий корабль, — трепеща в лучах солнца, взвился отвесно. Вдоль бортов его стояли серебристые фигурки. Гусев описал над кораблем круг. Осторожно вытащил из мешка гранату.

На корабле завертелись цветные колеса, зашевелились проволочные волосы на мачте.

Гусев перегнулся из лодки и погрозил кулаком. На корабле раздался слабый крик. Серебристые фигурки подняли коротенькие ружья. Вылетели желтенькие дымки. Запели пули. Отлетел кусок борта у лодки.

Гусев выругался веселым матом. Поднял рули. Кинулся вниз на корабль. Пролетая вихрем над ним, бросил гранату. Он услышал, как позади громыхнул оглушительный взрыв. Выправил рули и обернулся. Корабль неряшливо перевертывался в воздухе, дымя и разваливаясь, и рухнул на крыши.

С этого тогда все началось.

Пролетая над городом, Гусев узнавал виденные им в зеркале площади, правительственные здания, арсенал, рабочие кварталы. У длинной фабричной стены волновалась, точно потревоженный муравейник, многотысячная толпа марсиан. Гусев снизился. Толпа шарахнулась в стороны. Он сел на очищенное место, скаля зубы.

Его узнали. Поднялись тысячи рук, заревели глотки: «Магацитл, Магацитл!» Толпа робко стала придвигаться. Он видел дрожащие лица, умоляющие глаза, красные, как редиска, облезлые черепа. Это все были рабочие, чернь, беднота.

Гусев вылез из лодки, вскинул на плечо мешок, широко провел рукой по воздуху.

— С приветом, товарищи! — Стало тихо, как во сне. Гусев казался великаном среди щуплого народца. — Разговаривать здесь собрались, товарищи, или воевать? Если разговаривать, мне некогда, прощайте.

По толпе пролетел тяжкий вздох. Отчаянными голосами крикнули несколько марсиан, и толпа подхватила их крики:

— Спаси, спаси, спаси нас, Сын Неба!

— Значит, воевать хотите? — сказал Гусев и рявкнул хриплой глоткой: — Бой начался. Сейчас на меня напал военный корабль. Я сбил его к чертям. К оружию, за мной! — Он схватил воздух, точно уздечку.

Сквозь толпу протискался Гор (Гусев его сразу узнал). Гор был серый от волнения, губы прыгали. Вцепился пальцами в грудь Гусеву.

— Что вы говорите? Куда вы нас зовете? Нас уничтожат. У нас нет оружия. Нужны иные средства борьбы...

Гусев отодрал от себя его руки.

— Главное оружие — решиться. Кто решился, у того и власти. Не для того я с Земли летел, чтобы здесь разговаривать... Для того я с Земли летел, чтобы научить вас решиться. Мхом обросли, товарищи марсиане. Кому умирать не страшно, — за мной. Где у вас арсенал? За оружием! Все за мной, в арсенал!..

— Ай-яй! — завизжали марсиане.

Началась давка. Гор отчаянно протянул руки к толпе.

Так началось восстание. Вождь нашелся. Головы пошли кругом. Невозможное показалось возможным. Гор, медленно и научно подготавливавший восстание и даже после вчерашнего медливший и не решавшийся, вдруг точно проснулся. Он произнес двенадцать бесшумных речей, переданных в рабочие кварталы туманными зеркалами. Сорок тысяч марсиан стали подтягиваться к арсеналу. Гусев разбил наступавших на небольшие кучки, и они перебежали под прикрытием домов, памятников, деревьев. Он распорядился поставить у всех контрольных экранов, по которым правительство следило за движением в городе, женщин и детей и велел им выдти ругать Тускуба. Эта азиатская хитрость усыпила на некоторое время бдительность правительства.

Гусев боялся воздушной атаки военных кораблей. Чтобы хотя ненадолго отвлечь внимание, он послал пять тысяч безоружных марсиан в центр города — кричать, просить теплой одежды, хлеба, хавры. Он сказал им:

— Никто из вас живым оттуда не вернется. Это вы помните. Идите.

Пять тысяч марсиан одной глоткой закричали: «Ай-яй!» — раз вернули огромные зонтики с надписями и пошли умирать, запели унылым воем старую запретную песню:

Под стеклянными крышами,
Под железными арками,
В каменном горшке
Дымится хавра.
Нам весело, весело.
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!
Ай-яй! Мы не вернемся
В шахты, в каменоломни,
Мы не вернемся
В страшные, мертвые коридоры,
К машинам, к машинам.
Жить мы хотим. Ай-яй! Жить!
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!

Крутя огромные зонтики, завывая, они скрылись в узких улицах. Арсенал, низкое квадратное здание в старой части города, охранялся небольшой воинской частью. Солдаты стояли полукругом на площади перед окованными бронзой воротами, прикрывая дикими странными машинами из проволочных спиралей, дисков и шаров (такую штуку Гусев видел в заброшенном доме). По множеству крытых переулочков наступающие подошли и обложили арсенал: стены его были отвесны и прочны.

Выглядывая из-за углов, перебегая за деревьями, Гусев осмотрел позицию, — ясно: арсенал надо было брать в лоб, в ворота. Гусев велел выворотить в одном из подъездов бронзовую дверь и обмотать ее веревками. Наступающим приказал кидаться лавой, визжать — ай-яй! — как можно страшнее.

Солдаты, охранявшие ворота, спокойно поглядывали на суету в переулочках, лишь машины были выдвинуты вперед, и по спиральям их трещал лиловый свет. Указывая на них, марсиане жмурились и тихо свистали: «Бойся их, Сын Неба».

Времени терять нельзя было.

Гусев расставил ноги, взялся за веревки и поднял бронзовую дверь, — была тяжела, но ничего, нести можно. Так он прошел под прикрытием домовой стены до края площади, оттуда — рукой подать до ворот. Шепотом приказал своим: «Готовься». Вытер рукавом лоб, подумал: «Эх, рассердиться бы сейчас». Поднял дверь, прикрылся ею.

— Даешь арсенал!.. Даешь, тудыть твою в душу, арсенал! — заорал он не своим голосом и тяжело побежал по площади к солдатам.

Булькнуло несколько выстрелов, режущими разрывами ударило в дверь. Гусев зашатался. Рассердился всерьез и побежал шибче, ругаясь скверными словами. А вокруг уже завывли, завизжали марсиане, посыпались изо всех углов, подъездов, из-за деревьев. В воздухе разорвался громовой шар. Но хлынувшие потоки наступающих смяли солдат и страшные машины.

Гусев, ругаясь, добежал до ворот и ударил в замок углом бронзовой двери. Ворота затрещали и распались. Гусев вбежал на квадратный двор, где рядами стояли крылатые корабли.

Арсенал был взят. Сорок тысяч марсиан получили оружие. Гусев соединился по зеркальному телефону с Домом Совета инженеров и потребовал выдачи Тускуба.

В ответ на это правительство послало воздушную эскадрилью атаковать арсенал... Гусев вылетел ей навстречу со всем флотом. Корабли правительства бежали. Их догнали, окружили и уничтожили над развалинами древней Соацеры. Корабли падали с неба к ногам гигантской статуи Магацитла, улыбающегося с закрытыми глазами. Свет заката мерцал на его чешуйчатом шлеме.

Небо было во власти восставших. Правительство стягивало полицейские войска к Дому Совета. На крыше его были поставлены машины, посылающие огненные ядра — круглые молнии. Часть повстанческого флота была ими сбита с неба. К ночи Гусев осадил площадь Дома Высшего совета и стал строить баррикады в улицах, разбегающихся звездой от площади. «Научу я вас революции устраивать, черти кирпичные», — говорил Гусев, показывая, как нужно выворачивать плиты из мостовой, валить деревья, срывать двери, набивать рубашки песком.

Насупротив Дома Высшего совета поставили две захваченные в арсенале машины и стали бить из них огненными ядрами по войскам. Но правительство закутало площадь электромагнитным полем.

Тогда Гусев произнес последнюю за этот день речь, очень короткую, но выразительную, влез на баррикаду и швырнул одну из другой три ручных гранаты. Сила их взрыва была ужасна: метнулись три снопа пламени, полетели в воздух камни, солдаты, куски машин, площадь закуталась пылью и едким дымом. Марсиане завывали и пошли на приступ. (Это была именно та минута, когда Лось взглянул в туманное зеркало в Тускубовой усадьбе.)

Правительство сняло магнитное поле, и с обеих сторон запрыгали над площадью, над дерущимися, затанцевали огненные мичики, лопаясь ручьями синеватого пламени. От грохота дрожали мрачные пирамидальные дома.

Бой продолжался недолго. По площади, покрытой трупами, Гусев ворвался, во главе отборного отряда, в Дом Высшего совета. Дом был пуст. Тускуб и все инженеры бежали.

ПОВОРОТ СОБЫТИЙ

Войска повстанцев заняли все важнейшие пункты города, уксанные Гором. Ночь была прохладная. Марсиане мерзли на постах. Гусев распорядился зажечь костры. Это показалось неслыханным — вот уже тысячу лет в городе не зажигали огня, — о пляшущем пламени пелось лишь в древней песне.

Перед Домом Высшего совета Гусев сам зажег первый костер из обломков мебели. «Улла, улла», — тихими голосами завывали марсиане, окружив огонь. И вот костры запылали на всех площадях. Красноватый свет оживил колеблющимися тенями покатые стены домов, мерцал в стеклах.

За окнами появились голубоватые лица, — тревожно, в тоске, всматривались они в невиданные огни, в мрачные, оборванные фигуры повстанцев. Многие из домов опустели этой ночью.

Было тихо в городе. Только потрескивали костры, звенело оружие, словно возвратились на пути свои тысячелетия, снова начался томительный их полет. Даже мохнатые звезды над улицами, над кострами казались иными, — невольно сидящий у костра поднимал голову и всматривался в забытый, словно оживший, рисунок. Гусев облетал на крылатом седле расположение войск. Он падал из звездной темноты на площадь и ходил по ней, бросая гигантскую тень. Он казался истинным Сыном Неба, истуканом, сошедшим с каменного цоколя. «Магацитл, Магацитл», — в суеверном ужасе шептали марсиане. Многие впервые видели его и подползали, чтобы коснуться. Иные плакали детскими голосами: «Теперь мы не умрем... Мы станем счастливыми... Сын Неба принес нам жизнь».

Худые тела, прикрытые пыльной, однообразной для всех одеждой, морщинистые, востроносенькие, дряблые лица, печальные глаза, веками приученные к мельканию колес, к сумраку шахт, тощие руки, неумелые в движениях радости и смелости, — руки, лица, глаза с искрами костров — тянулись к Сыну Неба.

— Не робей, не робей, ребята. Гляди веселей, — говорил им Гусев, — нет такого закону, чтобы страдать безвинно до скончания века, — не робей. Одолеем — заживем неплохо.

Поздно ночью Гусев вернулся в Дом Совета, — продрог и был голоден. В сводчатом зальце, под низкими золотыми арками, спали на полу десятка два марсиан, увешанных оружием. Зеркальный пол был заплеван жеваной хаврой. Посреди зальца на патронных жестянках сидел Гор и писал при свете электрического фонарика. На столе валялись открытые консервы, фляжки, корки хлеба.

Гусев присел на угол стола и стал жадно есть. Вытер руки о штаны, хлебнул из фляжки, крикнул, сказал хрипло:

— Где противник? Вот что мне надо...

Гор поднял на него покрасневшие глаза, оглядел окровавленную тряпку, обмотанную вокруг головы Гусева, его крепко жующее, скуластое лицо, — усы торчком, раздутые ноздри.

— Не могу добиться, куда, к дьяволу, девались правительственные войска, — продолжал Гусев, — валяется на площади ихних сотни три, а войск было не меньше пятнадцати тысяч. Провалились. Попрятаться не могли, — не иголка. Если бы провалились, я бы знал. Скверное положение. Каждую минуту неприятель может в тылу оказаться.

— Тускуб, правительство, остатки войск и часть населения ушли в лабиринты царицы Магр под город, — сказал Гор.

Гусев соскочил со стула.

— Почему же вы молчите?

— Преследовать Тускуба бесполезно. Сядьте и ешьте, Сын Неба. — Гор, морщась, достал из-под одежды красноватую, как перец, пачку сухой хавры, засунул ее за щеку и медленно жевал. Глаза его покрылись влагой, потемнели, морщины разошлись. — Несколько тысячелетий тому назад мы не строили больших домов, мы не могли их отапливать, — электричество было нам неизвестно. В зимние стужи население уходило под поверхность Марса, на большую глубину. Огромные залы, приспособленные из прорытых водою пещер, колоннады, туннели, коридоры согревались внутренним жаром планеты. В жерлах вулканов жар был настолько велик, что мы воспользовались им для добывания пара. До сих пор на некоторых островах еще работают неуклюжие паровые машины тех времен. Туннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти под всей планетой. Искать Тускуба в этом лабиринте бессмысленно. Он один знает планы и тайники лабиринта царицы Магр — повелительницы двух миров, владевшей некогда всем Марсом. Изпод Соацеры сеть туннелей ведет к пятистам живым городам и к более тысячи мертвых, вымерших. Там повсюду склады оружия, живани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены. У Тускуба — армия, на его стороне — владельцы сельских поместий, плантаторы хавры и все те, кто тридцать лет

тому назад, после опустошительной войны, стали собственниками городских домов. Тускуб умен и вероломен. Он нарочно вызвал все эти события, чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления. Ах, золотой век... Золотой век!..

Гор замотал одурманенной головой. На щеках его выступили лиловые пятна. Хавра начинала действовать на него.

— Тускуб мечтает о золотом веке: открыть последнюю эпоху Марса — золотой век. Только избранные войдут в него, только достойные блаженства. Равенство недостижимо, равенства нет. Все общее счастье — бред сумасшедших, опьяненных хаврой. Тускуб сказал: жажда равенства и всеобщая справедливость разрушают нынешние достижения цивилизации. — На губах у Гора показалась красноватая пена. — Идти назад, к неравенству, к несправедливости! Пусть на нас кинутся, как их, минувшие века. Заковать рабов, приковать к машинам, к станкам, спустить в шахты. Пусть — полнота скорби. И у блаженных — полнота счастья. Вот золотой век. Скрежет зубов и мрак. Будь прокляты отец мой и мать! Родиться на свет! Будь я проклят!

Гусев глядел на него, шибко жевал папироску:

— Ну, я вам скажу, — вы дожили здесь!..

Гор долго молчал, согнувшись на патронных жестянках, как древний-древний старик.

— Да, Сын Неба. Мы, населяющие древнюю Туму, не разрешили загадки. Сегодня я видел вас в бою. В вас огнем пляшет веселье. Вы мечтательны, страстны и беспечны. Вам, сынам Земли, когда-нибудь разгадать загадку. Но не нам, мы — стары. В них пепел. Мы упустили свой час.

Гусев подтянул кушак.

— Ну, хорошо. Пепел! Завтра предполагаете — что делать?

— Наутро нужно отыскать по зеркальному телефону Тускуба и войти с ним в переговоры о взаимных уступках...

— Вы, товарищ, целый час чепуху несете, — перебил Гусев, — вот вам диспозиция на завтра: вы объявите Марсу, что власть перешла к рабочим. Требуйте безусловного подчинения. А я побегу молодых и со всем флотом двину прямо на полюсы, захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать Земле, в Москву, чтобы слали нам подкрепление как можно скорее. В полгода они аппараты построят, а лететь всего...

Гусев пошатнулся и тяжело сел на стол, весь дом дрожал. Из темноты сводов посыпались лепные украшения. Спавшие на полу марсиане вскочили, озирались. Новая, еще более сильная дрожь потрясла дом. Зазвенели разбитые стекла. Распахнулись двери Низкий, усиливающийся раскатами грохот наполнил залу. Раздвинулись крики на площади, выстрелы.

Марсиане, кинувшиеся к дверям, попятнулись, раздались. Вошел Сын Неба — Лось. Трудно было узнать его лицо: огромные глаза вылились и были темны, странный свет шел из его глаз. Марсиане пугались от него, садились на корточки. Белые волосы его стояли дыбом

Город окружен, — сказал Лось громко и твердо, — небо полно огнями кораблей. Тускуб взрывает рабочие кварталы.

КОНТРАТАКА

Лось и Гор выходили в эту минуту на лестницу дома, под колоннаду, когда раздался второй взрыв. Синеватым веером взлетело пламя в северной стороне города. Отчетливо стали видны вздымающиеся клубы дыма и пепла. Вслед грохоту пронесся вихрь. Багровое зарево ползло на полнеба.

Теперь ни одного крика не раздавалось на звездообразной площади, полной войск. Марсиане молча глядели на зарево. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма.

Гусев после короткого совещания с Лосем и Гором распорядился приготовить воздушный флот к бою. Все корабли были в арсенале. Лишь пять этих огромных стрекоз лежали на площади. Гусев послал их в разведку. Корабли взвились — блеснули огнем их крылья.

Из арсенала ответили, что приказание получено и посадка войск на корабли началась. Прошло неопределенно много времени. Дымовое зарево разгоралось. Было зловеще и тихо в городе. Гусев поминутно посылал марсиан к зеркальному телефону торопить посадку. Сам он огромной тенью метался по площади, хрипло кричал, строя беспорядочные скопления войск в колонны. Подходя к лестнице, ощеривался, — усы вставали дыбом.

— Да скажите вы им в арсенале (следовало непонятное Гору выражение), — живее, живее...

Гор ушел к телефону. Наконец была получена телефонограмма, что посадка окончена, корабли снимаются. Действительно, невысоко над городом, в густом зареве появились парящие стрекозы. Гусев, расставив ноги, задрал голову, с удовольствием глядел на эти журавлиные линии. В это время раздался третий, наиболее сильный взрыв.

Мечи синеватого пламени пронизали путь кораблям, — они взлетели, закружились и исчезли. На месте их поднялись снопы праха, клубы дыма.

Между колонн появился Гор. Голова его ушла в плечи. Лицо дрожало, рот растянулся. Когда утих грохот взрыва, Гор сказал:

— Взорван арсенал. Флот погиб.

Гусев сухо крикнул, — стал грызть усы. Лось стоял, прижавшись затылком к колонне, глядел на зарево. Гор поднялся на цыпочках к его остекленевшим глазам.

— Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых.

Лось не ответил. Гусев упрямо мотнул головой и пошел на площадь. Раздалась его команда. И вот, колонна за колонной, пошли марсиане в глубину улиц, на баррикады.

Крылатая тень Гусева пролетела в седле над площадью, крича сверху:

— Живей, живей, поворачивайся, черти дохлые!

Площадь опустела. Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз: они взлетали, волна за волной, из-за горизонта и плыли над городом. Это были корабли Тускуба.

Гор сказал:

— Бегите, Сын Неба, вы еще можете спастись.

Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Навстречу им из темноты улиц взвился огненный шар, второй, третий. Это стреляли круглыми молниями машины повстанцев. Вереницы крылатых галер описывали круг над площадью и, разделяясь, плыли над улицами, над крышами. Непереставаемые вспышки выстрелов озаряли их борта. Одна галера перевернулась и, падая, застряла изломанными крыльями между крыш. Иные сидели на углах площади, высаживали солдат в серебристых куртках. Солдаты бежали в улицы. Началась стрельба из окон, из-за углов. Летели камни. Кораблей налетало все больше, не переставая скользили багровые тени по площади.

Лось увидел, — недалеке, на уступчатой террасе дома, поднялась плечистая фигура Гусева. Пять-шесть кораблей сейчас же повернули в его сторону. Он поднял над головой огромный камень и швырнул его в ближайшую из галер. Сейчас же сверкающие крылья закрыли его со всех сторон.

Тогда Лось побежал туда через площадь, — почти летел, как во сне. Над ним, сердито ревя винтами, треща, озаряясь вспышками, закружились корабли. Он стиснул зубы, глаза зорко отмечали каждую мелочь.

Несколькими прыжками Лось миновал площадь и снова увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами, — ворочался, как медведь, под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. Оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собою. Упал.

Лось вскрикнул громким голосом. Цепляясь за выступы домов, взобрался на террасу. Снова из кучи визжавших тел появилась, с выпученными глазами, с разбитым ртом, голова Гусева. Несколько солдат вцепились в Лосю. С омерзением он отшвырнул их, кинулся к ворочающейся куче и стал раскидывать солдат, — они летели через балюстраду, как щепки. Терраса опустела. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил и раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом.

Гусев хрипел. Лось вернулся к двери. Мимо террасы проплывали корабли, проплывали всматривающиеся востроносые лица. Надо было ожидать нападения.

— Мстислав Сергеевич, — позвал Гусев. Он теперь сидел, трогая голову, и плюнул кровью. — Всех наших побили... Мстислав Сергеевич, что же это такое? Как налетели, налетели, начали ко-

сильно... Кто убитый, кто попрыгался. Один я остался... Ах, жадность! — Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился перед бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменитого марсианина. — Ну погоди! — Схватил статую и кинулся к двери.

— Алексей Иванович, зачем?

— Не могу. Пусти.

Он появился на террасе. Из-за крыльев мимо проплывающего корабля блеснули выстрелы. Затем раздался удар, треск.

— Ага! — закричал Гусев.

Лось втащил его в комнату и захлопнул дверь.

— Алексей Иванович, поймите — мы разбиты, все кончено...

Нужно спасти Аэлигу.

— Да что вы ко мне с бабой вашей лезете...

Он быстро присел, схватился за лицо, засопел, топнул ногой и — точно доску внутри него стали разрывать:

— Ну, и пусть кожу с меня дерут. Неправильно все на свете. Неправильная эта планета, будь она проклята! «Спаси, говорят, спаси нас...» Цепляются... «Нам, говорят, хоть бы как-нибудь да пожить...» Пожить!.. Что я могу?.. Вот кровь свою пролил. Задавили. Мстислав Сергеевич, ну, ведь сукин же я сын, — не могу я этого видеть... Зубами мучителей разорву...

Он опять засопел и пошел к двери. Лось взял его за плечи, встряхнул, твердо взглянул в глаза.

— То, что произошло, — кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся. Домой, на Землю.

Гусев мазнул кровь и грязь по лицу.

— Идем.

Они вышли из комнаты на кольцеобразную площадку, висящую над широким колодцем. Винтовая лестница спиралью уходила вниз по внутреннему его краю. Тусклый свет зарева проникал сквозь стеклянную крышу в эту головокружительную глубину.

Лось и Гусев стали спускаться по узкой лестнице, — там внизу было тихо. Но наверху все сильнее трещали выстрелы, скрипели, задевая о крышу, днища кораблей. Видимо, началась атака на последнее прибежище Сынов Неба.

Лось и Гусев бежали по бесконечным спиральям. Свет тускнел. И вот они различили внизу маленькую фигурку. Она едва ползла навстречу. Остановилась, слабо крикнула:

— Они сейчас ворвутся. Спешите. Внизу — ход в лабиринт.

Это был Гор, раненный в голову. Облизывая губы, он сказал:

— Идите большими туннелями. Следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на Землю, расскажите о нас. Быть может, вы на Земле будете счастливы. А нам — ледяные пустыни, смерть, тоска... Ах, мы упустили час... Нужно было свирепо и властно, властно любить жизнь...

Внизу послышался шум. Гусев побежал вниз. Лось хотел было увлечь за собой Гору, но марсианин стиснул зубы, вцепился в перила.

— Идите. Я хочу умереть.

Лось догнал Гусева. Они миновали последнюю кольцеобразную площадку. От нее лесенка круто спускалась на дно колодца. Здесь они увидели большую каменную плиту с ввернутым кольцом, — с трудом приподняли ее: из темного отверстия подул сухой ветер.

Гусев соскользнул вниз первым. Лось, задвигая за собою плиту, увидел, как на кольцеобразной площадке появились едва различимые в красном сумраке фигуры солдат.

Они побежали по винтовой лестнице. Гор протянул им руки навстречу и упал под ударами.

ЛАБИРИНТ ЦАРИЦЫ МАГР

Лось и Гусев осторожно двигались в затхлой и душной темноте.

— Заворачиваем, Мстислав Сергеевич...

— Узко?

— Широко, руки не достают.

— Опять какие-то колонны. Стой! Где же мы...

...Не менее трех часов прошло с тех пор, как они спустились в лабиринт. Спички были израсходованы. Фонарик Гусев обронил еще во время драки. Они двигались в непроницаемой тьме.

Туннели бесконечно разветвлялись, скрещивались, уходили в глубину. Слышался иногда четкий, однообразный шум падающих капель. Расширенные глаза различали неясные, сероватые очертания, но эти зыбкие пятна были лишь галлюцинациями темноты.

— Стой.

— Что?

— Дна нет.

Они стали прислушиваться. В лицо им тянул сладкий, сухой ветерок. Издалека, словно из глубины, доносились какие-то вздохи — вдыхание и выдыхание. С неясной тревогой они чувствовали, что перед ними пустая глубина. Гусев пошарил под ногами камень и бросил его в темноту. Спустя немного секунд донесся слабый звук падения.

— Провал.

— А что это дышит?

— Не знаю.

Они повернули и встретили стену. Шарили направо, налево, — ладони скользили по обсыпавшимся трещинам, по выступам суставов. Край невидимой пропасти был совсем близко от стены, — то справа, то слева, то опять справа. Они поняли, что закружились и не найти прохода, по которому вошли на этот узкий карниз.

Они прислонились рядом, плечо к плечу, к шершавой стене. Стояли, слушая усыпительные вздохи из глубины.

— Конец, Алексей Иванович?

— Да, Мстислав Сергеевич, видимо — конец.

После молчания Лось спросил странным голосом, негромко:

— Сейчас — ничего не видите?

— Нет.

— Налево, далеко.

— Нет, нет.

Лось прошептал что-то про себя, переступил с ноги на ногу.

— Свирепо и властно любить жизнь... Только так...

— Вы про кого?

— Про них. Да и про нас.

Гусев тоже переступил, вздохнул.

— Вот она, слышите, дышит.

— Кто, — смерть?

— Черт ее знает кто. — Гусев заговорил, словно в раздумье. — Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич. Лежишь в поле с винтовкой, дождик, темно. О чем ни думай — все к смерти вернешься. И видишь себя, — валяешься ты оскаленный, окоченелый, как обозная лошадь, сбоку дороги. Не знаю я, что будет после смерти, — этого не знаю. Но мне здесь, покуда я живой, нужно знать: падаль лошадиная или я человек? Или это все равно? Когда буду умирать, глаза закачу, зубы стисну, судорогой сломает, — кончился... в эту минуту — весь свет, все, что я моими глазами видел, — перевернется или не перевернется? Вот что страшно, валяюсь я мертвый, оскаленный, — это я-то, ведь я себя с трех лет помню... а все на свете продолжает идти своим порядком? Это непонятно. С девятьсот четырнадцатого людей убиваем, и мы привыкли — что такое человек? — приложился в него из винтовки, вот тебе и человек. Нет, Мстислав Сергеевич, это не так просто. Я ночью раз на возу лежал, раненый, кверху носом, — поглядываю на звезды. Тоска, тошно. Вошь, думаю, да я, — не все ли равно. Вше пить, есть хочется, и мне. Вше умирать трудно, и мне. Один конец. В это время гляжу — звезды высыпали, как просо, — осень была, август. Как задрожит у меня селезенка. Показалось мне, Мстислав Сергеевич, будто все звезды — внутри меня. Нет, я — не вошь. Нет. Как зальюсь я слезами. Что это такое? Человек — не вошь. Расколоть мой череп — ужасное дело, великое покушение. А то — ядовитые газы выдумали. Жить я хочу, Мстислав Сергеевич. Не могу я в этой темноте проклятой... Что мы стоим, в самом деле...

— Она здесь, — сказал Лось тем же странным голосом.

В это время издалека, по бесчисленным туннелям пошел грохот. Задрожал карниз под ногами, дрогнула стена. Посыпались в тьму камни. Волны грохота прокатились и, уходя, затихли. Это был седьмой взрыв. Тускуб сдержал свое слово. По отдаленности взрыва можно было определить, что Соацера осталась далеко на западе.

Некоторое время шуршали падающие камешки. Стало тихо, еще тише. Гусев первый заметил, что прекратились вздохи в глубине. Теперь оттуда шли странные звуки — шорох, шипение, казалось — там закипала какая-то мягкая жидкость. Гусев теперь точно обезумел — раскинул руки по стене и побежал, вскрикивая, ругаясь, отшвыривая камни.

— Карниз кругом идет. Слышите? Должен быть выход. Черт, голову расшиб! — Некоторое время он двигался молча, затем проговорил взволнованно откуда-то впереди Лося, продолжавшего неподвижно стоять у стены: — Мстислав Сергеевич... Ручка... Рубильник... Ей-ей, рубильник...

Раздался визжащий, ржавый скрип. Пыльный свет вспыхнул под низким кирпичным куполом. Ребра плоских его сводов опирались на узкое кольцо карниза, висящего над круглой, метров десять в поперечнике шахтой.

Гусев все еще держался за рукоятку рубильника. По ту сторону шахты, под аркой купола, привалился к стене Лось. Он ладонью закрыл глаза от режущего света. Затем Гусев увидел, как Лось отнял руку и взглянул вниз, в шахту. Он низко нагнулся, вглядываясь. Рука его затрепетала, точно пальцы что-то стали встряхивать. Он поднял голову, белые его волосы стояли сиянием, глаза расширились, как от смертельного ужаса.

Гусев крикнул ему:

— Чего вы смотрите? — И только тогда взглянул в глубь кирпичной шахты. Там колебалась, перекатывалась коричнево-бурая шкура. От нее шло это шипенье, усиливающийся зловещий шорох. Шкура поднималась, вспучивалась. Вся она была покрыта большими, будто лошадиными, обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами...

— Смерть! — закричал Лось.

Это было огромное скопление пауков. Они, видимо, плодились в теплой глубине шахты, взрыв потревожил их, и они начали подниматься, вспучиваясь всей массой. Они издавали шипенье и шорох стальной шорох... Вот один из пауков на задранных углах лап побегал по карнизу.

Вход на карниз был неподалеку от Лося. Гусев закричал:

— Беги! — И сильным прыжком перелетел через шахту, цапнув черепом по купольному своду, — упал на корточки около Лося, схватил его за руку и потащил в проход, в туннель. Побежали что было силы.

Редко один от другого горели под сводами туннеля пыльные фонари. Густая пыль лежала на полу, на обломках колонн и ступей, на порогах узких дверей, ведущих в иные переходы. Гусев и Лось долго шли по этому коридору. Он окончился залой с плоскими сводами, с низкими колоннами. Посреди стояла разрушенная статуя женщины с жирным свирепым лицом. В глубине чернели отверстия жилищ. Здесь тоже лежала пыль, — на статуе царицы Магр, на обломках утвари.

Лось остановился, глаза его были остекленевшие, расширенные.

— Их там миллионы, — сказал он, оглянувшись, — они ждут, их час придет, они овладеют жизнью, населят Марс...

Гусев увлек его в наиболее широкий, выходящий из зала туннель. Фонари горели редко и тускло. Шли долго. Миновали круг

дый мост, переброшенный через широкую щель, на дне ее лежали суставы гигантских машин. Далее — опять потянулись пыльные, серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги от усталости. Лось несколько раз повторил тихим голосом:

— Пустите меня, я лягу.

Сердце его переставало биться. Ужасная тоска овладевала им, — он брел, спотыкаясь, по следам Гусева, по пыли. Капли холодного пота текли по лицу. Лось заглянул туда, откуда не может быть возврата. И все же более мощная сила отвела его от той черты, и он тащился полуживой в пустынных бесконечных коридорах.

Туннель круто завернул. Гусев вскрикнул. В полукруглой раме входа открывалось их глазам кубово-синее, ослепительное небо и сияющая льдами и снегами вершина горы, — столь памятная Лосю. Они вышли из лабиринта близ Тускубовой усадьбы.

ХАО

— Сын Неба, Сын Неба, — позвал тоненький голос.

Гусев и Лось подходили к усадьбе со стороны роши. Из лагуна зарослей высунулось востроносое личико. Это был механик Аэлиты, мальчик в серой шубке. Он всплеснул руками и стал приплясывать, личико у него морщилось, как у тапира. Раздвинув ветви, он показал спрятанную среди развалин цирка крылатую лодку.

Он рассказал: ночь прошла спокойно, перед рассветом раздался отдаленный грохот, и появилось зарево. Он подумал, что Сыны Неба погибли, вскочил в лодку и полетел в убежище Аэлиты. Она также слышала взрыв и с высоты скалы глядела на пожарище. Она сказала мальчику: «Вернись в усадьбу и жди Сына Неба, если тебя схватят слуги Тускуба, умри молча; если Сын Неба убит, проберись к его трупу, найди на нем каменный флакончик, привези мне».

Лось, стиснув зубы, выслушал рассказ мальчика. Затем Лось и Гусев пошли к озеру, смыли с себя кровь и пыль. Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу. Сели в лодку, взвились в сияющую синеву.

Гусев и механик завели лодку в пещеру, легли у входа и развернули карту. В это время сверху, со скал, скатилась Иха. Глядя на Гусева, взялась за щеки. Слезы ручьями лились у нее из влюбленных глаз. Гусев радостно засмеялся.

Лось один спустился в пропасть к Священному Порогу. Будто крыло ветра несло его по крутым лесенкам через узкие переходы и мостики. Что будет с Аэлитой, с ним, спасутся ли они, погибнут? — он не соображал: начинал думать и бросал. Главное, по-

трясающее будет то, что сейчас он снова увидит «рожденную из света звезд». Лишь заглядеться на худенькое голубоватое лицо, забыть себя в волнах радости.

Стремительно перебежав в облаках пара горбатый мост над пещерным озером, Лось, как и в прошлый раз, увидел по ту сторону низких колонн лунную перспективу гор. Он осторожно вышел на площадку, висящую над пропастью. Поблескивал тусклым золотом Священный Порог.

Было знойно и тихо. Лосю хотелось с умилением, с нежностью поцеловать рыжий мох, следы ног на этом последнем прибежище любви.

Глубоко внизу поднимались бесплодные острия гор. В густой синеве блестели льды. Пронзительная тоска сжала сердце. Вот пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню уллы. Хребтатая ящерица, зашипев, побежала по камням и застыла, обернув голову.

Лось подошел к скале, к треугольной дверце, приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру.

Освещенная с потолка светильней, спала среди белых подушек Аэлита. Она лежала навзничь, закинув голый локоть за голову. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали, — должно быть, она видела сон.

Лось опустился у ее изголовья и глядел, умиленный и взволнованный, на подругу счастья и скорби. Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо, чтобы отановить гибель прелести, юности, невинного дыхания, — она дышала, и прядь пепельных волос, лежавшая на щеке, поднималась и опускалась.

Лось подумал о тех, кто в темноте лабиринта дышит, шуршит и шипит в глубоком колодце, ожидая своего часа. Он застонал от страха и тоски. Аэлита вздохнула, просыпаясь. Ее глаза с минуту бессмысленно глядели на Лося. Брови изумленно поднимались. Общими руками она оперлась о подушки и села.

— Сын Неба, — сказала она нежно и тихо, — сын мой, любовь моя...

Она не прикрыла наготы, лишь краска смущения взошла ей на щеки. Ее голубоватые плечи, едва развитая грудь, узкие бедра казались Лосю рожденными из света звезд. Лось продолжал стоять на коленях у постели, — молчал, потому что слишком велика была радость — глядеть на возлюбленную. Горьковато-сладкий запах шел на него грозовой темнотой.

— Я видела тебя во сне, — сказала Аэлита, — ты нес меня на руках по стеклянным лестницам, уносил все выше. Я слышала стук твоего сердца. Кровь билась в него и сотрясала. Томление оно ватило меня. Я ждала, — когда же ты остановишься, когда кончится томление? Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления... Ты разбудил меня. — Она замолчала, брови поднялись выше. — Ты глядишь так странно. О мой великан!

Она стремительно отодвинулась в дальний край постели. Губы ее приоткрылись, будто она хотела защищаться, как зверек. Лось тяжело проговорил:

— Иди ко мне.

Она затрясла головой.

— Ты похож на страшного ча.

Он сейчас же закрыл лицо рукой, пронизанный усилием воли, и будто пламя охватило его, — в нем все теперь стало огнем. Он отнял руки, Аэлита тихо спросила:

— Что?

— Не бойся.

Она придвинулась и опять прошептала:

— Я боюсь Хао. Я умру.

— Не бойся. Хао — это огонь, это жизнь. Не бойся Хао. Сойди, любовь моя!

Он протянул к ней руки. Аэлита неслышно вздохнула, ресницы ее опустились, внимательное личико осунулось. Вдруг так же стремительно она поднялась на постели и дунула на светильник.

Ее пальцы запутались в снежных волосах Лося...

За дверью пещеры раздался шум, будто жужжание множества пчел. Ни Лось, ни Аэлита не слышали его. Воющий шум усиливался. И вот — из пропасти медленно, как чудовищная оса, поднялся военный корабль, царапая носом о скалы.

Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее с борта упала лесенка. По ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцирях, в металлических ребристых шапках.

Солдаты стали полукругом перед пещерой. Тускуб подошел к треугольной двери и ударил в нее концом трости.

Лось и Аэлита спали глубоким сном. Тускуб обернулся к солдатам и приказал, указывая тростью на пещеру:

— Возьмите их.

БЕГСТВО

Военный корабль кружился некоторое время над скалами Священного Порога, затем уплыл в сторону Азоры и где-то сел. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели Лося, — он лежал близ входа в пещеру, лицом во мху, в луже крови.

Гусев поднял его на руки, — Лось был без дыхания, глаза плотно сжаты, на груди, на голове — запекшаяся кровь. Аэлиты нигде не было. Иха выла, подбирая в пещерке ее вещи. Она не нашла лишь плаща с капюшоном, — должно быть, Аэлиту, мертвую или живую, завернули в плащ, увезли на корабле.

Иха завязала в узелочек то, что осталось от «рожденной и света звезд», Гусев перекинул Лося через плечо, и они пошли обратно через мосты над кипящим во тьме озером, по лесенкам, повисшим над туманной пропастью, — этим путем возвращался некогда Магацитл, неся привязанный к прялке полосатый передник девушки Аолов — весть мира и жизни.

Наверху Гусев вывел из пещеры лодку и посадил в нее Лося, завернутого в простыню, подтянул кушак, надвинул глубже шлем и сказал сурово:

— Живым в руки не дамся. Ну уж, если доберусь до Земли... Мы сюда вернемся... (Следовали три непонятных слова.) — Он влез в лодку, разобрал рули. — А вы, ребята, идите домой или еще куда. Лихом не поминайте. — Он перегнулся через борт и за руку попрощался с механиком и Ихой. — Тебя с собой не зову, Ихошка: лечу на верную смерть. Спасибо, милая, за любовь, этого мы, Сыны Неба, не забываем, так-то. Прощай.

Он прищурился на солнце, кивнул подбородком и взвился в синеву. Долго глядели Иха и мальчик в серой шубе на улетавшего Сына Неба. Они не заметили, что с юга, из-за лунных скал, поднялась, перерезая ему путь, крылатая точка. Когда Гусев утонул в потоках солнца, Иха ударилась о мшистые камни в таком отчаянии, что мальчик испугался, — уж не покинула ли и она печальную Туму.

— Иха, Иха, — жалобно повторял он, — хо туа мирра-туу мурра...

Гусев не сразу заметил пересекавший ему путь военный корабль. Сверяясь с картой, поглядывая на уплывающие вниз скалы Лизиазиры, держал он курс на восток, к кактусовым полям, где был оставлен аппарат.

Позади него, в лодке, откинувшись, сидело тело Лося, покрытое бьющейся по ветру, липнущей простыней. Оно было неподвижно и казалось спящим, — в нем не было уродливой бессмысленности трупа. Гусев только сейчас почувствовал, как дорог ему товарищ.

Несчастье случилось так: Гусев, Ихошка и механик сидели тогда в пещере, около лодки, — смеялись. Вдруг внизу раздались выстрелы. Затем — вопль. И через минуту из пропасти поднялся как коршун, военный корабль, бросив на площадке бесчувственное тело Лося, — и пошел кружить, высматривать.

Гусев плюнул через борт, — до того опаршивел ему Марс. «Только бы добраться до аппарата, влить Лося глоток спирту». Он потрогал тело, — было оно чуть теплое: с тех пор как Гусев поднял его на площадке, в нем не было заметно окоченения. «Бог даст — отдышится» — Гусев по себе знал слабое действие марсианский пуль. «Но слишком уж долго длится обморок». В тревоге он обернулся к солнцу, клонящемуся на закат, и в это время увидел падающий с высоты корабль.

Гусев сейчас же повернул к северу, уклоняясь от встречи. Повернул и корабль. Время от времени на нем появлялись желтоватые дымки выстрелов. Тогда Гусев стал набирать высоту, рассчитывая при спуске удвоить скорость и уйти от преследователя.

Свистел в ушах ледяной ветер, слезы застилали глаза, замерзали на ресницах. Стая неряшливо махающих крыльями, омерзительных их кинулась было на лодку, но промахнулась и отстала. Гусев давно уже потерял направление. Кровь била в виски, разреженный воздух хлестал ледяными бичами. Тогда полным ходом Гусев пошел вниз. Корабль отстал и скрылся за горизонтом.

Теперь внизу расстилалась, куда только хватит глаз, медно-красная пустыня. Ни деревца, ни жизни кругом. Одна только тень от лодки летела по плоским холмам, по волнам песка, по трещинам поблескивающей, как стекло, каменистой почвы. Кое-где на холмах бросали унылую тень развалины жилищ. Повсюду бороздили эту пустыню высохшие русла каналов.

Солнце клонилось ниже к ровному краю песков, разливалось медное, тоскливое сияние заката, а Гусев все видел внизу волны песка, холмы, развалины засыпаемой прахом, умирающей Тумы.

Быстро настала ночь. Гусев опустил ся и сел на песчаной равнине. Вылез из лодки, отогнул на лице Лося простыню, приподнял его веки, прижался ухом к сердцу, — Лось сидел ни живой, ни мертвый. У него на мизинце Гусев заметил колечко и висящий на цепочке открытый флакончик.

— Эх, пустыня, — сказал Гусев, отходя от лодки. Ледяные звезды загорелись в необъятно-высоком черном небе. Пески казались серыми от их света. Было так тихо, что слышался шорох песка, осыпающегося в глубоком следу ноги... Мучила жажда. Находила тоска. — Эх, пустыня! — Гусев вернулся к лодке, сел к рулям. Куда лететь? Рисунок звезд был дикий и незнакомый.

Гусев включил мотор, но винт, лениво покрутившись, остановился. Мотор не работал, — коробка со взрывчатым порошком была пуста.

— Ну, ладно, — негромко проговорил Гусев. Опять вылез из лодки, засунул дубину сзади, за пояс, вытащил Лося, — идем, Мстислав Сергеевич, — положил его на плечо и пошел, увязая по щиколотку в песке. Шел долго. Дошел до холма, положил Лося на занесенные ступени какой-то лестницы, оглянулся на одинокую, в звездном свете, колонну наверху холма — и лег ничком. Смертельная усталость, как отлив, зашумела в крови.

Он не знал, долго ли так пролежал без движения. Песок холодил, стыла кровь. Тогда Гусев сел, — в тоске поднял голову. Невысоко над пустыней стояла красноватая мрачная звезда. Она была как глаз большой птицы. Гусев глядел на нее, разинув рот.

— Земля. — Схватил в охапку Лося и побежал в сторону звезды. Он знал теперь, в какой стороне лежит аппарат.

Со свистом дыша, обливаясь потом, Гусев переносился огромными прыжками через канавы, вскрикивал от ярости, спотыкаясь о камни, бежал, бежал, — и плыл впереди него близкий темный горизонт пу-

стыни. Несколько раз Гусев ложился лицом в холодный песок, чтобы освежить хоть парами влаги запекшийся рот. Подхватывал товарищи и снова шел, поглядывая на красноватые лучи Земли. Огромная сгустень одиноко двигалась среди мирового кладбища.

Взошла острым серпом ущербная Олла. В середине ночи взошли круглая Лихта, — свет ее был кроток и серебрист, двойные тени легли от волн песка. Две эти странные луны поплыли — одни ввысь, другая на ущерб. В свету их померк Талцетл. Вдали поднялись ледяные вершины Лизиазиры.

Пустыня кончилась. Было близко к рассвету. Гусев вышел из кактусовых поля. Повалил ударом ноги одно из растений и жадно насытился шевелящимся водянистым его мясом. Звезды гасли. В лиловом небе проступали розоватые края облаков. И вот Гусев стал слышать, будто удары железных вальков, однообразный металлический стук, отчетливый в тишине утра.

Гусев скоро понял его значение: над зарослями кактуса торчали три решетчатые мачты военного корабля-преследователя. Удары неслись оттуда, — это марсиане разрушали аппарат.

Гусев побегал под прикрытием кактусов и одновременно увидел и корабль и рядом с ним заржавелый огромный горб аппарата. Десятка два марсиан колотили по клепаной его обшивке большими молотками. Видимо, работа только что началась. Гусев положил Лося на песок, вытащил из-за пояса дубину.

— Я вас, сукины дети! — не своим голосом завизжал Гусев, выскакивая из-за кактусов. Подбежал к кораблю и ударом дубины раздробил металлическое крыло, сбил мачту, ударил в борт, как в бочку. Из внутренности корабля выскочили солдаты. Бросая оружие, горохом посыпались с палубы, побежали врассыпную. Солдаты, разбивавшие аппарат, с тихим воем поползли по бороздам, скрылись в зарослях. Все поле в минуту опустело, — так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти Сыном Неба.

Гусев отвинтил люк, подтащил Лося, и оба Сына Неба скрылись внутри яйца. Крышка захлопнулась. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище.

Огромное ржавое яйцо, величиною с дом, загрохотало, поднялись из-под него коричневые облака пыли и дыма. Под страшными ударами задрожала Тума. С ревом и громовым грохотом гигантское яйцо запрыгало по кактусовому полю. Повисло в облаках пыли и, как метеор, метнулось в небо, унося свирепых Магацитлов на их родину.

НЕБЫТИЕ

— Ну что, Мстислав Сергеевич, — живы?

Обожгло рот. Жидкий огонь пошел по телу, по жилам, по костям. Лось раскрыл глаза. Пыльная звездочка горела над ним совсем низко. Небо было странное, — желтое, стеганое, как сундук. Что-то стучало, стучало мерными ударами, дрожала пыльная звездочка.

— Который час?
— Часы-то остановились, вот горе, — ответил голос.
— Мы давно летим?
— Давно, Мстислав Сергеевич.
— А куда?
— А черт его знает, — ничего не могу разобрать, тьма да звезды... Прем в мировое пространство.

Лось опять закрыл глаза, силясь проникнуть в пустоту памяти, но в памяти ничего не раскрылось, и он снова погрузился в непрглядный сон.

Гусев укрыл его теплее и вернулся к наблюдательным трубкам. Марс казался теперь меньше чайного блюдечка. Лунными пятнами выделялись на нем днища высохших морей, мертвые пустыни. Диск Тумы, засыпаемой песками, все уменьшался, все дальше улетал от него аппарат куда-то в крошечную тьму. Изредка кололо глаз лучиком звезды. Но сколько Гусев ни всматривался, — нигде не было видно красной звезды.

Гусев зевнул, щелкнул зубами, — такая одолевала его скука от пустого пространства вселенной. Осмотрел запасы воды, пищи, кислорода, завернулся в одеяло и лег на дрожащий пол рядом с Лосем.

Прошло неопределенно много времени. Гусев проснулся от голода. Лось лежал с открытыми глазами, — лицо у него было в морщинах, старое, щеки ввалились. Он спросил тихо.

— Где мы сейчас?

— Все там же, Мстислав Сергеевич, — в пространстве.

— Алексей Иванович, мы были на Марсе?

— Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть, совсем память отшибло.

— Да, у меня что-то случилось... вспоминаю, и воспоминания обрываются как-то неопределенно. Не могу понять, что было на самом деле, — все как будто сон. Дайте пить...

Лось закрыл глаза и немного погодя спросил дрогнувшим голосом:

— Она — тоже сон?

— Кто?

Лось не ответил, опустил голову, закрыл глаза.

Гусев поглядел через все глазки в небо, — тьма, тьма. Натянул на плечи одеяло и сел, скорчившись. Не было охоты ни думать, ни вспоминать, ни ожидать. К чему? Усыпительно постукивало, подрагивало железное яйцо, несущееся с головокружительной скоростью в бездонной пустоте.

Проходило какое-то непомерно долгое, неземное время. Гусев сидел, скорчившись, в оцепенелой дремоте. Лось спал. Холодок вечности осаждался невидимой пылью на сердце, на сознание.

Страшный вопль разодрал уши. Гусев вскочил, тараща глаза. Кричал Лось, — стоял среди раскиданных одеял, марлевый бинт сполз ему на лицо.

— Она жива!

Он поднял костлявые руки и кинулся на кожаную стену, колотил в нее, царапая ногтями.

— Она жива! Выпустите меня... Задыхаюсь... Она была, была!

Он долго бился и кричал, — и повис, обессиленный, на руках у Гусева. И снова затих, задремал.

Гусев опять скорчился под одеялом. Угасли, как пепел, желания, коченели чувства. Слух привык к железному пульсу яйца и не улавливал более звуков. Лось бормотал во сне, стонал, иногда лицо его озарялось счастьем.

Гусев глядел на спящего и думал: «Хорошо тебе во сне, милый человек. И не надо, не просыпайся, спи, спи... Проснешься — сядешь вот так-то, на корточках, под одеялом, — дрожи, как ворон на мерзлом пне. Ах, ночь, ночь, конец последний...»

Ему не хотелось даже закрывать глаза, — так он и сидел, глядя на какой-то поблескивающий гвоздик... Наступило великое безразличие, надвигалось небытие...

Так пронеслось непомерное пространство времени.

Послышались странные шорохи, постукивания, прикосновения каких-то тел снаружи о железную обшивку яйца.

Гусев открыл глаза. Сознание возвращалось, он стал слушать — казалось, аппарат продвигается среди скоплений камней и щебня. Что-то навалилось и поползло по стене. Шумело, шуршало. Вот ударило в другой бок, — аппарат затрясся. Гусев разбудил Лосю. Они поползли к наблюдательным трубкам, и сейчас же оба вскрикнули.

Кругом, во тьме, расстилались поля сверкающих, как алмазы, осколков. Камни, глыбы, кристаллические грани сияли острыми лучами. За огромной далью этих алмазных полей в черной ночи висело косматое солнце.

— Должно быть, мы проходим голову кометы, — шепотом сказал Лось. — Включите реостаты. Нужно выйти из этих полей, иначе комета увлечет нас к солнцу.

Гусев полез к верхнему глазку, Лось стал к реостатам. Удары в обшивку яйца участились, усилились. Гусев покрикивал сверху:

— Легче — глыба справа... Давайте полный... Гора, гора летит... Проехали... Ходу, ходу, Мстислав Сергеевич.

ЗЕМЛЯ

Алмазные поля были следами прохождения блуждавшей в пространствах кометы. Долгое время аппарат, втянутый в ее тяготение, пробирался среди небесных камней. Скорость его непрерывно увеличивалась, действовали абсолютные законы математики — по-прежнему направление полета яйца и метеоритов изменилось: обра-

зовался все расширяющийся угол. Золотистая туманность — голова неведомой кометы и ее след — потоки метеоритов — уносились по гиперболе — безнадежной кривой, чтобы, обогнув солнце, навсегда исчезнуть в пространствах. Кривая полета аппарата все более приближалась к эллипсису.

Почти неосуществимая надежда возврата на Землю пробудила к жизни Лося и Гусева. Теперь, не отрываясь от глазков, они наблюдали за небом. Аппарат сильно нагревался с одной стороны солнцем, — пришлось снять одежду.

Алмазные поля остались далеко внизу: казались искорками, — стали беловатой туманностью и исчезли. И вот — в огромной дали был обнаружен Сатурн, переливающийся радужными кольцами, окруженный спутниками.

Яйцо, притянутое кометой, возвращалось в Солнечную систему, откуда было вышвырнуто центробежной силой Марса.

Одно время тьму прорезывала светящаяся линия. Скоро и она побледнела, погасла. Это были астероиды — маленькие планеты, бесчисленным роем вьющиеся вокруг солнца. Сила их тяготения еще сильнее изогнула кривую полета яйца. Наконец в один из верхних глазков Лось увидел странный, ослепительный узкий серп, — это была Венера. Почти в то же время Гусев, наблюдавший в другой глазок, страшно засопел и обернулся, — потный, красный.

— Она, ей-богу она!..

В черной тьме тепло сиял серебристо-синеватый шар. В стороне от него и ярче его светился шарик величиной с ягоду смородины. Аппарат мчался немного в сторону от них. Тогда Лось решил применить опасное приспособление — поворот горла аппарата, чтобы отклонить ось взрывов от траектории полета. Поворот удался. Направление стало изменяться. Теплый шарик понемногу перешел в зенит.

Летело, летело пространство времени. Лось и Гусев то прилипали к наблюдательным трубкам, то валялись среди раскиданных шкур и одеял. Уходили последние силы. Мучила жажда, вода вся была выпита.

И вот, в полузабытьи, Лось увидел, как шкуры, одеяла и мешки поползли по стенам. Повисло в воздухе голое по пояс тело Гусева. Все это было похоже на бред. Гусев оказался лежащим ничком у глазка. Вот он приподнялся, бормоча, схватился за грудь, замоталвихрастой головой, лицо его залилось слезами, усы обвисли.

— Родная, родная, родная!..

Сквозь муть сознания Лось все же понял, что аппарат повернулся и летит горлом вперед, увлекаемый тягой Земли. Он пополз к реостатам и повернул их, — яйцо задрожало, загрохотало. Он нагнулся к глазку.

Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны, зеленоватыми — очертания островов, облачные поля застилали какой-то материк. Влажный шар медленно поворачивался. Слезы мешали глядеть. Душа, плача от любви, ле-

тела навстречу голубовато-влажному столбу света. Родина человечества! Плоть жизни! Сердце мира!

Шар Земли закрывал полнеба. Лось до отказа повернул реостаты. Все же полет был стремителен, — оболочка накалилась, закипел резиновый кожух, дымилась кожаная обивка. Последним усилием Гусев повернул крышку люка. В щель с воем ворвался ледяной ветер. Земля раскрывала объятия, принимала блудных сынов.

Удар был силен. Обшивка лопнула. Яйцо глубоко вошло горлом в травянистый пригорок.

Был полдень, воскресенье, третьего июня. На большом расстоянии от места падения, — на берегу озера Мичиган, катающиеся на лодках, сидящие на открытых террасах ресторанов и кофеен, играющие в теннис, гольф, футбол, запускающие бумажные змеи в безоблачном небе, — все это множество людей, выехавших в день воскресного отдыха насладиться прелестью зеленых берегов, шумом июньской листвы, слышало в продолжение пяти минут странной воющей звук.

Люди, помнившие времена мировой войны, говорили, оглядывая небо, что так обычно ревели снаряды тяжелых орудий. Затем многим удалось увидеть быстро скользнувшую на землю яйцевидную тень.

Не прошло и часа, как большая толпа собралась у места падения аппарата. Любопытствующие бежали со всех сторон, перелезали через изгороди, мчались на автомобилях, на лодках по синему озеру. Яйцо, покрытое коркой нагара, помятое и лопнувшее, стояло, накренившись, на пригорке. Было высказано множество предположений, одно другого нелепее. В особенности же в толпе началось волнение, когда была прочитана вырубленная зубилом на полуоткрытой крышке люка надпись: «РСФСР. Вылетели из Петрограда 18 августа 192... года». Это было тем более удивительно, что сегодня было третье июня тысяча девятьсот... Словом, пометки на аппарате была сделана три с половиной года тому назад.

Когда затем из внутренности таинственного аппарата послышались слабые стоны, толпа в ужасе отодвинулась и затихла. Появился отряд полиции, врач и двенадцать корреспондентов с фотографическими аппаратами. Открыли люк и с величайшими предосторожностями вытащили из внутренности яйца двух полуголых людей: один худой, как скелет, старый, с белыми волосами, был без сознания, другой, с разбитым лицом и сломанными руками, жалобно стонал. В толпе раздались крики сострадания, женский плач. Небесных путешественников положили в автомобиль и повезли в больницу.

Хрустальным от счастья голосом пела птица за открытым окном. Пела о солнечном луче, о синем небе. Лось неподвижно лежал на подушках — слушал. Слезы текли по морщинистому лицу. Он где-то уже слышал этот хрустальный голос. Но где, когда?

За окном с полуоткинутой, слегка надутой утренним ветром шторой сверкала сизая роса на траве. Влажные листья двигались тенями на шторе. Пела птица. Вдали из-за леса поднималось белое плотное облако.

Чье-то сердце тосковало по этой земле, по облакам, по шумным ливням и сверкающим росам, по великанам, бродящим среди зеленых холмов... Он вспомнил — так в солнечное утро не на Земле пела птица о снах Аэлиты.... Аэлита... Но была ли она? Или только пригрезилась? Нет. Птица бормочет стеклянным язычком о том, что некогда женщина, голубоватая, как сумерки, с печальным худеньким лицом, сидя ночью у костра, пела древнюю песню любви.

Вот отчего текли слезы по морщинистым щекам Лося. Птица пела о той, что осталась за звездами, и о седом, морщинистом, старом мечтателе, облетевшем небеса.

Ветер сильнее надул штору, нижний край ее мягко плеснул, — в комнату вошел запах меда, земли, влаги.

В одно такое утро в больнице появился Скайльс. Он крепко пожал руку Лося, — «поздравляю, дорогой друг», — сел на табурет около постели, сдвинув шляпу на затылок.

— Вас сильно подвело за это путешествие, старина, — сказал он, — только что был у Гусева, вот тот молодец: руки в гипсе, сломана челюсть, но все время смеется, — очень доволен, что вернулся. Я послал в Петроград его жене телеграмму и пять тысяч долларов. По поводу вас телеграфировал в мою газету, — получите огромную сумму за «Путевые наброски». Но вам придется усовершенствовать аппарат, — вы плохо опустились. Черт возьми, — подумать, — прошло почти четыре года с этого сумасшедшего вечера в Петрограде. Советую вам, старина, выпить рюмку хорошего коньяку, это вернет вас к жизни.

Скайльс болтал, весело и заботливо поглядывая на собеседника, — лицо у него было загорелое, беспечное, глаза полны жадного любопытства. Лось протянул ему руку.

— Я рад, что вы пришли, Скайльс.

ГОЛОС ЛЮБВИ

Облака снега летели вдоль Ждановской набережной, ползли поземкой по тротуарам, сумасшедшие хлопья крутились у качающихся фонарей. Засыпало подъезды и окна, за рекой метель бушевала в воющем парке.

По набережной шел Лось, подняв воротник и согнувшись навстречу ветру. Теплый шарф вился за его спиной, ноги скользили, лицо секло снегом. В обычный час он возвращался с завода домой, в одинокую квартиру. Жители набережной привыкли к его широкополой шляпе, к шарфу, закрывающему низ лица, к сутулым

плечам, и даже, когда он кланялся и ветер взвевал его белые волосы, — никого уже более не удивлял странный взгляд его глаз, видевших однажды то, чего еще никто не видел.

В иные времена какой-нибудь юный поэт непременно бы вдохновился его нелепой фигурой с развевающимся шарфом, бредущей среди снежных облаков. Но времена теперь были иные: поэтом восхищали не вьюжные бури, не звезды, не заоблачные страны, — но стук молотов по всей стране, шипение пил, шорох серпов, свист кос, — веселые земные песни.

Прошло полгода со дня возвращения Лося на Землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с Марса двух людей. Лось и Гусев съели по положенное число блюд на ста пятидесяти банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев выписал из Петрограда Машу, нарядил ее, как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет, стал носить круглые очки, полгода разъезжал по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы, про то, как они с Лосем едва не улетели на Большую Медведицу, — и, вернувшись в Советскую Россию, основал «Общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатком его трудящегося населения».

Лось в Петрограде на одном из механических заводов строил универсальный двигатель марсианского типа.

К шести часам вечера он обычно возвращался домой. Ужинал в одиночестве. Перед сном раскрывал книгу, — детским лепетом казались ему строки поэта, детской болтовней измышления романиста. Погасив свет, он долго лежал, глядел в темноту, — текли, текли одинокие мысли.

В обычный час Лось проходил сегодня по набережной. Облака снега взвивались в высоту, в бушующую вьюгу. Курились карнизы, крыши. Качались фонари. Спирало дыхание.

Лось остановился и поднял голову. Ветер разорвал вьюжные облака. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее безумным взором, — луч ее вошел в сердце... «Тума, Тума, звезда печали...» Летящие края облаков снова задернули бездну, скрыли звезду. В это короткое мгновение в памяти Лоси с ужасающей ясностью пронеслось видение, всегда до этого ускользавшее от него...

Сквозь сон послышался шум — будто сердитое жужжание пчел. Раздались резкие удары — стук. Спящая Аэлита вздрогнула, вздохнула, пробуждаясь, и затрепетала, он не видел ее в темноте пещерки, лишь чувствовал, как бьется ее сердце. Стук в дверь повторился. Раздался снаружи голос Тускуба: «Возьмите их». Лось схватил Аэлику за плечи. Она едва слышно сказала:

— Муж мой, Сын Неба, прощай.

Ее пальцы быстро скользнули по его лицу. Тогда Лось ошупью стал искать ее руку и отнял у нее флакончик с ядом. Она быстро, быстро — одним дыханием — забормотала ему в ухо:

— На мне запрещение, я посвящена царице Магр... По древнему обычаю, страшному закону Магр, — девственницу, преступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт, в колодец. Ты видел его... Но я не могла противиться любви Сына Неба. Я счастлива. Благодарю тебя за жизнь. Ты вернул меня в тысячелетия Хао. Благодарю тебя, муж мой...

Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги, — ее было еще много во флакончике. Аэлита едва успела коснуться его. Удары в дверь заставили Лося подняться, но сознание уплывало, руки и ноги не повиновались. Он вернулся к постели, упал на тело Аэлиты, обхватил ее. Он не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием он рванулся за краем ее черного плаща, но вспышки выстрелов, тупые удары в грудь отшвырнули его назад, к золотой двери пещеры...

Преодолевая ветер, Лось побежал по набережной. И снова остановился, закрутился в снежных облаках и, так же как тогда — в тьме вселенной, — крикнул:

— Жива, жива... Аэлита, Аэлита...

Ветер бешеным порывом подхватил это впервые произнесенное на Земле имя, развеял его среди летящих снегов. Лось сунул подбородок в шарф, сунул руку глубоко в карман, побрел, шатаясь, к дому.

У подъезда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в косматой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару.

— Я за вами, Мстислав Сергеевич, — крикнул он весело, — садитесь в машину, едем.

Это был Гусев. Он наскоро объяснил: сегодня, в семь часов вечера, радиотелефонная станция ожидает — как и всю эту неделю — подачу неизвестных сигналов чрезвычайной силы. Шифр их непонятен. Целую неделю газеты всех частей света заняты догадками по поводу этих сигналов, — есть предположение, что они идут с Марса. Заведующий радиостанцией приглашает Лося сегодня вечером принять таинственные волны.

Лось молча прыгнул в автомобиль. Бешено заплясали белые хлопья в конусах света. Рванулся вьюжный ветер в лицо. Над снежной пустыней Невы пылало лиловое зарево города, сияние фонарей вдоль набережных, — огни, огни... Вдали выла сирена ледокола, где-то ломающего льды.

В конце улицы Красных Зорь, на снежной поляне, под свистящими деревьями, у домика с круглой крышей, автомобиль остановился. Пустынно выли решетчатые башни и проволочные сети, утонувшие в снежных облаках. Лось распахнул заметенную сугробом дверцу, вошел в теплый домик, сбросил шарф и шляпу. Румяный толстенький

человек стал что-то объяснять ему, держа его покрасневшую от холода руку в теплых пухлых ладонях. Стрелка часов подходила к семи.

Лось сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов ползла. О время, торопливые удары сердца, ледяное пространство вселенной!..

Медленный шепот раздался в его ушах. Лось сейчас же закрыл глаза. Снова повторился отдаленный, тревожный, медленный шепот. Повторялось какое-то странное слово. Лось напряг слух. Словно тихая молния, пронзил его сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке:

— Где ты, где ты, где ты, Сын Неба?

Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами... Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича, — где ты, где ты, любовь...

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА

Р о м а н

*Этот роман написан в 1926 — 1927 годах. Переработан, с включением новых глав, в 1937 году.
А. Т.*

1

В этом сезоне деловой мир Парижа собирался к завтраку в гостиницу «Мажестик». Там можно было встретить образцы всех наций, кроме французской. Там между блюдами велись деловые разговоры и заключались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок и женское щебетанье.

В великолепном холле гостиницы, устланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек с седой головой и энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в черный широкий фрак, шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками. На груди его лежала серебряная цепь. Это был верховный швейцар, духовный заместитель акционерного общества, эксплуатирующего гостиницу «Мажестик».

Заложив за спину подагрические руки, он останавливался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зеленых кадках деревьев и пальмовых листьев обедали посетители. Он походил в эту минуту на профессора, изучающего жизнь растений и насекомых за стенкой аквариума.

Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз: синих — англосаксонских, темных, как ночь, — южноамериканских, лиловых — французских. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов.

Да, что касается женщин, — все обстояло благополучно. Но верховный швейцар не мог того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане.

Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве?

Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги... Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колена в золоте, где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир.

К подъезду гостиницы бесшумно подкатил «роллс-ройс» — длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, брэнчи цепью, поспешил к крутящимся дверям.

Первым вошел желтовато-бледный человек небольшого роста, с черной коротко подстриженной бородой, с раздутыми ноздрями мистического носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови.

Он остановился, брюзгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, выскочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Монроз, одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах, от кисти до локтя, длинным мехом черной обезьяны. Ее фетровая маленькая шапочка была создана великим Колло. Ее движения были уверенны и небрежны. Она была красива, тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом. Синевато-серые глаза ее казались холодными и страстными.

— Мы будем обедать, Роллинг? — спросила она человека в котелке.

— Нет. Я буду с ним говорить до обеда.

Зоя Монроз усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший с Зоей Монроз у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто, с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из карманов пальто, сказал еще резче:

— Вы опоздали на четверть часа, Семенов.

— Меня задержали... По нашему же делу... Ужасно извинюсь... Все устроено... Они согласны... Завтра могут выехать в Варшаву...

— Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут, — сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего хорошего.

— Простите — я шепотом... В Варшаве все уже подготовлено: паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу...

— Сейчас я и мадемуазель Монроз будем обедать, — сказал Роллинг, — вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого. Предупредите, что, если они вздумают водить меня за нос, — я выдам их полиции...

Этот разговор происходил в начале мая 192... года.

В Ленинграде на рассвете, близ бонов гребной школы, на реке Крестовке остановилась двухвесельная лодка.

Из нее вышли двое, и у самой воды произошел у них короткий разговор, — говорил только один — резко и повелительно, другой глядел на полноводную, тихую, темную реку. За чащами Крестовского острова, в ночной синеве, разливалась весенняя заря.

Затем эти двое наклонились над лодкой, огонек спички осветил их лица. Они вынули со дна лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу, а тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и торопливо заскрипел уключинами. Очертание гребущего человека прошло через заревую полосу воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна плеснула на боны.

Спартаковец Тарашкин, «загребной» на гоночной распашной гичке, дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени, вместо того чтобы безрассудно тратить на спанье быстролетные часы жизни, Тарашкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив колени.

В ночной тишине было о чем подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха настоящей воды, били гребную школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно.

Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно, да еще, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками.

Сидя на бонах, Тарашкин видел, как пришвартовалась и затем ушла двухвесельная лодка. Тарашкин относился спокойно к жизненным явлениям. Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство: двое высадившиеся на берегу были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая бородка.

Но, в конце концов, в республике не запрещается шататься по ночам, по суку и по воде, со своим двойником. Тарашкин, наверно, тут же бы и забыл о личностях с острыми бородками, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро поблизости гребной школы в березовом леску в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами.

Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Тарашкин хрустнул мускулами и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час в начале. Стукнула калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шельга.

Шельга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей тренировки.

— Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке? — спросил он, ставя велосипед у крыльца. — Приехал повозиться немножко... Смотри — мусор, ай, ай.

Он снял гимнастерку, закатал рукава на худых мускулистых руках и принялся за уборку клубного двора, еще заваленного мусорными материалами, оставшимися от ремонта бонов.

— Сегодня придут ребята с завода, — за одну ночь наведем порядок, — сказал Тарашкин. — Так как же, Василий Витальевич, записываетесь в команду на шестерку?

— Не знаю, как и быть, — сказал Шельга, откатывая смоляной бочонок, — москвичей, с одной стороны, бить нужно, с другой — боюсь, не смогу быть аккуратным... Смешное дело одно у нас навертывается.

— Опять насчет бандитов что-нибудь?

— Нет, поднимай выше — уголовщина в международном масштабе.

— Жаль, — сказал Тарашкин, — а то бы погребли.

Выйдя на боны и глядя, как по всей реке играют солнечные зайчики, Шельга стукнул черенком метлы и вполголоса позвал Тарашкина:

— Вы хорошо знаете, кто тут живет поблизости на дачах?

— Живут кое-где зимогоры.

— А никто не переезжал в одну из этих дач в середине марта?

Тарашкин покосился на солнечную реку, почесал ногтями ноги другую ногу.

— Вон в том лесике заколоченная дача, — сказал он, — недели четыре назад, это я помню, гляжу — из трубы дым. Мы так и подумали — не то там беспризорные, не то бандиты.

— Видели кого-нибудь с той дачи?

— Постойте, Василий Витальевич. Их-то я, должно быть, и видел сегодня.

И Тарашкин рассказал о двух людях, причаливших на рассвете к болотистому берегу.

Шельга поддакивал: «Так, так», острые глаза его стали, как щелки.

— Пойдем, покажи дачу, — сказал он и тронул висевшую сумку на ремне кобуру револьвера.

5

Дача в чахлам березовом леску казалась необитаемой, — крыльцо сгнило, окна заколочены досками поверх ставен. В мезонине выбиты стекла, углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом, под подоконниками росла лебеда.

— Вы правы — там живут, — сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошел ее кругом. — Сегодня здесь были... Но за каким дьяволом им понадобилось лазить в окошко? Тарашкин, идите-ка сюда, здесь что-то неладно.

Они быстро подошли к крыльцу. На нем были видны следы ног. Налево от крыльца на окне висела боком ставня — свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном, на влажном песке — опять отпечатки ног. Следы большие, видимо тяжелого человека, и другие — поменьше, узкие — носками внутрь.

— На крыльце следы другой обуви, — сказал Шельга.

Он заглянул в окно, тихо свистнул, позвал: «Эй, дядя, у вас окошко отворено, кабы чего не унесли». Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым неприятным запахом.

Шельга позвал громче, поднялся на подоконник, вынул револьвер и мягко прыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин.

Первая комната была пустая, под ногами валялись битые кирпичи, штукатурка, обрывки газет. Полуоткрытая дверь вела в кухню. Здесь на плите под ржавым колпаком, на столах и табуретах стояли примусы, фарфоровые тигли, стеклянные, металлические реторты, банки и цинковые ящики. Один из примусов еще шипел, догорая.

Шельга опять позвал: «Эй, дядя!» Покачал головой и осторожно приотворил дверь в полутемную комнату, прорезанную плоскими, сквозь щели ставен, лучами солнца.

— Вон он! — сказал Шельга.

В глубине комнаты на железной кровати, навзничь, лежал одетый человек. Руки его были закинута за голову и прикручены к прутьям кровати. Ноги обмотаны веревкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута, остро торчала борода.

— Ага, вот они как его, — сказал Шельга, осматривая под соском убитого до рукоятки загнанный финский нож. — Пытали... Смотрите...

— Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке приплыл. Его не больше как часа полтора назад убили.

— Будьте здесь, караульте, ничего не трогать, никого не пускать, — слышите, Тарашкин?

Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба:

— Наряд на вокзалы... Проверять всех пассажиров... Наряды по всем гостиницам. Проверить всех, кто возвратился между шестью и восемью утра. Агента и собаку в мое распоряжение.

6

До прибытия собаки-ищейки Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака.

Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от консервов. Окна затянуты паутиной, в углах — плесень, грибы. Дача, видимо, была заброшена еще с 1918 года. Обитаемыми

оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде ни признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска чайной колбасы.

Здесь не жили, сюда приезжали делать что-то, что нужно было скрывать. Таков был первый вывод, сделанный Шельгой в результате обыска. Обследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Исследуя кучки золы на плите под колпаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистав несколько брошюр с загнутыми уголками страниц, он установил второе: убитый человек занимался всего-навсего обыкновенной пиротехникой.

Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он еще раз обыскал платье убитого — нового ничего не обнаружил. Тогда он подошел к вопросу с другой стороны.

Следы ног у окна показывали, что убийц было двое, что они проникли через окно, неминуемо рискуя встретиться сопротивлением, так как человек на даче не мог не услышать треска срываемой ставни.

Это означало, что убийцам нужно было во что бы то ни стало либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче.

Далее: если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще, скажем, подкараулив его где-нибудь по пути на дачу, и, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его пытали, зарезан он был не сразу. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он не хотел сказать.

Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее — убийцы хотели узнать какую-то тайну, связанную с ночными занятиями убитого.

Таким образом, ход мыслей привел Шельгу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах прямо под полом кухни. Тарашкин зажег огарок и лег на живот, освещая сырое подполье, куда Шельга осторожно спустился по тронутой гнилью, скользкой лестнице.

— Идите-ка сюда со свечкой, — крикнул из темноты Шельга, — вот где у него была настоящая-то лаборатория.

Подвал занимал площадь под всей дачей: у кирпичных стен стояло несколько дощатых столов на козлах, баллоны с газом, небольшой мотор и динамо, стеклянные ванны, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах — кучки пепла.

— Вот он чем тут занимался, — с некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая прислоненные к стене подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы и бруски во

многих местах были просверлены, иные разрезаны пополам, места разрезов и отверстий казались обожженными и оплавленными.

В дубовой доске, стоящей торчмя, отверстия эти были диаметром в десятую долю миллиметра, будто от укола иголкой. Посредине доски выведено большими буквами: «П. П. Гарин». Шельга перевернул доску, и на обратной стороне оказались те же навыворот буквы: каким-то непонятным способом трехдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь.

— Фу-ты, черт, — сказал Шельга, — нет, П. П. Гарин здесь не пиротехникой занимался.

— Василий Витальевич, а это что такое? — спросил Тарашкин, показывая пирамидку дюйма в полтора высоты, около дюйма в основании, спрессованную из какого-то серого вещества.

— Где вы нашли?

— Их там целый ящик.

Повертев, понюхав пирамидку, Шельга поставил ее на край стола, воткнул сбоку в нее зажженную спичку и отошел в дальний угол подвала. Спичка догорела, пирамидка вспыхнула ослепительным бело-голубоватым светом. Горела пять минут с секундами без копоты, почти без запаха.

— Рекомендую в следующий раз таких опытов не производить, — сказал Шельга, — пирамидка могла оказаться газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала. Очень хорошо, — что же мы узнали? Попробуем установить: во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого — П. П. Гарин. Вот пока и все. Вы хотите возразить, Тарашкин, что, может быть, П. П. Гарин тот, кто уехал на лодке. Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрел какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж наверно от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории; значит, он и есть изобретатель, то есть — Гарин.

Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурив, сели на крылечке, на солнцепеке, поджидая агента с собакой.

7

На главном почтамте в одно из окошек приема заграничных телеграмм просунулась жирная красноватая рука и повисла с дрожащим телеграфным бланком.

Телеграфист несколько секунд глядел на эту руку и, наконец, понял: «Ага, пятого пальца нет — мизинца», и стал читать бланк.

«Варшава, Маршалковская, Семенову. Поручение выполнено наполовину, инженер отбыл, документы получить не удалось, жду распоряжений. Стась».

Телеграфист подчеркнул красным — Варшава. Поднялся и, залонив собой окошечко, стал глядеть через решетку на подателя

телеграммы. Это был массивный, средних лет человек, с нездоровой, желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими, прикрывающими рот желтыми усами. Глаза спрятаны под щелками опухших век. На бритой голове коричневый бархатный картуз.

— В чем дело? — спросил он грубо. — Принимайте телеграмму.

— Телеграмма зашифрованная, — сказал телеграфист.

— То есть как — зашифрованная? Что вы мне ерунду порете! Это коммерческая телеграмма, вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве, вы ответите за малейшую задержку.

Четырехпалый гражданин рассердился и тряс щеками, не говорил, а лаял, — но рука его на прилавке окошечка продолжала тревожно дрожать.

— Видите ли, гражданин, — говорил ему телеграфист, — хотя вы уверяете, будто ваша телеграмма коммерческая, а я уверяю, что — политическая, зашифрованная.

Телеграфист усмехался. Желтый господин, сердясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмм этого дня.

Взглянув на бланк: «Варшава, Маршалковская», он вышел за перегородку в зал, остановился позади сердитого отправителя и сделал знак телеграфисту. Тот, покрутив носом, прошелся насчет панской политики и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел на его большие ноги. отошел к выходным дверям, кивнул дежурному агенту на поляка:

— Проследить.

Вчерашние поиски с ищейкой привели от дачи в березовом лесу к реке Крестовке, где и оборвались: здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день не принес новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только эта последняя, пожилуй, — в Варшаву Семенову, — представляла некоторый интерес.

Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к окошечку быстро подошел с бланком в руке красивый темноглазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на солидный живот сердитого поляка.

Затем Шельга увидел, как человек с острой бородкой вдруг весь подобрался: он заметил четырехпалую руку и сейчас же взглянул поляку в лицо.

Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть. Опухшие веки широко раскрылись. В мутных глазах мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось — стало свинцовым.

И только тогда Шельга понял, — узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой: это был двойник убитого на даче в березовом лесу на Крестовском...

Поляк хрипло вскрикнул и понесся с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, беспрепятственно пропустил его на улицу и проскользнул вслед.

Двойник убитого остался стоять у окошечка. Холодные, с темным ободком, глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом и, когда поляк скрылся, подал телеграфисту бланк:

«Париж, бульвар Батиньоль, до востребования, номеру 555. Немедленно приступите к анализу, качество повысится на пятьдесят процентов, в середине мая жду первой посылки. П. П.».

— Телеграмма касается научных работ, ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж Институтом неорганической химии, — сказал он телеграфисту. Затем не спеша потянул из кармана папиросную коробку, постукал папиросой и осторожно закурил ее. Шельга учтиво сказал ему:

— Разрешите вас на два слова.

Человек с бородкой взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью:

— Пожалуйста.

— Я агент уголовного розыска, — сказал Шельга, приоткрывая карточку, — может быть, поищем более удобное место для разговора.

— Вы хотите арестовать меня?

— Ни малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда выбежал, намерен вас убить, так же как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина.

Человек с бородкой на минуту задумался. Ни вежливость, ни спокойствие не покинули его.

— Пожалуйста, — сказал он, — идемте, у меня четверть часа свободного времени.

8

На улице близ почтамта к Шельге подбежал дежурный агент — весь красный, в пятнах:

— Товарищ Шельга, он ушел.

— Зачем же вы его упустили?

— Его автомобиль ждал, товарищ Шельга.

— Где ваш мотоциклет?

— Вон валяется, — сказал агент, показывая на мотоцикл в шагах от почтамтского подъезда, — он подскочил и ножом по шине. Я засвистал. Он — в машину и — ходу.

— Заметили номер автомобиля?

— Нет.

— Я подам на вас рапорт.

— Так как же, когда у него номер нарочно весь грязью залеплен?

— Хорошо, идите в угрозыск, через двадцать минут я буду.

Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару Профсоюзов.

— Вы поразительно похожи на убитого, — сказал Шельга.

— Мне это неоднократно приходилось слышать, моя фамилия Пьянков-Питкевич, — с готовностью ответил человек с бородкой. — Во вчерашней вечерней я прочел об убийстве Гарина. Это ужасно. Я хорошо знал этого человека, дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупное открытие по военной химии. Вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах?

Шельга покосился на него, не ответил, спросил:

— Как вы думаете — убийство Гарина связано с интересами Польши?

— Не думаю. Причина убийства гораздо глубже. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией.

На бульваре Шельга предложил присесть. Было безлюдно. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях.

— Вы говорите, что Гарин работал по химии, сведения о нем проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами, кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите:

«...В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает наиболее могучей, из всех известных до сих пор, разрушительной силой».

Питкевич прочел и — улыбаясь:

— Странно, — не знаю... Не слышал про это. Нет, это не про Гарина.

Шельга протянул вторую вырезку:

«...В связи с предстоящими большими маневрами американского флота в тихоокеанских водах был сделан запрос в военном министерстве, — известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в Советской России».

Питкевич пожал плечами: «Чепуха» — и взял у Шельги третью вырезку:

«...Химический король, миллиардер Роллинг, отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией треста заводов, обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. Роллинг дал в Нириже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн внесет успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно Роллинг говорил о Советской России, где, по слухам, ведутся изгачочные работы над передачей на расстояние тепловой энергии».

Питкевич внимательно прочел. Задумался. Сказал, нахмурился брови:

— Да. Весьма возможно, — убийство Гарина связано как-то с этой заметкой.

— Вы спортсмен? — неожиданно спросил Шельга, взял руку Питкевича и повернул ее ладонью вверх. — Я страстно увлекаюсь спортом.

— Вы смотрите, нет ли у меня мозолей от весел, товарищ Шельга... Видите — два пузырька, — это указывает, что я плохо гребу и что я два дня тому назад действительно греб около полутора часов подряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров... Вас удовлетворяют эти сведения?

Шельга отпустил его руку и засмеялся:

— Вы молодчина, товарищ Питкевич, с вами любопытно было бы повозиться всерьез.

— От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь.

— Скажите, Питкевич, вы знали раньше этого поляка с четырьмя пальцами?

— Вы хотите знать, почему я изумился, увидя у него четырехпалую руку? Вы очень наблюдательны, товарищ Шельга. Да, я изумился... больше — я испугался.

— Почему?

— Ну, вот этого я вам не скажу.

Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара.

Питкевич продолжал:

— У него не только изуродована рука, — у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в тысяча девятьсот девятнадцатом году Человека этого зовут Стась Тыклинский...

— Что же, — спросил Шельга, — покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски?

Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непримичаемо, другой весело и открыто.

— Арестовать меня все-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?

— Нет... Это мы всегда успеем.

— Вы правы. Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите — игру в открытую? Условия борьбы: после хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещенные приемы — убивать друг друга до смерти. Кстати — покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности, уверяю вас, — я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся, — пустынно, — и пошел бы, не спеша, на Сенатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безнадежно мертвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию?

— Ладно. Согласен, — сказал Шельга, блестя глазами, — нападать буду я первым, так?

— Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, и бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырехпалого поляка — обещаю помогать в его розыске. Где бы его ни встретил — я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно.

— Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штуки такая, чем вы грозитесь...

Питкевич качнул головой, усмехнулся: «Будь по-вашему — игра открытая» — и осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая, в палец толщины, трубка.

— Вот и все, только надавить с одного конца, — там внутри хрустнет стеклышко.

9

Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, — будто налетел на телеграфный столб. «Хе! — выдохнул он, — хе! — и бешено топнул ногой: — Ах, ловкач, ах, артист!»

Шельга действительно был одурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Питкевич владел какой-то тайной... Шельга вдруг понял — именно государственного, мирового значения была эта тайна... Он уже за хвост держал Пьянкова-Питкевича, — вывернулся, проклятый, обошел!

Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смиренный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге.

— Бабичев, управдом, — сказал он с сильно самогонным духом, — по Пушкинской улице двадцать четвертый номер дома, жилтоварищество.

— Это вы принесли пакет?

— Я принес. Из квартиры номер тринадцатый... Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона, — управдом прикрыл рот рукой, щеки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату, — значит, этот пакет я нашел дополнительно в печке.

— Фамилия пропавшего жильца?

— Савельев, Иван Алексеевич.

Шельга развернул пакет. Там оказались — фотографическая карточка Пьянкова-Питкевича, гребень, ножницы и склянка темной жидкости, краска для волос.

— Чем занимался Савельев?

— По ученой части. Когда у нас фановая труба лопнула — комитет к нему обратился... Он: «Рад бы, — говорит, — вам по мочу, но я химик».

— Он часто отлучался по ночам с квартиры?

— По ночам? Нет. Не замечалось, — управдом опять прикрыл рот, — чуть свет он — со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам, — не замечалось, пьяным не видели.

— Ходили к нему знакомые?

— Не замечалось.

Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны. Оказалось, — в пристройке дома двадцать четыре по Пушкинской действительно проживал Савельев Иван Алексеевич, тридцати шести лет, инженер-химик. Поселился на Пушкинской в феврале с удостоверением личности, выданным тамбовской милицией.

Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия, на леднике, лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нем признал жильца из тринадцатого номера.

10

В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьянковым-Питкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне, расплатился и пошел по тротуару вдоль пустыря. Он открыл калитку в дощатом заборе, миновал двор и поднялся по узкой лестнице черного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошел в комнату, где четыре окна до половины были замазаны мелом, сел на продранный диван и закрыл лицо руками.

Только здесь, в уединенной комнате (уставленной книжными полками и физическими приборами), он мог отжаться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня.

Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении. Только какие-то небольшие возможности складывались в его пользу, из ста — девяносто девять было против. «Как неосторожно, ах, как неосторожно», — шептал он.

Усилив воли он, наконец, овладел своим волнением, ткнул кулаком грязную подушку, лег навзничь и закрыл глаза.

Его мысли, перегруженные страшным напряжением, отдохали. Несколько минут мертвой неподвижности освежили его. Он поднялся, налил в стакан мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он стал шагать по комнате с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению.

Он осторожно отогнул у плинтуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полка несколько книг и все это, вместе с чертежами и частями физических приборов, уложил в чемодан. Поминутно прислушиваясь, отнес чемодан вниз и в одном из темных деревянных подвалов

спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман.

Было без четверти пять. Он опять лег и курил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли!» — почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана, и снова забегал по диагонали комнаты.

В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дому.

11

В полночь в шестнадцатом отделении милиции был вызван к телефону дежурный. Торопливый голос проговорил ему на ухо:

— На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно наряд милиции...

Голос прервался. Дежурный сволокнулся в трубку. Вызвал проверочную, оказалось, что звонили из гребной школы. Позвонил в гребную школу. Там долго трещал телефон, наконец заспанный голос проговорил:

— Что нужно?

— От вас сейчас звонили?

— Звонили, — зевнув, ответил голос.

— Кто звонил?.. Вы видели?

— Нет, у нас электричество испорчено. Сказали, что по поручению товарища Шельги.

Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовички у заколоченной дачи на Крестовском. За березами тускло багровел остаток зари. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ черного крыльца. Его перевернули, — оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом.

Дверь крыльца была раскрыта настежь. Замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушенный голос закричал:

— Люк, отвалите люк в кухне, товарищи...

Столы, ящики, тяжелые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка.

Из подполья выскочил Шельга, — весь в паутине, в пыли, с дикими глазами.

— Скорее сюда! — крикнул он, исчезая за дверью. — Свет, скорее!

В комнате (с железной кроватью) в свете потайных фонарей увидели на полу два расстрелянных револьвера, коричневый бархатный картуз и отвратительные, с едким запахом, следы рвоты.

— Осторожнее! — крикнул Шельга. — Не дышите, уходите, это — смерть!

Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец.

Как все крупного масштаба деловые люди, химический король Роллинг принимал по делам в особо для того снятом помещении, офисе, где его секретарь фильтровал посетителей, устанавливая степень их важности, читал их мысли и с чудовищной вежливостью отвечал на все вопросы. Стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов идеи Роллинга, которые (если взять их арифметическое среднее за год и умножить на денежный эквивалент) стоили приблизительно пятьдесят тысяч долларов за каждый протекающий в одну секунду отрезок идеи короля неорганической химии. Миндалевидные ногти четырех машинисток не переставая порхали по клавишам четырех «Ундервудов». Мальчик для поручений мгновенно вслед за вызовом вырастал перед глазами Роллинга, как стужившаяся материя его воли.

Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьезным помещением. Темного штофа стены, темные бобрики на полу, темная кожаная мебель. На темных столах, покрытых стеклом, лежали сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте, проспекты химических заводов. Несколько ржавых газовых снарядов и бомбомет, привезенные с полей войны, украшали камин.

За высокими, темного ореха, дверями в кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король Роллинг. Профильрованные посетители неслышно по бобрику входили в приемную, садились на кожаные стулья и с волнением глядели на ореховую дверь. Там, за дверью, самый воздух в кабинете короля был неизмеримо драгоценен, так как его пронизывали мысли, стоящие пятьдесят тысяч долларов в секунду.

Какое человеческое сердце осталось бы спокойным, когда среди почтенной тишины в приемной вдруг зашевелится бронзовая, в виде лапы, держащей шар, массивная ручка орехового дерева и появится маленький человек в темно-сером пиджачке, с известной всему миру бородкой, покрывающей щеки, мучительно неприветливый, почти сверхчеловек, с желтовато-нездоровым лицом, напоминающим известную всему миру марку изделий: желтый кружок с четырьмя черными полосками... Приоткрывая дверь, король вонзался глазами в посетителя и говорил с сильным американским акцентом: «Прошу».

Секретарь (с чудовищной вежливостью) спросил, держа золотой карандаш двумя пальцами:

— Простите, ваша фамилия?

— Генерал Субботин, русский... эмигрант.

Отвечавший сердито вскинул плечи и скомканным платком провел по серым усам.

Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших, дружеских вещей, пролетел карандашом по блокнотику и спросил совсем уже осторожно:

— Какая цель, мосье Субботин, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом?

— Чрезвычайная, весьма существенная.

— Быть может, я попытаюсь изложить ее вкратце для представления мистеру Роллингу.

— Видите ли, цель, так сказать, проста, план... Обоюдная выгода...

— План, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю? — спросил секретарь.

— Совершенно верно... Я намерен предложить мистеру Роллингу.

— Я боюсь, — с очаровательной вежливостью перебил его секретарь, и приятное лицо его изобразило даже страдание, — боюсь, что мистер Роллинг немного перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских сто двадцать четыре предложения о химической войне с большевиками. У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция воздушно-химического нападения одновременно на Харьков, Москву и Петроград. Автор диспозиции остроумно разворачивает силы на плацдармах буферных государств, — очень, очень интересно. Автор дает даже точную смету: шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа для поголовного истребления жителей в этих столицах.

Генерал Субботин, побагровев от страшного прилива крови, перебил:

— В чем же дело, мистер, как вас! Мой план не хуже, но и этот — превосходный план. Надо действовать! От слов к делу... За чем же остановка?

— Дорогой генерал, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока еще не видит эквивалента своим расходам.

— Какого такого эквивалента?

— Сбросить шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы. Но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к сожалению, не указывается.

— Ясно как божий день... доходы... колоссальные доходы все кому, кто возвратит России законных правителей, законный, нормальный строй, — золотые горы такому человеку! — Генерал, как орел, из-под бровей уперся глазами в секретаря. — Ага! Значит, указать также эквивалент?

— Точно, вооружась цифрами: налево — пассив, направо — актив, затем — черту и разницу со знаком плюс, которая может заинтересовать мистера Роллинга.

— Ага! — Генерал засопел, надвинул пыльную шляпу и решительно зашагал к двери.

Не успел генерал выйти — в подъезде послышался протестующий голос мальчика для поручений, затем другой голос выразил желание, чтобы мальчишку взяли черти, и перед секретарем появился Семенов в расстегнутом пальто, в руке шляпа и трость, в углу рта изжеванная сигара.

— Доброе утро, дружище, — торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость, — пропустите-ка меня к королю вне очереди.

Золотой карандаш секретаря повис в воздухе.

— Но мистер Роллинг сегодня особенно занят.

— Э, вздор, дружище... У меня в автомобиле дожидается человек, только что из Варшавы... Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина.

У секретаря взлетели брови, и он исчез за ореховой дверью. Через минуту высунулся. «Мосье Семенов, вас просят», — просвистал он нежным шепотом. И сам нажал дверную ручку в виде лапы, держащей шар.

Семенов встал перед глазами химического короля. Семенов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому, что по натуре был хам, во-вторых, потому, что в эту минуту король нуждался в нем больше, чем он в короле.

Роллинг просверлил его зелеными глазами. Семенов, и этим не смущаясь, сел напротив по другую сторону стола. Роллинг сказал:

— Ну?

— Дело сделано.

— Чертежи?

— Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение...

— Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу, — свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу.

— Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор... Я сделал колоссально много... Нашел людей... Послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина. Они видели действие прибора... Но тут, черт его знает, что-то случилось... Во-первых, Гаринных оказалось двое.

— Я это предполагал в самом начале, — брезгливо сказал Роллинг.

— Одного нам удалось убрать.

— Вы его убили?

— Если хотите — что-то в этом роде. Во всяком случае — он умер. Вас это не должно беспокоить: ликвидация произошла в Петрограде, сам он советский подданный, — пустяки... Но затем появился его двойник... Тогда мы сделали чудовищное усилие...

— Одним словом, — перебил Роллинг, — двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные мною деньги.

— Хотите — я позову, — в автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела, — он вам расскажет подробно.

— Не желаю видеть никакого Тыклинского, мне нужны чертежи и прибор... Удивляюсь вашей смелости — являться с пустыми руками...

Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг убийственно посмотрел на Семенова, уверенный, что паршивый русский эмигрант испепелится и исчезнет без следа, — Семенов, не смущаясь, сунул в рог изжеванную сигару и проговорил бойко:

— Не хотите видеть Тыклинского, и не надо, — удовольствие маленькое. Но вот какая штука: мне нужны деньги, Роллинг, — тысяч двадцать франков. Чек дадите или наличными?

При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу, — такое он сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в веснушчатую рожу Семенова... (А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дрянного разговора!) Овладев собою, он потянулся к звонку.

Семенов, следя за его рукой, сказал:

— Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже.

15

Роллинг вскочил, — ноздри распахнулись, между бровей вздулась жила. Он подбежал к двери и запер ее на ключ, затем близко подошел к Семенову, взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола. Наклонился к его лицу:

— Вы лжете.

— Ну вот еще, стану я врать... Дело было так: Стась Тыклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму, и заметил адрес: Париж, бульвар Батиньоль... Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Батиньоль и — нос к носу напоролось в кафе на Гарина или на его двойника, черт их разберет.

Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семенова. Затем выпрямился, из легких его вырвалось пережженное дыхание:

— Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, и в Париже, — если вы совершите преступление, спасать от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу.

Он вернулся на свое место, с отвращением раскрыл чековую книжку: «Двадцать тысяч не дам, с вас довольно и пяти...» Выписал чек, ногтем толкнул его по столу Семенову и потом — не больше, чем на секунду, — положил локти на стол и ладонями стиснул лицо.

Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монроз стала любовницей химического короля. Только дураки да те, кто не знает, что такое борьба и победа, видят повсюду случай. «Вот этот счастливый», — говорят они с завистью и смотрят на удачника, как на чудо. Но сорвись он — тысячи дураков с упоением растопчут его, отвергнутого божественным случаем.

Нет, ни капли случайности, — только ум и воля привели Зою Монроз к постели Роллинга. Воля ее была закалена, как сталь, приключениями девятнадцатого года. Ум ее был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны, или Счастья...

В квартале, где она жила (левый берег Сены, улица Сены), в мелочных, колониальных, винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монроз чем-то вроде святой.

Ее дневной автомобиль — черный лимузин 24 HP, ее прогулочный автомобиль — полубожественный «Роллс-ройс» 80 HP, ее вечерняя электрическая каретка, — внутри — стеганого шелка, — с вазочками для цветов и серебряными ручками, — и в особенности выигрыш в казино в Довилле полутора миллионов франков, — вызывали религиозное восхищение в квартале.

Половину выигрыша, осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монроз «вложила» в прессу.

С октября месяца (начало парижского сезона) пресса «подняла красавицу Монроз на перья». Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разоренных любовниках Зои Монроз. «Красавица слишком дорого нам стоит!» — восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган, ни к селу ни к городу, по поводу этого пасквиля загремел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть Зоя Монроз разорила дюжину иностранцев, — восклицала газета, — их деньги вращаются в Париже, они увеличивают энергию жизни. Для нас Зоя Монроз лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой поднимается».

Портреты и биографии Зои Монроз сообщались во всех газетах:

«Ее покойный отец служил в императорской опере в С.-Петербурге. Восьми лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она ее окончила и дебютировала в балете с успехом, которого не запомнит Северная столица. Но вот — война, и Зоя Монроз с юным сердцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая в серое платье с красным крестом на груди. Ее встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди урагана вражеских снарядов. Она ранена (что, однако,

не нанесло ущерба ее телу юной грации) ее везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии. Ревю люция. Россия предаёт союзников. Душа Зои Монроз потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом, французским капитаном, она бежит на юг и там верхом на коне, с винтовкой в руках, как разгневанная грация, борется с большевиками. Её друг умирает от сыпного тифа. Французские моряки увозят её на миноносце в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампаньи. Она — на всех благотворительных вечерах. Она — как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа».

В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии: всегда вперед, всегда с боями, всегда к самому трудному и ценному. Она действительно разорила дюжину скоробогачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспаленными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли.

Очень скоро она поняла, что скоробогатые молодчики не дадут ей большого шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века — это химия.

Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга.

Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила, с душой и телом, репортера большой газеты, — и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой — химией и даже, вместо банальных бриллиантов, носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев.

Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию, — на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистной пальмой, шумящей от морского ветра, и деревом цветущего миндаля, сидела в плетеном кресле Зоя Монроз.

Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе, кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монроз поставила условием подписать контракт с неустойкой в миллион долларов.

О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монроз и о химическом короле.

Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Еще на пароходе Зоя сказала ему:

— Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я еще более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек: я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, — я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась, как солдат, и проделала верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью.

Роллингу показалась занимательной ее ледяная страстность. Он прикоснулся пальцем к кончику ее носа и сказал:

— Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая, в политике и делах вы всегда останетесь дилетантом.

В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли «американским буйволом». Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шел напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель: сосредоточение в одних (своих) руках мировой химической промышленности.

Зоя Монроз быстро изучила его характер, его приемы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми. Свела его с миром журналистов и руководила беседами. Она покупала мелких хроникеров, на которых он не обращал внимания, но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты, потому что они проникали, как москиты, во все щели жизни.

Когда она «устроила» в парламенте небольшую речь правого депутата «о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции», Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием пожал ей руку:

— Очень хорошо, я беру вас в секретари с жалованьем двадцать семь долларов в неделю.

Роллинг поверил в полезность Зои Монроз и стал с ней откровенен по-деловому, то есть — до конца.

Зоя Монроз поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семенов, состоял у нее на постоянном жалованье. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером и в эмиграции зани-

мался мелкими комиссиями, вплоть до перепродажи ношенных платьев уличным девчонкам.

У Зои Монроз он заведовал контрразведкой. Приносил ей советские журналы и газеты, сообщал сведения, сплетни, слухи. Он был исполнительен, боек и не брезглив.

Однажды Зоя Монроз показала Роллингу вырезку из ревельской газеты, где сообщалось о строящемся в Петрограде приборе огромной разрушительной силы. Роллинг засмеялся:

— Вздор, никто не испугается... У вас слишком горячее воображение. Большевики ничего не способны построить.

Тогда Зоя пригласила к завтраку Семенова, и он рассказал по поводу этой заметки странную историю:

«...В девятнадцатом году в Петрограде, незадолго до моего бегства, я встретил на улице приятеля, поляка, вместе с ним кончил технологический институт, — Стася Тыклинского. Мешок за спиной, ноги обмотаны кусками ковра, на пальто цифры — мелом — следы очередей. Словом, все как полагается. Но лицо оживленно. Подмигивает. В чем дело? «Я, говорит, на такое золотое дело наскочил — ай-люли! — миллионы! Какой там, — сотни миллионов (золотых, конечно)!» Я, разумеется, пристал — расскажи, он только смеется. На том и расстались. Недели через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело, — думаю, дай попрошу у миллионера полфунтика сахара. Зашел. Тыклинский лежит чуть ли не при смерти, — рука и грудь забинтованы.

— Кто это тебя так отделал?

— Подожди, — отвечает, — святая дева поможет — поправлюсь — я его убью.

— Кого?

— Гарина.

И он рассказал, правда сбивчиво и туманно, не желая открывать подробности, про то, как давнишний его знакомый, инженер Гарин, предложил ему приготовить угольные свечи для какого-то прибора необыкновенной разрушительной силы. Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому заняться эксплуатацией аппарата.

Тыклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при возможно малом их объеме выделялось возможно большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тайне, — говорил, что принцип его необычайно прост и потому малейший намек раскроет тайну. Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упротить показать ему аппарат.

Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты, — в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц Петербургской стороны. Тыклинский пробрался туда вслед за Гариным и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам

с выбитыми окнами и, наконец, в подвале услышал сильное, точно от бьющей струи пара, шипение и знакомый запах горящих пирамидок.

Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся о битые кирпичи, упал, нашумел и, шагах в тридцати от себя, за аркой, увидел освещенное коптилкой, перекошенное лицо Гарина. «Кто, кто здесь?» — дико закричал Гарин, и в это же время ослепительный луч, не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резнул Тыклинского наискосок через грудь и руку.

Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрали прохожие, доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел, началась война с Польшей, — ему пришлось уносить ноги из Петрограда».

Рассказ этот произвел на Зою Монроз чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался: он верил только в силу удушьяющих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии — все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия — вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Петрограда — вздор и вздор!

Но Зоя Монроз не успокоилась. Она послала Семенова в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семеновым, перешел на лыжах русскую границу, нашел в Петрограде Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видимо, ему было известно, что за ним следят из-за границы. О своем аппарате он говорил в том смысле, что того, кто будет владеть им, ждет сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками.

19

В дождливый воскресный вечер начала весны огни из окон и бесчисленные огни фонарей отражались в асфальтах парижских улиц.

Будто по черным каналам, над бездной огней мчались мокрые автомобили, бежали, сталкивались, крутились промокшие зонтики. Прелой сыростью бульваров, запахом овощных лавок, бензиновой гарью и духами была напитана дождевая мгла.

Дождь струился по графитовым крышам, по решеткам балконов, по огромным полосатым тентам, раскинутым над кофейнями. Мутно в тумане зажигались, крутились, мерцали огненные рекламы всевозможных увеселений.

Люди маленькие — приказчики и приказчицы, чиновники и служащие — развлекались, кто как мог, в этот день. Люди большие, деловые, солидные сидели по домам у каминов. Воскресенье было днем черни, отданным ей на растерзание.

Зоя Монроз сидела, подобрав ноги, на широком диване среди множества подушечек. Она курила и глядела на огонь камина. Роллинг, во фраке, помещался, с ногами на скамеечке, в большом кресле и тоже курил и глядел на угли.

Его освещенное камином лицо казалось раскаленно-красным, — мясистый нос, щеки, заросшие бородкой, полузакрытые веками, слегка воспаленные глаза повелителя вселенной. Он предавался ко рошей скуке, необходимой раз в неделю, чтобы дать отдых мозгу и нервам.

Зоя Монроз протянула перед собой красивые обнаженные руки и сказала:

— Роллинг, прошло уже два часа после обеда.

— Да, — ответил он, — я, так же, как и вы, полагаю, что пищеварение окончено.

Ее прозрачные, почти мечтательные глаза скользнули по его лицу. Тихо, серьезным голосом, она назвала его по имени. Он ответил, не шевелясь в нагретом кресле:

— Да, я слушаю вас, моя крошка.

Разрешение говорить было дано. Зоя Монроз пересела на край дивана, обхватила колено.

— Скажите, Роллинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва?

— О да. Четвертое производное от каменного угля — тротил — чрезвычайно могучее взрывчатое вещество. Восьмое производное от угля — пикриновая кислота, ею начинают бронебойные снаряды морских орудий. Но есть и еще более сильная штука, это — тетрил.

— А это что такое, Роллинг?

— Все тот же каменный уголь. Бензол (C_6H_6), смешанный при восьмидесяти градусах с азотной кислотой (HNO_3), дает нитробензол. Формула нитробензола — $C_6H_5NO_2$. Если мы в ней две части кислорода O_2 заменим двумя частями водорода H_2 , то есть если мы нитробензол начнем медленно размешивать при восьмидесяти градусах с чугунными опилками, с небольшим количеством соляной кислоты, то мы получим анилин ($C_6H_5NH_2$). Анилин, смешанный с древесным спиртом при пятидесяти атмосферах давления, даст диметил-анилин. Затем выроем огромную яму, обнесем ее земляным валом, внутри поставим сарай и там произведем реакцию диметил-анилина с азотной кислотой. За термометрами во время этой реакции мы будем наблюдать издали, в подзорную трубу. Реакция диметил-анилина с азотной кислотой даст нам тетрил. Этот самый тетрил — настоящий дьявол: от неизвестных причин он иногда взрывается во время реакции и разворачивает в пыль огромные заводы. К сожалению, нам приходится иметь с ним дело: обработанный фосгеном, он дает синюю краску — кристалл-виолет. Ни этой штуке я заработал хорошие деньги. Вы задали мне забавный вопрос... Гм... Я считал, что вы более осведомлены в химии. Гм... Чтобы приготовить из каменноугольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу головную боль, не-

обходимо пройти длинный ряд ступеней... На пути от каменного угля до пирамидона, или до флакончика духов, или до обычного фотографического препарата — лежат такие дьявольские вещи, как тротил и пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бром-бензилцианид, хлор-пикрин, дифенил-хлор-арсин и так далее и так далее, то есть боевые газы, от которых чихают, плачут, срывают с себя защитные маски, задыхаются, рвут кровью, покрываются нарывами, гнивают заживо...

Так как Роллингу было скучно в этот дождливый воскресный вечер, то он охотно предался размышлению о великом будущем химии.

— Я думаю (он помахал около носа до половины выкуренной сигарой), я думаю, что бог Саваоф создал небо и землю и все живое из каменноугольной смолы и поваренной соли. В библии об этом прямо не сказано, но можно догадываться. Тот, кто владеет углем и солью, тот владеет миром. Немцы полезли в войну четырнадцатого года только потому, что девять десятых химических заводов всего мира принадлежали Германии. Немцы понимали тайну угля и соли: они были единственной культурной нацией в то время. Однако они не рассчитали, что мы, американцы, в девять месяцев сможем построить Эджвудский арсенал. Немцы открыли нам глаза, мы поняли, куда нужно вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть мы, а не они, потому что деньги после войны — у нас и химия — у нас. Мы превратим Германию прежде всего, а за ней и другие страны, умеющие работать (не умеющие вымрут естественным порядком, в этом мы им поможем), превратим в одну могучую фабрику... Американский флаг опояшет землю, как бонбоньерку, по экватору и от полюса до полюса...

— Роллинг, — перебила Зоя, — вы сами накликаете беду... Ведь *они* тогда станут коммунистами... Придет день, когда *они* заявят, что вы им больше не нужны, что *они* желают работать для себя... О, я уже пережила этот ужас... Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды...

— Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горчичным газом.

— Роллинг, будет поздно! — Зоя стиснула руками колено, подавшись вперед. — Роллинг, поверьте мне, я никогда не давала вам плохих советов... Я спросила вас: представляют ли опасность для взрыва химические заводы?.. В руках рабочих, революционеров, коммунистов, в руках наших врагов, — я это знаю, — окажется оружие чудовищной силы... Они смогут на расстоянии взрывать химические заводы, пороховые погреба, сжигать эскадрильи аэропланов, уничтожать запасы газов — все, что может взрываться и гореть.

Роллинг снял ноги со скамеечки, красноватые веки его мигнули, некоторое время он внимательно смотрел на молодую женщину.

— Насколько я понимаю, вы намекаете опять на...

— Да, Роллинг, да, на аппарат инженера Гарина... Все, что о нем сообщалось, скользнуло мимо вашего внимания... Но я-то знаю, насколько это серьезно... Семенов принес мне странную вещь. Он получил ее из России...

Зоя позвонила. Вошел лакей. Она приказала, и он принес небольшой сосновый ящик, в нем лежал отрезок стальной полосы толщиной в полдюйма. Зоя вынула кусок стали и поднесла к свету камина. И толще стали были прорезаны насквозь каким-то тонким орудием полочки, завитки и наискосок, словно пером — скорописью, было написано: «Проба силы... проба... Гарин». Кусочки металла внутри некоторых букв вывалились. Роллинг долго рассматривал полосу.

— Это похоже на «пробу пера», — сказал он негромко, — как будто писали иглой в мягком тесте.

— Это сделано во время испытания модели аппарата Гарина на расстоянии тридцати шагов, — сказала Зоя. — Семенов утверждает, что Гарин надеется построить аппарат, который легко, как масло, может разрезать дредноут на расстоянии двадцати кабельтовых... Простите, Роллинг, но я настаиваю, — вы должны овладеть этим страшным аппаратом.

Роллинг недаром прошел в Америке школу жизни. До последнего клеточки он был вытренирован для борьбы.

Тренировка, как известно, точно распределяет усилия между мускулами и вызывает в них наибольшее возможное напряжение. Так у Роллинга, когда он вступал в борьбу, сначала начинали работать фантазия, — она бросалась в девственные дебри предприятий и там открывала что-либо, стоящее внимания. Стоп. Работа фантазии кончилась. Вступал здравый смысл, — оценивал, сравнивал, взвешивал, делал доклад: полезно. Стоп. Вступал практический ум, подсчитывал, учитывал, подводил баланс: актив. Стоп. Вступала воля, крепости молибденовой стали, страшная воля Роллинга, и он, как буйвол с налитыми глазами, ломился к цели и достигал ее, чего бы это ему и другим ни стоило.

Приблизительно такой же процесс произошел и сегодня. Роллинг окинул взглядом дебри неизведанного, здравый смысл сказал: Зоя права. Практический ум подвел баланс: самое выгодное — чертежи и аппарат похитить, Гарина ликвидировать. Точка. Судьба Гарина оказалась решенной, кредит открыт, в дело вступила воля. Роллинг поднялся с кресла, стал задом к огню камина и сказал, выпячивая челюсть:

— Завтра я жду Семенова на бульваре Мальзерб.

20

После этого вечера прошло семь недель. Двойник Гарина был убит на Крестовском острове. Семенов явился на бульвар Мальзерб без чертежей и аппарата. Роллинг едва не проломил ему голову чернильницей. Гарина, или его двойника, видели вчера в Париже.

На следующий день, как обычно, к часу дня Зоя заехала на бульвар Мальзерб. Роллинг сел рядом с ней в закрытый лимузин, оперся подбородком о трость и сказал сквозь зубы:

— Гарин в Париже.

Зоя откинулась на подушки. Роллинг невесело посмотрел на нее. — Семенову давно нужно было отрубить голову на гильотине, он неряха, дешевый убийца, наглец и дурак, — сказал Роллинг. — Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю...

Роллинг передал Зое весь разговор с Семеновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семеновым, убили не Гарина, а его двойника. Появление двойника в особенности смущало Роллинга. Он понял, что противник ловок. Гарин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что покушения все равно не избежать, и запутал следы, подсунув похожего на себя человека. Все это было очень неясно. Но самое непонятное было — за каким чертом ему понадобилось оказаться в Париже?

Лимузин двигался среди множества автомобилей по Елисейским полям. День был теплый, парной, в легкой нежно-голубой мгле вырисовывались крылатые кони и стеклянный купол Большого Салона, полукруглые крыши высоких домов, маркизы над окнами, пышные кущи каштанов.

В автомобилях сидели — кто развалился, кто задрал ногу на колени, кто сосал набалдашник — по преимуществу скоробогатые коротенькие молодчики в весенних шляпах, в веселеньких галстучках. Они везли завтракать в Булонский лес премиленьких девушек, которых для развлечения иностранцев радушно предоставлял им Париж.

На площади Этуаль лимузин Зои Монроз нагнал наемную машину, в ней сидели Семенов и человек с желтым, жирным лицом и пыльными усами. Оба они, подавшись вперед, с каким-то даже исступлением следили за маленьким зеленым автомобилем, загигавшим по площади к остановке подземной дороги.

Семенов указывал на него своему шоферу, но пробраться было трудно сквозь поток машин. Наконец пробрались, и полным ходом они двинули наперерез зелененькому автомобильчику. Но он уже остановился у метрополитена. Из него выскочил человек среднего роста, в широком коверкотовом пальто и скрылся под землей.

Все это произошло в две-три минуты на глазах у Роллинга и Зои. Она крикнула шоферу, чтобы он свернул к метро. Они остановились почти одновременно с машиной Семенова. Жестикулируя тростью, он подбежал к лимузину, открыл хрустальную дверцу и сказал в ужасном возбуждении:

— Это был Гарин. Ушел. Все равно. Сегодня пойду к нему на Батиньоль, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться: сколько вы ассигнуете на приобретение аппарата? Можете быть покойны — я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стася Тыклинского. Это вполне приличный человек.

Не дожидаясь разрешения, он кликнул Тыклинского. Тот подскочил к богатому лимузину, сорвал шляпу, кланялся и целовал ручку пани Монроз.

Роллинг, не подавая руки ни тому, ни другому, блестел глазами из глубины лимузина, как пума из клетки. Оставаться на виду у

всех на площади было неразумно. Зоя предложила ехать завтракать на левый берег в мало посещаемый в это время года ресторан «Лаперуза».

21

Тыклинский поминутно раскланивался, расправлял всяческие усы, влажно поглядывал на Зою Монроз и ел со сдержанной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семенов развязно болтал. Зоя казалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метрдотелю, чтобы он почаще подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу.

Он сорвал с шеи салфетку:

— Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней. Мы перешли советскую границу под Сестрорецком.

— Кто это — мы? — спросил Роллинг.

— Я и, если угодно пану, мой подручный, один русский из Варшавы, офицер армии Балаховича... Человек весьма жестокий... Будь он проклят, как и все русские, пся крив, он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить, где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме, — пани и пан знают, конечно, что в этом доме проклятый байстрюк чуть было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашел стальную полосу, — пани Зоя получила ее от меня и могли убедиться в моем усердии. Гарин переменял место опытов. Я не спал дни и ночи, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе легкие в болотах на Крестовском острове, и я достиг цели. Я проследил Гарина. Двадцать седьмого апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск... Ничего... Надо сойти с ума, — никаких признаков аппарата... Но я-то знал, что он прячет его на даче... Тогда мой помощник немножко резко обошелся с Гаринным... Пани и пан поймут наше волнение... Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пани Роллинга... Нет, мой помощник слишком погорячился...

Роллинг глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монроз, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Тыклинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку.

— Пани и пан уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтамте. Матерь божья, кто же не испугается, столкнувшись нос к носу с живым покойником. А тут еще проклятая милиция кинулась за мною в погоню. Мы стали жертвой обмана, проклятый Гарин подсунул вместо себя кого-то другого. Я решил снова обыскать дачу: там должно было быть подземелье. В ту же ночь я пошел туда один, уснул сторожа. Влез в окно... Пусть пан Роллинг не поймет меня как-

нибудь криво... Когда Тыклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи... Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда я услышал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дыбом... Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира. Это была историческая минута, пани Зоя, клянусь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню, откуда раздавался шум. Я увидел Гарина, — он наваливал в одну кучу у стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, он схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я выхватил револьвер и кинулся за ним. Он уже открывал окно, намереваясь выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил, он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку, — раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки, и в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня, глаза залились слезами от нестерпимой боли, я начал чихать, кашлять, внутренности мои выворачивало, и, простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол.

— Дифенил-хлор-арсин в смеси с фосгеном, по пятидесяти процентов каждого, — дешевая штука, мы вооружаем теперь полицию этими гранатками, — сказал Роллинг.

— Так... Пан говорит истину, — это была газовая гранатка... К счастью, сквозняк быстро унес газ. Я пришел в сознание и, полуживой, добрался до дому. Я был отравлен, разбит, агенты искали меня по городу, оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали с великими опасностями и трудами.

Тыклинский развел руками и поник, отдаваясь на милость. Зоя спросила.

— Вы уверены, что Гарин также бежал из России?

— Он должен был скрыться. После этой истории ему все равно пришлось бы давать объяснения уголовному розыску.

— Но почему он выбрал именно Париж?

— Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них все равно что незаряженное ружье. Гарин — физик. Он ничего не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я, впоследствии тот, кто поплатился за это жизнью на Крестовском острове. Но у Гарина есть еще один компаньон здесь, в Париже, — ему он и послал телеграмму на бульвар Батиньоль. Гарин приехал сюда, чтобы следить за опытами над пирамидками.

— Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарина? — спросил Роллинг.

— Он живет в плохонькой гостинице, на бульваре Батиньоль, — мы были там вчера, нам кое-что рассказал привратник, — ответил Семенов. — Этот человек является домой только ночевать.

Вещей у него никаких нет. Он выходит из дому в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видимо, он работает где-то там же, неподалеку.

— Наружность? Черт вас возьми, какое мне дело до его парусинового балахона! Описал вам привратник его наружность? — крикнул Роллинг.

Семенов и Тыклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу.

— Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина.

Роллинг долго молчал, брови его сдвинулись.

— Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Батиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этуаль, одно и то же лицо, именно инженер Гарин? Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде. Что?

Поляк и Семенов опять переглянулись. Тыклинский с высшей деликатностью улынулся:

— Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники...

Роллинг упрямо мотнул головой. Зоя Монроз сидела, закутала руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно.

Семенов сказал:

— Тыклинский слишком хорошо знает Гарина, ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Предоставляете вы нам одним обделать это дело, — в одно прекрасное утро притащить на бульвар Мальзерб аппарат и чертежи, — или будете работать вместе с нами?

— Ни в коем случае! — неожиданно проговорила Зоя, продолжая глядеть в окно. — Мистер Роллинг весьма интересуется опытами инженера Гарина, мистеру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение, мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности; если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову из того, что здесь рассказывал Тыклинский, то, разумеется, не замедлил бы позвонить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Тыклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги.

Первый раз за весь завтрак Роллинг улыбнулся, вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил ее между зубами. У Тыклинского на больших зализах побагровевшего лба выступил пот, щеки отвисли. Роллинг сказал:

— Ваша задача: дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам, которые будут вам сообщены сегодня в три часа на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков — и только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний.

Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Норд-Зюйд — подземной дороги — мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загибающихся туннелях проносилась мимо паутина электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, желтые на черном буквы: «Дюбоннэ», «Дюбоннэ», «Дюбоннэ» — отвратительного напика, вбиваемого рекламами в сознание парижан.

Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники реклам: «Дивное мыло», «Могучие подтяжки», «Вакса с головой льва», «Автомобильные шины», «Красный дьявол», резиновые накладки для каблучков, дешевая распродажа в универсальных домах — «Лувр», «Прекрасная цветочница», «Галерея Лафайетт».

Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, мидинеток, рассыльных мальчиков, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджачках, рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачовый кушак, — теснясь, придвигается к поезду. Мгновенно раздвигаются стеклянные двери... «О-о-о-о», — проносится вздох, и водоворот шляпок, вытаращенных глаз, разинутых ртов, красных, веселых, рассерженных лиц устремляется вовнутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившись за поручни, вдавливают животом публику в вагоны. С треском захлопываются двери; короткий свист. Поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья.

Семенов и Тыклинский сидели на боковой скамеечке вагона Норд-Зюйд, спиной к двери. Поляк горячился:

— Прошу пана заметить — лишь приличие удержало меня от скандала... Сто раз я мог вспылить... Не ел я завтраков у миллиардеров! Чихал я на эти завтраки... Могу не хуже сам заказать у «Лаперуза» и не буду выслушивать оскорблений уличной девки... Предложить Тыклинскому роль сыщика!.. Сучья дочь, шлюха!

— Э, бросьте, пан Стась, вы не знаете Зои, — она баба славная, хороший товарищ. Ну, погорячилась...

— Видимо, пани Зоя привыкла иметь дело со сволочью, ваши-ми эмигрантами... Но я — поляк, прошу пана заметить, — Тыклинский страшно выпятил усы, — я не позволю со мной говорить в подобном роде...

— Ну, хорошо, усам потряс, облегчил душу, — после некоторого молчания сказал ему Семенов, — теперь слушай, Стась, внимательно: нам дают хорошие деньги, от нас, в конце концов, ни черта не требуют. Работа безопасная, даже приятная: шляйся по кабачкам да по кофейням... Я, например, очень удовлетворен сегодняшним разговором... Ты говоришь — сыщики... Ерунда! А я говорю — нам предложена благороднейшая роль контрразведчиков.

У дверей, позади скамьи, где разговаривали Тыклинский и Семенов, стоял, опираясь локтем о медную штангу, тот, кто однажды на бульваре Профсоюзов в разговоре с Шельгой назвал себя Пьян-

ковым-Питкевичем. Воротник его коверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семенова и Тыклинского, вежливо посторонился, когда они сорвались с места, и вышел из вагона двумя станциями позже — на Монмартре. В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму:

«Ленинград. Угрозыск. Шельге. Четырехпалый здесь. События угрожающие».

23

Из почтамта он поднялся на бульвар Клиши и пошел по теневой стороне.

Здесь из каждой двери, из подвальных окон, из-под полосатых маркиз, покрывающих на широких тротуарах мраморные столики и соломенные стулья, тянуло кислотоватым запахом ночных кабаков. Гарсоны в коротеньких смокингах и белых фартуках, одутловатыс, с набриллиантиненными проборами, посыпали сырыми опилками кафельные полы и тротуары между столиками, ставили свежие охапки цветов, крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы.

Днем бульвар Клиши казался поблекшим, как декорация после карнавала. Высокие, некрасивые, старые дома сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, лавчонки с дребеденью для уличных девочек, под ночные гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы «Мулен-Руж», плакаты кино на тротуарах, два ряда чахлах деревьев посреди бульвара, писсуары, исписанные неприличными словами, каменная мостовая, по которой прошумели, прокатились столетия, ряды балаганов и каруселей, прикрытых брезентами, — все это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы потянутся снизу, из буржуазных кварталов Парижа.

Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны, засвистят паровыми глотками, закрутятся карусели; на золотых свиньях, на быках с золотыми рогами, в лодках, кастрюлях, горшках — кругом, кругом, кругом, — отражаясь в тысяче зеркал, помчатся под звуки паровых оркестрионов девушки в юбчонках до колен, удивленные буржуа, воры с великолепными усами, японские улыбающиеся, как маски, студенты, мальчишки, гомосексуалисты, мрачные русские эмигранты, ожидающие падения большевиков.

Закрутятся огненные крылья «Мулен-Руж». Забегают по фасадам домов изломанные горящие стрелы. Вспыхнут надписи всемирно известных кабаков, из их открытых окон на жаркий бульвар понесется дикая трескотня, барабанный бой и гудки джаз-бандов.

В толпе запищат картонные дудки, затрещат трещотки. Из-под земли начнут вываливаться новые толпы, выброшенные метрополитеном и Норд-Зюйдом. Это Монмартр. Это горы Мартра, сияющие всю ночь веселыми огнями над Парижем, — самое беззаботное

место на свете. Здесь есть где оставить деньги, где провести с хохочущими девчонками беспечную ночь.

Веселый Монмартр — это бульвар Клиши между двумя круглыми, уже окончательно веселыми площадями — Пигаль и Бланш. Налево от площади Пигаль тянется широкий и тихий бульвар Батиньоля. Направо за площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это — места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда — с Батиньоля, с высот Монмартра и Сент-Антуана — не раз спускались вооруженные рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты. И нижний город, раскинувший по берегам Сены банки, конторы, пышные магазины, отели для миллионеров и казармы для тридцати тысяч полицейских, четыре раза переходил в наступление, и в сердце рабочего города, на высотах, утвердил пылающими огнями мировых притонов сексуальную печать нижнего города — площадь Пигаль — бульвар Клиши — площадь Бланш.

24

Дойдя до середины бульвара, человек в коверкотовом пальто свернул в боковую узкую улочку, ведущую исхоженными ступенями на вершину Монмартра, внимательно оглянулся по сторонам и зашел в темный кабачок, где обычными посетителями были проститутки, шоферы, полуголодные сочинители куплетов и неудачники, еще носящие, по старинному обычаю, широкие штаны и широкополую шляпу.

Он спросил газету, рюмку портвейна и принялся за чтение. За цинковым прилавком хозяин кабачка — усатый, багровый француз, сто десять кило весом, — засучив по локоть волосатые руки, мыл под краном посуду и разговаривал, — хочешь — слушай, хочешь — нет.

— Что вы там ни говорите, а Россия нам наделала много хлопот (он знал, что посетитель — русский, звался мосье Пьер). Русские эмигранты не приносят больше дохода. Выдохлись, о-ла-ла... Но мы еще достаточно богаты, мы можем себе позволить роскошь дать приют нескольким тысячам несчастных. (Он был уверен, что его посетитель промышлял на Монмартре по мелочам.) Но, разумеется, всему свой конец. Эмигрантам придется вернуться домой. Увы! Мы вас помирим с вашим обширным отечеством, мы признаем ваши Советы, и Париж снова станет добрым старым Парижем. Мне надоела война, должен вам сказать. Десять лет продолжается это несварение желудка. Советы выражают желание платить мелким держателям русских ценностей. Умно, очень умно с их стороны. Да здравствуют Советы! Они неплохо ведут политику. Они большевизируют Германию. Прекрасно! Аплодирую. Германия станет советской и разоружится сама собой. У нас не будет болеть желудок при мысли об их химической промышленности. Глупцы в нашем квартале считают меня большевиком. О-ла-ла!.. У меня правильный расчет. Большевизация нам не страшна. Подсчитайте —

сколько в Париже добрых буржуа и сколько рабочих. Ого! Мы, буржуа, сможем защитить свои сбережения... Я спокойно смотрю, когда наши рабочие кричат: «Да здравствует Ленин!» — и махают красными флагами. Рабочий — это бочонок с забродившим вином, его нельзя держать закупоренным. Пусть его кричит: «Да здравствуют Советы!» — я сам кричал на прошлой неделе. У меня на восемь тысяч франков русских процентных бумаг. Нет, вам нужно мириться с вашим правительством. Довольно глупостей. Франк падает. Проклятые спекулянты, эти вши, которые облепляют каждую нацию, где начинает падать валюта, — это племя инфлянтов снова перекочевало из Германии в Париж.

В кабачок быстро вошел худощавый человек в парусиновом балахоне, с непокрытой светловолосой головой.

— Здравствуй, Гарин, — сказал он тому, кто читал газету, — можешь меня поздравить... Удача...

Гарин стремительно поднялся, стиснул ему руки:

— Виктор...

— Да, да. Я страшно доволен... Я буду настаивать, чтобы мы взяли патент.

— Ни в коем случае... Идем.

Они вышли из кабачка, поднялись по ступенчатой улочке, свернули направо и долго шли мимо грязных домов предместья, мимо огороженных колючей проволокой пустырей, где трепалось жалкое белье на веревках, мимо кустарных заводиков и мастерских.

День кончался. Навстречу попадались кучки усталых рабочих. Здесь, на горах, казалось, жило иное племя людей, иные были у них лица — твердые, худощавые, сильные. Казалось, французская нация, спасаясь от ожирения, сифилиса и дегенерации, поднялась на высоты над Парижем и здесь спокойно и сурово ожидает часа, когда можно будет очистить от скверны низовой город и снова повернуть кораблик Лютеции¹ в солнечный океан.

— Сюда, — сказал Виктор, отворяя американским ключом дверь низенького каменного сарая.

25

Гарин и Виктор Лемуар подошли к небольшому кирпичному горну под колпаком. Рядом на столе лежали рядками пирамидки. На горне стояло на ребре толстое бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками, расположенными по его окружности. Лемуар зажег свечу и со странной усмешкой взглянул на Гарина.

— Петр Петрович, мы знакомы с вами лет пятнадцать, — так? Съели не один пуд соли. Вы могли убедиться, что я человек честный. Когда я удрал из Советской России — вы мне помогли... Из этого я заключаю, то вы относитесь ко мне неплохо. Скажите —

¹ Герб Парижа, или по-древнему — Лютеции, — золотой кораблик.

какого черта вы скрываете от меня аппарат? Я же знаю, что без меня, без этих пирамидок — вы беспомощны... Давайте по-товарищески...

Внимательно рассматривая бронзовое кольцо с фарфоровыми чашечками, Гарин спросил:

— Вы хотите, чтобы я открыл тайну?

— Да.

— Вы хотите стать участником в деле?

— Да.

— Если понадобится, а я предполагаю, что в дальнейшем понадобится, вы должны будете пойти на все для успеха дела...

Не сводя с него глаз, Ленуар присел на край горна, углы рта его задрожали.

— Да, — твердо сказал он, — согласен.

Он потянул из кармана халата тряпочку и вытер лоб.

— Я вас не вынуждаю, Петр Петрович. Я завел этот разговор потому, что вы самый близкий мне человек, как это ни странно... Я был на первом курсе, вы — на втором. Еще с тех пор, ну, как это сказать, я преклонялся, что ли, перед вами... Вы страшно талантливы... блестящи... Вы страшно смелы. Ваш ум — аналитический, дерзкий, страшный. Вы страшный человек. Вы жестки, Петр Петрович, как всякий крупный талант, вы недогадливы к людям. Вы спросили — готов ли я на все, чтобы работать с вами... Конечно, ну, конечно... Какой же может быть разговор? Терять мне нечего. Без вас — будничная работа, будни до конца жизни. С вами — праздник или гибель... Согласен ли я на все?.. Смешно... Что же — это «все»? Украсть, убить?

Он остановился. Гарин глазами сказал «да». Ленуар усмехнулся.

— Я знаю французские уголовные законы... Согласен ли я подвергнуть себя опасности их применения? — согласен... Между прочим, я видел знаменитую газовую атаку германцев двадцать второго апреля пятнадцатого года. Из-под земли поднялось густое облако и поползло на нас желто-зелеными волнами, как мираж, — во сне этого не увидишь. Тысячи людей бежали по полям в нестерпимом ужасе, бросая оружие. Облако настигало их. У тех, кто успел выскочить, были темные, багровые лица, вывалившиеся языки, выжженные глаза... Какой вздор «моральные понятия»... Ого, мы — не дети после войны.

— Одним словом, — насмешливо сказал Гарин, — вы, наконец, поняли, что буржуазная мораль — один из самых ловких арапских номеров, и дураки те, кто из-за нее глотает зеленый газ. По правде сказать, я мало задумывался над этими проблемами... Итак... Я добровольно принимаю вас товарищем в дело. Вы беспрекословно подчинитесь моим распоряжениям. Но есть одно условие...

— Хорошо, согласен на всякое условие.

— Вы знаете, Виктор, что в Париж я попал с подложным паспортом, каждую ночь я меняю гостиницу. Иногда мне приходится брать уличную девку, чтобы не возбуждать подозрения. Вчера я

узнал, что за мною следят. Поручена эта слежка русским. Видимо, меня принимают за большевистского агента. Мне нужно навести сыщиков на ложный след.

— Что я должен делать?

— Загримироваться мной. Если вас схватят, вы предъявите ваши документы. Я хочу раздвоиться. Мы с вами одного роста. Вы покрасите волосы, приклеите фальшивую бородку, мы купим одинаковые платья. Затем сегодня же вечером вы переедете из вашей гостиницы в другую часть города, где вас не знают, — скажем — в Латинский квартал. По рукам?

Ленуар соскочил с горна, крепко пожал Гарину руку. Затем он принялся объяснять, как ему удалось приготовить пирамидки из смеси алюминия и окиси железа (термита) с твердым маслом и желтым фосфором.

Поставив на фарфоровые чашечки кольца двенадцать пирамидок, он зажег их при помощи шнура. Столб ослепительного пламени поднялся над горном. Пришлось отойти в глубь сарая, — так нестерпимы были свет и жар.

— Превосходно, — сказал Гарин, — надеюсь — никакой копоты?

— Сгорание полное при этой страшной температуре. Материалы химически очищены.

— Хорошо. На этих днях вы увидите чудеса, — сказал Гарин, — идем обедать. За вещами в гостиницу пошлем посыльного. Переночуем на левом берегу. А завтра в Париже окажется двое Гариных... У вас имеется второй ключ от сарая?

26

Здесь не было ни блестящего потока автомобилей, ни праздных людей, свертывающих себе шею, глядя на окна магазинов, ни головокружительных женщин, ни индустриальных королей.

Штабели свежих досок, горы булыжника, посреди улицы отвалы синей глины и разложенные сбоку тротуара, как разрезанный гигантский червяк, звенья канализационных труб.

Спартаковец Тарашкин шел не спеша на острова, в клуб. Он находился в самом приятном расположении духа. Внешнему наблюдателю он показался бы даже мрачным на первый взгляд, но это происходило оттого, что Тарашкин был человек основательный, уравновешенный и веселое настроение у него не выражалось каким-либо внешним признаком, если не считать легкого посвистывания да спокойной походочки.

Не доходя шагов ста до трамвая, он услышал возню и писк между штабелями торцов. Все происходящее в городе, разумеется, непосредственно касалось Тарашкина.

Он заглянул за штабели и увидел трех мальчиков, в штанишках и в толстых куртках: они, сердито сопя, колотили четвер-

того мальчика, меньше их ростом, — босого, без шапки, одетого в ватную кофту, такую рваную, что можно было удивиться. Он молча защищался. Худенькое лицо его было исцарапано, маленький рот плотно сжат, карие глаза — как у волчонка.

Тарашкин сейчас же схватил двух мальчишек и за шиворот поднял на воздух, третьему дал ногой леща, — мальчишка взвыл и скрылся за торцами.

Другие двое, болтаясь в воздухе, начали грозиться ужасными словами. Но Тарашкин тряхнул их посильней, и они успокоились.

— Это я не раз вижу на улице, — сказал Тарашкин, заглядывая в их сопящие рыльца, — маленьких обижать, шкеты! Чтобы этого у меня больше не было. Поняли?

Вынужденные ответить в положительном смысле, мальчишки сказали угрюмо:

— Поняли.

Тогда он их отпустил, и они, ворча, что, мол, попадись нам теперь, удалились, — руки в карманы.

Избитый маленький мальчик тоже попытался было скрыться, но только повертелся на одном месте, слабо застонал и сел, уйдя с головой в рваную кофту.

Тарашкин наклонился над ним. Мальчик плакал.

— Эх, ты, — сказал Тарашкин, — ты где живешь-то?

— Нигде, — из-под кофты ответил мальчик.

— То есть как это — нигде? Мамка у тебя есть?

— Нету.

— И отца нет? Так. Беспризорный ребенок. Очень хорошо.

Тарашкин стоял некоторое время, распустив морщины на носу. Мальчик, как муха, жужжал под кофтой.

— Есть хочешь? — спросил Тарашкин сердито.

— Хочу.

— Ну ладно, пойдем со мной в клуб.

Мальчик попытался было встать, но не держали ноги. Тарашкин взял его на руки, — в мальчишке не было и пуда весу, — и понес к трамваю. Ехали долго. Во время пересадки Тарашкин купил булку, мальчишка с судорогой вонзил в нее зубы. До гребной школы дошли пешком. Впуская мальчика за калитку, Тарашкин сказал:

— Смотри только, чтобы не воровать.

— Не, я хлеб только ворую.

Мальчик сонно глядел на воду, играющую солнечными зайчиками на лакированных лодках, на серебристо-зеленую иву, опрокинувшую в реке свою красу, на двухвесельные, четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми гребцами. Худенькое личико его было равнодушное и усталое. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с бонами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись.

Вечером Тарашкин вытащил его из-под мостков, велел вымыть в речке лицо и руки и повел ужинать. Мальчика посадили за стол с гребцами. Тарашкин сказал товарищам:

— Этого ребенка можно даже при клубе оставить, не объест, к воде приучим, нам расторопный мальчонка нужен.

Товарищи согласились: пускай живет. Мальчик спокойно все это слушал, степенно ел. Поужинав, молча полез с лавки. Его ничто не удивляло, — видел и не такие виды.

Тарашкин повел его на боны, велел сесть и начал разговор.

— Как тебя зовут?

— Иваном.

— Ты откуда?

— Из Сибири. С Амура, сверху.

— Давно оттуда?

— Вчера приехал.

— Как же ты приехал?

— Где пешком плелся, где под вагоном в ящиках.

— Зачем тебя в Ленинград занесло?

— Ну, это мое дело, — ответил мальчик и отвернулся, — значит, надо, если приехал.

— Расскажи, я тебе ничего не сделаю.

Мальчик не ответил и опять понемногу стал уходить головой в кофту. В этот вечер Тарашкин ничего от него не добился.

27

Двойка — двухвесельная распашная гичка из красного дерева, изящная, как скрипка, — узкой полоской едва двигалась по зеркальной реке. Оба весла плашмя скользили по воде. Шельга и Тарашкин в белых трусиках, по пояс голые, с шершавыми от солнца спинами и плечами, сидели неподвижно, подняв колени.

Рулевой, серьезный парень в морском картузе и в шарфе, обмотанном вокруг шеи, глядел на секундомер.

— Гроза будет, — сказал Шельга.

На реке было жарко, ни один лист не шевелился на пышно-лесистом берегу. Деревья казались преувеличенно вытянутыми. Небо до того насыщено солнцем, что голубовато-хрустальный свет его словно валился горами кристаллов. Ломило глаза, сжимало виски.

— Весла на воду! — скомандовал рулевой.

Гребцы разом пригнулись к раздвинутым коленям и, закинув, погрузив весла, откинулись, почти легли, вытянув ноги, откатываясь на сиденьях.

— Ать-два!..

Весла выгнулись, гичка, как лезвие, скользнула по реке.

— Ать-два, ать-два, ать-два! — командовал рулевой.

Мерно и быстро, в такт ударам сердца — вдыханию и выдыханию, — сжимались, нависая над коленями, тела гребцов, распрямлялись, как пружины. Мерно, в ритм потоку крови, в горячем напряжении работали мускулы.

Гичка летела мимо прогулочных лодок, где люди в подтяжках беспомощно барахтали веслами. Гребя, Шельга и Тарашкин прямо глядели перед собой, — на переносицу рулевого, держа глазами линию равновесия. С прогулочных лодок успевали только крикнуть вслед:

— Ишь, черти!.. Вот дунули!..

Вышли на взморье. Опять на одну минуту неподвижно легли на воде. Вытерли пот с лица. «Ать-два!» Повернули обратно мимо яхт-клуба, где мертвыми полотнищами в хрустальном зное висели огромные паруса гоночных яхт ленинградских профсоюзов. Играла музыка на веранде яхт-клуба. Не колыхались протянутые вдоль берега легкие пестрые значки и флаги. Со шлюпок в середину реки бросались коричневые люди, взметая брызги.

Проскользнув между купальщиками, гичка пошла по Невке, пролетела под мостом, несколько секунд висела на руле у четырехвесельного аутригера из клуба «Стрела», обогнала его (рулевой через плечо спросил: «Может, на буксир хотите?»), вошла в узкую, с пышными берегами Крестовку, где в зеленой тени серебристых ив скользили красные платочки и голые колени женской учебной команды, и стала у бонов гребной школы.

Шельга и Тарашкин выскочили на боны, осторожно положили на покатый помост длинные весла, нагнулись над гичкой и по команде рулевого выдернули ее из воды, подняли на руках и внесли в широкие ворота, в сарай. Затем пошли под душ. Растерлись докрасна и, как полагается, выпили по стакану чаю с лимоном. После этого они почувствовали себя только что рожденными в этом прекрасном мире, который стоит того, чтобы принялись, наконец, за его благоустройство.

28

На открытой веранде, на высоте этажа (где пили чай), Тарашкин рассказал про вчерашнего мальчика:

— Расторопный, умница, ну, прелесть. — Он перегнулся через перила и крикнул: — Иван, поди-ка сюда.

Сейчас же по лестнице затопали босые ноги. Иван появился на веранде. Рваную кофту он снял. (По санитарным соображениям ее сожгли на кухне.) На нем были гребные трусики и на голом теле сумонный жилет, невероятно ветхий, весь перевязанный веревочками.

— Вот, — сказал Тарашкин, указывая пальцем на мальчика, — сколько его ни уговариваю снять жилетку — нипочем не хочет. Как ты купаться будешь, я тебя спрашиваю? И была бы жилетка хорошая, а то — грязь.

— Я купаться не могу, — сказал Иван.

— Тебя в бане надо мыть, ты весь черный, чумазый.

— Не могу я в бане мыться. Во, по сих пор — могу, — Иван показал на пупок, помялся и придвинулся поближе к двери.

Тарашкин, деря ногтями икры, на которых по загару оставались белые следы, крикнул с досады:

— Что хочешь с ним, то и делай.

— Ты что же, — спросил Шельга, — воды боишься?

Мальчик посмотрел на него без улыбки:

— Нет, не боюсь.

— Чего же не хочешь купаться?

Мальчик опустил голову, упрямо поджал губы.

— Боишься жилетку снимать, боишься — украдут? — спросил Шельга.

Мальчик дернул плечиком, усмехнулся.

— Ну, вот что, Иван, не хочешь купаться — дело твое. Но жилетку мы допустить не можем. Бери мою жилетку, раздевайся.

Шельга начал расстегивать на себе жилет. Иван попятился. Зрачки его беспокойно забегали. Один раз, умоляя, он взглянул на Тарашкина и все придвигался бочком к стеклянной двери, раскрятой на внутреннюю темную лестницу.

— Э, так мы играть не уговаривались. — Шельга встал, запер дверь, вынул ключ и сел прямо против двери. — Ну, снимай.

Мальчик оглядывался, как зверек. Стоял он теперь у самой двери — спиной к стеклам. Брови у него сдвинулись. Вдруг решительно он сбросил с себя лохмотья и протянул Шельге:

— На, давай свою.

Но Шельга с величайшим удивлением глядел уже не на мальчика, а мимо его плеча — на дверные стекла.

— Давайте, — сердито повторил Иван, — чего смеетесь? — не маленькие.

— Ну и чудак! — Шельга громко рассмеялся. — Повернись-ка спиной. (Мальчик, точно от толчка, ударился затылком в стекло.) Повернись, все равно вижу, что у тебя на спине написано.

Тарашкин вскочил. Мальчик легким комочком перелетел через веранду, перекатился через перила. Тарашкин на лету едва успел схватить его. Острыми зубами Иван впился ему в руку.

— Вот дурной. Брось кусаться!

Тарашкин крепко прижал его к себе. Гладил по сизой обритою голове.

— Дикий совсем мальчишка. Как мышь, дрожит. Будет тебе, не обидим.

Мальчик затих в руках у него, только сердце билось. Вдруг он прошептал ему в ухо:

— Не велите ему, нельзя у меня на спине читать. Никому не велено. Убьют меня за это.

— Да не будем читать, нам не интересно, — повторял Тарашкин, плача от смеха. Шельга все это время стоял в другом конце террасы, — кусал ногти, щурился, как человек, отгадывающий загадку. Вдруг он подскочил и, несмотря на сопротивление Тарашкина, повернул мальчика к себе спиной. Изумление, почти ужас изобразились на его лице. Чернильным карандашом ниже лопаток

на худой спине у мальчишки было написано расплывшимися от пота полустертыми буквами:

«...Петру Гар... Резуль...ы самые утешит... глубину оливина предполагаю на пяти киломе...ах, продолж... изыскания, необх... помощь... Голод... торопись экспедиц...».

— Гарин, это — Гарин! — закричал Шельга. В это время на двор клуба, треща и стреляя, влетел мотоциклет уголовного розыска, и голос агента крикнул снизу:

— Товарищ Шельга, вам — срочная...

Это была телеграмма Гарина из Парижа.

29

Золотой карандашик коснулся блокнота:

— Ваша фамилия, сударь?

— Пьянков-Питкевич.

— Цель вашего посещения?..

— Передайте мистеру Роллингу, — сказал Гарин, — что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина.

Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал. Не поднимая глаз, предложил сесть. Затем — не поднимая глаз:

— Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря, — слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному, — тем не менее я готов слушать вас. Даю две минуты. Что нового об инженере Гарине?

Положив ногу на ногу, сильно вытянутые руки — на колено, Гарин сказал:

— Инженер Гарин хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата?

— Да, — ответил Роллинг, — для промышленных целей, насколько мне известно, аппарат представляет некоторый интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна, — они согласны приобрести патент.

— Аппарат не предназначен для промышленных целей, — резко ответил Гарин, — это аппарат для разрушения. Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности. Но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка.

— Политические?

— Э... Политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. Политика — мелочь, функция.

— Где установить?

— Повсюду, разумеется, на всех пяти материках.

— Ого! — сказал Роллинг.

— Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь. Но он и не совсем ваш. Повторяю — у него обширные замыслы. Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить на деле самую горячую фантазию. Аппарат уже построен, его можно демонстрировать хотя бы сегодня.

— Гм! — сказал Роллинг.

— Гарин следил за вашей деятельностью, мистер Роллинг, и находит, что у вас неплохой размах, но вам не хватает большой идеи. Ну — химический концерн. Ну — воздушно-химическая война. Ну — превращение Европы в американский рынок... Все это мелко, нет центральной идеи. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество.

— Вы или он — сумасшедший? — спросил Роллинг.

Гарин рассмеялся, сильно потер пальцем сбоку носа.

— Видите — хорошо уж и то, что вы слушаете меня не две, а девять с половиной минут.

— Я готов предложить инженеру Гарину пятьдесят тысяч франков за патент его изобретения, — сказал Роллинг, снова принимаясь писать.

— Предложение нужно понимать так: силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гариным расправиться так же, как с его помощником на Крестовском острове?

Роллинг быстро положил перо, только два красных пятна на его скулах выдали волнение. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресло и посмотрел на Гарина ничего не выражающими, мутными глазами.

— Если предположить, что именно так я и намерен поступить с инженером Гариним, что из этого вытекает?

— Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся.

— В чем?

— Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба, — Гарин проговорил это раздельно, по слогам, глядя весело и дерзко на Роллинга. Тот только выпустил синий дымок и осторожно помахал сигарой у носа.

— Глупо делить с инженером Гариним барыши, когда я могу взять все сто процентов, — сказал он. — Итак, чтобы кончить, и предлагаю сто тысяч франков, и ни сантима больше.

— Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты Семенов и Тыклинский проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, и его арестуют как большевистского шпиона. Аппарат и чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше пяти тысяч. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи, — всегда можно отправить по этапу в Россию через Польшу, где его прихлопнут на границе. Просто и дешево. Зачем же сто тысяч франков?

Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утопая лакированными туфлями в серебристом ковре. Вдруг он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами.

— Дешевая игра, — сказал он, — вы врете. Я продумал вперед на пять ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и двух луидоров за его патент. Гарин выслежен и попался. (Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман.) Убирайтесь к черту!

Гарин в это время тоже поднялся и стоял у стола, опустив голову. Когда Роллинг послал его к черту, он провел рукой по волосам и проговорил упавшим голосом, будто человек, неожиданно попавший в ловушку:

— Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши условия. Вы говорите о ста тысячах...

— Ни сантима! — крикнул Роллинг. — Убирайтесь, или вас вышвырнут!

Гарин запустил пальцы за воротник, глаза его начали закатываться. Он пошатнулся. Роллинг заревел:

— Без фокусов! Вон!

Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударилась в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку. Мгновенно появился секретарь...

— Вышвырните этого субъекта...

Секретарь присел, как барс, изящные усики ошетинились, под тонким пиджаком налились стальные мускулы... Но Гарин уже отходил от стола — бочком, бочком, кланяясь Роллингу. Бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял обокошка, спустил зеленые шторы и коротко, резко рассмеялся.

Из кармана пиджака он вынул скомканную бумагу и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем листе (вырванном из большого блокнота) крупным почерком Роллинга были набросаны деловые заметки на сегодняшний день. Видимо, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин, рука насторожившегося Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. Три раза, одно под другим было написано: «Улица Гобеленов, шестьдесят три, инженер Гарин». (Это был новый адрес Виктора Лемуара, только что сообщенный по телефону Семеновым.) Затем: «Пять тысяч франков — Семенову...»

— Удача! Черт! Вот удача! — шептал Гарин, осторожно разглаживая листочки на коленях.

Через десять минут Гарин выскочил из автомобиля на бульваре Сен-Мишель. Зеркальные окна в кафе «Пантеон» были подняты. В глубине за столиком сидел Виктор Лемуар. Увидев Гарина, поднял руку и щелкнул пальцами.

Гарин поспешно сел за его столик — спиной к свету. Казалось, он сел против зеркала: такая же была у Виктора Ленуара продолговатая борода, мягкая шляпа, галстук бабочкой, пиджак в полоску.

— Поздравь — удача! Необычайно! — сказал Гарин, смеясь глазами. — Роллинг пошел на все. Предварительные расходы несет единолично. Когда начнется эксплуатация, пятьдесят процентов вала — ему, пятьдесят — нам.

— Ты подписал контракт?

— Подписываем через два-три дня. Демонстрацию аппарата придется отложить. Роллинг поставил условие — подписать только после того, как своими глазами увидит работу аппарата.

— Ставишь бутылку шампанского?

— Две, три, дюжину.

— А все-таки — жаль, что эта акула проглотит у нас половину доходов, — сказал Ленуар, подзывая лакея. — Бутылку «Ирруа», самого сухого...

— Без капитала все равно мы не развернемся. Вот, Виктор, если бы удалось мое камчатское предприятие, — десять Роллингом послали бы к чертям.

— Какое камчатское предприятие?

Лакей принес вино и бокалы, Гарин закурил сигару, откинулся на соломенном стуле и, покачиваясь, жмурясь, стал рассказывать:

— Ты помнишь Манцева Николая Христофоровича, геолога? В пятнадцатом году он разыскал меня в Петрограде. Он только что вернулся с Дальнего Востока, испугавшись мобилизации, и попросил моей помощи, чтобы не попасть на фронт.

— Манцев служил в английской золотой компании?

— Производил разведки на Лене, на Алдане, затем в Колыме. Рассказывал чудеса. Они находили прямо под ногами самородки и пятнадцать килограммов... Вот тогда именно у меня зародилась идея, генеральная идея моей жизни... Это очень дерзко, даже безумно, но я верю в это. А раз верю — сам сатана меня не остановит. Видишь ли, мой дорогой, единственная вещь на свете, которую я хочу всеми печенками, — это власть... Не какая-нибудь королевская, императорская, — мелко, пошло, скучно. Нет, власть абсолютная... Когда-нибудь подробно расскажу тебе о моих планах. Чтобы властвовать — нужно золото. Чтобы властвовать, как я хочу, нужно золота больше, чем у всех индустриальных, биржевых и прочих королей вместе взятых...

— Действительно, у тебя планы смелые, — весело засмеялся, сказал Ленуар.

— Но я на верном пути. Весь мир будет у меня — вот! — Гарин сжал в кулак маленькую руку. — Вехи на моем пути — это гениальный Манцев Николай Христофорович, затем Роллинг, вернее — его миллиарды, и, в-третьих, — мой гиперболоид...

— Так что же Манцев?

— Тогда же, в пятнадцатом году, я мобилизовал все свои деньги, больше нахальством, чем подкупом, освободил Манцева от

воинской повинности и послал его с небольшой экспедицией на Камчатку, в чертову глушь... До семнадцатого года он мне еще писал: работа его была тяжелая, труднейшая, условия собачьи... С восемнадцатого года — сам понимаешь — след его потерялся... От его изысканий зависит все...

— Что он там ищет?

— Он ничего не ищет... Манцев должен только подтвердить мои теоретические предположения. Побережье Тихого океана — азиатское и американское — представляет края древнего материка, опустившегося на дно океана. Такая гигантская тяжесть должна была сказаться на распределении глубоких горных пород, находящихся в расплавленном состоянии... Цепи действующих вулканов Южной Америки — в Андах и Кордильерах, вулканы Японии и, наконец, Камчатки подтверждают то, что расплавленные породы Оливинового пояса — золото, ртуть, оливин и прочее — по краям Тихого океана гораздо ближе к поверхности земли, чем в других местах земного шара...¹ Понятно тебе?

— Не понимаю, тебе-то зачем этот Оливиновый пояс?

— Чтобы владеть миром, дорогой мой... Ну, выпьем. За успех...

31

В черной шелковой кофточке, какие носят мидинетки, в короткой юбке, напудренная, с подведенными ресницами, Зоя Монроз соскочила с автобуса у ворот Сен-Дени, перебежала шумную улицу и вошла в огромное, выходящее на две улицы кафе «Глобус» — приют всевозможных певцов и певичек с Монмартра, актеров и актрисок средней руки, воров, проституток и анархически настроенных молодых людей из тех, что с десятью су бегают по бульварам, облизывая пересохшие от лихорадки губы, вождедя женщин, ботинки, шелковое белье и все на свете...

Зоя Монроз отыскала свободный столик. Закурила папироску, положила ногу на ногу. Сейчас же близко прошел человек с венерическими коленками, — пробормотал сиповато: «Почему такая сердитая, крошка?» Она отвернулась. Другой, за столиком, прищурясь, показал язык. Еще один разлетелся, будто по ошибке: «Кики, наконец-то...» Зоя коротко послала его к черту.

Видимо, на нее здесь сильно клевали, хотя она и постаралась принять вид уличной девчонки. В кафе «Глобус» был нюх на женщин. Она приказала гарсону подать литр красного и села перед налитым стаканом, подперев щеки. «Нехорошо, малютка, ты начинаешь спиваться», — сказал старичок актер, проходя мимо, потрепав ее по спине.

¹ Существует предположение, что между земной корой и твердым центральным ядром земли есть слой расплавленных металлов — так называемый Оливиновый пояс.

Она выкурила уже три папиросы. Наконец, не спеша, подошел тот, кого она ждала, — угрюмый, плотный человек с узким, заросшим лбом и холодными глазами. Усы его были приподняты, цветной воротник врезывался в сильную шею. Он был отлично одет — без лишнего шика. Сел. Коротко поздоровался с Зоей. Поглядел вокруг, и кое-кто опустил глаза. Это был Гастон Утиный Нос, в прошлом — вор, затем бандит из шайки знаменитого Боно. На войне он выслужился до унтер-офицера и после демобилизации перешел на спокойную работу кота крупного масштаба.

Сейчас он состоял при неизвестной Сюзанне Бурж. Но она отцветала. Она опускалась на ту ступень, которую Зоя Монроз давно уже перешагнула. Гастон Утиный Нос говорил:

— У Сюзанны хороший материал, но никогда использовать его она не сможет. Сюзанна не чувствует современности. Экос диво — кружевные панталоны и утренняя ванна из молока. Старо, — для провинциальных пожарных. Нет, клянусь горчицей газом, который выжжет мне спину у дома паромщика на Изере, — современная проститутка, если хочет быть шикарной, должна поставить в спальне радиоаппарат, учиться боксу, стать ключницей, как военная проволочка, тренированной, как восемнадцатилетний мальчишка, уметь ходить на руках и прыгать с двадцати метров в воду. Она должна посещать собрания фашистов, разговаривать об отравляющих газах и менять любовников каждую неделю, чтобы не приучить их к свинству. А моя, изволите ли видеть, лежит в молочной ванне, как норвежская семга, и мечтает о сельскохозяйственной ферме в четыре гектара. Пошлая дура, — у нее за плечами публичный дом.

К Зое Монроз он относился с величайшим уважением. Встречаясь в ночных ресторанах, почтительно предлагал ей протанцевать и целовал руку, что делал единственной женщине в Париже. Зоя едва кланялась неизвестной Сюзанне Бурж, но с Гастоном поддерживала дружбу, и он время от времени выполнял наиболее шекотливые из ее поручений.

Сегодня она спешно вызвала Гастона в кафе «Глобус» и появилась в обольстительном виде уличной мидинетки. Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно.

Потягивая кислое вино, жмурясь от дыма трубки, он хмуро слушал, что ему говорила Зоя. Окончив, она хрустнула пальцами. Он сказал:

— Но это — опасно.

— Гастон, если это удастся, вы навсегда обеспеченный человек.

— Ни за какие деньги, сударыня, ни за мокрое, ни за сухое дело я теперь не возьмусь: не те времена. Сегодня апаши предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры — издавать газеты и заниматься политикой. Убивают и грабят только новички, провинциалы да мальчишки, получившие венерическую болезнь. И немедленно записываются в полицию. Что поделаешь — зрелым людям приходится оставаться в спокойных гаванях. Если вы хотите

меня нанять за деньги — я откажусь. Другое — сделать это для вас. Тут я бы мог рискнуть свернуть себе шею.

Зоя выпустила дымок из уголка пунцовых губ, улыбнулась нежно и положила красивую руку на рукав Утиноного Носа.

— Мне кажется, — мы с вами договоримся.

У Гастона дрогнули ноздри, зашевелились усы. Он прикрыл синеватыми веками нестерпимый блеск выпуклых глаз.

— Вы хотите сказать, что я теперь же мог бы освободить Сю-занну от моих услуг?

— Да, Гастон.

Он перегнулся через стол, стиснул бокал в кулаке.

— Мои усы будут пахнуть вашей кожей?

— Я думаю, что этого не избежать, Гастон.

— Ладно. — Он откинулся. — Ладно. Будет все, как вы хотите.

32

Обед окончен. Кофе со столетним коньяком выпито. Двухдолларовая сигара — «Корона Коронас» — выкурена до половины, и пепел ее не отвалился. Наступил мучительный час: куда ехать «дальше», каким сатанинским смычком сыграть на усталых нервах что-нибудь веселенькое?

Роллинг потребовал афишу всех парижских развлечений.

— Хотите танцевать?

— Нет, — ответила Зоя, закрывая мехом половину лица.

— Театр, театр, театр, — читал Роллинг. Все это было скучно: трехактная разговорная комедия, где актеры от скуки и отвращения даже не гримируются, актрисы в туалетах от знаменитых портных глядят в зрительный зал пустыми глазами.

— Обозрение. Обозрение. Вот: «Олимпия» — сто пятьдесят голых женщин в одних туфельках и чудо техники: деревянный занавес, разбитый на шахматные клетки, в которых при поднятии и опускании стоят совершенно голые женщины. Хотите — поедем?

— Милый друг, они все кривоногие — девчонки с бульваров.

— «Аполло». Здесь мы не были. Двести голых женщин в одних только... Это мы пропустим. «Ска́ла». Опять женщины. Так, так. Кроме того, «Всемирно известные музыкальные клоуны Пим и Джек».

— О них говорят, — сказала Зоя, — поедемте.

Они заняли литерную ложу у сцены. Шло обозрение.

Непрерывно двигающийся молодой человек в отличном фраке и зрелая женщина в красном, в широкополой шляпе и с посохом, говорили добродушные колкости правительству, невинные колкости шефу полиции, очаровательно подсмеивались над высоковалютными иностранцами, впрочем, так, чтобы они не уехали сейчас же после этого обозрения совсем из Парижа и не отсоветовали бы своим друзьям и родственникам посетить веселый Париж.

Поболтав о политике, непрерывно двигающий ногами молодой человек и дама с посохом воскликнули: «Гоп, ля-ля». И на сцену выбежали голые, как в бане, — очень белые, напудренные девушки. Они выстроились в живую картину, изображающую наступающую армию. В оркестре мужественно грянули фанфары и сигнальные рожки.

— На молодых людей это должно действовать, — сказал Роллинг.

Зоя ответила:

— Когда женщин так много, то не действует.

Затем занавес опустился и вновь поднялся. Занимая половину сцены, у рампы стоял бутафорский рояль. Застучали деревянные палочки джаз-банда, и появились Пим и Джек. Пим, как полагаются, — в невероятном фраке, в жилете по колено, сваливающиеся штаны, аршинные башмаки, которые сейчас же от него убежали (аплодисменты), морда — доброго идиота. Джек — обсыпан мукой, в войлочном колпаке, на задку — летучая мышь.

Сначала они проделывали все, что нужно, чтобы смеяться до упаду, Джек бил Пима по морде, и тот выпускал сзади облако пыли, потом Джек бил Пима по черепу, и у того вскакивал гуттаперчевый волдырь.

Джек сказал: «Послушай, хочешь — я тебе сыграю на этом рояле?» Пим страшно засмеялся, сказал: «Ну, сыграй на этом рояле» — и сел поодаль. Джек изо всей силы ударил по клавишам — у рояля отвалился хвост. Пим опять страшно много смеялся. Джек второй раз ударил по клавишам — у рояля отвалился бок. «Это ничего», — сказал Джек и дал Пиму по морде. Тот покатился через всю сцену, упал (барабан — бумм). Встал: «Это ничего»; выплюнул пригоршню зубов, вынул из кармана метелку и совок, каким собирают навоз на улицах, почистился. Тогда Джек в третий раз ударил по клавишам, рояль рассыпался весь, под ним оказался обыкновенный концертный рояль. Сдвинув на нос войлочный колпачок, Джек с непостижимым искусством, вдохновенно стал играть «Кампанеллу» Листа.

У Зои Монроз похолодели руки. Обернувшись к Роллингу, она прошептала:

— Это великий артист.

— Это ничего, — сказал Пим, когда Джек кончил играть, — теперь ты послушай, как я сыграю.

Он стал вытаскивать из различных карманов дамские панталоны, старый башмак, клистирную трубку, живого котенка (аплодисменты), вынул скрипку и, повернувшись к зрительному залу скорбным лицом доброго идиота, заиграл бессмертный этюд Паганини.

Зоя поднялась, перекинула через шею соболий мех, сверкнула бриллиантами.

— Идемте, мне противно. К сожалению, я когда-то была артисткой.

— Крошка, куда же мы денемся! Половина одиннадцатого.

— Едемте пить.

Через несколько минут их лимузин остановился на Монмартре, на узкой улице, освещенной десятью окнами притона «Ужин Короля». В низкой, пунцового шелка, с зеркальным потолком и зеркальными стенами, жаркой и накуренной зале, в тесноте, среди летящих лент серпантина, целлулоидных шариков и конфетти, покачивались в танце женщины, перепутанные бумажными лентами, обнаженные по пояс, к их гримированным щекам прижимались багровые и бледные, пьяные, испитые, возбужденные мужские лица. Трещал рояль. Выли, визжали скрипки, и три негра, обливаясь потом, били в тазы, ревели в автомобильные рожки, трещали дощечками, звонили, громыхали тарелками, лупили в турецкий барабан. Чье-то мокрое лицо придвинулось вплотную к Зое. Чьи-то женские руки обвились вокруг шеи Роллинга.

— Дорогу, дети мои, дорогу химическому королю, — надрываясь, кричал метрдотель, с трудом отыскал место за узким столом, протянутым вдоль пунцовой стены, и усадил Зою и Роллинга. В них полетели шарики, конфетти, серпантин.

— На вас обращают внимание, — сказал Роллинг.

Зоя, полуопустив веки, пила шампанское. Ей было душно и влажно под легким шелком, едва прикрывающим ее груди. Целлулоидный шарик ударился ей в щеку.

Она медленно повернула голову, — чьи-то темные, словно обведенные угольной чертой, мужские глаза глядели на нее с мрачным восторгом. Она подалась вперед, положила на стол голые руки и впитывала этот взгляд, как вино: не все ли равно — чем опьяняться?

У человека, глядевшего на нее, словно осунулось лицо за эти несколько секунд. Зоя опустила подбородок в пальцы, вдвинутые в пальцы, исподлобья встретила в упор этот взгляд... Где-то она видела этого человека. Кто он такой? — ни француз, ни англичанин. В темной бородке запутались конфетти. Красивый рот. «Любопытно, Роллинг ревнив?» — подумала она.

Лакей, протолкнувшись сквозь танцующих, подал ей записочку. Она изумилась, откинулась на спинку дивана. Покосилась на Роллинга, сосавшего сигару, прочла:

«Зоя, тот, на кого вы смотрите с такой нежностью, — Гарин... Целую ручку. Семенов».

Она, должно быть, так страшно побледнела, что неподалеку чей-то голос проговорил сквозь шум: «Смотрите, даме дурно». Тогда она протянула пустой бокал, и лакей налил шампанского.

Роллинг сказал:

— Что вам написал Семенов?

— Я скажу после.

— Он написал что-нибудь о господине, который нагло разглядывает вас? Это тот, кто был у меня вчера. Я его выгнал.

— Роллинг, разве вы не узнаете его?.. Помните, на площади Этуаль?.. Это — Гарин.

Роллинг только сопнул. Вынул сигару: «Ага». Вдруг лицо его приняло то самое выражение, когда он бежал по серебристому ковру кабинета, продумывая на пять ходов вперед все возможные комбинации борьбы. Тогда он бойко щелкнул пальцами. Сейчас он повернулся к Зое искаженным ртом.

— Поедем, нам нужно серьезно поговорить.

В дверях Зоя обернулась. Сквозь дым и путаницу серпантина она снова увидела горящие глаза Гарина. Затем — непонятно, до головокружения — лицо его раздвоилось: кто-то, сидевший перед ним, спиной к танцующим, придвинулся к нему, и оба они глядели на Зою. Или это был обман зеркал?..

На секунду Зоя зажмурилась и побежала вниз по истертому кабацкому ковру к автомобилю. Роллинг поджидал ее. Захлопнув дверцу, он коснулся ее руки:

— Я не все рассказал вам про свидание с этим мнимым Пьянковым-Питкевичем... Кое-что осталось мне непонятным: для чего ему понадобилось разыгрывать истерику? Не мог же он предполагать, что у меня найдется капля жалости... Все его поведение — подозрительно. Но зачем он ко мне приходил?.. Для чего повалился на стол?..

— Роллинг, этого вы не рассказывали...

— Да, да... Опрокинул часы... Измял мои бумаги...

— Он пытался похитить ваши бумаги?

— Что? Похитить? — Роллинг помолчал. — Нет, это было не так. Он потерял равновесие и ударился рукой в бювар... Там лежало несколько листков...

— Вы уверены, что ничего не пропало?

— Это были ничего не значащие заметки. Они оказались смятыми, я бросил их потом в корзину.

— Умоляю, припомните до мелочей весь разговор...

Лимузин остановился на улице Сены. Роллинг и Зоя прошли в спальню. Зоя быстро сбросила платье и легла в широкую лепную, на орлиных ногах, кровать под парчовым балдахином — одну из подлинных кроватей императора Наполеона Первого. Роллинг, медленно раздеваясь, расхаживал по ковру и, оставляя части одежды на золоченых стульях, на столиках, на каминной полке, рассказывал с мельчайшими подробностями о вчерашнем посещении Гарина.

Зоя слушала, опираясь на локоть. Роллинг начал стаскивать штаны и запрыгал на одной ноге. В эту минуту он не был похож на короля. Затем он лег, сказал: «Вот решительно все, что было», — и натянул атласное одеяло до носа. Голубоватый ночник освещал пышную спальню, разбросанные одежды, золотых амуров на столбиках кровати и уткнувшийся в одеяло мясистый нос Роллинга. Голова его ушла в подушку, рот полуоткрылся, химический король заснул.

Этот посапывающий нос в особенности мешал Зое думать. Он отвлекал ее совсем на другие, ненужные воспоминания. Она встряхивала головой, отгоняла их, а вместо Роллинга чудилась другая голова на подушке. Ей надоело бороться, она закрыла глаза, усмехнулась. Выплыло побледневшее от волнения лицо Гарина...

«Быть может, позвонить Гастону Утиный Нос, чтобы обождал?» Вдруг точно игла прошла сквозь нее: «С ним сидел двойник... Так же, как в Ленинграде...»

Она выскользнула из-под одеяла, торопливо натянула чулки. Роллинг замычал было во сне, но только повернулся на бок.

Зоя пробежала в гардеробную. Надела юбки, дождевое пальто, туго подпоясалась. Вернулась в спальню за сумочкой, где были деньги...

— Роллинг, — тихо позвала она, — Роллинг... Мы погибли...

Но он опять только замычал. Она спустилась в вестибюль и с трудом открыла высокие выходные двери. Улица Сены была пуста. В узком просвете над крышами мансард стояла тусклая желтоватая луна. Зою охватила тоска. Она глядела на этот лунный шар над спящим городом... «Боже, боже, как страшно, как мрачно...» Обими руками она глубоко надвинула шапочку и побежала к набережной.

34

Старый трехэтажный дом, номер шестьдесят три, по улице Гобеленов, одною стеной выходил на пустырь. С этой стороны окна были только на третьем этаже — мансарде. Другая, глухая, стена примыкала к парку. По фасаду на улицу, в первом этаже, на уровне земли, помещалось кафе для извозчиков и шоферов. Второй этаж занимала гостиница для ночных свиданий. В третьем этаже — мансарде — сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель.

Был второй час ночи. На улице Гобеленов — ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто, — все стулья поставлены на столы. Зоя остановилась у ворот, с минуту глядела на номер шестьдесят три. Было холодно спине. Решилась. Позвонила. Зашуршала веревка, ворота приоткрылись. Она проскользнула в темную подворотню. Издалека голос привратницы проворчал: «Ночью надо спать, возвращаться надо вовремя». Но не спросил, кто вошел.

Здесь были порядки притона. Зою охватила страшная тревога. Перед ней тянулся низкий мрачный туннель. В корявой стене цвета бычьей крови тускло светил газовый рожок. Указания Семенова были таковы: в конце туннеля — налево — по винтовой лестнице — третий этаж — налево — комната одиннадцать.

Посреди туннеля Зоя остановилась. Ей показалось, что вдалеке, налево, кто-то быстро выглянул и скрылся. Не вернуться ли? Она прислушалась — ни звука. Она добежала до поворота на вонючую площадку. Здесь начиналась узкая, едва освещенная откуда-то сверху винтовая лестница. Зоя пошла на цыпочках, боясь притрнуться к липким перилам.

Весь дом спал. На площадке второго этажа облупленная арка вела в темный коридор. Поднимаясь выше, Зоя обернулась, и снова

показалось ей, что из-за арки кто-то выглянул и скрылся... Только это был не Гастон Утиный Нос... «Нет, нет, Гастон еще не был, не мог здесь быть, не успел...»

На площадке третьего этажа горел газовый рожок, освещая коричневую стену с надписями и рисуночками, говорившими о неутоленных желаниях. Если Гарина нет дома, она будет ждать его здесь до утра. Если он дома, спит, — она не уйдет, не получив того, что он взял со стола на бульваре Мальзерб.

Зоя сняла перчатки, слегка поправила волосы под шапочкой и пошла налево по коридору, загибавшему коленом. На пятой двери крупно, белой краской, стояло — 11. Зоя нажала ручку, дверь легко отворилась.

В небольшую комнату в открытое окно падал лунный свет. На полу валялся раскрытый чемодан. Жестко белели разбросанные бумаги. У стены, между умывальником и комодом, сидел на полу человек в одной сорочке, голые колени его были подняты, огромными казались босые ступни... Лунной освещена была половина лица, блестел широко открытый глаз и белели зубы, — человек улыбался. Приоткрыв рот, без дыхания, Зоя глядела на неподвижно смеющееся лицо, — это был Гарин.

Сегодня утром в кафе «Глобус» она сказала Гастону Утиный Нос: «Укради у Гарина чертежи и аппарат и, если можно, убей». Сегодня вечером она видела сквозь дымку над бокалом шампанского глаза Гарина и почувствовала: поманит такой человек — они все бросит, забудет, пойдет за ним. Ночью, поняв опасность и бросившись разыскивать Гастона, чтобы предупредить его, она сама еще не сознавала, что погнало ее в такой тревоге по ночному Парижу, из кабака в кабак, в игорные дома, всюду, где мог быть Гастон, и привело, наконец, на улицу Гобеленов. Какие чувства заставили эту умную, холодную, жестокую женщину отворить дверь в комнату человека, обреченного ею на смерть?

Она глядела на зубы и выкаченный глаз Гарина. Хрипло, негромко вскрикнула, подошла и наклонилась над ним. Он был мертв. Лицо посиневшее. На шее вздутые царапины. Это было то лицо — осунувшееся, притягивающее, с взволнованными глазами, с конфетти в шелковистой бородке... Зоя схватилась за ледяной мрамор умывальника, с трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. «Не хватает еще — грохнутья без чувств». Последним усилием она оторвала пуговицу на душившем ее воротнике. Пошла к двери. В дверях стоял Гарин.

Так же, как и у того — на полу, у него блестели зубы, открытые застывшей улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, сжала рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, будто вынырнуло из-под воды... «Жив, жив...»

— Убит не я, — шепотом сказал Гарин, продолжая грозить, — вы убили Виктора Лемуара, моего помощника... Роллинг пойдет на гильотину...

— Жив, жив, — хрипавато проговорила она.

Он взял ее за локти. Она сейчас же закинула голову, вся подалась, не сопротивляясь. Он притянул ее к себе и, чувствуя, что женщину не держат ноги, обхватил ее за плечи.

— Зачем вы здесь?..

— Я искала Гастона...

— Кого, кого?

— Того, кому приказала вас убить...

— Я это предвидел, — сказал он, глядя ей в глаза.

Она ответила как во сне:

— Если бы Гастон вас убил, я бы покончила с собой...

— Не понимаю...

Она повторила за ним, точно в забытьи, нежным, угасающим голосом:

— Не понимаю сама...

Странный разговор этот происходил в дверях. В окне луна садилась за графитовую крышу. У стены скалил зубы Лемуар. Гарин проговорил тихо:

— Вы пришли за автографом Роллинга?

— Да. Пошадите.

— Кого? Роллинга?

— Нет. Меня. Пошадите, — повторила она.

— Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга...

Я такой же убийца, как вы... Шадить?.. Нет, нет...

Внезапно он вытянулся, прислушиваясь. Резким движением увлек Зою за дверь. Продолжая сжимать ее руку выше локтя, взглянул за арку на лестницу...

— Идите. Я выведу вас отсюда через парк. Слушайте, вы изумительная женщина, — глаза его блеснули сумасшедшим юмором, — наши дорожки сошлись... Вы чувствуете это?..

Он побежал вместе с Зоей по винтовой лестнице. Она не сопротивлялась, оглушенная странным чувством, поднявшимся в ней, как в первый раз забродившее мутное вино.

На нижней площадке Гарин свернул куда-то в темноту, остановился, зажег восковую спичку и с усилием открыл ржавый замок, видимо, много лет не отпирившейся двери.

— Как видите, — все предусмотрено. — Они вышли под темные, сыроватые деревья парка. В то же время с улицы в ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад Гариным по телефону.

Шельга хорошо помнил «проигранную пешку» на даче на Крестовском. Тогда (на бульваре Профсоюзов) он понял, что Пьянков-Питкевич непременно придет еще раз на дачу за тем, что было спрятано у него в подвале. В сумерки (того же дня) Шельга пробрался на дачу, не потревожив сторожа, и с потайным фонарем

спустился в подвал. «Пешка» сразу была проиграна: в двух шагах от люка в кухне стоял Гарин. За секунду до появления Шельги он выскочил с чемоданом из подвала и стоял, распластавшись по стене за дверь. Он с грохотом захлопнул за Шельгой люк и принялся заваливать его мешками с углем. Шельга, подняв фонарик, глядел с усмешкой, как сквозь щели люка сыплется мусор. Он намеревался войти в мирные переговоры. Но внезапно наверху настала тишина. Послышались убегающие шаги, затем — грянули выстрелы, затем — дикий крик. Это была схватка с четырехпалым. Через час появилась милиция.

Проиграв «пешку», Шельга сделал хороший ход. Прямо из дачи он кинулся на милицейском автомобиле в яхт-клуб, разбудил дежурного по клубу, всклокоченного морского человека с хриплым голосом, и спросил в упор:

— Какой ветер?

Моряк, разумеется, не задумываясь, отвечал:

— Зюйд-вест.

— Сколько баллов?

— Пять.

— Вы ручаетесь, что все яхты стоят на местах?

— Ручаюсь.

— Какая у вас охрана при яхтах?

— Петька, сторож.

— Разрешите осмотреть боны.

— Есть осмотреть боны, — ответил моряк, едва попадая спресонок в рукава морской куртки.

— Петька, — крикнул он спиртовым голосом, выходя с Шельгой на веранду клуба. (Никто не ответил.) — Непременно спит где-нибудь, тяни его за ногу, — сказал моряк, поднимая воротник от ветра.

Сторожа нашли неподалеку в кустах, — он здорово храпел, закрыв голову бараньим воротником тулупа. Моряк выразился. Сторож крякнул, встал. Пошли на боны, где над стальной, уже засиневшей водой покачивался целый лес мачт. Била волна. Дул крепкий, со шквалами, ветер.

— Вы уверены, что все яхты на месте? — опять спросил Шельга.

Не хватает «Ориона», он в Петергофе... Да в Стрельну загнали два судна.

Шельга дошел по брызжущим доскам до края бонов и здесь поднял кусок причала, — один конец его был привязан к кольцу, другой явно отрезан. Дежурный не спеша осмотрел причал. Сдвинул зюйдвестку на нос. Ничего не сказал. Пошел вдоль бонов, считая пальцем яхты. Рубанул рукой по ветру. А так как клубной дисциплиной запрещалось употребление военно-империалистических слов, то ограничился одними боковыми выражениями:

— Не так и не мать! — закричал он с невероятной энергией. — Шкот ему в глотку! Увели «Бибигонду», лучшее гоночное судно, разорви его в душу, сукиного сына, смоляной фал ему куда не надо... Петька, чтобы тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде,

что же ты смотрел, паразит, деревенщина паршивая? «Бибигонду» увели, так и не так и не мать...

Сторож Петька ахал, дивился, бил себя по бокам бараньими рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевиндом по неизведанным безднам великорусского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в гавань.

Прошло часа три по крайней мере, покуда он на быстроходном сторожевом катере не вылетел в открытое море. Била сильная волна. Катер зарывался. Водяная пыль туманила стекла бинокля. Когда поднялось солнце — в финских водах, далеко за маяком, — вблизи берега был замечен парус. Это билась среди подводных камней несчастная «Бибигонда». Палуба ее была покинута. С катера дали несколько выстрелов для порядка, — пришлось вернуться ни с чем.

Так бежал через границу Гарин, выиграв в ту ночь еще одну пешку. Об участии в этой игре четырехпалого было известно только ему и Шельге. По этому случаю у Шельги, на обратном пути в гавань, ход мыслей был таков:

«За границей Гарин либо продаст, либо сам будет на свободе эксплуатировать таинственный аппарат. Изобретение это для Союза пока потеряно, и, кто знает, не должно ли оно сыграть в будущем роковой роли. Но за границей у Гарина есть острастка — четырехпалый. Покуда борьба с ним не кончена, Гарин не посмеет вылезть на свет с аппаратом. А если в этой борьбе стать на сторону Гарина, можно и выиграть в результате. Во всяком случае, самое дурацкое, что можно было бы придумать (и самое выгодное для Гарина), — это немедленно арестовать четырехпалого в Ленинграде». Вывод был прост: Шельга прямо из гавани приехал к себе на квартиру, надел сухое белье, позвонил в угрозыск о том, что «дело само собой ликвидировано», выключил телефон и лег спать, посмеиваясь над тем, как четырехпалый, — отравленный газами и, может быть, раненый, — удирает сейчас со всех ног из Ленинграда. Таков был контрудар Шельги в ответ на «потерянную пешку».

И вот — телеграмма (из Парижа): «Четырехпалый здесь. События угрожающие». Это был крик о помощи.

Чем дальше думал Шельга, тем ясней становилось — надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете пассажирских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в нетемнеющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспризорный мальчишка, после того как прочли у него на спине надпись чернильным карандашом, притих и не отходил от Тарашкина.

В просветы между ветвями с оранжевых вод долетали голоса, плеск весел, женский смех. Старые, как мир, дела творились под темными кущами леса на островах, где бессонно перекликались тревожными голосами какие-то птички, пощелкивали соловьи. Все живое, вынырнув из дождей и вьюг долгой зимы, торопилось жить, с веселой жадностью глотало хмельную прелесть этой ночи. Тарашкин обнял одной рукой Ивана за плечи, облокотился о перила и не шевелился, — глядел сквозь просветы на воду, где неслышно скользили лодки.

— Ну как же, Иван, — сказал Шельга, придвинув стул и нагибаясь к лицу мальчика, — где тебе лучше нравится: там ли, здесь ли? На Дальнем Востоке ты, чай, плохо жил, впроголодь?

Иван глядел на Шельгу не мигая. Глаза его в сумерках казались печальными, как у старика. Шельга вытащил из жилетного кармана леденец и постучал им Ивану в зубы, покуда те не разжались, — леденец проскользнул в рот.

— Мы, Иван, с мальчишками хорошо обращаемся. Работать не заставляем, писем на спине не пишем, за семь тысяч верст под вагонами не посылаем никуда. Видишь, как у нас хорошо на островах, и это все, знаешь, чье? Это все мы детям отдали на вечные времена. И река, и острова, и лодки, и хлеба с колбасой, — ешь досыта — все твое...

— Так вы мальчишку собьете, — сказал Тарашкин.

— Ничего, не собью, он умный. Ты, Иван, откуда?

— Мы с Амура, — ответил Иван неохотно. — Мать померла, отца убили на войне.

— Как же ты жил?

— Ходил по людям, работал.

— Такой маленький?

— А чего же... Коней пас...

— Ну, а потом?

— Потом взяли меня...

— Кто взял?

— Одни люди. Им мальчишка был нужен, — на деревья лазать, грибы, орехи собирать, белок ловить для пищи, бегать, за чем пошлют...

— Значит, взяли тебя в экспедицию? (Иван моргнул, промолчал.) Далеко? Отвечай, не бойся. Мы тебя не выдадим. Теперь ты — наш брат...

— Восемь суток на пароходе плыли... Думали, живые не останемся. И еще восемь дней шли пешком. Покуда пришли на огнедышащую гору...

— Так, так, — сказал Шельга, — значит, экспедиция была на Камчатку.

— Ну да, на Камчатку... Жили мы там в лачуге... Про революцию долго ничего не знали. А когда узнали, трое ушли, потом еще двое ушли, жрать стало нечего. Остались он да я...

— Так, так, а кто «он»-то? Как его звали?

Иван опять насупился. Шельга долго его успокаивал, гладил по низко опущенной остриженной голове...

— Да ведь убьют меня за это, если скажу. Он обещался убить...

— Кто?

— Да Манцев же, Николай Христофорович... Он сказал: «Вот, я тебе на спине написал письмо, ты не мойся, рубашки, жилетки не снимай, хоть через год, хоть через два — доберись до Петрограда, найди Петра Петровича Гарина и ему покажи, что написано, он тебя наградит...»

— Почему же Манцев сам не поехал в Петроград, если ему нужно видеть Гарина?

— Большевиков боялся... Он говорил: «Они хуже чертей. Они меня убьют. Они, говорит, всю страну до ручки довели, — поезда не ходят, почты нет, жрать нечего, из города все разбежались...» Где ему знать, — он на горе сидит шестой год...

— Что он там делает, что ищет?

— Ну, разве он скажет? Только я знаю... (У Ивана весело, хитро заблестели глаза.) Золото под землей ищет...

— И нашел?

— Он-то? Конечно, нашел...

— Дорогу туда, на гору, где сидит Манцев, указать можешь, если понадобится?

— Конечно, могу... Только вы меня смотрите не выдавайте, а то он, знаешь, сердитый...

Шельга и Тарашкин с величайшим вниманием слушали рассказы мальчика. Шельга еще раз внимательно осмотрел надпись у него на спине. Затем сфотографировал ее.

— Теперь иди вниз, Тарашкин вымоет тебя мылом, ложись, — сказал Шельга. — Не было у тебя ничего: ни отца, ни матери, одно голодное пузо. Теперь все есть, всего по горло, — живи, учись, расти на здоровье. Тарашкин тебя научит уму-разуму, ты его слушайся. Прощай. Дня через три увижу Гарина, поручение твое передам.

Шельга засмеялся, и скоро фонарик его велосипеда, подпрыгивая, пронесся за темными зарослями.

36

Сверкнули алюминиевые крылья высоко над зеленым аэродромом, и шестиместный пассажирский самолет скрылся за снежными облаками. Кучка провожающих постояла, задрав головы к лучезарной синеве, где лениво кружил стервятник да стригли воздух ласточки, но дюралюминиевая птица уже летела черт знает где.

Шесть пассажиров, сидя в поскрипывающих плетеных креслах, глядели на медленно падающую вниз лиловато-зеленую землю. Ниточками вились по ней дороги. Игрушечными — слегка наклонными — казались гнезда построек, колокольни. Справа, вдалеке, расстилалась синева воды.

Скользила тень от облака, скрывая подробности земной карты. А вот и само облако появилось близко внизу.

Прильнув к окнам, все шесть пассажиров улыбались несколько принужденными улыбками людей, умеющих владеть собой. Воздушное передвижение было еще внове. Несмотря на комфортабельную кабину, журналы и каталоги, разбросанные на откидных столиках, на видимость безопасного уюта, — пассажирам все же приходилось уверять себя, что, в конце концов, воздушное сооб-

шение гораздо безопаснее, чем, например, пешком переходить улицу. То ли дело в воздухе. Встретишься с облаком — прониринешь, лишь запотеют окна в кабине, пробарабанит град по дюралюминию или встряхнет аппарат, как на ухабе, — ухватишься за плетеные ручки кресла, выкатив глаза, но сосед уже подмигивает, смеется: вот это так ухабик!.. Налетит шквал из тех, что в секунду валит мачты на морском паруснике, ломает руль, сносит лодки, людей в бушующие волны, — металлическая птица прочна и увертлива, — качнется на крыло, взвояет моторами, и уже выскочила, взмыла на тысячу метров выше гнездовины урагана.

Словом, не прошло и часа, как пассажиры в кабине освоились и с пустотой под ногами и с качкой. Гул мотора мешал говорить. Кое-кто надел на голову наушники с микрофонными мембранами, и завязалась беседа. Напротив Шельги сидел худощавый человек лет тридцати пяти в поношенном пальто и клетчатой кепке, видимо приобретенной для заграничного путешествия.

У него было бледноватое, с тонкой кожей лицо, умный нахмуренный изящный профиль, русая бородка, рот сложен спокойно и твердо. Сидел он сутулясь, сложив на коленях руки. Шельга с улыбкой сделал ему знак. Человек надел наушники. Шельга спросил:

— Вы не учились в Ярославле, в реальном? (Человек наклонил голову.) Земляк — я вас помню. Вы Хлынов Алексей Семенович? (Наклон головы.) Вы теперь где работаете?

— В физической лаборатории политехникума, — проговорил в трубку заглушенный гулом мотора слабый голос Хлынова.

— В командировку?

— В Берлин, к Рейхеру.

— Секрет?

— Нет. В марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рейхера произведено атомное распадение ртуты.

Хлынов повернулся всем лицом к Шельге, — глаза со строгим волнением уперлись в собеседника. Шельга сказал:

— Не понимаю, — не специалист.

— Работы ведутся пока еще в лабораториях. До применения в промышленности еще далеко... Хотя, — Хлынов глядел на клубистые, как снег, поля облаков, глубоко внизу застилающие землю, — от кабинета физика до мастерской завода шаг не велик. Принцип насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост. Вы знаете, конечно, что такое атом?

— Маленькое что-то такое, — Шельга показал пальцами.

— Атом в сравнении с песчинкой — как песчинка в сравнении с земным шаром. И все же мы измеряем атом, исчисляем скорость вращения его электронов, его вес, массу, величину электрического заряда. Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем весь секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, сможем ли мы овладеть ядром атома, частичкой материальной энергии величиной в одну стобиллионную сантиметра.

На высоте двух тысяч метров над землей Шельга слушал удивительные вещи, почудеснее сказок Шехеразады, но они не были сказкой. В то время когда диалектика истории привела один класс к истребительной войне, а другой — к восстанию; когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами; когда сама земля содрогалась от гневных криков удушасемых революций и, как в старину, заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача; когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с высунутыми языками; когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы, — в это чудовищное и титаническое десятилетие одинокими светочами горели удивительные умы ученых.

37

Аэроплан снизился над Ковно. Зеленое поле, смоченное дождем, быстро полетело навстречу. Аппарат прокатился и стал. Соскочил на траву пилот. Пассажиры вышли размять ноги. Закурили папиросы. Шельга в стороне лег на траву, закинул руки, и чудно было ему глядеть на далекие облака с синеватыми днищами. Он только что был там, летел среди снежных легких гор, над лазоревыми провалами.

Его небесный собеседник, Хлынов, стоял, слегка сутулясь в потертом пальтишке, около крыла серой рубчатой птицы. Человек как человек, — даже кепка из Ленинградодежды.

Шельга рассмеялся:

— Здорово, все-таки, забавно жить. Черт знает как здорово!

Когда взлетели с ковенского аэродрома, Шельга подсел к Хлынову и рассказал ему, не называя ничьих имен, все, что знал о необычайных опытах Гарина и о том, что ими сильно, видимо, заинтересованы за границей.

Хлынов спросил, видел ли Шельга аппарат Гарина.

— Нет. Аппарата никто еще не видал.

— Стало быть, все это — в области догадок и предположений, да еще приукрашенных фантазией?

Тогда Шельга рассказал о подвале на разрушенной даче, о разрезанных кусках стали, об ящиках с угольными пирамидками. Хлынов кивал, поддакивал:

— Так, так. Пирамидки. Очень хорошо. Понимаю. Скажите, если это не слишком секретно, — вы не про инженера Гарина рассказываете?

Шельга минуту молчал, глядя в глаза Хлынову.

— Да, — ответил он, — про Гарина. Вы знаете его?

— Очень, очень способный человек. — Хлынов сморщился, будто взял в рот кислого. — Необыкновенный человек. Но — вне науки. Честолюбец. Совершенно изолированная личность. Авантюрист. Циник. Задатки гения. Непомерный темперамент. Человек с

чудовищной фантазией. Но его удивительный ум всегда возбужден низкими желаниями. Он достигнет многого и кончит чем-нибудь вроде беспробудного пьянства либо попытается «ужаснуть человечество»... Гениальному человеку больше, чем кому бы то ни было, нужна строжайшая дисциплина. Слишком ответственно.

Красноватые пятна снова вспыхнули на щеках Хлынова.

— Просветленный, дисциплинированный разум — величайшая святыня, чудо из чудес. На земле, — песчинка во вселенной, — человек — порядка одной биллионной самой малой величины... И у этой умозрительной частицы, живущей в среднем шестьдесят оборотов земли вокруг солнца, — разум, охватывающий всю вселенную... Чтобы постигнуть это, мы должны перейти на язык высшей математики... Так вот, что вы скажете, если у вас из лаборатории возьмут какой-нибудь драгоценнейший микроскоп и станут им забивать гвозди?.. Так именно Гарин обращается со своим гением... Я знаю, — он сделал крупное открытие в области передачи на расстоянии инфракрасных лучей. Вы слышали, конечно, о лучах смерти Гриндель-Матьюза? Лучи смерти оказались чистейшим вздором. Но принцип верен. Тепловые лучи температуры тысячи градусов, посланные параллельно, — чудовищное орудие для разрушения и военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать нерассеивающийся луч. Этого до сих пор не было достигнуто. По вашим рассказам, видимо, Гарину удалось построить такой аппарат. Если это так, — открытие очень значительное.

— Мне давно уж кажется, — сказал Шельга, — что вокруг этого изобретения пахнет крупной политикой.

Некоторое время Хлынов молчал, затем даже уши у него вспыхнули.

— Отыщите Гарина, возьмите его за шиворот и вместе с аппаратом верните в Советский Союз. Аппарат не должен попасть к нашим врагам. Спросите Гарина, — сознает он свои обязанности? Или он действительно пошляк... Тогда дайте ему, черт его возьми, денег — сколько он захочет... Пусть заводит роскошных женщин, яхты, гоночные машины... Или убейте его...

Шельга поднял брови. Хлынов положил трубку на столик, откинулся, закрыл глаза. Аэроплан плыл над зелеными ровными квадратами полей, над прямыми линейками дорог. Вдали, с высоты, виднелся между синеватыми пятнами озер коричневый чертеж Берлина.

В половине восьмого поутру, как обычно, Роллинг проснулся на улице Сены в кровати императора Наполеона. Не открывая глаз, достал из-под подушки носовой платок и решительно высморкался, выгоняя из себя вместе с остатками сна вчерашнюю труху ночных развлечений.

Не совсем, правда, свежий, но вполне владеющий мыслями и волей, он бросил платок на ковер, сел посреди шелковых подушек и оглянулся. Кровать была пуста, в комнате — пусто. Зоина подушка холодна.

Роллинг нажал кнопку звонка, появилась горничная Зои. Роллинг спросил, глядя мимо нее: «Мадам?» Горничная подняла плечи, стала поворачивать голову, как сова. На цыпочках прошла в уборную, оттуда, уже поспешно, — в гардеробную, хлопнула дверь в ванную и снова появилась в спальне, — пальцы у нее дрожали с боков кружевного фартучка: «Мадам нигде нет».

— Кофе, — сказал Роллинг. Он сам налил ванну, сам оделся, сам налил себе кофе. В доме в это время шла тихая паника, — на цыпочках, шепотом. Выходя из отеля, Роллинг толкнул локтем швейцара, испуганно кинувшегося отворять дверь. Он опоздал в контору на двадцать минут.

На бульваре Мальзерб в это утро пахло порохом. На лице секретаря было написано полное непротивление злу. Посетители выходили перекошенные из ореховой двери. «У мистера Роллинга неважное настроение сегодня», — сообщали они шепотом. Ровно в час мистер Роллинг посмотрел на стенные часы и сломал карандаш. Ясно, что Зоя Монроз не заедет за ним завтракать. Он медлил до четверти второго. За эти ужасные четверть часа у секретаря в блестящем проборе появились два седых волоса. Роллинг поехал завтракать один к Грифону, как обычно.

Хозяин ресторанчика, мосье Грифон, рослый и полный мужчина, бывший повар и содержатель пивнушки, теперь — высший консультант по Большому Искусству Вкусовых Восприятий и Пищеварения, встретил Роллинга героическим взмахом руки. В темно-серой визитке, с холеной ассирийской бородой и благородным лбом, мосье Грифон стоял посреди небольшой залы своего ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое — седло барана с бобами.

На красных кожаных диванах вдоль четырех стен за узкими сплошными столами сидели постоянные посетители — из делового мира Больших бульваров, женщин — немного. Середина залы была пуста, не считая жертвенника. Хозяин, вращая головой, мог видеть процесс вкусового восприятия каждого из своих клиентов. Малейшая гримаска неудовольствия не ускользала от его взора. Мало того, — он предвидел многое: таинственные процессы выделения соков, винтообразная работа желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях когда-то съеденного, на предчувствиях и на приливах крови к различным частям тела, — все это было для него открытой книгой.

Подходя со строгим и вместе отеческим лицом, он говорил с восхитительной грубоватой лаской: «Ваш темперамент, мосье, сегодня требует рюмки мадеры и очень сухого пуи, — можете послать меня на гильотину — я не даю вам ни капли красного.

Устрицы, немного вареного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи. Эта гамма вернет вам силы». Возражать в этом случае мог бы только патогонец, питающийся водяными крысами.

Мосье Грифон не подбежал, как можно было предполагать, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет. Здесь, в академии пищеварения, миллиардер, и мелкий бухгалтер, и тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, и тот, кто, сопя, вылез из «роллс-ройса», пропахшего гаванами, — платили один и тот же счет. Мосье Грифон был республиканец и философ. Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запеченного с трюфелями омара на второе и седло барана. Вина мистер Роллинг днем не пьет, это известно.

— Стакан виски-сода и бутылку шампанского заморозить, — сквозь зубы сказал Роллинг.

Мосье Грифон отступил, на секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение: клиент начинает с водки, оглушающей вкусовые пупырышки в полости рта, и продолжает шампанским, от которого пучит желудок. Глаза мосье Грифона потухли, он почтительно наклонил голову: клиент на сегодня потерян, — примиряюсь.

После третьего стакана виски Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоящий на другом конце социальной лестницы, скажем, Гастон Утиный Нос, сегодня бы еще до заката отыскал Зою Монроз, тварь, грязную гадину, подобранную в луже, — и всадил бы ей в бок лезвие складного ножа. Роллингу подошли иные приемы. Глядя в тарелку, где стыл омар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровенить нос распутной девке, сбежавшей ночью из его постели... В мозгу Роллинга, в желтых парах виски, рождались, скрещивались, извивались чрезвычайно изысканные болезненные идеи мщения. Только в эти минуты он понял, что значила для него красавица Зоя... Он мучился, впиваясь ногтями в салфетку.

Лакей убрал нетронутую тарелку. Налил шампанского. Роллинг схватил стакан и жадно выпил его, — золотые зубы стукнули о стекло. В это время с улицы в ресторан вскочил Семенов. Сразу увидел Роллинга. Сорвал шляпу, перегнулся через стол и зашептал:

— Читали газеты?... Я был только что в морге... Это он... Мы тут ни при чем... Клянусь под присягой... У нас алиби... Мы всю ночь оставались на Монмартре, у девочек... Установлено — убийство произошло между тремя и четырьмя утра, — это из газет, из газет...

Перед глазами Роллинга прыгало землистое, перекошенное лицо. Соседи оборачивались. Приближался лакей со стулом для Семенова.

— К черту, — проговорил Роллинг сквозь завесу виски, — вы мешаете мне завтракать...

— Хорошо, извините... Я буду ждать вас на углу в автомобиле...

В парижской прессе все эти дни было тихо, как на лесном озере. Буржуа зевали, читая передовицы о литературе, фельетоны о театральных постановках, хронику из жизни артистов.

Этим безмятежным спокойствием пресса подготовляла ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки. Химический концерн Роллинга, закончив организацию и истребив мелких противников, готовился к большой кампании на повышение. Пресса была куплена, журналисты вооружены нужными сведениями по химической промышленности. Для политических передовиков заготовлены ошеломляющие документы. Две-три пощечины, две-три дуэли устранили глупцов, пытавшихся лепетать не согласно общим планам концерна.

В Париже настала тишь да гладь. Тиражи газет несколько понизились. Поэтому чистой находкой оказалось убийство в доме шестидесят три по улице Гобеленов.

На следующее утро все семьдесят пять газет вышли с жирными заголовками о «тайнственном и кошмарном преступлении». Личность убитого не была установлена, — документы его похищены, — в гостинице он записался под явно вымышленным именем. Убийство, казалось, было не с целью ограбления, — деньги и золотые вещи остались при убитом. Трудно было также предположить месть, — комната номер одиннадцатый носила следы тщательного обыска. Тайна, все — тайна.

Двухчасовые газеты сообщили потрясающую деталь: в роковой комнате найдена женская черепаховая шпилька с пятью крупными бриллиантами. Кроме того, на пыльном полу обнаружены следы женских туфель. От этой шпильки Париж действительно дрогнул. Убийцей оказалась шикарная женщина. Аристократка? Буржуазка? Или кокотка из первого десятка? Тайна... Тайна...

Четырехчасовые газеты отдали свои страницы интервью со знаменитейшими женщинами Парижа. Все они в один голос восклицали: нет, нет и нет, — убийцей не могла быть француженка, это дело рук немки, бошки. Несколько голосов бросило намек в сторону Москвы, — намек успеха не имел. Известная Ми-Ми — из театра «Олимпия» — произнесла историческую фразу: «Я готова отдаться тому, кто мне раскроет тайну». Это имело успех.

Словом, во всем Париже один Роллинг, сидя у Грифона, ничего не знал о происшествии на улице Гобеленов. Он был очень зол и нарочно заставил Семенова подождать в таксомоторе. Наконец он появился на углу, молча влез в машину и велел везти себя в морг. Семенов, неистово юля, по дороге рассказал ему содержание газет.

При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга затрепетали на набалдашнике трости. Близ морга он внезапно рванулся к шоферу с жестом, приказывающим повернуть, — но сдержался и только свирепо засопел.

В дверях морга была давка. Женщины в дорогих мехах, курносенькие мидинетки, подозрительные личности из предместий,

любопытные консьержки в вязаных пелеринках, хроникеры с потными носами и смятыми воротничками, актриски, цепляющиеся за мясистых актеров, — все стремились взглянуть на убитого, лежавшего в разодранной рубашке и босиком на покато́й мраморной доске, головой к полуподвальному окну.

Особенно страшными казались босые ноги его — большие, синеватые, с отросшими ногтями. Желто-мертвое лицо «изуродовано судорогой ужаса». Бородка торчком. Женщины жадно стремились к этой оскаленной маске, впивались расширенными зрачками, тихо вскрикивали, ворковали. Вот он, вот он — любовник дамы с бриллиантовой шпилькой!

Семенов ужом, впереди Роллинга, пролез сквозь толпу к телу. Роллинг твердо взглянул в лицо убитого. Рассматривал с секунду. Глаза его сощурились, мясистый нос собрался складками, блеснули золотые зубы.

— Ну что, ну что, он ведь, он? — зашептал Семенов.

И Роллинг ответил ему на этот раз:

— Опять двойник.

Едва была произнесена эта фраза, из-за плеча Роллинга появилась светловолосая голова, взглянула ему в лицо, точно сфотографировала, и скрылась в толпе.

Это был Шельга.

40

Бросив Семенова в морге, Роллинг проехал на улицу Сены. Там все оставалось по-прежнему — тихая паника. Зоя не появлялась и не звонила.

Роллинг заперся в спальне и ходил по ковру, рассматривая кончики башмаков. Он остановился с той стороны постели, где обычно спал. Поскреб подбородок. Закрыв глаза. И тогда вспомнил то, что его мучило весь день...

«...Роллинг, Роллинг... Мы погибли...»

Это было сказано тихим, безнадежным голосом Зои. Это было сегодня ночью, — он внезапно посреди разговора заснул. Голос Зои не разбудил его, — не дошел до сознания. Сейчас ее отчаянные слова отчетливо зазвучали в ушах.

Роллинга подбросило, точно пружиной... Итак, — странный припадок Гарина на бульваре Мальзерб; волнение Зои в кабаке «Ужин Короля»; ее настойчивые вопросы: какие именно бумаги мог похитить Гарин из кабинета? Затем — «Роллинг, Роллинг, мы погибли...». Ее исчезновение. Труп двойника в морге. Шпилька с бриллиантами. Именно вчера, — он помнил, — в пышных волосах Зои сияло пять камней.

В цепи событий ясно одно: Гарин прибегает к испытанному приему с двойником, чтобы отвести от себя удар. Он похищает автограф Роллинга, чтобы подбросить его на место убийства и привести полицию на бульвар Мальзерб.

При всем хладнокровии Роллинг почувствовал, что спинному хребту холодно. «Роллинг, Роллинг, мы погибли...» Значит, она предполагала, она знала про убийство. Оно произошло между тремя и четырьмя утра. (В половине пятого явилась полиция.) Вчера, засыпая, Роллинг слышал, как часы на камине пробили три четверти второго. Это было его последним восприятием внешних звуков. Затем Зоя исчезла. Очевидно, она кинулась на улицу Гобеленов, чтобы уничтожить следы автографа.

Каким образом Зоя могла знать так точно про готовящееся убийство? — только в том случае, если она его сама подготовила. Роллинг подошел к камину, положил локти на мраморную доску и закрыл лицо руками. Но почему же тогда она прошептала ему с таким ужасом: «Роллинг, Роллинг, мы погибли!...» Что-то вчера произошло, — перевернуло ее планы. Но что? И в какую минуту?.. В театре, в кабаке, дома?..

Предположим, ей нужно было исправить какую-то ошибку. Удалось ей или нет? Гарин жив, автограф покуда не обнаружен, убит двойник. Спасает это или губит? Кто убийца — сообщник Зои или сам Гарин?

И почему, почему, почему Зоя исчезла? Отыскивая в памяти эту минуту — перелом в Зоинем настроении, Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе. У него трещал мозг. Он припоминал — жест за жестом, слово за словом — все вчерашнее поведение Зои.

Он чувствовал, если теперь же, у камина, не поймет до мелочей всего происшедшего, то это — проигрыш, поражение, гибель. За три дня до большого наступления на биржу достаточно намек на его имя в связи с убийством, и — непомерный биржевой скандал, крах... Удар по Роллингу будет ударом по миллиардам, двигающим в Америке, Китае, Индии, Европе, в африканских колониях тысячами предприятий. Нарушится точная работа механизма... Железные дороги, океанские линии, рудники, заводы, банки, сотни тысяч служащих, миллионы рабочих, десятки миллионов держателей ценностей — все это заскрипит, застопорится, забьется в панике...

Роллинг попал в положение человека, не знающего, с какой стороны его ткнут ножом. Опасность была смертельной. Воображение его работало так, будто за каждый протекающий в секунду отрезок мысли платили по миллиону долларов. Эти четверть часа у камина могли быть занесены в историю наравне с известным присутствием духа у Наполеона на Аркольском мосту.

Но Роллинг, этот собиратель миллиардов, фигура почти уже символическая, в самую решительную для себя минуту (и опять-таки первый раз в жизни) внезапно предался пустому занятию, стоя с раздутыми ноздрями перед зеркалом и не видя в нем своего изображения. Вместо анализа поступков Зои он стал воображать ее самое — ее тонкое, бледное лицо, мрачно-ледяные глаза, страстный рот. Он ощущал теплый запах ее каштановых волос, при-

косновение ее руки. Ему начало казаться, будто он, Роллинг, весь целиком, — со всеми желаниями, вкусами, честолюбием, жадностью к власти, с дурными настроениями (атония кишок) и едкими думами о смерти, — переселился в новое помещение, в умную, молодую, привлекательную женщину. Ее нет. И он будто вышвырнут в ночную слякоть. Он сам себе перестал быть нужен. Ее нет. Он без дома. Какие уж там мировые концерны, — тоска, тоска голого, маленького, жалкого человека.

Это поистине удивительное состояние химического короля было прервано стуком двух подошв о ковер. (Окно спальни, — в первом этаже, — выходявшее в парк, было раскрыто.) Роллинг вздрогнул всем телом. В каминном зеркале появилось изображение коренастого человека с большими усами и сморщенным лбом. Он нагнул голову и глядел на Роллинга не мигая.

41

— Что вам нужно? — завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову.

— Спокойно. Не кричите. Я не собираюсь убивать или грабить, — он поднял ладони, — я пришел по делу.

— Какое здесь может быть дело? — отправляйтесь по делу на бульвар Мальзерб, сорок восемь бис, от одиннадцати до часу... Вы влезли в окно, как вор и негодяй.

— Виноват, — вежливо ответил человек, — моя фамилия Леклер, меня зовут Гастон. У меня военный орден и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и воров не был. Советую вам немедленно принести мне извинения, мистер Роллинг, без которых наш дальнейший разговор не может состояться...

— Убирайтесь к дьяволу! — уже спокойнее сказал Роллинг.

— Если я уберусь по этому адресу, то небезызвестная вам мадемуазель Монроз погибла.

У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить с обладателем миллиардов, и вместе с оттенком грубоватой дружественности, как говорят с мужем своей любовницы:

— Итак, сударь, вы извиняетесь?

— Вы знаете, где скрывается мадемуазель Монроз?

— Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной?

— Извиняюсь, — заорал Роллинг.

— Принимаю! — Гастон отошел от окна, привычным движением расправил усы, откашлянулся и сказал: — Зоя Монроз в руках убийцы, о котором кричит весь Париж.

— Где она? (У Роллинга затряслись губы.)

— В Вилль Давре, близ парка Сен-Клу, в гостинице для случайных посетителей, в двух шагах от музея Гамбетты. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Вилль Давре, сегодня я точно установил адрес.

— Она добровольно бежала с ним?

— Вот это именно я больше всего хотел бы знать, — ответил Гастон так зловеще, что Роллинг изумленно оглянул его.

— Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории? Какое вам дело до мадемуазель Монроз? Каким образом вы по ночам следите за ней, устанавливаете место ее нахождения?

— Довольно! — Гастон благородным жестом протянул перед собой руку. — Я вас понимаю. Вы должны были поставить мне этот вопрос. Отвечаю вам: я влюблен, и я ревнив...

— Ага! — сказал Роллинг.

— Вам нужны подробности? — вот они: сегодня ночью, выходя из кафе, где я пил стакан грога, я увидел мадемуазель Монроз. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасно. Вскочить в такси, броситься за нею вслед было делом секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъезд дома шестьдесят три. (Роллинг моргнул, будто его кольнули.) Вне себя от ревнивых предчувствий, я ходил по тротуару мимо дома шестьдесят три. Ровно в четверть пятого мадемуазель Монроз вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому шестьдесят три. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в коверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете.

Роллинг опустил на стул (эпохи крестовых походов) и долго молчал, впившись пальцами в резные ручки... Так вот они — недостающие данные... Убийца — Гарин. Зоя — сообщница... Преступный план очевиден. Они убили двойника на улице Гобеленов, чтобы впутать в грязную историю его, Роллинга, и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппарата. Честный сержант и классический дурак, Гастон, случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно.

Глаза Роллинга зло вспыхнули. Он встал, ногой отпихнул стул.

— Я звоню в полицию. Вы поедете со мной в Вилль Давре.

Гастон усмехнулся, большие усы его поползли вкось.

— Мне кажется, мистер Роллинг, будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами.

— Я желаю арестовать убийцу и его сообщницу и предать недобряков в руки правосудия. — Роллинг выпрямился, голос его звучал как сталь.

Гастон сделал неопределенный жест.

— Так-то оно так... Но у меня есть шесть надежных молодых людей, выдавших виды... Через час в двух автомобилях я мог бы доставить их в Вилль Давре... А с полицией, уверяю вас, не стоит связываться...

Роллинг только фыркнул на это и взял с каминной полки телефонную трубку. Гастон с еще большей быстротой схватил его за руку.

— Не звоните в полицию!
— Почему?
— Потому, что глупее этого ничего нельзя придумать... (Роллинг опять потянулся за трубкой.) Вы редкого ума человек, мосье Роллинг, неужели вы не понимаете, — есть вещи, которые не говорятяся прямо... умоляю вас — не звонить... Фу, черт!.. Да потому, что после этого звонка мы с вами оба попадем на гильотину... (Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллинга прошептал.) По вашему указанию мадемуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к Аврааму одного русского инженера на улице Гобеленов, шестьдесят три. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно десять тысяч франков — в виде аванса моим малюткам. Деньги у вас с собой?..

.....

Через четверть часа на улице Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на узкой улице поворот, из-за выступа дома вышел Шельга и прицепился к автомобилю, к задней части кузова.

Машина пошла по набережной. На Марсовом поле, в том месте, где некогда Робеспьер, с колосьями в руке, клялся перед жертвенником Верховного Существа заставить человечество подписать великий колдоговор на вечный мир и вечную справедливость, — теперь возвышалась Эйфелева башня; два с половиной миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь: «Покупайте практичные и дешевые автомобили господина Ситроена...»

42

Ночь была сыrovатая и теплая. За открытым окном, от низкого потолка до самого пола, невидимые листья принимались шелестеть и затихали. В комнате — во втором этаже гостиницы «Черный Дрозд» — было темно и тихо. Влажный аромат парка смешивался с запахом духов. Ими был пропитан ветхий штоф на стенах, истертые ковры и огромная деревянная кровать, приютившая за долгие годы вереницы любовников. Это было доброе старое место для любовного уединения. Деревья шелестели за окном, ветерок доносил из парка запах земли и грусти, теплая кровать убаюкивали короткое счастье любовников. Рассказывают даже, что в этой комнате Беранже сочинял свои песенки. Времена изменились, конечно. Торопливым любовникам, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Эйфелевой башни, было не до шелеста листьев, не до любви. Нельзя же, в самом деле, в наши дни мечтательно гулять по бульвару, засунув в жилетный карман томик Мюссе. Нынче — все на скорости, все на бензине.

«Алло, малютка, в нашем распоряжении час двадцать минут! Нужно успеть в кино, скушать обед и полежать в кровати. Ничего не поделаешь, Ми-Ми, это — цивилизация».

Все же ночь за окном в гостинице «Черный Дрозд», темные кущи лип и нежные трещотки древесных лягушек не принимали участия в общем ходе европейской цивилизации. Было очень тихо и очень покойно. В комнате скрипнула дверь, послышались шаги по ковру. Неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко (по-русски):

— Нужно решаться. Через тридцать — сорок минут подадут машину. Что же — да или нет?

На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе:

— Зоя, будьте же благоразумны.

В ответ невесело засмеялись.

Гарин нагнулся к лицу Зои, всмотрелся, сел в ноги на постель.

— Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно несколько необычно, кончилось в этой постели, — вы находите, что банально? Согласен. Зачеркнуто. Слушайте, я не хочу никакой другой женщины, кроме вас, — что поделаешь?

— Пошло и глупо, — сказала Зоя.

— Совершенно с вами согласен. Я пошляк, законченный, первобытный. Сегодня я думал: ба, вот для чего нужны деньги, власть, слава, — обладать вами. Дальше, когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения: расставаться с вами я не хочу и не расстанусь.

— Ого! — сказала Зоя.

— «Ого» — ровно ничего не говорит. Я понимаю, — вы, как женщина умная и самолюбивая, ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделаешь! Мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, я буду бороться. А так как я пошляк, то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя.

— Вы это уже говорили, — повторяетесь.

— Разве вас это не убеждает?

— Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая.

— Оливиновый пояс.

— Что?

— Оливиновый пояс. Гм! Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через двадцать минут мы должны ехать. Оливиновый пояс — это власть над миром. Я найму вашего Роллинга в швейцары, — вот что такое Оливиновый пояс. Он будет в моих руках через два года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее — самой богатой на свете. Это скучно. Но — власть! Упоение небывалой на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингисхана. Вы хотите божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех пяти материках и ваше изображение увенчивать виноградом.

— Какое мещанство!..

— Я не шучу сейчас. Захотите, и будете наместницей бога или черта, — что вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищам Оливинового пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы — и я проникну сквозь Оливиновый пояс. Вы не верите?..

Помолчав, Зоя проговорила тихо:

— Почему я одна должна рисковать? Будьте смелы и вы.

Гарин, казалось, силился в темноте увидеть ее глаза, затем — почти печально, почти нежно — сказал:

— Если нет, тогда уходите. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно.

Зоя коротко вздохнула. Села на постели, подняла руки, оправляя волосы (это было хорошим знаком).

— В будущем — Оливиновый пояс. А сейчас что у вас? — спросила она, держа в зубах шпильки.

— Сейчас — мой аппарат и угольные пирамидки. Вставайте. Идемте в мою комнату, я покажу аппарат.

— Не много. Хорошо, я посмотрю. Идемте.

43

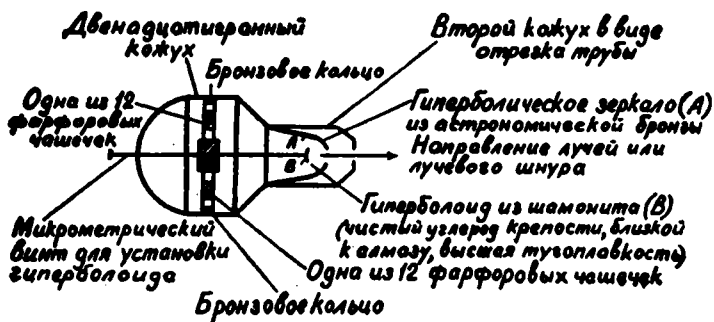
В комнате Гарина окно с балконной решеткой было закрыто и занавешено. У стены стояли два чемодана. (Он жил в «Черном Дрозде» уже больше недели.) Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто травяного цвета было помято, волосы небрежно прибраны, лицо утомленное, — такой она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемодан, посматривал на несобведенными синевой блестящими глазами.

— Вот мой аппарат, — сказал он, ставя на стол два металлических ящика: один — узкий, в виде отрезка трубы, другой — плоский, двенадцатигранный — втрое большего диаметра.

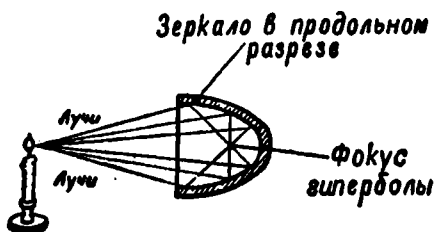
Он составил оба ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубку направил отверстием к каменной решетке, у двенадцатигранного кожуха откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками.

— Это — модель, — сказал он, вынимая из второго чемодана ящик с пирамидками, — она не выдержит и часа работы. Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов, в десять раз солиднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться. (Он вложил в чашечки кольца двенадцать пирамидок.) Снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот чертеж, продольный разрез аппарата. — Он нахло-

нился над Зоиным креслом (вдохнул запах ее волос), развернул чертежик размером в половину листа писчей бумаги. — Вы хотели, Зоя, чтобы я также рискнул всем в нашей игре... Смотрите сюда... Это основная схема...

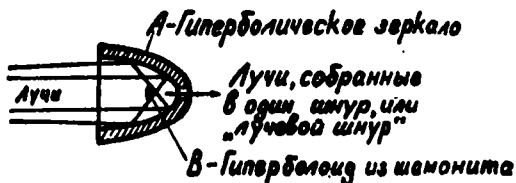


Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале (A), напоминающем формой зеркало обыкновенного прожектора, и в кусочке шамонита (B), сделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков.



Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь вот что неизвестно: я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу (очерченную, так сказать, навыворот) — гиперboloид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала — шамонита (B), — залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами?

Лучи, собираясь в фокусе зеркала (A), падают на поверхность гиперboloида (B) и отражаются от него математически параллельно, — иными словами, гиперboloид (B) концентрирует все лучи в один луч, или в «лучевой шнур», любой толщины.



Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид (В), я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину «лучевого шнура». Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его (практически) до толщины иглы.

При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, обхватила колено.

— Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида (В) я доводил «лучевой шнур» до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача — в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За три года работы, стоившей жизни двоим моим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что, помещенные в аппарат, — как вы видите, — и зажженные (горят около пяти минут), они дают «лучевой шнур», способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост... Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует ничего, что бы могло сопротивляться силе «лучевого шнура»... Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли, скалы, горы, кора земли — все пронизет, разрушит, разрежет мой луч...

Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шуршал и скрипел гравий, замирая работали моторы. Он прыгнул к окну и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарины, затем оно содрогнулось. Он выскользнул из-за портьеры.

— Три машины и восемь человек, — сказал он шепотом, — это за нами. Кажется — автомобиль Роллинга. В гостинице только мы и привратница. (Он живо вынул из ночного столика револьвер и сунул в карман пиджака.) Меня-то уж во всяком случае не выпустят живым... — Он весело вдруг почесал сбоку носа. — Ну, Зоя, решайте: да или нет? Другой такой минуты не выберешь.

— Вы с ума сошли, — лицо Зои вспыхнуло, помолодело, — спасайтесь!..

Гарин только вскинул бородкой.

— Восемь человек, вздор, вздор! — Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его внезапно осунулось.

— Спички, — прошептал он, — нет спичек...

Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Быть может, и вправду в кармане не оказалось спичек, — от них зависела жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она, будто во сне, взяла с кресла сумочку, вынула коробку восковых спичек. Протянула медленно, с трудом. Беря, он ощутил пальцами ее ледяную узкую руку.

Внизу по винтовой лестнице поднимались шаги, поскрипывая осторожно.

44

Несколько человек остановилось за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски:

— Кто там?

— Телеграмма, — ответил грубый голос, — отворите!..

Зоя молча схватила Гарина за плечи, затрясла головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату, крикнул:

— Подсуньте телеграмму под дверь.

— Когда говорят — отворите, нужно отворять, — зарычал тот же голос.

Другой, осторожный, спросил:

— Женщина у вас?

— Да, у меня.

— Выдайте ее, вас оставим в покое.

— Предупреждаю, — свирепо проговорил Гарин, — если вы не уберетесь к черту, через минуту ни один из вас не останется в живых.

— О-ля-ля!.. О-хо-хо!.. Гы-гы!.. — завyli, заржали голоса, и на дверь навалились, завертелась фарфоровая ручка, посыпались с косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен, движения быстры и уверенны. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт. Вынул несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Взял револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь затрещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло, колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку.

Прошла всего секунда тишины после его выстрела. И сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить чем-то тяжелым, от филенок полетели щепы. Портьера на окне завилась и упала вместе с карнизом.

— Гастон! — вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез Утиный Нос, держа во рту нож-наваха. Дверь еще держалась. Гарин, белый как бумага, прикручивал микрометрический винт, в левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело

пламя. Кружочек света на стене (против дула аппарата) уменьшался, — задымились обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански — лезвием к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филенки двери лезли усатые морды... Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на Утиного Носа...

Зоя увидела: Гастон разинул рот, не то чтобы крикнуть, не то чтобы заглотить воздух... Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись было и упали. Он опрокинулся на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части туловища.

Гарин повернул аппарат к двери. По пути «лучевой шнур» разрезал провод, — лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери, — посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шаркнулся. Мягко упало тело. Луч танцевал на высоте двух футов от пола. Послышался запах горящего мяса. И вдруг стало тихо, только гудело пламя в аппарате.

Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся, хриповатым голосом:

— Кончено со всеми.

.....

За разбитым окном ветерок налетел на невидимые липы, они зашелестели по-ночному — сонно. Из темноты, снизу, где неподвижно стояли машины, крикнули по-русски:

— Петр Петрович, вы живы? — Гарин появился в окне. — Осторожнее, это я, Шельга. Помните наш уговор? У меня автомобиль Роллинга. Надо бежать. Спасайте аппарат. Я жду...

45

Вечером, как обычно по воскресеньям, профессор Рейхер играл в шахматы у себя, на четвертом этаже, на открытом небольшом балконе. Партнером был Генрих Вольф, его любимый ученик. Они курили, уставясь в шахматную доску. Вечерняя заря давно погасла в конце длинной улицы. Черный воздух был душен. Не шевелился плющ, обвивавший выступы веранды. Внизу, под звездами, лежали пустынная асфальтовая площадь.

Покряхтывая, посапывая, профессор разрешал ход. Поднял плотную руку с желтоватыми ногтями, но не дотронулся до фигуры. Вынул изо рта окурок сигары.

— Да. Нужно подумать.

— Пожалуйста, — ответил Генрих. Его красивое лицо с широким лбом, резко очерченным подбородком, коротким прямым но

сом выражало покой могучей машины. У профессора было больше темперамента (старое поколение), — стального цвета борода рас-трепалась, на морщинистом лбу лежали красные пятна.

Высокая лампа под широким цветным абажуром освещала их лица. Несколько чахлах зелененьких существ кружились у лампы, сидели на свежепроглаженной скатерти, топорща усики, глядя точечками глаз и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся игрою небожителей. В комнате часы пробили десять.

Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая старушка, сидела неподвижно. Читать и вязать она уже не могла при искусственном свете. Вдали, где в черной ночи горели окна высокого дома, угадывались огромные пространства каменного Берлина. Если бы не сын за шахматной доской, не тихий свет абажура, не зелененькие существа на скатерти, ужас, давно прилеглий в душе, поднялся бы опять, как много раз в эти годы, и высушил бескровное личико фрау Рейхер. Это был ужас перед надвигающимися на город, на этот балкон миллионами. Их звали не Фрицы, Иоганны, Генрихи, Отто, а масса. Один, как один, — плохо выбритые, в бумажных манишках, покрытые железной, свинцовой пылью, — они по временам заполняли улицы. Они многого хотели, выпячивая тяжелые челюсти.

Фрау Рейхер вспомнила блаженное время, когда ее жених, Отто Рейхер, вернулся из-под Седана победителем французского императора. Он весь пропах солдатской кожей, был бородат и громогласен. Она встретила его за городом. На ней было голубое платьице, и ленты, и цветы. Германия летела к победам, к счастью вместе с веселой бородой Отто, вместе с гордостью и надеждами. Скоро весь мир будет завоеван...

Прошла жизнь фрау Рейхер. И настала и прошла вторая война. Кое-как вытащили ноги из болота, где гнили миллионы человеческих трупов. И вот — появились массы. Взгляни любому под каскетку в глаза. Это не немецкие глаза. Их выражение упрямо, невесело, непостижимо. К их глазам нет доступа. Фрау Рейхер охватывал ужас.

.....

На веранде появился Алексей Семенович Хлынов. Он был по-воскресному одет в чистенький серый костюм.

Хлынов поклонился фрау Рейхер, пожелал ей доброго вечера и сел рядом с профессором, который добродушно сморщился и с юмором подмигнул шахматной доске. На столе лежали журналы и иностранные газеты. Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Германии, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свежетыглаженной скатерти, предложенной сигарой в двадцать пфеннигов и беседой, стоившей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими излишествами.

В будни от семи утра до семи вечера профессор бывал молчалив, деловит и суров. По воскресеньям он «охотно отправлялся с друзь-

ями на прогулку в страну фантазии». Он любил поговорить «от одного до другого конца сигары».

— Да, надо подумать, — опять сказал профессор, закутываясь дымом.

— Пожалуйста, — холодно-вежливо ответил Вольф.

Хлынов развернул парижскую «Л'Энтрансижан» и на первой странице под заголовком «Таинственное преступление в Вилль Давре» увидел снимок, изображающий семерых людей, разрезанных на куски. «На куски так на куски», — подумал Хлынов. Но то, что он прочел, заставило его задуматься:

«...Нужно предполагать, что преступление совершено каким-то неизвестным до сих пор орудием, либо раскаленной проволокой, либо тепловым лучом огромного напряжения. Нам удалось установить национальность и внешний вид преступника: это, как и надо было ожидать, — русский (следовало описание наружности, данное хозяйкой гостиницы). В ночь преступления с ним была женщина. Но дальше все загадочно. Быть может, несколько приподнимет завесу кровавая находка в лесу Фонтенбло. Там, в тридцати метрах от дороги, найден в бесчувственном состоянии неизвестный. На теле его оказались четыре огнестрельных раны. Документы и все, устанавливающее его личность, похищено. По-видимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось...»

46

— Шах! — воскликнул профессор, взмахивая взятым конем. — Шах и мат! Вольф, вы разбиты, вы оккупированы, вы на коленях, шестьдесят шесть лет вы платите репарации. Таков закон высокой империалистической политики.

— Реванш? — спросил Вольф.

— О нет, мы будем наслаждаться всеми преимуществами победителя.

Профессор потрепал Хлынова по колену.

— Что вы такое вычитали в газетке, мой юный и непримиримый большевик? Семь разрезанных французов? Что поделаешь, — победители всегда склонны к излишествам. История стремится к равновесию. Пессимизм — вот что притаскивают победители к себе в дом вместе с награбленным. Они начинают слишком жирно есть. Желудок их не справляется с жирами и отравляет кровь отвратительными ядами. Они режут людей на куски, вешаются на подтяжках, кидаются с мостов. У них пропадает любовь к жизни. Оптимизм — вот что остается у побежденных взамен награбленного. Великолепное свойство человеческой воли — верить, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Пессимизм должен быть выдернут с корешками. Угрюмая и кровавая мистика Востока, безнадежная печаль эллинской цивилизации, разнузданные страсти Рима среди дымящихся развалин городов, изуверство средних ве-

ков, каждый год ожидающих конца мира и Страшного суда, и наш век, строящий картонные домики благополучия и глотающий нестерпимую чушь кинематографа, — на каком основании, я спрашиваю, построена эта чахлая психика царя природы? Основание — пессимизм... Проклятый пессимизм... Я читал вашего Ленина, мой дорогой... Это великий оптимист. Я его уважаю...

— Вы сегодня в превосходном настроении, профессор, — мрачно сказал Вольф.

— Вы знаете почему? — Профессор откинулся на плетеном кресле, подбородок его собрался морщинами, глаза весело, молодо посматривали из-под бровей. — Я сделал прелюбопытнейшее открытие... Я получил некоторые сводки, и сопоставил некоторые данные, и неожиданно пришел к удивительному заключению... Если бы германское правительство не было шайкой авантюристов, если бы я был уверен, что мое открытие не попадет в руки жуликам и грабителям, — я бы, пожалуй, опубликовал его... Но нет, лучше молчать...

— С нами-то, надеюсь, вы можете поделиться, — сказал Вольф. Профессор лукаво подмигнул ему:

— Что бы вы, например, сказали, мой друг, если бы я предложил честному германскому правительству... вы слышите, — я подчеркиваю: «честному», в это я вкладываю особенный смысл... — предложил бы любые запасы золота?

— Откуда? — спросил Вольф.

— Из земли, конечно...

— Где эта земля?

— Безразлично. Любая точка земного шара... Хотя бы в центре Берлина. Но я не предложу. Я не верю, чтобы золото обогатило вас, меня, всех Фрицев, Михелей... Пожалуй, мы станем еще бедней... Один только человек, — он обернул к Хлынову седовласую львиную голову, — ваш соотечественник, предложил сделать настоящее употребление из золота... Вы понимаете?

Хлынов усмехнулся, кивнул.

— Профессор, я привык слушать вас серьезно, — сказал Вольф.

— Я постараюсь быть серьезным. Вот у них в Москве зимние морозы доходят до тридцати градусов ниже нуля, вода, выплеснутая с третьего этажа, падает на тротуар шариками льда. Земля носится в межпланетном пространстве десять — пятнадцать миллиардов лет. Должна была она остыть за этот срок, черт возьми? Я утверждаю — земля давным-давно остыла, отдала лучеиспусканием все свое тепло межпланетному пространству. Вы спросите: а вулканы, расплавленная лава, горячие гейзеры? Между твердой, слабо нагреваемой солнцем земной корой и всей массой земли находится пояс расплавленных металлов, так называемый Оливиновый пояс. Он происходит от непрерывного *атомного распада* основной массы земли. Эта основная масса представляет шар температуры межпланетного пространства, то есть в нем двести семьдесят три градуса ниже нуля. Продукты распада — Оливиновый пояс — не что иное, как находящиеся в жидком состоянии металлы: оливин, ртуть и золото. И нахождение их, по

многим данным, не так глубоко: от пятнадцати до трех тысяч метров глубины. Можно в центре Берлина пробить шахту, и расплавленное золото само хлынет, как нефть, из глубины Оливинового пояса...

— Логично, заманчиво, но невероятно, — после молчания проговорил Вольф. — Пробить современными орудиями шахту такой глубины — невозможно...

47

Хлынов положил руку на развернутый лист «Л'Энтрансижан».

— Профессор, этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел в Берлин. Задача пробраться к распадающимся элементам земного центра не так уже невероятна.

— Какое это имеет отношение к разрезанным французам? — спросил профессор, опять раскуривая сигару.

— Убийство в Вилль Давре совершено тепловым лучом.

При этих словах Вольф придвинулся к столу, холодное лицо его насторожилось.

— Ах, опять эти лучи, — профессор сморщился, как от кислого, — вздор, блеф, утка, запускаемая английским военным министерством.

— Аппарат построен русским, я знаю этого человека, — ответил Хлынов, — это талантливый изобретатель и крупный преступник.

Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гарине: об его работах в Политехническом институте, о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове Шельги в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гарина.

— Свидетельство налицо, — Хлынов указал на фотографию, — это работа Гарина.

Вольф хмуро рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно:

— Вы полагаете, что при помощи тепловых лучей можно бурить землю? Хотя... при трехтысячной температуре расплавятся и глины и гранит. Очень, очень любопытно... А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гарину? Гм... Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для отчерпывания породы, можно пробраться глубоко... Другой, вы меня чертовски заинтересовали...

До второго часа ночи, сверх обыкновения, профессор ходил по веранде, дымил сигарой и развивал планы, один удивительнее другого.

48

Обычно Вольф, уходя от профессора, прощался с Хлыновым на площади. На этот раз он пошел рядом с ним, постукивая тростью, опустив нахмуренное лицо.

— Ваше мнение таково, что инженер Гарин скрылся вместе с аппаратом после истории в Вилль Давре? — спросил он.

— Да.

— А эта «кровавая находка в лесу Фонтенбло» не может оказаться Гариним?

— Вы хотите сказать, что Шельга захватил аппарат?..

— Вот именно...

— Мне это не приходило в гю ову... Да, это было бы очень неплохо.

— Я думаю, — подняв голову, насмешливо сказал Вольф.

Хлынов быстро взглянул на собеседника. Оба остановились. Издалека фонарь освещал лицо Вольфа, — злую усмешку, холодные глаза, упрямый подбородок. Хлынов сказал:

— Во всяком случае, все это только догадки, нам пока еще незачем ссориться.

— Я понимаю, понимаю.

— Вольф, я с вами не хитрю, но говорю твердо, — необходимо, чтобы аппарат Гарина оказался в СССР. Одним этим желанием я создаю в вас врага. Честное слово, дорогой Вольф, у вас очень смутные понятия, что вредно и что полезно для вашей родины.

— Вы стараетесь меня оскорбить?

— Фу-ты, черт! Хотя — правда. — Хлынов чисто по-русски, что сразу отметил Вольф, двинул шляпу на сторону, почесал за ухом. — Да разве после того, как мы перебили друг у друга миллионов семь человек, можно еще обижаться на слова?.. Вы — немец от головы до ног, бронированная пехота, производитель машин, у вас и нервы, я думаю, другого состава. Слушайте, Вольф, попади в руки таким, как вы, аппарат Гарина, чего вы только ни натворите...

— Германия никогда не примирится с унижением.

Они подошли к дому, где в первом этаже Хлынов снимал комнату. Молча простились. Хлынов ушел в ворота. Вольф стоял, медленно катая между зубами погасшую сигару. Вдруг окно в первом этаже распахнулось, и Хлынов взволнованно высунулся:

— А... Вы еще здесь?.. Слава богу. Вольф, телеграмма из Парижа, от Шельги... Слушайте: «Преступник ушел. Я ранен, встану не скоро. Опасность величайшая, неизмеримая грозит миру. Необходим ваш приезд».

— Я еду с вами, — сказал Вольф.

49

На белой колеблющейся шторе бегали тени от листвы. Неумолкаемое журчание слышалось за шторой. Это на газоне больничного сада из переносных труб расплывалась вода среди радуг, стекала каплями с листьев платана перед окном.

Шельга дремал в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору.

Издали доносился шум Парижа. Близкими были звуки — шорох деревьев, голоса птиц и однообразный плеск воды.

Неподалеку крякал автомобиль или раздавались шаги по коридору. Шельга быстро открывал глаза, остро, тревожно глядел на дверь. Пошевелиться он не мог. Обе руки его были окованы гипсом, грудь и голова забинтованы. Для защиты — одни глаза. И снова сладкие звуки из сада навевали сон.

Разбудила сестра-кармелитка¹, вся в белом, осторожно полными руками поднесла к губам Шельги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды.

Между сном и тревогой проходил день. Это были седьмые сутки после того, как Шельгу, без чувств, окровавленного, подняли в лесу Фонтенбло.

Его уже два раза допрашивал следователь. Шельга дал следующие показания:

— В двенадцатом часу ночи на меня напали двое. Я защищался тростью и кулаками. Получил четыре пули, больше ничего не помню.

— Вы хорошо рассмотрели лица нападавших?

— Их лица — вся нижняя часть — были закрыты платками.

— Вы защищались также и тростью?

— Просто это был сучок, — я его подобрал в лесу.

— Зачем в такой поздний час вы попали в лес Фонтенбло?

— Гулял, осматривал дворец, пошел обратно лесом, заблудился.

— Чем вы объясните то обстоятельство, что вблизи места покушения на вас обнаружены свежие следы автомобиля?

— Значит, преступники приехали на автомобиле.

— Чтобы ограбить вас? Или чтобы убить?

— Ни то, ни другое, я думаю. Меня никто не знает в Париже. В посольстве я не служу. Политической миссии не выполняю. Денег с собой немного.

— Стало быть, преступники ожидали не вас, когда стояли у двойного дуба, на поляне, где один курил, другой потерял запонку с ценной жемчужиной?

— По всей вероятности, это были светские молодые люди, проигравшиеся на скачках или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенбло мог попасться человек, набитый тысячефранковыми билетами.

На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову (переданную следователю сестрой-кармелиткой), Шельга ответил:

— Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России.

— Вы могли бы говорить со мною более откровенно?

— Нет. Это не моя тайна.

¹ Кармелиты — монашеский орден.

На вопросы Шельга отвечал точно и ясно, глядел в глаза честно и даже глуповато. Следовательно оставалось только поверить в его искренность.

Но опасность не миновала. Опасностью были пропитаны столбцы газет, полные подробностями «кошмарного дела в Вилль Давре», опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, в фарфоровом соусничке, подносимом к губам полными руками сестры-кармелитки.

Спасение в одном: как можно скорее снять гипс и повязки. И Шельга весь застыл, без движения, в полудремоте.

50

...В полудремоте ему вспоминалось.

Фонари потушены. Автомобиль замедлил ход... В окошко машины высунулся Гарин и — громким шепотом:

— Шельга, сворачивайте. Сейчас будет поляна. Там...

Грузно тряхнувшись на шоссейной канаве, автомобиль прошел между деревьями, повернулся и стал.

Под звездами лежала извилистая полянка. Смутно в тени деревьев громоздились скалы.

Мотор выключен. Остро запахло травой. Сонно плескался ручей, над ним вился туманчик, уходя неясным полотнищем в глубь поляны.

Гарин выпрыгнул на мокрую траву. Протянул руку. Из автомобиля вышла Зоя Монроз в глубоко надвинутой шапочке, подняла голову к звездам. Передернула плечами.

— Ну, вылезайте же, — резко сказал Гарин.

Тогда из автомобиля, головой вперед, вылез Роллинг. Из-под тени котелка его блестели золотые зубы.

Плескалась, бормотала вода в камнях. Роллинг вытащил из кармана руку, стиснутую, видимо, уже давно в кулак, и заговорил глуховатым голосом:

— Если здесь готовится смертный приговор, я протестую. Во имя права. Во имя человечности... Я протестую как американец... Как христианин... Я предлагаю любой выкуп за жизнь.

Зоя стояла спиной к нему. Гарин проговорил брезгливо:

— Убить вас я мог бы и там...

— Выкуп? — быстро спросил Роллинг.

— Нет.

— Участие в ваших... — Роллинг мотнул щеками, — в ваших странных предприятиях?

— Да. Вы должны это помнить... На бульваре Мальзерб... Я говорил вам...

— Хорошо, — ответил Роллинг, — завтра я вас приму... Я должен продумать заново ваши предложения.

Зоя сказала негромко:

— Роллинг, не говорите глупостей.

— Мадемуазель! — Роллинг подскочил, котелок съехал ему на нос, — мадемуазель... Ваше поведение неслыханно... Предательство... Разврат...

Так же тихо Зоя ответила:

— Ну вас к черту! Говорите с Гариным.

Тогда Роллинг и Гарин отошли к двойному дубу. Там вспыхнул электрический фонарик. Нагнулись две головы. Несколько секунд было слышно только, как плескался ручей в камнях.

— ...Но нас не трое, нас четверо... здесь есть свидетель, — долетел до Шельги резкий голос Роллинга.

— Кто здесь, кто здесь? — сотрясаясь, сквозь дремоту пробормотал Шельга. Зрачки его расширились во весь глаз.

Перед ним на белом стульчике, — со шляпой на коленях, — сидел Хлынов.

51

.....

— Не предугадал хода... Думать времени не было, — рассказывал ему Шельга, — сыграл такого дурака, что — ну.

— Ваша ошибка в том, что вы взяли в автомобиль Роллинга, — сказал Хлынов.

— Какой черт я взял... Когда в гостинице началась пальба и резня, Роллинг сидел, как крыса, в автомобиле, — оцетинился двумя кольтами. Со мной оружия не было. Я влез на балкон и видел, как Гарин расправился с бандитами... Сообщил об этом Роллингу... Он струсил, зашипел, наотрез отказался выходить из машины... Потом он пытался стрелять в Зою Монроз. Но мы с Гариным свернули ему руки... Долго возиться было некогда, я вскочил за руль — и ходу...

— Когда вы были уже на полянке и они совещались около дуба, неужели вы не поняли?..

— Понял, что мое дело — ящик. А что было делать? Бежать? Ну, знаете, я все-таки спортсмен... К тому же у меня и план был весь разработан... В кармане фальшивый паспорт для Гарина, с десятью визами... Аппарат его, — рукой взять, — в автомобиле... При таких обстоятельствах мог я о шкуре своей очень-то думать?..

— Ну, хорошо... Они сговорились...

— Роллинг подписал какую-то бумажку там, под деревом, — и хорошо видел. После этого — слышу — он сказал насчет четвертого свидетеля, то есть меня. Я вполголоса говорю Зое: «Слушайте-ка, да веча мы проехали мимо полисмена, он заметил номер машины. Если меня сейчас убьют, к утру вы все трое будете в стальных наручниках». Знаете, что она мне ответила? Вот женщина!.. Через плечо, не глядя: «Хорошо, я приму это к сведению». А до чего красива!.. Бесом

ка! Ну, ладно. Гарин и Роллинг вернулись к машине. Я — как ни в чем не бывало... Первая села Зоя. Высунулась и что-то проговорила по-английски. Гарин — мне: «Товарищ Шельга, теперь — валяйте: полный ход по шоссе на запад». Я присел перед радиатором... Вот где моя ошибка. У них только и была эта одна минута... Когда машина на ходу, они бы со мной ничего не сделали, побоялись... Хорошо, — завожу машину... Вдруг, в темя, в мозг — будто дом на голову рухнул, хряснули кости, ударило, обожгло светом, опрокинуло навзничь... Видел только — мелькнула перекошенная морда Роллинга. Сукин сын! Четыре пули в меня запустил... Потом я открываю глаза, вот эта комната.

Шельга утомился, рассказывая. Долго молчали. Хлынов спросил:

— Где может быть сейчас Роллинг?

— Как где? Конечно, в Париже. Ворочает прессой. У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Деньги лопатой загребают. В том-то все и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или яд в соуснике. Он меня все-таки пришьет, конечно...

— Чего же вы молчите?.. Немедленно нужно дать знать шефу полиции.

— Товарищ дорогой, вы с ума сошли! Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.

52

— Итак, Шельга, вы своими глазами видели действие аппарата?

— Видел и теперь знаю: пушки, газы, аэропланы — все это детская забава. Вы не забывайте, тут не один Гарин... Гарин и Роллинг. Смертоносная машина и миллиарды. Всего можно ждать.

Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в теневую сторону сада, на черных дроздов, — они деловито и озабоченно бегали под кустами вербе- ны, вытаскивали из чернозема дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстилалось над садом.

— А то предоставить их самим себе, пусть развернутся во всем великолепии — Роллинг и Гарин, и конец будет ближе, — проговорил Хлынов. — Этот мир погибнет неминуемо... Здесь одни дрозды живут разумно. — Хлынов отвернулся от окна. — Человек каменного века был значительнее, несомненно... Бесплатно, только из внутренней потребности, разрисовывал пещеры, думал, сидя у огня, о мамонтах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Черт знает, как это было почтенно!.. Мозг еще маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы... А эти, нынешние, на кой черт им летательные машины? Посадить бы какого-нибудь франта с бульвара в пещеру напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его

спросил: «Рассказывай, сын больной суки, до чего ты додумался за эти сто тысяч лет?..» — «Ах, ах, — завертелся бы франт, — я, знаете ли, не столько думаю, сколько наслаждаюсь плодами цивилизации, господин пращур... Если бы не опасность революций со стороны черни, то наш мир был бы поистине прекрасен. Женщины, рестораны, немножко волнения за картами в казино, немножко спорта... Но, вот беда, — эти постоянные кризисы и революции — это становится утомительным...» — «Ух, ты, — сказал бы на это пращур, впиваясь в франта горящими глазами, — а мне вот нравится ду-у-у-умать, я вот сижу и уважаю мой гениальный мозг... Мне бы хотелось проткнуть им вселенную...»

Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой:

— Чего добиваются Гарин и Роллинг? Щекотки. Пусть они ее называют властью над миром. Все же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло тридцать миллионов. Они постараются убить триста. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. Профессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает два бутерброда с повидлой и с маргарином — на завтрак и отварной картофель с солью — к обеду. Такова плата за мозговой труд... И так будет, покуда мы не взорвем всю эту ихнюю «цивилизацию», Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга отправим завхозом куда-нибудь на остров Врангеля... Вы правы, нужно бороться... Что же, — я готов. Аппаратом Гарина должен владеть СССР...

— Аппарат будет у нас, — закрыв глаза, проговорил Шельга.

— С какого конца приступить к делу?

— С разведки, как полагается.

— В каком направлении?

— Гарин сейчас, по всей вероятности, бешеным ходом строит аппараты. В Вилль Давре у него была только модель. Если он успеет построить боевой аппарат, — тогда его взять будет очень трудно. Первое, — нужно узнать, где он строит аппараты.

— Понадобятся деньги.

— Поезжайте сегодня же на улицу Гренелль, переговорите с нашим послом, я его кое о чем уже осведомил. Деньги будут. Теперь второе, — нужно разыскать Зою Монроз. Это очень важно. Это баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала насмерть. В ней вся пружина их махинации.

— Простите, бороться с женщинами отказываюсь.

— Алексей Семенович, она посильнее нас с вами... Она еще много крови прольет.

Зоя вышла из круглой и низкой ванны, подставила спину, — горничная накинула на нее мохнатый халат. Зоя, вся еще покрытая пузырьками морской воды, села на мраморную скамью.

Сквозь иллюминаторы скользили текучие отблески солнца, зеленоватый свет играл на мраморных стенах, ванная комната слегка покачивалась. Горничная осторожно вытирала, как драгоценность, ноги Зои, натянула чулки и белые туфли.

— Белье, мадам.

Зоя лениво поднялась, на нее надели почти не существующее белье. Она глядела мимо зеркала, заломив брови. Ее одели в белую юбку и белый, морского покроя, пиджачок с золотыми пуговицами, — как это и полагалось для владелицы трехсоттонной яхты в Средиземном море.

— Grim, мадам?

— Вы с ума сошли, — ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла вверх, на палубу, где с теневой стороны на низком камышовом столике был накрыт завтрак.

Зоя села у стола. Разломила кусочек хлеба и загляделась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде, — море было ясно-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал теплый ветерок, лаская ноги под платьем.

На слегка выгнутой, из узких досок, точно замшевой палубе стояли у бортов плетеные кресла, посредине лежал серебристый анатолийский ковер с разбросанными парчовыми подушками. От капитанского мостика до кормы натянут тент из синего шелка с бахромой и кистями.

Зоя вздохнула и начала завтракать.

Мягко ступая, улыбаясь, подошел капитан Янсен, норвежец, — выбритый, румяный, похожий на взрослого ребенка. Неторопливо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко на одно ухо.

— С добрым утром, мадам Ламоль. (Зоя плавала под этим именем и под французским флагом.)

Капитан был весь белоснежный, выглаженный, — косолапо, поморски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с веревочными подошвами. Осталась удовлетворена.

— Доброе утро, Янсен.

— Имею честь доложить, курс — норд-вест-вест, широта и долгота (такие-то), на горизонте курится Везувий. Неаполь покажется меньше чем через час.

— Садитесь, Янсен.

Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышовую банкетку. От завтрака отказался, — он уже ел в девять утра. Из вежливости взял чашечку кофе.

Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами, — оно понемногу залилось краской. Не отхлебнув, он поставил чашечку на скатерть.

— Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов, — сказал он, не поднимая глаз.

— Как, заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин.

— Есть встать на внешнем рейде, — тихо проговорил капитан.

— Янсен, ваши предки были морскими пиратами?

— Да, мадам.

— Как это было интересно! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин... Вам жалко, что вы не морской пират?

Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргали. По лбу пошли складки.

— Ну?

— Я получил хорошее воспитание, мадам.

— Верю.

— Разве что-нибудь во мне дает повод думать, что я способен на противозаконные и нелояльные поступки?

— Фу, — сказала Зоя, — такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов — и все это, чтобы возить вздорную бабу по теплой скучной луже. Фу!

— Но, мадам...

— Устройте какую-нибудь глупость, Янсен. Мне скучно...

— Есть устроить глупость.

— Когда будет страшная буря, посадите яхту на камень.

— Есть посадить яхту на камни...

— Вы серьезно это намерены сделать?

— Если вы приказываете...

Он взглянул на Зою. В глазах его были обида и сдерживаемое восхищение. Зоя потянулась и положила руку ему на белый рукав:

— Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего три недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан (у него сжались челюсти). Мне кажется, вы способны на поступки, выходящие из пределов лояльности, если, если они дают опьянение жизнью.

В это время на лакированной, сверкающей бронзой лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно:

— Время, мадам...

Вниз сошел помощник капитана. Отдал честь:

— Мадам Ламоль, без трех минут двенадцать, сейчас будут вызывать по радио...

Ветер парусил белую юбку. Зоя поднялась на верхнюю палубу к рубке радиотелеграфа. Прищурясь, вдохнула соленый воздух. Сверху, с капитанского мостика, необъятным казался солнечный свет, падающий на стеклянно-рябое море.

Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете.

Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил, и полетишь. Чудесное создание — человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожелений, душа, казалось, разбитая в осколки, — все мучительное темное прошлое Зои отодвинулось, растворилось в этом солнечном свете...

«Я молода, молода, — так казалось ей на палубе корабля, с поднятым к солнцу бушпритом, — я красива, я добра».

Ветер ласкал шею, лицо. Зоя восторженно желала счастья себе. Все еще не в силах оторваться от света, неба, моря, она повернула холодную ручку дверцы, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны были задернуты шторы. Взяла слуховые трубки. Положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами, — сердцу все еще было горячо. Зоя сказала помощнику капитана:

— Идите.

Он вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива, стройна, тонка, «шикарна», — от нее неизъяснимое волнение.

55

Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили двенадцать. Зоя улыбнулась, — прошло всего три минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом.

«Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность, — подумалось ей, — знать: впереди миллионы минут, миллионы вечностей».

Она положила пальцы на рычажок и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну сто тридцать семь с половиной метров. Тогда из черной пустоты трубки раздался медленный и жесткий голос Роллинга:

— ...Мадам Ламоль, мадам Ламоль, мадам Ламоль... Слушайте, слушайте, слушайте...

— Да слушаю я, успокойся, — прошептала Зоя.

— ...Все ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чем-либо недостатка? Сегодня в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос... Волну посылайте той же длины, как обычно... Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас все в порядке. Дела блестящи. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь...

Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала ее лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы: «Надоело!» Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили ее. Роллинг не может, не хочет оставить ее в покое... Пойдет на какое

угодно преступление в конце концов, только бы позволила ему каждый день хрипеть в микрофон: «...Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь».

56

После убийств в Вилль Давре и Фонтенбло и затем бешеной езды с Гариным по залитым лунным светом пустынным шоссе дорогам в Гавр Зоя и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в нее в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже молча плакал тогда, согнувшись в автомобиле.

В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль — она становилась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошли в Средиземное море, и там «Аризона» крейсировала у берегов Италии, держась десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты.

Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих «настроениях». В этом однообразии прошло дней десять, и вот аппараты «Аризоны», шупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое, и она услышала голос, от которого остановилось сердце.

— ...Зоя, Зоя, Зоя, Зоя...

Точно огромная муха о стекло, звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял ее имя и затем через некоторые промежутки:

— ...Отвечай от часа до трех ночи...

И опять:

— ...Зоя, Зоя, Зоя... Будь осторожна, будь осторожна...

В ту же ночь над темным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, полетели волны женского голоса:

— ...Тому, кто велел отвечать от часа до трех...

Этот вызов Зоя повторяла много раз. Затем говорила:

— ...Хочу тебя видеть. Пусть это неразумно. Назначь любой из итальянских портов... По имени меня не вызывай, узнаю тебя по голосу...

В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то, — в Европе, Азии, Африке, — нащупает волны электромагнитов «Аризоны», за две тысячи километров, в Париже, на ночном столике у двухспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрещал телефонный звонок.

Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семенова поспешно проговорил:

— Роллинг. Она разговаривает.

— С кем?

— Плохо слышно, по имени не называет.

— Хорошо, продолжайте слушать. Отчет завтра.

Роллинг положил трубку, снова лег, но сон уже отошел от него.

Задача была нелегка: среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчетов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов — уловить слабый голос Зои.

День и ночь для этого в Медоне сидел Семенов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои. Но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга.

Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенбло. Шельга остался жив, — висел над головой страшной угрозой. С Гариным, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как негра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда, — лучше смерть, эшафот, чем союз, — но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гариным, он выигрывал время, и, быть может, сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернется... Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча... Это было черт знает что... Из-за распутной, продажной бабы... Но слезы были солонны и мучительны... Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. (Это было необходимо, чтобы замести следы.) Он надеялся убедить, увести, увлечь ее ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле.

По условию с Гариным Роллинг немедленно начинал «всеобщее наступление на химическом фронте». В тот день, когда Зоя села в Гавре на «Аризону», Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гавре и на обратном пути, ночью, подвергся нападению бандитов (трое, с лицами, обвязанными платками). Они отобрали у него деньги и автомобиль. (Гарин в это время, — как было условлено, — пересек с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга.)

«Наступление на химическом фронте» началось. Парижские газеты начали грандиозный переполох. «Загадочная трагедия в Виль Давре», «Таинственное нападение на русского в парке Фонтенбло», «Наглое ограбление химического короля», «Американские миллиарды в Европе», «Гибель национальной германской индустрии», «Роллинг или Москва» — все это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя — держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн ее, у черных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене.

Но это гибла плотва, — все это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций.

Их нелегко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьезной операции и подготавливался удар со стороны Гарина.

Гарин «бешеным ходом», как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в кельнской газете. Роллинг, в свою очередь, помещал в одной из бульварных парижских газет две-три строчки: «Все внимание сосредоточьте на анилине...», «Дорог каждый день, не жалейте денег...» и так далее.

Гарин отвечал: «Окончу скорее, чем предполагал...», «Место найдено...», «Приступаю...», «Непредвиденная задержка...»

Роллинг: «Тревожусь, назначьте день...»

Гарин ответил: «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...»

Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефограмма Роллингу от Семенова. Роллинг пришел в ярость, — его водили за нос. Тайные сношения с «Аризоной», помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль.

Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал «продумывать» заново свою «партию» со смертельным врагом. Он нашел ошибки. Гарин оказывался не так уже хорошо защищен. Ошибкой его было согласие на путешествие Зои, — конец партии для него предрешен. Мат будет сказан на борту «Аризоны».

57

Но на борту «Аризоны» происходило не совсем то, о чем думал Роллинг. Он помнил Зою умной, спокойно-расчетливой, холодной, преданной. Он знал, с какой брезгливостью она относилась к женским слабостям. Он не мог допустить, чтобы долго могло длиться ее увлечение этим нищим бродягой, бандитом Гариным. Хорошая прогулка по Средиземному морю должна прояснить ее ум.

Зоя действительно была как в бреду, когда в Гавре села на яхту. Несколько дней одиночества среди океана успокоили ее. Она пробуждалась, жила и засыпала среди синего света, блеска воды, под спокойный, как вечность, шум волн. Содрогаясь от омерзения, она вспоминала грязную комнату и оскалившийся, стеклянноглазый труп Лемуара, закипевшую дымную полосу поперек груди Утинового Носа, сырую поляну в Фонтенбло и неожиданные выстрелы Роллинга, точно он убивал бешеную собаку...

Но все же ум ее не прояснялся, как надеялся Роллинг. Наяву и во сне чудились какие-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан... Толпы красивых людей, музыка, вьющиеся флаги... И она — повелительница этого фантастического мира...

Сны и видения в кресле под синим тентом были продолжением разговора с Гариным в Виль Давре (за час до убийства). Один

на свете человек, Гарин, понял бы ее сейчас. Но с ним были связаны и стеклянные глаза Ленуара и разинутый страшный рот Гастона Утиный Нос.

Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забормотал голос Гарина... С тех пор она ежедневно звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей черным пятном в лазурной чистоте моря и неба... Ей нужно было рассказать ему о снах наяву. Спросить, где же его Оливиновый пояс? Зоя металась по яхте, лишая капитана Янсена и его помощника присутствия духа.

Гарин отвечал:

«...Жди. Будет все, что ты захочешь. Только умей хотеть. Желай, сходи с ума — это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя мое дело мертвое».

Таково было его последнее радио, точно так же перехваченное Роллингом. Сегодня Зоя ждала ответа на запрос, — в какой точно день его нужно ждать на яхте? Она вышла на палубу и облокотилась о перила. Яхта едва двигалась. Ветер затих. На востоке поднимались испарения еще невидимой земли и стоял пепельный столб дыма над Везувием.

На мостике капитан Янсен опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он, как зачарованный, смотрит на нее. Да и как было ему не смотреть, когда все чудеса неба и воды были сотворены только затем, чтобы ими любовалась мадам Ламоль, — у перил над молочно-лазурной бездной.

Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжину шелковых чулок, за платье от большого дома, просто за тысячу франков Зоя позволяла слюнявить себя молодчикам с коротенькими пальцами и сизыми щеками... Фу!.. Париж, кабаки, глупые девки, гнусные мужчины, уличная вонь, деньги, деньги, деньги, — какое обожество... Возня в зловонной яме!..

Гарин сказал в ту ночь: «Захотите — и будете наместницей бога или черта, что вам больше по вкусу. Вам захочется уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством... Такая женщина, как вы, найдет применение сокровищам Оливинового пояса...»

Зоя думала:

«Римские императоры обожествляли себя. Наверно, им это доставляло удовольствие. В наше время это тоже неплохое развлечение. На что-нибудь должны пригодиться людишки. Воплощение бога, живая богиня среди фантастического великолепия... Отчего же, — пресса могла бы подготовить мое обожествление легко и быстро. Миром правит сказочно-прекрасная женщина. Это имело бы несомненный успех. Построить где-нибудь на островах великолепный город для избранных юношей, предполагаемых любовников богини. Появляться, как богиня, среди этих голодных мальчишек, — недурные эмоции».

Зоя пожалала плечиком и снова посмотрела на капитана:

— Подите сюда, Янсен.

Он подошел, мягко и широко ступая по горячей палубе.

— Янсен, вы не думаете, что я сумасшедшая?

— Я не думаю этого, мадам Ламоль, и не подумую, что бы вы мне ни приказали.

— Благодарю. Я вас назначаю командором ордена «Божественной Зои».

Янсен моргнул светлыми ресницами. Затем взял под козырек. Опустил руку и еще раз моргнул. Зоя засмеялась, и его губы поползли в улыбку.

— Янсен, есть возможность осуществить самые несбыточные желания... Все, что может придумать женщина в такой знойный полдень... Но нужно будет бороться...

— Есть бороться, — коротко ответил Янсен.

— Сколько узлов делает «Аризона»?

— До сорока.

— Какие суда могут нагнать ее в открытом море?

— Очень немногие...

— Быть может, нам придется выдержать длительную погоню.

— Прикажете взять полный запас жидкого топлива?

— Да. Консервов, пресной воды, шампанского... Капитан Янсен, мы идем на очень опасное предприятие.

— Есть идти на опасное предприятие.

— Но, слышите, я уверена в победе...

Склянки пробили половину первого... Зоя вошла в радиотелефонную рубку. Села к аппарату. Она потрогала рычажок радиоприемника. Откуда-то поймались несколько тактов фокстрота.

Сдвинув брови, она глядела на хронометр. Гарин молчал. Она снова стала двигать рычажок, сдерживая дрожь пальцев.

...Незнакомый, медленный голос по-русски проговорил в самое ухо:

«...Если вам дорога жизнь... в пятницу высадитесь в Неаполе... в гостинице «Сплэндид» ждите известий до полудня субботы».

Это был конец какой-то фразы, отправленной на длине волны четырехста двадцать один, то есть станции, которой все это время пользовался Гарин.

Третью ночь подряд в комнате, где лежал Шельга, забывали закрывать ставни. Каждый раз он напоминал об этом сестре-кармелитке. Он внимательно смотрел за тем, чтобы задвижка, соединяющая половинки створчатых ставен, была защелкнута как следует.

За эти три недели Шельга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну, поближе к пышнолиственным ветвям платана, к черным дроздам и радугам над водяной пылью среди газона.

Отсюда был виден весь больничный садик, обнесенный каменной глухой стеной. В восемнадцатом веке это место принадлежало монастырю, уничтоженному революцией. Монахи не любят любопытных глаз. Стена была высока, и по всему гребню ее поблескивали осколки битого стекла.

Перелезть через стену можно было, лишь подставив с той стороны лестницу. Улички, граничившие с больницей, были тихие и пустынные, все же фонари там горели настолько ярко и так часто слышались в тишине за стеной шаги полицейских, что вопрос о лестнице отпадал.

Разумеется, не будь битого стекла на стене, ловкий человек перемахнул бы и без лестницы. Каждое утро Шельга из-за шторы осматривал всю стену до последнего камешка. Опасность грозила только с этой стороны. Человек, посланный Роллингом, вряд ли рискнул бы появиться изнутри гостиницы. Но что убийца так или иначе появится, Шельга не сомневался.

Он ждал теперь осмотра врача, чтобы выписаться. Об этом было известно. Врач приезжал обычно пять раз в неделю. На этот раз оказалось, что врач заболел. Шельге заявили, что без осмотра старшего врача его не выпишут. Протестовать он даже и не пытался. Он дал знать в советское посольство, чтобы оттуда ему доставляли еду. Больничный суп он выливал в раковину, хлеб бросал дроздам.

Шельга знал, что Роллинг должен избавиться от единственного свидетеля. Шельга теперь почти не спал, — так велико было возбуждение. Сестра-кармелитка приносила ему газеты, — весь день он работал ножницами и изучал вырезки. Хлынову он запретил приходить в больницу. (Вольф был в Германии, на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с Германской анилиновой компанией.)

Утром, подойдя, как обычно, к окну, Шельга оглядел сад и сейчас же отступил за занавес. Ему стало даже весело. Наконец-то! В саду, с северной стороны, полускрытая липой, к стене была приклонена лестница садовника, верхний конец ее торчал на пол-аршина над осколками стекла.

Шельга сказал:

— Ловко, сволочи!

Оставалось только ждать. Все было уже обдумано. Правая рука его, хотя и свободная от бинтов, была еще слаба. Левая — в лубках и в гипсе, — сестра крепко прибинтовала ее к груди. Рука с гипсом весила не меньше пятнадцати фунтов. Это было единственное оружие, которым он мог защищаться.

На четвертую ночь сестра опять забыла закрыть ставни. Шельга на этот раз не протестовал и с девяти часов притворился спящим. Он слышал, как хлопали в обоих этажах ставни. Его окно опять осталось открытым настежь. Когда погас свет, он соскочил с койки и правой слабой рукой и зубами стал распутывать повязку, державшую левую руку.

Он останавливался, не дыша вслушивался. Наконец рука повисла свободно. Он мог разогнуть ее до половины. Выглянул в сад,

освещенный уличным фонарем, — лестница стояла на прежнем месте за липой. Он скатал одеяло, сунул под простыню, в полутьме казалось, что на койке лежит человек.

За окном было тихо, только падали капли. Лиловатое зарево трепетало в тучах над Парижем. Сюда не долетали шумы с бульваров. Неподвижно висела черная ветвь платана.

Где-то заворчал автомобиль. Шельга насторожился, — казалось, он слышит, как бьется сердце у птицы, спящей на платановой ветке. Прошло, должно быть, много времени. В саду началось поскрипывание и шуршание, точно деревом терли по известке.

Шельга отступил к стене за штору. Опустил гипсовую руку. «Кто? Нет, кто? — подумал он. — Неужели сам Роллинг?»

Зашелестели листья, — встревожился дрозд. Шельга глядел на тускло освещенный из окна паркет, где должна появиться тень человека.

«Стрелять не будет, — подумал он, — надо ждать какой-нибудь дряни, вроде фосгена...» На паркете стала подниматься тень головы в глубоко надвинутой шляпе. Шельга стал отводить руку, чтобы сильнее был удар. Тень выдвинулась по плечи, подняла растопыренные пальцы.

— Шельга, товарищ Шельга, — прошептала тень по-русски, — это я, не бойтесь...

Шельга ожидал всего, но только не этих слов, не этого голоса. Невольно он вскрикнул. Выдал себя, и тот человек тотчас одним прыжком перескочил через подоконник. Протянул для защиты обе руки. Это был Гарин.

— Вы ожидали нападения, я так и думал, — торопливо сказал он, — сегодня в ночь вас должны убить. Мне это невыгодно. Я рискую черт знает чем, я должен вас спасти. Идем, у меня автомобиль.

Шельга отделился от стены.

Гарин весело блеснул зубами, увидев все еще отведенную гипсовую руку.

— Слушайте, Шельга, ей-богу, я не виноват. Помните наш уговор в Ленинграде? Я играю честно. Неприятностью в Фонтенбло вы обязаны исключительно этой сволочи Роллингу. Можете верить мне, — идем, дороги секунды...

Шельга проговорил наконец:

— Ладно, вы меня увезете, а потом что?

— Я вас спрячу... На небольшое время, не бойтесь. Покуда не получу от Роллинга половины... Вы газеты читаете? Роллингу везет как утопленнику, но он не может честно играть. Сколько вам нужно, Шельга? Говорите первую цифру. Десять, двадцать, пятьдесят миллионов? Я выдам расписку...

Гарин говорил негромко, торопливо, как в бреду, — лицо его все дрожало.

— Не будьте дураком, Шельга. Вы что, принципиальный, что ли?.. Я предлагаю работать вместе против Роллинга... Ну... Едем...

Шельга упрямо мотнул головой:

— Не хочу. Не поеду.

— Все равно — вас убьют.

— Посмотрим.

— Сиделки, сторожа, администрация, — все куплено Роллингом. Вас задушат. Я знаю... Сегодняшней ночи вам не пережить... Вы предупредили ваше посольство? Хорошо, хорошо... Посол требует объяснений. Французское правительство в крайнем случае извинится... Но вам от этого не легче. Роллингу нужно убрать свидетеля... Он не допустит, чтобы вы перешагнули ворота советского посольства...

— Сказал — не поеду... Не хочу...

Гарин передохнул. Оглянулся на окно.

— Хорошо. Тогда я вас возьму и без вашего желания. — Он отступил на шаг, сунул руку в пальто.

— То есть как это — без моего желания?

— А вот так...

Гарин, рванув из кармана, вытащил маску с коротким цилиндром противогАЗа, поспешно приложил ее ко рту, и Шельга не успел крикнуть, — в лицо ему ударила струя маслянистой жидкости... Мелькнула только рука Гарина, сжимающая резиновую грушу... Шельга захлебнулся душистым, сладким дурманом...

59

— Есть новости?

— Да. Здравствуйте, Вольф.

— Я прямо с вокзала, голоден, как в восемнадцатом году.

— У вас веселый вид, Вольф. Много узнали?

— Кое-что узнал... Будем говорить здесь?

— Хорошо, но только быстро.

Вольф сел рядом с Хлыновым на гранитную скамью у подножия конного памятника Генриху IV, спиной к черным башням Консьержери. Внизу, там, где остров Сите кончался острым мысом, наклонилась к воде плакучая ветла. Здесь некогда корчились на кострах рыцари ордена Тамплиеров. Вдали, за десятками мостов, отраженных в реке, садилось солнце в пыльно-оранжевое сияние. На набережных, на железных баржах с песком сидели с удочками французы, добрые буржуа, разоренные инфляцией, Роллингом и мировой войной. На левом берегу, на гранитном парапете набережной, далеко, до самого министерства иностранных дел, скучали под вечерним солнцем букинисты у никому уже больше в этом городе не нужных книг.

Здесь доживал век старый Париж. Еще бродили около книг на набережной, около клеток с птицами, около унылых рыболовов пожилые личности со склерозными глазами, с усами, закрывающими рот, в разлетайках, в старых соломенных шляпах... Когда-то

это был их город... Вон там, черт возьми, в Консьержери, ревел Дантон, точно бык, которого волокут на бойню. Вон там, направо, за графитовыми крышами Лувра, где в мареве стоят сады Тюильри, — там были жаркие дела, когда вдоль улицы Риволи визжала картечь генерала Галифе. Ах, сколько золота было у Франции! Каждый камень здесь, — если уметь слушать, — расскажет о великом прошлом. И вот, — сам черт не поймет, — хозяином в этом городе оказался заморское чудовище, Роллинг, — теперь только и остается доброму буржуа закинуть удочку и сидеть с опущенной головой... Э-хе-хе! О-ля-ля!..

Раскурив крепкий табак в трубке, Вольф сказал:

— Дело обстоит так. Германская анилиновая компания — единственная, которая не идет ни на какие соглашения с американцами. Компания получила двадцать восемь миллионов марок государственной субсидии. Сейчас все усилия Роллинга направлены на то, чтобы повалить германский анилин.

— Он играет на понижение? — спросил Хлынов.

— Продает на двадцать восьмое этого месяца анилиновые акции на колоссальные суммы.

— Но это очень важные сведения, Вольф.

— Да, мы попали на след. Роллинг, видимо, уверен в игре, хотя акции не упали ни на пфенниг, а сегодня уже двадцатое... Вы понимаете, на что единственно он может рассчитывать?

— Стало быть, у них все готово?

— Я думаю, что аппарат уже установлен.

— Где находятся заводы Анилиновой компании?

— На Рейне, около Н. Если Роллинг свалит анилин, он будет хозяином всей европейской промышленности. Мы не должны допустить до катастрофы. Наш долг спасти германский анилин. (Хлынов пожал плечом, но промолчал.) Я понимаю: чему быть — то будет. Мы с вами вдвоем не остановим натиска Америки. Но черт его знает, история иногда выкидывает неожиданные фокусы.

— Вроде революций?

— А хотя бы и так.

Хлынов взглянул на него с некоторым даже удивлением. Глаза у Вольфа были круглые, желтые, злые.

— Вольф, буржуа не станут спасать Европу.

— Знаю.

— Вот как?

— В эту поездку я насмотрелся... Буржуа — французы, немцы, англичане, итальянцы — преступно, слепо, цинично распродают старый мир. Вот чем кончилась культура — аукционом... С молотка!

Вольф побагровел:

— Я обращался к властям, намекал на опасность, просил помочь в розысках Гарина... Я говорил им страшные слова... Мне смеялись в лицо... К черту!.. Я не из тех, кто отступает...

— Вольф, что вы узнали на Рейне?

— Я узнал... Анилиновая компания получила от германского правительства крупные военные заказы. Процесс производства на заводах Анилиновой компании в наиболее сейчас опасной стадии. У них там чуть ли не пятьсот тонн тетрила в работе.

Хлынов быстро поднялся. Трость, на которую он опирался, согнулась. Он снова сел.

— В газетах проскользнула заметка о необходимости возможно отдалить рабочие городки от этих проклятых заводов. В Анилиновой компании занято свыше пятидесяти тысяч человек... Газета, поместившая заметку, была оштрафована... Рука Роллинга...

— Вольф, мы не можем терять ни одного дня.

— Я заказал билеты на одиннадцатичасовой, на сегодня.

— Мы едем в Н?..

— Думаю, что только там можно найти следы Гарина.

— Теперь посмотрите, что мне удалось достать. — Хлынов вынул из кармана газетные вырезки. — Третьего дня я был у Шельги... Он передал мне ход своих рассуждений: Роллинг и Гарин должны соснуться между собой...

— Разумеется. Ежедневно.

— Почтой? Телеграфно? Как вы думаете, Вольф?

— Ни в коем случае. Никаких письменных следов.

— Тогда — радио?

— Чтобы орать на всю Европу... Нет...

— Через третье лицо?

— Нет... Я понял, — сказал Вольф, — ваш Шельга молодчина. Дайте вырезки...

Он разложил их на коленях и внимательно стал прочитывать подчеркнутое красным:

«Все внимание сосредоточьте на анилине». «Приступаю». «Место найдено».

— «Место найдено», — прошептал Вольф, — это газета из К., городок близ Н... «Тревожусь, назначьте день», «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...». Это могут быть только они. Ночь подписания договора в Фонтенбло — двадцать третьего прошлого месяца. Прибавьте тридцать пять, — будет двадцать восемь, — срок продажи акций анилина...

— Дальше, дальше, Вольф... «Какие меры вами приняты?» — это из К., спрашивает Гарин. На другой день в парижской газете — ответ Роллинга: «Яхта наготове. Прибывает на третьи сутки. Будет сообщено по радио». А вот — четыре дня назад — спрашивает Роллинг: «Не будет ли виден свет?» Гарин отвечает: «Кругом пустынно. Расстояние пять километров».

— Иными словами, аппарат установлен в горах: ударить лучом за пять километров можно только с высокого места. Слушайте, Хлынов, у нас ужасно мало времени. Если взять пять километров за радиус, — в центре заводы, — нам нужно обшарить местность не менее тридцати пяти километров в окружности. Есть еще какие-нибудь указания?

— Нет. Я только что собирался позвонить Шельге. У него должны быть вырезки за вчерашний и сегодняшний день.

Вольф поднялся. Было видно, как под одеждой его вздулись мускулы.

Хлынов предложил позвонить из ближайшего кафе на левом берегу. Вольф пошел через мост так стремительно, что какой-то старичок с цыплячьей шеей в запачканном пиджачке, пропитанном, быть может, одинокими слезами по тем, кого унесла война, затряс головой и долго глядел из-под пыльной шляпы вслед бегущим иностранцам:

— О-о! Иностранцы... Когда деньги в кармане, то и толкаются и бегают, как будто бы они дома... О-о... дикари!..

В кафе, стоя у цинкового прилавка, Вольф пил содовую. Ему была видна сквозь стекло телефонной будки спина разговаривающего Хлынова, — вот у него поднялись плечи, он весь налез на трубку, выпрямился, вышел из будки; лицо его было спокойно, но белое, как маска.

— Из больницы ответили, что сегодня ночью Шельга исчез. Приняты все меры к его разысканию... Думаю, что он убит.

60

Трещал хворост в очаге, прокопченном за два столетия, с огромными ржавыми крючьями для колбас и окороков, с двумя каменными святыми по бокам, — на одном висела светлая шляпа Гарина, на другом засаленный офицерский картуз. У стола, освещенные только огнем очага, сидели четверо. Перед ними — оплетенная бутылка и полные стаканы вина.

Двое мужчин были одеты по-городскому, — один скуластый, крепкий, с низким ежиком волос, у другого — длинное, злое лицо. Третий, хозяин фермы, где на кухне сейчас происходило совещание, — генерал Субботин, — сидел в одной холщовой грязной рубашке с закатанными рукавами. Начисто обритая кожа на голове его двигалась, толстое лицо с взъерошенными усами побагровело от вина.

Четвертый, Гарин, в туристском костюме, небрежно водя пальцем по краю стакана, говорил:

— Все это очень хорошо... Но я настаиваю, чтобы моему пленнику, хотя он и большевик, не было причинено ни малейшего ущерба. Еда — три раза в день, вино, овощи, фрукты... Через неделю я его забираю от вас... Бельгийская граница?..

— Три четверти часа на автомобиле, — торопливо подавшись вперед, сказал человек с длинным лицом.

— Все будет шито-крыто... Я понимаю, господин генерал и господа офицеры (Гарин усмехнулся), что вы, как дворяне, как беззаветно преданные памяти замученного императора, действуете сейчас исключительно из высших, чисто идейных соображений... Иначе бы я и не обратился к вам за помощью...

— Мы здесь все люди общества, — о чем говорить? — прохрипел генерал, двинув кожей на черепе.

— Условия, повторяю, таковы: за полный пансион пленника я вам плачу тысячу франков в день. Согласны?

Генерал перекатил налитые глаза в сторону товарищей. Скуластый показал белые зубы, длиннолицый опустил глаза.

— Ах, вот что, — сказал Гарин, — виноват, господа, — задачочек...

Он вынул из револьверного кармана пачку тысячефранковых билетов и бросил ее на стол в лужу вина.

— Пожалуйста...

Генерал крикнул, подвинул к себе пачку, осмотрел, вытер ее о живот и стал считать, сопя волосатыми ноздрями. Товарищи его понемногу стали придвигаться, глаза их поблескивали.

Гарин сказал, вставая:

— Введите пленника.

61

Глаза Шельги были завязаны платком. На плечах накинуто автомобильное кожаное пальто. Он почувствовал тепло, идущее от очага, — ноги его задрожали. Гарин подставил табурет. Шельга сейчас же сел, уронив на колени гипсовую руку.

Генерал и оба офицера глядели на него так, что, казалось, дай знак, мигни, — от человека рожки да ножки останутся. Но Гарин не подал знака. Потрепав Шельгу по колену, сказал весело:

— Здесь у вас ни в чем не будет недостатка. Вы у порядочных людей, — им хорошо заплачено. Через несколько дней я вас освобожу. Товарищ Шельга, дайте честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить, привлекать внимание полиции.

Шельга отрицательно мотнул опущенной головой. Гарин нагнулся к нему:

— Иначе трудно будет поручиться за удобство вашего пребывания... Ну, даете?

Шельга проговорил медленно, негромко:

— Даю слово коммуниста... (Сейчас же у генерала бритая кожа на черепе поползла к ушам, офицеры быстро переглянулись, нехорошо усмехнулись.) Даю слово коммуниста, — убить вас при первой возможности, Гарин... Даю слово отнять у вас аппарат и привезти его в Москву... Даю слово, что двадцать восьмого...

Гарин не дал ему договорить. Схватил за горло...

— Замолчи... Идиот!.. Сумасшедший!..

Обернулся и — повелительно:

— Господа офицеры, предупреждаю вас, этот человек очень опасен, у него навязчивая идея...

— Я и говорю, — самое лучшее держать его в винном погребе, — пробасил генерал. — Увести пленника...

Гарин взмахнул бородкой. Офицеры подхватили Шельгу, втокнули в боковую дверь и поволокли в погреб. Гарин стал натягивать автомобильные перчатки.

— В ночь на двадцать девятое я буду здесь. Тридцатого вы можете, ваше превосходительство, прекратить опыты над разведением кроликов, купить себе каюту первого класса на трансатлантическом пароходе и жить барином хоть на Пятой авеню в Нью-Йорке.

— Нужно оставить какие-нибудь документы для этого сукиного кота, — сказал генерал.

— Пожалуйста, любой паспорт на выбор.

Гарин вынул из кармана сверток, перевязанный бечевкой. Это были документы, похищенные им у Шельги в Фонтенбло. Он еще не заглядывал в них за недосугом.

— Здесь, видимо, паспорта, приготовленные для меня. Предусмотрительно... Вот, получайте, ваше превосходительство...

Гарин швырнул на стол паспортную книжку и, продолжая рыться в бумажнике, — чем-то заинтересовался, — придвинулся к лампе. Брови его сдвинулись.

— Черт! — И он кинулся к боковой двери, куда утащили Шельгу.

62

Шельга лежал на каменном полу на матрасе. Керосиновая копилка освещала сводчатый погреб, пустые бочки, заросли паутины. Гарин некоторое время искал глазами Шельгу. Стоя перед ним, покусывал губы.

— Я погорячился, не сердитесь, Шельга. Думаю, что все-таки мы найдем с вами общий язык. Договоримся. Хотите?

— Попробуйте.

Гарин говорил вкрадчиво, совсем по-другому, чем десять минут назад. Шельга насторожился. Но пережитое за эту ночь волнение, еще гудящие во всем теле остатки усыпительного газа и боль в руке ослабляли его внимание. Гарин присел на матрас. Закурил. Лицо его казалось задумчивым, и весь он — благожелательный, изящный...

«К чему, подлец, гнет? К чему гнет?» — думал Шельга, морщась от головной боли.

Гарин обхватил колено, закурил папиросу, поднял глаза к сводчатому потолку.

— Видите ли, Шельга, прежде всего вам нужно усвоить, что я никогда не лгу... Может быть, из презрения к людям, но это неважно. Итак: Роллинг с его миллиардами нужен мне до поры до времени, только... Так же, как и я нужен Роллингу... Это он, кажется, уже понял, несмотря на тупость... Роллинг приехал сюда, чтобы колонизировать Европу. Если он этого не сделает, он лопнет у себя в Америке со своими миллиардами. Роллинг — животное,

вся его задача — переть вперед, бодать, топтать. У него ни на грош фантазии... Единственная стена, о которую он может расширить башку, — это Советская Россия. Он это понимает, и вся его ярость направлена на ваше дорогое отечество... Русским я себя не считаю (добавил он торопливо), я интернационалист...

— Разумеется, — с презрительной усмешкой сказал Шельга.

— Наши взаимоотношения таковы: до некоторого времени мы работаем вместе...

— До двадцать восьмого...

Гарин быстро, с блестящими глазами, с юмором взглянул на Шельгу.

— Вы это высчитали? По газетам?

— Может быть...

— Хорошо... Пусть до двадцать восьмого. Затем неминуемо мы должны вгрызться друг другу в печеньку... Если одолеет Роллинг — Советской России это будет вдвойне ужасно: мой аппарат окажется у него в руках, и тогда с ним бороться будет вам чрезвычайно трудно... Так вот, тем самым, товарищ Шельга, что вы пробудете здесь с неделку в соседстве с пауками, вы страшно, неизмеримо увеличиваете возможность моей победы.

Шельга закрыл глаза. Гарин сидел у него в ногах и курил короткими затяжками. Шельга проговорил:

— На какой черт вам мое согласие, вы и без согласия продержите меня здесь, сколько влезет. Говорите уж прямо, что вам нужно...

— Давно бы так... А то — слово коммуниста... Ей-богу, давеча вы мне так больно сделали, так досадно... Сейчас, кажется, вы уже начинаете разбираться. Мы с вами враги, правда... Но мы должны работать вместе... С вашей точки зрения, я — выродок, величайший индивидуалист... Я, Петр Петрович Гарин, милостью сил, меня создавших, с моим мозгом, — не улыбайтесь, Шельга, — гениальным, да, да, с неизжитыми страстями, от которых мне и самому тяжело и страшно, с моей жадностью и беспринципностью, противопоставляю себя, буквально — противопоставляю себя человечеству.

— Ух ты, — сказал Шельга, — ну и сволочь...

— Именно «Ух ты, сволочь», вы меня поняли. Я — сластолюбец, все секунды моей жизни я стремлюсь отдать наслаждению. Я бешено тороплюсь покончить с Роллингом, потому что теряю эти драгоценные секунды. Вы — там, в России, — воинствующая, материализованная идея. У меня нет никакой идеи, — сознательно, религиозно ненавижу всякую идею. Я поставил себе цель: создать такую обстановку (подробно рассказывать не буду, вы утомитесь), окружить себя таким излишеством, — сады Семирамиды и прочий восточный вздор — чахлая фантазишка перед моим раем. Я призову всю науку, всю индустрию, все искусство служить мне. Шельга, вы понимаете, что я для вас — опасность отдаленная и весьма фантастичная. Роллинг — опасность конкретная, близкая, страшная. Поэтому до известной точки мы с вами должны идти вместе, до тех пор, покуда Роллинг не будет растоптан. Большого я не прошу.

— В чем вы хотите, чтобы выразилась моя помощь? — сквозь зубы проговорил Шельга.

— Нужно, чтобы вы совершили небольшую прогулку по морю.

— Иными словами, вы хотите продолжать мой плен?

— Да.

— Что дадите за то, чтобы я не позвал на помощь первого попавшегося полицейского, когда вы повезете меня к морю?

— Любую сумму.

— Не хочу никакой суммы!

— Ловко, — сказал Гарин и повертелся на тюфяке. — А за модель моего аппарата согласитесь? (Шельга засопел.) Не верите? Обману, не отдам? Ну-ка, подумайте, — обману или нет? (Шельга дернул плечом.) То-то... Идея аппарата проста до глупости... Никакими силами я не смогу долго держать ее в секрете. Такова судьба гениальных изобретений. После двадцать восьмого во всех газетах будет описано действие инфракрасных лучей, и немцы, именно немцы, ровно через полгода построят точно такой же аппарат. Я ничем не рискую. Берите модель, везите ее в Россию. Да, кстати, у меня ваши паспорта и бумаги... Пожалуйста, они не нужны больше... Простите, что я в них порывлся. Я страшно любопытен... Что это у вас за снимок татуированного мальчишки?

— Так, один беспризорный, — сейчас же ответил Шельга, понимая сквозь головную боль, что Гарин подбирается к самому главному, для чего и пришел в подвал.

— На обороте карточки помечено двенадцатое число прошлого месяца, значит, вы снимали мальчишку накануне отъезда?.. И фотографию взяли с собой, чтобы показать мне? В Ленинграде вы ее никому не показывали?

— Нет, — сквозь зубы ответил Шельга.

— А мальчишку куда дели? Так, так, я и не заметил, — тут даже имя поставлено: Иван Гусев. В гребном клубе, что ли, снимали, на террасе? Узнаю, места знакомые... Что же вам мальчишка рассказывал? Манцев жив?

— Жив.

— Он нашел то, что они там искали?

— Кажется, нашел.

— Вот видите, я всегда верил в Манцева.

Гарин рассчитал верно. У Шельги так устроена была голова, что врать он никак не мог — и по брезгливости и потому еще, что лганье считал дешевкой в игре и в борьбе. Через минуту Гарин узнал всю историю появления Ивана в гребном клубе и все, что он рассказал о работах Манцева.

— Итак, — Гарин поднялся, весело потер руки, — если двадцать девятого ночью мы поедем на автомобиле, модель аппарата будет с нами, — вы укажете любое место, где мы аппаратик припрчем до времени... Так вот: достаточной будет для вас такая гарантия? Согласны?

— Согласен.

- Добиваться моей смерти не будете?
 - В ближайшее время — не буду.
 - Я прикажу перевести вас наверх, здесь слишком сыро, — поправляйтесь, пейте, кушайте всласть.
- Гарин подмигнул и вышел.

63

- Ваше имя, фамилия?
 - Ротмистр Кульневского полка Александр Иванович Волшин, — ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гариним.
 - На какие средства существуете?
 - Поденная работа у генерала Субботина по разведению кроликов, двадцать су в день, харчи его. Был шофером, неплохо зарабатывал, однополчане уговорили пойти делегатом на монархический съезд. На первом же заседании сгоряча въехал в морду полковнику Шерстобитову, кирилловцу. Лишен полномочий и потерял службу.
 - Предлагаю опасную работу. Крупный гонорар. Согласны?
 - Так точно.
 - Вы поедете в Париж. Получите рекомендацию. Будете зачислены на службу. С бумагами и мандатом выедете в Ленинград... Там вот по этой фотографии отыщете одного мальчишку...
-

64

Прошло пять дней. Ничто не нарушало покоя прирейнского небольшого городка К., лежащего в зеленой и влажной долине вблизи знаменитых заводов Анилиновой компании.

На извилистых улицах с узкими тротуарами с утра весело постукивали деревянные подошвы школьников, раздавались тяжелые шаги рабочих, женщины катили детские колясочки в тень лип к речке... Из парикмахерской выходил парикмахер в парусиновом жилете и ставил на тротуар стремянку. Подмастерье лез на нее чистить и без того сверкающую вывеску на штанге — медный тазик и белый конский хвост. В кофейне вытирали зеркальные стекла. Громыхала на огромных колесах телега с пустыми пивными бочками.

Это был старый, весь выметенный, опрятный городок, тихий в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, оживающий неторопливыми голосами на закате, когда возвращаются с заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейнях и старичок фонащик в коротком плаще, бог знает какой древности, идет, шаркая деревянными подошвами, зажигать фонари.

Из ворот рынка выходили жены рабочих и бюргеров с корзинами. Прежде в корзиночках лежали живность, овощи и фрукты,

достойные натюрмортов Снайдерса. Теперь — несколько картофелин, пучочек луку, брюква и немного серого хлеба.

Странно. За четыре столетия черт знает как разбогатела Германия. Какую славу знали ее сыны. Какими надеждами светились голубые германские глаза. Сколько пива протекло по запрокинутым русым бородам. Сколько биллионов киловатт освободилось человеческой энергии...

И вот все это напрасно. В кухоньках — пучочек луку на изразцовой доске, и у женщин давнишняя тоска в голодных глазах.

Вольф и Хлынов, в пыльной обуви, с пиджаками, перекинутыми через руку, с мокрыми лбами, перешли горбатый мостик и стали подниматься по шоссе под липами в К.

Солнце уходило за невысокие горы. В золотистом вечернем свете еще дымились трубы Анилиновой компании. Корпуса, трубы, железнодорожные пути, черепицы амбаров подходили по склонам холмов к самому городу.

— Там, я уверен, — сказал Вольф и указал рукой на красноватые скалы в закате, — если выбирать лучший пункт для обстрела заводов, я бы выбрал только там.

— Хорошо, хорошо, но осталось только три дня, Вольф...

— Ну что ж, с южной стороны не может быть никакой опасности, — слишком отдаленно. Северный и восточный секторы обшарены до последнего камня. Три дня нам хватит.

Хлынов обернулся к засиневшим на севере лесистым холмам, глубокие тени лежали между ними. В той стороне Вольф и Хлынов облазили за эти пять дней и ночей каждую впадину, где могла бы притаиться постройка, — дача или барак, — с окнами на заводы.

Пять суток они не раздевались, спали в глухие часы ночи, привалившись где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, напрямик через овраги и заборы, они исколесили кругом города по горам почти сто километров. Но нигде ни малейшего присутствия Гарина. Встречные крестьяне, фермеры, прислуга с дач, лесничие, сторожа — только разводили руками:

— Во всей округе нет никого из приезжих, здешние все нам известны.

65

Оставался западный сектор, наиболее тяжелый. По карте там находилась пешеходная дорога к скалистому плато, где лежали знаменитые развалины замка «Прикованного скелета», рядом с ним, как и полагалось в таких случаях, находился пивной ресторан «К прикованному скелету».

В развалинах действительно показывали остатки подземелья и за железной решеткой — огромный скелет в ржавых цепях, в сидячем положении. Изображения его продавались повсюду на открытках, на разрезных ножах и пивных кружках. Можно было

даже сфотографироваться за двадцать пфеннигов рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой девушке. По воскресеньям развалины пестрели отдыхающими обывателями, ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы.

Но после войны интерес к знаменитому скелету упал. Обыватели захудосочели и ленились в праздничные дни лазить на крутую гору, — предпочитали располагаться с бутербродами и полубутылками пива вне исторических воспоминаний — на берегу речки, под липами. Хозяин ресторана «К прикованному скелету» не мог уже со всем тщанием поддерживать порядок в развалинах. И бывало, что целыми неделями, не обеспокоенный ничьим присутствием, средневековый скелет глядел пустыми впадинами черепа на зеленую долину, где некогда в роковой день его сбил с седла владелец замка, — глядел на кирки с петухами и шпильями, на трубы заводов, где в мировом масштабе готовили нарывный газ, тетрил и прочие дьявольские фабрикаты, отбивавшие у населения охоту к историческим воспоминаниям, к открыткам с изображением скелета и, пожалуй, к самой жизни.

В эти места и направлялись сейчас Вольф и Хлынов. Они зашли подкрепиться в кофейню на городской площади и долго изучали карту местности, расспрашивали кельнера. Достопримечательностями в западной части долины оказалась, кроме развалин и ресторана, еще и вилла разорившегося за последние годы фабриканта пишущих машин. Вилла стояла на западных склонах, и со стороны города ее не было видно. Фабрикант жил в ней один, безвыездно.

66

Полная луна взошла перед рассветом. То, что казалось неясным нагромождением камней и скал, отчетливо выступало в лунном свете, легли бархатные тени от уцелевших сводов, потянулись вниз, в овраг, остатки крепостной стены, поросшей корявыми деревьями и путаницей ежевики, ожила квадратная башня, старейшая часть замка, построенная норманнами, или, как ее называли на открытках, — «Башня пыток».

С восточной стороны к ней примыкали кирпичные своды, здесь, видимо, была когда-то галерея, соединявшая древнюю башню с жилым замком. От всего этого остались фундаменты, щебень да разбросанные капители колонн из песчаника. У основания башни под крестовым сводом, образующим раковину, сидел «Прикованный скелет».

Вольф долго смотрел на него, навалившись локтями на решетку, затем повернулся к Хлынову и сказал:

— Теперь смотрите сюда.

Глубоко внизу под лунным светом лежала долина, подернутая дымкой. Серебристая чешуя играла на реке в тех местах, где вода сквозила из-под древесных куш. Городок казался игрушечным. Ни

одного освещенного окна. За ним налево горели сотни огней Анилиновой компании. Поднимались белые клубы дыма, розовый огонь вырывался из труб. Доносились свистки паровозов, какой-то грохот.

— Я прав, — сказал Вольф, — только с этого плато можно ударить лучом. Смотрите, вот то — склады сырья, там, за земляным валом — склады полуфабрикатов, они совсем открыты, там длинные корпуса производства серной кислоты по русскому способу — из серного колчедана. А вон те, в стороне, круглые крыши — производство анилина и всех этих дьявольских веществ, которые взрываются иногда по собственному капризу.

— Хорошо, Вольф, если предположить, что Гарин поставит аппарат только в ночь на двадцать восьмое, все же должны быть какие-то признаки предварительной установки.

— Нужно осмотреть развалины. Я облазаю башню, вы — стены и своды... В сущности, лучше места, где сидит эта скелетина, не выдумаешь.

— В семь часов сходимся в ресторане.

— Ладно.

67

В восьмом часу утра Вольф и Хлынов пили молоко на деревянной веранде ресторана «К прикованному скелету». Ночные поиски были безуспешны. Сидели молча, подперев головы. За эти дни они так изучили друг друга, что читали мысли. Хлынов, более впечатлительный и менее склонный доверять себе, много раз начинал пересматривать весь ход рассуждений, которые привели его и Вольфа из Парижа в эти, казалось, совсем безобидные места. На чем основано было это убеждение? На двух-трех строчках из газет.

— Не окажемся ли мы в дураках, Вольф?

На это Вольф отвечал:

— Человеческий ум ограничен. Но всегда для дела разумнее полагаться на него, чем сомневаться. К тому же если мы ничего не найдем и дьявольское предприятие Гарина окажется нашей выдумкой, то и слава богу. Мы исполнили свой долг.

Кельнер принес яичницу и две кружки пива. Появился хозяин, багрово-румяный толстяк:

— Доброе утро, господа! — И, посвистывая одышкой, он озбоченно ждал, когда гости утолят аппетит. Затем протянул руку к долине, еще голубоватой и сверкающей влагой. — Двадцать лет я наблюдаю... Дело идет к концу, — вот что я скажу, мои дорогие господа... Я видел мобилизацию. Вон по той дороге шли войска. Это были добрые германские колонны. (Хозяин выкинул, как пружину над головой, жирный указательный палец.) Это были зигфриды — те самые, о которых писал Тацит: могучие, наводившие ужас, в шлемах с крылышками. Обер, еще две кружки пива господам... В четырнадцатом году зигфриды шли покорять вселенную.

Им не хватало только щитов, — вы помните старый германский обычай: издавать воинственные крики, прикладывая щит ко рту, чтобы голос казался страшнее. Да, я видел кавалерийские зады, плотно сидевшие на лошадях... Что случилось, я хочу спросить? Или мы разучились умирать в кровавом бою? Я видел, как войска проходили обратно. Кавалеристы все еще плотно, черт возьми, сидели на седлах... Германцы не были разбиты на поле. Их пронзили мечами в постелях, у их очагов...

Хозяин выпученными глазами обвел гостей, обернулся к развалинам, лицо его стало кирпичного цвета. Медленно он вытащил из кармана пачку открыток и хлопнул ею по ладони:

— Вы были в городе, я спрошу: видали вы хотя бы одного немца выше пяти с половиной футов росту? А когда эти пролетарии возвращаются с заводов, вы слышали, чтобы один хотя бы имел смелость громко сказать: «Дейчланд»? А вот о социализме эти пролетарии хрипят за пивными кружками.

Хозяин ловко бросил на стол пачку открыток, рассыпавшихся веером... Это были изображения скелета — просто скелета и германца с крылышками, скелета и воина четырнадцатого года в полной амуниции.

— Двадцать пять пфеннигов штука, две марки пятьдесят пфеннигов за дюжину, — сказал хозяин с презрительной гордостью, — дешевле никто не продаст, это добрая довоенная работа, — цветная фотография, в глаза вставлена фольга, это производит неизгладимое впечатление... И вы думаете — эти трусы-буржуа, эти пяти с половиной футовые пролетарии покупают мои открытки? Пфуй... Вопрос поставлен так, чтобы я снял Карла Либкнехта рядом со скелетом...

Он опять надулся кровью и вдруг захохотал:

— Подождут!.. Обер, положите в наши оригинальные конверты по дюжине открыток господам... Да, да, приходится изворачиваться... Я покажу вам мой патент... Гостиница «К прикованному скелету» будет продавать это сотнями... Здесь я иду в ногу с нашим временем и не отступаю от принципов.

Хозяин ушел и сейчас же вернулся с небольшим, в виде коробки от сигар, ящичком. На крышке его был выжжен по дереву все тот же скелет.

— Желаете испробовать? Действует не хуже, чем на катодных лампах. — Он живо приладил провод и слуховые трубки, включил радиоприемник в штепсель, пристроенный под столом. — Стоит три марки семьдесят пять пфеннигов, без слуховых трубок, разумеется. — Он протянул наушники Хлынову. — Можно слушать Берлин, Гамбург, Париж, если это доставит вам удовольствие. Я вас соединю с Кельнским собором, сейчас там обедня, вы услышите орган, это колоссально... Поверните рычажок налево... В чем дело? Кажется, опять мешают проклятый Штуфер? Нет?

— Кто мешает? — спросил Вольф, нагибаясь к аппарату.

— Разорившийся фабрикант пишущих машин Штуфер, пьяница и сумасшедший... Два года тому назад он поставил у себя на

вилле радиостанцию. Потом разорился. И вот недавно станция опять заработала...

Хлынов, странно блестя глазами, опустил трубку:

— Вольф, — платите и идемте.

Когда через несколько минут, отвязавшись от говорливого хозяина, они вышли за калитку ресторана, Хлынов изо всей силы сжал руку Вольфа:

— Я слышал, я узнал голос Гарина...

68

В это утро, часом раньше, на вилле Штуфера, расположенной на западном склоне тех же холмов, в полутемной столовой за столом сидел Штуфер и разговаривал с невидимым собеседником. Вернее, это были обрывки фраз и ругательств. На обсыпанном пеплом столе валялись пустые бутылки, окурки сигар, воротничок и галстук Штуфера. Он был в одном белье, чесал рыхлую грудь, пялился на электрическую лампочку, единственную горевшую в огромной железной люстре, и, сдерживая отрыжку, ругал вполголоса последними словами человеческие образы, выплывавшие в его пьяной памяти.

Торжественно башенным боем столовые часы проббили семь. Почти тотчас же послышался шум подъехавшего автомобиля. В столовую вошел Гарин, весь пронизанный утренним ветром, насмешливый, зубы оскалены, кожаный картуз на затылке:

— Опять всю ночь пьянствовали?

Штуфер покосился налитыми глазами. Гарин ему нравился. Он щедро платил за все. Не торгуясь, снял на летние месяцы виллу вместе с винным погребом, предоставив Штуферу распорядиться самому со старыми рейнскими, французским шампанским и ликерами. Чем он занимался, черт его знает, видимо спекуляцией, но он ругательски ругал американцев, разоривших Штуфера два года тому назад, он презирал правительство и называл людей вообще сволочью, — это тоже было хорошо. Он привозил в автомобиле такую жратву, что даже в лучшие времена Штуфер не позволял себе и думать намазывать столовой ложкой драгоценные страсбургские паштеты, русскую икру, любительские камамберы, кишашие сверху белыми червяками. Могло даже показаться, что в его расчеты входило непрерывно держать Штуфера мертвецки пьяным.

— Как будто вы-то всю ночь богу молились, — прохрипел Штуфер.

— Премило провел время с девочками в Кельне и, видите, свеж и не сижу в подштанниках. Вы падаете, Штуфер. Кстати, меня предупредили о не совсем приятной вещи... Оказывается, ваша вилла стоит слишком близко к химическим заводам... Как на пороховом погребе...

— Вздор, — заорал Штуфер, — опять какая-то сволочь подкапывается... На моей вилле вы в полной безопасности...

— Тем лучше. Дайте-ка ключ от сарая.

Крутя за цепочку ключ, Гарин вышел в сад, где стоял небольшой застекленный сарай под мачтами антенны. Кое-где на запущенных куртинах стояли керамиковые карлики, загаженные птицами. Гарин отомкнул стеклянную дверь, вошел, распахнул окна. Облокотился на подоконник и так стоял некоторое время, вдыхая утреннюю свежесть. Почти двадцать часов он провел в автомобиле, заканчивая дела с банками и заводами. Теперь все было в порядке перед двадцать восьмым числом.

Он не помнил, сколько времени так простоял у окна. Потянулся, закурил сигару, включил динамо, осмотрел и настроил аппараты. Затем встал перед микрофоном и заговорил громко и раздельно:

— Зоя, Зоя, Зоя, Зоя... Слушайте, слушайте, слушайте... Будет все так, как ты захочешь. Только умей хотеть. Ты мне нужна. Без тебя мое дело мертвое. На днях буду в Неаполе. Точно сообщу завтра. Не тревожься ни о чем. Все благоприятствует...

Он помолчал, затянулся сигарой и снова начал: «Зоя, Зоя, Зоя...» Закрыв глаза. Мягко гудело динамо, и невидимые молнии срывались одна за другой с антенны.

Проезжай сейчас артиллерийский обоз — Гарин, наверное, не расслышал бы шума. И он не слышал, как в конце лужайки покатались камни под откос. Затем в пяти шагах от павильона раздвинулись кусты, и в них на уровень человеческого глаза поднялся вороненый ствол кольта.

69

Роллинг взял телефонную трубку:

— Да.

— Говорит Семенов. Только что перехвачено радио Гарина. Разрешите прочесть?..

— Да.

— «Будет все так, как ты хочешь, только умей хотеть», — начал читать Семенов, кое-как переводя с русского на французский. Роллинг слушал, не издавая ни звука.

— Все?

— Так точно, все.

— Запишите, — стал диктовать Роллинг. — Немедленно настроить отправную станцию на длину волны четыреста двадцать один. Завтра десятью минутами раньше того времени, когда вы перехватили сегодняшнюю телеграмму, начнете отправлять радио: «Зоя, Зоя, Зоя... Случилось неожиданное несчастье. Необходимо действовать. Если вам дорога жизнь вашего друга, высадитесь в пятницу в Неаполе, остановитесь в гостинице «Сплэндид», ждите известий до полудня субботы». Это вы будете повторять непрерывно, слышите ли, непрерывно, громким и убедительным голосом. Все.

Роллинг позвонил.

— Немедленно найти и привести ко мне Тыклинского, — сказал он вскочившему в кабинет секретарю. — Немедленно ступайте на аэродром. Арендуйте или купите — безразлично — закрытый пассажирский аэроплан. Наймите пилота и бортмеханика. К двадцать восьмому приготовьте все к отлету...

Весь остальной день Вольф и Хлынов провели в К. Бродили по улицам, болтали о разных пустяках с местными жителями, выдавая себя за туристов. Когда городок затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. К полуночи они уже поднимались по откосу в сад Штуфера. Было решено объявить себя заблудившимися туристами, если полиция обратит на них внимание. Если их задержат, — арест был безопасен: их алиби мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно было видно, как у Гарина брызнули осколки черепа, Вольф и Хлынов меньше чем через сорок минут были уже в городе.

Они перелезли через низкую ограду, осторожно обогнули поляну за кустами и вышли к дому Штуфера. Остановились, переглянулись, ничего не понимая. В саду и в доме было спокойно и тихо. Несколько окон освещено. Большая дверь, ведущая прямо в сад, раскрыта. Мирный свет падал на каменные ступени, на карликов в густой траве. На крыльце, на верхней ступени, сидел толстый человек и тихо играл на флейте. Рядом с ним стояла оплетенная бутылка. Это был тот самый человек, который утром неожиданно появился на тропинке близ радиопавильона и, услышав выстрел, повернулся и шаткой рысью побежал к дому. Сейчас он благодумствовал, как будто ничего не случилось.

— Пойдем, — прошептал Хлынов, — нужно узнать.

Вольф проворчал:

— Я не мог промахнуться.

Они пошли к крыльцу. На поддороге Хлынов проговорил негромко:

— Простите за беспокойство... Здесь нет собак?

Штуфер опустил флейту, повернулся на ступеньке, вытянул шею, вглядываясь в две неясные фигуры.

— Ну, нет, — протянул он, — собаки здесь злые.

Хлынов объяснил:

— Мы заблудились, хотели посетить развалины «Прикованного скелета»... Разрешите отдохнуть.

Штуфер ответил неопределенным мычанием. Вольф и Хлынов поклонились, сели на нижние ступени, — оба настороженные, взволнованные. Штуфер поглядывал на них сверху.

— Между прочим, — сказал он, — когда я был богат, в сад спускались цепные кобели. Я не любил нахалов и ночных посетителей. (Хлынов быстро пожал Вольфу руку, — молчите, мол.) Американцы меня разорили, и мой сад сделался проезжей дорогой для

бездельников, хотя повсюду прибиты доски с предупреждением о тысяче марок штрафа. Но Германия перестала быть страной, где уважают закон и собственность. Я говорил человеку, арендовавшему у меня виллу: обнесите сад колючей проволокой и наймите сторожа. Он не послушался меня и сам виноват...

Подняв камешек и бросив его в темноту, Вольф спросил:

— Что-нибудь случилось неприятное у вас из-за этих посетителей?

— Сказать «неприятное» — слишком сильно, но — смешное. Не далее как сегодня утром. Во всяком случае, мои экономические интересы не затронуты, и я буду предаваться моим развлечениям.

Он приложил флейту к губам и издал несколько пронзительных звуков.

— В конце концов, какое мне дело, живет он здесь или пьянствует с девочками в Кельне? Он заплатил все до последнего пфеннига... Никто не смеет бросить ему упрека. Но, видите ли, он оказался нервным господином. За время войны можно было привыкнуть к револьверным выстрелам, черт возьми. Уложил все имущество, до свиданья, до свиданья... Что ж — скатертью дорога.

— Он уехал совсем? — внезапно громко спросил Хлынов.

Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как щека его, на которую падал свет из комнаты, расплылась, — маслянистая, ухмыляющаяся. Заколыхался толстый живот.

— Так и есть, он меня предупредил: непременно об его отъезде будут у меня спрашивать двое джентльменов. Уехал, уехал, дорогие джентльмены. Не верите, пойдемте, покажу его комнаты. Если вы его друзья, — пожалуйста, убедитесь... Это ваше право, — за комнаты заплачено...

Штуфер опять хотел встать, — ноги его никак не держали. Больше от него ничего нельзя было добиться путного. Вольф и Хлынов вернулись в город. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Только на мосту, над черной водой, где отражался фонарь, Вольф вдруг остановился, стиснул кулаки:

— Что за чертовщина! Я же видел, как у него разлетелся череп...

Небольшой и плотный человек с полуседыми волосами, приглаженными на гладкий пробор, в голубых очках, прикрывающих большие глаза, стоял у изразцовой печи и, опустив голову, слушал Хлынова.

Сначала Хлынов сидел на диване, затем пересел на подоконник, затем начал бегать по небольшой приемной комнате советского посольства.

Он рассказывал о Гарине и Роллинге. Рассказ был точен и последователен, но Хлынов и сам чувствовал невероятность всех нагромоздившихся событий.

— Предположим, мы с Вольфом ошибаемся... Прекрасно, — мы счастливы, если ошибаемся в выводах. Но все же пятьдесят процентов за то, что катастрофа будет. Нас должны интересовать только эти пятьдесят процентов. Вы, как посол, можете убедить, повлиять, раскрыть глаза... Все это ужасно серьезно. Аппарат существует. Шельга дотрагивался до него рукой. Действовать нужно немедленно, сию минуту. В вашем распоряжении не больше суток. Завтра в ночь все это должно разразиться. Вольф остался в К. Он делает, что может, чтобы предупредить рабочих, профсоюзы, городское население, администрацию заводов. Разумеется, ну, разумеется, — никто не верит... Вот даже вы...

Посол, не поднимая глаз, промолчал.

— В редакции местной газеты над нами смеялись до слез... В лучшем случае нас считают сумасшедшими.

Хлынов сжал голову, — нечесанные клочья волос торчали между грязными пальцами. Лицо его было осунувшееся, пыльное. Поблевшие глаза остановились, как перед видением ужаса. Посол осторожно, из-за края очков, взглянул на него:

— Почему вы раньше не обратились ко мне?

— У нас не было фактов... Предположение, выводы — все на грани фантастики, безумия... Мне и сейчас минутами сдается, — проснусь — и вздохну облегченно... Но уверяю вас — я в здравом уме. Восемь суток мы с Вольфом не раздевались, не ложились спать.

После молчания посол сказал серьезно:

— Я уверен, что вы не мистификатор, товарищ Хлынов. Скорее всего, вы поддались навязчивой идее, — он быстро поднял руку, останавливая отчаянное движение Хлынова, — но для меня убедительно прозвучали ваши пятьдесят процентов. Я поеду и сделаю все, что в моих силах...

72

Двадцать восьмого с утра на городской площади в К. собирались кучками обыватели и, одни с недоумением, другие с некоторым страхом, обсуждали странные прокламации, прилепленные жеваным хлебом к стенам домов на перекрестках.

«Ни власть, ни заводская администрация, ни рабочие союзы, — никто не пожелал внять нашему отчаянному призыву. Сегодня, — мы в этом уверены, — заводам, городу, всему населению грозит гибель. Мы старались предотвратить ее, но негодяи, подкупленные американскими банкирами, оказались неуловимы. Спасайтесь, бегите из города на равнину. Верьте нам во имя вашей жизни, во имя ваших детей, во имя бога».

Полиция догадывалась, кто писал прокламации, и разыскивала Вольфа. Но он исчез. К середине дня городские власти выпустили афиши, предупреждения — ни в каком случае не покидать города

и не устраивать паники, так как, видимо, шайка мошенников намерена похозяйничать этой ночью в покинутых домах.

«Граждане, вас дурачат. Обратитесь к здравому смыслу. Мошенники сегодня же будут обнаружены, схвачены, и с ними поступят по закону».

Власти попали в точку, пугающая тайна оказалась простой, как репа. Обыватели сразу успокоились и уже посмеивались: «А ловко было придумано, — похозяйничали бы эти ловкачи по магазинам, по квартирам, — ха-ха. А мы-то дураки, всю бы ночь тряслись от страха на равнине».

Настал вечер, такой же, как тысячи вечеров, озаривший городские окна закатным светом. Успокоились птицы по деревьям. На реке, на сырых берегах, заквакали лягушки. Часы на кирпичной кирке проиграли «Вахт ам Рейн», на страх паршивым французам, и прозвонили восемь. Из окон кабачков мирно струился свет, завсегдатаи не спеша мочили усы в пивной пене. Успокоился и хозяин загородного ресторана «К прикованному скелету», — походил по пустой террасе, проклял правительство, социалистов и евреев, приказал закрыть ставни и поехал на велосипеде в город к любовнице.

В этот час по западному склону холмов, по малопроезжей дороге, почти бесшумно и без огней, промчался автомобиль. Заря уже погасла, звезды были еще не яркие, за горами разливалось холодноватое сияние, — восходила луна. На равнине кое-где желтели огоньки. И только в стороне заводов не утихала жизнь.

Над обрывом, там, где кончались развалины замка, сидели Вольф и Хлынов. Они еще раз облазили все закоулки, поднялись на квадратную башню, — нигде ни малейшего намека на приготовления Гарина. Одно время им показалось, что вдалеке промчался автомобиль. Они прислушивались, вглядывались. Вечер был тих, пахло древним покоем земли. Иногда движения воздушных струй доносили снизу сырость цветов.

— Смотрел по карте, — сказал Хлынов, — если мы спустимся в западном направлении, то пересечем железную дорогу на полустанке, где останавливается почтовый, в пять тридцать. Не думаю, чтобы там тоже дежурила полиция.

Вольф ответил:

— Смешно и глупо все это кончилось. Человек еще слишком недавно поднялся с четверенок на задние конечности, слишком еще тяготееют над ним миллионы веков непросветленного зверства. Страшная вещь — человеческая масса, не руководимая большой идеей. Людей нельзя оставлять без вожakov. Их тянет стать на четвереньки.

— Ну что это уж вы так, Вольф?..

— Я устал. — Вольф сидел на куче камней, подперев кулаками крепкий подбородок. — Разве хоть на секунду вам приходило в голову, что двадцать восьмого нас будут ловить, как мошенников и грабителей? Если бы вы видели, как эти представители власти переглядывались, когда я распинался перед ними... Ах, какой же

я дурак! И они правы, — вот в чем дело. Они никогда не узнают, что им грозило...

— Если бы не ваш выстрел, Вольф...

— Черт!.. Если бы я не промахнулся... Я готов десять лет просидеть в каторжной тюрьме, только бы доказать этим идиотам...

Голос Вольфа теперь гулко отдавался в развалинах. В тридцати шагах от разговаривающих, — совершенно так же, как охотник крадется под глухариное токанье, — в тени полуобвалившейся стены пробирался Гарин. Ему были ясно видны очертания двух людей над обрывом, слышно каждое слово. Открытое место между концом стены и башней он прополз. В том месте, где к подножью башни примыкала сводчатая пещера «Прикованного скелета», лежал осколок колонны из песчаника. Гарин скрылся за ним. Раздался хруст камня и скрип заржавленного железа. Вольф вскочил:

— Вы слышали?

Хлынов глядел на кучу камней, где под землей исчез Гарин. Они побежали туда. Обошли кругом башни.

— Здесь водятся лисы, — сказал Вольф.

— Нет, скорее всего, это крикнула ночная птица.

— Нужно уходить. Мы с вами начинаем галлюцинировать...

Когда они подошли к обрывистой тропинке, уводящей из развалин на горную дорогу, раздался второй шум, — будто что-то упало и покатилося. Вольф весь затрясся. Они долго слушали не дыша. Сама тишина, казалось, звенела в ушах. «Сплю-сплю, сплю-сплю», — кротко и нежно то там, то вот — совсем низко — покрикивал, летая, невидимый козодой.

— Идем.

— Да, глупо.

На этот раз они решительно и не оборачиваясь зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь.

73

Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарин на секунду замолчал перед микрофоном, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола, слуховая чашечка из эбонита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелась вдребезги. Одновременно с этим он услышал резкий выстрел и почувствовал короткую боль удара в левую сторону черепа. Он сейчас же упал на бок, перевалился ничком и замер. Он слышал, как завыл Штуфер, как зашуршали шаги убегающих людей.

«Кто — Роллинг или Шельга?» Эту загадку он решал, когда часа через два мчался на автомобиле в Кельн. Но только сейчас, услышав разговор двух людей на краю обрыва, разгадал. Молодчина Шельга... Но все-таки, ай-ай, — прибегать к недозволенным приемам...

Он отсунул осколок колонны, прикрывавшей ржавую крышку люка, проскользнул под землей и с электрическим фонариком поднялся по разрушенным ступеням в «каменный мешок» — одиночку, сделанную в толще стены нормандской башни. Это была глухая камера, шага по два с половиной в длину и ширину.

В стене еще сохранились бронзовые кольца и цепи. У противоположной стены на грубо сколоченных козлах стоял аппарат. Под ним лежали четыре жестянки с динамитом. Против дула аппарата стена была продолблена и отверстие с наружной стороны прикрито костяком «Прикованного скелета».

Гарин погасил фонарь, отодвинул в сторону дуло и, просунув руку в отверстие, сбросил костяк. Череп отскочил и покатился. В отверстие были видны огни заводов. У Гарина были зоркие глаза. Он различал даже крошечные человеческие фигуры,двигающиеся между постройками. Все тело его дрожало. Зубы стиснуты. Он не предполагал, что так трудно будет подойти к этой минуте. Он снова направил аппарат дулом в отверстие, приладил. Откинул заднюю крышку, осмотрел пирамидки. Все это было приготовлено еще неделю тому назад. Второй аппарат и старая модель лежали у него внизу, в роще, в автомобиле.

Он захлопнул крышку и положил руку на рычажок магнето, которым автоматически зажигались пирамидки. Он дрожал с головы до ног. Не совесть (какая уж там совесть после мировой войны!), не страх (он был слишком легкомыслен), не жалость к обреченным (они были слишком далеко) обдавали его ознобом и жаром. Он с ужасающей ясностью понял, что вот от одного этого оборота рукоятки он становится врагом человечества. Это было чисто эстетическое переживание важности минуты.

Он даже снял было руку с рычажка и полез в карман за папиросами. И тогда его взволнованный мозг ответил на движение руки: «Ты медлишь, ты наслаждаешься, это — сумасшествие...»

Гарин закрутил магнето. В аппарате вспыхнуло и зашипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.

Хлынов первый обратил внимание на странный клубочек света высоко в небе.

— А вот еще один, — сказал он тихо. Они остановились на половине дороги над обрывом и глядели, подняв головы. Пониже первого, над очертаниями деревьев, возник второй огненный клубок и, роняя искры, как догоревшая ракета, стал падать...

— Это горят птицы, — прошептал Вольф, — смотрите. — Над лесом на светлой полосе неба летел торопливо, неровным полетом, должно быть, козодой, кричавший давеча: «Сплю-сплю». Он вспыхнул, перевертываясь, и упал.

— Они задевают за проволоку.

— Какую проволоку?

— Разве не видите, Вольф?

Хлынов указал на светящуюся, прямую, как игла, нить. Она шла сверху от развалин по направлению заводов Анилиновой компании. Путь ее обозначался вспыхивающими листочками, горящими клубками птиц. Теперь она светилась ярко, — большой отрезок ее перерезывал черную стену сосен.

— Она опускается! — крикнул Вольф. И не окончил. Оба поняли, что это была за нить. В оцепенении они могли следить только за ее направлением. Первый удар луча пришелся по заводской трубе, — она заколебалась, надломилась посередине и упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен.

Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания, порозовел, перемешался с черным дымом. Еще левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз, по всему фасаду, побежал огненный зигзаг, еще и еще...

Хлынов закричал, как заяц... Здание осело, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма.

Тогда только Вольф и Хлынов кинулись обратно в гору, к развалинам замка. Пересекая извивающуюся дорогу, лезли на крутизны по орешнику и мелколесью. Падали, соскальзывая вниз. Рычали, ругались, — один по-русски, другой по-немецки. И вот до них долетел глухой звук, точно вздохнула земля.

Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина зданий его пылала, как картонные домики. Внизу, у самого города, грибом поднимался серо-желтый дым. Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые снопы искр взвивались выше гор.

— Ах, поздно! — закричал Вольф.

Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из города какая-то живая каша. Полоса реки, отражающая весь огромный пожар, казалась рябой от черных точек. Это спасалось население, — люди бежали на равнину.

— Поздно, поздно! — кричал Вольф. Пена и кровь текли по его подбородку.

Спасаться было поздно. Травянистое поле между городом и заводом, покрытое длинными рядами черепичных кровель, вдруг поднялось. Земля вспучилась. Это первое, что увидели глаза. Сейчас же из-под земли сквозь щели вырвались бешеные языки пламени. И сейчас же из пламени взвился ослепительный, никогда никем не виданной яркости столб огня и раскаленного газа. Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространства заполнились зелено-розовым светом. Выступили в нем, точно при солнечном затмении, каждый сучок, каждый клочок травы, камень и два окаменевших белых человеческих лица.

Ударило. Загрохотало. Поднялся рев разверзшейся земли. Содрогались горы. Ураган потряс и пригнул деревья. Полетели камни, головни. Тучи дыма застлали и равнину.

Стало темно, и в темноте раздался второй, еще более страшный взрыв. Весь дымный воздух насытился мрачно-ржавым, гнойным светом.

Ветер, осколки камней, сучьев опрокинули и увлекли под кручу Хлынова и Вольфа.

— Капитан Янсен, я хочу высадиться на берег.

— Есть.

— Я хочу, чтобы вы поехали со мной.

Янсен покраснел от удовольствия. Через минуту шестивесельная лакированная шлюпка легко упала с борта «Аризоны» в прозрачную воду. Три смугло-красных матроса соскользнули по канату на банки. Подняли весла, замерли.

Янсен ждал у трапа. Зоя медлила, — все еще глядела рассеянным взором на зыбкие от зноя очертания Неаполя, уходящего вверх террасами, на терракотовые стены и башни древней крепости над городом, на лениво курящуюся вершину Везувия. Было безветренно, и море — зеркально.

Множество лодок лениво двигалось по заливу. В одной стоя греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеланджело. Седая борода падала на изодранный, в заплатках, темный плащ, короной взлохмачены седые кудри. Через плечо — холщовая сума.

Это был известный всему свету Пеппо, нищий.

Он выезжал в собственной лодке просить милостыню. Вчера Зоя швырнула ему с борта стодолларовую бумажку. Сегодня он снова направлял лодку к «Аризоне». Пеппо был последним романтиком старой Италии, возлюбленной богами и музами. Все это ушло невозвратно. Никто уж больше не плакал, счастливыми глазами глядя на старые камни. Сгнили на полях войны те художники, кто, бывало, платил звонкий золотой, рисуя Пеппо среди развалин дома Цецилия Юкундуса в Помпее. Мир стал скучен.

Медленно поворачивая весло, Пеппо проплыл вдоль зеленоватого от отсветов борта «Аризоны», поднял великолепное, как медаль, морщинистое лицо с косматыми бровями и протянул руку. Он требовал жертвоприношения. Зоя, перегнувшись вниз, спросила его по-итальянски:

— Пеппо, отгадай, — чет или нечет?

— Чет, синьора.

Зоя бросила ему в лодку пачку новеньких ассигнаций.

— Благодарю, прекрасная синьора, — величественно сказал Пеппо.

Больше нечего было медлить. Зоя загадала на Пеппо: приплывет к лодке старый нищий, ответит «чет», — все будет хорошо.

Все же мучили дурные предчувствия: а вдруг в отеле «Спленидид» засада полиции? Но повелительный голос звучал в ушах: «...Если вам дорога жизнь вашего друга...» Выбора не было.

Зоя спустилась в шлюпку. Янсен сел на руль, весла взмахнули, и набережная Санта Лючия полетела навстречу, — дома с наружными лестницами, с бельем и тряпьем на веревках, узкие улочки ступенями в гору, полуголые ребятишки, женщины у дверей, рыжие козы, устричные палатки у самой воды и рыбацкие сети, раскинутые на граните.

Едва шлюпка коснулась зеленых свай набережной, сверху, по ступеням, полетела куча оборванцев, продавцов кораллов и брошек, агентов гостиниц. Размахивая бичами, орали парные извозчики, полуголые мальчишки кувыркались под ногами, завывая, простили сольди у прекрасной форестьеры.

— «Спленидид», — сказала Зоя, садясь вместе с Янсеном в коляску.

76

У портье гостиницы Зоя спросила, нет ли корреспонденции на имя мадам Ламоль? Ей подали радиотелефонограмму без подписи: «Ждите до вечера субботы». Зоя пожалала плечами, заказала комнаты и поехала с Янсеном осматривать город. Янсен предложил — музей.

Зоя скользила скучающим взором по застывшим навеки красавицам Возрождения, — они навьючивали на себя несгибающуюся парчу, не стригли волос, видимо, не каждый день брали ванну и гордились такими мощными плечами и бедрами, которых бы постыдилась любая рыночная торговка в Париже. Еще скучнее было смотреть на мраморные головы императоров, на лица позеленевшей бронзы — лежать бы им в земле... на детскую порнографию помпейских фресок. Нет, у древнего Рима и у Возрождения был дурной вкус. Они не понимали остроты цинизма. Довольствовались разведенным вином, неторопливо целовались с пышными и добродетельными женщинами, гордились мускулами и храбростью. Они с уважением волочили за собой прожитые века. Они не знали, что такое делать двести километров в час на гоночной машине. Или при помощи автомобилей, аэропланов, электричества, телефонов, радио, лифтов, модных портных и чековой книжки (в пятнадцать минут по чеку вы получаете золота столько, сколько не стоил весь древний Рим) выдавливать из каждой минуты жизни до последней капли все наслаждения.

— Янсен, — сказала Зоя. (Капитан шел на полшага сзади, прямой, медно-красный, весь в белом, выглаженный и готовый на любую глупость.) — Янсен, мы теряем время, мне скучно.

Они поехали в ресторан. Между блюдами Зоя вставала, закидывала на плечи Янсену голую прекрасную руку и танцевала с

ничего не выражающим лицом, с полузакрытыми веками. На нее «бешено» обращали внимание. Танцы возбуждали аппетит и жажду. У капитана дрожали ноздри, он глядел в тарелку, боясь выдать блеск глаз. Теперь он знал, какие бывают любовницы у миллиардеров. Такой нежной, длинной, нервной спины ни разу еще не ощущала его рука во время танцев, ноздри никогда не вдыхали такого благоухания кожи и духов. А голос — певучий и насмешливый... А умна... А шикарна...

Когда выходили из ресторана, Янсен спросил:

— Где мне прикажете быть этой ночью — на яхте или в гостинице?

Зоя взглянула на него быстро и странно и сейчас же отвернула голову, не ответила.

77

Зоя опьянела от вина и танцев. «О-ла-ла, как будто я должна отдавать отчет». Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсена. Портье, подавая ключ, скверно усмехнулся черномазо-неаполитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась:

— Какие-нибудь новости?

— О, никаких, синьора.

Зоя сказала Янсону:

— Пойдите в курительную, выкурите папиросу, если вам не надоело со мной болтать, — я позвоню...

Она легко пошла по красному ковру лестницы. Янсен стоял внизу. На повороте она обернулась, усмехнулась. Он, как пьяный, пошел в курительную и сел около телефона. Закурил, — так велела она. Откинувшись, — представлял.

...Она вошла к себе... Сняла шляпу, белый суконный плащ... Не спеша, ленивыми, слегка неумелыми, как у подростка, движениями начала раздеваться... Платье упало, она перешагнула через него. Остановилась перед зеркалом... Соблазнительная, всматривающаяся большими зрачками в свое отражение... Да, да, она не торопится, — таковы женщины... О, капитан Янсен умеет ждать... Ее телефон — на ночном столике... Стало быть, он увидит ее в постели... Она оперлась о локоть, протянула руку к аппарату...

Но телефон не звонил. Янсен закрыл глаза, чтобы не видеть проклятого аппарата... Фу, в самом деле, нельзя же быть влюбленным, как мальчишка... А вдруг она передумала? Янсен вскочил. Перед ним стоял Роллинг. У капитана вся кровь ударила в лицо.

— Капитан Янсен, — проговорил Роллинг скрипучим голосом, — благодарю вас за ваши заботы о мадам Ламоль, на сегодня она больше не нуждается в них. Предлагаю вам вернуться к вашим обязанностям...

— Есть, — одними губами произнес Янсен.

Роллинг сильно изменился за этот месяц, — лицо его потемнело, глаза ввалились, бородка черно-рыжеватой щетиной распол-

злась по щекам. Он был в теплом пиджаке, карманы на груди топорщились, набитые деньгами и чековыми книжками... «Левой в висок, — правой наискось, в скулу, и — дух вон из жабы...» — железные кулаки у капитана Янсена наливались злобой. Будь Зоя здесь в эту секунду, взгляни на капитана, от Роллинга остался бы мешок костей.

— Я буду через час на «Аризоне», — нахмурился, повелительно сказал Роллинг.

Янсен взял со стола фуражку, надвинул глубоко, вышел. Вскочил на извозчика: «На набережную!» Казалось, каждый прохожий усмехался, глядя на него: «Что, надавали по щекам!» Янсен сунул извозчику горсть мелочи и кинулся в шлюпку: «Греби, собачьи дети». Взбежав по трапу на борт яхты, зарычал на помощника: «Хлев на палубе!» Заперся на ключ у себя в каюте и, не снимая фуражки, упал на койку. Он тихо рычал.

Ровно через час послышался оклик вахтенного, и ему ответил с воды слабый голос. Заскрипел трап. Весело, звонко крикнул помощник капитана:

— Свистать всех наверх!

Приехал хозяин. Спасти остатки самолюбия можно было, только встретив Роллинга так, будто ничего не произошло на берегу. Янсен достойно и спокойно вышел на мостик. Роллинг поднялся к нему, принял рапорт об отличном состоянии судна и пожал руку. Официальная часть была кончена. Роллинг закурил сигару, — маленький, сухопутный, в теплом темном костюме, оскорбляющем изящество «Аризоны» и небо над Неаполем.

Была уже полночь. Между мачтами и реями горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт, воде залива. Взыла и замерла сирена буксирного пароходика. Закачались вдали маслянисто-огненные столбы.

Роллинг, казалось, был поглощен сигарой, — понюхивал ее, пускал струйки дыма в сторону капитана. Янсен, опустив руки, официально стоял перед ним.

— Мадам Ламоль пожелала остаться на берегу, — сказал Роллинг, — это каприз, но мы, американцы, всегда уважаем волю женщины, будь это даже явное сумасбродство.

Капитан принужден был наклонить голову, согласиться с хозяином. Роллинг поднес к губам левую руку, пососал кожу на верхней стороне ладони.

— Я останусь на яхте до утра, быть может весь завтрашний день... Чтобы мое пребывание не было истолковано как-нибудь вкривь и вкось... (Пососав, он поднес руку к свету из открытой двери каюты.) Э, так вот... вкривь и вкось... (Янсен глядел теперь на его руку, на ней были следы от ногтей.) Удовлетворяю ваше любопытство: я жду на яхту одного человека. Но он меня здесь не ждет. Он должен прибыть с часу на час. Распорядитесь немедленно донести мне, когда он поднимется на борт. Покойной ночи.

У Янсена пылала голова. Он силился что-нибудь понять. Мадам Ламоль осталась на берегу. Зачем? Каприз... Или она ждет его? Нет, — а свежие царапины на руке хозяина... Что-то случилось... А вдруг она лежит на кровати с перерезанным горлом? Или в мешке на дне залива? Миллиардеры не стесняются.

За ужином в кают-компании Янсен потребовал стакан виски без содовой, чтобы как-нибудь прояснило мозги. Помощник капитана рассказывал газетную сенсацию — чудовищный взрыв в германских заводах Анилиновой компании, разрушение близлежащего городка и гибель более чем двух тысяч человек.

Помощник капитана говорил:

— Нашему хозяину адски везет. На гибели анилиновых заводов он зарабатывает столько, что купит всю Германию вместе с потрохами, Гогенцоллернами и социал-демократами. Пью за хозяина.

Янсен унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и разные, одно нелепее другого, предположения о причинах его. Именем Роллинга пестрели столбцы. В отделе мод указывалось, что с будущего сезона в моде — борода, покрывающая щеки, и высокий котелок вместо мягкой шляпы. В «Экзельсиор» на первой странице — фотография «Аризоны» и в овале — прелестная голова мадам Ламоль. Глядя на нее, Янсен потерял присутствие духа. Тревога его все росла.

В два часа ночи он вышел из каюты и увидел Роллинга на верхней палубе, в кресле. Янсен вернулся в каюту. Сбросил платье, на голое тело надел легкий костюм из тончайшей шерсти, фуражку, башмаки и бумажник завязал в резиновый мешок. Пробили склянки — три. Роллинг все еще сидел в кресле. В четыре он продолжал сидеть в кресле, но силуэт его с ушедшей в плечи головой казался неживым, — он спал. Через минуту Янсен неслышно спустился по якорной цепи в воду и поплыл к набережной.

78

— Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно: телефон и звонки перерезаны.

Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка дергала ее губы. Стась Тыклинский развалился посреди комнаты в кресле, — крутил усы, рассматривал свои лакированные полуботинки. Курить он все же не смел, — Зоя решительно запретила, а Роллинг строго наказал проявлять вежливость с дамой.

Он пробовал рассказывать о своих любовных похождениях в Варшаве и Париже, но Зоя с таким презрением смотрела в глаза, что у него деревенел язык. Приходилось помалкивать. Было уже около пяти утра. Все попытки Зои освободиться, обмануть, обольстить не привели ни к чему.

— Все равно, — сказала Зоя, — так или иначе я дам знать полиции.

— Прислуга в отеле подкуплена, даны очень большие деньги.
— Я выбью окно и закричу, когда на улице будет много народу.
— Это тоже предусмотрено. И даже врач нанят, чтобы установить ваши нервные припадки. Мадам, вы, так сказать, для внешнего света на положении жены, пытающейся обмануть мужа. Вы — вне закона. Никто не поможет и не поверит. Сидите смирно.

Зоя хрустнула пальцами и сказала по-русски:

— Мерзавец. Полячишка. Лакей. Хам.

Тыклинский стал надуваться, усы полезли дыбом. Но ввязываться в ругань не было приказано. Он проворчал:

— Э, знаем, как ругаются бабы, когда их хваленая красота не может подействовать. Мне жалко вас, мадам. Но сутки, а то и двое придется нам здесь просидеть в тет-а-тете. Лучше лягте, успокойте ваши нервы... Бай-бай, мадам.

К его удивлению, Зоя на этот раз послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза.

Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо Тыклинского. Она зевнула раз, другой, положила руку под щеку.

— Устала, пусть будет что будет, — проговорила она тихо и опять зевнула.

Тыклинский удобнее устроился в кресле. Зоя ровно дышала. Через некоторое время он стал тереть глаза. Встал, прошелся, — привалился к косяку. Видимо, решил бодрствовать стоя.

Тыклинский был глуп. Зоя выведала от него все, что было нужно, и теперь ждала, когда он заснет. Торчать у дверей было трудно. Он еще раз осмотрел замок и вернулся к креслу.

Через минуту у него отвалилась жирная челюсть. Тогда Зоя соскользнула с постели. Быстрым движением вытащила ключ у него из жилетного кармана. Подхватила туфельки. Вложила ключ, — тугой замок неожиданно заскрипел.

Тыклинский вскрикнул, как в кошмаре: «Кто? Что?» Рванулся с кресла. Зоя распахнула дверь. Но он схватил ее за плечи. И сейчас же она впилась в его руку, с наслаждением прокусила кожу.

— Песья девка, курва! — заорал он по-польски. Ударил коленкой Зою в поясницу. Повалил. Отпихивая ее ногой в глубь комнаты, силился закрыть дверь. Но — что-то ему мешало. Зоя видела, как шея его налилась кровью.

— Кто там? — хрипло спросил он, наваливаясь плечом.

Но его ступни продолжали скользить по паркету, — дверь медленно растворялась. Он торопливо тащил из заднего кармана револьвер и вдруг отлетел на середину комнаты.

В двери стоял капитан Янсен. Мускулистое тело его облипала мокрая одежда. Секунду он глядел в глаза Тыклинскому. Стремительно, точно падая, кинулся вперед. Удар, назначавшийся Роллингу, обрушился на поляка: двойной удар, — тяжестью корпуса на вытянутую левую — в переносицу — и со всем размахом плеча

правой рукой снизу в челюсть. Тыклинский без крика опрокинулся на ковер. Лицо его было разбито и изломано.

Третьим движением Янсен повернулся к мадам Ламоль. Все мускулы его танцевали.

— Есть, мадам Ламоль.

— Янсен, как можно скорее, — на яхту.

— Есть на яхту.

Она закинула, как давеча в ресторане, локоть ему за шею. Не целуя, придвинула рот почти вплотную к его губам:

— Борьба только началась, Янсен. Самое опасное впереди.

— Есть самое опасное впереди.

79

— Извозчик, гони, гони вовсю... Я слушаю, мадам Ламоль... Итак... Покуда я ждал в курительной...

— Я поднялась к себе. Сняла шляпу и плащ...

— Знаю.

— Откуда?

Рука Янсена задрожала за ее спиной. Зоя ответила ласковым движением.

— Я не заметила, что шкаф, которым была заставлена дверь в соседний номер, отодвинут. Не успела я подойти к зеркалу, открывается дверь, и — передо мной Роллинг... Но я ведь знала, что вчера еще он был в Париже. Я знала, что он до ужаса боится летать по воздуху... Но если он здесь, значит, для него действительно вопрос жизни или смерти... Теперь я поняла, что он задумал... Но тогда я просто пришла в ярость. Заманить, устроить мне ловушку... Я ему наговорила черт знает что... Он зажал уши и вышел...

— Он спустился в курительную и отослал меня на яхту...

— В том-то и дело... Какая я дура!.. А все эти танцы, вино, глупости... Да, да, милый друг, когда хочешь бороться — глупости нужно оставить... Через две-три минуты он вернулся. Я говорю: объяснимся... Он — наглым голосом, каким никогда не смел со мной говорить: «Мне объяснять нечего, вы будете сидеть в этой комнате, покуда я вас не освобожу...» Тогда я надавала ему пощечин...

— Вы настоящая женщина, — с восхищением сказал Янсен.

— Ну, милый друг, это была вторая моя глупость. Но какой трус!.. Снес четыре оплеухи... Стоял с трясущимися губами... Только попытался удержать мою руку, но это ему дорого обошлось. И, наконец, третья глупость: я заревела...

— О, негодяй, негодяй!..

— Подождите вы, Янсен... У Роллинга идиосинкразия к слезам, его корчит от слез... Он предпочел бы еще сорок пощечин... Тогда он позвал поляка, — тот стоял за дверью. У них все было условлено. Поляк сел в кресло. Роллинг сказал мне: «В виде крайней меры — ему приказано стрелять». И ушел. Я принялась за поляка.

Через час мне был ясен во всех подробностях предательский план Роллинга. Янсен, милый, дело идет о моем счастье... Если вы мне не поможете, все пропало... Гоните, гоните извозчика...

Коляска пролетела по набережной, пустынной в этот час перед рассветом, и остановилась у гранитной лестницы, где внизу поскрипывало несколько лодок на черно-маслянистой воде.

Немного спустя Янсен, держа на руках драгоценную мадам Ламоль, неслышно поднялся по брошенной с кормы веревочной лестнице на борт «Аризоны».

80

Роллинг проснулся от утреннего холода. Палуба была мокрая. Побледнели огни на мачтах. Залив и город были еще в тени, но дым над Везувием уже розовел.

Роллинг оглядывал сторожевые огни, очертания судов. Подошел к вахтенному, постоял около него. Фыркнул носом. Поднялся на капитанский мостик. Сейчас же из каюты вышел Янсен, свежий, вымытый, выглаженный. Пожелал доброго утра. Роллинг фыркнул носом, — несколько более вежливо, чем вахтенному.

Затем он долго молчал, крутил пуговицу на пиджаке. Это была дурная привычка, от которой его когда-то отучала Зоя. Но теперь ему было все равно. К тому же, наверно, на будущий сезон в Париже будет в моде — крутить пуговицы. Портные придумают даже специальные пуговицы для кручения.

Он спросил отрывисто:

— Утопленники всплывают?

— Если не привязывать груза, — спокойно ответил Янсен.

— Я спрашиваю: на море, если человек утонул, значит — утонул?

— Бывает, — неосторожное движение, или снесет волна, или иная какая случайность, — все это относится в разряд утонувших. Власти обычно не суют носа.

Роллинг дернул плечом.

— Это все, что я хотел знать об утопленниках. Я иду к себе в каюту. Если подойдет лодка, повторяю, не сообщать, что я на борту. Принять подъехавшего и доложить мне.

Он ушел. Янсен вернулся в каюту, где за синими задернутыми шторами на капитанской койке спала Зоя.

81

В девятом часу к «Аризоне» подошла лодка. Греб какой-то веселый оборванец, подняв весла, он крикнул:

— Алло... Яхта «Аризона»?

— Предположим, что так, — ответил датчанин-матрос, перегнувшись через фальшборт.

— Имеется на вашей посудине некий Роллинг?

— Предположим.

Оборванец открыл улыбкой великолепные зубы:

— Держи.

Он ловко бросил на палубу письмо, матрос подхватил его, оборванец щелкнул языком:

— Матрос, соленые глаза, дай сигару.

И пока датчанин раздумывал, чем бы в него запустить с борта, тот уже отплыл и, приплясывая в лодке и кривляясь от неудержимой радости жизни в такое горячее утро, запел во все горло.

Матрос поднял письмо, понес его капитану. (Таков был приказ.) Янсен отодвинул шторку, наклонился над спящей Зоей. Она открыла глаза, еще полные сна.

— Он здесь?

Янсен подал письмо. Зоя прочла:

«Я жестоко ранен. Будьте милосердны. Я боролся, как лев, за ваши интересы, но случилось невозможное: мадам Зоя на свободе. Припадаю к вашим...»

Не дочитав, Зоя разорвала письмо.

— Теперь мы можем ожидать его спокойно. (Она взглянула на Янсена, протянула ему руку.) Янсен, милый, нам нужно условиться. Вы мне нравитесь. Вы мне нужны. Стало быть, неизбежное должно случиться...

Она коротко вздохнула:

— Я чувствую, — с вами будет много хлопот. Милый друг, это все лишнее в жизни — любовь, ревность, верность... Я знаю — влечение. Это стихия. Я так же свободна отдавать себя, как и вы брать, — запомните, Янсен. Заключим договор: либо я погибну, либо я буду властвовать над миром. (У Янсена поджались губы, Зое понравилось это движение.) Вы будете орудием моей воли. Забудьте сейчас, что я — женщина. Я фантастка. Я авантюристка, — понимаете вы это? Я хочу, чтобы все было мое. (Она описала руками круг.) И тот человек, единственный, кто может мне дать это, должен сейчас прибыть на «Аризону». Я жду его, и ждет Роллинг...

Янсен поднял палец, оглянулся. Зоя задернула шторки. Янсен вышел на мостик. Там стоял, вцепившись в перила, Роллинг. Лицо его, с криво и плотно сложенным ртом, было искажено злобой. Он всматривался в еще дымную перспективу залива.

— Вот он, — с трудом проговорил Роллинг, протягивая руку, и палец его повис крючком над лазурным морем, — вон в той лодке.

И он торопливо, наводя страх на матросов, кривоногий, похожий на краба, побежал по лестнице с капитанского мостика и скрылся у себя внизу. Оттуда по телефону он подтвердил Янсону давешний приказ — взять на борт человека, подплывающего на шестивесельной лодке.

Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке. Сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной, усталой ширазскими коврами, отделанной драгоценным деревом каюты и глядел на стенные часы.

Оборвав пуговицы, он принялся грызть ногти. С чудовищной быстротой он возвращался в первоначальное дикое состояние. Он слышал оклик вахтенного и ответ Гарина с лодки. У него вспотели руки от этого голоса.

Тяжелая лодка ударилась о борт. Раздалась дружная ругань матросов. Заскрипел трап, застучали шаги. «Бери, подхватывай... Осторожнее... Готово... Куда нести?» — Это грузили ящики с гиперболоидами. Затем все утихло.

Гарин попался в ловушку. Наконец-то! Роллинг взялся холодными влажными пальцами за нос и издал шипящие, кашляющие звуки. Люди, знавшие его, утверждали, что он никогда в жизни не смеялся. Неправда! Роллинг любил посмеяться, но без свидетелей, наедине, после удачи и именно так, беззвучно.

Затем по телефону он вызвал Янсена:

— Взяли на борт?

— Да.

— Проведите его в нижнюю каюту и запирайте на ключ. Постарайтесь сделать это чисто, без шума.

— Есть, — бойко ответил Янсен. Что-то уж слишком бойко, Роллингу это не понравилось.

— Алло, Янсен?

— Да.

— Через час яхта должна быть в открытом море.

— Есть.

На яхте началась беготня. Загрохотала якорная цепь. Заработали моторы. За иллюминатором потекли струи зеленоватой воды. Стал поворачиваться берег. Влетел влажный ветер в каюту. И радостное чувство скорости разлилось по всему стройному корпусу «Аризоны».

Разумеется, Роллинг понимал, что совершает большую глупость. Но не было прежнего Роллинга, холодного игрока, несокрушимого буйвола, неременного посетителя воскресной проповеди. Он поступал теперь так или иначе не потому, что это было выгодно, а потому, что мука бессонных ночей, ненависть к Гарину, ревность искали выхода: растоптать Гарина и вернуть Зою.

Даже невероятная удача — гибель заводов Анилиновой компании — прошла как во сне. Роллинг даже не поинтересовался, сколько сотен миллионов отсчитали ему двадцать девятого биржи всего мира.

В этот день он ждал Гарина в Париже, как было условлено. Гари не приехал. Роллинг предвидел это и тридцатого бросился на аэроплане в Неаполь.

Теперь Зоя была убрана из игры. Между ним и Гариним никто не стоял. Расправа продумана была до мелочей. Роллинг закурил

сигару. Он нарочно несколько медлил. Он вышел из каюты в коридор. Отворил дверь на нижнюю палубу, — там стояли ящики с аппаратами. Два матроса, сидевшие на них, вскочили. Он отослал их в кубрик.

Захлопнув дверь на нижнюю палубу, он не спеша пошел к противоположной двери в рубку. Взявшись за дверную ручку, заметил, что пепел на сигаре надломился. Роллинг самодовольно улыбнулся, мысли были ясны, давно он не ощущал такого удовлетворения.

Он распахнул дверь. В рубке, под хрустальным колпаком верхнего света, сидели, глядя на вошедшего, Зоя, Гарин и Шельга. Тогда Роллинг отступил в коридор. Он задохнулся, мозг его будто мгновенно взболтали ложкой. Нос вспотел. И, что было уже совсем чудовищно, он улыбнулся жалко и глупо, совсем как служащий, накрытый за подчищиванием бухгалтерской книги (был с ним такой случай лет двадцать пять назад).

— Добрый день, Роллинг, — сказал Гарин, вставая, — вот и я, дружище.

83

Произошло самое страшное — Роллинг попал в смешное положение.

Что можно было сделать? Скрежетать зубами, бушевать, стрелять? Еще хуже, еще глупее... Капитан Янсен предал его, — ясно. Команда ненадежна... Яхта в открытом море. Усилим воли (у него даже скрипнуло что-то внутри) Роллинг согнал с лица проклятую улыбку.

— А! — Он поднял руку и помотал ею, приветствуя. — А, Гарин... Что же, захотели проветриться? Прошу, рад... Будем веселиться...

Зоя сказала резко:

— Вы скверный актер, Роллинг. Перестаньте потешать публику. Входите и садитесь. Здесь все свои, — смертельные враги. Сами виноваты, что приготовили себе такое веселенькое общество для прогулки по Средиземному морю.

Роллинг оловянными глазами взглянул на нее.

— В больших делах, мадам Ламоль, нет личной вражды или дружбы.

И он сел к столу, точно на королевский трон, — между Зоей и Гариным. Положил руки на стол. Минуту длилось молчание. Он сказал:

— Хорошо, я проиграл игру. Сколько я должен платить?

Гарин ответил, блестя глазами, улыбкой, готовый, кажется, залиться самым добродушным смехом:

— Ровно половину, старый дружище, половину, как было уловлено в Фонтенбло. Вот и свидетель. — Он махнул бородкой в сторону Шельги, мрачно барабанившего ногтями по столу. — В бух-

галтерские книги ваши я залезать не стану. Но на глаз — миллиард в долларах, конечно, в окончательный расчет. Для вас эта операция пройдет безболезненно. Вы же загребли чертовы деньги в Европе.

— Миллиард будет трудно выплатить сразу, — ответил Роллинг. — Я обдумаю. Хорошо. Сегодня же я выеду в Париж. Надеюсь, в пятницу, скажем, в Марселе, я смогу выплатить большую часть этой суммы...

— Ай, ай, ай, — сказал Гарин, — но вы-то старина, получите свободу только после уплаты.

Шельга быстро взглянул на него, промолчал. Роллинг поморщился, как от глупой бестактности:

— Я должен понять так, что вы меня намерены задержать на этом судне?

— Да.

— Напоминаю, что я, как гражданин Соединенных Штатов, неприкосновенен. Мою свободу и мои интересы будет защищать весь военный флот Америки.

— Тем лучше! — крикнула Зоя гневно и страстно. — Чем скорее, тем лучше!..

Она поднялась, протянула руки, сжала кулаки так, что побелели косточки.

— Пусть весь ваш флот — против нас, весь свет встанет против нас. Тем лучше!

Ее короткая юбка разлетелась от стремительного движения. Белая морская куртка с золотыми пуговичками, маленькая, по-юношески остриженная голова Зои и кулачки, в которых она собиралась стиснуть судьбу мира, серые глаза, потемневшие от волнения, взволнованное лицо — все это было и забавно и страшно.

— Должно быть, я плохо расслышал вас, сударыня, — Роллинг всем телом повернулся к ней, — вы собираетесь бороться с военным флотом Соединенных Штатов? Так вы изволили выразиться?

Шельга бросил барабанить ногтями. В первый раз за этот месяц ему стало весело. Он даже вытянул ноги и развалился, как в театре.

Зоя глядела на Гарина, взгляд ее темнел еще больше.

— Я сказала, Петр Петрович... Слово за вами...

Гарин заложил руки в карманы, встал на каблуки, покачиваясь и улыбаясь красным, точно накрашенным ртом. Весь он казался фатоватым, несерьезным. Одна Зоя угадывала его стальную, играющую от переизбытка, преступную волю.

— Во-первых, — сказал он и поднялся на носки, — мы не питаем исключительной вражды именно к Америке. Мы постараемся потрепать любой из флотов, который попытается выступить с агрессивными действиями против меня. Во-вторых, — он перешел с носков на каблуки, — мы отнюдь не настаиваем на драке. Если военные силы Америки и Европы признают за нами священное право захвата любой территории, какая нам понадобится, право суверенности и так далее и так далее, — тогда мы оставим их в

покое, по крайней мере в военном отношении. В противном случае с морскими и сухопутными силами Америки и Европы, с крепостями, базами, военными складами, главными штабами и прочее и прочее будет поступлено беспощадно. Судьба анилиновых заводов, я надеюсь, убеждает вас, что я не говорю на ветер.

Он пошлепал Роллинга по плечу.

— Алло, старина, а ведь было время, когда я просил вас войти компаньоном в мое предприятие... Фантазии не хватило, а все оттого, что высокой культуры у вас нет. Это что — раздевать биржевиков да скупать заводы. Старинушка-матушка... А настоящего человека — прозевали... Настоящего организатора ваших дурацких миллиардов.

Роллинг начал походить на разлагающегося покойника. С трудом выдавливая слова, он прошипел:

— Вы анархист...

Тут Шельга, ухватившись здоровой рукой за волосы, принялся так хохотать, что наверху за стеклянным потолком появилось испуганное лицо капитана Янсена. Гарин повернулся на каблуках и опять — Роллингу:

— Нет, старина, у вас плохо стал варить котелок. Я — не анархист... Я тот самый великий организатор, которого вы в самом ближайшем времени начнете искать днем с фонарем... Об этом поговорим на досуге. Пишите чек... И полным ходом — в Марсель.

84

В ближайшие дни произошло следующее: «Аризона» бросила якорь на внешнем рейде в Марселе. Гарин предъявил в банке Лионского кредита чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов стерлингов. Директор банка в панике выехал в Париж.

На «Аризоне» было объявлено, что Роллинг болен. Он сидел под замком у себя в каюте, и Зоя неусыпно следила за его изоляцией. В продолжение трех суток «Аризона» грузилась жидким топливом, водой, консервами, вином и прочим. Матросы и зеваки на набережной немало дивились, когда к «шикарной кокотке» пошла шаланда, груженная мешками с песком. Говорили, будто яхта идет на Соломоновы острова, кишашие людоедами. Капитаном Янсенем было закуплено оружие — двадцать карабинов, револьверы, газовые маски.

В назначенный день Гарин и Янсен снова явились в банк. Их встретил товарищ министра финансов, экстренно прибывший из Парижа. Рассыпаясь в любезностях и не сомневаясь в подлинности чека, он все же пожелал видеть самого Роллинга. Его отвезли на «Аризону».

Роллинг встретил его совсем больной, с провалившимися глазами. Он едва мог подняться с кресла. Он подтвердил, что чек выдан им, что он уходит на яхте в далекое путешествие и просит поскорее кончить все формальности.

Товарищ министра финансов, взявшись за спинку стула и жестикулируя наподобие Камилла Демулена, произнес речь о великом братстве народов, о культурной сокровищнице Франции и попросил отсрочки платежа.

Роллинг, закрыв усталые глаза, покачал головой. Покончили на том, что Лионский кредит выплатит треть суммы в фунтах, остальные — во франках по курсу.

Деньги привезены были к вечеру на военном катере. Затем, когда посторонние были удалены, на капитанском мостике появились Гарин и Янсен.

— Свистать всех наверх.

Команда выстроилась на шканцах, и Янсен сказал твердым и суровым голосом:

— Матросы, яхта, называемая «Аризона», отправляется в чрезвычайное опасное и рискованное плавание. Будь я проклят, если я поручусь за чью-либо жизнь, за жизнь владельцев и целость самого судна. Вы меня знаете, акульки дети... Жалованье я увеличиваю вдвое, также удваиваются обычные премии. Всем, кто вернется на родину, будет дана пожизненная пенсия. Даю срок на размышление до захода солнца. Не желающие рисковать могут уносить свои подошвы.

Вечером восемь человек из команды сошли на берег. В ту же ночь команду пополнили восемью отчаянными негодьями, которых капитан Янсен сам разыскал в портовых кабаках.

Через пять дней яхта легла на рейде в Саутгемптоне, и Гарин и Янсен предъявили в английском королевском банке чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов. (В палате по этому поводу был сделан мягкий запрос лидером рабочей партии.) Деньги выдали. Газеты взвыли. Во многих городах произошли рабочие демонстрации. Журналисты рванулись в Саутгемптон. Роллинг не принял никого. «Аризона» взяла жидкого топлива и пошла через океан.

Через двенадцать дней яхта стала в Панамском канале и послала радио, вызывая к аппарату главного директора «Анилин Роллинг» — Мак Линнея. В назначенный час Роллинг, сидя в радиорубке под дулом револьвера, отдал приказ Мак Линнею выплатить подателю чека, мистеру Гарину, сто миллионов долларов. Гарин выехал в Нью-Йорк и возвратился с деньгами и самим Мак Линнеем. Это была ошибка. Роллинг говорил с директором ровно пять минут в присутствии Зои, Гарина и Янсена. Мак Линней уехал с глубоким убеждением, что дело нечисто.

Затем «Аризона» стала крейсировать в пустынном Карибском море. Гарин разъезжал по Америке по заводам, зафрахтовывал пароходы, закупал машины, приборы, инструменты, сталь, цемент, стекло. В Сан-Франциско происходила погрузка. Доверенный Гарина заключал контракты с инженерами, техниками, рабочими. Другой доверенный выехал в Европу и вербовал среди остатков русской белой армии пятьсот человек для несения полицейской службы.

Так прошло около месяца. Роллинг ежедневно разговаривал по радио с Нью-Йорком, Парижем, Берлином. Его приказы были су-

ровы и неумолимы. После гибели анилиновых заводов европейская химическая промышленность перестала сопротивляться. «Анилин Роллинг» — значилось на всех фабриках. Это было клеймо — желтый круг с тремя черными полосками и надписью: наверху — «Мир», внизу — «Анилин Роллинг Компани». Начинало походить на то, что каждый европеец должен быть проштемпелеван этим желтым кружочком. Так «Анилин Роллинг» шел на приступ сквозь дымящиеся развалины заводов Анилиновой компании.

Колониальным, жутким запахом тянуло по всей Европе. Гасли надежды. Не возвращались веселье и радость. Гнили бесчисленные сокровища духа в пыльных библиотеках. Желтое солнце с тремя черными полосками озаряло неживым светом громады городов, трубы и дымы, рекламы, рекламы, рекламы, выпивающие кровь у людей, и в кирпичных проплеванных улицах и переулках, между витрин, реклам, желтых кругов и кружочков — человеческие лица, искаженные гримасой голода, скуки и отчаяния.

Валюты падали. Налоги поднимались. Долги росли. И священной законности, повелевавшей чтить долг и право, ударило в лоб желтое клеймо. Плати.

Деньги текли ручейками, ручьями, реками в кассы «Анилин Роллинг». Директора «Анилин Роллинг» вмешивались во внутренние дела государств, в международную политику. Они составляли как бы орден тайных правителей.

Гарин носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами, пишущими барышнями и сворой рассыльных. Он работал двадцать часов в сутки. Никогда не спрашивал цен и не торговался.

Мак Линней с тревогой и изумлением следил за ним. Он не понимал, для чего все это покупается и грузится и зачем с таким безрассудством расшвыриваются миллионы Роллинга. Секретарь Гарина, одна из пишущих барышень и двое рассыльных были агентами Мак Линнея. Они ежедневно посылали ему в Нью-Йорк подробный отчет. Но все же трудно было что-либо понять в этом вихре закупок, заказов и контрактов.

В начале сентября «Аризона» опять появилась в Панамском канале, взяла на борт Гарина и, выйдя в Тихий океан, исчезла в направлении на юго-запад.

В том же направлении, двумя неделями позже, вышли десять груженых кораблей с запечатанными приказами.

Океан был неспокоен. «Аризона» шла под парусами. Были поставлены гроты и кливера, — все паруса, кроме марселей. Узкий корпус яхты, — скорлупка с парусами, наполненными ветром, со звенящими, поющими вантами, — то скрывался до верхушек мачт между волнами, то взмывал на гребне, отряхивая пену.

Тент был убран. Люки задраены. Шлюпки подняты на палубу и закреплены. Мешки с песком, положенные вдоль обоих бортов, увязаны проволокой. На баке и на юте установлены две решетчатые башни с круглыми, как котлы, камерами на верхних площадках. Башни эти, покрытые брезентами, придавали «Аризоне» странный профиль полувоенного судна.

На капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли Гарин и Шельга. На обоих — кожаные плащи и шляпы. Рука Шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только на то, чтобы взять коробку спичек да вилку за столом.

— Вот океан, — сказал Гарин, — и ничтожное суденышко, кристаллик человеческого гения и воли... Летим, товарищ Шельга, хоть ты что... Боремся... А волны какие... Смотрите — горы.

Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибалась стеклянно-зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался. «Аризона» ложилась на левый борт. Пел дикий ветер между парусами, выносил корабль из бездны. И он, совсем ложась, показывая красное днище до киля, наискось, по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палуба, и шлюпки, и бак, погрузилась до купола решетчатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика.

— Здорово! — крикнул Гарин.

«Аризона» выпрямилась, вода схлынула с палубы, кливера плеснули, и она понеслась вниз по уклону волны.

— Так и человек, товарищ Шельга, так и человек в человеческом океане... Я вот страстно полюбил это суденышко... Разве мы не похожи?.. У обоих грудь полна ветром... А?

Шельга пожал плечами, не ответил. Не спорить же с этим — влюбленным в себя до восторга... Пусть упивается, — сверхчеловек, да и только. Недаром он и Роллинг нашли на земле друг друга: лютые враги, а одному без другого не дыхнуть. Химический король порождает из своего чрева этого воспаленного преступными идеями человечка, — тот в свою очередь оплодотворяет чудовищной фантазией Роллингову пустыню. Кол им обоим в глотку!

Действительно, трудно было понять, почему до сих пор Роллинга не жрут акулы. Дело свое он сделал, — не миллиард, но триста миллионов долларов Гарин получил. Теперь бы и концы в воду. Но нет, что-то еще более прочное связывало этих людей.

Не понимал Шельга также, почему и его не спихнули за борт в Тихом океане. Тогда, в Неаполе, он был нужен Гарину как третье лицо и свидетель. Явись Гарин один в Неаполе на «Аризону», могли случиться неожиданные неприятности. Но устранить сразу двоих Роллингу было бы гораздо труднее. Все это ясно. Гарин выиграл партию.

Зачем же ему теперь Шельга? Во время крейсерства в Карибском море были еще строгости. Здесь же, в океане, за Шельгой никто не следил, и он делал что хотел. Присматривался. Прислу-

шивался. И ему начинали мерещиться кое-какие выходы из скверного положения.

Перегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлялись с роскошью. За стол садились Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, капитан Янсен, помощник капитана, Шельга, инженер Чермак — чех (помощник Гарина), щупленький, взъерошенный, болезненный человек с бледными пристальными глазами и реденькой бородкой, и второй помощник — химик, немец Шефер, костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умиравший с голоду в Сан-Франциско.

В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых, — во фраках, с бутоньерками в петлицах, — Шельга, как и все, — во фраке, с бутоньеркой, спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом.

Сосед справа однажды пустил в него четыре пули, сосед слева — убийца трех тысяч человек, напротив — красавица, бесовка, какой еще не видал свет.

После ужина Шефер сел за пианино, мадам Ламоль танцевала с Янсеном. Роллинг оставался обычно у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили однообразно. Суровому океану не было конца. Катились волны так же, как миллионы лет тому назад.

Сегодня Гарин, сверх обыкновения, вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с ним по-приятельски, будто ничего и не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре Профсоюзов в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарин восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил.

Со смехом оказал, отряхивая брызги с бородки:

— У меня к вам предложение, Шельга.

— Ну?

— Помните, мы условились играть честную партию?

— Так

— Кстати... Ай, ай... Это ваш подручный угостил меня из-за кустов? На волосок ближе — и череп вдребезги.

— Ничего не знаю...

Гарин рассказал о выстреле на даче Штуфера. Шельга замотал головой.

— Я ни при чем. А жаль, что промахнулся...

— Значит — судьба?

— Да, судьба.

— Шельга, предлагаю вам на выбор, — глаза Гарина, неумолимые и колючие, приблизились, лицо сразу стало злым, — либо вы бросьте разыгрывать из себя принципиального человека... либо я вас вышвырну за борт. Поняли?

— Понял.

— Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел... Мы можем договориться... Единственный человек, кому я верю, — это вам.

Он не договорил, гребень огромной волны, выше прежних, обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик. Шельгу бросило на перила, его выкаченные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой... Гарин кинулся в водоворот.

86

Шельга не раз впоследствии припоминал этот случай.

Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с волнами, покуда они не пронеслись через яхту. Шельга оказался висющим за перилами мостика. Легкие его были полны воды. Он тяжело упал на палубу. Матросы с трудом откачали его и унесли в каюту.

Туда же вскоре пришел и Гарин, переодетый и веселый. Приказал подать два стаканчика грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор.

Шельга рассматривал его насмешливое лицо, ловкое тело, развалившееся в кожаном кресле. Станный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный авантюрист... Но от грога ли или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что Гарин вот так сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока «Аризоны» от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз и вверх, то Шельга на койке, то Гарин в кресле...

Гарин сильно изменился после Ленинграда, — весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывают очень умные, убежденные эгоисты.

— Зачем вы пропустили удобный случай? — просил его Шельга. — Или вам до зарезу нужна моя жизнь? Не понимаю.

Гарин закинул голову и засмеялся весело:

— Чудак вы, Шельга... Зачем же я должен поступать логично?... Я не учитель математики... До чего ведь дожили... Простое проявление человечности — и непонятно. Какая мне выгода была тащить за волосы утопающего? Да никакая... Чувство симпатии к вам... Человечность...

— Когда взрывали анилиновые заводы, кажется, не думали о человечности.

— Нет! — крикнул Гарин. — Нет, не думал. Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали... Ах, Шельга, Шельга... Что это за полочки: на этой полочке — хорошее, на этой — плохое... Я понимаю, дегустатор: пробует, плюет, жует корочку, — это, говорит, вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырышками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Какими пупырышками он это пробует?

— Все, что ведет к установлению на земле советской власти, — хорошо, — проговорил Шельга, — все, что мешает, — плохо.

— Превосходно, чудно, знаю... Ну, а вам-то до этого какое дело? Чем вы связаны с Советской республикой? Экономически? Вздор. — Я вам предлагаю жалованье в пятьдесят тысяч долларов... Говорю совершенно серьезно. Пойдете?

— Нет, — спокойно сказал Шельга.

— То-то что нет... Значит, связаны вы не экономически, а идеей, честностью: словом, материей высшего порядка. И вы злостный моралист, что я и хотел вам доказать... Хотите мир перевернуть... Очищаете от тысячелетнего мусора экономические законы, взрываете империалистические крепости. Ладно. Я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения.

— Ого!

— Наперекор всему, заметьте, Шельга. Слушайте, да что же такое человек, в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это — мозг, божественный аппарат для выработки особой, таинственной материи — мысли, — материи, один микрон которой вмещает в себя всю вселенную... Ну? Вот — то-то...

Гарин уселся глубже, поджал ноги. Всегда бледные щеки его зарумянились.

— Я предлагаю другое. Враг мой, слушайте... Я овладеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна труба не задымит без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинено, — вплоть до права дышать, — центру. В центре — я. Мне принадлежит все. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках: с бородкой, в веночке, а на обратной стороне профиль мадам Ламоль. Затем я отбираю «первую тысячу», — скажем, это будет что-нибудь около двух-трех миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Этих назовем для вежливости — трудовиками...

— Ну, разумеется...

— Хихикать, друг мой, будете по окончании разговора... Они не взбунтуются, нет, дорогой товарищ. Возможность революций будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом... Небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась голова, — очнулся, и он уже раб. И, наконец, отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти трудовики работают и служат безропотно за пищу, как лошади. Они уже не люди, у них нет иной тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, переваривая пищу. А избранные патриции — это уже полубожества. Хотя я презираю,

вообще-то говоря, людей, но приятнее находиться в хорошем обществе. Уверяю вас, дружище, это и будет самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производится отбор лучших. Борьбы за существование нет: она — в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса — новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочь на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в десять лет... К черту! — скорее, чем в десять лет... Для немногих... Но дело не в числе...

— Фашистский утопизм, довольно любопытно, — сказал Шельга. — Роллингу вы об этом рассказывали?

— Не утопия, — вот в чем весь курьез. Я только логичен... Роллингу я, разумеется, ничего не говорил, потому что он просто животное... Хотя Роллинг и все Роллинги на свете вслепую делают то, что я развиваю в законченную и четкую программу. Но делают это варварски, громоздко и медленно. Завтра, надеюсь, мы будем уже на острове... Увидите, что я не шучу...

— С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить?

— Ишь ты, как эта бородка вас задела. Нет. Я начну с обороны. Укреплять остров. И одновременно бешеным темпом пробиваться сквозь Оливиновый пояс. Первая угроза миру будет, когда я повалю золотой паритет¹. Я смогу добывать золото в любом количестве. Затем перейду в наступление. Будет война — страшнее четырнадцатого года. Моя победа обеспечена. Затем — отбор оставшегося после войны и моей победы населения, уничтожение непригодных элементов, и мною избранная раса начинает жить, как боги, а трудовики начинают работать не за страх, а за совесть, довольные, как первые люди в раю. Ловко? А? Не нравится?

Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза, чтобы не глядеть на него. Игра, начатая на бульваре Профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. Во всяком случае, самое неверное было бы сейчас ответить Гарину отказом. Шельга потянулся за папиросами, Гарин с усмешкой наблюдал за ним.

— Решили?

— Да, решил.

— Великолепно. Я раскрываю карты: вы мне нужны, как кремень для огнива. Шельга, я окружен тупым зверьем. Людьями без фантазии. Мы будем с вами ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда мы будем бить Роллингов... Кстати, предупреждаю, бойтесь Роллинга, он упрям, и если решил вас убить, — убьет.

¹ Постоянная стоимость золота во всем мире. Задача Гарина обесценить золото, чтобы внести хаос среди денежных магнатов буржуазного мира и овладеть властью.

— Меня давно удивляло, почему вы его не скормили акулам.
— Мне нужен заложник... Но во всяком случае он-то не попадет в список «первой тысячи»...

Шельга помолчал. Спросил спокойно:

— Сифилиса у вас не было, Гарин?

— Представьте — не было. Мне тоже иногда думалось, все ли в порядке в черепашке... Ходил даже к врачу. Рефлексы повышены только. Ну, одевайтесь, идем ужинать.

87

Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Мягкие гребни волн сверкали стеклом. Гнались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркались, маслянистые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана подымались голубоватые, как мираж, очертания скалистого острова.

Сверху — в бочке — матрос крикнул: «Земля». И стоявшие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему несли «Аризону» полные ветра паруса.

Матросы мыли палубу, шлепая босыми ногами. Косматое солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин, пощипывая бородку, силится проникнуть в плену будущего, окутавшую остров. О, если бы знать!..

88

В далеких перспективах Васильевского острова пылал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кранами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных дворцов.

С запада, из-за дымов, по лилово-черной Неве подходил пароход. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны Горного института, Морского училища, лица гуляющих, и он стал ошвартовываться у плавучей, красной с белыми колонками, таможни. Началась обычная суета досмотра.

Пассажир первого класса, смуглый, широкоскулый человек, по паспорту научный сотрудник Французского географического общества, стоял у борта. Он глядел на город, затянутый вечерним туманом. Еще остался свет на куполе Исаакия, на золотых иглах Адмиралтейства и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром как меч, грозящий на морском рубеже России.

Широкоскулый человек вытянул шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован, как путник, увидевший

после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот по темной Неве от крепости долетел торжественный звон: на Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилами императоров куранты играли «Интернационал».

Человек стиснул перила, из горла его вырвалось что-то вроде рычания, он повернулся спиной к крепости.

В таможене он предъявил паспорт на имя Артура Леви и во все время осмотра стоял, хмуро опустив голову, чтобы не выдать злого блеска глаз.

Затем, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком он сошел на набережную Васильевского острова. Сияли осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом. Оглянул спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах да тихо постукивал мотор динамо, и зашагал к мосту.

Какой-то высокий человек в парусиновой блузе медленно шел навстречу. Минуя, взглянул в лицо, прошептал: «Батюшки» — и вдруг спросил вдогонку:

— Волшин, Александр Иванович?

Человек, назвавший себя в таможене Артуром Леви, споткнулся, но, не оборачиваясь, еще быстрее зашагал по мосту.

89

Иван Гусев жил у Тарашкина, был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму.

Мальчишка оказался до того понятливый, упорный, — сердце радовалось. По вечерам напьются чаю с ситником и чайной колбасой, Тарашкин полезет в карман за папиросами, вспомнит, что дал коллективу клуба обещание не курить, — крикнет, взъерошит волосы и начинает разговор:

— Знаешь, что такое капитализм?

— Нет, Василий Иванович, не знаю.

— Объясню тебе в самой упрощенной форме. Девять человек работают, десятый у них все берет, они голодают, он лопаются от жира. Это — капитализм. Понял?

— Нет, Василий Иванович, не понял.

— Чего ты не понял?

— Зачем они ему дают?

— Он заставляет, он эксплуататор...

— Как заставляет? Их девять, он один...

— Он вооружен, они безоружные...

— Оружие всегда можно отнять, Василий Иванович. Это, значит, они нерасторопные...

Тарашкин с восхищением, приоткрывая рот, глядел на Ивана.

— Правильно, брат... Рассуждаешь по-большевистски... Мы в Советской России так и сделали — оружие отняли, эксплуата-

торов прогнали, и у нас все десять человек работают и все сытые...

— Все от жира лопаемся...

— Нет, брат, лопаться от жира не надо, мы не свиньи, а люди. Мы жир должны перегонять в умственную энергию.

— Это чего это?

— А то, что мы в кратчайший срок должны стать самым умным, самым образованным народом на свете... Понятно? Теперь давай арифметику...

— Есть арифметику, — говорил Иван, доставая тетрадь и карандаш.

— Нельзя муслить чернильный карандаш, — это некультурно... Понятно?

Так они занимались каждый вечер, далеко за полночь, покуда у обоих не начинали слипаться глаза.

90

У калитки гребного клуба стоял скуластый, хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ошетинился. Иван прижался к нему. Человек сказал:

— Я жду здесь с утра. Этот мальчик и есть Иван Гусев?

— А вам какое дело? — засопев, спросил Тарашкин.

— Виноват, прежде всего вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Леви.

Он вынул карточку, развернул перед носом у Тарашкина:

— Я сотрудник советского полпредства в Париже. Вам этого довольно, товарищ?

Тарашкин проворчал неопределенное. Артур Леви достал из бумажника фотографию, взятую Гариним у Шельги.

— Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого самого мальчика?

Тарашкину пришлось согласиться. Иван попытался было улизнуть, но Артур Леви жестко взял его за плечо.

— Фотографию мне передал Шельга. Мне дано секретное поручение отвезти мальчика по указанному адресу. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?

— Мандат? — спросил Тарашкин.

Артур Леви показал мандат с бланком советского посольства в Париже, со всеми подписями и печатями. Тарашкин долго читал его. Вздохнув, сложил вчетверо.

— Черт его разберет, будто бы все правильно. А может, кому бы другому вместо него поехать? Мальчишке учиться надо...

Артур Леви зубасто усмехнулся:

— Не бойтесь. Мальчику со мной будет неплохо...

Тарашкин наказал Ивану посылать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку:

«Дорогой товарищ Тарашкин, слава труду, — едем мы ничего себе, в первом классе. Пища хорошая, а также обращение. В Москве Артур Артурович купил мне шапку, новый пиджак на вате и сапоги. Одно — скука заедает: Артур Артурович цельный день молчит. Между прочим, в Самаре на вокзале встретил я одного беспризорного, бывшего товарища. Я ему дал, извините, ваш адрес, наверно, придет, ждите».

Александр Иванович Волшин прибыл в СССР с паспортом на имя Артура Леви и бумагами от Французского географического общества. Все документы были в порядке (в свое время это стоило Гарину немало хлопот), — сфабрикованы были лишь мандат и удостоверение из полпредства. Но эти бумажки Волшин показал только Тарашкину. Официально же Артур Леви приехал для исследования вулканической деятельности камчатских гигантских огнедышащих гор — сопки по местному названию.

В середине сентября он выехал вместе с Иваном во Владивосток. Ящики со всеми инструментами и вещами, нужными для экспедиции, прибыли туда еще заранее морем из Сан-Франциско. Артур Леви торопился. В несколько дней собрал партию, и двадцать восьмого сентября экспедиция отплыла из Владивостока на советском пароходе в Петропавловск. Переход был тяжелый. Северный ветер гнал тучи, сеющие снежной крупой в свинцовые волны Охотского моря. Пароход тяжело скрипел, ныряя в грозной водяной пустыне. В Петропавловск прибыли только на одиннадцатый день. Выгрузили ящики, лошадей и на другие сутки уже двинулись через леса и горы, тропами, руслами ручьев, через болота и лесные чащобы.

Экспедицию вел Иван, — у мальчишки были хорошая память и собачье чутье. Артур Леви торопился: трогались в путь на утренней заре и шли до темноты, без привалов. Лошади выбивались из сил, люди роптали: Артур Леви был неумолим, — он не щадил никого, но хорошо платил.

Погода портилась. Мрачно шумели вершины кедров, иногда слышался тяжелый треск повалившегося столетнего дерева или грохот каменной лавины. Камнями убило двух лошадей, две другие вместе с вьюками утонули в трясине зыбучего болота.

Иван обычно шел впереди, карабкаясь на сопки, влезая на деревья, чтобы разглядеть одному ему известные приметы. Однажды он закричал, раскачиваясь на кедровой ветке:

— Вот он! Артур Артурович, вот он!..

На отвесной скале, висевшей над горной речкой, было видно древнее, высеченное на камне, полустертое временем изображение воина в конусообразной шапке, со стрелой и луком в руках...

— Отсюда теперь на восток, прямо по стреле до Шайтан-камня, а там недалеко лагерь! — кричал Иван.

Здесь стали привалом. Перепаковали выюки. Зажгли большой костер. Утомленные люди заснули. В темноте сквозь шум кедров доносились отдаленные глухие взрывы, вздрагивала земля. И когда огонь костра начал угасать, на востоке под тучами обозначилось зарево, будто какой-то великан раздувал угли между гор и их мрачный отсвет мигал под тучами...

Чуть свет Артур Леви, не отнимавший руки от кобуры маузера, уже расталкивал пинками людей. Он не дал развести огонь, вскипятить чай. «Вперед, вперед!..» Измученные люди побрели через непролазный лес, загроможденный осколками камней. Деревья здесь были необыкновенной высоты. В папоротнике лошади скрывались с головой. У всех ноги были в крови. Еще двух лошадей пришлось бросить. Артур Леви шел сзади, держа руку на маузере. Казалось, еще несколько шагов, — и хоть убивай на месте — никто не сдвинется с места.

По ветру донесся звонкий голос Ивана:

— Сюда, сюда, товарищи, вот он, Шайтан-камень...

Это была огромная глыба в форме человеческой головы, окутанная клубами пара. У ее подножия из земли била, пульсируя, струя горячей воды. С незапамятных времен люди, оставившие путевые знаки на скалах, купались в этом источнике, восстанавливающем силы. Это была та самая «живая вода», которую в сказках приносил ворон, — вода, богатая радиоактивными солями.

93

Весь этот день дул северный ветер, ползли тучи низко над лесом. Печально шумели высокие сосны, гнулись темные вершины кедров, облетали лиственницы. Сыпало крупой из туч, сеяло ледяным дождем. Тайга была пустынна. На тысячу верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками. С каждым днем студенее, страшнее дышал север с беспросветного неба.

Казалось, ничего, кроме важного шума вершин да посвистывания ветра, не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве только за смертью забрел бы в эти места.

Но человек появился. Он был в рыжей рваной дохе, низко подпоясанной веревкой, в разбухших от дождя пимах. Лицо заросло космами нечесанной уже несколько лет бороды, седые волосы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье, огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами. Остановливался, согнувшись, и начинал посвистывать:

— Фють, Машка, Машка... Фють...

Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьяне. Человек зарычал, опустил на камень. Ружье дрожало у него между колен, он уронил голову. Долго спустя опять стал звать: — Машка, Машка...

Мутные глаза его искали среди бурьяна эту единственную надежду — ручного козла: убить его последним оставшимся зарядом, высушить мясо и протянуть еще несколько месяцев, быть может даже до весны.

Семь лет тому назад он искал применения своим гениальным замыслам. Он был молод, силен и беден. В роковой день он встретил Гарина, развернувшего перед ним такие грандиозные планы, что он, бросив все, очутился здесь, у подножия вулкана. Семь лет тому назад здесь был вырублен лес, поставлено зимовище, лаборатория, радиоустановка от маленькой гидростанции. Земляные крыши поселка, просевшие и провалившиеся, виднелись среди огромных камней, некогда выброшенных вулканом, у стены шумящего вершинами мачтового леса.

Люди, с которыми он пришел сюда, — одни умерли, другие убежали. Постройки пришли в негодность, плотину маленькой гидростанции снесло весенней водой. Весь труд семи лет, все удивительные выводы — исследования глубоких слоев земли — Оливинового пояса — должны были погибнуть вместе с ним из-за такой глупости, как Машка — козел, не желающий подходить на ружейный выстрел, сколько его, проклятого, ни зови.

Прежде шуткой бы показалось — пройти в тайге километров триста до человеческого поселения. Теперь ноги и руки изломаны ревматизмом, зубы вывалились от цинги. Последней надеждой был ручной козел, — старик готовил его на зиму. Проклятое животное перетерло веревку и удрало из клетки.

Старик взял ружье с последним зарядом и ходил, подманивая Машку. Близился вечер, темнели гряды туч, злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Надвигалась зима — смерть. Сжималось сердце... Неужели никогда больше ему не увидеть человеческих лиц, не посидеть у огня печи, вдыхая запах хлеба, запах жизни? Старик молча заплакал.

Долго спустя еще раз позвал:

— Машка, Машка...

Нет, сегодня не убить... Старик, кряхтя, поднялся, побрел к зимовищу. Остановился. Поднял голову, — снежная крупа ударила в лицо, ветер трепал бороду... Ему показалось... Нет, нет, — это ветер, должно быть, заскрипел сосной о сосну... Старик все же долго стоял, стараясь, чтобы не так громко стучало сердце...

— Э-э-э-эй, — слабо долетел человеческий голос со стороны Шайтан-камня.

Старик ахнул. Глаза застлало слезами. В разинутый рот било крупой. В надвинувшихся сумерках уже ничего нельзя было различить на поляне...

— Э-э-э-эй, Манцев, — снова долетел срываемый ветром мальчишеский звонкий голос. Из бурьяна поднялась козлиная голова, — Машка подошла к старику и, наставив ушки, тоже прислушивалась к необычным голосам, потревожившим эту пустыню... Справа, слева приближались, звали.

— Э-эй... Где вы там, Манцев? Живы?

У старика тряслась борода, тряслись губы, он разводил руками и повторял беззвучно:

— Да, да, я жив... Это я, Манцев.

.....

Прокопченные бревна зимовища никогда еще не видели такого великолепия. В очаге, сложенном из вулканических камней, пылал огонь, в котелках кипела вода. Манцев втягивал ноздрями давно забытые запахи чая, хлеба, сала.

Входили и выходили громкогласные люди, внося и распаковывая вьюки. Какой-то скуластый человек подал ему кружку с дымящимся чаем, кусок хлеба... Хлеб. Манцев задрожал, торопливо пережевывая его деснами. Какой-то мальчик, присев на корточки, сочувственно глядел, как Манцев то откусит хлеб, то прижмет его к косматой бороде, будто боится: не сон ли вся эта жизнь, ворвавшаяся в его полуразрушенное зимовище.

— Николай Христофорович, вы меня не узнаете, что ли?

— Нет, нет, я отвык от людей, — бормотал Манцев, — я очень давно не ел хлеба.

— Я же Иван Гусев... Николай Христофорович, ведь я все сделал, как вы наказывали. Помните, еще грозились мне голову оторвать.

Манцев ничего не помнил, только тарачился на озаренные пламенем незнакомые лица. Иван стал ему рассказывать про то, как тогда шел тайгой к Петропавловску, прятался от медведей, видел рыжую кошку величиной с телят, сильно ее испугался, но кошка и за ней еще три кошки прошли мимо; питался кедровыми орехами, разыскивая их в беличьих гнездах; в Петропавловске нанялся на пароход чистить картошку; приплыл во Владивосток и еще семь тысяч километров трясся под вагонами в угольных ящиках.

— Я свое слово сдержал, Николай Христофорович, привел за вами людей. Только вы тогда напрасно мне на спине чернильным карандашом писали. Надо было просто сказать: «Иван, даешь слово?» — «Даю». А вы мне на спине написали, может, что-нибудь против советской власти. Разве это красиво? Теперь вы на меня больше не рассчитывайте, я — пионер.

Наклонившись к нему, Манцев спросил, выворачивая губы, хриплым шепотом:

— Кто эти люди?

— Французская ученая экспедиция, говорю вам. Специально меня разыскали в Ленинграде, чтобы вести ее сюда, за вами...

Манцев больно схватил его за плечо:

— Ты видел Гарина?

— Николай Христофорович, бросьте запугивать, у меня теперь за плечами советская власть... Ваша записка на моем горбу попала в надежные руки... Гарин мне ни к чему.

— Зачем они здесь? Что они от меня хотят?.. Я им ничего не скажу. Я им ничего не покажу.

Лицо Манцева багровело, он возбужденно озирался. Рядом с ним на нары сел Артур Леви.

— Надо успокоиться, Николай Христофорович. Кушайте, отдыхайте... Времени у нас будет много, раньше ноября вас отсюда не увезем...

Манцев слез с нар, руки его тряслись...

— Я хочу с вами говорить с глазу на глаз.

Он проковылял к двери, сколоченной из нетесаных, наполовину сгнивших горбылей. Толкнул ее. Ночной ветер подхватил его седые космы. Артур Леви шагнул за ним в темноту, где крутился мокрый снег.

— В моей винтовке последний заряд. — Я вас убью! Вы пришли меня ограбить! — закричал Манцев, трясясь от злости.

— Пойдемте, станем за ветром. — Артур Леви потащил его, прислонил к бревенчатой стене. — Перестаньте бесноваться. Меня прислал за вами Петр Петрович Гарин.

Манцев судорожно схватился за руку Леви. Распухшее лицо его, с вывороченными веками, тряслось, беззубый рот всхлипывал:

— Гарин жив?.. Он не забыл меня? Вместе голодали, вместе строили великие планы... Но все это чепуха, бредни... Что я здесь открыл? — Я прошупал земную кору... Я подтвердил все мои теоретические предположения... Я не ждал таких блестящих выводов... Оливин здесь, — Манцев затопал мокрыми пимами, — ртуть и золото можно брать в неограниченном количестве... Слушайте, короткими волнами я прошупал земное ядро... Там черт знает что делается... Я перевернул мировую науку... Если бы Гарин смог достать сто тысяч долларов, — что бы мы натворили!..

— Гарин располагает миллиардами, о Гарине кричат газеты всего мира, — сказал Леви, — ему удалось построить гиперboloид, он завладел островом в Тихом океане и готовится к большим делам. Он ждет только ваших исследований земной коры, за вами пришлют дирижабль. Если не помешает погода, через месяц мы сможем поставить причальную мачту.

Манцев привалился к стене, долго молчал, уронив голову.

— Гарин, Гарин, — повторил он с душераздирающей укоризной. — Я дал ему идею гиперboloида. Я навел его на мысль об Оливиновом поясе. Про остров в Тихом океане сказал ему я. Он обокрал мой мозг, сгноил меня в проклятой тайге... Что теперь я возьму от жизни? — постель, врача, манную кашу... Гарин, Гарин... Пожиратель чужих идей!..

Манцев поднял лицо к бушующей непогоде:

— Цинга съела мои зубы, лишаи источили мою кожу, я почти слеп, мой мозг отупел... Поздно, поздно вспомнил обо мне Гарин...

Гарин послал в газеты Старого и Нового Света радио о том, что им, Пьером Гарри, занят в Тихом океане, под сто тридцатым градусом западной долготы и двадцать четвертым градусом южной широты, остров площадью в пятьдесят пять квадратных километров, с прилегающими островками и мелями, что этот остров он считает своим владением и готов до последней капли крови защищать свои суверенные права.

Впечатление получилось смехотворное. Островишко в южных широтах Тихого океана был необитаем и ничем, кроме живописности, не отличался. Даже произошла путаница, — кому, собственно, он принадлежит: Америке, Голландии или Испании? Но с американцами долго спорить не приходилось, — поворчали и отступились.

Остров не стоил того угля, который нужно было затратить, чтобы доплыть к нему, но принцип прежде всего, и из Сан-Франциско вышел легкий крейсер, чтобы арестовать этого Пьера Гарри и на острове поставить на вечные времена железную мачту с резиновым звездным флагом Соединенных Штатов.

Крейсер ушел. Про смехотворную историю с Гариным был сочинен фокстрот «Бедный Гарри», где говорилось о том, как маленький, бедный Пьер Гарри полюбил креолку, и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцевали фокстрот, король с королевой вдвоем. И королева просила: «Бедный Гарри, я хочу завтракать, я голодна». В ответ Гарри только вздыхал и продолжал танцевать, — увы, кроме раковин и цветов, у него ничего не было. Но вот пришел корабль. Красавец капитан предложил королеве руку и повел к великолепному завтраку. Королева смеялась и кушала. А бедному Гарри оставалось только танцевать одному... И так далее... Словом, все это были шуточки.

Дней через десять пришло радио с крейсера:

«Стою в виду острова. Высадиться не пришлось, так как получил предупреждение, что остров укреплен. Послал ультиматум Пьеру Гарри, называющему себя владельцем острова. Срок завтра в семь утра. После чего высаживаю десант».

Это было уже забавно, — бедный Гарри грозит кулачком шестидюймовым пушкам... Но ни назавтра, ни в ближайшие дни никаких известий с крейсера больше не поступало.

На последний запрос он не отвечал. Ого! Кое-кто нахмурил брови в военном министерстве.

Затем в газетах появилось сенсационное интервью с Мак Линнеем. Он утверждал, что Пьер Гарри не кто иной, как известный русский авантюрист инженер Гарин, с которым связаны слухи о целом ряде преступлений, в том числе о загадочном убийстве в Вилье Давре, близ Парижа. История с захватом острова тем более удивляет Мак Линнея, что на борту яхты, доставившей на остров Гарина, находился не кто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель треста «Анилин Роллинг». На его средства были произ-

ведены огромные закупки в Америке и Европе и зафрахтованы корабли для перевозки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, Мак Линней молчал, но сейчас он утверждает, что отличительная черта химического короля Роллинга — это исключительное уважение к законам. Поэтому несомненно, что наглый захват острова сделан вне воли Роллинга и доказывает только, что Роллинг содержится в плену на острове и что миллиардером пользуются в целях неслыханного шантажа.

Тут уже шуточки кончились. Попиралось святое святых. Агенты полиции собрали сведения о закупках Гарина за август месяц. Получились ошеломляющие цифры. В то же время военное министерство напрасно разыскивало крейсер, — он исчез. И, ко всему, в газетах было опубликовано описание взрыва анилиновых заводов, рассказанное свидетелем катастрофы, русским ученым Хлыновым.

Начинался скандал. Действительно, под носом у правительства какой-то авантюрист произвел колоссальные военные закупки, захватил остров, лишил свободы величайшего из граждан Америки, и, ко всему, это был безнравственный негодяй, массовый убийца, гнусный изверг.

Телеграф принес еще одно ошеломляющее известие: таинственный дирижабль, новейшего типа, пролетел над Гавайскими островами, опустился в порте Гило, взял бензин и воду, проплыл над Курильскими островами, снизился над Сахалином, в порте Александровском взял бензин и воду, после чего исчез в северо-западном направлении. На металлическом борту корабля были замечены буквы «П» и «Г».

Тогда всем стало ясно: Гарин московский агент. Вот тебе и «бедный Гарри». Палата вотировала самые решительные меры. Флот из восьми линейных крейсеров вышел к «острову Негодяев», как его теперь называли в американских газетах.

В тот же день радиостанции всего мира приняли коротковолновую радиограмму, чудовищную по наглости и дурному стилю:

«Алло! Алло! Говорит станция Золотого острова, именуемого по неосведомленности островом Негодяев. Алло! Пьер Гарри искренне советует правительствам всех стран не совать носа в его внутренние дела. Пьер Гарри будет обороняться, и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого острова, будет подвергнут участи американского легкого крейсера, пущенного ко дну менее чем в пятнадцать секунд. Пьер Гарри искренне советует всему населению земного шара бросить политику и беззаботно танцевать фоксрот его имени».

Плотина в овраге около зимовища была восстановлена. Электростанция заработала. Артур Леви ежедневно принимал нетерпеливые запросы с Золотого острова: готова ли причальная мачта?

Электромагнитные волны, равнодушные к тому, что вызвало их из космического покоя, неслись в эфир, чтобы устремиться в радиоприемники и там, прохрипев в микрофоны бешеным голосом Гарина: «Если через неделю причал не будет готов, я пошлю дирижабль и прикажу расстрелять вас, слышите, Волшин?» — прохрипев это, электромагнитные волны по проводам заземления возвращались в первоначальный покой.

В зимовище у подножия вулкана шла торопливая работа: очищали от порослей большую площадь, валили мачтовые сосны, ставили сужающуюся кверху двадцатипятиметровую башню на трех ногах, глубоко зарытых в землю.

Работали все, выбиваясь из сил, но больше всех суетился и волновался Манцев. Он отъелся за это время, немного окреп, но разум его, видимо, был тронут безумием. Бывали дни, когда он будто забывал обо всем, равнодушный, обхватив руками косматую голову, сидел на нарах. Или, отвязав козла Машку, говорил Ивану:

— Хочешь, я покажу тебе то, чего еще ни один человек никогда не видел.

Держа козла Машку за веревку (козел помогал ему взбираться на скалы), Манцев и за ним Иван начинали восхождение к кратеру вулкана.

Мачтовый лес кончился, выше — между каменными глыбами — рос корявый кустарник, еще выше — только черные камни, покрытые лишаями и кое-где снегом.

Края кратера поднимались отвесными зубцами, будто полуразрушенные стены гигантского цирка. Но Манцев знал здесь каждую щель и, кряхтя, часто присаживаясь, пробирался зигзагами с уступа на уступ. Все же только раз — в тихий солнечный день — им удалось взобраться на самый край кратера. Причудливые зубцы его окружали рыже-медное озеро застывшей лавы. Низкое солнце бросало от зубцов резкие тени на металлические лепешки лавы. Ближе к западной стороне на поверхности лавы возвышался конус, вершина его курилась беловатым дымом.

— Там, — сказал Манцев, указывая скрюченными пальцами на курящийся конус, — там — свищ или, если хочешь, бездна в недра земли, куда не заглядывал человек... Я бросал туда пироксилиновые шашки, — когда на дне вспыхивал разрыв, включал секундомер и высчитывал глубину по скорости прохождения звука. Я исследовал выходящие газы, набирал их в стеклянную реторту, пропускал через нее свет электрической лампы и прошедшие через газ лучи разлагал на призме спектроскопа... В спектре вулканического газа я обнаружил линии сурьмы, ртути, золота и еще многих тяжелых металлов... Тебе понятно, Иван?

— Понятно, валяйте дальше...

— Думаю, что ты все-таки понимаешь больше, чем козел Машка... Однажды, во время особенно бурной деятельности вулкана, когда он плевал и харкал из чудовищно глубоких недр, мне удалось с опасностью для жизни набрать немного газа в реторту... Когда

я спустился вниз, к становищу, вулкан начал швырять под облака пепел и камни величиной с бочку. Земля тряслась, будто спина проснувшегося чудовища. Не обращая внимания на эти мелочи, я кинулся в лабораторию и поставил газ под спектроскоп... Иван и ты, Машка, слушайте...

Глаза у Манцева блеснули, беззубый рот кривился:

— Я обнаружил следы тяжелого металла, которого нет в таблице Менделеева. Через несколько часов в колбе началось его распадение, — колба начала светиться желтым светом, потом голубым и, наконец, пронзительно красным... Из предосторожности я отошел, — раздался взрыв, колба и половина моей лаборатории разлетелись к черту... Я назвал этот таинственный металл буквой *М*. так как мое имя начинается на «М» и имя этого козла тоже начинается на «М». Честь открытия принадлежит нам обоим — козлу и мне... Ты понимаешь что-нибудь?

— Валийте дальше, Николай Христович...

— Металл *М* находится в самых глубоких слоях Оливинового пояса. Он распадается и освобождает чудовищные запасы тепла... Я утверждаю дальше: ядро земли состоит из металла *М*. Но, так как средняя плотность ядра земли всего восемь единиц, приблизительно — плотность железа, а металл *М* вдвое тяжелее его, то, стало быть, в самом центре земли — пустота.

Манцев поднял палец и, поглядев на Ивана и на козла, дико рассмеялся.

— Идем заглянем...

Они втроем спустились со скалистого гребня на металлическое озеро и, скользя по металлическим лепешкам, пошли к дымящемуся конусу. Сквозь трещины вырывался горячий воздух. Кое-где чернели под ногами дыры без дна.

— Машку надо оставить внизу, — сказал Манцев, щелкнув козла в нос, и полез вместе с Иваном на конус, цепляясь за осыпающийся горячий щебень.

— Ложись на живот и гляди.

Они легли на краю конуса, с той стороны, откуда относилось клубы дыма, и опустили головы. Внутри конуса было углубление и посреди него — овальная дыра метров семи диаметром. Оттуда доносились тяжелые вздохи, отдаленный грохот, будто где-то, черт знает на какой глубине, перекатывались камни.

Присмотревшись, Иван различил красноватый свет, он шел из непостижимой глубины. Свет, то помрачаясь, то вспыхивая вновь, разгорался все ярче, — становился малиновым, пронзительным... Тяжелее вздыхала земля, грознее принимались грохотать камни.

— Начинается прилив, надо уходить, — проговорил Манцев. — Этот свет идет из глубины семи тысяч метров. Там распадается металл *М*, там кипят и испаряются золото и ртуть...

Он схватил Ивана за кушак, потащил вниз. Конус дрожал, осыпался, плотные клубы дыма вырывались теперь, как пар из

лопнувшего котла, ослепительно алый свет бил из бездны, окрашивая низкие облака...

Манцев схватил веревку от Машкиного ошейника.

— Бегом, бегом, ребята!.. Сейчас полетят камни...

Раздался тяжелый грохот, отдавшийся по всему скалистому амфитеатру, — вулкан выстрелил каменной глыбой... Манцев и Иван бежали, прикрыв головы руками, впереди скакал козел, волоча веревку...

96

Причальная мачта была готова. С Золотого острова сообщили, что дирижабль вылетел, несмотря на угрожающие показания барометра.

Все эти последние дни Артур вызывал Манцева на откровенный разговор об его замечательных открытиях. Усевшись на нары, подальше от рабочих, он вытащил фляжку со спиртом и подливал Манцеву в чай.

Рабочие лежали на полу на подстилках из хвои. Иногда кто-нибудь из них вставал и подбрасывал в очаг кедровое корневище. Огонь озарял прокопченные стены, усталые, обросшие бородами лица. Ветер бушевал над крышей.

Артур Леви старался говорить тихо, ласково, успокаивающе. Но Манцев, казалось, совсем сошел с ума...

— Слушайте, Артур Артурович, или как вас там... Бросьте хитрить. Мои бумаги, мои формулы, мои проекты глубокого бурения, мои дневники запаяны в жестяную коробку и спрятаны надежно... Я улечу, они останутся здесь, — их не получит никто, даже Гарин. Не отдам даже под пыткой...

— Успокойтесь, Николай Христофорович, вы же имеете дело с порядочными людьми.

— Я не настолько глуп. Гарину нужны мои формулы... А мне нужна моя жизнь... Я хочу каждый день мыться в душистой ванне, курить дорогой табак, пить хорошее вино... Я вставлю зубы и буду жевать трюфели... Я тоже хочу славы! Я ее заслужил!.. Черт вас всех возьми вместе с Гариним...

— Николай Христофорович, на Золотом острове вы будете обставлены по-царски...

— Бросьте. Я знаю Гарина... Он меня ненавидит, потому что весь Гарин выдуман мной... Без меня из него получился бы просто мелкий жулик... Вы повезете на дирижабле мой живой мозг, а не тетрадки с моими формулами.

Иван Гусев, наставив ухо, слушал обрывки этих разговоров. В ночь, когда была готова причальная мачта, он подполз по нарам к Манцеву, лежавшему с открытыми глазами, и зашептал в самое его ухо:

— Николай Христофорович, плюнь на них. Поедем лучше в Ленинград... Мы с Тарашкиным за вами, как за малым ребенком, будем ходить... Зубы вставим... Найдем хорошую жилплощадь, — чего вам связываться с буржуями...

— Нет, Ванька, я погибший человек, у меня слишком необузданные желания, — отвечал Манцев, глядя на потолок, откуда между бревен свешивались клочья закопченного мха. — Семь лет под этой проклятой крышей бушевала моя фантазия... Я не хочу ждать больше ни одного дня...

Иван Гусев давно понял, какова была эта «французская экспедиция», — он внимательно слушал, наблюдал и делал свои выводы.

За Манцевым он теперь ходил как привязанный и эту последнюю ночь не спал: когда начинали слипаться глаза, он совал в нос птичье перо или щипал себя, где больнее.

На рассвете Артур Леви, сердито надев полушубок, обмотав горло шарфом, пошел на радиостанцию — она помещалась рядом в землянке. Иван не спускал глаз с Манцева. Едва Артур Леви вышел, Манцев оглянулся, — все ли спят, — осторожно слез с нар, пробрался в темный угол зимовища, поднял голову. Но, должно быть, глаза его плохо видели, — он вернулся, подбросил в очаг смолья. Когда огонь разгорелся, опять пошел в угол.

Иван догадался, на что он смотрит, — в углу, там, где скрещивались балки сруба, в потолке чернела щель между балками наката, — мох был содран. Это и беспокоило Манцева... Поднявшись на цыпочки, он сорвал с низкого потолка космы черного мха и, кряхтя, заткнул ими щель.

Иван бросил перышко, которым щекотал нос, повернулся на бок, прикрылся с головой одеялом и сейчас же заснул.

Снежная буря не утихала. Вторые сутки огромный дирижабль висел над поляной, пришвартованный носом к причальной мачте. Мачта гнулась и трещала. Сигарообразное тело раскачивалось, и снизу казалось, что в воздухе повисло днище железной баржи. Экипаж едва успевал очищать от снега его борта.

Капитан, перегнувшись с гондолы, кричал стоявшему внизу Артуру Леви:

— Алло! Артур Артурович, какого черта! Нужно сниматься... Люди выбились из сил.

Леви ответил сквозь зубы:

— Я еще раз говорил с островом. Мальчишку приказано привезти во что бы то ни стало.

— Мачта не выдержит...

Леви только пожал плечами. Дело было, конечно, не в мальчишке. Иван пропал этой ночью. О нем никто и не спохватился. Пришвартовывали дирижабль, появившийся на рассвете и долго кружившийся над поляной в снежных облаках. Выгружали продовольствие. (Рабочие экспедиции Артура Леви заявили, что, если не получают вдоволь продовольствия и наградных, распорят дирижаблю брюхо пироксилиновой шашкой.) Узнав, что мальчишка пропал, Артур Леви махнул рукой:

— Неважно.

Но дело обернулось гораздо серьезнее.

Манцев первый влез в гондолу воздушного корабля. Через минуту, чем-то обеспокоенный, спустился на землю по алюминиевой лесенке и заковылял к зимовищу. Сейчас же оттуда донесся его отчаянный вопль. Манцев как бешеный выскочил из облаков снега, размахивая руками:

— Где моя жестяная коробка? Кто взял мои бумаги?.. Ты, ты украл, подлец!

Он схватил Леви за воротник, затряс с такой силой, — у того слетела шапка...

Было ясно: бесценные формулы, то, за чем прилетел сюда дирижабль, унесены проклятым мальчишкой. Манцев обезумел:

— Мои бумаги! Мои формулы! Человеческий мозг не в силах снова создать это!.. Что я передам Гарину? Я все забыл!..

Леви немедленно снарядил погоню за мальчишкой. Люди заворчали. Все же несколько человек согласились. Манцев повел их в сторону Шайтан-камня. Леви остался у гондолы, грызя ногти. Прошло много времени. Двое из ушедших в погоню вернулись.

— Там такое крутит — шагу не ступить...

— Куда вы дели Манцева? — закричал Леви.

— Кто его знает... Отбился...

— Найдите Манцева. Найдите мальчишку... За того и другого по десяти тысяч золотом.

Тучи мрачнели. Надвигалась ночь. Ветер усиливался. Капитан опять начал грозиться — перерезать причал и улететь к черту.

Наконец со стороны Шайтан-камня показался высокий человек в забитой снегом дохе. Он нес на руках Ивана Гусева. Леви кинулся к нему, сорвав перчатку, залез мальчишке под шубенку. Иван будто спал, застывшие руки его плотно прижимали к груди небольшую жестяную коробку с драгоценными формулами Манцева.

— Живой, живой, только застыл маленько, — проговорил высокий человек, раздвигая широкой улыбкой набитую снегом бороду. — Отойдет. Наверх его, что ли? — И, не дожидаясь ответа, понес Ивана в гондолу.

— Ну, что? — крикнул сверху капитан. — Летим?

Артур Леви нерешительно взглянул на него.

— Вы готовы к отлету?

— Есть, — ответил капитан.

Леви еще раз обернулся в сторону Шайтан-камня, где сплошной завесой из помрачневших облаков летел, крутился снег. В конце концов, главное — формулы были бы на борту.

— Летим! — сказал он, вскакивая на алюминиевую лесенку. — Ребята, отдавай концы...

Он отворил горбатую дверцу и влез в гондолу. Наверху причальной мачты начали перерезать пеньковый трос, удерживающий корабль. Застучали, стреляя, моторы. Закрутились винты.

В это время, гонимый метелью, из снежных вихрей выскочил Манцев. Ветер дыбом вздымал его волосы. Протянутые руки хватали улетающие очертания корабля...

— Стойте!.. Стойте!.. — хрипло вскрикивал он. Когда алюминиевая лесенка гондолы поднялась уже на метр над землей, он схватился за нижнюю ступеньку. Несколько человек поймали его за доху, чтобы отодрать. Он отпихнул их ногами. Металлическое днище корабля раскачивалось. Стреляли моторы. Серdito ревели винты. Корабль шел вверх — в крутящиеся снежные облака.

Манцев вцепился, как клещ, в нижнюю ступеньку. Его быстро поднимало... Снизу было видно, как растопыренные ноги его, развеваящиеся полы дохи понеслись в небо.

Далеко ли он улетел, на какой высоте сорвался и упал, — этого уже не видели стоявшие внизу люди.

97

Перегнувшись через окно алюминиевой гондолы, мадам Ламоль глядела в бинокль. Дирижабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним, на глубине тысячи метров, расстилался на необъятную ширину прозрачный сине-зеленый океан. В центре его лежал остров неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга, востока и северо-востока, как брызги около него, темнели окаймленные пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист.

Здесь в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка, лежали грузовые корабли. Зоя насчитала их двадцать четыре, — они походили на жуков, спящих на воде.

Остров был прорезан ниточками дорог, — они сходились у северо-восточной скалистой части его, где сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся тремя террасами к волнам маленькой песчаной бухты.

С южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского меккано: фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки ветряных двигателей. Попыхивали трубы электростанций и водокачек.

В центре этих сооружений чернело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались широкие железные транспортеры, относящие вынутую породу, и дальше в море уходили червяками красные понтоны землечерпалок. Облачко пара не переставая курилось над отверстием шахты.

День и ночь — в шесть смен — шли работы в шахте: Гарин пробивал гранитную броню земной коры. Дерзость этого человека граничила с безумием. Мадам Ламоль глядела на облачко над шахтой, бинокль дрожал в ее руке, золотистой от загара.

По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей дви-

гались по дорогам. Катились автомобили и мотоциклы. В центре острова синело озеро, из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов. Весь восточный склон зеленел изумрудным покровом, — здесь, за изгородами, паслись стада. На северо-востоке перед дворцом, среди скал, пестрели причудливые фигуры цветников и древесных насаждений.

Еще полгода тому назад здесь была пустыня — колючая трава, да камни, серые от морской соли, да чахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений, были вырыты артезианские колодцы, привезены растения, целые деревья.

С высоты гондолы Зоя глядела на заброшенный в океане клочок земли, пышный и сверкающий, омываемый снежной пеной прибоя, любовалась им, как женщина, держащая в руке драгоценность.

98

Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три: храм Дианы Эфесской¹, сады Семирамиды² и медного колосса³ в Родосе. Об остальных воспоминание погружено на дно Атлантического океана.

Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом острове. За ужином в только что отделанном зале дворца, с огромными окнами, раскрытыми дуновению океана, мадам Ламоль поднимала бокал:

— За чудо, за гений, за дерзость!

Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Пусть там, на материках, вопят о нарушении прав. Плевать. Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта, гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже, глубже к неисчерпаемым запасам золота. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клондайка — чушь, кустарный промысел. Золото здесь, под ногами, в любом месте, только прорвись сквозь граниты и кипящий оливин.

В дневниках несчастного Манцева Гарин нашел такую запись: «В настоящее время, то есть когда закончился четвертый ледниковый период и с чрезвычайной быстротой начала развиваться одна из пород животных, лишенных волосяного покрова, способных передвигаться на задних конечностях и снабженных удачным устройством ротовой полости для произношения разнообразных звуков, — земной шар представляет следующую картину.

¹ Знаменитый храм Дианы, древнегреческой богини охоты и луны, в городе Эфесе, сожженный в 356 году до нашего летосчисления.

² Семирамида — легендарная царица, будто бы основавшая Вавилон.

³ Колосс Родосский — исполинская статуя Гелиоса, древнегреческого бога солнца, стоявшая у входа в гавань острова Родоса.

Верхний его покров состоит из застывших гранитов и диоритов толщиной от пяти до двадцати пяти километров. Эта корка снаружи покрыта морскими отложениями и слоями погибшей растительности (уголь) и погибших животных (нефть). Кора лежит на второй оболочке земного шара, — из расплавленных металлов, — на Оливиновом поясе.

Расплавленный Оливиновый пояс местами, как, например, в некоторых районах Тихого океана, подходит близко к поверхности земли, до глубины пяти километров.

Толщина этой второй расплавленной оболочки достигает в настоящее время свыше ста километров и увеличивается на километр в каждые сто тысяч лет.

В расплавленном Оливиновом поясе нужно различать три слоя: ближайший к земной коре — это шлаки, лава, выбрасываемая вулканами; средний слой — оливин, железо, никель, то есть то, из чего состоят метеориты, падающие в виде звезд на землю в осенние ночи, и, наконец, третий — нижний слой — золото, платина, цирконий, свинец, ртуть.

Эти три слоя Оливинового пояса покоятся, как на подушке, на слое сгущенного до жидкого состояния газа гелия, получающегося как продукт атомного распада.

И, наконец, под оболочкой жидкого газа находится земное ядро. Оно твердое, металлическое, температура его около двухсот семидесяти трех градусов ниже нуля, то есть температуры мирового пространства.

Земное ядро состоит из тяжелых радиоактивных металлов. Нам известны два из них, находящиеся в конце таблицы Менделеева, — это уран и торий. Но они сами являются продуктом распада основного, неизвестного до сих пор в природе сверхтяжелого металла.

Я обнаружил его следы в вулканических газах. Это металл *М*. Он в одиннадцать раз тяжелее платины. Он обладает чудовищной силы радиоактивностью. Если один килограмм этого металла извлечь на поверхность земли, — все живое на несколько километров в окружности будет убито, все предметы, покрытые его эманацией¹, будут светиться.

Так как удельный вес земного ядра составляет всего восемь единиц (удельный вес железа), что всегда наводило на ошибочную мысль, будто ядро железное, и так как нельзя предположить, что металл *М* находится в ядре земли под давлением в миллион атмосфер, в пористом состоянии, то нужно сделать единственный вывод:

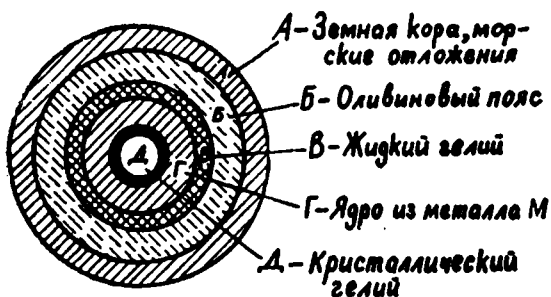
ядро земли представляет пустотелый шар, или бомбу, из металла *М*, наполненную гелием, находящимся вследствие чудовищного давления в кристаллическом состоянии.

В разрезе земной шар таков:

Металл *М*, составляющий ядро земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищ-

¹ Излучением.

ное количество тепла. Ядро земли прогревается. Через несколько миллиардов лет земля должна прогреться насквозь, взорваться, как бомба, вспыхнуть, превратиться в газовый шар диаметром с



орбиту, которую описывает луна вокруг земли, засиять, как маленькая звезда, и затем начать охлаждаться и снова сжиматься до размеров земного шара. Тогда снова возникнет на земле жизнь, через миллиарды лет появится человек, начнется стремительное развитие человечества, борьба за высшее социальное устройство мира.

Земля снова будет не переставая прогреваться атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой.

Это круговорот земной жизни. Их было бесчисленно много и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет. Есть вечное обновление...»

Вот что прочел Гарин в дневнике Манцева.

Верхние края шахты были одеты стальной броней. Массивные цилиндры из тугоплавкой стали опускались в нее по мере ее углубления. Они доходили до того места, где температура в шахте поднималась до трехсот градусов. Это случилось неожиданно, скачком, на глубине пяти километров от поверхности. Смена рабочих и два гиперболоида погибли на дне шахты.

Гарин был недоволен. Опускание и клепка цилиндров тормозили работу. Теперь, когда стены шахты были раскалены, их охлаждали сжатым воздухом, и они, застывая, сами образовывали мощную броню. Их распирали по диагоналям решетчатыми фермами.

Диаметр шахты был невелик — двадцать метров. Внутренность ее представляла сложную систему воздуходушных и отводных труб, креплений, сети проводов, дюралюминиевых колодцев, внутри которых двигались черпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гиперболоиды.

Все приводилось в движение электричеством: подъемные лифты, элеваторы, машины. С боков шахты пробивались пещеры для склада машин и отдыха рабочих. Чтобы разгрузить главную шахту, Гарин повел параллельно ей вторую в шесть метров диаметром, — она соединяла пещеры электрическими лифтами, двигающимися со скоростью пневматического ядра.

Важнейшая часть работ — бурение — происходила согласованным действием лучей гиперболоидов, охлаждения жидким воздухом и отчерпывания породы элеваторами. Двенадцать гиперболоидов особого устройства, берущих энергию от вольтовых дуг с углями из шамотита, пронизывали и расплавляли породу, струи жидкого воздуха мгновенно охлаждали ее, и она, распадаясь на мельчайшие частицы, попадала в черпаки элеваторов. Продукты горения и пары уносились вентиляторами.

100

Дворец с северо-восточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам мадам Ламоль.

Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора. В нем помещалось пятьсот зал и комнат. Главный фасад с двумя широкими мраморными лестницами вырастал из моря. Волны разбивались о ступени и цоколи по сторонам лестниц, где вместо обычных статуй или ваз стояли четыре бронзовые решетчатые башенки, поддерживающие золоченые шары, — в них находились заряженные гиперболоиды, угрожающие подступам с океана.

Лестницы поднимались до открытой террасы, — с нее два глубоких входа, укрепленных квадратными колоннами, вели внутрь дома. Весь каменный фасад, слегка наклоненный, как на египетских постройках, скупо украшенный, с высокими, узкими окнами и плоской крышей, казался суровым и мрачным. Зато фасады, выходившие во внутренний двор, в цветники ползучих роз, вербены, орхидей, цветущей сирени, миндаля и лилиевых деревьев, были построены пышно, даже кокетливо.

Двое бронзовых ворот вели внутрь острова. Это был дом-крепость. Сбоку его на скале возвышалась на сто пятьдесят метров решетчатая башня, соединенная подземным ходом со спальней Гарина. На верхней площадке ее стояли мощные гиперболоиды. Бронированный лифт взлетал к ним от земли в несколько секунд. Всем, даже мадам Ламоль, было запрещено под страхом смерти подходить к основанию башни. Это был первый закон Золотого острова.

В левом крыле дома помещались комнаты мадам Ламоль, в правом — Гарина и Роллинга. Больше здесь никто не жил. Дом предназначался для того времени, когда величайшим счастьем для смертного будет получить приглашение на Золотой остров и увидеть ослепительное лицо властительницы мира.

Мадам Ламоль готовилась к этой роли. Дела у нее было по горло. Создавался этикет утреннего вставания, выходов, малых и больших приемов, обедов, ужинов, маскарадов и развлечений. Широко развернулся ее актерский темперамент. Она любила повторять, что рождена для мировой сцены. Хранителем этикета был намечен знаменитый балетный постановщик — русский эмигрант. С ним заключили контракт в Европе, пожаловали золотой, с бриллиантами на белой ленте, орден «Божественной Зои» и возвели в древнерусское звание постельничего (Chevalier de lit).

Кроме этих внутренних — дворцовых — законов, ею создавались, совместно с Гариным, «Заповеди Золотого века» — законы будущего человечества. Но это были скорее общие проекты и основные идеи, подлежащие впоследствии обработке юристов. Гарин был бешено занят, — ей приходилось выкраивать время. День и ночь в ее кабинете дежурили две стенографистки.

Гарин приходил прямо из шахты, измученный, грязный, пропахший землей и машинным маслом. Он торопливо ел, валился с ногами на атласный диван и закутывался дымом трубки (он был объявлен выше этикета, его привычки — священные и вне подражания). Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромные жемчужины ожерелья, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг снова мог начать лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерд. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта «прохладность» возмущала Зою. Большие ее глаза темнели, по нервной спине пробегала дрожь, низким, ненавидящим голосом она говорила (по-русски, чтобы не поняли стенографистки):

— Вы фат. Вы страшный человек, Гарин. Я понимаю, как можно хотеть содрать с вас с живого кожу, — посмотреть, как вы в первый раз в жизни станете мучиться. Неужели вы никого не ненавидите, никого не любите?

— Кроме вас, — скаля зубы, отвечал Гарин, — но ваша головка набита сумасшедшим вздором... А у меня считаны секунды. Я подожду, когда ваше честолюбие насытится до отвала. Но вы все же правы в одном, любовь моя: я слишком академичен. Идеи, не насыщенные влагой жизни, рассеиваются в пространстве. Влага жизни — это страсть. У вас ее переизбыток.

Он покосился на Зою, — она стояла перед ним, бледная, неподвижная.

— Страсть и кровь. Старый рецепт. Только зачем же именно с меня драть кожу? Можно с кого-нибудь другого. А вам, видимо, очень нужно для здоровья омочить платочек в этой жидкости.

— Я многого не могу простить людям.

— Например, коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами?

— Да. Зачем вы вспоминаете об этом?

— Не можете простить самой себе... За пятьсот франков небось вызывали вас по телефону. Было. Чулочки шелковые штопали поспешно, откусывали нитки вот этими божественными зубками, ког-

да торопились в ресторан. А бессонные ночи, когда в сумочке — два су, и ужас, что будет завтра, и ужас — пасть еще ниже... А собачий нос Роллинга — чего-нибудь да стоит.

С длинной усмешкой глядя ему в глаза, Зоя сказала:

— Этого разговора я тоже не забуду до смерти...

— Боже мой, только что вы меня упрекали в академичности...

— Будет моя власть, повешу вас на башне гиперболоида...

Гарин быстро поднялся, схватил Зою за локти, силой привлек к себе на колени и целовал ее закинутое лицо, стиснутые губы. Обе стенографистки, светловолосые, завитые, равнодушные, как куклы, отвернулись.

— Глупая, смешная женщина, пойми, — такой только тебя люблю... Единственное существо на земле... Если бы ты двадцать раз не умирала во вшивых вагонах, если бы тебя не покупали как девку, — разве бы ты постигла всю остроту дерзости человеческой... Разве бы ты ходила по коврам такой повелительницей... Разве бы я положил к твоим ногам самого себя...

Зоя молча освободилась, движением плеч оправила платье, отошла на середину комнаты и оттуда все еще дико глядела на Гарина. Он сказал:

— Итак, на чем же мы остановились?

Стенографистки записывали мысли. За ночь отпечатавали их и подавали поутру в постель мадам Ламоль.

Для экспертизы по некоторым вопросам приглашали Роллинга. Он жил в великолепных, не совсем еще законченных апартаментах. Выходил из них только к столу. Его воля и гордость были сломлены. Он сильно сдал за эти полгода. Гарина он боялся. С Зоей избегал оставаться с глазу на глаз. Никто не знал (и не интересовался), что он делает целыми днями. Книг он отроду не читал. Записок, кажется, не вел. Говорили, что будто бы он пристрастился коллекционировать курительные трубки. Однажды вечером Зоя видела из окна, как на предпоследней ступени мраморной лестницы у воды сидел Роллинг и, пригорюнясь, глядел на океан, откуда сто миллионов лет тому назад вышел его предок в виде человекообразной ящерицы. Это было все, что осталось от великого химического короля.

Ни потеря трехсот миллионов долларов, ни плен на Золотом острове, ни даже измена Зои не сломили бы его. Двадцать пять лет тому назад он торговал ваксой на улице. Он умел, он любил бороться. Сколько приложено было усилий, таланта и воли, чтобы заставить людей платить ему, Роллингу, золотые кружочки. Европейская война, разорение Европы — вот какие силы были подняты для того, чтобы золото потекло в кассы «Анилин Роллинг».

И вдруг это золото, эквивалент силы и счастья, будут черпать из шахты, как глину, как грязь, элеваторными черпаками в *любом количестве*. Вот тут-то подошвы Роллинга повисли в пустоте, он перестал ощущать себя царем природы — «гомо сапиенсом». Оставалось только — коллекционировать трубки.

Но он все еще, по настоянию Гарина, ежедневно диктовал по радио свою волю директорам «Анилин Роллинг». Ответы их были неопределенны. Становилось ясным, что директора не верят в добровольное уединение Роллинга на Золотом острове. Его спрашивали:

«Что предпринять для вашего возвращения на континент?»

Роллинг отвечал:

«Курс нервного лечения проходит благоприятно».

По его приказу были получены еще пять миллионов фунтов стерлингов. Когда же через две недели он вновь приказал выдать такую же сумму, агенты Гарина, предъявившие чек Роллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континента на Золотой остров. Флот из восьми линейных судов, крейсировавший в Тихом океане близ двадцать второго градуса южной широты и сто тридцатого градуса западной долготы, ожидал только боевого приказа атаковать остров Негодяев.

101

Шесть тысяч рабочих и служащих Золотого острова были набраны со всех концов света. Первый помощник Гарина, инженер Чермак, носивший звание губернатора, разместил рабочую силу по национальностям на пятнадцати участках, отгороженных друг от друга колючей проволокой.

На каждом участке были построены бараки и молельни по возможности в национальном вкусе. Консервы, бисквиты, мармелад, бочонки с капустой, рисом, маринованными медузами, сельдями, сосисками, и прочее, и прочее заказывались (американским заводам) также с национальными этикетками.

Два раза в месяц выдавалась прозодежда, выдержанная в национальном духе, и раз в полгода — праздничные национальные костюмы: славянам — поддевки и свитки, китайцам — сырцовые кофты, немцам — сюртуки и цилиндры, итальянцам — шелковое белье и лакированные ботинки, неграм — набедренники, украшенные крокодильими зубами и бусами, и т. д.

Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чермак организовал штат провокаторов. Их было пятнадцать человек. Они раздували национальную вражду: в будни умеренно, по праздникам вплоть до кулачной потасовки.

Полиция острова из бывших врангелевских офицеров, носивших мундир ордена «Зои» — белого сукна короткую куртку с золотым шитьем и канареечные штаны в обтяжку, — поддерживала порядок, не допуская национальности до взаимного истребления.

Рабочие получали огромное в сравнении с континентом жалованье. Иные посылали его на родину с ближайшим пароходом, иные сдавали на хранение. Расходовать было негде, так как только по праздникам в уединенном ущелье на юго-восточном берегу острова быва-

ли открыты кабаки и Луна-парк. Там же функционировали пятнадцать домов терпимости, выдержанные также в национальном вкусе.

Рабочим было известно, для какой цели пробивается в глубь земли гигантская шахта. Гарин объявил всем, что при расчете он разрешит каждому взять с собой столько золота, сколько можно унести на спине. И не было человека на острове, кто бы без волнения не смотрел на стальные ленты, уносящие породу из земных недр в океан, кого бы не опьянял желтоватый дымок над жерлом шахты.

.....

102

— Господа, наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился, но это, разумеется, не уменьшает опасности. Мы блокированы. Только что получено радио: два наших корабля, груженные фигурным железом для крепления шахты, консервами и мороженой бараниной, захвачены американским крейсером и объявлены призом. Это значит — война началась. С часу на час нужно ждать ее официального объявления. Одна из ближайших моих целей — война. Но она начинается раньше, чем мне нужно. На континенте слишком нервничают. Я предвижу их план: они боятся нас, они будут стараться уморить нас голодом. Справка: продовольствия на острове хватит на две недели, не считая живого скота. В эти четырнадцать дней мы должны будем прорвать блокаду и подвезти консервы. Задача трудная, но выполнимая. Кроме того, мои агенты, предъявившие чеки Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. Триста пятьдесят миллионов долларов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалованье, и, если расплатимся чеками, рабочие взбунтуются и остановят гиперболоид. Стало быть, в продолжение семи дней мы обязаны достать деньги.

Заседание происходило в сумерки в еще не оконченном кабинете Гарина. Присутствовали Чермак, инженер Шефер, Зоя, Шельга и Роллинг. Гарин, как всегда в минуты опасности и умственного напряжения, разговаривал, с усмешечкой покачиваясь на каблуках, засунув руки в карманы. Зоя председательствовала, держа в руке молоточек. Чермак, маленький, нервный, с воспаленными глазами, покашляв, сказал:

— Второй закон Золотого острова гласит: никто не должен пытаться проникнуть в тайну конструкции гиперболоида. Всякий, прикоснувшийся хотя бы к верхнему кожуху гиперболоида, подлежит смертной казни.

— Так, — подтвердил Гарин, — таков закон.

— Для успешного завершения указанных вами предприятий понадобится по крайней мере одновременная работа трех гиперболоидов: один для добычи денег, другой для прорыва блокады, третий для обороны острова. Вам придется сделать исключение из закона для двух помощников.

Наступило молчание. Мужчины следили за дымом сигар. Роллинг сосредоточенно нюхал трубку. Зоя повернула голову к Гарину. Он сказал:

— Хорошо. (Легкомысленный жест.) Опубликуйте. Исключение из второго закона делается для двух людей на острове: для мадам Ламоль и...

Он весело перегнулся через стол и хлопнул Шельгу по плечу:

— Ему, Шельге, второму человеку, доверяю тайну аппарата...

— Ошиблись, товарищ, — ответил Шельга, снимая с плеча руку, — отказываюсь.

— Основание?

— Не обязан объяснять. Подумайте, — сами догадаетесь.

— Я поручаю вам уничтожить американский флот.

— Дело милое, что и говорить. Не могу.

— Почему, черт возьми?

— Как почему?.. Потому что путь скользкий...

— Смотрите, Шельга...

— Смотрю...

У Гарина торчком встала бородка, блеснули зубы. Он сдержался. Спросил тихо:

— Вы что-нибудь задумали?

— Моя линия, Петр Петрович, открытая. Я ничего не скрываю.

Короткий этот разговор был вестен по-русски. Никто, кроме Зои, его не понял. Шельга снова принялся чертить завитушки на бумаге.

Гарин сказал:

— Итак, помощником при гиперболоидах назначаю одного человека — мадам Ламоль. Если вы согласны, сударыня, — «Аризона» стоит под парами, — утром вы выходите в океан...

— Что я должна делать в океане? — спросила Зоя.

— Грабить все суда, которые попадутся на линиях Транспасифик. Через неделю мы должны заплатить рабочим.

103

В двадцать третьем часу с флагманского линейного корабля эскадры североамериканского флота было замечено постороннее тело над созвездием Южного Креста.

Голубоватые, как хвосты кометы, лучи прожекторов, омахивающие звездный небосвод, заматались и уперлись в постороннее тело. Оно засветилось. Сотни подзорных труб рассмотрели металлическую гондолу, прозрачные круги винтов и на борту дирижабля буквы «П» и «Г».

Защелкали огненные сигналы на судах. С флагманского корабля снялись четыре гидроплана и, рыча, стали круто забирать к звездам. Эскадра, увеличивая скорость, шла в кильватерном строе.

Гул самолетов становился все прозрачнее, все слабее. И вдруг воздушный корабль, к которому взвивались они, исчез из поля

зрения. Много подзорных труб было протерто носовыми платками. Корабль пропал в ночном небе, сколько ни щупали прожекторы.

Но вот слабо донеслось туканье пулемета: нащупали. Туканье оборвалось. В небе, перевертываясь, понеслась отвесно вниз блестящая мушка. Смотревшие в трубы ахнули, — это падал гидроплан и где-то рухнул в черные волны. Что случилось?

И снова, — так-так-так-так, — застучали в небе пулеметы, и так же оборвался их стук, и, один за другим, все три самолета пролетели сквозь лучи прожекторов, кубарем, штопорами бухнулись в океан. Заплясали огненные сигналы с флагманского судна. Замигали до самого горизонта огни: что случилось?

Потом все увидели совсем близко бегущее против ветра — поперек кильватерной линии — черное рваное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал: «Берегись, газ. Берегись, газ». Рывкнули зенитные орудия. И сейчас же на палубу, на мостики, на бронебойные башни упали, разорвались газовые бомбы.

Первым погиб адмирал, двадцативосьмилетний красавец, из гордости не надевший маски: схватился за горло и опрокинулся со вздутой, посиневшим лицом. В несколько секунд отравлены были все, кто находился на палубе, — противогазы оказались малодействительны. Флагманский корабль был атакован неизвестным газом.

Командование перешло к вице-адмиралу. Крейсера легли на правый галс и открыли зенитный огонь. Три залпа потрясли ночь. Три зарницы, вырвавшись из орудий, окровавили океан. Три роя стальных дьяволов, визжа слепыми головками, пронеслись черт знает куда и, лопнув, озарили звездное небо.

Вслед за залпами с крейсеров снялись шесть гидропланов, — все экипажи в масках. Было очевидно, что первые четыре аппарата погибли, налетев на отравленную дымовую завесу воздушного корабля. Вопрос теперь касался чести американского флота. На судах погасли огни. Остались только звезды. В темноте слышно было, как бились волны о стальные борта да пели в вышине самолеты.

Наконец-то!.. Так-так-так-так — из серебристого тумана Млечного Пути долетело таканье пулеметов... Затем — будто там откупоривали бутылки. Это началась атака гранатами. В зените засветилось буро-черным светом клубящееся облачко: из него выскользнула, наклонив тупой нос, металлическая сигара. По верхнему гребню ее плясали огненные язычки. Она неслась наклонно вниз, оставляя за собой светящийся хвост, и, вся охваченная пламенем, упала за горизонтом.

Через полчаса один из гидропланов донес, что снизился около горевшего дирижабля и расстрелял из пулемета все, что на нем и около него оставалось живого.

Победа дорого обошлась американской эскадре: погибли четыре самолета со всем экипажем. Отравлено газами насмерть двадцать восемь офицеров, в том числе адмирал эскадры, и сто тридцать два матроса. Обиднее всего при таких потерях было то, что вели-

колелпные линейные крейсера с могучей артиллерией оказались на положении бескрылых пингвинов: противник бил их сверху каким-то неизвестным газом, как хотел. Необходимо было взять реванш, показать действительную мощь морской артиллерии.

В этом духе контр-адмирал в ту же ночь послал в Вашингтон донесение о всех происшествиях морского боя. Он настаивал на бомбардировке острова Негодяев.

Ответ морского министра пришел через сутки: идти к указанному острову и сравнять его с волнами океана.

104

— Ну, что? — вызывающе спросил Гарин, кладя на письменный стол наушники радиоприемника. (Заседание происходило в том же составе, кроме мадам Ламоль.) — Ну, что, милостивые государи?.. Могу поздравить... Блокады больше не существует... Американскому флоту отдан приказ о бомбардировке острова.

Роллинг сотрясся, поднялся с кресла, трубка вывалилась у него изо рта, лиловые губы искривились, точно он хотел и не мог произнести какое-то слово.

— Что с вами, старина? — спросил Гарин. — Вас так волнует приближение родного флота? Не терпится повесить меня на мачте? Или трусили бомбардировки?.. Глупо вам, разумеется, разлететься на мокрые кусочки от американского снаряда. Или совесть, черт возьми, у вас зашевелилась... Ведь, как-никак, воюем на ваши денежки.

Гарин коротко засмеялся, отвернулся от старика. Роллинг, так и не сказав ничего, опустил на место, прикрыл землистое лицо дрожащими руками.

— Нет, господа... Без риска можно наживать только три цента на доллар. Мы идем сейчас на огромный риск. Наш разведочный дирижабль отлично выполнил задачу... Прошу почтить вставанием двенадцать погибших, в том числе командира дирижабля Александра Ивановича Волшина. Дирижабль успел протелефонировать подробно состав эскадры. Восемь линейных крейсеров новейшего типа, вооруженных четырьмя броневыми башнями, по три орудия в каждой. После боя у них должно остаться не менее двенадцати гидропланов. Кроме того, легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки. Если считать удар каждого снаряда в семьдесят пять миллионов килограммов живой силы, залп всей эскадры по острову, в круглых цифрах, будет равен миллиарду килограммов живой силы.

— Тем лучше, тем лучше, — прошептал, наконец, Роллинг.

— Перестаньте хныкать, дедуля, стыдно... Я и забыл, господа, — мы должны поблагодарить мистера Роллинга за любезно предоставленное нам новейшее и пока еще секретнейшее изобретение: газ, под названием «Черный крест». Посредством его наши пилоты опрокинули в воду четыре гидроплана и вывели из строя флагманский корабль...

— Нет, я не предоставлял вам любезно «Черный крест», мистер Гарин! — хрипло крикнул Роллинг. — Под дулом револьвера вы у меня вырвали приказание послать на остров баллоны с «Черным крестом».

Он задохнулся и, шатаясь, вышел. Гарин стал развивать план защиты острова. Нападения эскадры нужно было ожидать на третьи сутки.

105

«Аризона» подняла пиратский флаг.

Это совсем не означало, что на ней взвилось черное с черепом и берцовыми костями романтическое знамя морских разбойников. Теперь разве только на бутылочках с сулемой изображались подобные ужасы.

Флага, собственно, на «Аризоне» не было поднято никакого. Две решетчатые башни с гиперболоидами слишком отличали ее профиль от всех судов на свете. Командовал судном Янсен, подчиненный мадам Ламоль.

Великолепное помещение Зои — спальня, ванная, туалетная, салон — заперто было на ключ. Зоя помещалась наверху, в капитанской рубке, вместе с Янсеном. Прежняя роскошь — синие шелковые тенты, ковры, подушки, кресла — все было убрано. Команда, взятая еще в Марселе, была вооружена кольтами и короткими винтовками. Команде объявлена цель выхода в море и призывы с каждого захваченного судна.

Все свободное помещение на яхте было заполнено бидонами с бензином и пресной водой. При боковом ветре, под всеми парусами, с полной нагрузкой изумительных моторов «Роллс-ройс», «Аризона» летела, как альбатрос, — с гребня на гребень по взволнованному океану.

106

- Ветер подходит к семи баллам, капитан.
- Убрать марсея.
- Есть, капитан.
- Сменять каждый час вахты. Дозорного в бочку на грот.
- Есть, капитан.
- Будут замечены огни, — немедленно будить меня.

Янсен прищурился на непроглядную пустыню океана. Луна еще не восходила. Звезды были затянуты пеленой. За все эти пять суток пути на северо-запад у него не проходило ощущение восторженной легкой дрожи во всем теле. Что ж — пиратством жили прадеды. Он кивком простился с помощником и вошел в каюту.

Когда он вошел, мускулы его тела испытали знакомое сотрясение, обессиливающую отраву. Он неподвижно стоял под матовым

полушарием потолочной лампы. Низкая комфортабельная, отделанная кожей и лакированным деревом капитанская каюта — строгое жилище одинокого моряка — была насыщена присутствием молодой женщины.

Прежде всего здесь пахло духами. Тысяча дьяволов... Предводительница пиратов душилась так, что у мертвого бы заходила селезенка. На спинку стула небрежно кинула фланелевую юбку и золотистый свитер. На пол, прямо на коврик, сброшены чулки вместе с подвязками, — один чулок как будто еще хранил форму ноги.

Мадам Ламоль спала на его койке. (Янсен все эти пять дней, не раздеваясь, ложился на кожаный диванчик.) Она лежала на боку. Губы ее были приоткрыты. Лицо, осмугленное морским ветром, казалось спокойным, невинным. Голая рука закинута за голову. Пиратка!

Тяжелым испытанием было для Янсена это воинственное решение мадам Ламоль поселиться вместе с ним в капитанской каюте. С боевой точки зрения — правильно. Шли на разбой, быть может, — на смерть. Во всяком случае, если бы их поймали, обоих повесили бы рядом на мачте. Это его не смущало, это его даже вдохновляло. Он был подданным мадам Ламоль, королевы Золотого острова. Он любил ее.

Сколько там ни объясняй, любовь — темная история. Янсен видывал и девчонок из портовых кабаков и великолепных леди на пароходах, от скуки и любопытства падавших в его морские объятия. Иных он забыл, как пустую страницу пустой книжонки, иных приятно было вспоминать в часы спокойной вахты, похаживая на мостике под теплыми звездами.

Так и в Неаполе, когда Янсен дождался в курительной звонка мадам Ламоль, было еще что-то похожее на его прежние похождения. Но то, что должно было случиться тогда — после ужина и танцев, не случилось. Прошло полгода, и Янсену теперь дико было даже вспоминать, — неужели вот этой рукой он когда-то в здравой памяти держал спину танцующей мадам Ламоль? Неужели какие-то несколько минут, половина выкуренной папиросы, отделяли его от немислимого счастья. Теперь, услышав с другого конца яхты ее голос, он медленно вздрагивал, точно в нем разражалась тихая гроза. Когда он видел на палубе в плетеном кресле королеву Золотого острова, с глазами, блуждающими по краю неба и воды, у него где-то — за границами разумного — все пело и тосковало от преданности, от влюбленности.

Может быть, причиной всему были викинги, морские разбойники, предки Янсена, — те, которые плавали далеко от родной земли по морям в красных ладьях с поднятой кормой и носом в виде петушиного гребня, с повешенными по бортам щитами, с прямым парусом на ясеновой мачте. У такой мачты Янсен-пращур и пел о синих волнах, о грозowych тучах, о светловолосой деве, о той далекой, что ждет у берега моря и глядит вдаль, — проходят годы, и глаза ее как синее море, как грозowych тучи. Вот из какой давности налетала мечтательность на бедного Янсена.

Стоя в каюте, пахнувшей кожей и духами, он с отчаянием и восторгом глядел на милое лицо, на свою любовь. Он боялся, что она проснется. Неслышно подошел к дивану, лег. Закрыв глаза. Шумели волны за бортом. Шумел океан. Пращур пел давнюю песню о прекрасной деве. Янсен закинул руки за голову, и сон и счастье прикрыли его.

— Капитан!.. (Стук в дверь.) Капитан!

— Янсен! — Встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через мозг. Капитан Янсен вскочил, — вынырнул с одичавшими глазами из сновидений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, оголив плечо.

— Тревога, — сказала мадам Ламоль, — а вы спите...

В дверь опять стукнули, и — голос помощника:

— Капитан, огни с левого борта.

Янсен растворил дверь. Сырой ветер рванулся ему в легкие. Он закашлялся, вышел на мостик. Ночь была непроглядная. С левого борта, вдали, над волнами покачивались два огня.

Не сводя глаз с огней, Янсен пошарил на груди свисток. Свистнул. Ответили боцмана. Янсен скомандовал отчетливо:

— Аврал! Свистать всех наверх! Убрать паруса!

Раздались свистки, крики команды. С бака, с юта повысыпали матросы. Они, как кошки, полезли на мачты, закачались на реях. Заскрипели блоки. Задрав голову, боцман проклял все святое, что есть на свете. Паруса упали. Янсен командовал:

— Право руля! Вперед — полный! Гаси огни!

Идя теперь на одних моторах, «Аризона» сделала крутой поворот. С правого борта взвился гребень волны и покатился по палубе. Огни погасли. В полной темноте корпус яхты задрожал, развивая предельную скорость.

Замеченные огни быстро выростали из-за горизонта. Скоро темным очертанием показалось сильно дымившее судно — двухтрубный пакетбот.

Мадам Ламоль вышла на капитанский мостик. На голову она надвинула вязаный колпачок с помпончиком, на шее — мохнатый шарф, вьющийся за спиной. Янсен подал ей бинокль. Она поднесла его к глазам, но так как сильно качало, пришлось положить руку с биноклем на плечо Янсену. Он слушал, как бьется ее сердце под теплым свитером.

— Нападем! — сказала она и близко, твердо посмотрела ему в глаза.

Метрах в пятистах «Аризона» была замечена с пакетбота. На нем со штурвального мостика замахали фонарем, затем низко завывала сирена. «Аризона» без огней, не отвечая на сигналы, мчалась под прямым углом к освещенному кораблю. Он замедлил ход, начал поворачивать, стараясь избежать столкновения...

Вот как описывал неделю спустя корреспондент «Нью-Йорк геральд» это неслыханное дело:

«...Было без четверти пять, когда нас разбудил тревожный рев сирены. Пассажиры высыпали на палубу. После света кают ночь казалась похожей на чернила. Мы заметили тревогу на капитанском мостике и шарили биноклями в темноте. Никто толком не знал, что случилось. Наше судно замедлило ход. И вдруг мы увидели это... на нас мчался какой-то невиданный корабль. Узкий и длинный, с тремя высокими мачтами, похожий очертаниями на быстроходный клипер, на корме и носу его возвышались странные решетчатые башни. Кто-то в шутку крикнул, что это — «Летучий голландец»... На минуту всех охватила паника. В ста метрах от нас таинственный корабль остановился, и резкий голос оттуда прокричал в мегафон по-английски:

«Остановить машины. Погасить топки».

Наш капитан ответил:

«Раньше чем исполнить приказание, нужно знать, кто приказывает».

С корабля крикнули:

«Приказывает королева Золотого острова».

Мы были ошеломлены, — что это — шутка? Новая наглость Пьера Гарри?

Капитан ответил:

«Предлагаю королеве свободную каюту и сытный завтрак, если она голодна».

Это были слова из фокстрота «Бедный Гарри». На палубе раздался дружный хохот. И сейчас же на таинственном корабле, на носовой башне, появился луч. Он был тонок, как вязальная игла, ослепительно белый, и шел из купола башни, не расширяясь. Никому в ту минуту не приходило в голову, что перед нами самое страшное оружие, когда-либо выдуманное человечеством. Мы были весело настроены.

Луч описал петлю в воздухе и упал на носовую часть нашего пакетбота. Послышалось ужасающее шипение, вспыхнуло зеленоватое пламя разрезаемой стали. Дико закричал матрос, стоявший на юте. Носовая надводная часть пакетбота обрушилась в море. Луч поднялся, задрожал в вышине и, снова опустившись, прошел параллельно над нами. С грохотом на палубу повалились верхушки обеих мачт. В панике пассажиры кинулись к трапам. Капитан был ранен обломком.

Остальное известно. Пираты подъехали на шлюпке, вооруженные короткими карабинами, поднялись на борт пакетбота и потребовали денег. Они взяли десять миллионов долларов, — все, что находилось в почтовых переводах и в карманах у пассажиров.

Когда шлюпка с награбленным вернулась к пиратскому кораблю, на нем ярко осветилась палуба. Мы видели, как с решетчатой башни спустилась высокая худощавая женщина в вязаном колпач-

ке, стремительно взошла на капитанский мостик и приложила ко рту мегафон. Откинувшись, она крикнула нам:

«Можете свободно продолжать путь».

Пиратский корабль сделал поворот и с необычайной быстротой скрылся за горизонтом».

108

События последних дней — нападение на американскую эскадру дирижабля «П. Г.» и приказ по флоту о бомбардировке — взбудоражили все население Золотого острова.

В контору посыпались заявления о расчете. Из сберегательной кассы брали вклады. Рабочие совещались за проволоками, не обращая внимания на желто-белых гвардейцев, с мрачными и решительными лицами шагавших по полицейским тропинкам. Поселок был похож на потревоженный улей. Напрасно завывали медные трубы и бухали турецкие барабаны в овраге перед публичными домами. Луна-парк и бары были пусты. Напрасно пятнадцать провокаторов прилагали нечеловеческие усилия, чтобы разрядить дурное настроение в национальную потасовку. Никто никому в эти дни не хотел сворачивать скул за то только, что он живет за другой проволокой.

Инженер Чермак расклеил по острову правительственное сообщение. Объявлялось военное положение, запрещались сборища и митинги, до особого распоряжения никто не имел права требовать расчета. Население предостерегалось от критики правительства. Работы в шахте должны продолжаться без перебоя день и ночь. «Тех, кто грудью поддержит в эти дни Гарина, — говорилось в сообщении, — тех ожидает сказочное богатство. Малодушных мы сами вышвырнем с острова. Помните, мы боремся против тех, кто мешает нам разбогатеть».

Несмотря на решительный дух этого сообщения, утром, накануне дня, в который ожидалось нападение флота, шахтовые рабочие заявили, что они остановят гиперболоиды и машины жидкого воздуха, если сегодня до полудня не будет выплачено жалованье (это был день получки) и до полудня же не будет послано американскому правительству заявление о миролюбии и о прекращении всяких военных действий.

Остановить машины жидкого воздуха — значило взорвать шахту, быть может, вызвать извержение расплавленной магмы. Угроза была сильна. Инженер Чермак сгоряча пригрозил расстрелом. У шахты стали сосредоточиваться бело-желтые. Тогда сто человек рабочих спустились в шахту, в боковые пещеры и по телефону общили в контору:

«Нам не оставляют иного выхода, кроме смерти, к четырем часам взрываемся вместе с островом».

Все же это была отсрочка на четыре часа. Инженер Чермак убрал из района шахты гвардию и на мотоциклетке помчался во

дворец. Он застал за беседой Гарина и Шельгу. Обоих — красных и встрепанных. Гарин вскочил как бешеный, увидев Чермака.

— У кого вы учились административной глупости?

— Но...

— Молчать... Вы отставлены. Отправляйтесь в лабораторию, к черту или куда хотите... Вы — осел...

Гарин распахнул дверь и вытолкнул Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел Шельга с сигарой в зубах.

— Шельга, настал час, я его предвидел, — один вы можете овладеть движением, спасти дело... То, что началось на острове, опаснее десяти американских флотов.

— Н-да, — сказал Шельга, — давно бы пора понять...

— К черту с вашей политграммой... Я назначаю вас губернатором острова с чрезвычайными полномочиями... Попробуйте отказать, — торопливо забирая на самые верхи, закричал Гарин, кинулся к столу, вытащил револьвер. — Коротко: если нет — я стреляю... Да или нет?

— Нет, — сказал Шельга, косясь на револьвер.

Гарин выстрелил. Шельга поднес руку, державшую сигару, к виску:

— Дермо собачье, сволочь...

— Ага, значит, согласны?

— Положите эту штуку.

— Хорошо. (Гарин швырнул револьвер в ящик.)

— Что вам нужно? Чтобы рабочие не взорвали шахты? Ладно. Не взорвут. Но — условие...

— Заранее согласен.

— Как я был частным лицом на острове, так я и остаюсь. Я вам не слуга и не наемник. Это первое. Все национальные границы сегодня же уничтожить, чтобы ни одной проволоки. Это второе...

— Согласен.

— Шайку ваших провокаторов...

— У меня нет провокаторов, — быстро сказал Гарин.

— Врете...

— Ладно, — вру. Что с ними? Утопить?

— Сегодня же ночью.

— Сделано. Считайте их утопленными. (Гарин быстро помечал карандашом на блокноте.)

— Последнее, — сказал Шельга, — полное невмешательство в мои отношения с рабочими.

— Ой ли? (Шельга сморщился, стал слезать со стола. Гарин схватил его за руку.) Согласен. Придет время, — я вам все равно обломаю бока. Что еще?

Шельга, сощурился, раскуривал сигару, так что за дымом не стало видно его лукавого обветренного лица с короткими светлыми усиками, с приподнятым носом. В это время зазвонил телефон. Гарин взял трубку.

— Я. Что? Радио?

Гарин швырнул трубку и надел наушники. Слушал, кусал ногти. Рот его пополз вкось усмешкой.

— Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала десять миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный дирижабль. «Аризона» всего в четырехстах миллионах на северо-западе.

— Ну что же, это упрощает, — сказал Шельга. Засунув руки в карманы, он вышел.

109

Повиснув на потолочных ремнях так, чтобы ноги не касались пола, зажмурившись и на секунду задержав дыхание, Шельга рухнул вниз в стальной коробке лифта.

Охлаждение параллельной шахты было неравномерным, и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса, — спасала только скорость падения.

На глубине восьми километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера номер тридцать семь. В трехстах метрах глубже нее на дне шахты гудели гиперболоиды и раздавались короткие, непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой сжатым воздухом. Позвякивали, шуршали черпаки элеваторов, уносящие породу на поверхность земли.

Пещера номер тридцать семь, как и все пещеры сбоку главной шахты, представляла собой внутренность железного клепаного куба. За стенками его испарялся жидкий воздух, охлаждая гранитную толщу. Пояс кипящей магмы, видимо, был неглубоко, ближе, чем это предполагалось по данным электромагнитных и сейсмографических разведок. Гранит был накален до пятисот градусов. Остановись хотя бы на несколько минут охлаждающие приборы жидкого воздуха, все живое мгновенно превратилось бы в пепел.

Внутри железного куба стояли койки, лавки, ведра с водой. На четырехчасовой смене рабочие приходили в такое состояние, что их полуживыми укладывали на койки, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздуходувные трубы. Лампочка под клепаным потолком резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица двадцати пяти человек. Семьдесят пять рабочих находились в пещерах выше, соединенные телефонами.

Шельга вышел из лифта. Кое-кто обернулся к нему, но не поздоровались, — молчали. Очевидно, решение взорвать шахту было твердое.

— Переводчика. Я буду говорить по-русски, — сказал Шельга, садясь к столу и отодвигая локтем банки с мармеладом, с английской солью, недопитые стаканы вина. (Всем этим правительство острова щедро снабжало шахтеров.)

К столу подошел синевато-бледный, под щетиной бороды, сутулый, костлявый еврей.

— Я переводчик.

Шельга начал говорить:

— Гарин и его предприятие — не что иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина идти некуда: насильственное превращение трудящейся части человечества в животных путем мозговой операции, отбор избранных — «царей жизни», остановка хода цивилизации. Буржуа пока еще не понимают Гарина, — да он и сам не торопится, чтобы его поняли. Его считают бандитом и захватчиком. Но они в конце концов поймут, что империализм упирается в систему Гарина... Товарищи, мы должны предупредить самый опасный момент: чтобы Гарин с ними не сговорился. Тогда вам придется туго, товарищи. А вы в этой коробке решили умереть за то, чтобы Гарин не ссорился с американским правительством. Как же теперь быть, подумайте? Одолеет Гарин — плохо, одолеют капиталисты — плохо. Гарин с ними сговорится — тогда уже хуже некуда. Вы еще не знаете себе цены, товарищи, — сила на вашей стороне. И через месяц, когда черпаки погонят золото на поверхность земли, это будет на руку не Гарину, а вам, тому делу, которое мы должны совершить на земле. Если вы мне верите, но как верите, — до конца, свирепо, — тогда я — ваш вождь... Выбирайте единогласно... А если не верите...

Шельга приостановился, оглянул угрюмые лица рабочих, устремленные на него немигающие глаза, — сильно почесал в затылке...

— Если не верите, — еще буду разговаривать.

К столу подошел голый по пояс, весь в саже, плечистый юноша. Нагнувшись, посмотрел на Шельгу синими глазами. Поддернул штаны, повернулся к товарищам:

— Я верю.

— Верим, — сказали остальные. Через многоверстную гранитную толщину долетело по телефонам: «Верим, верим».

— Ну, верите, так ладно, — сказал Шельга, — теперь по пунктам: национальные границы к вечеру уберут. Зарплату получите завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворец, — мы без них обойдемся. Пятнадцать душ провокаторов утопим, — это я первым условием поставил. Теперь задача — как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи?

110

Ночью на северо-западе появился блуждающий свет прожекторов. В гавани тревожно завывали сирены. На рассвете, когда море еще лежало в тени, появились первые вестники приближающейся эскадры: высоко над островом закружились самолеты, поблескивая в розовой заре.

Гвардейцы открыли было по ним стрельбу из карабинов, но скоро перестали. Кучками собирались жители острова. Над шахтой продолжал куриться дымок. Били склянки на судах. На большом

транспорте шла разгрузка — береговой кран выбрасывал на берег накрест перевязанные тюки.

Океан был спокоен в туманном мареве. В небе пели воздушные винты.

Поднялось солнце туманным шаром. И тогда все увидели на горизонте дымы. Они ложились длинной и плоской тучей, тянувшейся на юго-восток. Это приближалась смерть.

На острове все затихло, как будто перестали даже петь птицы, привезенные с континента. В одном месте кучка людей побежала к лодкам в гавани, и лодки, нагруженные до бортов, торопливо пошли в открытое море. Но лодок было мало, остров — как на ладони, укрыться негде. И жители стояли в столбняке, молча. Иные ложились лицом в песок.

Во дворце не было заметно движения. Бронзовые ворота заперты. Вдоль красноватых наклонных стен шагали, с карабинами за спиной, гвардейцы в широкополых высоких шляпах, в белых куртках, расшитых золотом. В стороне возвышалась прозрачная, как кружево, башня большого гиперблоида. Восходящая пелена тумана скрывала от глаз ее верхушку. Но мало кто надеялся на эту защиту: буро-черное облако на горизонте было слишком вещественно и угрожающе.

Многие с испугом обернулись в сторону шахты. Там заревел гудок третьей смены. Нашли время работать! Будь проклято золото! Затем часы на крыше замка проббили восемь. И тогда по океану покотился грохот — тяжелые, возрастающие громовые раскаты. Первый залп эскадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве, в звуках налетающих снарядов.

111

Когда раздался залп эскадры, Роллинг стоял на террасе, наверху лестницы, спускающейся к воде. Он вынул изо рта трубку и слушал рев налетающих снарядов: не менее девяноста стальных дьяволов, начиненных мelenитом и нарывным газом, мчались к острову прямо в мозг Роллингу. Они победоносно ревели. Сердце, казалось, не выдержит этих звуков. Роллинг попятился к двери в гранитной стене. (Он давно приготовил себе убежище в подвале на случай бомбардировки.) Снаряды разорвались в море, взлетев водяными столбами. Громыкнули. Недолет.

Тогда Роллинг стал смотреть на вершину сквозной башни. Там со вчерашнего вечера сидел Гарин. Круглый купол на башне вращался, — это было заметно по движениям меридиональных щелей. Роллинг надел пенсне и всматривался, задрав голову. Купол вращался очень быстро — направо и налево. При движении направо видно было, как по меридиональной щели ходит вверх и вниз блестящий ствол гиперблоида.

Самым страшным была та торопливость, с которой Гарин работал аппаратом. И — тишина. Ни звука на острове.

Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Роллинг поправил пенсне на взмокшем носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там расплывались грибами три кучи бело-желтого дыма. Левее их вспучивались лохматые клубы, озарились кроваво, поднялись, и вырос, расплылся четвертый гриб. Докатился четвертый раскат грома.

Пенсне все сваливалось с носа Роллинга. Но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы, как все во-семь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух.

Снова стало тихо на острове, на море и в небе. В сквозной башне сверху вниз мелькнул лифт. Хлопнули двери в доме, послышалось фальшивое насвистывание фокстрота, на террасу выбежал Гарин. Лицо у него было измученное, измятое, волосы — торчком.

Не замечая Роллинга, он стал раздеваться. Сошел по лестнице к самой воде, стащил подштанники цвета семги, шелковую рубашку. Глядя на море, где еще таял дым над местом погибшей эскадры, Гарин скреб себя под мышками. Он был, как женщина, белый телом, сытеный, в его наготе было что-то постыдное и отвратительное.

Он попробовал ногой воду, присел по-бабьи навстречу волне, поплыл, но сейчас же вылез и только тогда увидел Роллинга.

— А, — протянул он, — а вы что, тоже купаться собрались? Холодно, черт его дери.

Он вдруг рассмеялся дребезжащим смешком, захватил одежду и, помахивая подштанниками и не прикрываясь, во всей срамоте пошел в дом. Такого унижения Роллинг еще не переживал. От ненависти, от омерзения сердце его оледенело. Он был безоружен, беззащитен. В эту минуту слабости он почувствовал, как на него легло прошлое, — вся тяжесть истраченных сил, бычьей борьбы за первое место в жизни... И все для того, чтобы мимо него торжествующе прошествовал этот его победитель — голый бесстыдник.

Открывая огромные бронзовые двери, Гарин обернулся:

— Дядя, идем завтракать. Раздавим бутылочку шампанского.

112

Самое странное в дальнейшем поведении Роллинга было то, что он покорно поплелся завтракать. За столом, кроме них, сидела только мадам Ламоль, бледная и молчаливая от пережитого волнения. Когда она подносила ко рту стакан, — стекло дребезжало об ее ровные ослепительные зубы.

Роллинг, точно боясь потерять равновесие, напряженно глядел в одну точку — на золотую бутылочную пробку, сделанную в форме того самого проклятого аппарата, которым в несколько минут были уничтожены все прежние понятия Роллинга о мощи и могуществе.

Гарин, с мокрыми непричесанными волосами, без воротничка, в помятом и прожженном пиджаке, болтал какой-то вздор, жуя устрицы, — залпом выпил несколько стаканов вина:

— Вот теперь только понимаю, до чего проголодался.
— Вы хорошо поработали, мой друг, — тихо сказала Зоя.
— Да. Признаться, одну минуту было страшновато, когда горизонт окутался пушечным дымом... Они меня все-таки опередили... Черти... Возьми они на один кабельтов дальше — от этого дома, чего там — от всего острова остались бы пух и перья...

Он выпил еще стакан вина и, хотя сказал, что голоден, локтем оттолкнул ливрейного лакея, поднесшего блюдо.

— Ну как, дядя? — Он неожиданно повернулся к Роллингу и уже без смеха впился в него глазами. — Пора бы нам поговорить серьезно. Или будете ждать еще более потрясающих эффектов?

Роллинг без стука положил на тарелку вилку и серебряный крючок для омаров, опустил глаза:

— Говорите, я вас слушаю.

— Давно бы так... Я вам уже два раза предлагал сотрудничество. Надеюсь — помните? Впрочем, я вас не виню: вы не мыслитель, вы из породы буйволов. Сейчас еще раз предлагаю. Удивляетесь? Объясню. Я — организатор. Я перестраиваю всю вашу тяжеловесную, набитую глупейшими предрассудками капиталистическую систему. Понятно? Если я не сделаю этого — коммунисты вас съедят с маслом и еще сплунут не без удовольствия. Коммунизм — это то единственное в жизни, что я ненавижу... Почему? Он уничтожает меня, Петра Гарина, целую вселенную замыслов в моем мозгу... Вы вправе спросить, для чего же мне нужны вы, Роллинг, когда у меня под ногами неисчерпаемое золото?

— Да, спрошу, — хрипло проговорил Роллинг.

— Дядя, выпейте стакан джину с кайенским перцем, это оживит ваше воображение. Неужели вы хотя на минуту могли подумать, что я намерен превратить золото в навоз? Действительно, я устрою несколько горячих денечков человечеству. Я подведу людей к самому краю страшной пропасти, когда они будут держать в руках килограмм золота, стоящий пять центов¹.

Роллинг вдруг поднял голову, тусклые глаза молодо блеснули, рот раздвинулся кривой усмешкой...

— Ага! — каркнул он.

— То-то — ага. Поняли, наконец?.. И тогда, в эти дни величайшей паники, мы, то есть я, вы и еще триста таких же буйволов, или мировых негодяев, или финансовых королей, — выбирайте название по своему вкусу, — возьмем мир за глотку... Мы покупаем все предприятия, все заводы, все железные дороги, весь воздушный и морской флот... Все, что нам нужно и что пригодится, — будет наше. Тогда мы взрываем этот остров вместе с шахтой и объявляем, что мировой запас золота ограничен, золото в наших руках и золоту возвращено его прежнее значение — быть единой мерой стоимости.

Роллинг слушал, откинувшись на спинку стула, рот его с золотыми зубами раздвинулся, как у акулы, лицо побагровело.

¹ Около шести копеек.

Так он сидел неподвижно, посверкивая маленькими глазами. Мадам Ламоль на минуту даже подумала: не хватит ли старика удар.

— Ага! — снова каркнул он. — Идея смела... Вы можете рассчитывать на успех... Но вы не учитываете опасности всяких забастовок, бунтов...

— Это учитываю в первую голову, — резко сказал Гарин. — Для начала мы построим громадные концентрационные лагеря. Всех недовольных нашим режимом — за проволоку. Затем — проведем закон о мозговой кастрации... Итак, дорогой друг, вы избираете меня вождем?... Ха! (Он неожиданно подмигнул, и это было почти страшно.)

Роллинг опустил лоб, насупился. Его спрашивали, он обязан был подумать.

— Вы принуждаете меня к этому, мистер Гарин?

— А вы как думали, дядя? На коленях, что ли, прошу? Принуждаю, если вы сами еще не поняли, что уже давно ждете меня как спасителя.

— Очень хорошо, — сквозь зубы сказал Роллинг и через стол протянул Гарину лиловую шершавую руку.

— Очень хорошо, — повторил Гарин. — События развиваются стремительно. Нужно, чтобы на континенте было подготовлено мнение трехсот королей. Вы напишете им письмо о всем безумии правительства, посылающего флот расстреливать мой остров. Вы постараетесь приготовить их к «золотой панике». (Он щелкнул пальцами; подскочил ливрейный лакей.) Налей-ка еще шампанского. Итак, Роллинг, выпьем за великий исторический переворот... Ну что, брат, а Муссолини какой-нибудь — щенок...

Петр Гарин договорился с мистером Роллингом... История была прищпорена, история понеслась вскачь, звеня золотыми подковами по черепам дураков.

113

Впечатление, произведенное в Америке и Европе гибелью тихоокеанской эскадры, было потрясающее, небывалое. Северо-Американские Соединенные Штаты получили удар, отдавшийся по всей земле. Правительство Германии, Франции, Англии, Италии неожиданно с нездоровой нервностью воспрянули духом: показалось, — а вдруг в нынешнем году (а вдруг и совсем) не нужно будет платить процентов распухшей от золота Америке? «Колосс оказался на глиняных ногах, — писали в газетах, — не так-то просто завоевывать мир...»

Кроме того, сообщения о пиратских похождениях «Аризоны» внесли перебой в морскую торговлю. Владельцы пароходов отказывались от погрузки, капитаны боялись идти через океан, страховые общества подняли цены, в банковских переводах произошел

хаос, начались протесты векселей, лопнуло несколько торговых домов, Япония поспешила просунуть на американские колониальные рынки свои дешевые и скверные товары.

Плачевный морской бой обошелся Америке в большие деньги. Пострадал престиж, или, как его называли, «национальная гордость». Промышленники требовали мобилизации всего морского и воздушно-го флотов, — войны до победного конца, чего бы это ни стоило. Американские газеты грозились, что «не снимут траура» (названия газет были обведены траурной рамкой, — это на многих производило впечатление, хотя типографски стоило недорого), куда Пьер Гарри не будет привезен в железной клетке в Нью-Йорк и казнен на электрическом стуле. В города, в обывательскую толщу, проникали жуткие слухи об агентах Гарина, снабженных будто бы карманным инфракрасным лучом. Были случаи избиения неизвестных личностей и мгновенных паник на улицах, в кино, в ресторанах. Вашингтонское правительство гремело словами, но по существу показывало ужасную растерянность. Единственное из всей эскадры судно, миноносец, уцелевший от гибели под Золотым островом, привез военному министру донесение о бое, — подробности настолько страшные, что их побоялись опубликовать. Семнадцатидюймовые орудия были бессильны против световой башни острова Негодяев.

Все эти неприятности заставили правительство Соединенных Штатов созвать в Вашингтоне конференцию. Ее лозунгом было: «Все люди суть дети одного бога, подумаем о мирном процветании человечества».

Когда был опубликован день конференции, редакции газет, радиостанции всего мира получили извещение о том, что инженер Гарин лично будет присутствовать на открытии.

114

Гарин, Чермак и инженер Шефер опускались в лифте в глубину главной шахты. За слюдяными окошками проходили бесконечные ряды труб, проводов, креплений, элеваторных колодцев, площадок, железных дверей.

Миновали восемнадцать поясов земной коры — восемнадцать слоев, по которым, как по слоям дерева, отмечались эпохи жизни планеты. Органическая жизнь начиналась с четвертого «от огня» слоя, образованного палеозойским океаном. Девственные воды его были насыщены неведомой нам жизненной силой. Они содержали радиоактивные соли и большое количество углекислоты. Это была «вода жизни».

На заре последующей — мезозойской — эры из вод его вышли гигантские чудовища. Миллионы лет они потрясали землю криками жадности и похоти. Еще выше, в слоях шахты, находили остатки птиц, еще выше — млекопитающих. А там уже близился ледниковый период — суровое снежное утро человечества.

Лифт опускался через последний, девятнадцатый, слой, произошедший из пламени и хаоса извержений. Это была земля архейской эры — сплошной черно-багровый, мелкозернистый гранит.

Гарин кусал ноготь от нетерпения. Все трое молчали. Было тяжело дышать. На спине у каждого висел кислородный аппарат. Слышался рев гиперолоидов и взрывы.

Лифт вошел в полосу яркого света электрических ламп и остановился над огромной воронкой, собирающей газы. Гарин и Шефер надели резиновые круглые, как у водолазов, шлемы и проникли через один из люков воронки на узкую железную лестницу, которая вела отвесно вниз на глубину пятиэтажного дома. Они начали спускаться. Лестница окончилась кольцевой площадкой. На ней несколько голых по пояс рабочих, в круглых шлемах, с кислородными аппаратами за спиной, сидели на корточках над кожухами гиперолоидов. Глядя вниз, в гудящую пропасть, рабочие контролировали и направляли лучи.

Такие же отвесные, с круглыми прутьями-ступенями лестницы соединяли эту площадку с нижним кольцом. Там стояли охладители с жидким воздухом. Рабочие, одетые с ног до головы в прорезиненный войлок, в кислородных шлемах, руководили с нижней площадки охладителями и черпаками элеваторов. Это было наиболее опасное место работ. Неловкое движение, и человек попадал под режущий луч гиперолоида. Внизу раскаленная порода лопалась и взрывалась в струях жидкого воздуха. Снизу летели осколки породы и клубы газов.

Элеваторы вынимали в час до пятидесяти тонн. Работа шла споро. Вместе с углублением черпаков опускалась вся система — «железный крот», — построенная по чертежам Манцева, верхнее кольцо с гиперолоидами и наверху газовая воронка. Крепления шахты начинались уже выше «крятовой» системы.

Шефер взял с пролетающего черпака горсть серой пыли. Гарин растер ее между пальцами. Нетерпеливым движением потребовал карандаш. Написал на коробке от папирос:

«Тяжелые шлаки. Лава».

Шефер закивал круглым очкастым шлемом. Осторожно передвигаясь по краю кольцевой площадки, они остановились перед приборами, висящими на монолитной стене шахты на стальных тросах и опускающимися по мере опускания всей системы «железного крота». Это были барометры, сейсмографы, компасы, маятники, записывающие величину ускорения силы тяжести на данной глубине, электромагнитные измерители.

Шефер указал на маятник, взял у Гарина коробку от папирос и написал на ней не спеша аккуратным немецким почерком:

«Ускорение силы тяжести поднялось на девять сотых со вчерашнего утра. На этой глубине ускорение должно было упасть до 0,98, вместо этого мы получаем увеличение ускорения на 1,07...»

«Магниты?» — написал Гарин.

Шефер ответил:

«Сегодня с утра магнитные приборы стоят на нуле. Мы опустились ниже магнитного поля».

Уперев руки в колени, Гарин долго глядел вниз, в суживающийся до едва видимой точки черный колодец, где ворчал, вгрызаясь все глубже в землю, «железный крот». Сегодня с утра шахта начала проходить сквозь Оливиновый пояс.

115

— Ну, как, Иван, здоровьишко?

Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком прибрежном домике, у окна, глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней, обмазан светло-желтой глиной. За окном по синему океану шли волны, белея пеной, разбивались о рифы, о прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шельга.

Ивана привезли полумертвым на воздушном корабле. Шельга отходил его с большим трудом. Если бы не свой человек на острове, Иван навряд бы остался жить. Весь он был обморожен, застужен, и, ко всему, душа его была угнетена: поверил людям, старался из последних сил, а что вышло?

— Мне теперь, товарищ Шельга, в Советскую Россию въезда нет, засудят.

— Брось, дурачок. Ты ни в чем не виноват.

Сидел ли Иван на берегу, на камешке, ловил ли крабов или бродил по острову среди чудес, кипучей работы, суетливых чужих людей, — глаза его с тоской нет-нет да и оборачивались на запад, где садился в океан пышный шар солнца, где еще дальше солнца лежала советская родина.

— На дворе ночь, — говорил он тихим голосом, — у нас в Ленинграде — утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился, пошел на работу. В клубе на Крестовке лодки конопатят, через две недели поднятие флага.

Когда мальчик поправился, Шельга начал осторожно объяснять ему положение вещей и увидел, так же как и Тарашкин в свое время, что Иван боек понимать с полуслова и настроен непримиримо, по-советски. Если бы только не скулил он по Ленинграду — золотой был бы мальчишка.

— Ну, Иван, — однажды весело сказал Шельга, — ну, Ванюшка, скоро отправлю тебя домой.

— Спасибо, Василий Витальевич.

— Только надо будет сначала одну штуку отвозить.

— Готов.

— Ты лазить ловок?

— В Сибири, Василий Витальевич, на пятидесятиметровые кедровые лазил за шишками, влезешь, — земли оттуда не видно.

— Когда нужно будет, скажу тебе, что делать. Да зря не шатайся по острову. Возьми лучше удочку, лови морских ежей.

Гарин теперь уверенно двигался в своих работах по плану, найденному в записках и дневниках Манцева.

Черпаки прошли мощный слой магмы. На дне шахты слышался гул кипящего подземного океана. Стены шахты, замороженные в толщину на тридцать метров, образовывали несокрушимый цилиндр, — все же шахта получала такие вздрагивания и колебания, что пришлось бросить все силы на дальнейшее замораживание. Элеваторы выкидывали теперь на поверхность кристаллическое железо, никель и оливин.

Начались странные явления. В море, куда уносились по стальным лентам и понтонам поднятая на поверхность порода, появилось свечение. Оно усиливалось в продолжение нескольких суток. Наконец огромные массы воды, камней, песку вместе с частью понтонов взлетели на воздух. Взрыв настолько был силен, что ураганом снесло рабочие бараки и большая волна, хлынув на остров, едва не залила шахты.

Пришлось перегружать породу прямо на баржи и топить ее далеко в океане, где не прекращались свечение и взрывы. Объяснялось это еще неизвестными явлениями атомного распада элемента *M*.

Не менее странное происходило и на дне шахты. Началось с того, что магнитные приборы, показывавшие еще недавно нулевые деления, внезапно обнаружили магнитное поле чудовищного напряжения. Стрелки поднялись до отказа. Со дна шахты стал исходить лиловатый дрожащий свет. Самый воздух как будто перерождался. Азот и кислород воздуха, бомбардируемые мириадами альфа-частиц, распадались на гелий и водород.

Часть свободного водорода сгорала в лучах гиперболоидов, — по шахте пролетали огненные языки, раздавались точно пистолетные выстрелы. На рабочих загоралась одежда. Шахты потрясали какие-то приливы и отливы в океане магмы. Было замечено, что стальные черпаки и железные части покрываются землисто-красным налетом. В железных частях машин началось бурное распадение атомов. Многие из рабочих были обожжены невидимыми лучами. Все же с прежним упорством «железный крот» продолжал прогрызаться сквозь Оливиновый пояс.

Гарин почти не выходил из шахты. Только теперь он начал понимать все безумие своего предприятия. Никто не мог сказать, на какую глубину залегает слой кипящего подземного океана. Сколько еще километров придется проходить сквозь расплавленный оливин. Одно только было несомненно, — приборы указывали на присутствие в центре земли магнитного твердого ядра чрезвычайно низкой температуры.

Опасность была, что замороженный цилиндр шахты, более плотный, чем расплавленная среда вокруг него, оторвется силой земного тяготения и увлечется к центру. Действительно, в стенках

шахты начали появляться опасные трещины, через них с шипением пробивались газы. Пришлось уменьшить вдвое диаметр шахты и ставить мощные вертикальные крепления.

Много времени заняла установка нового, вдвое меньшего диаметром, «железного крота». Утешительными были только известия с «Аризоны». Ночью яхта, снова начавшая крейсировать под пиратским флагом, ворвалась в гавань Мельбурна, зажгла склады копры, чтобы известить о своем прибытии, и потребовала пять миллионов фунтов. (Для острастки был сбит движением луча бульвар на берегу моря.) В несколько часов город опустел, деньги были уплачены банками. При выходе из гавани «Аризона» была встречена английским стационаром, открывшим огонь. Яхта получила сквозную пробоину шестидюймовым снарядом выше ватерлинии и, в свою очередь, атаковала и искромсала военное судно. Боем командовала мадам Ламоль с верхушки башни гиперболоида.

Это сообщение развеселило Гарина. За последнее время на него нападали мрачные мысли. А вдруг Манцев ошибся в своих расчетах? Так же, как год тому назад в уединенном доме на Петроградской стороне, утомленный мозг его нащупывал возможности спасения, если постигнет неудача с шахтой.

Двадцать пятого апреля, стоя внутри кротовой системы на кольцевой площадке, Гарин наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки, собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действие гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливин и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, восемьдесят первым, по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл галлий. Золото (по атомному весу — 197,2 и номеру — 79) лежало выше ртути по таблице.

То, что произошла катастрофа и золота не оказалось при прохождении сквозь слои металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин и инженер Шефер. Это была катастрофа! Проклятый Манцев ошибся!

Гарин опустил голову. Он ожидал чего угодно, но не такого жалкого конца... Шефер рассеянно протянул перед собой руку, ладонью вверх, ловя падающие из-под воронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, Шефер затопал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски-простоватое лицо его светилось радостью.

— Это же золото! — крикнул он, хохоча. — Мы просто бараньи головы... Золото и ртуть кипят рядом. Что получается? Ртутное золото!.. Глядите же! — Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие драбинки. — В ртути золотистый оттенок. Здесь девяносто процентов червонного золота!

Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились. «Железный крот» был разобран и вынут. Временные фермовые крепления шахты снимались. Вместо них опускали во всю глубину массивные стальные цилиндры, в толще которых пролегалла система охладительных труб.

Нужно было только регулировать температуру, чтобы получить выгораемое снизу раскаленными парами ртутое золото на любой высоте в шахте. Гарин вычислил, что после того, как стальные цилиндры будут опущены до самого дна, ртутное золото можно заставить подняться на всю высоту и черпать его прямо с поверхности земли.

От шахты на северо-восток спешно строился ртутопровод. В левом крыле замка, примыкающем к подножию башни большого гиперболоида, ставили печи и вмазывали фаянсовые тигли, где должно было выпариваться золото.

Гарин предполагал довести на первое время суточную продукцию золота до десяти тысяч пудов, то есть до ста миллионов долларов в сутки.

«Аризоне» был послан приказ вернуться на остров. Мадам Ламоль ответила поздравлением и по радио объявила всем, всем, всем, что прекращает пиратские нападения в Тихом океане.

Незадолго до открытия Вашингтонской конференции в гавань Сан-Франциско вошли пять океанских кораблей. Они мирно подняли голландский флаг и ошвартовались у набережной среди тысячи таких же торговых судов в широком и дымном заливе, залитом летним солнцем.

Капитаны съехали на берег. Все было в порядке. На кораблях сушились матросские подштанники. Мыли палубу. Некоторое изумление у таможенных чиновников вызвал груз на судах под голландским флагом. Но им объяснили, что литые, по пяти килограммов, бруски желтого металла не что иное, как золото, привезенное для продажи.

Чиновники посмеялись над такой забавной шуткой.

— Почем же вы продаете золото? Хе!

— По себестоимости, — ответили помощники капитанов. (На всех пяти кораблях происходил слово в слово один и тот же разговор.)

— А именно?

— По два с половиной доллара за килограмм.

— Недорого цените ваше золото.

— Продаем дешево, товару много, — ответили помощники капитанов, посасывая трубки.

Так чиновники и записали в журналах: «Груз — бруски желтого металла, под названием золото». Посмеялись и ушли. А смеяться совсем было нечему.

Через два дня в Сан-Франциско в утренних газетах, в отделе объявлений, на бело-желтых афишах, расклеенных по рекламным столбам и просто на тротуарах мелом, появилось сообщение:

«Инженер Петр Гарин, считая войну за независимость Золотого острова оконченной и глубоко сожалея о жертвах, понесенных противником, с почтением предлагает жителям Соединенных Штатов, в виде начала мирных торговых сношений, пять кораблей, груженных червонным золотом. Пятикилограммовые бруски золота продаются по цене два с половиной доллара за килограмм. Желаящие могут получить их в табачных, москательных, мелочных лавках, в газетных киосках, у чистильщиков сапог и так далее... Прошу убедиться в подлинности золота, имеющегося у меня в неограниченном количестве. С почтением Гарин».

Разумеется, ни один человек не поверил этим дурацким рекламам. Большинство контрагентов припрятали золотые слитки. Все же город заговорил о Петре Гарине, пирате и легендарном негодяе, снова тревожащем спокойствие честных людей. Вечерние газеты потребовали линчевания Пьера Гарри. В шестом часу вечера праздные толпы устремились в гавань и на летучих митингах выносили резолюцию — потопить гаринские пароходы и повесить команды на фонарных столбах. Полисмены едва сдерживали толпы.

В то же время портовые власти производили расследование. Все бумаги на пяти кораблях оказались в порядке, сами суда не подлежали секвестру, так как владельцем их была известная голландская транспортная компания. Все же власти требовали запрещения торговли брусками, возбуждающими население. Но ни один из чиновников не устоял, когда в карманы брюк ему опустили по два бруска. На зуб, на цвет, на вес — это было самое настоящее золото, хоть тресни. Вопрос о торговле оставили открытым, временно замяли.

В тридцать две редакции ежедневных газет какие-то неразговорчивые моряки втащили по мешку с загадочными брусками. Сказали только: «В подарок». Редакторы возмутились. В тридцати двух редакциях стоял страшный крик. Вызвали ювелиров. Предлагались кровавые меры против наглости Пьера Гарри. Но бруски неизвестно куда исчезли из редакций тридцати двух газет.

За ночь по городу были разбросаны золотые бруски прямо на тротуарах. К девяти часам в парикмахерских и табачных лавках вывесили объявление: «Здесь продается червонное золото по два с половиной доллара за кило».

Население дрогнуло.

Хуже всего было то, что никто не понимал, для чего продают золото по два с половиной доллара за килограмм. Но не купить — значило остаться в дураках. В городе начались давка и безобразие. Многотысячная толпа стояла в гавани перед кораблями и кричала: «Бруски, бруски, бруски!..» Золото продавали прямо на сходнях. В этот день остановились трамваи и подземная дорога. В конторах и казенных учреждениях стоял хаос: чиновники, вместо того чтобы заниматься делами, бегали по табачным лавкам, прося продать бру-

сочек. Склады и магазины не торговали, приказчики разбежались, воры и взломщики хозяйничали по городу.

Прошел слух, будто золото привезено для продажи в ограниченном количестве и больше кораблей с брусками не будет.

На третий день во всех концах Америки началась золотая лихорадка. Тихоокеанские линии железных дорог повезли на запад взволнованных, недоумевающих, сомневающихся, взбудораженных искателей счастья. Поезда брались с бою. Была величайшая расстрянность в этой волне человеческой глупости.

С опозданием, как всегда это бывает, из Вашингтона пришло правительственное распоряжение: «Заградить полицейскими войсками доступ к судам, груженным так называемым золотом, командиров и команды арестовать, суда опечатать». Приказ был исполнен.

Разъяренные толпы людей, прибывшие за счастьем с других концов страны, побросавшие дела, службу, чтобы заполнить раскаленные солнцем набережные Сан-Франциско, где все съестное было уничтожено, как саранчой, — одичавшие люди эти прорвали цепи полисменов, дрались как бешеные револьверами, ножами, зубами, побросали большое количество полисменов в залив, освободили команды гаринских пароходов и установили вооруженную очередь за золотом.

Пришли еще три парохода с Золотого острова. Они стали выгружать связки брусков кранами прямо на набережную, валили их в штабеля. В этом был какой-то нестерпимый ужас. Люди дрожали, глядя из очередей на сокровища, сверкающие прямо на мостовой.

В это время агенты Гарина окончили установку в больших городах уличных громкоговорителей. В субботний день, когда население городов, окончив службу и работу, наполнило улицы, раздался по всей Америке громкий, с варварским акцентом, но необычайно уверенный голос:

«Американцы! С вами говорит инженер Гарин, тот, кто объявлен вне закона, кем пугают детей. Американцы, я совершил много преступлений, но все они вели меня к одной цели: счастью человечества. Я присвоил клочок земли, ничтожный островок, чтобы на нем довести до конца грандиозное и небывалое предприятие. Я решил проникнуть в недра земли к девственным залежам золота. На глубине восьми километров шахта вошла в мощный слой кипящего золота. Американцы, каждый торгует тем, что у него есть. Я предлагаю вам свой товар — золото. Я наживаю на нем десять центов на доллар, при цене два с половиной доллара за килограмм. Это скромно. Но почему мне запрещают продавать мой товар? Где ваша свобода торговли? Ваше правительство попирает священные основы свободы и прогресса. Я готов возместить военные издержки. Я возвращаю государству, компаниям и частным людям все деньги, которые «Аризона» реквизировала на судах и банках в порядке обычаев военного времени. Я прошу только одного — дайте мне свободу торговать золотом. Ваше правительство запрещает мне это, накладывает арест на мои корабли. Я отдаюсь под защиту всего населения Соединенных Штатов».

Громкоговорители были уничтожены полисменами в ту же ночь. Правительство обратилось к благоразумию населения:

«...Пусть верно то, о чем сообщил пресловутый бандит, выходец из Советской России, инженер Гарин. Но тем скорее нужно засыпать шахту на Золотом острове, уничтожить самую возможность иметь неисчерпаемые запасы золота. Что будет с эквивалентом труда, счастья, жизни, если золото начнут копать, как глину? Человечество неминуемо вернется к первобытным временам, к меновой торговле, к дикости и хаосу. Погибнет вся экономическая система, умрут промышленность и торговля. Людям незачем будет напрягать высшие силы своего духа. Умрут большие города. Зарастут травой железнодорожные пути. Погаснет свет в кинематографах и луна-парках. Человек снова кремневым копьём будет добывать себе пропитание. Инженер Гарин — величайший провокатор, слуга дьявола. Его задача — девальвировать доллар. Но этого он не добьется...»

Правительство нарисовало жалкую картину уничтожения золотого паритета. Но благоразумных нашлось мало. Безумие охватило всю страну. По примеру Сан-Франциско в городах останавливалась жизнь. Поезда и миллионы автомобилей мчались на запад. Чем ближе к Тихому океану, тем дороже становились продукты питания. Их не на чем было подвозить. Голодные искатели счастья разбивали съестные лавки. Фунт ветчины поднялся до ста долларов. В Сан-Франциско люди умирали на улицах. От голода, жажды, палящего зноя сходили с ума.

На узловых станциях, на путях валялись трупы убитых при штурме поездов. По дорогам, проселкам, через горы, леса, равнины брели — обратно на восток — кучки счастливцев, таща на спинах мешки с золотыми брусками. Отставших убивали местные жители и шайки бандитов.

Начиналась охота за золотоношами, на них нападали даже с аэропланов.

Правительство пошло, наконец, на крайние меры. Палата вотиновала закон о всеобщей мобилизации возрастов от семнадцати до сорока пяти лет, уклоняющиеся подлежали военно-полевому суду. В Нью-Йорке в кварталах бедноты расстреляли несколько сот человек. На вокзалах появились вооруженные солдаты. Кое-кого хватили, стаскивали с площадок вагонов, стреляли в воздух и в людей. Но поезда отходили переполненными. Железные дороги, принадлежавшие частным компаниям, находили более выгодным не обращать внимания на распоряжение правительства.

В Сан-Франциско прибыли еще пять пароходов Гарина, и на открытом рейде, в виду всего залива, стала на якорь красавица «Аризона» — «гроза морей». Под защитой ее двух гиперболондов корабли разгружали золото.

Вот при каких условиях наступил день открытия Вашингтонской конференции. Месяц тому назад Америка владела половиной всего золота на земном шаре. Теперь, что ни говори, золотой фонд Америки расценивался дешевле ровно в двести пятьдесят раз. С

трудом, с чудовищными потерями, пролив много крови, это еще можно было как-нибудь пережить. Но вдруг сумасшедшему негодяю, Гарину, вздумается продавать золото по доллару за килограмм или по десяти центов. Старые сенаторы и члены палаты ходили с белыми от ужаса глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли разводили руками:

«Это мировая катастрофа, — хуже, чем столкновение с кометой».

«Кто такой инженер Гарин? — спрашивали. — Что ему, в сущности, нужно? Разорить страну? Глупо. Непонятно... Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуйста, если ты самый богатый человек на свете. В конце концов, нам и самим этот демократический строй надоел хуже маргарина... В стране безобразия, разбой, беспорядок, чепуха, — право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой».

Когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, публики в конференц-зале набралось столько, что висели на колоннах, на окнах. Появился президиум. Сели. Молчали. Ждали. Наконец председатель открыл рот, и все, кто был в зале, повернулись к высокой белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошел небольшого роста человек, необычайно бледный, с острой темной бородкой, с темными глазами, обведенными тенью. Он был в сером обыкновенном пиджаке, красный галстук бабочкой, башмаки коричневые, на толстой подошве, в левой руке новые перчатки.

Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, — так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением, он сказал:

— Джентльмены... Я — Гарин... Я принес миру золото...

Весь зал обрушился аплодисментами. Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули:

— Да здравствует мистер Гарин!.. Да здравствует диктатор!..

За окнами миллионная толпа редела, топая в такт подошвами:

— Бруски!.. Бруски!.. Бруски!..

119

«Аризона» только что вернулась в гавань Золотого острова. Янсен докладывал мадам Ламоль о положении вещей на континенте. Зоя была еще в постели, среди кружевных подушек (малый утренний прием). Полутемную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада. Над правой рукой ее работала маникюрша. В другой она держала зеркальце и, разговаривая, недовольно поглядывала на себя.

— Но, мой друг, Гарин сходит с ума, — сказала она Янсену, — он обесценивает золото... Он хочет быть диктатором нищих.

Янсен искоса посматривал на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку:

— Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота.

— Каким образом? Не понимаю.

— Издаст закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уж много. Больше было шума.

— А шахта?

— Шахта будет уничтожена.

Мадам Ламоль нахмурилась. Закурила:

— Ничего не понимаю.

— Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем как уничтожить шахту, будет извлечен запас с таким расчетом, чтобы за Гариным было обеспечено свыше пятидесяти процентов мирового количества золота. Таким образом, паритет если и упадет, то на несколько центов за доллар.

— Превосходно... но сколько же они ассигнуют на мой двор, на мои фантазии? Мне нужно ужасно много.

— Гарин просил вас составить смету. В порядке законодательства вам будет отпущено столько, сколько вы потребуете...

— Но разве я знаю, сколько мне нужно?.. Как это все глупо!.. Во-первых, на месте рабочего поселка, мастерских, складов будут построены театры, отели, цирки. Это будет город чудес... Мосты, как на старинных китайских рисунках, соединят остров с мелями и рифами. Там я построю купальни, павильоны для игр, гавани для яхт и воздушных кораблей. На юге острова будет огромное здание, видное за много миль: «Дом, где почиет гений». Я ограблю все музеи Европы. Я соберу все, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих планов. Я и во сне вижу какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы...

Янсен вытянулся на золоченом стульчике:

— Мадам Ламоль...

— Подождите, — нетерпеливо перебила она, — через три недели сюда приезжает мой двор. Весь этот сброд нужно кормить, развлекать и приводить в порядок. Я хочу пригласить из Европы двух-трех настоящих королей и дюжину принцев крови. Мы привезем папу из Рима на дирижабле. Я хочу быть помазанной и коронованной по всем правилам, чтобы перестали сочинять обо мне уличные фокстроты...

— Мадам Ламоль, — сказал Янсен умоляюще, — я не видал вас целый месяц. Покуда вы еще свободны. Пойдемте в море. «Аризона» отделана заново. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостике под звездами.

Зоя взглянула на него, лицо ее стало нежным. Усмехаясь, протянула руку. Он прижался к ней губами и долго оставался склоненным.

— Не знаю, Янсен, не знаю, — проговорила она, касаясь другой рукой его затылка, — иногда мне начинает казаться, что счастье — только в погоне за счастьем... И еще — в воспоминаниях... Но это в минуты усталости... Когда-нибудь я вернусь к вам, Янсен... Я знаю, вы будете ждать меня терпеливо... Вспомните... Средиземное море, лазурный день, когда я посвятила вас в командоры ордена «Божественной Зои»... (Она засмеялась и сжала пальцами его затылок.) А если не вернусь, Янсен, то мечта и тоска по мне — разве это не счастье? Ах, друг мой, никто не знает, что Золотой остров — это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море, — я задремала на палубе и увидела выходящие из моря лестницы и дворцы, дворцы — один над другим — уступами, один другого прекраснее... И множество красивых людей, моих людей, моих, понимаете. Нет, я не успокоюсь, покуда не построю приснившийся мне город. Знаю, верный друг мой, вы предлагаете мне себя, капитанский мостик и морскую пустыню взамен моего сумасшедшего бреда. Вы не знаете женщин, Янсен... Мы легкомысленны, мы расточительны... Я вышвырнула, как грязные перчатки, миллиарды Роллинга, потому что все равно они не спасли бы меня от старости, от увядания... Я побежала за нищим Гариним. У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты. Но любила я его одну только ночь... С той ночи я не могу больше любить, как вы этого хотите. Милый, милый Янсен, что же мне делать с собой? — Я должна лететь в эту головокружительную фантазию, покуда не остановится сердце... (Он поднялся со стула, она вдруг ухватила за его руку.) Я знаю — один человек на свете любит меня. Вы, вы, Янсен. Разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу: «Янсен, спасите меня от меня самой...»

120

В белом домике на берегу уединенной бухты Золотого острова всю ночь шли горячие споры. Шельга прочел наспех набросанное им воззвание:

«Трудящиеся всего мира! Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, груженные золотом.

Капитализм зашатался: золото обесценивается, все валюты летят кувырком, капиталистам нечем платить своим наемникам — полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибунам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции.

Но инженер Гарин, нанесший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюры была революция.

Гарин идет к власти. Гарин ломает на своем пути сопротивление капиталистов, еще недостаточно ясно понявших, что Гарин — новое орудие борьбы с пролетарской революцией.

Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов.

Они объявят его диктатором и вождем. Он присвоит себе половину мирового золота и тогда прикажет засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено.

Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит все человечество и людей превратит в рабов.

Трудящиеся всего мира! Час решительной борьбы настал. Об этом объявляет Революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболами переходит в распоряжение восставших всего мира. Неисчерпаемые запасы золота отныне в руках трудящихся.

Гарин со своей шайкой будет жестоко защищаться. Чем скорее мы перейдем в наступление, тем вернее наша победа».

Не все члены Революционного комитета одобрили это воззвание, — часть из них колебалась, испуганная смелостью: удастся ли так быстро поднять рабочих? Удастся ли достать оружие? У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооруженная боевыми газами и пулеметами... Не лучше ли выждать или, уж в крайней мере, начать со всеобщей забастовки?..

Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся:

— Революция — это высшая стратегия. А стратегия — наука побеждать. Побеждает тот, кто берет инициативу в свои руки, кто смел. Спокойно взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы... Поднять восстание нам удастся, если мы напряжем все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена потому, что победить хочет все трудящееся человечество, а мы — его передовой отряд. Так говорят большевики. А большевики не знают поражений.

При этих его словах рослый парень с голубыми глазами — шахтер, молчавший во все время спора, вынул изо рта трубку.

— Баста! — сказал он густым голосом. — Довольно болтовни. За дело, ребята!..

121

Седой рослый камердинер, в ливрейном фраке и в чулках, беззвучно вошел в опочивальню, поставил чашку шоколаду и бисквиты на ночной столик и с тихим шелестом раздвинул шторы на окнах. Гарин раскрыл глаза:

— Папиросу.

От этой русской привычки — курить натошак — он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении натошак некоторый признак безнравственности.

В ежедневных фельетонах вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя; отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, осно-

ванные на духовном общении; оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из библии; некоторые его резкие поступки (история в Вилль Давре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и др.) объяснялись одни — роковой случайностью, другие — неосторожным обращением с гиперболоидом, во всяком случае великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лоно церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи (между протестантской и католической церквями уже началась борьба за Петра Гарина), и, наконец, ему приписывали увлечение с детства по крайней мере десятью видами спорта.

Выкурив толстую папиросу, Гарин покосился на шоколад. Будь это в прежнее время, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздернуть нервы, но пить диктатору полумира с утра коньяк! Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся, как наполеоновская гвардия, вокруг его трона.

Морщась, он хлебнул шоколаду. Камердинер, с торжественной грустью стоявший у дверей, спросил вполголоса:

— Господин диктатор разрешит войти личному секретарю?

Гарин лениво сел на кровати, натянул шелковую пижаму:

— Просите.

Вошел секретарь, достойно три раза — у дверей, посреди комнаты и близ кровати — поклонился диктатору. Пожелал доброго утра. Чуть-чуть покосился на стул.

— Садитесь, — сказал Гарин, зевнув так, что щелкнули зубы.

Личный секретарь сел. Это был одетый во все темное, средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в Новом Свете и, как думал Петр Петрович, был приставлен к нему крупными финансистами в виде шпиона.

— Что нового? — спросил Гарин. — Как золотой курс?

— Поднимается.

— Туговато все-таки. А?

Секретарь меланхолично поднял веки:

— Да, вяло. Все еще вяло.

— Мерзавцы!

Гарин сунул босые ноги в парчовые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни:

— Мерзавцы, сукины дети, ослы!

Невольно левая рука его полезла за спину, большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической: он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника, — казалось, прислушивался к шагам истории.

— Мерзавцы! — последний раз повторил Гарин. — Медленность поднятия курса я понимаю как недоверие ко мне. Мне! Вы

понимаете? Я издам декрет о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни... Пишите.

Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад Авроры, летящей среди облаков и амуров на потолке, начал диктовать:

«От сего числа постановлением сената...»

Покончив с этим делом, он выкурил вторую папиросу. Бросил окурок в недопитую чашку шоколада. Спросил:

— Еще что нового? Покушений на мою жизнь не обнаружено?

Длинными пальцами с длинными отполированными ногтями секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочел его, перевернул, опять перевернул:

— Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полицией раскрыты два новых покушения на вас, сэр.

— Ага! Очень хорошо. Обнародовать в печати. Кто же это такие? Надеюсь, толпа сама расправилась с негодьями? Что?

— Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек, с виду рабочий, в карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в пятьсот граммов. К сожалению, было уже поздно, парк малолюден, и только несколькими прохожим, узнавшим, что покушаются на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан.

— Эти прохожие были все же частные лица или агенты?

У секретаря затрепетали веки, он чуть-чуть усмехнулся уголком рта — единственной во всей Северной Америке, неподражаемой улыбкой:

— Разумеется, сэр, это были частные лица, честные торговцы, преданные вам, сэр.

— Узнать имена торговцев, — продиктовал Гарин, — в печати выразить им мою горячую признательность. Покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помиую.

— Второе покушение произошло также в парке, — продолжал секретарь. — Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей опочивальни, сэр. При даме найден небольшой револьвер.

— Молоденькая?

— Пятидесяти трех лет. Девица.

— И что же толпа?

— Толпа ограничилась тем, что сорвала с нее шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку. Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъяренной толпы.

— Выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывезти за пределы Соединенных Штатов. В печати говорить глухо об этом инциденте. Что еще?

.....

Без пяти девять Гарин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его четырем помощникам. Он сел в особое, вроде зубврачебного, кресло, покрытое льняной простыней, перед тройным

зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне, над ногтями обеих рук запорхали пилочками, ножичками, замшевыми подушечками две блондинки, над ногтями ног — две искуснейшие мулатки. Волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причесаны так, что стало незаметно плешу. Брадобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, напудрил и надушил лицо и голову различными духами: шею — запахом роз, за ушами — шипром, виски — «Букетом Вернэ», около губ — «Веткой яблони» («Греб эпл»), бородку — тончайшими духами «Сумерки».

После всех этих манипуляций диктатора можно было обернуть шелковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гарин с трудом дотерпел до конца, он подвергался этим манипуляциям каждое утро, и в газетах писали о его «четверти часа после ванны». Делать было нечего.

Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и давешний камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволочи-репортеры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было умение выбрать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь вполголоса по-русски, сам завязал его.

Следуя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал:

«Так долго не выдержать, вот черт, навязали режим».

За завтраком (опять-таки ни капли алкоголя) диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На севрском подносе лежали сотни три писем. Жуя копченую поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, варенную на воде без соли (утренняя пища спортсменов и нравственных людей), Гарин брал наугад хрустящие конверты. Распечатывал грязной вилкой, мельком прочитывал:

«Мое сердце бьется, от волнения моя рука едва выводит эти строки... Что вы подумаете обо мне? Боже! Я вас люблю. Я полюбила вас с той минуты, когда увидела в газете (наименование) ваш портрет. Я молода. Я дочь достойных родителей. Я полна энтузиазма стать женой и матерью...»

Обычно прилагалась фотографическая карточка. Все это были любовные письма со всех концов Америки. От фотографий (за месяц их накопилось несколько десятков тысяч) этих мордашек с пышными волосами, невинными глазами и глупыми носиками становилось ужасно, смертельно скучно. Прodelать головокружительный путь от Крестовского острова до Вашингтона, от нетопленной комнаты в уединенном доме на Петроградской, где Гарин ходил из угла в угол, сжимая руку и разыскивая почти несуществующую лазейку спасения (бегство на «Бибигонде»), до золотого председательского кресла в сенате, куда он через двадцать минут должен ехать... Ужаснуть мир, овладеть подземным океаном золота, добиться власти мировой — все только затем, чтобы попасть в ловушку филистерской скучайшей жизни.

— Тыфу ты, черт!

Гарин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошел до самого верха. Диктатор. Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда? И зачем? К Зое? Ах, Зоя! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую, теплую ночь в старенькой гостинице в Вилль Давре. Тогда, под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк, зародилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борьбы. Тогда легко было сказать, — брошу к твоим ногам мир... И вот Гарин — победитель. Мир — у ног. Но Зоя — далекая, чужая, мадам Ламоль, королева Золотого острова. У кого-то другого кружится голова от запаха ее волос, от пристального взгляда ее холодных, мечтательных глаз. А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая, глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Вилль Давре, отлетел от него... Издавай декреты, выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях... Вот черт!.. Хорошо бы потребовать коньяку...

Он обернулся к лакеям, стоявшим, как чучела в паноптикуме, в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперед, один склонился вопросительно, другой проговорил бесполом голосом:

— Автомобиль господина диктатора подан.

.....

В сенат диктатор вошел, нагло ступая каблуками. Сев в золоченое кресло, проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов сфотографировали и киносняли его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в ложах для публики отдались ему энтузиастическими взглядами.

Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы: лорда Нижне-Уэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и соимператора Всероссийского. От Северо-Американских Соединенных Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание «Бизмен оф готт», что, в переводе на русский язык, значило: «Купчина божьей милостью».

Гарин благодарил. Он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и уважаемые плечи, сидящие перед ним амфитеатром в двусветном зале. Но он понимал, что не плюнет, но сейчас встанет и поблагодарит.

«Подождите, сволочи, — думал он, стоя (бледный, маленький, с острой бородкой) перед аплодирующим ему амфитеатром, — поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысяче...» Но и сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам, и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчины он ничего такого решительного не поднесет... А на банкет сейчас поедет из зала сената...

На улице автомобиль диктатора приветствовали криками. Но присмотреться — кричали все какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицейских, — Гарин раскланивался и помахивал рукой, затянутой в лимонную перчатку. Эх, не родись он в России, не переживи он революции, наверное, переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гип, гип» и бросанием бутоньерок свои верноподданнейшие чувства, доставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился: «Дешевка, дешевка, заткните глотки, скоты, радоваться нечему». Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук (дочерей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей) осыпали его цветами.

Взбегая по лестнице, он посылал воздушные поцелуйчики направо и налево. В зале грянула музыка в честь божьего купчины. Он сел, и сели все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталем. У каждого прибора лежало по одиннадцати серебряных ножей и одиннадцати вилок различных размеров (не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спаржи). Нужно было не ошибиться, — каким ножом и вилок что есть.

Гарин скрипнул зубами от злости: аристократы, подумаешь, — из двухсот человек за столом три четверти торговали селедками на улице, а теперь иначе как при помощи одиннадцати вилок им неприлично кушать! Но глаза были устремлены на диктатора, и он и на этот раз подчинился общественному давлению — держал себя за столом образцово.

После черепахового супа начались речи. Гарин выслушивал их стоя, с бокалом шампанского. «Напьюсь!» — зигзагом проносилось в голове. Напрасная попытка.

Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает библию.

Между третьим сладким и кофе он ответил на речи:

«Господа, власть, которой вы меня облекли, я принимаю как перст божий, и священный долг моей совести повелевает употребить эту небывалую в истории власть на расширение наших рынков, на пышный расцвет нашей промышленности и торговли и на подавление безнравственных попыток черни к ниспровержению существующего строя...» И так далее...

Речь произвела отрадное впечатление. Правда, по окончании ее диктатор прибавил, как бы про себя, три каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, видимо русском, языке и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на три стороны и вышел, сопровождаемый воем труб, грохотом литавр и радостными восклицаниями. Он поехал домой.

В вестибюле дворца швырнул на пол трость и шляпу (паника среди кинувшихся поднимать лакеев), глубоко засунул руки в кар-

маны штанов и, зло задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ожидал личный секретарь.

— В семь часов вечера в клубе «Пасифик» в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром.

— Так, — сказал Гарин. (Опять прибавил три непонятных слова по-русски.) — Еще что?

— В одиннадцать часов сегодня же в белой зале отеля «Индиана» состоится бал в честь...

— Телефонуйте туда и туда, что я заболел, объевшись в городской ратуше крабами.

— Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни: к вам немедленно приедет весь город выражать соболезнование. Кроме того — газетные хроникеры. Они будут пытаться проникнуть даже через каминные трубы...

— Вы правы. Я еду. — Гарин позвонил. — Ванну. Приготовить вечернее платье, регалии и ордена. — Некоторое время он ходил, вернее — бегал по ковру. — Еще что?

— В приемной несколько дам ожидают аудиенции.

— Не принимаю.

— Они ждут с полудня.

— Не желаю. Отказать.

— С ними слишком трудно бороться. Осмелюсь заметить: это дамы высшего общества. Три знаменитых писательницы, две кинозвезды, одна путешественница в автомобиле с мировым стажем и одна известная благотворительница.

— Хорошо... Просите... Все равно, какую-нибудь...

Гарин сел к столу (налево — радиоприемник, направо — телефоны, прямо — труба диктофона). Придвинул чистую четвертушку бумаги, обмакнул перо и вдруг задумался...

«Зоя, — начал писать он по-русски твердым, крупным почерком, — друг мой, только вы одна в состоянии понять, какого я сыграл дурака...»

— Тс-с-с, — послышалось у него за спиной.

Гарин резко всем телом повернулся в кресле. Секретарь уже ускользнул в боковую дверь, — посреди кабинета стояла дама в светло-зеленом. Она слабо вскрикнула, стискивая руки. На лице изобразилось именно то, что она стоит перед величайшим в истории человеком. Гарин секунду рассматривал ее. Пожал плечами.

— Раздевайтесь! — резко приказал он и повернулся в кресле, продолжая писать.

.....

Без четверти восемь Гарин поспешно подошел к столу. Он был во фраке, со звездами, регалиями и лентой поверх жилета. Раздавались резкие сигналы радиоприемника, всегда настроенного на волну станции Золотого острова. Гарин надел наушники. Голос Зои, явственный, но неживой, точно с другой планеты, повторял по-русски:

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погибли... На острове восстание. Большой гиперболоид захвачен... Янсен со мной... Если удастся, — бежим на «Аризоне».

Голос прервался. Гарин стоял у стола, не снимая наушников. Личный секретарь, с цилиндром и тростью Гарина, ждал у дверей. И вот приемник снова начал подавать сигналы. Но другой уже голос, мужской, резкий, заговорил по-английски:

«Трудящиеся всего мира. Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты...»

.....

Дослушав до конца воззвание Шельги, Гарин снял наушники. Не спеша, с кривой усмешкой закурил сигару. Из ящиков стола вынул пачку стодолларовых бумажек и никелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом: это было его последнее изобретение — карманный гиперболоид. Взмахом бровей подозвал личного секретаря:

— Распорядитесь немедленно приготовить дорожную машину.

У секретаря первый раз за все время поднялись веки, рыжие глаза колюче взглянули на Гарина:

— Но, господин диктатор...

— Молчать! Немедленно передать начальнику войск, губернатору города и гражданским властям, что с семи часов вводится военное положение. Единственная мера пресечения беспорядка в городе — расстрел.

Секретарь мгновенно исчез за дверь.

Гарин подошел к тройному зеркалу. Он был в регалиях и звездах, бледный, похожий на восковую куклу из паноптикума. Он долго глядел на себя, и вдруг один глаз его сам собою насмешливо подмигнул... «Уноси ноги, Пьер Гарри, уноси ноги поскорее», — проговорил он самому себе шепотом.

122

События на Золотом острове начались к вечеру двадцать третьего июня. Весь день бушевал океан. Грозовые тучи ползли с юго-запада. Трещало небо от огненных зигзагов. Водяная пыль перелетала бешеным туманом через весь остров.

В конце дня гроза ушла, молнии полыхали далеко за краем океана, но ветер с неослабеваемой силой клонил к земле деревья, гнул стрелы высоких фонарей, рвал проволоки, уносил бесформенными полотнищами крыши с барачков и выл и свистал по всему острову с такой сатанинской злобой, что все живое попряталось по домам. В гавани скрипели корабли на причалах, несколько барок было сорвано с якорных цепей и унесено в океан. Как поплавок, одна в небольшой гавани, против дворца прыгала на волнах «Аризона».

Население острова сильно уменьшилось за последнее время. Работы в шахте были приостановлены. Грандиозные постройки мадам

Ламоль еще не начинались. Из шести тысяч рабочих осталось около пятисот. Остальные покинули остров, нагруженные золотом. Опустевшие бараки рабочего поселка, Луна-парк, публичные дома сносили, землю выравнивали под будущую стройку.

Гвардейцам окончательно нечего было делать на этом мирном клочке земли. Прошло то время, когда желто-белые, как сторожевые псы, торчали с винтовками на скалах, шагали вдоль проволок, многозначительно пошелкивая затворами. Гвардейцы начали спиваться. Тосковали по большим городам, шикарным ресторанам, веселым женщинам. Просились в отпуск, грозили бунтом. Но было строгое распоряжение Гарина: ни отпусков, ни увольнений. Гвардейские казармы были под постоянным прицелом ствола большого гиперболоида.

В казармах шла отчаянная игра. Расплачивались именными записками, так как золото, лежавшее штабелями около казарм, надоело всем хуже горькой редьки. Играли на любовниц, на оружие, на обкуренные трубки, на бутылки старого коньяку или на — «раздва по морде». К вечеру обычно вся казарма напивалась вдребезги. Генерал Субботин едва уже мог поддерживать не то что дисциплину, — какое там, — просто приличия.

— Господа офицеры, стыдно, — гремел ежевечерне голос генерала Субботина в офицерской столовой, — опустились, господа офицеры, на полу наблевано-с, воздух, как в бардаке-с. В кальсонах извольте щеголять, штаны проиграли-с. Удручен, что имею несчастье командовать бандой сволочей-с.

Никакие меры воздействия не помогали. Но никогда еще не было такого пьянства, как в день шторма двадцать третьего июня. Завывающий ветер вогнал гвардейцев в дикую тоску, наваял давние воспоминания, занули старые раны. Водяная пыль была дождем в окно. Ураганным огнем ухала и ахала небесная артиллерия. Дрожали стены, звенели стаканы на столах. Гвардейцы за длинными столами, положив на них локти, подпирая удалые головы, нечесанные, невымытые, пели вражескую песню: «Эх, яблочко, куды котисся...» И песня эта, черт знает из какой далекой жизни завезенная на затерянный среди волн островок, казалась шепоткой родной соли. Мотались в слезах пьяные головы. Генерал Субботин охрип, воздействуя, — послал всех к чертям свинячьим, напился сам.

Разведка Ревкома (в лице Ивана Гусева) донесла о тяжком положении противника в казармах. В седьмом часу вечера Шельга с пятью рослыми шахтерами подошел к гауптвахте (перед казармами) и начал ругаться с двумя подвыпившими часовыми, стоявшими у винтовок в козлах. Увлеченные русскими оборотами речи, часовые утратили бдительность, внезапно были сбиты с ног, обезоружены и связаны. Шельга овладел сотней винтовок. Их сейчас же роздали рабочим, подходившим от фонаря к фонарю, прячась за деревьями и кустами, ползя через лужайки.

Сто человек ворвались в казармы. Начался чудовищный переполох, гвардейцы встретили наступающих бутылками и табуретами, отступили, организовались и открыли револьверный огонь. На

лестницах, в коридорах, в дортуарах шел бой. Трезвые и пьяные дрались врукопашную. Из разбитых окон вырывались дикие вопли. Нападавших было мало, — один на пятерых, — но они молотили, как цепями, мозольными кулачищами изнеженных желто-белых. Подбегали подкрепления. Гвардейцы начали выкидываться из окошек. В нескольких местах вспыхнул пожар, казармы заволокло дымом.

123

Янсен бежал по пустынным неосвещенным комнатам дворца. С грохотом и шипеньем обрушился прибор на веранду. Свистал ветер, потрясая оконные рамы. Янсен звал мадам Ламоль, прислушивался в ужасающей тревоге.

Он побегал вниз, на половину Гарина, летел саженными прыжками по лестницам. Внизу слышны были выстрелы, отдельные крики. Он выглянул во внутренний сад. Пусто, ни души. На противоположной стороне, под аркой, затянутой плющом, снаружи ломились в ворота. Как можно было так крепко спать, что только пуля, разбившая оконное стекло, разбудила Янсена. Мадам Ламоль бежала? Быть может, убита?

Он отворил какую-то дверь наугад. Вошел. Четыре голубоватых шара и пятый, висящий под мозаичным потолком, освещали столы, уставленные приборами, мраморные доски с измерителями, лакированные ящички и шкафчики с катодными лампами, провода динамо, письменный стол, заваленный чертежами. Это был кабинет Гарина. На ковре валялся скомканный платочек. Янсен схватил его, — он пахнул духами мадам Ламоль. Тогда он вспомнил, что из кабинета есть подземный ход к лифту большого гиперboloида и где-то здесь должна быть потайная дверь. Мадам Ламоль, конечно, при первых же выстрелах кинулась на башню, — как было не догадаться!

Он оглядывался, ища эту дверцу. Но вот послышался звон разбиваемых стекол, топот ног, за стеной начали перекликаться то-ропливые голоса. Во дворец ворвались. Так что же медлит мадам Ламоль? Он подскочил к двустворчатой резной двери и закрыл ее на ключ. Вынул револьвер. Казалось, весь дворец наполнился шагами, голосами, криками.

— Янсен!

Перед ним стояла мадам Ламоль. Ее побледневшие губы зашевелились, но он не слышал, что она сказала. Он глядел на нее, тяжело дыша.

— Мы погибли, Янсен, мы погибли! — повторила она.

На ней было черное платье. Руки, узкие и стиснутые, прижаты к груди. Глаза взволнованы, как синяя буря. Мадам Ламоль сказала:

— Лифт большого гиперboloида не действует, лифт поднят на самый верх. На башне кто-то сидит. Они забрались снаружи по перекладинам... Я уверена, что это — мальчишка Гусев...

Хрустнув пальцами, она глядела на резную дверь. Брови ее сдвинулись. За дверью бешено протопали десятки ног. Раздался дикий вопль. Возня. Торопливые выстрелы. Мадам Ламоль стремительно села к столу, включила рубильник; мягко завывло динамо, лилово загорелись грушевидные лампы. Застучал ключ, посылая сигналы.

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погибли... — заговорила она, нагнувшись над сеткой микрофона.

Через минуту резная дверь затрещала под ударами кулаков и ног.

— Отворите дверь! Отворяй!.. — раздался голоса.

Мадам Ламоль схватила Янсена за руку, потащила к стене и ногой нажала на завиток резного украшения у самого пола. Штофная панель между двух полуколонн неслышно упала в глубину. Мадам Ламоль и Янсен проскользнули через потайное отверстие в подземный ход. Панель встала на прежнее место.

.....

После грозы особенно ярко мерцали и горели звезды над взволнованным океаном. Ветер валил с ног. Высоко взлетал прибой. Грохотали камни. Сквозь шум океана слышны были выстрелы. Мадам Ламоль и Янсен бежали, прячась за кустами и скалами, к северной бухте, где всегда стоял моторный катерок. Направо черной стеной поднимался дворец, налево — волны, светящиеся гривы пены и — далеко — огоньки танцующей «Аризоны». Позади решетчатым силуэтом, уходящим в небо, рисовалась башня большого гиперболоида. На самом верху ее был свет.

— Смотрите, — откинувшись на бегу и махнув рукой в сторону башни, крикнула мадам Ламоль, — там свет! Это смерть!

Она спустилась по крутому откосу к бухте, закрытой от волн. Здесь у лестницы, ведущей на веранду дворца, у небольших бонов, болтался катерок. Она прыгнула в него, перебежала на корму и трясушимися руками включила стартер.

— Скорее, скорее, Янсен!

Катерок был ошвартован на цепи. Засунув в кольцо ствол револьвера, Янсен ломал замок. Наверху, на веранде, со звоном распахнулись двери, появились вооруженные люди. Янсен бросил револьвер и захватил цепь у корня. Мускулы его затрещали, шея вздулась, лопнул крючок на вороте куртки. Внезапно застрелял включенный мотор. Люди на террасе побежали вниз по лестнице, размахивая оружием, крича: «Стой, стой!»

Последним усилием Янсен вырвал цепь, далеко отпихнул пыхтящий катер на волны и на четвереньках побежал вдоль борта к рулю.

Описав крутую дугу, катер полетел к узкому выходу из бухты. Вдогонку сверкнули выстрелы.

.....

— Трап, черти соленые! — заорал Янсен на катере, пляшущем под бортом «Аризоны». — Где старший помощник? Спит! Повешу!

— Здесь, здесь, капитан. Есть, капитан.

— Руби канаты! Включай моторы! Полный газ! Туши огни!

— Есть, есть, капитан.

Мадам Ламоль первая поднялась по штормовому трапу. Перегнувшись через борт, она увидела, что Янсен силится встать, и падает как-то на бок, и судорожно ловит брошенный конец. Волна покрыла его вместе с катером, и снова вынырнуло его отплевывающееся лицо, искаженное гримасой боли.

— Янсен, что с вами?

— Я ранен.

Четыре матроса прыгнули в катерок, подхватили Янсена, подняли на борт. На палубе он упал, держась за бок, потерял сознание. Его отнесли в каюту.

Полным ходом, разрезая волны, зарываясь в водяные пропасти, «Аризона» уходила от острова. Командовал старший помощник. Мадам Ламоль стояла рядом с ним на мостике, вцепившись в перила. С нее лила вода, платье облепило ее. Она глядела, как разгорается зарево (горели казармы) и черный дым, проверченный огненными спиралями, застилает остров. Но вот она, видимо, что-то заметила, схватила командира за рукав:

— Поверните на юго-запад...

— Здесь рифы, мадам.

— Молчать, не ваше дело!.. Проходите, имея остров на левом борту.

Она побежала к решетчатой башенке гиперboloида. Пелена воды, летя от носа по палубе, покрыла мадам Ламоль, сбила с ног. Матрос подхватил ее, мокрую и взбесившуюся от злости. Она вырвалась, вскарабкалась на башенку.

На острове, высоко над дымом пожара, сверкала ослепительная звезда, — это работал большой гиперboloид, нащупывая «Аризону».

Мадам Ламоль решила драться, все равно каким ходом не уйти от луча, хватающего с башни на много миль. Луч сначала метался по звездам, по горизонту, описывая в несколько секунд круг в четыреста километров. Но теперь он упорно нащупывал западный сектор океана, бежал по гребням волн, и след его обозначался густыми клубами пара.

«Аризона» шла полным ходом в семи милях вдоль острова. Зарываясь до мачт в шипящую воду, взлетала скорлупкой на волну, и тогда с кормовой башенки мадам Ламоль била ответным лучом по острову. Уже запылали на нем кое-где деревянные постройки. Снопы искр вносились высоко, будто раздуваемые гигантскими мехами. Зарево бросало отблески на весь черный, взволнованный океан. И вот, когда «Аризона» поднялась на гребень, с острова увидели силуэт яхты, и жгуче-белая игла заплясала вокруг нее, ударя сверху вниз, зигзагами, и удары, совсем близко, сближаясь, падали то перед кормой, то перед носом.

Зое казалось, что ослепительная звезда колет ей прямо в глаза, и она сама старалась уткнуться стволом аппарата в эту звезду на далекой башне. Бешено гудели винты «Аризоны», корма обнажи-

лась, и судно начало уже клониться носом, соскальзывая с волны. В это время луч, нащупав прицел, взвился, затрепетал, точно при- мериваясь, и, не колеблясь, стал падать на профиль яхты. Зоя закрыла глаза. Должно быть, у всех, кто на борту был свидетелем этой дуэли, остановилось сердце.

Когда Зоя открыла глаза, перед ней была стена воды, пропасть, куда соскользнула «Аризона». «Это еще не смерть», — подумала Зоя. Сняла руки с аппарата, и руки ее без сил повисли.

Когда снова начался подъем на волну, стало понятно, почему миновала смерть. Огромные тучи дыма покрывали весь остров и башню, — должно быть, взорвались нефтяные цистерны. За дымовой завесой «Аризона» могла спокойно уходить.

Зоя не знала, удалось ли ей сбить большой гиперболоид, или только за дымом не стало видно звезды. Но не все ли теперь равно... Она с трудом спустилась с башенки. Придерживаясь за снасти, пробралась в каюту, где за синими занавесками тяжело дышал Янсен. Повалилась в кресло, зажгла восковую спичку, закурила.

.....

«Аризона» уходила на северо-запад. Ветер ослаб, но океан все еще был неспокоен. По многу раз в день яхта посылала условные сигналы, пытаясь связаться с Гариным, и в сотнях тысяч радиоприемников по всему свету раздавался голос Зои: «Что делать, куда идти? Мы на такой-то широте и долготе. Ждем приказаний».

Океанские пароходы, перехватывая эти радио, спешили уйти подальше от страшного места, где снова обнаружилась «Аризона» — «гроза морей».

124

Облака горящей нефти окутывали Золотой остров. После урагана наступил штиль, и черный дым поднимался к безоблачному небу, бросая на воды океана огромную тень в несколько километров.

Остров казался вымершим, и только в стороне шахты, как всегда, не переставая поскрипывали черпаки элеваторов.

Затем в тишине раздалась музыка: торжественный медленный марш. Сквозь дымовую мглу можно было видеть сотни две людей: они шли, подняв головы, их лица были суровы и решительны. Впереди четверо несли на плечах что-то завернутое в красное знамя. Они взобрались на скалу, где возвышалась решетчатая башня большого гиперболоида, и у подножия ее опустили длинный сверток.

Это было тело Ивана Гусева. Он погиб вчера во время боя с «Аризоной». Взобравшись, как кошка, снаружи по решетчатым креплениям башни, он включил большой гиперболоид, нащупал «Аризону» среди огромных волн.

Огненный шнур с «Аризоны» плясал по острову, поджигая постройки, срезывал фонарные столбы, деревья. «Гадюка», — шептал

Иван, поворачивая дуло аппарата, и так же, как во время письменного урока, когда Тарашкин учил его грамоте, помогал себе языком.

Он поймал «Аризону» на фокус и бил лучом по воде перед кормой и перед носом, сближая угол. Мешали облака дыма от загоревшихся цистерн. Вдруг луч с «Аризоны» превратился в ослепительную звезду, и она, сверкая, ужалила Ивана в глаза. Пронзенный насквозь лучом, он упал на козух большого гиперболоида...

— Спи спокойно, Ванюша, ты умер как герой, — сказал Шельга. Он опустился перед телом Ивана, отогнул край знамени и поцеловал мальчика в лоб.

Трубы заиграли, и голоса двухсот человек запели «Интернационал».

Немного времени спустя из клубов черного дыма вылетел двухмоторный мощный аэроплан. Забирая высоту, он повернул на запад...

125

— Все ваши распоряжения исполнены, господин диктатор...

Гарин запер выходную дверь на ключ, подошел к плоскому книжному шкафу и справа от него провел рукой.

Секретарь сказал с усмешкой:

— Кнопка потайной двери с левой стороны, господин диктатор...

Гарин быстро, странно взглянул на него. Нажал кнопку, книжный шкаф бесшумно отодвинулся, открывая узкий проход в потайные комнаты дворца.

— Прошу, — сказал Гарин, предлагая секретарю пройти туда первым. Секретарь побледнел, Гарин с ледяной вежливостью поднял лучевой револьвер в уровень его лба. — Благоразумнее подчиняться, господин секретарь...

126

Дверь из капитанской каюты была открыта настежь. На койке лежал Янсен.

Яхта едва двигалась. В тишине было слышно, как разбивалась о борт волна.

Желание Янсена сбылось, — он снова был в океане, один с мадам Ламоль. Он знал, что умирает. Несколько дней боролся за жизнь, — сквозная пулевая рана в живот, — и, наконец, затих. Глядел на звезды через открытую дверь, откуда лился воздух вечности. Не было ни желаний, ни страха, только важность перехода в покой.

Снаружи, появившись тенью на звездах, вошла мадам Ламоль. Наклонилась над ним. Спросила шепотом, как он себя чувствует. Он ответил движением век, и она поняла, что он хотел ей сказать: «Я счастлив, ты со мной». Когда у него несколько раз, захватывая

воздух, судорожно поднялась грудь, Зоя села около койки и не двигалась. Должно быть, печальные мысли бродили в ее голове.

— Друг мой, друг мой единственный, — проговорила она с тихим отчаянием, — вы один на свете любили меня. Одному вам я была дорога. Вас не будет... Какой холод, какой холод...

Янсен не отвечал, только движением век будто подтвердил о наступающем холоде. Она видела, что нос его обострился, рот сложен в слабую улыбку. Еще недавно его лицо горело жаровым румянцем, теперь было как восковое. Она подождала еще много минут, потом губами дотронулась до его руки. Но он еще не умер. Медленно приоткрыл глаза, разлепил губы. Зое показалось, что он сказал: «Хорошо...»

Потом лицо его изменилось. Она отвернулась и осторожно задернула синие шторы.

127

Секретарь — самый элегантный человек в Соединенных Штатах — лежал ничком, вцепившись застывшими пальцами в ковер: он умер мгновенно, без крика. Гарин, покусывая дрожащие губы, медленно засовывал в карман пиджака лучевой револьвер. Затем подошел к низенькой стальной двери. Набрал на медном диске одному ему известную комбинацию букв, — дверь раскрылась. Он вошел в железобетонную комнату без окон.

Это был личный сейф диктатора. Но вместо золота или бумаг здесь находилось нечто гораздо более ценное для Гарина: привезенный из Европы и сначала тайно содержавшийся на Золотом острове, затем — здесь — в потайных комнатах дворца, третий двойник Гарина — русский эмигрант, барон Корф, продавший себя за огромные деньги.

Он сидел в мягком кожаном кресле, задрал ноги на золоченый столик, где стояли в вазах фрукты и сласти (пить ему не разрешалось). На полу валялись книжки — английские уголовные романы. От скуки барон Корф плевал косточками вишен в круглый экран телевизионного аппарата, стоявшего в трех метрах от его кресла.

— Наконец-то, — сказал он, лениво обернувшись к вошедшему Гарину. — Куда вы, черт вас возьми, провалились?.. Слушайте, долго вы еще намерены меня мариновать в этом погребе? Ей-богу, я предпочитаю голодать в Париже...

Вместо ответа Гарин содрал с себя ленту, сбросил фрак с орденами и регалиями.

— Раздевайтесь.

— Зачем? — спросил барон Корф с некоторым любопытством.

— Давайте ваше платье.

— В чем дело?

— И — паспорт, все бумаги... Где ваша бритва?

Гарин подсел к туалетному столику. Не намыливая щек, морщась от боли, быстро сбрил усы и бороду.

— Между прочим, рядом в комнате лежит человек. Запомните — это ваш личный секретарь. Когда его хватятся, можете сказать, что послали его с секретным поручением... Понятно вам?

— В чем дело, я спрашиваю? — заорал барон Корф, хватая на лету гаринские брюки.

— Я пройду отсюда потайным ходом в парк, к моей машине. Вы запрячете секретаря в камин и пройдете в мой кабинет. Немедленно вызовете по телефону Роллинга. Надеюсь, вы хорошо запомнили весь механизм моей диктатуры? Я, затем мой первый заместитель — начальник секретной полиции, затем мой второй заместитель — начальник отдела пропаганды, затем мой третий заместитель — начальник отдела провокации. Затем тайный совет трехсот, во главе стоит Роллинг. Если вы еще не совсем превратились в идиота, вы должны были все это вызубрить назубок... Снимайте же брюки, черт вас возьми!.. Роллингу по телефону скажите, что вы, то есть Пьер Гарин, становитесь во главе войск и полиции. Вам придется серьезно драться, милейший...

— Позвольте, а если Роллинг угадает по голосу, что это не вы, а я...

— А! В конце концов, им наплевать... Был бы диктатор...

— Позвольте, позвольте, — значит, с этой минуты я превращаюсь в Петра Петровича Гарина?

— Желаю успеха. Наслаждайтесь полнотой власти. Все инструкции на письменном столе... Я — исчезаю...

Гарин, так же, как давеча в зеркало, подмигнул своему двойнику и скрылся за дверью.

128

Едва только Гарин — один в закрытой машине — помчался через центральные улицы города, исчезло всякое сомнение: он вовремя унес ноги. Рабочие районы и предместья гудели сотысячными толпами... Кое-где уже плескались полотнища революционных знамен. Поперек улиц торопливо нагромождались баррикады из опрокинутых автобусов, мебели, выкидываемой в окошки, дверей, фонарных столбов, чугунных решеток.

Опытным глазом Гарин видел, что рабочие хорошо вооружены. На грузовиках, продирающихся сквозь толпы, развозили пулеметы, гранаты, винтовки... Несомненно, это была работа Шельги...

Несколько часов тому назад Гарин со всей уверенностью бросил бы войска на восставших. Но сейчас он лишь нервнее нажимал педаль машины, несущейся среди проклятий и криков: «Долой диктатора! Долой совет трехсот!»

Гиперболоид был в руках Шельги. Об этом знали, об этом кричали восставшие. Шельга разыграет революцию, как дирижер — героическую симфонию.

Громкоговорители, установленные по приказу Гарина еще во время продажи золота, теперь работали против него — разносили на весь мир вести о поголовном восстании.

Двойник Гарина, против всех ожиданий Петра Петровича, начал действовать решительно и даже не без успеха. Его отборные войска штурмовали баррикады. Полиция с аэропланов сбрасывала газовые бомбы. Конница рубила палашами людей на перекрестках. Особые бригады взламывали дверные замки, врываются в жилища рабочих, уничтожая все живое.

Но восставшие держались упорно. В других городах, в крупных фабричных центрах, они решительно переходили в наступление. К середине дня вся страна пылала восстанием...

Гарин выжимал из машины всю скорость ее шестнадцати цилиндров. Ураганом проносился по улице провинциальных городков, сбивал свиней, собак, давил кур. Иной прохожий не успевал выпучить глаза, как запыленная, черная огромная машина диктатора, уменьшаясь и ревя, скрывалась за поворотом...

Он останавливался только на несколько минут, чтобы набрать бензина, налить воды в радиатор... Мчался всю ночь.

Наутро власть диктатора еще не была свергнута. Столица пылала, зажженная термитными бомбами, на улицах валялось до пятидесяти тысяч трупов. «Вот тебе и барон!» — усмехнулся Гарин, когда на остановке громкоговоритель прохрипел эти вести...

В пять часов следующего дня его машину обстреляли...

В семь часов, пролетая по какому-то городку, он видел революционные флаги и поющих людей...

Он мчался всю вторую ночь — на запад, к Тихому океану. На рассвете, наливая бензин, услышал, наконец, из черного горла громкоговорителя хорошо знакомый голос Шельги:

— Победа, победа... Товарищи, в моих руках — страшное оружие революции — гиперболоид...

Скрипнув зубами, не дослушав, Гарин помчался дальше. В десять часов утра он увидел первый плакат сбоку шоссе; на фанерном щите огромными буквами стояло:

«Товарищи... Диктатор взят живым... Но диктатор оказался двойником Гарина, подставным лицом. Петр Гарин скрылся. Он бежит на запад... Товарищи, проявляйте бдительность, задержите машину диктатора... (Следовали приметы.) Гарин не должен уйти от революционного суда...»

В середине дня Гарин обнаружил позади себя мотоцикл. Он не слышал выстрелов, но в десяти сантиметрах от его головы в стекле машины появилась пулевая дырка с трещинками. Затылку стало холодно. Он выжал весь газ, какой могла дать машина, метнулся за холм, свернул к лесистым горам. Через час влетел в ущелье. Мотор начал сдавать и заглох. Гарин выскочил, свернул руль, пустил машину под откос и, с трудом разминая ноги, стал взбираться по крутизне к сосновому бору.

Сверху он видел, как промчались по шоссе три мотоцикла. Задний остановился. Вооруженный, по пояс голый человек соскочил с него и нагнулся над пропастью, где валялась разбитая машина диктатора.

В лесу Петр Петрович снял с себя все, кроме штанов и нательной фуфайки, нарезал кожу на башмаках и пешком начал пробираться к ближайшей станции железной дороги.

На четвертый день он добрался до уединенной приморской мызы близ Лос-Анджелеса, где в ангаре висел, всегда наготове, его дирижабль.

129

Утренняя заря взошла на безоблачное небо. Розовым паром дымящимся океан. Гарин, перегнувшись в окно гондолы дирижабля, с трудом в бинокль разыскал глубоко внизу узенькую скорлупу яхты. Она дремала на зеркальной воде, просвечивающей сквозь легкий мглистый покров.

Дирижабль начал опускаться. Он весь сверкал в лучах солнца. С яхты его заметили, подняли флаг. Когда гондола коснулась воды, от яхты отделилась шлюпка. На руле сидела Зоя. Гарин едва узнал ее — так осунулось ее лицо. Он спрыгнул в шлюпку, с улыбочкой, как ни в чем не бывало, сел рядом с Зоей, потрепал ее по руке:

— Рад тебя видеть. Не грусти, крошка. Сорвалось — наплевать. Заварим новую кашу... Ну, чего ты повесила нос?..

Зоя, нахмурившись, отвернулась, чтобы не видеть его лица.

— Я только что похоронила Янсена. Я устала. Сейчас мне все — все равно.

Из-за края горизонта поднялось солнце, — огромный шар выкатился над синей пустыней, и туман растаял, как призрачный.

Протянулась солнечная дорога, переливаясь маслянистыми бликами, и черным силуэтом на ней рисовались три наклонных мачты и решетчатые башенки «Аризоны».

— Ванну, завтрак и — спать, — сказал Гарин.

130

«Аризона» повернула к Золотому острову. Гарин решил нанести удар в самое сердце восставших — овладеть большим гиперболоидом и шахтой.

На яхте были срублены мачты, оба гиперболоида на носу и корме замаскированы досками и парусиной, — для того чтобы изменить профиль судна и подойти незамеченными к Золотому острову.

Гарин был уверен в себе, решителен, весел, — к нему снова вернулось хорошее настроение.

Утром следующего дня помощник капитана, взявший команду на судне после смерти Янсена, с тревогой указал на перистые облака. Они быстро поднимались из-за восточного края океана, покрывали небо на огромной, десятикилометровой высоте. Надвигался шторм, быть может ураган — тайфун.

Гарин, занятый своими соображениями, послал капитана к черту.

— Ну, тайфун — ерунда собачья. Прибавьте ходу...

Капитан угрюмо глядел с мостика на быстро заволакивающееся небо. Приказал задраить люки, крепить на палубе шлюпки и все, что могло быть снесено.

Океан мрачнел. Порывами налетал ветер, угрожающим свистом предупреждал моряков о близкой беде. На место вестников урагана — высоких перистых облаков — поползли клубящиеся низкие тучи. Ветер все грознее волновал океан, пробегал беспокойной рябью по огромным волнам.

И вот с востока начала налезать черная, как овчина, низкая туча, со свинцовой глубиной. Порывы ветра стали яростными. Волны перекатывались через борт. И уже не рябью мялись горбы серо-холодных волн, — ветер срывал с них целые пелены, застилал туманом водяной пыли...

Капитан сказал Зое и Гарину:

— Идите вниз. Через четверть часа мы будем в центре тайфуна. Моторы нас не спасут.

Ураган обрушился на «Аризону» со всей яростью одиннадцати баллов. Яхта, зарываясь, валясь с борта на борт так, что днище обнажалось до киля, уже не слушаясь ни руля, ни винтов, неслась по кругам суживающейся спирали к центру тайфуна, или «окну», как его называют моряки.

«Окно», диаметром иногда до пяти километров, — центр вращения тайфуна; ветры силою двенадцати баллов несутся со всех направлений кругом «окна», уравновешивая свои силы на его периферии.

Туда, в такое «окно», уносились круговоротом жалкая скорлупка — «Аризона».

Черные тучи касались палубы. Стало темно, как ночью. Бока яхты трещали. Люди, чтобы не разбиться, цеплялись за что попало. Капитан приказал привязать себя к перилам мостика.

«Аризону» подняло на гребень водяной горы, положило на борт и швырнуло в пучину. И вдруг — ослепительное солнце, мгновенное безветрие и зелено-прозрачные, сверкающие, как из жидкого стекла, волны — десятиэтажные громады, сталкивающиеся с оглушительным плеском, будто сам царь морской, Нептун, взбесясь, шлепал в ладоши...

Это и было «окно», самое опасное место тайфуна. Здесь токи воздуха устремляются отвесно вверх, унося водяные пары на высоту десяти километров, и там раскидывают их пленками перистых облаков — верхних предвестников тайфуна...

С борта «Аризоны» было снесено волнами все: шлюпки, обе решетчатые башенки гиперболоидов, труба и капитанский мостик вместе с капитаном...

«Окно», окруженное тьмой и крутящимися ураганами, несло по океану, увлекая на толчее чудовищных волн «Аризону».

Моторы перегорели, руль был сорван.

.....

— Я больше не могу, — простонала Зоя.

— Когда-нибудь это должно кончиться... О черт! — хрипло ответил Гарин.

Оба они были избиты, истерзаны ударами о стены и о мебель. У Гарина рассечен лоб, Зоя лежала на полу какоты, цепляясь за ножку привинченной койки. На полу вместе с людьми катались чемоданы, книги, вывалившиеся из шкафа, диванные подушки, пробковые пояса, апельсины, осколки посуды.

— Гарин, я не могу, выбрось меня в море...

От страшного толчка Зоя оторвалась от койки, покатилась. Гарин кувырком перелетел через нее, ударился о дверь...

Раздался треск, раздирающий хруст. Грохот падающей воды. Человеческий вопль. Каюта распалась. Мощный поток воды подхватил двух людей, швырнул их в кипящую зелено-холодную пучину...

.....

Когда Гарин открыл глаза, в десяти сантиметрах от его носа маленький рачок-отшельник, залезший до половины в перламутровую раковину, таращил глаза, изумленно шевеля усами. Гарин с усилием понял: «Да, я жив...» Но еще долго не в силах был приподняться. Он лежал на боку, на песке. Правая рука была повреждена. Морщась от боли, он все же подобрал ноги, сел.

Невдалеке, нагнувши тонкий ствол, стояла пальма, свежий ветер трепал ее листья... Гарин поднялся, пошатываясь, пошел. Вокруг, куда бы он ни посмотрел, бежали и, добежав до низкого берега, с шумом разбивались зелено-синие, залитые солнцем волны... Несколько десятков пальм простирало по ветру широкие, как веера, листья. На песке там и сям валялись осколки дерева, ящики, какие-то тряпки, канаты... Это было все, что осталось от «Аризоны», разбившейся вместе со всем экипажем о рифы кораллового острова.

Гарин, прихрамывая, пошел в глубину островка, туда, где более возвышенные места заросли низким кустарником и ярко-зеленой травой. Там лежала Зоя, на спине, раскинув руки. Гарин присел над ней, боясь прикоснуться к ее телу, чтобы не ощутить холода смерти. Но Зоя была жива, — веки ее задрожали, запекшиеся губы разлепились.

.....

На коралловом островке находилось озерцо дождевой воды, горьковатой, но годной для питья. На отмелях — раковины, мелкие ракушки, полипы, креветки — все, что некогда служило пищей

первобытному человеку. Листья пальм могли служить одеждой и прикрывать от полдневного солнца.

Два голых человека, выброшенные на голую землю, могли кое-как жить... И они начали жить на этом острове, затерянном в пустыне Тихого океана. Не было даже надежды, что мимо пройдет корабль и, заметив их, возьмет на борт.

Гарин собирал раковины или рубашкой ловил рыбу в пресном озере. Зоя нашла в одном из выброшенных ящиков с «Аризоны» пятьдесят экземпляров книги роскошного издания проектов дворцов и увеселительных павильонов на Золотом острове. Там же были законы и устав придворного этикета мадам Ламоль — повелительницы мира...

Целыми днями в тени шалаша из пальмовых листьев Зоя перелистывала эту книгу, созданную ее ненасытной фантазией. Оставшиеся сорок девять экземпляров, переплетенных в золото и сафьян, Гарин употребил в виде изгороди для защиты от ветра.

Гарин и Зоя не разговаривали. Зачем? О чем? Они всю жизнь были одиночками, и вот получили, наконец, полное, совершенное одиночество.

Они сбились в счете дней, перестали их считать. Когда проносились грозы над островом, озеро наполнялось свежей дождевой водой. Тянулись месяцы, когда с безоблачного неба яростно жгло солнце. Тогда им приходилось пить тухлую воду...

Должно быть, и по нынешний день Гарин и Зоя собирают моллюсков и устриц на этом острове. Наевшись, Зоя садится перелистывать книгу с дивными проектами дворцов, где среди мраморных колоннад и цветов возвышается ее прекрасная статуя из мрамора, — Гарин, уткнувшись носом в песок и прикрывшись истлевшим пиджачком, похрапывает, должно быть тоже переживая во сне разные занимательные истории.

КОММЕНТАРИИ

Казацкий шток

Впервые — в газете «Утро России», 1910, № 335, 25 декабря.

Месть

Впервые — в газете «Речь», СПб, 1911, № 84, 27 марта. Авторская датировка — 1910 год.

Шарлота

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1915, № 106, 10 мая. Типичный образчик тогдашнего военного детектива. В газете «Русские ведомости», где он с августа 1914 года состоял военным корреспондентом, А. Толстой постоянно публиковал не только очерки с театра боевых действий, но и художественную прозу подобающей тематики.

Прекрасная дама

Впервые — газета «Русские ведомости», 1916, №№ 147, 149, 153 за 26, 29 июня и 3 июля. Один из примеров того, как очередной военный детективный сюжет под пером художника обращается в сложный психологический рисунок, своеобразно заостряющий характерное для А. Толстого понимание «любви предназначенной» (см. об этом вступительную статью).

Убийство Антуана Ривó

Впервые под названием «Парижские олеографии» — в журнале «Звезда», 1924, № 1. Пропагандистского оттенка заголовок скорее всего принадлежит редакции и писателем в дальнейших переизданиях не употреблялся. «Убийство Антуана Ривó» — первое крупное произведение, завершённое Толстым на родине, после возвращения из эмиграции 1 августа 1923 года. Авторская датировка: «29 сентября 1923 г. Москва».

Похождения Невзорова, или Ибикус

Три начальных главы под названием «Ибикус (повесть)» впервые — в журнале «Русский современник», 1924, № 2, 3, 4. Полный текст под нынешним названием впервые — ГИЗ, Л. — М., 1925. Эта фантастическая сатира — одно из оригинальных достижений прозы художника.

Случай на Бассейной улице

Впервые с подзаголовком «Из хроники Ленинградского губсуда» — в журнале «Красная новь», 1926, книга 12 (декабрь).

Василий Сучков (Картинки нравов Петербургской стороны)

Впервые — в журнале «Новый мир», 1927, кн. 1 (январь).

Эмигранты

Впервые под названием «Черное золото» — журнал «Новый мир», 1931, №№ 1—12. Роман (таково первоначальное обозначение жанра, окончательное — повесть) написан на документальном материале. Первоотлчком послужила брошюра В.Воровского 1919 года, обзоревавшая на основе публикаций в шведских газетах и информации советского полпредства в Стокгольме деятельность заграничной белогвардейской «Военной организации для восстановления империи». Это объединение во главе с казачьим полковником Могаметом Бек Хаджет Лаше (в прошлом журналистом и автором бульварных романов) приобрело громкую скандальную известность. В конце 1919 года шведские власти вели против организации Хаджет Лаше следствие по обвинению в разного рода уголовных преступлениях на своей территории.

В послесловии к первой публикации «Черного золота» А.Толстой так сам представлял читателю документальную основу произведения: «...все факты романа исторически точны и подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств (см. книгу Воровского). Шведский профессор Г.Г.Александров — теперь директор II МХАТ — сообщил мне подробности этого дела. (Александров был приговорен шайкой Хаджет Лаше к смерти и только случайно избежал ее, — во время обыска на даче в Баль Станэсе он нашел приготовленный для него мешок). Остальные сцены романа взяты по возможности документально точно из архивных материалов, устных рассказов и моих наблюдений».

Роман уже при первом своем появлении в журнале подвергался справедливой критике за уровень художественного исполнения. Как писал об этом сам А.Толстой, «меня начали упрекать в несерьезности, в авантюризме, в халтурности и еще многое кое в чем». Двухкратные серьезные переработки произведения, в 1932 и 1939 годах, после которых оно получило нынешнее название «Эмигранты», в целом не изменили его характера. Это образец тенденциозного международного политического детектива, с элементами политического же памфлета, каких впоследствии немало появилось в советской литературе.

Азлита

Впервые с подзаголовком «Закон Марса» — журнал «Красная новь», 1922, № 6; 1923, № 2. Научно-фантастический роман «Азлита» — первое крупное произведение А.Толстого, появившееся в советской литературной печати еще до возвращения писателя из эмиграции.

Научная фантастика у А.Толстого нераздельно слита с социальной утопией, что при всей контрастности мотивов приближает ее к тому литературно-жанровому направлению, начало которому открыла «космическая» фантастика Герберта Уэллса. Вместе с тем в романе звучат и постоянные мотивы всего творчества писателя — поиски «любви предназначенной».

Наиболее ярко эта тема воплощена в поэтической фигуре главной героини.

Популярность произведения в первое десятилетие после его появления была исключительной. В 1924 году известным кинорежиссером Н.А.Протазановым по роману «Азлита» был поставлен фильм.

Имя Азлита вошло даже в число ходких антитрадиционных имен, которые давали новорожденным девочкам.

Гиперболоид инженера Гарина

Впервые — журнал «Красная новь», 1925, №№ 7, 8, 9; 1926, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Инженер-технолог по образованию А.Толстой так сообщал о научно-технической идее, давшей отправной толчок для полета художественной фантазии: «Когда писал «Гиперболоид инженера Гарина» (старый знакомый, Оленин, рассказал мне действительную историю постройки такого двойного гиперболоида; инженер, сделавший это открытие, погиб в 1918 году в Сибири), пришлось ознакомиться с новейшими теориями молекулярной физики. Много помог мне академик П.П.Лазарев» («Как мы пишем», 1929).

Об основной художественной направленности романа и главных его персонажах — см. вступительную статью.

СОДЕРЖАНИЕ

АВАНТЮРНЫЕ ПОВЕСТИ И РОМАНЫ

Казацкий штос	7
Мечь	14
Шарлота	24
Прекрасная дама	33
Убийство Антуана Риво	48
Похождения Невзорова, или Ибикус	62
Случай на Бассейной улице	156
Василий Сучков	165
Эмигранты	189

НАУЧНО-ФАНАСТИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

Аэлита. Роман	401
Гиперболоид инженера Гарина. Роман	509
Комментарии	717

Алексей Николаевич
ТОЛСТОЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор И. Шургина
Художественный редактор И. Сайко
Технический редактор Н. Привезенцева
Корректоры В. Антонова,
М. Александрова, В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 25.08.95. Усл. печ. л. 45,0.
Уч.-изд. л. 53,4.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены
ОО «Макет».
141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.



«TEPPA» - «TERRA»